This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

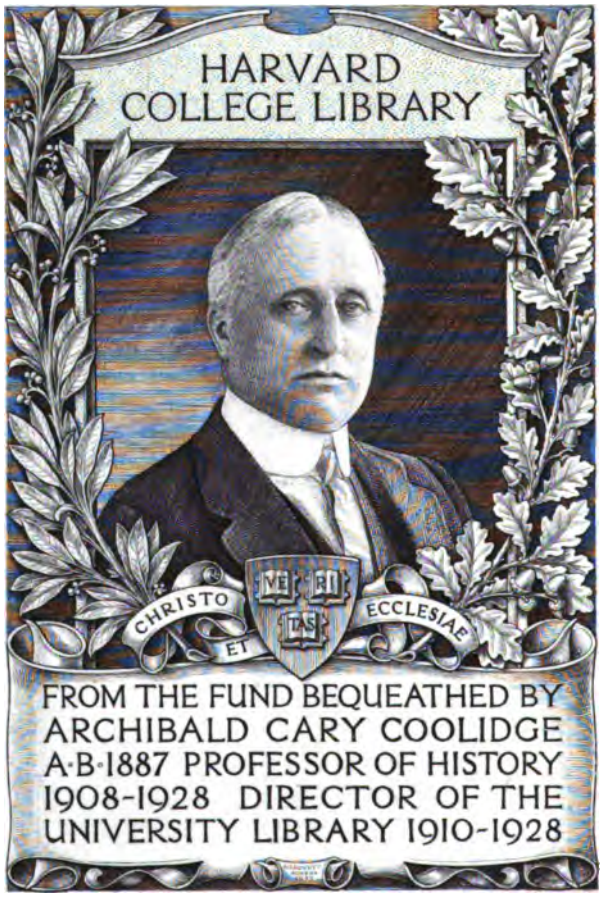
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

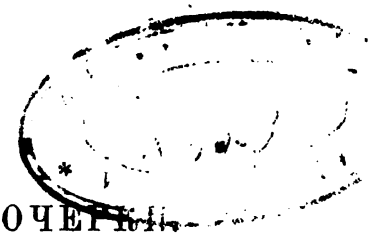
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4100.100.20



А. Л. Волынскій.

РУССКІЕ КРИТИКИ.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. Меркушева (бывш. Н. Лебедева), Невскій, 8.
1896.
Printed in Russia

Slav 4100.100.20
✓
HARVARD COLLEGE LIBRARY
COOLIDGE FUND
APR 12 1943

РУССКІЕ КРИТИКИ.

Оглавленіе.

Стр.

ПРЕДИСЛОВІЕ I

В. Г. Бѣлинскій.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Бѣлинскій въ характеристикахъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Герцена, Панаева.—Русская критика о Бѣлинскомъ: Дружининъ, К. Полевой, Аполлонъ Григорьевъ, Чернышевскій и Добролюбовъ, Писаревъ, Пыпинъ, Кавелинъ, Скабичевскій, Михайловскій и Чуйко 1

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Станкевичъ.—Его характеристика.—Философскіе и эстетическіе взгляды Станкевича.—Гегель въ собственныхъ произведеніяхъ и Гегель въ статьяхъ Бакунина и Бѣлинскаго.—Разумная дѣйствительность.—Поправка Станкевича. — Гаймъ и П. Лавровъ. — Политическіе взгляды Гегеля въ изложеніи проф. Александра Градовскаго. — Философскія и эстетическія теоріи Надеждина. — «Литературныя мечтанія» Бѣлинскаго . . . 40

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Сочиненія Бѣлинскаго: тома I—XII 81

Н. А. Добролюбовъ.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Бѣлинскій и Добролюбовъ.—Жизнь Добролюбова.—Три характерныхъ момента въ его жизни.—Ихъ истинный характеръ и значеніе.—Вопросъ о религіозности Добролюбова.—Увлеченіе семинарскимъ учителемъ. — Романическій элементъ въ жизни Добролюбова. — Критическая литература о Добролюбовѣ.—Панаевъ.— Замѣтки Зарина о Чернышевскомъ и Добролюбовѣ.—Открытое письмо Чернышевскаго къ Зарину и отвѣтъ послѣдняго.—Статьи Николая Соловьева, Зайцева и Скабичевскаго 129

Стр.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Первые шаги Добролюбова на литературномъ поприщѣ. — Полемика съ Галаховымъ.—«Вопросы жизни» Н. И. Пирогова и «Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя розгами» Добролюбова. — Прощаніе кіевскаго общества съ Пироговымъ. — Журнальныя нападки на Добролюбова.— Письма Судовщикова и Драгоманова. — Самозащита «Современника». — Печатныя объясненія Пирогова. — Кто правъ и кто виноватъ?—Мелкія библіографическія замѣтки Добролюбова и его политическія статьи. — Монталамберъ и Кавуръ 167

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Философскіе взгляды Добролюбова. — Борьба съ наивнымъ сентиментализмомъ подъ видомъ борьбы съ идеализмомъ.—Ученіе о гармоническомъ развитіи человѣка.—Роль личности въ исторіи —Внутреннія противорѣчія.— Мелкія критическія замѣтки Добролюбова. — «Очеркъ исторіи русской поэзіи» А. Милюкова.—Орестъ Миллеръ.—Статьи о Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Достоевскомъ. — Характеристика «Свистка».—Первые шаги Конрада Лиліенштвагера. — Протестъ литераторовъ противъ «Иллюстраціи».—Диспутъ Погодина и Костомарова.—Эпизодъ съ Якушкинымъ.—Общіе выводы.—Заключеніе 204

Журналистика шестидесятыхъ годовъ.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Чернышевскій и Юркевичъ.

Н. Г. Чернышевскій.—«Антропологическій принципъ въ философіи».—Возраженія Юркевича.—Жюль Симонъ, Шопенгауэръ, Милль, Прудонъ въ изображеніи Чернышевскаго.—Катковъ. — «Полемическія красоты».—Схватка съ «Отечественными Записками».—Писаревъ 253

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Философская дѣятельность Юркевича.

Первыя философскія статьи Юркевича. Идея. Матеріализмъ. Сердце. — Три вида аскетизма. — Критика Гегеля.—Критика Канта. — Миръ съ ближними. — Вступительная лекція Юркевича въ Москвѣ. — Газетные отзывы.—Антоновичъ и Юркевичъ.—Кіевскій профессоръ Шульгинъ и полемика противъ него Юркевича.—Стихотворная клевета Д. Минаева.—Публичныя чтенія Юркевича по философіи. — Новая журнальная буря. — Веселый походъ на Юркевича. — Полемика со Спасовичемъ.—Актовая рѣчь Юркевича о Платонѣ и Кантѣ.—Замѣтка Страхова.—Смерть Юркевича. — Вл. Соловьевъ объ Юркевичѣ. 316

Приложеніе: письмо И. Н. Захарьина (Якунина).

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Полемическія бури.

Преемникъ Чернышевскаго М. Антоновичъ. — Борьба Лаврова съ Антоновичемъ и Писаревымъ.—Журнальная дѣятельность Ѳ. М. Достоевскаго.—

Стр.

«Время». — Полемика Достоевскаго съ утилитаристами и чистыми эстетиками.—Нападки Достоевскаго на Каткова и на Аксакова.—Н. Косица.—«Свистуны изъ хлѣба и кнутикъ рутиннаго либерализма». — Полемическая баталія между «Временемъ» и «Современникомъ». — «Молодое перо».—Фарсъ въ «Искрѣ» и «Русскомъ словѣ».—«Роковой вопросъ» и прекращеніе «Времени». — Второй журналъ братьевъ Достоевскихъ: «Эпоха».—«Стрижи», два фантастическихъ романа: «Щедродаровъ» и «Сысоевскій».—Ругня Антоновича и строфа изъ порнографическаго романса.—Посѣвы прошедшаго времени и всходы современности. . . . 369

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Расколъ въ радикальной партіи.

Либеральное уподобленіе Тургенева Аскоченскому.—Бурныя событія эпохи.—Направленіе «Отечественныхъ Записокъ». — Громека и его заступничество за радикальные журналы. — Сатирическіе фельетоны Щедрина въ «Современникѣ».—Колебанія въ политическомъ направленіи «Современника».—Выходка противъ нигилистовъ.—Насмѣшка Щедрина надъ романомъ Чернышевскаго. — Первая схватка съ «Русскимъ Словомъ». — «Лукошко глубокомыслія» и «бутерброды глубокомыслія». — Отъѣздъ Щедрина и рѣшительная битва между обоими журналами.—Вмѣшательство Писарева. — Антоновичъ и Писаревъ о Чернышевскомъ.—Чернышевскій о Чернышевскомъ. — Побѣда «Русскаго Слова» и паденіе «Современника».—Прекращеніе обоихъ журналовъ и возникновеніе новыхъ изданій 421

Д. И. Писаревъ.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Общая характеристика.

Дѣтскіе годы.—Первая любовь. — Университетская жизнь, студенческій кружокъ, Трескинъ.—Движенія въ университетѣ, женскій вопросъ, разборъ «Обломова» въ «Развѣтѣ». — Первыя статьи Писарева въ «Русскомъ Словѣ».—Психическое разстройство, окончаніе университета.—Заключеніе романа и скандалъ на вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги. — Крѣпость. — Труды, письма, ссора съ Благосвѣтловымъ, сотрудничество въ „Отечественныхъ Запискахъ».—Смерть. 477

Приложеніе: письмо А. К. Шеллера (Михайлова).

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Первые литературные шаги Писарева.

Библіографическія замѣтки Писарева въ журналѣ «Развѣтъ». — Эмансипація женщины.—Три статьи о Гончаровѣ, Тургеневѣ и Толстомъ. — Эстетическіе, моральные и религіозные взгляды Писарева въ этомъ періодѣ его литературной дѣятельности.—Первые шаги его въ „Русскомъ Словѣ».—Безплодное обличеніе нравовъ.—Книжки для народа. — Идеи Платона предъ судомъ Писарева.—Схоластика XIX вѣка. — Торжество матеріализма.—Компилятивныя статьи по естествознанію.—Характеристики Писемскаго, Тургенева, Гончарова. — Нападки на Фета и Полон-

Стр.

сного. – Базаровъ.—Ошибка Писарева въ характеристикѣ этого типа.— Паденіе и смерть Базарова. — Статья Н. Страхова объ «Отцахъ и дѣтяхъ» 507

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Писаревъ въ расцвѣтѣ своего таланта.

Полемика съ „Русскимъ Вѣстникомъ".—Писаревъ и Герценъ о Кирѣевскомъ.— Писаревъ о Петрѣ Великомъ. — Историческія, естественно-научныя, философскія и педагогическія статьи Писарева. — «Темное царство» въ новомъ освѣщеніи.—Реалистическій взглядъ на любовь и ревность.— Первыя нападки на искусство. — Пушкинъ и Бѣлинскій.—Разрушеніе эстетики.—Два романа съ эмансипаторскими идеями.—«Новый типъ».— Проблески новыхъ настроеній.—Заключеніе. 546

Валеріанъ Майковъ и Аполлонъ Григорьевъ.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Эстетическіе и общественные вопросы передъ судомъ соціологической критики 601

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Теорія и законы органической критики 639

Приложеніе: изъ письма Я. П. Полонскаго къ А. Н. Островскому.

Полемическіе матеріалы.

Чернышевскій и Гоголь. Чернышевскій о Пушкинѣ и Гоголѣ.—Значеніе Пушкина.—Невѣрный взглядъ на Гоголя. — Завѣщаніе. — Авторская исповѣдь. — Выбранныя мѣста изъ Переписки съ друзьями. — Критическіе отзывы о Перепискѣ Бѣлинскаго, кн. П. Вяземскаго, Чаадаева, Жуковскаго и гр. Льва Толстого 687

«Очерки Гоголевскаго періода» и вопросъ о гегеліанствѣ Бѣлинскаго. 720

Гоголь, какъ профессоръ 731

Эстетическое ученіе Чернышевскаго 738

О причинахъ упадка русской критики. Книга Д. Мережковскаго о причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы.— Существуетъ-ли русская литература? — Родоначальникъ русской поэзіи въ характеристикахъ Тургенева, Островскаго, Достоевскаго.—Русская критика Буренинъ, Протопоповъ, Скабичевскій. — Идеализмъ, символизмъ, мистицизмъ 751

Приложеніе: Возраженіе «Вѣстника Европы».

Свободная критика передъ судомъ буржуазнаго либерализма. (Отвѣтъ «Вѣстнику Европы») 776

Н. Михайловскій и его разсужденія о русской литературѣ. 786

Вражда и борьба партій 810

Собранныя въ этой книгѣ статьи мои печатались въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» со времени издательства моего сотоварища по литературѣ Л. Я. Гуревичъ, которой я обязанъ ихъ появленіемъ на страницахъ журнала. Издавая эти статьи въ настоящемъ видѣ, я хотѣлъ представить болѣе или менѣе законченный трудъ по исторіи русской критики въ ея главнѣйшихъ моментахъ. Наиболѣе выдающимся критикамъ посвящены, какъ увидитъ читатель, отдѣльные очерки, образующіе значительнѣйшую часть книги, хотя объ одномъ изъ нихъ приходилось писать только отрывочными чертами, между другими, болѣе подробными, характеристиками. Эти какъ-бы недописанныя и разбросанныя разсужденія читатель найдетъ въ статьяхъ о Добролюбовѣ, о журналистикѣ 60-хъ годовъ, о Писаревѣ, а также въ отдѣлѣ «Полемическихъ матеріаловъ». Замѣчу, что большинство работъ, вошедшихъ въ этотъ послѣдній отдѣлъ, было напечатано мною ранѣе вышеозначенныхъ моихъ статей и даже явилось въ нѣкоторой степени побудительной причиной для ихъ написанія: затронутые вопросы подняли въ печати полемику и, обнаруживъ всю неподвижность и рутинность общественнаго мнѣнія по отношенію къ извѣстнымъ авторитетамъ въ области русской критики, заставили меня обратиться къ подробному разсмотрѣнію литературной дѣятельности Бѣлинскаго, Добролюбова, Писарева и другихъ современныхъ имъ писателей. На разрѣшеніе этой задачи я употребилъ два года почти непрерывнаго журнальнаго труда, давшаго въ результатѣ основное содержаніе этой книги. Интересуясь не отдѣльными, разрозненными литературными явленіями, а болѣе или менѣе цѣльными картинами нѣсколькихъ, смѣнившихъ другъ друга, историческихъ эпохъ, я старался прослѣдить дѣятельность извѣстныхъ русскихъ критиковъ въ ея первоисточникахъ—по старымъ журналамъ и даже газетамъ, дававшимъ откликъ на то, что возбуждало и волновало общественное мнѣніе. Но, прибѣгая къ этой исторической формѣ обслѣдованія литературныхъ матеріаловъ, я считалъ безплоднымъ тотъ пріемъ историческаго повѣствованія, который приводитъ къ примирительному объясненію устарѣвшихъ культурныхъ понятій — независимо отъ ихъ внутренней цѣнности. Я хотѣлъ не разсказывать, а судить. Исходя изъ той мысли, что жизнь, а съ нею и духовное творчество — наука, искусство, литература, — есть постоянное, прогрессивное развитіе идеальныхъ силъ и запросовъ, я считаю всякое успокоеніе на формулахъ прошедшей умственной

дѣятельности, всякое оправданіе логическихъ ошибокъ обстоятельствами соціальнаго характера—свидѣтельствомъ холоднаго равнодушія къ истинѣ. Ничто не искупаетъ теоретической лжи, хотя-бы и невольной, безсознательной, хотя-бы окруженной самыми лучшими качествами и намѣреніями борцовъ даннаго историческаго момента. Преслѣдуя научную правду—ради чисто философскихъ цѣлей,—а не практическую справедливость, критика историческихъ явленій должна быть безпощадною въ своихъ приговорахъ надъ отживающими системами и отдѣльными превратными сужденіями. При анализѣ какихъ-либо типичныхъ образцовъ общественной мысли критика должна точно опредѣлять, что въ нихъ есть живого, истиннаго, вѣчнаго и что является преходящимъ элементомъ, который всецѣло принадлежитъ данной эпохѣ и вмѣстѣ съ нею вытѣснится новыми умственными силами и теченіями.

Изучая дѣятельность русскихъ критиковъ, я держался, какъ это будетъ видно изъ самой книги, того мнѣнія, что критика художественныхъ произведеній должна быть не публицистическою, а философскою,—должна опираться на твердую систему философскихъ понятій извѣстнаго идеалистическаго типа. Она должна слѣдить за тѣмъ, какъ поэтическая идея, возникнувъ въ таинственной глубинѣ человѣческаго духа, пробивается сквозь пестрый матеріалъ жизненныхъ представленій и взглядовъ автора. Эта поэтическая идея либо перерабатываетъ факты внѣшняго опыта и показываетъ ихъ въ томъ освѣщеніи, которое позволяетъ измѣрить ихъ истинную значительность, либо, при ограниченности природнаго таланта писателя, сама разлагается подъ вліяніемъ его психологическихъ особенностей и фальшивыхъ тенденцій его міровоззрѣнія. И настоящая литературная критика должна быть компетентна какъ въ оцѣнкѣ поэтическихъ идей, всегда имѣющихъ отвлеченную природу, такъ и въ раскрытіи творческаго процесса, который является взаимодѣйствіемъ сознательныхъ и безсознательныхъ силъ художника. Искусство можетъ выдать свои тайны только пытливой мысли философа, который въ созерцательномъ экстазѣ соединяетъ все конечное съ безконечнымъ, связываетъ психологическія настроенія, выливающіяся въ поэтическихъ образахъ, съ вѣчными законами мірового развитія.

Внимательное изслѣдованіе русской критики, можно сказать, съ первыхъ ея проблесковъ до ея современныхъ представителей, привело меня къ убѣжденію, что художественная русская литература до сихъ поръ не нашла себѣ истолкователей, которые стояли-бы на высотѣ этой трудной и чрезвычайно важной задачи. Искусство шло въ Россіи своими самобытными путями, независимо, а часто и въ глубокомъ противорѣчіи съ поверхностными умственными теченіями буржуазной культуры. Русская критика, которая даже въ своихъ лучшихъ представителяхъ никогда не углублялась до истинно-философскихъ идей, волнующихъ всякаго крупнаго художника, не могла идти навстрѣчу настоящему искусству, сближать его съ сознательною жизнью русскаго общества. Вдохновляясь гуманными стремленіями, она, однако, не умѣла укрѣпить ихъ на непоколебимыхъ основаніяхъ и, вопреки собственнымъ непосредственнымъ влеченіямъ, замыкалась въ тѣсный кругъ внѣшнихъ соціальныхъ задачъ и интересовъ, игнорируя задачи и интересы внутренней, умственной и эстетической культуры. Она оставляла безъ разработки то, что есть самаго существеннаго во всякомъ глубокомъ поэтическомъ произведеніи.

Она не вскрывала тѣхъ духовныхъ источниковъ искусства, въ которыхъ оно почерпаетъ свои идеальные замыслы. А между тѣмъ, истинная критика должна изслѣдовать художественныя и поэтическія произведенія, такъ сказать, извнутри, подходя къ нимъ съ идеалистическимъ мѣриломъ и разсматривая весь конкретный матеріалъ искусства только, какъ форму болѣе или менѣе совершеннаго воплощенія высшихъ философскихъ началъ. Только при такой критикѣ, которая можетъ придти на помощь лучшимъ инстинктамъ художественныхъ талантовъ въ борьбѣ съ ошибками ихъ собственнаго случайнаго опыта, искусство окрѣпнетъ въ своихъ коренныхъ основахъ и, переживъ броженія современной исторической эпохи, вступитъ въ новую стадію своего развитія, создастъ совершенные образцы новой красоты, болѣе прозрачной, гармонирующей съ идеальными требованіями просвѣтленнаго нравственнаго чувства и убѣжденія.

Ради этой широкой задачи, назрѣвшей для даннаго момента, я считалъ необходимымъ произвести эту неблагодарную подготовительную работу—подробно разсмотрѣть и оцѣнить литературную дѣятельность наиболѣе авторитетныхъ и вліятельныхъ русскихъ критиковъ.

А. Волынскій.

С.-Петербургъ
1895, Ноября 21.

В. Г. Бѣлинскій.

Источники:

И. С. Тургеневъ. Сочиненія. Посмертное изданіе 1883 г., т. I. Воспоминанія о Бѣлинскомъ.

И. А. Гончаровъ. Четыре очерка. Замѣтки о личности Бѣлинскаго.

Ѳ. М. Достоевскій. Собраніе сочиненій, изд. 1883, т. I. Письмо къ Н. Н. Страхову. 1871 г. стр. 311—314.—Дневникъ Писателя. „Гражданинъ“ 1873 г., № 1, стр. 14—17.

A. Herzen. Du Développement. 1851, стр. 129—135.

А. И. Герценъ, Сочиненія, *Былое и Думы.* изд. 1879 г., т. VII. глава XXV.

М. Погодинъ. Къ характеристикѣ Бѣлинскаго, справка съ объясненіемъ, „Гражданинъ“ 1883, стр. 272—275.

И. И. Панаевъ. Литературныя воспоминанія, изд. 3-е, 1888 г. Воспоминанія о Бѣлинскомъ, стр. 285—316.

А. В. Дружининъ. Критика Гоголевскаго періода русской литературы и наши къ ней отношенія. „Библіотека для чтенія“ 1856. 11—12. стр. 1—64, и „Библіотека для чтенія“ 1860, кн. I, „Сочиненія Бѣлинскаго, т. 1—3“, стр. 1—42.

Ксенофонтъ Полевой. Сочиненія Бѣлинскаго. I, II, III, IV. *Сѣверная Пчела.* 1859 г. № 229, 284.

С. С. Дудышкинъ. Шипящіе старики. „Отечеств. Записки“ 1859, кн. 11, стр. 33—36.

П. И. Вейнбергъ. Литераторы съ замыслами. „Библіотека для чтенія“ 1859, кн. 11-ая стр. 56—60.

Аполлонъ Григорьевъ. Соч. т. I. „Русская литература со смерти Пушкина“, „Бѣлинскій и отрицательный взглядъ въ литературѣ“ и „Время“ 1861 г. № 3: „Знаменитые европейскіе писатели передъ судомъ русской критики“.

Н. А. Добролюбовъ. Сочиненія. т. II, „Литературныя мелочи прошлаго года“. стр. 375, и „Сочиненія В. Бѣлинскаго“, стр. 463—464, изд. 1885 г.

Д. И. Писаревъ. Сочиненія. т. III, Пушкинъ и Бѣлинскій.

А. Н. Пыпинъ. Характеристика литературныхъ мнѣній отъ 20-хъ до 50-хъ годовъ, 1873 и „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“, два тома, 1876.

К. Кавелинъ. Бѣлинскій и послѣдующее движеніе нашей критики (письмо А. Н. Пыпину), „Недѣля“, 1875, № 40.

А. Скабичевскій. Очерки умственнаго развитія нашего общества, „Отеч. Записки“. 1871. январь, февраль, октябрь. главы VI, VII, XI.

Н. Михайловскій. Сочиненія. т. III, Прудонъ и Бѣлинскій.

В. Чуйко. Очерки развитія русской критики. „Наблюдатель“. 1887, августъ, сентябрь, октябрь.

П. В. Анненковъ. Николай Владиміровичъ Станкевичъ, переписка его и біографія. Москва. 1857 г.

Философскій Лексиконъ, томъ II. Кіевъ. 1861 г.

Hegel, Wissenschaft der Logik, Herausgegeben von Dr. Leopold von Henning. Berlin. 1834. Erster Theil, Zweite Abth. *Das Wesen*, Die *Ersheinung*, *Die Wirklichkeit.*

Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Herausgegeben von Dr. Eduard Gans, Berlin. 1833. См. *Vorrede* des Herausgebers und *Vorrede* von Hegel.

Логика Гегеля, изданная Леопольдомъ Геннингомъ, съ дополнительными поясненіями и примѣчаніями по изустнымъ чтеніямъ автора. Переводъ Чижова. Москва. 1861 г.

Edward Caird. Hegel. 1883 г., стр. 221—224.

Адольфъ Тренделенбургъ, Логическія изслѣдованія. ч. I, стр. 40—114.

Михаилъ Бакунинъ. «Московскій Наблюдатель» 1838 г., ч. XVI, мартъ, Гимназическія рѣчи Гегеля, предисловіе.

Р. Гаймъ, Лекціи, Гегель и его время, перев. П. Соляникова. 1861 г.

П. Лавровъ, Гегелизмъ, „Библіотека для чтенія“ 1858 г., май, сентябрь.

Проф. *А. Д. Градовскій*, Политическая философія Гегеля. «Журналъ министерства народн. просв.» 1870 г., іюль.

Н. А. Добролюбовъ, Сочиненія, т. II. «Николай Влад. Станкевичъ».

П. Прозоровъ, Бѣлинскій и Московскій университетъ въ его время. «Библіотека для чтенія» 1859 г., декабрь.

Проф. *Надеждинъ.* По поводу всеобщаго начертанія теоріи изящныхъ искусствъ, Бахмана, переводъ М. Чистякова, «Телескопъ» 1832 г., ч. VIII, №№ 5, 6, 8. — По поводу Lehrbuch der Naturphilosophie von Oken, «Телескопъ» 1832 г., ч. VIII, № 8, стр. 509. — Необходимость, значеніе и сила эстетическаго образованія, «Телескопъ» 1831 г. № 10.—О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ, рѣчь проф. Надеждина, произнесенная въ торжеств. собраніи университета 1833 г. іюля 6. «Ученыя записки Императорскаго Московскаго университета», Москва 1833 г., часть I, іюль, августъ, сентябрь.—По поводу «Русской были XV в.» Н. Полевого, «Шемякина суда» П. Свиньина, «Стрѣльцовъ» К. Массальскаго и «Послѣдняго Новика» И. Лажечникова. «Телескопъ» 1832 г. № 14. — По поводу послѣдней главы «Евгенія Онѣгина», третьей части стихотвореній А. Пушкина и стихотвореній Виктора Теплякова. «Телескопъ» 1832 г. № 9.

В. Г. Бѣлинскій, Сочиненія, т. I—XII.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Бѣлинскій въ характеристикахъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Герцена, Панаева. Русская критика о Бѣлинскомъ: Дружининъ, К. Полевой, Аполлонъ Григорьевъ, Чернышевскій и Добролюбовъ, Писаревъ, Пыпинъ, Кавелинъ, Скабичевскій, Михайловскій и Чуйко.

I.

Имя Бѣлинскаго вызываетъ почти всеобщее поклоненіе. Его страстная натура, никогда не знавшая покоя, его любовь къ правдѣ, его литературный талантъ, пылко откликавшійся на всѣ явленія современной ему жизни, лихорадочный жаръ агитатора, до послѣдней минуты не перестававшаго бороться за успѣхи русскаго просвѣщенія—эти свѣтлыя, привлекательныя особенности Бѣлинскаго достаточно объясняютъ ту горячую симпатію, которую онъ возбуждаетъ къ себѣ во всѣхъ слояхъ русскаго общества. Но раздѣляя общее сочувствіе къ возвышенному и вдохновенному писателю, мы хотимъ начертить его образъ безпристрастною рукою. Мы разсмотримъ все, что говорилось о немъ характернаго, изслѣдуемъ источники его философскихъ идей и понятій и, представивъ картину его литературной дѣятельности, какъ она выразилась въ его сочиненіяхъ, не побоимся отмѣтить пробѣлы въ его общемъ міросозерцаніи и промахи въ его критическихъ сужденіяхъ.

Изучая нашу публицистическую литературу со времени Бѣлинскаго, присматриваясь къ этимъ поразительнымъ нравамъ, въ которыхъ человѣческое страстотерпчество шло рядомъ съ разнузданнымъ издѣвательствомъ надъ вопросами философіи, искусства, къ этимъ журнальнымъ сатурналіямъ, которыя устраивались съ высшими либеральными цѣлями, съ негодованіемъ противъ всего, что не соприкасается съ матеріальными нуждами даннаго времени, нельзя не понять всей необходимости разобраться именно въ дѣятельности Бѣлинскаго. Въ ней мы должны найти тотъ матеріалъ, изъ котораго создалась послѣдующая журнальная кри-

тика, хотя въ ней же пробивались и тѣ лучшія начала, которыя, не зародившись въ собственномъ сознаніи русскаго общества, мало по малу совершенно заглохли, ко вреду русскаго просвѣщенія, подъ шумъ и ревъ публицистической агитаціи, заполонившей всѣ сферы общественной жизни. Въ Бѣлинскомъ, этомъ страстномъ бойцѣ съ болѣзненно впечатлительными нервами, съ раздраженною нетерпимостью ко всякому противорѣчію, съ непосредственною, чуткою любовью къ литературной красотѣ, не было той всеобъемлющей системы мысли, которая могла-бы внести духъ высшаго порядка, послѣдовательность и цѣлесообразность во всю его сложную умственную работу. Въ этомъ проявились типичнѣйшія психологическія особенности русскаго дѣятеля, въ которомъ каждая мысль, раньше чѣмъ развернуться въ стройную логическую систему, превращается въ живое, смѣлое чувство, въ неотступное стремленіе къ практическому подвигу. Убѣжденія Бѣлинскаго не стояли на уровнѣ его чувствъ, и умъ его, капризно видоизмѣняя свое отношеніе къ различнымъ литературнымъ явленіямъ, по мѣрѣ того, какъ волна жизни приносила новыя, неожиданныя впечатлѣнія, терялся въ логическихъ противорѣчіяхъ—то падалъ, то поднимался высоко, загорался истинами, открытыми въ пылу восторга и увлеченія. Чувства разжигались, борьба принимала мало-по-малу сектантскій характеръ, литературно-критическая дѣятельность замыкалась все болѣе узкими, хотя и отчетливо сознаваемыми задачами, а философскія убѣжденія — душа критики, ея смыслъ, ея высшее назначеніе — разносились по теченію вѣтра, дующаго по прихоти историческихъ обстоятельствъ. Именно то, что направляетъ критическую работу, даетъ ей и цѣль, и орудіе для достиженія этой цѣли, никогда не составляло преобладающей силы въ дѣятельности Бѣлинскаго, и на всѣхъ стадіяхъ его умственнаго развитія было только поэтическимъ отраженіемъ общественныхъ и духовныхъ движеній въ западной Европѣ. По существу своей натуры, по природному таланту Бѣлинскій не былъ мыслителемъ, философомъ, призваннымъ вырабатывать какія-нибудь новыя идеи, раскрывать новые духовные горизонты. Онъ былъ горячимъ трибуномъ родного искусства, восторженнымъ провозвѣстникомъ родныхъ талантовъ, готовымъ оборонять ихъ интересы если не доводами убѣжденія, то патетическими словами страстной любви, мольбою, заклинаніями и воззваніями, обращенными къ сердцу русскаго общества. Онъ былъ основателемъ русской критики, но вовсе не потому, что сумѣлъ установить и защитить въ авторитетныхъ выраженіяхъ надлежащіе эстетическіе критеріи, а только потому, что имѣлъ достаточно душевныхъ силъ, чтобы впервые привести въ движеніе и взволновать кипящіе источники національнаго творчества. Призвавъ сочувствіе общества къ блестящимъ явленіямъ русской словесности, къ художественнымъ и поэтическимъ созданіямъ Пушкина, Лермонтова,

Гоголя, онъ не сумѣлъ обставить непоколебимыми логическими доказательствами и объясненіями своихъ собственныхъ приговоровъ и оцѣнокъ и, такимъ образомъ, предоставилъ на волю судебъ дальнѣйшее развитіе критической мысли и общественныхъ симпатій. Онъ вызвалъ движеніе, но не направилъ его по опредѣленному руслу, отвѣчающему его принципіальнымъ убѣжденіямъ. Онъ не оставилъ въ наслѣдство послѣдующимъ поколѣніямъ никакого опредѣленнаго метода, никакихъ отправныхъ посылокъ для эстетической оцѣнки, никакихъ положеній для историческаго и психологическаго объясненія фактовъ литературы. Онъ огненными буквами вписалъ свое собственное имя въ исторію русской литературы, но ни по своимъ теоретическимъ способностямъ, ни по размѣрамъ своего творческаго дарованія не могъ произвести окончательнаго воздѣйствія на дальнѣйшій ходъ сознательной русской жизни. Въ немъ не было той умственной силы, которая, исходя изъ стойкихъ идеаловъ и непоколебимыхъ теоретическихъ понятій, является культурнымъ рычагомъ, сообщающимъ опредѣленное направленіе историческому прогрессу...

Таковъ былъ этотъ литературный вождь молодого общества, съ его ужаснымъ историческимъ наслѣдствомъ, которое тревожило всѣ лучшіе умы эпохи, душило ихъ временными, изсушающими мозгъ нуждами и заботами. Онъ былъ выразителемъ современныхъ умственныхъ потребностей, передовою волною своего общества, не поднимавшагося до яснаго и полнаго разумѣнія высшихъ задачъ литературы, высшаго назначенія жизни.

II.

Современники такъ описываютъ внѣшній видъ Бѣлинскаго.

Это былъ человѣкъ средняго роста, худощавый, блѣдный, съ большими, сѣроголубыми глазами, съ густыми, бѣлокурыми волосами, падавшими на прекрасный, бѣлый, хотя и низкій лобъ. Выдающаяся лопатка, постоянный кашель, тембръ нервическаго, хрипящаго голоса обнаруживали въ немъ чахотку, которою онъ страдалъ съ раннихъ лѣтъ. Онъ говорилъ съ особенными удареніями и придыханіями—и когда говорилъ, вся его прямая, деликатная натура отражалась въ его чудныхъ глазахъ, въ обычное время полузакрытыхъ рѣсницами и только въ минуты интересной бесѣды расширявшихся и сверкавшихъ золотыми искорками въ глубинѣ зрачковъ. Затронутый чѣмъ-нибудь, взволнованный споромъ, Бѣлинскій вдругъ выросталъ, слова его лились потокомъ, вся фигура дышала энергіей и силой. Онъ нападалъ на собесѣдника съ ожесточеніемъ, рвалъ его на части, дѣлалъ смѣшнымъ, жалкимъ, играя имъ, какъ соломенкой и по дорогѣ развивая свою собственную мысль съ удивительнымъ талантомъ, съ необычайной поэзіей. Въ эти минуты отъ застѣнчиваго, робкаго и неловкаго Бѣлинскаго не оставалось ни слѣда: онъ былъ

неузнаваемъ. Споръ очень часто оканчивался кровью, разсказываетъ Герценъ. Блѣдный, задыхающійся, онъ дрожащей рукой поднималъ ко рту платокъ и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своею физической слабостью... Такимъ же былъ онъ и тогда, когда писалъ какую-нибудь статью, которая уже успѣла захватить его. Глаза его горѣли, перо съ необыкновенной быстротою бѣгало по бумагѣ, и, постоянно отбрасывая въ сторону исписанный полулистъ, онъ могъ не отходить отъ стола въ теченіе многихъ часовъ, сохраняя при этомъ на лицѣ одно и то же напряженное выраженіе. На улицѣ онъ былъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Пробираясь вдоль стѣнъ торопливой и неровной походкой, въ старой енотовой шубенкѣ и стоптанныхъ галошахъ, онъ производилъ впечатлѣніе травленнаго волка—своею пугливою серьезностью, тревожными взглядами, которые онъ бросалъ по сторонамъ. Человѣкъ своего маленькаго, тѣснаго кружка друзей, Бѣлинскій чувствовалъ себя плохо повсюду, гдѣ нельзя было вести себя просто, на-распашку, гдѣ тѣ или другія условныя приличія и стѣсненія задерживали естественное выраженіе волновавшихъ его чувствъ—и онъ сторонился такъ называемаго большого свѣта съ нѣкоторымъ непроизвольнымъ и, конечно, совершенно невиннымъ демократическимъ кокетствомъ. Вѣрнымъ своей истинной природѣ, своимъ привычкамъ, своему темпераменту онъ могъ быть только у себя дома, среди людей, сплоченныхъ въ дружескій союзъ силою его духа и убѣжденій. Здѣсь онъ не робѣлъ, не терялся. Здѣсь въ часы досуга онь любилъ расхаживать въ сѣромъ сюртукѣ, застегнутомъ на-криво, постукивая пальцами по табакеркѣ съ русскимъ табакомъ и мысленно отдыхая на какомъ-нибудь предметѣ. Здѣсь онъ иногда предавался громкому, неудержимому смѣху, какъ ребенокъ, когда что-нибудь смѣшило его. Здѣсь чисто русская, московская повадка легко и свободно выступала во всемъ, что онъ говорилъ или дѣлалъ, во всѣхъ его манерахъ, во всѣхъ его движеніяхъ.

Это была дѣйствительно страстная и дѣйствительно искренняя натура, способная къ беззавѣтному увлеченію, умѣвшая любить и ненавидѣть безкорыстно. Это была цѣломудренная, мягкая, рыцарски честная душа, которая мѣняла свои симпатіи не по капризу, а по искреннему и всегда возвышенному убѣжденію. Онъ относился къ своимъ кумирамъ такъ, какъ донъ-Жуанъ относится къ женщинамъ, говорилъ Гончаровъ: онъ то обольщался, то хладѣлъ, то возносилъ до небесъ, то мстилъ за прежнее поклоненіе съ яростью полнѣйшаго разочарованія. Онъ мчался всегда впередъ, не оглядываясь назадъ. Прошлое для него не существовало: онъ жилъ всегда настоящимъ и будущимъ—нетерпѣливый до ребячества, готовый на всякое самопожертвованіе, съ вѣчно приподнятыми нервами, вѣчно взволнованный, вѣчно негодующій. Онъ быстро схватывалъ на лету всякую новую идею и, если въ ней

искрился малѣйшій намекъ на истину, онъ немедленно-же дѣлался ея фанатическимъ апостоломъ. Гипотеза становилась символомъ вѣры, отвлеченная мысль принимала форму конкретнаго образа. «Невозможно себѣ представить, писалъ Тургеневъ, до какой степени Бѣлинскій былъ правдивъ съ другими и съ самимъ собою: онъ чувствовалъ, дѣйствовалъ, существовалъ только въ силу того, что онъ признавалъ за истину, въ силу своихъ принциповъ». Ничѣмъ неудержимый, безпощадный боецъ на бумагѣ, онъ не измѣнялъ своимъ мнѣніямъ и вкусамъ въ простыхъ разговорахъ. Всякое впечатлѣніе, залетѣвшій слухъ о новомъ общественномъ событіи, самое невинное замѣчаніе, услышанное на ходу,— все давало ему поводъ высказываться съ полнымъ размахомъ, открыто, громко, ярко, все давало пищу его неумолкающей критикѣ, все служило темой для самаго восторженнаго словоизліянія—иногда бурнаго, иногда злого, иногда удивительно тонкаго...

Тургеневъ оставилъ намъ небольшую, но интересную характеристику и личности и умственной физіономіи Бѣлинскаго. Главныя черты его дѣятельности, складъ его литературныхъ и нравственныхъ привычекъ, образующихъ его писательскую индивидуальность, отражены здѣсь съ тѣмъ чисто тургеневскимъ искусствомъ, въ которомъ убѣжденіе автора, его сочувствіе, его отрицаніе скрыты въ тончайшихъ словахъ и выраженіяхъ, придающихъ эффектную красоту самымъ тяжелымъ и подчасъ даже обиднымъ полемическимъ ударамъ. Предъ нами Бѣлинскій, человѣкъ непреодолимаго стремленія и порыва, въ электрическомъ свѣтѣ великолѣпныхъ фразъ,—Бѣлинскій, какъ бы вынутый изъ окружающей его поэтической легенды и начерченный съ артистическою изысканностью, безъ увлеченія, безъ сочувственнаго энтузіазма, съ критическими оговорками самаго ехиднаго свойства. Вы узнаете Бѣлинскаго, хотя видите при этомъ, что художникъ не отдалъ полной справедливости его душевной красотѣ, его проповѣдническому восторгу и слишкомъ легко отнесся къ тому, что составляло для Бѣлинскаго предметъ величайшихъ волненій, къ тѣмъ самымъ вопросамъ философскаго и эстетическаго содержанія, которые въ его литературной дѣятельности имѣли такое важное значеніе. Всѣ признаки натуры и темперамента, переданные Тургеневымъ, не противорѣчатъ оригиналу, слагаются въ цѣльный образъ, живутъ одною напряженною и стремительною жизнью, но въ общемъ производятъ все-таки нѣсколько неожиданное, расхолаживающее впечатлѣніе. Это Бѣлинскій, окинутый недовѣрчивымъ взглядомъ сверху внизъ, обрисованный съ поэтическимъ интригантствомъ, то недоконченными, отрывочными штрихами, за которыми чувствуется готовность автора оказать снисходительное вниманіе обстоятельствамъ времени, то преднамѣренно грубоватыми чертами, выдающими иронію и насмѣшку Тургенева надъ первымъ русскимъ критикомъ. Это характеристика, въ которой не опущена никакая

подробность, въ которой всѣ детали обличаютъ мѣткій глазъ художника, высокую интеллигенцію, прирожденный литературный аристократизмъ высшаго порядка, содрогающійся отъ мельчайшихъ проявленій безкультурности, но въ которой всѣ краски расположены болѣе или менѣе тенденціозно, не безъ лукаваго расчета на опредѣленное, не вполнѣ удовлетворяющее впечатлѣніе. Тургеневъ отнесся къ Бѣлинскому нѣсколько иронически. А между тѣмъ, его патетическая личность заслуживала совсѣмъ иного отношенія. Это—не кто-нибудь, а Бѣлинскій. Это пылкій цѣнитель всякаго свѣтлаго литературнаго явленія по непосредственному ощущенію, по инстинктивному чутью къ изяществу и красотѣ, которое дано не всѣмъ. Его ошибки вызваны не софизмами, а искреннимъ заблужденіемъ. Его промахи проникнуты тѣмъ-же увлеченіемъ, какимъ проникнуты и его блестящія литературныя побѣды. Онъ одинъ и тотъ-же повсюду: взволнованный, нервный, задыхающійся отъ нестерпимаго желанія сейчасъ-же осуществить всякій случайный порывъ души, одержимый фанатическою нетерпимостью къ врагу, тою нетерпимостью, безъ которой нѣтъ отважныхъ бойцовъ на поприщѣ человѣческаго блага.

Тургеневъ такъ опредѣляетъ умственный кругозоръ Бѣлинскаго: свѣдѣнія его, говоритъ онъ, были необширны, онъ зналъ мало. Бѣдность, окружавшая его съ дѣтства, плохое воспитаніе, раннія болѣзни, а потомъ тяжелая необходимость спѣшно работать изъ-за куска хлѣба помѣшали ему пріобрѣсти широкое и правильное образованіе. Хорошо онъ зналъ только русскую литературу, ея современное положеніе, ходъ ея историческаго развитія. Но именно недостаточное образованіе было въ данномъ случаѣ характеристическимъ признакомъ, почти необходимостью. «Бѣлинскій былъ тѣмъ, что я позволю себѣ назвать *центральною натурою*, говоритъ Тургеневъ, онъ всѣмъ существомъ своимъ стоялъ близко къ сердцевинѣ своего народа, воплощалъ его вполнѣ и съ хорошихъ и съ дурныхъ его сторонъ. Ученый человѣкъ не могъ-бы быть въ сороковыхъ годахъ такой русской центральной натурой: онъ не вполнѣ соотвѣтствовалъ-бы той средѣ, на которую пришлось-бы ему дѣйствовать, у него и у ней были-бы различные интересы, гармоніи-бы не было и, вѣроятно, не было-бы обоюднаго пониманія». Вожди современниковъ, въ какой-бы области они ни являлись, не должны стоять слишкомъ высоко: между тѣми и другими не должно быть бездны. Вождь долженъ обладать возвышеннымъ взглядомъ на вещи, твердостью характера, выдающимися нравственными качествами, но онъ долженъ быть *понятенъ* толпѣ. Пусть будетъ онъ значительнѣе своихъ современниковъ, но пусть стоитъ близко къ нимъ. Пусть возбуждаетъ онъ негодованіе, вызываетъ проклятіе тѣхъ, которыхъ онъ такъ или иначе тревожитъ, поднимаетъ съ мѣста, двигаетъ впередъ, но пусть не выходитъ изъ общества. Вождь долженъ участвовать не въ однихъ только качествахъ, но и въ недостаткахъ своей эпохи — иначе

современники не пойдутъ за нимъ. По научному своему развитію Сенковскій превосходилъ не только Бѣлинскаго, но и большую часть писателей того времени и, однако, положительнаго значенія онъ не могъ имѣть въ процессѣ нашего общественнаго самосознанія. Онъ былъ ученъ, блестящъ, остроуменъ, игривъ, но у него не было критическаго чутья, вкуса къ насущнымъ потребностямъ эпохи, не было любви къ читателю, и вся его литературная дѣятельность, въ которой было столько брезгливаго презрѣнія къ людямъ, свелась на какое-то безцѣльное, никому ненужное шутовство бойкаго и хлесткаго фельетониста. «Мнѣ кажется, замѣчаетъ Тургеневъ, что самый его скептицизмъ, его вычурность и гадливость происходили отъ того, что у него, какъ у человѣка ученаго, спеціалиста, и цѣли и симпатіи были другія, чѣмъ у массы общества». Но Бѣлинскій, значеніе котораго въ русской литературѣ напоминаетъ собою значеніе Лессинга въ нѣмецкой, могъ сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ онъ былъ, и безъ большого запаса научныхъ знаній. Онъ смѣшивалъ старшаго Питта съ его сыномъ, не хорошо разбирался въ вопросахъ философскихъ, невѣрно понялъ одинъ изъ важнѣйшихъ принциповъ гегелевской метафизики — что за бѣда: мы всѣ учились понемногу, чему нибудь и какъ нибудь! Для того дѣла, для котораго онъ былъ призванъ, для того, что ему предстояло исполнить, онъ зналъ достаточно. Испытавъ на самомъ себѣ всю горечь невѣжества, онъ тѣмъ страстнѣе и искреннѣе могъ бороться за просвѣщеніе русскаго общества. «Нѣмецъ старается исправить недостатки своего народа, убѣдившись размышленіемъ въ ихъ вредѣ, русскій еще долго самъ будетъ болѣть ими». Опредѣливъ такимъ образомъ значеніе Бѣлинскаго въ качествѣ «центральной натуры», Тургеневъ не могъ отнестись къ его философскимъ увлеченіямъ иначе, какъ съ нѣкоторымъ добродушно-лукавымъ глумленіемъ. Очевидное дѣло, если общество 40-хъ годовъ страдало невѣжествомъ, не было подготовлено къ серьезной умственной работѣ, не было историческимъ образомъ приведено къ высшимъ отвлеченнымъ вопросамъ, то всякая настоящая «центральная натура» того времени *должна была* страдать нѣкоторымъ невѣжествомъ, по крайней мѣрѣ въ предметахъ философскихъ. Тургеневъ выражаетъ эту мысль довольно опредѣленно. Недостаточное знаніе, говоритъ онъ, является въ данномъ случаѣ *характеристическимъ признакомъ*, почти необходимостью. Если-бы Бѣлинскій всецѣло проникся нѣмецкимъ идеализмомъ, если-бы онъ понялъ философію Гегеля такъ, какъ слѣдовало, какъ понялъ ее хотя-бы другъ и наставникъ его Станкевичъ, какъ понялъ и передалъ ее въ нѣкоторыхъ своихъ статьяхъ блестящій Герценъ, онъ не могъ-бы быть создателемъ русской критики, онъ затерялся-бы въ толпѣ журнальныхъ работниковъ, блещущихъ талантомъ, образованіемъ и, тѣмъ не менѣе, не оставляющихъ по себѣ глубокой борозды въ исторіи умственнаго развитія своей страны. Гегель могъ-бы остудить го-

рячую голову Бѣлинскаго, такъ сказать—внести ядъ разлагающей образованности въ эту невинную и своею невинностью сильную натуру! И какъ странно Тургеневъ разсказываетъ намъ, въ полушутливыхъ фразахъ, о философическихъ увлеченіяхъ Бѣлинскаго. Можно подумать, что рѣчь идетъ о какихъ-то дѣтскихъ пристрастіяхъ, о малозначущихъ порывахъ и умственныхъ капризахъ самаго некультурнаго свойства. Его тревожили, говоритъ онъ, вопросы, которые не даютъ покоя человѣку *особенно въ молодости*: философическіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и къ Божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души и т. п. Сомнѣнія мучили его, продолжаетъ Тургеневъ, лишали сна, аппетита, неотступно грызя его и днемъ, и ночью. Какъ только Тургеневъ, бывало, приходилъ къ нему, Бѣлинскій, исхудалый, больной, быстро вскакивалъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, начиналъ прерванную наканунѣ бесѣду о неразрѣшенныхъ вопросахъ. И въ то время, какъ неровный чахоточный румянецъ разливался по его лицу, Тургеневъ, уступая легкомыслію молодости, утомившись длинной бесѣдой, уже думалъ о прогулкѣ, объ отдыхѣ на чистомъ воздухѣ, объ обѣдѣ. Бѣлинскій горѣлъ и сгоралъ въ трепетѣ своихъ больныхъ, надорванныхъ нервовъ, а Тургеневъ, недавно пріѣхавшій изъ-заграницы, имѣвшій ключъ къ вѣрному пониманію Гегеля, вяло давалъ отвѣты на неотступныя, безъ конца сыпавшіяся, лихорадочныя замѣчанія и сомнѣнія своего пылкаго собесѣдника. «Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога, сказалъ онъ однажды съ горячимъ упрекомъ Тургеневу, а вы хотите ѣсть»! Но Тургеневъ, должно быть, оставался при своемъ и, отвѣдавъ отъ роскошнаго стола берлинской мудрости, съ эпикурейскимъ равнодушіемъ взиралъ на этого трогательнаго чахоточнаго пророка, который почти наканунѣ смерти, задыхаясь и кашляя, все еще мучился тѣми вопросами, которыми, по словамъ Тургенева, прилично терзаться только въ молодые годы и которые Бѣлинскій, повидимому, тщетно и вопреки своимъ лучшимъ духовнымъ инстинктамъ, старался оттолкнуть отъ себя, какъ-нибудь заслонить или задавить очередными задачами времени.

Тутъ есть надъ чѣмъ задуматься. Высокообразованный Тургеневъ, европеецъ съ ногъ до головы, русскій баринъ, прошедшій великолѣпную умственную школу, изящное воплощеніе русскаго поэтическаго темперамента, въ періодъ полной духовной зрѣлости сосредоточившись мыслью на первыхъ проблескахъ просвѣщенія въ русскомъ обществѣ, старается принципіально сузить смыслъ цѣлаго движенія и объяснить его не положительными, а отрицательными его сторонами. Создается теорія русской центральной личности съ чертою невѣжества, какъ необходимаго элемента въ процессѣ прогрессивнаго развитія общества. Высказывается съ увѣренностью мысль, что философія была-бы не въ пользу критику того

общества, которое уже тогда выдвинуло изъ свой среды людей съ выдающимся философскимъ образованіемъ. Это говорится въ ту самую минуту, когда русская литература, въ отдѣлѣ публицистики и критики, была доведена, именно благодаря недостатку философскихъ понятій и солиднаго научнаго развитія, до поразительной спутанности въ вопросахъ поэзіи и искусства. Но мы думаемъ, что Бѣлинскій могъ-бы остаться центральною натурою и въ томъ случаѣ, если-бы обладалъ цѣльнымъ и глубокимъ образованіемъ, если-бы онъ былъ не по инстинктамъ только, а по сознательному убѣжденію настоящимъ идеалистомъ, если-бы онъ не путался въ философскихъ терминахъ, занесенныхъ въ его голову случайными сообщеніями друзей, а твердо владѣлъ-бы философскими принципами, какъ своимъ достояніемъ, какъ своимъ естественнымъ содержаніемъ, если-бы умъ его, расширенный свѣтлымъ и яснымъ пониманіемъ задачъ искусства, смѣло и не сбиваясь съ пути, проводилъ въ жизнь свои лучшія кровныя убѣжденія. «Центральной» натурѣ не должна быть чужда философія, потому что ея главные, типическіе признаки заключаются въ манерѣ изложенія, въ страстной пропагандѣ у всѣхъ возможныхъ трибунъ, въ стремительномъ темпѣ борьбы, а вовсе не въ отрицаніи самой философіи. Бѣлинскій съ образованіемъ Герцена, съ образованіемъ нѣкоторыхъ выдающихся дѣятелей изъ партіи славянофиловъ, не только не потерялъ-бы въ своемъ значеніи, въ своей центральности, но безъ сомнѣнія выигралъ-бы и какъ боецъ, и какъ дѣятель русскаго общественнаго просвѣщенія. Онъ предотвратилъ-бы, быть можетъ, послѣдующій хаосъ понятій, который водворился въ нашей журналистикѣ. Онъ самъ не впалъ-бы въ многочисленныя ошибки и грубыя противорѣчія, которыя послужили опаснымъ прецедентомъ для будущихъ журнальныхъ дѣятелей. Правда, русская центральная натура, какъ она сложилась исторически, должна была вылиться въ типъ именно практическаго борца, отвертывающагося отъ всего, что не переходитъ непосредственно въ жизнь, въ сферу общественныхъ отношеній, но этотъ историческій фактъ вовсе не заключаетъ въ себѣ никакого принципіальнаго назиданія. Правда, русская натура, какъ мы сказали выше, тяготѣетъ больше всего къ филантропическому подвигу. Но вникая въ народную психологію, сличая между собою различныя явленія русской культуры, параллельное, хотя и неравномѣрное, развитіе въ русскомъ обществѣ теоретическихъ и практическихъ потребностей, приходится сказать, что философія никоимъ образомъ не должна быть чужда русскому духовному самосознанію. Болѣе того, самая выпуклость морально-практическихъ тенденцій въ русской жизни громко говоритъ за то, что въ глубинѣ русскаго характера таится живая потребность въ сознательномъ отношеніи къ высшимъ вопросамъ существованія, къ тѣмъ самымъ вопросамъ объ отношеніяхъ людей другъ къ

другу, о божествѣ, о происхожденіи міра, о безсмертіи души, которые Тургеневъ пренебрежительно откидываетъ въ область юношескихъ фантазій но которые, на самомъ дѣлѣ, составляютъ душу философіи и въ ней находятъ логическія основанія для своего разрѣшенія.

Еще одно мѣсто въ воспоминаніяхъ Тургенева заслуживаетъ нашего вниманія. Тургеневъ приводитъ отрывокъ собственной лекціи о Пушкинѣ, прочтенной въ 1859 году. Желая изобразить характеръ эпохи 30-хъ и 40-хъ годовъ, ораторъ долженъ былъ упомянуть, конечно, и о Бѣлинскомъ—и вотъ что было имъ между прочимъ сказано тогда объ основномъ принципѣ его дѣятельности. «Имя этому принципу, говоритъ Тургеневъ, идеализмъ. Бѣлинскій былъ идеалистъ въ лучшемъ смыслѣ слова. Въ немъ жили преданія того московскаго кружка, который существовалъ въ началѣ 30-хъ годовъ и слѣды котораго такъ замѣтны еще донынѣ. Вотъ откуда Бѣлинскій вынесъ тѣ убѣжденія, которыя не покидали его до самой смерти, тотъ идеалъ, которому онъ служилъ. Во имя этого идеала провозглашалъ Бѣлинскій художественное значеніе Пушкина и указывалъ на недостатокъ въ немъ гражданскихъ началъ. Во имя этого идеала привѣтствовалъ онъ и Лермонтовскій протестъ и Гоголевскую сатиру. Во имя этого же идеала сокрушалъ онъ старые авторитеты, наши такъ называемыя славы, на которыя онъ не имѣлъ ни возможности, ни охоты взглянуть съ исторической точки зрѣнія». Въ этомъ разсужденіи, отзывающемся непродуманностью и риторичностью, смѣшаны вещи различныхъ порядковъ, съ поразительными логическими промахами для такого тонкаго аналитическаго ума. Дѣйствительно, тѣ искры философскаго идеализма, которыя мелькаютъ въ лучшихъ статьяхъ Бѣлинскаго, составляютъ настоящее украшеніе его литературнаго таланта. Но, во-первыхъ, эти идеалистическія искры сверкали, по преимуществу, въ его произведеніяхъ первыхъ періодовъ, а во-вторыхъ, нѣтъ никакой возможности отнести къ одному и тому же принципу настроенія, породившія столь различныя явленія, какъ статьи, восхваляющія Пушкина, и статьи, дѣлающія ему незаслуженные упреки по вопросу объ его мнимомъ равнодушіи къ общественной жизни,—какъ статьи, возносящія до небесъ талантъ Гоголя и другія, незаслуженно и ошибочно унижающія смыслъ его самообличительныхъ и проповѣдническихъ порывовъ. Одинъ и тотъ же принципъ, одно и то же міросозерцаніе, сознаваемое съ логической ясностью и проводимое съ устойчивою убѣжденностью, не могли бы создать этихъ вопіющихъ противорѣчій въ дѣятельности Бѣлинскаго. Идеализмъ не былъ руководящей точкой зрѣнія Бѣлинскаго на всемъ протяженіи его критической работы. Онъ мелькалъ передъ его глазами, какъ чудная греза, которая то развертывалась въ фантастическихъ краскахъ какого-то юношескаго сновидѣнія, то блѣднѣла, удалялась и расплывалась передъ грубыми потребностями дня, теряя свою прелесть, свое очарованіе. Идеализмъ,

отвѣчавшій его духовнымъ инстинктамъ, но принесенный къ нему извнѣ, въ недостаточно оформленномъ видѣ, манилъ и раздражалъ его, моментами увлекалъ въ высоту, но въ общемъ никогда, даже въ самую лучшую эпоху, не былъ имъ усвоенъ въ достаточной полнотѣ и во всей его философской глубинѣ. Только этимъ однимъ и можно объяснить себѣ существенныя противорѣчія, раздирающія сочиненія Бѣлинскаго. Только незнаніемъ истинныхъ основъ философскаго идеализма и нужно объяснить себѣ то, что Бѣлинскій сталъ искать прогрессивныхъ началъ для литературы и жизни не въ самомъ идеализмѣ, не въ родникахъ его моральныхъ и реформаторскихъ стремленій, а гдѣ-то внѣ его предѣловъ, въ какихъ-то случайныхъ эмпирическихъ построеніяхъ. Только недостаточной проникновенностью въ вопросахъ философіи нужно объяснить себѣ и то печальное обстоятельство, что критика Бѣлинскаго, обладавшая такими выдающимися литературными достоинствами, блестящая по формѣ и увлекательная по вдохновенію, не создала никакой школы и осталась безъ рѣшительнаго воздѣйствія на исторію нашего дальнѣйшаго эстетическаго развитія. Другихъ причинъ, въ предѣлахъ самого Бѣлинскаго, мы не знаемъ: причины его ограниченнаго воздѣйствія на русскую литературу—въ немъ самомъ, въ его умственныхъ шатаніяхъ, столь трогательныхъ съ психологической стороны, въ его узкомъ кругозорѣ, въ его невысокомъ философскомъ развитіи. Этихъ фактовъ отрицать нельзя, и ихъ надо признать открыто ради насущныхъ потребностей нашего дальнѣйшаго развитія, ради нашихъ будущихъ успѣховъ на поприщѣ литературы. Не забудьте, что самыми вліятельными критиками послѣ Бѣлинскаго были Добролюбовъ, Чернышевскій, Писаревъ—люди, во всякомъ случаѣ, другого теоретическаго склада, взявшіе у Бѣлинскаго лучшую сторону его гуманныхъ общественныхъ тенденцій, но совершенно заглушившіе въ литературѣ его чисто-эстетическія и философскія стремленія. Не забудьте также, что тѣ самые поэтическіе таланты, которые были встрѣчены Бѣлинскимъ съ такимъ неподдѣльнымъ и горячимъ сочувствіемъ, не смогли даже воспользоваться его взглядами на литературу и отдались своему дѣлу, предавъ забвенію пламенныя увѣщанія учителя. Они пошли по влеченію своихъ непосредственныхъ инстинктовъ, которымъ критика Бѣлинскаго въ послѣднемъ ея періодѣ не давала никакого питанія, никакихъ образовательныхъ эстетическихъ основъ,—пошли своей дорогой, съ полнымъ довѣріемъ къ искусству, не заботясь о томъ, что между художественной литературой и критикой Россіи образуется цѣлая бездна, порождается расколъ, мертвящій и ту и другую.

III.

Тургеневъ далъ намъ чрезвычайно тонкую, хотя, какъ мы видѣли, по существу язвительную характеристику Бѣлинскаго. Гончаровъ, вѣрный своей натурѣ, своему писательскому темпераменту, оцѣнилъ Бѣлинскаго подъ другимъ угломъ зрѣнія, съ большею простотою, но едва-ли, все-таки вполнѣ справедливо. Объективный, спокойный, ровный, съ душою, обнимающей въ одномъ настроеніи самыя различныя явленія русской жизни, не склонной ни къ какому протесту, не любящей никакихъ ядовитыхъ стрѣлъ, вонзающихся въ какой-нибудь опредѣленный предметъ, Гончаровъ не могъ не заступиться за Бѣлинскаго по самому щекотливому пункту. Ну, что такое эти разговоры о необразованности такого возвышеннаго человѣка, съумѣвшаго разгадать столько великолѣпныхъ талантовъ, оцѣнить и освѣтить столько замѣчательныхъ литературныхъ явленій! Въ Обломовкѣ нашелся такой смѣлый трибунъ за дѣло литературы, и вдругъ именно онъ долженъ былъ оказаться, въ концѣ концовъ, недостаточно подготовленнымъ для нѣкоторыхъ частей своего дѣла! Если-бы кто-нибудь сумѣлъ увидѣть и отмѣтить съ спокойнымъ и широкимъ юморомъ поголовное невѣжество обитателей Обломовки, это было-бы справедливо и достойно художественнаго изображенія и всеобщаго вниманія. Но вынуть изъ Обломовки одного изъ лучшихъ ея обитателей, человѣка съ пылкимъ умомъ, съ фантазіей, съ мыслями, направленными на благо людей, съ поэтическимъ чутьемъ къ тому, что красиво, изящно и, такъ сказать, предать его публичному осмѣянію — это жестокая несправедливость, это поступокъ, возможный только тамъ, гдѣ не уважаютъ духа порядка и историческихъ преданій. Бѣлинскій необразованъ! Неужели нельзя выразиться осторожнѣе? Вспомните обстоятельства времени, примите въ расчетъ истинныя потребности и способности обломовцевъ, не увлекайтесь идеалами, «уходящими изъ всякаго реальнаго достиженія»!... Вотъ какъ разсуждаетъ Гончаровъ—художникъ громаднаго, чисто эпическаго таланта, воображеніе котораго парило надъ широкими русскими полями, теряющимися въ безконечныхъ горизонтахъ, не встрѣчая ничего особенно яркаго и рѣжущаго глазъ. «Въ относительной необразованности можно упрекнуть всякого, говоритъ онъ, не исключая самыхъ образованныхъ»—зачѣмъ-же нападать на Бѣлинскаго преимущественно передъ другими? Сочиненія его передъ нами, и развѣ можно показать съ полной убѣдительностью, что Бѣлинскій погрѣшалъ въ нихъ противъ чего-бы то ни было слабостью пониманія того, о чемъ писалъ? Не слѣдуетъ забывать, что пути образованія Бѣлинскаго были случайные. Онъ пріобрѣталъ знанія въ кругу товарищей, при совмѣстномъ чтеніи интересныхъ книгъ и «взаимнымъ объясненіемъ оригиналовъ или переводовъ съ иностранныхъ языковъ».

Развѣ это не школа, не академія, въ которой гранились другъ о друга юные умы? «Какого-же еще надо аѳинскаго портика съ Платономъ въ вицъ-мундирѣ и очкахъ? Не такъ-ли мы всѣ пріобрѣтали то, что есть въ насъ лучшаго и живого? Не такъ-ли въ юношескихъ университетскихъ кружкахъ и мы сортировали и осмысливали то, что уносили отъ кафедры?» Теперь представьте себѣ въ этой школѣ, продолжаетъ Гончаровъ, *мальчика* съ свѣтлой головой, любознательнаго, талантливаго, съ необыкновенной силой пониманія, доходящаго до степени ясновидѣнія—и что-же вамъ еще нужно? Бѣлинскій былъ образованнѣе всѣхъ своихъ сотоварищей, за исключеніемъ одного только Герцена. Онъ читалъ массу русскихъ и французскихъ произведеній по обязанности критика въ теченіе двадцати лѣтъ. Онъ учился за перомъ, въ бесѣдахъ съ друзьями, роясь постоянно въ безднѣ книгъ, проходившихъ черезъ его руки — развѣ этого мало? Нѣтъ, онъ зналъ достаточно, и то, что онъ зналъ, прямо служило его цѣли. «Онъ не держалъ на ученой конюшнѣ готоваго осѣдланнаго коня, съ парадной сбруей, а ловилъ изъ табуна первую горячую лошадь и мчался, куда нужно, перескакивая ученыхъ коней. Этотъ способъ партизанскихъ наѣздовъ именно и нуженъ былъ ему для его цѣлей»...

Однако, какъ это ни странно, Гончаровъ не выдерживаетъ до конца своего защитительнаго тона. Перечисливъ всѣ смягчающія обстоятельства, Гончаровъ замѣчаетъ, что, при болѣе систематическомъ образованіи, Бѣлинскій «съ бо̀льшимъ авторитетомъ» исполнилъ-бы ту громадную роль, какая выпала на его долю. Умственная подготовка, сотвѣтствующая его природнымъ силамъ, утвердила-бы его вліяніе на литературное развитіе общества, «упрочила-бы за нимъ значеніе его дѣятельности и заслуги—безъ всякихъ *сомнѣній и споровъ*».

Гончаровъ отнесся къ Бѣлинскому по-отечески. Онъ принялъ въ расчетъ всѣ обстоятельства, все, что отягчало жизнь Бѣлинскаго, даже труды его по чтенію иностранныхъ переводовъ въ роли журнальнаго критика, его чахоточное сложеніе—рѣшительно все, и затѣмъ произнесъ миролюбивое и въ основѣ своей очень трогательное сужденіе. Условія дѣятельности Бѣлинскаго были именно таковы, какъ представляетъ ихъ Гончаровъ—въ особенности, если откинуть кричащія краски романтизма, лежащія на всей эпохѣ, когда жилъ Бѣлинскій, если представить себѣ работу перваго русскаго критика какъ можно проще и конкретнѣе, внѣ усложняющаго и разжигающаго воображеніе историческаго рисунка. Конечно, Бѣлинскій ловилъ изъ табуна первую горячую лошадь и совершалъ на ней удалые партизанскіе наѣзды на станъ непріятеля. Конечно, Бѣлинскій зналъ исторію русской литературы и былъ достаточно начитанъ, чтобы смѣло ставить свое мнѣніе на страницахъ тогдашнихъ журналовъ рядомъ съ мнѣніемъ другихъ современныхъ ему писа̀телей. Конечно, дѣло не въ оффиціальныхъ документахъ

и дипломахъ, выдаваемыхъ университетами и академіями. Однако, вся суть въ томъ, насколько Бѣлинскій умѣлъ справляться съ трудными вопросами эстетики и философіи, которые неизбѣжно вставали на его пути, въ томъ, съ какою авторитетностью онъ сумѣлъ передать намъ свое міросозерцаніе и выработать опредѣленныя начала, которыя могли бы быть приняты, какъ незыблемыя логическія основанія для дальнѣйшаго эстетическаго развитія, какъ нѣчто такое, что устраняло бы необходимость вновь пересматривать и перерѣшать затронутыя имъ теоретическія задачи. Такой авторитетности воззрѣнія Бѣлинскаго не представляютъ, такого *учебнаго* значенія книги Бѣлинскаго не имѣютъ — и въ этомъ весь вопросъ, занимающій насъ въ настоящую минуту. Русскому просвѣщенію не на что опереться. Русскому обществу, его смѣняющимся поколѣніямъ, прошедшая литература не дала никакихъ неподвижныхъ критеріевъ въ сложныхъ вопросахъ духовнаго развитія. Нашей критикѣ не завѣщаны умершими дѣятелями такіе принципы, которые могли бы связывать интересы общественности съ высшими духовными интересами. Въ русской литературѣ, по крайней мѣрѣ въ ея теоретической части, нѣтъ еще такихъ положеній, которыя могли бы претендовать на всеобщую обязательность. Обрывки грандіозной идеалистической системы, не соединенные между собою логически, истолкованные то совершенно ошибочно, то крайне поверхностно, цѣлые пласты реалистическихъ недоразумѣній, лежащихъ мертвящимъ грузомъ на сознаніи и совѣсти авангардной части русскаго общества, затѣмъ критика чисто полемическая, съ пошлыми пріемами, унаслѣдованными отъ Сенковскаго, съ циничесой развязностью самаго дурного тона, въ расчетѣ на скверные инстинкты невѣжественной толпы—такова картина журнальнаго прогресса молодой Россіи. Гдѣ же вліяніе Бѣлинскаго? Гдѣ отголоски его пророческаго голоса? Гдѣ слѣды его вдохновеннаго воздѣйствія на наши поколѣнія, никогда не переставшія читать его, знающія на-перечетъ всѣ сомнѣнія и колебанія въ мучительно сбивчивомъ процессѣ его литературнаго развитія? Гдѣ вы увидите хоть проблескъ вдохновенія или, по крайней мѣрѣ, сколько-нибудь захватывающаго увлеченія въ современныхъ критическихъ и публицистическихъ писаньяхъ газетъ и журналовъ? Куда исчезъ тотъ огонь, который горѣлъ въ статьяхъ Бѣлинскаго и оттуда переливался въ читающее общество? Современная критическая литература мертва и потеряла всякій интересъ для читающей публики. Она стала ниже потребностей общества, она безсодержательна по своему матеріалу, безцвѣтна по языку, блѣдна и немощна по своимъ стремленіямъ. А между тѣмъ, книги Бѣлинскаго читаются и перечитываются, какъ священный документъ и почти законодательный актъ нашего критическаго самосознанія, въ высшемъ, напряженнѣйшемъ моментѣ его историческаго развитія.

Интересно отмѣтить вотъ что: Гончаровъ, отнесшійся къ Бѣлинскому

по-отечески долго спустя по его смерти, при жизни относился къ нему съ любовью, съ уваженьемъ, но съ полною умственною самостоятельностью, сохраняя свой собственный взглядъ на задачу искусства. Ни Тургеневу, ни Гончарову Бѣлинскій не импонировалъ съ теоретической стороны. И это слѣдуетъ запомнить. Вотъ что между прочимъ разсказываетъ намъ Гончаровъ. Когда Бѣлинскій, въ первыя съ нимъ свиданія, осыпалъ его добрыми, ласковыми словами, рисуя передъ нимъ свой критическій взглядъ на его литературный талантъ, Гончаровъ остановилъ его слѣдующими сдержанными словами:

— Я былъ-бы очень радъ, сказалъ онъ,—если бы вы лѣтъ черезъ пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книгѣ теперь.

— Отчего? спросилъ съ удивленіемъ Бѣлинскій.

— А оттого, продолжалъ Гончаровъ,—что я помню, что вы прежде писали о С., какъ лестно отзывались о его талантѣ, а какъ вы теперь цѣните его!

Въ другомъ мѣстѣ Гончаровъ съ очень тонкою, едва замѣтною ироніею передаетъ намъ, какъ Бѣлинскій накидывался на него за то, что въ его художественной манерѣ нѣтъ ни злости, ни раздраженія, ни субъективности.

— Вамъ все равно, попадется мерзавецъ, дуракъ, уродъ или порядочная, добрая натура — всѣхъ одинаково рисуете, ни любви, ни ненависти ни къ кому.

Говоря это однажды Гончарову, Бѣлинскій вдругъ ласково положилъ ему руки на плечи и прибавилъ почти шепотомъ:

— А это хорошо, это и нужно, это признакъ художника.

Бѣлинскій боялся, шутливо замѣчаетъ Гончаровъ, что его услышатъ и обвинятъ въ сочувствіи безтенденціозному писателю...

Достоевскій изобразилъ Бѣлинскаго въ немногихъ строкахъ, но, по жгучести скрытаго въ нихъ убѣжденія, это лучшая изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ характеристикъ. Она выше характеристики Тургенева, потому что ею управляла яркая и притомъ фанатическая мысль, она выше характеристики Гончарова, потому что глубже захватываетъ предметъ. Она представляетъ намъ физіономію Бѣлинскаго въ эпоху смутнаго броженія всѣхъ его нравственныхъ и умственныхъ силъ. Это Бѣлинскій, какимъ онъ былъ и какимъ онъ долженъ былъ выступить въ воображеніи Достоевскаго: Бѣлинскій послѣдняго періода его развитія, почти наканунѣ смерти, Бѣлинскій—яростный и нетерпимый защитникъ реализма и политической экономіи, радикальный врагъ идеи личной нравственной отвѣтственности, лицомъ къ лицу съ тревожнымъ, болѣзненнымъ геніемъ, объятымъ мистическимъ экстазомъ, лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, который уже тогда блѣднѣлъ при имени Христа. Эти

—два человѣка стояли рядомъ, глядѣли другъ другу въ глаза, выражали мучившія ихъ мысли: одинъ—патетическими монологами, разрушавшими весь его внутренній моральный складъ, съ взвизгивающей хрипотою въ голосѣ, другой—гнѣвнымъ испугомъ въ глазахъ, молчаливымъ, судорожнымъ протестомъ, все болѣе и болѣе разжигавшимъ его душу. Они знали и, быть можетъ, глухо понимали другъ друга, но, конечно, не могли пойти по одной дорогѣ. Оба—порожденіе русской почвы, въ которой скрыто столько вулканическихъ силъ, дѣйствующихъ въ разныхъ направленіяхъ. Оба должны были уважать другъ друга. Но и Достоевскому нечему было учиться у Бѣлинскаго. Допустите на минуту, что Достоевскій проникся-бы утилитарными идеями Бѣлинскаго въ своей художественной работѣ,—и того Достоевскаго, котораго мы знаемъ, которому поклоняемся и которому будутъ поклоняться вѣка, не было-бы. Утилитарныя идеи только сдавили-бы болѣзненную, страстную натуру Достоевскаго, никогда не переставшаго страдать за униженныхъ и оскорбленныхъ, и могли-бы даже сбросить его съ литературнаго пути, какъ это случилось съ Раскольниковымъ. Геній его былъ свободенъ только въ сферѣ религіозныхъ настроеній, среди которыхъ и создались его произведенія—эти раскаленныя, безформенныя глыбы высшей психологической правды.

Достоевскій ничего не взялъ у Бѣлинскаго. И онъ это ясно сознавалъ, когда набрасывалъ въ «Дневникѣ Писателя» свои превосходныя строки «о старыхъ людяхъ». Бѣлинскій, говоритъ онъ, по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззавѣтно восторженная, всегда и во всю свою жизнь. Это былъ человѣкъ «всеблаженный», обладавшій удивительнымъ спокойствіемъ совѣсти, но въ то же время вѣчно куда-то торопившійся. Влекомый своими чувствами, Бѣлинскій относился съ почти болѣзненнымъ нетерпѣніемъ ко всему, что происходило въ окружающей его жизни. Достоевскій разсказываетъ слѣдующій характерный эпизодъ, плѣняющій своею простодушною красотою, особенно если принять во вниманіе, что Бѣлинскій былъ тогда въ послѣднемъ градусѣ чахотки. Однажды онъ встрѣтилъ его часа въ три пополудни у Знаменской церкви. Бѣлинскій сказалъ:

— Я сюда часто захожу взглянуть, какъ идетъ постройка (вокзала Николаевской желѣзной дороги). Хоть тѣмъ сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконецъ-то и у насъ будетъ хоть одна желѣзная дорога. Вы не повѣрите, какъ эта мысль иногда облегчаетъ мнѣ сердце.

«Это было горячо и хорошо сказано», замѣчаетъ при этомъ Достоевскій

Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ о характеристикѣ, данной Бѣлинскому однимъ изъ самыхъ образованныхъ и блестящихъ его современниковъ. Мы говоримъ о Герценѣ. Достоевскій, изображая Бѣлинскаго, не забылъ при этомъ упомянуть и о послѣднемъ въ самыхъ сочувственныхъ выраженіяхъ, но его параллель между Герценомъ и Бѣлинскимъ

всетаки вышла не полною, какъ бы недоконченною. Достоевскій остроумно называетъ Герцена «русскимъ дворяниномъ и гражданиномъ вселенной», но намъ кажется, что въ этомъ опредѣленіи не выступилъ весь характеръ Герцена, его богатая, артистически-капризная природа, его острый, рѣжущій и смѣлый умъ, то убѣгающій впередъ, то круто поворачивающій въ сторону подъ вліяніемъ яркаго и неожиданнаго впечатлѣнія. Бѣлинскій—боецъ безъ школы, наносящій удары противнику куда и какъ попало, самобытная натура съ порывистой повадкой борьбы въ народномъ духѣ, съ вдохновеніемъ, дѣйствующимъ размашисто, но безотчетно. Герценъ—опытный, прошедшій высокую школу борецъ, наносящій удары противнику, какъ отважный и изящный испанскій тореадоръ, съ тонкимъ и увѣреннымъ расчетомъ каждаго движенія, то упругимъ скачкомъ ускользая отъ него, то раздражая его до слѣпого бѣшенства взмахами краснаго плаща, и, наконецъ, смѣло остановившись на его пути и поражая его на смерть короткой, сверкающей шпагой. Таковъ Герценъ по всѣмъ свойствамъ его литературнаго таланта. Онъ понялъ Бѣлинскаго сквозь призму своего міросозерцанія, и понятно, что онъ долженъ былъ высоко оцѣнить его именно въ послѣднемъ періодѣ его критической дѣятельности. Бѣлинскій—человѣкъ таланта и энергіи, человѣкъ съ фанатическими убѣжденіями, былъ совершенно свободенъ отъ тѣхъ вліяній, которымъ мы подпадаемъ, не умѣя защитить своей самостоятельности, говоритъ Герценъ. Очарованные новизною, мы воспринимаемъ въ нашей ранней молодости множество вещей, которыя не провѣряемъ разсудкомъ, но удерживаемъ памятью, и эти усвоенныя нами впечатлѣнія стѣсняютъ нашу внутреннюю независимость. Бѣлинскій, исключенный изъ университета «за неспособность», имѣя двадцать пять лѣтъ отъ роду, началъ свое образованіе съ философіи. Плохо подготовленный къ воспріятію академической мудрости, онъ приступилъ однако къ наукѣ съ серьезными запросами и притомъ со склонностью къ страстной діалектикѣ. Истины, являющіяся результатомъ познанія, были для него не мертвыми абстракціями, а составляли вопросы жизни и смерти. «Чуждый схоластики, свободный отъ всякой щепетильности протестантовъ и прусской склонности къ соблюденію приличій», Бѣлинскій очень скоро разгадалъ всѣ недостатки гегелевской философіи. Онъ возмутился этой стыдливой наукой, которая прикрывала свои выводы виноградным листомъ. Овладѣвъ системой Гегеля, онъ, первый изъ его адептовъ, открыто выступилъ если не противъ самого Гегеля, то противъ извѣстнаго пониманія его. Ему достаточно было самыхъ простыхъ указаній, чтобы, не умѣя читать по-нѣмецки, сравняться съ тѣми, которые внимательно штудировали Гегеля въ подлинникѣ. По самому складу своего русскаго ума, Бѣлинскій не могъ не понять, «что философія Гегеля реалистична только на словахъ», и, чуждый всякаго иностраннаго вліянія, онъ не скрылъ отъ своего

анализа того, что было затуманено сложными фразами. Однажды, разсказываетъ Герценъ, Бѣлинскій, проспоривъ нѣсколько часовъ противъ берлинскаго пантеизма, поднялся съ мѣста и проговорилъ своимъ прерывающимся и задыхающимся голосомъ:

— Вы хотите меня увѣрить, что назначеніе человѣка состоитъ въ томъ, чтобы найти путь отъ абсолютнаго разума къ познанію самого себя, и вы довольствуетесь этой ролью! Я не такое ничтожество, чтобы быть какимъ-то безсознательнымъ орудіемъ. Если я мыслю, если я страдаю, такъ это для меня самого. До вашего абсолютнаго разума, если онъ и существуетъ, мнѣ нѣтъ никакого дѣла. Мнѣ незачѣмъ познавать его, потому что у меня нѣтъ съ нимъ ничего общаго.

Герценъ, хорошо изучившій «Феноменологію» и «Логику» Гегеля, не могъ помириться съ его «Философіей религіи». Понявъ съ удивительной ясностью духъ высшаго прогресса, проникающій два первыя сочиненія, онъ, уже склонный въ то время принять доктрину Фейербаха, долженъ былъ отнестись отрицательно къ религіозному ученію Гегеля, составляющему вѣнецъ въ его философскомъ зданіи. Увлеченный вѣяніями эпохи и разгоряченный великими гражданскими событіями, Герценъ не продумалъ важнѣйшаго вопроса въ философіи Гегеля—вопроса о религіи. Ему казалось, что духъ свободы, проникающій «Феноменологію» и «Логику», не согласуется съ самымъ понятіемъ религіи. Ему казалось, что философія и религія должны находиться между собою въ непримиримой враждѣ, какъ системы, основанныя на совершенно противоположныхъ принципахъ. Это было, конечно, глубокимъ заблужденіемъ. Радоваться тому, что Бѣлинскій, знавшій Гегеля только по слухамъ, «отвернулся отъ берлинскаго пантеизма», Герценъ могъ только по недоразумѣнію. Одобрять наивныя, почти дѣтскія разсужденія Бѣлинскаго о полной независимости человѣка, можно было только въ минуту ослѣпленія своей конкретной исторической задачей. Но Герценъ, какъ мы уже сказали, былъ способенъ сворачивать съ прямого пути подъ вліяніемъ неожиданныхъ впечатлѣній. Драпируясь въ свой романтическій, воинственный плащъ, онъ и не думалъ, въ шумную эпоху пятидесятыхъ годовъ, заглядывать въ глубь предмета, взвѣшивать, со всею строгостью критика, былъ-ли какой нибудь философскій смыслъ въ бурномъ протестѣ Бѣлинскаго противъ абсолютнаго разума.

Воспоминаніями Герцена мы закончимъ обзоръ наиболѣе выдающихся характеристикъ Бѣлинскаго. Но намъ не хочется разстаться съ образомъ Бѣлинскаго раньше, чѣмъ мы не напомнимъ послѣднихъ минутъ его жизни,— его послѣдній крикъ, его послѣдній порывъ. Что-то свѣтлое, какое-то сіяніе лежитъ на его предсмертныхъ страданіяхъ: исхудалый, съ горящими глазами, устремленными вдаль, лежа въ жару, безъ силъ и безъ памяти, онъ вдругъ разразился патетическою рѣчью къ русскому народу. Его уже нельзя было

понять, но, отходя на вѣчный покой, Бѣлинскій въ послѣдній разъ излилъ свою душу въ безпорядочныхъ, отрывочныхъ фразахъ, въ какихъ и должна была выразиться неясная, юношески невинная, юношески восторженная мечта его о человѣческомъ счастьѣ. Панаевъ разсказываетъ, что за четверть часа до смерти Бѣлинскій вдругъ вскочилъ съ постели, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, проговорилъ невнятно, но съ энергіею какія-то слова и началъ падать. Его поддержали, уложили въ постель—и черезъ нѣсколько минутъ его не стало. Такъ именно долженъ былъ умереть Бѣлинскій: съ пылкими рѣчами на мертвѣющихъ устахъ.

IV.

Мы видѣли Бѣлинскаго въ художественномъ изображеніи знаменитѣйшихъ русскихъ писателей. Теперь мы соберемъ въ самыхъ краткихъ чертахъ главнѣйшія *критическія* сужденія о немъ. Не задаваясь цѣлью исчерпать эту сторону предмета, мы остановимся только на томъ, что сказано людьми болѣе талантливыми и вліятельными въ исторіи русскаго просвѣщенія. Этотъ краткій обзоръ дастъ намъ возможность лучше оттѣнить наши собственные взгляды, по контрасту съ мнѣніями тѣхъ, кто такъ или иначе вникалъ въ судьбы нашего умственнаго прогресса.

Начнемъ съ А. Дружинина.

Въ двухъ пространныхъ статьяхъ «Критика Гоголевскаго періода русской литературы и наши къ ней отношенія» и «Сочиненія Бѣлинскаго томъ I — III», Дружининъ довольно подробно излагаетъ свой взглядъ на задачу литературной критики вообще и на всю критическую дѣятельность Бѣлинскаго въ частности. Писатель съ литературнымъ талантомъ, съ тонкимъ вкусомъ къ изящному, прямодушный и откровенный защитникъ «артистическаго» взгляда на цѣли художественнаго творчества, Дружининъ восторгается, въ самыхъ искреннихъ выраженіяхъ, всѣми чисто эстетическими сужденіями Бѣлинскаго, изливаетъ свой восторгъ передъ мѣткостью отдѣльныхъ его характеристикъ и въ плавныхъ, строго стилистическихъ фразахъ, слегка отдающихъ риторикою, перечисляетъ всѣ крупныя заслуги Бѣлинскаго передъ русскою литературою. Критика сороковыхъ годовъ, говоритъ онъ, имѣла свои слабости, свои ошибки, свои увлеченія, но любовь ея къ просвѣщенію была такъ велика, что польза, принесенная ею литературѣ, значительно превышаетъ тотъ вредъ, который произошелъ отъ ея дурныхъ сторонъ. При самомъ началѣ своей дѣятельности Бѣлинскій встрѣтился съ двумя задачами, требовавшими немедленнаго разрѣшенія. Во первыхъ, ему предстояло провѣрить теоріи и выводы старыхъ цѣнителей русской словесности, прослѣдить всю исторію русской литературы и назначить точное мѣсто каждому изъ знаменитѣйшихъ дѣятелей въ области русской поэзіи. Во вторыхъ, онъ долженъ былъ произ-

нести свои сужденія надъ произведеніями современныхъ писателей, не переставая при этомъ работать надъ исторіею уже отжившихъ литературныхъ періодовъ. «Ряды усопшихъ знаменитостей, настоящихъ и подложныхъ, законныхъ и незаконныхъ, имѣли явиться передъ судилище истиннаго вкуса, говоритъ Дружининъ. Съ другой стороны, литература современная приняла могучее развитіе. Пушкинъ сошелъ въ могилу, Россія была полна пѣснями Пушкина, а между тѣмъ ни одинъ изъ поклонниковъ великаго пѣвца не имѣлъ возможности сказать, сидя надъ его книгою: я знаю и понимаю, чѣмъ и почему этотъ поэтъ меня восхищаетъ». Это было время, когда русской публикѣ нельзя было дольше оставаться при рутинныхъ Лагарповскихъ сужденіяхъ о важнѣйшихъ представителяхъ родной словесности—какъ старой, такъ и новой. И вотъ, пересматривая блистательнѣйшія изъ статей Бѣлинскаго, нельзя не сказать, что въ историко-критической оцѣнкѣ русской литературы до-пушкинскаго періода онъ оказалъ вѣчную, нерушимую услугу умственному развитію русскаго общества. Давая новыя характеристики старымъ писателямъ, разбирая ихъ произведенія, ставя каждаго изъ нихъ, отъ Кантеміра до Карамзина включительно, на свое мѣсто, Бѣлинскій закладывалъ прочныя основанія для цѣльнаго, самостоятельнаго взгляда на весь ходъ русской литературы, въ ея различные періоды, ознаменованные тѣми или другими крупными событіями въ области искусства. Вмѣсто прежнихъ сбивчивыхъ свѣдѣній, завѣщанныхъ псевдоклассическими критиками, русскій читатель увидѣлъ предъ собою «стройный рядъ литературныхъ дѣятелей, раздѣленныхъ на однородныя группы, оцѣненныхъ и разъясненныхъ и съ исторической и съ современной точки зрѣнія». Такова великая заслуга Бѣлинскаго въ разрѣшеніи первой его задачи. Перейдя къ вопросу объ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ литературѣ, ему современной, Дружининъ говоритъ: «и тутъ мы видимъ дѣятельность, исполненную честности, богатую дарованіемъ, но, къ сожалѣнію, обильную и великими слабостями». Правда, ни одинъ сильный талантъ не былъ просмотрѣнъ, ни одинъ обманчивый метеоръ не былъ признанъ Бѣлинскимъ за звѣзду первой величины, но, относясь съ величайшею правдою къ писателямъ первостепеннымъ, критика гоголевскаго періода была менѣе справедлива къ писателямъ второго разряда. Увлеченный своими теоретическими стремленіями, опьяненный борьбою съ представителями старыхъ воззрѣній, фанатически преслѣдуя извѣстную цѣль, Бѣлинскій не замѣчалъ своихъ промаховъ по отношенію къ людямъ, съ которыми никоимъ образомъ не слѣдовало считаться, какъ съ врагами. Онъ рубилъ направо и налѣво, не видя, что рука его наноситъ подчасъ очень несправедливые удары дѣятелямъ, имѣющимъ свои положительныя заслуги передъ русскимъ искусствомъ. Перечисляя его ошибки, Дружининъ заступается въ довольно горячихъ выраженіяхъ за Марлинскаго,—хотя

въ 1860 году онъ значительно смягчилъ свои упреки Бѣлинскому по этому пункту. Врагъ всякой нетерпимости, кружковыхъ раздоровъ, тихая и скромная натура, преданная культу примиряющаго, эстетическаго созерцанія, Дружининъ въ этихъ второстепенныхъ промахахъ Бѣлинскаго уже видитъ черты его будущихъ гибельныхъ увлеченій въ сторону отъ его прямой задачи. «Лучшая пора дѣятельности критики гоголевскаго періода, говоритъ онъ, совпадаетъ съ послѣдними годами полнаго владычества философіи Гегеля. Эстетическая его теорія, его воззрѣнія на благородное значеніе искусства, даже его терминологія — все это было воспринято нашей критикой и воспринято не рабски». Какъ вдругъ, посреди тишины и успѣховъ, въ критикѣ Бѣлинскаго стали обнаруживаться печальные симптомы. Слово Гегеля стало утрачивать свою силу, и въ литературѣ быстро пошли въ ходъ фальшивые, пристрастные взгляды, какъ идетъ въ ходъ все эффектное, яркое, задорное... Дружининъ раздѣляетъ всѣ критическія теоріи и системы на двѣ категоріи, вѣчно противодѣйствующія другъ другу, изъ которыхъ одну онъ называетъ *артистическою*, а другую *дидактическою*. Первая защищаетъ чистое искусство для искусства, вторая стремится къ воздѣйствію на нравы, бытъ и понятія человѣка посредствомъ болѣе или менѣе нагляднаго поученія. Артистическая теорія требуетъ служенія вѣчнымъ идеямъ красоты, добра и правды и полнаго отрѣшенія отъ всякой преднамѣренной житейской морали. Дидактическая теорія требуетъ погруженія въ мутныя волны современности, непосредственнаго интереса къ злобѣ дня, къ вопросамъ гражданскимъ, политическимъ, общественнымъ. «Незыблемо и твердо, говоритъ Дружининъ не безъ нѣкоторой торжественности, стоятъ поэты, чтители искусства чистаго, голосъ ихъ раздается изъ столѣтія въ столѣтіе, между тѣмъ какъ голоса дидактиковъ, часто благородные и сильные голоса, умираютъ, едва прокричавши кое-что, и погружаются въ пучину полнаго забвенія. Добро, красота и правда, вдохновлявшія этихъ поэтовъ, отражались во всѣхъ ихъ произведеніяхъ, и произведенія эти, пропѣтыя въ минуту вдохновенія, безъ всякой поучительной цѣли, стали зерномъ общаго поученія, основаніемъ нашихъ познаній, нашихъ добрыхъ помысловъ, нашихъ великихъ дѣяній»!

Противоположеніе артистической теоріи дидактической, въ томъ видѣ, какъ его дѣлаетъ Дружининъ, заключаетъ въ себѣ крайне узкій смыслъ. Критика не можетъ быть исключительно эстетической: ея задача быть органомъ широкаго *философскаго* пониманія, въ которомъ эстетика, только одинъ изъ необходимыхъ ея элементовъ, занимаетъ опредѣленное мѣсто, исполняетъ свою, точно указанную функцію. Обнимая всѣ составныя части поэтическаго творчества и, такимъ образомъ, соприкасаясь со всѣми духовными свойствами человѣка, съ его міросозерцаніемъ, темпераментомъ, психическими и нрав-

ственными особенностями, она не можетъ ограничиваться одною идеею красоты. Эстетика смежна съ моралью, въ красотѣ заложена *возвышенная* правда. Критика не должна быть преднамѣренно дидактическою, но она не должна быть и орудіемъ безстрастнаго созерцанія, ибо въ ней, кромѣ элемента красоты, живутъ и дѣйствуютъ, со всею силою, со всею энергіею научнаго убѣжденія, элементы добра и истины. Критика должна быть не эстетическою, а философскою. Всѣ замѣчанія Дружинина, относящіяся къ послѣднему періоду дѣятельности Бѣлинскаго, имѣютъ самое ограниченное значеніе. Дружининъ борется за свободное, чистое искусство самыми слабыми средствами. Ему представляется, что, только освободившись отъ жизни, поэзія можетъ подняться на подобающую ей высоту, и вотъ онъ ратуетъ за искусство противъ жизни, не видя, что его полная свобода заключалась бы въ побѣдѣ *надъ жизнью*, въ подчиненіи жизни своимъ высшимъ цѣлямъ и стремленіямъ.

Мы не будемъ останавливаться на извѣстныхъ очеркахъ Чернышевскаго о гоголевскомъ періодѣ нашей литературы, такъ какъ посвящаемъ этимъ очеркамъ отдѣльную статью. Обладая публицистическимъ талантомъ, мѣткимъ и смѣлымъ перомъ, Чернышевскій прекрасно обрисовываетъ главнѣйшія событія, предшествовавшія появленію Бѣлинскаго, его отношеніе къ критикамъ предъидущаго періода, важнѣйшіе переломы въ его умственной жизни и, конечно, придаетъ всей дѣятельности Бѣлинскаго тотъ характеръ, какой былъ наиболѣе понятенъ и доступенъ его собственному философскому міросозерцанію. Въ критикѣ Чернышевскаго нѣтъ никакихъ тенденціозныхъ искаженій, но въ ней нѣтъ и той правды, которая одна могла бы возстановить личность Бѣлинскаго передъ глазами читателя, во всемъ разнообразіи ея нравственныхъ и умственныхъ стремленій, ея многочисленныхъ очарованій и разочарованій. Чернышевскій приписываетъ значеніе тому, что кажется ему наиболѣе пригоднымъ для его собственныхъ литературныхъ теорій и нѣсколькими небрежными и невѣрными мазками обрисовываетъ передъ нами гегеліанскія увлеченія Бѣлинскаго, придавая имъ узкій, односторонній смыслъ. Съ переѣздомъ Бѣлинскаго изъ Москвы въ Петербургъ открывается новая, свѣтлая эпоха въ его критической дѣятельности, и на берегахъ Невы, въ стѣнахъ города, построеннаго на финскомъ болотѣ, впервые наносится смертельный ударъ всей идеалистической философіи. Реальная дѣйствительность раскрыла Бѣлинскому глаза на ошибки гегелевской системы, и на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ» Гегель могъ-бы получить самое убѣдительное, трезвое и неопровержимое возраженіе на свои философскія бредни. Такъ думалъ, съ полною искренностью, Чернышевскій.

Добролюбовъ, товарищъ Чернышевскаго по журналу, не написалъ ни одной болѣе или менѣе подробной статьи о Бѣлинскомъ. Онъ огра-

ничился отдѣльными, случайными замѣчаніями по различнымъ текущимъ поводамъ, болѣе подробно остановился на Бѣлинскомъ въ статьѣ о Станкевичѣ, гдѣ не сказалъ, впрочемъ, ничего особенно существеннаго и справедливаго и только однажды обмолвился нѣсколькими рельефными фразами о немъ въ журнальномъ обозрѣніи литературы за 1868 годъ. «Немногіе, говоритъ Добролюбовъ, умѣли, подобно Бѣлинскому, слить самихъ себя съ своимъ принципомъ, и такимъ образомъ придать ему жизненность. У Бѣлинскаго внѣшній отвлеченный принципъ превратился въ его внутреннюю жизненную потребность: проповѣдывать свои идеи было для него столько же необходимо, какъ ѣсть и пить». Какъ Добролюбовъ заявилъ въ другомъ мѣстѣ, онъ считалъ себя вправѣ не спѣшить разборомъ Бѣлинскаго въ виду того, что въ «Современникѣ» 1856 г. уже были напечатаны статьи Чернышевскаго о гоголевскомъ періодѣ русской литературы.

Ради историческаго интереса, ради характеристики нашихъ литературныхъ нравовъ, нельзя не отмѣтить статей К. Полевого, въ свое время произведшихъ огромную сенсацію, но теперь едва ли кому извѣстныхъ въ средѣ читающей публики. Воспользовавшись появленіемъ двухъ первыхъ томовъ собранія сочиненій Бѣлинскаго, Ксенофонтъ Полевой—умъ пристрастный, рѣзкій, злопамятный, хотя и не лишенный нѣкоторой остроты—разразился противъ перваго русскаго критика совершенно невѣроятной выходкой. Фельетоны Полевого, напечатанные въ «Сѣверной Пчелѣ», вызвали шумный протестъ въ литературныхъ кружкахъ, и надо сказать правду—по заслугамъ. Авторъ начинаетъ свои разсужденія о Бѣлинскомъ слѣдующими словами: «Изданіе сочиненій Бѣлинскаго не имѣетъ никакого литературнаго значенія. Онъ почти исключительно писалъ критическія статьи, рѣзко, дерзко, безпрестанно увлекаясь своими страстями и разными личными отношеніями... Несчастный, можетъ быть, и не подозрѣвалъ этого, бѣсновался, увлекался и умеръ жалкимъ образомъ, не принесши никакой пользы нашей литературѣ, но извративши понятія многихъ юношей, возроставшихъ во время его широкошумной дѣятельности». Критикъ называетъ статьи Бѣлинскаго «бранчивыми», «циничными», умъ его тяжелымъ, языкъ его темнымъ, безвкуснымъ, переполненнымъ безсмыслицами, многословнымъ. Бѣлинскій, говоритъ онъ, нападалъ на авторитетъ великихъ и отличныхъ писателей «съ нахальствомъ злого мальчишки, которому хотѣлось ронять и безславить все». Быстро отдѣлавшись такими общими, совершенно нелѣпыми и позорными словами, Полевой заключаетъ свой коротенькій фельетонъ практическимъ соображеніемъ о томъ, что издавать собраніе сочиненій Бѣлинскаго совершенно не стоитъ. «Лучше всего забыть о немъ, и пусть мирно покоится прахъ его. Онъ могъ бы, при другой судьбѣ, быть человѣкомъ полезнымъ, но жизнь его шла такъ несчастливо, что онъ не сдѣлалъ

ничего, кромѣ зла, нашей литературѣ». Эти соображенія мы находимъ въ «Сѣверной Пчелѣ» 1859 г. за октябрь, а два мѣсяца спустя тотъ же авторъ, отвѣчая на многочисленныя возраженія и воспользовавшись выходомъ въ свѣтъ двухъ новыхъ томовъ сочиненій Бѣлинскаго, пространно развилъ свои взгляды, выраженные въ первомъ фельетонѣ, въ огромной газетной статьѣ, переполненной самыми гнусными намеками жизненнаго характера и отличающейся почти невѣроятнымъ литературнымъ цинизмомъ. Это, можно сказать, классическій образчикъ газетной наглости, не оставшійся безъ подражанія въ дальнѣйшей исторіи нашего печатнаго слова. То, что сдѣлалъ Полевой съ именемъ Бѣлинскаго, дѣлалось впослѣдствіи и со многими другими именами по такимъ же приблизительно партійнымъ соображеніямъ и съ одинаковымъ эффектомъ по отношенію къ русской читающей публикѣ. Полевой одинъ изъ первыхъ въ длинномъ ряду газетныхъ шарлатановъ, не церемонящихся никакими соображеніями умственной и нравственной благопристойности. Его фельетоны о Бѣлинскомъ не заключаютъ въ себѣ никакой серьезной критики и писаны, повидимому, съ очень дурнымъ расчетомъ на впечатлѣніе въ извѣстныхъ кругахъ русскаго общества. Въ нихъ слишкомъ много явнаго личнаго раздраженія, сквернымъ словъ и самаго грубаго рецензентскаго пристрастія.

П. Вейнбергъ, въ статейкѣ подъ названіемъ «Литераторы съ замыслами» въ «Библіотекѣ для чтенія» въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1859 года, и С. Дудышкинъ въ своихъ «Журнальныхъ замѣткахъ» того же мѣсяца и года «Отечественныхъ Записокъ» воздали должное К. Полевому, первый въ довольно рѣзкихъ словахъ, проникнутыхъ чувствомъ искренняго негодованія, второй — въ словахъ, не лишенныхъ юмора и литературнаго яда. Вейнбергъ назвалъ рецензію Полевого ядромъ, начиненнымъ ябедой и пущеннымъ изъ стараго лагеря литературы въ новый. «Тутъ, восклицаетъ Вейнбергъ, не одно литературное кривое сужденіе, тутъ ясно слышится одинъ изъ тѣхъ голосовъ, которые въ одномъ изъ нашихъ журналовъ очень удачно названы голосами *доносившимися*»! Дудышкинъ отдѣлываетъ критика «Сѣверной Пчелы», развивая остроумную теорію о старческомъ шипѣніи по змѣиному. «Шипятъ сошедшіе со сцены драматурги, шипятъ отставные чиновники, шипятъ старые, полузабытые актеры, шипятъ ученые, когда ихъ смѣняетъ молодое поколѣніе, и взгляды ихъ, нѣкогда новые, становятся старыми. Шипятъ наставники, когда ихъ наставленія и проповѣди не слушаются. Посмотрите на нашу исторію: противъ кого не шипѣли! Даже противъ Петра Великаго шипѣли бояре, раскольники и... вы сами знаете еще кто: вѣдь вы читали исторію».

Такъ прошелъ этотъ любопытный и поучительный литературный эпизодъ, возстающій со страницъ старыхъ журналовъ въ своихъ еще непо-

линявшихъ краскахъ, во всей своей типичности для цѣлаго строя литературныхъ нравовъ, еще не искоренившихся въ нашей печати.

Аполлонъ Григорьевъ разсматриваетъ произведенія Бѣлинскаго въ трехъ статьяхъ подъ названіемъ «Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859 г.), «Знаменитые европейскіе писатели передъ судомъ русской критики» (1861 г.) и «Бѣлинскій и отрицательный взглядъ въ литературѣ» (1861 г.). Талантливый писатель съ критическимъ чутьемъ, но съ нѣсколько сдавленнымъ философскимъ и жизненнымъ міросозерцаніемъ, Григорьевъ слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ литературную дѣятельность Бѣлинскаго: вполнѣ дитя своего вѣка, онъ не опередилъ, да и не долженъ былъ опередить его, но имя Бѣлинскаго «какъ плющъ обросло четыре поэтическихъ вѣнца» (Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ), сплелось съ ними такъ, что, говоря о нихъ, какъ объ источникахъ современнаго литературнаго движенія, невольно обращаешься каждый разъ къ нему. То фантастическій поклонникъ бурнаго романтизма, то убѣжденный глашатай разумной дѣйствительности, то, наконецъ, пламенный поборникъ реалистическаго прогресса, Бѣлинскій остается романтикомъ во всѣхъ трехъ періодахъ своей критической дѣятельности. Умственно и нравственно весь пропитанный извѣстнымъ философскимъ убѣжденіемъ, онъ проводилъ его въ жизнь «черезъ органъ литературной критики». Силой чутья Бѣлинскій, совершенно незнакомый съ Гегелемъ по источникамъ, пережилъ внутри самого себя весь гегелизмъ, изъ намековъ развилъ цѣлую систему «съ послѣдовательностью, свойственной одному русскому человѣку». Къ сожалѣнію, міросозерцаніе, которымъ былъ охваченъ Бѣлинскій, является однимъ изъ самыхъ безотрадныхъ міросозерцаній, въ которомъ всякая минута міровой жизни есть только переходная форма, въ которомъ все летитъ стремглавъ въ какую-то пропасть безъ малѣйшей возможности за что-либо ухватиться, въ чемъ-либо найти точку опоры. Это міросозерцаніе требуетъ постоянной ломки всего прошедшаго по законамъ «произвольно взятой минуты», а между тѣмъ человѣческая душа, всегда единая, всегда стремящаяся къ единому идеалу правды, красоты и любви, требуетъ признанія какихъ-нибудь твердыхъ началъ. «Отвлеченный духъ человѣчества съ постепенно расширяющимся сознаніемъ» совершенно поглотилъ всѣ идеи Бѣлинскаго, сдѣлавъ изъ него могучее орудіе отрицанія всякой народной самобытности, всякой *самости*, пылкаго оратора въ защиту какихъ-то германо-романскихъ идеаловъ, и потому мѣшалъ ему сосредоточить свой громадный критическій талантъ на оригинальныхъ условіяхъ духовнаго и культурнаго развитія Россіи. Разрывая связи со славянизмомъ, Бѣлинскій разрывалъ свою связь съ самой сущностью русскаго направленія.

Таково, въ краткихъ словахъ, воззрѣніе А. Григорьева на Бѣлинскаго. Восторгаясь его художественнымъ пониманіемъ, его способностью трепетать, какъ пиѳія, отъ всего прекраснаго, переживать съ каждымъ великимъ

явленіемъ всю его нравственную сущность, Григорьевъ видитъ важнѣйшую ошибку Бѣлинскаго въ томъ, что онъ, въ эпоху гегелизма, отдался прославленію мірового духа вмѣсто того, чтобы изслѣдовать своеобразный духъ русской народности. Ему представляется, что въ каждомъ народномъ организмѣ, какъ таковомъ, уже даны начала для плодотворной исторической дѣятельности и что внѣ этого организма нечего искать какихъ-бы то ни было принциповъ: только душа человѣческая, въ ея индивидуальныхъ народныхъ особенностяхъ, есть нѣчто реальное, а отвлеченный духъ человѣчества есть нѣчто воображаемое, номинальное, — какая-то сочиненная теорія, отвлекающая отъ плодотворной работы, отъ жизни. Въ этомъ воззрѣніи, хотя оно и выражено со свойственной А. Григорьеву энергіею въ стилѣ и съ настоящимъ литературнымъ талантомъ, мы не видимъ правильной оцѣнки Бѣлинскаго. Во-первыхъ, нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что Бѣлинскій вовсе не пережилъ «внутри себя» всей системы Гегеля и не развилъ ее съ «послѣдовательностью, свойственной одному русскому человѣку»: Бѣлинскій не зналъ Гегеля, ибо, еслибъ онъ зналъ его, онъ не измѣниль бы идеалистическому принципу, на которомъ построено это замѣчательное философское ученіе. Бѣлинскій былъ, конечно, истинно-русскимъ человѣкомъ, но гдѣ же доказательства, что истинно русскій человѣкъ умѣетъ изъ простыхъ намековъ развивать цѣльныя, законченныя философскія системы? Во-вторыхъ, почему нельзя считать реальнымъ духъ человѣчества, если можно и даже должно, во имя патріотическихъ интересовъ, признавать реальнымъ духъ народности? Духъ человѣчества реаленъ именно потому, что реальна человѣческая душа: она часть мірового духа, часть цѣлаго, какъ капля есть часть океана. Народность есть только соединеніе однородныхъ капель. Народности — разноцвѣтные бассейны, озера съ различно-окрашеннымъ дномъ, смотря по свойству мѣстной почвы, тяготѣющія къ океану. Идеалы отдѣльныхъ народовъ могутъ быть выраженіемъ только общечеловѣческаго духа, не фантастическаго, не номинальнаго, но имѣющаго верховную реальность надъ всѣми его частными, личными и народными проявленіями. Упрекъ Бѣлинскому въ данномъ пунктѣ совершенно неоснователенъ. Схвативъ эту сторону ученія Гегеля, Бѣлинскій разливалъ въ своихъ статьяхъ свѣтъ настоящей гуманности и истиннаго просвѣщенія.

Мы скажемъ только нѣсколько словъ объ отношеніи къ Бѣлинскому Писарева. Въ одной изъ слѣдующихъ статей мы будемъ имѣть возможность подробно остановиться на реалистическихъ взглядахъ этого чрезвычайно талантливаго писателя, съ совершенно исковерканными теоретическими взглядами на искусство, имѣвшими очень пагубное вліяніе на развитіе русскаго общества. Теперь мы только отмѣтимъ, чтобы впослѣдствіи вернуться къ ней, ту статью Писарева, гдѣ говорится о Пушкинѣ совмѣстно съ Бѣлинскимъ въ томъ реалистическомъ направленіи, которое

въ 1865 г. уже считало за собою не одну побѣду на полѣ русской словесности. Писаревъ талантливъ, въ словахъ его вспыхиваетъ настоящее вдохновеніе, искрится блестящій умъ, но его критика Пушкина и Бѣлинскаго, по какой-то казацкой дикости пріемовъ, по необычайной смѣлости диническаго размаха, представляетъ одно изъ самыхъ безобразныхъ явленій въ исторіи русской журналистики. Прошло уже около тридцати лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ впервые появилась эта знаменитая статья «Пушкинъ и Бѣлинскій», но ее все-таки трудно читать съ хладнокровіемъ, къ ней трудно относиться, какъ къ совершенно пережитому явленію, какъ къ вполнѣ разоблаченной ошибкѣ, надъ которой пронеслась уже волна новыхъ стремленій, новыхъ чувствъ и новыхъ увлеченій. Трудно соблюсти объективное настроеніе при чтеніи статьи, въ которой отпечаталась съ такою рельефностью одна изъ самыхъ упорныхъ тенденцій русскаго общественнаго сознанія,—тенденція все взвѣшивать на вѣсахъ грубой практической пользы, все измѣрять по плохо понятому реалистическому масштабу. Опасность не миновала, и русское искусство не имѣетъ еще подъ собою твердаго теоретическаго фундамента, котораго не расшатаютъ никакія бури исторіи, никакія катастрофы, никакія временныя соціальныя задачи. Критика Писарева ложна въ своихъ корняхъ, въ руководящихъ понятіяхъ, несостоятельна по своему философскому и эстетическому содержанію, но она выражена съ такимъ талантомъ, съ такою разжигающею страсти яркостью, съ такимъ неподдѣльнымъ, хотя и совершенно слѣпымъ увлеченіемъ, что она не могла не оказать самаго сильнаго воздѣйствія на русскую публику. Писаревъ умѣнъ и, понимая свою задачу въ полномъ объемѣ, онъ не могъ не позаботиться о томъ, чтобы между его воззрѣніями и воззрѣніями Бѣлинскаго была установлена связь логической и исторической преемственности. И вотъ онъ указываетъ на тѣ взгляды Бѣлинскаго, которые дѣйствительно служили подготовкою къ его реалистическому міросозерцанію, и съ увѣренностью, не лишенною историческихъ доказательствъ, открыто заявляетъ, что всякое нападеніе на реализмъ есть въ то-же самое время и нападеніе на Бѣлинскаго. «Основная тенденція всей критической школы Бѣлинскаго, продолжающей дѣйствовать и развиваться до настоящей минуты, говоритъ Писаревъ, выражается совершенно ясно и отчетливо въ двухъ положеніяхъ что искусство не должно быть цѣлью самому себѣ и что жизнь выше искусства. При тѣхъ условіяхъ, при которыхъ развивался и дѣйствовалъ Бѣлинскій, онъ, конечно, не могъ вывести изъ этихъ двухъ положеній всѣ ихъ логическія послѣдствія. Въ 40-хъ годахъ онъ даже не могъ ихъ предвидѣть. Онъ ежеминутно уклоняется въ своей дѣятельности отъ этихъ двухъ основныхъ положеній, но смыслъ и сила его дѣятельности заключается, конечно, не въ этихъ случайныхъ нарушеніяхъ логики». Выводъ всѣхъ послѣдствій изъ этихъ двухъ принциповъ сталъ дѣломъ русскихъ

реалистовъ, и связь, существующая между Бѣлинскимъ и ими, доказываетъ, съ одной стороны, умственное величіе Бѣлинскаго и, съ другой стороны, то обстоятельство, что реализмъ есть законное дитя времени, «имѣющее весьма почтенныхъ родителей въ прошедшемъ періодѣ нашей умственной жизни». Писаревъ правъ, утверждая преемственную зависимость своихъ взглядовъ отъ нѣкоторыхъ взглядовъ Бѣлинскаго. На это указывалъ уже Достоевскій въ извѣстномъ письмѣ къ Страхову, въ которомъ говорится между прочимъ слѣдующее: «Онъ (Бѣлинскій) обругалъ Пушкина... Онъ съ удивленіемъ провозгласилъ ничтожество повѣстей Бѣлкина. Онъ отрекся отъ окончанія Евгенія Онѣгина. Онъ первый пустилъ мысль о камеръ-юнкерствѣ Пушкина». Но именно то обстоятельство, что, послѣдовательно развивая извѣстныя эстетическія положенія Бѣлинскаго, можно было придти къ реалистическимъ теоремамъ и сужденіямъ Писарева, къ отрицанію самостоятельнаго значенія искусства, къ глумленію надъ Пушкинымъ,—лучшій аргументъ противъ послѣднихъ увлеченій Бѣлинскаго, рельефное отрицательное доказательство, посредствомъ приведенія къ абсурду, ложности принципа, ставящаго жизнь выше искусства, подчиняющаго идеи жизни, а не жизнь идеямъ. Бѣлинскій, прикрывающій своимъ авторитетомъ разрушительную критику Писарева, Бѣлинскій, служащій оправданіемъ для блистательныхъ сальтомортале Зайцева, Бѣлинскій, солидарный съ «мыслящимъ пролетаріатомъ» *Русскаго Слова* — это очень любопытное и поучительное зрѣлище, дающее превосходный матеріалъ для правильной оцѣнки тѣхъ нелѣпыхъ зигзаговъ, которые дѣлала русская умственная жизнь въ процессѣ своего историческаго развитія.

А. Скабичевскій въ своихъ интересныхъ очеркахъ, посвященныхъ умственному развитію нашего общества за 1825—1860 гг., подробно изображаетъ весь ходъ литературнаго развитія Бѣлинскаго, раздѣляя его дѣятельность на три періода. Въ первыхъ своихъ критическихъ статьяхъ Бѣлинскій, говоритъ Скабичевскій, не представлялъ еще никакого рѣзкаго, опредѣленнаго направленія. Онъ могъ сдѣлаться славянофиломъ, благодаря своимъ увлеченіямъ теоріей народной самобытности, онъ могъ сдѣлаться и западникомъ, при исключительномъ увлеченіи движеніемъ въ нѣмецкой литературѣ. Онъ могъ сдѣлаться приверженцемъ чистаго искусства, но могъ склониться и на сторону полезнаго искусства. Вся русская литература находилась тогда въ хаотическомъ состояніи, и только опредѣленныя обстоятельства жизни могли вытолкнуть и ее, а съ нею и Бѣлинскаго, на ту или другую дорогу. Въ это время Бѣлинскому суждено было попасть въ кружокъ, въ которомъ преобладали чисто-философскіе и эстетическіе интересы, и съ этого момента начинается вторая полоса въ его критическихъ работахъ. «Бѣлинскій былъ подобенъ полузамерзшему путнику, попавшему послѣ всѣхъ неистовствъ вьюги въ теплую избу.

Хотя въ избѣ и темно, и чадно, клопы и тараканы, но путнику должно казаться, что лучше этой избы ничего не можетъ быть». Началось увлеченіе Гегелемъ, прежніе взгляды Бѣлинскаго радикально измѣнились. Врожденное эстетическое чутье его притупилось, и критическія статьи его, въ объясненіяхъ живыхъ фактовъ дѣйствительности, стали все болѣе и болѣе запутываться въ искусственныхъ схоластическихъ разсужденіяхъ. Въ словахъ Бѣлинскаго начало проскальзывать пристрастіе, стали попадаться фальшивыя фразы, «очень громкія, но въ то-же время чуждыя всякаго содержанія, малѣйшей тѣни истины». Скабичевскій, вопреки многимъ русскимъ критикамъ, сумѣлъ оттѣнить, что ложные взгляды, попадающіеся у Бѣлинскаго въ этомъ періодѣ, должны быть отнесены не на счетъ самого Гегеля, котораго онъ не изучалъ и съ которымъ знакомился только съ чужихъ словъ, а на счетъ того кружка, въ которомъ онъ вращался и находилъ пищу для своего ума. Инціатива новыхъ взглядовъ Бѣлинскаго «принадлежала не столько Гегелю, сколько людямъ вродѣ Станкевича, Боткина и проч., которые проповѣдовали безпристрастно-объективное отношеніе къ жизни, потому что не замѣчали на себѣ ея шиповъ и терній, потому что жизнь гладила ихъ мягкою, бархатною лапкою, скрывая про другихъ свои когти». Но вотъ случились три событія: столкновеніе Бѣлинскаго съ Герценомъ, переѣздъ его въ Петербургъ и приглашеніе участвовать въ «Отечественныхъ Записках»... Дальнѣйшія соображенія Скабичевскаго не отличаются особенною оригинальностью и ведутся въ духѣ историческихъ объясненій Чернышевскаго, съ сочувственнымъ отношеніемъ къ реалистическимъ элементамъ въ критикѣ Бѣлинскаго, къ ея третьему и послѣднему періоду.

А. Пыпинъ имѣетъ большія заслуги въ дѣлѣ освѣщенія личности Бѣлинскаго. Въ 1873 году этотъ почтенный журнальный исторіографъ русской литературы обнародовалъ очень интересную книгу подъ названіемъ «Характеристики литературныхъ мнѣній отъ 20-хъ до 50-хъ годовъ», въ которой Бѣлинскому посвящена довольно большая глава, а затѣмъ онъ собралъ въ два компактныхъ тома важные біографическіе матеріалы, подъ названіемъ «Бѣлинскій, его жизнь и переписка». Въ обоихъ сочиненіяхъ мы находимъ массу фактическихъ данныхъ, почти всю библіографію предмета, множество историческихъ сличеній и сопоставленій, которыя, конечно, должны быть приняты во вниманіе всякимъ, кто интересуется эпохою Бѣлинскаго. Это истинно ученое изслѣдованіе, исполненное съ крайней добросовѣстностью, какихъ немного въ нашей журналистикѣ. Авторъ слѣдитъ шагъ за шагомъ за жизнью Бѣлинскаго, за всѣми моментами его литературной дѣятельности, пользуется письмами, какъ обнародованными, такъ и необнародованными, такъ что въ результатѣ получается довольно цѣльная мозаическая картина, представляющая высокій историческій интересъ. Но Пыпинъ не входитъ въ подробный разборъ

произведеній Бѣлинскаго, и его собственныя критическія сужденія, выраженныя безстрастнымъ, уравновѣшеннымъ стилемъ литературнаго Нестора, не отличаются ни особенной оригинальностью, ни убѣдительностью. Почтенный авторъ слѣдуетъ за двумя писателями, имѣющими въ его глазахъ верховный авторитетъ въ данномъ дѣлѣ: за авторомъ «Очерковъ гоголевскаго періода» и за Герценомъ, мнѣнія которыхъ мы уже разсматривали, не обнаруживая при этомъ самобытнаго и правильнаго пониманія Гегеля, пониманія, основаннаго на внимательномъ изученіи подлиннаго текста его сочиненій. Слѣпо довѣряясь журнальной молвѣ, компиляторамъ и комментаторамъ, руководимымъ одною и тою-же ложной тенденціей, Пыпинъ повторяетъ бездоказательныя фразы о консервативномъ характерѣ идеалистической точки зрѣнія и, затѣмъ, съ особеннымъ стараніемъ подчеркиваетъ прогрессивный характеръ послѣдняго періода дѣятельности Бѣлинскаго. «Такъ называемое утилитарное направленіе Бѣлинскаго, говоритъ онъ, было совершенно естественнымъ исходомъ всей его дѣятельности, и никогда уже онъ не могъ-бы его оставить. Онъ чувствовалъ, что утилитарная точка зрѣнія и была собственно тотъ зрѣлый широкій взглядъ, гдѣ литература открывалась передъ нимъ во всѣхъ своихъ сторонахъ, гдѣ такъ-называемое искусство, т. е. русскія повѣсти, представлялось ему уже не съ одной книжно-теоретической точки зрѣнія, а съ менѣе притязательной, но болѣе серьезной точки зрѣнія—ихъ дѣйствительнаго значенія...» Утилитарная точка зрѣнія, открывающая широкое пониманіе всѣхъ сторонъ литературы и искусства, убивающая книжную точку зрѣнія, измѣряющая достоинства поэтическихъ произведеній ихъ «дѣйствительнымъ значеніемъ» — какъ трудно все это соединяется вмѣстѣ, какъ мало это передаетъ истинный ходъ нашего журнальнаго просвѣщенія. И какъ странно видѣть въ ученомъ человѣкѣ, всю жизнь проведшемъ только надъ книгами и кропотливыми изслѣдованіями, можно сказать, не видавшемъ жизни иначе, какъ въ книжномъ отраженіи, преувеличенное пренебреженіе къ книжнымъ теоріямъ и наивное довѣріе къ оцѣнкѣ *дѣйствительнаго* значенія различныхъ литературныхъ явленій безъ посредства теоретическихъ критеріевъ. Если-бы утилитаризмъ былъ тѣмъ, чѣмъ онъ представляется Пыпину,—тѣмъ живоноснымъ свѣтомъ, который позволяетъ критику видѣть изслѣдуемый предметъ во всю его глубину и ширину, мы имѣли-бы со времени Бѣлинскаго такую массу удивительныхъ журнальныхъ мудрецовъ!

Критическія соображенія Пыпина нашли себѣ довольно тонкую оцѣнку въ статьѣ покойнаго К. Кавелина, напечатанной въ «Недѣлѣ» 1875 г. и прекрасно отражающей въ себѣ нѣжную, гармоническую душу этого писателя, съ его склонностью къ этическимъ мечтаніямъ и нѣкоторой нетвердостью въ вычерчиваньѣ важныхъ философскихъ понятій. Вопреки Пыпину, Кавелинъ находитъ, что новое движеніе русской лите-

ратуры продолжало дѣло Бѣлинскаго односторонне, не исчерпывая того, что имъ намѣчено, не обнявъ всей полноты его содержанія. Бѣлинскій, говоритъ онъ, относился отрицательно къ извѣстнымъ литературнымъ и жизненнымъ явленіямъ только во имя опредѣленныхъ идеаловъ. Отрицаніе и идеалы шли у него рядомъ, въ тѣсной связи. Вся сила и обаяніе Бѣлинскаго заключались въ его стремленіяхъ, проникнутыхъ нравственнымъ элементомъ. Критики, слѣдовавшіе за Бѣлинскимъ, посвятили всю свою умственную дѣятельность только отрицанію. Идеалы «отходили все дальше и дальше, меркли понемногу въ нашемъ сознаніи и, наконецъ, совсѣмъ испарились». Но пренебреженіе идеалами отмстило русской литературѣ ничтожествомъ и безсиліемъ журнальной критики. «Осталось одно голое отрицаніе, которое, не опираясь на идеалъ, выродилось въ безсодержательное остроумничанье. Мы стали издѣваться не только надъ нашей дѣйствительностью, надъ обветшалыми привычками и убѣжденіями, но и надъ идеаломъ вообще, прикрывая отсутствіе руководящей мысли и бѣдность интеллектуальнаго содержанія громкими названіями реализма и позитивизма, которыхъ значенія и смысла мы не понимали... Подъ кажущейся ядовитостью критики трудно стало отыскать, при всемъ желаніи, что-нибудь похожее на общую мысль, на убѣжденіе, на руководящія идеи». Нельзя было рѣзче и справедливѣе высказаться о чрезвычайномъ упадкѣ русской критики, послѣдовавшемъ за критикою Бѣлинскаго. Кавелина трудно заподозрить въ какомъ-нибудь пристрастіи, въ недостаточномъ пониманіи прогрессивныхъ началъ русской жизни, и слова его, сказанныя противъ русской журналистики въ то время, когда она такъ или иначе представляла собою шумное и для многихъ увлекательное зрѣлище, была еще во всей силѣ, кипѣла самоувѣренностью и задоромъ, дѣлаютъ большую честь его критической проницательности и публицистической смѣлости. Эта журналистика казалась всесильнымъ орудіемъ прогресса только людямъ поверхностнымъ, недальновиднымъ, не ищущимъ въ литературныхъ фразахъ ничего, кромѣ цивической звонкости, не разбирающимся глубоко въ явленіяхъ жизни. Журналистика бурлила, играла пѣною легковѣснаго либерализма, вздувалась, какъ ревущій водопадъ, но въ ея скрытой основѣ уже таилась смерть. Въ ней глохли свѣтлыя идеи, пропадалъ инстинктъ красоты, выдыхались лучшія, высшія стремленія человѣческой души. Въ ней царилъ разрушительный произволъ по отношенію ко всему, что не укладывалось въ узкую рамку утилитаризма, а общественная жизнь, не волнуемая идеалами, представляла собою нѣчто, по истинѣ, хаотическое. Печать и общество находились на одной высотѣ. Общество теряло всякую нить въ разрѣшеніи гражданскихъ и литературныхъ вопросовъ, а печать, говоря характерными и сильными словами Кавелина, только «стереотипировала вальпургіеву ночь, шабашъ вѣдьмъ, происходившій въ нашихъ головахъ»...

Стоитъ отмѣтить и нѣсколько характеристическихъ соображеній о Бѣлинскомъ Н. Михайловскаго. Авторъ проводитъ параллель между Бѣлинскимъ и Прудономъ и приходитъ къ заключенію, выгодному для памяти Бѣлинскаго. Непоколебимость убѣжденій, говоритъ Михайловскій, далась Прудону безъ внутренней борьбы, далась даромъ «въ такомъ родѣ, какъ напр. породистому охотничьему щенку даются даромъ, по наслѣдству, чутье и нѣкоторыя повадки, подлежащія только легкой дрессировкѣ». Въ Прудонѣ необычайная стойкость убѣжденій поражаетъ насъ вмѣстѣ съ нѣкоторой плутоватостью характера. Въ Бѣлинскомъ насъ поражаетъ рыцарски честная, святая натура рядомъ съ шатаніемъ и колебаніемъ принциповъ. У Прудона однородная, непрерывная, характерная цѣпь предковъ. У Бѣлинскаго предки представляютъ какую-то мѣшанину: прадѣдъ неизвѣстенъ, дѣдъ—сельскій священникъ, отецъ—военный лекарь, пользующійся репутаціей вольнодумца и безбожника, мать мелкая дворянка... Таково происхожденіе и большинства пишущихъ людей на Руси, замѣчаетъ немного далѣе Михайловскій: «немножко дворянства, немножко поповства, немножко вольнодумства, немножко холопства». Установивъ различіе во внутреннемъ характерѣ и въ условіяхъ развитія Бѣлинскаго и Прудона и указавъ мимоходомъ на сходство ихъ въ томъ, что оба служили въ молодости домашними секретарями у богатыхъ лицъ, имѣвшихъ слабость къ литературѣ, Михайловскій нѣсколькими взмахами пера очерчиваетъ нравственную личность Бѣлинскаго. Бѣлинскій, говоритъ онъ, никогда не прибѣгалъ къ прудоновскимъ «подвохамъ» и «подходамъ», но всегда отличался самымъ искреннимъ отношеніемъ къ людямъ, къ принципамъ и фактамъ. Была одна область, въ которой Бѣлинскій оставался всегда почти непогрѣшимымъ: область эстетическая. Но когда эстетическое явленіе осложнялось какими-нибудь философскими и нравственно-политическими началами, чутье правды измѣняло ему. Вотъ все положительно-цѣнное въ статьѣ Михайловскаго—все прочее имѣетъ болѣе или менѣе полемическій характеръ. По дорогѣ къ конечной цѣли своей статьи Михайловскій уязвляетъ всѣ консервативныя фамиліи, «начинающіяся на *А*, а впрочемъ и на нѣкоторыя другія буквы, какъ напр. на *С*,—Стебницкій», бьетъ по мордамъ «молодыхъ щенковъ», упражняющихся на тему о недоучившемся студентѣ и, наконецъ, разражается потокомъ сердитыхъ словъ въ духѣ Сквозника-Дмухановскаго, коснувшись нѣкоторыхъ ретроградныхъ критиковъ. Ничего болѣе интереснаго и поучительнаго въ статьѣ Михайловскаго мы не нашли. Параллель между Бѣлинскимъ и Прудономъ, конечно, совершенно случайна и была обусловлена появленіемъ въ «Вѣстникѣ Европы» статей Пыпина о Бѣлинскомъ и статей другого автора о Прудонѣ и—что-бы ни говорилъ Михайловскій—сопоставленіе русскаго и французскаго писателя не даетъ

матеріаловъ для какихъ-либо серьезныхъ выводовъ. Это разныя фигуры, разные темпераменты въ полномъ смыслѣ слова.

Въ трехъ книжкахъ «Наблюдателя» за 1887 г. (августъ, сентябрь, октябрь). В. Чуйко довольно подробно разсматриваетъ исторію русской критики со времени Бѣлинскаго. Обладая большою начитанностью въ русской и иностранной литературѣ, авторъ дѣлаетъ нѣкоторыя интересныя сопоставленія между Бѣлинскимъ и иностранными писателями, оттѣняя при этомъ свое собственное отношеніе къ задачамъ русской критики. Чуйко излагаетъ различныя мнѣнія Бѣлинскаго о важнѣйшихъ литературныхъ явленіяхъ, видоизмѣненіе его взглядовъ на вопросъ о значеніи національнаго элемента въ поэзіи, о цѣляхъ искусства, объ эстетическомъ идеалѣ красоты, указываетъ на зависимость философическихъ теорій Бѣлинскаго отъ метафизической системы Гегеля и, въ заключеніе, проводитъ параллель между Бѣлинскимъ, Сентъ-Бевомъ и Тэномъ. Трудно пріискать бо́льшую противоположность, чѣмъ та, которая существуетъ между Бѣлинскимъ и Сентъ-Бевомъ, говоритъ Чуйко. Бѣлинскій — умъ, страстно преданный идеѣ, воспитанный метафизикой, горящій вѣрой и убѣжденіемъ, увлекавшійся и увлекавшій другихъ. Сентъ-Бевъ—натура холодная, скептическая, безъ всякой вѣры, насмѣшливая и методичная. Бѣлинскій—поэтическая натура. Сентъ-Бевъ—художникъ. Бѣлинскій—агитаторъ, трибунъ. Сентъ-Бевъ—тонкій психологъ, производящій свой анализъ съ твердостью непоколебимаго научнаго убѣжденія. Въ произведеніяхъ Сентъ-Бева критика почти замѣняется психологіей, и въ этомъ заключается, такъ сказать, весь смыслъ переворота, совершеннаго во французской литературѣ этимъ замѣчательнымъ писателемъ. Бѣлинскій, по всѣмъ своимъ пріемамъ, критикъ старой школы: онъ не внесъ никакой своеобразной формулы въ свои критическіе этюды, хотя внесъ въ нихъ много горячности, страстности, смѣлость стремленій, живую чуткость къ потребностямъ общества. Чуйко заканчиваетъ свою параллель сожалѣніемъ, что Бѣлинскій не воспользовался методомъ Сентъ-Бева хотя-бы по отношенію къ Пушкину: «Сюжетъ былъ чрезвычайно благодарный и портретъ могъ-бы выйти замѣчательный». Не менѣе любопытно и сопоставленіе Бѣлинскаго съ Тэномъ. Тэнъ— соціологъ, для котораго важны прежде всего общія историческія теченія. Бѣлинскій только догадывался о существованіи историческаго метода и лишь по временамъ примѣнялъ его къ русской литературѣ. Тэнъ—систематикъ, человѣкъ опредѣленнаго научнаго принципа, отъ котораго никогда не отступаетъ и которымъ пользуется съ замѣчательнымъ искусствомъ, рѣдкій стилистъ съ поразительнымъ изобиліемъ словъ, фразъ и выраженій. Бѣлинскій—человѣкъ безъ твердаго метода, хотя и съ не менѣе замѣчательнымъ талантомъ. Сентъ-Бевъ и Тэнъ работаютъ каждый въ спеціально отмежеванныхъ областяхъ, Бѣлинскій, по своей славянской натурѣ, не

довольствуется малымъ и подвергаетъ изученію все громадное зданіе искусства: «онъ далъ намъ прекрасный, по временамъ чудесно выполненный эскизъ этого зданія, но это все-таки только эскизъ, а не картина». Мы должны одиако отмѣтить слѣдующій пробѣлъ въ соображеніяхъ Чуйко. Онъ не ставитъ съ необходимою полнотою вопроса о философской критикѣ, въ которой элементы психологическіе и историческіе слиты въ одно неразрывное цѣлое. Критика Сентъ-Бева, какъ и критика Тэна, не обнимаетъ каждая въ отдѣльности всего предмета и даже, соединенныя вмѣстѣ, онѣ все-таки не возмѣщаютъ отсутствующаго элемента чистой философіи, объясняющаго то, что у этихъ блестящихъ писателей остается необъясненнымъ, неразгаданнымъ: самостоятельные законы искусства, смыслъ творческаго процесса, нравственное значеніе эстетическихъ идей. Критика есть вѣтвь философіи, и только настоящая *философская* критика можетъ исчерпать предметъ до дна, давъ ему всестороннее, всеохватывающее логическое объясненіе. Не подчеркнувъ этого обстоятельства, къ которому онъ стоялъ однако очень близко по ходу своихъ логическихъ соображеній, Чуйко оставилъ нѣсколько въ туманѣ вопросъ объ истинныхъ и коренныхъ недостаткахъ критики Бѣлинскаго, во всѣ ея періоды, не исключая такъ называемаго гегеліанскаго періода: въ его статьяхъ есть вѣрные намеки, бьющія въ цѣль замѣчанія, правильныя историческія соображенія, но они какъ-бы разсыпаются, не сведенныя къ опредѣленному теоретическому требованію.

Вникая въ эти разнообразныя сужденія о Бѣлинскомъ, мы должны сказать слѣдующее. Коренной вопросъ о вліяніи Гегеля на міросозерцаніе Бѣлинскаго поставленъ большинствомъ русскихъ критиковъ, но никѣмъ не разобранъ съ надлежащей обстоятельностью посредствомъ сличенія извѣстныхъ взглядовъ Бѣлинскаго съ ихъ первоисточникомъ. Никто не разсмотрѣлъ также съ должнымъ вниманіемъ его эстетическихъ идей въ ихъ собственномъ, оригинальномъ содержаніи и не подвергъ ихъ безпристрастному суду на основаніи опредѣленнаго теоретическаго критерія. А въ этихъ двухъ задачахъ и заключается вся суть оцѣнки Бѣлинскаго. Съ вопросомъ о самостоятельныхъ взглядахъ Бѣлинскаго связанъ вопросъ о размѣрахъ его критическаго таланта и объ его истинныхъ заслугахъ по отношенію къ русской литературѣ, съ вопросомъ объ его гегеліанскихъ увлеченіяхъ связанъ очень важный вопросъ о томъ, на сколько вообще философскій идеализмъ, въ широкой области литературной критики, можетъ служить орудіемъ общественнаго прогресса. Многіе привыкли видѣть въ дѣятельности Бѣлинскаго неудачную попытку внести въ критику идеалистическіе взгляды, опасные для историческихъ успѣховъ русскаго общества, попытку, разрѣшившуюся полнымъ разочарованіемъ и приведшую къ отрицанію этихъ взглядовъ во имя непосред-

ственнаго жизненнаго блага. А между тѣмъ, можно и нужно показать, что только въ идеализмѣ даны вѣрныя и вѣчныя основы для всякой общественной самодѣятельности и что только незнаніе его истинныхъ принциповъ было причиною многихъ заблужденій Бѣлинскаго въ такъ называемомъ гегеліанскомъ періодѣ,—заблужденій, толкнувшихъ его, по реакціи, на путь узкаго и ложнаго реализма. Можно и нужно показать, что Бѣлинскій не былъ вѣренъ никакимъ опредѣленнымъ философскимъ убѣжденіямъ и что, вслѣдствіе этого, дѣятельность его, не смотря на крупный талантъ, не могла имѣть глубокаго положительнаго значенія для развитія русской критики. Выше Бѣлинскаго, выше нашихъ временныхъ симпатій—интересы литературы, которымъ надо служить съ глазами, открытыми для всякой правды. Бѣлинскаго нельзя не любить всѣмъ сердцемъ, но за нимъ, какъ за Донъ-Кихотомъ (по мѣткому слову Погодина), не всегда можно слѣдовать въ его постоянныхъ колебаніяхъ и противорѣчіяхъ. Бѣлинскій—яркая и свѣтлая натура, но онъ не выразилъ собою въ окончательной формѣ *всѣхъ* стремленій русскаго національнаго самосознанія. Хвала Бѣлинскому за тяжкій трудъ на пользу общества, который онъ совершилъ съ такимъ увлеченіемъ, но не забудемъ, что критической школы у насъ все-таки нѣтъ. «Недалеко то время, говорилъ Гончаровъ, когда наступитъ чередъ самого Бѣлинскаго предстать передъ безпристрастный судъ критики. Этотъ судъ отдѣлитъ его общественно-литературную дѣятельность отъ дружескихъ симпатій, откинетъ всѣ преувеличенія и строго опредѣлитъ и оцѣнитъ истинное его значеніе передъ обществомъ». Положительныя заслуги не умалятся отъ такого безпристрастнаго анализа: онѣ освѣтятся еще ярче, когда оговоренныя ошибки отпадутъ отъ плодотворнаго ядра и дадутъ возможность правдѣ безпрепятственно войти въ сознаніе мыслящихъ людей эпохи.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Станкевичъ. — Его характеристика. — Философскіе и эстетическіе взгляды Станкевича.—Гегель въ собственныхъ произведеніяхъ и Гегель въ статьяхъ Бакунина и Бѣлинскаго.—Разумная дѣйствительность.—Поправка Станкевича.—Гаймъ и П. Лавровъ. — Политическіе взгляды Гегеля въ изложеніи проф. Александра Градовскаго.—Философскія и эстетическія теоріи Надеждина. — «Литературныя мечтанія» В. Бѣлинскаго.

I.

Подробному и всестороннему изученію Бѣлинскаго должно предшествовать знакомство со Станкевичемъ. Станкевичъ имѣлъ огромное вліяніе не только на Бѣлинскаго, но и на многихъ другихъ извѣстныхъ дѣятелей тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и его имя тѣсно связано съ лучшими стремленіями этой эпохи умственнаго разсвѣта, давшей направленіе всей дальнѣйшей духовной исторіи русскаго общества. Онъ былъ центромъ кружка, въ которомъ воспитывался Бѣлинскій, проходилъ первую умственную школу Михаилъ Бакунинъ, получилъ интересъ къ отвлеченнымъ вопросамъ знаменитый Грановскій. Изъ университетскихъ аудиторій, въ которыхъ читали Павловъ и Надеждинъ, Станкевичъ первый внесъ въ молодое общество стремленіе къ философіи, морали и религіи, возбудивъ любознательные умы къ работѣ и раскрывъ передъ ними цѣлый рядъ задачъ, имѣющихъ громадное теоретическое значеніе. Изящный умъ, незлобивая, кроткая, цѣльная натура, Станкевичъ жилъ одними только эстетическими и философскими интересами. Если былъ въ Россіи когда-нибудь человѣкъ, въ которомъ не было ничего грубаго, въ которомъ все душевное развитіе шло самыми свѣтлыми, воздушными тропами, то это былъ Станкевичъ. Нельзя понять Бѣлинскаго, не поставивъ рядомъ съ нимъ этого возвышеннаго юношу, вся жизнь котораго пронеслась какимъ-то чуднымъ видѣніемъ передъ глазами молодой Россіи. Въ той славѣ, которая окружаетъ знаменитаго русскаго критика, въ той легендѣ, которая

облекла его богатую порывами и страстями жизнь, которая придала поэтическій характеръ всей его литературной дѣятельности, Станкевичу принадлежитъ самое выдающееся мѣсто по праву одного изъ главныхъ руководителей Бѣлинскаго въ общихъ, теоретическихъ вопросахъ. Бѣлинскій и Станкевичъ перешли въ потомство вмѣстѣ, хотя по характеру, по темпераменту не было въ то время двухъ человѣкъ, столь мало сходныхъ между собою. Бѣлинскій—боецъ, героическая, страстная, мятежная натура. Станкевичъ—музыкальная, нѣжная душа, чуждая какихъ-бы то ни было мятежныхъ стремленій. Онъ мыслилъ неопредѣленными образами, какими-то нѣвучими мелодіями. Онъ боялся всего рѣзкаго, массивнаго, стоящаго передъ сознаніемъ въ грубой и вызывающей формѣ жизненнаго интереса и, не ощущая въ себѣ физическихъ силъ для смѣлой борьбы, онъ могъ находить удовлетвореніе въ одномъ только тихомъ, поэтически философскомъ созерцаніи. Въ исторіи русскаго просвѣщенія нѣтъ человѣка болѣе его обаятельнаго, болѣе его гармоничнаго. Безплотнымъ призракомъ въ лучахъ разсвѣта встаетъ онъ на фонѣ свѣтлѣющей русской жизни, съ ласковымъ взоромъ, съ привѣтливой улыбкой, которая нѣжно змѣилась около тонкихъ, правильно очерченныхъ губъ его. Онъ умеръ молодымъ, почти юношей, оставивъ по себѣ не яркій, но свѣтлый слѣдъ въ исторіи русской литературы.

Слабая, хрупкая, хотя и чрезвычайно стройная, нервная организація не дала широко развиться творческимъ силамъ души Станкевича. Обладая всѣми данными, которыя необходимы для литературной дѣятельности, тонкимъ пониманіемъ произведеній искусства, разностороннимъ образованіемъ, граціознымъ стилемъ съ разнообразными лирическими оттѣнками, превосходно рисующими всѣ настроенія автора, Станкевичъ не обладалъ тѣми внѣшними средствами, которыя необходимы для упорной работы въ прозаическихъ условіяхъ повседневной русской жизни. Его нервы не выдерживали никакихъ продолжительныхъ впечатлѣній, и быстро схвативъ на лету самую отвлеченную идею, какой-нибудь возвышенный поэтическій образъ, онъ тотчасъ истощался, не будучи въ силахъ продлить свое настроеніе, переносить въ теченіе долгаго времени душевное волненіе, учащенное біеніе сердца, приливы горячей крови къ мозгу. Все, что требуетъ твердой рѣшимости, что можетъ быть исполнено энергическою волею, идущею войною на всякое зло, не пренебрегающею никакими средствами въ пропагандѣ тѣхъ или другихъ принциповъ—не подходило къ темпераменту Станкевича. Онъ былъ созданъ только для мечты. Надѣленный поэтической прозорливостью высшаго порядка, необычайною способностью улавливать истину внутреннимъ пытливымъ созерцаніемъ философа и фантазера, онъ тяготился всякимъ однообразіемъ, котораго не переносило его больное, постоянно недомогающее тѣло, тонкая, слабая физическая оболочка его души, не дававшая развиться въ немъ ни одному могучему

влеченію, ни одному страстному порыву создать нѣчто крупное, яркое, сильное—гдѣ-нибудь, въ той или другой области, на томъ или другомъ поприщѣ человѣческаго или чисто гражданскаго служенія. Въ немъ не было драматическаго движенія чувствъ, которое толкаетъ впередъ къ практическому дѣлу или, отразившись на бумагѣ въ смѣлыхъ выраженіяхъ открытой литературной исповѣди, вноситъ въ общество интересъ къ высшимъ вопросамъ человѣческаго существованія. Онъ точно вымыселъ поэта, который гдѣ-то близко рѣетъ надъ нами, то приближается къ намъ, то удаляется отъ насъ, то возрождается въ нашемъ воображеніи съ необычайной яркостью, то расплывается въ неопредѣленныхъ, едва уловимыхъ чертахъ, волнующихъ душу тоскливымъ ощущеніемъ чего-то неяснаго, не вполнѣ разгаданнаго.

Въ одномъ изъ своихъ многочисленныхъ писемъ къ Грановскому, помѣщенномъ въ хорошо извѣстной, но мало оцѣненной книгѣ П. В. Анненкова, Станкевичъ въ немногихъ словахъ разсказываетъ исторію своей душевной жизни, и письмо это, по ясности настроенія, по сердечности общаго колорита, должно быть признано однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ образцовъ утонченнаго краснорѣчія. Станкевичъ говоритъ о себѣ съ оттѣнкомъ присущаго ему легкаго, изящнаго юмора, придающаго такую прелесть всѣмъ его лирическимъ изліяніямъ. Когда ему было четырнадцать лѣтъ, онъ грѣшилъ стихами. Но вытягивая изъ себя метафоры и пышныя фразы, онъ чувствовалъ всегда, что поэтическая дѣятельность не его призваніе. Это сознаніе росло въ немъ по мѣрѣ того, какъ развивался и изощрялся его вкусъ, какъ онъ все лучше и глубже постигалъ сущность искусства, по мѣрѣ того, какъ чувство красоты становилось его единственною въ жизни отрадою. Вышедши изъ университета, онъ не зналъ, за что приняться — и выбралъ исторію. Онъ ничего не видѣлъ въ ней особенно интереснаго для себя, но остановился на ней изъ подражанія всѣмъ, подъ вліяніемъ людей, не вѣрившихъ въ теоріи, по унаслѣдованной привычкѣ, «которая дѣлала страннымъ занятіе философіей» и обдавала всѣ отвлеченныя стремленія холодомъ невѣрія къ достоинствамъ человѣческаго ума. Но знакомство съ Шеллингомъ обратило его къ интересамъ эстетическимъ, къ вопросамъ искусства, и тогда онъ ясно понялъ, къ чему влечется его умъ. «Грановскій, вѣришь-ли? Оковы спали съ души, когда я увидѣлъ, что внѣ одной всеобъемлющей идеи нѣтъ знанія, что жизнь есть самонаслажденіе любви и что все другое—призракъ. Да, это мое твердое убѣжденіе. Теперь есть цѣль передо мною: я хочу полнаго единства въ мірѣ моего знанія, хочу дать себѣ отчетъ въ каждомъ явленіи, хочу видѣть связь его съ жизнью цѣлаго міра, его необходимость, его роль въ развитіи этой идеи. Пусть другіе больше моего знали: можетъ быть, я буду знать лучше... Пришло время. Лучше—я разумѣю отчетливѣе, въ связи съ одной идеею, внѣ

которой нѣтъ жизни». Больше простора! Исторію можно любить только какъ поэтическую картину разнообразной и причудливой жизни человѣчества, какъ задачу, рѣшеніе которой не въ ней самой, а въ человѣкѣ, въ его мышленіи, приведенномъ въ научную систему. Поэзія и философія—сущность всего. Въ нихъ жизнь, въ нихъ любовь. Внѣ поэзіи и философіи—все мертво. Въ нихъ наслажденіе, въ нихъ спасеніе...

Съ такими мыслями Станкевичъ могъ-бы сдѣлаться блестящимъ литературнымъ критикомъ, выдающимся философомъ, если-бы ему не помѣшала, какъ мы уже говорили, его хрупкая, нервная организація, не способная ни на какую борьбу. Станкевичъ походилъ на того врага музыки, который описанъ въ извѣстномъ произведеніи Гофмана. Врагъ этотъ жилъ въ домѣ одного славнаго музыканта, въ нижнемъ этажѣ его. Наверху исполнялись лучшіе концерты лучшими артистами, и когда раздавался первый ударъ смычка, врагъ музыки отворялъ окно и, не смѣя дохнуть, принималъ каждый звукъ въ свою чуткую и вѣчно взволнованную душу. Въ немъ рождались свѣтлыя фантазіи, воскресали давно заглохнувшія чувства. Начинался второй номеръ, и врагъ музыки чувствовалъ, что душа его истощила всѣ силы. Еще одинъ ударъ смычка—и онъ выбѣгалъ на улицу, чтобы успокоить расходившіеся нервы, при смѣхѣ музыкантовъ, которые показывали на него сверху пальцами [1]). Таковъ былъ Станкевичъ. Онъ быстро уставалъ и не выносилъ любимѣйшихъ впечатлѣній, если они принимали рѣзкія, отчетливыя формы. «Я боюсь всего опредѣленнаго, всего точнаго: это производитъ головную боль», говорилъ онъ. По вѣрному замѣчанію Анненкова, онъ могъ понять убѣгающія поэтическія черты жизни не раньше, чѣмъ возводилъ ихъ на степень отвлеченнаго понятія, не раньше, чѣмъ стиралъ съ нихъ тѣ рѣзкія краски, въ которыхъ онѣ выступили передъ его глазами. Все замкнутое, ограниченное, все густое, все поражающее выпуклостью формъ не удовлетворяло его. Море прекрасно только потому, что его нельзя обозрѣть. Даль хороша, потому-что въ ней всѣ предметы сливаются съ небомъ и воздухомъ. Онъ жилъ чистѣйшимъ умозрѣніемъ, отвлеченнѣйшими идеями, въ которыхъ грубые предметы міра вращаются просвѣтленные, «въ безплотной оболочкѣ мысли», поэзія рѣзкихъ и яркихъ очертаній преображается въ поэзію безбрежныхъ горизонтовъ, въ которой все единичное, частное, внезапное расплывается въ красотѣ всеобщаго, вѣчнаго, неизмѣннаго. «Если я тоскую, говорилъ Станкевичъ, то тоска эта не привязана ни къ какому опредѣленному предмету». Воспріимчивая до изумительной степени, натура Станкевича съеживалась при видѣ всего грандіознаго, хаотическаго. Горы Кавказа испугали его, когда онъ въ первый разъ попалъ въ Пятигорскъ. Сначала Кавказъ представ-

[1]) *П. В. Анненковъ.* Переписка, стр. 160.

лялся ему въ какомъ-то очаровательномъ свѣтѣ. Онъ манилъ его, какъ загадка, отъ которой онъ ждалъ чудесъ, хотя сознавалъ при этомъ, что чудеса возможны только въ душѣ человѣка, что они создаются только волею, независимостью отъ людей и обстоятельствъ, безграничною любовью. Но вотъ онъ въ Пятигорскѣ—и имъ овладѣваетъ разочарованіе. Ну, что Кавказъ? Что степи? Что горы? Ничего чудеснаго, ничего восторгающаго душу. На горизонтѣ ряды бѣлыхъ облаковъ—это снѣжныя горы. Вотъ двѣ тучи надъ горою—это Пятигорскъ. Дикая природа, дикій край, дикіе люди—все это производитъ враждебное, гнетущее впечатлѣніе. Проходитъ нѣсколько дней, и отношенія Станкевича къ красотамъ Кавказа измѣняются. Эльборусъ, съ высоко поднятою двуглавою вершиною, вызываетъ въ немъ два противорѣчивыхъ чувства: сначала тоску, а потомъ наслажденіе. При созерцаніи горъ, заграждающихъ горизонтъ, этихъ дикихъ громадъ, съ ихъ рѣжущими глазъ очертаніями, съ ихъ угрожающими, висящими въ воздухѣ выступами, смиряется бѣдная человѣческая душа, сознавая свое дѣтское безсиліе и не смѣя мечтать о первенствѣ. Это царство природы, невѣжества и животныхъ страстей. Подъ этимъ яркимъ небомъ нѣтъ существа, которому можно было-бы сочувствовать, нѣтъ ни любви, ни состраданія. Это Азія — печальная, мрачная, подавляющая воображеніе. Но вотъ дикая картина Кавказа выплыла предъ Станкевичемъ въ иномъ освѣщеніи. Вершина Эльборуса слилась съ облаками и, потерявъ свою прежнюю опредѣленность, превратилась въ фантастическій замокъ. Двѣ головы его врѣзались въ небо. Вблизи Машукъ уперся въ тучи и полукругомъ обогнулъ центръ города. Бештау поддернутъ дымкой. А въ отдаленіи — равнина, на которой горы за горами теряются въ туманѣ. Вотъ когда душа равняется съ гигантскими утесами, когда дышется вольнѣе и свободно разыгрывается воображеніе. Тучи, медленно плывущія надъ Эльборусомъ, кажутся обозами. Обозы идутъ по снѣгу къ селу. Въ селѣ домъ, садъ, движеніе. Это — царство жизни, царство свободы. Вотъ гдѣ дикая красота природы преобразуется въ величавую красоту мысли, духа, свѣта и счастья... Тоска смѣнилась наслажденіемъ! Ничто не двинулось съ мѣста, дикія громады не потеряли своего типическаго выраженія, все осталось тѣмъ, чѣмъ было, но двѣ головы Эльборуса врѣзались въ небо, горы слились съ облаками и одѣлись мягкимъ туманомъ, въ которомъ какъ-бы вытянулись и утончились ихъ грубыя, черезчуръ рельефныя очертанія — и потрясающій эффектъ настоящей первобытной красоты, невыносимый для слабыхъ, болѣзненныхъ нервовъ Станкевича, исчезаетъ въ успокаивающемъ и примиряющемъ впечатлѣніи необъемлемой, безформенной картины, сродняющей душу съ небомъ. Это цѣлая гамма ощущеній, въ которой, можно сказать, вылилась вся внутренняя суть дѣйствительно замѣчательнаго человѣка. Будучи слишкомъ

общимъ, отвлеченнымъ, поэтическое влеченіе Станкевича, по вѣрному и тонкому замѣчанію Анненкова, не находило и не могло найти для себя настоящаго выраженія. Склонный по самому строю своей физической организаціи къ неопредѣленнымъ мечтаніямъ и философическимъ грезамъ, не будучи въ силахъ чувствомъ обнять со всѣхъ сторонъ того, что приняло рельефную, пластическую форму, облеклось упругими, твердыми линіями, Станкевичъ не могъ сдѣлаться поэтомъ въ литературѣ. Онъ былъ-бы, можетъ быть, геніальнымъ музыкантомъ, если-бы обстоятельства сложились иначе, если-бы его не поразила чахотка, если-бы онъ не умеръ на двадцать седьмомъ году жизни. Но поэтомъ онъ сдѣлаться не могъ. Поэзія сосредоточилась въ душѣ его, проникла въ его характеръ, освѣтила всѣ его мысли, побужденія и инстинкты, обратила его самого въ поэтически трогательное существо, но не могла стать его литературнымъ призваніемъ, его постояннымъ дѣломъ, его вѣчною славою [1]). Прекрасное моей жизни, говорилъ Станкевичъ, не отъ міра сего. Но поэзія именно въ томъ мірѣ, въ которомъ мы живемъ, въ его конкретныхъ формахъ и образахъ, въ безконечномъ разнообразіи *индивидуальныхъ* воплощеній красоты. Поэзія въ природѣ. Природа прекрасна на фонѣ возвышеннаго, мистическаго, божественнаго, но внѣ природы настоящей красоты не бываетъ...

Философія и религія—вотъ въ чемъ заключалось истинное призваніе Станкевича: философія, какъ необходимая ступень къ истинѣ, къ той идеѣ, въ которой вмѣщается весь міръ, разрѣшены всѣ противорѣчія, а религія, какъ сама истина, постигаемая разумомъ и вдохновляющая волю на борьбу за счастье людей. Я долженъ удовлетворить моей философской потребности, говорилъ Станкевичъ, но меня манитъ при этомъ не столько само рѣшеніе вопросовъ, которые болѣе или менѣе рѣшаются вѣрою, сколько самый философскій методъ, какъ выраженіе послѣднихъ успѣховъ ума. «Между безконечностью и человѣкомъ, какъ онъ ни уменъ, пишетъ онъ Бѣлинскому, всегда остается бездна, и одна вѣра, одна религія въ состояніи перешагнуть ее, одна она въ состояніи наполнить пустоту, вѣчно остающуюся въ человѣческомъ знаніи». Философія нужна была Станкевичу для того, чтобы убѣдиться въ достоинствахъ человѣческаго ума, нужна была, какъ орудіе для пробужденія въ людяхъ самыхъ высокихъ интересовъ. И нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что если бы онъ не умеръ такъ рано, мы имѣли-бы не одно литературное свидѣтельство его огромнаго умственнаго дарованія. Неопровержимымъ доказательствомъ этого служатъ тѣ немногочисленные отрывки теоретическихъ разсужденій, которые собраны въ книгѣ Анненкова. Несмотря на нѣкоторую наивность выраженій, на юношескій паѳосъ въ построеніи отвлеченныхъ аргументовъ, не смотря

[1]) *П. В. Анненковъ*, Н. В. Станкевичъ, біографія, стр. 22.

на отсутствіе твердаго ядра, важнѣйшихъ и руководящихъ взглядовъ, разсужденія эти отличаются необычайною тонкостью, проникнуты живымъ и остроумнымъ пониманіемъ труднѣйшихъ метафизическихъ вопросовъ. Переходя по временамъ въ какія-то безформенныя мечтанія, теряя свой главный предметъ, отрѣшаясь отъ требованій формальной логики, они никогда не дѣлаются, однако, безсодержательными по существу, никогда не вырождаются въ пустую игру риторическихъ фразъ. Въ нихъ всегда просвѣчиваетъ то особенное вдохновеніе, которое было въ Россіи свойственно одному только Станкевичу: вдохновеніе неопредѣленныхъ, но возвышенныхъ стремленій, вдохновеніе не яснаго, никакими словами не передаваемаго, всесильнаго чувства божества. Въ нихъ больше правды, больше души человѣческой, чѣмъ въ строго выдержанныхъ, по всѣмъ правиламъ схоластической логики построенныхъ, холодныхъ разсужденіяхъ людей безъ внутренняго призванія къ философіи. Въ нихъ больше смысла, больше нравственныхъ силъ, чѣмъ въ той резонерской публицистикѣ, въ которую, со смертью Станкевича и Бѣлинскаго, стала выливаться русская мысль на страницахъ газетъ и журналовъ. Въ недоконченныхъ, разбросанныхъ, то забѣгающихъ впередъ, то безъ всякой надобности отскакивающихъ назадъ теоретическихъ разсужденіяхъ Станкевича слышится полное, всестороннее убѣжденіе, исходящее изъ глубины души.

Больной, слабый, не пригодный ни на какое жизненное дѣло, Станкевичъ производилъ, однако, трогательно впечатлѣніе на всѣхъ, стоявшихъ къ нему близко, людей. Искусство и философія сдѣлали изъ него, говоритъ Анненковъ, человѣка, котораго одно присутствіе настраивало окружающихъ на правду, на презрѣніе ко всему темному, грубому, произвольному, «на сохраненіе въ моральной цѣлости души своей и на созерцаніе всего міра, какъ единой жизни, исполненной смысла, поэзіи и глубокаго поученія». Бродя среди людей съ просвѣтленнымъ взоромъ, обращеннымъ къ небу, онъ точно прислушивался къ какому-то ему одному внятному голосу, который увлекалъ его мечту все выше и выше. Это не былъ обыкновенный смертный, и вся жизнь его—романтическая сказка, приводящая въ движеніе наши лучшія чувства. Станкевичъ самъ разсказалъ эту жизнь въ поэтическомъ отрывкѣ полубеллетристическаго, полулирическаго характера, помѣщенномъ въ концѣ книги Анненкова. Ни въ одномъ изъ его писемъ онъ не могъ отразиться съ такою полнотою, какъ на этихъ немногихъ страницахъ, написанныхъ съ мастерствомъ несомнѣннаго литературнаго таланта. Здѣсь вылилось все, о чемъ тосковало его сердце, чѣмъ болѣлъ его умъ, все, что безпокоило его съ самыхъ раннихъ лѣтъ. Любовь, стремленіе къ счастью, ненасытимая жажда искусства, артистическій восторгъ предъ красотою, доходящій до экстаза—эти гармонирующія между собою проявленія его души встаютъ передъ нами въ одной цѣльной, увлекающей картинѣ. Въ разсказѣ нѣтъ никакой тенден-

ціи, никакихъ характеровъ. Весь онъ—точно нѣжная музыкальная поэма, производящая чарующее дѣйствіе. Звуки несутся въ волшебныхъ сплетеніяхъ, волнуя воображеніе. Но вдругъ стройный, мелодическій напѣвъ прерывается легкимъ крикомъ лопнувшей струны...

Вотъ въ чемъ заключается содержаніе этого беллетристическаго наброска, имѣющаго автобіографическое значеніе. *Онъ* жаждалъ познаній, искалъ истины, но міръ и люди обманули его. Скорбя, онъ не утратилъ ни надеждъ, ни силъ, но къ прежнимъ чувствамъ его прибавилось новое—презрѣніе. Тогда онъ съ улыбкою вмѣшался въ толпу, пересталъ говорить о томъ, что выше людей, пріобрѣлъ блаженную терпимость и даже пустился въ танцы, чтобы ближе узнать тѣхъ, которымъ природа опредѣлила представлять на землѣ красоту и любовь. Но какъ согласить непреодолимое влеченіе ума къ истинѣ съ потребностью любить и вѣрить? Какъ спасти чувство отъ ударовъ ума, какъ отвратить умъ отъ обольщеній чувства? Еслибъ случай сблизилъ его съ созданіемъ, достойнымъ его высокой, безкорыстной любви! Если-бы онъ нашелъ настоящую красоту, отраженіе природы съ человѣческимъ сердцемъ въ груди, съ молитвою на устахъ, онъ не сталъ-бы расточать своихъ страстей на безотвѣтный, холодный мраморъ, на мимолетные звуки. «Гордый разумъ безпрекословно почтилъ-бы Бога въ твореніи, вѣра младенца и любовь юноши дали-бы крылья мужественному уму». Но судьба не захотѣла этого. И съ первыми признаками рокового физическаго недуга онъ уѣхалъ лѣчиться въ чужіе и дальніе края, покинувъ единственнаго, горячо любимаго друга.

Въ двухъ-трехъ великолѣпныхъ описаніяхъ музыкальнаго содержанія, не уступающихъ извѣстнымъ описаніямъ Гейне и Тэна, Станкевичъ передаетъ намъ дальнѣйшую судьбу своего героя. Вотъ онъ сидитъ за роялью. Душа его какъ будто пробудилась отъ долгаго сна, тихій румянецъ покрылъ его блѣдныя щеки, въ глазахъ его загорѣлось вдохновеніе. Послушно перебѣгаютъ пальцы по клавишамъ, и каждый звукъ, вылетающій изъ-подъ нихъ, одухотворенный мыслью и жизнью, глубоко западаетъ въ сердце. Но вдругъ нарушается спокойный, ровный ходъ мелодіи: дрожащая рука оттягиваетъ и сокращаетъ тоны, диссонансы становятся все чаще и чаще, раздается крѣпкій ударъ—и нѣжная, мягкая мелодія разрѣшилась вопящей бурею звуковъ. Таково одно описаніе. Затѣмъ Станкевичъ изображаетъ намъ симфоническій концертъ, на которомъ присутствовалъ его герой. Унесенный мечтою въ давно прошедшіе годы дѣтства, онъ не видитъ передъ собою никого, кромѣ одной дѣвушки, которую очаровали тѣ же звуки, тѣ же мечты. Раздается тихое tremendo—и мысли его то носятся вокругъ прекраснаго существа, то увлекаютъ его вмѣстѣ съ нимъ Богъ знаетъ куда. Онъ бродитъ съ нею по пустынному полю и передъ ними необозримая даль. Тучи сгущаются на небѣ, удары грома раздаются одинъ за другимъ.

Неужели ихъ можетъ что-нибудь разъединить? Неужели они не связаны навѣки? «Боже мой, какъ ужасна была-бы разлука! Опять сойти въ ничтожный міръ, опять бороться, разрушаться»! А удары все ближе, сильнѣе, гроза разражается съ безумною яростью...

— Ты вѣришь, неправда-ли, ты вѣришь, другъ мой, говорила она, что новая жизнь зарождается въ этомъ пламени, жизнь вѣчная, всемогущая, которая ощутитъ себя въ каждомъ атомѣ природы, которая прославитъ Бога въ каждомъ созданіи?

— Вѣрю-ли я, ангелъ моей души? Вѣрю-ли я? *Знаю* съ тѣхъ поръ, какъ знаю тебя. Мы будемъ въ немъ, какъ онъ во всемъ. Мы ступили первый шагъ къ блаженству: уже я живу твоею жизнью и молюсь твоею молитвою...

Глаза ихъ сіяли блаженствомъ.

И вотъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Онъ умеръ у самаго входа въ болѣе свѣтлую, радостную жизнь. «Дымятся кадила передъ престоломъ Неисповѣдимаго, стройный хоръ воспѣваетъ Бога правды, Бога любви». Отдернута таинственная завѣса алтаря, и сквозь дымъ куреній, съ престола Распятый простираетъ объятія къ людямъ. Въ храмѣ толпа молящихся и въ ней—та, которая очаровала всю его душу: блѣдная, безмолвная, она сидитъ у стѣны, съ закрытыми глазами, склонивъ голову на плечо матери... А природа торжествуетъ свое возрожденіе: луга зацвѣли, сады заблагоухали, огонь любви пробѣжалъ по всѣмъ звеньямъ созданья.

Станкевичъ умеръ на чужбинѣ въ ночь съ 24 на 25 іюня 1840 года. Съ вечера онъ былъ еще веселъ, разсказываетъ Анненковъ, но когда къ нему пришли рано утромъ, онъ спалъ уже вѣчнымъ сномъ—съ неизмѣнной, благородной улыбкой, никогда не перестававшей играть на его лицѣ. Жизнь его протекла безшумно, среди всеобщаго поклоненія, въ чистѣйшихъ восторгахъ безмятежнаго, философскаго созерцанія. Его всѣ любили, какъ любятъ красоту — цѣльною, полною любовью. Красивый, изящный, необычайно деликатный, съ прекрасными, черными волосами, съ яснымй, карими глазами, онъ былъ точно воплощенная мечта юности. Такіе люди всего чаще встрѣчаются въ первые молодые годы развивающагося общества—съ ихъ наивными надеждами, неограниченнымъ энтузіазмомъ, съ ихъ непоколебимою вѣрою въ высокое призваніе человѣка.

II.

Теперь мы должны собрать воедино философскіе и эстетическіе взгляды Станкевича. Въ статейкѣ его, озаглавленной «Моя метафизика», мы находимъ рядъ слѣдующихъ сужденій. Жизнь природы обнаруживается передъ нами въ фактахъ непрерывнаго творчества, и хотя все, что рождается, умираетъ, ничто однако не гибнетъ, не уничтожается въ мірѣ. Природа

вѣчна, и живая во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, она одна и та-же всегда и повсюду—могучая, повинующаяся себѣ самой, своимъ законамъ. Дѣйствуя независимо отъ воли отдѣльныхъ существъ, она стремится по путямъ своего собственнаго, безграничнаго разумѣнія, преслѣдуя свои собственныя, высокія цѣли, стоящія выше нашихъ временныхъ стремленій. «Съ симъ сознаніемъ заря утѣшенія восходитъ для человѣка. Онъ не потерянъ въ безконечности творенія, онъ выполняетъ наравнѣ съ прочими тварями жизнь природы». Но не въ этомъ одномъ заключается назначеніе человѣка: онъ можетъ подняться надъ другими тварями, отождествить свои личныя цѣли съ цѣлями природы, съ ея высшимъ разумомъ, сознательно подчинившись ея законамъ, признавъ ея красоту, управляясь ея твердою, неподкупною справедливостью. Въ этомъ его высокая миссія. Всякое созданіе одухотворено. Разумное начало заложено въ камнѣ такъ-же, какъ и въ человѣкѣ. Но только въ послѣднемъ оно достигаетъ высшаго своего выраженія. Здѣсь жизнь, сознающая себя разумною и свободною *въ цѣломъ*, сознаетъ себя такою-же и въ отдѣльномъ, частномъ своемъ воплощеніи. Каждое дерево, каждое растеніе, одаренное безсознательнымъ разумѣніемъ, представляетъ только часть природы, и лишь одинъ человѣкъ есть повтореніе *всей* природы, съ ея внутренней, разумной свободой, съ ея вѣчностью, съ ея безсмертіемъ. Но будучи таковымъ отъ рожденія, человѣкъ долженъ сознательно осмыслить задачу своей жизни, свои права и свои обязанности. Повторяя ея законы, будучи цѣлымъ міромъ въ миніатюрѣ, онъ долженъ основать свою жизнь на высшемъ разумномъ принципѣ, дать свободный исходъ своимъ лучшимъ стремленіямъ и желаніямъ. Но въ чемъ этотъ принципъ? Какъ назвать ту правду, на служеніе которой человѣкъ обязанъ отдать свои силы? Въ чемъ счастье? Въ чемъ истина? «Если жизнь есть разумъ, если жизнь есть воля, говоритъ Станкевичъ, то она есть чувство по преимуществу». Если человѣкъ есть повтореніе всей природы, сокращенное выраженіе всѣхъ міровъ, то очевидно, что его высшей задачей будетъ всегда—чувствовать въ себѣ всю эту полноту жизни, дѣйствовать съ ней заодно, въ тѣсной солидарности, любить ее всѣми силами души. «Любовь! другъ мой, для меня съ этимъ словомъ разгадана тайна жизни. Жизнь есть любовь. Вѣчные законы ея и вѣчное ихъ исполненіе—разумъ и воля. Жизнь безпредѣльна въ пространствѣ и времени, ибо она есть любовь. Съ тѣхъ поръ, какъ началась любовь, должна была начаться жизнь. Покуда есть любовь, жизнь не должна уничтожиться. Міръ вѣченъ, ибо любовь не кончится: не кончится, ибо она есть...»

Таковы первыя философскія размышленія Станкевича, записанныя имъ въ 1833 году и служащія отголоскомъ ученія, воспринятаго въ аудиторіяхъ Надеждина и Павлова. Три элемента составляютъ это ученіе, по тремъ ступенямъ совершается его развитіе: природа, без-

конечный разумъ и разумъ человѣка. Оживленная, цѣлесообразная во всѣхъ частяхъ, проникнутая духовною силою, природа представляется въ этомъ міросозерцаніи высшимъ нравственнымъ и высшимъ эстетическимъ принципомъ: въ ней и правда, и красота. Она не слѣпа, не дика, не стихійна, а вся проникнута мудростью, которую надо постичь, уразумѣть, понять въ глубину и ширину. Камень не мертвъ, въ немъ разумъ только спитъ. Растеніе ощущаетъ, шевелится. Животное движется. Обладая не только сознаніемъ, но и самосознаніемъ, обнимая мыслью и жизнь въ движеніи природы, и жизнь въ непрекращающейся работѣ души, вмѣщая въ себѣ всѣ формы существованія, человѣкъ стоитъ на вершинѣ мірового процесса. Въ немъ послѣднее слово творенія, онъ высшее воплощеніе божества. И сознавая себя именно тѣмъ, что онъ есть, созерцая въ себѣ гармонію разнообразныхъ силъ, безконечное множество низшихъ и высшихъ стремленій, человѣкъ сродняется съ міромъ, съ людьми, съ природою, проникается любовью ко всякой твари. Философія, обнаружившая Бога въ мельчайшемъ твореніи, оживившая сознаніемъ матерію, открывшая передъ человѣкомъ возможность слиться съ міромъ въ чувствѣ собственной безконечности,—такая философія не могла не привести къ любви, какъ къ совершеннѣйшему идеалу, какъ къ высшему мотиву для всякой разумной дѣятельности. Въ этой философіи мораль—прямой и естественный выводъ изъ основного теоретическаго положенія, что сознаніе повсюду. Въ этой философіи мораль и эстетика развиваются рядомъ: чѣмъ сильнѣе выраженіе божества въ отдѣльныхъ явленіяхъ природы, тѣмъ ярче красота, чѣмъ полнѣе раскрывается въ нихъ духъ свободы, тѣмъ наслажденіе глубже, чище, возвышеннѣе. Природа въ цѣломъ потому такъ безконечно хороша, что въ ней заключенъ весь разумъ, что въ ней все божество.

Станкевичъ заинтересовался ученіемъ Шеллинга подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ отъ лекцій Павлова и Надеждина, когда онъ не зналъ еще руководящихъ началъ идеалистической философіи и не могъ, поэтому, отнестись къ нему съ надлежащею критическою свободою. Увлекшись романтическою красотою этого смѣлаго и широкаго ученія, онъ не отразилъ его, однако, въ своихъ замѣткахъ съ необходимою полнотою, съ достаточною силою въ передачѣ отдѣльныхъ важныхъ частей его. Но, несмотря на характеръ подражанія и заимствованія, разсужденія Станкевича отличаются всѣми качествами его самобытной, оригинальной натуры. Проникнутыя симпатичнымъ свѣтомъ первой юношеской любви къ наукѣ, они подкупаютъ поэтическимъ мистицизмомъ, исканіемъ высшаго, разумнаго начала не только въ самомъ человѣкѣ, но и внѣ его, въ природѣ, въ матеріи, въ каждомъ явленіи міра. Станкевичъ обожествляетъ природу, оставляя ее, однако, при всѣхъ ея грубыхъ свойствахъ, одухотворяетъ предметы чувственнаго міра, не замѣчая при этомъ,

что матерія и Богъ—начала противоположныя, что природа и духъ, исключая другъ друга, могутъ быть примирены либо путемъ послѣдовательнаго матеріализма, либо путемъ строгаго идеализма. Онъ разсуждаетъ, какъ человѣкъ искусства и, довѣряясь непосредственнымъ впечатлѣніямъ со всею искренностью тонко чувствующей, артистической натуры, принимаетъ за несомнѣнную, очевидную дѣйствительность фантомы пылкаго воображенія, блестящій миражъ, свѣтовое отраженіе единственно реальнаго, но невидимаго міра въ призрачныхъ формахъ пространства и времени. Когда Станкевичъ писалъ эту замѣтку о метафизикѣ, онъ не изучилъ еще основательно самой системы Шеллинга и зналъ о философіи Канта только по наслышкѣ. Склонный къ идеализму по натурѣ, онъ имѣлъ о немъ, однако, въ то время ограниченныя свѣдѣнія и, болѣе слѣдуя за взглядами Павлова и Надеждина, чѣмъ за нѣмецкими учеными, онъ не могъ ни разрѣшить, ни даже правильно поставить вопроса о наукѣ, искусствѣ, религіи. Его размышленія имѣютъ скорѣе поэтическое, чѣмъ философское достоинство: въ нихъ сказалась возвышенная потребность облагораживать все то, что грубо, переводить всѣ эмпирическія понятія на болѣе тонкій языкъ эстетическаго чувства, придавать символическій смыслъ фактамъ жизни, явленіямъ внѣшняго міра. Но при всей идеалистичности безсознательныхъ и сознательныхъ стремленій Станкевича на почвѣ философскаго знанія, онъ, въ этихъ первыхъ своихъ наброскахъ, является не столько борцомъ за опредѣленную систему, не столько ученымъ, пользующимся всѣми существующими важными матеріалами по данному предмету, сколько счастливымъ отгадчикомъ отдѣльныхъ теоретическихъ истинъ. Твердаго принципа въ «Метафизикѣ» Станкевича нѣтъ. Это наивный пантеизмъ, который не могъ оставить глубокаго слѣда въ исторіи русскаго просвѣщенія. Это юношеская философская греза съ оттѣнкомъ простодушной поэзіи, которая должна была разсѣяться при болѣе близкомъ знакомствѣ съ оригинальными сочиненіями Канта и Гегеля. Въ «Метафизикѣ» Станкевичъ находится еще на первой ступени своего научно-философскаго развитія.

Только въ 1835 году Станкевичъ сталъ настоящимъ образомъ изучать сочиненія Шеллинга въ подлинникѣ, съ тою серьезностью, которая требуется для такого труднаго дѣла, и при этомъ для него не было уже никакого сомнѣнія, что безъ Канта нельзя понять движенія европейской мысли. Чтобы возвести свое горячее убѣжденіе на степень непреложнаго и твердаго знанія, говоритъ онъ, надобно изучить то основаніе, на которомъ утверждается новая нѣмецкая философія. Кантъ разрушилъ всѣ догматическія попытки старой метафизики, указавъ человѣческому уму новую и вѣрную дорогу къ старымъ, вѣчнымъ цѣлямъ. Оградивъ философское убѣжденіе отъ ударовъ скептицизма, онъ направилъ свое изслѣдованіе на отысканіе того начала, которое дѣлаетъ воз-

можнымъ весь познавательный процессъ въ человѣкѣ — и за Кантомъ Шеллингу не трудно было построить свою собственную систему, выдвинувъ ученіе о *самосознаніи* передъ прочими частями идеалистическаго міросозерцанія.

Нѣсколько строкъ, посвященныхъ Станкевичемъ Канту въ письмѣ отъ 10-го ноября 1835 года, обнаруживаетъ въ немъ ту ясность пониманія, о которой мы уже говорили, то необычайное чутье къ истинѣ, которое составляло его прирожденное качество. «Теперь ты видишь, пишетъ онъ Невѣрову, какъ необходимо изученіе Канта для того, кто желаетъ стать наравнѣ съ лучшими идеями нашего вѣка, понять торжество человѣческаго ума, его заслугу въ наше время. А какъ не хотѣть этого? Не хотѣть намъ, которые толкуемъ о жизни, о благѣ, о человѣчествѣ, о средствахъ быть ему полезнымъ? Но быть полезнымъ—неужели значитъ указать средства къ пропитанію, къ спокойному житью, къ удобствамъ жизни, къ эгоистическому образованію, которое-бы умножало удовольствія жизни? Не лучше-ли внушить ему высокія убѣжденія, сознаніе своего достоинства, христіанскія истины? А упрочить убѣжденіе можетъ одна философія». Это уже не юношескія разсужденія на фантастическую тему, а разсужденія зрѣлаго ума, разсужденія добросовѣстныя, лицомъ къ лицу съ великимъ сочиненіемъ Канта, которое лежало тогда раскрытымъ на письменномъ столѣ Станкевича. Но понявъ Канта, нельзя было остаться на прежней точкѣ зрѣнія, и ученіе Шеллинга, испытанное при помощи критической теоріи познанія, неизбѣжно должно было поколебаться въ міросозерцаніи молодого русскаго философа. Понявъ, что послѣдовательный идеализмъ долженъ проникнуться религіею, стать всеобъемлющимъ ученіемъ о мірѣ и Богѣ, Станкевичъ перешелъ къ Гегелю, и переходъ этотъ—совершенно естественное явленіе въ процессѣ умственнаго развитія этого высоко одареннаго человѣка. Въ Станкевичѣ выросло и окрѣпло сознаніе, изощрились способности анализировать отвлеченные вопросы, подмѣчать тончайшія, еле уловимыя для обыкновеннаго ума логическія противорѣчія въ разрѣшеніи самыхъ трудныхъ философскихъ задачъ. Послѣдовательность въ мышленіи съ одной стороны и идеалистическій инстинктъ съ другой—все толкало Станкевича на путь широкаго и смѣлаго обобщенія. Нельзя остановиться на полъ-дорогѣ. Нельзя искать Бога въ матеріи, нельзя одухотворить матерію иначе, какъ внеся въ нее разлагающее, растворяющее духовное начало, противорѣчащее всѣмъ ея признакамъ, свойствамъ, качествамъ. Всеохватывающею полнотою можетъ обладать только то ученіе, которое смѣло обопрется на единый принципъ—либо на духъ, либо на матерію и, сведя всѣ явленія міра физическаго и духовнаго къ опредѣленному началу, дастъ послѣдовательное объясненіе тому, что интересуетъ человѣческій умъ. Пантеизмъ Станкевича въ томъ видѣ, въ какомъ мы нашли его на страницахъ его Пере-

шеки первыхъ годовъ, смѣсь ученія Шеллинга и Окена, съ добавочными поясненіями, вынесенными изъ аудиторій московскаго университета, не проникнутый стройностью, то витающій въ метафизическихъ отвлеченіяхъ, то разрѣшающійся сентиментальными изліяніями о любви, не могъ и не долженъ былъ удовлетворить его созерцательную натуру. И гегелизмъ былъ для Станкевича настоящимъ освобожденіемъ изъ-подъ гнета всѣхъ тревожившихъ его внутреннихъ противорѣчій, настоящей умственной эмансипаціею, которая имѣла-бы огромное значеніе для всей нашей духовной исторіи, еслибъ этотъ юноша успѣлъ передать свои взгляды въ законченной, литературной формѣ, а не оставилъ намъ одни только случайные наброски, недописанныя размышленія, которыя приходится распространять и дополнять недостающими выводами для того, чтобы понять ихъ истинное значеніе. Станкевичъ, по всѣмъ признакамъ, сдѣлался отличнымъ знатокомъ Гегеля. Онъ видѣлъ полную логическую связь между главными отдѣлами его грандіознаго ученія, между его метафизикой, эстетикой и религіей,—и не отрекаясь ни отъ одного изъ нихъ, не придавая какого-либо фальшиваго, ограничивающаго смысла ни одной изъ частей системы въ ущербъ прочимъ, онъ сохранилъ передъ своимъ сознаніемъ этотъ высшій подвигъ идеализма въ его настоящемъ, чистомъ видѣ. Религіозный по натурѣ, Станкевичъ не только не могъ отречься отъ того, что испугало Герцена, но всей душой долженъ былъ ухватиться за смѣлую мысль философа, вносившую живого Бога въ реальную жизнь духовнаго мірового процесса. Онъ нашелъ умственное успокоеніе, быть можетъ, полное равновѣсіе въ ученіи Гегеля, которое показало, что въ мірѣ дѣйствуетъ и развивается внутренними своими силами одно только разумное начало. Его восторгала та поразительная логика, по которой развертывается система Гегеля, и, протестуя противъ неосновательныхъ обвиненій Гегеля въ скептицизмѣ, онъ слѣдующимъ образомъ передаетъ его важнѣйшіе взгляды. Начавъ чувственнымъ бытіемъ, Гегель, говоритъ Станкевичъ, приводитъ его къ духу. Начавъ индивидуальной мыслью, Гегель приводитъ ее къ абсолютному духу. Начавъ природой, Гегель приводитъ ее къ человѣку, а человѣку указываетъ истину въ духѣ. Въ ходѣ науки, пишетъ онъ, умъ постепенно очищается отъ чувственной коры. Онъ прозрѣваетъ. Отдѣльныя мертвыя существованія постепенно сдвигаются съ мѣсть своихъ, чтобы исчезнуть въ общемъ веселомъ хороводѣ жизни. Туманъ рѣдѣетъ, ночные призраки бѣгутъ—и вдругъ полный свѣтъ любви изливается на созданія и довершаетъ дѣло преображенія... Такъ глядитъ на жизнь истинный философъ. Такъ понимаетъ міръ послѣдовательный идеалистъ: онъ разсѣялъ призраки чувственнаго созерцанія, постигъ природу въ ея идеѣ, въ ея истинномъ духовномъ содержаніи, онъ понялъ, что весь его умственный, научный трудъ былъ послѣдовательнымъ движеніемъ къ абсолютному, къ Богу. Теперь онъ забудетъ про-

шедшее. полное иллюзій, и съ новыми силами, съ новою точкою опоры обратится къ будущему, полному любви и свѣта. Кончается наука и начинается жизнь,—новая, трудовая, осмысленно идущая впередъ, проникнутая созидательными стремленіями перестроить міръ въ духѣ открытой истины.

Переѣдя отъ этихъ общихъ взглядовъ, воспринятыхъ отъ Гегеля, къ вопросамъ эстетики, Станкевичъ говоритъ: эта философія сказала, что искусство въ томъ видѣ, въ какомъ оно существуетъ, есть дѣло прошлаго. Оно все таково-же, какъ будто гигантская работа мысли никогда не совершалась, какъ будто духъ не жилъ цѣлое столѣтіе. Правда, когда философія еще не возвышала своего голоса въ вопросахъ жизни и искусства, геніальныя натуры открывали великія истины силою инстинкта. Но время прошло, и люди, знающіе настоящее положеніе вещей, знающіе, до какихъ размѣровъ разрослись открытія въ области отвлеченнаго мышленія, не могутъ не удивляться тому, что многочисленные эстетики, критики, литераторы, ставъ спиною къ солнцу, толкутъ еще свой старый уголь, не вѣдая, что новые взгляды, новыя философскія понятія требуютъ, во имя прогресса, передѣлки именно въ той сферѣ, которая ближе всего соприкасается съ внутреннимъ существомъ человѣка. Искусство есть прошедшее для насъ. Это можно выразить иначе: искусство подчинено общему міросозерцанію, пониманіе искусства должно быть основано на высшемъ принципѣ идейности, на томъ убѣжденіи, что въ мірѣ безконечно развивается одно всеобъемлющее духовное начало. Созданія искусства облекаются индивидуальными формами, безъ которыхъ оно не существуетъ, но суть его въ томъ, что, давая оформленныя картины жизни, оно показываетъ намъ въ этихъ формахъ элементъ общаго, вѣчнаго, божественнаго, внѣ котораго нѣтъ никакихъ явленій и внѣ котораго нѣтъ, слѣдовательно, и никакого пониманія природы, людей и ихъ произведеній. Много формъ принимало искусство, но къ глубокимъ, плодовитымъ открытіямъ новѣйшей философіи принадлежитъ и то положеніе, что исторія искусства, разсматриваемая разумно, есть вмѣстѣ и его теорія, что роды искусства вполнѣ соотвѣтствуютъ его эпохамъ, которыя, въ свою очередь, совпадаютъ съ эпохами общаго развитія. Искусство имѣетъ міровое значеніе. Подъ вліяніемъ гегелевскаго взгляда на вещи оно выходитъ изъ того безсмысленнаго оцѣпенѣнія, въ которомъ оно оставалось, неизвѣстно для чего, разбитымъ на неподвижныя категоріи, является органическимъ цѣлымъ, которое живетъ за-одно съ общимъ міровымъ духомъ — изъ него выступаетъ и къ нему возвращается. Откуда возникло искусство? Человѣкъ всегда имѣлъ предчувствіе возвышеннаго, ощущеніе того, что есть нѣчто болѣе значительное, чѣмъ все единичное, частное, преходящее. Отсюда начинается исторія человѣчества, потому что только въ этомъ проявленіи разумности открывается ду-

ховная жизнь. И слѣдуя голосу внутренняго чувства, неотступному сознанію чего-то незримаго, неназваннаго, своему стремленію облекать всѣ настроенія души живыми образами, человѣкъ прибѣгалъ къ символамъ, къ аллегоріямъ, чтобы такъ или иначе выразить свои духовныя потребности. Архитектура есть первая ступень искусства, приближеніе къ настоящему искусству, которое есть *созерцаемая идея*. Храмъ не представляетъ божества, онъ внушаетъ его ожиданіе. До-греческій міръ есть по преимуществу міръ архитектуры, и хотя у грековъ она приняла болѣе совершенныя гармоническія формы, но у нихъ она не имѣла настоящаго значенія: у нихъ были уже боги. Но вотъ общее начало принимаетъ въ глазахъ людей болѣе живую форму.—образъ человѣка, какъ самое полное, совершенное, идеальное выраженіе божества въ природѣ, оттѣсняетъ всѣ другіе образы и формы. Скульптура становится искусствомъ классической эпохи, и видимый богъ вносится въ храмъ, который дышитъ стройностью и законченностью греческаго духа. Таково классическое искусство. Но на немъ не могло остановиться развитіе человѣка. Духъ, проглядывающій въ *формахъ* человѣческаго образа, не можетъ вполнѣ выразить себя въ наружныхъ очертаніяхъ. Только внутренно можно ощущать его, только мыслью можно постигать его. Онъ не изобразимъ ни въ чемъ. Идеалъ классическаго искусства разрушенъ, но пониманіе искусства, его задачъ, его цѣлей сдѣлало шагъ впередъ. Начинается новая эпоха въ развитіи эстетической идеи. Возникаетъ «романтическое» искусство въ трехъ его видахъ: живопись, музыка и поэзія.

Не любя прозаическихъ формъ для выраженія своихъ мыслей, Станкевичъ такъ обрисовываетъ взаимное отношеніе этихъ трехъ отдѣловъ единаго искусства. Три художника, три брата работали вмѣстѣ, каждый въ своемъ углу, каждый, стараясь по своему одѣть плотью свою мечту, свою идею. Но у всѣхъ творило одно могучее чувство, одинъ и тотъ-же духъ парилъ надъ всѣми... Вотъ задрожала струна, ей отозвались другія. Комната наполнилась томящими звуками, которые, умирая, просили отвѣта— и вся сладость жизни сказалась въ могучихъ аккордахъ, полныхъ беззавѣтнаго увлеченія, страсти. Братья бросились обнимать другъ друга.

— Тайна души моей тебѣ знакома, сказалъ одинъ. Посмотри: когда-бы ты могъ узнать пѣснь твою въ этой картинѣ!

«Окрашенныя розовымъ сіяніемъ неба струятся воды, за рѣкой высится гора, на ней хижины, и крестъ Божьей церкви ярко сіяетъ въ лучахъ заходящаго солнца». Даль синѣетъ, гдѣ-то въ туманѣ видно одинокое существо... Картина полна мыслью, полотно дышитъ чувствомъ.

Молча, со слезами на глазахъ, третій братъ подалъ руки живописцу и музыканту. Они разгадали его душу. Живописецъ выразилъ неясную мечту о счастьи любви и дружбы, о красотѣ природы, музыкантъ прояснилъ темную даль своими звуками, которые какъ-бы пронизывали всю

картину, дѣлали явными тайные образы, мучившіе художника. И разрѣшились уста поэта: слова его докончили пѣсню, дорисовали картину, дали звуку образъ и образу движеніе. Три жизни слились въ одну жизнь, три искусства въ одну красоту. «Сладко текли слезы братьевъ! И кто-то незримый былъ среди нихъ».

Таково возвышенное представленіе Станкевича объ искусствѣ, передающее главныя положенія эстетики Гегеля. Искусство предчувствуетъ то божество, которому мы поклоняемся въ истинѣ, въ разумѣ. Съ этимъ широкимъ философскимъ содержаніемъ новый взглядъ на задачу творчества только укрѣпляетъ любовь къ поэзіи, къ музыкѣ, къ живописи. «Искусство дѣлается для меня божествомъ, восклицаетъ Станкевичъ, и я твержу: дружба и искусство! Вотъ міръ, въ которомъ человѣкъ долженъ жить, если не хочетъ стать на-ряду съ животными! Вотъ благородная сфера, въ которой онъ долженъ поселиться, чтобы быть достойнымъ себя! Вотъ огонь, которымъ онъ долженъ согрѣвать и очищать душу!» Система Гегеля не уничтожаетъ искусства, а даетъ ему ясное содержаніе и возвышаетъ его дѣйствіе. Искусство, глядящее на міръ сквозь прежнія, устарѣвшія понятія, кончило свой вѣкъ, не годится болѣе для выраженія современнаго человѣка, съ его тревожнымъ чувствомъ божества, съ его идеалистическимъ убѣжденіемъ, которое влечетъ его къ абсолютной истинѣ, которое всякую мысль обратило къ небу. Только новое искусство, принявшее участіе въ общемъ движеніи человѣческаго просвѣщенія, проникшееся сознаніемъ духовности всего мірового процесса, успокоитъ живое стремленіе человѣка къ правдѣ, вызоветъ неожиданные поэтическіе образы, дастъ своимъ пышнымъ краскамъ, своему рѣзцу, своему слову настоящее достойное примѣненіе. Только искусство, вставшее на высоту современнаго знанія, можетъ сдѣлаться великой культурной силой при данныхъ условіяхъ европейской жизни, при данныхъ умственныхъ и нравственныхъ стремленіяхъ человѣчества. Это понялъ Станкевичъ. Обладая тонкимъ умомъ, онъ представилъ философскія и эстетическія воззрѣнія Гегеля въ истинномъ освѣщеніи. Онъ не отступаетъ передъ трудностями Гегелевской діалектики и, уловивъ общую мысль системы, ея главный принципъ, съ любовью артиста слѣдитъ за этимъ безстрашнымъ, небывалымъ полетомъ ума надъ высочайшими вершинами научнаго знанія. Надо слѣдовать за Гегелемъ, говоритъ Станкевичъ, чтобы увидѣть, какая жизнь выходитъ изъ этой грандіозной системы. Надо быть въ системѣ, чтобы понять ее. Надо быть внутри ея, чтобы видѣть, что возраженія, которыя сыплются на нее снаружи, опровергнуты въ ней самой. «Но мѣщане увидѣли слова—*философія Гегеля*, и сказали: сухо!» Они не поняли ея главнаго направленія, не уразумѣли ея стремленій, и не имѣя силъ, чтобы осмыслить то, что въ ней есть вѣчнаго,

неопровержимаго, неразрушимаго, либо совершенно откинули ее, либо взяли изъ нея только одну извѣстную часть, подвергнувъ ложному истолкованію то, что не подходило къ ихъ собственнымъ ограниченнымъ убѣжденіямъ и надеждамъ.

III.

Такова судьба каждой великой философской системы: ее непремѣнно исковеркаютъ, осудятъ грубые умы, оболжетъ невѣжество изъ мѣщанской ненависти ко всему, что выше ординарныхъ ходячихъ идей даннаго момента. А философія Гегеля, дѣйствительно, одно изъ самыхъ великихъ ученій, которое когда-либо появлялось въ исторіи. Будучи не столько безсознательнымъ произведеніемъ могучей души, сколько плодомъ необычайнаго генія, огромнаго теоретическаго таланта, это ученіе обняло весь міръ и острымъ, едва уловимымъ анализомъ проникло въ глубочайшія тайны психической жизни человѣка. Въ основаніе всей своей системы Гегель положилъ понятіе духа. Міръ есть постоянное, непрекращающееся развитіе, по законамъ діалектики, одной божественной идеи, проникающей всѣ роды твореній, всѣ проявленія человѣческой дѣятельности. Съ необычайной критической проницательностью, съ отзывчивостью къ высшимъ религіознымъ потребностямъ, Гегель устанавливаетъ положеніе, представляющее крайній, но неизбѣжный выводъ изъ главныхъ принциповъ идеализма: абсолютный духъ, божество, всеобщая и безконечная разумная стихія постоянно воплощается въ отдѣльныхъ моментахъ жизни, все разнородное, ограниченное, всѣ индивидуальныя состоянія сознанія носятъ на себѣ слѣды божественнаго разума, дышатъ его стремленіями, его цѣлями. Утверждая присутствіе безусловнаго принципа въ самомъ мірѣ, діалектическая система гораздо глубже, нежели всѣ предшествовавшія системы, открываетъ гармонію между различными силами природы, слѣдитъ за послѣдовательностью въ чередованіи различныхъ явленій жизни. Весь міръ представляется въ этомъ ученіи какъ-бы живымъ организмомъ, состоящимъ изъ множества отдѣльныхъ организмовъ, лѣстница которыхъ продолжается безпрерывно до человѣка. Стройно, величественно Гегель описываетъ ростъ идеи божества на различныхъ ступеняхъ діалектическаго процесса, логическое развитіе міра, которое есть въ то же время развитіе метафизическое, реальное, фактическое. Во главѣ философской работы должно быть поставлено понятіе чистаго бытія. Чистое бытіе, говоритъ Гегель, образуетъ начало всякаго изслѣдованія. Бытіе это непосредственно, и когда философское знаніе стремится проникнуть къ его невидимому корню, чтобы овладѣть истиною, оно лишаетъ его той простоты, которая составляетъ его неотъемлемый признакъ. Начиная мыслить, мы не имѣемъ ничего, кромѣ самой мысли въ полной ея неопредѣленности, ничего, кромѣ чистаго бытія, котораго нельзя

ни ощущать, ни созерцать, ни представить себѣ. Оно начало всего, начало будущаго свѣта, будущаго полнаго разумѣнія. Отвлеченная идея,—бытіе только путемъ діалектики переходитъ въ идею конкретную. Въ процессѣ мірового развитія мы видимъ то-же, съ чѣмъ близко знакомы по исторіи развитія философскихъ системъ. Отношеніе древнѣйшихъ философскихъ ученій къ позднѣйшимъ сходно съ отношеніемъ начальныхъ ступеней логической мысли къ послѣдующимъ. Первыя по времени системы логически содержатся въ позднѣйшихъ, и обычное представленіе о ходѣ философской мысли въ исторіи совершенно ошибочно. Ни одна система никогда не опровергаетъ окончательно другой. Ни одно философское ученіе не было и не можетъ быть опровергнуто, ибо каждое изъ нихъ, въ движеніи мірового духа, есть раскрытіе опредѣленнаго историческаго момента. Исторія философіи не галлерея заблужденій человѣческаго ума, а пантеонъ божественныхъ образовъ. Таковъ выводъ изъ несомнѣнныхъ фактовъ. Теперь мы находимся на той степени развитія, выше которой научное пониманіе міра никогда не поднималось, и нужно было, чтобы прошли тысячелѣтія для того, чтобы человѣкъ могъ вполнѣ овладѣть мышленіемъ и признать его за абсолютную истину... Опредѣливъ такимъ образомъ чистое бытіе, Гегель переходитъ, въ слѣдующихъ отдѣлахъ своей Логики, къ опредѣленіямъ *сущности*, *конкретнаго бытія*, *явленія* и *дѣйствительности*. Сущность всего есть Богъ. Говоря, что мы хотимъ узнать сущность какого-нибудь предмета, мы утверждаемъ этимъ, что желали-бы понять его въ связи съ высшей идеей: все, что существуетъ, не обладаетъ самостоятельностью, существуетъ не само по себѣ, а на этой вѣчной, непреходящей основѣ міра. Настоящее знаніе начинается только тогда, когда мы допускаемъ, что вещи, въ ихъ непосредственномъ бытіи, не имѣютъ истины, призрачны, суть простыя иллюзіи чувственнаго созерцанія. Конкретное бытіе, воспринятое само по себѣ, внѣ сущности, или даже воспринятое въ связи съ самыми разнообразными фактами жизни, воспринятое, какъ *явленіе* міра, въ системѣ сложныхъ отношеній его къ окружающей насъ природѣ, не даетъ намъ полнаго знанія. Всякое конкретное бытіе основано на сущности. Всякое явленіе опирается на другое и, будучи болѣе или менѣе богато индивидуальными признаками, все-таки не имѣетъ самостоятельнаго существованія. Выше конкретнаго бытія и явленія стоитъ дѣйствительность. Что-же такое—дѣйствительность? Дѣйствительность есть третья ступень въ проявленіи сущности. Дѣйствительность—это единеніе сущности и конкретнаго бытія, говоритъ Гегель. Часто противополагаютъ мысль и дѣйствительность и говорятъ, что извѣстная мысль хороша, вѣрна, но не оправдывается на дѣлѣ, неосуществима въ дѣйствительности. Но въ этомъ случаѣ грубо смѣшиваютъ мысль съ субъективнымъ представленіемъ, и такія выраженія допустимы только въ повседневной жизни, гдѣ не нужно

дѣлать различія между философскими терминами. Въ наукѣ должно возстать, во имя здраваго смысла, противъ такого произвольнаго и, по существу, совершенно нелѣпаго разграниченія между мыслью и дѣйствительностью. Съ одной стороны, идеи существуютъ не только въ нашей головѣ и не такъ безсильны, чтобы отъ насъ зависѣло осуществить ихъ или не осуществить. Всякая идея осуществляется собственною силою и есть сама дѣйствительность. Съ другой стороны, дѣйствительность не такъ недостаточна и неразумна, какъ это думаютъ нѣкоторые люди, которые не дѣлали ее предметомъ своей мысли, или утратили самую вѣру въ мысль. Дѣйствительность, понятая, какъ единеніе внутренняго и внѣшняго начала, какъ бытіе, освѣщенное лучами истины, не противоположна разуму, а разумна сама по себѣ. Все разумное дѣйствительно и все дѣйствительное разумно, ибо то, что не разумно, не слѣдуетъ называть дѣйствительнымъ, какъ не называютъ плохого поэта дѣйствительнымъ поэтомъ, какъ не называютъ дѣйствительнымъ государственнымъ человѣкомъ того, кто не можетъ создать ничего дѣльнаго и разумнаго. Если какая-нибудь вещь обязана своимъ существованіемъ другой вещи, она могла-бы быть и не быть, и потому не можетъ быть названа разумно существующею вещью. Условія ея существованія не въ ней самой, но внѣ ея, а всякое разумное существованіе имѣетъ свое основаніе внутри себя и не ограничено никакими случайными обстоятельствами.

Это дѣйствительно грандіозная система. Это послѣднее слово идеализма, развернутаго въ одно стройное организованное ученіе. Здѣсь логика перестала быть формальной наукою. Подъ перомъ Гегеля она превратилась въ описаніе живого мірового процесса. Идея развитія, которая въ системахъ прошедшихъ мыслителей являлась „чѣмъ-то случайнымъ, неизвѣстно откуда привнесеннымъ въ общій строй ихъ логическихъ понятій, здѣсь получила твердую опору и сдѣлалась центральнымъ мѣстомъ въ объясненіи всѣхъ явленій міра. Въ первый разъ задача метафизики оказалась на высотѣ, съ которой она идетъ на встрѣчу всѣмъ стремленіямъ исторіи, лучшимъ желаніямъ человѣчества. Таковъ принципъ гегелевской логики. Дѣло не въ томъ, вѣрна-ли эта система въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ, выдержана-ли она во всѣхъ подробностяхъ. Промыслить весь міръ въ его идеальныхъ основахъ, уловить законы его непрекращающагося движенія, постигнуть живого Бога въ его общихъ и конкретныхъ выраженіяхъ, дать жизненный импульсъ абстрактному и одушевить конкретное жаждой безконечнаго—это *вѣчная* задача для философіи, которая не пожелаетъ ограничиться одними схоластическими, формальными построеніями. Тутъ неизбѣжны нѣкоторыя ошибки, которыя исчезнутъ въ потокѣ дальнѣйшаго философскаго прогресса. Тутъ неизбѣжны отдѣльные логическіе промахи. Но суть задачи, такимъ образомъ понятой, поставленной на такую реальную историческую почву, внутрен-

ними узами связанной съ интересами человѣческаго существованія, останется неизмѣнной для всѣхъ временъ и эпохъ. Гегель, можно сказать, первый создалъ такую философію исторіи, въ которой духъ человѣчности показалъ себя въ самыхъ широкихъ и обаятельныхъ формахъ. Эта вѣчно развивающаяся, разумная дѣйствительность, осуществляющая только то, что божественно, противополагающаяся постоянно тому, что не соотвѣтствуетъ идеѣ, всему случайному, всему, что стѣсняетъ и давитъ живую связь человѣка съ Богомъ, всему, что стоитъ передъ сознаніемъ въ грубой формѣ чувственнаго факта, есть высшее выраженіе лучшихъ человѣческихъ стремленій. Здѣсь прогрессъ не пылкая, но пугливая, мало увѣренная мечта внѣшняго политическаго либерализма, а основная правда исторіи, возведенная на степень непоколебимаго закона для всего, что зовется жизнью. Здѣсь вопросъ о судьбахъ человѣчества разъ на всегда извлеченъ изъ тѣхъ ребяческихъ пеленокъ, въ которыя его постоянно стягиваютъ безпомощные радѣтели человѣческаго блага, полагающіе всю силу научнаго мышленія въ подборѣ однихъ только эмпирическихъ фактовъ. Въ ученіи Гегеля все живетъ полнотою духовнаго смысла, и взоръ философа, увѣренно обращенный къ небу, производитъ возвышающее дѣйствіе. Онъ мыслитъ Бога. Онъ открываетъ истину. Онъ ведетъ за собою людей по безконечной дорогѣ разума, какъ истинно-великій человѣкъ. Въ немъ можно восторгаться тѣмъ же, чѣмъ восторгался онъ самъ, когда говорилъ о великихъ художникахъ, что они выполняютъ свою работу безъ всякой личной манеры, сливаясь духомъ, всѣмъ напряженіемъ своего ясновидящаго таланта, съ тѣмъ началомъ, которое они воплощаютъ въ своихъ произведеніяхъ и которое равно для всѣхъ разумныхъ тварей. Фидій, замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ Гегель, не имѣетъ никакой *манеры*: образъ самъ живетъ и выступаетъ впередъ въ созданіяхъ его рѣзца. Но чѣмъ слабѣе художникъ, тѣмъ больше можно видѣть его самого, его личныя особенности, его произволъ въ жалкихъ твореніяхъ его односторонняго таланта. Гегель подобенъ такому міровому художнику: его грандіозная постройка, уходящая вершиною въ небо, высится передъ нами съ ея выступающими массивными фронтонами, съ ея тонкой готической рѣзьбой, съ поэтическимъ сочетаніемъ разрисованныхъ стеколъ, оживляющихъ ея внутренность игрою перекрещивающихся разноцвѣтныхъ лучей. Это какъ-бы дѣло рукъ цѣлаго человѣчества. Будучи произведеніемъ національнаго генія, эта постройка имѣетъ всемірное значеніе: это—храмъ, который будитъ религіозныя чувства въ каждомъ человѣкѣ, входящемъ въ него, безъ различія языка, на которомъ онъ мыслитъ, безъ различія жизненныхъ представленій и пристрастій...

Пока жилъ Гегель, нападки на его систему не имѣли никакой силы. Обращая всѣ возраженія въ свою пользу, онъ все глубже и шире

истолковывалъ основные принципы своего ученія. Система его должна была охватить все, всякую форму жизни, всѣ событія міровой исторіи, интересы науки наравнѣ съ интересами религіи, и кто нападалъ на одну ея часть,—получалъ отпоръ въ сокрушительныхъ возраженіяхъ, идущихъ изъ всѣхъ прочихъ ея частей. Діалектика Гегеля подавляла сопротивленіе тонкими аргументами, съ которыми могли-бы спорить только настоящіе титаны мысли: увѣренная, спокойная и строго методическая, она не обходила, а побѣждала всякую логическую трудность искуснымъ расчлененіемъ самыхъ запутанныхъ философскихъ понятій. Ни Шеллингъ, ни Фихте, ни Фризъ не были равны Гегелю по силѣ умственнаго таланта: развивая предметъ изъ самой его сущности и ради него самого, не позволяя себѣ ни единымъ словомъ оттѣнить ту или другую степень своего собственнаго, личнаго интереса въ спорѣ съ людьми, Гегель поражалъ своихъ оппонентовъ величавою простотою міровой, объективной истины, которая какъ-бы говорила его устами. Онъ былъ непобѣдимъ. Но когда онъ умеръ, въ средѣ людей, сплоченныхъ при его жизни въ одно цѣлое общимъ духомъ поклоненія его несокрушимому авторитету, произошелъ расколъ. Одни ухватились только за положительныя части его философіи, за то, что въ ней было созидательнаго, за ея моральную и религіозную половину, образовавъ, такъ называемую, *правую* гегеліанства, другіе придали исключительное значеніе діалектической методѣ, съ ея вѣчнымъ отрицаніемъ и вѣчнымъ движеніемъ впередъ, образовавъ, такъ называемую, *лѣвую* гегеліанства. И вотъ, искуственно расколотое на двѣ враждебныя половины, ученіе Гегеля породило многочисленные, ожесточенные споры, которые еще не замолкли въ Европѣ и теперь. Система безусловнаго идеализма, какъ она изложена въ важнѣйшихъ сочиненіяхъ Гегеля, не допускаетъ такихъ произвольныхъ раздѣленій ея основныхъ началъ между борющимися партіями, но нельзя требовать отъ людей, дѣлающихъ *исторію дня*, призванныхъ служить минутѣ, чтобы они восприняли въ полномъ объемѣ всѣ стремленія Гегеля, соединившаго науку, философію и религію въ одно широкое ученіе. Система Гегеля вступила въ жизнь и отсюда она рано или поздно выйдетъ возрожденная и улучшенная, обогащенная новыми силами, новыми средствами для разрѣшенія великой задачи, вѣчно стоящей передъ сознаніемъ человѣчества: дать философское или, употребляя это слово въ его высшемъ значеніи, *идеалистическое* истолкованіе міру. Гегель былъ по времени послѣднимъ великимъ мыслителемъ Европы, равнымъ по степени умственныхъ дарованій Платону и Аристотелю изъ философовъ древности, Спинозѣ и Канту изъ философовъ новѣйшей исторіи, и судьба его должна быть похожа на судьбу всѣхъ великихъ людей: онъ не умеръ въ сознаніи современнаго общества, система его воскреснетъ съ особенною силою въ будущихъ поко-

лѣніяхъ, при новыхъ условіяхъ духовной и умственной жизни, при новыхъ надеждахъ, при новыхъ, болѣе возвышенныхъ стремленіяхъ научной и философской мысли.

Но мѣщане увидѣли слова—*философія Гегеля*, и сказали: сухо!

Мы видѣли, что вопросъ о разумной дѣйствительности занимаетъ въ системѣ Гегеля выдающееся мѣсто, будучи не какимъ-нибудь случайнымъ, добавочнымъ соображеніемъ, какъ-бы привѣшаннымъ къ важнѣйшимъ ея теоремамъ, а основною догмою безусловнаго идеализма. Гегель придалъ этому вопросу такой возвышенный прогрессивный характеръ, который исключаетъ, казалось-бы, всякую возможность обвинять его въ какихъ-бы то ни было консервативныхъ стремленіяхъ. Онъ былъ теоретикомъ вѣчнаго развитія, прогресса во что-бы то ни стало, и искать въ системѣ его какихъ-то скверно-направленныхъ жизненныхъ тенденцій можно только по незнанію или по предвзятому намѣренію представить идеализмъ въ непривлекательномъ освѣщеніи въ глазахъ толпы. И вотъ мы подходимъ къ чрезвычайно интересному явленію, разыгравшемуся въ русской литературѣ. Намъ твердятъ, что Бѣлинскій зналъ о Гегелѣ то, что говорилось о немъ въ кружкѣ Станкевича. Бѣлинскій, съ своимъ тонкимъ чутьемъ и умѣніемъ постигать отвлеченныя вещи, такъ сказать, нутромъ, безсознательною критическою прозорливостью, сразу уловилъ главныя положенія гегелевской метафизики и вынесъ ихъ на арену журнальной борьбы съ врагами русскаго просвѣщенія. Для его превыспреннихъ эстетическихъ понятій ученіе о дѣйствительности, схваченное имъ въ бесѣдахъ съ друзьями, оказалось пригодною философскою опорою. Намъ говорятъ далѣе, что новыя впечатлѣнія при переѣздѣ въ Петербургъ отрезвили его метафизическій пылъ и помогли ему разобраться въ истинныхъ свойствахъ гегелевскаго ученія. Онъ увидѣлъ, что блуждалъ во тьмѣ, что служилъ злу и, стряхнувъ съ себя кошмаръ запутанной діалектики, вступилъ на путь прогресса. Вотъ что говорятъ люди, пишущіе исторію русской литературы. Вотъ что считается окончательно установленнымъ фактомъ. Вотъ что положено въ основаніе критическихъ статей о Бѣлинскомъ такихъ авторитетовъ, какъ Герценъ, Чернышевскій, Писаревъ, Пыпинъ. А между тѣмъ, всѣ эти утвержденія основаны на одномъ только кричащемъ недоразумѣніи. Во-первыхъ, у Гегеля нѣтъ, какъ мы видѣли уже и какъ мы увидимъ сейчасъ, никакого поклоненія существующему. Гегель называлъ дѣйствительностью не все существующее. Гегель прямо говорилъ: *то, что не разумно, не должно быть названо дѣйствительнымъ*. Во-вторыхъ, Бѣлинскій и Бакунинъ, проповѣдуя на страницахъ русскихъ журналовъ поклоненіе дѣйствительности, писали при этомъ на свой собственный страхъ не только по отношенію къ Гегелю, но даже и по отношенію къ Станкевичу. Это очень важное обстоятельство, котораго не знаютъ, повидимому, авторитетные историки русской литературы

и которое опрокидываетъ совершенно всѣ ихъ соображенія о преслову-томъ фактѣ отреченія Бѣлинскаго отъ Гегеля и отъ всякаго философ-скаго идеализма. Самъ Станкевичъ протестовалъ во имя Гегеля, во имя того, что дѣйствительно написано въ его книгахъ, противъ ложнаго и узкаго истолкованія, какое это ученіе получило подъ перомъ Бѣлин-скаго и Бакунина. Въ слѣдующей статьѣ мы приведемъ точныя слова Бѣлинскаго, отъ которыхъ онъ впослѣдствіи отрекался, какъ отъ выраженія своихъ гегеліанскихъ увлеченій. Теперь же напомнимъ въ двухъ-трехъ строкахъ то, что писалъ по поводу Гегеля Баку-нинъ. Въ предисловіи къ переводу «Гимназическихъ рѣчей» Гегеля, напечатанномъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1838 года и написан-номъ въ крайне восторженномъ тонѣ, Бакунинъ скорбитъ о томъ, что общество увлекается мечтою разрушить дѣйствительный міръ своими призрачными силами, забывая, что этотъ дѣйствительный міръ «выше его жалкой, безсильной индивидуальности», что болѣзнь и зло заключаются не въ дѣйствительности, а въ немъ самомъ, «въ его собственной отвле-ченности». Русское общество не видитъ гармоніи чуднаго Божьяго міра, не способно понять «истинное блаженство дѣйствительной жизни»: разсу-докъ мѣшаетъ ему видѣть, что *въ жизни* все прекрасно, все благо, и что самыя страданія въ ней необходимы, какъ очищеніе духа, какъ переходъ отъ тьмы къ свѣту. «Да, восклицаетъ съ энтузіазмомъ Бакунинъ, счастье не въ призракѣ, не въ отвлеченномъ снѣ, а въ живой дѣйствительности. Возставать противъ дѣйствительности и убивать въ себѣ всякій живой источникъ жизни—одно и то же. *Примиреніе съ дѣйствительностью, во всѣхъ отношеніяхъ и во всѣхъ сферахъ жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гете — главы этого примиренія, этого возвращенія изъ смерти въ жизнь*». Такъ понимали Гегеля. Преклониться предъ всякою дѣйствительностью, передъ тѣмъ, что самъ Гегель назвалъ бы аномаліею, случайнымъ фактомъ, лишеннымъ разума и смысла,—это значило проповѣдывать его великое ученіе! И Станкевичъ, обладавшій настоящими знаніями, хотя и не обладавшій пыломъ Бакунина—повто-ряемъ—запротестовалъ противъ такого ложнаго истолкованія одной изъ лучшихъ гегелевскихъ теорій. Вотъ что писалъ онъ Грановскому изъ Флоренціи въ 1840 году, т. е. послѣ настоящей статьи Бакунина и ста-тей на ту-же тему Бѣлинскаго: «Извѣстія о литературныхъ трудахъ и понятіяхъ нашихъ знакомыхъ неутѣшительны. Что имъ дался Шиллеръ? Что за ненависть? Такъ-какъ они не понимаютъ, что такое дѣйстви-тельность, то я думаю, что они уважаютъ слово, сказанное Гегелемъ, а если авторитетъ его силенъ у нихъ, то пусть прочтутъ, что онъ гово-ритъ о Шиллерѣ въ Эстетикѣ, въ разныхъ мѣстахъ, также о Валленштейнѣ въ мелкихъ сочиненіяхъ. А о дѣйствительности пусть прочтутъ въ Ло-гикѣ, что дѣйствительность въ смыслѣ непосредственности, внѣшняго

бытія, есть случайность, что дѣйствительность, въ ея истинѣ, есть разумъ, духъ... Можешь сказать имъ только аргументы, безъ яда насмѣшки,—это только ожесточаетъ, а они люди хорошіе, и я съ ними ссориться не хочу». Итакъ, отъ чего же долженъ былъ отрекаться впослѣдствіи Бѣлинскій? Отъ Гегеля? Нѣтъ, онъ его не зналъ. Отъ идеализма? Нѣтъ, онъ смѣшалъ его съ такимъ ученіемъ, которое прямо ему противоположно. Быть можетъ онъ отрекался отъ взглядовъ Станкевича, предлагавшаго ему какія-то консервативныя, примирительныя точки зрѣнія на жизнь и литературу? Тоже нѣтъ—Станкевичъ нисколько не повиненъ ни въ увлеченіяхъ Бѣлинскаго всякою дѣйствительностью, ни въ горячей проповѣди Бакунина, направленной къ той же примиряющей цѣли.

Вотъ истинныя обстоятельства, которыхъ не приняли во вниманіе историки русской литературы. Все это «отреченіе отъ идеализма», все это отрезвленіе Бѣлинскаго при помощи реальныхъ жизненныхъ впечатлѣній, которому придали такое эффектное освѣщеніе на страницахъ либеральныхъ русскихъ журналовъ, въ дѣйствительности не заключаетъ въ себѣ ничего отраднаго, необходимаго въ интересахъ русской литературы. Если Бѣлинскій отрекался отъ чего-нибудь, такъ развѣ только отъ собственныхъ произвольныхъ теорій, подъ которыми не было никакой солидной научной или эстетической почвы. Идеализмъ, какъ ученіе, какъ строго выработанная система, какъ міросозерцаніе, обращенное къ высшимъ интересамъ человѣческаго духа, здѣсь рѣшительно не при чемъ. Поучаться на этомъ фактѣ тому, какихъ путей должно избѣгать русское просвѣщеніе, можно развѣ только въ одномъ смыслѣ: признавъ за несомнѣнную истину, что размашистая пропаганда тѣхъ или другихъ ученій, воспринятыхъ нутромъ, проведеніе въ общество извѣстныхъ философскихъ теорій, схваченныхъ на лету, безъ обстоятельнаго изученія предмета, безъ укрѣпленнаго на прочныхъ основахъ критическаго метода, не можетъ дать благого результата. Ошибки Бѣлинскаго именно въ этомъ пунктѣ представляютъ громадный интересъ. Онѣ отпугнули легковѣрное общество отъ всякихъ философскихъ занятій, поселивъ въ немъ недовѣріе къ отвлеченнымъ критеріямъ, которые будто-бы уводятъ въ сторону отъ насущныхъ задачъ исторіи, отъ служенія человѣческому благу. Онѣ направили журнальную литературу по ложной дорогѣ, привели русскую критику къ полному упадку, давъ невѣрное представленіе о томъ, будто-бы путь идеализма уже извѣданъ, изслѣдованъ до конца и оказался путемъ пагубнымъ, приводящимъ къ гражданскому застою. Таково значеніе этого факта, если повернуть его къ свѣту, если представить такъ называемыя гегеліанскія увлеченія Бѣлинскаго въ ихъ настоящемъ видѣ. Таковъ истинный смыслъ отреченія Бѣлинскаго отъ Гегеля, если отнестись къ этому отреченію съ полною справедливостью и полною свободою. Но вотъ что любопытно. Станкевичъ

протестовалъ противъ Бѣлинскаго и Бакунина во имя идеализма и Гегеля, и на протестъ этотъ историки русской литературы не обратили никакого вниманія! Въ 1861 году вышла «Логика» Гегеля въ русскомъ переводѣ Чижова, и никто изъ нашихъ критиковъ не заглянулъ въ нее для провѣрки ходячихъ разсужденій о гибельномъ вліяніи, какое философія могла оказать на ходъ русскаго прогресса. Указывалъ на ошибки Бѣлинскаго и Бакунина Тургеневъ, спустя двадцать девять лѣтъ послѣ Станкевича (въ 1869 году), и опять-таки на указаніе это никто не обратилъ никакого вниманія. Тургеневъ писалъ: «много хлопотъ надѣлало въ Москвѣ извѣстное изрѣченіе Гегеля: что разумно, то дѣйствительно, что дѣйствительно, то разумно. Съ первой половиной изрѣченія всѣ соглашались, но какъ было понять вторую? Толковали, толковали и порѣшили: вторую половину изрѣченія не допустить. Если-бъ кто-нибудь шепнулъ тогда молодымъ философамъ, что Гегель не все существующее признаетъ за дѣйствительное, много-бы умственной работы и томительныхъ преній было сбережено». Послѣ этихъ словъ Тургенева Пыпинъ, однако, не измѣнилъ своего взгляда на консервативность гегелевскихъ воззрѣній, хотя, насколько намъ извѣстно, въ трудахъ этого почтеннаго историка литературы нѣтъ ни единаго слѣда самостоятельнаго изученія системы Гегеля. Наконецъ, въ 1870 году одинъ изъ самыхъ талантливыхъ русскихъ ученыхъ, человѣкъ съ рѣзко выраженными публицистическими стремленіями, остроумнѣй университетскій ораторъ и тонкій аналитикъ въ вопросахъ гражданственности, въ аудиторіи котораго толпились постоянно студенты всѣхъ факультетовъ,—проф. Александръ Градовскій, напечаталъ въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» цѣлую статью о политической философіи Гегеля, и опять-таки никто не обратилъ вниманія на категорическое его заявленіе, что только «поверхностные умы» могутъ думать, «что Гегель проповѣдывалъ теорію подчиненія существующимъ фактамъ». Все остается по старому. Критики не двигаются съ мѣста, насиженнаго журнальными авторитетами. Молва, основанная на ошибкѣ, на недоразумѣніи, гуляетъ въ литературѣ и въ обществѣ, усыпляя умы, заграждая дорогу къ свѣту. Мѣщанство мысли, поддерживаемое страхомъ передъ всѣмъ, что требуетъ упорнаго труда, напряженія всѣхъ духовныхъ силъ, и поощряемое руководителями общественнаго мнѣнія, развивается безпрепятственно, простирая свои претензіи на всѣ сферы творчества, науки, философіи. Никого не интересуетъ, какъ вопросъ о дѣйствительности поставленъ у самого Гегеля. Молва ростетъ все шире и шире, и мужественная, какъ-бы вылитая изъ бронзы фигура великаго мыслителя, имѣвшаго самое высокое понятіе о государствѣ и правѣ, окутывается туманомъ нелѣпой легенды, въ которой уже затеряны истинныя черты его благороднаго античнаго характера

Въ такомъ положеніи дѣло находится до настоящей минуты и мы не считаемъ возможнымъ отойти отъ даннаго предмета, не сказавъ нѣсколько словъ по поводу лицъ, разсматривавшихъ этотъ вопросъ въ нашей литературѣ. Въ «Библіотекѣ для чтенія» 1858 г. появились двѣ статьи Петра Лаврова, посвященныя философіи Гегеля и писанныя отчасти по поводу извѣстныхъ лекцій Р. Гайма о Гегелѣ и его времени. Гаймъ, писатель съ историческимъ талантомъ, съ умѣніемъ рисовать широкія картины жизни, но безъ философской глубины, безъ стремленій къ тонкому метафизическому анализу, не оспариваетъ у Гегеля его великаго философскаго генія. Все содержаніе его сочиненій, всю его систему онъ старается, однако, объяснить одними историческими вліяніями и вывести изъ всѣмъ извѣстныхъ фактовъ германской жизни. По соображеніямъ Гайма, это единственно вѣрная метода критики по отношенію къ ученію, которое пало вмѣстѣ съ его творцомъ, критики, совпадающей съ минутою, которая можетъ быть названа минутою всеобщаго кораблекрушенія духа и вѣры въ духъ вообще. «Совершился безпримѣрный, крайне рѣшительный переворотъ въ жизни народа, восклицаетъ Гаймъ: минуло время системъ, поэзіи и философіи. Вслѣдствіе различныхъ побѣдъ, одержанныхъ современной техникой, самыя нижнія основы нашей физической и духовной жизни разрушены, и вмѣсто нихъ заложены новыя». Идеализмъ, который еще такъ недавно считался всемогущимъ, теперь оказался безсильнымъ. Отвлеченная философія должна замолчать, потому что на поприщѣ исторіи выступаютъ политическія потребности нѣмецкаго народа! Но, разрушая философскую постройку Гегеля такими орудіями, собравъ всѣ факты, могущіе уличить Гегеля въ невѣрномъ пониманіи стремленій германскихъ народностей, Гаймъ ни въ чемъ не колеблетъ высокихъ достоинствъ его характера, его оригинальнаго и связаннаго съ общимъ духомъ его системы взгляда на государство и право. Для Гайма не подлежитъ сомнѣнію, что все юридическое ученіе Гегеля есть выраженіе его искреннихъ симпатій къ античнымъ началамъ, расширеннымъ его собственнымъ пониманіемъ права, какъ одного изъ элементовъ въ діалектическомъ процессѣ нравственнаго развитія человѣчества. Искусственно-примирительныхъ тенденцій въ гегелевской философіи права нѣтъ и быть не могло. Тотъ самый смыслъ, который Гегель придалъ дѣйствительности въ своей Логикѣ, господствуетъ и здѣсь, ни на минуту не отступая передъ какими-бы то ни было случайными условіями жизни. Гаймъ пользуется замѣчательнымъ описаніемъ всей фигуры Гегеля, сдѣланнымъ Гото, чтобы лишній разъ подчеркнуть величавость Гегеля, выступавшую во всемъ, что онъ дѣлалъ и говорилъ, величавость, происходившую изъ твердости и непоколебимости его убѣжденій. Во всѣхъ чертахъ лица Гегеля отражалась цѣлая эпоха молчаливо, день и ночь работавшаго мышленія, говоритъ онъ. Когда умъ его не былъ возбужденъ, онѣ казались старыми и увядшими, но когда онъ пробуждался, въ нихъ

просвѣчивала глубокая серьезность. Голова его имѣла прекрасную форму. Наклоненный лобъ, спокойный подбородокъ, благородство вѣрности и коренной справедливости, ясное сознаніе своего постояннаго стремленія къ истинѣ — все это отразилось на внѣшности Гегеля. Таковъ онъ былъ извнѣ, таковъ онъ былъ и внутри: человѣкъ объективной мысли, непреклонный искатель абсолютной правды, могучій изобразитель движеній мірового духа...

Въ своихъ во многихъ отношеніяхъ блестящихъ статьяхъ, написанныхъ великолѣпнымъ языкомъ, Лавровъ не оспариваетъ основного положенія Гайма въ разсматриваемомъ вопросѣ и, отбросивъ всякую попытку объяснить нѣкоторыя теоремы гегелевской философіи реакціонными стремленіями ихъ творца, старается подкопаться подъ эту систему въ ея цѣломъ, доказывая ея догматическій, ненаучный характеръ. Онъ борется противъ космополитическаго идеала Гегеля, но даже не пробуетъ язвить его за недостатокъ либерализма: это было-бы недостойно человѣка, который желаетъ сказать что-нибудь по существу и, не навязывая своему противнику никакихъ низкихъ тенденцій, употребляетъ силу своего ума на то, чтобъ побороть его на почвѣ его дѣйствительныхъ теорій. «Не умомъ, но всѣмъ существомъ надо постигать точку зрѣнія Гегеля, говоритъ Лавровъ. Не постепенно къ ней подвигаться, но разомъ на нее стать—и тогда разомъ все будетъ ясно, доступно и объяснено». Держась такого отношенія къ Гегелю, единственно разумнаго и правильнаго, авторъ изучаетъ весь ходъ внутренняго развитія гегелевской системы, оспаривая, гдѣ возможно, ея главныя положенія при посредствѣ знаменитыхъ логическихъ изслѣдованій А. Тренделенбурга.

Остановимся еще въ двухъ-трехъ словахъ на статьѣ А. Градовскаго, о которой мы упомянули выше. Изложивъ въ сжатыхъ выраженіяхъ общія философскія понятія Гегеля, ученый этотъ говоритъ: «идея необходимаго и непрерывнаго *прогресса* (курсивъ автора), состоящаго въ непрерывномъ разрѣшеніи постоянно обнаруживающихся противорѣчій въ жизни, лежитъ въ основаніи гегелевской философіи. Міръ не знаетъ покоя, какъ не знаетъ его мысль. Несмотря на этотъ *логическій* результатъ гегелевской философіи, ее постоянно упрекаютъ въ квіэтизмѣ». Предпославъ такое общее соображеніе и назвавъ поверхностными умами всѣхъ тѣхъ, которые придали ложное истолкованіе знаменитому изрѣченію Гегеля, повторенному имъ въ предисловіи къ Философіи Права, Градовскій излагаетъ всѣ юридическіе его взгляды, нигдѣ не находя матеріала для какихъ-бы то ни было упрековъ по пункту прогресса. Повсюду Градовскій видитъ въ политическомъ ученіи Гегеля одну и ту-же мысль, одну и ту-же гражданственную идею: въ государствѣ осуществляется свободная воля, тождественная съ волей и правами всеобщаго, государство

есть царство права и справедливости, достигшихъ выраженія въ конкретныхъ и очевидныхъ формахъ.

Итакъ, всѣ, кто раскрывалъ собственныя сочиненія Гегеля, кто знакомъ съ его системою не по слухамъ, а на основаніи внимательнаго изученія его главныхъ трудовъ, — не взводятъ на него тѣхъ обвиненій, которыя стали общимъ мѣстомъ въ разсужденіяхъ нашихъ журнальныхъ писателей. Можно усматривать тѣ или другія ошибки въ основныхъ пріемахъ гегелевской метафизики, или видѣть несовершенство въ нѣкоторыхъ ея подробностяхъ, но нельзя не признать ея прогрессивнаго характера. Можно держаться взглядовъ Тренделенбурга, но нельзя слѣдовать за пустыми обвиненіями системы въ недостаточномъ либерализмѣ. Можно слѣдовать за Гаймомъ, если нѣтъ умѣнья отыскивать гражданскіе выводы въ сложныхъ метафизическихъ размышленіяхъ, но нельзя идти по пути, котораго держались въ данномъ вопросѣ Чернышевскій и Пыпинъ, и обвинять Гегеля въ томъ, въ чемъ онъ нисколько неповиненъ.

IV.

Добролюбовъ, разбирая книгу Анненкова, слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ значеніе Станкевича въ развитіи того кружка, изъ котораго вышелъ Бѣлинскій. Пусть, говоритъ онъ, жизнь его не озарилась блескомъ какого-нибудь необыкновеннаго дѣянія на общую пользу,—его нравственное значеніе не потеряно. Натура чисто созерцательная можетъ имѣть благотворное вліяніе на общество, если выработаетъ себѣ опредѣленныя убѣжденія. «Мысль и чувство и сами по себѣ не лишены, конечно, высокаго реальнаго значенія». А Станкевичъ, будучи цѣльною натурою, былъ при этомъ и превосходно образованнымъ человѣкомъ. Онъ имѣлъ на Бѣлинскаго не только философское вліяніе: сличая нѣкоторыя его письма съ статьями Бѣлинскаго, напечатанными до 1840 года, можно съ увѣренностью сказать, что онъ очень дѣятельно участвовалъ въ выработкѣ многихъ его критическихъ сужденій на эстетическія темы. Въ письмахъ Станкевича намъ постоянно попадаются общія замѣчанія, мнѣнія, отдѣльные критическіе отзывы о различныхъ явленіяхъ литературы, въ высшей степени сходные съ тѣмъ, что впослѣдствіи было развито Бѣлинскимъ съ такимъ талантомъ, съ такою силою въ подборѣ смѣлыхъ выраженій, съ такимъ поэтическимъ вдохновеніемъ. Такъ въ 1833 г. Станкевичъ высказываетъ нѣсколько превосходныхъ мыслей о театрѣ, высказываетъ съ присущей ему красотою въ описаніи личныхъ эстетическихъ впечатлѣній, а въ 1834 году Бѣлинскій выражаетъ на нѣсколькихъ страницахъ «Литературныхъ мечтаній» тѣ же самые взгляды, такое-же отношеніе къ искусству и театру. Станкевичъ проводитъ параллель между Мочаловымъ и Каратыгинымъ, Бѣлинскій воспроизводитъ

многія замѣчанія Станкевича въ «Молвѣ» 1835 года и даже позже, въ «Московскомъ Наблюдателѣ», влагая при этомъ въ свои статьи тотъ присущій ему огонь и ту страсть, которые дѣйствовали на публику съ непобѣдимою силою. Во множествѣ писемъ Станкевича постоянно повторяется удивленіе предъ талантомъ Гофмана,—съ тѣмъ-же самымъ отношеніемъ къ этому писателю мы встрѣчаемся и у Бѣлинскаго. Станкевичъ отвергаетъ поэтическій талантъ какого то Тимофеева, то-же дѣлаетъ и Бѣлинскій. Станкевичъ пишетъ о Миргородѣ Гоголя: «прочти, какъ здѣсь схвачено прекрасно чувство человѣческое въ пустой, ничтожной жизни»,—на этой-же мысли Бѣлинскій основываетъ свой разборъ «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ». Станкевичъ называетъ Бенедиктова въ одномъ изъ своихъ писемъ пустымъ, ходульнымъ фразеромъ — и вслѣдъ за этимъ отзывомъ Бѣлинскій подвергаетъ Бенедиктова уничтожающей критикѣ. Наконецъ, въ 1837 году Станкевичъ развиваетъ на одной страницѣ своего дневника чрезвычайно ясный взглядъ на вопросъ о народности въ литературѣ—въ такихъ словахъ, которыя дѣлаютъ честь его критическому такту. «Чего хлопочутъ люди о народности, пишетъ онъ. Надобно стремиться къ человѣческому, свое будетъ поневолѣ. На всякомъ искреннемъ и непроизвольномъ актѣ духа невольно отпечатывается свое, и чѣмъ ближе это свое къ общему, тѣмъ лучше. Кто имѣетъ свой характеръ, тотъ отпечатываетъ его на всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Создать характеръ воспитать себя—можно только человѣческими началами. Выдумывать или сочинять характеръ народа изъ его старыхъ обычаевъ, старыхъ дѣйствій, значитъ хотѣть продлить для него время дѣтства»,—и въ 1841 году Бѣлинскій устанавливаетъ въ статьѣ своей о Россіи до Петра Великаго тотъ же взглядъ на этотъ предметъ, «съ удивительною близостью даже къ способу изложенія» Станкевича, какъ выражается по этому поводу Добролюбовъ. Все это и нѣкоторые другіе факты, на которыхъ не стоитъ останавливаться, даютъ Добролюбову право сказать: Станкевичъ былъ самымъ дѣятельнымъ участникомъ въ развитіи Бѣлинскаго. Это была прекрасная, возвышенная личность, и если-бы во всякомъ обществѣ большинство состояло изъ людей, подобныхъ Станкевичу, «то не было-бы никакой необходимости ни въ этой пресловутой борьбѣ, ни въ мукахъ и страданіяхъ, на которыя такъ любятъ вызывать всѣхъ порядочныхъ людей люди слишкомъ утилитарные».

Такъ глядѣлъ на Станкевича и Герценъ.

Но Станкевичъ былъ не единственнымъ руководителемъ Бѣлинскаго въ первомъ періодѣ его литературной дѣятельности. Былъ еще одинъ человѣкъ, котораго нельзя забыть, приступая къ изученію произведеній Бѣлинскаго, и подъ сильнымъ вліяніемъ котораго, въ годы прохожденія университетскаго курса и довольно долгое время по окончаніи его, находился самъ Станкевичъ. Мы разумѣемъ Николая Надеждина,

знаменитаго профессора московскаго университета тридцатыхъ годовъ, редактора «Телескопа», тонкаго знатока европейской философіи и выдающагося литературнаго критика, къ словамъ котораго прислушивалось все современное ему общество. Надеждинъ былъ любимцемъ московскаго учащагося юношества. Въ «Библіотекѣ для чтенія» 1859 года мы находимъ небольшую замѣтку, написанную П. Прозоровымъ, товарищемъ Бѣлинскаго по университету, воспроизводящую даровитую личность Надеждина необычайно ярко, съ увлеченіемъ, свидѣтельствующимъ о громадной силѣ вліянія, которое Надеждинъ имѣлъ въ свое время на слушателей. Передъ глазами Прозорова проходитъ, спустя тридцать лѣтъ, картина прошлаго—въ живыхъ и увлекательныхъ образахъ, и между ними образъ Надеждина рисуется рельефнѣе прочихъ, волнуя воспоминаніемъ былыхъ восторговъ, незабвенныхъ радостей молодого, бодраго духовнаго существованія. Обладая рѣдкимъ лекторскимъ дарованіемъ и привѣтливымъ характеромъ, Надеждинъ возбуждалъ въ студентахъ настоящій энтузіазмъ. Его обширная аудиторія наполнялась слушателями со всѣхъ факультетовъ. Студенты, записывавшіе слова его, часто бросали перья, чтобы не проронить ни единой мысли, ни единой фразы. Одушевленный голосъ, печать увлеченія на лицѣ, торжественность позы — придавали ему, въ глазахъ студентовъ, видъ оракула. Читая исторію изящныхъ искусствъ, въ качествѣ ординарнаго профессора по каѳедрѣ эстетики, Надеждинъ умѣлъ сообщать самымъ отвлеченнымъ формуламъ и мыслямъ ту простоту, которая дѣлала ихъ доступными для всѣхъ. Въ свободной импровизаціи живыхъ бесѣдъ, онъ, развивая предъ аудиторіею широкіе взгляды Шеллинга, внушалъ своимъ слушателямъ любовь къ искусству и природѣ. Безусловная красота, этотъ высшій законъ жизни, говорилъ онъ, осуществляется во всемъ: въ гармоніи естественныхъ силъ міра, въ любви Бога ко всѣмъ твореніямъ, въ стремленіяхъ человѣка къ безконечному, въ идеалахъ художника. Излагая различныя системы эстетическаго содержанія, разсказывая студентамъ о томъ, какъ шло развитіе теоретическихъ воззрѣній на цѣли и задачи искусства, Надеждинъ умѣлъ каждую свою мысль обставлять многочисленными доказательствами изъ литературы французской, нѣмецкой, англійской, итальянской, давая при этомъ тонкую критическую оцѣнку каждому выдающемуся произведенію въ этой области. Его сужденія о первыхъ итальянскихъ эстетикахъ на двухъ-трехъ страницахъ статьи, написанной по поводу русскаго перевода сочиненія Бахмана, отличаются проницательностью и мѣткостью. Его критическій разборъ французской эстетики обличаетъ тонкій умъ идеалиста, видящаго всѣ недостатки и промахи эмпирическаго мышленія. Не углубляясь въ природу человѣческаго духа, не подходя къ самому корню творческаго процесса, нельзя разрѣшить великой тайны искусства,—вотъ мысль, ко-

торая руководитъ Надеждинымъ при обозрѣніи главныхъ моментовъ въ движеніи эстетическихъ теорій во Франціи. Такою же смѣлостью сужденій, такою же стройностью возраженій отличается его оцѣнка англійской эстетики. Англичане пошли гораздо дальше французскихъ мыслителей, но и они остановили свой анализъ въ «низшихъ слояхъ духовной атмосферы», не заглянувъ туда, гдѣ въ таинственномъ свѣтѣ ума «почиваетъ чистый образъ верховнаго изящества». Отсюда ощутительная недоконченность во всѣхъ ихъ разысканіяхъ, ограниченныхъ узкою рамкою, отсюда и тотъ любопытный фактъ, что, стоя на покатомъ и скользкомъ пути сенсуализма, англичане очень часто заходили гораздо далѣе въ своихъ выводахъ, чѣмъ сами того желали. Но истиннымъ блескомъ отличаются размышленія Надеждина на тему нѣмецкой эстетики. Тутъ виденъ настоящій знатокъ философіи, почти сложившійся мыслитель, владѣющій орудіемъ критики легко, свободно, обращающій его то на защиту опредѣленной точки зрѣнія, то на раскрытіе едва уловимыхъ логическихъ ошибокъ. Лейбницъ, Вольфъ, Баумгартенъ разобраны, при необычайной сжатости и скупости въ документальныхъ доказательствахъ, безошибочно, съ истиннымъ мастерствомъ. Критика отдѣльныхъ воззрѣній Канта, несмотря на нѣкоторую туманность, стремится къ высшимъ выраженіямъ эстетическаго идеализма. Изложеніе и разборъ эстетическихъ идей Шеллинга запечатлѣны вдохновеніемъ убѣжденнаго послѣдователя. «Мужъ по истинѣ великій и дивный», соединявшій въ себѣ исполинскій умъ съ исполинскою фантазіею, говоритъ онъ, Шеллингъ шагнулъ гораздо далѣе Канта и Фихте и утвердился въ высшемъ пунктѣ зрѣнія, откуда природа и духъ слились для него въ одно великое цѣлое. Въ его системѣ отвлеченныя построенія ума какъ бы облекаются вещественными формами, не теряя при этомъ ничего въ своей идеальности. Если тождество матеріи и разума есть основной фактъ философіи, то въ искусствѣ творчество должно возсоздавать сознательно то, что производится безсознательно природою. Искусство—торжественнѣйшее проявленіе духовной жизни, и идеалъ искусства, красота, изящество, есть гармонія истиннаго и добраго. Таковъ новый взглядъ на искусство, произведшій въ Германіи сильное броженіе. За него съ жаромъ ухватилась кипящая молодежь. Посыпались объясненія, различныя теоріи, дополняющія воззрѣнія Шеллинга. Самъ Гете въ своихъ Пропилеяхъ «дозволилъ генію своему испытывать и судить самого себя по уложенію Шеллинга». Поэзія, погибавшая подъ тяжестью школьныхъ опредѣленій прежнихъ временъ, ускользавшая «изъ-подъ щупа психологическихъ разысканій», подъ вліяніемъ новаго движенія въ области философіи, возродилась въ свѣтѣ живаго, идеальнаго созерцанія... Блестящій цѣнитель Шеллинга, Надеждинъ не могъ однако не видѣть, что продолжатели Шеллинга ударялись въ опасныя и гибельныя крайности. Оду-

шевленіе, къ которому взывало ученіе Шеллинга объ изяществѣ, распространившись за предѣлы «благоговѣйнаго философическаго смиренія передъ святилищемъ истины», послужило во вредъ эстетическимъ умозрѣніямъ. Очарованная мечтательность превратила ясную, сдержанную истину философіи въ бредъ изступленной фантазіи. Ничѣмъ не укрощаемая страсть къ романтическимъ преувеличеніямъ разрѣшилась какимъ-то философическимъ шарлатанствомъ и обезобразила высокіе взгляды и драгоцѣнныя мысли. Самыя важныя истины умозрительной науки стали погибать въ этомъ туманѣ аналогій и риторики, не только для смысла, но и для воображенія. Разбирая «Учебную книгу натуральной философіи» Окена, Надеждинъ предостерегаетъ отъ всякихъ ложныхъ увлеченій, призывая въ то же время къ внимательному изученію тѣхъ началъ и принциповъ, въ предѣлахъ которыхъ должна развиваться теоретическая мысль современности. Надеждинъ постоянно имѣлъ въ виду общество, среди котораго онъ являлся такимъ выдающимся дѣятелемъ на поприщѣ знанія. Онъ хорошо понималъ, что въ странѣ, куда «все европейское забрасывается рикошетами, черезъ тысячи скачковъ и переломовъ, и потому долетаетъ въ слабыхъ, издыхающихъ отголоскахъ», нѣмецкая философія могла воплотиться въ самыхъ уродливыхъ формахъ. Слѣдуя за Шеллингомъ, Надеждинъ былъ близокъ къ болѣе устойчивому міровоззрѣнію, и два-три критическихъ замѣчанія, направленныхъ имъ противъ Окена, свидѣтельствуютъ о необычайной ясности его философскаго пониманія. Окенъ, проникнутый чувствомъ единства бытія, хотѣлъ изъяснить все изъ вещественнаго начала, говоритъ Надеждинъ, и потому онъ всѣ явленія, относящіяся къ духовной сферѣ — науку, искусство, умъ, «призналъ высшими цвѣтами чувственнаго древа». Благородныя силы и способности нашего безсмертнаго духа казались ему не дѣйствіемъ высшаго начала, а самосознаніемъ и самосозерцаніемъ природы. Если-бы смыслъ этихъ замѣчаній Надеждина не былъ ослабленъ нѣкоторыми его другими соображеніями, мы имѣли-бы дѣло въ данномъ случаѣ съ тѣми именно аргументами, которыми можетъ быть окончательно отвергнуто первенствующее значеніе природы по сравненію съ духовнымъ началомъ. Но Надеждинъ не сдѣлалъ послѣдняго шага, и его замѣчательныя философскія и критическія работы, представляя громадный интересъ въ исторіи умственнаго развитія русскаго общества, являются какъ-бы не вполнѣ законченнымъ произведеніемъ ума, шедшаго наравнѣ съ движеніемъ европейской науки и далеко опередившаго успѣхи нашей русской мысли.

Отмѣтивъ еще двѣ статьи Надеждина, напечатанныя въ «Телескопѣ» и въ «Ученыхъ запискахъ Императорскаго московскаго университета», мы будемъ имѣть болѣе или менѣе полный сводъ главныхъ его воззрѣній по вопросамъ искусства, тѣхъ самыхъ воззрѣній, которыя такъ

волновали его университетскихъ слушателей и, воспитывая въ обществѣ извѣстное отношеніе къ явленіямъ литературы, служили руководящими началами для множества молодыхъ работниковъ на поприщѣ тогдашней журналистики. Въ этихъ двухъ статьяхъ Надеждинъ остается вѣренъ тому, что имъ было высказано по поводу Бахмана и Окена, но, разсуждая не о сочиненіяхъ теоретическихъ, а о типическихъ особенностяхъ художественнаго наслажденія, о созданіяхъ древняго, средневѣковаго и новѣйшаго искусства, онъ придаетъ своимъ мыслямъ нѣсколько важныхъ оттѣнковъ, которыхъ мы не должны оставить безъ вниманія. Врагъ слишкомъ яркихъ, неуравновѣшенныхъ выраженій въ передачѣ человѣческихъ страстей, въ описаніи природы, въ изображеніи драматическихъ столкновеній между людьми, Надеждинъ и здѣсь отважно борется за художественную простоту, за соотвѣтствіе между образомъ и идеею. Его научно воспитанному уму казались невыносимыми всякія проявленія изступленнаго чувства. Послѣдователь Шеллинга, но злой и ехидный критикъ многочисленныхъ фантазеровъ въ области современной философіи, онъ проповѣдывалъ въ своихъ статьяхъ и лекціяхъ идеалъ красоты безупречной, сіяющей ровнымъ свѣтомъ истины, въ могучихъ литературныхъ или художественныхъ образахъ, не оскорбляющихъ чувства правдоподобія. Обнимая мыслью важнѣйшіе періоды въ прогрессивномъ движеніи человѣчества, Надеждинъ расточаетъ въ своихъ статьяхъ множество доказательствъ въ пользу защищаемыхъ имъ идей. Въ очеркѣ подъ названіемъ «Необходимость, значеніе и сила эстетическаго образованія» мы находимъ подробный психологическій разборъ чувства изящнаго, всѣхъ степеней эстетическаго образованія, того процесса, которымъ порождается идея красоты, стремленіе къ творчеству. По краткости изложенія, по простотѣ и ясности теоретической постановки вопроса, это—одна изъ самыхъ лучшихъ работъ Надеждина. Настоящій мыслитель виденъ на каждомъ шагу этого небольшого изслѣдованія. Всѣ аргументы превосходны, чувство изящнаго, разложенное на свои составныя части и показанное съ различныхъ сторонъ, выясняется передъ читателемъ съ полною отчетливостью. Два-три замѣчанія, направленныхъ противъ классицизма и романтизма, бывшихъ въ свое время предметомъ особаго изученія Надеждина, нѣсколько заключительныхъ соображеній о необходимости полноты и гармоніи въ творческой дѣятельности человѣка—звучатъ убѣдительно, какъ смѣлое выраженіе твердо сложившагося міросозерцанія. Это точно глава изъ обширнаго ученаго сочиненія, въ которомъ природа разсматривается рядомъ съ человѣкомъ, опредѣляется ихъ взаимное отношеніе и дается логическое разрѣшеніе очень важныхъ метафизическихъ вопросовъ. Красота, составляющая начало и конецъ эстетическаго образованія, говоритъ Надеждинъ, есть не что иное, какъ гармонія между истиной и благомъ. «Печать красоты сіяетъ на всѣхъ твореніяхъ, составляющихъ

великолѣпный храмъ природы, отъ величественнаго солнца, повѣшеннаго въ глубинѣ безпредѣльной бездны, до малой пылинки, зыблющейся въ лучѣ его—и душа, сдружившаяся съ нею, можетъ вездѣ открывать слѣды ея». Ступайте въ святилище Весты, въ дѣвственное лоно природы, говоритъ Надеждинъ: тамъ горитъ неугасаемо священное пламя! Сторожите всѣ впечатлѣнія, получаемыя отъ ея безсмертныхъ красотъ—и предъ вами разоблачится тайна ея внутренней жизни! Такъ воспитывали себя великіе художники: Гомеръ бродилъ по цвѣтущимъ берегамъ роскошной Іоніи, Оссіанъ искалъ вдохновенія на дикихъ скалахъ сѣдой Морвены. Въ красотѣ благо слито съ истиной въ одно цѣлое, и искусство художника должно заключаться въ томъ, чтобы представить оба элемента въ надлежащихъ, пропорціональныхъ отношеніяхъ. Вотъ основная мысль Надеждина, выраженная въ названной выше статьѣ и получившая распространенное истолкованіе въ его блестящей рѣчи, произнесенной въ торжественномъ собраніи московскаго университета, 6 іюля 1833 года. Изслѣдуя психологическую сущность и элементы изящнаго творчества, говоритъ Надеждинъ, нельзя не видѣть, что художественная дѣятельность можетъ имѣть только два направленія: внѣшнее—центробѣжное, и внутреннее—центростремительное, ибо «весь безбрежный океанъ бытія состоитъ изъ двухъ противоположныхъ стихій—матеріи и духа, формъ и идей, земли и неба». Оба эти направленія имѣли своихъ великихъ представителей. Однако, приглядываясь къ фактамъ исторіи, не трудно замѣтить, куда стремится новѣйшее искусство. Утомленное безуспѣшными попытками возродиться въ одномъ изъ двухъ указанныхъ направленій и понявъ всю ошибочность своихъ прежнихъ односторонніхъ увлеченій, искусство нашихъ дней стремится къ *всеобщности*. Для всякаго должно быть ясно, что школьное пристрастіе къ классическимъ наружнымъ приличіямъ, безъ уваженія къ внутреннему смыслу, такъ же ничтожно, какъ ничтоженъ односторонній романтизмъ, обращающій исключительное вниманіе на внутреннюю идею. Современное эстетическое чувство требуетъ отъ художественныхъ созданій сходства съ природою наравнѣ съ внутренней идеальной выразительностью. У образа оно спрашиваетъ: гдѣ твой духъ? У мысли: гдѣ твое тѣло? Чуждаясь исключительности и всякаго педантизма, уравновѣшивая душу съ тѣломъ, мысль съ формою, настоящая поэзія просвѣтляетъ мрачную глубину сложныхъ душевныхъ настроеній лучами изящной классической красоты. Потребность въ естественности, распространившаяся во всѣхъ областяхъ европейскаго искусства, служитъ доказательствомъ того, что искусство вступило на вѣрную дорогу. Естественность и народность—вотъ девизъ современной литературы. Эстетическая критика требуетъ отъ всякаго живого искусства, чтобы оно было проникнуто духомъ народности, чтобы оно питалось родными впечатлѣніями и воспоминаніями, отражало въ

своихъ произведеніяхъ «родное благодатное небо», родную землю, родныя преданія, родную славу, родное величіе. Если идея не должна быть оторвана отъ матеріи, если жизнь души должна быть показана въ связи съ силами матеріальными, то очевидно, что изображеніе, отбрасывающее бытовую обстановку, въ которой совершается исторія даннаго общества, не считающееся съ народными преданіями, которыя управляютъ симпатіями людей, не принимающее въ расчетъ извѣстныхъ умственныхъ и нравственныхъ привычекъ, перешедшихъ по наслѣдству, не будетъ изображеніемъ естественнымъ. Нынѣ, восклицаетъ Надеждинъ, каждая нація, подвизающаяся на поприщѣ изящнаго творчества, хочетъ любоваться сама собою въ произведеніяхъ своего искусства. Геній чувствуетъ, что онъ можетъ жить и дышать свободно только въ родной атмосферѣ. Каждый художникъ переноситъ на полотно только тотъ пейзажъ, къ которому привыкъ его глазъ. Музыкальныя пьесы наполняются отголосками родныхъ мотивовъ. Поэты описываютъ родные нравы. Искусство становится повсюду народнымъ...

Каковы эстетическіе взгляды Надеждина? Онъ идеалистъ, стоящій на точкѣ зрѣнія Шеллинга, относящійся враждебно ко всѣмъ излишествамъ изступленнаго пантеизма. Проповѣдуя простоту и естественность, Надеждинъ требовалъ, чтобы искусство держалось той сферы, въ которой равномѣрно сочетаются истина и благо, въ которой теоретическіе и практическіе интересы человѣка, просвѣтленные общей идеей, приведены въ одно стройное, гармоническое цѣлое. Въ этой сферѣ интересы блага выражаются не въ стремленіяхъ къ опредѣленнымъ, случайнымъ удобствамъ для данной минуты, а въ тѣхъ порывахъ къ моральной свободѣ, которые никогда не погибнутъ въ потокѣ человѣческой исторіи. Въ этой сферѣ истина, поднявшись выше временныхъ обобщеній, является во всей своей теоретической широтѣ, какъ выводъ изъ опредѣленныхъ нравственныхъ и философскихъ убѣжденій, какъ выраженіе высшаго, религіознаго сознанія. Красота — вотъ настоящая цѣль искусства, настоящая атмосфера поэзіи. Научный умъ съ выдержаннымъ взглядомъ на природу и жизнь, Надеждинъ отвергаетъ и классическія формы античнаго искусства, и спиритуалистическіе образы, въ которыхъ воплотился христіанскій энтузіазмъ среднихъ вѣковъ. Ни тамъ, ни здѣсь не было *полной* красоты, которая достигается только сліяніемъ классицизма и романтизма, матеріи и духа, формы и содержанія, сліяніемъ поэзіи съ правдой на широкой, неизмѣнной почвѣ народности. Народность—это естественность, доведенная до совершенства, естественность, позволяющая представить индивидуальную жизнь во всей ея полнотѣ, въ ея физическихъ и духовныхъ стремленіяхъ, во всѣхъ ея свойствахъ и качествахъ, въ связи съ картинами родной страны, съ историческими и наслѣдственными вліяніями нравственнаго и бытового

характера. Естественность и народность сопровождаютъ другъ друга, и нигдѣ, даже на вершинахъ искусства, тамъ, гдѣ геній человѣка, послушный собственнымъ инстинктамъ, творитъ, не справляясь ни съ какими шаблонами, никому не подражая, ни за какими авторитетными образцами не слѣдуя,—они не разлучаются другъ съ другомъ. Естественность и народность—это высшая правда на яркомъ фонѣ мѣстнаго быта...

Съ этими эстетическими взглядами Надеждинъ обратился къ русской литературѣ—и получился рядъ соображеній, изумившихъ современниковъ своею неслыханною смѣлостью, дерзкимъ желаніемъ развѣнчать и обезславить священныя преданія русской исторіи. Что у насъ своего? спрашиваетъ Надеждинъ. Русская словесность, порабощенная Европѣ, созидалась всегда русскими руками не по-русски. Русскій поэтическій метръ обработанъ на германской наковальнѣ. Русская проза представляетъ какое-то вавилонское смѣшеніе всѣхъ европейскихъ идіотизмовъ, нароставшихъ цѣлыми слоями на дикой массѣ невоздѣланнаго русскаго слова. «Доселѣ во всѣхъ поэтическихъ нашихъ усиліяхъ, восклицаетъ Надеждинъ, господствовало вдохновеніе не самобытное, чуждое, экзотическое: лучшіе, блистательнѣйшіе цвѣты нашей поэзіи выращены въ оранжерейной атмосферѣ подражанія». Въ прошедшихъ судьбахъ Россіи Надеждинъ не находитъ никакого матеріала для широкаго эпическаго произведенія. Эпоха Рюрика и Олега должна быть совершенно выкинута изъ счета. Весь періодъ, такъ называемой, удѣльной системы представляется ему «дремучимъ лѣсомъ безличныхъ именъ, толкущихся въ пустотѣ безжизненнаго хаоса». Напрасно Карамзинъ старается придать этому времени какую-то поэтическую прелесть: его исторія удѣльной Россіи, при наружномъ великолѣпіи риторическаго убранства, совершенно сухая, мертвая хроника. Историку не съ чего было списывать, лѣтописцамъ нечего было записывать. Жизнь русскаго народа начинается только съ Іоанна III. Но и здѣсь цѣлые два вѣка протекли «въ младенческихъ, нестройныхъ движеніяхъ организующагося государства». Въ теченіе короткаго времени Россія прошла всѣ періоды органическаго развитія, представивъ удивительную фантасмагорію внезапныхъ, быстрыхъ переворотовъ, столпившихся въ тѣсномъ промежуткѣ двухъ замѣчательныхъ эпохъ. Петръ Великій настоящій родоначальникъ всѣхъ дѣятелей сознательной русской жизни. «Слѣдовательно, все наше прошедшее ограничивается однимъ вѣкомъ! Мы живемъ пока въ первой главѣ нашей исторіи!..»

Таково отношеніе Надеждина къ прошедшимъ судьбамъ Россіи. Таковъ приговоръ, произнесенный даровитымъ русскимъ ученымъ надъ всею русскою исторіею за два года до появленія «Литературныхъ мечтаній» Бѣлинскаго. Нѣтъ еще самобытной русской литературы, а то, что есть, выращено въ оранжерейной атмосферѣ подражанія. Нѣтъ еще рус-

сьой народной словесности, широко развившейся въ свободныхъ и подвижныхъ границахъ поэтической естественности и національной красоты—и даже народность Пушкина «ограничивается тѣснымъ кругомъ нашихъ гостиныхъ, гдѣ русская богатая природа вылощена подражательностью до совершеннаго безличія и бездушія». Надеждинъ высоко оцѣнилъ «Бориса Годунова», нѣкоторыя произведенія Жуковскаго, горячо привѣтствовалъ очаровательную поэзію «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки», но остался при томъ убѣжденіи, что настоящей русской литературы еще нѣтъ, что она должна еще только народиться въ самомъ близкомъ будущемъ—въ той естественно-народной формѣ, безъ которой не развивается никакое искусство. Нужно сказать правду: Надеждинъ упорствовалъ въ этомъ взглядѣ на русскую литературу и, упорствуя, доходилъ до обидныхъ для такого тонкаго ума нелѣпостей. Имѣя предъ собою всего «Евгенія Онѣгина», «Моцарта и Сальери»—этотъ чудеснѣйшій поэтическій брилліантъ — и множество замѣчательныхъ мелкихъ стихотвореній Пушкина, какъ «Эхо», «Анчаръ», «Бѣсы» и др., Надеждинъ рѣшается провести параллель между поэтическими вдохновеніями Пушкина и бездарными, вымученными виршами нынѣ всѣми забытаго Теплякова...

Эстетическія и литературныя воззрѣнія Надеждина принимались съ энтузіазмомъ современнымъ ему обществомъ. Они направляли умы, давали пищу для разговоровъ. Все молодое поколѣніе, все, что чувствовало способность идти впередъ, работать надъ возрожденіемъ русской жизни, восторженно ему рукоплескало. Всѣ говорили его выраженіями глядѣли на міръ его глазами. Однажды Прозоровъ, восторженный ученикъ Надеждина, началъ читать Бѣлинскому «свои созерцанія природы, въ которыхъ она разсматривалась, какъ откровеніе творческихъ идей, какъ безпредѣльная пучина зиждительныхъ силъ, вырабатывающихъ изъ вещества художественные образы и стройными хороводами небесныхъ сферъ возвѣщающихъ гармонію вселенной». Не успѣлъ онъ прочесть нѣсколько страницъ, какъ Бѣлинскій судорожно остановилъ его.

— Не читай, пожалуйста, сказалъ онъ. У меня самого носятся въ душѣ подобныя мысли о творчествѣ природы, которымъ я не успѣлъ еще дать формы, и я не хочу, чтобы кто-нибудь подумалъ, что я занялъ ихъ у другихъ и выдаю за свои.

Когда появились «Литературныя мечтанія», никто не хотѣлъ вѣрить, что они писаны Бѣлинскимъ, а не Надеждинымъ: такъ они были проникнуты духомъ редактора «Телескопа» и «Молвы», замѣчаетъ Прозоровъ.

Но Бѣлинскій не былъ подражателемъ Надеждина: онъ былъ его продолжателемъ. Въ сильныхъ и рѣзкихъ словахъ, проникнутыхъ лирическимъ увлеченіемъ, онъ обрушивается въ этихъ «Литературныхъ мечтаніяхъ» на весь строй русской жизни. Подобно Надеждину, онъ огляды-

вается назадъ и не находитъ ни одного отраднаго факта во всемъ прошломъ Россіи, вплоть до Петра Великаго. Подобно Надеждину, онъ отвергаетъ существованіе русской литературы и въ современномъ ему обществѣ, невзирая даже на то, что Пушкинъ стоялъ уже передъ нимъ во всемъ своемъ величіи. *Народной* русской литературы, выражающей духъ русской жизни, ея самобытную физіономію, ея оригинальныя стремленія и надежды, еще не могло сложиться до сихъ поръ, думаетъ Бѣлинскій. Съ тѣмъ изступленіемъ мысли и чувства, противъ котораго такъ сильно боролся Надеждинъ, Бѣлинскій накидывается на старые авторитеты и, какъ-бы возмущенный покоемъ бездѣятельности, разрываетъ всѣ связи съ преданіями окружающаго общества. Эта знаменитая «Элегія въ прозѣ» проникнута настоящей яростью литературнаго фанатика. Страдая огромными недостатками и въ смыслѣ общей теоретической постановки важныхъ эстетическихъ и литературныхъ вопросовъ—фантастическими преувеличеніями въ стилѣ напыщенной нѣмецкой натурфилософіи, и въ смыслѣ выполненія поставленной задачи—поспѣшными выводами изъ недостаточно обработанныхъ фактовъ, отсутствіемъ художественной выразительности въ характеристикахъ прошедшихъ и современныхъ дѣятелей русской поэзіи, она не могла не произвести, однако, потрясающаго впечатлѣнія. Надеждинъ подчинялъ себѣ общественное мнѣніе силою искусной діалектики, властью широкаго образованія, которое ставило его выше толпы, поднимало его надъ всѣми прочими руководителями молодого поколѣнія того времени. Энтузіастъ отвлеченной мысли, безпощадный критикъ съ нѣсколько лукавымъ, кусающимъ остроуміемъ, Надеждинъ покорялъ, можно сказать, безъ бою и, возбуждая негодованіе въ толпѣ патріотствующихъ поклонниковъ старины, усмирялъ недовольныхъ неумолимыми историческими и теоретическими доказательствами. Профессоръ и ученый по призванію, Надеждинъ былъ, въ сущности, несмотря на всѣ воинственные алюры закоренѣлаго журнальнаго дѣятеля, кабинетнымъ человѣкомъ, призваннымъ трудиться на поприщѣ науки, чуждымъ неумѣренныхъ пріемовъ широкой демократической агитаціи. При всемъ своемъ мощномъ, энергическомъ талантѣ, онъ оказывалъ сильное вліяніе только на людей, стоявшихъ близко къ нему, слушавшихъ его университетскія чтенія. Обладая силами для побѣды надъ обществомъ, онъ не обладалъ способностью *плѣнять* красотою чувства, обращать въ друзей тѣхъ, кто, по безсилію или недостаточности умственной подготовки, самъ слагалъ предъ нимъ оружіе борьбы и сопротивленія. Побѣждая умомъ, онъ не трогалъ сердецъ. Воюя, какъ тонкій и опытный стратегъ, Надеждинъ могъ увлекать только строгою систематичностью логическихъ доводовъ, цѣльностью міросозерцанія, твердою увѣренностью въ полемическихъ выраженіяхъ. Въ немъ не было склонности къ лирическимъ изліяніямъ, умѣнья доказывать чув-

ствами, трогать аудиторію благородствомъ патетическихъ порывовъ. Ему удивлялись, рукоплескали въ знакъ благодарности за высокое наслажденіе, которое доставляло его просвѣщающее слово своимъ тонкимъ и побѣдоноснымъ анализомъ самыхъ сложныхъ психологическихъ вопросовъ, но, выходя изъ университетской аудиторіи, или отложивъ въ сторону свѣжую книжку «Телескопа», ученики Надеждина мало-по-малу уступали господствующему строю жизни, смирялись передъ ея развѣнчанными богами, ея осмѣянными приличіями и нравами, ея комическими притязаніями на вѣчную неприкосновенность. Не захватывая чувства, не волнуя духовныхъ *инстинктовъ*, взывая только къ разсудку въ блестящихъ фразахъ, отмѣченныхъ печатью серьезной умственной работы, Надеждинъ не былъ созданъ для того, чтобы произвести реформу въ исторіи русской публицистики... Бѣлинскій, не владѣвшій образованіемъ Надеждина, значительно уступавшій ему въ умѣніи убѣждать и доказывать, Бѣлинскій, вышедшій на арену журналистики безъ научной и философской подготовки, даже безъ надлежащаго знакомства съ европейскою литературою, Бѣлинскій, слѣдившій за теченіями въ жизни западно-европейскаго общества только по лекціямъ и статьямъ Надеждина — вотъ кому суждено было впервые привести въ движеніе все русское общество, вотъ кому было предначертано сдѣлаться пророкомъ новыхъ идей. Такова сила вдохновенія. Такова могучая власть людей, говорящихъ всѣми фибрами души. Первый выходъ Бѣлинскаго на критическую арену не былъ ознаменованъ никакими блестящими идеями, добытыми собственнымъ, оригинальнымъ умомъ. «Литературныя мечтанія», во всей своей теоретической части, во всѣхъ своихъ эстетическихъ и историческихъ разсужденіяхъ, не заключаютъ въ себѣ ничего такого, съ чѣмъ-бы русское общество не было знакомо уже по превосходнымъ статьямъ Надеждина. Ихъ идеализмъ навѣянъ лекціями университетскаго профессора. Проводимая въ нихъ историческая точка зрѣнія была уже доказана и обоснована въ рядѣ журнальныхъ рецензій Надеждина. Пропаганда народности, съ такою рельефностью выступившая подъ перомъ Бѣлинскаго, была только сочувственнымъ, хотя и могучимъ откликомъ чуткой натуры на энергическую мысль все того-же Надеждина. Даже стиль «Литературныхъ мечтаній», эти растянутые періоды съ угловатыми оборотами, съ безконечными восклицаніями, за которыми чувствуется тяжелое смятеніе неясныхъ образовъ, неоформленныхъ художественныхъ симпатій, этотъ чрезмѣрный паѳосъ, не дающій ни на чемъ сосредоточиться мысли, этотъ невыдержанный тонъ, то обрывающійся на половинѣ пути, то безъ всякой надобности поднимающійся въ заключительныхъ строкахъ отдѣльныхъ, отрывочныхъ главъ—даже стиль этихъ «Литературныхъ мечтаній» не долженъ былъ особенно выгодно поразить читателей «Молвы» 1834 года. А между тѣмъ, Бѣлинскій сразу оттѣснилъ

на задній планъ Надеждина. Идеализмъ, утвердившійся на точкѣ зрѣнія Шеллинга, но выраженный пылко, ярко, страстно, съ ничѣмъ не сдерживаемою свободою въ словахъ, эстетическія сужденія, построенныя по методу Надеждина, но въ первый разъ явившіяся въ привлекательномъ свѣтѣ непосредственной любви къ искусству, проникнутыя свѣжестью наивнаго и живого стремленія ко всему великому и прекрасному, историко-литературная критика, не измѣнившая ни одному изъ положеній Надеждина, но разразившаяся настоящими полемическими громами,— вотъ что составляло обаяніе первой же статьи Бѣлинскаго. Въ этомъ бѣгломъ и лихорадочномъ обозрѣніи прошедшей умственной исторіи Россіи нельзя было не почувствовать души, напряженной могучими, возвышенными инстинктами. Бѣлинскій побѣдилъ Надеждина дарованіемъ, темпераментомъ, смѣлостью нравственнаго характера, непреклонностью фанатическаго борца, съ негодованіемъ отвергающаго всякую сдѣлку съ людьми и обстоятельствами. «Литературныя мечтанія» произвели всероссійскую сенсацію. Бѣлинскій сталъ героемъ дня. По свидѣтельству Прозорова, къ нему, еще недавно никому неизвѣстному переводчику романовъ Польде-Кока, вдругъ посыпались предложенія очень выгодныхъ уроковъ. Общество разгадало въ немъ сразу своего вождя, и сочувственная молва, вчера еще всецѣло занятая дѣятельностью редактора «Телескопа», теперь обратилась къ молодому литературному таланту, чтобы разнести его имя по всѣмъ слоямъ интеллигентнаго русскаго общества. Бѣлинскій совершенно затмилъ Надеждина, который, почувствовавъ это, уже не могъ продолжать своей журнальной дѣятельности съ прежнею силою и предоставилъ Бѣлинскому въ «Телескопѣ» часть своихъ работъ.

Бѣлинскій естественнымъ образомъ сталъ во главѣ новаго литературнаго движенія.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Сочиненія В. Бѣлинскаго: I—XII.

Приступая къ разбору сочиненій Бѣлинскаго, мы предпошлемъ нашимъ соображеніямъ объ его критической дѣятельности одно общее замѣчаніе. Литературный талантъ Бѣлинскаго имѣетъ по преимуществу лирическій характеръ. Легко и быстро откликаясь на все поэтическое, Бѣлинскій отдается поразившему его эстетическому явленію, проникается его содержаніемъ и, по своему постигая его общее значеніе, почти совсѣмъ не слѣдитъ за его отдѣльными признаками, не видитъ его извнѣ и не изображаетъ его рельефными художественными чертами. Лучшія статьи Бѣлинскаго представляются какими-то монологами, въ которыхъ чувство артиста, не управляемое яснымъ убѣжденіемъ, возрастаетъ съ каждой фразою. Писатель мало-по-малу уступаетъ мѣсто человѣку, критическая оцѣнка превращается въ изліяніе собственнаго сердца, объясненіе задачъ и цѣлей искусства переходитъ въ увлекательное воззваніе къ совѣсти людей, сопровождаемое лихорадочнымъ трепетаньемъ всѣхъ нервовъ. Повсюду увлеченіе, страсть, свистящіе удары критическаго бича, и очень рѣдко окончательно сложившіеся, устойчивые образы, отражающіе твердое эстетическое міросозерцаніе, опредѣленный критическій методъ. Передъ читателемъ сразу выступаетъ человѣческій обликъ Бѣлинскаго,—страдальческая фигура неугомоннаго, неистово-воюющаго чахоточнаго пророка, который тысячу разъ измѣнитъ себѣ, но никогда не измѣнитъ литературѣ, который съ безумною, почти слѣпою яростью накинется на всякую помѣху, залегшую на пути общественнаго развитія, но никогда не усомнится въ минуту борьбы, когда вскипѣли уже чувства, въ справедливости и вѣрности своего негодованія. Его аргументы слабы, его теоретическія разсужденія въ предѣлахъ одной и той-же статьи часто противорѣчатъ другъ другу, его взглядъ на литературу не проникаетъ до глубокихъ основъ художествен-

наго творчества, его общее міровоззрѣніе, зыблемое мимолетными, измѣнчивыми, личными и общественными настроеніями, не захватываетъ своей оригинальностью. Но, не владѣя даромъ яснаго и остраго критическаго созерцанія, не умѣя находить удовлетворенія въ самомъ процессѣ художественнаго разбора съ его внезапными откровеніями, съ его счастливыми подходами къ тайнамъ человѣческой души, съ его научными обобщеніями, построенными изъ тончайшаго психологическаго матеріала, Бѣлинскій тѣмъ не менѣе приковываетъ къ себѣ вниманіе читателя величіемъ моральной борьбы, обращенной на защиту русской литературы. Это критика законная, но необходимая только на зарѣ литературной исторіи,—когда умственная жизнь общества еще не получила надлежащаго развитія, когда духовныя силы народа еще не достаточно созрѣли для воспріятія систематическихъ отвлеченныхъ разсужденій. Тогда эта критика становится во главѣ молодого общества, внося своимъ горячимъ и страстнымъ словомъ живое броженіе въ его сознаніе.

Теоретическія разсужденія Бѣлинскаго, разсѣянныя въ его первыхъ критическихъ статьяхъ, не отличаются особенною сложностью. Юношеская мечта, окрыленная идеализмомъ Надеждина, превратила «весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ» въ дыханіе «единой вѣчной идеи, проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи». Для этой идеи нѣтъ покоя, она живетъ безпрестанно, и «только пламенное чувство смертнаго» можетъ постигнуть, въ свои свѣтлыя мгновенія, всю ея жизнь, ея непрекращающееся стремленіе разрушать, чтобы творить, и творить, чтобы разрушать. «Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—пути млечные, а кровь—чистый эфиръ». Эта вѣчная идея воплощается, живетъ и дышитъ во всемъ—въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, въ рыканіи льва и въ слезѣ младенца. «Кружится колесо времени съ быстротою непостижимою. Въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила и зажигаются новыя. На землѣ проходятъ роды и поколѣнія и замѣняются новыми. Смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть. Силы природы борются, враждуютъ и умиротворяются силами посредствующими. И гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи, въ этой борьбѣ началъ и веществъ». Идея живетъ во всемъ—мудрая, справедливая, цѣлесообразная. Она все предвидитъ, все держитъ въ равновѣсіи, за наводненіемъ она ниспосылаетъ плодородіе, за опустошительной грозою чистоту и свѣжесть воздуха. Въ пустыняхъ песчаной Азіи и Африки она поселила верблюда и страуса. Въ пустыняхъ холоднаго сѣвера она поселила оленя. Вотъ ея мудрость. Но гдѣ-же ея любовь? «Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сію идею своимъ умомъ и знаніемъ, да пріобщается къ ея жизни

въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной, зиждущей любви! И она не только мудра, но и любяща!..» [1]).

Это основныя теоретическія воззрѣнія Бѣлинскаго, отъ которыхъ переходъ къ морали простъ и очевиденъ. Окинувъ поэтическимъ взглядомъ весь міръ, отмѣтивъ разумную необходимость верблюда и страуса въ пустыняхъ Аравіи и Африки и цѣлесообразность въ созданіи оленей въ пустыняхъ холоднаго сѣвера, уловивъ дыханіе единой идеи въ свирѣпомъ ураганѣ и въ слезѣ младенца, Бѣлинскій сразу поднимаетъ тонъ своей рѣчи и разражается настоящею моральною проповѣдью. Пусть гордится человѣкъ своимъ высокимъ назначеніемъ, восклицаетъ онъ, пусть не забываетъ, что божественная идея, его родившая, справедлива и правосудна, что она дала ему умъ и волю для борьбы и труда. Предъ каждымъ человѣкомъ открыты двѣ дороги: путь отреченія и путь эгоизма. Дышать для счастья другихъ, жертвовать собою для блага ближняго, для пользы человѣчества, тяжкимъ крестомъ выстрадать свое соединеніе съ Богомъ, свое безсмертіе—таковъ путь добра и справедливости. «Что? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ?» Любить самого себя больше всего на свѣтѣ, не бояться зла, когда оно приноситъ пользу, ползать змѣею между тиграми, бросаться тигромъ между овцами, губить, угнетать, пить кровь и слезы, сгибать свои рамена подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей—таковъ путь зла и себялюбія. «Какая тебѣ нужда, что въ душѣ твоей будетъ каждую минуту разыгрываться ужасная кровавая драма, что ты будешь безпрестанно въ раздорѣ съ самимъ собою, что въ душѣ твоей будетъ слишкомъ жарко, а въ сердцѣ слишкомъ холодно... Э, любезный мой, ты правъ: жизнь сонъ, и не увидишь, какъ пройдетъ». Отъ этихъ общихъ философскихъ и моральныхъ соображеній Бѣлинскій обращается къ изложенію своихъ эстетическихъ понятій. Если жизнь міра есть проявленіе вѣчной идеи, если борьба между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ есть вѣчное содержаніе мірового развитія, то спрашивается: въ чемъ задача искусства, въ чемъ цѣль поэзіи и литературы? Изображать, воспроизводить въ словѣ, въ звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы—вотъ единая и вѣчная тема искусства, говоритъ Бѣлинскій. Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы. Художникъ долженъ изучать природу, сочувствовать ей и, болѣе чѣмъ кто-либо другой, долженъ быть чистъ и дѣвственъ душою, долженъ входить въ святилище природы «съ ногами обнаженными, съ руками омовенными, съ умомъ мужа и сердцемъ младенца». Искусство есть выраженіе великой идеи вселенной въ ея безконечно разнообразныхъ явленіяхъ, и талантъ поэта заключается въ томъ, чтобы поставить читателя на такую точку зрѣнія, съ которой

[1]) «Литературныя мечтанія», т. I, стр. 16.

міръ виденъ въ сокращеніи, въ миніатюрѣ, ибо наслажденіе изящнымъ можетъ состоять только въ минутномъ забвеніи нашего я, въ живомъ сочувствіи общей жизни природы [1]).

Опредѣливъ литературу, какъ собраніе художественно-словесныхъ произведеній, написанныхъ по свободному вдохновенію, выражающихъ и воспроизводящихъ духъ народа, его внутреннюю жизнь до сокровенныхъ глубинъ и біеній, — Бѣлинскій, опираясь на только-что изложенныя теоретическія соображенія, приступаетъ къ обзору судебъ русской словесности. Въ рядѣ характеристикъ, поражающихъ не мѣткостью, но силою критическаго отрицанія, Бѣлинскій разбиваетъ всѣ авторитеты прошлаго, заноситъ свою безтрепетную руку на славы родной литературы. Надеждинъ тоже разрылъ до основанія недавнее прошедшее Россіи, тоже развѣнчалъ великія литературныя имена, которыя произносились съ благоговѣніемъ его современниками. Но въ статьяхъ Надеждина, несмотря на всю ихъ логическую силу, не было, какъ мы уже говорили, той прямоты и откровенности, которыя придали такое значеніе сокрушительнымъ нападкамъ Бѣлинскаго. И Надеждинъ отрицалъ существованіе русской литературы, основываясь на томъ, что настоящая литература должна быть народною. Но только въ статьяхъ Бѣлинскаго понятіе народности въ литературѣ получило живое моральное содержаніе, освѣтилось публицистическимъ огнемъ, согрѣлось любовью къ темнымъ массамъ, пренебреженнымъ дѣятелями прошедшихъ періодовъ русской печати. Надеждинъ былъ блестящимъ теоретикомъ, Бѣлинскій, путаясь въ наивныхъ теоретическихъ разсужденіяхъ, громоздя риторическія фразы, какъ выраженіе своего философскаго міросозерцанія, повторяя за Надеждинымъ плохо понятыя слова о всеобщей міровой идеѣ, превзошелъ своего учителя непосредственнымъ пониманіемъ современной дѣйствительности съ ея рабскимъ преклоненіемъ передъ мертвыми кумирами.

Но нетерпѣливо стремясь навстрѣчу лучшему будущему, Бѣлинскій радостно хватается за всякое новое явленіе, чтобы провозгласить грядущее возрожденіе и, не имѣя опоры въ твердыхъ критеріяхъ, придаетъ невѣрное значеніе самымъ заурядным событіямъ въ общественной жизни. Только что доказавъ, что у насъ нѣтъ литературы, что исторія русской словесности не что иное, какъ исторія неудачныхъ попытокъ создать литературу посредствомъ слѣпого подраженія иностраннымъ образцамъ, что русское общество еще не освободилось отъ европейской опеки, Бѣлинскій вдругъ завершаетъ свое изслѣдованіе нѣкоторыми выводами самаго оптимистическаго свойства. Правда, у насъ нѣтъ литературы, но время ея уже близко — и вотъ пять блестящихъ доказательствъ, способныхъ разсѣять всѣ сомнѣнія на этотъ счетъ. *Во первыхъ*, разочарованіе

[1]) «Литературныя мечтанія», стр. 18—21.

нашего молодого поколѣнія въ поэтическихъ произведеніяхъ прошедшихъ періодовъ и обращеніе его къ изученію наукъ, съ самоотверженнымъ отреченіемъ отъ всякой мысли самому творить и писать. Вѣкъ ребячества проходитъ, восклицаетъ Бѣлинскій: «благородная нищета лучше мечтательнаго богатства»! *Во вторыхъ*, благотворное воздѣйствіе правительственной власти на ходъ образованія въ Россіи. «Русскій народъ смышленъ и понятливъ, усерденъ и горячъ ко всему благому и прекрасному, когда рука царя-отца указываетъ ему на цѣль, когда его державный голосъ призываетъ его къ ней». Россіи-ли не достигнуть вершины литературной славы, когда правительство «являетъ собою такой единственный, такой безпримѣрный образецъ попечительности о распространеніи просвѣщенія, когда оно издерживаетъ такія громадныя суммы на содержаніе учебныхъ заведеній, ободряетъ блестящими наградами труды учащихъ и учащихся, открывая образованному уму и таланту путь къ достиженію всѣхъ отличій и выгодъ»? Не проходитъ года безъ того, чтобы русское правительство не совершило какого-нибудь подвига на пользу общества. Одно учрежденіе сословія домашнихъ наставниковъ и учителей повлечетъ за собою неисчислимыя блага для Россіи. «Да, у насъ скоро будетъ свое русское, народное просвѣщеніе! Мы скоро докажемъ, что не имѣемъ нужды въ чуждой умственной опекѣ. Намъ легко это сдѣлать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудномъ поприщѣ народоправленія, являются посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмѣ русскаго просвѣщенія возвѣщать ему священную волю монарха, указывать путь къ просвѣщенію въ духѣ православія, самодержавія и народности». *Въ третьихъ*, благодѣтельная перемѣна во взглядахъ благороднаго дворянства: оно, наконецъ, вполнѣ убѣдилось въ необходимости давать своимъ дѣтямъ образованіе въ духѣ «вѣры, вѣрности и національности». *Въ четвертыхъ*, сближеніе купеческаго сословія съ сословіями высшими. *Въ пятыхъ*, дѣятельное участіе духовенства въ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія... [1]). Все это даетъ бодрость молодому критику, укрѣпляетъ его надежды на будущіе успѣхи русской литературы. При такихъ условіяхъ не можетъ не расцвѣсти русское искусство! Когда на помощь неусыпнымъ заботамъ правительства о просвѣщеніи приходитъ благоразумная молодежь, готовая отказаться отъ всякихъ творческихъ претензій, когда благородное дворянство, заодно съ купечествомъ и духовенствомъ, пріуготовляетъ знаменитымъ сановникамъ путь къ центральному храму образованія, не можетъ не родиться настоящая здоровая литература. Когда сословіе домашнихъ наставниковъ и учителей дѣйствуетъ рядомъ съ другими органами общественнаго воспитанія, всякое отчаяніе нелѣпо,

[1]) Томъ I, стр. 120—125.

всѣ сомнѣнія насчетъ будущихъ умственныхъ успѣховъ страны должны быть отложены въ сторону: спасенье близко!

Эстетическіе взгляды Бѣлинскаго на природу и искусство не могли спасти его отъ многочисленныхъ ошибокъ. Бѣлинскій легко увлекается теченіемъ внѣшнихъ событій, смѣшивая при этомъ внутреннюю духовную жизнь народа, органическое развитіе общественнаго самосознанія съ явленіями болѣе или менѣе случайными, съ измѣнчивыми обстоятельствами внѣшняго, оффиціальнаго характера. Не ставъ его сознательнымъ убѣжденіемъ, войдя въ общій строй его душевной жизни болѣе въ качествѣ поэтическаго элемента, чѣмъ въ качествѣ элемента научнаго или критическаго, ученіе Надеждина не возбудило въ Бѣлинскомъ, на первыхъ порахъ его литературной дѣятельности, ни одной оригинальной идеи, не натолкнуло его ни на одно свѣтлое обобщеніе. Красота пышныхъ идеалистическихъ фразъ, которая очаровала читателей перваго произведенія Бѣлинскаго, не могла сдѣлаться культурной силой на страницахъ русскаго журнала. Это – красота почти безпредметная, которая легко могла выродиться въ какое-то лойальное краснорѣчіе, мало гармонировавшее съ общимъ складомъ души Бѣлинскаго. Прогрессивная сила идеализма—въ отчетливомъ пониманіи той борьбы, которая вѣчно происходитъ между низшими и высшими началами человѣка. Видѣть всю природу въ свѣтѣ сознанія, подчинить механическое движеніе естественныхъ силъ міра высшему, духовному принципу, выдвинуть свободную человѣческую волю, какъ рычагъ для перестройки грубыхъ формъ историческаго существованія—вотъ въ чемъ задача идеализма, если обратить его не только къ теоретическимъ, но и практическимъ интересамъ человѣчества. Вѣчные контрасты между идеей и фактомъ, между чувственнымъ опытомъ и требованіями разума—вотъ средство для настоящей гуманной и нравственной агитаціи. Прогрессивный по самой природѣ, идеализмъ только въ неопытныхъ рукахъ можетъ обратиться въ орудіе ретроградnаго вліянія. Но въ статьяхъ Бѣлинскаго логическая сторона идеализма отошла на задній планъ, и потому разсужденія его, руководимыя чувствомъ, часто принимаютъ произвольное, странное направленіе.

Говоря въ одной изъ раннихъ своихъ статей объ искусствѣ древнихъ народовъ и искусствѣ современномъ, Бѣлинскій задается вопросомъ: возможна-ли въ настоящее время идеальная поэзія? Она возможна, отвѣчаетъ онъ, именно въ настоящее время она возможна болѣе всего. У древнихъ народовъ поэзія была идеальна, вслѣдствіе ихъ идеальной жизни, у насъ она должна быть идеальною по духу нашего времени. Для насъ внѣшняя природа безъ отношенія къ идеѣ всеобщей жизни не имѣетъ никакого смысла. Для насъ жизнь уже не веселое пиршество, но поприще труда, борьбы, лишеній и страданій. Отсюда эта тоска,

грусть, «эта мыслительность», которою проникнута наша лирика. При этомъ у насъ нѣтъ и быть не можетъ полнаго свода неизмѣнныхъ эстетическихъ понятій, управляющихъ нашими сужденіями о произведеніяхъ искусства. Законы изящнаго никогда не могутъ отличаться математическою точностью, потому что они основываются на чувствѣ. Пусть каждый по своему толкуетъ объ условіяхъ творчества и подкрѣпляетъ свои соображенія фактами—это самый лучшій способъ развивать теорію изящнаго... [1]) Въ этихъ разсужденіяхъ коренится основная ошибка Бѣлинскаго. На чувствѣ не можетъ и не должна основываться никакая критика. Сужденія о литературѣ, какъ работа логическая, должны опираться на опредѣленныя понятія и, будучи выводимы изъ твердыхъ теоретическихъ положеній, стремятся и могутъ стремиться только къ тому, чтобы дать полное духовное удовлетвореніе нашимъ высшимъ эстетическимъ и философскимъ потребностямъ. Самъ Бѣлинскій былъ недалекъ отъ такого взгляда въ статьѣ о сочиненіи Алексѣя Дроздова. Факты и явленія жизни, писалъ онъ, не существуютъ сами по себѣ, они всѣ заключаются въ насъ [2]). Внѣшніе предметы даютъ только толчокъ нашему *я*, возбуждая въ немъ рядъ самобытныхъ понятій. Факты должно объяснять мыслью, а не мысли фактами. Поэзія есть выраженіе творящаго духа, и какъ фактъ, какъ явленіе человѣческой жизни, должна быть объясняема мыслью, а не чувствами и не другими фактами...

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что при такомъ противорѣчивомъ отношеніи къ однимъ и тѣмъ же вопросамъ, мысли Бѣлинскаго постоянно расходятся въ противоположныя стороны, повсюду натыкаясь на препятствія, превозмогаемыя случайными, совершенно неожиданными, иногда форсированными оборотами юношеской фразеологіи, внезапнымъ подъемомъ чувствъ и настроеній, не имѣющихъ никакихъ корней въ предыдущихъ разсужденіяхъ. Незамѣтно для самаго себя Бѣлинскій, разбирая какія-нибудь новыя жизненныя явленія, впадаетъ въ тонъ ортодоксальнаго проповѣдника. Не будучи новаторомъ по дарованію, Бѣлинскій не обладалъ силами для простого, яснаго разрѣшенія такихъ задачъ, которыя при немъ впервые рѣшались въ русской литературѣ. Вотъ чѣмъ объясняются многочисленные промахи, поражающіе при чтеніи его произведеній. Вотъ гдѣ объясненіе этому хаотическому смѣшенію великолѣпныхъ замѣчаній и возвышенныхъ нравственныхъ тенденцій съ банальными консервативными сужденіями по очереднымъ литературнымъ и публицистическимъ вопросамъ. И такъ повсюду у Бѣлинскаго: вдохновеніе искренняго чувства, восклицанія, идущія изъ глубины души и приподнятыя разсужденія на малоизслѣдованныя въ русской литературѣ

[1]) Томъ I, «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя», стр. 178, 203.

[2]) Ibidem, «Опытъ системы нравственной философіи», стр. 274.

темы съ наивными доказательствами, почерпнутыми Богъ вѣсть откуда. Все зависитъ отъ случая, отъ минутнаго настроенія. Нахлынула фантазія, сверкнуло счастливое откровеніе, и Бѣлинскій обвѣетъ васъ очаровательными грезами о свободѣ и счастьѣ, обдастъ цѣлымъ потокомъ поэтическихъ фразъ, проникнутыхъ молодою энергіею и кипучей страстью. Отошло вдохновеніе, поблекла фантазія, и мысль Бѣлинскаго безпомощно влачится по землѣ, разбивается на мелкія подробности, замирая у каждаго перехода въ незнакомыя сферы человѣческой дѣятельности. Вотъ вамъ, въ поясненіе сказаннаго, два отрывка изъ первыхъ статей Бѣлинскаго. Закончивъ разсужденіе о книгѣ Алексѣя Дроздова, онъ вдругъ обращается къ читателю съ слѣдующею превосходною тирадою, въ которой поэзія и философія смѣшались въ одно цѣлое. «Нѣтъ, не напрасно, восклицаетъ онъ, лучезарное солнце такъ величественно обтекаетъ голубое далекое небо и проливаетъ на насъ и свѣтъ, и теплоту, и жизнь, и радость». Не напрасно мерцаютъ звѣзды таинственнымъ блескомъ, томя душу тоскою о родинѣ, съ которой мы разлучены. Не напрасно всѣ міры связаны между собою электрическою цѣпью любви. Не напрасно человѣкъ ищетъ наслажденія искусствами. Вѣчность не мечта. Не мечта и жизнь, которая служитъ къ ней ступенью [1])... Вы съ чувствомъ отрады дочитываете до конца эту небольшую статейку Бѣлинскаго, отлитую въ яркую публицистическую форму, и черезъ нѣсколько десятковъ страницъ того-же перваго тома его сочиненій натыкаетесь на взвинченное разсужденіе, въ которомъ нѣтъ ни поэзіи, ни логики, въ которомъ искусственный паѳосъ терзаетъ нервы своею однотонностью. Рѣчь идетъ о совершенно простомъ предметѣ—можетъ-ли и должна-ли женщина быть писательницей? Послѣ утомительнаго предисловія, въ которомъ разрѣшаются отвлеченнѣйшіе вопросы о назначеніи человѣка вообще, Бѣлинскій, проведя читателя черезъ длинную анфиладу вводныхъ разсужденій, съ обычными у него извиненіями за отступленія отъ главнаго сюжета, накидывается на всѣхъ защитниковъ женской эмансипаціи. Въ послѣднее время въ Европѣ, говоритъ онъ, сталъ раздаваться ропотъ противъ священнѣйшаго гражданско-религіознаго установленія—противъ брака. Начали обнаруживаться какія-то сомнѣнія относительно его законности и даже необходимости. Ропотъ превратился въ неистовый вопль. Всѣ тайно или явно вооружились противъ брака. Женщины-писательницы!.. Что такое женщина-писательница вообще? Имѣетъ-ли она право быть писательницей? Въ мірѣ все слѣдуетъ своему назначенію, все прекрасно въ своихъ естественныхъ предѣлахъ. Это вѣчный, неизмѣнный законъ Провидѣнія. Женщина-амазонка въ поэмѣ смѣшна, но въ дѣйствительности она существо въ высшей степени

[1]) Т. I, стр. 291.

отвратительное, чудовищное. Мужчина съ женоподобнымъ характеромъ—самый ядовитый пасквиль на человѣка! Пусть каждый стоитъ на своемъ мѣстѣ и не отрывается отъ даннаго ему судьбою дѣла. Если тебѣ едва подъ силу должность секретаря въ какомъ-нибудь судѣ уѣзднаго города, не лѣзь въ губернаторы. Если природа осудила тебя на смиренную прозу дѣловыхъ бумагъ и приходо-расходныхъ книгъ, не надѣвай на себя вѣнка поэта, «хотя-бы ты могъ сдѣлаться предметомъ удивленія не только для своего муравейника, но и всего современнаго человѣчества и коварно выманить у него незаслуженные лавры». Женщина должна и можетъ быть только ангеломъ-хранителемъ мужчины на всѣхъ ступеняхъ его дѣятельности. Въ этой должности она вѣрна своей природѣ! Дѣло женщины—возбуждать въ мужчинѣ энергію души, пылъ благородныхъ страстей! Для нея въ тысячу разъ похвальнѣе внушить «Освобожденный Іерусалимъ», нежели самой написать его, въ тысячу разъ почетнѣе поддержать борца за общественное благо, чѣмъ самой броситься въ битву съ оружіемъ въ рукахъ. Только прекрасныя стороны жизни должны быть открыты ея вѣдѣнію, а во всемъ прочемъ «она должна оставаться въ миломъ, простодушномъ незнаніи». Всезнаніе въ ней ужасно, отвратительно. Женщина должна любить искусство для наслажденія, а не для того, чтобы самой быть художникомъ. Женщина съ талантомъ жалка, женщина бездарная смѣшна. «Я не люблю женщинъ-писательницъ, восклицаетъ Бѣлинскій. Богъ съ ними!.. Во Франціи женщины-писательницы съ особеннымъ ожесточеніемъ возстали на бракъ. Нужно-ли говорить, чего хочется этимъ женщинамъ, чего добиваются онѣ. Очень понятенъ этотъ сенсимонизмъ, эта жажда эмансипаціи. Ихъ источникъ скрывается въ желаніи имѣть возможность удовлетворять порочнымъ страстямъ...» [1]) Такъ разсуждаетъ Бѣлинскій. Для него женщина-писательница только смѣшна, женщина, бросающаяся въ битву, отвратительна. Вотъ какіе выводы онъ дѣлаетъ изъ своихъ философскихъ понятій, когда, поразмысливъ о строѣ вселенной, берется разрѣшить такую простую и несложную задачу. Посмотрите, какъ говоритъ объ этомъ-же предметѣ Пушкинъ, современникъ Бѣлинскаго. Съ какимъ уваженіемъ онъ отзывается о женскомъ умѣ, съ какою брезгливостью осуждаетъ онъ недостойныя выходки Муханова противъ одной изъ замѣчательнѣйшихъ женщинъ вѣка, мадамъ Сталь. Въ самомъ дѣлѣ, пишетъ онъ, не странно-ли считать женщинъ низшими существами по сравненію съ нами, женщинъ, которыя такъ часто удивляютъ насъ «быстротою понятія, тонкостью чувства». Не странно-ли считать ихъ такими въ особенности въ Россіи, «которая гордится женщинами, царствовавшими со славою, между прочимъ Екатериною II, гдѣ вообще женщины болѣе просвѣщенны, болѣе чи-

[1]) Т. 1, „Жертва“, литературный эскизъ, сочиненіе г-жи Монборнъ, стр. 389—397.

тають, болѣе слѣдуютъ общему въ Европѣ ходу вещей, чѣмъ мы, гордые Богъ вѣдаетъ почему»? Какою теплотою проникнуты его слова о Надеждѣ Дуровой. Отдавая въ печать ея записки, Пушкинъ заявляетъ при этомъ, что онъ съ неизъяснимымъ участіемъ прочелъ «признанія женщины, столь необыкновенной». Съ изумленіемъ увидѣлъ онъ, что рука, нѣкогда сжимавшая окровавленную рукоятку уланской сабли, владѣетъ и перомъ «быстрымъ, живописнымъ и пламеннымъ». О «Десятилѣтнемъ изгнаніи» г-жи Сталь Пушкинъ отзывается слѣдующимъ образомъ: «взглядъ быстрый и проницательный, замѣчанія разительныя по своей новости и истинѣ, благодарность и доброжелательство, водившія перомъ сочинительницы—все приноситъ честь уму и чувствамъ необыкновенной женщины [1])...

Сравните взгляды по этому вопросу Бѣлинскаго и Пушкина.

II.

Выростая и развиваясь, мысль Бѣлинскаго, отчасти подъ вліяніемъ кружка Станкевича, отчасти самостоятельно перерабатывая впечатлѣнія, полученныя отъ статей Надеждина, быстро достигла своего высшаго подъема. Періодъ Шеллинга окончился для Бѣлинскаго уже въ 1837 г., и философія Гегеля, какъ она доходила до него въ бесѣдахъ съ друзьями и черезъ посредство журнальныхъ статей и переводовъ, заняла центральное мѣсто въ его литературныхъ и умственныхъ занятіяхъ. И вотъ тутъ-то всего ярче выступаетъ неумѣнье Бѣлинскаго дѣлать самостоятельные логическіе выводы, примѣнительно къ вопросамъ политическимъ, гражданскимъ, изъ сложныхъ философскихъ теоремъ. Систематическое мышленіе не давалось Бѣлинскому. Его поразило ученіе Гегеля, но у него не хватило силъ на то, чтобы продумать это ученіе во всѣхъ частяхъ и выводахъ. Гегель очаровалъ его воображеніе, но не далъ толчка его умственному творчеству. Надо было вооружиться терпѣніемъ для полнаго разбора основныхъ положеній идеализма. Надо было на время пріостановить полетъ фантазіи и чувствъ, чтобы впослѣдствіи дать имъ новыя крылья. Но Бѣлинскій не умѣлъ спокойно допытываться истины—и все его гегеліанство, какъ и увлеченіе Шеллингомъ въ изложеніи Надеждина, должно было въ концѣ концовъ выродиться въ мышленіе нестройное, полное логическихъ ошибокъ и странныхъ мечтаній въ примирительно-консервативномъ направленіи.

Періодъ возникновенія такъ называемыхъ гегеліанскихъ увлеченій Бѣлинскаго не можетъ быть прослѣженъ по его сочиненіямъ, такъ какъ

[1]) Сочиненія А. С. Пушкина, подъ ред. П. О. Морозова, т. V, «Мелкія замѣтки», стр. 162, «Записки Н. А. Дуровой», стр. 297. «О г-жѣ Сталь и г-нѣ Мухановѣ», стр. 23—25.

за это именно время онъ—въ теченіе почти цѣлаго года—не напечаталъ ни одной крупной работы, и потому для обрисовки этого момента въ дѣятельности Бѣлинскаго мы, минуя опубликованныя Пыпинымъ интересныя письма 1837 г., прямо перейдемъ къ той статьѣ, въ которой впервые проявилась его новая точка зрѣнія. Мы говоримъ о замѣткѣ, написанной Бѣлинскимъ по поводу полнаго собранія сочиненій Фонвизина и «Юрія Милославскаго» Загоскина. Замѣтка эта во всемъ, что есть въ ней теоретическаго, воспроизводитъ брошюру нѣмецкаго ученаго Ретшера, переведенную М. Катковымъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» [1]). Послѣдовательный идеалистъ съ глубокимъ знаніемъ философіи, знатокъ европейской литературы, хотя и выражающій свои мысли туманнымъ языкомъ, Ретшеръ представилъ въ своей книжкѣ рядъ соображеній въ духѣ «Эстетики» Гегеля. Онъ отрицаетъ законность случайныхъ историческихъ критеріевъ въ дѣлѣ искусства и пониманія искусства и, подробно разобравъ всѣ типы сужденій о литературѣ, провозглашаетъ философскую критику единственно-правильною, единственно-пригодною для оцѣнки всѣхъ видовъ художественнаго творчества. Въ искусствѣ онъ отмѣчаетъ постоянное воплощеніе абсолютной идеи въ наглядныхъ формахъ, единство мірового начала съ началомъ конкретнымъ. Дѣйствительное произведеніе искусства, говоритъ онъ, является замкнутымъ міромъ, понятнымъ только въ связи съ общимъ процессомъ духовнаго развитія человѣчества. Гегель открылъ всемірно-историческое движеніе искусства, всѣ его ступени, и показалъ, чѣмъ должна быть настоящая критика. При научномъ изученіи художественнаго произведенія надо прежде всего познать его идею, его философское содержаніе, изъявъ мысль изъ прекрасныхъ формъ и образовъ, въ которыхъ она явилась передъ нами. Критикъ на время долженъ оставить эту роскошную полноту образной жизни, скрывающей идею, удерживая анализъ «въ пустынѣ безплотной мысли». Это добровольное отреченіе отъ сокровищъ поэзіи есть въ нѣкоторомъ смыслѣ жертва, при которой остается только одно утѣшеніе, что придетъ мгновеніе—и опустѣвшій Олимпъ оживетъ еще роскошнѣе. Критическій духъ разбиваетъ драгоцѣнный сосудъ, чтобы, не ослѣпляясь его великолѣпіемъ и красотою, созерцать во всей наготѣ его содержаніе. Прекрасное тѣло художественнаго произведенія разрушается для того, чтобы вынуть изъ него живую душу. «Мыслитель становится на мѣсто Минервы, которая изъ тѣла Діонисія Загрея, растерзаннаго титанами, спасла его еще трепетавшее сердце». Это первый актъ въ процессѣ изученія художественнаго произведенія, доступный только тѣмъ, кто закалилъ свою критическую способность въ огнѣ философскаго мышленія, ибо лишь тотъ, кто принесъ съ собой философское содержаніе, можетъ

[1]) «Моск. Наблюдатель», 1838 г., май, іюнь, іюль

найти художественную идею въ художественномъ произведеніи. Но разрушенное тѣло должно быть возстановлено. Духъ, добровольно изгнавшій себя изъ міра красоты, изъ круга живыхъ образовъ, возвращается назадъ, обогащенный необходимыми знаніями. Это второй моментъ въ дѣятельности философской критики. Она соединяетъ тѣло съ душою и, понявъ отвлеченную идею во всѣхъ ея развѣтвленіяхъ, прослѣживаетъ ея воплощеніе по всѣмъ чертамъ поэтической формы. Въ эту минуту критика достигла своей полноты и можетъ дать отвѣты на всѣ естественно возникающіе при чтеніи художественнаго произведенія эстетическіе и литературные вопросы. Она изслѣдовала внутреннее развитіе образа, сознала его отношеніе къ идеѣ, увидѣла все созданіе поэта въ общей цѣпи духовныхъ явленій міра. Паллада не только спасаетъ бьющееся сердце растерзаннаго Діонисія Загрея, но передаетъ его Зевсу, чтобы отецъ безсмертныхъ и смертныхъ возжегъ въ немъ новую жизнь. Научное изученіе произведенія искусства не ограничивается объясненіемъ его общей идеи—это дѣло мудрости, но возстановляетъ органическую связь образа съ мыслью, формы съ содержаніемъ. Такова философская критика, отвергающая сужденія, основанныя на одномъ только чувствѣ, не удовлетворяющаяся психологическимъ или историческимъ разборомъ литературныхъ произведеній. Критика, основанная на чувствѣ—это царство чистаго произвола и случайности, съ его неизбѣжными искаженіями и кривыми толками о великихъ созданіяхъ поэтическаго таланта. Критика психологическая хотя и можетъ, при зоркой наблюдательности, подмѣчающей нѣжнѣйшіе оттѣнки, увидѣть замкнутый міръ художественнаго произведенія, его самостоятельную жизнь, его самобытныя цѣли, но не въ силахъ, однако, опредѣлить своими собственными средствами его отношеніе къ абсолютной идеѣ. Тутъ она, по необходимости, должна обратиться къ помощи философіи, должна искать поддержки въ цѣльномъ и выработанномъ міросозерцаніи, обнимающемъ всѣ явленія жизни. Ея собственныя силы недостаточны. Ея самостоятельная дѣятельность вращается въ очень тѣсныхъ предѣлахъ. Ретшеръ заканчиваетъ свою брошюру разсужденіемъ о томъ, какъ философская критика исполняетъ на практикѣ свою задачу. Если она имѣетъ дѣло съ произведеніемъ, въ которомъ совсѣмъ не проявилась общая идея міра, она должна быть отрицающею и разрушающею, ибо гдѣ нѣтъ дыханія божества, тамъ искусство пусто, ничтожно, случайно. Въ этомъ случаѣ критика должна быть тѣмъ строже, разрушительнѣе, чѣмъ обширнѣе притязанія автора—по правилу Лессинга: обрушивайся грозно на плохого писаку, бей насмѣшкою хвастуна. Критика должна срывать театральный нарядъ съ фальшивыхъ произведеній искусства и обнаруживать ихъ бѣдное, жалкое, безпомощное содержаніе. Далѣе, если передъ нею находится произведеніе, проникнутое ложною тенденціею, ея удары должны быть без-

пощадны. Раскрывая противорѣчіе отдѣльнаго произведенія съ идеею искусства, она поражаетъ при этомъ цѣлое литературное направленіе. Другой характеръ философская критика принимаетъ въ томъ случаѣ, когда она судитъ о произведеніи, имѣющемъ и положительныя и отрицательныя стороны. На этой почвѣ критика, говоритъ Ретшеръ, становится искусствомъ разложенія, безпристрастнымъ сравненіемъ частнаго съ общимъ, элементовъ, родственныхъ искусству, съ элементами, ему противорѣчащими. Тутъ она становится снисходительною, проникается живительнымъ сочувствіемъ къ достоинствамъ таланта и умѣренною строгостью къ его недостаткамъ. Но истинно блестящее поприще открывается для критики въ томъ случаѣ, когда она сталкивается съ произведеніемъ, которое, со всѣми своими недостатками, можетъ быть разсматриваемо, какъ моментъ въ историческомъ развитіи искусства, или съ такимъ произведеніемъ, которое должно быть признано исключительнымъ по своимъ художественнымъ и поэтическимъ достоинствамъ, равно замѣчательнымъ для всѣхъ временъ. Въ одномъ случаѣ она выполняетъ высокую діалектическую задачу, въ другомъ она производитъ изслѣдованіе идеи, которая присуща произведенію — и въ обоихъ случаяхъ она расширяетъ свой кругозоръ до безконечности. Открывая неизбѣжность извѣстнаго явленія, она въ несовершенномъ указываетъ то, что дѣлаетъ его положительнымъ и важнымъ и тѣмъ даетъ образецъ настоящаго историческаго безпристрастія. Изучая произведенія геніальныя, она въ самыхъ источникахъ высшаго творчества черпаетъ матеріалъ для широкаго воздѣйствія на духовную жизнь человѣчества...

Разсужденія Ретшера держатся на высотѣ строгихъ идеалистическихъ понятій и остаются вѣрными эстетическимъ воззрѣніямъ Гегеля, какъ по философскому направленію, такъ и по тому духу прогресса, который проникаетъ ихъ насквозь. Руководящій взглядъ Ретшера на художественное творчество никогда не будетъ опровергнутъ. Творчество есть воплощеніе общей идеи въ конкретной формѣ, наглядная жизнь духовной силы, духовнаго начала въ краскахъ, звукахъ, словахъ. Въ произведеніи искусства содержаніе и форма нераздѣльны, и малѣйшій недочетъ въ мышленіи художника, логическая ошибка ума, неясность поэтической идеи— все это гибельно отражается на достоинствахъ внѣшняго выраженія, все это разлагаетъ красоту и цѣльность художественной картины. Слѣдуя за Гегелемъ, Ретшеръ видитъ въ каждомъ поэтическомъ произведеніи тѣло, проникнутое душою, единство противоположныхъ началъ, союзъ безусловной идеи съ чувственною формою. Слѣдуя за Гегелемъ, онъ предписываетъ критикѣ двѣ задачи — сначала разъединить составныя части произведенія, съ тѣмъ, чтобы оцѣнить воплощенную мысль на основаніи опредѣленныхъ философскихъ понятій, и потомъ возвратить идею формѣ, внимательно слѣдя при этомъ за всѣми деталями и оттѣнками

внѣшняго изображенія. Такъ именно долженъ былъ смотрѣть на искусство ученикъ Гегеля. Такъ именно долженъ былъ понимать задачу критики послѣдовательный идеалистъ, видящій въ разнообразныхъ формахъ искусства, въ произведеніяхъ выдающихся умовъ и талантовъ только извѣстные моменты въ общемъ процессѣ духовнаго развитія человѣчества. Ретшеръ ни на минуту не уклоняется въ сторону отъ превосходной программы эстетическаго идеализма. Разрушительная дѣятельность философской критики у него на первомъ планѣ. Критика должна безпощадно изобличать то, что бездарно, бороться всѣми силами противъ всякаго поэтическаго пустоцвѣта. Она безжалостно наноситъ смертельные удары тому, кто поддерживаетъ ложное направленіе въ искусствѣ, ложный взглядъ на природу и людей. Она снисходительна только къ второстепеннымъ недостаткамъ. Философская критика не смиряется ни передъ какою дѣйствительностью. Революціонная по самому существу своей задачи, она съ негодованіемъ отвергаетъ все, что не имѣетъ отношенія къ міровой идеѣ, что не занимаетъ опредѣленнаго мѣста въ развитіи мірового духа, все, на чемъ нѣтъ отблеска божества, сіянія вѣчной истины. Отклоненіе отъ прогрессивнаго движенія человѣчества она прощаетъ только въ томъ случаѣ, если видитъ въ разбираемомъ произведеніи, въ цѣломъ литературномъ направленіи, необходимый моментъ въ историческомъ движеніи искусства. Не каждое созданіе рукъ человѣческихъ, говоритъ Ретшеръ, необходимо для людей. Если во второй половинѣ XVIII столѣтія произведенія Галлеровъ, Уцовъ, Крамеровъ имѣли свою положительную сторону, потому что въ нихъ впервые проявился свободный полетъ мысли, который помогъ поэзіи освободиться отъ стѣснявшихъ ее прозаическихъ правилъ, то эти-же самыя произведенія, явившись въ другое время, прошли-бы, не оставивъ никакого слѣда. То, что имѣетъ извѣстное значеніе, какъ моментъ въ развитіи творчества, дѣлается предметомъ отрицающей и разрушающей критики, если оно изъявляетъ притязаніе господствовать надъ людьми при другихъ историческихъ условіяхъ.

Бѣлинскій ничего не прибавилъ въ упомянутой статьѣ къ этимъ глубокимъ соображеніямъ нѣмецкаго ученаго. Излагая разсужденія Ретшера почти его-же собственными словами, слѣдуя за каждымъ его шагомъ и ни въ чемъ не проявляя самобытнаго философскаго таланта, Бѣлинскій повторяетъ всѣ тѣ доводы, которые мы только что привели. Бѣлинскій тоже опредѣляетъ художественное произведеніе, какъ идею, воплощенную въ изящную, конкретную форму. Одновременность идеи и формы, пишетъ онъ, есть основной законъ всякаго творческаго акта. Конкретность есть главное условіе истинно поэтическаго произведенія. Обратите вниманіе на то, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, какъ отвратительны восковыя статуи, какое непріязненное чувство возбуждаютъ онѣ, несмотря на то, что подражаніе природѣ доведено въ нихъ до

высокой степени совершенства. Напротивъ того, всякое изваяніе талантливаго скульптора живетъ и дышитъ настоящею красотою, весело улыбается, стыдливо смотритъ въ сторону. Причина понятна: въ первыхъ форма существуетъ отдѣльно отъ идеи, порабощена предвзятой цѣли, въ мраморныхъ изваяніяхъ скульптуры идея и форма составляютъ одно органическое цѣлое. Только то произведеніе искусства художественно, въ которомъ нѣтъ ничего произвольнаго, гдѣ каждое слово, каждая черта неразрывно связаны съ его общимъ духомъ, выражаютъ его поэтическую тенденцію. Въ истинно художественномъ произведеніи идея, такъ сказать, поглощается формою. Въ «Нереидѣ» Пушкина мысль такъ тѣсно связана съ формою, что ее трудно выразить обыкновенными прозаическими словами, а форма такъ прекрасна, что вы не рѣшитесь вырвать изъ нея внутреннее содержаніе. Гёте и Пушкинъ—вотъ истинно поэтическія натуры. Одному довольно сорваннаго цвѣтка, чтобы ринуть насъ въ міръ безконечнаго, другому довольно завядшаго цвѣтка, нечаянно найденнаго въ книгѣ, чтобы наполнить душу невыразимою тоскою. Слѣдуя за Ретшеромъ, Бѣлинскій тоже провозглашаетъ, что только философская критика можетъ дать полное и совершенное пониманіе произведеній искусства, и при этомъ указываетъ на тѣ-же два момента въ исполненіи критической задачи, которые объяснены нѣмецкимъ писателемъ съ такою сдержанною силою въ словахъ и образахъ. Но не будучи въ состояніи выдержать общій тонъ спокойнаго разсужденія, Бѣлинскій разражается въ концѣ замѣтки нѣсколькими пылкими восклицаніями, въ которыхъ не было никакой особенной надобности. Законы творчества вѣчны, какъ законы разума, говоритъ онъ, и Гомеръ создалъ «Иліаду» и «Одиссею» по тѣмъ-же законамъ, по какимъ создавали свои произведенія Шекспиръ, Гёте. Вотъ почему, разбирая сочиненія такихъ талантовъ, такихъ исполиновъ искусства, критикъ долженъ дѣйствовать по извѣстному методу. Что мы знаемъ о жизни Шекспира? На что намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхилъ или Софоклъ были къ своему правительству, что при нихъ дѣлалось въ Греціи? Чтобы понимать ихъ трагедіи, достаточно знать общее значеніе греческаго народа въ жизни человѣчества, тотъ моментъ «конкретнаго сознанія истины въ искусствѣ», который выраженъ въ греческой поэзіи. «До политическихъ событій и мелочей намъ нѣтъ дѣла». Пусть политикою въ литературѣ занимаются французы. «Французская критика не заслуживаетъ и названія критики: это просто пустая болтовня, въ которой все произвольно и въ которой все можно понять, кромѣ значенія разбираемаго въ ней произведенія [1])». Въ этихъ восклицаніяхъ уже чувствуются первые приступы того патріотическаго увлеченія, который въ статьяхъ о Бо-

[1]) Т. II, стр. 293—316.

родинскомъ сраженіи и о Менцелѣ поразилъ даже друзей Бѣлинскаго своею преувеличенностью. Бѣлинскій, конечно, неправъ въ своемъ отношеніи къ французской критикѣ. Съ презрѣніемъ отбрасывая отъ себя даже историческія справки по политическимъ вопросамъ, не принимая въ расчетъ картины гражданской жизни цѣлаго народа, въ средѣ котораго дѣйствовалъ и развивался тотъ или другой литературный талантъ, онъ не замѣчаетъ при этомъ, что ошибка исторической критики заключается только въ произвольномъ смѣшеніи бытового и психологическаго матеріала съ руководящими критеріями для сужденія о явленіяхъ искусства. Историческіе матеріалы даже необходимы для той критики, которая въ самомъ искусствѣ желаетъ постичь вѣчное движеніе мірового духа съ его неизбѣжными противорѣчіями, борьбою противоположныхъ началъ, съ его побѣдами на высшихъ стадіяхъ умственнаго творчества. Гегель самъ показалъ превосходный образецъ философской критики, не пренебрегающей исторіею, а подчиняющей ея изученіе высшимъ отвлеченнымъ понятіямъ. И когда Ретшеръ указываетъ на блестящее поприще философской критики, онъ, какъ мы видѣли, выдвигаетъ впередъ историческій моментъ въ развитіи искусства. Пусть какая-нибудь форма творчества уже устарѣла для насъ, пусть она не выражаетъ нашего взгляда на жизнь, нашихъ стремленій, нашихъ убѣжденій, но разъ она когда-нибудь служила выраженіемъ цѣльнаго поэтическаго міросозерцанія, она должна быть признана совершенно законною для своего времени. Философская критика обращается къ прошедшимъ періодамъ человѣческой дѣятельности и въ нихъ съ полнымъ удовлетвореніемъ отмѣчаетъ то, что служило людямъ на пользу, что двигало ихъ впередъ. Но Бѣлинскій, говоря о философской критикѣ, не знаетъ и не чувствуетъ ни ея высшихъ обобщеній и оправданій прошедшаго, ни ея непримиримости по отношенію къ настоящему. Иногда онъ бросаетъ отдѣльныя фразы, имѣющія глубокій смыслъ, но нигдѣ идеализмъ не собирается у него въ одномъ ярко-свѣтящемся фокусѣ. Въ двухъ томахъ его сочиненій вы можете подобрать великолѣпныя изрѣченія, какъ-бы высоко парящія надъ общимъ строемъ его философскихъ разсужденій, но нигдѣ рѣшительно вы не встрѣтитесь съ яснымъ выраженіемъ опредѣленнаго и стойкаго теоретическаго взгляда на вещи. То онъ велитъ стремиться къ добру и бороться со зломъ, то совершенно отрицаетъ существованіе зла въ мірѣ. То онъ признаетъ разницу между явленіями случайными и явленіями исторически-неизбѣжными, то—съ пѣной у рта—накидывается на всякую попытку человѣка принять участіе въ движеніи міровыхъ судебъ своимъ могучимъ, личнымъ протестомъ, называя при этомъ борцовъ за свободу самозванцами, которые неизбѣжно падутъ жертвами своего самозванства. Кто, не понимая жестокихъ уроковъ опыта, не понимая своего безсилія перестроить дѣйствительность, «тѣшитъ себя ребяческими выходками» противъ того, что живетъ «по

непреложнымъ и вѣчнымъ законамъ разумной необходимости», тотъ не перейдетъ въ потомство. Посмотрите на дѣятельность Генриха Гейне, говоритъ Бѣлинскій. Зараженный тлетворнымъ духомъ новѣйшей французской школы, онъ взялъ у нея легкомысліе, поверхностность сужденій, безстыдство, «которое для остраго словца искажаетъ святую истину». Живя въ Парижѣ, Гейне изливаетъ свою желчь на то, что зимою бываетъ холодно, а лѣтомъ жарко, что Китай въ Азіи, и на другія подобныя несообразности сего несовершеннаго міра, который не хочетъ перевернуться вверхъ дномъ, повѣривши его мудрости. *Этотъ* Гейне не перейдетъ въ потомство...

Но всѣ эти противорѣчія боролись въ Бѣлинскомъ недолго. Вскорѣ онъ остановился окончательно на мысляхъ, которыя сдѣлали для него легкимъ разрѣшеніе самыхъ трудныхъ гражданскихъ и жизненныхъ вопросовъ и которыя онъ выразилъ въ упомянутыхъ статьяхъ о бородинскомъ сраженіи и о нѣмецкомъ критикѣ Менцелѣ. «Очерки бородинскаго сраженія», написанные по поводу сочиненія Ѳ. Глинки, и небольшая замѣтка по поводу «Бородинской годовщины» В. Жуковскаго и «Письма изъ Бородина отъ безрукаго къ безногому инвалиду»—это цѣлый катехизисъ самыхъ крайнихъ ортодоксальныхъ взглядовъ на государство и общество [1]). Здѣсь Бѣлинскій категорически признаетъ высокій, священный смыслъ за *всякимъ* историческимъ фактомъ и явленіемъ, откровенно заявляя, что дѣло человѣка сознавать дѣйствительность, а не творить ее. «Какъ невозможно сочинить языка, говоритъ онъ, такъ невозможно и устроить гражданскаго общества, которое устрояется само собою, безъ сознанія и вѣдома людей, изъ которыхъ оно слагается». Дѣйствительность есть «отѣлесившійся разумъ», который предшествуетъ сознанію. Каждый человѣкъ родится въ опредѣленныхъ условіяхъ, освященныхъ преданіемъ, которымъ онъ долженъ служить со смиреніемъ. Вотъ почему космополитъ «есть какое-то ложное, двусмысленное, странное и непонятное явленіе, какой-то блѣдный, туманный призракъ, а не яркая, живая дѣйствительность». Вотъ почему русскій человѣкъ, «случайно проведшій въ Парижѣ свое младенчество и въ чуждой его родной сущности странѣ принявшій первыя живыя впечатлѣнія бытія, представляетъ изъ себя какого-то амфибія, уродливаго и отвратительнаго, какъ всѣ амфибіи...» Бѣлинскій бичуетъ съ ожесточеніемъ всѣхъ людей, «ясновидѣнію» которыхъ не открыта глубина и внутренняя сущность той дѣйствительности, которую воспѣваетъ его статья торжественнымъ языкомъ какого-то военнаго краснорѣчія, и предостерегаетъ своихъ читателей противъ «непризванныхъ опекуновъ человѣческаго рода», противъ «заграничныхъ крикуновъ», думающихъ несогласно съ выраженными имъ патріотическими взглядами...

---

[1]) Т. III, стр. 201—242, 254—262.

Вотъ къ какимъ своеобразнымъ логическимъ результатамъ пришелъ Бѣлинскій. Въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ Панаевъ рисуетъ душевное состояніе Бѣлинскаго въ этомъ періодѣ его критической дѣятельности. Однажды Бѣлинскій принесъ ему свою статью о книгѣ Глинки, предназначенную для напечатанія въ «Отечественныхъ Запискахъ».

— Послушайте, сказалъ онъ,—кажется мнѣ еще до сихъ поръ не удавалось ничего написать такъ горячо и такъ рѣшительно высказать наши убѣжденія. Я читалъ эту статейку Мишелю, и онъ пришелъ отъ нея въ восторгъ,—ну, а мнѣніе его чего-нибудь да стоитъ. Да что много говорить, я самъ чувствую, что статейка вытанцовалась.

Бѣлинскій началъ читать ее съ волненіемъ и жаромъ. Видно было, что онъ раздраженъ нервически.

— Удивительно! Превосходно! Но... я вамъ замѣчу одно...

— Я знаю, знаю что, не договаривайте. Меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями. Пусть ихъ. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убѣжденія, что-бы обо мнѣ ни думали.

Онъ бросился ходить по комнатѣ въ волненіи. Вдругъ онъ подошелъ къ Панаеву и остановился передъ нимъ. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза загорѣлись.

— Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ. Мнѣ легче умереть съ голода, чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизить себя предъ кѣмъ-бы то ни было или продать себя. Эта статья рѣзка, я знаю. Но у меня въ головѣ рядъ статей еще болѣе рѣзкихъ. Ужъ какъ я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмѣливается судить объ искусствѣ, ничего не смысля въ немъ...

Статья о Менцелѣ—статья дѣйствительно замѣчательная по яркости стиля, по злости сатирической насмѣшки. Но, представляя смѣсь остроумныхъ замѣчаній съ теоретическимъ резонерствомъ, блескъ идеалистическихъ откровеній посреди крайне слабыхъ, неразработанныхъ доказательствъ, восторженную защиту свободнаго искусства рядомъ съ неудачными нападками на европейскіе имена и авторитеты, она производитъ впечатлѣніе чего-то страннаго, пестраго, чего-то безсмысленнаго, несмотря на яркость таланта, несмотря на красоту и смѣлость вдохновеннаго краснорѣчія. Даже то, что выражено въ статьѣ правдиваго и, по существу, важнаго, обставлено такими доводами, которые не могутъ подкупить сочувствія читателя. Вся аргументація Бѣлинскаго не выходитъ изъ круга общихъ соображеній, нигдѣ не углубляется въ суть дѣла, не выростаетъ въ рядѣ твердыхъ, незыблемыхъ умозаключеній. Мелькаютъ образы идеалистическаго характера, блестящіе афоризмы перекрещиваются съ великолѣпными полемическими фразами, бурное настроеніе автора выливается въ

пламенныхъ тирадахъ. Но надъ всѣмъ этимъ, въ различныхъ формахъ выраженія, господствуетъ одно коренное, ошибочное убѣжденіе, что всякая дѣйствительность разумна, что задача философіи оправдать всякій фактъ жизни, научить безропотному смиренію передъ тѣмъ, что сложилось въ опредѣленную жизненную систему, поддерживается преданіемъ и привычкою. Какъ въ статьяхъ о Бородинскомъ сраженіи, Бѣлинскій и здѣсь возстаетъ противъ всякаго индивидуальнаго вмѣшательства въ «міродержавный ходъ исторіи» и съ негодованіемъ обрушивается на людей, которымъ не слышна «музыка сферъ», которымъ непонятенъ этотъ «гармоническій хоръ» событій, направляющихся, по неизмѣннымъ законамъ и въ «несмущаемомъ теченіи», къ высокой цѣли, предустановленной отъ вѣка. Имъ слышатся только диссонансы, нервически восклицаетъ Бѣлинскій, имъ мерещится только раздоръ! Тамъ гаснетъ свѣтъ просвѣщенія, тутъ гибнутъ добродѣтель и нравственность! Что дѣлать сумасброду при такихъ обстоятельствахъ? Неужели заглянуть въ священную книгу судебъ человѣчества? Неужели смириться предъ роковыми фактами исторіи? Сумасбродъ на это неспособенъ! Онъ хватается за топоръ, обтесываетъ свои колышки и тычинки, чтобы ими подпереть съ трескомъ разрушающееся зданіе вселенной [1])! И тутъ-же, рядомъ съ этимъ страннымъ отрицаніемъ гражданской борьбы и протеста въ процессѣ мірового развитія, Бѣлинскій обнаруживаетъ чисто критическое отношеніе къ узко тенденціонному творчеству въ области литературы, къ произведеніямъ съ мелкими, утилитарными задачами, съ узко моралистическими цѣлями. Все, что говорится въ статьѣ о политиканствующей критикѣ, о различіи между моральнымъ и нравственнымъ взглядомъ на вещи, о дѣйствіи настоящей поэзіи на духовныя стремленія человѣка,—все это не потеряло-бы своего смысла и для настоящаго времени, если-бы было обставлено иными перспективами. Но Бѣлинскій, разъ увлекшись какою-нибудь мыслью, неизбѣжно доводилъ ее до самаго крайняго, преувеличеннаго выраженія, и эти мѣткія, острыя сужденія о журнализмѣ, о литературѣ, о различныхъ пріемахъ критическаго разбора художественныхъ произведеній, заглушаемыя неумѣренными похвалами фактамъ исторіи, иногда дикимъ, случайнымъ, теряются въ хаосѣ ненужныхъ фразъ, въ дыму раздражающаго патріотизма... Такова эта знаменитая статья Бѣлинскаго. Измѣните его взглядъ на дѣйствительность, разверните передъ нимъ болѣе полное и болѣе вѣрное пониманіе Гегелевской діалектики, выкиньте изъ статьи все то, что не имѣетъ прямого отношенія къ ея главной задачѣ, и все разсужденіе о Менцелѣ получитъ совсѣмъ иное значеніе. Выдвиньте впередъ идеалистическую точку зрѣнія, и всѣ его разсужденія о политикѣ и

[1]) Т. III, «Менцель, критикъ Гете», стр. 289, 290.

нравственности облекутся иными выраженіями и проникнутся гуманной и нѣжной тенденціей. Спустя нѣкоторое время послѣ того, какъ онъ написалъ свои статьи о бородинскомъ сраженіи и о Менцелѣ, Бѣлинскій въ длинной монографіи, посвященной комедіи Грибоѣдова, обмолвился нѣсколькими фразами, которыя и Гегель и Ретшеръ признали-бы совершенно удовлетворительными въ смыслѣ философскомъ. Дѣйствительность, писалъ онъ, это разумъ въ сознаніи и разумъ въ явленіи. Все частное, все случайное, неразумное—призрачно, противоположно дѣйствительности. Воспроизводить дѣйствительность въ искусствѣ—это значитъ въ частномъ и конечномъ явленіи выражать общее и безконечное. Религія, искусство и наука дѣлаютъ человѣка участникомъ высшей жизни. Но Бѣлинскій не овладѣлъ душою философскаго идеализма. Онъ то подходилъ очень близко къ центральному пункту въ ученіи Гегеля, то отходилъ отъ него далеко, блуждая среди противорѣчій, теряя изъ виду руководящія идеи этой грандіозной системы.

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1841 г. Бѣлинскій окончательно отрекается отъ Гегелевской философіи. Трудность не была побѣждена, задача осталась въ прежнемъ видѣ, но разгнѣванный собственнымъ безсиліемъ, духъ Бѣлинскаго ропталъ въ немъ всѣми неудовлетворенными инстинктами. Боецъ по непосредственному влеченію чувства, Бѣлинскій вскипѣлъ, наконецъ, негодованіемъ противъ системы Гегеля, которая могла быть взята только умомъ. Онъ, который еще такъ недавно поносилъ сумасбродовъ и политическихъ крикуновъ Запада, вдругъ приходитъ въ ужасъ отъ своихъ собственныхъ словъ. Конечно, во Франціи много крикуновъ и фразеровъ, пишетъ онъ Боткину, но въ Германіи много филистеровъ, колбасниковъ и другихъ гадовъ[1]). Конечно, французы не понимаютъ абсолютнаго ни въ искусствѣ, ни въ религіи, ни въ знаніи, но зато Германія въ отношеніи государственности страна позорная. Если французы уважаютъ нѣмцевъ за науку, то нѣмцы должны отдать честь французамъ за ихъ политическія стремленія—и юная Германія это поняла, выдвинувъ изъ своей среды такую чудную, такую прекрасную личность, какъ Гейне, «на котораго мы нѣкогда взирали съ презрѣніемъ, увлекаемые своими дѣтскими односторонними увлеченіями». Прежде Бѣлинскій восторгался критическими разсужденіями Ретшера, теперь онъ готовъ напасть и на него. Я бросаю абстрактныя сущности, восклицаетъ Бѣлинскій, чтобы говорить о жизни по *факту*, о которомъ идетъ дѣло. Прежній восторженный поклонникъ Гёте, Бѣлинскій начинаетъ теперь чувствовать къ нему нѣчто вродѣ ненависти, «и ей Богу, говоритъ онъ, у меня рука не поднимется противъ Менцеля, хотя сей мужъ и по-прежнему остается въ глазахъ моихъ идіотомъ». Если прежде Бѣлинскій называлъ Шиллера полупоэтомъ, полу-

[1]) *А. Н. Пыпинъ*, „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“, т. II, стр. 78.

художникомъ, то теперь онъ окончательно понялъ свое родство съ нимъ. «Я кость отъ костей его, плоть отъ плоти его. Если что должно и можетъ интересовать меня въ жизни и въ исторіи, такъ это онъ, который созданъ, чтобы быть моимъ богомъ, моимъ кумиромъ, ибо онъ есть высшій и благороднѣйшій мой идеалъ человѣка [1])». Самъ Бѣлинскій удивляется скачкамъ и зигзагамъ своей мысли. Передъ нами весьма любопытный документъ, относящійся къ этому періоду отреченія Бѣлинскаго отъ идеалистической философіи. Въ длинномъ письмѣ къ Боткину отъ 1 марта 1841 г. онъ съ комическою торжественностью даетъ полную отставку Гегелю, осыпая его при этомъ градомъ самыхъ наивныхъ насмѣшекъ [2]). «Я давно уже подозрѣвалъ, пишетъ онъ, что философія Гегеля только моментъ, хотя и великій, но что абсолютность ея результатовъ никуда не годится». Но почему? Только тѣ идеи безплодны, которыя ничего не объясняютъ, а безусловный идеализмъ Гегеля далъ жизнь и притомъ жизнь, могучую духомъ свободы и вѣчнаго развитія—цѣлой философской системѣ, съ ея удивительными обобщеніями въ области логики, эстетики и религіи. «Глупцы врутъ, продолжаетъ Бѣлинскій, говоря что Гегель превратилъ жизнь въ мертвыя схемы. Но это правда, что онъ изъ явленій жизни сдѣлалъ тѣни, сцѣпившіяся костяными руками и пляшущія въ воздухѣ надъ кладбищемъ. Субъектъ у него не самъ по себѣ цѣль, но средство для мгновеннаго выраженія общаго, а это общее является у него по отношенію къ субъекту Молохомъ, ибо, пощеголявъ въ немъ, бросаетъ его, какъ старые штаны». Вотъ два ужасныхъ недостатка системы Гегеля: тѣни съ костяными руками и несамостоятельность субъекта по отношенію къ высшему духовному началу. Но тѣней съ костяными руками въ системѣ Гегеля нѣтъ и быть не можетъ. Это выдумка пылкаго воображенія Бѣлинскаго. А зависимость субъекта отъ мірового, всеобъединяющаго духа—истинная сила этой системы, опредѣлившей верховный законъ, смыслъ и порядокъ въ процессѣ жизни. Именно въ этомъ пунктѣ ученіе Гегеля поднимается надъ заурядnымъ знаніемъ, сливая науку съ религіей, давая твердый отвѣтъ на лучшіе запросы человѣческой души. «Я имѣю особенно важныя причины злиться на Гегеля, говоритъ Бѣлинскій, ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему, мирясь съ расейскою дѣйствительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера. Въ отношеніи къ послѣднему я былъ еще послѣдовательнѣе самого Гегеля, хотя и глупѣе Менцеля». Въ дѣйствительности, однако, Бѣлинскій имѣлъ-бы важныя причины сердиться на самого себя, но вовсе не на Гегеля. Въ дѣлѣ примиренія не только съ россійской, но и со всякой вообще конкретной дѣйствительностью, съ дѣйствительностью не въ гегелевскомъ

[1]) Пыпинъ, стр. 87.

[2]) Ibidem, стр. 105—106.

смыслѣ слова, Гегель рѣшительно не при чемъ. Шиллера Бѣлинскій бичевалъ по внушенію собственныхъ, а не гегелевскихъ убѣжденій, ибо, какъ это хорошо извѣстно и какъ на это указывалъ, между прочимъ, Станкевичъ, Гегель умѣлъ цѣнить высокія достоинства поэтической дѣятельности Шиллера, будучи вполнѣ вѣрнымъ своимъ основнымъ философскимъ понятіямъ. «Всѣ толки Гегеля о нравственности, заявляетъ Бѣлинскій,— вздоръ сущій, ибо въ объективномъ царствѣ мысли нѣтъ нравственности». Конечно, если подъ нравственностью разумѣть непремѣнно безотчетное требованіе нутра, а не стойкіе идеалы разума, то въ системѣ Гегеля нравственности нѣтъ. Если, чтобъ спасти человѣчество отъ безнравственности, нужны ребяческія выдумки диллетантскаго субъективизма, то не подлежитъ сомнѣнію, что человѣчество можетъ быть спасено только усиліями чисто русской философіи. Философія, мыслящая міровое начало, дѣлающая человѣка органомъ воплощенія объективныхъ силъ, философія, созерцающая красоту и правду въ движеніи всеобщаго разума, такая философія должна погубить человѣчество. Спасеніе только въ нутрѣ! «Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай. Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку. Но со всѣмъ, подобающимъ вашему филистерству, уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что если-бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ-бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи». На эти недоумѣнія Бѣлинскаго, изложенныя ради остроумія въ формѣ канцелярскаго донесенія и снабженныя ехиднымъ допросомъ такого компрометантнаго свойства, Гегель, съ снисходительной улыбкой остановивъ раззадорившагося противника, могъ-бы сказать: развитіе требуетъ жертвъ отъ человѣка, тяжелаго подвига самоотреченія, могучей скорби о благѣ людей, безъ котораго нѣтъ никакого индивидуальнаго блага, но философія идеализма не освящаетъ случайныхъ жертвъ, не мирится съ суевѣріями, съ инквизиціей. Въ діалектическомъ процессѣ развитія есть могучее орудіе *отрицанія*, которое выводитъ людей изъ подземелій инквизиціонныхъ казематовъ на вольный воздухъ, на свободу. Случайность есть аномалія и разумно только то, на чемъ лежитъ печать божественной справедливости и мудрости...

Но не догадываясь о возможныхъ возраженіяхъ, Бѣлинскій предалъ проклятію философію Гегеля и пустился искать правды въ зыбкихъ волнахъ субъективнаго реализма.

III.

Легко сказать, что человѣкъ перемѣнилъ свои убѣжденія, но не легко на самомъ дѣлѣ отречься отъ привычнаго, чтобы пристать къ новому. Всѣ журнальныя статьи Бѣлинскаго, помѣщенныя въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1841 г., несмотря на его отреченіе отъ гегелизма въ письмахъ къ друзьямъ, носятъ на себѣ колоритъ тѣхъ вліяній, которыя, во всякомъ случаѣ, заняли такое видное мѣсто въ его литературной дѣятельности. Но при этомъ на сцену выступила прямая натура Бѣлинскаго во всей ея непосредственности, со всѣми ея превосходными качествами. Освободившись отъ удручавшихъ его умъ непосильныхъ задачъ и давъ волю артистическому темпераменту, Бѣлинскій безсознательно для самого себя и, быть можетъ, вѣрнѣе, чѣмъ въ прошедшемъ періодѣ, слѣдовалъ, какъ ученикъ, вѣрный *духу* учителя, за сужденіями гегеліанской школы въ вопросахъ искусства и народности въ литературѣ. Отбросивъ всѣ логическія натяжки, при посредствѣ которыхъ превратныя толкованія глубокихъ теоремъ давали совершенно неожиданные, консервативные выводы, Бѣлинскій въ первый разъ заговорилъ яркимъ и мощнымъ языкомъ настоящаго журнальнаго проповѣдника. Идеализмъ, идущій изъ сердца, смѣлыя уподобленія, мѣткія характеристики и какая-то волнующаяся стихія свѣтлаго гуманнаго чувства,—все это свидѣтельствуетъ о новомъ подъемѣ силъ, достигшихъ своей полной зрѣлости. Это какъ-бы роскошный полдень въ литературной дѣятельности Бѣлинскаго: солнце въ зенитѣ, тѣни разсѣялись, нѣтъ уже прежней напряженности неясныхъ стремленій, реалистическія крайности еще не раздираютъ его идеалистической по своимъ склонностямъ натуры, бодрая, молодая сила легко и непринужденно вскипаетъ чарующимъ восторгомъ. Какъ легко прочитываются эти статьи, съ какимъ удовольствіемъ вы слѣдите за этими вспышками таланта, разсыпающагося разноцвѣтными лучами при каждой встрѣчѣ съ какимъ-нибудь новымъ литературнымъ явленіемъ. Никакихъ консервативныхъ или узко-либеральныхъ предразсудковъ, все несется въ плавномъ теченіи къ высшимъ гуманнымъ началамъ, все озарено лирическимъ вдохновеніемъ. Посмотрите, съ какою искреннею любовью и простотою говоритъ онъ объ искусствѣ, о поэзіи, съ какою силою онъ накидывается на узкій, разсудочный эмпиризмъ, съ какимъ глубокимъ проникновеніемъ пишетъ онъ о разумномъ элементѣ въ жизни человѣческой. Все постичь духомъ, все обнять чувствомъ, все покорить и ничему исключительно не покориться — вотъ жизнь, восклицаетъ Бѣлинскій [1]). Гражданинъ не долженъ уничто-

[1]) Т. IV. «Стихотворенія М. Лермонтова», стр. 258.

жить человѣка, человѣкъ не долженъ оттѣснить гражданина. Крайности фальшивы и ведутъ къ нравственной и умственной ограниченности... Весь міръ, всѣ краски и звуки, всѣ формы существованія могутъ быть предметомъ поэзіи. Но сущность поэзіи—то, что скрывается въ глубинѣ явленій, живитъ ихъ бытіе. «Поэзія — это біеніе пульса міровой жизни, ея кровь, ея огонь, ея свѣтъ и солнце». Поэзія не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя: она сама себѣ цѣль, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дѣйствіи. Ея законъ — красота, которая облагораживаетъ духъ, возвышаетъ характеръ. Поэзія не терпитъ отвлеченныхъ идей въ ихъ безтѣлесной наготѣ: она самыя отвлеченныя понятія воплощаетъ въ живые и прекрасные образы, въ которыхъ мысль играетъ и переливается, какъ свѣтъ въ граненомъ хрусталѣ. Сущность искусства — въ гармоническомъ соединеніи общаго съ индивидуальнымъ, идеи съ формою. Въ искусствѣ форма прежде всего, потому что все въ ней: форма не должна быть внѣшнимъ средствомъ для выраженія идеи, но самою идеею въ чувственномъ проявленіи. Единство идеи и формы такъ велико въ искусствѣ, что ложная идея не можетъ осуществиться въ прекрасной формѣ, а прекрасная форма не можетъ быть выраженіемъ ложной идеи. Искусство свободно, и поэтъ повинуется только своему внутреннему призванію. Съ какою ясностью понялъ это Пушкинъ. Сопоставьте рѣчь толпы съ отвѣтомъ поэта въ знаменитомъ стихотвореніи «Чернь». Толпа говоритъ:

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй,
Сердца собратьевъ исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны,
Мы сердцемъ хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы.
Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки.
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя.

Что можетъ отвѣтить на это поэтъ? Развѣ лира дана ему для забавы? Развѣ дѣятельность его, вдохновленная небомъ, не вноситъ свѣтъ въ душу человѣка, который еще способенъ откликнуться на благородный мотивъ? Если наука просвѣщаетъ, если отвлеченныя понятія философіи раскрываютъ передъ нимъ міръ безконечнаго, дѣлаютъ яснымъ непостижимое, очевиднымъ — неопредѣленное, опредѣленнымъ — неточное, по великолѣпному слову Бѣлинскаго, то какъ-же можетъ остаться безъ вліянія живое воплощеніе этихъ понятій въ осязаемыхъ формахъ искусства? Если наука и философія, не выходя изъ своихъ предѣловъ, не оставляя сво-

его прямаго пути, ведутъ человѣчество къ его высшимъ цѣлямъ, то можетъ-ли остаться безъ благотворнаго воздѣйствія поэзія, это живое изліяніе науки и философіи, эта перечеканка высшихъ идей въ наглядные образы изъ звуковъ, красокъ и словъ, которые будятъ и приводятъ въ движеніе таинственныя силы души. Поэзія свободна — это значитъ, что, не покидая своей собственной задачи, она можетъ и должна отдаваться своимъ вдохновеніямъ. Все, что мыслитъ, все, что чувствуетъ уваженіе къ чужому призванію, все, что ищетъ просвѣтленія, средствъ къ раскрытію своей собственной души, какъ необходимаго условія для всякой разумной дѣятельности, съ восторгомъ ловитъ ея животворящіе звуки, упивается ея напѣвами, прислушивается къ скрытому броженію встревоженныхъ и расшевеленныхъ ею стремленій. Осудитъ поэта только чернь, та наглая и сильная своимъ безстыдствомъ чернь, которая сама поноситъ себя унизительными словами, разнузданно и назойливо приставая къ людямъ настоящаго дѣла съ лицемѣрными требованіями, чтобы они пробудили въ ней высокія желанія, противоположныя всѣмъ ея страстямъ. Эта чернь не могла найти пощады въ произведеніи Пушкина. Отвѣтъ поэта звучитъ, какъ громъ законнаго негодованія, и потрясаетъ до глубины души всякаго, кто понимаетъ трагическое положеніе честнаго человѣка предъ лицомъ невѣжественной и самодовольной толпы:

Подите прочь — какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ **каменѣйте смѣло,**
Не оживитъ васъ лиры гласъ!..

Все это могъ бы сказать Бѣлинскій, если-бы до конца выразилъ свое настроеніе, но онъ этого не сказалъ. Мысль осталась только намѣченной, но не объясненной, не доказанной. Отдаваясь чувству, Бѣлинскій не заботится объ аргументахъ: рѣчь, идущая отъ сердца, проникаетъ въ сердце ласковыми интонаціями, поэтическими образами. Но пушкинскіе стихи говорятъ и сами за себя, и всякое толкованіе можетъ быть только прозаическимъ переложеніемъ его блестящихъ поэтическихъ идей.

Съ такою-же рельефностью, съ какою обрисовались художественные взгляды Бѣлинскаго въ этомъ періодѣ его жизни, выступилъ въ разбираемыхъ статьяхъ и вопросъ о народности вообще и народности въ литературѣ,— вопросъ, глубоко занимавшій его съ первыхъ же шаговъ его критической дѣятельности. Именно теперь онъ получаетъ у него такую простую, такую свѣжую разработку. Не умѣя примѣнять трудныхъ философскихъ теоремъ къ вопросамъ жизни, Бѣлинскій именно теперь, слѣдуя только идеалистическому инстинкту, не запутываясь въ научныхъ соображеніяхъ и доводахъ, развиваетъ предъ нами свой взглядъ на народность съ полною убѣдительностью. Статьи его о Петрѣ Великомъ и о народной русской поэзіи своею стройностью и послѣдовательностью общедоступ-

ныхъ и общепонятныхъ разсужденій должны быть отнесены къ его лучшимъ критическимъ работамъ. Мысль его ни разу не сбивается здѣсь на путь узкаго шовинизма и нигдѣ не теряетъ подъ собою той почвы, на которой должна разрабатываться эта тема. Явившись какъ-бы на перекресткѣ двухъ главныхъ дорогъ, по которымъ направлялась его дѣятельность, статьи эти останутся въ литературѣ самымъ счастливымъ и самымъ зрѣлымъ выраженіемъ прогрессивнѣйшаго момента въ его развитіи. Къ разсужденіямъ Бѣлинскаго о народности нечего прибавить. Въ нихъ все логично, все отлито въ форму положительнаго ученія, которому въ русской литературѣ не было до сихъ поръ противопоставлено ничего столь-же яснаго по содержанію и простотѣ категоричнаго и увѣреннаго изложенія. Какъ это отмѣчено Добролюбовымъ, эти разсужденія Бѣлинскаго сложились подъ сильнымъ вліяніемъ Станкевича, и вотъ доказательство того, что все отреченіе Бѣлинскаго отъ гегелизма не имѣло никакого серьезнаго значенія. Станкевичъ умеръ убѣжденнымъ ученикомъ Гегеля, и, слѣдуя за теоретическими положеніями великаго нѣмецкаго философа, Бѣлинскій пришелъ-бы къ тѣмъ же выводамъ, къ которымъ онъ пришелъ въ это время, отчасти довѣрившись своему инстинкту, отчасти давая сочувственный откликъ на лучшія мнѣнія своихъ друзей... Бѣлинскій вооружается противъ всякаго исключительнаго патріотизма. Обращаясь къ русской исторіи, онъ выбираетъ изъ ея дѣятелей Петра Великаго, чтобы на немъ оправдать свои новыя воззрѣнія. Мы любимъ въ Петрѣ, говоритъ онъ, не то, что должно или можетъ принадлежать только русскому человѣку, но то вообще, что можетъ и должно принадлежать всякому человѣку,—«не по праву народному, а по праву природы человѣческой» [1]). Исторія есть фактическое, жизненное развитіе абсолютной идеи въ формѣ политическихъ обществъ [2]). Общее есть источникъ и причина существованія всего индивидуальнаго и частнаго. Будучи источникомъ всего видимаго, конечнаго и преходящаго, абсолютная идея служитъ вѣчнымъ началомъ всякаго движенія, всякаго развитія. Что такое общечеловѣческое? Это то, что составляетъ интересъ всѣхъ и каждаго, то, что всѣхъ волнуетъ, во всякомъ человѣкѣ находитъ отзывъ, то, что служитъ невидимымъ рычагомъ для дѣятельности всѣхъ людей. Заговорите съ безграмотнымъ человѣкомъ о Петрѣ Великомъ, о Наполеонѣ, и онъ будетъ васъ слушать съ великимъ участіемъ. Что ему Гекуба? «Общее, общее, отвѣчаю я вамъ. Въ чемъ-бы ни проявилось оно — въ исполинской-ли мысли Петра преобразовать народъ, въ исполинской-ли мысли Наполеона дать законъ всему міру, въ исполинской-ли художественной дѣятельности Шекспира, въ ужасающемъ-ли патріотическомъ фанатизмѣ

[1]) T. IV, стр. 327.
[2]) Ibidem, стр. 331.

Брута, въ религіозномъ-ли рвеніи Іоанна Гусса, и какъ-бы ни кончилось оно — полной-ли побѣдой и полнымъ оправданіемъ при жизни, островомъ-ли Св. Елены, костромъ-ли — оно общее, всѣмъ равно принадлежащее, и потому каждый и знаетъ о немъ, какъ о своихъ собственныхъ нуждахъ...» [1]). Духъ Божій носится надъ событіями исторіи, проявляясь съ могучею яркостью въ людяхъ, стоящихъ выше толпы. Вотъ почему ихъ знаютъ всѣ. Вотъ почему имъ всѣ поклоняются. Въ нихъ узнаешь самого себя въ увеличенномъ видѣ. Въ нихъ достигло высшаго развитія то, что въ насъ дремлетъ или слабо шевелится подъ гнетомъ житейскихъ пристрастій и интересовъ... Идея народности въ искусствѣ вытекаетъ прямо изъ того, что сказано выше. Національность въ художественномъ произведеніи не есть заслуга, а только необходимая принадлежность творчества, и чѣмъ выше произведеніе въ литературномъ отношеніи, тѣмъ оно національнѣе. Если произведеніе художественно, оно само собою и будетъ національно. Въ противномъ случаѣ оно будетъ аллегоріей, холоднымъ призракомъ, произведеніемъ, въ которомъ общее не воплотилось органически въ частномъ. Національность лежитъ въ сущности творчества. Она выражается непроизвольно, она есть неизбѣжный колоритъ именно въ созданіяхъ великихъ литературныхъ талантовъ, въ картинахъ съ широкимъ міровымъ содержаніемъ, потому что она есть неотъемлемая особенность каждой души, творящей художественное произведеніе.

Однако въ этомъ уравновѣшенномъ состояніи взгляды Бѣлинскаго оставались недолго. Идеалистическія сужденія объ искусствѣ, исходившія изъ глубины артистической натуры, и сужденія о народности, проникнутыя тонкимъ, яснымъ и гуманнымъ настроеніемъ, приняли въ слѣдующіе годы (1842—1843) болѣе сбивчивый характеръ, потерявъ тотъ отпечатокъ свободной непринужденности и цѣльности, который выдѣляетъ статьи только что разобраннаго періода изъ другихъ работъ Бѣлинскаго. Солнце стало склоняться къ закату. Эстетическія понятія Бѣлинскаго стали раздваиваться, противорѣчить другъ другу. Размышленія о дѣйствительности все болѣе и болѣе окрашиваются реалистическимъ цвѣтомъ, незамѣтно уступая мѣсто разсужденіямъ объ эмпирической современности. Цѣлыхъ два тома (VI и VII) сочиненій Бѣлинскаго представляютъ собою настоящій хаосъ неясныхъ и противорѣчивыхъ положеній, посреди которыхъ только моментами прорывается эстетическая правда, какъ выраженіе неослабѣвающаго вкуса и тонкаго чутья къ произведеніямъ настоящаго искусства. Какихъ-нибудь новыхъ широкихъ разсужденій на отвлеченныя темы мы уже не встрѣчаемъ въ статьяхъ этого періода: это все тѣ же мысли Бѣлинскаго о различныхъ моментахъ въ развитіи русской литературы, о Ломоносовѣ, Державинѣ, Жуковскомъ, Пушкинѣ, о Петрѣ Великомъ, но только

[1]) Т. V. «Древнія россійскія стихотворенія», стр. 47.

не объединенныя никакимъ философскимъ критеріемъ, скрывающія подъ собою начинающійся разладъ понятій, какую-то сбивчивость въ отношеніи къ собственной критической задачѣ. Мы не находимъ въ этихъ двухъ томахъ того подъема увѣреннаго эстетическаго убѣжденія, который бросается въ глаза въ предыдущихъ статьяхъ. Бѣлинскій повторяетъ на тысячу ладовъ одну и ту же мысль, пускаетъ въ ходъ, точно типографскія клише, давно сложившіяся, уже ранѣе выраженныя имъ характеристики русскихъ литературныхъ дѣятелей, сочиняетъ длинныя предисловія къ разбору ординарныхъ явленій текущей словесности и, потерявъ твердую опору въ опредѣленномъ взглядѣ на вещи, запутывается въ многочисленныхъ противорѣчіяхъ, все чаще и чаще сбиваясь на путь узкаго и притомъ логически необоснованнаго реализма. Можетъ быть, этотъ переходный періодъ былъ самымъ блѣднымъ моментомъ въ дѣятельности Бѣлинскаго. Созданный для всепоглощающихъ увлеченій, оригинальный и сильный только въ яркихъ проявленіяхъ своего таланта, Бѣлинскій не могъ внести своего темперамента въ эти колебанія и противорѣчія, въ эти постоянные переходы отъ идеализма къ реализму, въ эти монотонныя, удручительныя оговорки о значеніи современности въ дѣлѣ литературнаго творчества. Впечатлѣніе читателя постоянно разбивается между противорѣчащими пріемами агитаціи. Авторъ, очевидно, падаетъ подъ бременемъ собственныхъ сомнѣній, въ поискахъ за новымъ критеріемъ, за новой точкой зрѣнія на задачу творчества. Еще нѣсколько моментовъ, и онъ приподнимется, смѣло и увѣренно ударитъ критическимъ бичемъ, но увы! это будетъ послѣдней роковой ошибкой этой страстной, рвущейся къ крайностямъ натуры, ошибкой, которой суждено будетъ имѣть самое гибельное вліяніе на дальнѣйшій ходъ русской критики.

Вотъ что мы, между прочимъ, читаемъ въ статьѣ Бѣлинскаго по поводу рѣчи проф. Никитенко, произнесенной въ спб. университетѣ въ 1842 году. Говоря о взаимоотношеніи природы и искусства, Бѣлинскій выражаетъ слѣдующія мысли въ духѣ чистѣйшаго идеализма. Природа есть нѣчто мертвое, не существующее само для себя и только духъ человѣческій знаетъ, что она есть, что она полна жизни и красоты, что въ ней скрыта глубокая мудрость. Правда, каждое произведеніе природы, на какой-бы ступени оно ни стояло, совершенно въ своихъ собственныхъ предѣлахъ, тогда какъ произведенія искусства, часто самыя совершенныя, заключаютъ въ себѣ примѣсь чего-то временнаго и случайнаго. Но это не значитъ, что искусство ниже природы. Напротивъ того, это значитъ, что оно выше природы, что оно развивается свободно и что ошибки, въ немъ неизбѣжныя, проистекаютъ не изъ творящаго духа художника, а изъ тѣхъ вліяній времени, подъ которыми онъ дѣйствовалъ. То, что мы отвергаемъ въ произведеніяхъ искусства, мы отвергаемъ не какъ его

ошибку, а какъ начало, утратившее силу при данной степени эстетическаго развитія. Сознательное творчество всегда выше безсознательнаго, и простая копія съ природы, даже при самой лучшей поддѣлкѣ, никогда насъ не удовлетворяетъ. Намъ мало красоты эмпирической дѣйствительности: духъ нашъ требуетъ другой, болѣе высокой красоты [1]). Въ другомъ мѣстѣ Бѣлинскій выдвигаетъ въ литературной критикѣ эстетическій элементъ передъ всѣми другими. Опредѣленіе степени эстетическаго достоинства произведенія, пишетъ онъ, должно быть первымъ дѣломъ критики. Когда произведеніе не выдерживаетъ эстетическаго разбора, оно не стоитъ исторической критики. Если произведеніе искусства не ознаменовано печатью творчества и свободнаго вдохновенія, оно не можетъ имѣть никакой цѣнности, и самая жизненность разрабатываемыхъ въ немъ интересовъ, будучи выражена насильственно, въ чуждой ей формѣ, безмысленна и нелѣпа. Эмпирики, не признающіе эстетики, говоритъ онъ въ статьѣ о сочиненіяхъ Державина, лишаютъ искусство его высокаго значенія. «Не признавая содержаніемъ искусства той же вѣчной, въ свободной необходимости діалектически развивающейся идеи, которая составляетъ содержаніе и исторіи, и философіи, эмпирики низводятъ творческія произведенія на степень предметовъ, имѣющихъ цѣлью пріятно развлекать скуку и развлекать праздное бездѣйствіе, а это значитъ ставить ихъ въ одинъ разрядъ съ изящно сдѣланной мебелью и тѣми красивыми бездѣлками, которыми люди и прихоть украшаютъ въ комнатахъ камины, столы и этажерки» [2]). Все это есть повтореніе или развитіе того, что излагалось Бѣлинскимъ въ прежнихъ томахъ его сочиненій. Но рядомъ съ этими идеалистическими взглядами, въ тѣхъ же статьяхъ его, мы теперь постоянно встрѣчаемся съ разсужденіями другого типа. Слово идеализмъ начинаетъ попадаться у него въ самыхъ различныхъ освѣщеніяхъ. Мечтательность, романтика чувствъ, произвольное отвлеченное резонерство, сентиментальность празднаго воображенія—все это побивается подъ названіемъ идеализма! Поэтъ не можетъ жить въ мечтательномъ мірѣ, говоритъ Бѣлинскій, онъ гражданинъ царства современной ему дѣйствительности, и чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ сильнѣе въ немъ выражается стремленіе той дѣйствительности, въ которой онъ живетъ. Придавая слову идеализмъ комическіе оттѣнки, Бѣлинскій легко побѣждаетъ его въ различныхъ формахъ его воображаемаго проявленія. У идеалистическихъ поэтовъ нѣтъ движенія, нѣтъ развитія въ порядкѣ *хронологической постепенности*, ибо какимъ образомъ можетъ двигаться и развиваться поэтъ, который «барабанитъ своими гладкими и звучными стихами вѣчно одно и то же», описывая студентскія попойки, звонъ рю-

[1]) Т. VI. «Рѣчь о критикѣ», стр. 206.

[2]) Т. VII. «Сочиненія Державина», стр. 66.

мокъ, хлопанье пробокъ, дѣву-красоту? Мертвый для живыхъ интересовъ, такой поэтъ можетъ воспѣвать только рейнвейнъ или малагу. Прошли, говоритъ Бѣлинскій, тѣ времена, когда чувство и фантазія давали отвѣты человѣку на всѣ его вопросы и когда «отвлеченная идеальность составляла блаженство его жизни». Міръ возмужалъ. Ему нужно не воображеніе, а микроскопъ и телескопъ разума. «Дѣйствительность — вотъ лозунгъ и послѣднее слово современнаго міра! Дѣйствительность въ фактахъ, въ знаніяхъ, въ убѣжденіяхъ чувствъ, въ заключеніяхъ ума—во всемъ и вездѣ дѣйствительность есть первое и послѣднее слово нашего вѣка». Представивъ въ такомъ странномъ видѣ нѣкоторые мотивы лирической поэзіи, Бѣлинскій доходитъ до того, что все смѣшное, незрѣлое, ребяческое отводитъ во владѣніе стихотворнаго искусства, а все серьезное и значительное, хотя-бы и въ стихотворной формѣ, именуетъ *прозой*. Стихи бываютъ и въ прозѣ, какъ проза бываетъ въ стихахъ, говоритъ онъ. «Русланъ и Людмила», «Кавказскій плѣнникъ», «Бахчисарайскій фонтанъ»—настоящіе стихи! «Онѣгинъ», «Цыгане», «Борисъ Годуновъ» — переходъ къ прозѣ. А такія поэмы, какъ «Сальери и Моцартъ», «Скупой рыцарь», «Каменный гость»—чистая, безпримѣсная проза, «гдѣ уже совсѣмъ нѣтъ стиховъ, хотя эти поэмы писаны и стихами»! Подъ *прозою* Бѣлинскій разумѣетъ богатство внутренняго содержанія, мужественную зрѣлость мысли, силу чувства, сосредоточенную въ самой себѣ, «вѣрный тактъ дѣйствительности», подъ стихами же—«неземную дѣву, идеальную любовь, дѣтское порываніе къ высокому и прекрасному, въ которыхъ нѣтъ никакого содержанія»... [1]).

Вотъ въ какихъ неожиданныхъ сочетаніяхъ являются передъ нами критическія сужденія Бѣлинскаго въ этотъ періодъ разлада, умственнаго шатанія, неяснаго броженія какихъ-то новыхъ чувствъ и стремленій. Идеализмъ то выступаетъ въ прежнихъ увѣренныхъ выраженіяхъ, то смѣшивается съ первопопавшейся психологической нелѣпостью. Эти крайне неудачныя, наивныя по формѣ, иногда вульгарныя по содержанію выходки противъ воображаемаго идеализма несомнѣнно свидѣтельствуютъ о томъ, что реализмъ, какъ понятіе объ утилитарномъ назначеніи искусства, заглушалъ въ немъ прежнее представленіе объ искусствѣ, какъ о воплощеніи безусловной идеи въ конкретныхъ образахъ, какъ о творчествѣ, сливающемъ содержаніе съ формою и заключающемъ въ себѣ самомъ свою задачу и свою цѣль. Къ какому-бы явленію литературы онъ ни подходилъ, онъ на все проливаетъ какъ-бы двойной свѣтъ: то прорвется идеалистическая фраза въ прежнемъ стилѣ, то заиграетъ остроуміе, шутливо побивающее дѣву, луну, птичье пѣніе—въ назиданіе мечтателямъ, носителямъ идеализма въ удушливой обстановкѣ русской дѣйствительности! Чѣмъ дальше, тѣмъ

[1]) Т. VII. «Русская литература въ 1842 г.», стр. 25—26.

болѣе мы встрѣчаемъ въ статьяхъ Бѣлинскаго и этого сатирическаго тона, къ несчастію, наигрывающаго на пустыхъ и банальныхъ словахъ, и разныхъ патетическихъ восклицаній въ духѣ того реализма, который окончательно расцвѣтаетъ въ статьяхъ Добролюбова, въ сочиненіяхъ Писарева и многочисленныхъ его продолжателей. Сужденія Бѣлинскаго о представителяхъ русской поэзіи пріобрѣтаютъ болѣе узкій характеръ и вмѣстѣ съ тѣмъ лишаются той смѣлости и увѣренности, которая поражала въ произведеніяхъ перваго періода его литературной дѣятельности. Одно только можно отмѣтить, какъ явленіе прогрессивнаго характера въ статьяхъ разсматриваемаго времени. Слѣдуя природному такту, Бѣлинскій съ благородной откровенностью измѣняетъ свой прежній взглядъ на женщину вообще и женщину-писательницу въ частности. «Пора намъ оставить мусульманскій взглядъ на женщину, пишетъ онъ. Мнѣніе, что женщина годна только рождать и нянчить дѣтей, варить мужу щи и кашу, или плясать и сплетничать—это истинно киргизъ-кайсацкое мнѣніе! Женщина имѣетъ равныя права и равное участіе съ мужчиною въ дарахъ высшей, духовной жизни, и если она во всѣхъ отношеніяхъ стоитъ ниже его на лѣстницѣ нравственнаго развитія, этому причиною не ея натура, а злоупотребленіе грубой, матеріальной силы мужчины, полуварварское, немного восточное устройство общества». Прежній гонитель женщины-писательницы, яростный врагъ Жоржъ-Зандъ, Бѣлинскій теперь въ горячихъ словахъ заступается и за талантъ Жоржъ-Зандъ, возводимый имъ на степень геніальнаго, и за женщину-писательницу вообще. Вотъ что между прочимъ говоритъ онъ по поводу г-жи Ганъ. Общественное мнѣніе осуждаетъ женщинъ на самыя невинныя литературныя занятія. Ей не воспрещается по закону быть оригинальною, глубокою въ мысляхъ, великою въ творчествѣ, но общество всегда противъ нея, придирается къ ней, объявляетъ ее безнравственною, безпутною, вопіетъ о томъ, что она вышла изъ предначертанной ей сферы, изъ круга своихъ обязанностей, «чтобъ упоить свои разнузданныя страсти и насладиться шумною и позорною извѣстностью»...[1]). Нельзя было съ большею силою осудить предъ лицомъ всей Россіи свои собственныя мнѣнія объ этомъ простомъ и ясномъ человѣческомъ вопросѣ.

IV.

Мы прослѣдимъ теперь главныя сужденія Бѣлинскаго о лучшихъ представителяхъ русской поэтической литературы и покажемъ при этомъ тѣ ошибки, въ которыя онъ впалъ въ послѣднемъ періодѣ его критической дѣятельности подъ вліяніемъ своихъ новыхъ реалистическихъ тенденцій. Устранивъ по возможности вопросъ о многочисленныхъ бьющихъ въ

[1]) Т. V. «Соч. Зенеиды Р—вой», стр. 152—153.

глаза противорѣчіяхъ въ разсужденіяхъ о Пушкинѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ и друг. въ сравненіи съ тѣмъ, что развивалось на эту тему въ двухъ первыхъ періодахъ, мы обратимъ исключительное вниманіе только на реалистическій элементъ, господствующій въ послѣднихъ томахъ сочиненій Бѣлинскаго. Если-бы реалистическій взглядъ на искусство былъ движеніемъ впередъ въ его умственномъ развитіи, Бѣлинскій, при его громадномъ критическомъ талантѣ, оставилъ-бы намъ рядъ характеристикъ, исчерпывающихъ предметъ его изслѣдованія, рядъ положеній, которыя должны были бы лечь въ основу нашего пониманія гигантовъ русской литературы. Если реализмъ есть всеохватывающая философская и эстетическая система, Бѣлинскій не могъ бы сдѣлать ошибки въ важномъ вопросѣ о пушкинской поэзіи, о характерѣ литературной дѣятельности Гоголя. Чтобы сдѣлаться первымъ русскимъ критикомъ и указать дорогу и русскому творчеству, и русскому сужденію о созданіяхъ національнаго таланта, надо было раскрыть внутреннія основы народной жизни и показать, въ какой мѣрѣ и съ какою силою онѣ отразились въ лучшихъ произведеніяхъ литературы. Такъ могла создаться опредѣленная критическая школа. Именно этимъ способомъ можно было внести сознательную мысль въ творческую работу русскихъ писателей и направить сознаніе общества по опредѣленному пути. Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ были непосредственнымъ выраженіемъ національной стихіи, еще не видоизмѣненной сложными историческими вліяніями, и потому критическія сужденія Бѣлинскаго объ этихъ художникахъ имѣютъ такое важное значеніе при оцѣнкѣ его собственной литературной дѣятельности. Вопросъ о Пушкинѣ былъ первенствующимъ вопросомъ во времена Бѣлинскаго и остался такимъ до сихъ поръ. Каждая литературная эпоха обозначитъ свое направленіе отношеніемъ къ этому имени. Это центръ, къ которому стремятся всѣ радіусы русской жизни, и пока не измѣнится природа русскаго человѣка, до тѣхъ поръ Пушкинъ будетъ служить мѣриломъ въ вопросахъ національнаго искусства, изящества и красоты. Все, что дѣлалось въ русской литературѣ со времени Пушкина вплоть до нашихъ дней, имѣетъ органическую связь съ его произведеніями, въ которыхъ народный геній проявился въ такой классической полнотѣ выраженій, съ такою нераздѣльною цѣльностью содержанія и формы по высшему закону поэтическаго творчества. Философскій анализъ можетъ отдѣлить внутреннюю идею пушкинскихъ твореній, чтобы разсмотрѣть ее въ связи съ высшими идеями красоты и морали, но та критика будетъ неполна, суха и односторонняя, которая не вернетъ содержанію его удивительной формы, которая не обоймѣтъ со всѣхъ сторонъ созданій великаго таланта и не покажетъ ихъ въ свѣтѣ чисто художественной оцѣнки. Этого писателя нельзя изучать подъ однимъ какимъ нибудь условнымъ угломъ зрѣнія. Въ немъ, какъ въ полномъ откровеніи русскаго духа,—всѣ порывы и стремленія русской литературы. Ошибка

въ оцѣнкѣ Пушкина должна была отразиться на ходѣ русской мысли и русской культуры, и еще не ослабнувшее вліяніе идей Писарева, утилитарные взгляды на искусство, идущіе отъ Чернышевскаго, служатъ тому блестящимъ доказательствомъ. Бѣлинскій именно въ оцѣнкѣ пушкинскихъ произведеній показалъ всю шаткость реалистическаго критерія, и этимъ длиннымъ разборомъ, наполнившимъ собою почти весь VIII томъ его сочиненій, положилъ основаніе недоразумѣнію, имѣвшему гибельное вліяніе на отношеніе къ Пушкину послѣдующихъ поколѣній.

Бѣлинскій отыскиваетъ *пафосъ* въ произведеніяхъ великаго поэта и находитъ его только въ ихъ художественности, поэтической красотѣ, великолѣпіи красокъ и образовъ. Пушкинъ—великій художникъ, но не великій мыслитель, думаетъ Бѣлинскій. Онъ былъ поэтомъ своего времени, своей эпохи, но это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другою, у которой свои стремленія и свои потребности. Если весь пафосъ Пушкина въ его художественномъ талантѣ, а не въ глубинѣ его воззрѣнія на *жизнь*, не въ полетѣ его умственныхъ идеаловъ, то ясно само собою, что безусловно великимъ поэтомъ онъ признанъ быть не можетъ. Пушкинъ одною стороною принадлежитъ настоящему и будущему, а другою, большею и значительнѣйшею стороною своего творчества, онъ удовлетворилъ только *своему* настоящему, которое онъ вполнѣ выразилъ, но которое для насъ—прошедшее. Новое поколѣніе, развившееся на почвѣ новой общественности, знающее поэзію Гоголя и Лермонтова, цѣня талантъ Пушкина, должно судить о немъ безпристрастно и спокойно. Общество движется, идетъ постоянно впередъ. Въ Россіи все растетъ не по годамъ, а *по* часамъ, и каждый новый день, каждый новый фактъ въ жизни русскаго общества должны измѣнять воззрѣнія на Пушкина [1]). Если-бы теперь въ Россіи появился поэтъ, который былъ-бы неизмѣримо выше Пушкина, его появленіе не могло-бы надѣлать столько шума, возбудить такой общій, такой страшный энтузіазмъ, потому что послѣ Пушкина—поэзія не невиданная, не неслыханная вещь. Теперь имѣлъ-бы очень слабый успѣхъ тотъ, кто, даже превосходя Пушкина силою таланта, былъ-бы подобно ему преимущественно художникомъ [2]). Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства страстнаго увлеченія жизнью, могучею мыслью. Пушкинъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ. Самая грусть его свѣтла и прозрачна. Художественная дѣятельность Пушкина вся заключается по преимуществу въ поэтическомъ созерцаніи міра,—въ ней нѣтъ рефлексіи. «Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни, но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ, какъ-бы призна-

[1]) Т. VIII. «Сочиненія А. Пушкина, стр. 92.

[2]) Ibidem, стр. 365.

вая ихъ роковую неизбѣжность и не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности [1])», говоритъ Бѣлинскій. Этотъ взглядъ вытекалъ у него изъ натуры, и ему онъ обязанъ изящною слейностью, кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзіи. Въ этомъ взглядѣ и главный недостатокъ его творчества. По своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, пора которой уже совершенно миновала въ Европѣ и «которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта». Духъ анализа, неукротимое стремленіе къ вѣчному изслѣдованію, страстное, полное вражды и любви мышленіе составляютъ теперь настоящую жизнь поэзіи, и вотъ въ чемъ исторія опередила Пушкина, лишивъ большую часть его произведеній того животрепещущаго интереса, который могутъ возбудить только произведенія, бросающія яркій свѣтъ на тревожныя, болѣзненныя стремленія современности. Каждый умный человѣкъ вправѣ требовать, чтобы искусство занималось текущей жизнью, чтобы оно мудро разрѣшало задачу даннаго момента. Вотъ почему Пушкина можно признать великимъ только тамъ, гдѣ онъ просто воплощаетъ въ живыя, прекрасныя формы свои поэтическія созерцанія, но не тамъ, гдѣ онъ хочетъ быть мыслителемъ и *рѣшителемъ вопросовъ* [2]). Наше время преклонитъ колѣни только предъ такимъ художникомъ, котораго жизнь—лучшій комментарій его произведеній, а творенія—лучшее оправданіе его жизни. Гёте, конечно, не пошлый торгашъ идеями, чувствами и поэзіею, но «практическій и историческій индиферентизмъ» не далъ-бы ему сдѣлаться властителемъ думъ нашего поколѣнія. Личность Пушкина высока и благородна, но его взглядъ на художественное служеніе и *недостатокъ современнаго европейскаго образованія* вызвали охлажденіе къ нему русскаго общества. Россія вправѣ была требовать, чтобы въ произведеніяхъ Пушкина было разработано болѣе нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, чѣмъ онъ это сдѣлалъ. Но Пушкинъ не могъ пойти по иному пути. Слѣдуя своему темпераменту, онъ не измѣнялъ направленію, отъ котораго выигрывало искусство, но мало пріобрѣтало общество [3]). Въ стихотвореніи «Чернь» заключается художественное profession de foi Пушкина. Онъ презираетъ чернь, говоритъ теперь Бѣлинскій, и на ея призывъ исправлять ее звуками лиры, отвѣчаетъ словами, полными энергическаго негодованія. Пушкинъ навсегда затворился въ гордомъ величіи непонятаго и оскорбленнаго художника... Таковы общія соображенія Бѣлинскаго о поэзіи Пушкина: ея преобладающій пафосъ заключается въ художественности, а все, что проникнуто отчаяніемъ, тоскою, безъисходною грустью, Бѣлинскій считаетъ противорѣчіемъ существу пушкинской поэзіи. Въ этихъ разсужденіяхъ кроются громадныя ошибки. Признать

[1]) Т. VIII, стр. 397.
[2]) Ibidem, стр. 399.
[3]) Ibidem, стр. 400.

Пушкина только художникомъ въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ употребляетъ это слово въ настоящихъ своихъ разсужденіяхъ Бѣлинскій, забывъ все то, что имъ было сказано на эту тему раньше — значило унизить истинное достоинство этого могучаго русскаго таланта. Въ произведеніяхъ Пушкина великія, глубокія идеи живутъ и движутся въ оболочкѣ геніальныхъ образовъ, въ яркихъ художественныхъ воплощеніяхъ, нераздѣльно сливаясь съ словами и выступая передъ читателемъ какими-то совершенными произведеніями природы — и потому нельзя не считать страннымъ заблужденіемъ слова Бѣлинскаго, что поэтъ, подобный Пушкину по степени таланта, не могъ-бы уже имѣть успѣха въ Россіи въ послѣдующія времена. Что именно въ произведеніяхъ Пушкина должно считаться пережитымъ? Какіе взгляды Пушкина, выраженные въ поэтической формѣ, дали критику право говорить объ отсталости поэта по отношенію къ современному европейскому образованію? Если-бы, кромѣ поэтическихъ произведеній, Пушкинъ не оставилъ ничего другого, ни одной строки, написанной на тему текущихъ интересовъ, можно-ли было-бы и тогда подвергнуть сомнѣнію вопросъ о степени культурности и просвѣщенности Пушкина? Надо было увлечься до полнаго умственнаго ослѣпленія, чтобы, не обладая самому европейскимъ образованіемъ, знаніемъ иностранныхъ литературъ, начитанностью въ вопросахъ эстетическихъ и философскихъ, обвинить въ умственной отсталости Пушкина. Въ эпоху Пушкина не было человѣка, равнаго ему по ширинѣ духовныхъ интересовъ, по полнотѣ литературнаго и научнаго просвѣщенія, и только богатство разнообразныхъ знаній, высокій талантъ мыслителя, острый и свѣтлый критическій умъ, проникавшій до глубочайшихъ источниковъ всего, на что упадало его вниманіе, могли сдѣлать его величайшимъ представителемъ русскаго искусства. Бѣлинскій взглянулъ на Пушкина съ узкой и ложной точки зрѣнія. Восторгаться поэтическими описаніями Пушкина, на тысячу ладовъ изображать красоту его стиха, изливаться лирическими тирадами по поводу отдѣльныхъ художественныхъ эпитетовъ—не значитъ оцѣнивать такого писателя, какъ Пушкинъ. Въ Пушкинѣ надо было открыть основныя качества русской народности: духъ силы и молодого удальства, широкій размахъ души, не знающей мѣры ни въ горѣ, ни въ радости, съ одной стороны,—тихую грусть и тоску глубоко спрятаннаго религіознаго чувства, какъ выраженіе высшихъ духовныхъ стремленій, съ другой стороны, и затѣмъ—только показать, какъ эти качества національнаго темперамента, какъ этотъ широкій и всеобъемлющій пафосъ воплотились въ его художественныхъ произведеніяхъ. Стоя на этой почвѣ, можно было развернуть весь тотъ безконечно разнообразный матеріалъ идей и чувствъ, который, какъ волшебная панорама, движется передъ глазами, увлекая воображеніе читателя. Только стоя на этой почвѣ, можно было опре-

дѣлить мѣсто Пушкина въ ряду лучшихъ европейскихъ писателей, которымъ онъ равенъ по самобытной красотѣ и силѣ выраженія поэтическихъ идей, имѣющихъ всемірное значеніе. Только такая критика имѣетъ смыслъ по отношенію къ Пушкину. Только такая критика могла-бы проникнуть въ эту великую душу, чрезъ которую, какъ черезъ всякую великую душу, пронеслись умственныя и нравственныя вѣянія не одного, а многихъ вѣковъ. Бѣлинскій черезъ-чуръ сузилъ свою задачу. Онъ предпосылаетъ своимъ разсужденіямъ о Пушкинѣ историческій обзоръ произведеній Державина, Жуковскаго и Батюшкова, и въ нихъ находитъ всѣ необходимые подготовительные матеріалы для полной оцѣнки пушкинскаго таланта. Этимъ узкимъ путемъ, при новомъ и гибельномъ переворотѣ въ міросозерцаніи, Бѣлинскій долженъ былъ придти къ ряду ошибочныхъ заключеній, которыя стоило только поднять, довести до крайнихъ выраженій, облечь въ болѣе рѣзкія формы, чтобы окончательно загнать русскую критику въ самую тѣсную, мертвящую рамку. Бѣлинскій не предвидѣлъ, что его похвалы художественному таланту Пушкина могутъ быть осмѣяны людьми, которые слѣпо повѣрятъ его словамъ объ умственной ограниченности Пушкина. Въ наивномъ увлеченіи чисто-художественнымъ паѳосомъ въ твореніяхъ Пушкина, Бѣлинскій, незамѣтно для самого себя, разрушаетъ цѣльный образъ великаго поэта. А Пушкинъ, по выраженію Гоголя, есть чрезвычайное, въ своемъ родѣ, единственное явленіе русскаго духа. Съ такою полнотою изящества, съ такимъ совершенствомъ поэтической граціи, съ такимъ богатствомъ духовныхъ настроеній русскій національный геній никогда болѣе не проявлялся. Такія явленія возможны только на зарѣ народной жизни, на разсвѣтѣ умственной исторіи страны, когда творчество полно непосредственности, когда всѣ понятія и образы дышатъ свѣжестью весенняго утра, когда всякое впечатлѣніе переживается со всею энергіею молодой души.

Разбирая произведенія Пушкина, подчеркивая ихъ артистическій паѳосъ, Бѣлинскій нигдѣ не производитъ настоящаго критическаго анализа. О его лирическихъ стихотвореніяхъ,—пробномъ камнѣ, на которомъ, по словамъ Гоголя, можно испытать вкусъ и чувство человѣка. онъ не говоритъ ничего по существу и не пишетъ ничего новаго по сравненію съ тѣмъ, что высказано на эту тему въ замѣчательной статьѣ Гоголя «Нѣсколько словъ о Пушкинѣ». Разборъ поэмъ «Кавказскій плѣнникъ», «Цыгане», «Бахчисарайскій фонтанъ», сверкая восторженными замѣчаніями относительно художественныхъ достоинствъ отдѣльныхъ описаній и поэтическихъ характеристикъ, повсюду какъ-бы разрѣзывается на двѣ половины оговорками о томъ, что умственный талантъ Пушкина гораздо ниже его внѣшняго артистическаго дарованія. Центральный пунктъ въ творчествѣ Пушкина остался безъ надлежащаго освѣщенія: критическій разборъ «Евгенія Онѣгина» страдаетъ

многочисленными недостатками, сбивается мѣстами на педантическое резонерство съ точки зрѣнія современной Бѣлинскому дѣйствительности. Сказавъ, что въ «Онѣгинѣ» мы имѣемъ поэтически воспроизведенную картину русской жизни, взятой въ одномъ изъ интереснѣйшихъ моментовъ ея развитія, что это въ высшей степени оригинальное и національно-русское произведеніе, Бѣлинскій тутъ-же съ большою категоричностью замѣчаетъ: это романъ своего времени, отъ котораго мы уже далеки, идеалы и мотивы котораго уже намъ совершенно чужды. Всѣ недостатки «Онѣгина» суть и его величайшія достоинства. Эти недостатки можно выразить однимъ словомъ: старо. Но развѣ вина поэта, что въ Россіи все движется такъ быстро? Но развѣ не великая заслуга со стороны поэта то, что онъ сумѣлъ схватить и вѣрно изобразить дѣствительность извѣстнаго мгновенія въ жизни русскаго общества? Если-бы въ «Онѣгинѣ» ничто не казалось намъ устарѣвшимъ и отсталымъ, это было-бы вѣрнымъ признакомъ, что въ этой поэмѣ нѣтъ жизни, что въ ней изображено не дѣйствительное, а фантастическое общество [1]). Оговорившись такимъ образомъ относительно этого произведенія Пушкина, Бѣлинскій приступаетъ къ характеристикѣ его двухъ главныхъ героевъ: Онѣгина и Татьяны. Что такое Онѣгинъ? Онѣгинъ—эгоистъ по-неволѣ, въ силу обстоятельствъ. Въ немъ нѣтъ ничего мечтательнаго, фантастическаго, и онъ могъ-бы быть счастливъ только въ дѣйствительности и черезъ дѣйствительность. Но почему онъ не достигъ никакого счастья? Развѣ онъ не былъ способенъ къ благотворной, полезной дѣятельности? Зачѣмъ не предался ей Онѣгинъ? Зачѣмъ не искалъ онъ въ ней удовлетворенія своимъ потребностямъ—жить и дѣйствовать? «Зачѣмъ? Зачѣмъ? Затѣмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дѣльнымъ отвѣчать...» [2]). Татьяна... О Татьянѣ Бѣлинскій написалъ довольно много страницъ, но смѣло можно сказать, что онъ не понялъ Татьяны, этой истинно-русской дѣвушки, которая навѣки останется въ галлереѣ женскихъ образовъ, созданныхъ великими художниками слова. Татьяна—безсмертный типъ, и Пушкинъ, въ изображеніи Татьяны, обнаружилъ такое поэтическое ясновидѣніе, которое дѣлаетъ его выразителемъ лучшихъ идеаловъ русской народной души. Образъ Татьяны весь вылитъ изъ одного куска. Всѣ мельчайшія движенія ея сердца, ея романъ съ Онѣгинымъ дышатъ упоеніемъ національной красоты, слагаются въ одно органическое цѣлое, въ которомъ нѣтъ ничего лишняго, искусственнаго, напряженнаго. Пушкинъ не сдѣлалъ ни малѣйшаго промаха въ обрисовкѣ ея внутренней жизни, проникнутой высшимъ нравственнымъ пафосомъ. Это—русская женщина въ идеальномъ образѣ, ви-

[1]) Т. VIII, стр. 530.
[2]) Ibidem, стр. 515.

тающемъ надъ всѣми созданіями нашей изящной литературы. Она явилась въ произведеніяхъ позднѣйшихъ писателей подъ разными именами, въ разныхъ положеніяхъ и освѣщеніяхъ, но она осталась вѣрной себѣ, не измѣнивъ тому, что составляетъ ея типическую силу. Она все та-же: способная на порывъ, на безумное увлеченіе, страдающая внутреннею скорбью, вѣрная тому, что считаетъ своимъ долгомъ, простодушная дѣвушка въ родной семьѣ, гордая и твердая женщина въ моментъ ея полнаго расцвѣта. Всѣ переливы ея отношеній къ Онѣгину имѣютъ высокій драматическій характеръ, и Пушкинъ показалъ въ своемъ романѣ образецъ психологическаго таланта, еще никѣмъ до сихъ поръ не превзойденнаго. Какъ отнесся къ Татьянѣ Бѣлинскій? Вѣрно опредѣливъ ее, какъ цѣльную натуру, не страдающую болѣзненными противорѣчіями, назвавъ ее прекраснымъ цвѣткомъ, выросшимъ въ разсѣлинѣ дикой скалы, онъ такъ очерчиваетъ ея жизнь. Она избѣгла горестной участи подпасть подъ разрядъ тѣхъ идеальныхъ дѣвъ, которыя производятъ комическое впечатлѣніе, но это не значитъ, чтобы она вовсе не походила на нихъ. Ея глубокая, страстная натура заслонила собой все, что есть смѣшного и пошлаго въ идеальности этого рода, но она все-таки не освободилась отъ той искусственности и уродливости, которую сообщила ей окружающая дѣйствительность. Какія въ ней поразительныя сочетанія различныхъ настроеній! Она то читаетъ съ печальной думою въ очахъ французскую книжку, то предается грубымъ, вульгарнымъ предразсудкамъ:

Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказаніямъ луны.
Ее тревожили примѣты;
Таинственно ей всѣ предметы
Провозглашали что нибудь,
Предчувствія тѣснили грудь.

Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жаждѣ любви. Умъ ея спалъ, говоритъ Бѣлинскій. Дѣвическіе дни ея не были ничѣмъ наполнены. Въ нихъ не было «чередованія труда и досуга, тѣхъ регулярныхъ занятій, свойственныхъ образованной жизни, которыя держатъ въ равновѣсіи нравственныя силы человѣка» [1]). Она подобна не изящной греческой статуѣ, а статуѣ египетской,—неподвижной, тяжелой и связанной. Есть женщины, которыхъ мужчины побѣждаютъ равнодушіемъ, холодными словами, скептицизмомъ, и бѣдная Татьяна изъ числа такихъ женщинъ. Когда она была дѣвушкой, она была «только нравственнымъ эмбріономъ», когда она стала женою генерала, она стала дорожить своимъ добрымъ именемъ въ большомъ свѣтѣ, несмотря на то, что

[1]) Т. VIII, стр. 583.

презирала этотъ свѣтъ въ душѣ. Она была создана для любви, но общество пересоздало ее и, какъ женщина, она ниже Вѣры въ «Героѣ нашего времени», когда обращается къ Онѣгину со словами: «я васъ люблю (къ чему лукавить?), но я другому отдана—я буду вѣкъ ему вѣрна». Уступчивая Вѣра слѣдуетъ своей женской природѣ, Татьяна покоряется внѣшнему насилію... Было время, когда Бѣлинскій, вмѣстѣ съ другими, видѣлъ въ Татьянѣ образецъ откровенія женскаго сердца, но съ тѣхъ поръ много воды утекло. Теперь для него ясно, что и сквозь Онѣгина, и сквозь Татьяну проглядываетъ личность ихъ творца. Вездѣ вы видите человѣка, душою и тѣломъ принадлежащаго предразсудкамъ своего класса, вездѣ вы видите русскаго помѣщика... [1])

Такъ объясняетъ «Евгенія Онѣгина» Бѣлинскій. Послѣ такого разбора Писареву не трудно было доказать, что это произведеніе переполнено дворянскихъ предразсудковъ и что самъ Пушкинъ — ограниченная и банальная натура, распространявшая въ обществѣ какіе-то дикіе, развращающіе взгляды. Повторяемъ, Бѣлинскій не разрѣшилъ своей задачи по отношенію къ Пушкину. Нельзя проявленія такого огромнаго таланта поставить въ зависимость отъ опредѣленнаго историческаго момента въ жизни общества и сказать: онъ исчерпалъ его и умеръ вмѣстѣ съ моментомъ. Въ произведеніяхъ Пушкина нѣтъ устарѣвшихъ идей, хотя, быть можетъ, въ нихъ есть отдѣльныя вещи, писанныя на случай и потому теперь не имѣющія серьезнаго значенія. Все истинно поэтическое въ этихъ произведеніяхъ не можетъ умереть, потому что въ нихъ захвачены не интересы извѣстной минуты, не тѣ или другія временныя стремленія людей, а вѣчныя особенности человѣческой души, вѣчныя, непреходящія страсти и тревоги человѣческаго сердца. Вотъ идеи, которыя сильнѣе времени. Вотъ тѣ идеи, которыя показаны Пушкинымъ съ такою художественною полнотою, къ которой нечего прибавить и отъ которой ничего нельзя отнять. Пушкинъ изображаетъ всего человѣка съ его физическими и духовными страстями, каковъ онъ есть—съ его порывами, съ его жаждой счастья и свободы, и потому Пушкинъ останется живымъ дѣятелемъ во всѣ времена и для всѣхъ народовъ. Измѣняются практическія стремленія людей, рушатся политическіе идеалы, уступая мѣсто другимъ, но стремленія людей къ свободѣ вообще, къ уразумѣнію задачи жизни, къ постиженію человѣческаго назначенія остаются вѣчными. Въ нихъ нечему умереть, въ нихъ все будетъ жить до тѣхъ поръ, пока будетъ жить человѣкъ. Таковъ Пушкинъ. Его паѳосъ не въ томъ, въ чемъ видитъ его Бѣлинскій. Его свѣтлый геній широкъ и грустенъ, какъ русская природа. Раздолье безъ конца, просторъ, необъемлемый глазомъ, безконечные лѣса, по которымъ пробѣгаетъ таинствен-

[1]) Т. VIII, стр. 599—600.

ный шумъ, и во всемъ этомъ какое-то томленіе невыразимой тоски и печали. Порывъ, удалой разгулъ страстей и затѣмъ, черезъ нѣсколько мгновеній, мысль о смерти, вопль неудовлетвореннаго чувства, настроеніе безсвязныхъ и своею безсвязностью мучительныхъ запросовъ, встающихъ въ туманѣ. Таковъ геній русской жизни. Такова русская душа. Въ этомъ ея паѳосъ и въ этомъ паѳосъ Пушкина. Читайте его съ открытыми глазами,—и вы увидите всю громадность ошибки, сдѣланной Бѣлинскимъ, ошибки роковой для всей Россіи. Пушкинъ одинаково артистъ формы и мысли, и въ стихахъ его сила чувства и тоска религіознаго стремленія живутъ одною нераздѣльною жизнью.

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело, какъ смутное похмѣлье.
Но какъ вино, печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ, чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй!
Мой путь унылъ. Сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать.
И вѣдаю, мнѣ будутъ наслажденья
Межъ горестей, заботъ и треволненья!
Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И можетъ быть, на мой закатъ печальный
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной!

Мы думаемъ, что Бѣлинскій не справился и съ задачей — представить характеристику Лермонтова. Написавъ двѣ большія статьи о «Героѣ нашего времени» и о лирическихъ стихотвореніяхъ Лермонтова и сдѣлавъ множество попутныхъ замѣчаній о его талантѣ при оцѣнкѣ различныхъ литературныхъ явленій, Бѣлинскій все-таки не обнялъ предмета со всѣхъ сторонъ. Лермонтовъ остался для него невыясненнымъ. Его могучее поэтическое дарованіе, его своеобразный темпераментъ, блескъ его стального стиха — все это требовало широкаго объясненія на основаніи совершенно опредѣленнаго знакомства съ народной психологіей и съ общеевропейскими идеями, воспринятыми и переработанными этою самобытною и глубокою натурою. Не выяснивъ Пушкина, Бѣлинскій не разобрался и не могъ разобраться въ Лермонтовѣ. Въ его многочисленныхъ разсужденіяхъ на эту тему нѣтъ единства и логической выдержанности. То онъ заявляетъ, что Лермонтова нельзя сравнивать ни съ Байрономъ, ни съ Гёте, ни съ Пушкинымъ, что все, написанное Лермонтовымъ, недостаточно для упроченія «колоссальной славы», что оно не имѣетъ безотносительно великой цѣны, то онъ поднимаетъ Лермонтова выше Пушкина и говоритъ, что совершенно ничтоженъ будетъ тотъ, кто не при-

знаетъ, что русская поэзія въ лицѣ Лермонтова сдѣлала шагъ впередъ [1]). Въ статьяхъ VIII тома уже прямо проглядываетъ мысль, что Лермонтовъ болѣе прогрессивное явленіе, чѣмъ Пушкинъ, и что новое поколѣніе, развившись на почвѣ *новой общественности*, должно отдать предпочтеніе Лермонтову передъ Пушкинымъ. Лермонтовъ, говоритъ онъ, былъ призванъ выразить собою и удовлетворить своимъ поэтическимъ талантомъ *«несравненно высшее*, по своимъ требованіямъ и своему характеру, время, чѣмъ то, котораго выраженіемъ была поэзія Пушкина» [2]). «Пушкинъ поэтъ внутренняго чувства души, Лермонтовъ поэтъ безпощадной мысли истины». Паѳосъ Пушкина не выходитъ изъ сферы самого искусства, какъ искусства, паѳосъ Лермонтова устремленъ на вопросы о судьбѣ и правахъ человѣческой личности. Пушкинъ лелѣялъ всякое чувство и тянулся къ преданіямъ, поэзія Лермонтова растетъ на почвѣ безпощаднаго разума и гордо отрицаетъ преданія... Такими общими словами Бѣлинскій старается очертить художественный талантъ Лермонтова, вознося его на особенную высоту, недоступную поэзіи Пушкина, за ея либеральныя идеи. Это не есть объясненіе Лермонтова. Это значитъ подходить къ большому таланту съ случайными и произвольными критеріями, обсуживать его достоинства извнѣ, а не извнутри. Въ поэзіи Лермонтова такъ-же мало либерализма, какъ и въ поэзіи Пушкина, но и въ той, и въ другой живетъ одна и та же нравственная стихія, выраженная у Пушкина широко, свободно, безъ всякаго видимаго и ощущаемаго напряженія, у Лермонтова—сдавленная какими-то внутренними препятствіями, прорывающаяся постоянно въ одномъ и томъ-же направленіи. Пушкинъ полнѣе Лермонтова, совершеннѣе его по законченности и утонченности художественныхъ образовъ, но оба отражаютъ въ себѣ не какія-нибудь временныя стремленія русскаго общества, а существо и природную красоту національнаго характера. Лермонтова нельзя назвать представителемъ извѣстной эпохи, выразителемъ опредѣленныхъ тенденцій русской общественной жизни. Лермонтовъ—проявленіе вѣчныхъ стремленій и, подобно Пушкину, онъ могъ-бы явиться въ любой моментъ русской исторіи, направившейся однажды по пути высшихъ умственныхъ интересовъ. Болѣе подробной характеристики Лермонтова, подъ послѣднимъ, реалистическимъ угломъ зрѣнія, Бѣлинскій намъ не оставилъ, хотя онъ не разъ подходилъ къ нему и обращался къ эффектнымъ образамъ, чтобы передать достоинство его стиха, то уподобляя его треску грома и блеску молніи, то сравнивая его съ взмахомъ меча и визгомъ пули...

Но изъ всѣхъ литературныхъ характеристикъ Бѣлинскаго, характеристика Гоголя въ послѣднемъ періодѣ его дѣятельности должна быть

---

[1]) Т. VII, стр. 361. Т. IV, стр. 317. Т. V, стр. 335.

[2]) Т. VIII, стр. 92—98.

признана наименѣе удачною. У Бѣлинскаго есть свои большія заслуги въ опредѣленіи художественнаго таланта Гоголя, хотя при этомъ не слѣдуетъ забывать, что Пушкинъ ранѣе другихъ публично оцѣнилъ его, сразу разгадавъ въ немъ художественное дарованіе самобытное и глубокое. Бѣлинскій по своему отстаивалъ передъ русскимъ обществомъ Гоголя, осыпаемаго грубыми нападками журнальныхъ рецензентовъ того времени, но нельзя сказать, чтобы онъ разгадалъ суть его характера, чтобы онъ сумѣлъ понять его трагическій темпераментъ, въ которомъ жажда высшаго просвѣтлѣнія составляла самую яркую, типичную сторону. Такая сатира, какъ сатира Гоголя, могла быть выраженіемъ только глубоко-религіознаго настроенія. Такая сатира могла быть только оборотной стороной души, сгоравшей мучительною скорбью о пошлости русской жизни, души, конвульсивно трепетавшей отъ негодованія противъ низости и подлости, заѣдающей русскаго человѣка. Въ произведеніяхъ Гоголя нѣтъ ни одного свѣтлаго типа. Ни на чемъ не останавливается съ удовлетвореніемъ глазъ художника, улавливающаго и запечатлѣвающаго со всею безпощадностью литературнаго реализма конкретныя черты окружающаго быта. Повсюду чувствуется сдавленный смѣхъ сквозь слезы, фанатическая ненависть къ пороку, стремленіе оторваться отъ земной жизни, не оставляющей въ душѣ ничего кромѣ отчаянія, страстный порывъ къ небу съ широко раскрытыми отъ ужаса глазами, ищущими пристанища и спасенія для измученнаго сердца. Въ этомъ пафосъ Гоголя. Но Бѣлинскій, оцѣнивавшій въ послѣдніе годы каждаго писателя именно по характеру и направленію присущаго ему пафоса, не разгадалъ, въ чемъ пафосъ Гоголя: иначе онъ сумѣлъ-бы понять то, что было въ Гоголѣ лишь естественнымъ проявленіемъ его натуры, всего его духовнаго склада. Оцѣнка, сдѣланная Бѣлинскимъ «Выбраннымъ мѣстамъ изъ переписки съ друзьями» по узко-реалистическому масштабу, составляетъ одно изъ самыхъ печальныхъ явленій въ исторіи русской журналистики. Въ этой оцѣнкѣ нѣтъ ни психологическаго таланта, ни терпимости къ чужимъ идеямъ, выраженнымъ съ такимъ необычайнымъ трагическимъ энтузіазмомъ, нѣтъ пониманія души художника, которому онъ самъ посвящалъ столько восторженныхъ страницъ тогда, когда находилъ въ его произведеніяхъ откликъ на занимавшіе его вопросы текущей дѣйствительности. Гоголь имѣлъ полное право придти въ отчаяніе отъ этого русскаго общества, въ которомъ даже самые лучшіе люди могутъ распаляться только по поводу ближайшихъ, временныхъ задачъ и цѣлей. Нельзя было не содрагаться отъ изумленія при видѣ этой слѣпой ярости его лучшихъ вождей, его благородныхъ героевъ, его безкорыстныхъ трибуновъ, признававшихъ право проповѣди только за собою и притомъ только на поприщѣ узко-понятой гражданственности. Посмотрите, какими словами Бѣлинскій встрѣтилъ второе изданіе «Мертвыхъ душъ». Онъ въ ужасѣ отъ его предисловія,

въ которомъ нѣтъ ничего недостойнаго
случайнаго по отношенію къ его нравстве
ужасѣ отъ того, что Гоголь стремится стать к
что Гоголь впадаетъ въ тонъ лирическаго поэта
односторонней мыслью, Бѣлинскій даже отрицае
тѣхъ отступленіяхъ, которыя придаютъ «Мертвы
сердечности и задушевности. Къ несчастью, гово
рическія выходки Гоголя не простая, случайная
вершенной утраты таланта для русской литературы». Гоголь забываетъ назначеніе художника. Онъ усваиваетъ тонъ непризваннаго глашатая великихъ истинъ, которыя въ сущности «отзываются ничѣмъ инымъ, какъ парадоксами человѣка, сбитаго съ своего настоящаго пути ложными теоріями и системами, всегда гибельными для искусства и таланта». Бѣлинскій прибѣгаетъ даже къ насмѣшкѣ надъ Гоголемъ, язвитъ его ехидными цитатами изъ его собственнаго предисловія, вставляя въ скобкахъ недостающія запятыя и дразня его вопросительными знаками между отдѣльными словами, какъ-бы съ цѣлью выразить молчаливый, но убійственный протестъ противъ авторской несостоятельности. Гоголь разъигралъ какой-то пошлый фарсъ передъ русскимъ обществомъ. Гоголь осмѣлился обратиться прямо къ русскому читателю съ своимъ собственнымъ воззваніемъ. Это значитъ, что его талантъ въ опасности,—и люди, стоящіе на стражѣ русскаго прогресса, должны предупредить общество, что увлекавшій его писатель, выйдя изъ законной рамки, посягаетъ на его первѣйшіе интересы. Въ двухъ статьяхъ о «Мертвыхъ душахъ» и о «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями» нельзя даже узнать Бѣлинскаго. Раздраженная, болѣзненная мысль, напрягаясь и вновь истощаясь, безпомощно мечется вокругъ горящаго вдохновеніемъ произведенія, какъ вокругъ пылающаго костра, не разрѣшая ни единаго вопроса, не умѣя даже опредѣлить того явленія, которое предстало передъ нею съ такою смѣлостью и неожиданностью... [1]).

Бѣлинскій былъ тогда уже наканунѣ смерти.

Они оба были больны—и Бѣлинскій и Гоголь. Одинъ—въ послѣднемъ градусѣ чахотки, съ душою, истощенною въ полемической борьбѣ съ различными журнальными врагами, съ воображеніемъ, распаленнымъ еще неяснымъ, но увлекательнымъ движеніемъ западно-европейской жизни—всѣмъ остаткомъ своихъ умственныхъ силъ ушелъ въ вопросы историческаго момента. Другой, съ дѣтства волнуемый возвышенной мечтою о какомъ-то особенномъ служеніи людямъ, терзаемый вопросами вѣчности, весь въ огнѣ религіознаго экстаза, съ послѣдней страстью призваннаго проповѣдника взывалъ къ человѣческимъ сердцамъ во имя возвышеннѣй-

[1]) Т. XI, стр. 72—76.

признанаго[illegible]овныхъ интересовъ. Бѣлинскій остался до конца жизни тѣмъ, въ комъ онъ былъ: онъ весь на лицо съ своими стремленіями, направленными къ конкретной цѣли, съ этимъ ратоборческимъ паѳосомъ, часто заслоняющимъ передъ нимъ истинную природу разбираемаго предмета. Гоголь—тоже остался тѣмъ, чѣмъ онъ былъ: трагическій характеръ, болѣющій неземною скорбью, фанатическій ненавистникъ всякаго пошлаго самодовольства, всякой ограниченности, пророкъ съ воображеніемъ, въ которомъ созидался какой-то новый, идеальный міръ, съ новыми, идеальными отношеніями между людьми, поэтъ тоски, устремленной къ невидимымъ цѣлямъ, онъ вдругъ явилъ передъ людьми свою душу безъ всякаго покрова. Герой своей эпохи и герой откровенія, недоступнаго толпѣ,—они встрѣтились, обмѣнялись письмами и съ негодованіемъ и горечью отвернулись другъ отъ друга. Гоголь былъ не таковъ, чтобы уступить въ этомъ кровномъ дѣлѣ убѣжденій, исходившихъ изъ глубочайшаго источника, и Пыпинъ обнаруживаетъ непониманье его характера, утверждая, что онъ былъ подавленъ тяжестью упрековъ Бѣлинскаго, которыхъ не сумѣлъ опровергнуть. Онъ не былъ подавленъ ни печатнымъ отзывомъ Бѣлинскаго, ни знаменитымъ письмомъ его изъ Зальцбурна. Бѣлинскій ничего не сумѣлъ сказать въ этомъ спорѣ по существу. Въ его рецензіи на «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» нѣтъ логической почвы для серьезнаго спора. Въ его длинномъ письмѣ, написанномъ въ тонѣ неумѣреннаго раздраженія, съ яростью человѣка, уже совершенно ослабѣвшаго для философскаго спора, съ нетерпимостью ко всякой новой мысли изъ сферы чуждыхъ ему настроеній, нѣтъ простоты, нѣтъ и признаковъ вдумчиваго отношенія къ предмету. Все вертится вокругъ нѣсколькихъ ничтожныхъ фразъ въ перепискѣ, не проникая въ ея душу. Тонъ этого письма обнаруживаетъ какой-то публицистическій деспотизмъ, ненавидящій всякое проявленіе чужой умственной свободы. По нашему глубокому убѣжденію, критическій талантъ погасалъ въ Бѣлинскомъ въ тѣ минуты, когда онъ направлялъ къ Гоголю это злосчастное письмо. Этимъ стилемъ не пишутъ критическихъ статей. Этотъ кричащій тонъ, изобличающій партійную ненависть, это мучительное раздраженіе не подходитъ для статей, бичующихъ писателя, а не человѣка, ошибки ума, а не воображаемые недостатки характера. Бѣлинскій въ философскомъ смыслѣ стоялъ несомнѣнно на ложномъ пути, а его оцѣнка «Переписки съ друзьями»—лишнее доказательство того, что есть пріемы критики, не позволяющіе обнять со всѣхъ сторонъ такія сложныя въ психологическомъ и нравственномъ отношеніи явленія. Въ борьбѣ съ Гоголемъ Бѣлинскій сдѣлался жертвою своихъ новыхъ, узкихъ взглядовъ на литературу и искусство. Не проникнувъ въ чуждую ему душевную организацію, называя книгу, писанную кровью сердца, *гнусною*, и обвинивъ въ *подлости* такую натуру, какъ Гоголь, онъ, безъ сомнѣнія, долженъ былъ

показать этимъ ограниченность своей проницательности, узкую прямолинейность своего критическаго таланта...

Посмотримъ, въ чемъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, Гоголь оказался виноватымъ передъ русскимъ обществомъ. Онъ намекаетъ, что «Переписка съ друзьями» не была выраженіемъ глубокаго и искренняго убѣжденія, что ее по праву можно было-бы считать «нецеремонною продѣлкою для достиженія небеснымъ путемъ чисто земной цѣли». Онъ обвиняетъ Гоголя въ томъ, что, будучи великимъ художникомъ, онъ неудачно взялъ на себя роль мыслящаго человѣка, желающаго судить о Россіи «изъ прекраснаго далека». Онъ утверждаетъ, что Россія ищетъ своего спасенія не въ аскетизмѣ, не въ мистицизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, очевидно полагая, что Гоголь борется противъ цивилизаціи, нарушаетъ интересы просвѣщенія. Онъ называетъ ученіе Гоголя «дьяволовымъ ученіемъ». «И такая-то книга, восклицаетъ онъ, могла быть результатомъ труднаго внутренняго процесса, высокаго духовнаго просвѣтлѣнія! Не можетъ быть! Проповѣдникъ кнута, апостолъ невѣжества, поборникъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, что вы дѣлаете?»... Зачѣмъ Гоголь упоминаетъ имя Христа? Русскій народъ, по мнѣнію Гоголя, самый религіозный народъ въ мірѣ. Бѣлинскій протестуетъ противъ этого: «приглядитесь попристальнѣе, говоритъ онъ, и вы увидите, что это глубоко атеистическій народъ». Мистическая экзальтація не въ природѣ русскаго человѣка, у него слишкомъ много для этого «здраваго смысла, ясности и положительности въ умѣ». Намѣреніе Гоголя совершить путешествіе въ Іерусалимъ возбуждаетъ негодованіе Бѣлинскаго. Его раздражаетъ смиренный тонъ нѣкоторыхъ частей «Переписки». «Мысль сдѣлаться какимъ-то абстрактнымъ совершенствомъ, стать выше всѣхъ смиреніемъ, можетъ быть плодомъ или гордости или слабоумія и въ обоихъ случаяхъ ведетъ неизбѣжно къ лицемѣрію, ханжеству, китаизму». Гоголь долженъ отречься отъ своей книги, отъ которой вѣетъ «боязнью смерти, чорта и ада». Все рѣшительно кажется Бѣлинскому возмутительнымъ въ этой «Перепискѣ». Гоголь угодничаетъ передъ властями, проповѣдуетъ неправый судъ, предлагаетъ пороть и праваго, и виноватаго... Таковы обвиненія Бѣлинскаго: непрошенное проповѣдничество, лицемѣріе, ханжество, гражданскій обскурантизмъ. Непрошенное проповѣдничество! Художникъ не имѣетъ права проповѣдывать въ публицистической формѣ свои взгляды на жизнь. Это дѣло тѣхъ, которые занимаются проповѣдничествомъ по профессіи, тѣхъ, кто судитъ о литературѣ, а не тѣхъ, которые создаютъ литературу! Если-бы Пушкинъ, съ его почти энциклопедическимъ образованіемъ, съ его поразительно яснымъ умомъ, сталъ выражать въ прозѣ то, что онъ выразилъ въ своемъ «Пророкѣ», онъ оказался-бы—на судѣ журнальныхъ публицистовъ—невѣждой, лицемѣромъ, самозваннымъ учителемъ людей на недоступномъ

ему поприщѣ. Русской культурой командуютъ журнальные полемисты, прогрессивные вожди молодежи, а люди, возсоздавшіе въ своихъ произведеніяхъ душу народа, знающіе эту душу до ея сокровенныхъ глубинъ, чующіе всѣ ея стремленія, не имѣютъ никакого права открыто высказывать свои убѣжденія! Не имъ пророчествовать передъ толпою, не имъ руководить обществомъ. Религіозное ханжество Гоголя! Въ книгѣ нѣтъ никакого ханжества. Есть религіозный экстазъ, есть настоящее вдохновеніе религіозной натуры, раскрытое передъ читателемъ душевное страданіе, причиняемое мыслью о падшемъ человѣчествѣ, но ханжества нѣтъ и слѣда. Гоголь возмутился обвиненіемъ въ ханжествѣ. «Что вы нашли во мнѣ похожаго на ханжу или хотя на это простодушное богомольство или набожность, которою дышетъ наша добрая Москва, не думая о томъ, чтобы быть лучшею, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ. Развѣ нашли вы во мнѣ *слѣпую* вѣру во всѣ безъ различія обычаи предковъ? Развѣ вы открыли во мнѣ что-нибудь похожее на фанатизмъ и жаркое, вдругъ рождающееся, увлеченіе чѣмъ-нибудь?» [1]) Гоголь недоумѣваетъ по поводу тѣхъ сомнѣній, которыя вызвало его намѣреніе посѣтить Палестину. «Мы движемся, говоритъ онъ, благодарностью къ поэту, подарившему намъ наслажденія души своими произведеніями. Мы спѣшимъ принести ему дань уваженія, спѣшимъ навѣстить его могилу, и никто не удивляется такому поступку». Только на могилу Христа нельзя отправиться человѣку въ порывѣ *лирическаго движенія* души [2])... Гоголь проповѣдуетъ невѣжество! Но гдѣ? Но какъ это доказать? «Изъ двухъ-трехъ словъ, сказанныхъ такому помѣщику, у котораго всѣ крестьяне земледѣльцы, озабоченные круглый годъ работою, вывести заключеніе, что я воюю противъ просвѣщенія народнаго, пишетъ Гоголь,—это показалось мнѣ очень странно, тѣмъ болѣе, что я полъ-жизни думалъ самъ о томъ, какъ-бы написать истинно полезную книгу для простого народа» [3]). Наконецъ, защита неправаго суда, съ поркой праваго и виноватаго. Посмотрите, какую свѣтлую, глубоко-христіанскую идею Бѣлинскій истолковалъ въ этомъ убійственномъ смыслѣ. Судите всякаго человѣка двойнымъ судомъ и всякому дѣлу давайте двойную расправу, говоритъ Гоголь. Одинъ судъ—человѣческій: оправдайте праваго, осудите виновнаго! Другой судъ божескій: осудите и праваго и виноватаго. Одного укорите за то, что онъ не простилъ своего товарища, другого за то, что онъ не уважилъ евангельской заповѣди [4])...

---

[1]) «Записки о Жизни Н. В. Гоголя», т. I стр. 311. С.-Петербургъ, 1856 г.

[2]) Ibidem, стр. 313.

[3]) Сочиненія Н. В. Гоголя, т. IV, «Авторская исповѣдь», стр. 244 (изданіе Н. Тихонравова).

[4]) Сочиненія Гоголя, т. IV, «Переписка», стр. 140.

Это неизбѣжныя ошибки міросозерцанія, вступившаго въ борьбу съ идеализмомъ. Искусству оно не даетъ самостоятельной роли въ жизни людей, философское изслѣдованіе, обращенное на раскрытіе смысла внутреннихъ движеній души и запросовъ ума, ищущее невещественнаго блага, оно отрицаетъ ради ближайшихъ интересовъ общества, религіозное сознаніе—при первомъ ошибочномъ движеніи въ сторону догматики—оно готово осудить, какъ лицемѣріе и ханжество. Это міровоззрѣніе отрицательное по отношенію ко всему, что не лежитъ на поверхности человѣческой жизни, враждебное по отношенію ко всякому чисто духовному порыву, не дающему осязаемыхъ результатовъ. Оно губитъ искусство. оно сдавливаетъ философію условными гранями утилитаризма, оно душитъ стремленіе разума къ разрѣшенію высшихъ задачъ существованія. Оно повелѣваетъ человѣку жить въ земныхъ заботахъ, не давать волѣ мечтѣ и сдерживать полетъ фантазіи. Таково было міровоззрѣніе Бѣлинскаго въ послѣднемъ періодѣ его литературной дѣятельности.

Мы разсмотрѣли главные моменты въ умственной жизни Бѣлинскаго. Мы видѣли его въ эпоху увлеченія нѣмецкимъ идеализмомъ—не истиннымъ, а ложно истолкованнымъ, ложно понятымъ идеализмомъ съ его консервативными выводами въ статьяхъ о Бородинскомъ сраженіи. Мы видѣли его потомъ въ расцвѣтѣ силъ, когда, отдавшись артистическому чутью и своимъ идеалистическимъ инстинктамъ, онъ съ увлеченіемъ провозглашалъ свободу искусства, боролся за разумное пониманіе народнаго элемента въ поэзіи, открывалъ въ ослѣпительно яркихъ выраженіяхъ внутреннюю связь между индивидуальнымъ и міровымъ началомъ въ жизни и въ творчествѣ. Это была лучшая пора въ дѣятельности Бѣлинскаго. Тогда сказался весь его талантъ, обнаружилась вся сила его непосредственной любви къ прекрасному, тогда онъ вдругъ всталъ передъ русскимъ обществомъ со всѣми своими лучшими качествами, какъ горячій защитникъ возрождавшейся литературы, какъ просвѣтитель молодого общества. Это было въ первое время послѣ его пріѣзда въ Петербургъ. Это небольшой промежутокъ времени между двумя смутными періодами его крайнихъ увлеченій, тянувшійся недолго, но оставившій въ литературѣ свѣтлый слѣдъ его лучшихъ вліяній. Реализмъ явился у Бѣлинскаго только вслѣдствіе неумѣнья сдѣлать надлежащіе практическіе выводы изъ тѣхъ теоретическихъ взглядовъ, которые вдохновляли его въ періодъ, когда онъ былъ вѣренъ своей непосредственной натурѣ. Не открывая логическихъ доказательствъ для защиты насущныхъ, исторически назрѣвшихъ потребностей русскаго общества въ философской системѣ, выросшей не на русской почвѣ, въ міровоззрѣніи, сложившемся при иныхъ соціальныхъ и духовныхъ условіяхъ, онъ весь болѣзненно сосредоточился на мысли о непосредственномъ служеніи человѣческому благу, внѣ всякихъ путавшихъ и удручавшихъ его теорій, и сталъ съ

яростью топтать тѣ самые принципы, которые еще такъ недавно находили себѣ откликъ въ его душѣ. Ошибка, порожденная пылкостью его прямой и простодушной натуры, привела его къ полному разладу съ самимъ собою и, вызвавъ въ немъ сектантскую нетерпимость ко всякому философскому порыву, придала его критикѣ тотъ характеръ, который сдѣлалъ ее источникомъ цѣлаго ряда пагубныхъ недоразумѣній въ русской литературѣ. Такъ прошла жизнь и дѣятельность Бѣлинскаго. Онъ имѣлъ большое значеніе, какъ историческій дѣятель, можно сказать надолго упрочившій за журналистикой то высокое положеніе, которое она до сихъ поръ занимаетъ въ русскомъ обществѣ. Своимъ яркимъ талантомъ онъ сумѣлъ пробудить для работы бездѣятельную мысль своихъ современниковъ. Онъ очистилъ путь для движенія русскаго искусства отъ старыхъ, отжившихъ авторитетовъ. Онъ сумѣлъ подвергнуть безпощадному анализу произведенія Ломоносова, Сумарокова, Державина, онъ далъ прекрасныя характеристики Жуковскому, Батюшкову, Полежаеву, Грибоѣдову, Крылову. Онъ встрѣтилъ сочувственными словами Достоевскаго, Тургенева, Гончарова, угадалъ непосредственнымъ чутьемъ первыя проявленія поэтическаго таланта у Майкова, Фета, Полонскаго. Онъ тонко очертилъ художественное дарованіе Григоровича со всѣми необходимыми ограниченіями. Онъ привѣтствовалъ и поддержалъ могучій талантъ Кольцова, хотя и не сумѣлъ оцѣнить его поэтическихъ думъ на философскія темы. Таковы историческія заслуги Бѣлинскаго передъ русской литературой. Но изучая судьбы русскаго просвѣщенія, приходится, какъ мы уже говорили, обратиться къ дѣятельности того-же Бѣлинскаго и за объясненіемъ всѣхъ послѣдующихъ ошибокъ и паденій русской критики, продолжавшей по традиціи руководить общественнымъ самосознаніемъ Россіи. Въ Бѣлинскомъ боролись противоположные элементы, и результатъ этой борьбы надолго опредѣлилъ ходъ русской культуры. Случайно восторжествовавшій реализмъ создалъ цѣпи, сковавшія духовную жизнь молодого общества, придушившія его умственныя стремленія. Слѣпо довѣряясь своему новому настроенію, страстно увлекшись утилитарной задачею литературы и ожесточенно отшвыривая отъ себя всякіе теоретическіе вопросы, пламенный и благородный Бѣлинскій не вѣдалъ, что творилъ.

Октябрь—Декабрь 1893 г.

Н. А. Добролюбовъ.

Источники:

„Сѣверная Пчела", 1861 г., № 262. «Н. А. Добролюбовъ» и № 264.

„Московскія Вѣдомости", 1862 г., № 2: «Н. А. Добролюбовъ», П. П.

„Иллюстрація", еженедѣльное обозрѣніе, 1862 г., № 203: «Н. А. Добролюбовъ».

И. И. Панаевъ. «Петербургская жизнь, замѣтки новаго поэта, по поводу похоронъ Н. А. Добролюбова» и некрологъ. «Современникъ», 1861 г., ноябрь.

Н. Чернышевскій. Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова. «Современникъ», 1862 г., № 1.

Н. Некрасовъ. Посмертныя стихотворенія Н. Добролюбова (Тамъ-же).

Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова, изд. К. Солдатенкова, 1890 г., т. I.

Д. Аверкіевъ. «Русскій публицистъ, памяти Н. А. Добролюбова». «Русскій Инвалидъ», 1861 г., № 267.

Н. Островская «Мои воспоминанія о Н. А. Добролюбовѣ», «Волжскій Вѣстникъ», 1893, № 296.

Зариномъ. «Небывалые люди», по поводу «Униженныхъ и оскорбленныхъ». «Библіотека для чтенія», январь, стр. 29—41.

Н. Чернышевскій. Въ изъявленіе признательности (письмо къ Г. Зарину) «Современникъ», 1862 г., февраль.

Зариномъ. Лесть живому и поруганіе надъ мертвымъ (письмо къ г. Чернышевскому). «Библіотека для чтенія», мартъ, 1862 г.

Л. А. Бибиковъ. О литературной дѣятельности Н. А. Добролюбова, Спб., 1862 года.

Николай Соловьевъ. Вопросъ объ искусствѣ. «Отечественныя Записки», 1865 г. май, кн. II, іюнь, кн. I, іюль, кн. I, августъ кн. I—II.

В. А. Зайцевъ. Бѣлинскій и Добролюбовъ. «Русское Слово», 1864 г., № 1.

А. Скабичевскій. Очерки умственнаго развитія нашего общества, 1825—1860 гг., главы 17—18. «Отечественныя Записки», 1872 г., май—іюнь.

„Отечественныя Записки", 1856 г., октябрь. Литературныя и журнальныя замѣтки, презрѣніе къ библіографіи и уваженіе къ исторіи, стр. 79—82.

А. Галаховъ. „Отечественныя Записки". Критика. „Были и небылицы", 1856 г., октябрь, стр. 43—85

Н. И. Пироговъ. Собраніе литературныхъ статей. Одесса, 1858 г.

„Современникъ", 1858 г., № 10. Обѣдъ Н. И. Пирогову.

„Журналъ для воспитанія", 1859 г., № 11. „Циркуляръ по управленію кіевскимъ учебнымъ округомъ".

„Воспитаніе", 1861 г., № 4. „Отчетъ о слѣдствіяхъ введенія по кіевскому учебному округу правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій".

Прощаніе кіевскаго учебнаго округа съ Н. И. Пироговымъ, Кіевъ, 1861 г.

„Отечественныя Записки", апрѣль, 1861 г. „Замѣтки праздношатающагося".

М. Драгомановъ, „Русская Рѣчь", 1861 г., № 54. „По поводу замѣтки о Н. И. Пироговѣ".

„Воспитаніе", 1861 г., № 2.

„Современникъ", 1861 г., № 6. „Внутреннее Обозрѣніе".

М. Михайловъ, „Современникъ", 1858 г., № 12. „Парижскія письма".

„Современникъ", 1861 г., № 6. Графъ Кавуръ.

Alfredo Oriani, La lotta politica in Italia, Torino-Roma, 1892 г.

А. Милюковъ, Очеркъ исторіи русской поэзіи, 2-е изд. С.-Петербургъ, 1858 г.

О. Ѳ. Миллеръ. О нравственной стихіи въ поэзіи, на основаніи историческихъ данныхъ, по поводу вопроса о современномъ направленіи русской литературы. Спб., 1858 г.

Н. Некрасовъ. „Атеней", 1859 г., мартъ и апрѣль. „Сочиненія А. Островскаго".

„Отечественныя Записки", 1854 г., томъ 94, библіографическая хроника.

И. А. Кушевскій. Неизданные разсказы. Спб. 1881 г.

Н. Костомаровъ. Начало Руси. „Современникъ", 1860 г., № 1.

„С.-Петербургскія Вѣдомости", 1860 г., № 60. „Диспутъ Н. И. Костомарова и М. П. Погодина". Письмо М. П. Погодина.

„С.-Петербургскія Вѣдомости", 1860 г., № 67. Отчетъ о диспутѣ Погодина и Костомарова 19 марта 1860 г.

„Современникъ", 1860 г., № 3. Публичный диспутъ.

М. Погодинъ. „Русская Бесѣда", 1860 г., № 1. „О публичномъ диспутѣ въ залѣ С.-Петербургскаго университета касательно происхожденія Руси".

Н. Костомаровъ. „Современникъ" 1860, № 5: „Послѣднее слово г. Погодину".

Н. Чернышевскій. „Современникъ", 1860 г., № 5. „Замѣчаніе на послѣднее слово г. Погодину".

П. Якушкинъ. Проницательность и усердіе губернской полиціи. „Русская Бесѣда", 1859 г. V.

П. И. Якушкинъ. Сочиненія. Изданіе В. Л. Михневича. 1884 г.

Статьи М. А. Добролюбова въ „Современникѣ", 1856—1861 гг.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Бѣлинскій и Добролюбовъ.—Жизнь Добролюбова.— Три характерныхъ момента въ его жизни.—Ихъ истинный характеръ и значеніе.—Вопросъ о религіозности Добролюбова.—Увлеченіе семинарскимъ учителемъ.—Романическій элементъ въ жизни Добролюбова.—Критическая литература о Добролюбовѣ.—Панаевъ.—Замѣтки Зарина о Чернышевскомъ и Добролюбовѣ.—Открытое письмо Чернышевскаго къ Зарину и отвѣтъ послѣдняго.—Статьи Николая Соловьева, Зайцева и Скабичевскаго.

I.

20 ноября 1861 года на Волковомъ кладбищѣ былъ похороненъ молодой, талантливый сотрудникъ «Современника» Николай Александровичъ Добролюбовъ. На похороны собралось небольшое общество литераторовъ, студентовъ, офицеровъ и дамъ, надъ гробомъ произнесено было нѣсколько рѣчей, сочувственныхъ покойному писателю. Некрасовъ и Чернышевскій распространились о человѣческихъ качествахъ Добролюбова, почти ничего не сказавъ о литературномъ его талантѣ. Другіе указывали на «смежность» его могилы съ «послѣднимъ жилищемъ» Бѣлинскаго. Но вотъ похоронный обрядъ оконченъ, и небольшая толпа людей разошлась по домамъ съ тоскливымъ чувствомъ невознаградимой потери... «Еще одна жертва смерти, восклицаетъ Сѣверная Пчела, еще жизнь, подточенная въ самомъ роскошномъ ея цвѣтеніи»! Важнѣйшіе органы тогдашней журналистики почтили память Добролюбова тепло написанными некрологами, въ отдѣльныхъ статьяхъ мелькнули болѣе или менѣе серьезныя критическія замѣчанія, относящіяся къ общему характеру его литературной дѣятельности, на страницахъ «Современника» Чернышевскій выступилъ горячимъ, страстнымъ истолкователемъ нравственной и умственной личности Добролюбова. Въ некрологѣ, напечатанномъ въ ноябрьской книгѣ журнала за 1861 годъ, въ примѣчаніяхъ къ «Матеріаламъ для біографіи Н. А. Добролюбова», въ открытомъ письмѣ къ Зарину по поводу статьи его «Небывалые люди» — повсюду сквозитъ восторгъ передъ талантомъ рано сошедшаго со сцены литера-

турнаго дѣятеля. Добролюбовъ рисуется Чернышевскому великомученикомъ либеральнаго движенія. Развивая свое восторженное мнѣніе о бывшемъ товарищѣ по дѣлу, Чернышевскій подчеркиваетъ только нужные ему факты, повсюду отыскиваетъ и находитъ матеріалъ, свидѣтельствующій объ умѣ и героизмѣ Добролюбова. Никакихъ ограниченій, ни единой фразы, суживающей его значеніе въ русской литературѣ. Журналистъ съ выдающимся публицистическимъ талантомъ, съ природнымъ даромъ діалектики, которая то свѣтится увлеченіемъ политическаго оратора, то проникается ядомъ безпощадной насмѣшки, Чернышевскій готовъ унизить себя, свое дарованіе, все, имъ сдѣланное по различнымъ вопросамъ общественной жизни, передъ заслугами Добролюбова въ прогрессивномъ развитіи русскаго общества. Агитаторъ по призванію, Чернышевскій не могъ не воспользоваться для извѣстныхъ цѣлей смертью любимаго товарища. Горячая похвала, обращенная къ заслугамъ покойнаго и въ этихъ заслугахъ освѣтившая опредѣленный принципъ, черту политической доблести—сама становится нравственной силой въ жизни людей, и чѣмъ эта похвала ярче, смѣлѣе, чѣмъ больше страсти и пламени въ отдѣльныхъ ея выраженіяхъ, тѣмъ глубже ея вліяніе на ходъ вещей, тѣмъ она зажигательнѣе для молодыхъ поколѣній, тѣмъ она полезнѣе для дѣла. Такъ закрѣпляется симпатія общества за извѣстнымъ знаменемъ.

Но Добролюбовъ не таковъ, какимъ изображаетъ его Чернышевскій. Въ немъ не было тѣхъ могучихъ страстей, которыя приписываетъ ему этотъ человѣкъ съ сектантскимъ умомъ и характеромъ, рожденнымъ для бурныхъ общественныхъ движеній. Разсудочная натура по преимуществу, Добролюбовъ не зналъ никакихъ широкихъ увлеченій съ кипѣніемъ всѣхъ чувствъ, отражающимся въ каждомъ движеніи, въ каждомъ словѣ. Не обладая оригинальнымъ умомъ, онъ всю жизнь неуклонно шелъ по пути, проложенному Чернышевскимъ, съ горделивой твердостью проводя одну и ту же мысль, дразня и бичуя насмѣшкою или стихотворными эпиграммами тѣхъ, кого онъ считалъ врагами новаго реалистическаго движенія въ литературѣ, рѣдко предаваясь восторгу, почти никогда не терзаясь никакими сомнѣніями. Не склонный ни къ какимъ порывамъ и скачкамъ, благородный и прямой характеръ, проникнутый серьезностью, Добролюбовъ побѣждалъ трезвой логикой убѣжденья, публицистическою дѣловитостью, направленною къ опредѣленной цѣли. Онъ не жилъ ни духовными, ни физическими страстями, и, не уходя въ изученіе литературныхъ явленій съ ихъ эстетической и философской стороны, ограничивалъ свою критическую дѣятельность задачами исключительно бытового, гражданскаго свойства. Вотъ почему въ статьяхъ его такъ много простыхъ, холодныхъ аргументовъ и такъ мало подкупающей поэзіи, счастливыхъ откровеній критическаго таланта. Вотъ почему ни жизнь, ни произведенія Добролюбова не производятъ захватывающаго впечатлѣнія

въ противоположность жизни и произведеніямъ Бѣлинскаго. Не волнуемая противорѣчіями, нигдѣ не поднимающаяся выше идей, имѣющихъ значеніе для даннаго момента въ жизни русскаго общества, литературная дѣятельность Добролюбова не имѣла и не могла имѣть такого широкаго значенія, какое имѣла шумная, полная огня и страстей агитація Бѣлинскаго, несмотря на всѣ ея многочисленныя ошибки, паденія, несмотря на ея молодой и невыдержанный восторгъ съ порывами то въ одну, то въ другую сторону. По сравненію съ Бѣлинскимъ, Добролюбовъ—натура уравновѣшенная, твердая, но не могучая, благородная, но не страстотерпческая, прямая и смѣлая, но не способная увлекать съ непобѣдимою силою высшаго авторитета. Добролюбовъ вліяетъ на читателя только тогда, когда его разсужденія кажутся ему убѣдительными, когда его логическія доказательства въ пользу извѣстной мысли, развиваясь и доходя до послѣднихъ заключеній, кажутся ему неопровержимыми. Малѣйшая ошибка—и авторъ теряетъ сочувствіе читателя. Одна неловкость или оплошность—и всѣ его усилія склонить читателя къ извѣстному взгляду на вещи пропали даромъ. Вся жизнь Бѣлинскаго проникнута поэзіей, статьи его облиты свѣтомъ внутренняго пожара. Вся жизнь Добролюбова, всѣ статьи его, его переписка съ друзьями, его дневникъ — все отражаетъ въ себѣ натуру упорно прямолинейную, безъ мечтательныхъ порывовъ къ идеальнымъ вершинамъ дѣятельности, безъ жажды красоты и совершенства. Статьи Добролюбова превосходны по ясности стиля, по простотѣ и общедоступности логическихъ доводовъ, но, по сравненію со статьями Бѣлинскаго, онѣ производятъ все-таки слабое, почти блѣдное впечатлѣніе. Молодое, тонкое остроуміе, точно холодный блескъ луны, озаряетъ сдержанныя разсужденія Добролюбова о литературѣ и жизни, его убѣжденія развертываются легко, свободно, съ непринужденностью спокойнаго и яснаго пониманія разбираемыхъ предметовъ, доказательства выступаютъ передъ читателемъ въ какомъ-то ритмическомъ движеніи, ложась другъ возлѣ друга на извѣстныхъ, строго размѣренныхъ разстояніяхъ, но гдѣ-же дуновеніе вѣчныхъ идеаловъ, гдѣ любовь къ поэзіи,—любовь, придающая литературной критикѣ силу живого, увлекательнаго истолкованія художественныхъ идей и образовъ? Надъ жизнью и произведеніями Бѣлинскаго вѣетъ духъ Божій, и потому вы читаете ихъ съ какимъ-то священнымъ трепетомъ, слѣдя съ душевнымъ волненіемъ за его стремительной логикой, за его пылкими пріемами убѣждать, доказывать, спорить, защищать и защищаться. Надъ жизнью и произведеніями Добролюбова вѣетъ духъ молодой гражданственности, еще не связанной неразрывными узами съ нравственною и умственною культурою страны, и потому во многомъ опрометчивой, очень часто незаконно захватывающей чуждыя ей сферы человѣческаго труда и мышленія, еще чаще раздражающей нѣкоторымъ однообразіемъ своихъ надеждъ и стремленій.

Отыщемъ-же характеръ Добролюбова въ матеріалахъ, рисующихъ его жизнь, его влеченія, его страданія. Изучимъ общественное мнѣніе о дѣятельности Добролюбова, какъ оно сказалось въ наиболѣе выдающихся статьяхъ, принадлежащихъ извѣстнымъ русскимъ писателямъ, и затѣмъ разберемся сами въ немногочисленныхъ его сочиненіяхъ. Опредѣлимъ размѣры его критическаго таланта, взвѣсимъ и оцѣнимъ тѣ идеи, которыя онъ завѣщалъ послѣдующимъ поколѣніямъ. Послѣ Бѣлинскаго Добролюбовъ считается самымъ авторитетнымъ представителемъ нашего литературнаго самосознанія, и безпристрастный судъ надъ тѣмъ, что сдѣлано этимъ человѣкомъ для русскаго просвѣщенія, покажетъ намъ въ истинномъ свѣтѣ одинъ изъ интереснѣйшихъ моментовъ въ исторіи русской журналистики.

II.

Добролюбовъ родился въ семьѣ священника одного изъ самыхъ богатыхъ приходовъ губернскаго города. Отецъ его, человѣкъ развитой, начитанный, даже образованный, любилъ свѣтскую литературу, отличался высокою нравственностью, которая располагала къ нему не однихъ только прихожанъ его, но и жителей всего города. Честность, безкорыстность, доброта и благодушіе отличали его твердую и открытую натуру. Въ его приходѣ жила большая часть городского дворянства и, постоянно находясь въ образованномъ кругу, принимаемый въ лучшихъ домахъ, какъ любимый гость и интересный собесѣдникъ, онъ совершенно усвоилъ складъ жизни образованнаго класса. Прихожане относились къ нему съ величайшимъ уваженіемъ: они призывали его на семейные совѣты, избирали его въ посредники при семейныхъ несогласіяхъ и недоразумѣніяхъ, приглашали его законоучителемъ для своихъ дѣтей. Мать Добролюбова—нѣжная, набожная, трогательная женщина, преданная сыну до самоотверженія. Въ этой обстановкѣ мальчикъ получилъ впечатлѣнія, которыя воспитывали въ немъ любознательность, интересъ къ книжнымъ занятіямъ, благородство и чувствительность сердца. Ничто не захватывало, не тревожило до глубины его молодого существа, но все вело его по пути нравственной чистоты и выдержанности. Интеллигентная обстановка возбуждала въ немъ интересъ къ умственнымъ занятіямъ, и шести-семи лѣтъ онъ цѣлыми часами сидитъ за книгами или рисунками, не увлекаясь дѣтскими играми, утомляя глаза пристальнымъ и сосредоточеннымъ трудомъ. Онъ отвыкаетъ отъ людского общества, а полное отсутствіе какихъ-бы то ни было гимнастическихъ упражненій дѣлаетъ его неловкимъ, робкимъ и потому застѣнчивымъ. Его отдаютъ въ духовное училище, потомъ переводятъ въ мѣстную семинарію. Начитанность и нѣкоторая опытность въ трудѣ надъ различными книжными вопросами, природная талантливость и разсудочная бойкость выдвигаютъ его среди товарищей по

классу, хотя и не дѣлаютъ его феноменомъ въ школьномъ смыслѣ этого слова—предметомъ молвы или гордости семинаристовъ. Онъ пишетъ длиннѣйшія сочиненія на заданныя темы, блистаетъ книжнымъ слогомъ, ловкими пріемами доказательствъ, въ которыхъ часто замѣчаются проблески живого юношескаго остроумія. Школа не даетъ быстраго хода его умственному развитію. Обо всемъ, чему учатъ профессора, онъ уже читалъ раньше въ книгахъ. Въ его головѣ уже шевелятся мысли о важныхъ матеріяхъ, а педанты школьнаго преподаванія подносятъ безсвязные клочки ненужныхъ, утомительныхъ знаній. Полезность наставленія нѣкоторыхъ учителей перевѣшивается огромной тратой времени на прохожденіе схоластическаго семинарскаго курса, на безплодное сидѣнье въ классахъ, гдѣ нельзя услышать ни единаго живого слова. Семинарія возбуждаетъ въ немъ скуку, насмѣшку, досаду. Онъ забавляется комическими эпизодами школьной жизни, ведетъ обширную «лѣтопись классическихъ глупостей», въ которой осмѣиваетъ и учениковъ и преподавателей, собираетъ цѣлую коллекцію нелѣпостей учителя догматическаго богословія... Вдругъ по классамъ пробѣгаетъ слухъ о новомъ учителѣ нѣмецкаго языка, пріѣхавшемъ изъ петербургской академіи, по фамиліи Сладкопѣвцевъ: онъ молодъ, благороденъ, уменъ, черные волосы его лежатъ въ какомъ-то чудномъ безпорядкѣ, смуглое, мужественное лицо его привлекательно, въ темно-голубыхъ глазахъ его отражается огонь и блескъ сильной и могучей души. Какое важное событіе въ жизни семинаріи! Въ этомъ человѣкѣ, вѣроятно, кроется что-нибудь особенное, новое, еще никогда не виданное, о чемъ пишутъ только въ книгахъ. У юноши возникаетъ мысль—какъ можно ближе познакомиться съ учителемъ, непосредственно приблизиться къ тому, передъ кѣмъ онъ сталъ благоговѣть съ перваго-же слова о немъ, услышаннаго въ случайной бесѣдѣ товарищей. Но онъ робокъ, застѣнчивъ и неловокъ. Онъ боится и подумать о томъ, какъ сдѣлать первый шагъ къ этому сближенію, волнующему его воображеніе, онъ хочетъ непремѣнно отличиться предъ новымъ учителемъ. Тщетно ищетъ онъ случая и возможности, тщетно придумываетъ разныя наивныя средства. Однажды они встрѣтились въ училищномъ коридорѣ. Учитель заговорилъ съ нимъ. Юноша въ волненіи снялъ фуражку и, остановившись въ почтительномъ отдаленіи, едва отвѣчалъ на вопросы. Учитель замѣтилъ ему, чтобы онъ надѣлъ фуражку, но юноша съ чувствомъ благоговѣнія въ душѣ продолжалъ стоять съ непокрытою головою, уже совершенно не отвѣчая на разспросы учителя. Впослѣдствіи они сошлись близко, и память объ этомъ чудномъ знакомствѣ осталась въ молодомъ человѣкѣ на долгіе годы. Ученикъ семинаріи поклонялся уму и характеру учителя, учитель цѣнилъ въ ученикѣ его тонкую и иногда смѣлую разсудительность...

Семинарія окончена, и семнадцатилѣтній Добролюбовъ уѣзжаетъ въ Пе-

тербургъ для поступленія въ духовную академію. Но влекомый съ дѣтства потребностью широкаго и свободнаго развитія и воспользовавшись первымъ подходящимъ обстоятельствомъ, онъ опредѣляется въ Педагогическій Институтъ, нарушая волю отца, но въ душѣ справедливо разсчитывая на быстрое и легкое прощеніе. Здѣсь его способности получаютъ полное удовлетвореніе, и Петербургъ, который и раньше увлекалъ его мыслью о журналистахъ и журналистикѣ, наполняетъ его душу разнообразными интересами въ кругу его лучшихъ влеченій и симпатій. Образованіе идетъ быстрыми шагами въ изученіи исторіи, словесности и другихъ предметовъ. Умѣнье тонко схватывать мысль профессора и передавать ее на бумагѣ съ надлежащею полнотою и сжатостью выдвигаетъ его среди другихъ воспитанниковъ заведенія... Вдругъ его постигаетъ несчастье. Умираетъ мать. Но юноша не теряетъ внутренняго самообладанія и, выдержавъ блестяще экзаменъ, ѣдетъ на вакаціи къ отцу своему, чтобы утѣшить его въ несчастьи. Дома его поражаетъ новое горе: смерть отъ холеры отца. Онъ возвращается въ Петербургъ какой-то сдавленный, угрюмый, сосредоточенный. На пути Добролюбова встрѣчаетъ товарищъ, которому онъ въ холодныхъ выраженіяхъ и съ язвительной улыбкой сообщаетъ о своихъ семейныхъ дѣлахъ. Разсказывая о томъ, что онъ лишился теперь и отца, и матери, онъ прерываетъ отдѣльныя, короткія фразы свои тихо дребезжащимъ смѣхомъ...

Въ Петербургѣ все идетъ своимъ порядкомъ: прежнія занятія въ Институтѣ, къ которымъ прибавилось самостоятельное учительство ради необходимаго заработка, затѣмъ—шумныя впечатлѣнія отъ взбудораженныхъ крымскою войною общественныхъ стремленій, первые опыты на поприщѣ журналистики, окончаніе курса. Жизнь захватываетъ его съ различныхъ сторонъ, занимая его умъ постоянно наростающими вопросами, спорами съ друзьями, знакомствомъ съ выдающимися литераторами. На горизонтѣ петербургской журналистики загоралась въ то время яркая звѣзда Чернышевскаго, и къ нему-то Добролюбовъ, бывшій тогда студентомъ послѣдняго курса Педагогическаго Института, направился съ первыми своими литературными опытами. Чуткій журналистъ, владѣвшій симпатіями молодого поколѣнія, сразу постигъ, что могло выйти изъ этого скромнаго на видъ, но смѣлаго по своему критическому отношенію къ авторитетамъ, начитаннаго и умнаго юноши. Они сблизились, просиживали напролетъ цѣлыя ночи, разбираясь въ судьбахъ русскаго прогресса. Они говорили о наукѣ и философіи, горячо толковали объ извѣстнѣйшихъ дѣятеляхъ въ области русской литературы. Такъ Станкевичъ и Герценъ учили Бѣлинскаго, Бѣлинскій—Некрасова, Грановскій—Забѣлина... Эти историческія сличенія и параллели возбуждаютъ въ молодомъ человѣкѣ тревожныя и вмѣстѣ радостныя мысли: онъ тоже можетъ воспринять отъ выдающагося дѣятеля одного изъ лучшихъ журналовъ его критическій методъ,

его философскій взглядъ на вещи, его направленіе въ самыхъ главныхъ и единственно важныхъ вопросахъ — въ вопросахъ общественности. Еще нѣсколько мѣсяцевъ — и онъ вступаетъ окончательно въ кругъ профессіональныхъ бойцовъ за либеральное дѣло на поприщѣ печатнаго слова. Литература, придвигающаяся извѣстность, то дружественный, то враждебный шепотъ столичной молвы о новомъ талантливомъ молодомъ писателѣ, груда спѣшныхъ журнальныхъ работъ, истощающихъ организмъ—все идетъ впередъ форсированнымъ шагомъ, удовлетворяя умъ, хотя не вытравляя изъ сознанія мысль о томъ, что жизнь все-таки не полна, что чего-то не хватаетъ. Онъ чувствуетъ возможность и потребность влюбиться. Онъ ищетъ любви. Съ нѣкоторыхъ поръ соціальные вопросы переплетаются у него съ представленіями о личномъ счастьѣ. Въ театрѣ онъ любуется тонкими, прозрачными чертами лица актрисы, ея живыми, огненными глазами, ея роскошными волосами, ея граціей въ движеніяхъ, ея обаяніемъ въ малѣйшемъ измѣненіи физіономіи. Во время одной поѣздки въ Старую Руссу онъ знакомится съ доброю, честною, простою дѣвушкой и отдается на короткое время приливу первой физической страсти. Но скоро онъ убѣждается, что она не можетъ наполнить его жизнь, ибо, по его мнѣнію, нельзя любить женщину, надъ которой сознаешь свое превосходство во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ мечтаетъ о женщинѣ, на которой могъ-бы жениться, о настоящей женской ласкѣ, но любовь постоянно уплываетъ отъ него, маня его своими чарами. Его сутуловатая, неуклюжая, семинарская фигура, нѣжная, но болѣзненная наружность, его аккуратно подстриженные волоса и жиденькія бакенбарды, его скромность и застѣнчивость, его близорукіе глаза, глядящіе съ безсильной пытливостью сквозь очки, его неловкая манера подавать мягкую руку какъ-то вбокъ, оттопыривъ большой палецъ—всѣ его внѣшнія особенности не привлекаютъ къ нему женщинъ. Съ нимъ дружились, но женское мнѣніе о немъ было таково, что сокрушало въ немъ всякую самоувѣренность. Даже въ маскарадахъ ни одна маска не интригуетъ его. Женщины не считаютъ его за мужчину и не стыдятся говорить ему многое такое, чего другимъ никогда не сказали-бы. Онъ настойчиво ухаживаетъ то за одной, то за другой, терпѣливо выдерживаетъ довольно долгое время явное дураченье со стороны дѣвушки, которая не соглашается принять его предложеніе. Любовь не приходитъ. Онъ въ истинномъ отчаяніи отъ судьбы, онъ готовъ броситься за каждой дѣвушкой, которая привлечетъ его своею наружностью, но обстоятельства точно издѣваются надъ нимъ. Какой-то ничтожный офицерикъ оттѣсняетъ его, послѣ его неудачъ съ другими женщинами, отъ дѣвушки, которая увлекла его своей красотой съ перваго раза... А чахотка развивается и смерть приходитъ, не давъ извѣдать ему никакого жизненнаго счастья, и уноситъ его послѣ усиленнаго четырехлѣтняго труда въ любимой сферѣ публицистической литературы.

Такова была жизнь Добролюбова.

Въ этой неяркой жизни болѣе или менѣе рельефно выступаютъ три момента, рисующихъ его натуру и темпераментъ: увлеченіе семинарскимъ учителемъ изъ Петербурга, отношеніе къ смерти родителей, исканіе любви со всѣми его неудачами. На этихъ фактахъ Чернышевскій основываетъ свои доказательства, что Добролюбовъ—натура, полная жизни, фанатической страсти, громадной воли, натура, закаленная въ отношеніяхъ съ людьми, въ борьбѣ съ обстоятельствами. Чернышевскій до такой степени убѣжденъ въ вѣрности своего пониманія Добролюбова, что въ пылу полемическаго гнѣва и раздраженія обзываетъ «тупоумными глупцами» и «дряннымиными пошляками» тѣхъ, кто не раздѣляетъ его мнѣнія о характерѣ этого симпатичнаго человѣка. Но факты остаются фактами и мы, не боясь принять на свою голову этихъ нетерпимыхъ, застращивающихъ приговоровъ, разойдемся въ характеристикѣ Добролюбова съ мнѣніемъ его пристрастнаго біографа и пылкаго друга.

III.

Добролюбовъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ вырабатывалъ въ себѣ черты извѣстнаго реалистическаго закала. Въ первыхъ его отношеніяхъ къ окружающей обстановкѣ, въ сужденіяхъ его о людяхъ и дѣлахъ во время прохожденія петербургскаго Педагогическаго Института—во всемъ и повсюду рельефно выступаетъ цѣльная и въ двадцать лѣтъ совершенно законченная натура. Разсудокъ у него господствуетъ надо всѣмъ, юморъ даетъ ему возможность справляться съ матеріалами жизни, которые не родственны его душѣ, а приливы сентиментально мечтательнаго чувства, по каждому болѣе или менѣе выдающемуся случаю въ его личной жизни, создаютъ ему какія-то странныя, летучія удовлетворенія и огорченія въ области его сердца. И эти три свойства его характера — разсудочность, юморъ и чувствительность—не вступая въ борьбу между собой, держатъ его душу въ постоянномъ равновѣсіи, заграждая доступъ всякому отчаянію, не давая развиться въ ней никакому пылкому порыву, никакой истощающей страсти. Насмѣшка пренебрежительно откидываетъ все, что требуетъ напряженія внутреннихъ силъ, мечтательный романтизмъ не нарушаетъ общаго хода душевной жизни. Опасна только страсть, которая налетаетъ, какъ ураганъ, разрушаетъ привычные устои жизни, сталкивая между собою различные и притомъ совершенно непримиримые интересы и влеченія. То, что не приводитъ въ движеніе всѣхъ силъ и стремленій человѣка, не имѣетъ серьезнаго значенія для цѣлаго строя нашего духовнаго и умственнаго существованія. Страсть, какъ бурная стихія, опустошаетъ источники жизни, но, опустошая, даетъ забвеніе въ высшихъ радостяхъ поэтическаго и нравственнаго экстаза. Безмятежно сентиментальн-

ное чувство только играетъ въ душѣ человѣка, невинно переливается между его привычными и устоявшимися понятіями, ничего не измѣняя по существу, ни на что не накладывая рѣзкой и яркой печати.

Разсудокъ, юморъ, романтическая чувствительность—вотъ тѣ элементы, изъ которыхъ сложилась вся жизнь Добролюбова. Объ этомъ свидѣтельствуютъ всѣ записки, письма и дневники, которые съ такою любовью собраны и снабжены пояснительными примѣчаніями Чернышевскимъ. Одинъ изъ первыхъ учителей Добролюбова, мужъ сестры его, Михаилъ Алексѣевичъ Костровъ, сообщаетъ намъ, что въ ранніе годы жизни Добролюбовъ былъ самымъ набожнымъ человѣкомъ въ Нижнемъ-Новгородѣ. До отъѣзда въ Педагогическій Институтъ онъ считалъ за грѣхъ напиться чаю въ праздничный день до обѣдни, выпить стаканъ воды послѣ исповѣди до причастія. Въ дневникѣ, относящемся къ этому періоду времени, онъ заноситъ мельчайшіе грѣхи противъ того, что считаетъ своею религіозною обязанностью. Однажды онъ во время исповѣди осудилъ духовника своего и не покаялся въ этомъ. Только что выйдя изъ алтаря, онъ сдѣлался виновенъ «въ страхѣ человѣческомъ», въ суетныхъ помышленіяхъ славолюбія и гордости. Лѣность къ молитвѣ, разсѣянность и легкомысліе, осужденіе и насмѣшка, непріязнь къ ближнему, «преданіе чувственности, чревоугодіе и лакомство»—все терзаетъ его совѣсть, воспитанную въ благочестіи, и заставляетъ его искать успокоенія въ краснорѣчивыхъ укоризнахъ самому себѣ, въ воззваніяхъ къ Богу о помилованіи и спасеніи. Но, по сообщенію Кострова, которое поддерживается и Чернышевскимъ, это поверхностное религіозное чувство жило въ Добролюбовѣ до перваго крупнаго несчастья, которое постигло его въ 1854 г. Когда къ нему пришло извѣстіе о смерти его матери, въ его взглядахъ на міръ, «на законы вселенной», какъ выражается Чернышевскій, произошелъ переломъ: религіозность пропала, замѣнившись трезвымъ отношеніемъ къ жизни, къ людямъ, къ своей собственной задачѣ. При первомъ слухѣ о болѣзни матери, Добролюбовъ посылаетъ отцу своему длинное письмо, переполненное выраженіями горя, дышащее неподдѣльною любовью сына къ родителямъ. «Боже мой, восклицаетъ онъ, въ прахѣ и смиреніи повергаюсь предъ Твоею святою волею! Едва дерзкія мысли посѣтили мою голову, какъ страшная кара грозитъ уже мнѣ, видимымъ образомъ наказывая самонадѣянность надменнаго ума. Но я смиряюсь, я надѣюсь, я вѣрую! Господи, помози моему невѣрію, подкрѣпи меня». Онъ обращается къ отцу, къ сестрамъ, братьямъ, умоляя ихъ употребить всѣ средства для спасенія драгоцѣнной жизни. Пусть докторъ выкажетъ всѣ старанія, все свое искусство. «Слышите-ли еще вы?—взываетъ онъ къ матери. Благословите меня, успокойте меня, утвердите во мнѣ вѣру въ Провидѣніе, спасите меня на этомъ пути!». Но когда затѣмъ пришло письмо отца съ извѣстіемъ о несчастьи, постигшемъ семью его, Добролю-

бовъ поспѣшилъ отвѣтить словами утѣшенія. Онъ проситъ отца надѣяться на то, что счастье снова посѣтитъ когда-нибудь его смиренную долю, въ кругу дѣтей, которыя никогда не перестанутъ его любить. Надо покориться святой волѣ. Надо обнаружить силу и твердость въ перенесеніи тяжелаго бѣдствія. Сѣтованія не помогутъ, а сила духа, обнаруженная въ горѣ, «благоразуміе и распорядительность», проявленныя въ тяжелыхъ обстоятельствахъ, показываютъ въ человѣкѣ истинныя достоинства. Онъ не сомнѣвается, что *ей* тамъ лучше, свободнѣе, веселѣе. Въ «ангельскихъ селеніяхъ» она нашла осуществленіе того, о чемъ тосковала ея душа при жизни. О ней нечего жалѣть. Онъ жалѣетъ о себѣ, о своемъ бѣдномъ сердцѣ, на которое всегда такъ сладостно отзывалось сердце матери. Онъ томится безпокойствомъ о братьяхъ и сестрахъ. И въ рядѣ писемъ къ отцу и друзьямъ Добролюбовъ то въ пылкихъ выраженіяхъ изливаетъ свою скорбь, перемѣшанную съ наивными грезами о «невещественномъ блескѣ» и «неземной красотѣ», свою тоску о потерѣ, которая принимаетъ въ глазахъ его «все болѣе и болѣе гигантскіе размѣры», то спокойно разсказываетъ о ходѣ своихъ экзаменовъ въ Институтѣ, откровенно сознаваясь при этомъ, что горе не повредило ему въ его дѣлахъ, что грусть не оторвала его отъ текущихъ обязанностей. Напротивъ того: несчастіе пробудило въ немъ энергію, подняло его изъ той постоянной, «холодной апатіи», къ которой онъ такъ расположенъ по природѣ. «Я холоденъ ко всему, пишетъ Добролюбовъ Благообразову, и потому отъ меня нельзя требовать большой чувствительности и пылкости». Есть люди, которые горятъ любовью къ цѣлому человѣчеству: это чувствительные характеры, для которыхъ не особенно замѣтна потеря одного любимаго предмета. Но есть еще другіе люди. Они холодны по природѣ, ни къ чему не привязаны въ мірѣ. Тотъ запасъ любви, который они носятъ въ своемъ сердцѣ, они не расточаютъ зря, всякому встрѣчному человѣку. Сдержанные въ своихъ порывахъ, сосредоточенные въ самихъ себѣ, они обращаютъ свои чувства только на такое существо, которое имѣетъ на нихъ какія-нибудь особенныя, исключительныя права. Добролюбовъ причисляетъ себя къ людямъ этой послѣдней категоріи. Былъ одинъ человѣкъ, котораго онъ любилъ съ нѣжностью молодого сердца, на которомъ сосредоточилъ всѣ свои чувства, и этотъ человѣкъ умеръ. Теперь онъ остался одинъ. Никто не взглянетъ на него съ тѣмъ выраженіемъ безпредѣльнаго счастья, которое онъ читалъ въ глазахъ матери. Никто не обойметъ его съ простодушной лаской. Никто не пойметъ его внутреннихъ, мелкихъ волненій, печалей и радостей. Душа его закрылась для всѣхъ, и онъ не можетъ уже съ сердечнымъ участіемъ внимать разсказамъ другихъ объ ихъ внутренней жизни. Отчій домъ не манитъ его больше къ себѣ, семья перестала его интересовать, будущность представляется ему въ какомъ-то жалкомъ, безотрадномъ свѣтѣ. «Ты скажешь

опять, говоритъ Добролюбовъ въ концѣ письма, что я разсуждаю, а не чувствую. Но въ томъ-то и бѣда моя, что я разсуждаю. Если-бы я могъ, какъ другіе, разразиться слезами и рыданіями, воплями и жалобами, то, разумѣется, тоска моя облегчилась-бы и скоро прошла. Но я не знаю этихъ порывовъ сильныхъ чувствованій, я всегда разсуждаю, всегда владѣю собою и потому-то мое положеніе такъ безотрадно, такъ горько. Разсудокъ не позволяетъ мнѣ забыться ни на минуту. Слезы душатъ меня, но не льются изъ глазъ». Онъ не знаетъ никакихъ сильныхъ порывовъ, онъ всегда разсуждаетъ, всегда владѣетъ собой. Онъ не можетъ забыться ни на минуту. «Съ своей холодностью надменной, одинъ, одинъ во всей вселенной, безъ упованья и любви», съ мечтательной чувствительностью вмѣсто горячей любви къ людямъ, съ сатирической усмѣшкой, вмѣсто живого увлеченія, которое порождается идеальнымъ взглядомъ на себя и на людей—вотъ съ какими душевными рессурсами выступалъ Добролюбовъ на арену жизни. Онъ именно таковъ, какимъ самъ себя рисуетъ въ письмѣ къ Благообразову. Въ его отношеніяхъ къ матери всѣ типическіе оттѣнки его темперамента. Въ его отчаяніи по поводу ея смерти слышится нота сердечной слабости. Эти постоянныя восклицанія въ отрывистыхъ фразахъ, разъединенныхъ неизбѣжными многоточіями, эти нескончаемыя призыванія Божьяго имени съ моленіями не дать поколебаться вѣрѣ, вразумить и научить безпомощнаго ради этой чистой и безгрѣшной праведницы, которая витаетъ теперь въ сіяніи «невещественной красоты», эти растерянныя обращенія къ близкимъ людямъ съ многократнымъ употребленіемъ, на разстояніи двухъ-трехъ фразъ, ихъ уменьшительно-ласкательныхъ именъ—все это не говоритъ о всесильномъ душевномъ потрясеніи, о страданіи, охватившемъ всего человѣка, поколебавшемъ даже его религіозное убѣжденіе. Могучее настроеніе выражается иначе. Сильныя движенія чувства вырываются въ словахъ, которыя волнуютъ душу, возбуждаютъ отвѣтное сочувствіе или несочувствіе, но никогда не утомляютъ однообразіемъ безсодержательныхъ и безпомощныхъ причитаній, изливающихся на бумагѣ. Горе, потрясающее все существо, внезапно раскрываетъ предъ человѣкомъ такія стороны жизни, которыя раньше терялись въ туманѣ. Тутъ совершается внутренній переворотъ, углубляющій творческія силы, отражающійся въ тончайшей сферѣ нравственныхъ и философскихъ понятій. Въ пароксизмѣ отчаянія, когда дрожатъ всѣ нервы, когда взволнованы всѣ чувства,—мысли, одна ослѣпительнѣе другой, вспыхиваютъ и проносятся въ сознаніи съ необычайною быстротою. Лицомъ къ лицу съ зловѣщимъ горемъ, человѣкъ, почему-либо прорвавшійся въ изліяніи, пріобрѣтаетъ краснорѣчіе, потрясающее правдой и вдохновеніемъ. У Добролюбова страданіе по случаю смерти матери выражается безсвязными и монотонными фразами. Во всѣхъ дошедшихъ къ намъ отрывкахъ изъ его дневника, въ письмахъ

къ отцу и близкимъ людямъ, въ сохранившихся воспоминаніяхъ о немъ друзей и знакомыхъ мы не нашли ни единаго сильнаго, поражающаго глубиною слова. Мы не говоримъ, что смерть матери не причинила Добролюбову глубокаго страданія. Мы утверждаемъ только, что страданіе этого человѣка, жившаго съ малыхъ лѣтъ настроеніями разсудка, никогда даже воображеніемъ не витавшаго ни надъ какими глубокими пропастями, не выросло въ душѣ его до степени всепоглощающаго страданья. Страсть во всѣхъ ея видахъ была чужда его душѣ. Могучія, пожирающія волненія ума или сердца были не въ его характерѣ. Памяти матери онъ отдалъ то, чѣмъ располагалъ его духъ, и со всѣмъ присущимъ ему благородствомъ неизмѣнной прямоты и полнѣйшей искренности онъ принялъ упрекъ Благообразова «въ холодности и романтичности». Онъ былъ-бы счастливъ, еслибъ могъ разразиться слезами и рыданіями, еслибъ сумѣлъ облегчить свою тоску настоящими воплями. Но природа, давъ ему способность твердо двигаться по одному пути, крѣпкую волю, холодное и ясное разумѣніе жизни и людей, отказала ему въ порывахъ пылкаго чувства, въ наслажденіяхъ восторга и экстаза...

Несмотря на все это, Чернышевскій убѣжденъ, что смерть матери произвела цѣлый переворотъ во внутренней жизни Добролюбова. Добролюбовъ вдругъ опомнился, стряхнулъ съ себя дѣтскія убѣжденія и взглянулъ на «законы вселенной» съ новой точки зрѣнія. Послѣ кратковременной борьбы старыхъ и новыхъ стремленій, онъ былъ поставленъ предъ лицомъ настоящей правды. Натуры, въ которыхъ преобладаетъ отвлеченный умъ, приходятъ къ разрыву съ убѣжденіями дѣтства силою теоретическихъ соображеній. Но Добролюбовъ, съ его всегда реальными намѣреніями и убѣжденіями, съ его желаніями, опредѣленными до конкретности, «при всей безпредѣльности его теоретической программы», тянулся постоянно къ тому, что рисовалось его воображенію въ простыхъ и ясныхъ образахъ. Когда онъ писалъ, предъ его мыслью неотступно стояли простые факты дѣйствительной жизни. Когда онъ переживалъ огорченіе, передъ нимъ носились всегда фигуры людей, съ которыми сроднилось его чувство. *Фактъ* всегда находится передъ его сознаніемъ во всей полнотѣ своихъ частныхъ, случайныхъ признаковъ. «За что такъ строга судьба, восклицаетъ Добролюбовъ. Матушка моя была такъ религіозна, такъ набожна, такъ необходима малолѣтней семьѣ нашей. Зачѣмъ было отнимать ее у насъ? Поневолѣ задумаешься». Объятый сомнѣніями, онъ чувствуетъ приступъ холоднаго отчаянія... Вотъ какъ совершается перерожденіе души, живущей жизненными фактами: религіозныя убѣжденія улетучиваются при первомъ роковомъ ударѣ судьбы, руководящій принципъ жизни, то, что должно дать крѣпость въ борьбѣ съ обстоятельствами, разносится по вѣтру, уступая мѣсто безжизненному представленію о «законахъ вселенной», которые сами себѣ довлѣютъ.

Но настоящее религіозное чувство не было свойственно натурѣ Добролюбова. Весь складъ его характера, его темпераментъ, его прирожденный юморъ, сверкавшій въ ученическихъ тетрадяхъ, игравшій въ забавныхъ пародіяхъ на профессорскія лекціи въ стѣнахъ Педагогическаго Института,—все, что было въ Добролюбовѣ самостоятельнаго и оригинальнаго, выдѣлявшаго его изъ толпы, весь методъ его жизни и дѣйствій, никогда не обнаруживали въ немъ человѣка живого религіознаго настроенія. Это тотъ психическій типъ, который, при извѣстныхъ условіяхъ, даетъ отважныхъ гражданскихъ борцовъ съ яснымъ и твердымъ убѣжденіемъ въ практическихъ вопросахъ. Но это не тотъ типъ, который обладаетъ внутренними силами, способными выдержать мощныя теченія мірового духа, не тотъ типъ, который даетъ фанатическихъ проповѣдниковъ вѣчныхъ идей, пророковъ, волнующихъ всѣ человѣческія сердца безъ различія жизненныхъ убѣжденій и партійныхъ взглядовъ. Элементовъ религіознаго экстаза въ Добролюбовѣ не было, и впечатлѣніе отъ смерти матери не было тѣмъ фактомъ, который совершилъ переворотъ въ его міровоззрѣніи. Смерть, открывающая передъ человѣкомъ бездну человѣческаго ничтожества, хотя-бы на одно мгновеніе возбуждающая мысль о призрачности человѣческихъ дѣлъ и стремленій въ области мелкихъ и временныхъ личныхъ интересовъ, никогда ни въ комъ не заглушала чувства божества, никогда не дѣлала людей, носящихъ въ душѣ истинно религіозное чувство, равнодушными къ вопросамъ религіи. Только убѣжденіе, идущее отъ внѣшнихъ впечатлѣній, боится смерти. Но религіозное убѣжденіе, питаемое религіознымъ чувствомъ, основанное на ощущеніи безконечнаго, на сознаніи превосходства духовнаго начала надъ всѣмъ временнымъ, конечнымъ, случайнымъ, при всѣхъ несчастіяхъ, обрушивающихся на человѣка, показываетъ ему утѣшительный свѣтъ, мерцающій въ отдаленіи. Двигаясь отъ вѣчнаго начала и глядя въ вѣчность, религіозное убѣжденіе встрѣчаетъ смерть съ несокрушимою нравственною твердостью, какъ переходъ къ новымъ формамъ духовнаго существованія. Два міра, создаваемые творческимъ воображеніемъ—міръ природы, соціальной среды, въ которомъ проходитъ земная жизнь человѣка, и міръ вѣчныхъ идеаловъ, въ которомъ носится постоянно его свѣтлое убѣжденіе, къ которому стремятся его лучшія симпатіи, его тайныя, возвышающія духъ, надежды, — спорятъ между собою отъ вѣка, и исходъ этого спора, не представляющій сомнѣнія для философіи, въ различные моменты историческаго развитія, склоняется то въ одну, то въ другую сторону. Когда впереди жизни выступаютъ люди, руководимые высшими отвлеченными понятіями и идеями, волнуемые жаждой безусловной истины, пригодной для всѣхъ временъ и при всѣхъ обстоятельствахъ, міръ идеальныхъ принциповъ получаетъ господство, какъ вѣяніе эпохи, и увлекаетъ къ высшимъ задачамъ лучшія силы общества.

Жизнь съ ея повседневными заботами и нуждами не прекращается, но, направленная къ свѣту вѣчныхъ идеаловъ, пріобрѣтаетъ характеръ живого броженія и самоотверженной борьбы за высшія права духовной человѣческой природы. Когда-же во главѣ общества становятся люди безъ религіознаго убѣжденія, съ одними только гражданственными стремленіями, не основанными на болѣе общихъ внутреннихъ влеченіяхъ души, тогда развитіе общества принимаетъ узко-утилитарное направленіе, въ его сознаніи совершается поворотъ въ сторону чисто внѣшнихъ интересовъ и успѣховъ, поворотъ, гибельный для всей духовной культуры, изсушающій источники творческой дѣятельности въ высшихъ сферахъ человѣческаго мышленія...

Добролюбовъ не былъ человѣкомъ отвлеченныхъ понятій и идей. «Сердце мое черство и холодно къ религіи», говорилъ онъ, и вотъ почему нельзя согласиться съ Чернышевскимъ, что горе произвело переворотъ во всемъ его религіозномъ міровоззрѣніи. Эта саркастическая улыбка, съ которою онъ сообщаетъ своему товарищу о постигшемъ его несчастіи, этотъ сдавленный смѣхъ, который неожиданно прорывается въ его холодномъ разговорѣ на тему его личныхъ несчастій—свидѣтельствуютъ объ отсутствіи глубокихъ психологическихъ настроеній, о разладѣ между сознаніемъ громадности несчастія и недостаткомъ непосредственныхъ ощущеній, въ которыхъ это несчастіе должно было-бы выразиться. Въ смѣхѣ его звучитъ проклятіе самому себѣ, скудости своихъ собственныхъ страданій и порывовъ. Смерть матери была для него только тѣмъ событіемъ, которое, дохнувъ холодомъ на его внутренній міръ, дало скристаллизоваться преобладающимъ элементамъ его разсудочной натуры.

Таковъ этотъ первый фактъ, которому Чернышевскій придалъ тенденціозное, невѣрное освѣщеніе. О переломѣ въ *убѣжденіяхъ* Добролюбова не можетъ быть и рѣчи, о чувствѣ всепоглощающей скорби можно распространяться только по недоразумѣнію. Добролюбовъ самъ понималъ себя гораздо вѣрнѣе, чѣмъ понимали его ближайшіе друзья и сотоварищи по журналу. Онъ не рисовался качествами, которыя были чужды его темпераменту.

Другой фактъ, невѣрно истолкованный Чернышевскимъ для подтвержденія страстности Добролюбова, это—увлеченіе Добролюбова преподавателемъ Сладкопѣвцевымъ. Мы видѣли это трогательное благоговѣніе воспитанника семинаріи передъ учителемъ, принесшимъ съ собою въ провинціальный городъ духъ столичнаго броженія, печать какой-то тревоги и оживленія на поэтически-красивомъ лицѣ. Всѣ оттѣнки чувства молодого Добролюбова рисуютъ намъ его кроткое, боязливое сердце, воображеніе, приподнятое книжными словами и пробуждающимися вокругъ общественными инстинктами, характеръ, склонный къ мечтательности, съ ясно

выступающею чертою разсудочной пытливости, натуру, чуткую ко всякимъ внѣшнимъ событіямъ, не созданную для того, чтобы творить новыя явленія жизни, но легко идущую вслѣдъ за всѣмъ благороднымъ, сильнымъ и смѣлымъ. Въ этихъ отношеніяхъ Добролюбова къ Сладкопѣвцеву нѣтъ ничего активнаго, страстнаго, ничего, что обнаруживаетъ особенную психическую глубину и оригинальность. Юноша долго колеблется, смущается, не дѣлаетъ съ своей стороны ни одного рѣшительнаго шага, ждетъ случая приблизиться къ «кумиру своей души» и, когда Сладкопѣвцевъ уѣзжаетъ изъ Нижняго-Новгорода, пишетъ ему длиннѣйшія письма—и не рѣшается отправлять ихъ по адресу. Гдѣ-же тутъ страсть и пылкость характера? Это обычный эпизодъ въ жизни почти каждаго юноши, и только фанатическій восторгъ Чернышевскаго могъ придать ему такой превратный, исключительный смыслъ. Въ этомъ эпизодѣ натура Добролюбова, какою она была въ ранніе годы его жизни, рисуется въ такомъ ясномъ и простомъ освѣщеніи. Симпатичный, благородный и чувствительный, Добролюбовъ постоянно искалъ людей и фактовъ, которые могли бы захватить и привязать его чувства, наполнить его душевную жизнь, но, не надѣленный отъ природы страстями, могучими силами, побѣждающими все, что встрѣтится по пути, онъ не находилъ никогда, до послѣдней минуты жизни, никакого настоящаго утѣшенія, никакой отрады взаимности. Любовь не давалась ему. Женщины предлагали ему только свою дружбу. Товарищи по семинаріи и Педагогическому Институту уважали его за умъ и талантъ, но никогда не отдавали ему всѣхъ своихъ привязанностей, не шли за нимъ, какъ за руководителемъ. Никогда при жизни онъ не главенствовалъ надъ окружающими: тихій, скромный, начитанный и серьезный, онъ проливалъ ясный, разсудочный свѣтъ на всѣ предметы, на всѣ событія общественной жизни, но никогда самъ не забывался въ порывѣ сильнаго увлеченія и не увлекалъ до самозабвенія другихъ, никого не электризовалъ, ни въ комъ не будилъ восторженнаго стремленія къ подвигу. Мы не находимъ никакого пафоса ни въ жизни, ни въ произведеніяхъ Добролюбова. Если онъ «не связалъ судьбы своей ни единымъ пристрастіемъ», то не потому, какъ это думаетъ Некрасовъ, что онъ умѣлъ устоять передъ соблазнами жизни, что онъ «сознательно берегъ себя для дѣла», что онъ желалъ принести себя всецѣло въ жертву долга, а потому, что страсти не овладѣвали его душой. Умомъ онъ цѣнилъ пристрастія жизни, но эти пристрастія убѣгали отъ него. Онъ искалъ красоты, но красота, которая вѣнчаетъ только силу, только красоту, физическую или духовную, не отдавалась ему. Такъ затеривается въ жизни благородство, если оно не проникнуто безумно-смѣлыми порывами, если въ немъ нѣтъ творящаго вдохновенія. Такъ проходитъ жизнь человѣка съ талантомъ, съ лучшими нравственными и умственными стремленіями, не оставляя

глубокой борозды въ духовномъ развитіи общества, если въ душѣ его не оказалось пламенной энергіи. Добролюбовъ не герой, какъ Бѣлинскій, хотя литературный талантъ его, какъ мы увидимъ это въ слѣдующей статьѣ, отличался выдающимися качествами. Онъ не былъ и тѣмъ реальнымъ человѣкомъ, «съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ», о которомъ онъ говорилъ, какъ объ идеалѣ выступающаго на историческую сцену молодого поколѣнія. Находясь какъ бы на рубежѣ двухъ смѣняющихъ другъ друга эпохъ, онъ по временамъ теряетъ почву подъ ногами и ничему не отдается всѣми силами своего существа. Новая эпоха еще не настала. Поколѣніе новыхъ людей еще только подростаетъ. Скоро оно подростетъ и станетъ на мѣсто людей «съ высокими, но нѣсколько отвлеченными стремленіями», съ приверженностью къ безусловнымъ принципамъ, къ философскимъ идеямъ, витающимъ надъ всякою дѣйствительностью. Подростающее поколѣніе поставитъ себѣ истинно трезвую задачу. Оно сдѣлаетъ своей цѣлью не вѣрность отвлеченнымъ, высшимъ идеямъ, а «принесеніе возможно большей пользы человѣчеству», служеніе не «грандіознымъ или патетическимъ событіямъ», а тѣмъ фактамъ жизни, которые двигаютъ благосостояніе человѣчества. Люди прежнихъ поколѣній «скакали во всю конскую прыть по чистому полю», реалистическіе борцы за общественные интересы пойдутъ осторожнымъ, но вѣрнымъ шагомъ по пути, усѣянному жертвами исторіи и соціальныхъ обстоятельствъ... Къ этому послѣднему типу стремились всѣ симпатіи Добролюбова, но самъ онъ принадлежалъ къ людямъ промежуточнаго времени и переходныхъ настроеній. Типъ чистаго идеалиста, какимъ былъ Станкевичъ, какимъ былъ по натурѣ Бѣлинскій и какимъ не былъ ни одинъ изъ дѣятелей «Современника», вымиралъ окончательно. Новый типъ послѣдовательнаго реалиста, съ его простыми, здравыми, прозаическими сужденіями о литературѣ и жизни, только начиналъ слагаться среди неустоявшихся условій жизни и умственныхъ теченій, не получившихъ вполнѣ опредѣленнаго направленія.

Спокойная, уравновѣшенная натура «съ симпатическимъ сердцемъ», склоннымъ къ сострадательности, Добролюбовъ былъ чуждъ всему поэтическому. Онъ не пристращался къ красотамъ природы, не любилъ картинъ, не наслаждался произведеніями скульптуры, и вездѣ и всегда искалъ человѣка, какъ бы вынутаго изъ поэтической обстановки, взятаго внѣ того пейзажа, который окружаетъ и извѣстнымъ образомъ оттѣняетъ его жизнь. Какимъ бы трудомъ онъ ни занимался, онъ всегда съ удовольствіемъ оставлялъ занятія для живого разговора, который, при его участіи, начинаясь литературою или профессорскими лекціями, сводился въ концѣ концовъ на вопросы чисто житейскіе. Рѣзкій въ приговорахъ и сужденіяхъ, онъ оскорблялся всѣмъ, что противорѣчило его понятію о благѣ общества, и, впадая часто въ злую откровенность,

смѣялся въ лицо глупцу, раздраженно отворачивался отъ негодяя. Однажды вечеромъ, во время его пребыванія въ Педагогическомъ Институтѣ, нѣсколько товарищей сидѣли вмѣстѣ въ камерѣ за столомъ. Добролюбовъ, сдвинувши на лобъ очки, читалъ какую то книгу. Вдругъ приходитъ студентъ и начинаетъ разсказывать своему товарищу городскую новость: носятся слухи объ освобожденіи крестьянъ. Считая себя аристократомъ между плебеями, разсказчикъ, передавая сенсаціонное извѣстіе, выражаетъ оттѣнокъ неудовольствія. Добролюбовъ продолжаетъ угрюмо читать. Переходя отъ одного соображенія къ другому, студентъ началъ, наконецъ, развивать мысль, что реформа несвоевременна для Россіи, что помѣщичьи интересы пострадаютъ, что страна въ общемъ ничего не выиграетъ. Добролюбовъ поблѣднѣлъ, вскочилъ съ мѣста и, потерявъ самообладаніе, которое почти никогда не оставляло его, закричалъ: «Господа, гоните этого подлеца вонъ! Вонъ, бездѣльникъ! Вонъ!..» Въ дѣлахъ общественныхъ, которыя онъ считалъ единственно важными, онъ, по собственному признанію, не зналъ середины [1]). Но все, что не имѣло прямого отношенія къ гражданственности, онъ считалъ пустяками. Искусство не волновало его. Къ вдохновенію онъ относился скептически. Литературу онъ считалъ подспорьемъ жизни и прямо говорилъ, что предпочелъ бы ей живое общественное дѣло [2]). Поэзію онъ цѣнилъ только такую, которая призываетъ къ практическому дѣлу. Когда въ «Современникѣ» появился «Пахарь» Григоровича, Добролюбовъ съ жаромъ доказывалъ всю несостоятельность этой повѣсти, съ особеннымъ напоромъ указывая на «идеализацію», съ которой авторъ описалъ смерть крестьянина. Однажды, въ минуту нѣвучаго настроенія, другъ Добролюбова, Радонежскій, запѣлъ какой-то романсъ.

— Радонежскій!—воскликнулъ Добролюбовъ, не любившій пѣнія, — перестанешь-ли ты сердечные романсы распѣвать? Ужели ты не имѣешь въ запасѣ для пѣнія чего-нибудь получше?

Добролюбовъ подсунулъ ему стихи Некрасова.

— Оставь, пожалуйста, любовь и цвѣты: пой жизнь, плачь, свисти...

Эти мелкія подробности, собранныя вмѣстѣ, возстановляютъ предъ нами истинный образъ Добролюбова. Не надо впадать ни въ какія преувеличенія при оцѣнкѣ этой симпатичной, но не сложной натуры: онъ умеръ не отъ «гражданской скорби», какъ это утверждается въ некрологѣ «Современника». Болѣзненный, золотушный отъ природы, онъ быстро истощился въ снѣшныхъ трудахъ на поприщѣ литературы, среди сѣрой,

---

[1]) «Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова», т. I. Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва 1890, стр. 521, письмо къ И. И. Бордюгову.

[2]) См. статью Аверкіева, «Русскій Инвалидъ» 1861, № 267: «Русскій публицистъ, памяти Н. А. Добролюбова», и статью Н. Островской въ «Волжскомъ Вѣстникѣ» № 296, 1893: «Мои воспоминанія о Н. А. Добролюбовѣ».

безрадостной личной жизни, и сошелъ въ могилу почти юношей, не довершивъ своего дѣла, не дойдя до послѣднихъ заключеній въ своихъ умственныхъ занятіяхъ. Друзья нашли нужнымъ, не разбираясь въ *психологическихъ* матеріалахъ его недолгой жизни, придать его личности фантастическое освѣщеніе, надѣливъ его тѣми привлекательными качествами, въ которыхъ отказала ему природа. Онъ какъ бы самъ предчувствовалъ эту насмѣшку судьбы надъ своей безотрадной прозаической участью, когда писалъ одно изъ своихъ предсмертныхъ стихотвореній, не лишенное поэтическихъ достоинствъ, проникнутое сердечной грустью и болѣзненнымъ юморомъ по отношенію къ себѣ и къ близкимъ друзьямъ и товарищамъ:

Пускай умру, печали мало;
Одно страшитъ мой умъ больной,—
Чтобы и смерть не разыграла
Обидной шутки надо мной!
Боюсь, чтобъ надъ холоднымъ трупомъ
Не пролилось горячихъ слезъ,
Чтобъ кто-нибудь, въ усердьѣ глупомъ,
На гробъ цвѣтовъ мнѣ не принесъ.
Чтобъ безкорыстною толпою
За нимъ не шли мои друзья,
Чтобъ подъ могильною землею
Не сталъ любви предметомъ я.
Чтобъ все, чего желалъ такъ жадно
И такъ напрасно я живой,
Не улыбнулось мнѣ отрадно
Подъ гробовой моей доской!

IV.

Критическая литература о Добролюбовѣ не очень велика, и мы считаемъ необходимымъ обозрѣть главнѣйшіе отзывы, высказанные объ этомъ талантливомъ писателѣ, чтобы показать при этомъ, какъ русское общество, въ лицѣ его лучшихъ представителей, поняло и оцѣнило его литературную дѣятельность, какія идеи оно отмѣтило своимъ сочувствіемъ въ его произведеніяхъ. Это покажетъ намъ ту высоту, на которой оно находилось и находится до сихъ поръ: сужденія о критикѣ или публицистѣ обнаруживаютъ всегда тѣ запросы, которые существуютъ въ обществѣ, степень его культурности, его духовнаго развитія. Совершенно ясно, что оцѣнивать Добролюбова, какъ критика, нужно было прежде всего съ чисто критической точки зрѣнія. Необходимо было опредѣлить, на сколько его дѣятельность отвѣчала той задачѣ, которую должна ставить себѣ всякая литературная критика вообще, сдѣлалъ-ли Добролюбовъ шагъ впередъ въ дѣлѣ критическаго пониманія литературныхъ явленій по сравненію съ Бѣлинскимъ или, продолжая только одну, послѣднюю тенден-

цію въ дѣятельности своего предшественника, вывелъ русскую критику на опасный, скользкій путь случайныхъ и временныхъ сужденій, увлекшись своими выдающимися публицистическими способностями. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что дѣятельность Добролюбова совпала съ однимъ изъ самыхъ выдающихся моментовъ въ русской исторіи, когда всѣ силы общества, напряженныя ожиданіемъ реформъ въ соціальномъ строѣ, уже приведенныя въ движеніе первыми проблесками новой политической эпохи, порывались на служеніе назрѣвшей исторической задачѣ Это было, можетъ быть, самымъ торжественнымъ періодомъ въ развитіи русской культуры и гражданственности. Надъ многомилліоннымъ русскимъ крестьянствомъ уже восходила заря освобожденія. Русскіе суды, съ ихъ старой системой негласнаго производства, доживали послѣдніе дни, задыхаясь въ сѣтяхъ безконечной канцелярской волокиты. Накапливались цѣлыя груды неразрѣшенныхъ земскихъ вопросовъ, для которыхъ общество ожидало твердыхъ и авторитетныхъ объясненій со стороны закона, выдвигая при этомъ изъ своей собственной среды людей съ яснымъ и трезвымъ отношеніемъ къ практическимъ нуждамъ и задачамъ русской жизни. Все стремилось къ свѣту. Невыраженныя въ теченіе многихъ столѣтій потребности рвались наружу и жаждали новыхъ формъ жизни и дѣятельности. Общество пришло въ движеніе. Интеллигентные русскіе люди вышли впередъ, предлагая свой трудъ, свои знанія для живого дѣла возрожденія русской общественности. Журналистика, и раньше служившая ареною самыхъ пылкихъ и горячихъ споровъ по вопросамъ, въ которыхъ практическіе интересы Россіи выступали въ замаскированномъ видѣ, поставила открыто и ясно рядъ экономическихъ и юридическихъ теоремъ, призывая къ ихъ разрѣшенію вниманіе и силы всѣхъ русскихъ людей. Именно въ это время въ русскомъ обществѣ раздались первые голоса, одушевленные искренней заботой о благосостояніи народныхъ массъ. Экономическія теоріи зарождались на страницахъ русскихъ журналовъ, отчасти воспроизводя идеи западно-европейскихъ писателей, отчасти представляя собою самостоятельную попытку обобщить и привести къ опредѣленному знаменателю тѣ своеобразныя соціальныя явленія, которыя возникли на почвѣ оригинальнаго русскаго быта. Либеральное вѣяніе захватило всѣ сферы русской жизни. Чувство гражданственности просыпалось повсюду, на всемъ протяженіи русской земли...

При этихъ условіяхъ выступилъ на сцену Добролюбовъ. Въ «Современникѣ» уже была проложена опредѣленная дорога въ критическомъ отдѣлѣ журнала статьями Чернышевскаго, и Добролюбовъ явился только талантливымъ исполнителемъ тенденціозной программы этого журнальнаго бойца съ большими познаніями въ области его спеціальности, съ яркимъ талантомъ публициста, но съ мертвящими и въ философскомъ смыслѣ совершенно произвольными и ложными идеями о литературѣ и искусствѣ вообще. Не

обладая глубокимъ и самостоятельно выработаннымъ взглядомъ на цѣли человѣческаго творчества, Добролюбовъ поддался сильному вліянію идей Чернышевскаго и въ продолженіе своей четырехлѣтней журнальной дѣятельности шелъ въ статьяхъ своихъ путемъ откровенной публицистики, иногда обнаруживая въ случайныхъ, мимолетныхъ выраженіяхъ счастливую художественную или психологическую догадку, но нигдѣ не отдаваясь всецѣло той задачѣ, которою должна заниматься настоящая литературная критика. Настроенный на реалистическій ладъ и желая откликаться только на событія окружающей жизни, при разгорячавшейся атмосферѣ въ прогрессивной редакціи лучшаго журнала того времени, Добролюбовъ сознательно, съ нѣкоторой бравадою передовыхъ убѣжденій, отбрасывалъ отъ себя всѣ эстетическіе и философскіе вопросы, не сродные его натурѣ и притомъ скомпрометированные знаменитымъ отреченіемъ Бѣлинскаго. Законы искусства разсматривались только съ отрицательной точки зрѣнія, а философскія понятія, подъ напоромъ чисто экономическихъ и соціальныхъ интересовъ, все болѣе суживались на страницахъ «Современника», именно въ тѣхъ отдѣлахъ, гдѣ работалъ Добролюбовъ. Возрождаясь въ сферѣ юридическихъ и бытовыхъ вопросовъ, русская мысль мельчала, выдыхалась и высыхала въ своихъ родникахъ—во всѣхъ тѣхъ сферахъ знанія, которыя могутъ развиваться только подъ воздѣйствіемъ самыхъ отвлеченныхъ и широко поставленныхъ эстетическихъ и философскихъ идей. Формы жизни прогрессировали, становились свободнѣе, а содержаніе теоретическихъ понятій принимало узкій и случайный характеръ. Общество шло впередъ въ отношеніи практическомъ, но уже начинало, въ лицѣ своихъ журнальныхъ представителей, склоняться къ упадку въ той области интересовъ, которая даетъ направляющій свѣтъ культурной исторіи. Органъ критическаго сознанія въ Россіи, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, атрофировался, теряя философскій критерій для правильныхъ сужденій о всѣхъ предметахъ, не имѣвшихъ утилитарнаго характера...

Вотъ почему намъ важно выяснить то, что говорилось о критической дѣятельности Добролюбова. Необходимо показать, что именно подъ вліяніемъ литературныхъ пріемовъ Добролюбова въ русскомъ обществѣ окончательно установилось ошибочное убѣжденіе, что критика должна имѣть своимъ исключительнымъ содержаніемъ публицистическіе вопросы текущей жизни. Критическія статьи самого Добролюбова и, можетъ быть, еще болѣе критическія статьи о Добролюбовѣ людей его образа мыслей обнаруживаютъ, что смѣшеніе задачи литературной критики съ задачею публицистики становится общимъ явленіемъ въ сужденіяхъ либеральной журналистики. Лишь немногіе изъ писавшихъ о Добролюбовѣ сумѣли подойти къ предмету съ должною прямотою и съ надлежащей точки зрѣнія. Никто съ полной категоричностью

не опредѣлилъ истинныхъ размѣровъ его таланта. Никто не обрисовалъ съ безпристрастіемъ его литературной физіономіи. Добролюбовъ и теперь еще остается мало изученнымъ, хотя и громко и много прославляемымъ писателемъ, имя котораго съ особенной любовью выставляется на знамени людей, идущихъ въ прогрессивномъ теченіи русской исторіи, но, невѣдомо зачѣмъ и почему, слѣпо враждующихъ противъ высшихъ стремленій человѣческаго духа. Его критическая дѣятельность остается до сихъ поръ неразсмотрѣнною въ ея принципіальныхъ частяхъ — именно въ тѣхъ частяхъ, въ которыхъ, при иныхъ задаткахъ его натуры, могли-бы развиться сѣмена самыхъ плодотворныхъ эстетическихъ и философскихъ понятій. Сужденія о Добролюбовѣ ведутся и теперь еще въ такомъ тонѣ, какъ будто безпристрастная оцѣнка его литературнаго значенія, его критическихъ заслугъ можетъ оказать гибельное воздѣйствіе на либеральныя стремленія русскаго общества, умалить ту сторону его вліянія, которая не потеряла своего историческаго интереса для настоящаго момента. Въ наивномъ предположеніи, что пренебреженіемъ къ вопросамъ теоретическимъ, научно-философскимъ можно поднять истинное значеніе практическихъ задачъ въ глазахъ мыслящаго общества, люди извѣстной партіи стараются затушевать всѣ тѣ изъяны, которые могутъ быть отмѣчены въ критической дѣятельности Добролюбова. Вотъ заблужденіе, имѣвшее очень гибельное вліяніе на ходъ нашей духовной культуры. Вотъ ошибка, которая должна быть устранена во что-бы то ни стало и какъ можно скорѣе. Литературная критика сама по себѣ имѣетъ слишкомъ важное значеніе въ жизни всякаго общества, служа источникомъ тѣхъ или другихъ теоретическихъ взглядовъ на творчество людей, на призваніе искусства, на высшія стремленія человѣческаго духа, чтобы можно было примириться съ какими-бы то ни было временными соображеніями, имѣющими тенденцію сократить ея объемъ, направить ее по узкому пути. Оцѣнка Добролюбова, какъ и оцѣнка Чернышевскаго, Писарева и другихъ, на почвѣ литературной критики и общихъ философскихъ понятій, должна быть сдѣлана съ полной свободой и съ полнымъ сознаніемъ того по-истинѣ нищенскаго положенія, до котораго дошла наша журнальная критика, ведущая свои традиціи именно отъ этихъ, а не отъ какихъ-либо другихъ людей. Нельзя скрыть правды, нельзя не видѣть, что органъ нашего критическаго сознанія или совершенно не дѣйствуетъ, или дѣйствуетъ въ такомъ направленіи, которое уже не можетъ пользоваться ничьимъ серьезнымъ сочувствіемъ. Общество разучилось думать о художественныхъ произведеніяхъ, его эстетическіе и философскіе взгляды, истощенные многолѣтнимъ воздѣйствіемъ дикой разнузданности въ сужденіяхъ о тѣхъ вопросахъ, которые наши либеральные журналисты откровенно признали «праздными», доведены до полнаго ничтожества. Но источникъ духовной культуры, который за-

бросали камнями и схоронили подъ толстымъ слоемъ чисто-публицистическихъ, жизненныхъ вопросовъ, долженъ быть вновь расчищенъ и открытъ для людей, жаждущихъ его живой воды...

Начнемъ съ Панаева. Этотъ писатель съ благодушнымъ темпераментомъ и съ готовностью уступчиво слѣдовать за каждымъ новымъ вѣяніемъ въ литературѣ оставилъ намъ нѣсколько очень любопытныхъ страницъ о литературной дѣятельности Добролюбова. Панаевъ близко зналъ Добролюбова и по журналу и какъ постояннаго гостя въ своей семьѣ. Были нити, которыя чрезвычайно тонко переплетали между собою этихъ двухъ людей въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Были обстоятельства, которыя сближали ихъ между собою и оттѣняли ихъ дружбу особенной сердечностью. Панаевъ, Некрасовъ, Чернышевскій, г-жа Панаева—вотъ тѣ люди, которые не только близко стояли къ Добролюбову, но и принимали самое живое участіе во всей его судьбѣ. Нельзя поэтому удивляться, что именно изъ этой среды вышли самыя горячія похвалы Добролюбову, что именно эти люди взяли на себя благодарный трудъ освѣтить и представить въ наиболѣе привлекательномъ видѣ всю его жизненную и умственную карьеру. Но мы думаемъ, что Панаевъ сдѣлалъ значительную ошибку въ оцѣнкѣ литературнаго значенія Добролюбова. Его горячая похвала дышитъ дружескимъ преувеличеніемъ. Параллель, проведенная имъ между Добролюбовымъ и Бѣлинскимъ, невѣрна и почти непонятна со стороны человѣка, который лично зналъ Бѣлинскаго и когда-то такъ искренно имъ увлекался. Не уступая нисколько Бѣлинскому въ литературномъ талантѣ, говоритъ Панаевъ, Добролюбовъ имѣлъ передъ нимъ то преимущество, что въ основѣ его дѣятельности лежали болѣе прочные и твердые принципы. Бѣлинскій выступилъ на литературное поприще «болѣе смѣлымъ и рьянымъ, чѣмъ приготовленнымъ къ дѣлу бойцомъ». Энергичный, талантливый, пылкій, «путающійся въ философскихъ теоріяхъ», онъ то съ ожесточеніемъ разбивалъ авторитеты, то торжественно возносилъ ихъ до небесъ. Только за четыре года до смерти Бѣлинскій вышелъ изъ подъ гнета постороннихъ вліяній и сталъ на настоящую дорогу. Затѣмъ онъ сошелъ въ могилу, «конечно, преждевременно, но почти совершивъ свое назначеніе». Онъ былъ полнымъ отголоскомъ того поколѣнія, которое стремилось къ лучшей жизни ощупью, «то расплываясь въ романтизмѣ, то ища точки опоры въ нѣмецкой философіи, то увлекаясь соціальными идеями Леру и Жоржъ Зандъ». Добролюбовъ съ перваго шага сталъ на надлежащую почву и пошелъ въ своихъ критическихъ статьяхъ по совершенно опредѣленному пути ровнымъ и твердымъ шагомъ, не увлекаясь, не впадая въ юношескій пафосъ, не подчиняясь и не кланяясь литературнымъ авторитетамъ. Въ произведеніяхъ Добролюбова проглядываетъ та мощь, та внутренняя, сосредоточенная сила, которая обнаруживала въ немъ будущаго «великаго» двигателя. «Его статьи были про-

никнуты глубокою любовью къ человѣку, самымъ горячимъ участіемъ къ нашимъ низшимъ братьямъ и самымъ искреннимъ и здравымъ патріотизмомъ». Въ этихъ статьяхъ не было, говоритъ Панаевъ, и тѣни внѣшней горячности, выражающейся обыкновенно въ лирическихъ выходкахъ и отступленіяхъ, которыя нѣкогда цѣнились въ русской литературѣ, но теперь кажутся «болѣе смѣшными, чѣмъ трогательными». Девизомъ Добролюбова было: меньше словъ и больше дѣла.

Таковы соображенія Панаева о критической дѣятельности Добролюбова. Мы опустили нѣсколько покаянно-самообличительныхъ изліяній его по поводу тѣхъ заблужденій, въ которыхъ коснѣли поколѣнія 40-хъ годовъ. Мы привели только то, что можетъ служить характеристикой его взглядовъ на Бѣлинскаго и Добролюбова. Не трудно, кажется, понять всю незначительность этихъ замѣчаній Панаева о двухъ извѣстнѣйшихъ русскихъ критикахъ. Бѣлинскій значительно превосходилъ Добролюбова силою литературнаго таланта и въ особенности тонкостью эстетическаго чутья, страстностью своего отношенія къ вопросамъ искусства даже въ послѣднемъ періодѣ своей дѣятельности. Бѣлинскій заблуждался, впадалъ въ многочисленныя противорѣчія, но никогда не переставалъ быть критикомъ литературы. Его ошибки обусловлены его недостаточной подготовленностью къ разрѣшенію теоретическихъ вопросовъ, воздѣйствіемъ чуждыхъ его натурѣ утилитарныхъ воззрѣній, но, ошибаясь, падая и постоянно порываясь къ той высотѣ, которая дала-бы ему возможность соединить въ цѣльномъ обобщеніи интересы литературы и жизни, онъ повсюду проявлялъ свой эстетическій темпераментъ, нигдѣ не сбиваясь на путь мертвой и случайной прозы. Боецъ и агитаторъ, онъ никогда не упускалъ изъ виду русскаго художественнаго творчества, съ его широкими задачами и могучими силами, идущими изъ глубины народной души. Пафосъ Бѣлинскаго не только не дѣлаетъ въ какомъ-бы то ни было отношеніи «смѣшными» его произведенія, но составляетъ ихъ настоящее украшеніе и силу. Упрекъ Бѣлинскому въ этомъ пунктѣ звучитъ фальшиво. Это было понято даже журналистикой 60-хъ годовъ. Нашей литературѣ, говорилось въ одномъ изъ старыхъ журналовъ по поводу воспоминаній Панаева, можно сдѣлать упрекъ въ недостаткѣ увлеченія, но никакъ не въ избыткѣ пафоса. «Все холодно, вяло, пишетъ критическій обозрѣватель журнала Время, много шума и треску, но гдѣ-же слышится горячій и внушительный голосъ?» [1]). Панаевъ, въ порывѣ благодушной симпатіи къ покойному Добролюбову, преувеличилъ его заслуги и отнесся несправедливо къ свѣтлой памяти Бѣлинскаго.

Отрывочныя размышленія Панаева были воспроизведены во многихъ

[1]) «Время», декабрь, 1861, «Критическое обозрѣніе», стр. 197.

статьяхъ 60-хъ годовъ, на которыхъ мы, однако, останавливаться не будемъ. Для насъ гораздо важнѣе обратиться къ тѣмъ статьямъ, которыя получили болѣе или менѣе широкую извѣстность и въ свое время вызвали оживленную полемику на страницахъ тогдашнихъ журналовъ и надѣлали очень много шума въ обществѣ. Изъ этихъ статей заслуживаютъ особаго вниманія замѣтки Зарина о Добролюбовѣ и Чернышевскомъ въ «Библіотекѣ для чтенія» 1862 г. Замѣтки эти произвели въ то время цѣлый литературный скандалъ и вызвали Чернышевскаго на поступокъ, которому въ русской литературѣ нельзя подыскать никакой параллели. Заринъ, человѣкъ съ малымъ талантомъ и склонностью къ грубоватымъ, вульгарнымъ придиркамъ, хотя, быть можетъ, съ болѣе или менѣе яснымъ и смѣлымъ отношеніемъ къ нѣкоторымъ литературнымъ вопросамъ, выразилъ нѣсколько скептическихъ замѣчаній по адресу Добролюбова въ статьѣ своей «Небывалые люди». Авторъ недоумѣваетъ по поводу всероссійской подписки, открытой «Современникомъ» для сооруженія памятника Добролюбову и оспариваетъ значительность литературнаго таланта Добролюбова, отдавая при этомъ предпочтеніе уму и дарованіямъ Чернышевскаго. Онъ жалѣетъ объ угаснувшей молодой жизни, но утверждаетъ, что Добролюбовъ не сдѣлалъ ничего монументальнаго и что въ самой редакціи «Современника» онъ былъ только меньшимъ товарищемъ, въ особенности, если принять во вниманіе журнальную дѣятельность Чернышевскаго, «о лицемѣрномъ непризнаніи заслугъ котораго мы первые сказали, что оно переступило мѣру». Самыя неудачи Добролюбова въ жизни Заринъ считаетъ заурядными, ничѣмъ не замѣчательными, его страданія—не заслуживающими всероссійской извѣстности. О талантѣ его онъ выражается съ оттѣнкомъ язвительнаго порицанія, отказывая ему въ глубинѣ и мѣткости сужденій. Добролюбовъ не справляется со степенью дарованія разбираемаго имъ писателя. Свои похвалы и порицанія онъ соразмѣряетъ исключительно съ публицистическимъ направленіемъ автора, добиваясь при этомъ, чтобы литература, вмѣсто свободнаго и широкаго теченія, обнимающаго всѣ интересы человѣка, «сочилась мелководной струйкой обличенія». Есть что-то черезъ-чуръ недальновидное, противорѣчивое, недодуманное, говоритъ Заринъ, въ этомъ болѣзненномъ желаніи видѣть всѣ душевные порывы загнанными въ одну колею, всѣ работающія силы на оброкѣ у даннаго момента. Намъ всегда казалось, продолжаетъ онъ, что та нота, которую въ «Современникѣ» приходилось тянуть Добролюбову, выходила особенно фальшивою въ журналѣ, въ которомъ все дышало враждою къ рутинѣ. Въ статьяхъ Добролюбова не было той философской широты, которую такъ умѣлъ воспитывать «всегда пламенный и всегда равно глубокій въ своей любви и ненависти Бѣлинскій». Добролюбовъ не имѣлъ дара энергической ненависти и любви. «Сказать о Добролюбовѣ, что это

былъ энтузіастъ, значитъ сказать то, чего о немъ никто не думаетъ, да и говорятъ одни только друзья его». Всѣ его разсужденія на литературныя темы отличаются филантропическою сентиментальностью,—«длинною, монотонною и, въ большинствѣ случаевъ, просто надоѣдливою». Выраженныя съ полемическимъ акцентомъ, эти смѣлыя фразы не могли не произвести извѣстнаго впечатлѣнія на Чернышевскаго. Заринъ, очевиднымъ образомъ, смѣшалъ два вопроса, которыхъ не слѣдовало никоимъ образомъ сочетать въ одномъ литературномъ разсужденіи: вопросъ о памятникѣ Добролюбову по всероссійской подпискѣ и вопросъ о значительности его критическаго таланта. Хотя Добролюбовъ и не былъ, дѣйствительно, «монументальною» личностью, но онъ, безъ сомнѣнія, заслужилъ монумента, который желали ему воздвигнуть его друзья и почитатели. Это былъ, во всякомъ случаѣ, человѣкъ значительнаго литературнаго таланта, публицистъ перваго ранга, человѣкъ съ яснымъ умомъ, искренно любившій Россію и готовый принести для нея, если-бы понадобилось, какую угодно жертву. Непоколебимый въ своихъ убѣжденіяхъ, прямой и честный въ своихъ желаніяхъ, онъ велъ свою литературную дѣятельность съ тою изысканною чистотою, которая не могла не оставить самаго свѣтлаго о себѣ воспоминанія. Въ разнуздывавшейся тогда уже русской журналистикѣ, принимавшей временами какой-то сумбурный характеръ, личность Добролюбова выдѣляется своею нравственною цѣльностью и твердостью. Въ немъ нѣтъ пафоса, нѣтъ поэзіи, нѣтъ страсти, но его простота и безпорывная задушевность, не увлекая умовъ, открываетъ себѣ доступъ къ инстинктамъ человѣчности, къ присущей всѣмъ людямъ мечтѣ о соціальной справедливости и политической свободѣ. Ординарною натуру Добролюбова назвать никакъ нельзя, и Заринъ сдѣлалъ большой промахъ, придираясь къ нему съ этой стороны. Иное дѣло—оцѣнка чисто *критическихъ* заслугъ Добролюбова въ его преемственности отъ Бѣлинскаго, оцѣнка его чисто *литературнаго* вліянія. Здѣсь умѣстно указать, что Добролюбовъ шелъ не надежнымъ путемъ, что его критика, въ большинствѣ случаевъ, представляла собою смѣшеніе противорѣчивыхъ элементовъ, что его взгляды на искусство, на задачи литературы носятъ на себѣ печать нѣкоторой ограниченности и педантической узкости. Указывая на то, что критика Добролюбова была проникнута «филантропическою сентиментальностью» и «сочилась мелководной струйкой обличенья», Заринъ былъ недалекъ отъ истины. Его желчный протестъ противъ желанія держать всѣ работающія силы духа на оброкѣ у даннаго момента звучитъ справедливымъ упрекомъ литературнымъ стремленіямъ «Современника». Въ этомъ пунктѣ Заринъ былъ бы непобѣдимъ, если бы статья его была обставлена необходимыми литературными и философскими доказательствами, если-бы, отбросивъ вульгарный тонъ раздраженнаго фельетониста, онъ сумѣлъ вызвать

Чернышевскаго на настоящій полемическій бой. Яркая и смѣлая полемика, возникнувъ въ такое время, когда журнальный либерализмъ, съ его узкими мѣрилами и односторонними стремленіями, еще не торжествовалъ побѣды надъ искусствомъ и философской мыслью, могла бы имѣть очень большое значеніе для хода русской культуры. Противъ Чернышевскаго долженъ былъ бы выступить не человѣкъ съ мелкими пріемами журнальнаго зоила, а человѣкъ такой-же страсти, съ общественными симпатіями, вытекающими изъ болѣе глубокихъ источниковъ, съ цѣлымъ строемъ вольнолюбивыхъ понятій, возбужденныхъ въ немъ болѣе высокимъ философскимъ принципомъ. Такой полемистъ побѣдилъ-бы Чернышевскаго, ибо на его сторонѣ была бы правда. Такой полемистъ безпощадно обнаружилъ бы всю логическую шаткость руководящихъ литературныхъ и философскихъ взглядовъ тогдашняго либерализма и тѣмъ доказалъ-бы его малую жизнеспособность, его безпомощность въ борьбѣ съ историческими обстоятельствами. Онъ предвидѣлъ бы неизбѣжное паденіе такого либерализма въ самомъ недалекомъ будущемъ. Онъ показалъ-бы, что либерализмъ, оторванный отъ своего духовнаго корня, можетъ дразнить общественную мысль, можетъ временно увлекать ее въ извѣстную сторону, но никогда не можетъ стать вѣчной основой для широкаго движенія общества по пути умственнаго и соціальнаго развитія. Къ сожалѣнію, такого смѣлаго соперника Чернышевскій не нашелъ въ тогдашней журналистикѣ.

Чернышевскій, вознегодовавъ на статью Зарина, обрушился на него въ открытомъ письмѣ, напечатанномъ въ «Современникѣ» 1862 г. Онъ съ раздраженіемъ отвергаетъ всѣ комплименты Зарина и, публично унижая свой литературный талантъ передъ талантомъ Добролюбова, язвитъ самого себя откровенными обличеніями своего нравственнаго характера. Онъ никогда не имѣлъ никакого вліянія на литературную дѣятельность и критическія мнѣнія Добролюбова, говоритъ онъ. Добролюбову довольно много пользы принесли статьи Бѣлинскаго и другихъ людей извѣстнаго литературнаго круга, но не подъ ихъ вліяніемъ сложился его образъ мыслей. Добролюбовъ читалъ французскія и нѣмецкія книги, а если даровитый человѣкъ, въ рѣшительные для своего развитія годы, читаетъ книги «нашихъ общихъ западныхъ великихъ учителей, то книги и статьи, написанныя порусски, могутъ ему нравиться, могутъ восхищать его, но ни въ какомъ случаѣ не могутъ уже служить для него важнѣйшимъ источникомъ тѣхъ знаній и понятій, которыя почерпаетъ онъ изъ чтенія». Его собственныя статьи не могли произвести на Добролюбова рѣшительно никакого вліянія, и, пересмотрѣвъ «Современникъ» 1855—1856 гг., Заринъ увидѣлъ бы всю незначительность и неопредѣленность его тогдашней роли въ литературѣ. Начиная съ 1858 г. Добролюбовъ имѣлъ преобладающее вліяніе въ критической части «Современника» и въ это время не было ни одного чело-

вѣка въ порядочныхъ литературныхъ кругахъ, который не выражался бы въ томъ смыслѣ, что Добролюбовъ—самый сильный талантъ въ «Современникѣ». «Мы не были, милостивый государь, такъ тупы и глупы, говоритъ Чернышевскій, чтобы не считать его первымъ человѣкомъ въ своемъ кругу». Чернышевскій ссылается, въ оправданіе своего высокаго мнѣнія о Добролюбовѣ, на свои разговоры съ Кавелинымъ и Тургеневымъ. «Странное дѣло, говорилъ ему однажды Кавелинъ, я не могу чувствовать къ Добролюбову того мирнаго расположенія, какъ, напр., къ вамъ. Отчего это? Образъ мыслей у насъ, повидимому, одинаковъ, а какъ человѣкъ—онъ превосходнѣйшій человѣкъ. Мое мнѣніе о его сердцѣ и характерѣ доказывается тѣмъ, что я допустилъ его совершенно овладѣть мыслями моего сына, чего не сдѣлалъ бы, если бы могъ считать что нибудь дурнымъ въ Добролюбовѣ. Но отчего же я чувствую, что онъ совершенно чуждъ мнѣ, между тѣмъ, какъ напр. вы—не вовсе чужды?» Чернышевскій отвѣтилъ: «Это оттого, что въ Добролюбовѣ нѣтъ тѣхъ слабостей и шаткостей въ мысляхъ и характерѣ, которыя даютъ вамъ нѣкоторыя точки опоры, чтобъ притягивать мой образъ мыслей и поступковъ въ нѣкоторое согласіе съ вашими требованіями. Взглядъ его тверже и яснѣе, чѣмъ у меня,—потому не остается для васъ возможности понимать его въ вашемъ смыслѣ, какъ можете вы въ значительной степени дѣлать съ моимъ взглядомъ»... Въ другой разъ Чернышевскому случилось разговориться о Добролюбовѣ съ Тургеневымъ. Тургеневъ сказалъ ему: «Васъ я могу еще переносить, но Добролюбова не могу». «Это оттого, отвѣчалъ Чернышевскій, что Добролюбовъ умнѣе и взглядъ на вещи у него яснѣе и тверже». «Да, замѣтилъ Тургеневъ, съ добродушной шутливостью, вы—простая змѣя, а Добролюбовъ—очковая змѣя». Чернышевскій не ограничивается этими компетентными свидѣтельствами въ пользу Добролюбова и противъ себя. Для совершенной точности опредѣленія ихъ истинныхъ взаимоотношеній, онъ готовъ покаяться въ такихъ недостаткахъ, которые должны окончательно унизить его предъ его товарищемъ — по крайней мѣрѣ въ нравственномъ отношеніи. «У меня характеръ уклончивый до фальшивости, говоритъ онъ, обращаясь къ Зарину. Это свойство, сходное съ мягкостью въ личномъ обращеніи, можетъ очаровывать моихъ знакомыхъ, но, какъ бы то ни было, вы согласитесь, что при такомъ изгибающемся, податливомъ характерѣ, никакъ не могу я сравниваться энергіею чувства съ людьми прямого и, сказать безъ церемоній, честнаго характера. Въ Добролюбовѣ такого, какъ во мнѣ, недостатка рѣшительно не было».

Вотъ откровенное объясненіе на свой собственный счетъ, по-истинѣ небывалое въ русской литературѣ. Защищать товарища посредствомъ униженія собственныхъ заслугъ и собственнаго характера, прибѣгать къ самообличеніямъ въ надеждѣ на то, что, нанося уронъ своему авторитету,

можно поднять авторитетъ другого, почти издѣваться надъ собственнымъ умомъ, чтобы ярче подчеркнуть умъ защищаемаго человѣка—вотъ пріемы, которые можно было-бы признать неестественными, аффектированными, если бы эта небольшая статейка Чернышевскаго не была проникнута какою-то своеобразною прямотою. Конечно, Чернышевскій неправъ почти во всемъ, что касается его литературнаго значенія и вліянія въ томъ журналѣ, въ которомъ онъ напечаталъ свои лучшія статьи и изслѣдованія. Чернышевскій былъ крупнѣе Добролюбова и по характеру, и по силѣ той умственной страсти, которая проникала все, что онъ писалъ по различнымъ вопросамъ литературы и жизни, не говоря уже о томъ, что онъ былъ гораздо зрѣлѣе въ умственномъ отношеніи и гораздо образованнѣе своего молодого товарища и друга. Вчитываясь въ критическія статьи Чернышевскаго, помѣщенныя въ «Современникѣ» за нѣсколько лѣтъ, нельзя не видѣть, что именно его роковыя философскія и эстетическія ошибки и заблужденія, его критическій методъ, его хлещущій публицистическими бичами порывистый умъ, имѣлъ самое сильное вліяніе на литературные пріемы Добролюбова, котораго онъ привлекъ къ участію въ «Современникѣ». Не надо забывать, что знаменитыя статьи Чернышевскаго о гоголевскомъ періодѣ въ русской литературѣ, начатыя въ декабрѣ 1855 года, уже подходили къ концу въ 1856 г., когда на страницахъ «Современника» впервые появился Добролюбовъ, что въ это самое время Чернышевскій началъ рядъ другихъ своихъ статей о Лессингѣ, проникнутыхъ совершенно опредѣленною публицистической тенденціей. Не можетъ быть, чтобы именно эти работы Чернышевскаго, послѣ того, какъ уже была напечатана его знаменитая диссертація «Объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности», не произвели никакого умственнаго воздѣйствія на литературныя стремленія молодого и по натурѣ лишеннаго особенной оригинальности Добролюбова. Если и можно согласиться, что Чернышевскій не былъ учителемъ Добролюбова, то нельзя все-таки не видѣть, сличая критическія статьи того и другого, поразительнаго сходства въ пріемахъ доказательства, въ общности эстетическихъ понятій, въ полемической манерѣ и литературныхъ настроеніяхъ. Иначе и быть не могло, и всѣ заявленія Чернышевскаго, сдѣланныя въ этомъ странномъ спорѣ, не могутъ уничтожить очевидныхъ слѣдовъ его сильнаго давленія на характеръ литературной дѣятельности Добролюбова. Но Заринъ не обладалъ необходимыми средствами для серьезной полемики, и его отвѣтъ на письмо Чернышевскаго въ «Библіотекѣ для чтенія» подъ заглавіемъ «Лесть живому и поруганіе надъ мертвымъ», изобилуя грубыми и вульгарными выраженіями, написанный тяжелымъ и запутаннымъ слогомъ, не внесъ въ этотъ споръ ни одного живого и принципіальнаго слова. Чернышевскій въ лицѣ Зарина не встрѣтилъ достойнаго соперника и литературнаго оппонента.

Гораздо важнѣе статей Зарина статьи о Чернышевскомъ и Добролюбовѣ Николая Соловьева, напечатанныя въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1865 года. Авторъ держится исключительно эстетическихъ воззрѣній на задачу литературы. Въ рядѣ мѣткихъ и тонкихъ замѣчаній онъ постепенно опрокидываетъ шаткую постройку «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности». У искусства, говоритъ онъ, не было еще такого сильнаго врага, какъ авторъ этого трактата. Если отнестись къ нему апатично, безъ самостоятельной критики, онъ можетъ ошеломить, какъ онъ и ошеломилъ когда-то многихъ. Но если заглянуть въ него, такъ сказать, сверху, съ какой-нибудь опредѣленной теоретической высоты, очарованіе разсѣевается — зданіе не твердо, не плотно, стѣны подобны декораціямъ, за которыми пусто. Вмѣсто истинъ вездѣ софизмы, поставленные чрезвычайно ловко, но въ такой связи, что если пошатнуть одинъ, падетъ и все. Николай Соловьевъ смѣло поднимаетъ руку на сочиненіе, которое, по его взглядамъ, противорѣчитъ всѣмъ преданіямъ Бѣлинскаго, и редакція «Отечественныхъ Записокъ», въ подстрочномъ примѣчаніи, «съ гордостью» заявляетъ, что она первая выразила свое несочувствіе Чернышевскому по вопросамъ литературы—тогда, когда еще только появились его «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности». Сохраняя литературныя преданія Бѣлинскаго, журналъ давно уже ждалъ того времени, когда эстетической теоріи Чернышевскаго нанесенъ будетъ послѣдній ударъ. «Мы имѣемъ дерзость поднять на это руку, говоритъ Николай Соловьевъ, и доказать, по мѣрѣ силъ нашихъ, что вся она прикрыта только либеральной оболочкой, одѣта въ прогрессивную одежду, въ сущности-же она самая изъ всѣхъ консервативная, самая отсталая». Прослѣдивъ весь логическій путь Чернышевскаго, обозначивъ въ яркихъ выраженіяхъ все движеніе либеральной мысли въ Россіи, бросивъ нѣсколько ядовитыхъ, превосходно формулированныхъ намековъ на недомысліе русскаго общества, гдѣ колокола звонили для дѣтей, играющихъ въ лапту, а Фейербахомъ прошитываются гимназисты, Соловьевъ переходитъ къ подробному разбору журнальныхъ статей Добролюбова. Онъ признаетъ въ немъ замѣчательное критическое дарованіе, которое, однако, не успѣло развернуться во всю ширину. Нѣтъ писателя, говоритъ онъ, который-бы могъ служить такимъ живымъ упрекомъ модному направленію литературы, какъ Добролюбовъ, и если-бы талантъ Добролюбова не встрѣтился съ абстрактнымъ умомъ автора «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности», его дѣятельность была-бы полнѣе и плодотворнѣе, ибо гдѣ Добролюбову удается выскочить изъ сторожевой цѣпи журнально-прогрессивныхъ идей, онъ является предъ нами настоящимъ критикомъ. Оговорившись этими общими характеристическими фразами, Соловьевъ обозрѣваетъ главнѣйшія статьи Добролюбова, повсюду отмѣчаетъ проблески критическаго та-

ланта, борется во имя эстетическаго принципа противъ узкихъ стремленій «экономизма» и утилитаризма и заканчиваетъ свои пространныя сужденія лирическимъ изліяніемъ, въ которомъ хорошо отразилась симпатичная физіономія литератора, обладавшаго несомнѣннымъ талантомъ, хотя глядѣвшаго на литературу не съ обще-философской, а съ узко-эстетической точки зрѣнія. Экономизмъ, говоритъ онъ, взялъ на себя слишкомъ много, задумавши окончательно рѣшить задачу человѣческаго счастья. Если-бы счастье могло быть достигнуто на экономическомъ пути, поэзія, конечно, потеряла-бы свое значеніе. Зачѣмъ были-бы нужны человѣку звуки пѣсни, смѣхъ комедіи, тревога драмы, если-бы его могли окончательно удовлетворить прозаическіе интересы дня? Но люди идутъ, не отдыхая, къ истинѣ и не видятъ конца своей дорогѣ, своему труду. Въ порывахъ неудовлетвореннаго желанія геній производитъ поэзію, и въ ней находитъ успокоеніе своему стремленію къ безконечному, въ ней чувствуетъ себя вполнѣ свободнымъ. «Поэзія — это какъ-бы вторая жизнь, въ которой явленія дѣйствительности представляются усовершенствованными, преобразовавшимися. Только поэзія даетъ намъ понятіе о томъ, что такое высшее счастье, а утилитаризму дай Богъ окружить человѣка хоть удобствами».

Не останавливаясь на такихъ малозначущихъ сужденіяхъ, каковы напр. сужденія П. А. Бибикова, издавшаго цѣлую книжку о литературной дѣятельности Добролюбова, передадимъ въ немногихъ словахъ разсужденія на эту тему наиболѣе извѣстныхъ либеральныхъ писателей. Прежде всего отмѣтимъ любопытную статью Зайцева,—извѣстнаго товарища Писарева по сотрудничеству въ «Русскомъ Словѣ». Наговоривъ пустыхъ словъ о Бѣлинскомъ, порисовавшись попутно крайнимъ демократизмомъ и народолюбіемъ, заявивъ съ торжественной аффектаціей, что мыслящему человѣку кусокъ не идетъ въ горло при воспоминаніи о томъ, что гдѣ-нибудь вблизи бѣднякъ гложетъ сухую корку и назвавъ при этомъ «лицемѣрами» и «идіотами» тѣхъ, которые платонически преклоняются предъ умомъ русскаго мужика, Зайцевъ переходитъ къ оцѣнкѣ литературной дѣятельности Добролюбова. Смѣсь семинарской грубости и военной храбрости, по удачному опредѣленію Н. Соловьева,—сужденія Зайцева отличаются крайнею прямотою и категоричностью. Хотя Добролюбовъ писалъ преимущественно критическія статьи, говоритъ онъ, но критикомъ онъ не былъ и быть не могъ. Еще Бѣлинскій, не выходя изъ предѣловъ эстетической критики, могъ въ этой тѣсной рамкѣ дать отвлеченное понятіе русскому обществу о прогрессѣ, но Добролюбовъ не могъ остановиться на тѣсномъ пути своего предшественника, и потому было-бы большою несправедливостью обсуживать его журнальную дѣятельность съ этой стороны. Послѣ его отзывовъ о чистомъ искусствѣ, послѣ того, что имъ написано объ эстетической критикѣ, «не можетъ быть и рѣчи о

немъ, какъ о достойномъ цѣнителѣ *разныхъ* художественныхъ произведеній». Добролюбовъ лилъ холодную воду «здороваго смысла» на «горячій азартъ приверженцевъ чистаго искусства, и его здоровый взглядъ необыкновенно раздражалъ этихъ господъ». Не трудно доказать, продолжаетъ въ томъ-же тонѣ Зайцевъ, что если-бы Добролюбовъ сталъ писать критическія статьи, онъ былъ-бы плохимъ критикомъ. Напрасно мы искали-бы у него тогда критическаго такта, вѣрнаго пониманія сущности критики, правильной оцѣнки литературныхъ произведеній. Въ *критическихъ* статьяхъ Добролюбова насъ непремѣнно поразило-бы множество промаховъ и ошибокъ, «удивительная неспособность отличать вѣрное изображеніе отъ фальшиваго и надутаго». Но, «будучи плохимъ или вовсе не будучи критикомъ», Добролюбовъ былъ сатирикомъ и публицистомъ, который пользовался каждымъ произведеніемъ только какъ поводомъ высказать свой взглядъ на ту или другую сторону общественной жизни. Въ этомъ смыслѣ дѣятельность Добролюбова была чрезвычайно широка. Пошлость и тупоуміе получили отъ него такіе жестокіе удары, что съ тѣхъ поръ они никогда уже не придутъ въ себя. Его стихотворенія, эпиграммы сдѣлали невозможными славянофильскіе гимны «въ честь пѣнника и русской удали». Онъ былъ искреннимъ представителемъ любви къ народу, которая въ устахъ его не была «пустымъ звукомъ, какъ у поклонниковъ принципа, и мистическимъ отвлеченіемъ, какъ у платоническихъ любовниковъ народа, а живымъ и дѣятельнымъ чувствомъ». Итакъ, у Добролюбова не было, по мнѣнію Зайцева, никакого критическаго таланта, и вся его заслуга предъ русской литературой заключается въ томъ, что онъ былъ публицистомъ и истиннымъ «любовникомъ» русскаго народа! Такъ разсуждаетъ съ необычайной помпой Зайцевъ, разсыпая перлы бурсацкаго остроумія, щеголяя смѣлостью своихъ приговоровъ. Писатель съ ничтожными литературными силами, но съ разнузданностью человѣка, объявившаго войну всему, что выше его собственныхъ духовныхъ средствъ, яркій выразитель того паденія, до котораго доходила русская журналистика, освобожденная отъ эстетическихъ и философскихъ понятій, Зайцевъ не могъ, конечно, отнестись къ Добролюбову иначе, чѣмъ онъ отнесся. Эстетическая критика—вздорное занятіе, недостойное мыслящей натуры. Мистическая приверженность къ отвлеченному принципу должна быть отвергнута людьми, пережившими преданія Бѣлинскаго и ставшими лицомъ къ лицу съ фактами русской жизни. Публицистика и сатира—вотъ единственное орудіе либеральной культуры... Мы не остановливались-бы на этихъ, въ сущности, малозначущихъ разсужденіяхъ, выраженныхъ притомъ безъ признака литературнаго таланта, если-бы они не принадлежали писателю, дѣйствовавшему въ группѣ второстепенныхъ единомышленниковъ Чернышевскаго и Писарева, единомышленниковъ, которые, не обладая духовными силами этихъ послѣднихъ, ихъ

темпераментомъ, ихъ яркимъ и рѣзкимъ словомъ, шедшимъ изъ глубины убѣжденія, пріучали русское общество къ мелкому, фрондерскому пустозвонству и внесли въ его мысль скверную, растлѣвающую путаницу понятій по самымъ важнымъ теоретическимъ вопросамъ. Въ высшей степени интересно прослѣдить, какъ случайныя особенности характера Добролюбова—односторонность его литературныхъ стремленій, равнодушіе къ эстетическимъ и философскимъ вопросамъ, узкій взглядъ на нужды общественной жизни, на цѣли прогресса,—мало-по-малу возводятся въ особыя достоинства, провозглашаются свойствами, единственно подходящими для русскаго либеральнаго дѣятеля. Въ высшей степени важно отмѣтить, ради болѣе сознательнаго отношенія къ историческимъ судьбамъ русскаго просвѣщенія, всѣ главные моменты въ томъ процессѣ перерожденія, который должны были испытать нѣкоторыя мысли Бѣлинскаго и Добролюбова, чтобы вылиться, въ концѣ концовъ, въ такихъ уродливыхъ формахъ, какъ критика Зайцева и многихъ другихъ сходныхъ съ нимъ по типу дѣятелей русской печати. Тутъ мы оказываемся въ центрѣ нашего журнальнаго декаданса, у источника того духовнаго банкротства, съ которымъ мы принуждены считаться до сихъ поръ, съ которымъ бороться можно только однимъ средствомъ—полнымъ пересмотромъ и обновленіемъ случайно-сложившихся теоретическихъ понятій, тѣхъ критеріевъ, которые допускали мысль о томъ, что литературная критика вовсе не нужна, что философія и искусство есть только барская забава въ рукахъ людей, не знающихъ своихъ обязанностей по отношенію къ русскому народу. Внимательное изученіе этого момента въ жизни русскаго журнализма обнаружитъ передъ нами всю несостоятельность тѣхъ путей, которыми шла русская мысль въ недавнемъ прошломъ и на которыхъ ее стараются удержать партійные публицисты нашихъ дней.

Скабичевскій взглянулъ на Добролюбова съ исторической точки зрѣнія. Прослѣживая умственное развитіе нашего общества съ 1825 по 1860 г., онъ обозначаетъ смѣну различныхъ типовъ въ явленіяхъ русской жизни. Пока умственное движеніе, говоритъ онъ, сосредоточивалось преимущественно въ кругахъ великосвѣтскаго общества, героемъ времени былъ изящный дэнди, пресыщенный всевозможными излишествами, скучающій и разочарованный. Затѣмъ, съ передвиженіемъ центра умственнаго движенія изъ великосвѣтскихъ круговъ въ среду провинціальнаго дворянства средней руки, измѣнился и герой времени. Тишина сельской жизни, услаждительные ландшафты природы, комфортабельная обстановка—вотъ тѣ условія, изъ которыхъ вышелъ герой 40-хъ и 50-хъ годовъ. Наконецъ, центръ умственнаго движенія перешелъ въ среду непривилегированнаго, мыслящаго пролетаріата, въ классъ разночинцевъ и мѣщанъ, и это передвиженіе ознаменовалось созданіемъ новыхъ нравственныхъ иде-

заловъ. Бѣднякъ поднялъ голову. Онъ вдругъ почувствовалъ себя выше тѣхъ изящныхъ существъ, передъ которыми онъ смирялся прежде. Онъ почувствовалъ себя творцомъ новыхъ стремленій, отвѣчающихъ реальнымъ условіямъ русскаго быта. На сцену выступилъ Добролюбовъ, занявъ передовое мѣсто въ умственномъ движеніи своей эпохи. Будучи студентомъ 3-го курса, Добролюбовъ, говоритъ Скабичевскій, стоялъ уже впереди своего вѣка, и первыя статьи его нисколько не слабѣе послѣднихъ, писанныхъ передъ смертью. Спокойная, сдержанная, безпощадная иронія, какъ типическій признакъ сознавшаго свое историческое призваніе разночинца, въ раннихъ литературныхъ опытахъ Добролюбова, показываетъ намъ, что онъ сразу овладѣлъ всѣмъ, что было лучшаго въ движеніи 40-хъ годовъ. Мысль Добролюбова рѣшительно и твердо стоитъ на реальной почвѣ — повсюду прогрессивная, отрѣшенная отъ всѣхъ обветшалыхъ и отжившихъ взглядовъ. Вотъ какъ Скабичевскій резюмируетъ философскія основанія въ дѣятельности Добролюбова: «отрицаніе заоблачныхъ и метафизическихъ фантазій, убѣжденіе, что явленія частной и общественной жизни подчиняются непреложнымъ естественнымъ законамъ природы, сознаніе важности естественныхъ наукъ и опытнаго метода въ изученіи человѣка и общества, объясненіе побужденій и дѣйствій человѣка вліяніемъ обстоятельствъ, образующихъ его характеръ, отрицаніе отвлеченной теоріи нравственнаго долга и выводъ началъ нравственности изъ естественныхъ побужденій эгоизма, отрицаніе средневѣковой теоріи подавленія страстей и проповѣдь ихъ гармоническаго развитія». Эти краеугольные камни реализма можно найти въ каждой статьѣ Добролюбова. Совершенно понятно, что при этихъ краеугольныхъ камняхъ Добролюбовъ долженъ былъ отвергнуть всякую эстетическую критику, какъ принадлежность «чувствительныхъ дѣвицъ». Разсматривая направленіе главныхъ статей Добролюбова, Скабичевскій приходитъ къ заключенію, что не только философскія задачи, но и чисто критическія задачи не были главными цѣлями его дѣятельности. Добролюбовъ былъ публицистомъ въ истинномъ значеніи этого слова, и подъ его перомъ съ русскою критикою случилось такое же превращеніе, какое случается съ парижскими парками въ моментъ особеннаго напряженія общественной жизни: предназначенные для отдыха и мирныхъ наслажденій, они вдругъ обращаются въ арену бурныхъ преній и политической борьбы. Въ статьяхъ Добролюбова содержаніе критики вдругъ раздвинулось, выйдя изъ прежнихъ границъ—литературная критика обратилась въ критику жизни, въ критику общества.

Скабичевскій былъ бы близокъ къ истинѣ, если бы онъ съ большей ясностью подчеркнулъ, что критика общественныхъ явленій, т. е. публицистика въ широкомъ смыслѣ слова, не можетъ ни въ чемъ замѣнить критики литературы, т. е. изслѣдованія тѣхъ законовъ, по которымъ

жизнь—и внѣшняя и внутренняя—отражается въ произведеніяхъ искусства. При этомъ нельзя не прибавить, что предложенная Скабичевскимъ формулировка основныхъ принциповъ реализма, которые встрѣчаются въ каждой статьѣ Добролюбова, можетъ служить самымъ убійственнымъ орудіемъ противъ реализма вообще и реализма въ литературной критикѣ въ частности.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Первые шаги Добролюбова на литературномъ поприщѣ.—Полемика съ Галаховымъ.—«Вопросы жизни» Н. И. Пирогова и «Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя розгами» Добролюбова.—Прощаніе Кіевскаго Общества съ Пироговымъ.—Журнальныя нападки на Добролюбова.—Письма Судовщикова и Драгоманова.—Самозащита «Современника».—Печатныя объясненія Пирогова.—Кто правъ и кто виноватъ?—Мелкія библіографическія замѣтки Добролюбова и его политическія статьи.—Монталамберъ и Кавуръ.

I.

Мы приступимъ теперь къ разсмотрѣнію произведеній Добролюбова. Распредѣливъ ихъ по характеру обработки и по той важности, какую они представляютъ для пониманія всей журнальной дѣятельности Добролюбова на четыре отдѣльныя группы, мы въ каждой изъ нихъ отмѣтимъ главную тенденцію автора, высоту его литературныхъ и публицистическихъ требованій, чтобы въ окончательномъ результатѣ, соединивъ отдѣльныя мысли въ опредѣленную систему, дать полную и всестороннюю обрисовку его литературной карьеры. Намъ придется войти въ подробное разсмотрѣніе нѣкоторыхъ нынѣ забытыхъ вопросовъ, волновавшихъ въ свое время общественное мнѣніе Россіи, вызвать живые образы людей, представляющихъ лучшую сторону русской культуры, и на фактахъ провѣрить достоинства тѣхъ пріемовъ, которые практиковались талантливыми людьми на страницахъ либеральнаго журнала той эпохи. Не можетъ подлежать сомнѣнію, что публицисты «Современника» добивались того, что считали правдою, шли по пути журнальной агитаціи съ убѣжденіемъ призванныхъ защитниковъ общественной справедливости. Но воздавая должное намѣреніямъ и стремленіямъ лучшихъ работниковъ «Современника», нужно съ полнымъ безпристрастіемъ вглядѣться въ методу этого журнала, разобраться въ тѣхъ средствахъ, которыя считались передовыми людьми того времени наиболѣе пригодными для достиженія поставленной цѣли. Тѣ общія идеи, ко-

торыя руководили дѣятелями «Современника» въ вопросахъ научно-философскихъ и эстетическихъ, должны были положить свою печать и на публицистическіе пріемы журнала, придавъ имъ характеръ холодной, оскорбительной рѣзкости и безпощадной нетерпимости, который по природѣ своей противорѣчитъ принципу свободы и гуманности. Публицистическія статьи, написанныя сотрудниками «Современника», лишены широкихъ настроеній, создаваемыхъ глубокимъ, всестороннимъ пониманіемъ историческихъ событій, умѣньемъ связывать факты жизни съ міровыми теченіями, ясно-сознаннымъ общимъ идеаломъ гражданственности, который каждую летучую политическую программу обращаетъ во временное орудіе для вѣчныхъ цѣлей духовнаго прогресса. Мы не видимъ въ этихъ статьяхъ свободнаго движенія политическихъ идей и могли бы, сославшись на документы, сохранившіеся въ исторіи русскаго либеральнаго движенія, показать, что именно люди, имѣвшіе возможность близко присмотрѣться къ событіямъ европейской исторіи, собственнымъ мужествомъ и, можно сказать, героизмомъ участвовавшіе въ борьбѣ новой Европы со старою, именно эти люди сознавали возможность другихъ методовъ для прогрессивнаго воздѣйствія на тотъ строй, въ которомъ трудились либеральные публицисты «Современника». Усвоивъ тонъ диктаторской самоувѣренности и замашки деспотическихъ опекуновъ, охраняющихъ незрѣлое общество отъ вредныхъ увлеченій въ сторону философской мечтательности, журнальные дѣятели описываемаго времени сразу встали на почву, невозможную для людей твердаго и глубокаго политическаго мышленія, которое не терпитъ никакихъ произвольныхъ скачковъ, никакихъ искаженій и, не упуская изъ виду эмпирическихъ обстоятельствъ, диктуетъ вѣрныя средства для вѣрныхъ и нужныхъ реформъ. Вотъ почему мы постоянно встрѣчаемся и въ публицистическихъ разсужденіяхъ писателей «Современника» съ искусственнымъ и тенденціознымъ подчеркиваніемъ отдѣльныхъ, иногда ничтожныхъ фактовъ вмѣсто увѣреннаго и принципіальнаго обсужденія тѣхъ матеріаловъ, которые выступали на судъ историка. При всей талантливости въ собираніи нужныхъ доказательствъ, тонкихъ штриховъ, передающихъ то иронію, то порывистое и сильное чувство человѣческаго протеста, при всей своей настойчивости въ преслѣдованіи опредѣленной цѣли, разсужденія эти не могутъ производить надлежащаго впечатлѣнія на людей, воспитанныхъ на болѣе совершенныхъ образцахъ правовой агитаціи. Эти разсужденія узки не по своимъ практическимъ стремленіямъ, а по своему философскому кругозору, въ который не входили высшіе интересы духовнаго творчества, высшія задачи человѣческаго существованія. Это публицистическая политика, обнимающая только немногіе вопросы ближайшаго общественнаго блага при данныхъ житейскихъ и историческихъ условіяхъ. Это смѣлая, иногда самоотверженная защита человѣческихъ правъ

безъ широкой философіи права. Это героизмъ, но «героизмъ съ выколотыми глазами», по мѣткому выраженію Карлейля. Они живутъ, эти старые журналы, но живутъ въ какой-то духовной тьмѣ. Мощные голоса до сихъ поръ слышатся изъ отдаленія времени, объятаго туманомъ. Силы, напряженныя борьбою и смутными ожиданіями лучшаго, рвутся на просторъ свободной общественной дѣятельности. Доносится шумъ горячаго спора. Но солнце не сіяетъ надъ этими смѣлыми журнальными схватками. Идея внутренней свободы, влекущая къ борьбѣ за высшія человѣческія нужды, не согрѣваетъ этихъ пламенныхъ защитниковъ народнаго блага. Литературная пропаганда «Современника», поражая энергіею и прямотою, не обнаруживаетъ духовной глубины и содержательности.

II.

Добролюбовъ выступилъ въ журналистикѣ съ довольно пространною статьею, имѣющею болѣе компилятивный, чѣмъ самостоятельный историческій характеръ,—о «Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова», напечатанною въ VIII и IX книгахъ «Современника» за 1856 г. Авторъ начинаетъ съ общихъ разсужденій, оттѣненныхъ ироническимъ отношеніемъ къ установившейся въ его время журнальной критикѣ. Послѣ отвлеченныхъ философскихъ пріемовъ, которыми пользовалась критика 40-хъ годовъ, пишетъ Добролюбовъ, наступило время обращенія къ фактамъ исторіи литературы. Еще недавно ко всему хотѣли прилагать эстетическія и философскія начала, во всемъ искали внутренняго смысла, всякій предметъ оцѣнивали по тому значенію, какое онъ имѣетъ въ общей системѣ знаній. Нынѣ намъ прежде всего показываютъ отдѣльные, отрывочные факты, каждый кирпичъ, каждое бревно, каждый гвоздикъ, употребленный при постройкѣ зданія, разсказывая при этомъ подробно, гдѣ что куплено, гдѣ что лежало до того времени, пока заняло свое настоящее мѣсто. Въ былое время господствовали высшіе взгляды, при которыхъ требовалось уловить духъ, характеръ, направленіе литературнаго явленія. Въ настоящее время занимаются изслѣдованіемъ того, насколько, кѣмъ и какъ обрубленъ и обсѣченъ сырой матеріалъ, приготовленный для постройки. Наполняя литературу указателями, помѣщая въ журналахъ указатели, основывая всю свою славу на составленіи указателей, ученые люди пренебрегаютъ всякими иными научными разсужденіями и цѣлями. Отмѣтивъ въ такихъ словахъ библіографическое направленіе современной критики, обливъ тонкимъ юморомъ разныхъ книжныхъ крохоборовъ и въ нѣсколькихъ энергичныхъ словахъ выразивъ сочувствіе критикѣ идейной, стремящейся сказать «новое слово въ наукѣ или въ искусствѣ», распространяющей въ обществѣ свѣтлые взгляды, истинныя, благородныя убѣжденія, Добролюбовъ скромно

выясняетъ характеръ предпринятаго имъ труда. Это не будетъ библіографическій указатель или сводный списокъ разныхъ статей, помѣщенныхъ въ «Собесѣдникѣ», это не будетъ «мозольное изслѣдованіе» безжизненныхъ фактовъ,—это будетъ работа, представляющая идейный смыслъ извѣстнаго явленія, выясняющая его значеніе въ русской литературѣ, съ необходимыми выводами и итогами. Читатель долженъ найти въ его статьѣ главныя соображенія «касательно важнѣйшихъ вещей», тѣ соображенія, которыя позволяютъ автору подробно и вѣрно слѣдить за духомъ и стремленіями журнала временъ Екатерины. Обращаясь къ «Собесѣднику», Добролюбовъ сначала опредѣляетъ его общій характеръ и затѣмъ болѣе подробно останавливается на важнѣйшихъ произведеніяхъ этого журнала: на произведеніяхъ Екатерины II. Это былъ журналъ съ большимъ вліяніемъ на русское просвѣщеніе, имѣвшій въ составѣ своихъ сотрудниковъ, кромѣ императрицы и кн. Дашковой, всѣхъ знаменитыхъ людей этой великой эпохи въ русской исторіи: Державина, Богдановича, Княжнина, Капниста, Фонвизина и др. Вся литературная дѣятельность Екатерины II, говоритъ Добролюбовъ, имѣетъ видъ высокой правды и безкорыстія,—и это не могло не вліять на другихъ писателей, участвовавшихъ въ «Собесѣдникѣ». Сама Екатерина являлась главной вкладчицей этого журнала, и два ея произведенія: «Записки касательно русской исторіи» и «Были и небылицы» должны быть признаны крайне интереснымъ документомъ въ исторіи русскаго просвѣщенія. Желая собственнымъ талантомъ воздѣйствовать на духовную культуру страны, она предприняла литературную работу, не лишенную нѣкоторыхъ научныхъ достоинствъ. Искуснымъ и подробнымъ изображеніемъ древнихъ доблестей русскаго народа она старается уронить тѣ клеветы, которыя взводили на Россію многіе иностранные писатели. Она взываетъ къ безпристрастному читателю, требуя отъ него, чтобы онъ призналъ, что родъ человѣческій вездѣ страдалъ одинаковыми страстями и стремился къ благополучію по одинаковымъ путямъ. Она проводитъ параллели между одновременными эпохами въ исторіи русской и исторіи другихъ народовъ, стараясь при этомъ придать темнымъ явленіямъ русской жизни какой-то свѣтлый, даже отрадный колоритъ. Но не всегда Екатерина остается въ кругу главныхъ для нея вопросовъ. Придерживаясь по возможности лѣтописныхъ сказаній, обрисовывая попутно съ политическими фактами и различныя явленія природы, событія внутренней жизни государства, она иногда прерываетъ простодушное повѣствованіе личными соображеніями, уклоняется въ сторону, бросаетъ намеки, имѣющіе историческое значеніе. И мы знаемъ, замѣчаетъ Добролюбовъ, что императрица высоко цѣнила свое искусство и записки о русской исторіи считала одною изъ заслугъ своихъ передъ русскимъ просвѣщеніемъ. Вмѣстѣ съ «Записками касательно русской исторіи» въ первыхъ книжкахъ «Собесѣдника» печа-

тался и другой трудъ Екатерины: «Были и небылицы», который, по словамъ Добролюбова, не имѣлъ столь важнаго значенія. Въ этомъ трудѣ своемъ императрица легко, шутливо, неглубоко, въ остроумныхъ импровизаціяхъ, безъ особеннаго плана говорила обо всемъ, что ей приходило въ голову. Нерѣдко она отвѣчала въ этихъ «Былях и небылицахъ» на разные толки, которые возбуждались въ обществѣ, отвѣчала на письма, мнимо или дѣйствительно адресованныя къ ней посредствомъ редакціи «Собесѣдника». Въ этомъ произведеніи выразился блестящій вѣкъ Екатерины, вѣкъ веселый, вѣкъ празднествъ и пировъ, безъ заботъ объ отдаленномъ будущемъ, «съ мыслью, что все на часъ и что нужно скорѣе пользоваться жизнью». Добролюбовъ подчеркиваетъ несерьезный характеръ этого литературнаго произведенія Екатерины и нѣсколькими фактами старается поколебать ея репутацію /высокой терпимости. Особенно сильно возстала она, говоритъ онъ, противъ свободоязычія по поводу извѣстныхъ вопросовъ Фонвизина, а отвѣты на эти вопросы, напечатанные въ 3-й части «Собесѣдника», свидѣтельствуютъ, что они не были пріятны императрицѣ. Она напечатала вопросы, отвѣчала на нихъ, но отвѣты ея такого рода, что большая часть изъ нихъ уничтожаетъ вопросы, не разрѣшая ихъ. Горячія, безкорыстныя стремленія Фонвизина пришлись не по душѣ императрицѣ, и она сочла за лучшее не обращать на него вниманія, показавъ ему предварительно, что путь, которымъ онъ идетъ, не приведетъ его ни къ чему хорошему. Въ общемъ Добролюбовъ относится сочувственно къ литературной дѣятельности Екатерины въ сотрудничествѣ съ лучшими людьми ея эпохи. Его восторгаетъ эта настойчивая борьба, которую люди ума и таланта вели съ господствующими пороками, онъ съ сожалѣніемъ говоритъ о литературѣ послѣдняго времени, которая сражается съ призраками, бросаетъ слова на воздухъ, нападаетъ только на то, что давно уже осмѣяно и оставлено обществомъ. Нужно отдать справедливость «Собесѣднику» за то, что онъ смѣло выводилъ на общее посмѣяніе какъ упорное старинное невѣжество, такъ и пустоцвѣтъ цивилизаціи, усвоенной поверхностно и дурно, что онъ первый заговорилъ съ энергіею о человѣколюбіи, что, не обольщаясь внѣшнимъ лоскомъ, онъ хлесталъ насмѣшкою жестокость, грубость, семейный развратъ и безумную расточительность. Стремленія издателей «Собесѣдника» были честны и благородны, и во всемъ, что напечатано въ этомъ журналѣ, нельзя не видѣть просвѣщеннаго вкуса и безкорыстнаго желанія добра людямъ. Но, отмѣтивъ свѣтлыя стороны «Собесѣдника», Добролюбовъ старается показать и его темныя стороны. Недостатки «Собесѣдника», говоритъ онъ, происходили отъ неустановившихся убѣжденій въ самихъ его сотрудникахъ, объяснялись низменнымъ состояніемъ общества, которое не было приготовлено еще понимать его чистыя стремленія. Въ

характерѣ тогдашней литературы замѣчается какая-то двойственность. Изобразивъ глупца, каждый авторъ считаетъ своею обязанностью рядомъ съ нимъ поставить и умнаго человѣка. Осмѣявъ ябеду, писатель не забываетъ упомянуть, что собственно судьи полезны и даже необходимы. Видно, что публика требуетъ назиданій и что авторъ не надѣется на свои силы. Въ «Собесѣдникѣ» имѣются длинныя статьи, проникнутыя скучной дидактикой. Повсюду — какія-то добавочныя разсужденія, оговорки, восклицанія. Повсюду—неизмѣнныя выраженія чувства глубокаго благоговѣнія къ россійской Минервѣ и нерѣдко въ томъ офиціально восторженномъ тонѣ, «который обличалъ въ піитахъ короткое знакомство не съ парнасскимъ сонмомъ боговъ, а съ обычными обитателями лакейскихъ» [1]).

Таковъ первый литературный трудъ, съ которымъ Добролюбовъ дебютировалъ въ «Современникѣ». Написанный просто, изящнымъ стилемъ, обличая въ молодомъ авторѣ знакомство съ важнѣйшими источниками русской журнальной культуры, проникнутой не яркимъ, но бодрымъ настроеніемъ, онъ не могъ не обратить на себя вниманіе людей, слѣдившихъ за современною печатью. Можно сказать, что для молодого студента, еще не окончившаго Педагогическаго Института, трудъ этотъ представляется даже чѣмъ-то выдающимся, такимъ явленіемъ, которое давало право ждать отъ автора много новыхъ успѣховъ на журнальномъ пути. Сквозь многочисленныя цитаты, обременяющія эту статью Добролюбова, повсюду проглядываетъ ясное,—не глубокое, но простое пониманіе историческихъ документовъ, умѣніе видѣть факты жизни въ ихъ конкретныхъ, почти грубыхъ выраженіяхъ, выдающійся даръ плавнаго разсказчика событій, приближающаго къ глазамъ современниковъ явленія прошлаго. Въ этой юношеской работѣ Добролюбова можно уже видѣть выдающіяся качества его несомнѣнно крупнаго литературнаго таланта. Не будучи художникомъ по натурѣ, не рисуя рѣзкими и яркими чертами картинъ, которыя носятся передъ художественно одареннымъ критикомъ при изученіи книгъ и документовъ, не обнимая взглядомъ мыслителя цѣлыхъ широкихъ полосъ въ жизни общества, Добролюбовъ легко и непринужденно схватываетъ всегда одну какую-нибудь струю въ разнородныхъ фактахъ, подвергающихся его разсмотрѣнію, прослѣживаетъ ее отъ начала до конца на всемъ пути ея историческаго движенія, и съ тонкимъ, скрытымъ ядомъ, въ сухихъ и почти блѣдныхъ выраженіяхъ отмѣчаетъ всѣ ея случайныя и неслучайныя паденія, ея стремительное теченіе, задерживаемое сопротивленіемъ трусливо бездѣятельныхъ массъ. Публицистъ, не склонный ни къ какой аффектаціи, лишенный страстей, но вооруженный тѣмъ, что иногда не хуже страсти—самообла-

[1]) Сочиненія Н. А. Добролюбова. т. I, изд. 1885 г. стр., 3—74.

даніемъ и красотою безшумнаго и спокойно доказательнаго убѣжденія. Добролюбовъ выигрываетъ въ глазахъ читателя не отдѣльными частями своихъ статей, не вдохновенными и внезапными вспышками литературной оригинальности, а общимъ строемъ послѣдовательной и чрезвычайно популярной аргументаціи, направляющейся отъ совершенно очевидныхъ положеній и стремящейся къ столь же очевиднымъ, незамысловатымъ выводамъ. Фантазія не участвуетъ въ разсужденіяхъ этого писателя. Подъ его ровными доказательствами, освѣщенными какою-то невинною улыбкою житейскаго скептицизма, нѣтъ тѣхъ таинственныхъ глубинъ, которыя увлекаютъ въ произведеніяхъ Бѣлинскаго, иногда очаровывая, иногда пугая тѣми высокими запросами, которые шевелятся въ нихъ. Тутъ все спокойно, просто. Здравый смыслъ, облеченный холодными словами, анализъ, направляемый на общедоступные предметы, точный, ничѣмъ не раздражающій и не волнующій стиль, выдержанный тонъ рѣчи, не выходящій изъ средняго регистра, побѣждаютъ читателя почти безъ сопротивленія. Это талантъ именно популярный. Въ каждой эпохѣ найдется человѣкъ, знающій ея желанія, не стоящій особенно высоко надъ нею по духовному содержанію, но умѣющій съ удивительной ясностью передавать ея надежды, политическія убѣжденія, ея воззрѣнія на задачи жизни. Онъ не пророкъ среди людей этой эпохи, онъ не обогатитъ своего времени ни одною оригинальной мыслью, выходящей изъ круга общепризнанныхъ понятій, онъ не превосходитъ своихъ современниковъ тонкостью чутья, смѣлостью и высотою философскихъ стремленій. Онъ самъ въ толпѣ интеллигентныхъ представителей своего общества и, живя впечатлѣніями и интересами дня, задачами окружающаго строя, онъ только лучше, проще, свѣтлѣе формулируетъ назрѣвшія цѣли. Въ этомъ его талантъ. Въ этомъ его отличіе отъ равныхъ ему по уму, по преобладающему принципу жизни, ближайшихъ и отдаленныхъ товарищей. Таковъ именно Добролюбовъ. Въ разсмотрѣнной статьѣ, какъ и въ другихъ статьяхъ, онъ не открываетъ новыхъ направленій мысли, не даетъ никакихъ широкихъ обобщеній, но держится на уровнѣ ходячихъ идей, которыя подъ его рукою получаютъ въ высшей степени правильную внѣшнюю обработку и формулировку. Всѣ его тонкія замѣчанія, отмѣчающія переходныя ступени отъ одной категоріи фактовъ къ другой, его критическій методъ, общія положенія—ничто не выходитъ изъ рамки популярной публицистики. Начавъ еле замѣтными, но ядовитыми нападками на библіографическую критику, утратившую высшую направляющую идею, Добролюбовъ самъ не выставляетъ никакого опредѣленнаго теоретическаго принципа. Ясное дѣло, что авторъ, по существу своихъ убѣжденій, находится въ полномъ разладѣ съ міросозерцаніемъ сороковыхъ годовъ, но ни изъ чего нельзя видѣть, какія новыя идеи должны придти на смѣну отжившимъ въ его глазахъ традиціямъ. Соберите вмѣстѣ эти

отдѣльные юмористическіе штрихи, разсыпанные въ обозрѣніи различныхъ статей «Собесѣдника», уловите едва слышное неудовольствіе автора по поводу того, что Екатерина представляла нѣкоторые факты русской исторіи въ оптимистическомъ свѣтѣ, что она не давала хода яростнымъ обличеніямъ Фонвизина, возьмите въ расчетъ презрительный тонъ его въ отношеніи къ піитамъ, не знающимъ удержу въ похвалахъ россійской Минервѣ—и вы поймете, что руководитъ авторомъ въ его изслѣдованіи. Но ясныхъ, открыто поставленныхъ принциповъ въ какомъ-бы то ни было направленіи вы не встрѣтите въ этой статьѣ. Политическая тенденція больше угадывается по намекамъ, чѣмъ непосредственно ощущается. Историческая критика съ ея строго научнымъ методомъ почти совершенно отсутствуетъ. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что люди настоящихъ знаній, почувствовавъ сразу талантъ въ Добролюбовѣ, не могли однако признать вѣрными употребленные имъ пріемы. «Отечественныя Записки» въ очень коротенькой замѣткѣ твердо возразили молодому писателю по вопросу о библіографическомъ элементѣ въ критикѣ, который не только не можетъ вредить ея общимъ идеямъ, но, ложась въ основаніе солиднаго разбора, даетъ опору для настоящихъ научныхъ оцѣнокъ и приговоровъ. Библіографія взошла въ русскую журналистику, читаемъ мы въ «Отечественныхъ Запискахъ», вслѣдствіе серьезнаго воззрѣнія на тотъ предметъ, которому она обязана служить—на исторію литературы. Тщательное собраніе и всесторонняя разработка данныхъ только содѣйствуютъ возвышенной задачѣ исторической критики. Историко-литературные труды нѣмцевъ, англичанъ и французовъ показали все богатство и разумность ихъ работъ и всю бѣдность и безразсудность работъ русскихъ. Безъ фактовъ можетъ обойтись только празднословное невѣжество или невѣжественное празднословіе. Библіографія по отношенію къ исторіи литературы то же, что анатомія по отношенію къ наукѣ о жизни цѣлаго организма [1]). Другая сторона разсужденій Добролюбова подверглась критикѣ со стороны такого компетентнаго человѣка, какъ А. Галаховъ. Онъ подробно разсмотрѣлъ мнѣніе Добролюбова о «Быляхъ и небылицахъ» и въ довольно большой статьѣ, отличающейся широкимъ и терпимымъ отношеніемъ къ вѣку Екатерины, представилъ все литературное дѣло императрицы въ совершенно иномъ освѣщеніи. По мнѣнію автора, задача упомянутаго произведенія Екатерины въ высшей степени серьезна и вѣрна. «Были и небылицы» — живая и мѣткая сатира, довольно полная характеристика современнаго Екатеринѣ общества. У сатиры, говоритъ онъ, есть два оружія: одно энергическое и грозное—обличеніе, позоръ, другое болѣе

[1]) „Отеч. Записки“, 1856 г., т. 103. Октябрь. „Литературныя и журнальныя замѣтки“, стр. 82.

легкое, хотя иногда и не менѣе страшное—насмѣшка, шутка. Екатерина II избрала послѣднее оружіе, какъ болѣе соотвѣтствовавшее ея природнымъ наклонностямъ, ея сану и принципу дѣйствій. Характеръ императрицы былъ чуждъ всякаго мрачнаго расположенія, унылости духа, раздражительнаго недовольства, а отсюда—спокойное, свѣтлое описаніе людскихъ слабостей и общественныхъ недостатковъ. Раздражительная, тревожная борьба съ недостатками общества обнаружила-бы не только желчное настроеніе сатирика, но и слабость правительственную. Галаховъ увѣренно защищаетъ Екатерину II въ ея отношеніи къ «вопросамъ» Фонвизина. Безъ сомнѣнія, говоритъ онъ, перомъ Фонвизина водило гражданское мужество, которое оцѣнила исторія русскаго просвѣщенія. Онъ умѣлъ говорить бодрымъ голосомъ во всеуслышаніе и умѣлъ молчать, когда молчаніе являлось единственнымъ способомъ сохранить честь своего знамени. Но въ своихъ «вопросахъ» онъ далъ Екатеринѣ острое полемическое оружіе противъ себя. Екатерина вошла въ состязаніе съ мужественнымъ литераторомъ, исполненнымъ патріотизма. Изъ отвѣтовъ ея видно, что она осталась недовольна вопросами Фонвизина, но причина этого недовольства очень понятна, замѣчаетъ Галаховъ. Образованнѣйшій литераторъ ея вѣка какъ-бы примкнулъ къ числу недовольныхъ, забывъ, что человѣческіе недостатки исправляются только во времени. Рѣзкость, нетерпѣливость и нетерпимость запросовъ показали императрицѣ, что Фонвизинъ не довѣрялъ ни силамъ молодого народа, ни ея собственной твердой волѣ. Ей почудилось, что талантливый писатель сомнѣвается въ дѣйствіи просвѣщенія на массы и, увлекшись духомъ сатиры, не хочетъ видѣть ни въ чемъ улучшенія и прогресса [1]).

Вотъ къ чему сводились возраженія Добролюбову со стороны «Отечественныхъ Записокъ»—какъ относительно значенія библіографіи, такъ и относительно недостатка исторической перспективы въ оцѣнкѣ произведеній Екатерины. Замѣтимъ, впрочемъ, что «Современникъ», отвѣтившій Галахову неподписанной замѣткой Добролюбова, повидимому, подправленной для журнала редакціей [2]), считалъ себя побѣдителемъ въ этомъ спорѣ, да и самъ Добролюбовъ, спустя два года по напечатаніи его возраженія, вспоминалъ объ этой полемикѣ съ игривымъ оттѣнкомъ, какъ журналистъ, успѣшно выдержавшій турниръ съ ученымъ противникомъ [3]).

---

[1]) «Отеч. Зап.» 1856 г. Октябрь, Критика: «Были и небылицы» А. Галахова, стр. 43—85.

[2]) Сличить сочиненія Н. А. Добролюбова, т. I, изд. 1885 г., стр. 89—95, и «Современникъ» 1856 г., № 11, «Замѣтки о журналахъ», стр. 170—176.

[3]) «Современникъ» 1858 г., № 2. Библіографія: «Русскій иллюстрированный альманахъ», стр. 178. «Матеріалы для библіографіи Н. А. Добролюбова», изд. Солдатенкова, 1890 г., стр. 439.

III.

Съ каждой новой статьей публицистическая тенденція выступаетъ у Добролюбова все ярче и рѣзче. Онъ уже не ограничивается намеками, молчаливымъ подборомъ историческихъ фактовъ, говорящихъ за себя безъ лишнихъ объясненій, а гдѣ можно высказываетъ свое твердое убѣжденіе въ очень смѣлой формѣ. Такъ, во-второй большой статьѣ, посвященной русской сатирѣ екатерининскаго времени, Добролюбовъ на много ладовъ объясняетъ причину безсилія русской обличительной литературы по отношенію къ обществу. Онъ смѣло протестуетъ противъ всякаго личнаго произвола въ распоряженіи соціальными дѣлами и требуетъ, чтобы сатира не слѣдовала по случайнымъ путямъ положительнаго законодательства, чтобы она обращала свои бичи не на прошедшее, а на настоящее. Пусть литература проникнетъ до корней общественныхъ неурядицъ, иначе ея вліяніе на жизнь не можетъ быть глубокимъ. Нужно, чтобы печатное слово обличало безъ оговорокъ, — иначе оно можетъ произвести только двойственное, смутное впечатлѣніе. Посмотрите на итоги того, что сдѣлала сатира екатерининской эпохи и какъ ея дѣло отразилось на русскомъ строѣ. Она кричала о свободѣ слова и мысли, а подъ конецъ царствованія Екатерины II была возстановлена тайная канцелярія подъ именемъ тайной экспедиціи. Она заботилась о распространеніи гуманныхъ идей, о смягченіи нравовъ, сказала свое слово противъ пытокъ, а при восшествіи на престолъ императора Александра I пытка, формально уничтоженная потомъ его указомъ, продолжала существовать. Сатира обличала дурныхъ помѣщиковъ, защищала человѣческія права крестьянъ, а въ 1783 г. въ Малороссіи утверждается крѣпостное право. «Пусть историки литературы восхищаются бойкостью, остроуміемъ и благородствомъ сатирическихъ журналовъ и вообще сатиры екатерининскаго времени, восклицаетъ Добролюбовъ, но пусть не оставляютъ они безъ вниманія и жизненныхъ явленій, указанныхъ нами. Пусть они скажутъ намъ, отчего этотъ разладъ, отчего у насъ это безсиліе, эта безплодность литературы?» [1]). Время и наблюденія надъ ходомъ русской жизни привели Добролюбова къ убѣжденію, что бороться съ несправедливостью можно только общею силою закона. На этой точкѣ зрѣнія онъ оставался до послѣднихъ дней своей литературной дѣятельности. Онъ вѣритъ въ бумагу. Онъ требуетъ писанныхъ хартій. Не полагаясь на живое воздѣйствіе смѣлыхъ людей, которое часто можетъ опередить законъ, онъ возлагаетъ всѣ надежды

[1]) Соч. Томъ. I «Русская сатира Екатерининскаго времени», стр. 177.

исключительно на спасающую силу непререкаемыхъ юридическихъ правилъ, получающихъ всеобщее примѣненіе.

На этомъ-то пунктѣ Добролюбовъ столкнулся съ Пироговымъ—человѣкомъ иного склада понятій, болѣе глубокаго ума и болѣе высокаго философскаго принципа. Два человѣка съ различнымъ міровоззрѣніемъ, различными путями пришедшіе къ извѣстнымъ практическимъ выводамъ, два человѣка, различно понимавшіе цѣли человѣческой жизни—Добролюбовъ и Пироговъ — встали другъ противъ друга съ чувствомъ оппозиціи и недовольства. Пироговъ—одинъ изъ немногихъ великихъ дѣятелей русскаго просвѣщенія. Мягкая, гуманная натура, широкій умъ, проникнутый религіознымъ настроеніемъ, онъ былъ убѣжденнымъ врагомъ матеріализма и утилитаризма. На прочномъ фундаментѣ разнообразныхъ экспериментальныхъ знаній, свѣтлой мыслью соединяя требованія точной науки съ интересами отвлеченныхъ философскихъ исканій, онъ построилъ для себя цѣлую систему религіозно-нравственныхъ понятій, которымъ оставался вѣренъ до конца своей жизни. Въ статьяхъ Пирогова иногда проносятся идеи, отъ которыхъ вѣетъ истинной геніальностью. Въ ихъ стилѣ, отличающемся какой-то старосвѣтскою величавостью, мѣстами чувствуется скрытый религіозный пафосъ, смягчаемый простодушіемъ вѣры. Міръ, подвергающійся его наблюденію, выступаетъ передъ нимъ, какъ одинъ безконечный путь, ведущій въ вѣчность. Въ исторіи русскаго общества Пироговъ—явленіе исключительное, которое сдѣлало-бы честь и болѣе высокой культурѣ. Но, принадлежа своими отвлеченными философскими убѣжденіями болѣе западной Европѣ, чѣмъ Россіи, этотъ замѣчательный хирургъ, общественный дѣятель и литераторъ не могъ привлечь къ себѣ всѣхъ симпатій либеральныхъ русскихъ журналистовъ. Добролюбовъ былъ слишкомъ молодъ, слишкомъ мало научно подготовленъ для правильной оцѣнки этого человѣка. Онъ обсудилъ его дѣятельность съ той казенно-либеральной точки зрѣнія, которая могла дать только рядъ фальшивыхъ и несправедливыхъ выводовъ. Какъ это ни странно кажется теперь, послѣ того, какъ обнародованы всѣ матеріалы, рисующіе и личность и практическіе труды Пирогова,—Добролюбовъ, незадолго передъ тѣмъ расхвалившій нѣкоторыя статьи его, не только усомнился въ твердости его убѣжденій, но и выпустилъ противъ него цѣлый колчанъ стрѣлъ въ своей полемической замѣткѣ «Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя розгами», написанной съ тѣми грубоватыми и оскорбительными пріемами, которые въ «Современникѣ» считались необходимыми признаками настоящаго прогрессивнаго тона. Добролюбовъ, повидимому, чувствовалъ себя на высотѣ своей задачи въ спорѣ противъ Пирогова и, осыпая его педагогическую дѣятельность, въ качествѣ попечителя кіевскаго учебнаго округа, упреками въ недостаткѣ радикализма, въ все время какъ-бы дразнилъ общественное мнѣніе тирадами, въ кото-

рыхъ ссылка на *бумагу*, на писанное правило, на юридическія гарантіи играли такую выдающуюся роль. Былъ моментъ, когда казалось, что Добролюбовъ развѣнчалъ и почти опозорилъ имя Пирогова. Талантливый журнальный полемистъ, въ прозѣ и стихахъ, которые подъ его рукою свистали, какъ казацкая нагайка, увѣренно и лихо хлесталъ ученаго педагога за недостатокъ гражданской рѣшимости. Общественное мнѣніе, почти сбитое съ толку авторитетнымъ голосомъ «Современника», какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ нѣкоторыя заявленія, напечатанныя въ старыхъ журналахъ, почти поколебалось въ своемъ симпатичномъ, даже восторженномъ отношеніи къ славѣ этого человѣка. «Современникъ» считался единственнымъ органомъ русскаго прогресса, и его полемика противъ Пирогова разсматривалась, какъ инструкція, спорить съ которою могутъ только ретрограды. Если «Современникъ» усомнился въ чемъ-нибудь, за нимъ послушно должны пойти всѣ либеральные люди въ Россіи. Если «Современникъ» рѣшился на что-нибудь напасть, поднять свой мечъ, общество должно понять свою обязанность въ этомъ случаѣ и, не мудрствуя лукаво, послѣдовать по его пути. Но репутація Пирогова шаталась только до тѣхъ поръ, пока онъ самъ не возразилъ «Современнику» фактами и соображеніями, въ которыхъ изобличена была вся несостоятельность знаменитыхъ нападокъ Добролюбова. Пироговъ съ достоинствомъ большого человѣка, знающаго цѣну задору журнальнаго либерализма, разсѣялъ всѣ сомнѣнія, возникшія на его счетъ.

Разсмотримъ этотъ характерный литературный эпизодъ, чтобы дать читателю надлежащія доказательства правоты Пирогова. Въ 1858 году въ Одессѣ появилась маленькая книжка литературныхъ статей Пирогова, посвященныхъ одесскому учебному округу [1]). Въ книжку эту вошли слѣдующія статьи: «Вопросы жизни», отрывокъ изъ забытыхъ бумагъ, «Новоселье лицея», рѣчь, произнесенная на торжественномъ актѣ Ришельевскаго лицея, «Одесская Талмудъ-тора», «Быть и казаться» и «Нужно-ли сѣчь дѣтей и сѣчь въ присутствіи другихъ дѣтей?» Если-бы Пироговъ не оставилъ ничего, кромѣ этого своего произведенія, то и тогда не могло-бы подлежать никакому сомнѣнію, что авторъ его—великій умъ, человѣкъ огромныхъ духовныхъ силъ, направленныхъ въ лучшую сторону. «Вопросы жизни»— настоящій перлъ философскаго мышленія. Это нѣсколько страницъ, какъ будто вырванныхъ изъ старинной, давно забытой книги, надъ которой пронеслись вѣка, но которую безсильно изсушить время. Какой-то великій мудрецъ въ кельѣ уединеннаго монастыря предавался размышленію о судьбахъ человѣчества и, съ любовью помышляя о молодыхъ поколѣніяхъ, дрожащею рукою набрасывалъ на бумагу свои отры-

[1]) Собраніе литературныхъ статей Н. И. Пирогова. Съ портретомъ автора Одесса, 1858 г.

вочныя мысли, полныя необычайной внутренней красоты, безъ всякаго плана, безъ суетнаго желанія кого-либо унизить или показать свое превосходство надъ другими людьми. И все, что написалось въ часы, исполненные молитвеннаго вдохновенія, живетъ и дышитъ до сихъ поръ, несмотря на то, что исторія ушла далеко впередъ, что жизнь развернулась шире и свободнѣе. Такое впечатлѣніе производитъ этотъ отрывокъ педагогическихъ размышленій Пирогова. Авторъ обращаетъ свой взоръ ко временамъ давно минувшимъ. Язычество древнихъ народовъ, говоритъ онъ, не озаренное свѣтомъ истинной вѣры, заблуждалось, но заблуждалось, слѣдуя твердо усвоеннымъ убѣжденіямъ. Въ самыхъ странныхъ, грубыхъ заблужденіяхъ языческой древности всегда проявляется существенный аттрибутъ духовной натуры человѣка — стремленіе разрѣшить вопросъ о цѣли бытія. Нравственно религіозное начало присутствуетъ повсюду. Но вотъ язычество пало, и въ мірѣ блеснулъ свѣтъ, который не померкнетъ. Все на минуту стало ясно, понятно, цѣли жизни выступили изъ тумана. Но гдѣ же люди, идущіе по пути этого свѣта? Гдѣ то воспитаніе, которое съ дѣтства направляло-бы людей къ тому, что̀ озарено было разъ навсегда двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ? Гдѣ то воспитаніе, которое приноравливалось-бы къ нашимъ внутреннимъ религіознымъ склонностямъ? Развѣ мы напрасно съ раннихъ лѣтъ знакомимся съ мыслью, что жизнь вѣчна, что настоящее только приготовленіе къ будущему? Вникните въ направленіе, по которому идетъ наше общество. Въ его дѣйствіяхъ нѣтъ ни слѣда завѣщанной правды. Въ его практической и умственной жизни мы находимъ рѣзко-выраженное матеріальное, почти торговое стремленіе, основаніемъ которому служитъ идея о счастьѣ и наслажденіяхъ жизни здѣшней [1]). Общество раздѣлено на толпы, подобно обществу языческому, съ тѣмъ отличіемъ отъ послѣдняго, что язычники увлекались нравственно-религіозными убѣжденіями различныхъ школъ, а люди настоящаго времени дѣйствуютъ по взглядамъ, совершенно несогласнымъ съ ихъ религіей. Язычество ставило открыто на площадяхъ вопросы о Богѣ и правдѣ, нынѣшнее общество требуетъ, чтобы люди не размышляли о томъ, что̀ необъяснимо. Религія исчезаетъ изъ жизненнаго оборота. Толпы давятъ своею инерціею всякую личную иниціативу въ этомъ направленіи. Люди съ умственнымъ талантомъ, не склонные мириться съ рутиною общества, не удовлетворенные его стремленіями, съ энтузіазмомъ и самоотверженіемъ ищутъ рѣшенія «столбовыхъ вопросовъ жизни», стараются проложить новые пути. Люди, слабые волею, не выдерживая противорѣчій жизни, не будучи въ силахъ направить борьбу внутреннихъ влеченій, быстро устаютъ, отдаются на произволъ обстоятельствъ и бродятъ на

[1]) Собраніе литературныхъ статей И. Н. Пирогова, съ портретомъ автора, стр. 8.

распутіи разныхъ дорогъ... Пироговъ требуетъ такого воспитанія, которое давало-бы силы для будущей борьбы съ обществомъ за высшую правду. Не спѣшите, говоритъ онъ, съ вашей прикладною реальностью: дайте созрѣть и окрѣпнуть внутреннему человѣку. Развивайте въ ребенкѣ общечеловѣческія понятія. Создавайте въ немъ сильныя убѣжденія, пріучайте его съ раннихъ лѣтъ проницательно смотрѣть въ себя, искренно любить правду, стоять за нее горою, быть непринужденно откровеннымъ, какъ съ наставниками, такъ и съ сверстниками. Вѣра, вдохновеніе, нравственная свобода мысли, широкія отвлеченія, упражненіе въ самопознаніи — вотъ орудія, которыми вырабатываются внутреннія силы. Безъ этихъ средствъ человѣкъ не можетъ бороться за истину. «Свѣтло и торжественно вдохновеніе, восклицаетъ Пироговъ. Оно, какъ праздничная одежда, облекаетъ духъ, устремляя его на небо. Томно и тихо сочувствіе. Оно, какъ заунывная пѣснь, напоминаетъ отдаленную родину. Какая борьба можетъ совершиться безъ вдохновенія и безъ сочувствія? Какая борьба покажется вамъ нестерпимою, когда вдохновеніе осѣнитъ, когда сочувствіе согрѣетъ васъ?» Если бы самопознаніе было хоть сколько нибудь развито въ толпахъ, бѣгущихъ отвлеченія, земное бытіе исполнилось бы дѣлами, предъ которыми потомство преклонилось бы съ благоговѣніемъ... [1]). Таковъ глубоко-гуманный взглядъ Пирогова на цѣли воспитанія, выраженный имъ въ статьѣ «Вопросы жизни». Въ другихъ изъ названныхъ статей онъ продолжаетъ бороться съ реалистическимъ, *торгосмъ* направленіемъ вѣка, защищаетъ необходимость положительныхъ принциповъ [2]), требуетъ идеальнаго взгляда на жизнь и горячо протестуетъ противъ «ненасытной утилитарности» [3]), которая стремится отвоевать для себя всѣ сферы человѣческой дѣятельности. Въ статейкѣ, посвященной вопросу о сѣченіи дѣтей, онъ съ необычайной силою, какъ талантливый психологъ и врачъ, разрушаетъ всѣ аргументы русскихъ педагоговъ въ пользу розги во имя просвѣщенія и гуманности. Вся книжка запечатлѣна однимъ духомъ, однимъ высокимъ настроеніемъ. Всѣ практическія требованія автора идутъ изъ опредѣленнаго философскаго источника. Мыслитель, указывающій пути для достиженія опредѣленныхъ теоретическихъ цѣлей, Пироговъ не былъ обычнымъ педагогомъ. Отвлеченныя идеи ему дороже всего. Самый человѣкъ — по его глубокомысленному замѣчанію — есть одно только отвлеченіе. Онъ смѣется надъ людьми, которые утверждаютъ, что это «отвлеченіе» — человѣкъ — есть нѣчто вовсе ненужное для нашего общества, что существуютъ и должны существовать только негоціанты, солдаты, врачи, юристы. Его мысль стремится къ идеальнымъ интересамъ жизни, безъ которыхъ не нужна ни

[1]) Собраніе литературныхъ статей, стр. 30—32.

[2]) Ibidem, Новоселье лицея, стр. 44.

[3]) Ibidem, Одесская Талмудъ-тора, стр. 54.

гражданственность, ни какая бы то ни была житейская польза. Проникнутый религіознымъ духомъ, Пироговъ всѣмъ своимъ убѣжденіямъ придаетъ высшій разумный характеръ, и его практическія требованія по различнымъ вопросамъ педагогики являются только прямымъ и неизбѣжнымъ выводомъ изъ общихъ принциповъ его міровоззрѣнія.

Добролюбовъ посмотрѣлъ на статьи Пирогова съ болѣе простой, элементарной точки зрѣнія и отмѣтилъ въ нихъ словами полнаго сочувствія только нѣкоторыя разсужденія, которыя имѣютъ прямое отношеніе къ педагогическому вопросу. Аргументація Пирогова, его религіозный принципъ, вся сумма его коренныхъ философскихъ доводовъ—оставлены безъ всякаго вниманія. Въ общихъ выраженіяхъ одобряя педагогическія стремленія Пирогова, признавая благородство въ направленіи его мыслей, пламенность и живость его діалектики, Добролюбовъ не входитъ, однако, въ разборъ его взглядовъ по существу. Двѣ страницы, посвященныя «Вопросамъ жизни», не заключаютъ въ себѣ ни одного замѣчанія, которое выражало бы опредѣленное отношеніе къ главной, религіозно-философской темѣ этой статьи. Сотрудникъ «Современника» не придалъ значенія тому, что въ книжкѣ Пирогова занимаетъ самое выдающееся мѣсто—впереди всѣхъ прочихъ, частныхъ или случайныхъ требованій времени, вторгавшихся неизбѣжно и въ его разсужденія: его борьбѣ съ торговымъ, утилитарнымъ принципомъ жизни ради принципа идеальнаго, отвлеченнаго, философскаго. Самая содержательная часть статьи Добролюбова представляетъ собою изложеніе его собственныхъ взглядовъ по затронутому вопросу, взглядовъ, обставленныхъ иными, чѣмъ у Пирогова, доказательствами и горизонтами. Въ другихъ замѣткахъ Добролюбова, имѣющихъ отношеніе къ педагогикѣ и появившихся до знаменитой статьи о всероссійскихъ иллюзіяхъ, разрушаемыхъ розгами, имя Пирогова встрѣчается, постоянно окруженное похвалами, но опять-таки безъ какого бы то ни было разбора его философскихъ и педагогическихъ понятій—болѣе, какъ внѣшнее авторитетное орудіе для борьбы съ разными встрѣчными общественными теченіями... Но вотъ въ одиннадцатой книгѣ «Журнала для воспитанія» 1859 г. обнародованъ былъ циркуляръ Пирогова, заключающій въ себѣ «Правила о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій Кіевскаго учебнаго округа». Отношеніе Добролюбова къ Пирогову сразу и круто измѣнилось къ худшему. Не основанное на общихъ научныхъ симпатіяхъ сочувствіе, оказанное «Современникомъ» этому превосходному общественному дѣятелю, никогда не могло быть ни особенно глубокимъ, ни даже достаточно искреннимъ. Весь умственный строй Пирогова радикально противорѣчилъ міросозерцанію Добролюбова и Чернышевскаго, и поверхностное сходство въ нѣкоторыхъ практическихъ желаніяхъ, случайное созвучіе въ отношеніяхъ къ старому, отживавшему порядку русской жизни не могло создать между Пироговымъ и дѣятелями «Совре-

менника» никакого настоящаго полнаго согласія. Это чувствовалось уже въ 1858 г., когда «Современникъ» помѣстилъ на своихъ страницахъ коротенькій отчетъ о прощальномъ обѣдѣ, данномъ ученымъ обществомъ Одессы бывшему попечителю Одесскаго учебнаго округа, получившему другое назначеніе [1]). Это съ особенною силою выразилось въ статьѣ Добролюбова о «Всероссійскихъ иллюзіяхъ», написанной съ тѣмъ оттѣнкомъ озлобленія и раздраженія, который легко выдаетъ глубокую, затаенную антипатію Добролюбова къ этому странному, невиданному еще въ Россіи борцу за гуманность, умѣющему примирять интересы религіи съ задачами либерализма. Въ статьѣ Добролюбова не чувствуется даже скрытаго смущенія человѣка, внезапно столкнувшагося лицомъ къ лицу съ измѣнившимъ единомышленникомъ—гнѣва любви, обличительнаго протеста, карающаго попранный товарищескій союзъ. Въ его полемическихъ разсужденіяхъ не видно желанія принять въ расчетъ ту тяжелую, реальную обстановку, въ которой приходилось дѣйствовать Пирогову. Бичуя отдѣльныя мѣста въ циркулярѣ, онъ пропускаетъ безъ вниманія то, что рисуетъ печальное положеніе истинно просвѣщеннаго человѣка въ обществѣ, которое не доросло до его запросовъ и требованій. Оставляя безъ оцѣнки очень важныя разсужденія Пирогова, онъ издѣвается надъ отдѣльными его мыслями съ ехидствомъ человѣка, замѣчающаго именно ничтожныя оплошности своего противника, издѣвается съ какою-то нервическою судорогою въ подборѣ отрывистыхъ, рѣзкихъ фразъ, донимая при этомъ своего ученаго противника доказательствами того, что либерально составленная *бумага*, получившая силу закона, безконечно надежнѣе всякаго воззванія къ разуму и совѣсти людей. Прежнія свѣтлыя иллюзіи разсѣялись, и въ новомъ произведеніи Пирогова Добролюбовъ, съ безпощадностью критика, не склоняющагося ни предъ какими авторитетами, не открываетъ ничего, кромѣ «безтолковѣйшаго разлада» противорѣчащихъ мыслей, ничего, кромѣ «барскаго блаженства обломовщины», тысячи логическихъ ошибокъ, составляющихъ «одну изумительнѣйшую несообразность съ здравымъ смысломъ». Намъ стало какъ то скверно, восклицаетъ онъ, когда мы погрузились въ этотъ «грязный и темный омутъ, названный правилами о проступкахъ и наказаніяхъ»... «Мы обнаружили крайнее тупоуміе и совершенное непониманіе жизни русской, когда осмѣлились выразить что-то въ родѣ надеждъ на практическую дѣятельность восхваляемаго писателя. Намъ до сихъ поръ совѣстно за этотъ удивительный столбнякъ, нашедшій на насъ въ то время»... Вотъ въ какихъ выраженіяхъ Добролюбовъ изливаетъ свое возмущенное чувство по поводу злосчастнаго документа, напечатаннаго въ «Журналѣ для воспитанія». Читая эти аффектированныя строки, можно

[1]) «Современникъ», 1858 г. № 10. «Обѣдъ Н. И. Пирогову», стр. 265.

подумать, въ самомъ дѣлѣ, что Пироговъ измѣнилъ своимъ убѣжденіямъ, что обнародованныя имъ правила расходились, по своей тенденціи, съ наиболѣе гуманными стремленіями и потребностями современнаго ему русскаго общества.

Рѣчь идетъ о розгѣ,—о томъ, какъ пересоздать систему наказаній, господствовавшую въ гимназіяхъ кіевскаго учебнаго округа до попечительства Пирогова. Мы уже знаемъ, что Пироговъ въ статьѣ своей о томъ, нужно-ли сѣчь дѣтей, высказался категорически и смѣло противъ этого дикаго наказанія, снабдивъ свои разсужденія неопровержимыми логическими и психологическими доказательствами. Онъ писалъ, что розга, какъ наказаніе, не выдерживаетъ никакой критики. Въ чемъ состоитъ основная мысль тѣлеснаго наказанія? спрашивалъ Пироговъ въ 1858 г. Въ мести? Но месть не должна находить себѣ защитниковъ въ христіанскомъ обществѣ. Въ желаніи пристыдить мальчика, погрѣшившаго противъ установленныхъ правилъ? Но тотъ, кто хочетъ тѣлеснымъ наказаніемъ пристыдить виновнаго, хочетъ дѣйствовать стыдомъ на человѣка, уже потерявшаго стыдъ. «Чувство стыда—это нѣжный, оранжерейный цвѣтокъ, который разомъ завянетъ, когда побываетъ въ грубыхъ рукахъ». Въ страхѣ физической боли и тѣлесныхъ истязаній? Но хорошо-ли пріучать совѣсть человѣка къ такой позорной зависимости отъ болевыхъ ощущеній? Неужели можно въ комъ-нибудь воспитать сознаніе долга грубой угрозой причинить физическое страданіе [1]). Таковы разсужденія Пирогова. Что-же случилось въ 1859 г.?

Обращаясь къ документу, такъ рѣзко осужденному Добролюбовымъ, мы, при самомъ добросовѣстномъ чтеніи, не находимъ въ немъ матеріаловъ, оправдывающихъ негодованіе критика. Одинъ изъ лучшихъ памятниковъ практической дѣятельности Пирогова, циркуляръ этотъ проникнутъ свѣтлымъ пониманіемъ культурныхъ условій русской жизни, рѣшимостью энергичнаго реформатора, воюющаго съ предразсудками, какъ высшихъ, такъ и низшихъ слоевъ окружающаго его общества. Это документъ, свидѣтельствующій, кромѣ того, о такомъ самообладаніи, о такой воздержности въ употребленіи власти, которыя доступны только высшимъ интеллигентнымъ натурамъ.

Задумавъ уничтожить произволъ въ гимназіяхъ округа, подвѣдомственнаго его попечительству, Пироговъ обратился къ существующей системѣ наказаній и не нашелъ въ ней никакого принципа. Деморализація охватила всѣ отношенія между воспитателями и учениками. Наставники обращаются съ гимназистами грубо и дико, ученики потеряли довѣріе къ добросовѣстности своихъ руководителей. Чувство законности совершенно отсутствуетъ въ жизни заведеній и воспитаніе молодыхъ поколѣній пре-

[1]) Собраніе литературныхъ статей, стр. 74—81.

доставлено произволу людей, утратившихъ опредѣленную, руководящую цѣль. Обозрѣвая дѣйствительное состояніе педагогическаго дѣла въ Россіи, Пироговъ видитъ въ средѣ русскихъ педагоговъ однихъ только администраторовъ и спекулянтовъ. Въ учебныхъ казенныхъ заведеніяхъ, говоритъ онъ, господствуетъ административное начало, а въ большей части приватныхъ школъ и пансіоновъ—спекуляція. «Это такъ и есть, и не можетъ быть иначе при современномъ состояніи нашего общества, хотя одно только призваніе должно быть господствующимъ началомъ воспитанія» [1]). И вотъ, оставивъ въ покоѣ недостижимое, не будучи въ силахъ сразу создать въ Россіи людей педагогическаго призванія, Пироговъ берется за усовершенствованіе существующей системы общественнаго воспитанія. Если административное начало въ казенныхъ заведеніяхъ должно быть признано несомнѣннымъ фактомъ, то, при такомъ состояніи дѣла, нужно, по крайней мѣрѣ, извлечь все хорошее изъ этого начала. Надо сдѣлать такъ, чтобы это начало, уравновѣшенное новыми постановленіями, могло служить къ развитію въ дѣтяхъ чувствъ законности, взаимнаго довѣрія—этихъ жизненныхъ условій гражданственности [2]). Всѣ начальники и наставники заведеній должны слѣдовать однимъ извѣстнымъ, точно опредѣленнымъ правиламъ и постановленіямъ. Учащіеся должны быть ознакомлены съ этими правилами и постановленіями. Ученикамъ должно быть вѣдомо, какія послѣдствія повлекутъ за собою ихъ проступки. О произволѣ и капризѣ воспитателей не можетъ быть никакой рѣчи. Съ цѣлью выработать полный кодексъ такихъ общеобязательныхъ для гимназій кіевскаго учебнаго округа правилъ, Пироговъ и составилъ особенный комитетъ изъ помощника попечителя, директоровъ, инспекторовъ казенныхъ училищъ, нѣкоторыхъ профессоровъ исторіи и нѣкоторыхъ учителей, и опредѣленія этого комитета были обнародованы въ лежащей передъ нами книжкѣ «Журнала для воспитанія». Въ основу циркуляра были положены два принципа: широкая дѣятельность педагогическихъ совѣтовъ и точное знаніе правилъ учениками, какъ гарантія и условіе ихъ довѣрчиваго отношенія къ наставникамъ. Но Пироговъ не счелъ возможнымъ ограничиться въ этомъ дѣлѣ одними теоретическими положеніями и, желая съ корнемъ вырвать изъ господствующаго строя русской жизни одно изъ самыхъ злокачественныхъ порожденій отечественной безкультурности, онъ возбудилъ вопросъ объ отмѣнѣ розги. Объ этомъ свидѣтельствуетъ сама обнародованная инструкція. Розгу изъ русскаго воспитанія, говорится здѣсь, нужно было-бы изгнать совершенно. Унижая нравственное чувство, возбуждая въ виновномъ робкій страхъ съ его обыкновенными спутниками—ложью, хитростью и притворствомъ, розга, пишетъ Пиро-

[1]) «Журналъ для воспитанія», 1859 г., № 11. «Циркуляръ по управленію кіевскимъ учебнымъ округомъ», стр. 109.

[2]) Ibidem, стр. 110.

говъ, окончательно разрываетъ нравственную связь между воспитателемъ и воспитанникомъ. Если грубое тѣлесное наказаніе и отъ рукъ родного отца дѣлается иногда невыносимымъ, то въ воспитаніи, основанномъ на административномъ началѣ, оно становится возмутительнымъ и возмущающимъ [1]). Таково категорическое убѣжденіе Пирогова, выраженное съ такою силою въ томъ самомъ документѣ, который лежалъ и передъ глазами Добролюбова. Казалось, никакихъ сомнѣній не могло-бы и возникнуть. Пироговъ ратовалъ въ упомянутомъ комитетѣ, дѣйствовавшемъ подъ его предсѣдательствомъ, *противъ розги*, но педагоги не согласились съ его доводами, а училищный уставъ не давалъ ему права произвести реформу по собственной власти. Розгу пришлось оставить въ таблицѣ наказаній, обнародованныхъ комитетомъ. Однако, Пироговъ не могъ помириться съ этой тяжелой необходимостью. Онъ рѣшился обставить примѣненіе розги такими стѣсняющими правилами, которыя de facto, можно сказать, совершенно искореняли ее изъ обихода гимназій, и Добролюбовъ былъ настолько проницателенъ, что отмѣтилъ противорѣчіе между различными пунктами обнародованнаго циркуляра, хотя и не обнаружилъ при этомъ пониманія истиннаго смысла этого противорѣчія. Въ одномъ мѣстѣ циркуляра говорится, что употребленіе розги должно быть «безотлагательнымъ», должно слѣдовать непосредственно за поступкомъ, очевидность котораго не подлежитъ никакому сомнѣнію, а въ другомъ—дѣлается строгое постановленіе, что розга допускается только по опредѣленію педагогическаго совѣта и съ увѣдомленіемъ попечителя округа о винѣ, приговорѣ и исполненіи. Намъ указали нѣкоторые, говоритъ Пироговъ въ своемъ «Отчетѣ», на противорѣчіе въ *правилахъ*, относящееся до тѣлеснаго наказанія. «Это дѣйствительно противорѣчіе, но такое, которое говоритъ само за себя. Мнѣ оно казалось *необходимымъ*. Когда большинство въ комитетѣ сочло невозможнымъ совсѣмъ уничтожить тѣлесное наказаніе, то это противорѣчіе выразило мой личный протестъ, который долженъ былъ напомнить педагогическимъ совѣтамъ, какого я мнѣнія о розгѣ. Вотъ и все» [2]). Нельзя яснѣе выразить свое возмущеніе журнальной придиркой. Нельзя точнѣе объяснить свое положеніе въ дѣлѣ, которое было обязано Пирогову своимъ несомнѣннымъ прогрессомъ. Добролюбовъ долженъ былъ раньше, чѣмъ обрушиваться на педагогическую дѣятельность Пирогова, принять во вниманіе всѣ тѣ обстоятельства, которыя стояли выше его и которыя душили, хотя и не задушили въ немъ смѣлую реформаторскую инициативу. Дѣло, конечно, не въ рѣзкостяхъ, совершенно безсмысленныхъ, когда рѣчь идетъ о такомъ крупномъ лицѣ, какъ Пироговъ,—дѣло въ самой задачѣ публицистики, обязанной оказывать помощь всякому смѣлому почину, всякой

[1]) «Журналъ для воспитанія», 1859, № 11, стр. 115.

[2]) «Воспитаніе», 1861 г., № 4. «Отчетъ о слѣдствіяхъ введенія по кіевскому учебному округу правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій», стр. 215.

свѣтлой энергіи, а не извращать той живой правды, которая рвется наружу сквозь давящую тьму невѣжества и казенщины. Циркуляръ лежалъ на столѣ Добролюбова, когда онъ хлесталъ Пирогова и въ прозѣ, и въ стихахъ. Нельзя допустить, что Добролюбовъ не былъ-бы способенъ разобраться въ этомъ дѣлѣ, если-бъ онъ сумѣлъ учуять суть этой выдающейся натуры. Вся Россія знала, что Пироговъ не сдавался, а личнымъ нравственнымъ вліяніемъ боролся противъ существующей системы воспитанія съ ея грубыми формами наказанія, и журналистъ, стоявшій въ первыхъ рядахъ тогдашняго общества, долженъ былъ отнестись къ этому дѣлу съ настоящимъ гражданскимъ тактомъ, котораго, къ сожалѣнію, у Добролюбова не оказалось. Нельзя черезъ много лѣтъ безъ изумленія читать эту пародію на поэтическое стихотвореніе Лермонтова, помѣщенную въ № 4 «Свистка». Пироговъ оказался мишенью для стрѣлъ, отравленныхъ ядомъ чистокровнаго россійскаго либерализма. Пироговъ изображается какою-то мелкою натурою, самодовольно успокаивающеюся на пустыхъ правилахъ, требующихъ коллегіальнаго начала въ примѣненіи позорныхъ наказаній. О Пироговѣ поется въ слѣдующемъ шутовскомъ романсѣ [1]):

Выхожу задумчиво изъ класса,
Вкругъ меня товарищи бѣгутъ.
Жарко спорятъ ихъ живая масса:
Былъ-ли Лютеръ геній или плутъ?

Говорилъ я нынче очень вольно,
Горячо отстаивалъ его...
Что-же мнѣ такъ грустно и такъ больно?
Жду-ли я, боюсь-ли я чего?

Нѣтъ, не жду я кары гувернера,
И не жаль мнѣ нынѣшняго дня...
Но хочу я брани и укора,
Я-бъ хотѣлъ, чтобъ высѣкли меня!..

Но не тѣмъ сѣченіемъ обычнымъ,
Какъ сѣкутъ повсюду дураковъ,
А другимъ, какое счелъ приличнымъ
П*** И*** П***...

Я-бъ хотѣлъ, чтобъ для меня собрался
Весь педагогическій совѣтъ,
И о томъ, чтобъ долго препирался,
Сѣчь меня за Лютера иль нѣтъ?

Чтобъ потомъ, табличку наказаній
Показавши молча на стѣнѣ,
Дали мнѣ понять безъ толкованій,
Что достоинъ порки я вполнѣ,

[1]) „Современникъ“, 1860 г., № 3. „Свистокъ“, стр. 27—28.

Чтобъ узналъ объ этомъ попечитель,
И, лежа подъ свѣжею лозой,
Чтобъ я зналъ, что нашъ руководитель
Въ этотъ мигъ болитъ о мнѣ душой.

За этимъ слѣдуетъ подпись—сатирическій псевдонимъ Добролюбова: Конрадъ Лиліеншвагеръ. «Грустная дума гимназиста *лютеранскаго* исповѣданія и *не кіевскаго* округа» — вотъ названіе приведеннаго стихотворенія, которое должно было уязвить Пирогова!

4-го апрѣля 1861 г. состоялось прощаніе кіевскаго общества съ Пироговымъ, оставлявшимъ постъ попечителя. На обѣдѣ, устроенномъ его многочисленными сослуживцами и почитателями, присутствовало болѣе 120 человѣкъ, но собраніе не носило никакого торжественнаго, офиціальнаго характера. Это былъ, какъ сообщается въ книжкѣ, носящей названіе «Прощаніе кіевскаго учебнаго округа съ Н. И. Пироговымъ», домашній обѣдъ, на которомъ огромная семья людей, родныхъ по убѣжденіямъ, прощалась съ главою дома. На Пирогова устремлены были всѣ взоры, къ нему обращались всѣ привѣтствія и пожеланія. Каждый ораторъ, оцѣнивая его заслуги, объяснялъ себѣ и другимъ всю тяжесть испытываемой утраты. Многочисленные ученики говорили восторженно, одушевленно, а самъ Пироговъ задумчиво и спокойно, тихимъ голосомъ мудреца, говорилъ о вѣчномъ, непреходящемъ царствѣ идей, утѣшая при этомъ своихъ друзей тѣмъ, что въ мірѣ духовномъ нѣтъ разлуки. Время обсудитъ и оцѣнитъ наши убѣжденія и наши дѣйствія и, разставаясь, мы не должны забывать, что и здѣсь, на землѣ, гдѣ все проходитъ, есть нѣчто нерушимое, твердое, вѣчное—это общіе интересы духа, царство мысли. «Если мы вѣрно служили идеѣ, которая, по нашему твердому убѣжденію, вела насъ къ истинѣ путемъ жизни, науки и школы, говорилъ Пироговъ, то будемъ надѣяться, что и потокъ времени не унесетъ ее вмѣстѣ съ нами». Ораторы оцѣнивали его нравственную и умственную личность, значеніе того, что имъ сдѣлано для воспитанія края. Одинъ изъ педагоговъ, упомянувъ объ изданныхъ имъ «Правилахъ», сказалъ при этомъ слѣдующее: «Вы остались вѣрны своимъ убѣжденіямъ, несмотря на раздражительные крики въ журналахъ людей, не могшихъ понять, какъ попечитель округа могъ подчинить свое мнѣніе большинству голосовъ комитета». Были рѣчи и отъ лица молодого поколѣнія, и отъ еврейскаго общества, были безчисленныя телеграммы отъ разныхъ учрежденій—съ тѣмъ же горячимъ выраженіемъ любви и сочувствія. 8-го апрѣля въ большой актовой залѣ кіевскаго университета собралась огромная толпа студентовъ въ ожиданіи бывшаго своего начальника. Въ 10 час. утра Пироговъ показался въ сопровожденіи ректора. Все замолкло, воцарилась та особая торжественная тишина, которая краснорѣчивѣе всякихъ аплодисментовъ. «Я зналъ, сказалъ Пироговъ собравшимся сту-

дентамъ, что истина моихъ убѣжденій разъяснится не разомъ для всѣхъ, что встрѣтится много такого, что будетъ говорить противъ меня, и заслужитъ порицаніе тѣхъ, которые думаютъ перейти отъ одного порядка вещей къ другому противоположному, измѣнивъ только внѣшнюю обстановку. Я зналъ, что немногіе раздѣляютъ мой взглядъ на университетскую молодежь. Но все это не могло измѣнить моихъ глубокихъ убѣжденій, не могло остановить моихъ дѣйствій, основанныхъ на любви и уваженіи къ молодежи, на довѣріи къ благородству ея мыслей. Я не приказывалъ, я убѣждалъ, потому что заботился не о внѣшности, а о чувствѣ долга, которое признавалъ въ молодежи такъ-же, какъ и всѣ другія высокія стремленія духа» [1])... Черезъ нѣсколько дней Пироговъ выѣхалъ изъ Кіева, гдѣ провелъ послѣдніе два года въ непрестанныхъ заботахъ о поднятіи духовнаго уровня въ подвѣдомственныхъ ему учрежденіяхъ. Съ трехъ часовъ пополудни большая толпа студентовъ, гимназистовъ, лицъ педагогическаго міра, пѣшкомъ и въ экипажахъ, окружила зданіе первой кіевской гимназіи. Еще большая толпа, въ 700—800 человѣкъ, заранѣе отправилась на дачу «Санъ-Суси». Въ восемь часовъ вечера Пироговъ вышелъ со своимъ семействомъ, и отовсюду послышались крики сожалѣнія о разлукѣ. Онъ сѣлъ въ тарантасъ, и за нимъ потянулся длинный кортежъ всякаго рода экипажей. Когда пріѣхали на дачу, глазамъ представилась въ сумеркахъ весенняго дня громадная масса народа, растянувшаяся на цѣлую четверть версты. Воздухъ снова огласился криками. Тарантасъ остановился, и Пироговъ еще разъ, въ послѣдній разъ заговорилъ къ толпѣ о непреходящемъ царствѣ идей, о вѣчныхъ цѣляхъ жизни, о служеніи добру и правдѣ...

Только послѣ этихъ торжественныхъ проводовъ въ петербургскихъ журналахъ появился рядъ замѣтокъ, направленныхъ противъ странной статьи Добролюбова о «Всероссійскихъ иллюзіяхъ». Въ апрѣльской книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» была впервые подчеркнута грубая безтактность «Современника» по отношенію къ человѣку, заслужившему полное и безусловное уваженіе. Грустно вспомнить, писалъ журналъ, что этотъ самый человѣкъ, который покидаетъ теперь постъ свой, сопровождаемый всеобщимъ сожалѣніемъ и признательностью, что этотъ самый человѣкъ не далѣе, какъ годъ тому назадъ, былъ предметомъ оскорбительной статьи «Современника», по поводу дѣйствій его на поприщѣ воспитанія. Возмущаясь обнародованными «Правилами», Добролюбовъ, говорятъ «Отечественныя Записки», не обратилъ вниманія на то, что вопросъ о наказаніяхъ обсуживался въ комитетѣ коллегіально и что, разъ передавъ это дѣло на разсмотрѣніе педагоговъ, Пироговъ не вправѣ былъ

[1]) Прощаніе кіевскаго учебнаго округа съ Н. И. Пироговымъ, Кіевъ, 1861 г. стран. XXX—XXXI.

рѣшить его собственною властью, противъ мнѣнія значительнаго большинства, отстаивавшаго, всею силою рутины и закоренѣлыхъ убѣжденій, старый порядокъ вещей. Съ болью въ сердцѣ приходится иногда вырывать у самихъ себя уступки, чтобы спасти дорогое дѣло, чтобы совершить хоть что-нибудь, если нѣтъ физической возможности сдѣлать все вдругъ, сразу, меланхолически замѣчаетъ въ заключеніе фельетонистъ журнала [1]). Затѣмъ, въ іюньской книгѣ этого-же изданія, одинъ изъ кіевскихъ ораторовъ на прощальномъ обѣдѣ Пирогову, Е. Судовщиковъ, напечаталъ небольшое письмо, въ которомъ правдиво говорится о томъ-же самомъ предметѣ, а въ 54 номерѣ «Русской рѣчи» 1861 г. извѣстный Михаилъ Драгомановъ въ хорошо и бойко написанной статейкѣ вѣрно оцѣнилъ весь этотъ литературный эпизодъ, въ которомъ «Современникъ» сыгралъ по-истинѣ печальную роль. Побольше дѣйствительнаго уваженія къ человѣческой личности, гнѣвно восклицаетъ молодой писатель, а то мы всѣ какъ-то много фразерствуемъ о гуманности и при этомъ слишкомъ торопимся негуманно обращаться съ людьми—во имя гуманной идеи! «Отечественныя Записки» оправдываютъ Пирогова въ томъ, что онъ подчинился рѣшенію большинства членовъ комитета, пишетъ Драгомановъ, но этого мало: подчиненіе коллегіи не отрицательно только хорошій фактъ, а нѣчто положительное. Пироговъ сознательно не хотѣлъ дѣйствовать иначе, какъ посредствомъ коллегіи. «Отечественныя Записки» говорятъ: грустно подумать, что Пироговъ былъ предметомъ оскорбительной статьи въ «Современникѣ». Собственно въ этомъ еще мало грустнаго, замѣчаетъ Драгомановъ. Грустно то, что теорія либеральнаго деспотизма нашла себѣ поборника въ такомъ умномъ человѣкѣ, какъ Добролюбовъ. Грустно, что статейка его произвела впечатлѣніе на всю литературу. Грустно, что ни одинъ журналъ не запротестовалъ противъ нея, что ни одна газета не захотѣла напечатать возраженій по столь серьезному вопросу. Грустно то, наконецъ, что даже гаерство «Свистка» не встрѣтило отпора ни откуда. Вотъ что грустно въ самомъ дѣлѣ [2]).

Драгомановъ былъ правъ. Въ полемикѣ «Современника» противъ Пирогова не было и не могло быть ничего принципіальнаго, что давало бы право журналу на тотъ рѣзкій, гнѣвный, почти неприличный тонъ, которымъ написана статья Добролюбова. Вымышленное преступленіе противъ либерализма подверглось бичеванію, которое произвело настоящую скандальную сенсацію на всю Россію. Пироговъ ничѣмъ не заслужилъ этихъ раздраженныхъ упрековъ Добролюбова и, отвѣчая въ немногихъ строкахъ своему оппоненту, имѣлъ полное право сказать, что мысли его

[1]) «Отечественныя Записки», апрѣль 1861 г. „Замѣтки праздношатающагося", стран. 61- 62.

[2]) «Русская рѣчь», 1861 г., № 54, стр. 29—31, „По поводу замѣтки о Н. И. Пироговѣ".

были непоняты, искажены и представлены въ превратномъ видѣ [1]). Созданіе упомянутыхъ выше «Правилъ» было дѣломъ настоящей педагогической мудрости, и если-бы публицисты «Современника» пожелали отнестись къ этому документу съ полною справедливостью, если-бы, вмѣсто громкихъ радикальныхъ фразъ, они дали надлежащій разборъ обнародованнаго циркуляра, Пироговъ выступилъ-бы передъ читающей журналъ публикой въ совершенно иномъ освѣщеніи. Онъ былъ героемъ въ борьбѣ съ педагогической рутиною и общественной косностью, и настоящіе либеральные журналы на европейскій манеръ знали бы, какъ надо говорить о человѣкѣ, который, при уваженіи къ чужимъ мнѣніямъ, при необычайной терпимости, умѣетъ повсюду сохранять свою индивидуальность, смѣло идти впередъ, увлекая за собою даже педантическихъ сторонниковъ старины и, въ крайнихъ случаяхъ, связывать темныя силы изысканными практическими мѣропріятіями.

«Современникъ» захотѣлъ оправдать свою рѣзкость относительно Пирогова, но оправданія его, надо сказать правду, никуда не годятся. Журналъ поднимаетъ на смѣхъ «анаѳематствовавшихъ и анаѳематствующихъ» публицистовъ другихъ изданій и приводитъ объяснительные доводы своего поведенія въ этомъ дѣлѣ. Когда Пироговъ написалъ свои «Вопросы жизни», «Современникъ» отозвался объ этомъ трудѣ «съ горячимъ сочувствіемъ и со всѣмъ уваженіемъ, какого онъ заслуживалъ». Когда же Пироговъ, черезъ нѣкоторое время, публично заявилъ, что въ дѣлѣ воспитанія безъ розогъ обойтись невозможно, журналъ вооружился противъ него со всею энергіею. Такъ объясняетъ дѣло «Современникъ». Но это объясненіе только лишній разъ приписываетъ Пирогову такія мысли и заявленія, какихъ онъ не высказывалъ. Въ литературномъ документѣ, который подлежалъ разбору Добролюбова, на 115 стр. прямо и категорически сказано: «Розгу изъ нашего русскаго воспитанія нужно было бы изгнать совершенно», и этой фразы достаточно, чтобы не заподозрѣвать такого человѣка, какъ Пироговъ, послѣ всего, что имъ было написано и сдѣлано, ни въ какихъ ретроградныхъ тенденціяхъ въ области воспитанія. Какой же смыслъ имѣла рѣзкость Добролюбова? Можно и должно быть рѣзкимъ въ борьбѣ съ низменными теоріями, когда каждое ярко протестующее слово является воплощеніемъ противоположной силы, жаждущей простора и жизни. Нечего стѣсняться словами, когда рисуешь зло, вставшее на пути общественнаго развитія громаднымъ препятствіемъ. Въ рѣзкости, если она обусловлена принципіальными соображеніями, вдохновеніе страстнаго чувства и смѣлаго убѣжденія выкупаетъ нѣкоторыя невольныя, второстепенныя преувеличенія, относящіяся къ отдѣльнымъ частностямъ. Слово человѣческое, дѣйстви-

[1]) „Воспитаніе“, 1861 г., № 2, стр. 55.

тельно, свободно, но свобода слова нужна только для правды, а не для лжи. Добролюбовъ извратилъ истинное положеніе вещей въ дѣлѣ Пирогова, и вотъ почему вся смѣлость его выраженій, бросаемыхъ въ лицо этому замѣчательному человѣку, производитъ впечатлѣніе необузданнаго литературнаго произвола. Правда была на сторонѣ Пирогова. Впрочемъ, самъ «Современникъ» признается, что рѣзкій тонъ его статей не всегда имѣетъ принципіальный характеръ. Рѣзкостью часто условливается вниманіе къ статьѣ, то или другое ея дѣйствіе, говоритъ журналъ [1]). Но *такая* рѣзкость болѣе смахиваетъ на военный расчетъ, чѣмъ на рѣзкость древнихъ пророковъ и ораторовъ, съ которыми публицисты «Современника» имѣли очень мало общаго и о которыхъ довольно не кстати заговорилъ журналъ по этому поводу. Не менѣе слаба самозащита Добролюбова противъ Судовщикова и Драгоманова [2]). Онъ сознается, что кое-что преувеличилъ въ своей статьѣ, что не уразумѣлъ тѣхъ условій, среди которыхъ приходилось дѣйствовать Пирогову, но онъ все-таки оставляетъ за собою послѣднее слово обвиненія. Пироговъ слишкомъ мало значенія придаетъ законодательнымъ актамъ и слишкомъ много надѣется на свободное, нравственное воздѣйствіе отдѣльныхъ людей на общество. Нужны обезпеченія для гуманныхъ стремленій начальствующихъ лицъ. Нужно, чтобы общество въ своемъ прогрессивномъ движеніи опиралось на либеральную силу положительнаго закона. Вотъ въ чемъ аттическая соль отвѣтной статьи Добролюбова. Безъ либерально написанной бумаги, оформленной точными офиціальными выраженіями, общество ни при какихъ условіяхъ и вліяніяхъ преуспѣвать не можетъ ни въ какомъ отношеніи. Если вы вышли къ людямъ, не дожидаясь велѣній закона, со словами любви и просвѣщенія, вы поступили ошибочно, не по прогрессивному шаблону: вы забыли о важности писанныхъ хартій, вы понадѣялись на нравственную силу, которая безъ казенной санкціи слаба и ничтожна. Если вы, не взирая на фактическое положеніе вещей, не имѣя возможности личной волей разбить то, что считаете вреднымъ для жизни, захотите обратиться къ воспитанію общественнаго мнѣнія, т. е. другимъ путемъ подойти къ той же цѣли, вы все-таки заслуживаете порицанія—за несоблюденіе устава государственнаго либерализма. Законодательные органы бездѣйствуютъ, чиновные радѣтели отечественнаго прогресса, закрѣпляющіе своими подписями проекты либеральныхъ преобразованій, обойдены въ своихъ законныхъ прерогативахъ и опережены вольнодумцами съ метафизическимъ и нравственнымъ міровоззрѣніемъ, не укладывающимся въ рамки современаго законодательства! Либеральный журналистъ упустилъ изъ виду, что передовыя стремленія исторіи всегда

---

[1]) „Современникъ", 1861 г., № 6. Внутр. обозр., стр. 372.

[2]) См. „Современникъ", 1861 г., № 8. „Отъ дождя да въ воду", стр. 263—292.

пробиваются въ жизнь именно благодаря такимъ людямъ, какъ Пироговъ, съ ихъ непримиримымъ нравственнымъ чувствомъ, съ ихъ внутренней гуманной энергіей, съ ихъ готовностью неустанно расчищать пути для жизненнаго прогресса.

IV.

Коротенькія библіографическія замѣтки Добролюбова являются настоящими образцовыми произведеніями этого рода—по тонкости юмора, по сжатости характернаго изложенія. Такія именно замѣтки имѣютъ огромное значеніе въ журналѣ, желающемъ главенствовать надъ различными литературными и общественными теченіями. Постоянно выражая летучія настроенія редакціи по различнымъ вопросамъ жизни, въ сжатой формѣ передавая общую тенденцію журнала, то бойко задирая однихъ, то смѣло и громко вознося другихъ, онѣ составляютъ неизбѣжный элементъ въ періодической печати, не отстающей отъ важнѣйшихъ событій текущаго времени. Прежде, чѣмъ будутъ выдвинуты главныя батареи, прежде, чѣмъ журнальное поле огласится шумомъ настоящей полемической борьбы, легкая, случайная перестрѣлка съ врагами должна держать всѣ воюющія силы на-готовѣ, въ напряженномъ ожиданіи роковыхъ схватокъ. Эти быстрыя, неожиданныя побѣды, одерживаемыя почти безъ всякаго труда то надъ однимъ, то надъ другимъ соперникомъ, эти мимолетныя жертвоприношенія авторитетными именами и широкими литературными репутаціями во славу опредѣленной тенденціи, когда двумя, тремя ударами рѣшается участь цѣлой человѣческой карьеры, производятъ на публику головокружительное впечатлѣніе. За длинными статьями, съ тяжелымъ аппаратомъ ученыхъ доказательствъ, съ утомительными цитатами изъ малораспространенныхъ книгъ, съ подробнымъ изложеніемъ разныхъ философскихъ и научныхъ теорій, умѣетъ слѣдить не всякій. Тутъ приходится сосредоточивать вниманіе на отвлеченныхъ предметахъ, соединять между собою различные доводы автора, осмысливать ихъ собственнымъ пониманіемъ, продѣлывая при этомъ весь сложный логическій процессъ, изъ котораго вышли его главныя положенія. Иное дѣло—бездоказательная, но бойкая журнальная рецензія: въ нѣсколькихъ строкахъ она можетъ осмѣять, опозорить, вырвавъ изъ цѣлаго произведенія два-три комическихъ эпизода, ехидно придравшись къ неудачному обороту рѣчи, отмѣтивъ какую-нибудь скандальную оплошность въ разсужденіяхъ писателя. Не обязанная снабжать свои приговоры никакими длинными поясненіями, она внезапно ударяетъ въ больное мѣсто автора, не справляясь ни съ чѣмъ, не задаваясь ни историческими, ни чисто критическими задачами...

Отдѣлъ библіографическихъ замѣтокъ — одинъ изъ лучшихъ отдѣловъ въ «Современникѣ», и Добролюбовъ не мало содѣйствовалъ

тому, чтобъ придать этой части журнала блескъ настоящаго литературнаго таланта, какую-то своеобразную красоту бѣглыхъ характеристикъ и оцѣнокъ, написанныхъ сдержаннымъ стилемъ, съ безобиднымъ по формѣ, но ѣдкимъ по содержанію юморомъ. Въ этихъ замѣткахъ чувствуется скрытая сила критическаго пониманія, умѣющаго сосредоточиваться на опредѣленномъ предметѣ, не расплываясь въ побочныхъ, второстепенныхъ разсужденіяхъ. Склонный къ сатирѣ, владѣя даромъ комической пересмѣшки, Добролюбовъ тонко подмѣчаетъ важнѣйшіе недостатки разбираемыхъ авторовъ, зло и безошибочно комментируетъ ихъ литературныя стремленія, безпощадно раскрываетъ пошловатость ихъ теоретическихъ и практическихъ убѣжденій. Передъ вами мастеръ слова, который не скажетъ ничего лишняго, но всякой своей мысли придастъ надлежащій оттѣнокъ, именно ту форму, въ которой всего проще и понятнѣе обрисуется его критерій, его литературныя симпатіи, его философскія и гражданскія вѣрованія. Не будучи поэтомъ по душевному складу, не владѣя настоящими художественными красками, скрытный и холодный по натурѣ, Добролюбовъ не былъ созданъ для широкой агитаціи на литературной почвѣ и всѣми качествами своего человѣческаго и писательскаго темперамента какъ нельзя болѣе подходилъ для роли журнальнаго рецензента, разбирающагося въ повседневныхъ явленіяхъ, въ отдѣльныхъ конкретныхъ фактахъ духовной жизни, не обнимающаго взоромъ цѣлыхъ литературныхъ періодовъ съ сложнымъ умственнымъ содержаніемъ, съ многоразличными видоизмѣненіями въ творческой дѣятельности общества. Его маленькія статейки всегда закончены по содержанію и выдержаны по темѣ. Проникнутыя одной мыслью, онѣ никогда не уклоняются въ сторону, но вѣрнымъ и быстрымъ шагомъ направляются къ твердо намѣченной цѣли. Къ этимъ краткимъ библіографическимъ рецензіямъ нельзя придраться рѣшительно ни съ какой стороны: въ нихъ все размѣрено, стиль проникнутъ благородною простотою, каждая фраза связана съ другою неразрывнымъ логическимъ смысломъ, каждое слово, какъ стрѣла въ колчанѣ, драгоцѣнное средство борьбы и успѣха. Эти библіографическія статейки Добролюбова лучше такихъ же статеекъ Бѣлинскаго: въ нихъ больше сжатости, густоты и силы въ оцѣнкѣ, больше увѣренныхъ возраженій, бьющихъ въ цѣль своими убійственными насмѣшками, обезоруживающихъ своимъ холоднымъ, ровнымъ тономъ, невозмутимо спокойнымъ подборомъ неопровержимыхъ доказательствъ. Идейная натура, съ широкими стремленіями, съ неистощимымъ запасомъ вдохновенія, съ самыми разнообразными публицистическими и философскими интересами, Бѣлинскій превосходенъ именно тамъ, гдѣ слабъ Добролюбовъ: въ пространныхъ литературныхъ разсужденіяхъ, въ изслѣдованіи цѣлыхъ областей духовнаго творчества съ его многочисленными видоизмѣненіями въ различныя историческія

эпохи. Бѣлинскій писалъ свои маленькія библіографическія замѣтки слишкомъ пылкимъ слогомъ, съ тѣмъ напряженіемъ критическаго таланта, котораго было бы достаточно для обширныхъ статей на отвѣтственныя литературныя темы. Размашистый по натурѣ, онъ не умѣлъ концентрировать своихъ настроеній, и его коротенькія рецензіи представляются какими-то безформенными осколками большихъ по содержанію произведеній: въ нихъ тотъ-же талантъ, тотъ-же лихорадочный темпъ борьбы, та же патетическая манера обрушиваться на человѣка со всею страстью, со всѣмъ увлеченіемъ или ненавистью. Каждая замѣтка Добролюбова—законченное произведеніе, въ которомъ предметъ разрабатывается безъ всякаго аффекта—твердо, увѣренно, съ лукавой усмѣшкой, которая свѣтится изъ всѣхъ фразъ, съ тѣмъ логическимъ вооруженіемъ, которое требуется здравымъ смысломъ.

Извѣстно, что уже одна изъ первыхъ критическихъ замѣтокъ Добролюбова обратила на себя вниманіе всей читающей публики. Это—замѣтка по поводу описанія Педагогическаго Института и акта 9-го выпуска его студентовъ [1]). Вы не найдете здѣсь ни единаго рѣзкаго слова, ни одной крикливой публицистической ноты. Написанная ровнымъ слогомъ, почти безразличными, мало говорящими въ отдѣльности словами, она въ общемъ производитъ именно то впечатлѣніе, котораго добивался авторъ. Жизнь студентовъ въ Педагогическомъ Институтѣ подъ перомъ Добролюбова встаетъ въ комическомъ освѣщеніи, съ забавными деталями, во всей рельефности удручительнаго казеннаго режима. Два-три слова о директорѣ института И. И. Давыдовѣ, съ которымъ Добролюбовъ былъ, при выходѣ изъ Института, въ довольно натянутыхъ отношеніяхъ, скрываютъ въ себѣ ядъ тонкаго юмора, доступнаго немногимъ. Другія публицистическія замѣтки, напечатанныя Добролюбовымъ въ «Современникѣ», отличаются тѣми-же достоинствами: краткость, густота содержанія, легкая иронія, которая проскальзываетъ между строками, простота аргументаціи, взывающей къ житейскому разуму. Рядомъ съ прочими статьями въ журналѣ, который отличался большою выдержанностью направленія и тона, эти замѣтки не могли не служить общему литературному дѣлу. О нихъ говорили, онѣ вызывали журнальный шумъ, онѣ производили сенсацію въ публикѣ и, создавая успѣхъ «Современнику», оказывали несомнѣнное давленіе на различныя стороны общественной жизни. Таковы замѣтки: «Новый кодексъ русской практической мудрости», «Объ основныхъ законахъ воспитанія, Миллера-Крассовскаго», «Описаніе болѣзни г-жи Артамоновой», «О русскомъ государственномъ цвѣтѣ, А. Языкова», «О русскомъ духовенствѣ» и друг. Каждая изъ этихъ замѣтокъ проникнута опредѣленной мыслью, часто невыраженною съ полной откровенностью, но всегда понятною по всей постройкѣ рецензіи.

[1]) Сочин. т. I, стр. 179—184.

Иногда бываетъ, однако, что Добролюбовъ, увлеченный публицистической темою, оставляетъ общій ровный тонъ своихъ писаній, и тогда рѣчь его становится нѣсколько приподнятою, даже ходульною. Патетическіе обороты прямо не давались ему, и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ Бѣлинскій побѣждалъ-бы силою вдохновеннаго краснорѣчія, Добролюбовъ не умѣлъ извлекать изъ своей души ни одного искренняго крика, ни одной потрясающей тирады. Его призывы, обращенные къ человѣческой совѣсти, звучатъ слишкомъ холодно, и какъ-бы перебиваются резонерскими отступленіями, не имѣющими органической связи съ предметомъ статьи. Его немногочисленныя лирическія изліянія, лишенныя поэтической непосредственности, не имѣютъ никакой литературной цѣны. Возьмемъ для доказательства одинъ примѣръ. Въ библіографической статьѣ, напечатанной почти рядомъ съ превосходной замѣткой о Миллерѣ-Крассовскомъ и трактующей о новомъ кодексѣ русской практической мудрости, предложенномъ Ефимомъ Дымманомъ, Добролюбовъ, послѣ многихъ превосходно выбранныхъ цитатъ, вдругъ разражается длиннымъ обращеніемъ къ читателю. «Да, читатель, восклицаетъ онъ, кто-бы вы ни были, ежели только вы живете и дѣйствуете среди современнаго русскаго общества. то я смѣло говорю, что вы не можете стоять слишкомъ высоко надъ наукою жизни г. Дыммана. Скажите, что̀ васъ возмущаетъ въ ней? То, что человѣкъ, повидимому, понимающій и уважающій правду и добро, сознательно приноситъ ихъ въ жертву житейскимъ выгодамъ? Да кто-же изъ насъ этого не дѣлаетъ? Кто-же изъ насъ беззавѣтно и всецѣло отдается своимъ чистымъ стремленіямъ, не оглядываясь назадъ, не увлекаясь соблазнами міра, не боясь ни гоненій, ни пытки, ни смерти? Гдѣ этотъ рыцарь безъ страха и упрека, гдѣ этотъ человѣкъ не отъ міра сего?» [1]). И вслѣдъ за этими фразами, прозаичность которыхъ не скрашивается упоминаніемъ о пыткѣ и смерти, еще цѣлыхъ четыре страницы чистѣйшей прозы, которая, однако, по замыслу автора, должна была будить заснувшее общество, какъ тревожные удары набата. Бѣлинскій блисталъ-бы краснорѣчіемъ, увлекалъ-бы поэтическими образами, разжигалъ-бы своею страстью. Бѣлинскій былъ-бы здѣсь на высотѣ своего призванія. Добролюбовъ, не обладая пафосомъ пророческой натуры, влачится по землѣ, безсильно, въ блѣдныхъ выраженіяхъ уговаривая читателя, не вдохновляясь и никого не вдохновляя. На широкомъ пути восторженной духовной агитаціи Добролюбовъ не долженъ былъ чувствовать въ себѣ настоящихъ силъ для борьбы, соотвѣтствующаго литературнаго дара. Таковъ его талантъ: ясный, ровный, не идущій вглубь предмета, не парящій высоко надъ жизненными фактами. Таковъ его человѣческій темпераментъ: Добролюбовъ не горячится, не кипитъ страстями,

[1]) Сочиненія, т. II, стр. 518.

не стремится ни къ чему неопредѣленному, не увлекается и не увлекаетъ мечтою...

Чтобы закончить эту первую группу статей Добролюбова, написанныхъ по разнымъ вопросамъ общественной жизни, намъ остается еще отмѣтить нѣсколько чисто-политическихъ его разсужденій. Журналистъ, не прошедшій никакой серьезной гражданской школы, не имѣвшій широкой юридической подготовки для сужденія о сложныхъ вопросахъ права, Добролюбовъ тѣмъ не менѣе съ большою смѣлостью давалъ характеристики различнымъ общественнымъ дѣятелямъ Европы, ехидно уязвляя ихъ за недостатокъ настоящаго радикализма, разбирая ихъ публичную дѣятельность съ точки зрѣнія гражданскихъ понятій и идеаловъ, установившихся въ редакціи «Современника». Эпоха, въ которую жилъ Добролюбовъ, была полна оптимистическихъ надеждъ и очарованій. Казалось, что заря крестьянскаго освобожденія принесетъ съ собою полное разрѣшеніе всѣхъ историческихъ задачъ, казалось, что русская жизнь вдругъ поравнялась въ соціальномъ строѣ и бытѣ съ жизнью западно-европейской. Общество, живя съ напряженными нервами, ожидало внезапныхъ и рѣшительныхъ перемѣнъ во всѣхъ сферахъ государственной культуры. Никто не видѣлъ себя въ настоящемъ свѣтѣ. Старый порядокъ вещей, съ язвой крѣпостничества, съ грубымъ произволомъ на всѣхъ ступеняхъ административной лѣстницы, съ темною неправдою въ канцеляріяхъ судовъ, еще жилъ всѣми своими устоями, а пылкіе фантазеры уже видѣли себя на вершинѣ гражданскаго благополучія. Лишенная опыта, неподготовленная всѣмъ своимъ прошлымъ къ серьезнымъ политическимъ сужденіямъ и дебатамъ, журналистика того времени третировала вопросы европейской политики съ тою-же простотою, съ какою она разбиралась въ вопросахъ внутренней русской жизни. Нельзя сказать, чтобы политическія статьи, которыя печатались въ «Современникѣ», производили впечатлѣніе основательныхъ и мѣткихъ изображеній западно-европейскихъ событій. Предназначенныя служить косвеннымъ средствомъ для проведенія въ жизнь извѣстныхъ гражданскихъ началъ, онѣ отличаются скорѣе рѣзкостью и рѣшительностью своихъ сужденій, безапелляціонностью своихъ историческихъ доводовъ, чѣмъ ясностью и цѣльностью собственной программы. Осуждая съ полемическимъ задоромъ то или другое выдающееся явленіе въ западно-европейской исторіи, писатели «Современника» имѣли при этомъ въ виду преимущественно русскую публику. Яркіе контрасты съ русской жизнью, представленные въ смѣломъ критическомъ освѣщеніи, должны были возбудить въ обществѣ самыя рѣшительныя требованія, такъ сказать, поднять волю русскаго человѣка, создать изъ него непримиримаго борца за самыя высшія права. Не заботясь о полнотѣ исторической картины, либеральные публицисты «Современника» гнули всѣ факты именно

въ эту сторону. Мѣстная тенденція, съ явнымъ расчетомъ воздѣйствовать на опредѣленный кругъ людей, слишкомъ ярко выступаетъ въ этихъ политическихъ разсужденіяхъ людей съ талантомъ, но безъ исторической культуры, безъ соотвѣтствующихъ орудій для защиты своихъ идеаловъ. По истеченіи долгаго времени читаешь эти статьи съ удивленіемъ: какъ далеко простирались жизненныя надежды молодыхъ дѣятелей, какъ мало глубины въ пониманіи тѣхъ судебъ, которыя должно будетъ пережить русское общество, какіе самоувѣренные приговоры надъ людьми, которые не только мечтали о свободѣ, но и сражались подъ знаменами свободы! Мы не осуждаемъ этихъ статей,—мы видимъ въ нихъ молодой порывъ вдохновенія и таланта. Мы не скажемъ, какъ это сказано однимъ извѣстнымъ русскимъ писателемъ, что, осуждая Кавура, Добролюбовъ дѣлалъ политическую безтактность по отношенію къ гражданскимъ интересамъ Россіи. Напротивъ того, мы думаемъ, что при всей своей исторической несостоятельности, произвольности и юношеской наивности, эти разсужденія Добролюбова представляютъ извѣстную литературную цѣнность, хотя въ политическомъ отношеніи должны быть признаны лишь совершенно невинными проявленіями нѣкотораго гражданскаго оптимизма. Не имѣя чисто-историческаго значенія и не передавая событій европейской жизни въ соотвѣтствующихъ краскахъ, они лучше многихъ другихъ статей отражаютъ состояніе умовъ въ русскомъ обществѣ и, написанныя живымъ и увлекательнымъ слогомъ, хорошо рисуютъ прямую и честную натуру Добролюбова.

Посмотрите, съ какою увѣренностью написана статейка Добролюбова «По поводу одной очень обыкновенной исторіи». Можно подумать, что авторъ ея французъ, прекрасно изучившій отношенія партій въ странѣ, знающій въ лицо всѣ дѣйствующія силы общества. Изъ Петербурга Добролюбовъ оказываетъ радикальную оппозицію политическимъ дѣятелямъ Франціи и, разобравши съ необычайною смѣлостью цѣлый рядъ вопросовъ, возникшихъ въ Парижѣ по поводу судебнаго процесса Монталамбера, посылаетъ свои упреки прогрессивной французской партіи за то, что она не сумѣла своевременно обезпечить себя надлежащими гарантіями въ борьбѣ съ реакціонною силою. Замѣтка Добролюбова напечатана рядомъ съ письмомъ изъ Парижа М. Михайлова, значительная часть котораго посвящена тому же предмету и, вмѣстѣ взятыя, эти двѣ статейки производятъ довольно странное впечатлѣніе. Михайловъ подробно разсказываетъ о судебномъ преслѣдованіи, возбужденномъ противъ графа Монталамбера по поводу статьи его «Un dèbat sur l'Inde au Parlement Anglais», напечатанной въ одной изъ книжекъ католическаго обозрѣнія «Le Correspondant». На Монталамбера взведено было обвиненіе въ томъ, что онъ возбуждаетъ ненависть и презрѣніе къ императорскому правительству, неуваженіе къ законамъ, что онъ желаетъ

нарушить общественный порядокъ, твердо установленный всеобщей подачей голосовъ. При тѣхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ находилась тогда Франція, такого рода обвиненіе было равносильно строгому юридическому осужденію, и никто, по вѣрному замѣчанію Михайлова, не ожидалъ въ то время, чтобы судебное дѣло Монталамбера могло окончиться благополучно. Судя по выпискамъ, которыя приводитъ парижскій корреспондентъ «Современника», статья, возбудившая неудовольствіе французскаго правительства, представляетъ собою въ высшей степени талантливый памфлетъ, направленный противъ французскихъ государственныхъ порядковъ.

Авторъ восторгается учрежденіями англійской конституціи и въ выраженіяхъ, дышащихъ увлеченіемъ, передаетъ настроеніе, вызванное въ немъ послѣдними наблюденіями надъ жизнью англійскаго общества. Онъ чувствуетъ себя обезоруженнымъ атлетомъ, который, присутствуя зрителемъ у арены, рукоплещетъ подвигамъ своихъ болѣе счастливыхъ соперниковъ, подаетъ имъ голосъ сочувствія, теряющійся, но не замирающій окончательно среди криковъ взволнованной толпы. Задыхаясь въ атмосферѣ, наполненной «міазмами рабства и нравственной порчи», Монталамберъ бросился въ Англію, чтобы тамъ дохнуть чистымъ воздухомъ гражданской свободы. Случай благопріятствовалъ ему, и онъ попалъ въ Лондонъ въ самый разгаръ одной изъ тѣхъ парламентскихъ битвъ, въ которыхъ на гласное разрѣшеніе народа предлагаются великія задачи, въ которыхъ ораторы и писатели, представители власти и органы общественнаго мнѣнія обсуживаютъ дѣла страны съ полною свободою во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ. Въ этой громадной и неограниченной гласности, замѣчаетъ Монталамберъ, заключается главная сила британскаго общества. Англійская печать не знаетъ никакихъ стѣсненій. Нѣтъ ни одного генерала, ни одного дипломата, ни одного государственнаго человѣка, который имѣлъ-бы какія-нибудь преимущества передъ открытымъ судомъ печатнаго слова. Печать можетъ ошибаться, можетъ иногда, ради партійныхъ цѣлей, прибѣгать къ манифестаціямъ, но она должна быть все-таки свободна. Подъ впечатлѣніемъ минуты, въ порывѣ досады, юмора или тщеславія, англичанинъ, кто-бы онъ ни былъ, имѣетъ право говорить во всеуслышаніе то, что онъ думаетъ, и печатать то, что ему придетъ въ голову. Если это торжественный голосъ справедливости, онъ скоро будетъ признанъ всѣми и, повторенный въ тысячахъ отголосковъ неограниченной публичности, въ короткое время разнесется по всей странѣ. Если это голосъ несправедливой вражды и пристрастія, общество, обладающее тонкимъ чутьемъ къ истиннымъ причинамъ нѣкоторыхъ явленій, не замедлитъ обнаружить свою антипатію къ извѣстнымъ дѣламъ и лицамъ... Разсказавъ о преніяхъ, происходившихъ въ англійскомъ парламентѣ, Монталамберъ открываетъ свою душу въ слѣдующихъ

меланхолическихъ словахъ: «Я вышелъ изъ этого великаго зрѣлища, пишетъ онъ, тронутый и удовлетворенный, какъ былъ-бы тронутъ и удовлетворенъ всякій, видя въ правительствѣ нѣчто иное, чѣмъ переднюю, и въ цивилизованномъ народѣ нѣчто иное, чѣмъ безгласное стадо, которое можно стричь и пасти подъ молчаливою тѣнью разслабляющей безопасности». Больше чѣмъ когда-либо онъ почувствовалъ уваженіе къ свободнымъ убѣжденіямъ и надеждамъ людей, которые въ былыя времена умѣли бороться за счастье Франціи. Больше чѣмъ когда-либо онъ почувствовалъ влеченіе къ этимъ героямъ минувшей исторіи. Въ дали изгнанія, на доскахъ эшафота, они не теряли своихъ надеждъ, не переставали вѣрить, что нѣкогда страна ихъ, какъ Англія, будетъ царствомъ права, свѣта и свободы. «Благородное вѣрованіе, достойное самыхъ горькихъ жертвъ, восклицаетъ Монталамберъ. Пусть измѣнило ему счастье пусть отшатнулась отъ него толпа, пусть оскорбляютъ его низкія души— тѣмъ не менѣе власть его непоколебима надъ гордыми сердцами и твердыми умами» [1]).

Добролюбовъ недоволенъ Монталамберомъ. Люди, которые «во́-время» не сумѣли составить «сильную оппозицію», не заслуживаютъ его сочувствія. Они сами виноваты въ томъ, что ихъ забиваетъ современная Франція, императорская Франція: въ ихъ власти было сплотиться въ крѣпкій союзъ, и тогда «Франція могла бы принадлежать имъ столько же, какъ и всякой другой партіи». Дѣятели, подобные Монталамберу, съ ихъ «жиденькими убѣжденьицами, въ которыхъ аристократизмъ и католичество перемѣшаны съ нѣсколькими либеральными фразами», возбуждаютъ въ немъ «невольное чувство сожалѣнія». Для него ясно, что они ни до чего не могутъ дойти «по той тропинкѣ, по которой пробираются». «Г. Монталамберъ и ему подобные» не понимаютъ *всего* теперешняго хода дѣлъ во Франціи. «Аристократическія галантерейности» мѣшаютъ имъ взглянуть на вещи съ настоящей точки зрѣнія. Добролюбовъ недоволенъ рѣчами блестящихъ французскихъ адвокатовъ, защищавшихъ знаменитаго академика. На ихъ мѣстѣ онъ *поговорилъ бы* съ генеральнымъ прокуроромъ, обвинявшимъ Монталамбера, съ такою рѣшительностью, которую не сокрушили бы никакія лояльныя хитрости. Адвокатъ Беррье поднимался выше облаковъ, осуждая людей, пресмыкающихся у подножія французской власти, вымаливающихъ позволеніе дѣлать подлости. Самъ Монталамберъ въ пышныхъ фразахъ говоритъ о свободѣ англійской печати. Добролюбовъ отбросилъ бы всякія ходули и, презрѣвъ «аристократическія галантерейности», такъ возразилъ бы своему противнику: «Безспорно, сказалъ бы онъ, вы заслуживаете уваженія, какъ представитель народа, но я знаю навѣрное, что къ этому предста-

[1]) „Современникъ“, 1858 г., № 12. „Парижскія письма“, стр. 621—627.

вительству нисколько не относится ваша лысина, ваше гнусливое произношеніе, ваша хромота или близорукость, картежная игра или объяденіе» [1]). Онъ, какъ на ладони, обнаружитъ бы всю незаконность дѣйствій прокуратуры въ дѣлѣ Монталамбера безъ единаго риторическаго слова: Господи-Боже, какія здѣсь возможны затрудненія!.. Конечно, такая рѣчь была бы гораздо проще защиты Беррье, и возможно, что французскіе либералы заслуживаютъ обличительной сатиры Добролюбова, но позволительно задаться вопросомъ, знала ли редакція «Современника», пренебрежительно осуждавшая «жиденькія убѣжденьица» закаленныхъ борцовъ европейскаго прогресса, тѣ настоящіе, широкіе пути, которые можно было-бы предпочесть «узенькой тропинкѣ» Монталамбера?

Еще характернѣе отношеніе Добролюбова къ извѣстному итальянскому патріоту Кавуру. Добролюбовъ, повидимому, раздражался всѣмъ, что относилось къ этому человѣку. Раньше, чѣмъ написать о немъ нѣчто цѣльное и законченное въ своемъ родѣ, онъ злобно преслѣдуетъ его въ статьѣ своей «Непостижимая странность», разсуждающей о нѣкоторыхъ сторонахъ неаполитанской жизни, и въ письмѣ изъ Турина, напечатанномъ въ мартовской книгѣ «Современника» за 1861 г. Критикуя его на различные лады, то издѣваясь надъ нимъ, то упрекая его въ политическомъ шарлатанствѣ, Добролюбовъ не можетъ даже говорить о его наружности иначе, какъ съ выраженіемъ самаго строгаго недовѣрія, съ видомъ человѣка, котораго не проведешь и не обманешь никакими политическими вывертами. Кто-то замѣтилъ, что Кавуръ имѣетъ обыкновеніе безпрестанно потирать себѣ руки. Добролюбовъ несогласенъ: Кавуръ держитъ руки въ карманахъ, заявляетъ онъ, но у него фигура такая, что каждому, «кто только взглянетъ на него, сейчасъ же и представляется потираніе рукъ въ знакъ удовольствія [2]). Изображая Кавура въ парламентѣ, Добролюбовъ щедро разливаетъ комическія краски по всему описанію. Кавуръ представляется ему гостепріимнымъ знатнымъ барономъ, назвавшимъ къ себѣ въ деревню мелкопомѣстныхъ гостей. Рукоплесканія награждаютъ каждое слово Кавура, хотя непонятно почему: «Кавуръ говоритъ, какъ школьникъ, плохо знающій урокъ»—плохо, очень плохо и, по увѣренію какихъ-то итальянцевъ, даже не совсѣмъ чисто по итальянски! Желая окончательно добить ненавистнаго политикана, Добролюбовъ ехидно замѣчаетъ, что слушаютъ его всегда очень внимательно и что «во время его рѣчи уши большинства депутатовъ дѣлаются замѣтно длиннѣе!» [3]).

---

[1]) „Современникъ“, 1358 г., № 12. „По поводу одной очень обыкновенной исторіи“, стр. 647.

[2]) „Современникъ“, 1861 г., № 3. „Письмо изъ Турина“, стр. 200.

[3]) Ibidem, стр. 207.

Такъ писатель изъ Петербурга, попавъ въ среду европейскихъ парламентскихъ борцовъ, рисуетъ человѣка большого ума и превосходнаго политическаго таланта. Ему представляется, что Кавуръ просто весельчакъ, обласканный фортуною, имѣющій противное обыкновеніе хохотать надъ соперниками и, садясь, обхватывать руками одну изъ собственныхъ ногъ [1]). Занявшись подробно его политической карьерой, Добролюбовъ весь преисполняется иронiи, пишетъ комическій этюдъ въ «Свисткѣ» подъ названіемъ «Два графа», затѣмъ цѣлую статью о жизни и смерти графа Камилло Бензо Кавура, въ тонѣ презрительной насмѣшки. Во всей дѣятельности этого человѣка онъ не находитъ ни единаго свѣтлаго поступка, ничего, что заслуживало-бы полной похвалы, не ограниченной никакими водевильными шутками. Все написанное въ сочувственномъ по отношенію къ Кавуру тонѣ онъ называетъ «самымъ безсовѣстнымъ панегирикомъ». Его приверженность къ либеральнымъ идеямъ онъ объясняетъ тѣмъ, что Кавуръ былъ человѣкъ «неглупый и честолюбивый» и что онъ потерпѣлъ нѣкоторыя житейскія неудачи. «Еще бы Кавуръ былъ реакціонеромъ, да его бы хотѣли возвести въ великіе люди, замѣчаетъ Добролюбовъ. Довольно, кажется, и Меттерниха на этотъ случай!» Присоединяясь къ мнѣнію людей, враждовавшихъ съ Кавуромъ, Добролюбовъ упрекаетъ его за политическую близорукость, утверждая при этомъ, что онъ «отлично видѣлъ у себя подъ носомъ, но вовсе не умѣлъ съ орлиной смѣлостью смотрѣть на солнце»... Въ такомъ же тонѣ написана и замѣтка «Свистка» за подписью Кондратія Шелухина, напечатанная въ «Современникѣ» съ нѣкоторыми купюрами и затѣмъ возстановленная въ своемъ первоначальномъ видѣ въ отдѣльномъ изданіи полнаго собранія сочиненій Добролюбова.

Гораздо ближе къ исторической истинѣ стоялъ не подписавшійся авторъ небольшой статейки «Графъ Кавуръ», напечатанной въ 6-й книгѣ «Современника» 1861 г. Къ сожалѣнію, статейка эта заключаетъ въ себѣ одно коренное противорѣчіе, умаляющее достоинство общей постановки вопроса. Въ самомъ началѣ авторъ находитъ нужнымъ признать, что система, которой держался Кавуръ, служила «необходимымъ условіемъ національныхъ дѣлъ», но уже черезъ нѣсколько страницъ онъ заявляетъ, что если система, представителемъ которой былъ Кавуръ, не могла быть иною, то съ исторической точки зрѣнія нельзя все-таки не видѣть, что она была «не соотвѣтственна дѣли, къ которой шло итальянское дѣло, и потому замедляла его успѣхи на каждомъ шагу» [2]). Это противорѣчіе обнаруживаетъ шаткость редакціоннаго мнѣнія о политической дѣятельности людей, подобныхъ Кавуру. Всѣ прочія разсужденія этой статейки нужно признать правильными. Дѣй-

[1]) „Современникъ“, 1861, № 3, стр. 200 и 207.

[2]) „Современникъ“ 1861 г. № 6, „Современное обозрѣніе“, стр. 246—250.

ствительно, Кавуръ принадлежалъ къ той партіи, которая является обыкновенно руководительницею народныхъ массъ на пути историческаго прогресса. Въ Италіи, какъ и повсюду, боролись два противоположныхъ направленія—консервативное и революціонное, но общество, то громадное большинство, которое не можетъ жить никакими крайностями, которое стремится къ спокойному благу путями умѣренности и постепенныхъ законодательныхъ улучшеній, должно было найти себѣ вождя въ человѣкѣ съ темпераментомъ Кавура. Своимъ холоднымъ умомъ, который, по удачному выраженію одного современнаго итальянскаго историка, «не обольщаясь идеальной тайной революціи, хорошо видѣлъ всѣ ея дурныя стороны», Кавуръ признавалъ вѣрною одну только дорогу къ свободѣ—дорогу парламентской борьбы, умѣряемой правильно вотируемыми законами, руководимой стройно организованными партіями и систематически поддерживаемой страною во имя ея матеріальнаго и моральнаго благополучія. Въ характерѣ политической агитаціи Кавура встрѣчаются черты, напоминающія политическую дисциплину древности. Никто, кромѣ Наполеона I. не равнялся ему по таланту политической организаціи. Если для Мадзини политика есть борьба идей, то для Кавура она—война фактовъ. Если Мадзини—прежде всего реформаторъ, то Кавуръ—прежде всего государственный человѣкъ, озабоченный мыслью о возвеличеніи своей страны. Если Мадзини воплотилъ въ себѣ идеальную сторону итальянскаго характера, то Кавуръ является наиболѣе типичнымъ представителемъ практическаго смысла народа. Пламенный умъ Мадзини видитъ далеко, спокойный взглядъ Кавура тонко разбирается въ окружающемъ положеніи вещей. Не будучи по призванію ни философомъ, ни историкомъ, ни писателемъ, Кавуръ постоянно выжидаетъ, выбираетъ пути, пользуется обстоятельствами, терпѣливо добиваясь во всемъ и повсюду осуществленія разъ намѣченной цѣли [1]). Такова истинная физіономія этого въ своемъ родѣ замѣчательнаго человѣка, и «Современникъ» былъ правъ не тогда, когда глумился надъ нимъ въ легковѣсныхъ историко-публицистическихъ статьяхъ Добролюбова, называя его обласканнымъ фортуною «весельчакомъ», а тогда, когда писалъ о немъ слѣдующія строки: «Считаться великимъ правителемъ, необходимымъ министромъ въ теченіе многихъ лѣтъ, въ періодъ, когда кипитъ національная жизнь, происходятъ перевороты, грозятъ великія опасности, пріобрѣтаются блистательные успѣхи, напряжены всѣ силы народа и дѣйствуютъ геніальные люди, добиться перваго мѣста въ такое время и пріобрѣсти такую репутацію, чтобы милліоны основывали всѣ свои надежды на твоемъ умѣ, готовы были слѣдовать за тобою на все, готовы были жертвовать твоему превосходству многими дорогими

[1]) *Alfredo Oriani,* La lotta politica in Italia, 1892, Torino-Roma, стр. 535—542, „Il conte di Cavour"

своими убѣжденіями—разумѣется, такого положенія, такой репутаціи, въ такое время нельзя достичь человѣку иначе, какъ при способностяхъ очень замѣчательныхъ... Кавуръ былъ человѣкъ очень замѣчательныхъ дарованій» [1]).

Теперь мы перейдемъ къ разсмотрѣнію другихъ трехъ отдѣловъ, на которые мы раздѣлили статьи Добролюбова.

---

[1]) „Современникъ“ 1861 г. № 6 „Графъ Кавуръ“, стр. 245.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Философскіе взгляды Добролюбова. — Борьба съ наивнымъ сентиментализмомъ подъ видомъ борьбы съ идеализмомъ.—Ученіе о гармоническомъ развитіи человѣка.—Роль личности въ исторіи.—Внутреннія противорѣчія.—Мелкія критическія замѣтки Добролюбова.—„Очеркъ исторіи русской поэзіи“ А. Милюкова.—Орестъ Миллеръ.—Статьи о Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Достоевскомъ.—Характеристика „Свистка“.—Первые шаги Конрада Лиліенштагера.—Протестъ литераторовъ противъ „Иллюстраціи“.—Диспутъ Погодина и Костомарова. — Эпизодъ съ Якушкинымъ. — Общіе выводы.—Заключеніе.

I.

Соберемъ изъ различныхъ случайныхъ и неслучайныхъ размышленій Добролюбова все то, что передаетъ намъ его общія философскія представленія, его руководящіе принципы въ вопросахъ отвлеченнаго характера. Не предлагая статей по предметамъ теоретическаго знанія, Добролюбовъ, тѣмъ не менѣе, часто выражалъ различные взгляды, которые могутъ быть соединены въ одно цѣлое и представлены, какъ болѣе или менѣе систематическій сводъ понятій, управлявшихъ всѣми его отдѣльными сужденіями. Статей и замѣтокъ, дающихъ матеріалъ для этой части нашей работы, немного, и литературная характеристика философскихъ идей Добролюбова, коренныхъ основъ того реализма, который открываетъ въ немъ Скабичевскій, выйдетъ, быть можетъ, черезчуръ сжатою — по недостатку надлежащихъ данныхъ. Не обладая солидной научной подготовкой, Добролюбовъ, дитя своего времени, постоянно назидаетъ разныхъ отсталыхъ людей, выступающихъ въ печати со своими устарѣвшими и окончательно сданными въ архивъ теоріями. Одинъ казанскій профессоръ издалъ сочиненіе, въ которомъ разбираются нѣкоторыя физіологическіе и психологическіе вопросы не въ духѣ эпохи, съ оговорками противъ матеріализма и сенсуализма,—и вотъ Добролюбовъ читаетъ ему нотацію, которая вся проникнута самоувѣреннымъ настроеніемъ

торжествующаго реализма. Казанскій профессоръ выражаетъ неудовольствіе по поводу того, что естественныя науки пошли по узкому, одностороннему пути, а Добролюбовъ, съ усмѣшкою бравады, намекаетъ почтенному ученому, что онъ отсталъ отъ науки, что «каждая *страница* его физіологически-психологическаго *взгляда*» доказываетъ устарѣлость его тенденціи, что онъ изучалъ свой предметъ «въ тѣ доисторическія времена, когда еще и Лавуазье не было» [1]). Ему представляется, что новое направленіе науки должно быть «пуще ножа востраго» для людей, держащихся средневѣковыхъ понятій, ссылающихся въ своихъ произведеніяхъ на Бэкона, Сенеку и Цицерона, вмѣсто новѣйшихъ изслѣдователей. Нынѣ, говоритъ критикъ, въ естественныхъ наукахъ усвоенъ положительный методъ. Нынѣ всѣ выводы науки основываются на опытныхъ, фактическихъ знаніяхъ, а не на «мечтательныхъ теоріяхъ, когда-то и кѣмъ-то составленныхъ наобумъ». Старинные авторитеты не признаются больше. Молодые люди, идущіе за вѣкомъ, не обинуясь, называютъ теперь вздоромъ не только парацельсовскія мечтанія, но умѣютъ находить ошибки и заблужденія даже у Либиха. Передовое общество читаетъ Молешота, Дюбуа-Реймона и Фохта, «да и тѣмъ еще не вѣритъ на слово, а старается провѣрять и даже дополнять ихъ собственными соображеніями» [2]). Люди, желающіе просвѣтить свой умъ, подходятъ къ самому источнику современнаго прогресса, ища руководства не у Платона, не у Окена, даже не у Шеллинга, а у наиболѣе смѣлыхъ и практическихъ учениковъ Гегеля. Казанскій профессоръ, вспоминающій Сенеку, протестующій противъ матеріалистической тенденціи современной ему науки, отсталъ, сильно отсталъ отъ той части общества, которою дѣятели «Современника» руководили не только на поприщѣ гражданственности, но и въ отвлеченныхъ областяхъ философіи. Глядя на этого профессора, который, живя въ провинціи, не услѣдилъ за новѣйшими естественно-историческими успѣхами и замѣшкался на пути научныхъ изслѣдованій, Добролюбовъ испытываетъ какое-то снисходительно жалостливое чувство: ему всегда грустно при видѣ птичекъ, запоздавшихъ въ отлетѣ, при видѣ воза, отставшаго отъ обоза и уныло подвигающагося среди пустынной дороги, при видѣ цыпленочка, который, заглядѣвшись по сторонамъ, не поспѣлъ вмѣстѣ съ другими за матерью и мечется, какъ угорѣлый, отыскивая ее тамъ, гдѣ теперь, увы, ужъ нѣтъ ея, нѣтъ ея [3])... Всѣ разсужденія этого ученаго Добролюбовъ называетъ «мистически-алхимическими», и утверждаетъ, что въ средніе вѣка они, быть можетъ, показались-бы кому-нибудь схоластическою премудростью, но нынѣ, во дни

[1]) Современникъ 1858 г. № 3. „Новыя книги". *Физіологическо-психологическій сравнительный взглядъ на начало и конецъ жизни*, стр. 31.

[2]) ibidem, стр. 32.

[3]) ibidem.

такого явнаго умственнаго прогресса, они могутъ быть сочтены только за балаганное фиглярство.

Во взглядахъ на человѣка Добролюбовъ упраздняетъ всѣ до него существовавшія философскія теоріи о человѣческой природѣ во имя «гармоніи и единства» [1]). Если въ древности Аристотелю было прилично разсуждать о матеріи отдѣльно отъ души, то въ настоящее время надо. разъ навсегда, отказаться отъ безцѣльной діалектики на всякаго рода превыспреннія, никому ненужныя темы,—въ настоящее время, когда антропологія доказала съ полной ясностью, что всѣ наши усилія представить себѣ «отвлеченный духъ безъ матеріальныхъ свойствъ» всегда были и всегда останутся совершенно безплодными, а наука объяснила, что всякая человѣческая дѣятельность замѣтна лишь настолько, насколько она обнаруживается въ тѣлесныхъ, внѣшнихъ проявленіяхъ [2]). Въ этомъ великая заслуга современнаго знанія. Оно отвергло схоластическое раздѣленіе человѣка и стало разсматривать его въ полномъ, неразрывномъ его составѣ, тѣлесномъ и духовномъ. Наука «увидѣла въ душѣ именно ту силу, которая проникаетъ собою и одушевляетъ» весь тѣлесный организмъ. На основаніи новѣйшихъ данныхъ, добытыхъ опытнымъ путемъ, мы имѣемъ полное право сказать, что душа человѣческая не есть какой-нибудь «кусочекъ тончайшей эфирной матеріи», а нѣкоторая сила, соединенная съ тѣломъ не случайно, не внѣшнимъ образомъ, а прочною, внутреннею связью. Отказавшись отъ пустыхъ стремленій «мечтательнаго идеализма». мы легко поймемъ, каковъ долженъ быть истинно-нормальный человѣкъ. могущій стать полезнымъ гражданиномъ своей страны. Нормальный человѣкъ—это человѣкъ съ здоровымъ организмомъ. Мы любимъ красоту, ловкость, грацію, но въ этой любви часто выражается наше презрѣніе къ простымъ формамъ. Въ лицахъ намъ нравится мечтательное, заоблачное выраженіе, блѣдный цвѣтъ. Въ строеніи тѣла мы восхищаемся тонкою таліею, «которую можно обхватить одной рукой», маленькими ручками и ножками. Искажая всѣ здоровыя потребности, «ложный и безплодный идеализмъ» мѣшаетъ намъ цѣнить по достоинству настоящую красоту—мускулистыя, сильно-развитыя руки и ноги. Извращая наши инстинкты и отвлекая насъ отъ здороваго и полезнаго труда, онъ вноситъ порчу въ наши сужденія о самыхъ простыхъ предметахъ. Мы требуемъ отъ каждаго, чтобъ онъ былъ героемъ добродѣтели. Мы «безусловно» осуждаемъ всякую ложь. Мы восхищаемся всѣми искусствами и утверждаемъ, что звуки музыки возбуждаютъ въ насъ что-то возвышенное, чистое, идеальное. Вотъ что значитъ носиться въ эмпиреяхъ и пред-

---

[1]) „Современникъ“ 1858 г. № 5 Критика: *Органическое развитіе человѣка въ связи съ его умственной и нравственной дѣятельностью*, стр. 1—30.

[2]) ibidem, стр. 8.

ставлять въ ложномъ, хотя и заманчивомъ свѣтѣ то, что въ дѣйствительности не имѣетъ вовсе такого широкаго значенія. Наши восторженныя разсужденія объ искусствѣ скрываютъ въ себѣ «простое, пріятное удовлетвореніе слуха и глазъ», а краснорѣчивое расписываніе тонкихъ эстетическихъ ощущеній должно быть отнесено къ желанію «поидеальничать», обмануть себя и другихъ ничего незначущими словами. Убивая скуку въ легкихъ наслажденіяхъ красками и звуками, мы научаемся придавать нашимъ разговорамъ фальшивый колоритъ возвышенной поэзіи. Многіе ли способны цѣнить Шекспира и Рафаэля? Есть-ли смыслъ въ тѣхъ «розовыхъ цвѣтахъ идеализма», которыми мы убираемъ «простую, весьма понятную склонность къ женщинѣ»? [1]). Добролюбовъ съ раздраженіемъ обрушивается на тѣхъ, которые поддерживаютъ въ обществѣ интересъ къ разнымъ идеалистическимъ запросамъ. Онъ бьетъ ихъ насмѣшкою, укоряетъ ихъ за то, что они не умѣютъ двигаться по пути прогресса, что они своими отступленіями и колебаніями задерживаютъ тріумфальное шествіе отечественнаго просвѣщенія съ его высоко поднятымъ знаменемъ здраваго, всѣмъ доступнаго реализма. «Идеализмъ и матеріализмъ! восклицаетъ онъ. О, сколько условій для пріятнаго разговора соединяетъ въ себѣ эта прекрасная тема! Человѣкъ удаляется въ область чистой мысли, гдѣ ничто дѣйствительное не смущаетъ его—ничто, потому что самый матеріализмъ есть не болѣе, какъ милое отвлеченіе, въ родѣ хорошенькой модели паровоза, на которой, конечно, нельзя ѣхать, но для которой зато не нужно ни воды, ни дровъ, ни рабочихъ!» [2])... Наивные люди продолжаютъ писать о ничтожныхъ предметахъ съ важностью и глубокомыслiемъ—продолжаютъ писать въ такое время, когда «антропологія доказала», а «наука объяснила» и распространила во всеобщее свѣдѣніе, что «сила есть неизбѣжное свойство матеріи и что матерія существуетъ для нашего сознанія лишь въ той мѣрѣ, какъ обнаруживаются въ ней какія-нибудь силы». Пусть-бы толковали они объ идеализмѣ въ гостиныхъ, но оставили-бы въ покоѣ литературу! Пусть-бы они морочили своими отсталыми интересами и взглядами людей, праздношатающихся по пустыннымъ дорогамъ мистицизма и схоластики, но не мѣшали-бы прогрессирующему обществу идти своею дорогою въ такое время, когда катехизисъ настоящей, либеральной науки обнародованъ лучшими русскими публицистами.

Реализмъ въ наукѣ о человѣкѣ вообще и реализмъ въ наукѣ о человѣкѣ, какъ о соціальной единицѣ,—такова нехитрая философія писателей «Современника». Покончивъ съ «мечтательнымъ идеализмомъ», Добролю-

---

[1]) „Современникъ“, 1858, № 5, стр. 13.

[2]) „Современникъ“ 1859 г. № 8. Русская литература. *Сватовство Чепскаго или матеріализмъ и идеализмъ. О неизбѣжности идеализма въ матеріализмѣ*, стр. 262.

бовъ въ немногихъ фразахъ описываетъ свое простое, здравое отношеніе къ сложнымъ вопросамъ исторической жизни государствъ и обществъ. По его убѣжденію, человѣкъ не развиваетъ изъ себя никакихъ понятій: онъ получаетъ ихъ изъ внѣшняго міра [1]). Во всемъ Добролюбовъ видитъ полную зависимость человѣческой личности отъ внѣшнихъ силъ и обстоятельствъ. Съ большою злостью осуждаетъ онъ русскія историческія изслѣдованія, въ которыхъ постоянно выступаютъ какіе-то герои, совершающіе невѣроятные подвиги и перевороты неизвѣстно какими средствами. Русскіе ученые, говоритъ онъ, не хотятъ понять, что всякая историческая личность составляетъ не болѣе, какъ искру, которая можетъ взорвать порохъ, но не можетъ воспламенить камней, что даже самый великій человѣкъ ничтоженъ предъ общимъ ходомъ исторіи, ничтоженъ и безсиленъ, если обстоятельства не благопріятствуютъ его культурнымъ и политическимъ замысламъ [2]). Историческіе преобразователи сами находятся подъ вліяніемъ понятій и нравовъ того общества, на которое они хотятъ воздѣйствовать силою своего генія, ибо «извѣстно всѣмъ и каждому, что человѣкъ не творитъ ничего новаго, а только перерабатываетъ существующее». Въ реформахъ Петра Добролюбовъ не видитъ ничего насильственнаго: Петръ Великій не внесъ чуждыхъ принциповъ въ тѣ элементы государственнаго устройства, которые можно было бы назвать основными, національными. Всѣ историческія изслѣдованія, сдѣланныя подъ чисто государственнымъ угломъ зрѣнія, говоритъ Добролюбовъ, всегда окажутся чрезвычайно односторонними. Народныя массы — ихъ жизнь, ихъ понятія, ихъ стремленія — должны быть приняты во вниманіе прежде всего: въ народѣ есть такая сила на добро, какой положительно нѣтъ «въ томъ развращенномъ и полупомѣшанномъ обществѣ, которое имѣетъ претензію одного себя считать образованнымъ и годнымъ на что-нибудь дѣльное», въ народѣ заключается условіе всякаго историческаго успѣха, всякой живой реформы на пользу государства и общества [3]).

Вотъ все то немногое отвлеченно философское, которое можно найти въ статьяхъ Добролюбова разсматриваемой группы. Наивное убѣжденіе, что современное естествознаніе разрѣшило всѣ вопросы мысли, твердая вѣра въ спасающую силу реализма, борьба противъ разныхъ сентиментальныхъ нелѣпостей подъ видомъ борьбы противъ «мечтательнаго и безплоднаго идеализма», пропаганда здороваго и трезваго отношенія къ

---

[1]) „Современникъ“ 1858 г. № 5. Критика, стр. 21.

[2]) „Современникъ“, 1858 г. № 2. Новыя книги, *Жизнь Магомета*, стр. 170, 174.

[3]) „Современникъ“, 1858 г. № 6. Критика: *Первые годы царствованія Петра Великаго*, стр. 144, 150. „Современникъ“, 1858 г. № 7. Критика, стр. 1. „Современникъ“, 1859 г. № 9. Современное обозрѣніе. *О распространеніи трезвости въ Россіи*, стр. 35.

различнымъ сторонамъ физической жизни, съ ея простыми и весьма понятными склонностями, подъ видомъ пропаганды гармоніи и единства, затѣмъ взглядъ на человѣка, какъ на произведеніе обстоятельствъ и среды, отрицаніе самостоятельной роли личности въ историческомъ развитіи человѣчества и подчеркнутое сочувствіе народнымъ массамъ преимущественно передъ развращеннымъ, полупомѣшаннымъ обществомъ безсильной интеллигенціи — таково то реалистическое міровоззрѣніе, которое, по словамъ Скабичевскаго, можно найти въ каждой статьѣ Добролюбова.

Вчитываясь въ произведенія публициста «Современника», добросовѣстно отдавая себѣ отчетъ во всемъ томъ, что онъ выражалъ иногда съ апломбомъ, иногда съ язвительною усмѣшкой по адресу своихъ ретроградныхъ журнальныхъ товарищей, трудно понять, какимъ образомъ этотъ сборъ наивныхъ, безсодержательныхъ, хотя и задорныхъ фразъ могъ производить какое бы то ни было положительное впечатлѣніе на интеллигентное русское общество. Вы видите человѣка, который не мыслилъ на чисто-научныя темы, не обладалъ никакими опредѣленными знаніями ни въ области философіи, ни въ области естественно-историческихъ изслѣдованій и который, тѣмъ не менѣе, докладываетъ вамъ, что всѣ метафизическія ученія, во дни Чернышевскаго и его сподвижниковъ, должны быть признаны пошлымъ, балаганнымъ фиглярствомъ. На замѣчаніе казанскаго профессора касательно безсмертія человѣческой души Добролюбовъ ехидно отвѣчаетъ, что между всѣми образованными людьми «давно уже не существуетъ никакихъ сомнѣній» въ этомъ вопросѣ. Всѣ полемическія возраженія противъ того односторонняго направленія, которое приняли естественныя науки, онъ опровергаетъ голословными ссылками на современный прогрессъ въ лицѣ Фохта и Молешота. Въ сознаніи Добролюбова не возникаетъ даже мысли о томъ, что естественныя науки не только ничего не потеряли бы, но прямо выиграли бы, вступивъ въ союзъ съ отвлеченною философіею, которую онѣ отвергали въ то время, какъ врага, только по недоразумѣнію, по реакціонной ошибкѣ, не видя, что ея истинныя стремленія идутъ навстрѣчу всякому знанію, какъ умозрительному, такъ и экспериментальному. Повторяя пустыя фразы, которыя носились въ мало-интеллигентныхъ юношескихъ кругахъ русскаго общества, Добролюбовъ низводитъ свою собственную мысль на степень случайной и ограниченной журнальной программы, которою еще можно было плѣнять передовыхъ дѣятелей богдашней русской печати, но которою нельзя было сдѣлать ни одного завоеванія ни въ области науки, ни въ области философіи, нельзя было въ самомъ дѣлѣ подвинуть серьезныхъ людей по пути настоящаго умственнаго развитія. Естественно-научный методъ не противорѣчитъ философскому, а служитъ ему. Опытъ и умозрѣніе не противоположныя сред-

ства для добыванія знаній, но средства, другъ друга дополняющія и дополняющія такимъ образомъ, что опытъ никогда не можетъ выйти изъ свѣтлой сферы отвлеченныхъ идей и построеній. Двигаясь отъ идей, которыя составляютъ свѣтъ познанія, научное изученіе уже предполагаетъ опредѣленную философскую точку зрѣнія. Всякій анализъ совершается въ направленіи извѣстныхъ понятій и потому изслѣдованіе идей и понятій должно быть положено въ основаніе каждой экспериментальной науки. Философія—это наука о тѣхъ идеяхъ, безъ которыхъ не можетъ обойтись никакое знаніе, каковъ-бы ни былъ его предметъ, каковы-бы ни были его методы. Элементъ сознанія долженъ быть принятъ въ расчетъ при каждомъ научномъ изслѣдованіи, какъ внутренняя, творческая сила, отъ которой отправляется и къ которой возвращается анализъ всѣхъ явленій. Такова тенденція идеализма, который Добролюбовъ смѣшивалъ съ игрою распущеннаго, болѣзненнаго воображенія. Убѣжденный въ правотѣ ходячихъ мнѣній, Добролюбовъ презрительно отшвыриваетъ отъ себя всѣ умозрительные вопросы и съ прямолинейностью реалиста, фрондирующаго противъ всякихъ эстетическихъ фантазій, противополагаетъ мускулистыя ноги и руки маленькимъ ручкамъ и ножкамъ, какъ единственно нормальную форму органическаго развитія. Добролюбовъ издѣвается надъ тѣми, которые восторгаются искусствами, убѣжденный въ томъ, что Шекспиръ и Рафаэль не могутъ вызвать въ образованныхъ людяхъ полнаго восхищенія—и при этомъ онъ опять-таки обстрѣливаетъ язвительными шутками тотъ мечтательный идеализмъ, съ которымъ онъ борется повсюду въ назиданіе либеральнымъ современникамъ. Ему представляется, будто кто-то обнаружилъ въ отвлеченномъ духѣ матеріальныя свойства! Онъ увѣренъ, будто антропологія доказала, а наука объяснила, что душа есть сила, которая проникаетъ матерію, не замѣчая при этомъ, что такая упрощенная постановка вопроса имѣетъ уже черезъ-чуръ грубый, догматическій характеръ. Отсутствіе положительныхъ научныхъ свѣдѣній даетъ себя чувствовать на каждомъ шагу, незнакомство съ движеніемъ философской мысли бьетъ въ глаза, а люди, пишущіе исторію русской литературы, не безъ восторга указываютъ на здравый характеръ его общаго теоретическаго міровоззрѣнія. Въ этихъ фразахъ Добролюбова, выставляемыхъ въ поученіе подростающимъ русскимъ поколѣніямъ, отсутствуетъ логическая дисциплина и, кромѣ рецензентской бойкости, не чувствуется ничего сильнаго, смѣлаго и оригинальнаго, а ратоборцы отечественнаго просвѣщенія, съ благоговѣніемъ правовѣрныхъ учениковъ и преемниковъ, продолжаютъ и до сихъ поръ разрабатывать на страницахъ прогрессивныхъ журналовъ эти самыя безжизненныя и сбивчивыя понятія, воздвигая на нихъ, какъ на непоколебимыхъ краеугольныхъ камняхъ, зданіе россійскаго благополучія.

Не большею состоятельностью отличается и ученіе Добролюбова о

гармоническомъ развитіи человѣка. Въ наивномъ убѣжденіи, что душа есть извѣстная сила матеріи, проникающая человѣческое тѣло, Добролюбовъ безъ затрудненій разрѣшаетъ одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ философскаго мышленія—вопросъ о соотношеніи матеріи и духа: надо сдѣлать такъ, проповѣдуетъ онъ съ упорствомъ журнальнаго педагога, чтобы физическая дѣятельность не шла въ разрѣзъ съ дѣятельностью умственною, чтобы обѣ стороны человѣческой жизни развивались съ равномѣрною силою, параллельно и согласно. Если духовное начало не имѣетъ никакихъ преимуществъ предъ началомъ матеріальнымъ, если, въ самомъ дѣлѣ, «антропологія доказала», а «затѣмъ наука объяснила», что отвлеченный духъ обладаетъ матеріальными свойствами, то отсюда съ очевидностью слѣдуетъ, что всякое желаніе обратить наше тѣло въ орудіе для достиженія высшихъ, идеальныхъ цѣлей—должно быть признано не только безполезнымъ, но и вреднымъ для гармоническаго развитія человѣка. Считая напрасными всѣ попытки провести опредѣленную черту между духовными и тѣлесными функціями, между первоначальными и производными силами жизни, Добролюбовъ не видитъ той естественной борьбы различныхъ началъ, которая совершается въ самомъ человѣкѣ и даетъ направленіе всему его развитію. Внутренняя драма, сообщающая такой возвышенный характеръ нашей духовной жизни, соперничество противоположныхъ стремленій, жажда физическихъ наслажденій, умѣряемая противодѣйствіемъ эстетическихъ и нравственныхъ понятій, движеніе и борьба свѣтлыхъ идей противъ темныхъ, пригибающихъ къ землѣ инстинктовъ — все это ускользаетъ отъ его вниманія. Задача человѣческаго развитія выступаетъ въ его статьяхъ въ самыхъ примитивныхъ выраженіяхъ: нужно блюсти физическое здоровье, во *всякой* болѣзни слѣдуетъ видѣть «нарушеніе правильнаго отношенія между частицами, входящими въ составъ нашего организма», нужно всѣми силами оберегать себя отъ пустыхъ и безплодныхъ философскихъ мечтаній. Не осуждайте ничего *безусловно*, не утверждайте, что Рафаэль и Шекспиръ вызываютъ въ душѣ вашей восторгъ, не убирайте розовыми цвѣтами идеализма простую, весьма понятную склонность къ женщинѣ... Добролюбовъ представляетъ себѣ гармонію между духовными и физическими стремленіями съ первобытною простотою. Двѣ эти силы должны быть, по его соображеніямъ, приведены въ такое отношеніе, чтобы каждая изъ нихъ, такъ сказать, насыщалась въ достаточной мѣрѣ, пропорціонально ея потребностямъ. Пусть физическія стремленія будутъ уважены, какъ естественныя требованія матеріальной части нашего существа, а стремленія духовныя, заключенныя въ строго реалистическую рамку, пусть найдутъ себѣ подходящее поприще для такого развитія, которое принесло-бы пользу данному порядку вещей въ данномъ обществѣ. Чуждый философскаго образованія, Добролюбовъ тѣшитъ себя

словами о гармоніи тамъ, гдѣ нужно было-бы говорить о подчиненіи разнообразныхъ силъ въ человѣкѣ высшимъ принципамъ и идеаламъ. Онъ не видитъ, что физическая сторона въ жизни человѣческой не можетъ играть самостоятельной роли параллельно съ умственной, но должна служить ей въ тѣхъ цѣляхъ, которыя ставитъ себѣ свободно развивающійся духъ человѣческій — и если-бы по поводу отрывочныхъ фразъ, въ которыхъ нѣтъ и слѣда философской критики, было прилично вооружаться научными доказательствами, пришлось бы сказать, что самое понятіе Добролюбова о тѣлѣ, о матеріи, о силѣ, не освѣщенное научно-философскою теоріей познанія, лишено какой бы то ни было убѣдительности и значенія. Добролюбовъ хочетъ привести въ гармонію то, что въ его обрисовкѣ должно и можетъ только противорѣчить другъ другу.

Изъ двухъ разсмотрѣнныхъ посылокъ буржуазнаго ученія съ неизбѣжностью вытекаетъ взглядъ на человѣка, какъ на произведеніе обстоятельствъ и на историческую личность, какъ на простую выразительницу извѣстныхъ общественныхъ стремленій въ данную эпоху. Человѣкъ не развиваетъ изъ себя *никакихъ* понятій, не творитъ *ничего новаго* и, даже будучи великимъ, онъ *всегда* безсиленъ предъ общимъ ходомъ исторіи. Критикъ не задается вопросомъ, гдѣ же именно, если не въ самомъ человѣкѣ, разрабатываются научныя и философскія идеи? Не сравнивая между собою различныхъ періодовъ въ исторіи человѣчества, онъ не видитъ, что каждою эпохою вносятся въ сознаніе общества новыя понятія, новыя нравственныя и умственныя стремленія именно черезъ посредство людей съ талантомъ, съ оригинальнымъ умомъ, съ творческимъ вдохновеніемъ. Если генію не дано творить ничего самостоятельнаго, а дано только перерабатывать существующее, въ чемъ же заключаются тогда прогрессивные успѣхи людей на пути духовной и соціальной культуры? Если всякій человѣкъ ничтоженъ предъ общимъ ходомъ исторіи, зачѣмъ тогда бороться съ условіями жизни дѣятельною силою гражданскаго и нравственнаго протеста? Если обстоятельства всесильны, если творчество во всѣхъ сферахъ дѣятельности есть пустая химера, если развитіе общества совершается по внѣшнимъ, механическимъ законамъ, надо разъ навсегда отказаться отъ мысли агитировать во имя свободы и справедливости. Добролюбовъ не замѣчаетъ, что его соображенія вращаются въ заколдованномъ, порочномъ кругѣ. Видя въ процессѣ исторіи одну только смѣну обстоятельствъ, отказывая человѣческой личности въ способности собственнымъ, индивидуальнымъ воздѣйствіемъ совершать какія бы то ни было реформы въ общественномъ бытѣ, онъ постоянно взываетъ, тѣмъ не менѣе, къ политической иниціативѣ отдѣльныхъ людей, не подозрѣвая, что между его философскими понятіями и практическими требованіями нѣтъ никакого логическаго согласія. Онъ не видитъ, что изъ прин

цповъ наивнаго реализма нельзя сдѣлать рѣшительно никакихъ радикальныхъ выводовъ. Играя громкими словами и краснорѣчивыми фразами, реализмъ по содержанію своему противорѣчитъ всякой смѣлой политической теоріи и, стремясь къ послѣдовательности, долженъ былъ-бы оказывать настоящее сопротивленіе революціоннымъ порывамъ людей, долженъ былъ-бы разъ навсегда отречься отъ всякихъ либеральныхъ претензій. Только *свободному человѣку* нужна свобода гражданская, только силамъ, имѣющимъ способность развиваться по собственнымъ законамъ и такимъ образомъ приближать человѣка къ его высшему назначенію, можетъ быть нужна и должна быть дана возможность осуществляться въ конкретныхъ жизненныхъ фактахъ. Отрицая внутреннюю человѣческую свободу, реализмъ подкапывается подъ самый принципъ свободы вообще и, незамѣтно для себя, противъ своихъ собственныхъ практическихъ намѣреній, ведетъ людей къ духовному и политическому рабству. Для идеальныхъ стремленій человѣчества, выраженіемъ которыхъ всегда были историческія попытки европейской интеллигенціи создать для себя опредѣленныя соціальныя условія жизни, водворить справедливость и правду во всѣхъ областяхъ государственнаго существованія, нужны объясненія не грубо утилитарныя, не реалистически односторонніе, а объясненія философскія въ настоящемъ смыслѣ слова. При всѣхъ добрыхъ намѣреніяхъ Добролюбова, разсужденія его о человѣкѣ, объ исторической личности, объ отношеніи естественныхъ наукъ къ отвлеченному, метафизическому знанію, по самому характеру своему, должны были изсушать въ обществѣ живыя чувства, источники вдохновенія, всякую склонность къ безтрепетной борьбѣ за вѣчные идеалы человѣчества. Мертвыя по своему содержанію, блещущія лишь поверхностнымъ либерализмомъ университетскихъ коридоровъ, не выдержанныя въ своихъ собственныхъ предѣлахъ, они не могли имѣть настоящаго, прочнаго, благотворнаго вліянія на ходъ вещей въ Россіи. Даже справедливое положеніе Добролюбова, что народныя массы играютъ великую роль въ процессѣ историческаго развитія человѣчества, превращается подъ перомъ его въ бездоказательную либеральную фразу, направленную противъ великихъ людей, ведущихъ эти массы къ великимъ цѣлямъ. Обезличивая историческихъ дѣятелей до степени простыхъ выразителей уже назрѣвшихъ въ обществѣ мыслей и такъ или иначе формулированныхъ потребностей, Добролюбовъ извращаетъ самое понятіе о духовномъ творчествѣ, вносящемъ живое движеніе въ инертную стихію народнаго существованія, пробуждающемъ въ народныхъ массахъ тѣ стремленія и силы, которыя заложены въ ихъ природѣ, но могутъ подолгу оставаться въ полномъ спокойствіи безъ энергическаго призыва историческаго героя. Добролюбовъ не видитъ того, что даже жизнь этихъ массъ совершается вовсе не по внѣшнимъ механическимъ законамъ. Онъ не знаетъ настоя-

щей цѣны смѣлой духовной иниціативы людей, умѣющихъ подходить къ народу со словами, прямо обращенными къ его внутреннимъ спящимъ силамъ, умѣющихъ поднимать общество на борьбу съ обстоятельствами вопреки обстоятельствамъ и въ самомъ центрѣ обстоятельствъ. Краснорѣчивѣйшіе факты исторіи пропали для него даромъ. Онъ не знаетъ, что на исторической аренѣ мечтатели и идеалисты, съ которыми дѣятели «Современника» борются всѣми возможными средствами — то патетическими нападками на ихъ «отсталыя» теоріи, то разнузданными шутками и вульгарнымъ хохотомъ «Свистка», были всегда самыми упорными защитниками народнаго блага, самыми смѣлыми, фанатическими провозвѣстниками свободы и справедливости.

II.

Въ рядѣ статей, написанныхъ Добролюбовымъ по разнымъ чисто литературнымъ вопросамъ и образующихъ третью категорію его журнальныхъ работъ, мы находимъ въ практическомъ примѣненіи тѣ общія философскія понятія, которыя мы только что изложили съ необходимыми критическими замѣчаніями. Увлеченный публицистическою задачею, Добролюбовъ не даетъ намъ никакихъ настоящихъ характеристикъ, не открываетъ преемственной связи, соединяющей дѣятельность новыхъ и старыхъ писателей. Его анализъ нигдѣ не углубляется въ сюжетъ литературнаго произведенія, съ цѣлью открыть какія-нибудь общія психологическія начала, освѣтить опредѣленнымъ философскимъ понятіемъ сложные процессы человѣческаго творчества. Не научная по своимъ пріемамъ и задачамъ, вся критическая работа Добролюбова, несмотря на талантливость изложенія, на мѣткость его холоднаго, безжалостнаго остроумія, не вноситъ ничего новаго, свѣжаго и оригинальнаго въ литературное сознаніе общества, не прибавляетъ ни единаго штриха къ тому, что было сказано о русскомъ искусствѣ въ лучшихъ статьяхъ Бѣлинскаго. Не считая своею обязанностью задаваться какими-бы то ни было отвлеченными вопросами, онъ все вниманіе сосредоточиваетъ на томъ, что могло-бы привести въ движеніе реальные интересы русскаго политическаго строя. Каждое болѣе или менѣе замѣтное событіе въ области искусства онъ обсуживаетъ съ узко-утилитарной точки зрѣнія, очевидно полагая, что только такимъ путемъ писатель можетъ оказывать обществу существенную пользу. Не волнуясь любовью къ искусству, соприкасаясь съ поэзіей стихотворнымъ даромъ, обнаруживающимъ извѣстную силу только въ области фельетонной пересмѣшки и карикатуры, Добролюбовъ не говорилъ и не умѣлъ говорить о художественномъ творчествѣ тѣми словами убѣжденія и страсти, безъ которыхъ всѣ разсужденія о литературныхъ предметахъ мертвы и, въ смыслѣ

критическаго разбора, лишены серьезнаго значенія даже для своего времени.

Нѣсколько статеекъ Добролюбова передаютъ намъ его реалистическую точку зрѣнія въ эстетическихъ вопросахъ съ полною наглядностью. Разсматривая стихотворенія Полежаева, критикъ распространяется о значеніи обстоятельствъ въ жизни человѣка. Бѣлинскій, изучившій литературную судьбу этого замѣчательнаго дарованія, съ полной увѣренностью сказалъ, что Полежаевъ былъ жертвою не судьбы, а другихъ, внутреннихъ обстоятельствъ. По убѣжденію Добролюбова, въ жизни Полежаева внѣшняя судьба играла самую главную роль. При иныхъ обстоятельствахъ, при другой жизненной обстановкѣ этотъ энергическій талантъ не погибъ-бы жертвою неравной и безплодной борьбы и непремѣнно пробился-бы «сквозь кору житейскихъ дрязгъ, общественныхъ несправедливостей и людскихъ предразсудковъ» [1]). Обозрѣвая «Губернскіе очерки» Щедрина, Добролюбовъ опять-таки заводитъ пространный разговоръ о силѣ соціальныхъ обстоятельствъ, съ которою не могутъ справиться талантливыя русскія натуры: всѣ ихъ провинности ложатся, по его словамъ, на отвѣтственность условій жизни [2]). Обрисовывая поэтическій характеръ Полонскаго, Добролюбовъ говоритъ: недовольный «окружающей дѣйствительностью», поэтъ выразилъ свой протестъ противъ нея тѣмъ, что создалъ себѣ особый міръ и населилъ его особыми существами [3]). Въ статейкѣ, посвященной четырехъ-актной комедіи Алексѣя Потѣхина «Мишура», Добролюбовъ обращается къ писателямъ, совѣтуя имъ, чтобы они боролись съ обстоятельствами жизни «громкимъ крикомъ» [4]). Двѣ статейки, разсматривающія стихотворныя и прозаическія произведенія Плещеева, представляютъ собою настоящій сводъ реалистическихъ соображеній, обращенныхъ къ русской общественности. Каковы должны быть обстоятельства жизни, восклицаетъ Добролюбовъ, когда они такъ необходимо, фатально, такъ безобразно сламываютъ самыя благородныя и сильныя натуры! Въ послѣдніе годы Пушкинъ съ грустью признавался, что въ сердцѣ его, смиренномъ бурями, настала лѣнь и тишина. Жестокая судьба побѣдила Лермонтова. Всесильная среда сокрушила такого здороваго и могучаго человѣка, какъ Кольцовъ. Плещеевъ... «Тяжело становится на душѣ, когда припомнишь исторію этихъ личностей. Зачѣмъ боролись и страдали бѣдные труженики? Зачѣмъ ихъ борьба была такъ безплодна, и зачѣмъ эти тысячи и милліоны людей, окружавшихъ ихъ, такъ холодно, безучастно смо-

[1]) „Современникъ", 1857 г., № 9. Новыя книги, стр. 2.

[2]) „Современникъ", 1857 г., № 12. Критика. „Губернскіе очерки", стр. 66, 67 и др.

[3]) „Современникъ", 1859 г., № 7. Новыя книги. „Стихотворенія Я. П. Полонскаго", стр. 89.

[4]) „Современникъ", 1858 г., № 8. Новыя книги. „Мишура", ком. въ 4 д. стр. 229.

трѣли на ихъ внутреннія страданія, такъ легко дали имъ пасть подъ гнетомъ судьбы?» [1]). Сила обстоятельствъ, замѣчаетъ Добролюбовъ, не дала развиться въ Плещеевѣ убѣжденіямъ, вполнѣ опредѣленнымъ, ровнымъ, цѣльнымъ. Среда заѣдаетъ человѣка—вотъ мотивъ для всякаго прогрессивнаго писателя, мотивъ хорошій, сильный, которымъ никто до сихъ поръ еще настоящимъ образомъ не воспользовался. «Школа заѣдающей среды» не дала еще вполнѣ художественныхъ разсказовъ именно потому, что она не сумѣла ярко и полно представить, какая сила заѣдаетъ русскаго человѣка, «почему именно его ѣдятъ и зачѣмъ онъ позволяетъ себя ѣсть» [2]). Въ обличительныхъ произведеніяхъ современной литературы много недоговореннаго, нѣтъ всеобъемлющей правды, соціальная среда показана въ слишкомъ туманныхъ, расплывающихся чертахъ. Въ нихъ исполненіе далеко ниже идеи, которая могла-бы придать имъ жизненность. Желая ободрить русскихъ людей, готовыхъ выступить на борьбу съ пошлою дѣйствительностью, желая дать имъ нѣкоторую практическую философію, которая руководила-бы ими на жизненномъ пути, Добролюбовъ тутъ-же излагаетъ свои соображенія объ источникѣ всѣхъ нравственныхъ побужденій въ человѣкѣ. Прекрасными стремленіями, пишетъ онъ, мы признаемъ всѣ естественныя, неиспорченныя стремленія человѣческой природы. Уваженіе къ чужимъ правамъ, чувство гуманности и справедливости не являются слѣдствіями какихъ-нибудь возвышенныхъ идей—нѣтъ. Они продиктованы расчетомъ и выводятся изъ расчета. Они выгодны для человѣка. Тѣ стремленія и понятія, которыя обыкновенно выставляются въ романахъ, какъ что-то особенное, высшее, поднимающее людей надъ уровнемъ обыкновенной толпы, въ сущности чрезвычайно просты и естественны. Каждый хочетъ, чтобы никто не стѣснялъ его, чтобы ему была предоставлена возможность пользоваться «личными, неотъемлемыми средствами и безмездными, никому не принадлежащими благами природы». Каждому понятно, что, ища свободы и независимости, не слѣдуетъ посягать на права другихъ, не слѣдуетъ вредить чужой дѣятельности. «Это самый простой законъ, по которому птица не старается свить гнѣздо именно на томъ мѣстѣ, гдѣ уже вьетъ другая птица, стадо барановъ спокойно раздѣляетъ между собою лугъ, гдѣ пасется» [3]). Всѣ высшія чувства, всѣ проявленія человѣческой ненависти къ деспотизму и рабству ничѣмъ не отличаются отъ

---

[1]) „Современникъ", 1858 г., № 10. Библіографія. „Стихотворенія А. Н. Плещеева", стран. 189.

[2]) „Современникъ", 1860 г., № 7. Благонамѣренность и дѣятельность. Повѣсти и разсказы А. Плещеева, стр. 45. Слова: „зачѣмъ онъ позволяетъ себя ѣсть" вставлены въ полное собраніе сочиненій Добролюбова, т. III, стр. 315; въ „Современникѣ" они отсутствуютъ.

[3]) „Современникъ", 1860 г., № 7. Русская литература, стр. 48.

простыхъ и естественныхъ желаній «пить, ѣсть, любить женщину» [1]). Мы не требуемъ героизма, заявляетъ Добролюбовъ, намъ теперь не нужны люди съ хорошими мечтами. Для искорененія общественныхъ неправдъ требуется не «слово убѣжденія», а «практическое пособіе». Прочь младенческія мечтанія, несбыточныя надежды и вѣрованія! Перестанемъ быть «платоническими любовниками» либерализма!..

Рядомъ съ этими монотонными, сбивчивыми, постоянно повторяющимися разсужденіями о заѣдающей средѣ, объ обстоятельствахъ, о безплодности теоретическихъ споровъ, о необходимости немедленныхъ, практическихъ пособій, неизмѣнно выступаетъ въ бодрыхъ выраженіяхъ, отчѣненныхъ веселою ироніей, отрицательная тенденція Добролюбова по отношенію къ искусству, къ эстетикѣ, къ «безплодному и мечтательному идеализму». Кое-гдѣ блеснетъ отдѣльное критическое замѣчаніе, обличающее поэтическій вкусъ и чутье къ красотѣ, тонкую впечатлительность къ недостаткамъ художественной формы, нѣкоторый интересъ къ психологическому содержанію разбираемыхъ произведеній—блеснетъ и тутъ-же затеряется въ цѣлой грудѣ фразъ публицистическаго содержанія, не идущихъ къ дѣлу, ничего рѣшительно не выясняющихъ въ тѣхъ литературныхъ предметахъ, которые подлежали разбору. Иногда Добролюбовъ увлекается художественнымъ матеріаломъ и, довѣряясь эстетическому инстинкту, выводитъ свою мысль изъ тѣснаго круга гражданскаго резонерства—и тогда въ его рецензіяхъ пробивается сила настоящаго критическаго дарованія. Его сужденія о Ростопчиной, Жадовской, о Подолинскомъ, о Бенедиктовѣ, нѣкоторыя его замѣчанія о стихахъ Полонскаго, брошенныя почти небрежно, случайно, сатирическая оцѣнка, сдѣланная стихамъ Бѣшенцова, Розенгейма, фонъ Лизандера и другихъ—отличаются большою мѣткостью и выражены съ тою простотою сжатаго, хотя и не яркаго стиля, которая составляетъ отличительную особенность всѣхъ его лучшихъ статей и замѣтокъ. Никто не умѣлъ лучше, чѣмъ онъ, открыть недостатокъ въ стихѣ, разоблачить пустоту и ничтожество напыщенной риторики. Никто не могъ поравняться съ нимъ остротою насмѣшки, облеченной самыми невинными выраженіями и нѣсколькими словами создающей въ читателѣ опредѣленное отношеніе къ данному предмету. Небольшая замѣтка о стихахъ Жадовской свѣтится какою-то внутренней красотою, въ которой отразилась безпорывная, прямая и, въ сущности, скорбная натура Добролюбова. Въ отдѣльныхъ строкахъ библіографической статейки объ изящномъ лирическомъ талантѣ Полонскаго чувствуется какая-то тихая, задавленная любовь къ природѣ, къ фантастическому элементу въ поэзіи. Но нигдѣ отрывочныя и летучія замѣчанія Добролюбова не соединяются въ опредѣленную систему. Общее

[1]) „Современникъ“, 1860, № 7, стр. 49.

содержаніе его критическихъ замѣтокъ имѣетъ публицистическій характеръ. Его открытыя сужденія о поэзіи, объ искусствѣ, о величайшихъ представителяхъ русскаго творчества лишены настоящей критической силы, сбивчивы и несостоятельны по своему философскому содержанію.

Въ довольно пространной статьѣ о книжкѣ А. Милюкова: «Очеркъ исторіи русской поэзіи» мы находимъ въ сгущенномъ видѣ основные взгляды Добролюбова на литературу вообще и на все прошедшее русской литературы въ частности. Слѣдуя за Милюковымъ, Добролюбовъ устанавливаетъ свою собственную точку зрѣнія на задачу русскаго искусства, кое въ чемъ дополняя его мысли, но въ общемъ оставаясь повсюду вѣрнымъ его историческому методу. Милюковъ хотѣлъ показать, выражаясь его собственными словами, ходъ и значеніе идей, проявлявшихся въ древней и новой русской поэзіи. Вся русская поэзія, говоритъ онъ, представляетъ двѣ совершенно отдѣльныя картины: въ одной мы видимъ «неподвижно бѣдныя идеи», грубую фантазію, постепенный упадокъ умственной жизни народа, въ другой—кипучую дѣятельность быстро развивающагося общества. Новая русская поэзія приняла съ самаго начала двоякое направленіе—подражательное и самобытное. Направленіе подражательное познакомило и сблизило Россію съ европейскими идеями. Направленіе самобытное имѣло еще большее значеніе для развитія общества. Выразившись въ формѣ сатиры, оно постоянно боролось съ осадками стараго, до-Петровскаго варварства и съ тѣмъ наростомъ «ложно понятыхъ началъ европейской цивилизаціи, какой необходимо долженъ былъ возникнуть отъ пламенной жажды къ сближенію съ европейскою жизнью». Въ лицѣ Кантеміра, сатира, чуждая художественности, не оригинальная по формѣ, выразила опредѣленную общественную потребность, преслѣдуя враговъ образованія, начатаго Петромъ Великимъ. Подъ перомъ Фонвизина и Грибоѣдова она напала на тѣхъ, которые удовлетворялись однѣми наружными формами европейской культуры. Въ поэзіи Державина она превратилась въ грозный бичъ, безпощадно казнившій обычаи и нравы предшествовавшаго поколѣнія. Въ картинахъ Пушкина и Лермонтова она представила «мелочь свѣтскихъ приличій», пустоту общественной жизни, холодное равнодушіе толпы къ свѣтлымъ идеямъ преобразованія. Наконецъ, въ созданіяхъ Гоголя она явилась высоко-художественною картиной русскихъ нравовъ, вѣрнымъ зеркаломъ недостатковъ и потребностей общества. «Какое великолѣпное зрѣлище представляетъ этотъ быстрый ходъ идеи просвѣщенія и борьба ея съ массою грубаго ослѣпленія, плода вѣковой неподвижности!»—восклицаетъ Милюковъ. Но русская поэзія, выражая только внутреннюю борьбу общественныхъ элементовъ, не имѣла и не могла имѣть до сихъ поръ значенія общечеловѣческаго. Геніальные русскіе поэты были великими представителями только *своего* общества. Даже Пушкинъ не всемірный поэтъ.

Онъ занимаетъ въ русской литературѣ такое-же мѣсто, какое занимаетъ Тегнеръ и Эленшлегеръ въ литературѣ шведской и датской. Онъ даже не можетъ быть названъ полнымъ представителемъ идей своего отечества. Истинно великъ онъ только, какъ художникъ. Но приближается часъ, когда русское общество, «одухотворясь идеями просвѣщенія и цивилизаціи», начнетъ жизнь общечеловѣческую, и тогда русская поэзія станетъ приносить богатые вклады «въ общую сокровищницу искусства». Россія—въ будущемъ [1]).

Разбирая эту книжку Милюкова, Добролюбовъ описываетъ по своему движеніе идей въ произведеніяхъ русскаго искусства. Онъ осмѣиваетъ разныхъ книжныхъ теоретиковъ, которые готовы думать, что литература заправляетъ исторіей, измѣняетъ государства, передѣлываетъ нравы и народный характеръ. Онъ съ увѣренностью провозглашаетъ, что поэзія, искусства, науки слагаются *по* жизни, подчиняются жизни. Начиная съ Платона, пишетъ онъ, книжники возстаютъ противъ реализма, увѣряя, что только *идеи* могутъ имѣть настоящую дѣйствительность. Но пора освободиться отъ опеки идеологовъ. Пора бросить всѣ платоническія мечтанія. Пора понять, «что хлѣбъ не есть пустой значокъ, отраженіе высшей отвлеченной идеи жизненной силы, а просто хлѣбъ, объектъ, который можно съѣсть». [2]). Пора уразумѣть, что литература можетъ быть только служительницею общества на поприщѣ его реальныхъ интересовъ. Въ противоположность Милюкову, Добролюбовъ утверждаетъ, что въ русскомъ народѣ издревле хранилось много силъ для обширной и полезной дѣятельности. Но не имѣя возможности развиваться свободно, на полномъ просторѣ, народная жизнь суживалась все болѣе и болѣе, а съ нею терялась, слабѣла и глохла народная поэзія. Росла и укрѣплялась только книжная словесность. Ломоносовъ много сдѣлалъ для успѣховъ науки, но «въ отношеніи къ общественному значенію литературы» онъ не сдѣлалъ ничего: его поэзія не шагнула дальше дидактическаго нравоученія и напыщеннаго прославленія бранныхъ подвиговъ. Дѣйствительной жизни онъ не зналъ. О затрудненіяхъ мужика, у котораго пала послѣдняя лошадь, онъ не считалъ возможнымъ говорить высокимъ слогомъ. Сумароковъ возставалъ противъ невѣжества, дворянской спѣси, взяточничества, но въ то же время сочинялъ трагедіи, въ которыхъ «герои вѣщали нелѣпѣйшія безсмыслицы». Произведенія Державина носятъ отпечатокъ отвлеченной, мертвой схоластики. Карамзинъ преподавалъ разныя высокія идеи, сидя «въ изящномъ креслѣ, въ комнатѣ, убранной со всѣми

---

[1]) А. Милюковъ. „Очеркъ исторіи русской поэзіи“ II изданіе. Спб. 1858 г., стр. 218—224 и стр. 177—178.

[2]) «Современникъ» 1858 г., № 2. Критика. „О степени участія народности въ развитіи русской литературы“, стр. 117.

прихотями достатка» [1]). Жуковскій, поклонникъ и послѣдователь Карамзина, предавался поэтическимъ мечтаніямъ, стремился къ чему-то невѣдомому, заоблачному, туманному. Пушкинъ въ своей поэтической дѣятельности первый представилъ, не компрометируя искусства, настоящую русскую жизнь—и въ этомъ заключается его великое историческое значеніе. Но реальныя стремленія выразились въ Пушкинѣ «не съ тою широтою взгляда, какой можно было ожидать отъ его художественной личности». Въ немъ проглядываютъ опрятность Карамзина, мечтательность Жуковскаго и эпикуреизмъ Батюшкова, съ примѣсью вліянія Байрона, котораго Пушкинъ не понялъ и не могъ понять [2]). При всей громадности таланта, Пушкинъ только завершилъ собою «художественный, младенчески беззаботный и граціозно-ребяческій періодъ русской поэзіи» [3]). Натура неглубокая, онъ сумѣлъ овладѣть только формой русской народности, но не существомъ ея. «Недостатокъ прочнаго, глубокаго образованія мѣшалъ ему сознать прямо и ясно, къ чему стремиться, что искать, во имя чего приступить къ рѣшенію общественныхъ вопросовъ»... Явился Гоголь. Изобразивъ всю пошлость современнаго общества, онъ вдругъ, ужаснувшись результатовъ, захотѣлъ представить идеалы, «которыхъ нигдѣ не могъ найти». Не будучи въ состояніи «шагнуть черезъ Пушкина до Державина, Гоголь шагнулъ назадъ до Карамзина». Онъ тоже не понялъ тайны русской народности. «Онъ перемѣшалъ хаосъ современнаго общества, кое-какъ изнашивающаго лохмотья взятой взаймы цивилизаціи, съ стройностью простой, чисто народной жизни, мало испорченной чуждыми вліяніями и еще способной къ обновленію на началахъ правды и здраваго смысла» [4]).

Подводя итоги всѣмъ этимъ разсужденіямъ, Добролюбовъ говоритъ: наша литература до сихъ поръ почти никогда не выполняла своего назначенія—служить выраженіемъ народной жизни, народныхъ стремленій. Ближе къ этому идеалу стояли Лермонтовъ и Кольцовъ, но ихъ поэтическая работа оборвалась рано, не дойдя до конца. Только отъ нынѣшняго направленія можно ожидать чего-нибудь хорошаго. Только нынѣшніе дѣятели начинаютъ явно стыдиться своего незнакомства съ народомъ и своей отсталости во всѣхъ современныхъ вопросахъ [5]).

Книжка Милюкова написана съ талантомъ, но матеріалы русской поэзіи не разработаны въ ней съ достаточной полнотой. Это—летучія разсужденія, нигдѣ не принимающія характера серьезнаго историческаго

---

[1]) „Современникъ“ 1858 г., № 2. Критика, стр. 150.

[2]) Ibidem, стр. 154.

[3]) Сочиненія Добролюбова, т. III. Перепѣвы. Стихотворенія обличительнаго поэта, стр. 332.

[4]) „Современникъ“ 1858 г., № 2. Критика, стр. 157.

[5]) Ibidem, стр. 166.

изслѣдованія. Искусственно отрѣзывая интеллигенцію отъ прочаго міра, представляя русскую поэзію отдѣльною картиною развитія, ни въ чемъ не соприкасающеюся съ понятіями и идеалами простыхъ массъ, Милюковъ не передаетъ намъ важнѣйшихъ особенностей русскаго творчества. За внѣшними признаками подражанія онъ не видитъ самороднаго ключа новой русской поэзіи: народности въ лучшемъ смыслѣ этого слова, типическихъ чертъ русскаго искусства съ его малой, по выраженію Гоголя, привязанностью въ жизни, съ его неудержимымъ стремленіемъ унестись куда-то вмѣстѣ съ звуками заунывной русской пѣсни. Добролюбовъ улучшаетъ нѣкоторыя частности въ разсужденіяхъ Милюкова, но ни въ чемъ не идетъ дальше ординарныхъ взглядовъ толпы на задачу литературы. Провозглашая, что поэзія, искусства, науки слагаются и должны слагаться по жизни, онъ на самую жизнь смотритъ, какъ на нѣчто, стоящее внѣ человѣческой мысли и управляющее всѣми нашими стремленіями по своимъ собственнымъ законамъ. Вѣрный реалистическому принципу, о которомъ мы говорили выше, онъ не признаетъ за литературою способности къ творческой иниціативѣ въ области идей, приводящихъ въ движеніе духовныя и нравственныя силы общества. Во всѣхъ его размышленіяхъ по этому вопросу господствуетъ грубая, утилитарная точка зрѣнія, принижающая искусство до степени повседневнаго публицистическаго орудія для борьбы съ обстоятельствами даннаго историческаго момента. Добролюбовъ ни на минуту не задумывается надъ тѣмъ, что художественной литературѣ даны свои средства дѣйствовать на историческій ходъ вещей. Ему представляется, что поэзія только тогда служитъ людямъ, когда она проникается опредѣленною политическою тенденціею и возбуждаетъ въ нихъ радикальныя чувства. Отвлеченныя идеи никому не нужны, всѣ мечтанія безплодны. Пора освободиться отъ опеки идеологовъ! Пора понять, что хлѣбъ не есть пустой значокъ, а нѣкоторый объектъ, который можно съѣсть! Его характеристика русской поэзіи въ ея лучшихъ представителяхъ неудачна и по формѣ и по содержанію. Нельзя ограничиваться голословнымъ заявленіемъ, что вся прошедшая литература не выполняла своего назначенія и не служила выраженіемъ народной жизни. Нельзя съ такимъ сравнительно малымъ образованіемъ, какимъ обладалъ Добролюбовъ, съ серьезнымъ видомъ уличать Пушкина въ недостаткѣ умственнаго просвѣщенія и, не зная Байрона, повторять бездоказательныя слова Милюкова, что Пушкинъ не понималъ великаго англійскаго поэта — Пушкинъ, который зналъ до тонкости и цѣнилъ съ рѣдкимъ критическимъ талантомъ важнѣйшихъ дѣятелей европейской литературы. Нельзя съ видомъ убѣжденія утверждать, что Пушкинымъ завершился «ребяческій періодъ русской поэзіи». Какъ отнесся Добролюбовъ къ Гоголю? Гоголь не понялъ тайны русской народности! Гоголь шагнулъ назадъ до Карамзина! Онъ «пере-

мѣшалъ хаосъ современнаго общества съ стройностью простой, чисто народной жизни». Онъ захотѣлъ представить идеалы, которыхъ нигдѣ не могъ найти. Пушкинъ подъ конецъ жизни обнаружилъ какую-то «боязливую попечительность о соблюденіи нравственности», Гоголь обнародовалъ свою «Переписку съ друзьями», представляющую хорошій матеріалъ для веселой пародіи... [1]).

Вопросы нравственности возбуждаютъ въ Добролюбовѣ настоящее отвращеніе. Обыкновенно ровный, спокойный, не склонный къ пафосу, онъ разражался полемическими громами, когда въ литературѣ открыто поднимался вопросъ о значеніи нравственнаго элемента въ жизни. Искренно убѣжденный въ томъ, что моральная проповѣдь можетъ нанести ущербъ гражданскимъ стремленіямъ людей, Добролюбовъ съ какимъ-то ожесточеніемъ накидывался на всякаго, кто дерзалъ проводить въ обществѣ тѣ или другія этическія воззрѣнія. Вспомните его критическую замѣтку по поводу магистерской диссертаціи Ореста Миллера, представленной историко-филологическому факультету Петербургскаго университета въ 1858 г.—«О нравственной стихіи въ поэзіи». Несмотря на нѣсколько неудачныхъ фразъ, на отсутствіе литературнаго таланта, несмотря на сентиментальную, архаичную риторику изложенія, сочиненіе это заключаетъ въ себѣ не мало вѣрныхъ мыслей, достойныхъ полнаго уваженія. Орестъ Миллеръ никогда не былъ человѣкомъ съ дурными тенденціями, и надо было питать слѣпую ненависть къ этическимъ вопросамъ вообще, чтобы въ этой невинной и добросовѣстно составленной книгѣ отыскать какія-то злыя, ретроградныя намѣренія. Въ небольшомъ предисловіи къ трактату, на всемъ протяженіи его немногихъ главъ, въ десяти пунктахъ заключительнаго «Положенія», нигдѣ рѣшительно вы не найдете ни одного соображенія, опаснаго для русскаго либерализма. Но Миллеръ считаетъ необходимымъ сгруппировать историческія данныя, доказывающія «вездѣсущіе нравственнаго начала въ поэзіи» именно «въ настоящее время», когда въ русской литературѣ господствуетъ направленіе реальное [2]) — и этого совершенно достаточно для того, чтобы сотрудникъ «Современника» воспылалъ гражданскимъ гнѣвомъ. Какъ можно было во дни Чернышевскаго, послѣ «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности», рѣшиться говорить, что въ поэзіи человѣкъ можетъ увидѣть себя не такимъ, каковъ онъ есть, а такимъ, какимъ онъ желалъ-бы и долженъ былъ-бы быть? Не настоящая ли это ересь утверждать, что творческое воображеніе возбуждаетъ въ людяхъ стремленіе къ высшимъ цѣлямъ?

---

[1]) „Современникъ", 1858 г. № 1. Новыя книги. „Сочиненія Пушкина, 7-ой дополнительный томъ изд. П. В. Анненкова", стр. 41, и „Сочиненія Добролюбова", т. III, стр. 334.

[2]) „О нравственной стихіи въ поэзіи, на основаніи историческихъ данныхъ, по поводу вопроса о современномъ направленіи русской литературы". Спб., 1858 г., стр. 2.

Развѣ не посягаетъ на коренные принципы либерализма тотъ, кто проповѣдуетъ самоотреченіе во имя религіознаго идеала? Добролюбовъ былъ увѣренъ, что стоитъ на стражѣ русскаго прогресса, когда съ такою силою обрушился на Ореста Миллера—и его бойкая, хлесткая рецензія покрыла надолго незаслуженнымъ позоромъ имя человѣка, вся вина котораго заключалась въ томъ, что онъ не сумѣлъ выразить своей простой мысли въ болѣе смѣлой и сильной формѣ, что, изучая нравственную стихію въ поэзіи, онъ не показалъ въ то же время полной зависимости всѣхъ видовъ гражданскаго настроенія отъ нравственнаго чувства и нравственной самодѣятельности людей. Прошли годы, и Орестъ Миллеръ, рѣшившись слѣдовать за вѣкомъ, во многомъ уступилъ своему строгому критику. Въ статьяхъ его пышно расцвѣли совсѣмъ другія идеи, съ каѳедры послышались разсыпчатыя, трескучія, какъ фейерверкъ, фразы, проникнутыя публицистическимъ духомъ. Аудиторіи, въ которыхъ читалъ Миллеръ, ломились отъ публики, встрѣчавшей и часто покрывавшей бурными рукоплесканіями его разсужденія о русской литературѣ...

III.

Въ группѣ изучаемыхъ нами работъ самое выдающееся мѣсто занимаютъ статьи о Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Достоевскомъ, написанныя съ наибольшимъ талантомъ, ярко, смѣло, съ порывами увлеченія. По своему значенію въ исторіи русской литературы, статьи эти должны быть признаны самымъ выдающимся вкладомъ либеральной журналистики того времени въ общую сумму духовнаго труда и усилій, шевелившихъ критическую мысль въ интеллигентныхъ русскихъ людяхъ. Мѣстами въ нихъ просвѣчиваетъ эстетическое чутье, которое подсказываетъ Добролюбову мѣткія и тонкія выраженія для характеристики различныхъ видовъ писательскаго дарованія. Многія страницы отличаются выдержанностью тона, спокойствіемъ анализа, не открывающаго никакихъ внутреннихъ, психологическихъ глубинъ, но твердо и смѣло подвигающагося впередъ къ назначенной цѣли. Тонкій и нѣжный юморъ свѣтится въ пересказѣ отдѣльныхъ художественныхъ подробностей. Иногда чувствуется даже оригинальное пониманіе дѣйствующихъ лицъ поэтическаго произведенія... Но съ увлеченіемъ прочитавъ нѣсколько страницъ, написанныхъ съ умомъ и талантомъ, вы неизбѣжно должны вступить въ область докучливыхъ разужденій о средѣ, о воспитаніи, гдѣ авторъ, постоянно сбиваясь съ пути, то заигрываетъ съ читателемъ либеральными намеками, то обдаетъ его цѣлымъ градомъ презрительныхъ восклицаній за вялое отношеніе къ гражданскимъ обязанностямъ. Нигдѣ Добролюбовъ не остается до конца на высотѣ своей задачи, нигдѣ разборъ литературнаго произведенія не переходитъ у него въ живое, психологи-

ческое изслѣдованіе. Оцѣнивая дѣятельность Гончарова, Островскаго, Тургенева и Достоевскаго, созерцая художественныя картины, созданныя первокласными талантами, онъ не находилъ въ себѣ силъ вести свою работу путемъ строгой критики—и потому, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ въ направленіи искусства, онъ быстро переходитъ къ привычнымъ темамъ, мѣняя тонъ свободнаго и смѣлаго литературнаго объясненія на тонъ кричащей и задорной публицистики съ самоувѣренными нападками на всѣхъ и на все, съ явнымъ пристрастіемъ къ задирающему фрондерству.

Прочтите небольшую статью Добролюбова подъ названіемъ «Что такое Обломовщина?» Восемь печатныхъ страницъ, проникнутыхъ яснымъ критическимъ отношеніемъ къ дарованію Гончарова, нѣсколько блестяще выраженныхъ мыслей о типическихъ свойствахъ его художественнаго творчества, и затѣмъ—рядъ публицистическихъ соображеній, не только не объясняющихъ, но даже заслоняющихъ истинный смыслъ произведенія. Гончаровъ остается не освѣщеннымъ—и всѣ параллели между Обломовымъ и другими героями, дѣйствующими въ русской поэзіи, параллели, сдѣланныя притомъ отрывочно и бездоказательно, не вносятъ ничего свѣжаго и новаго въ общую характеристику романа. Обломовка все-таки не объяснена, несмотря на то, что къ услугамъ критика былъ драгоцѣннѣйшій бытовой и психилогическій матеріалъ. Огромной загадкой встаетъ она передъ нами—теперь, какъ и во времена Добролюбова—эта страна спящихъ силъ, безплодныхъ, но высокихъ порывовъ, окутанная снѣгами, закаленная морозами. Тоскливыя поля, хмурое небо, блѣдные, сѣверные туманы, среди которыхъ безпомощно бьются отдѣльные люди, смутными громадами копошатся народныя массы. Вся жизнь ушла куда-то внутрь. Горе не прорывается наружу въ смѣлыхъ, мятежныхъ крикахъ. Никакая радость не озаряетъ сѣрой обстановки. Летаргическій сонъ сковываетъ всю Обломовку. И вотъ вопросъ: какъ разбудить къ жизни эти спящія силы? Какими рычагами привести въ движеніе эту необъятную страну съ глубокими моральными запросами, но безъ орудій для борьбы съ историческими обстоятельствами? Какъ поднять на ноги этого сказочнаго великана, не обнаруживающаго почти никакихъ признаковъ близкаго пробужденія. Обломовъ спитъ и не просыпается. Кто-то мечетъ въ него сатирическими фразами, смѣется надъ его бездѣйствіемъ, кидаетъ ему въ лицо смѣлые упреки, подзадариваетъ его таинственными рѣчами о вѣяніяхъ новой жизни, но Обломовъ не трогается съ мѣста. Онъ не слышитъ этихъ восклицаній, не видитъ и не чувствуетъ этихъ благородныхъ стараній. Случается иногда, что онъ прислушается къ пылкимъ юношескимъ рѣчамъ—и тогда онъ исполнится презрѣнія къ людскому пороку, къ клеветѣ, къ разлитому въ мірѣ злу. Въ немъ проснется желаніе указать человѣку на его

язвы. Вдругъ въ головѣ его загорятся и пойдутъ гулять, какъ волны въ морѣ, мысли смѣлыя и свѣтлыя. Вдругъ, движимый нравственною силою, онъ въ одну минуту измѣнитъ двѣ-три позы, съ блистающими глазами привстанетъ до половины на постели, протянетъ руку и вдохновенно оглянется кругомъ. «Но, смотришь, промелькнетъ утро, день уже клонится къ вечеру, а съ нимъ клонятся къ покою и утомленныя силы Обломова». Буря и волненія смирились въ душѣ его. «Обломовъ тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремивъ печальный взглядъ *въ окно* къ небу, съ грустью провожаетъ солнце, великолѣпно садящееся за чей-то четырехъ-этажный домъ». Иногда въ немъ закипитъ воображеніе, возстанутъ забытыя воспоминанія, неисполненныя мечты, въ совѣсти зашевелятся упреки за нелѣпо прожитую жизнь—и тогда онъ спитъ неспокойно, просыпается, плачетъ холодными слезами безнадежности по свѣтломъ, навсегда угаснувшемъ идеалѣ жизни...

— Я люблю его не по-прежнему,—говорила однажды Ольга своему мужу, но есть что-то, что я люблю въ немъ, чему я, кажется, осталась вѣрна и не измѣнюсь, какъ иные...

— Кто же иные? Скажи, уязви, ужаль: я, что-ли? Ошибаешься. А если хочешь знать правду, такъ я и тебя научилъ любить его и чуть не довелъ до добра. Безъ меня ты-бы прошла мимо его, не замѣтивъ. Я далъ тебѣ понять, что въ немъ есть ума не меньше другихъ, только зарыть, задавленъ всякою дрянью и заснулъ въ праздности. Хочешь, я скажу тебѣ, отчего онъ тебѣ дорогъ, за что ты еще любишь его?

Ольга кивнула въ знакъ согласія головой.

— За то, что въ немъ дороже всякаго ума: честное, вѣрное сердце! Это его природное золото. Онъ невредимо пронесъ его сквозь жизнь. Онъ падалъ отъ толчковъ, охлаждался, заснулъ, наконецъ, убитый, разочарованный, потерявъ силу жить, но не потерявъ честности и вѣрности. *Ни* одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало къ нему грязи. Не обольститъ его никакая нарядная ложь и ничто не совлечетъ на фальшивый путь. Пусть волнуется около него цѣлый океанъ дряни, зла, пусть весь міръ отравится ядомъ и пойдетъ навыворотъ — никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи, въ душѣ его всегда будетъ чисто, свѣтло, честно... Это хрустальная прозрачная душа. Такихъ людей мало, они рѣдки—это перлы въ толпѣ! Его сердце не подкупишь ничѣмъ. На него всюду и вездѣ можно положиться...

Ольга подбѣжала къ Штольцу, обвила его шею руками, нѣсколько минутъ поглядѣла лучистыми глазами прямо ему въ глаза. Въ ея воспоминаніи воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нѣжный взглядъ, покорность, его жалкая, стыдливая улыбка [1]).

[1]) Полное собраніе сочиненій И. А. Гончарова, изд. Глазунова, 1884 г., т. III, стр. 130—131.

Такъ Гончаровъ рисуетъ и понимаетъ своего героя. Но Добролюбовъ готовъ признать, что художникъ ошибается, что онъ ложно освѣтилъ Обломова, что онъ приписываетъ ему достоинства, которыхъ у него нѣтъ и быть не можетъ. Весь монологъ Штольца критикъ пренебрежительно называетъ «пассажемъ», о которомъ не стоитъ распространяться, ибо каждый читатель легко можетъ замѣтить, что въ немъ заключена «большая неправда»! Обломовъ не поклонится идолу зла! Да, иронизируетъ Добролюбовъ, потому что ему лѣнь встать съ дивана. Обломовъ неподкупенъ! Да, потому что его не на что подкупать. Къ Обломову грязь не пристанетъ! Да, пока онъ лежитъ одинъ. Но пусть придутъ Тарантьевъ, Затертый, Иванъ Матвѣичъ... Брр! Какая отвратительная гадость начинается около него [1]). Не желая «льстить» Обломову, Добролюбовъ всѣми силами старается раззадорить его самолюбіе, его гражданскую честь, его патріотическое чувство.

Въ такомъ стилѣ написана почти вся статья. Характеры, изображенные Гончаровымъ, не разобраны, смыслъ романа суженъ, второстепенныя, но въ высшей степени типическія фигуры произведенія оставлены совершенно безъ вниманія. «Разбирать женскіе типы, созданные Гончаровымъ, пишетъ Добролюбовъ, значитъ предъявлять претензію быть великимъ знатокомъ женскаго сердца. Не имѣя же этого качества, женщинами Гончарова можно только восхищаться». Дамы говорятъ, что Гончаровъ обнаружилъ въ изображеніи женщины поразительную тонкость психологическаго анализа, и Добролюбовъ не рѣшается прибавить что-нибудь къ ихъ отзыву. «Мы боимся пускаться въ эту совершенно невѣдомую для насъ страну», скромно замѣчаетъ онъ [2]).

По тому же методу написаны и знаменитыя статьи Добролюбова объ Островскомъ: «Темное царство» и «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ». По силѣ таланта и пластичности пересказа произведеній Островскаго, это—лучшія изъ статей Добролюбова. Темное царство обрисовано имъ съ большою мощью, почти вдохновенно, съ проблесками страсти. Гражданская нота протеста звучитъ громко, смѣло, волнуя сердца. Нѣсколько страницъ, посвященныхъ общей характеристикѣ типическихъ героевъ въ комедіяхъ Островскаго, по вѣрности критическихъ замѣчаній, свидѣтельствуютъ о необычайномъ подъемѣ дарованія, вдругъ нашедшаго предметъ, достойный его богатыхъ литературныхъ силъ. Въ произведеніяхъ Островскаго роскошная бытовая живопись рядомъ съ мастерски представленными, чисто русскими типами даетъ обильный матеріалъ для смѣлыхъ публицистическихъ параллелей и разсужденій. Среднее купеческое сословіе—то сословіе, которое близко соприкасается съ рабочимъ, крестьян-

[1]) „Современникъ“ 1859 г. № 5. Русская литература. „Что такое Обломовщина“, стр. 92.

[2]) Ibidem, стр. 95.

скимъ міромъ съ одной стороны и съ небольшимъ интеллигентнымъ слоемъ русскаго общества, съ другой, то сословіе, которое съ какою-то фанатическою косностью оберегаетъ старый порядокъ вещей отъ всякой реформы—встаетъ въ нихъ со всею рѣзкостью своихъ грубыхъ внѣшнихъ проявленій. Вотъ эта масса, черезъ которую долженъ пробиться свѣтъ, чтобы дойти до простого русскаго народа. Вотъ гдѣ гибнутъ люди, которые могли-бы, при нѣкоторомъ просторѣ личнаго существованія, оказаться энергичными дѣятелями на томъ или другомъ поприщѣ. Островскій вывелъ на сцену цѣлое царство насилія, невѣжества, грубаго и дикаго самодурства и облилъ его свѣтомъ смѣлой, безпощадной сатиры. Это—міръ затаенной, «тихо вздыхающей скорби», міръ тупой, ноющей боли, міръ гробового безмолвія, лишь изрѣдка оживляемый глухимъ, безсильнымъ ропотомъ. Ни свѣта, ни тепла, ни простора. Вѣетъ гнилью и сыростью. Здѣсь страдаютъ люди: въ одичавшихъ, безсловесныхъ, грязныхъ существахъ можно разобрать черты лица человѣческаго. Неоткуда ждать отрады, негдѣ искать облегченія. Надъ узниками буйно и безотчетно владычествуетъ безсмысленный произволъ, не признающій никакихъ правъ. Тяжкій самодурный запретъ наложенъ на всякую громкую, открытую и широкую дѣятельность. Живыя натуры, собирая глубоко внутри себя ядъ недовольства, безсильно ползутъ по землѣ, съеживаются, извиваются, перевертываются то ужомъ, то жабою Наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе переплетаются въ этомъ темномъ царствѣ съ рабской хитростью, гнуснѣйшимъ обманомъ, безсовѣстнымъ вѣроломствомъ: гдѣ повержены въ прахъ и нагло растоптаны человѣческое достоинство, свобода личности, святыня честнаго труда, тамъ не можетъ быть ничего чистаго, ничего праваго [1])... И вдругъ въ этомъ царствѣ блеснулъ лучъ настоящаго, солнечнаго свѣта. Вѣковые устои патріархальнаго деспотизма дрогнули, надъ темнымъ міромъ насилія пронесся крикъ здороваго протеста. Изобразивъ съ такою силою, въ образахъ, вѣющихъ художественною правдою, мрачную пустоту повседневной русской жизни, Островскій инстинктомъ почуялъ неизбѣжное паденіе твердынь, на которыхъ держится русское самодурство. Образъ Катерины («Гроза») соотвѣтствуетъ новой фазѣ народной русской жизни. Натурою, всѣмъ существомъ своимъ она требуетъ себѣ правъ и простору. Она не капризничаетъ, не кокетничаетъ своимъ недовольствомъ. Всякое насиліе возмущаетъ ее кровно, глубоко. «Въ другихъ твореніяхъ нашей литературы, пишетъ Добролюбовъ, сильные характеры похожи на фонтанчики, бьющіе довольно красиво и бойко, но зависящіе въ своихъ проявленіяхъ отъ посторонняго механизма. Катерина можетъ быть уподоблена большой, многоводной рѣкѣ: она течетъ, какъ требуетъ ея при-

[1]) «Современникъ», 1859 г. № 7, Русская литература. «Темное царство», стр. 42—44.

родное свойство» [1]). Въ Катеринѣ мы видимъ возмужалое, изъ глубины существа идущее требованіе справедливости и права. Не воображеніе, не наслышка, не искусственно возбужденный порывъ, а жизненная необходимость толкаетъ ее на путь протеста. Добролюбовъ подчеркиваетъ свою мысль съ особенною настойчивостью, категорически утверждая, что «не отвлеченныя вѣрованія управляютъ человѣкомъ» и что для проявленія характера нужны «не принципы», не опредѣленный образъ мыслей, а нужна просто здоровая натура. Островскій создалъ силою большого таланта «такое лицо, которое служитъ представителемъ великой народной идеи, не нося великихъ идей ни на языкѣ, ни въ головѣ»... Наряду съ такими общими разсужденіями въ статьяхъ Добролюбова развертывается неизбѣжное публицистическое резонерство, варьирующее безъ конца одну и ту же мысль. Не утомляясь подробнымъ пересказомъ отдѣльныхъ сценъ и эпизодовъ, Добролюбовъ постоянно увѣряетъ читателя, что онъ идетъ къ намѣченной цѣли путемъ настоящей критики, подъ которой онъ разумѣетъ «критику фактическую, реальную». Литература не имѣетъ самостоятельнаго, «дѣятельнаго значенія»: она только указываетъ на то, что нужно сдѣлать, или изображаетъ то, что уже дѣлается и сдѣлано. Она представляетъ собою «силу служебную», пригодную для опредѣленной жизненной пропаганды. Вотъ почему критика, не вступающая въ союзъ со николярами и не обрекающая себя на рабство никакой философской теоріи, должна ограничиться реалистическимъ обсужденіемъ тѣхъ фактовъ, которые она находитъ въ художественныхъ произведеніяхъ. Всякаго рода эстетическія соображенія не представляютъ никакого интереса для обыкновеннаго здравомыслящаго человѣка, «который беретъ отъ жизни то, что она даетъ ему, и отдаетъ ей то, что можетъ». Вопросы чистаго искусства проиграны разъ навсегда. Люди, примѣняющіе къ литературѣ отвлеченные критеріи философіи, отжили свой вѣкъ: это бездушные люди, педанты, которые всегда «забираютъ свысока и парализируютъ жизнь мертвыми идеалами и отвлеченіями»...

Въ такихъ выраженіяхъ Добролюбовъ разсматриваетъ «темное царство» Островскаго и такими доводами онъ защищаетъ свой критическій методъ. Но, оглянувшись назадъ, на весь пройденный путь, онъ дважды извиняется передъ читателемъ за растянутость и неопредѣленность своихъ литературныхъ требованій. Говоря о лицахъ въ произведеніяхъ Островскаго, онъ хотѣлъ показать ихъ значеніе въ «дѣйствительной жизни», но долженъ былъ отнести всѣ свои разсужденія къ созданіямъ авторской фантазіи — и вотъ почему ему приходилось укла-

[1]) «Современникъ», 1860 г. № 10. Русская литература. «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», стр. 284. Въ полномъ собраніи сочиненій Добролюбова, т. III, стр. 462, этотъ отрывокъ начинается такъ: «Претендованные (?) въ другихъ твореніяхъ нашей литературы, сильные характеры» и т. д.

дывать свою мысль «въ фигуральную форму», по требованію самого предмета. Иногда онъ прибѣгалъ къ парафразамъ тамъ, гдѣ можно было-бы на двухъ страницахъ раскрыть все дѣло безъ малѣйшаго затрудненія. Не его вина, что слова, весьма обыкновенныя въ другихъ европейскихъ языкахъ, «русской статьѣ даютъ такой видъ, въ которомъ она не можетъ явиться передъ публикой». Не его вина, что русскому писателю приходится «перевертываться всячески съ фразою, чтобы ввести какъ-нибудь читателя въ сущность излагаемой мысли» [1]).

Въ оцѣнкѣ произведеній Островскаго Добролюбову, во всякомъ случаѣ, принадлежитъ большая заслуга. Не объяснивъ окончательно его художественнаго дарованія, онъ, однако, ярко обрисовалъ бытовое содержаніе его пьесъ и тѣмъ разсѣялъ нѣкоторыя сомнѣнія, которыя возбуждались въ печати современными рецензентами и критиками. Во времена Добролюбова Островскій не былъ еще общепризнанною литературною величиной, и твердое мнѣніе «Современника» не могло не имѣть значенія для всей его драматической дѣятельности. Добролюбовъ не только подробно и всесторонне изложилъ свое сужденіе о главныхъ произведеніяхъ Островскаго, но смѣло отхлесталъ кнутомъ сатиры и насмѣшки всѣхъ тѣхъ, которые дѣлали жалкія придирки къ второстепеннымъ недостаткамъ его таланта, къ его своеобразной художественной манерѣ. Въ самомъ дѣлѣ, откройте страницы старыхъ журналовъ — и вы увидите, какъ сбивчивы и опрометчивы были сужденія русскихъ критиковъ объ Островскомъ. Нѣсколько пиѳически восторженныхъ похвалъ съ одной стороны и цѣлая туча литературныхъ недоразумѣній и ошибокъ съ другой — вотъ содержаніе большинства статей, ему посвященныхъ. Критикъ «Атенея», Н. Некрасовъ, пишетъ: «Произведенія Островскаго, выражая жизнь дѣйствительную, сами по себѣ не имѣютъ никакой жизни. Въ нихъ нѣтъ ни идеи, ни дѣйствія, ни характеровъ истинно поэтическихъ» [2]). «Отечественныя Записки» упрекаютъ Островскаго за излишнюю заботливость объ отдѣлкѣ языка: «онъ доводитъ ее до крайности, до излишества, говоритъ рецензентъ, такъ что, наконецъ, впадаетъ въ тотъ родъ, который въ механическихъ искусствахъ называется рококо» [3]). Кущевскій разсказываетъ о первыхъ шагахъ Островскаго на драматическомъ поприщѣ. «Это было во времена крѣпостного права, пишетъ онъ. Островскій не безъ эффекта читалъ свое первое (?) произведеніе: *Свои люди—сочтемся*. Въ числѣ слушателей присутствовалъ Гоголь, который во время чтенія иронически улыбался и отказался

[1]) Сочиненія Добролюбова, т. III, стр. 125 и 428. Въ «Современникѣ» эти оговорки отсутствуютъ. См. «Современникъ», 1859 г. № 9 «Темное царство», стр. 127 и «Современникъ» 1860 г. № 10 «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», стр. 256.

[2]) „Атеней", Москва 1859 г., мартъ и апрѣль. „Сочиненія А. Островскаго" стр. 498.

[3]) „Отечественныя Записки" 1854 г., томъ 94. Библіографическая хроника, стр. 50.

высказать свое мнѣніе о начинающемъ писателѣ. Онъ его написалъ въ короткой фразѣ городничаго: *чему смѣетесь? надъ собой смѣетесь!»* [1]).

Слово Добролюбова открыло дорогу болѣе правильнымъ сужденіямъ о выдающемся русскомъ писателѣ.

Въ статьѣ о Тургеневѣ мы находимъ очень мало разсужденій по эстетическимъ вопросамъ. Оговорившись, что «эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень», и затѣмъ набросавъ нѣсколько общихъ довольно блѣдныхъ характеристическихъ штриховъ, Добролюбовъ сразу же переходитъ къ болѣе интереснымъ для него предметамъ общественной жизни, которые ждутъ окончательнаго разрѣшенія на практическомъ поприщѣ. Новая повѣсть Тургенева «Наканунѣ» даетъ ему поводъ провести параллель между дѣятелями прежняго періода и представителями современнаго, передового поколѣнія— и, нисколько не сомнѣваясь въ превосходствѣ послѣднихъ надъ первыми, Добролюбовъ съ большою увѣренностью рисуетъ духовныя качества людей, принадлежащихъ къ «лучшей части русскаго общества». Тѣ понятія и стремленія, которыя «прежде давали титло передового человѣка», теперь уже считаются совершенно заурядными. Нынѣ вы можете услышать отъ гимназиста, отъ посредственнаго кадета, иногда даже отъ порядочнаго семинариста «выраженіе такихъ убѣжденій, за которыя въ прежнее время долженъ былъ спорить и горячиться Бѣлинскій». Люди стараго закала потеряли кредитъ въ глазахъ современнаго общества: «ихъ уважаютъ, какъ старыхъ наставниковъ, но рѣдко кто, вошедши въ свой разумъ, расположенъ выслушивать опять тѣ уроки, которые съ такою жадностью принимались прежде, въ возрастѣ дѣтства и первоначальнаго развитія»... Добролюбовъ подробно описываетъ жизнь Елены, судьбу и характеръ Инсарова, объясняя при этомъ, что эти два художественныхъ типа свидѣтельствуютъ о значительной перемѣнѣ въ міровоззрѣніи и стремленіяхъ интеллигентнаго общества. Въ злыхъ словахъ, не лишенныхъ сатирическаго характера, онъ пространно доказываетъ, что Инсаровъ не могъ быть русскимъ, что порядки русской жизни дѣлаютъ невозможнымъ появленіе среди насъ такихъ людей. Страница, посвященная параллели между Болгаріей и Россіей, производитъ сильное впечатлѣніе отдѣльными выраженіями, пропитанными презрѣніемъ и ненавистью ко всякому безплодному существованію [2]). Предъ вами настоящій политическій ораторъ съ безпощадной, трезвой логикой, съ холоднымъ, рѣжущимъ сарказмомъ. Вся статейка о Тургеневѣ является смѣлой пропагандой въ томъ именно смыслѣ, въ какомъ понимали ее дѣятели «Совре-

[1]) *И. А. Кущевскій*, Неизданные разсказы. 1881, „Быть Ѳедькѣ въ солдатахъ!“, стр. 206—207

[2]) „Современникъ“ 1860 г. № 3. Русская литература. „Новая повѣсть г. Тургенева“, стр. 60.

менника»—и нѣтъ сомнѣнія, что въ свое время она должна была произвести огромное впечатлѣніе на читающую публику. Но самъ Тургеневъ отошелъ въ ней на задній планъ. Характерныя черты его творчества, его поэтическій темпераментъ отмѣчены самыми поверхностными словами.

Статья о «Забитыхъ людяхъ» написана съ меньшею литературною силою по сравненію со статьями, только что разсмотрѣнными. Своеобразный геній Достоевскаго, его міросозерцаніе, порывы его болѣзненной натуры—все это было чуждо Добролюбову. Между этими двумя писателями не было ни одной точки дружественнаго соприкосновенія, и великій талантъ Достоевскаго въ изображеніи Добролюбова долженъ былъ потерять всѣ свои типическія черты, превратиться во что-то странное, уродливое, непонятное. Въ прозаическомъ лексиконѣ Добролюбова не было тѣхъ словъ, которыми можно было-бы передать художническій пафосъ Достоевскаго, его творческую работу, полную мистической страсти, озаренную вдохновеніемъ свыше.

IV.

Разобравшись въ главнѣйшихъ статьяхъ Добролюбова, прослѣдивъ его публицистическую и литературную манеру по тремъ главнымъ отдѣламъ его журнальной работы, мы въ заключеніе разсмотримъ его дѣятельность въ качествѣ важнѣйшаго сотрудника «Свистка». Здѣсь Добролюбовъ встаетъ передъ нами бойцомъ съ лихими пріемами политическаго памфлетиста и сатирика въ чисто русскомъ стилѣ. Пересмѣшка, карикатура, злобное хихиканье, пробивающееся изъ-подъ яко-бы невинныхъ фразъ, летучіе, но зажигательные намеки и, гдѣ можно развернуться, удалыя нападки въ стихахъ и прозѣ на благодушіе современнаго общества—вотъ какими средствами «Свистокъ» отстаивалъ политическую и литературную программу «Современника». Надо было научить общество издѣваться надъ всѣмъ положительнымъ, надъ всякимъ пожеланіемъ, выраженнымъ въ опредѣленной формѣ, и громкій, молодецкій свистъ людей, обладавшихъ талантомъ, отрекшихся отъ всякихъ мечтаній, дѣйствовавшихъ не столько по опредѣленной программѣ, сколько по инстинкту юнаго протеста, долженъ былъ возыметь надлежащее дѣйствіе на русское общество, только что вышедшее на арену исторіи. Надо было научить читателей видѣть смѣшную сторону во всемъ, что не подходило къ утилитарнымъ взглядамъ передового журнализма, и откровенный смѣхъ, раскатистый, звонкій, иногда здоровый, но оскорбляющій грубостью и цинизмомъ, иногда почти истерическій, раздражающій какою-то водевильною аффектированностью, долженъ былъ разъ навсегда отвратить прогрессивныхъ русскихъ людей отъ всякаго безплоднаго идеализма съ одной стороны и отъ всякой систематической политики на поприщѣ гражданственности съ другой. Въ невинной формѣ журнальнаго фельетона, сохраняя всѣ видимыя прили-

чія непритязательной по внѣшнимъ выраженіямъ шутки, «Свистокъ» постоянно задѣвалъ важнѣйшія событія общественной жизни и произносилъ надъ ними судъ съ тою безпощадностью, съ какою дѣйствуютъ люди, вѣрующіе въ свою полную непогрѣшимость и считающіе себя вправѣ терзать и карать всѣхъ, виновныхъ въ малѣйшемъ нарушеніи предписанныхъ ими правилъ. Никакая репутація не считалась сотрудниками «Свистка» достойною снисхожденія въ какомъ-бы то ни было отношеніи, если только она казалась помѣхою въ достиженіи поставленныхъ журналомъ цѣлей: надъ всѣми стремленіями литературы, надъ разнообразными интересами науки, надъ всѣми движеніями общественной мысли долженъ господствовать тотъ реалистическій уставъ, который былъ сочиненъ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ. Если въ литературѣ прорывались отдѣльныя, случайныя эстетическія теченія, дѣятели «Современника» вооружались бичомъ, свистящимъ въ воздухѣ, передразнивали отсталыхъ піитъ комическими стишками или кривлялись въ шутовскихъ маскахъ, пародирующихъ физіономіи враждебныхъ имъ людей. Если въ печати появлялись статьи или замѣтки о пользѣ гласности, о подготовляющихся реформахъ, «Свистокъ» созывалъ публику на комическое представленіе своихъ лицедѣевъ, осмѣивавшихъ на всѣ лады практическія утопіи, издѣвавшихся надъ современниками въ какой-то дикой плескѣ, съ криками сатирическаго изступленія и задирающимъ рокотаньемъ лихо потрясаемыхъ бубенъ. Если нѣсколько человѣкъ собиралось для выраженія протеста противъ какого-нибудь позорящаго литературу факта, «Свистокъ» оглашалъ журнальное торжище своимъ рѣзкимъ крикомъ, дерзко глумясь даже надъ тѣми людьми, которые играли выдающуюся роль въ самомъ «Современникѣ». Если люди затѣвали публичный научный споръ на интересную и серьезную тему, фельетонисты «Современника» разражались громкимъ, протяжнымъ свистомъ, выражавшимъ ихъ глубокое, затаенное презрѣніе ко всякаго рода безплоднымъ, отвлеченнымъ дебатамъ.

Своеобразно радикальная точка зрѣнія, требующая постояннаго отрицанія, враждебная всякой попыткѣ осуществить на дѣлѣ то или другое принципіальное начало, заставляющая улавливать одни только недостатки въ явленіяхъ жизни и въ людяхъ, проглядываетъ во всѣхъ статьяхъ и замѣткахъ, которыя печатались въ «Свисткѣ». Положительный идеалъ нигдѣ не выплываетъ наружу, черта гуманнаго сочувствія и публицистическаго такта не проявляется ни въ чемъ, злобный смѣхъ, ни передъ чѣмъ не останавливающійся, проникнутый не силою внутренняго негодованія, а какимъ-то непримиримымъ презрѣніемъ къ окружающимъ людямъ, раздается почти съ каждой страницы. Здѣсь нѣтъ и слѣда Гоголевской сатиры съ ея тревожными духовными настроеніями, съ ея возвышеннымъ экстазомъ, который оправдываетъ всякую насмѣшку, даетъ

смыслъ даже карикатурѣ, оживляетъ любовью самую печальную картину людского паденія. Ничто не примиряетъ васъ съ этимъ смѣхомъ, и, пытливо отыскивая во всѣхъ произведеніяхъ «Свистка» слѣдъ увлеченія и страсти, политическую отвагу убѣжденныхъ борцовъ за опредѣленный гражданскій идеалъ, скрытое движеніе опредѣленныхъ положительныхъ понятій, вы повсюду натыкаетесь на одну только безотчетную удаль, подъ которою не чувствуется никакого духовнаго энтузіазма. Это сатира по существу своему грубая, не брезгающая никакою вульгарной откровенностью, прибѣгающая къ буффонадѣ и нигдѣ не дѣйствующая тонкими средствами интеллигентной критики съ ея изящно отточенными стрѣлами, мѣтко ударяющими въ цѣль. Ея задача въ томъ, чтобы опозорить, опошлить, свиснуть нагайкой, вихремъ пронестись мимо всего, что дѣлается на Руси, но не въ томъ, чтобъ направить путемъ отрицанія на вѣрную, положительную дорогу. Въ ея пріемахъ—ни слѣда поэзіи, но повсюду прорывается грубо-реалистическое настроеніе, враждебное всему, что не подчинено шаблону. Рѣшительная, развязная, ничѣмъ не стѣсняющаяся, она не обнаруживаетъ необходимой нравственной сдержанности, безъ которой сатира теряетъ свою силу въ глазахъ людей. Пренебрегая внутренними приличіями, склонная всегда къ шумному скандалу, она теряетъ довѣріе людей, чуткихъ къ идеальной правдѣ, и импонируетъ только тѣмъ, которые по своему безсилію не могутъ принять живого, плодотворнаго участія въ развитіи общества.

Одинъ изъ главныхъ лицедѣевъ «Свистка», Конрадъ Лиліеншвагеръ, впервые выступилъ на сцену въ пространной рецензіи Добролюбова, посвященной стихотвореніямъ Михаила Розенгейма. Осмѣивая поэтическія произведенія этого посредственнаго писателя, Добролюбовъ прерываетъ свои размышленія вставочнымъ діалогомъ между имъ самимъ и его «злымъ» другомъ, приводящимъ въ посмѣяніе Розенгейму стихотворныя сочиненія Конрада Лиліеншвагера. Знаете ли вы, что такое злой человѣкъ? спрашиваетъ Добролюбовъ. Злымъ человѣкомъ можетъ быть названъ только тотъ, кто ничѣмъ не удовлетворяется, имѣетъ неограниченныя желанія, пугающія людей добродушныхъ и скромныхъ. Онъ всегда недоволенъ, онъ требуетъ во всемъ радикальныхъ средствъ и мѣропріятій. При этомъ одними словами вы его никогда не подкупите: ему нужно дѣло. Представьте себѣ человѣка, которому съ утра предложили пріятную прогулку. Погода прекрасная, мѣстоположеніе великолѣпное, общество рвется на улицу, но тѣ, отъ которыхъ дѣло зависитъ, сидятъ по угламъ, разговаривая о предстоящей прогулкѣ. Время проходитъ... Вотъ когда становишься злымъ въ обществѣ людей, болтающихъ о прогулкѣ, но не дѣлающихъ ни шагу изъ комнаты [1]). Злой писатель испытываетъ такія же ощущенія и, пре-

[1]) «Современникъ» 1858 г. № 11. Библіографія. «Стихотворенія Михаила Розенгейма», стр. 83.

зирая жалкія фразы о народномъ благѣ, гласности, предстоящихъ реформахъ въ общественной жизни, онъ мечетъ стихотворною сатирою въ косное общество, не трогающееся съ мѣста. Вотъ когда Конрадъ Лиліеншвагеръ получаетъ въ литературѣ полное право гражданства. Вотъ когда журналъ долженъ—для пробужденія спящихъ массъ—обзавестись громкимъ, рѣжущимъ слухъ свисткомъ. Дѣйствительно, первые шаги Конрада Лиліеншвагера сдѣланы съ цѣлью выставить всю безсмыслицу всякаго либеральнаго благодушія. Онъ предвидитъ, что общество увлечется реформой и реформаторами. Строятся желѣзныя дороги, растетъ пароходство, поднимаются вопросы о воспитаніи, въ компетентныхъ сферахъ поставлена задача о реформѣ суда съ адвокатурою, дѣйствующей по довѣрію отъ подсудимаго, задумываются многія другія перемѣны въ соціальномъ быту. Но Конрадъ Лиліеншвагеръ знаетъ цѣну всѣмъ этимъ толкамъ и разговорамъ, и онъ набрасываетъ шутовскіе стихи по поводу одной статьи, написанной въ оптимистическомъ тонѣ:

PIA DESIDERIA.

Тамъ, гдѣ строютъ дороги желѣзныя,
Пароходство ростетъ каждый часъ,
Предпріятья заводятъ полезныя,
Поощряютъ промышленный классъ,
Гдѣ оковы съ народа снимаются,
Гдѣ свободнымъ рождается трудъ,
Воспитаніе гдѣ возвышается,
Къ дѣлу, къ жизни всѣ силы зовутъ;
Гдѣ повсюду замѣтно стремленіе
На свободный, полезный всѣмъ трудъ,
Допуститъ тамъ возможно-ль сомнѣніе,
Что полезенъ и праведный судъ
Съ непремѣнною адвокатурою,
Какъ надежнѣйшимъ средствомъ—суду
Съ передѣланной магистратурою
Дать и правильность, и быстроту,
И труду въ то же время народному
Вновь обильный источникъ открыть,
Юныхъ силъ къ упражненью доходному
И къ возможности денегъ скопить!..[1]).

Такъ выступалъ на поприще журналистики Лиліеншвагеръ. Добролюбовъ уже въ предисловіи къ «Свистку» твердою рукою намѣтилъ главныя темы для разработки на страницахъ этого отдѣла. Литература, литературные дѣятели, произведенія, заключающія въ себѣ «неисчерпаемое море прекраснаго и благороднаго»—вотъ чѣмъ должны заниматься со-

[1]) „Современникъ", 1858, № 11, Библіографія, стр. 81.

трудники Свистка, «сидя на вѣткѣ общественныхъ вопросовъ» и наслаждаясь красотами текущей словесности [1]). Оглянувшись на первыхъ же порахъ на то, что совершается въ русской печати, Добролюбовъ съ тонкой отзывчивостью ко всему, что можетъ дать матеріалъ для веселаго смѣха, сразу отмѣтилъ предметъ, достойный надлежащей оцѣнки въ новооткрытомъ отдѣлѣ журнала. Въ тогдашней журналистикѣ надѣлало большого шума слѣдующее происшествіе: «Иллюстрація», издававшаяся В. Зотовымъ, отвѣчая двумъ своимъ оппонентамъ, Чацкину и Горвицу, по вопросу о евреяхъ, допустила въ своей статьѣ грубый и ложный намекъ на личную непорядочность этихъ двухъ писателей. Когда затѣмъ Чацкинъ сдѣлалъ публичный запросъ Зотову, приглашая его дать надлежащее объясненіе, редакторъ «Иллюстраціи» не счелъ нужнымъ извиниться, но, съ обычною увертливостью человѣка безъ опредѣленныхъ убѣжденій, сталъ отговариваться тѣмъ, что фразы его плохо истолкованы. Возмущенные этимъ поступкомъ, превращающимъ печатное слово въ орудіе клеветы и личныхъ нападокъ, многіе извѣстные въ то время литераторы и ученые, между которыми былъ и Чернышевскій, обнародовали въ періодическихъ изданіяхъ свой протестъ противъ поступка Зотова. Сообщая объ этомъ фактѣ въ 12-й книгѣ 1858 г., «Современникъ» считаетъ «излишними и даже унизительными» для нравственнаго чувства всякаго рода принципіальныя объясненія по этому поводу: не можетъ быть сомнѣнія, на чьей сторонѣ должно быть сочувствіе журнала [2]). Но Добролюбовъ остался недоволенъ этимъ протестомъ, и онъ сочиняетъ комическое посланіе изъ провинціи въ «Свистокъ» за подписью Д. Свиристелева, представляющее все это дѣло въ ироническомъ свѣтѣ. Куда направляется литературная процессія, извѣстіе о которой приносится въ отдаленнѣйшія части Россіи петербургскою и московскою печатью? Какое торжество готовитъ литературная братія, которая въ послѣднее время все пыщется гору родити? вопрошаетъ Свиристелевъ. Зачѣмъ русскіе ученые и литераторы ополчились въ крестовый походъ для доказательства того, что клевета гнусна? Неужели русское общество упало такъ низко, что лучшіе люди литературы должны писать къ нему воззванія по поводу азбучныхъ истинъ? Неужели большинство русскихъ людей дошло до такого шатанья въ своихъ нравственныхъ понятіяхъ, что уцѣлѣвшая отъ всеобщаго развращенія горсть избранниковъ можетъ, не краснѣя, съ полнымъ сознаніемъ своего достоинства, догматическимъ тономъ величаваго авторитета провозглашать всенародно гнусность обращенія органа мысли и гласности въ презрѣнное орудіе личныхъ оскорбле-

[1]) „Современникъ“ 1859 г. № 1. „Свистокъ“. Собраніе литературныхъ, журнальныхъ и другихъ замѣтокъ, стр. 184.

[2]) „Современникъ“ 1858 г. № 12. „Извѣстіе“, стр. 303.

ній? «Здѣсь-то мы, читатели, и видимъ самую мрачную, самую печальную сторону протеста». Это—съ одной точки зрѣнія, такъ сказать, принципіальной. Съ другой—изъ 150 лицъ, подписавшихъ протестъ, по крайней мѣрѣ 77 есть такихъ, о которыхъ публика ровно ничего не знаетъ. Есть между ними фамиліи, двукратно и даже троекратно повторенныя: Д. Хомяковъ, И. Хомяковъ, С. Хомяковъ, В. Милеантъ, Е. Милеантъ. Что за радость, что не только В. Милеантъ и Е. Милеантъ не одобряютъ клеветы, но что къ протесту примкнули А. Арсеньевъ и И. Арсеньевъ, А. Наумовъ и Д. Наумовъ?.. [1]).

Таковъ этотъ первый выстрѣлъ Добролюбова въ ново-открытомъ отдѣлѣ. Простое, человѣческое дѣло, вызвавшее сочувствіе такихъ людей, какъ Кавелинъ, Чернышевскій, Никита Крыловъ и др., дѣло нѣкоторымъ образомъ либеральное по самому своему типу, соединившее вокругъ себя въ одной дружной ассоціаціи писателей съ разными темпераментами и несходнымъ складомъ понятій, ради всѣмъ понятныхъ и близкихъ побужденій, вдругъ оказалось нужнымъ осмѣять и уничтожить во имя уваженія къ обществу. Можно подумать, что понятіе о литературной порядочности и о литературныхъ пріемахъ было въ то время такъ развито въ Россіи, что ужъ не требовалось, въ самомъ дѣлѣ, никакихъ объясненій со стороны представителей печатнаго слова. Вѣдь русское общество никогда не было, на всемъ протяженіи своей исторіи, заражено глупыми національными предразсудками, всегда блюло чистоту своихъ духовныхъ интересовъ и, высоко поднявшись надъ всякими дрязгами журналистики, смѣло подвигалось по пути гуманности къ свѣтлымъ цѣлямъ политической и умственной культуры! Во дни «Современника» можно-ли было сомнѣваться въ томъ, что всякій низменный поступокъ журнальнаго дѣятеля, облеченный въ литературную форму, произведетъ на общество отталкивающее впечатлѣніе? Печать тогда уже окрѣпла. Литература уже окончательно поняла свои настоящія цѣли, обязанности и права! Можетъ-ли статься, чтобы русская журналистика когда-нибудь пошла по скользкому пути клеветъ, инсинуацій, злобныхъ нападокъ на цѣлыя народности! Зачѣмъ-же собираться въ дружины и бороться со зломъ, которое само по себѣ такъ ничтожно!.. Вотъ что писали по этому поводу спустя нѣсколько лѣтъ «Отечественныя Записки»: Добролюбовъ былъ неразборчивъ въ предметахъ, надъ которыми смѣялся, ибо онъ смѣялся большей частью надъ тѣмъ, по поводу чего у большинства не хватало духу даже улыбнуться. «Такъ взволнованъ былъ когда-то нашъ литературный міръ оскорбленіемъ, которое нанесъ одинъ фельетонистъ Иллюстраціи двумъ литераторамъ изъ евреевъ, Чацкину и Горвицу: объ нихъ сказали, что они подкуплены». Явились литературные протесты,

[1]) „Современникъ“ 1859 г. № 1. „Свистокъ“, стр. 208—209.

въ которыхъ говорилось, что множество писателей, проникнутыхъ убѣжденіемъ высокаго и нравственнаго призванія литературы, выражаетъ свое негодованіе противъ такого злоупотребленія печатнымъ словомъ. Кажется ясно, замѣчаетъ журналъ, что этими заявленіями защищались не только личности литераторовъ, но и сами принципы литературной чести. «А Добролюбовъ, потѣшаясь, называетъ все это жидовской исторіей. Въ нынѣшнее время такой протестъ былъ-бы, конечно, неумѣстенъ. Теперь уже черезчуръ привыкли низводить гласность на степень презрѣннаго орудія личныхъ оскорбленій. Но тогда литературные нравы еще не достигали такого извращенія... Добролюбовъ своимъ свистомъ на возваніе сотни литераторовъ не мало, конечно, способствовалъ къ установленію литературныхъ обычаевъ и къ произведенію той литературной свалки, которая теперь совершается. Протестовъ ждать неоткуда. Все *смотритъ* съ изумленіемъ, выпучивши глаза, на эту фантасмагорію» [1]).

Въ дѣйствительности Добролюбовъ даже не былъ послѣдователемъ—и уже въ первомъ № «Свистка» онъ обнаружилъ противорѣчіе своихъ мнѣній по вопросу о высотѣ развитія русскаго общества. Въ письмѣ Свистелева онъ восклицаетъ: «Благородство духа познается въ томъ, что человѣкъ признаетъ гнусность клеветы! Неужели наше общество упало такъ низко, что каждый долженъ спѣшить воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобъ повѣдать ему, на какой высотѣ нравственности онъ стоитъ»! А черезъ нѣсколько страницъ, давая мѣсто стишкамъ своего сатирическаго alter-ego, Конрада Лиліенштвагера, онъ обращается къ публикѣ съ слѣдующимъ шутовскимъ куплетомъ:

Слава намъ! Въ поганой лужѣ
Мы давно стоимъ.
И чѣмъ долѣе, тѣмъ хуже
Все себя грязнимъ.
Слава намъ! Въ грѣхахъ сознанье
Мы творимъ смѣясь,
И слезами покаянья
Мы разводимъ грязь.
Гордо, весело и прямо
Всѣмъ мы говоримъ:
„Знаемъ мы, чѣмъ пахнетъ яма,
Въ коей мы стоимъ“.
Смѣло мы теперь смѣемся
Сами надъ собой
И безъ страха окунемся
Въ грязь—хоть съ головой... [2])

[1]) „Отечественныя записки“ 1865 г. августъ, книжка 2-я, стр. 637.
[2]) „Современникъ“ 1859, № 1, „Свистокъ“ стр. 212—213.

Но Добролюбовъ былъ, повидимому, высокаго мнѣнія даже о первыхъ своихъ шагахъ въ качествѣ сотрудника «Свистка». Въ самомъ дѣлѣ, общество увлекалось мелкимъ прогрессомъ! Все, что творилось, имѣло черезчуръ оптимистическій характеръ, и именно современные дѣятели должны были дать Добролюбову обильную пищу для его насмѣшки, которую подсказывалъ ему желчный «бѣсъ отрицанья, бѣсъ сомнѣнья». Исполненный скептицизма, Лилиенштвагеръ первый понялъ, что русское общество его времени топчется на трюизмахъ. Онъ не вѣрилъ Кокореву, дѣльцу, распинавшемуся въ газетахъ за свободу гласнаго обличенія всякаго рода злоупотребленій. Онъ хохоталъ при видѣ людей, защищающихъ передъ другими мысль, что «жидъ есть тоже человѣкъ». Онъ вышутилъ Розенгейма и Ростопчину, онъ первый сообразилъ, что не нужно обладать геніемъ, чтобы дать разумный отвѣтъ на вопросъ о необходимости грамоты [1]). Вотъ съ какой оригинальною безпощадностью Лилиенштвагеръ, одержимый демономъ чисто русскаго радикализма, топталъ въ прахъ всѣ молодые побѣги общественной самодѣятельности, которые въ настоящее время люди прогресса и серьезной мысли считаютъ преимуществомъ той эпохи.

Теперь мы перейдемъ къ одному изъ самыхъ скандальныхъ походовъ, предпринятому «Свисткомъ» по поводу знаменитаго спора о происхожденіи Руси между Погодинымъ и Костомаровымъ. По своей продолжительности, по упорству, по своему сенсаціонному интересу, это одно изъ самыхъ выдающихся явленій въ дѣятельности сатирическихъ сотрудниковъ «Современника», и историческая справедливость должна признать, что, послѣ нападокъ на Пирогова, это одна изъ самыхъ безтактныхъ вылазокъ, сдѣланныхъ Добролюбовымъ въ такое время, когда русское общество въ первый разъ имѣло случай присутствовать на публичномъ спорѣ двухъ ученыхъ дѣятелей печати. Въ каждомъ культурномъ государствѣ, умѣющемъ дорожить серьезными дебатами по вопросамъ научнаго характера, въ каждомъ европейскомъ обществѣ споръ, подобный настоящему, вызвалъ-бы всеобщій интересъ и заставилъ-бы печать, насторживъ вниманіе, слѣдить за всѣми его перипетіями съ тѣмъ уваженіемъ, которое приличествуетъ интеллигентнымъ людямъ. Какая литература, кромѣ русской, могла-бы понять свою обязанность такъ, какъ понялъ ее «Свистокъ», какъ понялъ ее Добролюбовъ? Тутъ умѣстно было пустить въ ходъ всѣ лучшія силы журналистики для серьезной оцѣнки тѣхъ доводовъ, которыми публично обмѣнялись два ученыхъ противника. Нельзя было не видѣть, что выведенный на гласное обсужденіе вопросъ о началѣ Руси можетъ получить самое широкое общественное значеніе и дать

[1]) „Современникъ“ 1859 г., № 4. „Свистокъ“, *Нашъ демонъ* (будущее стихотвореніе), стр. 366—368.

тотъ или другой импульсъ къ возбужденію опредѣленнаго историческаго самосознанія. Зачѣмъ было пустить въ дѣло «Свистокъ» именно въ этомъ случаѣ? Какой смыслъ имѣло шутовство по поводу диспута, въ которомъ сами оппоненты оказывали другъ другу на словахъ и въ печати взаимное уваженіе? Добролюбовъ не видѣлъ, что, усиливая свои нападки на Погодина въ эту минуту, онъ въ умныхъ людяхъ могъ возбудить только сомнѣніе въ научной состоятельности Костомарова, который въ сущности ни въ какой подобной поддержкѣ не нуждался. Осмѣивая все, что было сдѣлано Погодинымъ, онъ оказывалъ вредную услугу талантливому историографу, принимавшему дѣятельное участіе въ «Современникѣ». Костомаровъ самъ публично призналъ, что онъ считалъ своимъ долгомъ принять вызовъ на споръ со стороны Погодина,—какой-же смыслъ имѣли грубыя заявленія Чернышевскаго заднимъ числомъ, что онъ не совѣтовалъ своему ученому товарищу по журналу выходить на состязаніе?

Разскажемъ, какъ произошло все это дѣло. Въ первой книжкѣ «Современника» 1860 г. была напечатана статья Костомарова подъ названіемъ «Начало Руси», гдѣ доказывается, въ разрѣзъ съ господствовавшими въ ученой литературѣ взглядами, что варяги были выходцами изъ литовской земли и что самое призваніе ихъ совершилось «по причинѣ связи, въ которой тогда были наши сѣверные славяне съ приморскими литовцами, по изгнаніи взаимныхъ враговъ» и по указанію «тамошнихъ жрецовъ и гадателей, славившихся на сѣверѣ своимъ искусствомъ» [1]). Въ той-же книгѣ журнала, въ отдѣлѣ «Русская литература», неизвѣстный авторъ,—едва-ли Чернышевскій, судя по одному его заявленію,—въ энергическихъ выраженіяхъ, полныхъ насмѣшки и презрѣнія, низводитъ къ нулю отсталый взглядъ Погодина по этому вопросу, по поводу его сочиненія «Норманскій періодъ русской исторіи». Довольно давно уже Погодинъ, пишетъ рецензентъ, находится въ пріятномъ положеніи повторять собственныя старыя мысли и не слышать на нихъ возраженія. Одна изъ такихъ мыслей — мысль о норманствѣ варяговъ, «выдержавшая такую полемику и, наконецъ таки, утвержденная г. Погодинымъ на незыблемыхъ основаніяхъ». Прежнія работы этого ученаго проходили почти безъ всякихъ возраженій, но новая книга уже не пройдетъ гордѣливо «при всеобщемъ безмолвномъ согласіи, какъ проходили недавнія повторенія норманства въ изслѣдованіяхъ г. Погодина». Въ нынѣшней книжкѣ «Современника», замѣчаетъ авторъ, читатели найдутъ статью Костомарова о началѣ Руси, «совершенно не признающую преслову-таго норманства». Что теперь сдѣлаетъ Погодинъ? Какъ онъ справится съ Костомаровымъ, который говоритъ съ такою убѣдительностью? Кто внимательно прочтетъ Начало Руси Костомарова, тотъ увидитъ,

[1]) «Современникъ», 1860 № 1 «Начало Руси», стр. 24.

что онъ стоитъ гораздо ближе къ истиннымъ воззрѣніямъ, нежели г. Погодинъ съ своимъ математическимъ методомъ» [1]). Таково начало этого большого литературнаго скандала. Еще раньше, чѣмъ Погодинъ успѣлъ откликнуться на статью Костомарова, въ той-же книгѣ журнала, гдѣ впервые обнародовалось новое мнѣніе по трудному историческому вопросу, раньше, чѣмъ догадка Костомарова могла стать предметомъ критическаго обсужденія съ какой-бы то ни было стороны, «Современникъ» считалъ приличнымъ провозгласить грозное vae victis всѣмъ, держащимся прежнихъ воззрѣній. Костомаровъ, сотрудникъ «Современника», сказалъ—ясно, что споръ могутъ возбудить только ретрограды. Побѣда одержана безъ бою, ибо въ «Современникѣ» всякое объявленіе войны считалось равносильнымъ провозглашенію побѣды съ амнистіею для тѣхъ, въ которыхъ нельзя было заподозрить особенно усерднаго сопротивленія. Костомаровъ, талантливый исторіографъ, съ превосходно выработаннымъ слогомъ, хотя, быть можетъ, не вполнѣ дисциплинированной научной манерой, убѣжденъ въ своей правотѣ. Чернышевскій стоитъ за Костомарова. Добролюбовъ—за Чернышевскаго. А впереди—храбрая пѣхота комическихъ лицедѣевъ «Свистка», угрожающая всѣмъ несогласно мыслящимъ своимъ дружнымъ натискомъ, своими штыками. Но Погодинъ не считалъ еще своего дѣла проиграннымъ, когда впервые ознакомился со статьею Костомарова. Человѣкъ остроумный, ехидный, съ несомнѣннымъ литературнымъ талантомъ, хотя съ пріемами развязнаго и самоувѣреннаго балагура, Погодинъ рѣшилъ вызвать Костомарова на ученый поединокъ. Возможно, что онъ былъ вполнѣ увѣренъ въ томъ, что одержитъ легкую побѣду надъ своимъ оппонентомъ. Возможно, что онъ не совсѣмъ хорошо измѣрилъ свои собственныя полемическія силы и, воздавая должное таланту Костомарова на словахъ, въ глубинѣ души слишкомъ легковѣсно оцѣнивалъ боевыя средства своего противника. Во всякомъ случаѣ, Погодинъ рѣшился сдѣлать Костомарову вызовъ. Въ № 60 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» 1860 г. мы находимъ открытое письмо Костомарова нижеслѣдующаго содержанія: Костомаровъ сообщаетъ, что 9-го марта имъ получено отъ М. П. Погодина ученое возраженіе на его теорію о пришествіи первыхъ князей изъ литовской Руси и что это длинное посланіе заканчивается такимъ образомъ: «Я считаю васъ честнымъ, добросовѣстнымъ изслѣдователемъ въ кучѣ шарлатановъ, невѣждъ, посредственностей и бездарностей, которые, пользуясь исключительнымъ положеніемъ, присвоили себѣ на минуту авторитетъ въ дѣлѣ науки и приводятъ въ заблужденіе неопытную молодежь. Вотъ почему я требую отъ васъ, во имя этой науки, полной сатисфакціи, т. е. торжественнаго отступленія изъ Жмуди, или полнаго отра-

[1]) «Современникъ», 1860 № 1 Русская литература, стр. 104—108.

женія приведенныхъ мною доказательствъ, за коими я готовъ выдвинуть и тяжелую артилерію. Иначе бросаю вамъ перчатку и вызываю на ученый поединокъ. Секундантовъ мнѣ не нужно, развѣ тѣни Байера, Шлецера и Круга, если у васъ въ Петербургѣ есть вызыватели духовъ, а вы, ради потѣхи, можете пригласить себѣ въ секунданты любыхъ рыцарей Свистопляски. Сборъ, въ доказательство моего безпристрастія, я готовъ уступить въ пользу неимущей Жмуди. Безъ шутокъ. Пріѣхавъ на недѣлю въ Петербургъ, предлагаю вамъ публичное разсужденіе въ университетѣ, въ присутствіи лицъ, принимающихъ живое участіе въ вопросѣ. Хотя я уже лѣтъ двадцать оставилъ его, но, посвятивъ ему десять лучшихъ лѣтъ въ жизни, помню во всѣхъ подробностяхъ и готовъ отстаивать его unguibus et rostris [1])». Отвѣчая на это письмо, Костомаровъ заявилъ, что онъ принимаетъ вызовъ Погодина «съ полнымъ уваженіемъ, какъ къ наукѣ, такъ и къ почтенному ветерану», считая самое предложеніе выйти на публичный турниръ «высокой для себя честью». «Тѣни Байера, Шлецера и Круга, писалъ онъ, не помогутъ намъ: они уже тѣни, да еслибы и имѣли тѣло, то не могли-бы сохранить настоящаго безпристрастія, а настоящая моя готовность отказаться отъ своего мнѣнія, если оно не будетъ имѣть достаточной силы, чтобы убѣдить нашихъ посредниковъ, можетъ служить М. П. Погодину ручательствомъ, что я не думаю мнѣніе свое защищать одобреніемъ рыцарей Свистопляски». Такъ писалъ Костомаровъ 11-го марта 1860 года въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ». *Погодинъ* остался доволенъ его отвѣтомъ [2]), и 19-го числа того-же мѣсяца въ одной изъ университетскихъ залъ состоялся публичный диспутъ между двумя учеными о началѣ Руси. Стеченіе публики было огромно. Вся большая зала университета была переполнена людьми, заинтересованными небывалымъ зрѣлищемъ. Половина народа не нашла себѣ мѣстъ. Ректоръ университета Плетневъ открылъ засѣданіе краткой рѣчью, въ которой замѣтилъ, между прочимъ, что это первая попытка ускорить устнымъ объясненіемъ рѣшеніе спорныхъ научныхъ вопросовъ. Затѣмъ Погодинъ обратился къ собравшейся публикѣ съ объяснительною рѣчью. Сначала онъ выразилъ обществу благодарность за вниманіе, оказанное предстоящему спору, въ которомъ доказательства будутъ заимствоваться изъ источниковъ, покрытыхъ пылью и тлѣніемъ. При словахъ оратора, что общество, прійдя на этотъ споръ съ такимъ рвеніемъ, съ какимъ ищутъ обыкновенно эстетическихъ наслажденій, «представляетъ самое утѣшительное доказательство того, что мы созрѣли для рѣшенія важныхъ и важныхъ для насъ вопросовъ», раздались продолжительные бурные аплодисменты. Затѣмъ Погодинъ въ краткихъ чертахъ изло-

[1]) «С.-Петербургскія Вѣдомости», 1860 г., № 60, «Диспутъ Н. И. Костомарова и П. Погодина».

[2]) Ibidem. Письмо М. П. Погодина.

жилъ сущность спора, привелъ восемь доказательствъ въ пользу своего мнѣнія о норманскомъ происхожденіи варяго-руссовъ и, воздавъ должное блистательнымъ заслугамъ Костомарова, открылъ перекрестный обмѣнъ возраженій и историческихъ доказательствъ... Диспутъ длился нѣсколько часовъ. Погодинъ, съ бойкостью остроумнаго спорщика, осыпалъ своего противника аллегоріями, веселыми сравненіями, вызывавшими смѣхъ въ публикѣ, Костомаровъ, сохраняя тонъ самоуваженія и крайней сдержанности, съ нѣкоторой галантностью, не исключающей научной твердости въ убѣжденіяхъ, возражалъ своему противнику шагъ за шагомъ, гдѣ можно историческими соображеніями, гдѣ позволялъ случай — прогрессивными сентенціями, вызывавшими въ публикѣ громы рукоплесканій. Оба противника оказались достаточно подготовленными для публичныхъ разсужденій, и каждый изъ нихъ отстаивалъ свою мысль съ извѣстною силою, которая не давала ни одному изъ нихъ преимущества надъ другимъ. Въ положеніи Костомарова были, однако, нѣкоторыя выгоды: сотрудникъ «Современника», авторъ «Богдана Хмѣльницкаго» и «Стеньки Разина», онъ имѣлъ въ глазахъ толпы какое-то особое обаяніе, возбуждалъ въ ней какія-то свѣтлыя ассоціаціи. Отстаивая противъ Погодина свою гипотезу словами, въ которыхъ свѣтился умъ порывистый и живой, Костомаровъ былъ симпатичнѣе публикѣ, чѣмъ Погодинъ, съ его нѣсколько бравурнымъ остроуміемъ, какою-то подчеркнутою интимностью съ наукой, съ его рѣзкими нападками на фельетонистовъ «Современника». Но, несмотря на неравенство во внѣшнемъ положеніи, споръ окончился одинаково безуспѣшно для обѣихъ сторонъ: истина осталась невыясненною, оппоненты обмѣнялись доказательствами, никого окончательно не убѣдившими. Погодинъ заключилъ состязаніе пышными словами, удостоившимися громкаго браво всей публики: «Да здравствуетъ Русь, откуда-бы ни пришла она! воскликнулъ онъ. Пусть живетъ она не тысячу лѣтъ, а многія тысячи, если только нѣтъ на землѣ ничего безсмертнаго, по выраженію Карамзина, кромѣ души человѣческой. Пусть цвѣтетъ наука въ стѣнахъ здѣшняго университета, въ стѣнахъ и за стѣнами всѣхъ русскихъ университетовъ. Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!» Публика двинулась съ мѣстъ, но Костомаровъ успѣлъ еще отвоевать себѣ вниманіе ея для нѣсколькихъ заключительныхъ словъ, вызвавшихъ цѣлую бурю. «Я кончу словами Пушкина, громко сказалъ онъ: Литва-ли, Русь-ли—все равно!» Въ теченіе многихъ минутъ въ залѣ слышался восторженый крикъ: Костомаровъ! Костомаровъ! [1]).

[1]) «С.-Петербургскія Вѣдомости», 1860 г., № 67. Отчетъ о диспутѣ Погодина и Костомарова, 19 марта 1860 г.—«Современникъ», 1860 г. № 3, «Публичный диспутъ», стр. 257—292 и «Свистокъ», № 4, «Столичная суматоха въ пользу науки».—Смотри между прочимъ, «Кіевская Старина» 1895 г., апрѣль: «Изъ памятной книжки» *Н. Петрожнаго*, стр. 23 и «Изъ воспоминаній о Николаѣ Ивановичѣ Костомаровѣ» *Г. Вашкевича*, стр. 38—39.

Такъ закончились пренія. Обоимъ ораторамъ Пушкинъ далъ эффектное заключительное слово, но побѣды, какъ мы уже сказали, никто не одержалъ.

Добролюбовъ понялъ дѣло по своему. «Свистокъ» не можетъ молчать, не можетъ не пустить въ ходъ своей кричащей сатиры, когда на мнѣніе сотрудника «Современника» ополчается человѣкъ, защищающій какую-то старую точку зрѣнія, когда въ университетской залѣ затѣвается теоретическій споръ о происхожденіи русскаго государства. При томъ-же Погодинъ обнаружилъ явное презрѣніе и въ такихъ рѣшительныхъ словахъ къ литературнымъ силамъ рыцарей Свистопляски. За Погодинымъ числились какіе-то частные грѣхи, правда, не имѣющіе никакой связи съ норманскимъ вопросомъ, но дающіе все-таки козырное средство въ борьбѣ съ нимъ на поприщѣ публицистики. Общество хотя и присутствовало при спорѣ, не давшемъ никакого положительнаго результата, но остается еще журнальная агитація, которая можетъ повернуть его мнѣніе въ сторону симпатичнаго Костомарова. Въ рѣчахъ Погодина чувствовалось нѣкоторое кокетство оптимистическими фразами,—и вотъ тутъ-то «Свистокъ», враждебный всякимъ пылкимъ мечтаніямъ, можетъ разразиться скандализирующимъ, мелкимъ бѣсовскимъ хохотомъ, противъ котораго не устоитъ никакая репутація. Погодинъ нѣсколько рисовался особеннымъ уваженіемъ къ наукѣ,—но «Свистокъ» можетъ обнаружить настоящую дьявольскую проницательность въ пониманіи всякаго ученаго краснобайства, лихо ударивъ престарѣлаго профессора по самому чувствительному нерву всей его жизни. На сцену долженъ выйти Лиліеншвагеръ. Рыцари Свистопляски покажутъ на дѣлѣ свою отвагу въ защитѣ Костомарова, несмотря на то, что онъ самъ откровенно отказался отъ всякой подобной помощи. Лучшій фельетонистъ «Современника» присутствовалъ на диспутѣ, за которымъ онъ слѣдилъ съ какимъ-то сладострастнымъ упоеніемъ. Боже, сколько матеріала для смѣха, для бойкой фельетонной сатиры...

Мы соврѣли, мы соврѣли!
Веселись, соврѣвшій Россъ!
Вотъ теперь ты въ самомъ дѣлѣ
Сталъ полуночный колоссъ.
Мы соврѣли, мы соврѣли!
Такъ Погодинъ намъ сказалъ,
Изъ Москвы для этой цѣли
Онъ нарочно прискакалъ.
Мы соврѣли! Россъ, пойми же
И душою умились.
Сними-ка шапку, да пониже,
Да пониже поклонись [1]).

[1]) «Современникъ» 1860, № 3, «Свистокъ» № 4, «Благодарная пѣснь соврѣвшаго Росса».

Шутовство въ прозѣ, стихотворное посвященіе М. П. Погодину, цѣлое комическое представленіе, данное съ бойкимъ юмористическимъ талантомъ, рядъ сатирическихъ замѣчаній, брошенныхъ въ лицо московскому ученому—вотъ чѣмъ откликнулся Добролюбовъ на споръ Погодина и Костомарова. Во всѣхъ статейкахъ «Свистка» по этому предмету проглядываетъ рѣшительная увѣренность, что, въ сущности, Костомаровъ одержалъ блестящую побѣду. Добролюбовъ окольными путями внушаетъ свое, ни на чемъ не основанное убѣжденіе читателямъ и чѣмъ дальше, тѣмъ увѣреннѣе хлещетъ Погодина язвительными словами, проникнутыми презрѣніемъ къ его учености, научнымъ заслугамъ, къ его несчастной рѣшимости выйти на споръ съ неравнымъ соперникомъ. Дѣло приняло, такимъ образомъ, совершенно ложное и даже скандальное освѣщеніе и превратилось въ настоящую свалку, въ которой уже нельзя было разобрать, кто правъ и кто виноватъ. Фельетонисты «Современника» свистали, общество, раззодоренное комическими стишками, стало хохотать. Погодинъ оказался въ истинно глупомъ положеніи, изъ котораго онъ, по несчастной склонности къ бравурному шутовству, рѣшилъ выйти, прибѣгнувъ къ заявленію, носившему игривый характеръ.

Возвратившись въ Москву, Погодинъ, преслѣдуемый смѣхомъ «Современника», задумалъ дать отчетъ своимъ московскимъ друзьямъ о публичномъ диспутѣ, выдержанномъ имъ въ С.-Петербургѣ. Въ 1-й книжкѣ «Русской Бесѣды» 1860 г. онъ напечаталъ небольшую статейку о своемъ спорѣ съ Костомаровымъ, состоящую изъ двухъ главъ. Первая заключаетъ въ себѣ объясненія историческаго хода настоящаго дѣла, вторая — новое письмо къ Костомарову, дополненіе къ диспуту. Оказывается, что, отправляя первое письмо Костомарову, научныя заслуги котораго онъ охотно признавалъ, Погодинъ въ сущности не задавался серьезною цѣлью публично поспорить съ ученымъ сотрудникомъ «Современника». Это было ничто иное, какъ шутка, заявляетъ Погодинъ. А Костомаровъ, не понявшій шутки, юмористическаго тона въ его письмѣ, принялъ вызовъ въ серьезъ. Погодинъ обрисовываетъ ту атмосферу, при которой приходилось бороться съ противникомъ, котораго онъ шутя вызвалъ на споръ и который заставилъ его въ шумной залѣ говорить о предметахъ, имѣющихъ высокое научное значеніе [1])... Такими неискренними фразами Погодинъ думалъ свалить съ ногъ храбрыхъ воиновъ «Свистка», выводившихъ его изъ терпѣнія. Захваченный скандаломъ, по натурѣ склонный къ бьющей въ глаза игрѣ словами, онъ самъ усугубилъ скандалъ своимъ до очевидности фальшивымъ заявленіемъ. Это странное заключительное слово въ печати

[1]) «Русская Бесѣда» 1860 г. № 1. «О публичномъ диспутѣ въ залѣ с.-петербургскаго университета касательно происхожденія Руси». Отчетъ московскимъ друзьямъ, стр. 133—139.

было должнымъ образомъ оцѣнено Костомаровымъ въ 5-й книжкѣ «Современника» 1860 г., при чемъ Костомаровъ и на этотъ разъ не сдѣлалъ ни одной безтактности, несмотря на то, что задорная замѣтка его противника могла произвести на него самое тяжелое впечатлѣніе. Его «Послѣднее слово г. Погодину» дышитъ настоящею порядочностью, сдержано по тону, скромно, хотя и рѣшительно, по содержанію. Человѣкъ науки, онъ до послѣдней минуты не позволялъ себѣ прибѣгнуть къ средствамъ, которыя могли бы компрометировать его увѣренность въ собственной правотѣ. Уважая своихъ соперниковъ по спеціальности, какихъ бы взглядовъ они ни держались, онъ не могъ потерять душевное равновѣсіе въ спорѣ, въ которомъ самолюбіе не должно было играть никакой роли. Но наиболѣе типичные сотрудники «Современника» отвѣтили на замѣтку Погодина настоящимъ залпомъ полемическихъ издѣвательствъ и глумленія. Выступилъ самъ Чернышевскій, истинный вождь журнала. Онъ рѣшителенъ въ словахъ. Для него въ этомъ дѣлѣ не было и нѣтъ никакихъ сомнѣній. Ученые труды г. Погодина, заявляетъ онъ на первой же страницѣ своей статейки, не представляютъ ровно никакого ученаго интереса. Но самъ Погодинъ думаетъ, что его репутація имѣетъ серьезныя достоинства, а когда человѣкъ, ничѣмъ не замѣчательный, «считаетъ себя имѣющимъ заслуги, онъ становится несносенъ тщеславіемъ и наглостью». Въ сущности Погодинъ только забавникъ, и г. Костомарову не слѣдовало принимать его вызова. Когда Костомаровъ рѣшился выйти на споръ, Чернышевскій убѣждалъ его отказаться отъ всякаго состязанія. Онъ говорилъ ему: человѣку, пользующемуся уваженіемъ публики, неудобно связываться съ Погодинымъ. «Вы компрометируете себя, и Погодинъ принудитъ васъ къ объясненіямъ, очень непріятнымъ для человѣка, не любящаго полемики даже и приличной». Приводя свои фразы, Чернышевскій заявляетъ: «Я смягчаю для печати выраженія, которыя употреблялъ тогда. Читатель можетъ дополнить ихъ воображеніемъ». Костомаровъ цѣнитъ Погодина за ученость, но Чернышевскій не согласенъ цѣнить «бездарное труженичество». Правда, онъ не такой знатокъ, по собственному сознанію, въ вопросахъ русской исторіи, чтобы вдаваться въ оцѣнку различныхъ мнѣній, къ ней относящихся, но убѣжденіе, которое защищалъ Погодинъ, не принадлежитъ къ числу трудныхъ и понятныхъ только спеціалисту. Если-бы онъ былъ на мѣстѣ Костомарова, онъ оборвалъ-бы, во всякомъ случаѣ, споръ съ Погодинымъ слѣдующими словами: «Милостивый государь, сказалъ-бы онъ ему, спорить мнѣ съ вами объ историческихъ вопросахъ такъ-же неумѣстно и неприлично, какъ неумѣстно и неприлично было-бы какому-нибудь оріенталисту спорить со мною о синтаксическихъ правилахъ сіамскаго языка. I принужденъ кончить диспутъ». Костомаровъ, по мягкости натуры и изъ-за разныхъ ученыхъ приличій, быть можетъ, сочтетъ эти радикаль-

ныя сужденія несправедливыми, но Чернышевскій въ этомъ случаѣ ему уступить не можетъ: Погодинъ несомнѣнно ученая бездарность, поддерживаемая имъ теорія о варяго-руссахъ отжила окончательно свой вѣкъ [1]).

А «Свистокъ» заливался надъ Погодинымъ дикимъ, торжествующимъ смѣхомъ.

Пусть Чернышевскій говоритъ, что хочетъ,
И Костомаровъ пусть тебя разитъ.
Пусть надъ тобой ученыхъ судъ грохочетъ,
Пусть ими будешь ты и презрѣнъ, и забытъ...
Не унывай! Прочь Несторъ, прочь норманы,
Прочь жалкій параллель Европы и Руси!
Владѣнія «Свистка» обильны и пространны,
Тебѣ въ нихъ мѣсто есть, свой трудъ туда неси.
Ты о «Свисткѣ» писалъ съ презрѣньемъ величавымъ,
Въ намѣреньи его жестоко оскорбить,
Но онъ давно простилъ рѣчамъ твоимъ неправымъ:
Онъ такъ высокъ, что можетъ все простить.
Иди же къ намъ! Въ «Свисткѣ» мы памятникъ построимъ,
Всѣмъ шуткамъ, шалостямъ и подвигамъ твоимъ,
Ученость дряхлую мы свистомъ успокоимъ
И слухъ твой ласковымъ романсомъ усладимъ [2]).

Между тѣмъ вопросъ о происхожденіи варяго-руссовъ считается неразрѣшеннымъ и по настоящее время и, судя по новѣйшимъ сочиненіямъ историческаго характера, догадка Костомарова не принялась въ наукѣ. Три главныхъ воззрѣнія на этотъ предметъ борются еще до сихъ поръ между собою и, несмотря на талантъ и трудолюбіе людей, работающихъ на поприщѣ русской исторіи, вопросъ остается пока не выясненнымъ. Одни защищаютъ происхожденіе варяговъ изъ Скандинавіи, другіе выводятъ ихъ изъ славянскаго поморья, третьи видятъ въ нихъ сбродную дружину—вотъ что читаемъ мы на эту тему въ «Русской исторіи» К. Бестужева-Рюмина [3]). Наиболѣе авторитетныя силы нашей научной среды, говоритъ молодой, весьма дѣльный ученый С. Ѳ. Платоновъ, всѣ держатся воззрѣнія той норманской школы, которая основана еще въ XVIII в. Байеромъ и совершенствовалась въ трудахъ Шлецера, Погодина, Круга, Куника, Васильевскаго. Но рядомъ съ ученіемъ господствующимъ, читаемъ мы въ его лекціяхъ по русской исторіи, давно существовали и другія, изъ которыхъ большую пользу для дѣла принесла, такъ называемая, славянская школа. Что-же касается до иныхъ точекъ зрѣнія на разбираемый вопросъ, замѣчаетъ профессоръ, то о нихъ можно упомянуть лишь для полноты обзора: Костомаровъ одно время настаи-

[1]) «Современникъ», 1860 г. № 5. «Замѣчаніе на послѣднее слово г-ну Погодину» Н. Чернышевскаго, стр. 84—88.

[2]) Ibidem. «Свистокъ» № 5, стр. 40, «М. П. Погодину отъ рыцарей Свистопляски».

[3]) К. Бестужевъ-Рюминъ. «Русская Исторія», I, глава II, стр. 89.

валъ на литовскомъ происхожденіи Руси, Щегловъ — на происхожденіи финскомъ [1])...

Разсмотримъ еще одинъ эпизодъ въ дѣятельности «Свистка», быть можетъ, самый наглядный и простой, какъ иллюстрація удалой, но въ сущности растлѣвающей политики, которая практиковалась въ фельетонномъ отдѣлѣ «Современника». Если въ случаѣ съ протестомъ противъ Зотова можно было имѣть еще какія нибудь комическія черты— два Милеанта и три Хомякова, если въ исторіи Костомарова съ Погодинымъ еще можно было рѣшиться поднять на смѣхъ заявленіе московскаго ученаго, что русское общество созрѣло для публичныхъ споровъ по вопросамъ науки, то въ настоящемъ случаѣ самый снисходительный критикъ фельетоннаго отдѣла «Современника» не найдетъ никакихъ толковыхъ объясненій и оправданій. Просто свисталось, и трудно было, разъ увлекшись, удержаться отъ усвоенныхъ пріемовъ въ обсужденіи именно либеральныхъ явленій въ жизни русскаго общества. Надо было выдѣлиться изъ общаго хора русской журналистики, и неожиданный свистъ именно тамъ, гдѣ этого всего менѣе можно было ожидать, долженъ былъ производить ошеломляющее впечатлѣніе. Если освистывается дружный протестъ противъ писателя, унизившаго печатное слово до степени презрѣннаго орудія личныхъ оскорбленій, если ошиканъ ученый споръ двухъ талантливыхъ людей, если расхлестанъ, можно сказать, съ такимъ необычайнымъ размахомъ русскій дѣятель Пироговъ, если Монталамберъ и Кавуръ, подъ сатирическимъ перомъ Добролюбова, вдругъ обратились въ какихъ-то водевильныхъ шутовъ, отчего-же не окарикатурить людей съ болѣе скромною репутаціей? Но именно тутъ-то видна абсурдность такого безусловнаго, ничѣмъ не сдерживаемаго отрицанья. Нельзя смѣяться, не рискуя вызвать справедливое негодованіе, надъ скромными тружениками, когда они прибѣгаютъ къ гласности, какъ къ орудію самозащиты въ борьбѣ съ условіями жизни. Неприлично издѣваться тамъ, гдѣ должно быть выражено опредѣленное прямое сочувствіе... Вотъ этотъ случай, о которомъ мы говоримъ. Въ пятой книгѣ «Русской Бесѣды» 1859 г. появилась небольшая статейка Павла Якушкина, подъ названіемъ «Проницательность и усердіе губернской полиціи»—письмо къ редактору этого журнала, рисующее въ самыхъ трогательныхъ и правдивыхъ выраженіяхъ, проникнутыхъ простодушною незлобивостью, грубый и произвольный актъ насилія, совершенный псковскою полиціею надъ этимъ въ высшей степени симпатичнымъ работникомъ на поприщѣ русской этнографіи. Отправившись въ Псковъ, по порученію «Русской Бесѣды», гдѣ онъ печаталъ свои этнографическія впечатлѣнія, Якушкинъ былъ вдругъ арестованъ полицейскою властью безъ всякой причины, продержанъ

[1]) Лекціи по русской исторіи, курсъ I, 1891 и 1892 гг., стр. 159—160.

нѣсколько дней при полицейской части, и затѣмъ, безъ всякой провѣрки и должныхъ законныхъ объясненій ареста, выпущенъ на свободу. Печатая этотъ возмущающій душу разсказъ Якушкина, редакція отъ себя сдѣлала нѣсколько рѣзкихъ и дѣльныхъ замѣчаній съ цѣлью привлечь вниманіе общества, печати и компетентныхъ властей къ этому прискорбному, но характеристическому случаю [1]). Таковъ простой фактъ, не подлежащій никакимъ перетолкованіямъ. Человѣкъ публично протестовалъ противъ совершеннаго надъ нимъ насилія, и публицисты всѣхъ сортовъ и всѣхъ партій, понимающіе свой долгъ передъ обществомъ, должны были дать этому протесту ходъ и распространеніе. Когда человѣкъ негодуетъ противъ произвола цѣлаго учрежденія, неприлично оставаться равнодушнымъ и позорно выкидывать какіе-то гайерскіе фортели. А между тѣмъ, такъ именно поступилъ Добролюбовъ. Перепечатывая статейку Якушкина, онъ посмѣивается надъ русской гласностью и рядомъ комическихъ восклицаній глумится надъ пострадавшимъ. «Мы не могли безъ особеннаго восхищенія, иронизируетъ онъ, читать мастерскаго очерка г. Якушкина!.. Какая смѣлость!.. Какое благородство выраженій!.. Какое достоинство тона!.. Простому полицейскому случаю придана форма вполнѣ литературная и притомъ чисто народная. Отрадно читать подобное описаніе. Сердце каждаго русскаго, истинно-любящаго литературу своего отечества, должно ощущать радостный трепетъ при чтеніи статьи Якушкина. Она служитъ яснымъ доказательствомъ того, какъ велики прогрессы, до которыхъ дошли мы въ жизни и литературѣ вслѣдствіе широкаго развитія гласности»... [2]).

Надъ чѣмъ хохоталъ Добролюбовъ? Надъ принципами гласности? Надъ Якушкинымъ?

Якушкинъ—оригинальная, свѣтлая личность, вызывавшая восторженное сочувствіе во всѣхъ слояхъ русскаго общества. Одѣтый въ полумѣщанскій, полукрестьянскій костюмъ, который рѣзалъ глаза и останавливалъ вниманіе проходящихъ, въ очкахъ, Якушкинъ обходилъ села и деревни, сдружался съ крестьянствомъ, любовно присматриваясь къ его быту, любовно занося на страницы своей тетради пѣсни, сказки, преданія, типическіе разговоры. Путь его въ сущности былъ очень нелегокъ. Взваливъ на плечи лубочный коробъ, набитый офенскимъ товаромъ на крестьянскую руку, торговецъ Якушкинъ по грязи и бездорожицѣ, присаживаясь на облучекъ встрѣчной и попутной телѣжки, бодро и весело шелъ къ намѣченной цѣли. Охотнѣе всего онъ забирался въ глушь, въ дикіе поселки, гдѣ кипѣла жизнь первобытная, мало изученная, жизнь, по которой хорошо прослѣдить народное міровоззрѣніе, народныя горести и печали. Захаживалъ

---

[1]) „Русская бесѣда“ 1859 г. V, стр. 107—108.

[2]) Сочиненія Добролюбова, т. IV, стр. 366.

онъ и въ кабакъ, гдѣ народъ проводитъ часы отдыха — и повсюду онъ являлся, по свидѣтельству человѣка, хорошо его знавшаго, талантливѣйшаго русскаго писателя, С. Максимова, работникомъ, ходатаемъ и заступникомъ простого русскаго человѣка. Якушкинъ, говоритъ Максимовъ, болѣлъ случайностями задержки въ историческомъ поступательномъ движеніи русскаго народа, но куда-бы онъ ни являлся, онъ повсюду вносилъ какой-то свѣжій воздухъ, прирожденную и возлелѣянную незлобивость характера, умѣвшую забывать огорченія и оскорбленія [1]). Это было одно изъ самыхъ свѣтлыхъ явленій въ тогдашней русской жизни. Общество проснулось, русская жизнь, выражаясь словами Курочкина, начинала въ разныхъ точкахъ и съ разныхъ сторонъ оттаивать, ледяной покровъ официальнаго застоя и мундирнаго однообразія давалъ трещины по всѣмъ направленіямъ. Обычное вынужденное безмолвіе и приниженная оцѣпенѣлость стали нарушаться «сначала неяснымъ гуломъ недовольства, потомъ болѣе смѣлымъ говоромъ критическаго обсужденія, и еще далѣе молодымъ, порывистымъ выраженіемъ горячихъ надеждъ на будущее». Начинался обновляющій перестрой всего общественнаго склада. Слышались небывалыя слова и рѣчи. Въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи стали появляться какіе-то необыкновенные коллежскіе провинціальные и губернскіе секретари, «которые, состоя попрежнему въ разныхъ вѣдомствахъ и департаментахъ, уже не удовлетворялись исполненіемъ своихъ чиновничьихъ обязанностей, задумывались о приложеніи своихъ силъ къ общественной дѣятельности». Новыя птицы пробовали первые взмахи своихъ едва наростающихъ крыльевъ... [2]).

Якушкинъ былъ однимъ изъ типичныхъ явленій новой эпохи. Надъ чѣмъ же и надъ кѣмъ свисталъ Добролюбовъ?

Мы разсмотрѣли важнѣйшія замѣтки «Свистка»—матеріалъ, не устарѣвшій по своей пикантности до настоящаго времени. Рядъ грубыхъ и безтактныхъ ошибокъ на публицистической почвѣ—вотъ краткое резюме этой дѣятельности Добролюбова. Нельзя найти никакихъ оправданій для этихъ разгульныхъ фельетонныхъ сатурналій, въ которыхъ попирались и люди, и принципы. Если-бы, по крайней мѣрѣ, дѣятели «Свистка» были какими-либо пылкими мечтателями, не умѣющими считаться съ положеніемъ вещей, мы сказали-бы: неосновательно, безтактно, но понятно, быть можетъ даже извинительно—ради идеальнаго порыва къ лучшему и совершеннѣйшему. Но, будучи по крови и по убѣжденіямъ настоящими реалистами, презирая всякую мечту, какъ нѣчто безплодное и даже вредное, какъ можно было рѣшиться выступать на поприще общественной публицистики безъ достаточной подготовки, безъ внимательнаго, присталь-

[1]) Сочиненія П. И. Якушкина. Изданіе В. Л. Михневича 1884 г. „Біографическій очеркъ", С. В. Максимова, стр. X.

[2]) Ibidem, „Товарищескія воспоминанія" Н. С. Курочкина, стр. XXXIII—XXXIV.

наго изученія текущей жизни? Нападки Добролюбова всегда фальшивы, бездоказательны и, по истеченіи въ сущности немногихъ лѣтъ, производятъ впечатлѣніе какого-то легкомысленнаго юмористическаго жонглерства пустыми, хотя и «радикальными» словами. Онъ не былъ правъ въ исторіи съ протестомъ. Онъ былъ скандально несправедливъ въ своемъ столкновеніи съ Пироговымъ. Онъ былъ несостоятеленъ въ своихъ стихотворныхъ и прозаическихъ нападкахъ на диспутъ Погодина и Костомарова. Онъ былъ наивенъ въ характеристикахъ Монталамбера и Кавура. Онъ былъ непростительно опрометчивъ въ своихъ немногихъ строкахъ, посвященныхъ Якушкину. Въ чемъ-же заслуги «Свистка»? Что писалось въ немъ хорошаго, талантливаго не по формѣ, а по красотѣ внутренней мысли, по силѣ убѣжденія? Дѣятельность Конрада Лиліеншвагера бойка, задорна, но совершенно безплодна. Писанія другихъ прозаическихъ и стихотворныхъ лицедѣевъ «Свистка», подъ которыми скрывался Добролюбовъ, не имѣютъ никакихъ заслугъ. Наконецъ, и въ своихъ пересмѣшкахъ эстетическихъ произведеній русской поэзіи сатира «Современника», ошибочная и разнузданная въ оцѣнкѣ явленій общественной жизни, шла тоже по ложному пути. Лирическія стихотворенія Аполлона Капелькина едва-ли могли воспитать въ обществѣ правильное критическое отношеніе къ творчеству, къ искусству. Остальныя стихотворныя сатиры, подписанныя другими именами, только дополняютъ и усугубляютъ всю ту сутолоку понятій и стремленій, которая царила въ этомъ отдѣлѣ журнала.

Въ Добролюбовѣ была склонность къ стихамъ, хотя настоящимъ поэтическимъ талантомъ онъ не обладалъ. Въ его лирическихъ произведеніяхъ много личной правды, можно подмѣтить любопытныя черточки его человѣческаго характера, но чувствуется недостатокъ музыкальныхъ звуковъ и общаго поэтическаго напѣва. Онъ не обладалъ никакими красками, и лирическій стихъ его, въ противоположность иногда остроумному, иногда ловкому, хотя и подражательному, сатирическому стиху, подчасъ страдаетъ какою-то вялостью, безсиліемъ угнетенной сентиментальности. Несмотря на настоящій умъ, Добролюбовъ иногда утрировалъ выраженія своихъ чувствъ и настроеній. Пріученный глядѣть на вещи подъ искусственнымъ, тенденціознымъ угломъ зрѣнія, быть можетъ чуть-чуть самодовольный въ оцѣнкѣ своей публицистической дѣятельности, онъ самъ, почти сходя въ могилу, описалъ свою короткую и неполную жизнь въ слѣдующихъ, хорошо всѣмъ извѣстныхъ строкахъ:

Милый другъ, я умираю,
Оттого, что былъ я честенъ,
Но за то родному краю
Вѣрно буду я извѣстенъ.
Милый другъ, я умираю,
Но спокоенъ я душою...

И тебя благословлю:
Шествуй тою же стезею.

Послѣднимъ произведеніями Добролюбова были: оправдательная статья по поводу исторіи съ Пироговымъ и чисто публицистическая статья, напечатанная въ августовской книгѣ «Современника» 1860 г. въ качествѣ очереднаго «Внутренняго Обозрѣнія».

Передъ нами прошла вся дѣятельность Добролюбова. Какъ преемникъ Бѣлинскаго, онъ не внесъ въ русскую литературу ни одного новаго эстетическаго или литературнаго принципа, который могъ бы двинуть впередъ русское творчество. Ошибки послѣдняго періода дѣятельности Бѣлинскаго доведены имъ до очень широкихъ размѣровъ и въ его критическихъ статьяхъ сложились въ цѣлую публицистическую систему, совсѣмъ не пригодную для оцѣнки художественныхъ произведеній. Въ лицѣ Добролюбова русская критика, какъ таковая, сдѣлала шагъ назадъ по сравненію съ критикой Бѣлинскаго, ибо, вставъ на почву чистѣйшаго реализма, даже безъ всякой примѣси психологическаго или философскаго интереса, Добролюбовъ принципіально отодвинулъ на задній планъ ея истинныя литературныя задачи и цѣли. Органъ критическаго сознанія общества атрофировался быстро и рѣшительно. Журнальная рецензія, съ бойкими жизненными намеками, становилась орудіемъ, дѣйствовавшимъ, быть можетъ, въ какой-нибудь степени на внѣшній ходъ вещей въ странѣ, но не производившимъ никакого вліянія на жизнь и развитіе искусства и литературы. Критика все болѣе и болѣе замѣнялась обсужденіемъ постороннихъ ей вопросовъ и становилась замаскированнымъ средствомъ для воспитанія общественнаго мнѣнія на почвѣ гражданственной. Просвѣтительныя задачи, подъемъ научно-философскаго развитія общества уходили все дальше и дальше и, такимъ образомъ, терялась почва для настоящаго, глубокаго прогресса. Наконецъ, «Свистокъ» пріучалъ общество къ безцеремонности и разнузданности въ отношеніи къ серьезнымъ явленіямъ жизни и готовилъ блестящій тріумфъ критической дѣятельности третьяго критика русской литературы—Писарева и его современныхъ оруженосцевъ и эпигоновъ.

Январь—мартъ 1894.

Журналистика шестидесятыхъ годовъ.

Источники:

Н. Чернышевскій, Антропологическій принципъ въ философіи. «Современникъ», 1860. Апрѣль, Май.

П. *Л. Лавровъ*. Очерки практической философіи. Спб. 1860.

John Stuart Mill. On liberty, people's edition. London. 1890.

П. *Юркевичъ*. Изъ науки о человѣческомъ духѣ. «Труды Кіевской Духовной Академіи», кн. IV. 1860.

«Русскій Вѣстникъ» 1861. Январь: Нѣсколько словъ вмѣсто Современной Лѣтописи. Февраль: Старые боги и новые боги. Мартъ: Нашъ языкъ и что такое свистушы. Апрѣль: Литературное обозрѣніе и Замѣтки. Май: Изъ науки о человѣческомъ духѣ; Одного поля ягоды. Іюнь: По поводу Полемическихъ красотъ въ Современникѣ.

Н. Чернышевскій. Полемическія красоты, коллекція первая. «Современникъ» 1861, Іюнь.

«Современникъ» 1861, Іюнь: Непочтительность къ авторитетамъ, стр. 31.

«Отечественныя Записки», Іюль: Русская Литература.

Н. Чернышевъ, Полемическія красоты, коллекція вторая. «Современникъ» 1861, Августъ.

Н. Альбертини: Автору Полемическихъ красотъ, Политическія идеи Токвиля и отзывъ о немъ въ Современникѣ; *К. Н. Бестужевъ-Рюминъ:* Французскіе софизмы въ параллель съ русскими; *Отъ С. С. Громеки къ Н. Г. Чернышевскому;* Русская литература: Новая манера полемики, Нѣчто о направленіи Отечественныхъ Записокъ, не согласномъ съ Современникомъ и пр. «Отечественныя Записки», 1861, Августъ.

Письма К. Д Кавелина и Ив. С. Тургенева къ А. И. Герцену, изд. 1892 г. стр. 145.

«Православное Обозрѣніе», сентябрь 1861: По поводу полемики изъ-за статьи Юркевича.

«Свѣточъ», Августъ, 1861. Прогрессъ скандала.

Д. Писаревъ: Московскіе мыслители, глава VII. «Русское Слово», Февраль 1862 г. Его-же: Схоластика XIX вѣка. «Русское Слово» 1861, Сентябрь.

П. Лавровъ: Моимъ критикамъ. «Русское Слово» 1861, Іюнь, стр. 51; Августъ, стр. 108.

«Домашняя бесѣда» 1862, №№ 30, 31, 33—35: Физіологическій способъ превращенія человѣка въ животнаго (?) и животнаго въ человѣка.

П. Юркевичъ, «Идея»: „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія", ч. CIV, 1859 г., октябрь и ноябрь.—«Матеріализмъ и задачи философіи»: „Ж. М. Н. П.", 1860 г., ч. CVIII, октябрь.—„Сердце и его значеніе въ духовной жизни человѣка по ученію Слова Божія": „Труды Кіевской Духовной Академіи", 1860 г. Книжка I.—

«По поводу статей, помѣщенныхъ въ философскомъ лексиконѣ, критико-философскіе отрывки»: „Труды К. Д. Академіи“, 1861 г., № 1 и 2.—„Миръ съ ближними, какъ условіе христіанскаго общежитія“: „Труды К. Д. Академіи“, 1861 г., мартъ.—„Доказательства бытія Божія, критико-философскіе отрывки“: „Труды К. Д. Академіи“, 1861 г., мартъ и апрѣль.

„Православное Обозрѣніе“, 1862 г., январь. „Замѣтки“.

„Сынъ Отечества“, 1862 г., № 18.

„Наше Время“, газета политическая и литературная, 1862 г., № 12, отъ 17 января. Передовая статья о вступительной лекціи Юркевича въ московскомъ университетѣ.

„Современная лѣтопись Русскаго Вѣстника“, 1862 г., № 3. По поводу лекцій г. Юркевича.

М. Антоновичъ. „Современникъ“, 1862 г., февраль. „Современная физіологія и философія“.

П. Юркевичъ: „Языкъ физіологовъ и психологовъ“. „Русскій Вѣстникъ“, 1862 г., апрѣль, май, іюнь, августъ.

М. И. Тарховъ. „Библіотека для чтенія“, январь, февраль, мартъ. „Шаткіе пункты современнаго реализма“.

Виталій Шульгинъ. „Кіевскій Телеграфъ“, 1860 г. № 4. Нѣсколько словъ по случаю открытія фундуклеевскаго женскаго училища въ Кіевѣ.—Тамъ-же: Мѣстныя извѣстія.

Тамъ-же, № 8. Письмо къ одному изъ редакторовъ В. Шульгина.—№ 16. Фельетонъ, Библіографія.—№ 30. Разборъ брошюръ г. Пѣвницкаго и г. Юркевича, помѣщенный въ № 12 газеты „Наше Время“, М. Ч.

П. Д. Юркевичъ. Замѣтка. Кіевъ, 1860 г. Университетская типографія.

„Домашняя Бесѣда“, 1860 г., № 10. Перепечатка статьи Шульгина, рѣчи, произнесенной епископомъ Антоніемъ и статьи Пѣвницкаго.

Тамъ-же, № 14. Перепечатка брошюры Юркевича.

„Русское Слово“, 1861 г., октябрь. Дневникъ темнаго человѣка. „Юркевичъ, какъ левъ журнальнаго сезона“.

Д. Д. Минаевъ. „Думы и пѣсни и юмористическія стихотворенія обличительнаго поэта“ (Дѣтямъ). Спб. 1863 г.

„Московскія Вѣдомости“, 1863 г., №№ 35—37; 39, 42, 46, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 64, 65. Сообщенія о публичныхъ чтеніяхъ П. Юркевича по философіи. *Лекція первая*, 18 февраля 1863 г. Общія начала въ разносторонней человѣческой дѣятельности. *Лекція вторая* 23 февраля. Познаніе, зависящее отъ дѣятельности внѣшнихъ чувствъ. Степень этой зависимости. Матеріализмъ и его ученіе объ этомъ. *Лекція третья*, 25 февраля. Внутреннее чувство. Его отношенія къ чувствамъ внѣшнимъ. Явленія душевной жизни, которыя открываетъ оно. Совершенства и недостатки познаній, доставляемыхъ внутреннимъ чувствомъ. *Лекція четвертая*, 2 марта. Сознаніе узкое и обширное, темное и ненормальное. *Лекція пятая*, 4 марта. Механическая игра и разумная связь представленій. Истина, соверцаніе и сновидѣніе. *Лекція шестая*, 9 марта. Философія и матеріализмъ. *Лекція ссдьмая*, 11 марта. Сердце, чувствованія и ихъ значеніе въ жизни человѣка. *Лекція восьмая*, 15 марта. Сердце, чувствованія эстетическія и нравственныя. *Лекція девятая*, 18 марта. Воля, влеченія, характеръ и нравственныя начала. *Лекція десятая*, 23 марта. Взаимодѣйствіе душевной и тѣлесной жизни. Языкъ. Дѣйствительныя и воображаемыя силы человѣческаго духа.

Михаила Лонгинова: Письмо въ редакцію. „Московскія Вѣдомости“, 1863 г., № 56.

Н. С. Нѣсколько словъ о публичномъ курсѣ г. Юркевича. Тамъ-же, № 58.

И. Аксаковъ. Два слова о матеріализмѣ и общественной свободѣ. „День“, 1863 г., № 11.

М. С. Философскія лекціи въ Москвѣ г. Юркевича, по поводу письма М. Лонгинова. „Очерки", 1863 г., № 76.

А. Рогов: Еще о лекціяхъ г. Юркевича, Тамъ-же, № 93.

„Современное Слово" 1863 г., № 60. „Г. Юркевичъ занимается толченіемъ воды въ Москвѣ" (Фельетонъ).

Тамъ-же, № 71. „По поводу лекцій г. Юркевича". Р. С.—№ 91. „Отвѣтъ г. Захарьину» М. С.

И. Захарьинъ. „Замѣтка читателя". „Современная Лѣтопись", 1863 г., № 11.

И. З. Голосъ изъ публики по поводу лекцій г. Юркевича. Тамъ-же, № 19.

„Русское Слово", 1863 г., февраль, мартъ, апрѣль, іюль, сентябрь. Дневникъ Темнаго Человѣка.

„Искра", сатирическій журналъ съ карикатурами 1863 г., № 14. Увеселительные вечера „Искры" и платоническое ку-ку-ре-ку.—№ 19. Пятидесятилѣтній юбилей профессора П. І. Юркевича.—№ 33. Сотрудникъ „Московскихъ Вѣдомостей" и „Искры".

„Современникъ", 1863 г., Т. XCV, мартъ. „Внутреннее Обозрѣніе", стр. 48—50; апрѣль. „Внутреннее Обозрѣніе", стр. 357—368. Тамъ-же, „Свистокъ". Неблаговонный анекдотъ о г. Юркевичѣ или исканіе розы безъ шиповъ.

П. Юркевичъ: Педагогическая литература, по поводу учебника уголовнаго права г. Спасовича (письмо къ Сергѣю Ивановичу Баршеву). „Современная лѣтопись", 1864 г., №№ 9, 10 и 11.

В. Д. Спасовичъ. Сочиненія, Томъ IV. Отвѣтъ г. Юркевичу, стр. 213—229. Изд. 1891 г.

Н. Страховъ. „Изъ исторіи литературнаго нигилизма". Г. Юркевичъ о г. Спасовичѣ. Два слова объ истинѣ. Отвѣтъ г. Спасовича, стр. 355—364.

„Современникъ", 1864 г., апрѣль, Внутреннее Обозрѣніе. Замѣчанія г. Юркевича на учебникъ г. Спасовича. Цвѣты ученой полемики, стр. 328—338.

„Современникъ", 1866 г., мартъ. „Дѣйствительность", стр. 222—223.

П. Юркевичъ, „Разумъ по ученію Платона и опытъ по ученію Канта". „Московскія университетскія извѣстія", 1865 г.

Н. Страховъ. „Главная черта мышленія". „Отечественныя Записки", 1866 г., апрѣль. Книжка вторая.

„Московскія Вѣдомости", 1874 г.. № 251. Некрологъ П. Юркевича.

Тамъ-же, № 253. Слово, сказанное при отпѣваніи П. Д. Юркевича протоіереемъ Н. А. Сергіевскимъ.

Тамъ-же, № 278. Нѣсколько словъ о П. Д. Юркевичѣ.

Тамъ-же, № 292. Воспоминаніе о П. Д. Юркевичѣ В. Лебедева.

„Голосъ", 1874 г., № 285, фельетонъ, „Московскія Замѣтки", Смерть Юркевича.

„Отчетъ и рѣчь, произнесенная на торжественномъ собраніи Императорскаго московскаго университета 12 января 1875 г.". П. Д. Юркевичъ. Некрологъ.

„Гражданинъ", 1874 г., № 41. На память о профессорѣ П. Д. Юркевичѣ. Z.

А. Н. Аксаковъ. Медіумизмъ и философія. Воспоминанія о П. Д. Юркевичѣ. „Русскій Вѣстникъ", 1876 г., январь.

В. С. Соловьевъ. О философскихъ трудахъ П. Д. Юркевича. „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія", 1874 г., декабрь.

М. Антоновичъ. „Русская литература". Что иногда открывается въ либеральныхъ фразахъ. „Современникъ", 1859 г., сентябрь.

Его-же. „Современникъ", 1861 г., февраль. „Русская литература". Современная философія.—Тамъ-же, апрѣль. Два типа современныхъ философовъ.

П. Лавровъ. Современные германскіе тексты. „Русское Слово", 1859 г., іюль.

Его-же „Русское Слово“, 1860 г., сентябрь. Иностранная литература, стр. 61—84. Тамъ-же, октябрь. Что такое антропологія.

Его-же. „Русское Слово“, 1861 г., январь. „Русская литература“, по поводу сочиненія Ор. Новицкаго: Постепенное развитіе древнихъ философскихъ ученій въ связи съ развитіемъ языческихъ вѣрованій.

Его-же. Механическая теорія міра. «Отечественныя Записки», 1859 г., апрѣль.

Его-же. Иностранная литература. Современное состояніе психологіи. «Отечественныя Записки», 1860 г., апрѣль.

П. Л. Лавровъ. Три бесѣды о современномъ значеніи философіи. Спб., 1861 г.

Д. Писаревъ. Схоластика XIX вѣка, гл. VIII, IX, X. «Русское Слово», 1861, май.

П. Лавровъ. Моимъ критикамъ. «Русское Слово», 1861 г., іюнь и августъ.

«Современникъ», 1861 г., январь. «Русская литература», отзывъ о № 1 «Времени», стр. 83—90.—Тамъ-же, «Свистокъ», № 7. Гимнъ «Времени».

М. Антоновичъ. «Русская литература». О Гегелевской философіи. Тамъ-же, августъ.

Н. Кос. Объ индюшкахъ и о Гегелѣ. «Время», 1861 г., сентябрь.

«Время» 1861 г., январь. Рядъ статей о русской литературѣ, введеніе.—Февраль. Рядъ статей о русской литературѣ. Г. Бовъ и вопросъ объ искусствѣ. — Мартъ. О постепенномъ, но быстромъ и повсемѣстномъ распространеніи невѣжества и безграмотности въ россійской словесности. «Свистокъ» и «Русскій Вѣстникъ».—Май. Отвѣтъ «Русск. Вѣстнику» —Іюль. Рядъ статей о русской литературѣ. Книжность и грамотность.—Августъ. Нѣчто о полемикѣ (Письмо въ редакцію «Времени»).—Октябрь. По поводу элегической замѣтки «Русскаго Вѣстника».—Ноябрь. Рядъ статей о русской литературѣ. Газета «День».—Декабрь. Объявленіе объ изданіи журнала въ 1862 г.

«Время», 1862 г., январь. *Н. Косичъ.* Примѣръ апатіи. — Февраль. Два лагеря теоретиковъ. Девятнадцатый нумеръ «Дня». Микроскопическія наблюденія К. Н. — Мартъ. Н. А. Добролюбовъ, по поводу перваго тома его сочиненій.

Н. Косица. Нѣчто объ опальномъ журналѣ. Тамъ-же, май.

Тамъ-же, декабрь. Литературная подпись, А. Скавронскаго.

Н. Щедринъ. Недавнія комедіи. I. Соглашеніе. II. Погоня за счастьемъ. „Время“, 1862 г., апрѣль.

„Время“, 1863 г., январь. Птицы, стихотвореніе Ѳ. Берга. Необходимое литературное объясненіе по поводу разныхъ хлѣбныхъ и нехлѣбныхъ вопросовъ.—Февраль. Молодое перо. – Мартъ. Опять молодое перо.

Русскій. Роковой вопросъ. Тамъ-же, апрѣль.

Полное собраніе сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго, 1883 г., т. I. Біографія, письма и замѣтки Ѳ. М. Достоевскаго съ приложеніями.

М. Антоновичъ. О почвѣ. Не въ агрономическомъ духѣ, а въ духѣ „Времени“. „Современникъ“, 1861 г., № 12.

Его-же. О духѣ „Времени“ и о г. Косицѣ, какъ наилучшемъ его выраженіи. „Современникъ“, 1862 г., апрѣль.

„Современникъ“, 1863 г., январь. Новыя книги. Литературная подпись.—Мартъ Наша общественная жизнь. Тревоги „Времени“.

„Искра“, 1860 г., № 49. Объявленіе о подпискѣ на „Время“ въ 1861 г.

„Искра“, 1863 г., № 7. Домашній театръ „Искры“. — Тамъ-же, № 34. Очерки прогресса.

„Русское Слово“, 1863 г., февраль. Хлѣбная критика „Времени“, Стараго Свистуна.—Тамъ-же, мартъ. Дневникъ Темнаго Человѣка.

„Московскія Вѣдомости“, № 109.

„Эпоха“, журналъ литературный и политическій, 1864, май. Господинъ Щедринъ

или расколъ въ нигилистахъ. — Тамъ-же, іюль. „Замѣтки Лѣтописца". Мракъ неизвѣстности. — Необходимое заявленіе, Ѳедора Достоевскаго. — Тамъ-же, августъ. „Замѣтки Лѣтописца". Полезное объясненіе.—Сентябрь. Чтобы кончить. Послѣднее объясненіе съ „Современникомъ".—Октябрь. „Замѣтки Лѣтописца". Послѣдніе два года въ петербургской журналистикѣ.

„Современникъ", 1864 г., май. „Литературныя мелочи". Стрижи, драматическая быль.

М. Антоновичъ. „Литературныя мелочи". Торжество ерундистовъ. „Современникъ" 1864 г., іюль.—Тамъ-же. Стрижамъ, посланіе оберъ-стрижу, господину Достоевскому. Постороннаго Сатирика, автора Стрижей. — Августъ. „Литературныя мелочи". Вопросъ, обращенный къ Стрижамъ. — Сентябрь. Литературныя мелочи. Стрижи въ западнѣ, Постороннаго Сатирика. — Октябрь. Литературныя мелочи. Къ читателю. Любовное объясненіе съ „Эпохою". Неодобрительныя средства „Эпохи". Сущность и характеръ „Эпохи". Дѣла редакціи „Эпохи". Послѣсловіе.

М. Антоновичъ. Асмодей нашего времени „Современникъ", 1862 г., мартъ.

„Отечественныя Записки" 1862 г., февраль. *П. Прогрессистовъ.* Письма объ изученіи безобразія.—Тамъ-же, мартъ, апрѣль. Современная хроника Россіи.—Май. Современная хроника Россіи (Реакція противъ Базаровщины, отсутствіе вождей въ партіи передовыхъ, случайности, брызги, шероховатости, Умовскій и пр.).—Іюнь (О прекращеніи на 8 мѣсяцевъ „Современника" и „Русскаго Слова" и пріостановкѣ „Дня"). — Сентябрь. Современная хроника Россіи (Положеніе обозрѣвателя становится затруднительнымъ).—Октябрь. Современная хроника Россіи.—Ноябрь. Современная хроника Россіи (Громека обращается къ цензурѣ съ нѣсколькими словами, давно лежащими у него на душѣ. Несправедливость, невозможность и вредность преслѣдованія нигилизма).

„Современникъ", 1863 г., № 1—2. Литературный кризисъ. *М. Антоновича.*—Петербургскіе театры.—Краткій обзоръ журналовъ за истекшіе восемь мѣсяцевъ.—„Внутреннее Обозрѣніе".—Наша общественная жизнь.—*А. М. Унковскій.* Новыя основанія судопроизводства. — Мартъ. Наша общественная жизнь. — Неуваженіе къ наукѣ. *М. Антоновича.* — Апрѣль. Наша общественная жизнь.—„Свистокъ" № 9.—Май. Наша общественная жизнь.—Августъ. Въ деревнѣ.—Сентябрь. Наша общественная жизнь. — Ноябрь. Наша общественная жизнь. — Декабрь. Наша общественная жизнь.

„Современникъ", 1864, январь. Наша общественная жизнь. — Февраль. Наша общественная жизнь.—Мартъ. Наша общественная жизнь („мальчики", „вислоухіе", „юродствующіе").—Апрѣль. Современные романы.—Октябрь. Вопросъ, обращенный къ „Русскому Слову" *Постороннаго Сатирика*.—Декабрь. „Русскому Слову" (предварительныя объясненія).—Письмо въ редакцію М. Салтыкова.

„Современникъ", 1865 г., январь. Литературныя мелочи („Русскому Слову". Денежное несчастіе съ г. Благосвѣтловымъ, Постороннаго Сатирика.—„Отвѣтъ на вопросъ", письмо въ редакцію Д. Минаева). — Февраль. Добросовѣстные мыслители и недобросовѣстные журналисты. — Промахи, *М. Антоновича.*—Литературныя мелочи (Глуповцы въ „Русскомъ Словѣ"), *Постороннаго Сатирика.*—Мартъ. Современная эстетическая теорія (по поводу втораго изданія трактата Чернышевскаго „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности"). *М. Антоновича.* — Литературныя мелочи (Варскіе лакеи въ „Русскомъ Словѣ". Г. Зайцеву). *Постороннаго Сатирика.*—Письмо въ Редакцію „Современника" Варвары Писаревой.

М. Антоновичъ. Промахи. Тамъ-же, апрѣль. — Май. Литературныя мелочи (къ читателямъ). *Постороннаго Сатирика.*—Іюнь. Литературныя мелочи (ученыя при-

страстія по поводу брошюры Кавелина: „Мысли о современныхъ научныхъ направленіяхъ“). Мораль г. Краевскаго. Заключеніе.

М. Антоновичъ. Лже-реалисты. Тамъ-же, іюль.

Тамъ-же, августъ. Итоги.

В. Зайцевъ. Глуповцы въ „Современникѣ“.—Цвѣты невиннаго юмора. *Д. Писарева.* „Русское Слово“, 1864 г., февраль. — Тамъ-же, апрѣль. Кающійся, но не разкаявшійся фельетонистъ „Современника“.—Сентябрь. Нерѣшенный вопросъ (статья первая).—Октябрь. Нерѣшенный вопросъ (статья вторая).—Отвѣтъ „Современнику“.—Ноябрь. Нерѣшенный вопросъ (статья третья).—Декабрь. Г. Постороннему Сатирику.

Г. Е. Благосвѣтловъ. „Русское Слово“, 1865 г., январь. Буря въ стаканѣ воды, или копѣечное великодушіе г. Посторонняго Сатирика.

Тамъ-же, февраль. Г. Постороннему и всякимъ прочимъ Сатирикамъ.—Нѣсколько словъ г. Антоновичу. *В. Зайцева.*—Послѣднее объясненіе съ г. Посторонними Сатириком „Современника“. *Г. Благосвѣтлова.*

Д. Писаревъ. Прогулка по садамъ россійской словесности. Тамъ-же, мартъ.

Его-же. Разрушеніе эстетики. „Русское Слово“ 1865, май.

Д. Писаревъ. Посмотримъ. „Русское Слово“ 1865 г., сентябрь.

Отъ издателя. Тамъ-же, сентябрь.

Тамъ-же, ноябрь. Въ отмѣну объявленія „Русскаго Слова“. *Николая Соколова* и *Варфоломея Зайцева.*—Отвѣтъ Н. Благовѣщенскаго и г. Благосвѣтлова и проч.

„Отечественныя Записки“, 1863 г., мартъ. Современная хроника Россіи.

Тамъ-же, май. Замѣтка для редакціи „Современника“.

„Отечественныя Записки“, 1864 г., іюнь. Начало конца. Очеркъ съ претензіей, вызванный расколомъ въ нигилизмѣ. Incognito.

Провинціалъ. Покорнѣйшая просьба (письмо въ редакцію). Тамъ-же, сентябрь.

Тамъ-же, октябрь. Опытъ о добродѣтели въ полемикѣ. Incognito.

„Отечественныя Записки“, 1865 г., іюль. Книжка первая. Verba novissima. Incognito.

„Современная Лѣтопись“, 1864 г.. № 2. Романъ на берегахъ Невы.

„День“, 1865 г. Журнальныя замѣтки. Н. Б. №№ 17, 27, 30 и 40.

„Космосъ“, 1869 г. № 4. Фельетонъ. Журнально-научное обозрѣніе (Литературное лицемѣріе „Отечественныхъ Записокъ“).

Тамъ-же, № 8. Журнально-научное обозрѣніе. (Литературная недобросовѣстность).

И. Рождественскій. Литературное паденіе. С.-Петербургъ. 1869.

М. Антоновичъ. Матеріалы для характеристики современной русской литературы. Литературное объясненіе съ Н. А. Некрасовымъ. Спб. 1869.

СТАТЬЯ I.

Чернышевскій и Юркевичъ.

Н. Г. Чернышевскій. — Антропологическій принципъ въ философіи. — Возраженія Юркевича. — Жюль Симонъ, Шопенгауэръ, Миллъ, Прудонъ въ изображеніи Чернышевскаго. — Катковъ. — „Полемическія красоты". — Схватка съ „Отечественными Записками".—Писаревъ.

I.

Теперь мы должны разсмотрѣть литературный эпизодъ, разыгравшійся въ журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ и въ теченіе довольно долгаго времени волновавшій общественное мнѣніе читающей публики. Въ этомъ эпизодѣ встрѣтились два враждебныхъ философскихъ теченія, въ борьбѣ которыхъ побѣда склонилась въ пользу направленія, начатаго Бѣлинскимъ въ послѣднемъ періодѣ его литературной дѣятельности, прославленнаго Чернышевскимъ и Добролюбовымъ и достигшаго особенно яркаго выраженія въ критическихъ статьяхъ Писарева. Мы говоримъ о событіи, въ которомъ главную роль игралъ Чернышевскій, руководитель важнѣйшихъ отдѣловъ «Современника», авторъ многочисленныхъ публицистическихъ и философскихъ статей, возбуждавшихъ рѣзкіе, бурные споры на страницахъ московскихъ и петербургскихъ изданій. Соединяя въ себѣ разнороднее образованіе и начитанность съ выдающимся талантомъ, фанатическую убѣжденность ученаго протестанта съ даромъ пылкаго оратора на политическія темы, Чернышевскій очень скоро сталъ во главѣ движенія, которому суждено было имѣть рѣшительное вліяніе на всю дальнѣйшую исторію русскаго журнализма вплоть до нашихъ дней. Въ томъ лагерѣ, къ которому принадлежалъ Чернышевскій, не было человѣка, равнаго ему по смѣлости мысли, по энергіи сектантской страсти, придававшей могучую силу его лучшимъ и наиболѣе важнымъ статьямъ. Онъ былъ ярче и виднѣе многихъ современныхъ ему журналистовъ. Своимъ необычайнымъ упорствомъ въ извѣстныхъ литературныхъ симпатіяхъ и

антипатіяхъ, своею дерзостною рѣшимостью затѣвать самыя опасныя сраженія, преслѣдовать соперника всѣми возможными средствами, то раззадоривая его злою шуткою, то побивая его ловкими доказательствами и неожиданными, сенсаціонными сопоставленіями, онъ производилъ впечатлѣніе самого выдающагося человѣка эпохи. Фанатикъ по натурѣ, онъ съ необузданною жестокостью нападалъ на сильнѣйшихъ и талантливѣйшихъ своихъ противниковъ. Статьи его шумѣли на всѣхъ путяхъ и перекресткахъ русской жизни, зажигая вокругъ него все, что было молодо, все, что умѣло пылко откликаться на всякое энергичное слово. Въ печати никто не умѣлъ побѣдить Чернышевскаго. Его либеральные оппоненты казались, по сравненію съ нимъ, лишь слабыми и нерѣшительными выразителями давно назрѣвшихъ умственныхъ потребностей. Въ обществѣ его репутація, съ каждой новой его статьею, быстро росла и выростала до степени авторитетной значительности и даже славы. Несмотря на грубый стиль, на распущенность и безпорядочность ненужныхъ, не относящихся къ дѣлу, авторскихъ признаній и изліяній, статьи его и теперь еще производятъ эффектное впечатлѣніе. Научныя доказательства, приводимыя съ диктаторскою увѣренностью, вдругъ смѣняются у него задорнымъ объясненіемъ съ публикою, иногда на чистоту, иногда въ очень темныхъ и странныхъ выраженіяхъ, скрывающихъ въ себѣ какіе-то непредвидѣнные намеки и тревожныя указанія. Чернышевскій — какъ никто до и послѣ него — умѣлъ съ особенною, фамильярною развязностью вовлекать читателя въ журнальный споръ, открыто потѣшаясь надъ его наивностью, надъ его пристрастіемъ къ систематическимъ разсужденіямъ, надъ его безволіемъ въ дѣлахъ, требующихъ рѣшительности и иниціативы. Вырвавшись изъ стѣснительныхъ рамокъ приличія и послѣдовательности, публицистическое краснорѣчіе Чернышевскаго льется бурнымъ потокомъ. Ученые силлогизмы перемѣшиваются съ посторонними соображеніями, требующими къ себѣ вниманія впереди всякихъ теоретическихъ и схоластическихъ споровъ по праву вопросовъ высшаго, экстреннаго порядка. Полемическіе удары сыплются въ разныхъ направленіяхъ. Духъ, жаждущій свободы, но еще не владѣющій своими силами, безпорядочно мечется отъ предмета къ предмету, облекаясь странными, неожиданными формами... И никто не возразитъ по существу. Никто не покажетъ на дѣлѣ, что есть другіе методы литературной агитаціи въ интересахъ истинной культуры и просвѣщенія. Всѣ либералы съ радикальнымъ оттѣнкомъ идутъ въ своихъ пріемахъ по слѣдамъ Чернышевскаго, а все то, что выступаетъ изъ русла, прорытаго «Современникомъ», что стремится къ умственному свѣту и свободѣ собственными путями, мало-по-малу признается явленіемъ, чуждымъ лучшимъ задачамъ человѣческой жизни. «Современникъ» становится единственнымъ авторитетнымъ органомъ русскаго прогресса.

II.

Обратимся-же къ эпизоду, о которомъ мы говорили, раскроемъ книги старыхъ журналовъ, отразившихъ въ себѣ вѣяніе эпохи. Шагъ за шагомъ прослѣдимъ всѣ нити событія, съ которымъ связано имя Чернышевскаго въ періодъ наиболѣе полнаго расцвѣта его умственныхъ силъ, въ періодъ, когда «Современникъ», несмотря на смерть Добролюбова, высоко поднимался надъ прочими журналами въ общественномъ мнѣніи Россіи.

Въ апрѣльской и майской книгахъ «Современника» за 1860 годъ была напечатана статья подъ очень смѣлымъ заглавіемъ: «Антропологическій принципъ въ философіи». Статья эта появилась безъ всякой подписи, но публика, знакомая съ журналомъ, знавшая наперечетъ всѣхъ его выдающихся сотрудниковъ, не могла, конечно, приписать ее никому, кромѣ Чернышевскаго. Все выдавало въ ней его авторство. Этотъ разгульный слогъ, съ явными признаками преднамѣренной небрежности и презрительной ненависти ко всякимъ филигранным украшеніямъ, эти яркіе огоньки, постоянно зажигающіеся посреди отвлеченныхъ разсужденій и бросающіе рѣзкій свѣтъ на политическую тенденцію автора, этотъ духъ смятенія и страсти, толкающій писателя въ различныя стороны и не дающій ему возможности сосредоточиться на главномъ предметѣ статьи, эти непрекращающіеся взрывы полемическаго хохота, оглушающіе читателя при переходѣ отъ одной категоріи доказательствъ къ другой—ничто не оставляло сомнѣнія въ томъ, кто авторъ этой смѣлой статьи подъ кричащимъ философскимъ заглавіемъ. Это — Чернышевскій. Никто, кромѣ Чернышевскаго, не могъ разразиться такими бурными разсужденіями въ защиту «точной науки», въ пользу реализма и матеріализма. Ничья діалектика не отличалась такою стремительностью и не сверкала искрами такого безпощаднаго, хотя и чрезмѣрно бравурнаго остроумія. Судя по заявленіямъ современной печати, статья эта произвела огромное впечатлѣніе на русское общество. Если «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности», появившіяся въ 1855 году, разъ навсегда покончили съ нѣкоторыми «праздными» вопросами въ области литературной критики, то «Антропологическій принципъ въ философіи» водворялъ твердую положительную науку въ умахъ передовыхъ людей и производилъ рѣшительную ликвидацію устарѣвшихъ, ни къ чему болѣе непригодныхъ идей и понятій метафизики. Чернышевскій съ богатырскою силою привелъ къ единству спорные вопросы отвлеченной мысли и, смѣло разсѣявъ туманъ прошедшихъ схоластическихъ разсужденій, показалъ всѣ метафизическія сомнѣнія и колебанія въ яркомъ свѣтѣ здраваго смысла. На немногихъ страницахъ символъ новой вѣры

изложенъ у него съ подкупающею ясностью, въ популярныхъ выраженіяхъ, доступныхъ среднему уму съ самымъ ограниченнымъ образованіемъ.

Оставивъ пока безъ вниманія постороннія разсужденія автора, отнимающія у статьи характеръ стройнаго и цѣльнаго научнаго изслѣдованія, передадимъ въ сжатыхъ фразахъ ея главное содержаніе, ея руководящую мысль. Чернышевскій хотѣлъ-бы явиться на русской почвѣ реформаторомъ нравственныхъ наукъ подъ знаменемъ новѣйшаго естествознанія. Еще недавно, говоритъ онъ, эти науки не могли имѣть опредѣленнаго характера. Отсутствіе положительнаго метода дѣлало всѣ ихъ выводы фантастичными и ничтожными въ глазахъ серьезныхъ людей. Теперь положеніе дѣлъ измѣнилось. Естественныя науки, развившись изъ жалкаго положенія до великаго совершенства, до ученаго богатства, до умственной знатности, даютъ обильный матеріалъ для окончательнаго рѣшенія наиболѣе важныхъ нравственныхъ вопросовъ [1]). Всѣ передовые люди стали разрабатывать философскія науки при помощи точныхъ пріемовъ, «подобныхъ тѣмъ, по какимъ разрабатываются естественныя науки» и, благодаря ихъ усиліямъ, современная психологія, современное ученіе о теоретическихъ и практическихъ способностяхъ человѣка выходитъ изъ прежней своей научной нищеты на широкую дорогу плодотворныхъ изысканій. Самые важные вопросы нравственнаго характера потеряли свою трудность для нынѣшнихъ мыслителей и «*чрезвычайно легко* разрѣшаются несомнѣннымъ образомъ при *первомъ* прикосновеніи къ нимъ могущественныхъ средствъ научнаго анализа», а теоретическіе вопросы, остающіеся неразрѣшенными при современномъ состояніи нравственныхъ наукъ, вообще таковы, «что даже не приходятъ въ голову почти никому, кромѣ спеціалистовъ» [2]). Таково основное убѣжденіе Чернышевскаго. Высокое развитіе естествознанія внесло живой духъ въ тѣ сферы, въ которыхъ до тѣхъ поръ царили произвольныя догадки, не дававшія точныхъ положеній. Примкнувши къ естественнымъ наукамъ, философія пріобрѣтетъ настоящій матеріалъ для своего анализа и придетъ къ заключеніямъ, которыя не будутъ противорѣчить положительнымъ выводамъ эмпирическаго изслѣдованія. «Основаніемъ для той части философіи, которая разсматриваетъ вопросы о человѣкѣ, говоритъ Чернышевскій,— точно такъ-же служатъ естественныя науки, какъ и для другой части, разсматривающей вопросы о внѣшней природѣ» [3]). Новаго содержанія, съ самобытными, ему одному принадлежащими признаками, философія не имѣетъ. Она идетъ по слѣдамъ естествознанія, дублируя его заключенія, повторяя собственными словами имъ добытые, неопровержимые

[1]) «Современникъ», 1860, май, *Антропологическій принципъ*, стр. 3, 5.

[2]) Ibidem, стр. 10.

[3]) «Современникъ», 1860, апрѣль, стр. 349.

законы. Естественныя науки выработали идею объ единствѣ человѣческаго организма,—и вотъ философское воззрѣніе на человѣка, пересказывая выводы медицины, физіологіи и химіи, устраняетъ всякую мысль о двойственности человѣческой природы. Философія не можетъ противорѣчить наблюденіямъ физіологовъ, зоологовъ и медиковъ. Положительныя науки доказываютъ, что никакого дуализма въ человѣкѣ нѣтъ, а философія прибавляетъ, «что если бы человѣкъ имѣлъ, кромѣ реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непремѣнно обнаруживалась бы въ чемъ-нибудь» [1]). На этихъ предварительныхъ соображеніяхъ воздвигается цѣлая философская постройка. Откинувъ отъ себя все то, что можетъ шокировать убѣжденнаго прогрессиста начала шестидесятыхъ годовъ и слегка поглумившись надъ разными техническими трудностями науки, интересными только для ученыхъ спеціалистовъ, Чернышевскій энергично приступаетъ къ разрѣшенію коренныхъ вопросовъ психологіи и морали. Новое міровоззрѣніе развертывается въ игривыхъ фразахъ, перемежающихся съ очень смѣлыми изрѣченіями реалистическаго характера. Географія, химія, зоологія на каждомъ шагу снабжаютъ автора неисчерпаемымъ запасомъ примѣровъ, объясняющихъ и освѣщающихъ труднѣйшіе вопросы такъ называемой внутренней жизни человѣка. Неожиданные парадоксы, въ стилѣ передовыхъ идей вѣка, кружатся вихремъ предъ читателемъ, разсѣивая его вниманіе въ различныя стороны. Бурное краснорѣчіе разсыпается въ рискованныхъ параллеляхъ между явленіями человѣческаго духа и функціями организма. Все разсужденіе съ лихорадочною быстротою стремится къ своимъ окончательнымъ выводамъ, не пренебрегая рискованными скачками, не развлекаясь никакими систематическими объясненіями.

Вооружившись положительными знаніями, Чернышевскій въ слѣдующихъ разсужденіяхъ передаетъ намъ свой философскій взглядъ на человѣка. Физіологія и медицина находятъ, говоритъ онъ, что человѣческій организмъ есть не что иное, какъ «очень многосложная, химическая комбинація, находящаяся въ очень многосложномъ химическомъ процессѣ, называемомъ—жизнью» [2]). Физіологія — отрасль химіи, видоизмѣненіе химіи — сама выдѣлила изъ себя новыя части, которыя разрабатываются болѣе или менѣе самостоятельно для удобства изученія. «Физіологія раздѣляетъ многосложный процессъ, происходящій въ живомъ человѣческомъ организмѣ, на нѣсколько частей, изъ которыхъ самыя замѣтныя: дыханіе, питаніе, кровообращеніе, движеніе, ощущеніе». Нѣкоторые изъ этихъ отдѣловъ обладаютъ уже огромнымъ запасомъ свѣдѣній и наблюденій, другіе страдаютъ еще многими важ-

[1]) «Современникъ», 1860, апрѣль, стр. 349.

[2]) Ibidem, май, стр. 16.

ными пробѣлами. Наименѣе разработанную область научныхъ знаній представляетъ тотъ отдѣлъ физіологіи, которому усвоено названіе психологіи, но и онъ уже, при здравомъ пользованіи научнымъ методомъ, можетъ выставить рядъ несомнѣнныхъ истинъ, имѣющихъ серьезное значеніе. Психологія знаетъ, что человѣкъ поступаетъ дурно «почти только тогда», когда онъ испытываетъ горькую нужду. Благодаря психологіи, мы съ увѣренностью можемъ сказать, что въ случаѣ неурожая число преступленій непремѣнно возростетъ. Психологія раздѣляетъ человѣческія потребности на различныя категоріи, сообразуясь съ ихъ важностью для жизненнаго процесса, и твердо устанавливаетъ, что «послѣ потребности дышать самая настоятельная потребность человѣка—ѣсть и пить» [1]). Но если, однако, мы не можемъ съ помощью современной индукціи говорить о нѣкоторыхъ, еще необслѣдованныхъ сторонахъ органической жизни, то, опираясь на положительный анализъ другихъ *извѣстныхъ* явленій, мы въ правѣ сдѣлать о нихъ рядъ отрицательныхъ выводовъ, имѣющихъ большую важность во всѣхъ наукахъ вообще и въ наукахъ нравственныхъ въ особенности. Мы знаемъ, въ чемъ состоитъ питаніе, и вотъ мы можемъ уже съ нѣкоторою достовѣрностью сказать, въ чемъ состоитъ ощущеніе: «питаніе и ощущеніе такъ тѣсно связаны между собою, что характеромъ одного опредѣляется характеръ другого». Такія заключенія о неизвѣстныхъ частяхъ по извѣстнымъ имѣютъ полную логическую силу и оправдываются слѣдующимъ общимъ силлогизмомъ: «*а* тѣсно связано съ *х*, *а* есть *в*—изъ этого слѣдуетъ, что *х* не можетъ быть ни *с*, ни *д*, ни *е* [2])». Такія заключенія уничтожаютъ въ области психологіи и метафизики всѣ тѣ ошибки, которыя гибельно отражались на ихъ историческомъ развитіи. Не покидая метода точныхъ наблюденій и отрицательныхъ выводовъ и строго держась тѣхъ положительныхъ истинъ, которыя добыты химіей, физіологіей и медициной, наука о человѣкѣ рано или поздно займетъ равноправное положеніе со всѣми другими точными дисциплинами и выстроитъ цѣлую систему понятій, отличающихся высшею достовѣрностью—въ духѣ математики и естествознанія. То, что намъ теперь кажется неяснымъ въ душевной жизни человѣка, отчетливо обрисуется въ будущихъ успѣхахъ химіи и физіологіи. Грани, раздѣляющія внѣшнюю и внутреннюю человѣческую природу, сотрутся и исчезнутъ въ потокѣ новыхъ научныхъ открытій. Надо только крѣпко держаться основного принципа естествознанія, не отходя отъ него ни на шагъ, не забывая его, какъ важную научную аксіому, при изслѣдованіи самыхъ отвлеченныхъ понятій, при изученіи

[1]) „Современникъ", 1860, май, стр. 13.

[2]) Ibidem, стр. 18, и «Современникъ», апрѣль, стр. 360, 362.

сложнѣйшихъ душевныхъ явленій. На всѣхъ ступеняхъ критическаго изученія, при каждомъ частномъ анализѣ человѣческой природы надо помнить верховную истину, открытую естественными науками: натура человѣка едина, несмотря на разнообразіе силъ и качествъ, въ которыхъ она проявляется. Каждый предметъ можетъ стать причиною различныхъ событій. Дерево ростетъ и горитъ — въ чемъ сходство между этими явленіями? Ледъ твердъ и блестящъ — что общаго между твердостью и блескомъ? Человѣкъ ходитъ и думаетъ — въ какихъ отношеніяхъ находятся между собою движеніе и мышленіе? «Логическое разстояніе отъ одного изъ этихъ качествъ до другого, говоритъ Чернышевскій, безмѣрно велико, или, лучше сказать, нѣтъ между ними никакого, близкаго или далекаго, логическаго разстоянія, потому что нѣтъ между ними никакого логическаго отношенія» [1]). Но несходныя въ своихъ внѣшнихъ проявленіяхъ, эти разнородныя качества и свойства рождаются изъ одного и того-же матеріальнаго начала «при напряженіи или ослабленіи энергичности въ его дѣйствованіи». Вода можетъ явиться предъ нами въ трехъ несходныхъ состояніяхъ — въ видѣ льда, жидкости и пара, но нѣтъ сомнѣнія, что въ этихъ, столь отличныхъ другъ отъ друга, обнаруженіяхъ одно и то же качество приняло три отдѣльныя формы, раздѣлилось на три качества по различію количественныхъ отношеній. Движеніе и мышленіе — варіанты одной и той же силы, варіанты, въ которыхъ количественное различіе перешло въ различіе качественное [2]). Самостоятельныхъ областей въ природѣ не существуетъ: только незнающему человѣку можетъ представляться, что камень самъ по себѣ, а растеніе, животное и человѣкъ — тоже сами по себѣ. Только невѣжественному человѣку неизвѣстно, что эти различные предметы «состоятъ изъ одинаковыхъ частей, соединившихся по однимъ и тѣмъ же законамъ въ разной пропорціи». Царство неорганической природы такъ относится къ растительному царству, какъ маленькая травка относится къ огромному дереву. Всѣ животные организмы начинаютъ съ того же самаго, съ чего начинаетъ растеніе [3]). Во всѣхъ сферахъ жизни господствуютъ одни и тѣ же законы, однѣ и тѣ же—по типу, по основнымъ своимъ свойствамъ—химическія комбинаціи, и человѣкъ не занимаетъ въ этомъ отношеніи никакого привилегированнаго положенія. Его мышленіе, его нравственные инстинкты, вся его психологія только количественно отличается отъ внутреннихъ свойствъ животнаго. Медвѣдь умѣетъ плясать и выкидывать разныя штуки. Слоны выучиваются ходить по канату. Рыбы собираются въ данное мѣсто по звонку. Собака подаетъ поноску. У

[1]) „Современникъ", апрѣль, стр. 351.

[2]) Ibidem, стр. 352.

[3]) Ibidem, стр. 357, 358; май, стр. 23.

животныхъ нельзя отрицать ни памяти, ни воображенія, ни мышленія, ибо у нихъ есть нервы и нервная дѣятельность. Птица и собака помнятъ пережитыя впечатлѣнія. Кошка фантазируетъ, и во снѣ она похожа на лунатика. Курица думаетъ. Процессъ, происходившій въ нервной системѣ Ньютона при открытіи закона тяготѣнія, только въ количественномъ смыслѣ отличается отъ того, что происходитъ въ нервной системѣ курицы, «отыскивающей овсяныя зерна въ кучѣ сора и пыли». Размѣръ процесса не одинаковъ, но сущность его въ томъ и другомъ случаѣ та-же самая. Не надо обижать никого,—говоритъ Чернышевскій. Мы нанесли-бы животнымъ оскорбленіе, если-бы отказали имъ въ нѣкоторыхъ почетныхъ качествахъ, свойственныхъ будто-бы только человѣку. Рутинеры утверждаютъ, что животныя имѣютъ сознаніе, но не обладаютъ самосознаніемъ. Однако, прикоснувшись точнымъ анализомъ къ факту ощущенія, легко замѣтить, что такое мнѣніе о животномъ умѣ основано на жалкомъ предразсудкѣ. Рутинеры утверждаютъ, что у животныхъ нѣтъ тѣхъ чувствъ, которыя называются возвышенными, безкорыстными, идеальными. Но прикоснувшись точнымъ анализомъ и къ этой сторонѣ жизненнаго процесса, не трудно замѣтить несообразность такого мнѣнія съ общеизвѣстными фактами. Привязанность собаки вошла въ пословицу. Лошадь проникнута честолюбіемъ до того, что, разгорячившись, обгоняетъ другую лошадь, не понуждаемая къ тому ни хлыстомъ, ни шпорами. Животныя знаютъ родство, основанное на чувствѣ благорасположенія. Насѣдка, высидѣвшая цыплятъ изъ яицъ, снесенныхъ другою курицею, любитъ ихъ, какъ гувернантка, какъ воспитательница и благодѣтельница... Нужны-ли болѣе яркія доказательства того, что между человѣкомъ и животнымъ—и въ сферѣ высшихъ духовныхъ способностей—разница только количественная, не имѣющая принципіальнаго характера? Нужны-ли еще параллели для объясненія того, что явилось передъ нами въ такихъ ясныхъ и всѣмъ извѣстныхъ примѣрахъ? Чернышевскій не любитъ пускаться въ спеціальныя научныя изслѣдованія. Свѣтлая мысль, выраженная въ легкой и общедоступной формѣ, брошена въ толпу и тамъ произведетъ необходимое прогрессивное броженіе. Въ тѣсно сплоченныхъ рядахъ единомышленниковъ новая идея будетъ встрѣчена съ энтузіазмомъ. О чемъ-же еще хлопотать? Къ чему задерживать вниманіе читателя утомительными объясненіями? Ради какой цѣли обременять молодые умы ненужными разсужденіями, когда можно, смѣло отшвырнувъ отъ себя всякаго рода техническіе вопросы, быстро, какъ на лихомъ скакунѣ, обогнать разныхъ педантовъ науки, тяжеловѣсно ковыляющихъ по гладкому пути русскаго прогресса? И дѣйствительно, съ необычайною легкостью покончивъ съ вопросомъ о различіи между животнымъ и человѣкомъ, Чернышевскій на нѣсколькихъ послѣднихъ страницахъ статьи показываетъ намъ низменное происхожденіе всѣхъ нравственныхъ чувствъ.

Съ тою-же самоувѣренностью, съ какою написано все изслѣдованіе, онъ срываетъ сценическія мантіи, прикрывающія истинную природу моральнаго чувства. Нота юношески-задорнаго реализма страстно звучитъ въ его разсужденіяхъ объ альтруизмѣ, о подвигахъ самоотверженія, несмотря на ихъ научную и философскую нищету, на полное отсутствіе въ нихъ какихъ-нибудь серьезныхъ логическихъ доводовъ. Движеніе сильной души, сплюснутой условіями быта, но рвущейся на жизненный просторъ, слышится въ этихъ отрывочныхъ фразахъ, перескакивающихъ отъ одного неудачнаго примѣра къ другому, чтобы сдѣлать наглядным, доступнымъ осязанію то, что въ сущности постигается только разумомъ и нравственнымъ инстинктомъ. Практическая потребность широко размахнуться бушуетъ на всемъ пути доказательствъ, иногда прорываясь въ выраженіяхъ, производящихъ сильное впечатлѣніе. Отважному бойцу на русскомъ журнальномъ полѣ, идущему подъ знаменемъ реализма, казалось, что, развѣнчавъ природу самоотверженія, отнявъ у нея характеръ духовности и идеальности, связавъ задачу любви и подвига съ личнымъ стремленіемъ каждаго человѣка къ наслажденію и выгодѣ, можно будетъ сильнѣе и вѣрнѣе увлечь молодыя силы къ энергичному труду на общую пользу...

Вотъ содержаніе послѣднихъ страницъ въ разсматриваемой статьѣ. Всѣми дѣйствіями человѣка управляетъ эгоизмъ, и гипотеза о безкорыстной готовности людей служить чужому благу опровергается сотнями ежедневныхъ примѣровъ. Пристально всмотрѣвшись въ самыя возвышенныя человѣческія дѣла, представляющіяся актами самоотрицанія, мы всегда увидимъ въ ихъ основѣ неизбѣжную мысль о личной пользѣ, о личномъ удовольствіи. Всякое сильное горе имѣетъ эгоистическій характеръ. Никакая печаль не свободна отъ заботы о собственномъ благѣ. Въ самой искренней и нѣжной дружбѣ не трудно открыть эгоистическую основу. Нѣтъ безкорыстныхъ самопожертвованій. Жители Сагунта перерѣзались, чтобы не отдаться живыми въ руки Аннибала — «геройство, достойное удивленія, но совершенно одобряемое эгоистическимъ расчетомъ». Лукреція закололась, когда ее обезчестилъ Тарквиній, чтобы не быть предметомъ презрѣнія близкихъ людей. Если внимательно изслѣдовать побужденія, руководящія людьми, говоритъ Чернышевскій, всегда окажется, что всѣ ихъ хорошія и дурныя, геройскія и малодушныя дѣла, происходятъ изъ одного источника: человѣкъ поступаетъ такъ, какъ ему пріятнѣе. Онъ руководится расчетомъ, который велитъ ему отказываться отъ меньшей выгоды ради большей. Всѣ эти головоломные вопросы о томъ, добръ-ли вообще человѣкъ по природѣ или золъ, не имѣютъ никакого значенія. Множество людей потѣетъ надъ разрѣшеніемъ загадки, устарѣвшей для настоящаго времени, надъ объясненіемъ метафизическаго вопроса, самая постановка котораго компрометируетъ строго-научное мы-

шленіе. При первомъ приложеніи научнаго анализа «вся штука оказывается простою до крайности» [1]). Человѣкъ любитъ пріятное и не любитъ непріятнаго. Добръ тотъ, кто для полученія пріятнаго себѣ, дѣлаетъ пріятное другимъ, и золъ тотъ, кто извлекаетъ себѣ пріятность «изъ нанесенія непріятности другимъ». Тутъ некого и нечего бранить, тутъ некого и нечего хвалить: «все зависитъ отъ обстоятельствъ, отношеній». Добро есть польза, и если есть какая-нибудь разница между добромъ и пользою, то она заключается въ томъ, что понятіе добра особенно сильно выдвигаетъ «черту постоянства, прочности, плодотворности, изобилія хорошими, долговременными и многочисленными результатами». Добро— это какъ будто превосходная степень пользы, «это какъ будто очень полезная польза» [2]).

Таковъ истинно реалистическій взглядъ на моральную дѣятельность человѣка, на его нравственныя идеи и стремленія. Чернышевскій рѣшился говорить объ этихъ предметахъ «не въ реторическомъ слогѣ», а яснымъ языкомъ интеллигентнаго простонародья—тѣми словами, которыя обращаются на шумномъ базарѣ повседневныхъ интересовъ, отбросивъ всякую напыщенность и переведя всѣ свои соображенія въ область явленій простыхъ, натуральныхъ, всѣмъ извѣстныхъ и доступныхъ. Не желая рѣзать человѣческую жизнь на двѣ враждебныя половины и сводя всякую дѣятельность къ единому, матеріальному принципу, Чернышевскій естественнымъ образомъ пришелъ къ этой странной нравственной теоріи, представляющей поразительное смѣшеніе поверхностныхъ наблюденій съ наивными психологическими коментаріями. Трудно повѣрить, что человѣкъ положительнаго ума и выдающагося литературнаго таланта могъ договориться, въ порывѣ полемическаго увлеченія, до такихъ ограниченныхъ по существу и парадоксальныхъ по формѣ выраженія сентенцій, которыми испещрена послѣдняя часть статьи Чернышевскаго. Трудно повѣрить, что европейская теорія утилитаризма, обставленная сложными доводами, могла проявиться въ Россіи въ такомъ упрощенномъ, сбивчивомъ, почти карикатурномъ видѣ. Въ разсужденіяхъ Чернышевскаго нѣтъ никакой послѣдовательности. Примѣръ громоздится на примѣрѣ, нигдѣ не освѣщаясь настоящими, послѣдовательными логическими объясненіями. Въ мірѣ не оказывается ни одного безкорыстнаго поступка, и самый міръ этотъ обозрѣвается съ высоты матеріалистическихъ положеній, грубо и неискусно вырванныхъ изъ европейской философіи реализма. Только воспроизводя мысленно духъ времени, въ которое писалъ Чернышевскій, только представляя себѣ картину русской жизни, окружавшей современнаго писателя, ея разгоряченную

[1]) „Современникъ", май, стр. 11.

[2]) Ibidem, стр. 40.

атмосферу, ея пылкія надежды и ожиданія, только возстановляя всю перспективу прошедшей эпохи, съ ея свѣтлою гражданскою инціативою при глубокомъ невѣжествѣ массъ и диллетантской образованности интеллигентныхъ классовъ, можно дать надлежащую оцѣнку этой странной проповѣди морали и свободы безсильными средствами безжизненнаго и бездушнаго матеріализма. Надо было обладать большою умственною наивностью, чтобъ съ пафосомъ говорить почти ребяческія вещи о трудныхъ моральныхъ вопросахъ и вооружаться, по выраженію проф. Бестужева-Рюмина, дѣтскою пращею противъ настоящихъ Голіафовъ научнаго міра. Чернышевскій увѣренъ, что всѣ тѣ, которые думаютъ о нравственности не по его методу, держатся мертвой рутины. Всѣ трактаты о морали, написанные не въ томъ направленіи, которому онъ сочувствуетъ, должны быть признаны «такимъ-же хламомъ», какимъ оказались труды Эмина и Елагина по русской исторіи, труды Чулкова, труды Погодина и Шевырева. Изъ всѣхъ мыслителей прошедшаго времени Чернышевскій, по какой-то странной ассоціаціи идей и, безъ сомнѣнія, ошибочныхъ воспоминаній, готовъ признать только Аристотеля и Спинозу. Въ своемъ фантастическомъ представленіи о системахъ этихъ двухъ дѣйствительно великихъ творцовъ въ области человѣческой мысли, онъ полагаетъ, что, слѣдуя вышеописанному антропологическому принципу, онъ является ихъ продолжателемъ при новыхъ данныхъ положительнаго знанія. Онъ не видитъ, что всѣ его разсужденія о нравственныхъ наукахъ представляютъ въ дѣйствительности только школьный пересказъ того, о чемъ писалось въ его время нѣкоторыми западно-европейскими учеными и философами, но писалось съ огромными знаніями по литературѣ предмета. Чернышевскій не любитъ заглядывать въ старыя книги. Презирая всякія спеціальныя справки, онъ съ непоколебимою увѣренностью тасуетъ имена и системы, чтобы вслѣдъ затѣмъ, съ силою передового авторитета, продиктовать программу будущимъ движеніямъ философской мысли.

Статья Чернышевскаго написана по поводу брошюры Петра Лаврова, напечатанной въ 1860 году въ С.-Петербургѣ: «Очерки вопросовъ практической философіи». Чернышевскій признается, что онъ не читалъ большей части тѣхъ сочиненій, которыми пользовался авторъ, что ученой оцѣнки его брошюрѣ онъ дать не въ силахъ. Но, тѣмъ не менѣе, онъ считаетъ себя въ правѣ говорить съ апломбомъ о матеріалахъ, давшихъ Лаврову нѣкоторыя посылки для его собственныхъ философскихъ выводовъ. Лавровъ постоянно ссылается на политико-философскія сочиненія извѣстнаго французскаго писателя Жюля Симона. Направляясь къ своей цѣли, онъ часто цитируетъ его мнѣнія, соглашается съ ними, пополняетъ ихъ собственными замѣчаніями. Разсужденія Лаврова начинаются фразою, взятою изъ трактата Жюля Симона о свободѣ. Чернышевскій не

читалъ и никогда не будетъ читать никакихъ сочиненій французскаго ученаго. Слова, выписанныя Лавровымъ, привели его въ ужасъ. Жюль Симонъ говоритъ: «сочиненіе, относящееся къ политической теоріи и чуждое текущей политики, есть теперь почти новость». Этого десятка словъ достаточно, восклицаетъ Чернышевскій, чтобы съ полнымъ правомъ отрицать въ томъ, кто ихъ написалъ, всякое пониманіе «того порядка, по которому происходятъ всѣ дѣла на свѣтѣ и между прочимъ пишутся теоретическія сочиненія» [1]). Ученые трактаты должны писаться подъ диктовку текущихъ событій, должны служить отголосками исторической борьбы. Это—истина, которой не знаютъ и не признаютъ только «тупоумные» и «слѣпые» люди, только тѣ, которые отстали отъ современнаго прогресса. «Мы лишаемъ себя всякой надежды прочесть философскія сочиненія Жюля Симона», съ ехидствомъ замѣчаетъ Чернышевскій. Кто держится убѣжденія, сказавшагося въ той фразѣ, которая была сочувственно процитирована Лавровымъ, можетъ быть «добродѣтельнымъ семьяниномъ», «хорошимъ гражданиномъ», «пріятнымъ болтуномъ», но мыслителемъ онъ никогда не будетъ, «потому что у него въ головѣ нѣтъ логики» [2]).

Таковъ храбрый отзывъ Чернышевскаго о талантливомъ европейскомъ писателѣ. Не читая его сочиненій, не зная его теоретическихъ взглядовъ, судя о немъ только по газетнымъ и журнальнымъ отголоскамъ, онъ не колеблется, однако, произнести смертный приговоръ всему его ученію. Слѣдя изъ окна петербургской редакціи съ необычайной зоркостью за всѣмъ тѣмъ, что дѣлается на широкой европейской улицѣ, Чернышевскій не могъ, конечно, ошибаться въ своихъ рѣшительныхъ сужденіяхъ объ иностранныхъ политическихъ писателяхъ и дѣятеляхъ. Въ «Современникѣ» знали настоящую цѣну Монталамберу. Добролюбовъ превосходно освисталъ великаго Кавура. Чернышевскій, съ закрытыми глазами, какъ пиѳія, вдохновленная свыше, прозрѣлъ все то, что могъ писать о политическихъ вопросахъ недальновидный Жюль Симонъ. Съ такою безпощадностью могла дѣйствовать, конечно, только редакція «Современника», хорошо знавшая, что прогрессивному русскому обществу нравится этотъ слѣпой размахъ съ оглушительнымъ ударомъ по авторитетнымъ европейскимъ головамъ! Однако, Жюль Симонъ вовсе не такой наивный простакъ, какимъ онъ вышелъ въ изображеніи Чернышевскаго. Двадцати четырехъ лѣтъ отъ роду онъ уже читалъ лекціи по философіи въ Нормальной Школѣ и въ Сорбоннѣ. Онъ много трудился надъ изданіемъ сочиненій Декарта, Мальбранша, Боссюэта и Арно и самъ написалъ нѣсколько разсужденій по исторіи греческой философіи.

---

[1]) „Современникъ", апрѣль, стр. 330.

[2]) Ibidem, стр. 334.

Послѣ революціи 1848 года Жюль Симонъ былъ выбранъ депутатомъ въ учредительное собраніе, гдѣ онъ возражалъ Монталамберу, предлагавшему поручить общественное преподаваніе духовенству. Послѣ государственнаго переворота 2-го декабря Жюль Симонъ опять обратился къ своимъ научнымъ занятіямъ. Черезъ нѣкоторое время, по возстановленіи имперіи, онъ прекратилъ свои профессорскія занятія и окончательно вышелъ на путь литературнаго труда, прославившаго его имя далеко за предѣлами Франціи. Съ 1853 года онъ издалъ рядъ сочиненій, пользовавшихся громаднымъ успѣхомъ. Таковы его трактаты: «Долгъ», «Естественная религія», «Свобода совѣсти», «Свобода», «Рабочая женщина». Всѣ эти произведенія, проникнутыя искреннимъ стремленіемъ сдружить между собою умы, разъединившіеся и колеблющіеся, отличаются несомнѣнными литературными и философскими достоинствами. «Безъ гнѣва и запальчивости, писалъ въ 1861 году одинъ русскій журналистъ, знакомый съ этими сочиненіями, — онъ примиряетъ сомнѣвающихся, сближаетъ отщепенцевъ, собираетъ вокругъ знамени свободы всѣхъ не имѣющихъ никакого руководительства». Жюль Симонъ — писатель, который внушаетъ уваженіе къ своему слову, который говоритъ «отъ имени лучезарной свободы и высшей справедливости». Таковъ настоящій Жюль Симонъ, котораго Чернышевскій не зналъ, но котораго онъ все-таки осудилъ въ высокомѣрно пренебрежительныхъ фразахъ.

Лавровъ ссылается въ своей брошюрѣ иногда и на сочиненія Фрауэнштедта и Шопенгауэра, извлекая изъ нихъ то, что можетъ поддержать и укрѣпить его собственныя философскія соображенія. Чернышевскій, совершенно не подозрѣвая, что онъ высказываетъ сужденіе, представляющее безсмертный образчикъ скандальнѣйшаго непониманія въ такомъ вопросѣ, для уясненія котораго достаточно было научнаго чутья, съ неподражаемой наивностью замѣчаетъ: «по тѣмъ-же самымъ основаніямъ, которыя отнимаютъ у насъ возможность познакомиться съ сочиненіями Жюля Симона и Фихте-сына, мы не читали и не прочтемъ философскихъ сочиненій Шопенгауэра и Фрауштета. Они, *по всей вѣроятности*, прекрасные люди, но въ философіи они то же самое, что въ поэзіи К. Павлова» [1])...

Сочиненія Шопенгауэра не имѣютъ философскаго значенія! Шопенгауэръ—прекрасный человѣкъ, но плохой мыслитель! Шопенгауэръ мало понималъ въ философіи—Шопенгауэръ, въ критическихъ когтяхъ котораго философскія произведенія Чернышевскаго не прожили-бы больше нѣсколькихъ секундъ! Въ 1860 году имя Шопенгауэра уже гремѣло въ интеллигентныхъ кругахъ Европы. Въ Россіи были люди, хорошо знакомые съ его философскою системою. Петръ Лавровъ высоко цѣнилъ

[1]) „Современникъ“, апрѣль, стр. 333.

его титаническую силу, его могучій стиль, играющій яркими сравненіями и образами, то бьющій цѣлымъ ураганомъ острыхъ и мѣткихъ словъ, то сжато и смѣло передающій въ немногихъ словахъ, на пространствѣ полустраницы, смыслъ и значеніе труднѣйшихъ философскихъ теоремъ. Нельзя повѣрить, что талантливый и умный человѣкъ могъ рѣшиться на такую критическую безтактность, какую дозволилъ себѣ Чернышевскій по отношенію къ одному изъ величайшихъ мыслителей міра. Какимъ сатанинскимъ смѣхомъ разразился-бы Шопенгауэръ, если бы кто-нибудь сказалъ ему, что нашелся человѣкъ, который поставилъ его философскую дѣятельность на одну доску съ бездарными усиліями малоизвѣстной поэтессы. Шопенгауэръ не зналъ Россіи съ ея героями, стоящими на передовыхъ постахъ журналистики. Но ея умственная жизнь показалась-бы ему нищею, жалкою, мертвою. Шопенгауэръ сказалъ-бы, что общество, которымъ управляютъ люди безъ философскаго развитія, далеко не уйдетъ по пути прогресса, несмотря на всѣ свои передовыя стремленія, что безъ свѣта науки и мысли оно не разовьетъ своихъ лучшихъ силъ и дарованій, своихъ умственныхъ и политическихъ способностей. Въ литературныхъ произведеніяхъ, страдающихъ огромными логическими ошибками, онъ не призналъ-бы прогрессивнаго характера. Бѣшеннымъ свистомъ онъ отвѣтилъ-бы на рукоплесканія, которыми невѣжественное общество встрѣчаетъ задорныхъ журнальныхъ полемистовъ безъ капитальныхъ свѣдѣній въ области, сосредоточивающей въ себѣ главныя мѣрила и принципы всякой живой дѣятельности...

Лавровъ постоянно обращается къ сочиненіямъ Милля и въ особенности къ его трактату «On liberty». Онъ находитъ въ нихъ множество аргументовъ, превосходно защищающихъ его индивидуалистическую точку зрѣнія. Но Чернышевскій раздѣлывается съ англійскимъ писателемъ съ обычною простотою и быстротою. Правда, зная произведенія Милля, онъ не можетъ отказать ему въ уваженіи. Милль принадлежитъ къ разряду второстепенныхъ, но все-таки замѣчательныхъ писателей, «силу мысли которыхъ мы яснѣе всего опредѣлимъ, если скажемъ, что она такъ же велика, какъ, напримѣръ, сила поэтическаго таланта у лучшихъ изъ нынѣшнихъ нашихъ беллетристовъ». Милль—нѣчто въ родѣ Писемскаго въ области политической экономіи и философіи. Его несчастье въ его чрезмѣрной разсудительности. Онъ не знаетъ, что совершенно хладнокровно, спокойно, обдуманно дѣлаются только вещи, не слишкомъ важныя. Онъ не знаетъ, что гдѣ замѣшана страсть, тамъ обдуманность невозможна. Когда Милль высказываетъ опасенія за будущія судьбы Европы, Чернышевскій, разойдясь и въ этомъ отношеніи съ Лавровымъ, злостно бичуетъ его за малодушіе, политическую трусость и эгоистическое пристрастіе къ интересамъ собственнаго класса. Милль, который умѣетъ безтрепетно анализировать отвлеченныя понятія, го-

товъ отнестись съ осужденіемъ къ фактамъ жизни, соотвѣтствующимъ этимъ понятіямъ,—по личнымъ соображеніямъ, по чувству принадлежности къ сословіямъ, «ожидающимъ себѣ потерь отъ перемѣны, выгодной для всего общества...»

Чернышевскій обвиняетъ Милля въ отсутствіи гражданскаго мужества, въ политической трусости, въ готовности отстаивать эгоистическіе интересы своей среды, своего класса. Не подтвержденное никакими доказательствами, обвиненіе это, направленное противъ человѣка съ незапятнанной политической репутаціей, противъ мыслителя, вся жизнь котораго прошла въ серьезныхъ трудахъ, имѣющихъ громадное значеніе для образованныхъ людей всего міра, звучитъ какъ-то странно, непонятно, совершенно неожиданно. По собственному признанію Чернышевскаго, Милль умѣлъ безтрепетно анализировать отвлеченныя понятія. Въ его политическихъ и философскихъ убѣжденіяхъ видна большая логическая сила, двигающаяся къ свѣтлымъ цѣлямъ науки съ постоянною послѣдовательностью. Милль свободно критикуетъ факты жизни, никому не угождая, никого не опасаясь. Что-же помѣшало этому выдающемуся писателю обнаружить лучшія качества своего таланта тогда, когда онъ писалъ свой знаменитый трактатъ о свободѣ? Передъ какими выводами онъ отступилъ здѣсь изъ политической трусости, по недостатку той гражданской смѣлости, которою обладали петербургскіе прогрессисты? Чернышевскій приводитъ изъ сочиненія Милля только тѣ слова, которыя цитируетъ Лавровъ, и потому его замѣчанія объ этомъ превосходномъ трактатѣ отличаются особенною бездоказательностью. Между всѣми произведеніями Милля книга о свободѣ, несмотря на всю краткость и сжатость изложенія, должна быть признана замѣчательнымъ вкладомъ въ политическую литературу Европы. Нѣкоторыя страницы въ ней написаны съ поразительнымъ для Милля увлеченіемъ, съ чисто англійскимъ краснорѣчіемъ, свободнымъ отъ французской аффектаціи и нѣмецкой растянутости—твердыми, смѣлыми фразами, соединенными мощною и ясною мыслью. Прочтите ту главу, на которую постоянно ссылается Лавровъ: «Объ индивидуальности, какъ объ одномъ изъ элементовъ благополучія»[1])—и вы увидите, что говорить о политической трусости Милля нѣтъ никакой возможности. Съ проницательностью человѣка, умѣющаго разбираться въ сложныхъ культурныхъ и умственныхъ явленіяхъ, предугадывать будущія судьбы прогресса, онъ рѣшительно выступаетъ противъ европейскаго государственнаго и общественнаго режима, давящаго свободное развитіе личныхъ силъ, личныхъ талантовъ, всякую самобытность и индивидуальность. Современное направленіе общественной мысли, говоритъ онъ, можно

[1]) „On liberty“, people's edition, London 1890, Chapter III, of individuality, as one of the elements of well-being, стр. 32—43.

по праву упрекнуть въ яростной ненависти ко всему, что выходитъ изъ установленныхъ рамокъ, что не согласуется съ традиціонными умственными привычками и понятіями. Оригинальной личности нечѣмъ дышать. Въ политической жизни установился шаблонъ, обязательный для всѣхъ безъ исключенія. Деспотизмъ общепринятыхъ взглядовъ не даетъ пробиться свѣжимъ протестантскимъ силамъ, которыми управляется духовное развитіе народовъ. Люди всѣхъ классовъ, отъ высшихъ до низшихъ, живутъ подъ враждебнымъ надзоромъ общей цензуры, задача которой— установить однообразный этикетъ въ самыхъ различныхъ областяхъ соціальной дѣятельности. Человѣческая личность, затертая толпою, проявляется въ блѣдныхъ и малозначащихъ выраженіяхъ. Нужны люди, которые открывали-бы новыя истины, которые начинали-бы новую практику, которые давали-бы образцы болѣе возвышеннаго поведенія, лучшаго вкуса и лучшаго чувства жизни. Нужны борцы за свободное развитіе человѣка, презирающіе всякій застой въ умственной сферѣ, въ политическихъ симпатіяхъ. Такіе люди нужны каждой странѣ. Это—истинные герои свободы, это—соль земли, вѣчные прогрессисты, безъ которыхъ человѣческая жизнь превратилась-бы въ стоячее болото [1])...

Нельзя съ бо́льшею силою, съ бо́льшимъ гражданскимъ мужествомъ выразить свою любовь къ свободѣ. Въ словахъ и доводахъ Милля видна яркая нравственная идея, озаряющая политическія стремленія современнаго ему общества. Съ откровенностью человѣка, воспитаннаго въ свободѣ и для свободы, онъ рисуетъ надвигающуюся грозу государственности, взывая къ личной иниціативѣ людей энергичныхъ, способныхъ сопротивляться всякой рутинѣ, въ какой-бы формѣ она ни явилась. Послѣднія строки въ разсматриваемой главѣ проникнуты гражданскимъ настроеніемъ, къ какому привыкли только люди съ такимъ политическимъ прошлымъ, какъ англичане.

Но Чернышевскій смѣлъ и кратокъ въ своихъ приговорахъ. Мыслитель, выражающій несочувственныя ему политическія идеи, не заслуживаетъ никакой пощады. Съ нимъ можно бороться всѣми средствами. Ему можно дерзкою рукою швырнуть въ лицо два-три искаженныхъ или плохо понятыхъ факта, скрѣпленныхъ, по выраженію П. Лаврова, «эфемерною гипотезою», и тѣмъ доканать его окончательно въ глазахъ легковѣрныхъ людей. Съ нимъ нечего церемониться. Пусть въ Европѣ пишутся политическія сочиненія съ выдержанной логикой, съ широкою критикою сложныхъ явленій государственной и общественной жизни. Это не существенно. Въ петербургскихъ редакціяхъ новѣйшаго типа по этимъ сочиненіямъ пишутся компиляціи, съ жаромъ, съ пыломъ, съ

[1]) „On liberty", стр. 37. ...These few are the salt of the earth; without them, human life would become a stagnant pool.

вдохновеніемъ, бойкія компиляціи, въ которыхъ прогрессивные публицисты далеко опережаютъ европейскихъ авторовъ и, въ мѣстахъ противорѣчія съ ихъ взглядами, жестоко хлещутъ ихъ за отсталость, глумятся и издѣваются надъ ними — при дружественномъ грохотаніи смекающаго и все понимающаго передового общества.

Лавровъ ссылается часто съ большимъ сочувствіемъ на философскіе взгляды Прудона. Онъ видитъ въ немъ безстрашнаго человѣка науки, готоваго бороться противъ всѣхъ знаменъ, выбрасываемыхъ различными партіями, чтобы отстоять духъ независимости и свободы противъ всякихъ внѣшнихъ, деспотическихъ ограниченій. Никто не анализировалъ съ такою остротою идею справедливости, какъ Прудонъ. Никто не преклонялся такъ глубоко передъ ея величіемъ. Когда Прудонъ вышелъ на чистый воздухъ науки, «вооруженный неумолимымъ мечомъ критики», онъ возбудилъ противъ себя все французское общество. Онъ воевалъ со всѣми, потому что не желалъ принадлежать ни къ какому знамени, потому что видѣлъ самообольщеніе всѣхъ партій. Могущественный врагъ разныхъ летучихъ и временныхъ теорій, онъ фанатически защищалъ только отвлеченное начало, только то, что держится на неразрушимыхъ логическихъ основаніяхъ. Повсюду онъ ищетъ *логики*. Когда онъ однажды появился на каѳедрѣ, чтобы оправдаться противъ нѣкоторыхъ обвиненій, его одинокое исключительное положеніе въ обществѣ обрисовалось съ полною ясностью. Слова Тьера были покрыты бурными аплодисментами, рѣчь Прудона была встрѣчена неудовольствіемъ, сопровождалась взрывами смѣха. Оратора призвали къ порядку за то, что онъ требовалъ послѣдовательности, за то, что, среди страстей и личныхъ передрягъ, онъ властнымъ словомъ заговорилъ о логикѣ въ политическихъ дѣлахъ. Онъ былъ выше всякихъ партій. Онъ слишкомъ честно любилъ науку, чтобы пойти по одному пути съ бойцами кружковъ. Отсюда этотъ всеобщій гнѣвъ противъ него. Въ немъ ненавидятъ эту неукротимую силу отрицанія всѣ тѣ, кто держится кружковаго шаблона Всѣ обнаженныя самолюбія, всѣ разгаданныя лицемѣрія не могутъ простить ему своего позора передъ лицомъ безпристрастнаго общества. Но кто добросовѣстно прочтетъ главныя сочиненія Прудона, говоритъ Лавровъ, тотъ убѣдится, что въ этомъ авторѣ скрывается не демагогъ, взывающій къ страстямъ черни, потакающій ея измѣнчивымъ прихотямъ, не шарлатанъ, стрѣляющій на улицѣ изъ пистолета, чтобы привлечь къ себѣ общее вниманіе, а строгій мыслитель, ищущій прочныхъ средствъ для развитія общества, писатель, который по своему нравственному направленію «могъ-бы занять мѣсто между самыми исключительными пуританами, самыми чистыми моралистами...» [1]).

[1]) П. Л. Лавровъ, Очерки вопросовъ практической философіи, стр. 77—80.

Такова въ немногихъ словахъ блестящая характеристика Прудона, вышедшая изъ-подъ пера Лаврова. Но Чернышевскій иначе рисуетъ умственную физіономію Прудона. Передавая нѣкоторые факты его жизни, онъ ставитъ на видъ своимъ читателямъ слѣдующія важныя, по его мнѣнію, обстоятельства. По какимъ книгамъ, спрашиваетъ Чернышевскій, учился Прудонъ? «Зналъ-ли онъ, какія книги выбирать, зналъ-ли онъ, на какія ученія обращать вниманіе, какъ на ученія дѣйствительно современныя?» Увы, Прудонъ шелъ невѣрными путями въ своемъ самообразованіи. При незнакомствѣ съ новѣйшими научными понятіями, онъ учился по книгамъ «или положительно дурнымъ, или совершенно устарѣлымъ». Онъ слишкомъ много начитался «новыхъ французскихъ философовъ прежде, чѣмъ сталъ ученикомъ Гегеля», а познакомившись съ Гегелемъ, онъ не принялъ во вниманіе, что въ Германіи наука развивалась дальше. По словамъ Чернышевскаго, вся дѣятельность Прудона можетъ дать только блестящій примѣръ того, «какъ простолюдины, жаждущіе перемѣнъ, затрудняются въ ихъ осуществленіи тѣмъ, что воспитались въ понятіяхъ старины, не познакомились еще съ воззрѣніями, соотвѣтствующими ихъ потребностямъ» [1]). Другого значенія она не имѣетъ...

Такъ Чернышевскій разобрался въ тѣхъ матеріалахъ, которыми Лавровъ пользовался въ своей брошюрѣ. Жюль Симона онъ не читалъ и читать не станетъ. Это мыслитель недальновидный, не обладающій никакою логикою. Сочиненія Фихте-сына его не могутъ интересовать. Фрауэнштедта и Шопенгауэра онъ не надѣется когда-либо прочесть, потому что они очень мало смыслятъ въ философскихъ вопросахъ. Милль—политическій трусъ, съ мнѣніями котораго надо считаться осторожно, съ большими оговорками. Прудонъ учился не по новѣйшимъ книгамъ. Вотъ почему, пользуясь сочиненіями *этихъ* писателей, Петръ Лавровъ написалъ брошюру, въ которой строгій критикъ «Современника» нашелъ очень мало достоинствъ. Автору помѣшала его эрудиція и то обстоятельство, что онъ тоже, подобно Прудону, знакомился съ философскими книгами не въ надлежащемъ порядкѣ постепенности. «Намъ кажется, пишетъ Чернышевскій, что изученіе отжившихъ формъ нѣмецкой философіи и книгъ, написанныхъ мыслителями англійскими и французскими, предшествовало у него знакомству съ *новѣйшими* нѣмецкими мыслителями, и что, будь иначе, прочти онъ нѣсколькими годами позже тѣ книги, которыя прочтены имъ раньше, прочти онъ нѣсколькими годами раньше тѣ книги, которыя прочтены имъ уже только по окончаніи внутренней его работы надъ построеніемъ своего образа мыслей, онъ писалъ-бы нѣсколько иначе». Если-бы Лавровъ разработалъ

[1]) «Современникъ», апрѣль, стр. 348.

«новѣйшія сочиненія», онъ проще и скорѣе подошелъ-бы къ своей цѣли и рѣшительнѣе отвергъ-бы предразсудки прошлаго, всякую «пустую ложь», могущую «вызвать только улыбку состраданія». Даже слогъ Лаврова измѣнился-бы къ лучшему, если-бы онъ положилъ предъ собою тѣ книги, на которыя намекаетъ Чернышевскій, и статьи его, «которыя теперь всѣми уважаются, болѣе читались-бы тою частью публики, которая слишкомъ склонна оставлять непрочтенными книги и статьи, внушающія ей слишкомъ большое уваженіе» [1]). По мнѣнію Чернышевскаго, Жюль Симонъ, Шопенгауэръ, Милль и Прудонъ только повредили философскому трактату Лаврова.

А между тѣмъ, книжка Лаврова заслуживала гораздо болѣе сочувственнаго отзыва, потому что, кромѣ всесторонней начитанности и широкаго образованія, авторъ обнаружилъ въ ней солидность мысли, неспособной на компромисъ, избѣгающей всякихъ поспѣшныхъ, непродуманныхъ выводовъ. Пройдя серьезную научную школу, Лавровъ излагаетъ свои политическія и философскія разсужденія энергичнымъ, яснымъ языкомъ, постоянно заботясь о законченности сравненій, о полнотѣ своихъ доводовъ. Нигдѣ въ его книжкѣ вы не найдете никакихъ скачковъ и произвольныхъ толкованій. Владѣя въ совершенствѣ философскими понятіями, онъ никогда не сбивается съ пути строгой науки, не прибѣгаетъ къ софизмамъ, не отдѣлывается пустыми, но звонкими словами. Его взглядъ на личность, какъ на живую силу историческаго процесса, проходитъ черезъ всѣ его объясненія и доказательства. Слѣдуя за Миллемъ не случайно, какъ это, повидимому, полагаетъ Чернышевскій, а по строго обдуманному плану, онъ обновляетъ его разсужденія множествомъ собственныхъ наблюденій и теоретическихъ аргументовъ, отличающихся своеобразною глубиною. Почти съ первыхъ-же страницъ Лавровъ заявляетъ себя человѣкомъ серьезной мысли. Изучивъ многочисленныя сочиненія, относящіяся къ политической философіи, онъ не могъ не замѣтить, что всѣ они носятъ на себѣ отпечатокъ современнаго положенія дѣлъ въ Европѣ. Между строками серьезнаго изслѣдованія Лавровъ умѣетъ угадывать сожалѣніе автора о потерянномъ политическомъ значеніи его партіи. Здѣсь еще не зажилъ рубецъ вчерашней борьбы, тамъ замѣтно скверное желаніе подыграться къ сильнымъ людямъ, выраженное заученными фразами въ честь дряхлаго кумира. Цѣлыя страницы и главы потеряны для науки. Каждый думаетъ только о поддержаніи своего знамени, часто въ ущербъ фактамъ и логикѣ. Но обозрѣвая борющіяся между собою политическія системы, авторъ приходитъ къ убѣжденію, что всѣ современные теоретики нравственности, политики и общественности

[1]) «Современникъ», Апрѣль, стр. 349.

представляются, въ сущности, проповѣдниками одного великаго ученія. Современный идеалъ, говоритъ Лавровъ, требуетъ человѣка, который свободно развивалъ-бы въ себѣ и въ другихъ физическія качества, умъ, характеръ и сознаніе справедливости, человѣка, который уважалъ-бы достоинство другихъ людей и умѣлъ-бы жертвовать своей личностью въ дѣлахъ чести и правды. Внѣ личности нѣтъ ни блага, ни справедливости. Только въ законѣ личной нравственности лежитъ оправданіе политики. Только тѣ побужденія, которыя не противорѣчатъ справедливости, могутъ быть признаны законными и полезными для историческаго прогресса [1]). На общество Лавровъ смотритъ, какъ на внѣшнюю силу, надъ которою должна возвышаться индивидуальная человѣческая воля, ибо только въ воображеніи человѣка общество, какъ таковое, является высшимъ хранилищемъ справедливости. Когда человѣкъ становится лицомъ къ лицу съ этимъ громаднымъ существомъ, превосходящимъ его своими орудіями борьбы и самозащиты, онъ можетъ требовать полнаго признанія своихъ правъ и преимуществъ. Въ случаѣ столкновенія между человѣкомъ и обществомъ—гдѣ начало, примиряющее и разрѣшающее борющіеся между собою интересы? спрашиваетъ Лавровъ. Гдѣ судъ и во имя чего произнесется судъ въ этихъ столкновеніяхъ? «Судъ можетъ быть лишь тамъ, гдѣ есть сознаніе. Сознаніе присутствуетъ только въ живыхъ, дѣйствительныхъ личностяхъ. Отвлеченныя общественныя единицы суть лишь формы, въ которыя отдѣльныя личности вкладываютъ свое сознаніе». Судъ принадлежитъ личности и долженъ быть произведенъ во имя личнаго начала, во имя справедливости [2]).

Чернышевскій не оцѣнилъ этой талантливой и дѣльной брошюры. Не вникнувъ въ аргументы Лаврова, онъ безъ малѣйшаго права окрестилъ его ученіе пренебрежительнымъ наименованіемъ эклектики, которое, конечно, должно было скомпрометировать его въ глазахъ читателей «Современника». По мнѣнію Чернышевскаго, авторъ безъ всякой серьезной надобности собралъ въ своемъ трактатѣ сужденія людей, отъ которыхъ слѣдовало отвернуться съ улыбкою состраданія. Чернышевскому казалось, что опираться на мнѣнія старыхъ писателей не только нѣтъ никакой надобности, но даже опасно — въ виду необходимости окончательно порвать со всякимъ прошедшимъ и въ особенности со всѣмъ прошлымъ философіи. Но можно смѣло сказать, что и на этотъ разъ Чернышевскій сдѣлалъ критическій промахъ. Лавровъ выбиралъ изъ европейской литературы именно тѣ матеріалы, которые годились для его цѣлей, обосновывали его теоремы и раздвигали передъ нимъ свѣтлые горизонты. Объ эклектизмѣ въ данномъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи.

---

[1]) Очерки вопросовъ практической философіи, стр. 91—94.

[2]) Ibidem, стр. 92.

О злоупотребленіи литературными источниками можно было говорить только по чувству пренебреженія къ чужому умственному труду, по привычкѣ безъ разбора свистать и хлестать направо и налѣво.

III.

Статьѣ Чернышевскаго суждено было сдѣлаться предметомъ огромнаго скандала, захватившаго всѣ виднѣйшіе столичные журналы.

Въ четвертой книгѣ «Трудовъ Кіевской Духовной Академіи» за 1860 годъ появилось обширное философское изслѣдованіе подъ названіемъ «Изъ науки о человѣческомъ духѣ». Авторъ его, профессоръ кіевской духовной академіи П. Юркевичъ, подвергъ разбору теоретическія сужденія Чернышевскаго, выраженныя въ его статьѣ объ «Антропологическомъ принципѣ въ философіи» — шагъ за шагомъ, слѣдя за развитіемъ всѣхъ его положеній и доказательствъ. Юркевичъ съ поразительнымъ искусствомъ обнаруживаетъ ошибки Чернышевскаго, разбиваетъ на каждомъ шагу его логику тонкими соображеніями, имѣющими высокое философское достоинство. Блестящій діалектикъ, прошедшій строгую школу критическаго идеализма, онъ вскрываетъ недостатки разсматриваемой статьи съ авторитетною увѣренностью, предъ которою совершенно пасуетъ яркій полемическій талантъ Чернышевскаго. Съ благородствомъ и изяществомъ убѣжденнаго оппонента, презирающаго всякія мелочныя придирки, Юркевичъ самъ подчеркиваетъ важный смыслъ и значеніе статей своего противника, чтобы какъ можно сильнѣе схватиться съ нимъ въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ онъ откроетъ ошибки противъ научнаго метода, противъ несомнѣнныхъ идей философіи. Онъ не судитъ литератора извѣстной партіи. Онъ разсматриваетъ *отвлеченное* разсужденіе по законамъ логики, не давая мѣста никакимъ побочнымъ матеріаламъ. Разложивъ на части главную тему статьи, Юркевичъ съ строгой постепенностью критикуетъ каждый тезисъ Чернышевскаго въ отдѣльности, нигдѣ не упуская изъ виду его руководящаго философскаго принципа. Не утомляясь, онъ слѣдуетъ за Чернышевскимъ повсюду, черезъ всѣ его примѣры и доказательства. Его возраженія, облеченныя въ ясную стилистическую форму, хладнокровны и убѣдительны. Его разсужденія проникнуты единствомъ и представляютъ превосходную картину полной умственной зрѣлости и всесторонняго образованія и развитія. Полемизируя съ Чернышевскимъ, онъ по дорогѣ набрасываетъ общіе контуры своего собственнаго міровоззрѣнія съ огромнымъ талантомъ, который, при параллельномъ чтеніи обѣихъ статей, производитъ впечатлѣніе атлетической силы, вступившей въ борьбу съ неокрѣпшей, но задирающей юношескою силою. Юркевичъ нигдѣ не издѣвается надъ своимъ противникомъ. Только подойдя къ концу изслѣдованія, онъ

произноситъ суровое осужденіе всей работѣ Чернышевскаго, осужденіе, которое должно быть признано, несмотря на свою безпощадность, безпристрастной и справедливой оцѣнкой этой шумной, но безплодной попытки «Современника» сказать свое слово въ трудныхъ вопросахъ ума и познанія.

Юркевичъ опровергаетъ всѣ главныя положенія, выдвинутыя въ «Антропологическомъ принципѣ». *Во-первыхъ*, Чернышевскій утверждаетъ, что естествознаніе дало обильный матеріалъ для точнаго рѣшенія нравственныхъ вопросовъ и что всѣ передовые люди разрабатываютъ въ настоящее время эти вопросы при помощи извѣстныхъ научныхъ пріемовъ. Юркевичъ не отрицаетъ значенія точныхъ методовъ науки, но онъ совершенно отвергаетъ другую мысль Чернышевскаго: «психологія, говоритъ онъ, не можетъ получать своего матеріала ни откуда, кромѣ внутренняго опыта». Духовная область человѣческой жизни, исполненная неистощимаго разнообразія, представляетъ совершено особый порядокъ фактовъ, доступныхъ только внутреннему наблюденію. Между фактами внѣшняго и внутренняго опыта лежитъ цѣлая бездна, и всякая попытка судить объ одномъ предметѣ съ точки зрѣнія другого, смѣшивать понятія различныхъ сферъ, должна быть изгнана изъ серьезной науки. Это ясное раздѣленіе предметовъ, представляющихъ матеріалъ для различныхъ областей знанія, упущено Чернышевскимъ, и вотъ почему всѣ его разсужденія о задачахъ философіи полны ошибокъ и недоразумѣній. Для Чернышевскаго нравственныя науки суть только другое названіе наукъ естественныхъ Въ человѣческомъ организмѣ, говоритъ онъ, философія видитъ то, что видитъ въ немъ медицина, физіологія, химія. Но «какая же надобность, спрашиваетъ Юркевичъ, въ этой наукѣ, которая еще разъ видитъ то, что уже прежде ея видѣли другія науки», которая умѣетъ дѣлать только пустое прибавленіе къ ученію естествознанія объ единствѣ человѣческаго организма [1])? Такова первая ошибка автора «Антропологическаго принципа» по простому и ясному объясненію Юркевича.

Во-вторыхъ, Чернышевскій плохо обрисовалъ вопросъ объ единствѣ человѣческой природы. Желая остаться на почвѣ эмпирическаго знанія, онъ, незамѣтно для себя, дѣлаетъ чисто метафизическое допущеніе самаго грубаго свойства. По ученію Чернышевскаго, между матеріальными и психическими явленіями нѣтъ никакой разницы. «Мы знаемъ, говоритъ онъ, что ощущеніе *принадлежитъ* извѣстнымъ нервамъ, движеніе—другимъ». Движеніе нерва превращается въ ощущеніе. Но гдѣ-же тотъ дѣятель, который обладаетъ этою чудною, превращающею силою,

[1]) «Изъ науки о человѣческомъ духѣ», стр. 377, 381 и др.—«Русскій Вѣстникъ» 1861, апрѣль, «Литературное Обозрѣніе и Замѣтки», стр. 80.

который «имѣетъ способность и свойство рождать въ себѣ ощущеніе по поводу движенія нерва»? Въ настоящее время, говоритъ Юркевичъ, химія и физіологія часто берутся за рѣшеніе вопроса о сверхчувственной основѣ вещей, какъ будто эту сверхчувственную основу можно увидѣть въ химической лабораторіи или въ анатомическомъ театрѣ. Отвергая умозрѣніе, принципіально суживая свою работу сферою эмпирическаго опыта, они тѣмъ не менѣе внушаютъ намъ мысль, которую, по существу, не имѣютъ никакого права ни утверждать, ни отрицать. Чернышевскій не отличаетъ вопросовъ метафизическихъ отъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ принадлежитъ точнымъ наукамъ. Онъ не понимаетъ, говоритъ Юркевичъ, тѣхъ передовыхъ людей, которымъ хотѣлъ-бы слѣдовать. Западно-европейскіе ученые серьезнаго реалистическаго направленія не отвергаютъ фактовъ, данныхъ во внутреннемъ опытѣ. Они доказываютъ, что психическіе факты только въ *явленіи*, только, какъ феномены, имѣютъ характеръ душевнаго процесса, но что, въ сущности, они суть отдаленное развитіе матеріальнаго начала: это—цвѣты, которые на поверхностный взглядъ человѣка не представляютъ никакого сходства со своимъ корнемъ. Такая логика имѣетъ, по крайней мѣрѣ, формальную правильность. Но Чернышевскій замѣняетъ этотъ научный пріемъ увѣреніемъ, что другая натура въ человѣкѣ не обнаруживается ни въ чемъ, потому что этихъ обнаруженій нельзя ни видѣть, ни слышать. Западно-европейское естествознаніе не отвергаетъ общечеловѣческаго опыта, оно только критикуетъ по своему содержаніе внутренняго чувства. Чернышевскій обходитъ всѣ затрудненія простымъ утвержденіемъ, что возможно только внѣшнее проявленіе человѣческой натуры, при чемъ самые психическіе факты, въ его изображеніи, становятся какими-то внѣшними силами, о свойствахъ которыхъ, при отсутствіи положительныхъ данныхъ, можно судить по методу отрицательныхъ выводовъ. Чернышевскій формулируетъ свои мнѣнія въ очень странной логической формулѣ. Желая придти на помощь человѣческому пониманію, онъ открываетъ ему дорогу въ темную область душевныхъ свойствъ при помощи силлогизма, о которомъ не слыхали въ литературѣ отъ Аристотеля до Гегеля. Онъ даетъ, такъ сказать, канонъ, по которому должны дѣлаться отрицательные выводы, важные для нравственныхъ наукъ въ особенности. Онъ говоритъ: если a тѣсно связано съ x и если при этомъ извѣстно, что a есть $в$, то изъ этого слѣдуетъ, что x не можетъ быть ни c, ни $д$, ни $в$. Вотъ что значитъ думать съ философскою послѣдовательностью. Нѣкоторая *опредѣленная* величина тѣсно связана съ чѣмъ то *неизвѣстнымъ*, съ тѣмъ, о чемъ никто ничего не знаетъ. Такова первая большая посылка! Но допустимъ, говоритъ Юркевичъ, что такая общая посылка имѣетъ какой-нибудь смыслъ,—все-же, изъ ея связи съ другимъ положеніемъ, что a есть $в$, нисколько не слѣдуетъ, что x не можетъ

быть ни *c*, ни *d*, ни *e*. И съ этой логикой, замѣчаетъ Юркевичъ, Чернышевскій берется рѣшать вопросы величайшей важности! Именно опираясь на эту безсмысленную формулу, Чернышевскій говоритъ: мы знаемъ, въ чемъ состоитъ питаніе,—изъ этого мы уже знаемъ приблизительно (!), въ чемъ состоитъ ощущеніе. Жаль, замѣчаетъ Юркевичъ, что Чернышевскій не попытался развить качества ощущенія изъ качествъ питанія: «это былъ бы новый источникъ психологическихъ открытій»... [1]).

На пути метафизическихъ размышленій мысль Чернышевскаго постоянно сбивается отъ одной ошибки къ другой. Физическія и психическія явленія, говоритъ Чернышевскій, несмотря на то, что между ними нѣтъ *никакого логическаго отношенія*, суть произведенія одного и того-же матеріальнаго начала, въ которыхъ количественное различіе перешло въ различіе качественное. Но тамъ, гдѣ нѣтъ никакого логическаго отношенія, возражаетъ Юркевичъ, не можетъ существовать и отношенія *причинной* зависимости. Если физическія свойства ни въ чемъ не соприкасаются со свойствами духа, нелѣпо говорить, что матерія производитъ тѣ явленія, которыя мы называемъ психическими. Природа не обладаетъ тою волшебною силою, которая умѣетъ превращать количество въ качество. Сотрясеніе струны само по себѣ не даетъ никакихъ звуковъ, и простымъ глазомъ можно видѣть, что оно до конца остается сотрясеніемъ. Чернышевскій упускаетъ изъ виду *зрителя*, на котораго дѣйствуютъ явленія, забываетъ тотъ духъ, который принимаетъ явленія въ извѣстныя формы, ему одному свойственныя. Для того, чтобы волнообразное движеніе воздуха превратилось въ звукъ, вибрація эфира въ свѣтъ, нужно *ощущающее* существо, умѣющее превращать количественныя движенія въ качества звука и свѣта. Количественное различіе превращается въ качественное не въ самомъ предметѣ, а въ отношеніяхъ его къ чувствующему субъекту. Духъ, съ его формами воспріятія и познанія—есть то начало, изъ котораго объясняется внѣшній міръ, и на этомъ именно началѣ, заключаетъ Юркевичъ, во всѣ времена стояла философія. Вотъ почему она никогда не чувствовала нужды праздно повторять то, о чемъ и безъ нея знаютъ медицина, физіологія и химія. Вотъ почему матеріализмъ, съ его категорическимъ утвержденіемъ, что физическія силы производятъ психическую жизнь, не имѣетъ права считать себя ни наукой, ни философіею, пригодною для современнаго человѣка. Это тоже метафизика, но притомъ метафизика грубая, догматически первобытная, не понимающая, что матерія только въ связи съ сознаніемъ такова, какою она является въ опытѣ.

Въ третьихъ,—общее стремленіе Чернышевскаго сглаживать индивидуальныя черты различныхъ явленій привело его къ слѣдующему оши-

[1]) Юркевичъ, стр. 398, 399.

бочному утвержденію. Онъ приписываетъ животнымъ память, воображеніе, мышленіе, идеальныя чувства. Во всѣ времена философія, говоритъ Юркевичъ, стремилась уловить духовное начало и внѣ міра фактовъ, называемыхъ человѣческою жизнью. Но открывая признаки одушевленія во всѣхъ царствахъ природы и обнимая въ одномъ научномъ принципѣ все разнообразіе выраженій духовной силы, отъ низшихъ до высшихъ ея степеней, философія, а съ нею и точная наука не можетъ не видѣть тѣхъ границъ, которыя раздѣляютъ области физической и психической жизни. Животное отличается отъ человѣка тѣмъ, что оно не можетъ проявить себя, какъ *личный* духъ. Имъ управляетъ родовая идея, или цѣль, которой оно повинуется безотчетно и тупо. Его сознаніе—простая смѣна моментовъ, изъ которыхъ ни одинъ не имѣетъ устойчивой силы. Не зная о вещи, какъ о носителѣ внѣшнихъ измѣненій, оно ничего не знаетъ о своемъ собственномъ *я*, потому что и то и другое знаніе нераздѣльны, опредѣляются однимъ и тѣмъ-же закономъ мышленія. Чернышевскій смѣется надъ тѣми, которые выдѣляютъ самосознаніе въ особую категорію. По его твердому и рѣшительно выраженному убѣжденію, животное обладаетъ самосознаніемъ, потому что оно обладаетъ сознаніемъ. Но въ такомъ случаѣ Чернышевскому слѣдовало-бы доказать, что животное умѣетъ критически оцѣнивать различныя состоянія своей души и относить ихъ къ одному неподвижному, личному началу, что оно умѣетъ обозрѣвать свой внутренній міръ и свободно смотрѣть на міръ природы. Въ этомъ именно состоитъ та дѣятельность самосознанія, безъ которой не бываетъ настоящей полноты духовной жизни. Въ этомъ контролѣ личнаго чувства, или, вѣрнѣе сказать, личнаго самочувствія надъ всѣми впечатлѣніями внутренняго или внѣшняго опыта и проявляется та особая духовность, которою человѣкъ обладаетъ преимущественно предъ другими живыми существами. Чернышевскій не интересуется научными разграниченіями въ духовной сферѣ. Онъ беретъ факты въ ихъ грубомъ, внѣшнемъ проявленіи, не вникая въ ихъ тонкое внутреннее содержаніе. Приписывая животнымъ высшія стремленія, онъ не видитъ, въ чемъ заключается моральное превосходство человѣка надъ животнымъ. Животное не стремится къ истинѣ и потому въ его жизненной дѣятельности нѣтъ и не можетъ быть того понятія, безъ котораго мораль не существуетъ, безъ котораго мораль мертва—понятія добра и долга [1]).

Наконецъ, *въ-четвертыхъ*, такъ-же невѣрно и ученіе Чернышевскаго о томъ, что добро есть польза и что человѣкъ, по природѣ своей, дѣлаетъ все по чувству либо грубаго, либо утонченнаго эгоизма. Въ этомъ мѣстѣ критика Юркевича, выйдя изъ области теоретическихъ вопросовъ на поприще

[1]) Юркевичъ, стр. 423—461.

жизненныхъ задачъ, пріобрѣтаетъ особую красоту и силу. По смѣлости отдѣльныхъ картинныхъ выраженій, по богатству тонкихъ замѣчаній, эти страницы могутъ съ успѣхомъ спорить со всѣмъ, что мы знаемъ въ этой области русской литературы. Могучими доводами настоящаго моралиста Юркевичъ развиваетъ свою практическую философію, превосходящую, по истинной прогрессивности, все написанное въ честь новѣйшихъ идей вѣка представителями отечественнаго буржуазнаго утилитаризма. Вѣрный основнымъ принципамъ идеализма, онъ является здѣсь настоящимъ борцомъ за лучшіе, высшіе интересы человѣческой жизни, не прибѣгая къ искусственно и небрежно сколоченнымъ силлогизмамъ, не извращая никакихъ теоретическихъ идей, не загоняя человѣческаго пониманія на узкіе пути временныхъ запросовъ и надобностей. Не провозглашая никакихъ кричащихъ лозунговъ, Юркевичъ открываетъ въ сложной системѣ внутренней человѣческой жизни то начало, которому предстоитъ широкое развитіе и которое поведетъ человѣка путемъ добра и правды. Глубокій мыслитель, знающій жизнь въ ея разнообразныхъ сплетеніяхъ и усложненіяхъ, онъ рисуетъ человѣка именно такимъ, каковъ онъ есть въ дѣйствительности,—и такому человѣку, связанному разнородными силами, то поддающемуся влеченіямъ низменнаго чувства, то вдругъ возстающему противъ собственныхъ эгоистическихъ инстинктовъ и расчетовъ ради безкорыстнаго подвига, онъ указываетъ вѣчныя идеи достоинства и чести. Въ этихъ страницахъ нѣтъ прямого воззванія къ опредѣленному гражданскому дѣлу, но все въ нихъ звучитъ властнымъ призывомъ, на который откликнется всякое живое чувство. Тутъ нѣтъ такихъ выраженій, которыя можно было-бы уложить въ житейскую программу, въ партійный уставъ, но тутъ даны съ непобѣдимою логикою всѣ посылки, нужныя для всякихъ прогрессивныхъ замысловъ и возбуждающія нравственную волю къ активной работѣ и борьбѣ. Сообразно съ важностью предмета, полемика Юркевича пріобрѣтаетъ въ этомъ пунктѣ рѣзкій, страстный характеръ. Разрывъ тѣ основанія, на которыхъ построена русская матеріалистическая философія, указавъ ея самыя слабыя мѣста, Юркевичъ наноситъ нѣсколько оглушительныхъ ударовъ Чернышевскому смѣлою и увѣренною рукою. Читателю становится ясно, что рѣчь идетъ не о пустякахъ, потому что споръ зажегся огнемъ, потому что Юркевичъ обнаруживаетъ истинно патетическое отношеніе къ кореннымъ задачамъ человѣческой жизни. Вопросъ идетъ о томъ, даетъ-ли матеріализмъ тотъ свѣтъ, который способенъ руководить человѣкомъ и увлекать его на путь прогресса. Заключается-ли въ логикѣ реализма необходимый матеріалъ для правильныхъ выводовъ практическаго свойства? Гдѣ никогда не умирающіе доводы въ пользу прогресса, которыми матеріализмъ долженъ породить твердое, неразрушимое практическое убѣжденіе, рвущееся въ извѣстную сторону? Разсмотрѣвъ всѣ доводы Чернышевскаго,

Юркевичъ долженъ былъ прійти къ ужаснымъ выводамъ. Эта философія, которая такъ развязно бравируетъ своею современностью, своими либеральными тенденціями, оказывается на дѣлѣ сборищемъ соображеній, обезсиливающихъ внутри человѣка его духовную природу, умерщвляющихъ въ немъ ясные мотивы добра, связывающихъ его порывы къ правдѣ, къ подвигу. Несмотря на яркую вывѣску крайней передовитости, несмотря на всю заманчивость матеріалистической философіи съ ея парадnаго подъѣзда, эта философія въ своемъ существенномъ, внутреннемъ составѣ не имѣетъ ни одного оживляющаго и вдохновляющаго начала. Претендуя внѣдрить въ человѣка бодрящіе принципы жизни, вразумить и отрезвить человѣческій разсудокъ, ради скорѣйшаго движенія къ цѣлямъ соціальнаго благополучія, матеріализмъ можетъ только захлестать и забить на смерть шевелящіяся въ живой душѣ идеальныя силы. Эти доводы, кричащіе о полной эгоистичности человѣческой природы, поднимающіе на смѣхъ всѣ поэтическія мечтанія, низводящіе понятіе безкорыстнаго добра до вульгарнаго представленія о житейски-полезномъ поступкѣ, не могутъ не заглушить всякое непосредственное, безрасчетное влеченіе. Въ матеріализмѣ разсѣкается на противорѣчащія части представленіе человѣка о самомъ себѣ. Проникшись мыслью о низменности своей натуры, человѣкъ съ недоумѣніемъ и недовѣріемъ встрѣчаетъ всякое свое альтруистическое чувство и торопится развѣнчать поэзію внутренняго восторга и вдохновенной скорби о чужомъ горѣ, о чужихъ страданіяхъ и несовершенствахъ. Заклейменный въ собственныхъ глазахъ, какъ нравственное ничтожество, онъ ищетъ реванша въ озлобленномъ презрѣніи ко всему міру человѣческихъ страстей и помысловъ. Исчезаетъ почва для настоящаго жизненнаго творчества, и міровая исторія, создающаяся духовной работой каждаго отдѣльнаго человѣка, не находитъ въ нравственно атрофированномъ обществѣ живыхъ и упорныхъ дѣятелей, могущихъ вынести на своихъ плечахъ широкое и трудное дѣло настоящей культуры.

Для Чернышевскаго вопросы, относящіеся къ міру нравственныхъ поступковъ, не представляютъ, по обыкновенію, никакихъ затрудненій. Они перестали быть вопросами для нынѣшнихъ мыслителей, говоритъ онъ, потому что «чрезвычайно легко» разрѣшаются «несомнѣннымъ образомъ при первомъ прикосновеніи къ нимъ научнаго анализа». Человѣческую натуру нельзя ни бранить, ни хвалить: все зависитъ отъ обстоятельствъ. А между тѣмъ, говоритъ Юркевичъ, нравственная область открывается именно тѣмъ фактомъ, что одни поступки человѣка мы одобряемъ, другіе порицаемъ. Человѣкъ самъ себя то одобряетъ, то не одобряетъ. Онъ слышитъ голосъ своей совѣсти, когда поступаетъ вопреки присущей ему идеѣ справедливости. Онъ различаетъ въ жизни добрые и злые поступки точно такъ-же, какъ различаетъ истину и ложь

въ познаніи. Онъ ищетъ удовлетворенія своимъ высшимъ духовнымъ потребностямъ въ поступкахъ, достойныхъ его убѣжденія, его моральной личности. Для утилитаризма, проповѣдникомъ котораго является Чернышевскій, извѣстные поступки хороши потому-же, почему хороша вода, хорошъ воздухъ, хороши деньги. Утилитаризму не достаетъ понятія о человѣческомъ достоинствѣ, утилитаризмъ въ нравственности—то-же, что фетишизмъ въ религіи. Для него поступокъ человѣка долженъ имѣть расчетъ, долженъ угодить житейскому разсудку, а не сердцу и чувству. Онъ ищетъ повсюду полезнаго, какъ справки въ архивѣ, какъ слова въ лексиконѣ, и именно поэтому онъ не можетъ быть нравственностью живой души, любящей и ненавидящей, сочувствующей и отвращающейся [1]). Для Чернышевскаго въ человѣкѣ нѣтъ ничего, кромѣ эгоизма. При первомъ прикосновеніи научнаго анализа должно было оказаться, что въ человѣкѣ нѣтъ ничего другого. Но англійскіе философы, замѣчаетъ Юркевичъ, находили въ человѣкѣ, кромѣ эгоизма, благожеланіе, чувство симпатіи и видѣли въ нихъ источникъ особыхъ, безкорыстныхъ поступковъ въ пользу ближняго. Давидъ Юмъ говорилъ: нельзя отрицать, не дѣлая величайшей нелѣпости, что въ нашу грудь влита нѣкоторая, хотя бы и самая малая, капля благожеланія, что въ ней тлѣетъ искра дружбы къ человѣческому роду. Шопенгауэръ, который, съ безпристрастіемъ вдохновеннаго мыслителя, не мѣрилъ человѣческую натуру недостатками своей собственной природы, ссылался на многіе житейскіе факты, доказывающіе, что въ человѣческомъ сердцѣ есть влеченіе къ добру безкорыстному и самоотверженному. Человѣка нельзя сравнивать съ хищной птицей или съ хищнымъ звѣремъ, которые живутъ одиноко, потому что не могутъ подѣлиться добычею. Эгоизмъ въ своемъ чистомъ видѣ не существуетъ въ человѣческой природѣ. Человѣкъ не подобенъ тому злому духу, который смотрѣлъ однажды на дивныя красоты міра, не проникаясь ихъ высшимъ смысломъ. «Когда левъ вскакиваетъ на жирафа и гордо несется на этомъ красивомъ конѣ по песчанымъ пустынямъ, онъ не чувствуетъ потребности, чтобы другіе видѣли его торжество и удивлялись ему. Онъ просто наслаждается самъ по себѣ» [2]). Человѣкъ чувствуетъ эту потребность,—онъ всегда хочетъ, чтобы его достоинство было признано другими. Въ самыхъ эгоистическихъ своихъ стремленіяхъ онъ признаетъ право общества по отношенію къ нему. Въ человѣческомъ духѣ, говоритъ Юркевичъ, есть нѣчто похожее на то, что католики называютъ сверхдолжными дѣлами у своихъ святыхъ [3]). Какъ въ теоретической области человѣческое знаніе прямо выступаетъ за предѣлы ему непосредственно нужнаго для жизни, такъ

[1]) Юркевичъ, стр. 476.

[2]) «Изъ науки о человѣческомъ духѣ», стр. 497, 498.

[3]) Ibidem, стр. 494.

и въ практической сферѣ человѣческія стремленія заходятъ гораздо дальше простой пользы и блага. Въ человѣкѣ есть средства и силы, какъ будто лишнія для цѣлей чувственнаго самосохраненія. Когда Чернышевскій превращаетъ всѣ человѣческіе поступки въ эгоистическіе, онъ разсматриваетъ душу, какъ струну, которая въ одну единицу времени отъ одного внѣшняго толчка можетъ дать только одинъ тонъ. Но мы не хотимъ, восклицаетъ Юркевичъ, этой монотонной жизни. Мы требуемъ, чтобы различные тоны, несоизмѣримые между собою, давали цѣлостный аккордъ, пріятный для нравственнаго чувства. Не бѣда, что въ каждомъ моральномъ поступкѣ встрѣчается и пересѣкается множество душевныхъ интересовъ, стремленій и состояній, въ которыхъ можно усмотрѣть различные оттѣнки. То обстоятельство, что нѣтъ чистыхъ и однородныхъ явленій, доказываетъ только разнообразіе элементовъ, составляющихъ человѣческую жизнь. Человѣкъ не есть машина, движимая какимъ-то нравственнымъ механизмомъ. Онъ живое существо, дѣйствующее среди конкретныхъ силъ, сокращающихъ на время его могущество, но никогда не замыкающихъ его въ кругу эгоистическихъ желаній.

Въ заключеніе Юркевичъ подводитъ итогъ всему сказанному. Статья Чернышевскаго принадлежитъ къ философіи реализма, но она не знакомитъ насъ съ дѣйствительными выводами этой философіи. Можно допустить, что Чернышевскому извѣстны имена нѣкоторыхъ новѣйшихъ мыслителей, но съ ихъ теоріями онъ безъ всякаго сомнѣнія не былъ знакомъ въ то время, когда писалъ свою статью. Онъ слышалъ, что философія реализма пользуется методами естествознанія и отсюда пришелъ къ мысли искать объясненія для психическихъ явленій въ химической лабораторіи. Онъ отвергаетъ въ человѣкѣ не-матеріальное, духовное начало только потому, что его нигдѣ не видно. Метафизическое ученіе объ единствѣ бытія и физическое ученіе объ единствѣ матеріи дали ему поводъ смѣшать и слить явленія различныхъ порядковъ. Въ человѣкѣ онъ призналъ только животную способность дѣйствовать по эгоистическимъ побужденіямъ. Животнымъ онъ пропѣлъ похвальную пѣсню за высокій умъ и благородное сердце. «Статьи, которыя мы разсмотрѣли, говоритъ Юркевичъ, не только не изъясняютъ психическихъ явленій, но сами представляютъ психическое явленіе, интересное въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ». Обратите вниманіе на этотъ диктаторскій тонъ Чернышевскаго, на его презрѣніе къ людямъ, которые признаются въ затрудненіяхъ, связанныхъ со многими психологическими вопросами. Посмотрите на эти странныя увѣренія Чернышевскаго, что для него все легко, все просто, все понятно. Вчитайтесь въ эти сбивчивыя разсужденія, въ которыхъ какая-то сумятица понятій выдается за строгій выводъ точныхъ наукъ. Чернышевскій пугаетъ чи-

тателя постоянными напоминаніями, что онъ принадлежитъ къ числу естествоиспытателей, съ которыми глупо спорить по вопросамъ нравственнаго характера. Обратите вниманіе на это циническое щегольство Чернышевскаго «знакомствомъ съ такими вещами, съ которыми въ сущности онъ мало знакомъ». Не есть ли это, спрашиваетъ Юркевичъ, рядъ явленій, заслуживающихъ особаго изслѣдованія? Вспомните, что тѣ вопросы, которые не представляютъ для Чернышевскаго никакого затрудненія, еще легче разрѣшаются гдѣ-нибудь въ центрахъ Африки. Вспомните слова Давида Юма: «я убѣжденъ, писалъ этотъ философъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда люди говорятъ особенно дерзко и заносчиво, они всего чаще изрекаютъ величайшія нелѣпости, не взвѣшивая и не ограничивая своихъ положеній, повинуясь своимъ страстямъ, обольщенные страстями» [1])...

Вотъ въ краткомъ изложеніи содержаніе и смыслъ статьи Юркевича. Опустивъ множество драгоцѣнныхъ подробностей, мы передали только самые существенные доводы автора противъ разсужденій Чернышевскаго объ антропологическомъ принципѣ въ философіи. Но уже изъ этого краткаго обзора его статьи легко видѣть, что Юркевичъ вступилъ въ борьбу съ человѣкомъ, который въ вопросахъ философскаго знанія обладалъ гораздо меньшимъ, чѣмъ онъ, развитіемъ и талантомъ. Въ статьѣ Чернышевскаго не оказалось ни одного пункта, ни одного положенія, которые Юркевичъ счелъ бы необходимымъ для себя обойти молчаніемъ, оставить безъ полемическаго возраженія, безъ надлежащаго философскаго отвѣта. Онъ привелъ въ порядокъ весь матеріалъ въ статьѣ Чернышевскаго, несмотря на всю трудность придать видъ логически развивающейся системы разсужденіямъ, которыя набрасывались на бумагу разрозненными клочками, образующими какіе-то судорожные публицистическіе зигзаги безъ конца и начала, какой-то уродливый рисунокъ съ утрированно рѣзкими чертами реалистическаго характера, разсужденіямъ, которыя произвольно перескакиваютъ отъ одного предмета къ другому, не считаясь ни съ какими требованіями послѣдовательности и постепенности. Зная достоинства настоящаго философскаго реализма, Юркевичъ легко могъ справиться съ этимъ доморощеннымъ реализмомъ, обнаружить въ немъ черты непроизвольной, но тѣмъ не менѣе губительной и развращающей умъ научной фальсификаціи. До Юркевича никто въ Россіи не подвергалъ матеріализмъ такой мѣткой и безпощадно суровой критикѣ. Само матеріалистическое ученіе никогда еще не достигало въ Россіи такого значенія, не выступало съ такими обширными и смѣлыми притязаніями на безграничную монополію въ вопросахъ духовнаго порядка. Сдѣлавшись крупнымъ общественнымъ явленіемъ въ лицѣ Чернышевскаго,—человѣка

[1]) Юркевичъ, стр. 508—511.

съ огромною силою характера, съ умомъ рѣзкимъ, смѣлымъ, пламенѣющимъ гражданскою страстью, въ лицѣ человѣка, наложившаго печать своей души, своихъ симпатій, своихъ бурныхъ стремленій на современную ему эпоху, матеріализмъ, по закону историческаго контраста, долженъ былъ расшевелить и вызвать на протестъ людей съ инымъ складомъ понятій, съ идеалистическимъ міровоззрѣніемъ. Юркевичъ выступилъ на арену философскаго спора въ очень серьезную историческую минуту. Но оборачиваясь назадъ къ фактамъ минувшаго, нельзя не видѣть, что, несмотря на всю свою правоту, на громадное превосходство знаній, философскаго дарованія, несмотря на несомнѣнную важность всѣхъ его строго научныхъ аргументовъ, Юркевичъ не могъ выйти изъ спора съ Чернышевскимъ побѣдителемъ во мнѣніи прогрессивнаго русскаго общества. Въ воздухѣ носились тогда иныя идеи, болѣе понятныя ординарной толпѣ. Волна матеріализма, лившаяся изъ Европы, хлестала черезъ голову, увлекая все недозрѣлое, не окрѣпшее умомъ, все, что не умѣло съ критическимъ сознаніемъ относиться къ фактамъ настоящаго и къ задачамъ будущаго. Отвлеченныя разсужденія идеалистическаго характера должны были казаться толпѣ туманными, праздными, не относящимися къ ближайшимъ вопросамъ и потребностямъ жизни. На очереди стояли нѣкоторыя практическія дѣла, выдвинутыя гражданскою исторіею Россіи, и люди ординарнаго русла не видѣли и не могли видѣть ихъ логической связи съ метафизическими разсужденіями опредѣленнаго типа. Въ такое время философія не могла имѣть никакого замѣтнаго успѣха въ обществѣ. Какъ ни сильны, ни смѣлы были ея приверженцы, имъ нельзя было преодолѣть общаго настроенія интеллигентной массы, этого дружнаго хора голосовъ изъ многочисленной публики, привѣтствовавшей новыхъ дѣятелей печати, покрывавшей шиканьемъ и свистомъ ретроградныхъ защитниковъ старыхъ, нынѣ отжившихъ понятій, разражавшейся неистовымъ браво по адресу сочувственныхъ ей ораторовъ и писателей. Русскому интеллигентному обществу наиболѣе понятенъ былъ тогда именно такой публицистъ, какимъ былъ Чернышевскій—съ общедоступными взглядами, зажигательными полемическими пріемами, съ умѣньемъ говорить тѣмъ особеннымъ слогомъ, который возбуждаетъ къ спору и всегда держитъ писателя въ положеніи политическаго пророка, журнальнаго прорицателя. Статьи его казались, несмотря на явный литературный талантъ, какъ бы преддверіемъ къ особенно важному не литературному, жизненному дѣлу и потому всегда производили впечатлѣніе волнующихъ намековъ, выступали какъ бы окруженныя легендой будущихъ дней. Гдѣ же было Юркевичу окончательно сразить такого противника—Юркевичу, боровшемуся за философію научно-философскими средствами, подходившему къ задачамъ жизни труднымъ путемъ значительныхъ, но отвлеченныхъ разсужденій? Въ журнальной су-

мятицѣ того времени Чернышевскій являлся настоящимъ богатыремъ новѣйшаго типа, съ которымъ нельзя было спорить на почвѣ чистой логики, доводами разума, именемъ абстрактной истины, и, сраженный обстоятельствами времени, Юркевичъ долженъ былъ сойти съ арены съ недоумѣніемъ въ душѣ, но съ полнымъ сознаніемъ своей внутренней правоты.

Чернышевскій былъ героемъ эпохи. Чувствуя себя центромъ всѣхъ бодрыхъ, юныхъ силъ, онъ могъ рѣшиться на поступокъ, который во всякомъ другомъ обществѣ былъ бы оцѣненъ по достоинству и который въ русской журналистикѣ служитъ доказательствомъ ея первобытности и примитивности. Такому противнику, какъ Юркевичъ, противнику, выступающему въ тяжеловѣсныхъ доспѣхахъ метафизическихъ и научныхъ знаній, можно смѣло разсмѣяться въ лицо, швырнуть въ отвѣтъ нѣсколько пренебрежительно-издѣвательскихъ словъ и затѣмъ отойти онъ него съ улыбкой сожалѣнія, пожимая плечами! Настоящаго литературнаго отвѣта онъ не заслуживаетъ. Человѣку архива и кабинета не понять мотивовъ новаго движенія, этихъ смѣлыхъ и важныхъ замысловъ, кипящихъ бурными страстями. Его можно не читать. Съ нимъ и спорить серьезно не стоитъ. Но Юркевичъ, со своей стороны, могъ отойти въ сторону съ убѣжденіемъ, что настанутъ иныя времена, когда все дѣло выяснится, представится въ новомъ освѣщеніи. Предтеча будущихъ умственныхъ движеній въ Россіи, онъ оставилъ литературный трудъ, въ которомъ, прорѣзывая темноту общаго недомыслія, свѣтлыя идеи вспыхиваютъ, какъ молніи отдаленной грозы.

IV.

Четвертая книга трудовъ Кіевской Духовной академіи, въ которой напечатана статья Юркевича, вышла въ свѣтъ въ декабрѣ 1860 г., и слѣдовательно въ этомъ-же мѣсяцѣ могла быть прочитана въ редакціи «Современника». Но въ первыхъ книгахъ «Современника» 1861 года мы не находимъ ни малѣйшаго отголоска на статью Юркевича: Чернышевскій не далъ никакого отвѣта. Вѣдь ничего особеннаго не случилось! Публикѣ нечего знать, подверглось-ли гдѣ-нибудь разбору его ученіе объ антропологическомъ принципѣ въ философіи. На высотахъ передовой журналистики все было спокойно. Но врагъ не дремалъ. Медленно подбираясь къ новой плеядѣ писателей, зорко слѣдя за ихъ политикой и тактикой, Катковъ, еще сравнительно недавно печатавшій свои статьи рядомъ съ знаменитыми «Письмами объ изученіи природы» Герцена, но уже склоняющійся въ сторону консервативнаго обличительства, собиралъ все, что могло служить орудіемъ, съ которымъ онъ въ рѣшительную минуту яростно двинется на противниковъ. Уже въ первой книгѣ «Русскаго Вѣстника» 1861 г. мы находимъ небольшую статейку подъ названіемъ

«Нѣсколько словъ вмѣсто современной лѣтописи». Сообщая публикѣ о задуманной внѣшней перемѣнѣ въ изданіи «Русскаго Вѣстника», Катковъ посылаетъ двѣ-три ядовитыхъ стрѣлы въ сторону лучшаго петербургскаго журнала. Въ С.-Петербургѣ журналисты «съ свирѣпымъ безсмысліемъ» протестуютъ противъ искусства для искусства и тѣмъ не менѣе эти журналисты сами занимаются совершенно безплодными дѣлами: роются въ собственныхъ дрязгахъ, не видя передъ собою божьяго міра, перекоряются домашними счетами и сплетнями и подрываютъ другъ друга мелкими интригами. Катковъ зналъ, какими словами писать, и въ его обширномъ лексиконѣ всякаго рода дерзкія выраженія занимали очень выдающееся мѣсто. Щеголяя кричащими и бичующими эпитетами передъ своими либеральными противниками, онъ наносилъ имъ рѣшительные удары, ни мало не заботясь ни о приличіи, ни о литературномъ достоинствѣ. Грубо и рѣзко говоритъ онъ въ упомянутой замѣткѣ о «тупомъ доктринерствѣ», о «мальчишескомъ забіячествѣ» приверженцевъ новыхъ программъ. Ни одна литература въ мірѣ, пишетъ онъ, не представляетъ такого изобилія журнальныхъ скандаловъ, «какъ наша маленькая, скудная, едва начавшая жизнь литература, литература безъ науки, едва только выработавшая себѣ языкъ» [1])... Но о какихъ скандалахъ упоминаетъ здѣсь Катковъ? Что случилось въ журналистикѣ послѣдняго года? Какія событія встревожили этого журнальнаго волка, искавшаго жертвы во что бы то ни стало? Объ этомъ онъ пока—ни слова. На высотахъ журналистики все обстоитъ благополучно. Но подождите, время придетъ и подниметъ слѣдящихъ за жизнью людей зловѣщимъ ударомъ набата.

Январьская книга «Русскаго Вѣстника» бросаетъ только намекъ: пусть имѣющіе уши слышатъ и понимаютъ. Но вотъ выходитъ февральская книга со статьею Каткова: «Старые боги и новые боги». Намеки здѣсь уже развертываются въ явную полемику. Въ превосходной по стилю статьѣ, но богато уснащенной всякими преувеличеніями, выдающими партійное раздраженіе, московскій публицистъ обрушиваетъ на «Современникъ» цѣлую груду обвиненій. Не довольствуясь обычными для него средствеми—холодной рѣжущей насмѣшкой, наглой руганью, гудящей на всю Россію, безпардонной откровенностью, затыкающей противнику ротъ, скручивающей его, какъ веревками, — онъ хватается грубой рукою за орудіе благородное и предназначенное для совершенно другихъ цѣлей, но острое и убійственное для врага при данныхъ обстоятельствахъ. Вотъ онъ—настоящій Катковъ, въ этой замѣткѣ о старыхъ и новыхъ богахъ. Предавъ издѣвательству своихъ петербургскихъ недруговъ, забросавъ ихъ упреками въ мракобѣсіи и юродствѣ, ударивъ

[1]) «Русск. Вѣстникъ», 1861, январь, стр. 481.

мимоходомъ по шапкѣ новаго философскаго критика «Современника», Антоновича, Катковъ внезапно дѣлаетъ слѣдующее сенсаціонное заявленіе. Онъ рекомендуетъ Антоновичу «одну статью, напечатанную въ Трудахъ Кіевской Академіи». Статья эта, говоритъ Катковъ, разоблачаетъ «наглое шарлатанство, выдаваемое за высшую современную философію». Спасибо шарлатанству, пишетъ онъ, по крайней мѣрѣ за то, что оно послужило поводомъ къ появленію такого превосходнаго философскаго труда: статья Юркевича исполнена положительнаго интереса, отличается признаками зрѣлаго, самостоятельнаго, вполнѣ владѣющаго собою мышленія. Отмѣтивъ это новое явленіе въ философской литературѣ, Катковъ обѣщаетъ своимъ читателямъ обстоятельную выдержку изъ трактата Юркевича въ одной изъ ближайшихъ книгъ «Русскаго Вѣстника» [1]).

Чѣмъ дальше, тѣмъ злѣе и острѣе становится полемика Каткова противъ «Современника». Въ мартѣ мѣсяцѣ онъ печатаетъ довольно пространную статью подъ названіемъ «Нашъ языкъ и что такое свистуны?» Перебравъ выдающіеся факты послѣдняго времени, Катковъ съ особенною силою накидывается на дѣятелей либеральной печати. Свистъ «Современника» приводитъ его въ ярость. Невозможно больше молчать! Петербургскіе журналисты не на шутку становятся «господами положенія». Мыслящіе люди разрознены, образуются кружки съ искусственною, спертою атмосферой, мысль мелѣетъ въ обществѣ, повсюду развивается «мелюзга личныхъ перекоровъ и самолюбій». «Бѣдная, жалкая литература! восклицаетъ Катковъ. Мы находимся въ школьномъ положеніи и потому ведемъ себя подобно школьникамъ. Дѣло въ томъ, что мысль наша не имѣетъ къ себѣ уваженія и что ей трудно уважать себя. Она прячется, роетъ норки, теряетъ вѣру и въ себя, и во все окружающее. Въ ней притупляются всѣ лучшіе инстинкты и роскошно разростается всякая дрянь. Въ ней развиваются всѣ рабскія свойства, и она становится способною служить орудіемъ для легкихъ цѣлей и для всякаго шарлатанства» [2]). Ничтожества «топорщатся со свистомъ въ головѣ» стать выше цѣлаго общества, подъ прикрытіемъ громкихъ словъ подняться выше убѣжденій цѣлаго міра. Въ литературныхъ статьяхъ, вмѣсто логики и серьезныхъ разсужденій—хламъ негодныхъ фразъ, грубость и невоздержность, покорныя генію свистопляски и нѣкоторымъ преданіямъ нашей литературы. Все разумное, образованное невольно сторонится большихъ дорогъ, говоритъ полутономъ или предается въ глуши безвѣстному, уединенному труду... Этотъ третій полемическій залпъ долженъ

---

[1]) „Русскій Вѣстникъ“ 1861 г., февраль, „Литературное Обозрѣніе и Замѣтки“.

[2]) Ibidem, мартъ, „Литературное Обозрѣніе и Замѣтки“, стр. 21.

былъ произвести сильное впечатлѣніе на читающее общество. Большая, но темная сила, вооруженная орудіями знанія и литературнаго таланта, смѣло заявляла себя въ этихъ краткихъ, какъ-бы вынужденныхъ объясненіяхъ на текущую тему общественной жизни. Нѣкогда личный другъ и знакомый многихъ видныхъ либеральныхъ дѣятелей, Катковъ зналъ, въ какую сторону слѣдуетъ ударить, на какомъ поприщѣ враги его могутъ и должны потерпѣть пораженіе въ глазахъ если не настоящаго, то ближайшихъ поколѣній. Никто не видѣлъ съ такою ясностью, какъ онъ, всѣ логическіе промахи философствующихъ публицистовъ «Современника», ихъ развязность и неправоту въ вопросахъ высокой важности. Самъ обладая превосходнымъ научнымъ образованіемъ, онъ ясно сознавалъ, что эти люди строятъ свое зданіе на пескѣ. Они сами подкапываются подъ себя, подъ то дѣло, которымъ дорожатъ по преимуществу, когда вызываютъ на бой такихъ противниковъ, какъ Юркевичъ... Первые журнальные выстрѣлы Каткова представляютъ громадный историческій интересъ для настоящаго времени, и кто хочетъ понять, при какихъ обстоятельствахъ созидалась и выростала въ русскомъ обществѣ гидра консерватизма и реакціи, несмотря на радостный свѣтъ крестьянскаго освобожденія, несмотря на броженіе свѣжихъ силъ въ различныхъ кругахъ общественной жизни, тотъ долженъ обратиться къ характернымъ фактамъ нашей журналистики въ это памятное время шестидесятыхъ годовъ. Теоретическія ошибки дѣйствуютъ, какъ чума, какъ холера, вырывая съ корнемъ тѣ силы, которыя имъ причастны. Куда-бы ни направлялась волна общественныхъ симпатій, она растаетъ очень быстро, если люди, идущіе въ этой волнѣ, руководятся фальшивыми теоретическими идеями. Ядъ философскаго заблужденія обезсиливаетъ самыхъ лучшихъ людей. Спокойно взвѣсивъ и оцѣнивъ литературныя средства боевого отряда русской печати, Катковъ пришелъ къ убѣжденію, что ему, съ его мощнымъ публицистическимъ талантомъ, съ его безграничною увѣренностью въ самомъ себѣ, пора, наконецъ, взяться за настоящее дѣло. Время не ждетъ, роковая минута пришла...

Кто же эти разумные, образованные люди, которые сторонятся большихъ дорогъ, уступая мѣсто храбрымъ, но философски несостоятельнымъ журналистамъ? Кто эти люди, которыхъ Катковъ хотѣлъ бы привлечь на свою сторону, чтобы подъ прикрытіемъ научной правоты нанести впослѣдствіи своимъ противникамъ сокрушительный ударъ въ совершенно другой области? Катковъ не называетъ именъ, но уже въ апрѣльской и майской книгахъ «Русскаго Вѣстника» онъ исполняетъ данное имъ обѣщаніе и предлагаетъ своимъ читателямъ обширную перепечатку лучшихъ мѣстъ изъ статьи Юркевича. Еще разъ онъ отмѣчаетъ философскія качества этой работы, хвалитъ Юркевича за то, что онъ далъ себѣ трудъ «подробно анализировать сбродъ непонятыхъ или

полупонятыхъ мнѣній, выдающихъ себя въ нашей журналистикѣ за какую-то передовую мудрость». Статья Юркевича принадлежитъ «къ лучшему, что когда-либо было писано у насъ по предмету философіи», и надо пожелать, чтобы Юркевичъ «почаще являлся въ литературѣ и чтобы преподавательская его дѣятельность приняла еще большіе размѣры, на что, впрочемъ, мы имѣемъ уже нѣкоторое основаніе надѣяться» [1]). Перепечаткѣ предшествуетъ небольшое философское введеніе, написанное самимъ Катковымъ, гдѣ передаются въ сжатомъ видѣ главныя мысли кіевскаго профессора. Юркевичъ съ благородною деликатностью устранялъ и предупреждалъ все то, что могло послужить къ невыгодѣ статей Чернышевскаго «съ какихъ-либо точекъ зрѣнія, кромѣ чисто научныхъ», но Катковъ вовсе не намѣренъ оказывать снисхожденіе своимъ противникамъ. Статья Юркевича даетъ хорошій поводъ низвергнуть идолъ незаслуженнаго журнальнаго авторитета, «опрокинуть его жертвенникъ», «осмѣять его прорицанія», и Катковъ не можетъ имъ не воспользоваться. «У насъ нѣтъ ни психологіи, ни физіологіи, пишетъ онъ, но есть литературныя мечтанія о томъ и другомъ. У насъ нѣтъ ни политическихъ наукъ, ни политической жизни, но за то появляются корреспонденціи о *говорильняхъ* съ фанфаронствомъ юнаго ума, ни въ чемъ неповиннаго, но вообразившаго себѣ, что онъ все испыталъ, все извѣдалъ, утомился подъ бременемъ знанія и опыта, и во всемъ видитъ суету суетствій»... Статья Юркевича, погребенная въ невѣдомомъ журналѣ, никому доселѣ неизвѣстная, вдругъ возродилась на страницахъ распространеннаго московскаго журнала. Катковъ извлекъ ее изъ мрака, снабдилъ ее эффектными объясненіями и вынесъ ее на широкую журнальную дорогу. И эта полемическая статья, отмѣченная сильною похвалою талантливаго публициста, вдругъ взорвалась, какъ граната, на шумномъ полѣ журнальной войны. Высоты журналистики застлало пороховымъ дымомъ. Положеніе Чернышевскаго стало очень щекотливымъ. Юркевичу надо дать отвѣтъ. Каткову надо дать отвѣтъ. Необходимо показать свою правоту публикѣ въ такой формѣ, которая всѣхъ ошеломила-бы и тѣмъ подчинила-бы его авторитету. Но какъ? Что сказать? Какими новыми аргументами отстрѣляться отъ этого внезапнаго нападенія, сдѣланнаго съ удивительнымъ тактическимъ расчетомъ? Юркевичъ, приподнятый на всѣмъ видимую высоту Катковымъ,—не просто какой-то захолустный профессоръ, котораго можно запрятать, задушить въ томъ фельетонномъ застѣнкѣ, въ которомъ смѣлые журналисты сгубили для Россіи не одну громкую, даже европейскую репутацію. Нѣтъ, это—сила, которую надо сразить какимъ-нибудь экстравагантнымъ способомъ. Надо отвѣтить такъ, чтобъ дрог-

[1]) «Русскій Вѣстникъ» 1861 г., май, «Литературное Обозрѣніе и Замѣтки», стр. 59.

нули всѣ журналисты. Уже не свистомъ, а рѣзкимъ, презрительнымъ ударомъ надо низвести до нуля этого ученаго семинариста, совершенно выбросивъ изъ спора опасный вопросъ о философской сторонѣ предмета и затѣмъ только вступивъ въ обычную азартную борьбу съ противниками на журнально-публицистической почвѣ, въ области настоящей своей компетенціи. Пусть наивные люди ждутъ философскихъ возраженій—они не дождутся. Они не понимаютъ журнальной стратегіи. Они не настоящіе бойцы за прогрессъ. Правда, ученый Лавровъ думаетъ, что идеалистическая логика крѣпка. Онъ говоритъ, что ждетъ съ нетерпѣніемъ отвѣта на статью Юркевича,—надлежащаго отвѣта «аргументъ за аргументомъ». Онъ зачѣмъ-то иронизируетъ. Онъ говоритъ, что статья Юркевича будетъ оставлена публикой въ сторонѣ, даже въ извлеченіи «Русскаго Вѣстника», и что дѣятели «Современника» могутъ теперь безъ конца повторять: «*физіологія доказала* то-то и то-то» [1]). Онъ сомнѣвается, чтобы Чернышевскій былъ въ силахъ побороть Юркевича... Но Чернышевскій поведетъ дѣло другимъ путемъ.

Въ іюньской книгѣ «Современника» за 1861 г. раздался, наконецъ, боевой кликъ Чернышевскаго. Въ своей знаменитой статьѣ «Полемическія красоты» Чернышевскій схватывается съ нѣсколькими врагами сразу. Онъ отвѣчаетъ Каткову и черезъ голову Каткова замахивается на Юркевича. Статья написана неровнымъ стилемъ, въ двухъ настроеніяхъ, смѣняющихъ другъ друга и выдающихъ нѣкоторое внутреннее смущеніе Чернышевскаго. При всемъ своемъ несомнѣнномъ умѣ и громадной журнальной опытности, онъ не проявляетъ надлежащаго пониманія первыхъ шаговъ Каткова въ этомъ неожиданномъ его походѣ противъ «Современника». Чернышевскій колеблется въ обрисовкѣ московскаго журналиста, предается ненужнымъ изліяніямъ, заговариваетъ о собственномъ пафосѣ, пытается смутить твердаго противника напоминаніемъ о дѣлахъ его минувшихъ дней. Каткову надо было отвѣтить прямо, безъ всякихъ справокъ о прошломъ, сразившись съ нимъ на почвѣ его настоящихъ побужденій, разоблачивъ его смѣлый маневръ, показавъ, что ему собственно нѣтъ никакого дѣла до Юркевича, что онъ прибѣгаетъ къ идеализму только, какъ къ маскѣ. Изліянія неумѣстны, когда врагъ вооружается хорошо разсчитанной дипломатіей. Съ такимъ врагомъ опасно бороться съ обнаженной грудью, съ открытымъ сердцемъ. Чернышевскій сдѣлалъ въ этомъ спорѣ фальшивый шагъ по отношенію къ Каткову и грубую безтактность по отношенію къ Юркевичу. Каткову онъ говоритъ: вспомните, было время, когда вы писали въ «Отечественныхъ Запискахъ» вмѣстѣ съ Герценомъ, нѣкоторыя ваши статьи приписывались Бѣлинскому, вы шли рядомъ съ

[1]) П. Лавровъ, *Моимъ критикамъ*, ст. 1. Русское Слово, 1861, іюнь, стр. 51.

К. Аксаковымъ. Теперь всѣ въ разлукѣ! Убѣжденія у всѣхъ измѣнились, люди разбились на противоположныя партіи. Еще недавно Чернышевскому не совсѣмъ легко было убѣдиться, что онъ не можетъ имѣть по нѣкоторымъ важнымъ вопросамъ однородныхъ мнѣній съ «Русскимъ Вѣстникомъ», потому что было время, когда ему было пріятно думать: мы можемъ дѣйствовать заодно. Какое разочарованіе! Но Чернышевскій не хочетъ разстаться съ мечтой объ единодушіи съ Катковымъ. «Если я теперь думаю, пишетъ онъ: можетъ прійти очередь другихъ вопросовъ, въ которыхъ мы можемъ сойтись, развѣ денежныя выгоды или другія дрязги заставляютъ меня желать этого? Пусть судьею будетъ самъ Русскій Вѣстникъ». Такъ отвѣчаетъ Чернышевскій *лично* Каткову. Статья разбита на главы, и эта часть отвѣта составляетъ ея первую главу. Но излившись въ своихъ чувствахъ, Чернышевскій вдругъ соображаетъ, что идти этимъ путемъ дальше невозможно. Вѣдь это все-таки не отвѣтъ, а полемическіе громы Каткова грохочутъ на всю Россію. Надо перейти какъ можно скорѣе въ другой тонъ, — и Чернышевскій, чтобы окончательно отдѣлить эту патетическую, задушевную главу отъ другихъ, которыя, какъ онъ самъ сознаетъ теперь, должны быть нѣсколько болѣе злыми, рѣзкими и ядовитыми, ставитъ подъ нею, посреди статьи, свою полную подпись и затѣмъ приступаетъ къ очереднымъ дѣламъ [1]). Теперь онъ возражаетъ на всѣ четыре статьи «Русскаго Вѣстника». Онъ защищаетъ «Современникъ» отъ всякихъ частныхъ обвиненій, заявляетъ Каткову, что ему, Каткову, не выдержать объясненій съ нимъ — не потому, чтобы онъ былъ умнѣе Каткова или владѣлъ перомъ искуснѣе его (такъ Чернышевскій и говоритъ), а потому, что языкъ его свободнѣе. Онъ не будетъ церемониться ни съ собственной репутаціей, ни съ чужою репутаціей. Онъ мертвъ къ похвалѣ и къ порицанію и не слишкомъ-то гордится своею литературною дѣятельностью. Затѣмъ, переходя къ инциденту съ Юркевичемъ, Чернышевскій опять пускается въ откровенность, но уже болѣе бравурнаго и вызывающаго характера. Онъ самъ семинаристъ, какъ и его противникъ. Онъ видѣлъ людей, занимающихъ такое положеніе, какъ теперь Юркевичъ, и потому ему тяжело смѣяться надъ нимъ, ибо это значило бы смѣяться «надъ невозможностью имѣть въ рукахъ порядочныя книги, надъ совершенною безпомощностью своего развитія, надъ положеніемъ, невообразимо стѣсненнымъ во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ». Если Юркевичъ уже не молодъ, то для него, конечно, все кончено. Но если онъ молодъ, то Чернышевскій съ удовольствіемъ предложитъ ему тотъ небольшой запасъ книгъ, какимъ онъ располагаетъ. «Русскому Вѣстнику» Чернышевскій заявляетъ: вы только скомпрометировали Юркевича—всѣ семи-

[1]) «Современникъ», 1861 г. Іюнь, «Полемическія красоты», стр. 454.

наристы пишутъ, какъ Юркевичъ. Если Каткову угодно, онъ доставитъ въ редакцію свои, такъ называемыя на семинарскомъ языкѣ, «задачи», т. е. тѣ маленькія диссертаціи, которыя онъ писалъ, когда учился въ философскомъ классѣ саратовской семинаріи, и тогда редакція убѣдится, что въ этихъ задачахъ имѣется все то, чѣмъ наполнена статья Юркевича. «Да, я увѣренъ, что въ ней написано то же самое, хотя я еще не читалъ ея и не прочту ея, не прочту и всего извлеченія, напечатаннаго въ Русскомъ Вѣстникѣ, а прочту въ корректурѣ тотъ отрывокъ изъ извлеченія, который отмѣтилъ я для вставки въ эту статью. Я впередъ знаю все, что я прочту въ немъ, все, до послѣдняго слова и очень многое помню наизусть...» При этомъ Чернышевскій, распаленный безмѣрнымъ задоромъ, прибѣгаетъ къ слѣдующему экстравагантному, хитроумному маневру. Откромсавъ ножницами ровно треть изъ статьи Юркевича въ перепечаткѣ Каткова, онъ бросаетъ ее своимъ читателямъ съ слѣдующимъ издѣвательскимъ, до дикости неожиданнымъ и безсмысленнымъ заявленіемъ: «Пришлось такъ, пишетъ онъ, что послѣднія строки послѣдней страницы, до конца которой доходитъ мое право перепечатки, не заключаютъ въ себѣ полнаго періода, и въ концѣ послѣдней строки стоитъ только *половина слова*, другая половина котораго переносится на слѣдующую страницу. Что дѣлать! Брать со слѣдующей страницы я не имѣю уже права, а до конца этой страницы я обязанъ воспользоваться вполнѣ своимъ правомъ, чтобы не лишить читателя ни одной буквы изъ той части побѣдоноснаго опроверженія моихъ мыслей, которую могу сообщить ему...» [1]).

На высотахъ журналистики, въ изступленіи борьбы, совершаются вещи, по истинѣ неслыханныя и невиданныя.

V.

Нападки Каткова продолжаются. Въ маѣ онъ набрасывается на знаменитаго въ свое время В. Аскоченскаго, редактора «Домашней Бесѣды» и по пути опять задѣваетъ, въ прозрачныхъ намекахъ, дѣятелей «Современника». По его мнѣнію, между этими различными журналистами существуетъ органическая связь: это — «одного поля ягоды». Статейка проникнута ядомъ въ тѣхъ частяхъ, которыя относятся къ Аскоченскому и достигаетъ апогея полемическаго гнѣва въ тѣхъ фразахъ, которыми онъ бичуетъ своихъ противниковъ изъ лагеря «Современника». Катковъ еще не былъ въ это время явнымъ сторонникомъ реакціи. Какъ это извѣстно всѣмъ, слѣдившимъ за судьбами нашего общественнаго развитія, онъ держался тогда либеральнаго знамени, расходясь съ радикаль-

[1]) «Полемическія красоты», стр. 470.

ною печатью по вопросу аграрному и по вопросамъ чисто-философскимъ. Русское общество смотрѣло еще на него, какъ на писателя прогрессивнаго. Даже Чернышевскій, какъ мы видѣли, возлагалъ на него какія-то надежды всего за годъ до его знаменитой перестрѣлки съ Герценомъ, приведшей къ жестокой войнѣ, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1862 года [1]). И тѣмъ сильнѣе поражали его полемическіе удары, которыми онъ осыпалъ петербургскихъ публицистовъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ подрядъ. Тѣмъ убійственнѣе дѣйствовала его насмѣшка. Шумя отъ одного конца Россіи до другого, статьи его изумляли смѣлостью и яростью нападеній... Въ замѣткѣ объ Аскоченскомъ Катковъ бьетъ своихъ противниковъ, по обыкновенію, въ два кнута. Замаскированный поборникъ твердой внѣшней власти, онъ отстаиваетъ свободу отъ непрошенныхъ ея защитниковъ. Вездѣ, на различныхъ путяхъ, вы встрѣтите людей, говоритъ онъ, которые болѣе всѣхъ горячатся во имя великихъ вопросовъ жизни, но всмотритесь въ этихъ людей, и вы увидите, что они одержимы порчею и представляютъ настоящее препятствіе для развитія общества. Каждое дѣйствующее нравственное начало бываетъ со всѣхъ сторонъ окружено корою, скрывающею его отъ взоровъ — «этими злоупотребленіями его имени, этими искаженіями его значенія, этими отрицательными величинами, представляющими его въ превратномъ смыслѣ» [2]). Около всякой святыни собираются толпы людей, выдающихъ себя за ея пламенныхъ поборниковъ, оберегающихъ ее отъ врага, стерегущихъ драконами всѣ тропинки, къ ней ведущія. Но по духу эти толпы совершенно чужды ея дѣйствительнымъ интересамъ. Нѣтъ такого знамени, которое не служило-бы прикрытіемъ для самыхъ темныхъ дѣлъ. Сличите, говоритъ Катковъ, статьи нашихъ прогрессистовъ, ихъ политическія и философскія разсужденія, со статьями Аскоченскаго или Бурачка, и вы увидите, какое огромное между ними сходство. Эти писатели точно заимствуютъ другъ у друга мысли, выраженія, пріемы критики. То-же циническое глумленіе надъ человѣческой свободой, то-же презрѣніе къ истинѣ, то-же наѣздническое обращеніе съ фактами жизни, та-же ухорская заносчивость въ сужденіяхъ о людяхъ. Одинъ и тотъ-же духъ господствуетъ въ этихъ различныхъ лагеряхъ, и нѣтъ сомнѣнія, что Аскоченскій могъ-бы занять видное мѣсто посреди этого океана пустословія, пошлостей, фальши, фразъ безъ смысла, затопляющихъ нашу литературу,—литературу безъ науки, безъ всякихъ нормъ, безъ значительныхъ серьезныхъ преданій, оставь онъ только свои нелѣпыя притязанія, говори онъ только о томъ, что знаетъ, не выдумывай онъ небывалыхъ фактовъ...

---

[1]) «Русскій Вѣстникъ», 1862, іюнь: «Замѣтка для издателя Колокола», стр. 834—852.

[2]) Ibidem, 1861, май: «Одного поля ягоды», стр. 2.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ Катковъ отражаетъ полемическій отвѣтъ Чернышевскаго. Шагъ за шагомъ, онъ возражаетъ ему по всѣмъ пунктамъ, въ насмѣшливомъ тонѣ, донимая противника, гдѣ можно, логическими доводами, гдѣ можно — удачными тактическими вывертами, съ проницательностью журальнаго дипломата и умѣлаго политикана. Онъ уловилъ смущеніе Чернышевскаго. Рѣдко случалось ему видѣть такую игру аффектовъ, какую возбудила въ Чернышевскомъ статья Юркевича. Чернышевскій совершенно растерялся. Зачѣмъ онъ старается увѣрить публику, что онъ не читалъ и не будетъ читать статьи своего критика? «Вѣдь это хуже, что онъ не читалъ и не хочетъ читать». Вѣдь это изобличаетъ слабость, нетвердость убѣжденія. Индѣйскіе воины, описываемые Купером, доказываютъ свое мужество тѣмъ, что, подвергаясь всевозможнымъ пыткамъ, ни малѣйшимъ крикомъ, ни малѣйшимъ измѣненіемъ лица не выдаютъ своихъ страданій. Вотъ у кого слѣдовало-бы Чернышевскому поучиться правиламъ настоящей героической войны. Онъ долженъ былъ-бы заявить, что читалъ роковую статью до конца, что прочтетъ ее еще разъ и еще разъ, но что она на него никакого впечатлѣнія не произвела и не произведетъ. «Тогда-бы онъ былъ настоящій воинъ. А то какъ-же такъ, à priori, по одному откровенію духа, рѣшить, что статья не стоитъ вниманія? Вѣдь это можетъ озадачить и ту часть читающей публики, которая еще учится въ саратовской семинаріи». Почему Чернышевскій не хочетъ оказать чести Юркевичу? Отчего такая немилость къ несомнѣнно выдающемуся оппоненту? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, Чернышевскій никогда не прочтетъ этой статьи? Но почему-же? Что за предубѣжденіе?.. Юркевичъ преподаетъ философію въ кіевской академіи — это правда. Можно допустить, что Юркевичъ свое первоначальное воспитаніе получилъ въ какой-нибудь семинаріи, напримѣръ — кіевской, допустимъ и это. Положимъ, что въ семинаріяхъ обученіе идетъ по невѣрной стезѣ — пусть такъ. Но что-же изъ всего этого слѣдуетъ? Неужели то, что кіевская семинарія не саратовская, а саратовская не кіевская? Неужели то, что люди, вышедшіе изъ саратовской семинаріи, лучше тѣхъ, которые имѣли несчастье учиться въ кіевской? Чернышевскій «простеръ руку» и не допускаетъ къ себѣ Юркевича, который первоначально обучался въ семинаріи. «Какая нетерпимость и, въ пылу гнѣва, какая несправедливость къ самому себѣ!» Вѣдь самъ Чернышевскій учился въ саратовской семинаріи—«значитъ изъ Галилеи можетъ придти что-нибудь хорошее, даже великое и достославное». Чернышевскій предлагаетъ Юркевичу свои книжки для пользованія. Но можетъ быть кіевскій критикъ ихъ уже читалъ, можетъ быть онъ доказываетъ въ своей статьѣ, что философъ изъ «Современника» только компрометируетъ тѣ самые авторитеты, на которые онъ хотѣлъ-

бы опереться? Чернышевскій готовъ доставить въ редакцію «Русскаго Вѣстника» свои старыя саратовскія «задачи» въ доказательство того, что онъ, не читавши, можетъ сказать, въ чемъ заключается содержаніе критической статьи Юркевича. Но можетъ быть Юркевичъ знаетъ кое-что и сверхъ того, чему легко было научиться въ кіевской или саратовской семинаріи?

Вышутивъ Чернышевскаго, Катковъ, въ заключеніе, адресуетъ къ нему нѣсколько снисходительныхъ фразъ въ отвѣтъ на миролюбивую первую главу «Полемическихъ красотъ». Сотрудникъ «Современника» по собственному опыту могъ теперь убѣдиться въ томъ, что полемика не всегда есть дѣло пріятное. Если по склонности къ ухорству, «по реминисценціямъ школы», намъ сладостно щелкать, тузить, втаптывать въ грязь своихъ недруговъ, то намъ непріятно видѣть, когда то же самое дѣлаютъ другіе. Пусть «Современникъ» приметъ на себя иниціативу въ прекращеніи полемики. Пусть онъ первый перестанетъ заниматься этимъ безплоднымъ дѣломъ, которое, въ своемъ настоящемъ видѣ, служитъ только признакомъ дѣтскаго состоянія нашей литературы, и мы съ удовольствіемъ послѣдуемъ доброму примѣру, кто-бы ни подалъ его, пишетъ въ заключеніе Катковъ [1]).

Вотъ что значитъ одинъ неловкій шагъ, неудачный полемическій пріемъ, который неизбѣжно обернется противъ того, кто его сдѣлалъ. Чернышевскій далъ въ руки Каткову такое орудіе, которому онъ противопоставить ничего не могъ. Сильный врагъ, съ затаенными замыслами для ближайшаго будущаго, воспользовался своимъ положеніемъ, какъ настоящій большой артистъ. Теперь онъ оскандалилъ философскія знанія извѣстныхъ людей, а завтра онъ воспользуется этою побѣдою, чтобы скомпрометировать ихъ направленіе въ вопросахъ другого рода.

За «Русскимъ Вѣстникомъ» выступили противъ Чернышевскаго и другіе журналы. Для всѣхъ сколько-нибудь понимающихъ людей было ясно, что Чернышевскій поступилъ безтактно, грубо съ человѣкомъ, который заслуживалъ иного обращенія. Исторія съ Юркевичемъ облетѣла всю Россію, и журналы не могли молчать. Слова Каткова, человѣка, который, кромѣ выдающагося литературнаго таланта, обладалъ еще спеціальными философскими знаніями, поставили Юркевича въ особо выгодное положеніе. Книжка «Трудовъ Кіевской духовной академіи», въ которой появилась эта знаменитая отнынѣ статья, попала въ журнальный водоворотъ. Не оставалось никакого сомнѣнія, что похвала Каткова основательная. Талантъ Юркевича, его могучій, яркій и плавный стиль громадная начитанность, учтивый тонъ—все бросалось въ глаза и про-

[1]) «Русскій Вѣстникъ», 1861 г., іюнь «Литерат. Обозрѣніе и Замѣтки: по поводу полемическихъ красотъ въ Современникѣ», стр. 138—159.

изводило впечатлѣніе выгоднаго для него контраста съ взъерошенными, хотя и кипучими разсужденіями Чернышевскаго. Вся журналистика оказалась объятой скандаломъ, равнаго которому не было ничего до сихъ поръ въ лѣтописяхъ русской печати. Чернышевскій занималъ слишкомъ видное положеніе въ литературѣ, чтобы обойти молчаніемъ событіе, которое должно было, въ концѣ-концовъ, освѣтить истинные размѣры его образованія и таланта. Въ статьяхъ Каткова выступало какое-то особое настроеніе, смысла котораго нельзя было разгадать съ полною опредѣленностью. О будущей роли Юркевича въ литературѣ нельзя было сказать ничего категорическаго, но можно было ожидать, что и онъ еще вернется къ Чернышевскому и его философіи. При такихъ обстоятельствахъ журналы должны были поднять тревогу. Первыми выступили «Отечественныя Записки», либеральное изданіе А. Краевскаго и С. Дудышкина, съ превосходными литературными преданіями и болѣе или менѣе самостоятельнымъ, хотя еще не окончательно упроченнымъ положеніемъ въ русскомъ обществѣ. Въ іюльской книгѣ 1861 г. «Отечественныя Записки», подражая «Русскому Вѣстнику», даютъ пространную перепечатку изъ статьи Юркевича въ отдѣлѣ «Русская Литература». Дудышкинъ отзывается о Юркевичѣ почти такъ-же, какъ Катковъ. Статья его, по мнѣнію этого журнала, поставила его на первое мѣсто между всѣми, когда либо писавшими о философіи въ Россіи. «Знаніе системъ философскихъ, пишетъ Дудышкинъ, полное усвоеніе предмета и самостоятельное къ нему отношеніе—вотъ заслуги г. Юркевича». Юркевичъ—идеалистъ, и точка опоры его ученія поставлена прочно и твердо. Статья его—цѣлый философскій трактатъ, въ которомъ авторъ нигдѣ не прибѣгаетъ къ площаднымъ шуткамъ, чтобы задобрить читателя. Юркевичъ не боится подходить къ предмету прямо и, когда отсутствуютъ научныя данныя, откровенно сознаться: это еще не доказано никѣмъ, этого мы еще не знаемъ, — хотя, замѣчаетъ Дудышкинъ, онъ имѣлъ-бы гораздо больше поводовъ, нежели Чернышевскій, говорить съ увѣренностью. Не подлежитъ сомнѣнію, что такое возраженіе заслуживаетъ подробнаго отвѣта. Но что-же дѣлаетъ Чернышевскій? Онъ дѣлаетъ то, что дѣлалъ всегда, когда отъ него требовали серьезныхъ объясненій. Онъ «отдѣлывается непозволительной развязностью, которая, наконецъ, переходитъ въ дерзость по отношенію къ Юркевичу». Приведя затѣмъ отвѣтъ Чернышевскаго, Дудышкинъ замѣчаетъ: «какъ вамъ нравится этотъ отвѣтъ? Другими словами, Чернышевскій говоритъ: вы несчастный человѣкъ, господинъ Юркевичъ, потому что вы учились въ семинаріи и учились по плохимъ руководствамъ». Этотъ полемическій фокусъ, разсчитанный на успѣхъ среди послѣдователей, напоминаетъ Дудышкину барона Брамбеуса, который всегда отвѣчалъ въ такомъ-же родѣ, когда Бѣлинскій требовалъ отъ него категорическихъ объясненій.

Но Сенковскій обладалъ бо́льшимъ, чѣмъ Чернышевскій, остроуміемъ. Онъ отвѣчалъ иногда такъ: «я когда-нибудь, на досугѣ, напишу вамъ отвѣтъ на латинскомъ языкѣ». Чернышевскій подражаетъ Брамбеусу—въ дѣлѣ чрезвычайно серьезномъ, въ спорѣ первой важности, въ вопросѣ, поставленномъ какъ нельзя болѣе ясно! Онъ отвѣчаетъ Юркевичу такъ, какъ не подобало-бы серьезному журналисту: съ размаху, очертя голову [1]).

Эта замѣтка «Отечественныхъ Записокъ» не осталась безъ отвѣта со стороны Чернышевскаго. Въ августовской книгѣ «Современника» того-же 1861 года онъ помѣщаетъ «вторую коллекцію красотъ», собранныхъ изъ «Отечественныхъ Записокъ», подъ тѣмъ-же заглавіемъ, подъ какимъ появился его отвѣтъ Каткову: «Полемическія красоты». На пространствѣ 48 печатныхъ страницъ Чернышевскій обозрѣваетъ всѣхъ главныхъ дѣятелей этого журнала. Это самая игривая изъ всѣхъ статей Чернышевскаго и, надо сказать правду, одна изъ самыхъ талантливыхъ его статей. Несмотря на неправоту въ главномъ вопросѣ и грубость пріемовъ, онъ сражается съ публицистами либеральнаго журнала съ поразительной ловкостью. Выдравъ за ухо политическаго обозрѣвателя «Отечественныхъ Записокъ», Альбертини, давъ ему два-три легкихъ пинка и сказавъ ему на прощанье: «милое дитя, избѣгайте полемическихъ встрѣчъ съ нами», Чернышевскій переходитъ къ Буслаеву. Этому ученому мужу онъ изрекаетъ въ лицо самыя непріятныя вещи. Вы трудитесь для науки, но наука вашихъ трудовъ не признаетъ, говоритъ онъ ему. Въ вашихъ сочиненіяхъ нѣтъ рѣшительно никакой критики. По сходству рѣшета съ лукошкомъ, вы дѣлаете заключеніе о связи между славянскимъ гаданіемъ и индѣйскимъ поклоненіемъ Индрѣ. О, добрѣйшій господинъ Буслаевъ, какъ мало у васъ полемическаго соображенія! Вы не должны удивляться моей откровенности: у меня секретовъ нѣтъ никакихъ ни въ чемъ... Чернышевскій приглашаетъ и Буслаева никогда не спорить съ сотрудниками «Современника»—иначе онъ, Чернышевскій, займется его ученой дѣятельностью. «Затѣмъ, свидѣтельствуя совершеннѣйшее почтеніе къ вашему трудолюбію и глубочайшее уваженіе къ вашему благородству, имѣю честь остаться всегда готовый къ какому вамъ угодно ученѣйшему спору. Въ ожиданіи этого лестнаго моему невѣжеству спора, собираю розданныя разнымъ знакомымъ книги свои по предмету, нѣкогда, къ сожалѣнью, и меня занимавшему». Такъ не то грозно, не то шутливо Чернышевскій заканчиваетъ свои объясненія съ Буслаевымъ, имѣвшимъ смѣлость возразить на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ» одному изъ сотрудниковъ «Современника» общей съ нимъ спеціальности,—Пыпину. Буслаевъ усомнился въ компетентности своего рецензента, и Чернышевскій, «къ сожалѣнью», нѣкогда занимав-

[1]) «Отечественныя Записки» 1861 года, іюль, «Русская литература», стр. 41—56, 59.

шійся чисто учеными вопросами въ чуждой для него теперь области филологіи, не могъ перенести его дерзости и рѣшился защитить Пыпина своимъ крыломъ. Раздѣлавшись съ Альбертини, насмѣявшись надъ Буслаевымъ, Чернышевскій осаживаетъ пылкаго С. Громеку, руководителя одного изъ постоянныхъ отдѣловъ «Отечественныхъ Записокъ», подъ названіемъ «Современная хроника Россіи». Громека съ большимъ жаромъ выражалъ свое негодованіе по поводу «Свистка», и вотъ Чернышевскій льетъ холодную воду на его горячую голову. Тономъ ехиднѣйшей ироніи онъ именуетъ его самыми нѣжными, ласкательными словами: «Несравненный мой, подумайте! Золотой мой, родной мой! Эхъ, горе мнѣ съ вами!» [1])...

Растолкавъ молодецкими локтями всѣхъ враговъ, Чернышевскій подступаетъ къ Дудышкину, всего болѣе раззадорившему его полемическую страсть, и, опрокинувъ его на земь, разражается бурными укорами и назиданіями. Мои знанія несравненно обширнѣе вашихъ, господинъ Дудышкинъ, говоритъ онъ ему. Что вы смыслите въ статьѣ Юркевича, которую вы взялись хвалить? Рутинеры кричатъ о моемъ невѣжествѣ, потому что я имѣю смѣлость бороться подъ новымъ знаменемъ. Теорія, которую я считаю справедливою, составляетъ самое послѣднее звено въ ряду философскихъ системъ. Считайте мои слова самохвальствомъ, чѣмъ вамъ угодно, но я чувствую себя настолько выше мыслителей школы Юркевича, что я не могу интересоваться ихъ мнѣніями обо мнѣ— «точно такъ-же, какъ напр., вамъ вовсе не любопытно знать, какія достоинства или недостатки находитъ въ вашихъ критическихъ статьяхъ какой-нибудь почитатель романовъ Рафаила Зотова».

Чернышевскому казалось, что съ сотрудниками «Отечественныхъ Записокъ», сколько-бы ихъ ни было, легче раздѣлаться, чѣмъ съ однимъ Катковымъ. Но рать «Отечественныхъ Записокъ» дружно сомкнулась для рѣшительнаго отпора черезчуръ расходившемуся журнальному тузу и, по-своему, смѣло и успѣшно обратила оружіе противъ Чернышевскаго въ его самыхъ слабыхъ пунктахъ. Въ отвѣтахъ, данныхъ ему нѣсколькими постоянными сотрудниками журнала, чувствуется искреннее убѣжденіе и пониманіе тѣхъ фактовъ, которые раздѣляли и должны были раздѣлять «Современникъ» и «Отечественныя Записки». Чернышевскому казалось, что въ настоящемъ случаѣ не было матеріала для принципіальнаго спора между ними, но онъ, повидимому, глубоко ошибался.

Первымъ выступилъ Альбертини. Въ августовской книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» онъ полемизируетъ съ Чернышевскимъ въ двухъ статьяхъ: въ небольшомъ отвѣтѣ, озаглавленномъ «Автору полемическихъ красотъ» и въ статьѣ: «Политическія идеи Токвиля и отзывъ о немъ въ Совре-

[1]) «Современникъ» 1861, августъ, «Полемическія красоты», стр. 133—180.

менникѣ». Онъ рѣшительно обвиняетъ Чернышевскаго въ нетвердомъ знаніи и пониманіи нѣкоторыхъ историческихъ вопросовъ и гнѣвно протестуетъ противъ его башибузукскихъ пріемовъ въ литературной полемикѣ. Альбертини не обладалъ значительнымъ талантомъ, но это былъ журналистъ образованный, дѣльный и съ честнымъ направленіемъ въ мысляхъ. Уступая значительно Чернышевскому въ умѣньи говорить смѣлыми образами, бойко, шумно и яростно отстаивать свои мысли, онъ тѣмъ не менѣе ясно сознавалъ, въ чемъ заключается неправота Чернышевскаго, и, по-своему, довольно мѣтко оцѣнилъ его черезчуръ широкія научныя притязанія. Въ тускломъ свѣтѣ его полемическихъ возраженій чуется твердое убѣжденіе, которое искало для себя яркихъ словъ, хотя не всегда находило ихъ. Онъ прямо заявляетъ своему противнику: мы идемъ къ одной цѣли, но различными путями,—вы дурно пользуетесь орудіемъ отрицанія, представляющимъ величайшую опасность въ рукахъ людей, которые не ставятъ съ достаточной ясностью своихъ положительныхъ задачъ. Нужно обладать поистинѣ громадными знаніями для извѣстныхъ ролей, такими знаніями, какими Чернышевскій не обладаетъ. Присмотрѣвшись къ литературнымъ антипатіямъ «Современника», Альбертини приходитъ къ очень печальному заключенію: кого преслѣдуетъ этотъ журналъ съ особеннымъ увлеченіемъ? Онъ преслѣдуетъ Маколея, Гизо, Кавура, Токвиля. Удивительное дѣло! Какъ ни разнообразны сферы дѣятельности этихъ людей, какъ ни отличаются они другъ отъ друга силою и степенью таланта, но есть одна идея, проходящая черезъ всю ихъ жизнь. Каждый изъ нихъ въ своей средѣ работалъ для общаго дѣла. Маколей и Гизо явились настоящими наставниками новаго человѣчества въ истинномъ пониманіи запутанныхъ историческихъ событій. Кавуръ сумѣлъ сохранить для Италіи свободныя учрежденія въ такое критическое время, когда такія учрежденія обыкновенно шатаются и падаютъ. Токвиль стремился показать, какими средствами можно въ демократическомъ обществѣ обезпечить политическую и гражданскую свободу человѣка. Во имя чего же выдвигаетъ свои батареи противъ этихъ людей философъ изъ «Современника?» Ради какого принципа надо высылать противъ нихъ цѣлыя полчища полемистовъ со свистомъ и сатирическимъ скандаломъ на всю Россію? Эти люди были независимы и свобода была для нихъ не внѣшнимъ только принципомъ. Зачѣмъ-же питать къ нимъ ненависть и щелкать ихъ въ такомъ тонѣ, въ какомъ трактуютъ балаганныхъ паяцовъ?.. [1]). Такъ отражалъ нападенія Чернышевскаго Альбертини. Отвѣтъ его не силенъ по формѣ, но чистосердеченъ и убѣдителенъ по содержанію. Без-

[1]) «Отечественныя Записки», 1861, августъ: «Автору полемическихъ красотъ», стр. 74—80 и «Политическія идеи Токвиля», стр. 79—97.

смысленное галдѣнье на страницахъ «Свистка», безъ всякаго политическаго расчета, съ неуваженіемъ къ людямъ, которые боролись подъ знаменами свободы и своимъ умомъ и талантомъ прокладывали пути для будущихъ общественныхъ дѣятелей, не могло не раздражать людей съ чуткостью къ истинному смыслу европейскихъ событій. Неудовольствіе Альбертини было живымъ отголоскомъ того, что думалось и чувствовалось во многихъ кругахъ русскаго общества, ошарашеннаго политикой «Современника». Альбертини выразилъ въ блѣдныхъ фразахъ настроеніе, которое накапливалось съ теченіемъ времени и должно было рано или поздно прорваться въ выраженіяхъ не менѣе смѣлыхъ и рѣшительныхъ, чѣмъ сатира «Современника».

Одновременно съ Альбертини выступаетъ сотрудникъ «Отечественныхъ Записокъ» по вопросамъ исторіи, К. Бестужевъ-Рюминъ. Въ небольшой замѣткѣ, разбирая статью Чернышевскаго «О причинахъ паденія Рима», онъ ожесточенно порицаетъ его историческія идеи. Онъ видитъ въ этой статьѣ легкомысленное молодечество, дѣтское желаніе блистать скептицизмомъ посреди ребячески-легковѣрныхъ невѣждъ, собраніе промаховъ, встрѣчаемыхъ съ сочувствіемъ за рѣзкость тона. Только при жалкомъ состояніи общественнаго мнѣнія, только въ этой вальпургіевой ночи нашей литературы приходится серьезно трактовать о дѣтскихъ работахъ, не стоющихъ научной критики. Большинство пишущихъ журналистовъ съ важностью излагаетъ такія мысли, которымъ мѣсто въ первоначальной школѣ. Невѣжество фантазируетъ, шарманка популяризируетъ знаменитыя произведенія, политипажъ стремится стать на мѣсто живописи... [1]).

Пылкій Громека больше всего набрасывается на Чернышевскаго за его полемическую грубость. Онъ выходитъ изъ себя по поводу примитивныхъ замашекъ «Современника» ругаться «узколобыми идіотами», «круглыми невѣждами, лишенными проницательности и сообразительности» и заигрывать съ читателемъ намеками на какія-то таинственныя книги, никому, кромѣ «Современника», невѣдомыя и недоступныя. Въ «Современникѣ» рисовали портретъ Кавура такими словами: смѣсь остраго ума и деспотическаго высокомѣрія, упрямство, недостатокъ высоты сердца, манеры рѣзкія, тяжелыя, безъ вниманія къ чужой щепетильности. Кавуръ, по свидѣтельству журнала, не умѣлъ вести себя въ парламентѣ: онъ смѣется, разговариваетъ, оборачивается спиной къ своимъ товарищамъ, зѣваетъ, отпускаетъ эпиграмы, и еслибъ онъ имѣлъ американскія привычки, онъ-бы клалъ ноги на столъ. Но почему такая строгость къ Кавуру? спрашиваетъ Громека. Отчего «Современникъ» не любитъ Ка-

[1]) «Отечественныя Записки», 1861, августъ: „Французскіе софизмы въ параллель съ русскими", стр. 109—124.

вура? За что онъ любитъ Гарибальди? Чернышевскій не знаетъ Гарибальди. Онъ смѣшиваетъ его съ Кавуромъ. Гарибальди весь состоитъ изъ увлеченія, самоотверженія, вѣры въ людей. Въ немъ нѣтъ ни капли эгоизма, онъ обращается съ людьми деликатно, любитъ поэзію и цвѣты, уважаетъ свободу мнѣній въ другихъ и обращается съ собственнымъ словомъ осмотрительно. Не перепутали-ли двухъ великихъ именъ въ редакціи «Современника»? Къ чему Чернышевскому Гарибальди? Представьте себѣ на минуту, что Чернышевскій сталъ во главѣ русскаго просвѣщенія,—развѣ вы можете поручиться за то, что онъ не унизитъ ни одной личности, не пошлетъ своихъ свистящихъ легіоновъ противъ дерзкихъ оскорбителей его особы, не станетъ казнить и миловать своихъ противниковъ для собственнаго развлеченія? Кто можетъ поручиться за Чернышевскаго, что въ минуту скуки онъ по-Кавуровски не положитъ ноги на столъ?.. Какъ видно, ретивый Громека не смутился ехидно-ласкательными эпитетами Чернышевскаго: «золотой мой», «родной мой», «несравненный мой...» [1]).

Дудышкинъ далъ отвѣтъ Чернышевскому по существу и съ большою точностью указалъ радикальный пунктъ разногласія между «Отечественными Записками» и «Современникомъ». Несогласіе это идетъ издалека, оно зародилось тогда, когда «Современникъ» принялъ слишкомъ веселое и легкое направленіе и когда «Отечественнымъ Запискамъ» пришлось заступиться за науку. До «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности» оба журнала дружно шли рядомъ, но съ появленіемъ диссертаціи Чернышевскаго, ставшей новою пiитикою «Современника», они должны были разойтись. По вопросамъ литературнымъ, пишетъ Дудышкинъ, обращаясь къ Чернышевскому, мы радикально не согласны. Для «Отечественныхъ Записокъ» область искусства и литературы никогда не была суррогатомъ географіи, исторіи и политической экономіи. Для нихъ эта область всегда была тѣсно связана съ народной жизнью и ея лучшими духовными проявленіями. Для «Отечественныхъ Записокъ» она есть высшее проявленіе всего великаго и прекраснаго въ человѣкѣ. Для «Современника» поэзія можетъ быть только подражаніемъ природѣ, воспомогательнымъ средствомъ для изученія экономическихъ вопросовъ. Для «Современника» литература и искусство—главы изъ политической экономіи, переложенныя въ стихи, и видимое единство въ направленіи этого журнала есть не что иное, какъ перенесеніе экономическаго вопроса въ исторію, въ литературу, въ право, въ фельетонъ. Для философовъ «Современника» существуетъ извѣстное положеніе политической экономіи, изъ котораго они выводятъ всю систему міра, отъ

---

[1]) «Отечеств. Зап.», 1861, августъ: «Отъ С. С. Громеки къ Н. Г. Чернышевскому», стр. 76—82.

высшихъ отвлеченій до сельскаго хозяйства, и которому они приносятъ въ жертву личность, народъ, общество. Для «Отечественныхъ Записокъ» личность имѣетъ капитальное значеніе. Для Чернышевскаго не существуетъ духовныхъ, нравственныхъ мѣрилъ, сложившихся въ народномъ міровоззрѣніи. Все подчиняется экономической идеѣ. Для «Отечественныхъ Записокъ» каждое практическое дѣйствіе должно быть проникнуто уваженіемъ къ тому, что выработалъ народъ. «Мы признаемъ только самостоятельное, разнообразное развитіе народа, пишетъ Дудышкинъ,— не въ силу предписаній и завоеваній». Народъ и общество своей жизнью доказываютъ намъ существованіе не однихъ экономическихъ интересовъ, доказываютъ, что рядомъ съ экономическими истинами существуютъ и другія начала жизни. Выяснивъ направленіе «Отечественныхъ Записокъ», Дудышкинъ энергично подчеркиваетъ, что Чернышевскій не далъ отвѣта на полемическую статью Юркевича. Онъ съ убѣжденіемъ говоритъ, что возраженіе Юркевичу могло-бы имѣть очень важное значеніе для русскаго общества, тѣмъ болѣе важное, что въ лицѣ Юркевича Чернышевскій встрѣтилъ-бы опытнаго борца, хорошо укрѣпившагося въ своемъ дѣлѣ. По дорогѣ Дудышкинъ выхватываетъ нѣсколько мѣстъ изъ статей «Русскаго Слова». Чернышевскій убѣжденъ, что его «Антропологическій принципъ въ философіи» составляетъ послѣднее звено въ ряду философскихъ системъ, но такое утвержденіе съ его стороны и не совсѣмъ справедливо и отзывается нѣкоторымъ самохвальствомъ. Чернышевскій только предтеча, говоритъ Дудышкинъ [1]). И онъ правъ. Кто-то идетъ на смѣну Чернышевскому, на смѣну старому поколѣнію. Вы слышите приближающіеся шаги? Это идетъ Писаревъ—новая сила, которая съ безумнымъ самодурствомъ разгуляется по еще недостроенному, но уже осѣвшему и трескающемуся зданію русской культуры...

Полемическая схватка Чернышевскаго съ сотрудниками «Отечественныхъ Записокъ» не осталась безъ оцѣнки со стороны другихъ петербургскихъ и московскихъ журналовъ. Такъ въ «Свѣточѣ» появилась маленькая замѣтка, въ которой, при сочувствіи къ таланту Чернышевскаго, при полномъ уваженіи къ нѣкоторымъ его знаніямъ, редакція журнала высказываетъ ему свое рѣшительное порицаніе за неприличный тонъ и полемическую манеру, развращающіе литературные нравы. Чернышевскій, говорится въ этой статейкѣ, озаглавленной «Прогрессъ скандала», не терпитъ никакихъ литературныхъ покрововъ и является передъ публикою «совершенно въ натурѣ, какъ Иванъ Никифоровичъ». Съ каждымъ годомъ его непринужденность и развязность увеличиваются. Въ статьѣ, направленной противъ «Отечественныхъ Записокъ», безцеремонность доведена до совершенства. Сбросивъ съ себя окончательно тя-

[1]) «Отечеств. Зап.», августъ: «Русская Литература», стр. 148—167.

желыя цѣли общественныхъ и литературныхъ приличій. Чернышевскій третируетъ публицистовъ «Отечественныхъ Записокъ» такъ, какъ третировали школьниковъ во время оно: «молчать! не дури! вотъ я тебя!», и разрѣшаетъ себѣ на бумагѣ то, что справедливо считается верхомъ непристойности во всякомъ интеллигентномъ разговорѣ. У себя въ кабинетѣ, за письменнымъ столомъ, онъ забываетъ всякія приличія, и вступаетъ въ настоящій кулачный бой съ людьми, которые во многомъ сочувствовали его практическимъ идеямъ, но которые имѣли смѣлость указать ему на его дерзкую выходку противъ Юркевича, противъ человѣка, раскрывшаго многочисленныя научныя ошибки въ статьѣ его «Антропологическій принципъ въ философіи» [1]).

Не только свѣтскія изданія, но даже изданія духовныя, увлеченныя журнальнымъ шумомъ, вступили въ полемику съ Чернышевскимъ. Такъ въ сентябрьской книжкѣ «Православнаго Обозрѣнія» напечатана очень дѣльная, спокойно написанная статья, относящаяся къ полемикѣ Юркевича съ Чернышевскимъ. Журналъ въ тонѣ большого сочувствія отзывается о литературной дѣятельности Чернышевскаго, воздаетъ ему должное за талантъ и умъ, но высказываетъ при этомъ свое полное убѣжденіе, что Чернышевскій обязанъ былъ откликнуться серьезнымъ словомъ на статью Юркевича. Не нужно много говорить о томъ, какъ неумѣстна и неделикатна выходка «Современника» противъ кіевскаго профессора, замѣчаетъ журналъ. Человѣкъ науки во имя истины возразилъ Чернышевскому. Онъ вышелъ на споръ съ глубокими доводами. Сохраняя уваженіе къ направленію, котораго держится противникъ, онъ указалъ ему на множество логическихъ ошибокъ въ его статьѣ. Какъ-же отвѣтилъ Чернышевскій? Онъ отвѣтилъ презрительной насмѣшкой надъ семинарскимъ воспитаніемъ Юркевича, упомянулъ о задачкахъ, писанныхъ имъ, Чернышевскимъ, въ философскомъ классѣ саратовской семинаріи, вызвался помочь Юркевичу запасомъ нѣкоторыхъ новыхъ книжекъ, имѣющихся въ его распоряженіи. Не прочитавъ статьи Юркевича, онъ объявляетъ ее нелѣпою и нестоющею возраженія. Ему скучно спорить съ рутинеромъ. Обвиненіе въ философскомъ невѣжествѣ онъ отражаетъ самонадѣянной фразой, говоря, что отсталые люди упрекаютъ въ невѣжествѣ всякаго нововводителя за то, что онъ нововводитель: въ невѣжествѣ обвиняли Гегеля, Канта, Декарта. Такими доводами защищается Чернышевскій! Но неужели, спрашиваетъ авторъ цитируемой статьи, Чернышевсвій долженъ считаться геніемъ на томъ только основаніи, что Юркевичъ обличаетъ его въ незнаніи предмета? Мало-ли кого упрекали въ невѣжествѣ! Не самообольщается-ли Чернышевскій? Человѣку указы-

---

[1]) „Свѣточъ“, учено-литературный журналъ, издаваемый Д. И. Калиновскимъ, Спб. 1861 г. Книга VIII, стр. 43—48.

ваютъ массу несообразностей, смѣшныхъ противорѣчій въ его статьѣ, а онъ отдѣлывается самохвальными фразами о реформѣ и реформаторахъ, дерзкими, ничѣмъ необъяснимыми заявленіями, что онъ чувствуетъ себя гораздо выше мыслителей школы Юркевича, что его воззрѣнія представляютъ послѣднее слово въ исторіи философіи. Но откуда такая увѣренность у Чернышевскаго? Кто сказалъ ему, что система, которой держится Юркевичъ, уже опровергнута кѣмъ-нибудь окончательно? Какой великолѣпный комплиментъ дѣлаетъ Чернышевскій саратовской семинаріи, говоря, что еще на школьной скамьѣ онъ зналъ все то, что такъ поразило въ статьѣ Юркевича — Каткова, Дудышкина, Лаврова! [1]).

Мы обрисовали весь скандалъ, разыгравшійся въ журналистикѣ, по поводу полемическаго выстрѣла Юркевича: взаимныя схватки «Современника» съ «Русскимъ Вѣстникомъ», «Отечественныхъ Записокъ» съ «Современникомъ», заступничество «Свѣточа» и «Православнаго Обозрѣнія» за Юркевича и «Отечественныя Записки», весь этотъ шумъ и гамъ, поднятый невѣроятной полемической выходкой Чернышевскаго. Мы опустили только одно обстоятельство — появленіе длинной статьи противъ «Антропологическаго принципа» Чернышевскаго въ «Домашней Бесѣдѣ» 1862 г. Аскоченскаго. Мы прошли мимо этой статьи по чувству историческаго безпристрастія, не позволяющаго привлекать къ серьезнымъ дѣламъ голоса людей, отдавшихъ себя на служеніе ханжеству и невѣжеству. Среди «Блестокъ» политическаго доносительства и «Изгари» святошества трудно найти ту крупицу истины, которая, быть можетъ, заносилась случайно и на страницы этого изданія. Мы сосчитывали только мнѣнія людей, обладавшихъ образованіемъ, любившихъ Россію искавшихъ, каждый по-своему, средства для просвѣщенія общества. Чернышевскій не былъ единственнымъ человѣкомъ на журнальномъ полѣ. Онъ былъ смѣлѣе многихъ. Въ его талантѣ было больше горячности, чѣмъ у другихъ. Его темпераментъ выдвигалъ его въ первые ряды журнальныхъ дѣятелей. Но обозрѣвая всѣ факты прошедшаго и вдумываясь въ событія этой эпохи, нельзя не видѣть, въ чемъ заключается роковая ошибка Чернышевскаго, нельзя не понять, что въ русскомъ обществѣ и тогда были люди, которые, стремясь къ прогрессивнымъ цѣлямъ, во имя дальнѣйшаго прогресса и гуманности, отвергали и философію, и литературные пріемы «Современника» на полномъ логическомъ основаніи. По свойствамъ національнаго характера, русское общество всегда было склонно къ иному міровоззрѣнію, чѣмъ міровоззрѣніе Чернышевскаго. Вся художественная русская литература явилась про-

[1]) „Православное Обозрѣніе“ 1861 г., сентябрь, „По поводу полемики изъ-за статьи Юркевича“, стр. 56—104.

дуктомъ огромной идеальной силы, таящейся въ глубинѣ народной души. Зачинщики лучшихъ реформъ въ области соціальнаго быта были проникнуты идеалистическими взглядами и настроеніями. Подвижныя, вѣчно волнующіяся, вѣчно куда-то порывающіяся молодыя общественныя страсти тоже ярко свидѣтельствуютъ о духовной глубинѣ важнѣйшихъ соціальныхъ тенденцій. Эти перемежающіеся взрывы отчаянія и разочарованія, которыми смѣняются въ Россіи различныя десятилѣтія, ничтожныя, какъ мгновенія въ безконечномъ потокѣ времени — говорятъ о неспособности русской души удовлетворяться малымъ, замыкаться въ узкія рамки, ограничивать свои желанія. Идеализмъ не имѣлъ еще въ Россіи своихъ ратоборцевъ, но каждый свѣжій человѣкъ, выступавшій съ идеалистическими теоріями, встрѣчалъ инстинктивное сочувствіе и вниманіе въ интеллигентныхъ слояхъ общества. Философскій реализмъ проникъ въ печать по вліянію внѣшнихъ силъ и обстоятельствъ, благодаря иллюзіи, что онъ трезвѣе и сильнѣе въ борьбѣ за благо людей, что именно онъ владѣетъ настоящимъ *критическимъ* орудіемъ, острымъ, неподкупнымъ и безстрашнымъ въ разрушеніи всякихъ предразсудковъ. За него ухватились, какъ за оплотъ здоровой истины, пригодной для практической жизни. Въ пылу увлеченія никто не понималъ, что это—ученіе мертвое по существу, ошибочное по содержанію, примыкающее къ критической работѣ человѣчества только по заблужденію. Логическое сочетаніе идеализма съ критическимъ методомъ было мало кому извѣстно въ Россіи. Настоящее философское образованіе представляло рѣдкостное явленіе въ русскомъ обществѣ. При этомъ представители идеалистическаго міровоззрѣнія, по условіямъ мѣста и времени, были слишкомъ слабы для того, чтобы вступить въ борьбу за свои убѣжденія. Всѣ эти обстоятельства содѣйствовали тому, чтобы матеріализмъ, случайно соединившись въ умѣ русскихъ людей съ представленіемъ о практической смѣлости и энергіи, сдѣлался господствующимъ ученіемъ на довольно продолжительное время. Все помогало успѣху такихъ людей, какъ Добролюбовъ и Чернышевскій. Ходъ событій затиралъ всѣхъ тѣхъ, которые, будучи правы по существу, будучи, быть можетъ, болѣе призваны для просвѣтительной литературной работы, мало импонировали толпѣ. Реализмъ довершилъ впечатлѣніе превосходства своихъ пріемовъ надъ иными системами мысли тѣмъ, что подъ его знаменемъ боролись люди выдающагося таланта и огромной смѣлости. Какъ мы уже сказали выше, Чернышевскій безъ спора долженъ былъ преодолѣть въ глазахъ публики оппозицію Юркевича, хотя Юркевичъ произнесъ строгій и совершенно справедливый приговоръ надъ его общими философскими критеріями въ вопросахъ теоретическаго и нравственнаго характера. Возникшая полемика между журналами оставила въ тѣни

причину спора и вся наполнилась объясненіями взаимно-обиженныхъ и расцарапанныхъ авторскихъ самолюбій. Серьезная тема совершенно исчезла изъ оборота. На сценѣ—изступленные крики и свалка людей, неизвѣстно куда и зачѣмъ несущихся. Чернышевскій остался героемъ событія, не получившимъ въ этой борьбѣ такой раны, которая, хотя-бы на время, заставила его смутиться и поколебаться.

А новое поколѣніе въ лицѣ Писарева еще смѣлѣе, еще азартнѣе продолжало дѣло «Современника». Писаревъ подвелъ итогъ всѣмъ полемическимъ походамъ Чернышевскаго и рукой вѣрнаго соратника принялся усмирять бунтующіе ряды русскихъ журналистовъ. Онъ не уступаетъ Чернышевскому въ откровенности. Онъ искренно презираетъ отвлеченные споры на метафизическія темы. Встрѣтившись въ первый разъ со статьею Юркевича, онъ прямо и рѣшительно заявляетъ, что не видитъ ни малѣйшаго сходства между своими мыслями и мыслями кіевскаго философа. Его исходныя точки, способъ изложенія, результаты логическаго анализа таковы, что онъ даже не можетъ считать себя современникомъ Юркевича. Ему непонятно, изъ за чего хлопочетъ Юркевичъ, что и зачѣмъ онъ доказываетъ, какая польза и какая *надобность* въ тѣхъ «невыносимо *скучныхъ* діалектическихъ тонкостяхъ, которыми наполнена его статья». Писареву кажется, что статья Юркевича написана на неизвѣстномъ для него языкѣ и притомъ на такомъ, которому онъ не хочетъ учиться, какъ языку сухому и безплодному. Онъ съ наивнымъ паѳосомъ говоритъ, что разсужденія Юркевича не считаются съ обстоятельствами мѣста и времени, расплываются въ общихъ словахъ. Возраженія Юркевича противъ доводовъ Чернышевскаго не имѣютъ никакого серьезнаго значенія, потому что Юркевичъ споритъ о словахъ и останавливается на мелочахъ. Онъ обнаружилъ въ нихъ безсиліе, противъ котораго людямъ дѣла и живой мысли не стоитъ предпринимать крестоваго похода. На безсиліе достаточно указать, какъ на существующій фактъ и пройти мимо него къ очереднымъ дѣламъ [1]). Юркевичъ, по компетентному въ этихъ вопросахъ отзыву Писарева, обнаружилъ философское безсиліе!

Въ другой статьѣ, большая половина которой посвящена защитѣ «Современника» противъ «Отечественныхъ записокъ», Писаревъ прямо отождествляетъ себя съ Чернышевскимъ и выступаетъ въ качествѣ его журнальнаго alter-ego. Ради чего «намъ съ Чернышевскимъ», говоритъ онъ, брать на себя трудъ философской полемики съ Юркевичемъ и входить въ мрачный лабиринтъ буддійской (?) науки, отъ которой мы сторонимся съ нѣмымъ благоговѣніемъ? Журналистовъ нечего убѣждать въ правотѣ Чернышевскаго, если они не убѣждены еще: Писаревъ и Чер-

[1]) «Русское Слово» 1862, февраль, «Московскіе Мыслители», глава VII, стр 4—6.

нышевскій могутъ пренебречь ихъ мнѣніемъ. Чтобы убѣдить публику? «Да она и безъ того на нашей сторонѣ. Ей смертельно надоѣдаетъ ваша наука и критика». А если потребуются доказательства, то лучшимъ орудіемъ убѣжденія явится смѣхъ и свистъ. Писаревъ не станетъ спорить, онъ будетъ хлестать нагайкой и силою вколачивать новыя убѣжденія, изгоняя старыя. Мы васъ доканаемъ смѣхомъ, говоритъ онъ, обращаясь къ своимъ журнальнымъ врагамъ,—вы будете сердиться и тѣмъ обнаружите свою слабость. Вѣдь говорилъ вамъ Чернышевскій: куда вамъ полемизировать! *Намъ* позволительно посвящать вамъ обширныя критическія статьи, ибо мы люди задорные и, нападая на васъ, мы боремся съ рутиною. Но вамъ не слѣдуетъ съ нами спорить: всякая попытка свиснуть съ вашей стороны доставитъ намъ перевѣсъ... Обращаясь къ главнымъ сотрудникамъ «Отечественныхъ Записокъ», Писаревъ вцѣпляется въ нихъ съ дикой, ни передъ чѣмъ не останавливающейся энергіей. Альбертини, которому Чернышевскій совѣтовалъ не попадаться на его пути, высокомѣрно трактуя его, какъ «милаго ребенка», Писаревъ называетъ уже невѣжественнымъ и развращеннымъ ребенкомъ. «Напишите еще двѣ-три статьи, говоритъ ему Писаревъ, подобныя разбираемой нами, *провритесь* еще раза три такъ, какъ *проврались* теперь, и ваша брань сдѣлается такъ-же почетною, а похвала такъ-же позорною, какъ брань и похвала юродствующаго редактора Домашней Бесѣды». Въ пылу кружкового пристрастія Писареву представляется, что Альбертини бросилъ въ Чернышевскаго большой комъ грязи, но самъ по локоть перепачкался въ ней. Подражая нѣсколько слогу Бѣлинскаго въ письмѣ его къ Гоголю, онъ, обращаясь къ Альбертини, восклицаетъ: «Представитель серьезной науки, служитель идеи, поборникъ истины, что вы говорите! Вѣдь послѣ этого честному человѣку нельзя спорить съ вами. Вы говорите возмутительныя вещи и на васъ нельзя сердиться только потому, что вы сами не понимаете вѣса своихъ словъ»...

Статью Бестужева-Рюмина противъ Чернышевскаго Писарѣвъ судитъ съ важностью спеціальнаго знатока дѣла. По мнѣнію Писарева, историкъ не понялъ разсужденій Чернышевскаго, который умѣлъ смотрѣть на вещи просто и хладнокровно. Бестужевъ-Рюминъ идеалистъ и потому онъ не можетъ помириться съ трезвымъ воззрѣніемъ Чернышевскаго. Въ своихъ нападкахъ на Чернышевскаго этотъ сотрудникъ «Отечественныхъ Записокъ» обнаружилъ полное незнаніе предмета, какое-то научное «проворство» въ очень сложныхъ и важныхъ вопросахъ, которыми шутить въ нашемъ молодомъ обществѣ нельзя. Мимоходомъ Писаревъ изрѣкаетъ объ идеализмѣ слова, выдающія полное смѣшеніе понятій въ опредѣленіи характерныхъ свойствъ идеалистической философіи: по его мнѣнію, идеалистическое воззрѣніе оправдываетъ порабощеніе личности. Дудышкина Писаревъ уязвляетъ за непониманіе всей красоты

Ювеналовской сатиры и демоническаго смѣха, который слышится съ высотъ умственнаго міра. Дудышкинъ слишкомъ мелокъ, чтобы постигать Чернышевскаго. Какъ золотая посредственность, Дудышкинъ можетъ хвалить только то, что ему по плечу, то, что кажется мизернымъ людямъ, смотрящимъ дальше, чувствующимъ глубже. Дудышкинъ защищаетъ свободное искусство, но Писаревъ позволяетъ себѣ замѣтить, что въ извѣстныя эпохи безпристрастіе есть признакъ малаго развитія. Всѣ споры о назначеніи искусства — просто переливаніе изъ пустого въ порожнее... [1]).

Послѣ Чернышевскаго Писареву естественно было говорить въ такомъ повелительномъ тонѣ, безъ всякихъ доводовъ, претенціозными афоризмами. Почва была достаточно подготовлена для воспріятія этихъ афоризмовъ, которые разрушали литературу, изсушали творчество и вносили въ умы духъ слѣпой ненависти ко всему, что не сразу и не вполнѣ доступно плебейскому, неразвитому вкусу. Молодое общество мало-по-малу окончательно примыкало къ дѣятелямъ, которые желали идти по стопамъ Чернышевскаго. Но въ нѣдрахъ этого общества жили элементы недовольные, возмущенные шумнымъ тріумфомъ утилитаріанской проповѣди. Въ рядахъ либеральныхъ работниковъ оставались люди, затаившіе въ себѣ воинственную надежду когда-нибудь, при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, внушительно поспорить съ грубымъ побѣдителемъ и свергнуть деспотическое иго того устава, который душилъ въ самомъ источникѣ свободныя умственныя силы русскаго общества.

---

[1]) «Схоластика XIX вѣка», главы XII—XVII, «Сочиненія Д. И. Писарева», ч. IX, изд. 1868. Ф. Павленкова.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Философская дѣятельность Юркевича.

Первыя философскія статьи Юркевича. Идея. Матеріализмъ. Сердце.—Три вида аскетизма.—Критика Гегеля.—Критика Канта.—Миръ съ ближними.—Вступительная лекція Юркевича въ Москвѣ.—Газетные отзывы.—Антоновичъ и Юркевичъ.—Кіевскій проф. Шульгинъ и полемика противъ него Юркевича.—Стихотворная клевета Д. Минаева.—Публичныя чтенія Юркевича по философіи.—Новая журнальная буря.—Веселый походъ на Юркевича.—Полемика со Спасовичемъ.—Актовая рѣчь Юркевича о Платонѣ и Кантѣ.—Замѣтка Страхова.—Смерть Юркевича.—Вл. Соловьевъ объ Юркевичѣ.

I.

Разсмотримъ немногочисленныя статьи, написанныя Юркевичемъ, по различнымъ философскимъ вопросамъ до и послѣ скандала его съ Чернышевскимъ. Хотя общественное мнѣніе склонилось въ пользу «Современника», дѣятельность Юркевича не переставала быть предметомъ всеобщаго вниманія, раздражая и волнуя торжествующихъ публицистовъ и привлекая къ себѣ симпатію тѣхъ, которые, глубже чувствуя правду, не умѣли, однако, защищать ее съ надлежащею литературною силою и смѣлостью. Развиваясь и углубляясь, философскій талантъ Юркевича пріобрѣталъ все большую и большую яркость, шелъ навстрѣчу матеріализму съ полемикою, съ новыми сокрушительными доводами, обогащался знаніями, становился тверже и сосредоточеннѣе въ своихъ литературныхъ пріемахъ. Жизнь отравляла его благородную и сдержанную натуру ядомъ разочарованія и озлобленія. При выдающихся умственныхъ силахъ и стремленіяхъ, проникнутыхъ христіанскимъ духомъ, онъ вдругъ оказался въ центрѣ журнальной борьбы, которой не могъ сообщить своего направленія и характера. Его именемъ шумѣли, но его философскія идеи не входили въ жизнь, не создавали въ обществѣ и въ печати никакихъ серьезныхъ настроеній. Мыслитель по призванію и таланту, тон-

кій критикъ старыхъ и новыхъ философскихъ системъ, ищущій самостоятельнаго пути для примиренія вѣчныхъ цѣлей идеализма съ новыми методами научнаго изслѣдованія, Юркевичъ былъ слишкомъ высокъ и слишкомъ серьезенъ для современнаго ему общества. И только теперь, когда потухло пламя журнальной борьбы, зажженной благородными людьми безъ глубокой умственной культуры, и разсѣялся дымъ, застилавшій пожарище, мы можемъ надлежащимъ образомъ оцѣнить литературные труды Юркевича, достойные самаго серьезнаго вниманія и не потерявшіе своей научной свѣжести и для настоящаго момента. Глубокія мысли, способныя оказывать живое вліяніе на человѣческую исторію, не всегда обнаруживаютъ свои внутреннія силы при жизни того, кто ихъ впервые вынесъ на судъ людей и наложилъ на нихъ печать своей индивидуальности. Случается, что они на первыхъ порахъ возбуждаютъ въ обществѣ очень малое сочувствіе. Въ спорѣ людей, разгоряченныхъ интересами минуты, идеи новыя и свѣтлыя ни въ комъ не шевелятъ живого интереса, никого не поднимаютъ на дѣятельную работу. Случается, что мы встрѣчаемъ человѣка, который со страстью и вдохновеніемъ излагаетъ намъ свои мысли, но мы, смутно чувствуя важность его словъ и напрягаясь, чтобы уловить ихъ истинный смыслъ, не понимаемъ его, не внимаемъ его призыву и разстаемся съ нимъ, чтобы пойти своей дорогой. Проходитъ время. Эта встрѣча почти не вспоминается нами. Слова убѣжденнаго человѣка забыты, затерто даже самое впечатлѣніе отъ его рѣчей. Въ памяти остается какое-то блѣдное видѣнье. И вдругъ новыя умственныя бури выталкиваютъ насъ на ту самую дорогу, которая однажды уже открывалась передъ нашимъ взоромъ, и человѣкъ, звавшій насъ на эту дорогу, встаетъ въ нашемъ сознаніи во весь ростъ. Внезапно раскрывается глубокій смыслъ полузабытыхъ словъ и въ памяти съ необычайной ясностью пробуждаются былыя впечатлѣнія. Два момента нашего внутренняго развитія смыкаются въ одну живую цѣпь, и мы говоримъ себѣ: это то самое, что мы уже слышали однажды изъ устъ замѣчательнаго, забытаго нами человѣка, то самое, съ чѣмъ мы не умѣли согласиться, но отъ чего уже и тогда горѣло и трепетало въ насъ сердце.

Такимъ именно человѣкомъ былъ Юркевичъ. Его забыли. Идеи его не получили распространенія въ обществѣ, его литературные труды не создали направленія въ нашемъ философскомъ развитіи, даже не удостоились особаго изданія. Онъ прошелъ свой жизненный путь съ шумомъ и скандаломъ, не понятый тѣми, кому его философскія убѣжденія могли-бы послужить прочнымъ основаніемъ для смѣлыхъ практическихъ построекъ, оцѣненный и съ помпой расхваленный тѣми, кому онъ совершенно невольно далъ въ руки бичъ для посрамленія передовыхъ дѣятелей Россіи. Такъ совершается исторія человѣческой культуры: прогрессъ общества покупается тяжкими страданіями оригинально-мыслящей

личности, тоскою одиночества, горечью незаслуженныхъ оскорбленій. Свѣтлыя идеи приносятся людьми таланта и образованія, но общество, не подготовленное къ воспріятію новыхъ началъ, еще переживающее старыя преданія, бросается на тотъ путь, гдѣ побѣда дается легче, гдѣ для отрицанія устарѣвшаго не нужно знать ничего новаго, не нужно никакой особенной подготовки. Окруженный шумящею толпою, смѣлый проповѣдникъ не возбуждаетъ въ ней нравственныхъ порывовъ—тѣхъ живыхъ и волнующихъ импульсовъ, которые толкаютъ людей на энергичную умственную работу. Волна народныхъ силъ льется въ сторону меньшихъ препятствій и бушуетъ, какъ слѣпая стихія. Оригинальныя мысли не проходятъ въ жизнь, надолго остаются безплодными для прогрессивнаго развитія общества. То, что дѣйствительно ново, то, что разъ навсегда освобождаетъ умъ отъ наивныхъ дѣтскихъ, догматическихъ представленій примитивнаго мышленія, раскрывая предъ нимъ горизонты серьезной научной и практической работы,—отбрасывается въ сторону и, погребенное подъ обломками войны и разрушенія, ждетъ вниманія будущихъ поколѣній. Такъ совершается эволюція глубокой и плодотворной идеи. Она переживаетъ порицаніе недомыслія и невѣжества, но потомъ, ни для кого незамѣтная, пускаетъ корни въ темную глубь и, наконецъ, даетъ ростокъ вверхъ и врывается въ жизнь со всѣми своими особенностями, со всѣми признаками новаго, бодраго, оригинальнаго явленія. Два момента въ историческомъ развитіи общества смыкаются въ одну живую цѣпь, и мы говоримъ себѣ: да, вотъ то, что уже было нѣкогда сказано съ огромной силою, съ могучимъ талантомъ, что могло дать опору юному, развивающемуся обществу, въ его реформаторскихъ стремленіяхъ и начинаніяхъ, но что должно быть теперь заново передумано и пережито нами. Такъ именно совершается исторія умственной культуры.

Первые труды Юркевича отличаются глубиною философской мысли, но еще не проникнуты тою яркостью теоретическихъ доводовъ, которая такъ поразила чуткихъ людей въ его статьѣ, направленной противъ разсужденій Чернышевскаго. Въ нихъ чувствуется большой запасъ ученыхъ знаній, широкая логическая работа въ разныхъ направленіяхъ, критическій взглядъ на вещи, пронизывающій предметъ до глубины, но, при обиліи философскихъ аргументовъ и смѣлыхъ историческихъ параллелей, въ нихъ еще не видно свободнаго движенія опредѣленной идеи къ строго и ясно намѣченной цѣли. Молодой мыслитель какъ-бы слегка теряется передъ грудой философскихъ драгоцѣнностей, какъ-бы подавленъ величіемъ замѣчательнѣйшихъ системъ, созданныхъ геніальными людьми и, обращаясь къ русскому читателю, онъ изъ своего обширнаго литературнаго лексикона выбираетъ наиболѣе трудныя, тяжеловѣсныя, подчасъ несродныя русской рѣчи слова и выраженія для передачи своихъ заключеній и выводовъ. Рѣчь его, испещренная научными терминами, холодна, спо-

койна, иногда отзывается нѣкоторой искусственностью и лишь изрѣдка сверкаетъ присущимъ ему тонкимъ язвительнымъ юморомъ. Свѣтлыя мысли, витающія въ двухъ смежныхъ сферахъ науки и философіи, выступаютъ въ туманной оболочкѣ. Доказательства построены по схоластическому методу. Огонь личнаго оживленія, страстное отношеніе философскаго критика къ своей темѣ запрятано подъ громоздкими періодами, обременяющими и утомляющими вниманіе, построенными съ грамматическою корректностью старомодныхъ академическихъ преданій. Огромный матеріалъ, добытый серьезнымъ философскимъ изученіемъ, еще не переработался въ душѣ писателя, еще не слился въ стройное цѣлое, съ твердыми и ясными гранями, отражающимися въ легкихъ и прозрачныхъ выраженіяхъ. На первой ступени своей научной дѣятельности Юркевичъ не овладѣлъ еще всѣми своими богатыми литературными силами. Но самое содержаніе его статей полно интереса и свидѣтельствуетъ объ умѣ, склонномъ къ широкимъ и важнымъ обобщеніямъ, сосредоточенномъ на смѣлой, поставленной самой исторіей задачѣ—разработать пути, соединяющіе вопросы научнаго и философскаго мышленія.

Въ первыхъ трехъ статьяхъ Юркевича — «Идея», «Матеріализмъ и задачи философіи», «Сердце и его значеніе въ жизни человѣка» — развивается одно настроеніе, одна глубокая философская мысль. Юркевичъ въ немногихъ разсужденіяхъ отмѣчаетъ основныя свойства философскаго мышленія, его внутреннее сродство по задачѣ и цѣлямъ съ мышленіемъ строгой науки. Въ областяхъ метафизики и положительнаго знанія господствуетъ одинъ и тотъ-же принципъ. Въ обѣихъ сферахъ человѣческаго познанія душою является извѣстная система идей. Идеи свѣтятъ и дышатъ въ природѣ такъ-же, какъ и въ стремленіяхъ человѣческаго духа, связуютъ ихъ въ одно цѣлое, оживляютъ ихъ высшей красотою. Идея, говоритъ Юркевичъ,—обозначаетъ философскую точку зрѣнія на предметъ по преимуществу, ибо философія хочетъ понять явленія внѣшняго и внутренняго опыта въ ихъ зависимости отъ безусловной основы всякой дѣйствительности. Въ стройной системѣ отвлеченныхъ идей міръ постигается въ цѣлостномъ образѣ, въ гармоніи и полнотѣ, какъ выраженіе одного начала, какъ рядъ ступеней одной безконечной жизни. Такое философское изъясненіе міра посредствомъ извѣстныхъ идей есть продолженіе той работы, которую совершаетъ человѣческій умъ непрерывно, въ теченіе всего своего развитія. Идея есть фактъ общечеловѣческаго сознанія, и стремленіе философіи основаться на самыхъ отвлеченныхъ принципахъ гармонируетъ съ направленіемъ человѣческаго ума. Вопросы объ основѣ и цѣли міра, говоритъ Юркевичъ, объ отношеніи міра и человѣка къ Богу, неотступно волнуютъ человѣческое сознаніе прежде и раньше всякой науки. Они возникаютъ въ человѣкѣ съ необходимостью не временнаго интереса, а глубокой задачи, касающейся вѣч-

ныхъ потребностей нашего духа. Этимъ неизмѣннымъ направленіемъ нашего сознанія доказывается съ полною ясностью право философіи на идеальное міросозерцаніе. Вникая въ содержаніе и смыслъ этого общечеловѣческаго факта, нельзя не видѣть, что отрицаніе идеи, какъ дѣйствительной силы міра, поставило-бы науку въ тяжелый и безполезный разладъ съ непреложными требованіями разума. Во всѣхъ областяхъ сознательнаго труда, повсюду, гдѣ мы доискиваемся истины и правды, нами руководитъ свѣтъ отвлеченной идеи. Безъ идеи нельзя сдѣлать ни единаго шага и тогда, когда мы хотимъ двигаться въ области строгаго опыта. Изслѣдуя пестрый матеріалъ эмпирическаго наблюденія, мы ни на минуту не должны терять изъ виду той мысли, ради которой мы совершаемъ нашу работу. Когда мы опасаемся какихъ-либо произвольныхъ умозаключеній, мы возстаемъ не на идею, безъ которой нѣтъ никакого познанія, а на тотъ мракъ, который извѣстенъ подъ именемъ абстракцій, фантастическихъ вымысловъ и мечтаній [1]).

Въ этихъ общихъ положеніяхъ Юркевичъ устанавливаетъ логическую связь и солидарность между наукою и философіей. Между ними нѣтъ никакихъ пропастей: одинъ и тотъ-же идеальный процессъ мышленія, въ различныхъ выраженіяхъ, въ разныхъ примѣненіяхъ къ самобытнымъ фактамъ, совершается на этихъ двухъ ступеняхъ человѣческаго развитія. Вся широкая система внѣшняго и внутренняго опыта, съ ея естественно-научными и психологическими пріемами анализа, переходитъ въ область чистой и разумной философіи и здѣсь подвергается новому и высшему обслѣдованію, которое даетъ въ результатѣ выводъ для религіи и морали. Свѣтъ идеи соединяетъ двѣ сферы—отвлеченія и опыта, одухотворяетъ оба эти міра, оживляетъ яркимъ лучомъ природу и человѣческую душу. Если-бы мы стояли въ центрѣ вселенной, говоритъ Юркевичъ, мы могли-бы безъ всякаго опыта наблюдать возникновеніе и смѣну различныхъ явленій, отражающихъ въ себѣ высшія и низшія силы общаго духовнаго процесса. Тогда философія имѣла-бы право изъяснять событія жизни, такъ сказать, не прикасаясь къ землѣ. Тогда она разсказывала-бы намъ внутреннюю исторію человѣческаго развитія, не заглядывая въ лѣтописи борьбы и страданій человѣчества. Но мы не находимся въ центрѣ вселенной. Свѣтъ, идущій съ высотъ иного, высшаго міра, дѣйствуетъ на насъ лучомъ преломленнымъ, и потому мы должны улавливать его, замѣчать и опредѣлять его движенія, его оттѣнки въ той средѣ явленій, въ которой совершается это преломленіе. Надо истолковывать явленія опыта въ свѣтѣ идей. Надо жизнь идеи открывать въ механическомъ процессѣ внѣшнихъ фактовъ и событій. Безъ признанія идеи мы полу-

---

[1]) «Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія», ч. CIV, Спб. 1859, октябрь. *Идея*, стр. 10.

чили-бы такой образъ міра, съ которымъ не можетъ помириться никакое живое и дѣятельное сознаніе. Отрицая идею, мы должны отвергнуть и всѣ эстетическія, нравственныя и религіозныя влеченія нашего духа. Міръ, противорѣчащій идеѣ, не представляетъ для человѣка никакого интереса. Механическій процессъ самъ по себѣ оковалъ-бы всю природу и, такъ сказать, погасилъ-бы въ мірозданіи всякую мысль, всякую живую и понятную цѣль. Вселенная обратилась-бы въ одну внѣшность, безъ внутренняго центра. Всѣ высокія созданія, теперь поражающія насъ игрою жизни, изяществомъ формъ, замерли-бы какими-то бездушными изваяніями въ холодномъ морозномъ воздухѣ. Но міръ живетъ и дышитъ, проникнутый идеей. Не вдали гдѣ-то, за предѣлами внѣшняго и внутренняго опыта, лежитъ эта идея, а здѣсь, среди насъ. Идеальныя связи находятся между событіями и вещами нашего міра. Философія не можетъ заключиться въ границахъ частичнаго изслѣдованія, въ опредѣленномъ кругѣ явленій, потому что только на высотѣ общихъ идей она становится въ уровень съ обыкновеннымъ человѣческимъ сознаніемъ, которое неотразимо направлено къ вѣчному и божественному. Храмъ истины не будетъ созданъ до тѣхъ поръ, пока одни, какъ жрецы, будутъ ясно сознавать идею божества, не зная при этомъ, какъ эта идея должна повліять на самую постройку храма, на взаимныя отношенія его частей, а другіе, какъ простые работники-каменьщики, будутъ знать устройство только отдѣльныхъ частей храма, только матеріалъ, изъ котораго онъ долженъ быть воздвигнутъ, не имѣя при этомъ той идеи, которою окончательно опредѣляется цѣлое зданіе [1]). Дѣло философіи, какъ дѣло важное для всѣхъ и каждаго, какъ свѣтъ, безъ котораго нельзя жить, не можетъ быть дѣломъ одного человѣка. По своему характеру и значенію для общественной культуры, оно по необходимости становится дѣломъ цѣлаго человѣчества, которое въ немъ раскрываетъ свою духовную жизнь, во всей полнотѣ и цѣлостности ея моментовъ, со всѣмъ броженіемъ чувствъ, увлеченій и вдохновеній. Философія—живой двигатель историческаго міра, и наблюденія показываютъ, что великія дѣла и великія идеи выпадаютъ на долю однѣхъ и тѣхъ-же историческихъ эпохъ [2]).

Такой широкій взглядъ на задачу философіи даетъ Юркевичу возможность относиться съ полнымъ безпристрастіемъ даже къ тѣмъ системамъ, въ которыхъ онъ не видитъ яснаго выраженія наиболѣе глубокихъ принциповъ научнаго мышленія. Въ статьѣ, посвященной матеріализму, онъ старается открыть тѣ начала, которыя дѣлаютъ это фило-

[1]) «Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія», 1860, CVIII, октябрь. *Матеріализмъ и задачи философіи*, стр. 49.

[2]) «Ж. М. Н. П.», 1859, ноябрь. *Идея*, стр. 117 и 125.

софское ученіе серьезнымъ явленіемъ въ общемъ развитіи отвлеченныхъ идей. Побочный продуктъ реалистическаго движенія, матеріализмъ выражаетъ стремленіе людей нашей эпохи дѣлать всякое бытіе насквозь прозрачнымъ, неутолимую жажду знанія, всеобщую тенденцію разсчитывать и предопредѣлять явленія и факты съ математическою точностью. Что бы мы ни думали о научномъ достоинствѣ матеріалистической философіи, нельзя не видѣть ея положительной заслуги въ исторіи нашего умственнаго развитія. Она понимаетъ свою задачу узко, она ошибочно переноситъ въ міръ души законы и принципы, пригодные только для объясненія внѣшнихъ, физическихъ процессовъ, но, тѣмъ не менѣе, она съ особенною силою указала на многостороннюю, фактическую связь между явленіями физіологическими и явленіями психическими. Съ этими ограниченіями матеріализмъ, говоритъ Юркевичъ, входитъ въ новѣйшую философію, какъ моментъ въ ея дѣйствительномъ развитіи. Онъ занимаетъ опредѣленное мѣсто въ научно-философскомъ движеніи современной эпохи, ищущей вѣрныхъ средствъ для разрѣшенія коренныхъ задачъ человѣческой мысли [1]).

Продолжая философское изслѣдованіе, Юркевичъ стремится выйти на путь широкихъ построеній, захватывающихъ наиболѣе крупные факты общечеловѣческаго сознанія, съ его инстинктивными влеченіями и симпатіями, съ его безсознательнымъ тяготѣніемъ къ высшимъ интересамъ жизни. Уже въ первой своей философской статьѣ, напечатанной въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» 1859 года, Юркевичъ бросаетъ важный намекъ, развертывающійся только въ послѣдующихъ его работахъ. Въ небольшомъ примѣчаніи онъ дѣлаетъ смѣлое возраженіе противъ ученія Канта, возраженіе, имѣющее принципіальный характеръ. Юркевичъ не хочетъ помириться съ тѣмъ субъективизмомъ, который составляетъ славу и значеніе Кантовской системы. По ученію Канта, наши познанія не представляютъ объективной цѣны. Сознаніе не соприкасается съ предметнымъ міромъ. Акты души, не имѣющей въ себѣ ничего, кромѣ сознанія, не задѣваютъ никакихъ реальныхъ силъ. Юркевичъ не согласенъ съ творцомъ критической философіи въ этомъ важномъ и существенномъ пунктѣ и, желая придать своимъ метафизическимъ и религіознымъ идеямъ характеръ живыхъ и дѣятельныхъ началъ, онъ ищетъ опоры въ нѣкоторыхъ философскихъ системахъ съ глубокой спиритуалистической окраской. Духъ есть нѣчто большее, чѣмъ сознаніе, чѣмъ вся наша познавательная дѣятельность, говоритъ Юркевичъ. Въ его состояніяхъ и дѣйствіяхъ заключается многое такое, что не входитъ и не можетъ войти въ сознаніе. Духъ существуетъ, какъ реальный предметъ, какъ фактическая сила [1]).

[1]) Матеріализмъ и задачи философіи, стр. 53.

Въ этихъ немногихъ строкахъ съ поразительной сжатостью намѣченъ тотъ самостоятельный путь, по которому и пошелъ Юркевичъ въ дальнѣйшихъ своихъ философскихъ изслѣдованіяхъ. Нигдѣ Юркевича не покидаетъ убѣжденіе, что сознаніемъ не исчерпывается душевная жизнь, что внутри человѣка клокочутъ чувства и страсти, служащія глухимъ, но вѣрнымъ отголоскомъ высшей правды. Рядомъ тонкихъ логическихъ соображеній онъ проводитъ свой взглядъ на духовную природу человѣка въ превосходной статьѣ, напечатанной въ 1860 году въ «Трудахъ Кіевской Духовной Академіи». Въ человѣческой душѣ, говоритъ онъ, есть такія стороны, которыя не поддаются обычному анализу. Есть глубочайшія тайны въ человѣческомъ сердцѣ. Мышленіе не отражаетъ всего богатства нашей внутренней жизни, съ ея загадочными влеченіями и порывами. Духовная сила зарождается раньше нашего разума, во мракѣ и темнотѣ, въ глубинахъ, недоступныхъ для ограниченнаго взора. Обратитесь къ великимъ дѣятелямъ литературы и философіи, и вы убѣдитесь въ томъ, что ихъ лучшими вдохновеніями и побѣдами въ области науки руководило тонкое *чувство истины*, а не разсудочная мысль. *Глубокому* сердцу открывается міръ красоты и правды. Если истина входитъ въ наше сердце, она становится благомъ и сокровищемъ души, за которое человѣкъ готовъ бороться со всякими обстоятельствами. Но когда мы переносимъ основныя начала духовной жизни изъ глубины сердца въ свѣтлую область спокойнаго, безстрастнаго и безучастнаго разума, мы становимся умными людьми безъ убѣжденія, героями нравственности безъ единаго подвига, безъ единой жертвы на общую пользу. Просвѣщеніе принимаетъ широкіе размѣры. наше краснорѣчіе блистаетъ человѣческими и ангельскими словами, тайны земли и неба раскрываются въ пышныхъ выраженіяхъ. Человѣкъ поднимается на необычайную умственную высоту. Но при этомъ богатомъ развитіи теоретическихъ знаній, при полномъ расцвѣтѣ разнообразныхъ дарованій, нравственное достоинство личности можетъ находиться въ полномъ упадкѣ, если только сердце, чувство, духъ человѣческій не получили должнаго питанія. Намъ врождены не правила, не мысли о нравственной жизни, но извѣстныя этическія стремленія и влеченія, которыя необходимо развивать и упражнять. Умъ и чувство—это свѣтильникъ и елей для всякой нравственной дѣятельности, и когда изсякаетъ елей любви, свѣтильникъ гаснетъ очень скоро. Безъ чувства нравственныя идеи сначала становятся тусклыми, темнѣютъ, а потомъ совершенно исчезаютъ изъ сознанія [2]).

---

[1]) *Идея*, стр. 7.

[2]) „Труды Кіевской Духовной Академіи", 1860 г. Книжка I. *Сердце и его значеніе въ духовной жизни человѣка*, стр. 115.

Въ этихъ немногихъ отрывочныхъ соображеніяхъ, отчасти предшествовавшихъ, отчасти совпавшихъ съ полемическою статьею Юркевича объ антропологическомъ принципѣ въ философіи, уже вырисовывается опредѣленная философская сила, которая пойдетъ своимъ путемъ, не побоится подвергнуть самостоятельной критикѣ знаменитѣйшія системы и по своему разовьетъ рядъ идей, обличающихъ глубокое настроеніе живой, мыслящей натуры. Всѣ отдѣльныя замѣчанія, которыя разбросаны въ трехъ упомянутыхъ статьяхъ объ идеѣ, матеріализмѣ и роли сердца въ духовной дѣятельности человѣка, какъ мѣткія характеристики и опредѣленія, возстановляютъ основныя достоинства и недостатки разсматриваемыхъ ученій, бросаютъ яркій свѣтъ на главные моменты философскаго развитія. Возраженія, направленныя противъ такихъ мыслителей, какъ Спиноза, Кантъ и Гегель, возраженія, падающія въ глубь предмета, возбуждающія споръ тамъ, гдѣ ординарная мысль стоитъ совершенно безпомощная, безсильная прозрѣть внутреннюю психологію и тонкое движеніе научной аргументаціи, свидѣтельствуютъ о громадномъ умственномъ самообладаніи, идущемъ рука объ руку съ совершенно яснымъ пониманіемъ труднѣйшихъ философскихъ вопросовъ. Отчетливое созерцаніе самыхъ строгихъ научныхъ идей придаетъ всѣмъ статьямъ Юркевича смыслъ и характеръ живого умственнаго потока. Разнородныя системы выступаютъ подъ могучимъ перомъ критика на оригинальномъ фонѣ его собственныхъ взглядовъ и убѣжденій. Никакая чужая мысль не проносится мимо Юркевича, не задѣвъ глубоко его чувства, его сложившихся понятій, не вызвавъ въ немъ потребности дать оцѣнку и характеристику цѣлому философскому теченію, къ которому эта мысль принадлежитъ. Онъ не повторяется въ своихъ доводахъ и быстро подвигается къ намѣченной цѣли путемъ самыхъ необходимыхъ, сжато выраженныхъ умозаключеній. Можетъ быть, въ Юркевичѣ не было таланта къ систематическимъ философскимъ постройкамъ, можетъ быть это былъ по призванію историкъ философіи, критикъ уже готовыхъ, сложившихся ученій. Въ лучшихъ европейскихъ системахъ онъ отыскиваетъ то, что подкрѣпляетъ его собственные взгляды, наполняетъ его умъ научнымъ содержаніемъ. Сличая различныя ученія, онъ смѣло указываетъ логическіе промахи въ противоположныхъ направленіяхъ. Его философская тенденція рельефно и ярко выступаетъ только по контрасту съ тѣмъ, на что онъ нападаетъ со смѣлостью человѣка, который обладаетъ талантомъ анализа въ превосходной степени, сознаетъ свои средства и, не стѣсняясь никакими условными препятствіями, готовъ кинуться въ схватку съ самыми авторитетными именами. Когда Юркевичъ возражаетъ Спинозѣ, мы видимъ мыслителя, уже пережившаго критическій переворотъ, совершенный Кантомъ, владѣющаго новыми орудіями борьбы даже съ тѣми догматическими ученіями, которыя отлиты въ самую твердую и

цѣльную систему. Когда Юркевичъ критикуетъ Канта, котораго значеніе онъ сознаетъ съ полною ясностью, которому удивляется за героическую искренность въ изложеніи всѣхъ сомнѣній человѣческаго разума въ области теологическихъ вопросовъ, мы видимъ мыслителя, который продумалъ философію Канта до конца, знаетъ ее во всѣхъ ея развѣтвленіяхъ, но который, сосредоточившись на главной идеѣ критической работы, съ необычайною смѣлостью показываетъ пробѣлъ, существующій въ области ея религіознаго ученія. Когда Юркевичъ критикуетъ Гегеля, мы опять-таки видимъ мыслителя, предъ которымъ отчетливо рисуется грандіознѣйшая въ мірѣ философская постройка, но который сумѣлъ и здѣсь усмотрѣть чрезвычайно важный и крупный недостатокъ—стремленіе Гегеля представить игру духа, какъ игру формальныхъ законовъ одного только сознанія, одной только логики, какъ тонкую цѣпь силлогизмовъ, опредѣляющихъ другъ друга съ желѣзною необходимостью. Блестящія параллели, проводимыя Юркевичемъ между самыми отвлеченными идеями, ни на минуту не утомляютъ вниманія. Философскія разсужденія, пробивающіяся строго логическими средствами, орудіями острой критики, сквозь тусклую среду условныхъ научныхъ и философскихъ понятій къ безусловному объекту этихъ понятій, задѣваютъ и тревожатъ нашу душу, потому что за ними виденъ человѣкъ съ глубокимъ, серьезнымъ, дѣятельнымъ отношеніемъ къ теоретическимъ вопросамъ и религіознымъ идеямъ. Жажда, быть можетъ единственно-страстная при его темпераментѣ, жажда найти въ идеалистическомъ міровоззрѣніи несокрушимую опору для общечеловѣческихъ интересовъ и стремленій къ истинѣ, жажда, которую не утолитъ никакая наука и никакая догматика, пока философія не проникнется трепетомъ и теплотою живой человѣческой души, — вотъ что придаетъ такую силу спеціальнымъ по заглавіямъ работамъ Юркевича. Храмы, воздвигнутые величайшими зодчими, философскія системы, созданныя лучшими мыслителями, не воплощаютъ въ его глазахъ всей необходимой для человѣка правды, не удовлетворяютъ вполнѣ ни его разума, ни его сердца. Онъ знаетъ цѣну этимъ произведеніямъ человѣческаго таланта, умѣетъ переживать напряженія и волненія ихъ творцовъ, но, воздавая должное знаменитымъ людямъ міра, благоговѣя передъ ихъ значительнымъ трудомъ, онъ тѣмъ не менѣе всею душою рвется изъ подъ сводовъ велико лѣпныхъ человѣческихъ сооруженій къ истинному Богу. Онъ ищетъ высшей свободы...

Съ особенною силою выступаютъ главныя тенденціи Юркевича въ статьяхъ его по поводу философскаго лексикона профессора Гогоцкаго. Простая, ясная мысль проходитъ черезъ всѣ его критическія разсужденія и вспыхиваетъ яркимъ свѣтомъ въ поразительно мѣткой оцѣнкѣ религіознаго ученія Канта. Въ кратко выраженныхъ, но полновѣсныхъ по

содержанію доводахъ, Юркевичъ подвергаетъ строгому анализу одно изъ самыхъ трудныхъ положеній новѣйшей философіи, открывая при этомъ съ удивительною проницательностью тонкое, едва замѣтное, но несомнѣнно важное противорѣчіе между отдѣльными частями въ Кантовской идеалистической системѣ. Юркевичъ видитъ насквозь глубокую кантовскую діалектику и, вѣрный не буквѣ, а духу критическаго идеализма, вноситъ, со всею осторожностью призваннаго работника мысли, существенную, по его мнѣнію, поправку въ систему геніальнаго философскаго реформатора. Всѣ его соображенія продуманы до конца и выражены съ послѣдовательностью просто и ясно развивающейся идеи. Аргументъ за аргументомъ Юркевичъ выкладываетъ свое убѣжденіе, основанное на строгихъ теоретическихъ соображеніяхъ, въ полномъ, логическомъ согласіи съ главными принципами Кантовской «Критики чистаго разума». По ясности философскихъ возраженій, по свѣжести религіознаго чувства, эти критическія замѣчанія къ ученію Канта о Богѣ можно считать образцовымъ въ русской литературѣ примѣромъ настоящаго глубокомыслія въ вопросахъ, затрогивающихъ серьезнѣйшіе интересы человѣческой души. Эти страницы, трактующія о Кантѣ, превосходятъ, по силѣ литературно-философскаго таланта, все, написанное Юркевичемъ до 1861 г., даже знаменитую, блестящую по формѣ и многозначительную по смыслу, полемическую статью его противъ Чернышевскаго. Въ Кіевскомъ періодѣ его литературной и преподавательской дѣятельности это — кульминаціонный пунктъ въ развитіи его личныхъ силъ и дарованій. Послѣ сокрушительныхъ нападокъ на петербугскаго журналиста, Юркевичъ показалъ свой умъ въ могучей борьбѣ съ идеями мірового генія, показалъ свою философскую независимость лицомъ къ лицу съ настоящимъ гигантомъ науки и творчества. Если въ трактатѣ, направленномъ противъ Чернышевскаго, Юркевичъ, почти играя, обнаруживаетъ безсодержательность и научную примитивность разсужденій «Современника» объ антропологическомъ принципѣ въ философіи, то въ статьяхъ о лексиконѣ Гогоцкаго онъ окончательно заявляетъ себя выдающимся истолкователемъ трудныхъ научныхъ теоремъ и задачъ. Мысль его стремится къ центру критической работы Канта, свободно овладѣваетъ ея лучшими результатами и съ непринужденностью полнаго и ясно сознаваемаго убѣжденія раскрываетъ предъ читателемъ свое собственное, глубокое содержаніе. Движеніе свѣтлаго чувства, сдерживаемаго въ границахъ широкаго научнаго безпристрастія, изрѣдка прорывается въ краткихъ афоризмахъ, оттѣненныхъ на библейскій ладъ, въ небольшихъ цитатахъ изъ священнаго писанія. Всѣ статьи проникнуты критическимъ тактомъ и литературнымъ изяществомъ высшей пробы.

Въ первомъ своемъ очеркѣ Юркевичъ намѣчаетъ нѣсколько превосходныхъ мыслей о христіанскомъ аскетизмѣ въ отличіе его отъ

аскетизма восточнаго и греческаго. Его возраженіе Гогоцкому, утверждающему, что въ греческомъ аскетизмѣ сквозь оболочку самоотверженія проглядываетъ утонченный эгоизмъ, смѣло по формѣ и почти вдохновенно по содержанію. Развѣ изъ утонченнаго эгоизма и самоугожденія, спрашиваетъ Юркевичъ, Сократъ пошелъ навстрѣчу смерти, пошелъ, какъ нравственный герой, свободно, за право личнаго и разумнаго убѣжденія? Развѣ изъ утонченнаго эгоизма и самоугожденія греческій стоикъ Клеантъ, названный за свою несокрушимую волю вторымъ Геркулесомъ, таскалъ по ночамъ воду для аѳинскихъ садовъ, чтобы днемъ свободно предаваться философскимъ занятіямъ? [1]) Гогоцкій хотѣлъ-бы поставить человѣка въ такое отношеніе къ обществу, въ какомъ онъ стоялъ въ греческомъ мірѣ до Сократа, когда дѣятельность по совѣсти и собственному убѣжденію, а не по существующимъ формамъ государственной жизни, признавалась за тяжкое преступленіе. Гогоцкому нуженъ внѣшній порядокъ, которому онъ подчиняетъ всего человѣка. Онъ находитъ эгоизмъ и самоугожденіе повсюду, гдѣ личность жаждетъ свободы отъ оковъ неволи и порабощенія насильственному режиму внѣшняго быта. Онъ не умѣетъ понять той роковой борьбы человѣка съ внѣшними силами за свои права, за свои убѣжденія, за свободу разума и совѣсти, которая представляла всегда центральное явленіе въ жизни историческихъ народовъ. О приниженіи личности ради какихъ-бы то ни было интересовъ можно говорить, какъ о нравственномъ требованіи, въ Индіи, съ точки зрѣнія восточной философіи, но не въ культурной Европѣ, желающей жить преданіями Христа. Человѣчество чтитъ и обожаетъ тѣхъ героевъ нравственности, говоритъ Юркевичъ, которые, не скрываясь въ пустыняхъ, своею несокрушимою волею передѣлывали этотъ опошлѣвшій порядокъ, выражающійся въ такъ-называемыхъ формахъ общежитія. Истинный аскетизмъ, вѣрный христіанской идеѣ, требуетъ энергичнаго труда на пользу человѣчества. Въ этомъ его главная задача. Первые христіанскіе аскеты шли въ больницы, чтобы служить страждущимъ людямъ, шли на поле битвы, чтобы облегчать страданія раненымъ, выкупали плѣнныхъ, заботились о содержаніи нищихъ, калѣкъ, вдовъ и сиротъ. Индійскій аскетизмъ, вѣрный своему философскому міровоззрѣнію, не открываетъ передъ человѣкомъ никакого поприща для цѣлей духа. Онъ требуетъ подавленія всѣхъ положительныхъ стремленій души, борьбы со всякими желаніями, со всякими надеждами. Въ этомъ его мрачная практическая задача, поставленная предъ восточнымъ человѣкомъ съ громадною логическою силою общими его философскими убѣжденіями. Для восточ-

[1]) «Труды Кіевской духовной академіи». 1861 № 1. *По поводу статей, помѣщенныхъ въ философскомъ лексиконѣ, критико-философскіе очерки*, стр. 80.

наго духа темная ночь смерти есть нѣчто болѣе отрадное, чѣмъ свѣтлый день жизни, и безмятежный покой среди этой ночи, не нарушаемый никакими желаніями, помыслами и стремленіями, есть настоящее счастье. Греческій аскетизмъ ищетъ бодрыхъ настроеній для поддержанія здоровой личности. Онъ заботится о совершенствѣ и счастіи человѣка. Убѣжденный, что міръ долженъ состариться и разрушиться въ своихъ основаніяхъ, онъ видитъ непреодолимыя препятствія для осуществленія высшихъ нравственныхъ и умственныхъ идеаловъ,—и вотъ почему онъ, въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, слился съ восточнымъ аскетизмомъ въ школѣ неоплатониковъ и въ сектахъ гностическихъ [1]). Таково различіе между тремя видами аскетизма, основанными на несходныхъ теоретическихъ положеніяхъ. Только христіанскій аскетизмъ, сознавая свое призваніе, можетъ смотрѣть на дѣло человѣчества взоромъ свѣтлымъ, исполненнымъ любви и надежды. Только христіанскій аскетизмъ борется за жизнь во имя свободы, раздувая ту искру святости, которая тлѣетъ въ груди каждаго человѣка. Онъ не предаетъ проклятію людскія отношенія. Онъ не перестаетъ питать надежду, что всякое общество, даже при самыхъ крайнихъ своихъ уклоненіяхъ съ пути правильнаго развитія, можетъ и должно возродиться только посредствомъ божественной идеи. Царство Бога—такова его верховная цѣль. Вѣра въ человѣка — въ этомъ его пафосъ, который замѣняетъ ему всѣ мишурныя радости иныхъ земныхъ наслажденій.

Вторая статья Юркевича написана съ нѣкоторой ядовитостью, переходящей по временамъ въ довольно рѣзкую критику туманныхъ и сбивчивыхъ, по его мнѣнію, философскихъ разсужденій Гогоцкаго. Юркевичъ становится на чисто теологическую почву и, разбирая религіозные взгляды Гегеля, изложенные въ лексиконѣ, стремится показать ихъ несоотвѣтствіе съ требованіями и идеалами общечеловѣческаго разума. Въ этомъ вопросѣ Юркевичъ какъ-бы не хочетъ подняться надъ идеями толпы, надъ образами общечеловѣческаго сознанія, выражающими духовный міръ съ его нуждами и недостатками. Ученый богословъ никогда не пойдетъ тою дорогой, которою идетъ Гегель, потому что эта дорога, по мнѣнію Юркевича, не приведетъ его къ истинному Богу. Какова-бы ни была сущность вещей, какъ-бы ни была величественна та стихія, которую умъ нашъ открываетъ къ жизни путемъ отрицанія всего конечнаго, условнаго, временнаго, человѣческая фантазія, возбужденная неотступными требованіями духа, ищетъ чего-то еще высшаго, цѣльнаго, законченнаго по красотѣ и мудрости. Для религіознаго сознанія нужно такое представленіе, которое удовлетворяло-бы запросы сердца. Философія и религія не одно и то-же, и если философія ищетъ настоящихъ реаль-

[1]) *Критико-философскіе отрывки*, стр. 82—85.

ныхъ началъ за призрачными формами внѣшнихъ явленій, то религія стремится отыскать и поставить передъ духовными очами цѣльный образъ верховнаго существа. Юркевичъ хотѣлъ-бы, чтобы въ этомъ пунктѣ его взгляды достигли полной ясности. Онъ убѣжденъ въ томъ, что мысль о Богѣ принадлежитъ къ числу самыхъ простыхъ и удобопонятныхъ. Тутъ не можетъ быть никакихъ тягостныхъ тумановъ, тутъ не должно быть никакой схоластики, застилающей живой, непосредственно воспринимаемый предметъ религіознаго чувства [1]).

Отъ этихъ замѣчаній Юркевичъ переходитъ къ разсмотрѣнію Кантовскаго ученія о Богѣ въ статьѣ, озаглавленной: «Доказательства бытія Божія»». Именно въ этой статьѣ, обладающей выдающимися научными качествами, Юркевичъ оспариваетъ съ энергіею сильной и гибкой логики утвержденіе Канта, что религіозное знаніе отличается меньшей достовѣрностью, чѣмъ знаніе опытное. Наше религіозное сознаніе не страдаетъ никакими частными недостатками, несвойственными знанію другого рода. Кантъ впадаетъ въ болѣзнь полнаго и рѣшительнаго скептицизма, когда старается обосновать ту мысль, что всѣ теологическія доказательства, какъ положительныя, такъ и отрицательныя, имѣютъ одинаковую цѣнность для человѣческаго ума. По мнѣнію Канта, въ этой области можетъ существовать только діалектика, только софизмы, а не положительное достовѣрное знаніе. Что это значитъ? спрашиваетъ Юркевичъ. Нашъ научный опытъ непремѣнно завершается высшей религіозной идеей, имѣющей важное значеніе какъ для теоретическаго, такъ и для практическаго разума. Эта идея возникаетъ съ логическою необходимостью правильно и закономѣрно. Какъ мысль, она совершенно законное достояніе нашей души. Вѣра въ Бога озарена свѣтомъ науки съ одной стороны и задачами жизни—съ другой. Во всѣхъ теологическихъ доказательствахъ есть положительный элементъ знанія, находящійся въ полномъ согласіи съ общелогическими законами мышленія. Какъ-же можно сказать послѣ этого, что разумъ долженъ относиться съ одинаковымъ недовѣріемъ и къ положительнымъ и къ отрицательнымъ тезисамъ философіи въ вопросахъ религіи. Отрицаніе предмета, соотвѣтствующаго религіозной идеѣ, только тогда имѣло-бы передъ судомъ разума одинаковую вѣроятность съ его признаніемъ, если-бы мы вообще ничего не знали о логическомъ, жизненномъ достоинствѣ этой идеи. Наше религіозное знаніе отдѣлено отъ своего объекта тусклымъ стекломъ, которое позволяетъ намъ улавливать только неясныя черты его. Въ религіозныхъ доказательствахъ есть пробѣлы, которыхъ нечѣмъ наполнить. Мысль наша двигается по направленію къ свѣту какими-то трудными, загроможденными путями. Но всѣ эти обстоятельства не ума-

[1]) *Критико-философскіе отрывки*, февраль, стр. 205—228.

ляютъ нисколько значенія религіозной идеи. Въ религіозномъ чувствѣ, говоритъ Юркевичъ, существенно смиреніе и благоговѣніе. Религіозно мы можемъ относиться только къ Богу непостижимому. Если-бы мы знали Бога вполнѣ, какъ мы знаемъ свойства треугольника, то съ этимъ вмѣстѣ угасли-бы вѣчно тревожныя стремленія за грани конечнаго. Богъ, совершенно намъ знакомый, былъ-бы, по справедливому замѣчанію Якоби, идоломъ, стоящимъ на пути къ безконечному. Только необычайная жгучесть религіозной потребности заставляетъ насъ жаловаться на то, что у насъ нѣтъ достаточныхъ, осязаемыхъ, математически простыхъ и очевидныхъ посылокъ для религіознаго убѣжденія. Мы требуемъ здѣсь больше, чѣмъ гдѣ бы-то ни было, потому что духъ нашъ кипитъ ненасытными ожиданіями и надеждами, ища для нихъ простыхъ, успокоительныхъ подтвержденій. А между тѣмъ, вся наша жизнь, все лучшее въ этой жизни, всѣ нравственные цвѣты и плоды ея питаютъ свои корни за предѣлами узкой логической достовѣрности. Человѣческій духъ не есть машина, вырабатывающая одни только умозаключенія, раздѣляющая истину и заблужденіе неподвижными, формальными законами логики. Есть темное, скрытое движеніе души, которое называется инстинктомъ, чутьемъ, чувствомъ истины, и все наше образованіе, все наше воспитаніе должны поучать насъ непосредственно овладѣвать истиною въ событіяхъ міра и правдою въ жизни человѣчества [1])...

Въ двухъ послѣднихъ частяхъ этой статьи Юркевичъ подробно разсматриваетъ, вслѣдъ за Кантомъ, всѣ извѣстныя въ исторіи философіи доказательства существованія Бога и въ каждомъ изъ нихъ, за исключеніемъ одного только онтологическаго, онъ находитъ какія-нибудь новыя черты, какія-нибудь положительныя достоинства.

Отмѣтивъ еще одну небольшую замѣтку Юркевича «Миръ съ ближними, какъ условіе христіанскаго общежитія», мы представимъ все то существенное, что имъ было написано во время его преподавательской дѣятельности въ Кіевской духовной академіи. На десяти страницахъ этой замѣтки Юркевичъ изложилъ свои нравственныя убѣжденія съ горячностью задушевнаго лирическаго изліянія. Оставивъ метафизическія доказательства, онъ обращается прямо къ сердцу читателя, къ его христіанскимъ идеаламъ, къ его миролюбивому чувству и убѣжденію. Общія теоретическія разсужденія управляли извнутри каждой строкой въ этой замѣткѣ, каждымъ ея образомъ, нигдѣ не выступая въ открытыхъ разсудочныхъ силлогизмахъ. Это—философская исповѣдь глубокаго человѣка съ яснымъ религіознымъ настроеніемъ. Въ справедливости и любви, говоритъ Юркевичъ, заключаются самыя прочныя условія дружбы между

---

[1]) «Труды Кіевской Духовной Академіи», 1861, мартъ, *Доказательства бытія Божія*. стр.: 335—347 и 354—357.

людьми. Вотъ почему человѣчество, въ своемъ многотрудномъ образованіи и развитіи, такъ высоко цѣнитъ тѣхъ, которые вносятъ въ общество ясныя понятія о правдѣ, долгѣ, взаимномъ уваженіи. Только въ живомъ союзѣ съ людьми человѣкъ становится тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть по волѣ Бога. Только миролюбію человѣкъ обязанъ своимъ существованіемъ. На братствѣ людей держится всякое общество, всякій союзъ. Для нашего духа природа представляетъ слишкомъ тѣсное поприще. Намъ нужны друзья, товарищи, люди общихъ съ нами убѣжденій, люди сходныхъ съ нами симпатій. Хищный воронъ вылетаетъ на добычу и затѣмъ все остальное время онъ проводитъ одиноко, на неприступныхъ скалахъ, на вершинахъ снѣжныхъ горъ. Человѣкъ не выноситъ одиночества... Но для мира съ людьми нужно, чтобы человѣкъ былъ въ мирѣ съ самимъ собой. Увлекаясь страстями, мы вездѣ находимъ поводы къ враждѣ съ окружающимъ насъ обществомъ. Въ пылу разгоряченнаго чувства, мы заглушаемъ въ себѣ голосъ состраданія криками вражды и ненависти, требующей мщенія и насилія. Мы измѣняемъ верховному идеалу нашего сердца, и яростно обличаемъ тѣхъ, которыхъ гораздо легче было-бы склонить къ правдѣ теплымъ словомъ сочувствія. Вы встрѣчаетесь съ человѣкомъ, который отвергаетъ ваши самыя дорогія убѣжденія, и вы хотите защищаться, спорить, вывести противника на другую, болѣе вѣрную дорогу. Что можетъ быть достойнѣе такого желанія? Защищайтесь—это ваше право, убѣждайте — это вашъ долгъ передъ людьми. Но, во имя истины и того закона любви, которымъ вы гордитесь передъ цѣлымъ свѣтомъ, усмирите гнѣвъ, кипящій въ вашей душѣ, задушите ненависть и злобу, которыми пылаетъ ваше сердце. Не устраивайте костровъ для своихъ противниковъ, не терзайте ихъ холодными словами презрѣнія, не бичуйте ихъ бездушною насмѣшкою. Не во враждѣ правда, не въ злобѣ истина. Эти порывы эгоизма, эта ненависть къ ближнему—оскорбляютъ христіанское чувство. Живите и дѣйствуйте по-христіански. Откуда эта вражда въ царствѣ Христа? спрашиваетъ Юркевичъ. Откуда эти плевелы среди пшеницы? Самолюбіе, жажда власти, мелочныя страсти — вотъ что дѣлаетъ человѣка, говорящаго именемъ Христа, недостойнымъ служителемъ истины. Злой духъ сѣетъ раздоръ между людьми, подтачивая дѣло Христа, воюя съ Христомъ. Блаженны миротворцы! Для легкаго, повидимому, подвига мира требуется упорная борьба съ мелкимъ чувствомъ, побѣда надъ страстями, свободное послушаніе совѣсти [1])...

Къ концу 1861 года имя Юркевича уже получило большую извѣстность. Полемика съ Чернышевскимъ, ставшая причиною большого

[1]) «Труды Кіевской Духовной Академіи», 1861 г., мартъ, стр. 316—326.

литературнаго скандала, рядъ статей по самымъ сложнымъ отвлеченнымъ вопросамъ, появившихся въ «Трудахъ Кіевск. Духовн. Академіи»—все это высоко подняло репутацію Юркевича. Для всѣхъ было ясно, что въ этомъ ученомъ профессорѣ таится не ординарная умственная сила, которая въ иной обстановкѣ и на болѣе свободномъ поприщѣ развернется широко, съ огромною пользою для науки, для университетскаго образованія и воспитанія. Такого выдающагося человѣка было-бы непростительною ошибкою оставить въ провинціальномъ городѣ, въ тѣсномъ кругу академическихъ педагоговъ, вдали отъ настоящей печати, предоставивъ его прозаическимъ обстоятельствамъ безвѣстнаго существованія и обиднымъ передрягамъ съ мелкими дѣятелями захолустной литературы. Каждая полемическая статья Юркевича обнаруживала настоящую силу таланта. Ударъ, нанесенный Чернышевскому съ учтивостью изящнаго дуэлянта, владѣющаго шпагою съ неподражаемымъ искусствомъ, обличалъ умъ, богатый знаніями, оригинальный, презирающій всякое легкомысліе въ серьезныхъ вопросахъ, какими-бы лозунгами оно себя ни прикрывало. Нападки на Гоголкаго, борьба съ религіозными воззрѣніями Гегеля и Канта блистательно подкрѣпляли общее убѣжденіе въ исключительномъ философскомъ дарованіи Юркевича. Каждая его замѣтка, — самая случайная, въ нѣсколько печатныхъ страницъ,—производила сенсацію, выгодную для его литературной популярности. Образованіе, умъ и критическій талантъ Юркевича жаждали простора и свѣта. Онъ не могъ остаться въ тѣни, даже когда онъ жилъ въ Кіевѣ и труды его печатались въ малоизвѣстномъ философскомъ журналѣ, издаваемомъ Кіевской академіей. Одною силою учености онъ заставилъ заговорить о себѣ всѣ русскіе журналы и газеты. Какое-же значеніе онъ пріобрѣтетъ въ столичномъ городѣ, среди людей, стоящихъ на видныхъ постахъ литературы, среди главныхъ генераловъ русскаго просвѣщенія! Какимъ убійственнымъ орудіемъ онъ явится для тѣхъ, которые сумѣютъ воспользоваться его знаніемъ и образованіемъ ради своихъ партійныхъ цѣлей, въ схваткѣ съ менѣе сильными въ философскомъ отношеніи противниками, на журнальномъ или жизненномъ поприщѣ! Юркевичу не суждено было оставаться въ тѣсномъ провинціальномъ городѣ. Его таланту была проложена дорога въ среду болѣе широкихъ и болѣе важныхъ задачъ, къ центру литературныхъ и общественныхъ вліяній.

II.

Преподавательская и литературная дѣятельность Юркевича въ Кіевѣ окончилась. Въ серединѣ 1861 г. ему было сдѣлано предложеніе занять каѳедру философіи въ Московскомъ университетѣ. Ста-

рѣшій и передовой университетъ показалъ примѣръ безпристрастной оцѣнки дѣйствительныхъ заслугъ ученаго дѣятеля. Оставивъ въ сторонѣ формальности и казенные дипломы, онъ искалъ ученаго мыслителя, и 18-го октября 1861 года состоялся приказъ о перемѣщеніи магистра Юркевича въ московскій университетъ ординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ философіи. Академія дорожила Юркевичемъ и не могла безразлично отнестись къ этому перемѣщенію. Она теряла выдающагося ученаго и популярнаго преподавателя. Его девятилѣтняя служба при академіи, гдѣ онъ получилъ свое образованіе, прошла въ непрерывномъ трудѣ, посвященномъ изученію философіи, и въ рядѣ работъ по участію въ академическомъ журналѣ, который и вывелъ его на болѣе широкое поприще. Академія пожелала дружески проститься съ своимъ профессоромъ. 26-го ноября товарищи, бывшіе воспитанники и ближайшіе изъ знакомыхъ Юркевича пригласили его на прощальный обѣдъ, который былъ устроенъ въ квартирѣ ректора академіи. Тихая, но оживленная бесѣда сопровождала это скромное торжество. Ректоръ академіи въ краткихъ словахъ выразилъ сожалѣніе о томъ, что съ отбытіемъ Юркевича его заведеніе лишается достойнѣйшаго изъ своихъ преподавателей. Присутствовавшій на обѣдѣ товарищъ попечителя округа, Михневичъ, упомянувъ о прошедшихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, сопровождавшихся закрытіемъ философскихъ каѳедръ, выразилъ надежду на возможность болѣе свободнаго философскаго развитія въ будущемъ и предложилъ тостъ за скрѣпленіе связи между академіями и университетами, за то, чтобы истинные таланты всегда цѣнились такъ, какъ показалъ тому первый примѣръ московскій университетъ: не по мѣсту образованія, не по внѣшнимъ отличіямъ учености, а по самому знанію и прямымъ результатамъ его—ученымъ занятіямъ и трудамъ. На обѣдѣ присутствовали и выразили свое сочувствіе Юркевичу Новицкій, Гогоцкій и другіе мѣстные ученые дѣятели. Юркевичъ въ простыхъ словахъ отблагодарилъ собравшихся за оказанное ему вниманіе [1]).

16-го января 1862 г. Юркевичъ прочелъ въ московскомъ университетѣ свою первую вступительную лекцію. Передъ нимъ не было тетради съ заранѣе подготовленными фразами, съ закругленными періодами. Онъ импровизировалъ и, несмотря на новость положенія, несмотря на многочисленную и разнородную публику, собравшуюся на эту лекцію, рѣчь его отличалась совершенною непринужденностью. Это была живая бесѣда, чуждая всякихъ искусственныхъ эффектовъ и разсчитанная только на то, чтобы возбудить въ студентахъ самостоятельныя мысли. По словамъ очевидцевъ, бывшихъ на этой первой лекціи и передававшихъ намъ лично свои воспоминанія, огромная толпа

[1]) «Православное Обозрѣніе», 1862, январь, Замѣтки, стр. 46—48.

студентовъ различныхъ факультетовъ переполняла залу, гдѣ впервые появился на каѳедрѣ Юркевичъ. Сотни народа, не найдя себѣ мѣста на скамьяхъ, слушали стоя. Какая-то неясная сила влекла молодыхъ людей въ аудиторію, гдѣ, послѣ многихъ лѣтъ запрещенія, должно было раздаться живое слово философіи. О Юркевичѣ въ обществѣ шли оживленные толки. Его пріѣзду въ Москву предшествовалъ шумъ журнальной полемики, въ которой его имя играло эффектную роль. Атмосфера была наэлектризована. Отъ Юркевича чего-то ждали, хорошенько еще не зная—чего именно. Онъ предсталъ, какъ загадка, трудная для пониманія по существу, среди юношества, лишеннаго въ теченіе долгаго времени какого-бы то ни было философскаго образованія, интригуя молодое воображеніе, способное на непосредственное сочувствіе, но готовое отшатнуться при первомъ хорошо разсчитанномъ намекѣ политической клеветы. Что-то привлекательное, волнующее пронеслось въ напряженной аудиторіи. Но задушевная мысль лектора, то, ради чего Юркевичъ готовъ былъ вступить въ полемическую борьбу, что составляло его внутреннюю силу, осталось непонятымъ, не вошло въ сознаніе и, быть можетъ, даже не было вполнѣ развернуто передъ слушателями, которымъ былъ, очевидно, чуждъ его строгій, точный философскій языкъ Лектора и студентовъ разъединяло вѣяніе времени. Они не могли долго идти однимъ путемъ. Молодежь рвалась къ неотложной практической работѣ, а онъ развивалъ предъ нею мысль о необходимости основательной умственной подготовки, строгаго контроля высшихъ идей надъ всѣми временными стремленіями и понятіями. Лица, разсказывавшія намъ объ этой первой лекціи, откровенно сознаются, что содержаніе ея быстро улетучилось изъ памяти, несмотря на вниманіе, съ которымъ она была прослушана. Невысокая, тщедушная фигура, темно-синіе очки при бѣлокурыхъ волосахъ, южно-русскій выговоръ, блестки утонченнаго, ядовитаго юмора въ рѣчи при угрюмомъ выраженіи лица — всѣ эти, даже внѣшнія, проявленія Юркевича не должны были вызвать у студентовъ той пылкой симпатіи къ профессору, которая можетъ сдѣлать его надолго любимцемъ толпы и которая, въ патетическіе моменты, при первой удачной фразѣ, разрѣшается восторженными, единодушными аплодисментами. Человѣкъ науки и философіи по преимуществу, онъ въ своихъ лекціяхъ не отвлекался въ сторону отъ главнаго предмета, не прибѣгалъ къ тѣмъ фразамъ и словамъ, которыя, составляя ходячій лексиконъ эпохи, каждый разъ зажигаютъ въ слушателяхъ особенное оживленіе и страстный порывъ къ спорамъ и толкамъ въ кружкахъ и товарищескихъ собраніяхъ. Юркевичъ любилъ философію, какъ орудіе служенія человѣчеству, искалъ въ ней отраженія общечеловѣческихъ нуждъ и потребностей, но, будучи человѣкомъ опредѣленной, строго-научной дисциплины, онъ не умѣлъ воздавать кесарю кесарево...

Мысль имѣетъ самостоятельное значеніе, независимо отъ практическихъ цѣлей, говорилъ Юркевичъ передъ этими сотнями молодыхъ людей, тѣснившихся впервые у его профессорской каѳедры. Затѣмъ, показавъ на общедоступныхъ примѣрахъ, какъ узки и односторонни взгляды тѣхъ, которые уважаютъ науку только, какъ средство для ежедневной жизни, для матеріальнаго комфорта, онъ перешелъ къ воззрѣніямъ прагматиковъ и эмпириковъ, которые, довольствуясь изученіемъ науки въ ея подробностяхъ, ограничиваясь изслѣдованіемъ частныхъ явленій, не подводятъ ихъ ни подъ какіе общіе принципы, не освѣщаютъ ихъ никакою высшею идеею. Изъ этихъ общихъ мыслей Юркевичъ сдѣлалъ выводъ объ истинной задачѣ философіи. Философія есть наука, сводящая къ единству всю сферу человѣческихъ познаній, открывающая новые горизонты для мышленія посредствомъ сочетанія тѣхъ истинъ, которыя добыты въ разныхъ областяхъ научнаго изслѣдованія и, въ своемъ совершенномъ видѣ, дающая наставленіе и руководство для практической жизни, какъ говорили древніе мыслители... Вступительная лекція Юркевича, писало «Наше Время», не затрогивала спорныхъ вопросовъ, не выставляла одного ученія противъ другого. Она развивала самое существо дѣла,—и это лучшее средство, прибавляетъ газета, противъ невѣжества и лжи. Очевидно, Юркевичъ выступилъ передъ московскимъ студенчествомъ въ полномъ вооруженіи. Люди, которые могли сознательно слѣдить за его первыми чтеніями, немедленно засвидѣтельствовали въ газетахъ, что онъ обнаружилъ въ нихъ живой и сильный талантъ, что въ его лекціяхъ виденъ мыслитель, который вращается въ сферѣ философскихъ вопросовъ съ полной свободою. Но людей, подготовленныхъ къ пониманію Юркевича, было слишкомъ мало. Даже органы печати не могли возвыситься до сколько-нибудь серьезной и справедливой оцѣнки его взглядовъ и убѣжденій. Двѣ московскія газеты прямо привѣтствовали появленіе Юркевича въ стѣнахъ московскаго университета. «Поздравляемъ московскій университетъ, писала Современная лѣтопись Русскаго Вѣстника, и съ возобновленіемъ полнаго преподаванія философіи, и съ счастливымъ выборомъ преподавателя». «Наше Время» тоже поздравляло старѣйшій изъ русскихъ университетовъ съ новымъ пріобрѣтеніемъ. Но, поздравляя общество съ восходящимъ научнымъ свѣтиломъ, обѣ газеты вливали ядъ партійнаго озлобленія въ свои хвалебныя слова. Катковъ—быть можетъ не вполнѣ искренно—возлагалъ надежды на Юркевича въ томъ, что онъ исцѣлитъ студенческую аудиторію отъ «пассивной, разслабляющей игры темныхъ представленій», а «Наше Время» въ вульгарномъ стилѣ выражало радость, что вотъ, наконецъ, воцарится въ университетѣ философія, въ обществѣ распространятся здравыя понятія, и молодежь и старцы перестанутъ увлекаться «безобразными теоріями и дикими предложеніями». А «Сынъ Отечества» редакціи А. Старчевскаго,

перепечатывая замѣтку «Нашего Времени», съ развязностью профана прибавляетъ: «у каждаго свой вкусъ, и намъ кажется, что это была *преприличная* высокопарность и чистое торжество схоластики. Дай Богъ, чтобы мы ошиблись» [1])...

Электричество стало накапливаться въ воздухѣ съ первыхъ же шаговъ Юркевича на новомъ поприщѣ. Человѣкъ таланта былъ поставленъ у настоящаго дѣла. Роль Каткова въ этой важной перемѣнѣ была очевидна для всѣхъ. Если Юркевичъ ни по темпераменту, ни по убѣжденіямъ вовсе не годился для какой бы то ни было пропаганды временныхъ задачъ съ высоты журнальной трибуны, то сама жизнь постаралась запереть его въ станѣ консервативнаго патріотизма, создавъ для него неожиданныхъ друзей среди дѣятелей будущей реакціи. Съ негодованіемъ отвергнутый почему-то радикальными публицистами, оскорбленный такимъ человѣкомъ, какъ Чернышевскій, и уже ставшій добычею грубаго тенденціознаго ганья на страницахъ восходящаго журнала «Русское Слово», Юркевичъ долженъ былъ проявить огромную силу характера, чтобы не поддаться закипавшимъ въ душѣ аффектамъ. Злобная сплетня, приправленная аттическою солью гражданственнаго навѣта, росла съ каждымъ днемъ. Неосторожное сотрудничество въ журналѣ, редакторъ котораго съ каждымъ мѣсяцемъ все крѣпче и крѣпче натягивалъ вожжи полицейской государственности, не могло не компрометировать молодого ученаго въ глазахъ общества, привыкшаго различать своихъ дѣятелей по внѣшнимъ значкамъ и признакамъ. Правда, въ «Русскомъ Вѣстникѣ» участвовали рядомъ съ Юркевичемъ и такіе люди, какъ Тургеневъ, Анненковъ, Тихонравовъ, Соловьевъ и другіе писатели и ученые съ незапятнанной литературной репутаціей. Правда, Юркевичъ писалъ по вопросамъ отвлеченной мысли и, полемизируя съ журналистами «Современника», нигдѣ не обмолвился ни единой сомнительной въ политическомъ отношеніи фразой. Но вѣдь надо припомнить обстоятельства того времени. Катковъ, который еще недавно былъ предметомъ общаго уваженія за образованіе и талантъ, съ іюня мѣсяца 1862 г. сразу потерялъ свою популярность въ русскомъ обществѣ. И надъ Тургеневымъ повисло темное облако сомнѣній со стороны молодого общества. Его репутація шаталась, хотя, какъ это можно доказать по недавно обнародованнымъ его письмамъ къ Герцену, онъ самъ тяготился своимъ участіемъ въ журналѣ, который съ властною, грубою силой сталъ осаживать толпу, бросившуюся на путь прогресса. Въ такое время нельзя было безъ громаднаго риска для собственнаго имени, даже при огромномъ талантѣ, публично показаться въ компаніи съ Катковымъ. Студенчество волновалось. Общество переживало тревожныя минуты по поводу петербургскихъ по-

[1]) «Сынъ Отечества» 1862, № 18, стр 141.

жаровъ. Что-то совершалось въ нѣдрахъ Россіи. Гдѣ же было въ такой моментъ тонко разбираться въ трудныхъ политическихъ вопросахъ и раздѣлять людей, случайно попавшихъ подъ одинъ и тотъ-же жизненный флагъ? Въ такія острыя минуты все, занимающее неопредѣленное положеніе, должно быть затоптано въ борьбѣ воюющихъ партій. Не осмысливъ практическаго положенія современной Россіи, Юркевичъ сдѣлалъ ложный шагъ, согласившись давать свои статьи, вмѣсто невѣдомыхъ, но ничѣмъ не запятнанныхъ ученыхъ журналовъ, въ «Русскій Вѣстникъ», гдѣ уже метались первыя волны прибоя слѣпой реакціонной стихіи. Случилось даже такъ, что одна изъ самыхъ превосходныхъ, изящныхъ статей Юркевича, полная тонкаго юмора, сокрушительная для мертворожденной философіи русскаго матеріализма, оказалась напечатанной въ одной книжкѣ, почти по сосѣдству съ знаменитой филиппикою Каткова противъ Герцена. Репутація, популярность Юркевича должна была пошатнуться, несмотря на первый шумный успѣхъ въ аудиторіи московскаго университета, а противники изъ «Современника», непріятно пораженные внезапнымъ перемѣщеніемъ Юркевича въ центръ умственной жизни Россіи, продолжали вести свою борьбу съ ненавистнымъ человѣкомъ.

Въ февральской книжкѣ «Современника» 1862 г. противъ Юркевича выступаетъ молодой соратникъ Чернышевскаго, Антоновичъ. Въ статьѣ, написанной по поводу «Физіологіи обыденной жизни» Льюиса и названной съ обычною звонкостью задорнаго журнала «Современная физіологія и философія», Антоновичъ возвращается къ слегка устарѣвшей уже исторіи Чернышевскаго съ Юркевичемъ, и по своему даетъ реваншъ ученому профессору, вдругъ занявшему такое сильное положеніе. Онъ бросается на врага, можно сказать, съ поднятымъ кулакомъ, чтобы съ запальчивостью вѣрнаго партизана подкрѣпить глумленіе Чернышевскаго надъ своимъ критикомъ—въ выраженіяхъ, звучащихъ зычно, увѣренно, но производящихъ впечатлѣніе гулкихъ раскатовъ грубаго голоса въ пустой комнатѣ. Онъ чувствуетъ себя на высотѣ положенія, и сильный противникъ не внушаетъ ему никакихъ опасеній. Не обладая жгучимъ темпераментомъ Чернышевскаго, его лукавымъ остроуміемъ, его выдающимся литературнымъ талантомъ и природной умственной живостью, человѣкъ ограниченныхъ знаній въ философіи и ординарнаго журнальнаго дарованія, далеко отстающаго по силѣ отъ его публицистической ретивости, Антоновичъ, въ бурномъ порывѣ партизанскаго протеста, слѣпо несется на острое копье своего почти первокласснаго по таланту противника. Онъ не стѣсняется въ хулѣ, хлещетъ длиннѣйшими цитатами изъ Льюиса, бьетъ суковатой палкой по головамъ возставшихъ на защиту Юркевича сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» и въ заключеніе молодецки похваляется тѣмъ, что могъ-бы бить еще размашистѣе и больнѣе. «Подумайте сами, любезные читатели, пишетъ онъ,—какими комплиментами

мы могли бы *упостить* противниковъ Современника, какъ *удобно* могли-бы поглумиться надъ ихъ ученою проницательностью и какимъ свистомъ могли-бы проводить всѣ ихъ разглагольствованія о Льюисѣ и Юркевичѣ,—и имѣли-бы на это полное право. Но... невольно возбуждается какая-то жалость къ противникамъ, когда видишь ихъ совершенное безсиліе и безотвѣтность и сознаешь на своей сторонѣ все превосходство силы и всю правоту своего дѣла». Антоновичъ тоже думаетъ свистомъ доканать своихъ противниковъ, и свистъ его звучитъ пронзительно, но грубо, какъ свистъ уличныхъ мальчишекъ сквозь заложенные въ ротъ пальцы.

Антоновичъ нападаетъ на Дудышкина за то, что онъ Льюиса «записалъ въ ученики къ Юркевичу». По его мнѣнію, между этими писателями не можетъ быть ни въ какомъ пунктѣ никакого согласія: *или* Льюисъ настоящій физіологъ и въ такомъ случаѣ онъ не долженъ сходиться въ основныхъ взглядахъ съ Юркевичемъ, *или* онъ дѣйствительно сходится съ нимъ—и тогда его уже нельзя назвать истиннымъ физіологомъ. Онъ считаетъ своею обязанностью защитить Льюиса отъ нареканій, «бросающихъ тѣнь на его *физіологическую репутацію*». Мы смѣло говоримъ, пишетъ Антоновичъ, «что противники Современника наклеветали на почтеннаго ученаго, утверждая, что онъ можетъ служить подпоркою философіи Юркевича». По мнѣнію Антоновича, Юркевичъ свысока и даже съ презрѣніемъ третируетъ физіологію. Но спрашивается, что дало поводъ противникамъ «Современника» воспользоваться именемъ Льюиса для того, чтобы защитить Юркевича отъ нападенія Чернышевскаго? Гдѣ тѣ мнимыя основанія, которыя они употребили въ свою пользу, чтобы сдѣлать Льюиса «партизаномъ философіи Юркевича», спрашиваетъ Антоновичъ съ плохо сочиненной ироніей, сбивающей съ толку читателя, возбуждающей недоумѣніе: кто именно такъ странно сочетаетъ имена русскаго и англійскаго ученаго—«Отечественныя Записки» или расшутившійся Антоновичъ? Антоновичъ не можетъ скрыть, что въ сочиненіи Льюиса есть мысли, несогласныя съ философіей «Современника», но онъ даетъ этимъ мыслямъ такое характерное объясненіе. У каждаго писателя, говоритъ онъ, легко найти фразы и отдѣльныя мѣста, которыя могутъ быть истолкованы въ пользу какого угодно ученія, въ пользу самыхъ противоположныхъ воззрѣній. Въ особенности это удобно сдѣлать съ англійскими писателями, вслѣдствіе одной типичной, свойственной имъ черты. «Англичане, заявляетъ Антоновичъ, вообще народъ церемонный и этикетный до щепетильности. Они свято уважаютъ то, что принято, благоговѣютъ предъ мнѣніями, освященными стариною, съ трудомъ отказываются отъ укоренившихся преданій и обычаевъ, хотя-бы въ нихъ все было основано на предразсудкѣ». Англійскіе мыслители и ученые всегда соображаются съ господ-

ствующимъ въ англійскомъ обществѣ положеніемъ вещей. Если они нападаютъ на укоренившееся мнѣніе, то дѣлаютъ это чрезвычайно осторожно, съ «разными оговорками и двусмысленными ограниченіями». Изъ этого вытекаетъ правило: объ убѣжденіяхъ англійскаго ученаго слѣдуетъ судить не по отдѣльнымъ фразамъ или отрывкамъ, а по всему строю его воззрѣній. Основываясь на этомъ правилѣ, можно смѣло сказать, что Льюисъ не всегда говоритъ то, что думаетъ, и часто говоритъ то, чего вовсе не думаетъ, а потому если какія-нибудь страницы въ сочиненіи Льюиса и легко сблизить съ писаніями Юркевича, то ихъ надо признать не искренними, написанными ради англійскихъ церемоній и этикета. Съ этими оговорками Антоновичъ приступаетъ къ характеристикѣ Льюиса—съ цѣлью показать, что между имъ и Юркевичемъ не можетъ быть ничего общаго. Правъ-ли Юркевичъ вообще, вѣрна-ли его философія «въ цѣломъ»—объ этомъ Антоновичъ не намѣренъ сказать ни слова. Ему-бы хотѣлось только пристыдить противниковъ «Современника» и доказать, что мысли Льюиса очень сходны съ ученіемъ Чернышевскаго. Дудышкинъ ошибается, полагая, что Юркевичъ названъ сотрудниками «Современника» кабалистомъ за то, что онъ признаетъ самостоятельность психологіи. Нѣтъ, не въ этомъ причина причинъ. Разница между воззрѣніями Юркевича и воззрѣніями «Современника» лежитъ гораздо глубже и вовсе не касается классификаціи наукъ. Лавровъ точно также стоитъ за самостоятельность психологіи, однако, онъ несомнѣнно принадлежитъ къ новымъ, а не старымъ философамъ, «потому что онъ вѣрно разсуждаетъ объ Одинѣ и опровергаетъ большую и самую существенную часть того, что признаютъ старые философы». Совсѣмъ другое дѣло Юркевичъ: онъ не идеалистъ только, онъ еще и супранатуралистъ, «а вѣдь это не шутка»... Пространно излагая Льюиса, Антоновичъ выставляетъ слѣдующія положенія. Между физіологіей и психологіей существуетъ такое-же отношеніе, какое существуетъ между химіей и физіологіей. Онѣ относятся другъ къ другу такъ, какъ акустика, ученіе о звукѣ, относится къ музыкѣ, ученію о мелодіи и гармоніи. Акустика изслѣдуетъ «отдѣльные звуки и тоны, такъ сказать, элементы музыки, а сама музыка изучаетъ разнообразныя сочетанія ихъ». Точно также физіологія занимается первичными психическими актами, основными элементами душевной жизни, а психологія изучаетъ различныя ассоціаціи представленій, «дѣйствіе отвлеченія и умозаключенія и другіе законы мышленія». Льюисъ признаетъ, конечно, разницу между физіологическими и психическими явленіями, но въ основаніи ихъ онъ видитъ одно общее начало жизни, такъ что для него они, въ концѣ концовъ, сливаются вмѣстѣ до невозможности найти между ними точное разграниченіе. «Для Льюиса, говоритъ Антоновичъ, душа есть синонимъ жизни—въ этомъ вся сущность и разгадка его воззрѣній». Юркевичъ назвалъ миѳологіею размышленія Чернышевскаго о

томъ, что въ природѣ количественныя различія сами по себѣ переходятъ въ различія качественныя. Противники «Современника» подхватили слова Юркевича, воображая, что оказываютъ своему кліенту дружескую услугу. А между тѣмъ, какъ-же рѣшилъ этотъ вопросъ самъ Юркевичъ? «Онъ рѣшилъ дѣло тѣмъ, заявляетъ Антоновичъ, что превратилъ количество въ качество, только посредствомъ фокуса», указавъ на ощущающее *существо*, въ которомъ будто-бы совершается это превращеніе. Природа не можетъ превращать количество въ качество, иронизируетъ Антоновичъ, превращеніе это дѣлается въ существѣ, а не въ природѣ. Но почитайте, однако, Льюиса, и вы убѣдитесь, что онъ находится во власти той-же миѳологіи, какую Юркевичъ открылъ у Чернышевскаго. Въ настоящемъ спорѣ Чернышевскій правъ во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ отнесъ ощущеніе къ предметамъ физіологіи,—то-же дѣлаетъ и Льюисъ. По мнѣнію Юркевича, Чернышевскій не знаетъ новѣйшихъ открытій психологіи, но загляните въ сочиненія Льюиса и вы увидите, что Чернышевскій не только стоитъ на высотѣ науки, но имѣетъ ясное представленіе о томъ, какія изъ новѣйшихъ открытій опять закрыты. «Сравните, пишетъ Антоновичъ, не отрывокъ, а все ученіе Льюиса съ тѣмъ, что говоритъ г. Юркевичъ, и вы увидите, что нашему кіевскому, а нынѣ московскому профессору извѣстны послѣднія изслѣдованія не только хуже г. Чернышевскаго, но и вовсе неизвѣстны. Слѣдовательно, онъ знаетъ только семинарскія тетрадки и учебники, какъ завѣряетъ г. Чернышевскій». Вотъ къ какимъ выводамъ пришелъ Антоновичъ. Пусть противники «Современника», какъ голодные волки, бросаются на все то, что пишется новаго въ этомъ прогрессивномъ журналѣ. Пусть они ищутъ опоры въ комъ хотятъ, пусть они высылаютъ противъ силачей «Современника» такихъ борцовъ, какъ Юркевичъ. Что за бѣда! При этомъ еще можно жить на свѣтѣ—«особенно, когда видишь, что каждое новое открытіе въ наукѣ, каждый шагъ ея, съ одной стороны, наносятъ ударъ зданію, защищаемому единомышленниками г. Юркевича, а съ другой — приготовляютъ матеріалъ для постройки новаго зданія въ другомъ вкусѣ». При такихъ обстоятельствахъ Антоновичъ не можетъ даже не испытывать внутренняго удовольствія. Какими гигантскими шагами наука идетъ навстрѣчу философіи «Современника»! Было, напримѣръ, время, когда ощущеніе «находилось въ рукахъ метафизиковъ и психологовъ», и это было время несчастное для науки: они только напугали суевѣрныхъ людей ученіемъ объ его таинственности, ничего не открывъ и не выяснивъ по существу. Но вотъ «философствующій физіологъ берется за ощущеніе»: онъ понимаетъ его истинную природу, наблюдаетъ тѣ дѣйствія и явленія, которыми оно обнаруживается. Уколетъ онъ лапку лягушки — и смотритъ, почувствовала-ли она уколъ или нѣтъ? Лягушка отдернула лапку: а, значитъ почувствовала,—ощу-

щеніе есть! Вырѣжетъ онъ мозгъ у другого животнаго, разсмотритъ его строеніе, сдѣлаетъ разные эксперименты — смотришь, и получился выводъ относительно ощущенія [1])...

На эту статейку Антоновича Юркевичъ откликнулся такимъ полемическимъ отвѣтомъ, за который во всякомъ истинно интеллигентномъ обществѣ, вездѣ, гдѣ умѣютъ дорожить интересами науки, цѣнить настоящее остроуміе и талантъ, молодому ученому аплодировали-бы съ искреннимъ увлеченіемъ. Юркевичъ тономъ язвительной насмѣшки рисуетъ философскіе взгляды своего противника, съ улыбкою выставляетъ его грубое непониманіе затронутыхъ философскихъ вопросовъ, то поворачиваетъ его къ свѣту, то слегка отталкиваетъ его движеніемъ твердой руки. Онъ подбираетъ выпущенныя противъ него стрѣлы и возвращаетъ ихъ своему оппоненту со сдержаннымъ смѣхомъ. Большая половина его статьи посвящена Льюису. Въ ней Юркевичъ, въ первый разъ послѣ схватки съ Чернышевскимъ, даетъ намъ нѣсколько самостоятельно выработанныхъ идей съ превосходнымъ, чисто психологическимъ содержаніемъ. Онъ критикуетъ Льюиса съ огромнымъ знаніемъ физіологіи и психологіи, даетъ свои собственныя объясненія и опредѣленія нѣкоторыхъ фактовъ нашей душевной жизни и въ общемъ набрасываетъ основные принципы идеализма съ полной отчетливостью въ каждомъ словѣ, въ каждомъ выраженіи. Безпристрастный ученый, онъ въ яркихъ фразахъ показываетъ всѣ достоинства Льюиса, какъ физіолога и психолога, рѣзкими чертами отдѣляетъ тѣ положенія англійскаго писателя, съ которыми сходятся его собственныя воззрѣнія и, гдѣ позволяетъ строгая логика предмета, указываетъ въ его сочиненіи тѣ мѣста, изъ которыхъ могутъ быть сдѣланы неправильные въ научномъ отношеніи выводы и заключенія [2]). Если «Современникъ», высылая Антоновича противъ Юркевича, вдругъ занявшаго очень видное положеніе въ московскомъ университетѣ, думалъ этимъ нѣсколько пошатнуть его ученую репутацію, которая росла съ каждымъ днемъ, то, надо сказать правду, этимъ новымъ своимъ неудачнымъ, почти ребяческимъ выстрѣломъ петербургскій журналъ могъ только утвердить и укрѣпить позицію Юркевича въ русской философской литературѣ. Полемическія придирки «Современника» давали поводъ Юркевичу все съ большей и большей полнотою открывать все богатство его умственнаго содержанія, его внутренняго міра отвлеченныхъ идей и научныхъ понятій. Каждое грубое слово зажигало въ немъ свѣтлыя ассоціаціи, смѣлые образы, выливавшіеся на бумагу съ непринужденнымъ крас-

[1]) „Современникъ“ 1862 г. февраль. *Русская литература*, стр. 266.

[2]) «Языкъ физіологовъ и психологовъ», «Русскій Вѣстникъ» 1862, августъ, стр. 703.

норѣчіемъ самаго лучшаго стиля. На почвѣ чистой науки «Современнику» не слѣдовало тягаться съ людьми настоящей философской мысли. Юркевича можно было донять только клеветою, злобно шипящей сплетней, а не правдивыми доводами знанія. Онъ бился за свои убѣжденія честными средствами открытой критики, и если его міровоззрѣніе оказалось не по вкусу людей, работавшихъ въ области русской философіи почти пустыми руками, то его надо было, какъ можно скорѣе, тотчасъ-же заклеймить, зачернить какимъ-нибудь ловкимъ обвиненіемъ въ глазахъ легковѣрной публики.

Юркевичъ отвѣчаетъ Антоновичу въ апрѣльской книгѣ «Русскаго Вѣстника». Статья Антоновича, пишетъ Юркевичъ, имѣетъ своею цѣлью оправдать слегка забытое, можетъ быть, изслѣдованіе Чернышевскаго объ антропологическомъ принципѣ въ философіи. Чернышевскій отвѣчалъ на сдѣланное ему по поводу этой статьи возраженіе нелестными прозвищами, указаніями на свои добрыя желанія, на свое направленіе, что совершенно сообразно съ духомъ партій, уважающихъ не знаніе, а намѣреніе. Но Юркевичъ думаетъ, что ученое оправданіе воззрѣній Чернышевскаго было-бы дѣломъ очень нелишнимъ. Можетъ быть, его теорія имѣетъ средства осмыслить себя, средства, которыя однако доселѣ остаются неизвѣстными ея противникамъ. И вотъ, на защиту Чернышевскаго выступилъ Антоновичъ. Въ статьѣ Антоновича, пишетъ Юркевичъ, мое имя является съ тѣми же прозвищами, которыя уже извѣстны публикѣ изъ бойкихъ статей Чернышевскаго. Мы находимъ въ ней тотъ же разрядный списокъ философовъ съ ихъ раздѣленіемъ на старыхъ и новыхъ. Антоновичъ объявилъ ученому міру домашнюю тайну редакціи «Современника»: Юркевичъ давно уже отнесенъ къ раздряду старыхъ философовъ. Конечно, Юркевичъ имѣлъ-бы право жаловаться на несправедливость «Современника», потому что, какъ прежде Чернышевскій дѣлалъ свои заключенія о немъ, не читая его статей, такъ теперь Антоновичъ не хочетъ заняться вопросомъ, вѣрна-ли его философія или нѣтъ. Но, видимо, тутъ присутствуетъ какой-то особенный порядокъ, о смыслѣ котораго нельзя догадаться, говоритъ Юркевичъ. Можетъ быть, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, можетъ быть, слѣдуетъ пріучить публику къ *вѣрѣ* въ сужденія «Современника». Но въ чемъ, однако, вина Юркевича передъ Льюисомъ? Въ «Отечественныхъ Запискахъ» было когда-то приведено коротенькое мѣсто изъ физіологіи Льюиса, говорившее противъ Чернышевскаго и доказывавшее то, что Юркевичъ знаетъ не однѣ семинарскія тетрадки. Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» было замѣчено кое-что въ оправданіе этой цитаты. Но публика, должно быть, не дозрѣла до того, чтобы взвѣсить всю тяжесть вины, заключающейся въ указаніи этихъ двухъ журналовъ на сходство между обоими писателями. «Да, я утверждаю, что она еще не дозрѣла до этого.

Припомните-же вы, какъ сказалъ-бы г. Чернышевскій на моемъ мѣстѣ, вы, милые мои, вы, тупоумные, дрянные пошляки—припомните-же, какъ жестоко нѣкогда наказалъ Прометея Зевесъ-Громовержецъ за то, что этотъ дерзкій похитилъ маленькую искру небеснаго огня и отдалъ ее простому смертному, припомните это, и вы, можетъ быть, поймете, сколько дерзости совершили тѣ журналы, похитивъ безсмертную искру Льюисовой мысли и отдавъ ее не г. Чернышевскому, а простому смертному, каковъ Юркевичъ». Антоновичъ и гнѣвается, и плачетъ за Льюиса, но муза Юркевича не умѣетъ ни пѣть, ни смѣяться, ни ликовать,—она только разсказываетъ и докладываетъ. Антоновичъ требуетъ, чтобъ вѣрили не каждому слову Льюиса, но жаль, что онъ не указалъ тѣхъ мѣстъ которыя слѣдуетъ объяснить церемоніями и предразсудками англичанина. Какъ понять слова Льюиса, что мы никогда не проникнемъ въ тайну души, что мы никогда не узнаемъ истинныхъ свойствъ мысли? Какъ понять слова Льюиса о коренномъ различіи между химіей, физіологіей и психологіей? Отвѣтъ Антоновича можетъ быть только одинъ. Упершись въ придуманное имъ объясненіе, онъ долженъ сказать Льюису: понимаемъ, сэръ, вы англичанинъ. Но «Современникъ» доказалъ, что только тупыя головы находятъ таинственное и непонятное въ душевныхъ явленіяхъ, онъ доказалъ, что задачи психологіи рѣшаетъ физіологія, которая сама передаетъ свои задачи химіи... Такъ долженъ говорить Антоновичъ, встрѣчаясь съ твердымъ заявленіемъ Льюиса о томъ, что психологія есть наука о душѣ, а физіологія — наука о жизни. Такъ долженъ говорить Антоновичъ, натыкаясь на сотню другихъ мѣстъ въ сочиненіи Льюиса, которыя не поддаются простому матеріалистическому объясненію. При ближая воззрѣнія Льюиса къ философіи «Современника», Антоновичъ взваливаетъ на Льюиса очень много несообразностей. По истолкованію Антоновича, физіологія занимается отдѣльными явленіями жизни, а психологія—сочетаніями этихъ явленій, подобно тому, какъ акустика занимается отдѣльными звуками и тонами, а музыка сочетаніями этихъ звуковъ и тоновъ. Но такимъ образомъ выходитъ, что психологія есть наука о сочетаніяхъ соковъ въ лимфу и кровь, тканей въ органы. Юркевичъ въ статьѣ о Чернышевскомъ доказывалъ невозможность безусловнаго превращенія количественныхъ отношеній въ качественныя. Онъ доказывалъ, что это превращеніе возможно только подъ условіемъ существованія разумнаго зрителя. Антоновичъ увѣряетъ, что, говоря это, Юркевичъ прибѣгаетъ къ фокусу. «Съ этимъ можно согласиться, замѣчаетъ Юркевичъ, если все, чего г. Антоновичъ не понимаетъ, есть фокусъ, а между тѣмъ я показалъ, что этотъ фокусъ принадлежитъ Локку, Юму, Канту и всей европейской философіи». Антоновичъ, желая изобличить Юркевича въ вымыслахъ, обращается въ того миѳологическаго героя, который, при каждой попыткѣ поймать богиню, обнимаетъ облако, съ тою только раз-

ницей, что Антоновичъ, стараясь поймать Льюиса, каждый разъ обнимаетъ своего друга Чернышевскаго [1]).

Въ дальнѣйшихъ частяхъ своей статьи Юркевичъ, какъ мы уже говорили, идетъ своимъ собственнымъ путемъ, критикуя Льюиса, показывая различіе между языкомъ физіологовъ и психологовъ, выясняя, что только философія можетъ объединить въ цѣльной системѣ идей явленія различныхъ эмпирическихъ порядковъ. Нѣтъ сомнѣнія, говоритъ онъ, что чувство одной нераздѣльной жизненности, чувство, которое служитъ могущественнымъ двигателемъ нашего образованія, не можетъ удовлетвориться изученіемъ души и тѣла по той рѣзко разграничивающей методѣ, начало которой указано еще Декартомъ. Но ни одна наука сама по себѣ не можетъ, съ ея аналитическимъ методомъ, удовлетворить всѣмъ нуждамъ духа, изслѣдовать міръ вещей съ той высшей и безусловной точки зрѣнія, на которую стремится насъ поставить это глубокое чувство. Здѣсь мѣсто только метафизикѣ, съ ея обобщеніями, съ ея широкимъ идеальнымъ міровоззрѣніемъ. Здѣсь мѣсто философіи [2]). Изслѣдуя принципы всякаго знанія, философія направляетъ анализъ отдѣльныхъ наукъ, открываетъ внутренній смыслъ, единство внѣшнихъ предметовъ. Вещи спокойно лежатъ въ пространствѣ одна подлѣ другой, или измѣняются въ послѣдовательномъ порядкѣ. Но понятія о вещахъ, о мірѣ, сходятся въ одномъ нераздѣльномъ сознаніи, сливаются въ одну систему, доступную только философскому изученію. Природа поражаетъ насъ своими громадными формами. Воображеніе измѣряетъ безпредѣльныя пространства неба и чудовищный объемъ тѣлъ, которыя носятся въ этихъ пространствахъ быстрѣе легкой ласточки. Глазъ очарованъ величественными картинами звѣздной ночи, бушующаго моря, восхода и заката солнца. Его приковываетъ къ себѣ густой лѣсъ, ровная степь, безконечная даль. Мысль слѣдитъ за рядомъ причинъ, которыя раскидываются во всѣхъ направленіяхъ и мало-по-малу теряются въ туманѣ невѣдомыхъ началъ жизни, бьющей ключомъ отовсюду. Въ сравненіи съ этимъ громаднымъ міромъ формъ и образовъ,—какъ должно казаться незначительнымъ, миніатюрнымъ и безцвѣтнымъ то явленіе внутри насъ, которое составляетъ основное содержаніе нашей жизни и которое мы называемъ чувствительностью. «Чувствительность — это, повидимому, что-то простое, бѣдное. Взоръ не чаруется при видѣ этого феномена, воображеніе не отдается созерцанію его формъ и перемѣнъ. Мы чувствуемъ, что намъ тепло или холодно, мы чувствуемъ жажду, голодъ, насыщеніе—какъ все это незначительно, пошло!» И однако, простая чувствительность есть условіе для проявленія этихъ удивительныхъ формъ и образовъ, которые мы назы-

[1]) *Языкъ физіологовъ и психологовъ*. «Русскій Вѣстникъ» 1862, апрѣль, стр. 929.
[2]) Ibidem, 1862, май, стр. 379.

ваемъ внѣшнимъ міромъ. Мы увлекаемся иллюзіями, когда, при изученіи природы, забываемъ о сознаніи человѣка. Мы впадаемъ въ грубую ошибку, когда предполагаемъ, что пока закрыты наши глаза, цѣлый міръ цвѣтовъ, блесковъ и тѣней, съ ихъ безконечными переливами и разнообразною игрою, стоитъ готовый, ожидая нашего пробужденія. Привычка наивнаго мышленія пріучила насъ думать о природѣ, какъ о чемъ-то, имѣющемъ независимое отъ насъ существованіе. Но простой научный анализъ убѣждаетъ насъ въ противоположномъ. Онъ убѣждаетъ насъ въ томъ, что до встрѣчи съ нашей чувствительностью міръ существуетъ только, какъ сумма стимуловъ безформенныхъ, безцвѣтныхъ. Только въ духовномъ мірѣ сознанія природа облекается очертаніями, красками, раскидывается въ пространственныхъ образахъ, проносится безконечнымъ потокомъ смѣняющихъ другъ друга моментовъ времени. Можетъ быть, говоритъ Юркевичъ, нигдѣ философія такъ не противорѣчитъ общему представленію, какъ въ этомъ пунктѣ, но зато нигдѣ она не имѣетъ и такого безспорнаго права заявлять свой голосъ, какъ именно при разрѣшеніи этого принципіальнаго вопроса объ основаніяхъ и условіяхъ эмпирическаго міра. Вотъ почему изслѣдованіе о чувствительности, о происхожденіи сознанія представляетъ одинаковый интересъ для всѣхъ наукъ, для всѣхъ философскихъ школъ. «Если люди ученые и мыслящіе расходятся воззрѣніяхъ на жизнь человѣка, на его развитіе и цивилизацію, то это главнымъ образомъ зависитъ отъ тѣхъ представленій, какія составляютъ они себѣ объ основаніяхъ и источникахъ чувствительности» [1]), замѣчаетъ Юркевичъ въ заключеніи этого блестящаго поэтическаго отрывка. Статья Юркевича нашла себѣ восторженную оцѣнку на страницахъ «Библіотеки для чтенія» въ трехъ первыхъ книгахъ 1863 года. Въ статьѣ подъ названіемъ «Шаткіе пункты современнаго реализма» М. Тарховъ отмѣчаетъ всѣ выдающіяся качества Юркевича, какъ писателя по философскимъ вопросамъ. По его словамъ, Юркевичъ окончательно подкопалъ шаткое зданіе русской журнальной философіи и своей новой статьей «Языкъ физіологовъ и психологовъ» блестяще доказалъ, что онъ полемистъ опасный, вооруженный солидными знаніями. Антоновичъ вызвалъ его на споръ съ грубостью литературнаго чернорабочаго, а Юркевичъ отвѣтилъ съ неподражаемымъ искусствомъ, освѣщеннымъ тонкимъ, изящнымъ сарказмомъ. По строгой научности изложенія, эта новая статья московскаго профессора полна такого глубокаго смысла, что совершенно невозможно сравнивать ее со статьями Антоновича. «Параллель между ними немыслима, говоритъ Тарховъ, онѣ безконечно несоизмѣримы между собою». Юркевичъ имѣетъ сильную неподвижную точку опоры въ современномъ идеализмѣ, какъ онъ выработанъ исторіей,—и здѣсь ни Антоновичу, ни Чер-

[1]) «Русскій Вѣстникъ» 1862 г., іюнь, стр. 733—735.

нышевскому никогда не удастся поколебать его. Глубина, послѣдовательность и точность его философскаго анализа ставятъ его гораздо выше всѣхъ русскихъ дѣятелей въ сферѣ отвлеченной мысли, съ ихъ грубыми логическими промахами, съ ихъ поверхностнымъ научнымъ образованіемъ.

Въ статьѣ Тархова есть много рѣзкихъ словъ, направленныхъ противъ «философскаго дуумвирата» Современника. Онъ вспоминаетъ первую полемическую встрѣчу Юркевича съ Чернышевскимъ и недвусмысленно говоритъ о позиціяхъ обоихъ писателей въ области русской философіи. Юркевичъ въ своей статьѣ иногда поднимаетъ тонъ до нѣкоторой рѣзкости. Вооружайтесь глумленіемъ и свистками, обращается онъ къ Антоновичу,—прячьтесь за фразы, декламацію! Уличая Антоновича въ непониманіи Льюиса, онъ восклицаетъ: «тутъ мы видимъ Немезиду, которая караетъ нашу наглость и невѣжество». Иногда онъ прямо смѣется въ лицо Антоновичу. Г. Антоновичъ, пишетъ онъ, владѣетъ талантомъ находить повсюду сходство: въ наукѣ Льюисъ сходенъ съ Чернышевскимъ, въ искусствѣ Тургеневъ сходенъ съ Лскоченскимъ, въ природѣ душа есть синонимъ жизни, а это значитъ, что она такъ-же похожа на тѣлесную организацію, какъ Льюисъ на Чернышевскаго. Философъ «Современника» живетъ въ мірѣ полнаго безразличія, въ мірѣ, гдѣ бѣлое и черное, мысль души и испарина кожи—одно и то-же. Такъ на праздникѣ Вакха у древнихъ грековъ всѣ лица превращались въ одинаковыя образины. Такъ въ фантазіи средневѣкового алхимика духи звѣздъ и духи земли принимали одинаковый видъ волнующагося тумана... Въ этихъ строкахъ Юркевича уже чувствуется гнѣвъ, накипающій подъ дѣйствіемъ живыхъ впечатлѣній. Ему мало обезоружить своего противника на почвѣ науки: минутами его увлекаетъ страсть, подсказывающая выраженія презрѣнія и еле сдерживаемой ненависти. Все складывается естественно. Сотрудники «Современника» не были изъ числа тѣхъ, мимо которыхъ можно было проходить съ равнодушіемъ, и, разгорячившись, они сами творили безтактность за безтактностью и въ другихъ возбуждали дурное стремленіе размахнуться, швырнуть въ противника ядовитымъ словомъ, чтобы хоть чѣмъ-нибудь уравновѣсить въ обществѣ впечатлѣніе публичнаго униженія. Юркевичъ уже видѣлъ, куда должна наклониться въ концѣ концовъ симпатія русской интеллигенціи, и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что онъ иногда теряетъ равновѣсіе духа среди шумящихъ голосовъ передовой журналистики, неправой въ спорѣ съ нимъ по существу и потому озлобляющейся при каждомъ новомъ обстоятельствѣ. Талантъ полемиста обострялся въ немъ, и зная истинные размѣры философской подготовки своихъ противниковъ, онъ металъ въ нихъ злыми сатирическими фразами. Теперь, въ свою очередь, философы «Современника» оказывались униженными.

Но гдѣ-же свистящіе легіоны Чернышевскаго? Зачѣмъ молчатъ воин-

ствующіе фельетонисты другихъ сочувствующихъ Чернышевскому органовъ печати? Обѣ стороны обмѣнялись научно-философскими аргументами, исчерпали все, что могли сказать другъ другу по предмету спора. Нашелся даже смѣлый голосъ просвѣщеннаго человѣка, который публично передалъ Юркевичу лавръ побѣды. Тарховъ прямо сказалъ, что Юркевичу принадлежитъ слава полнаго пораженія своихъ философскихъ противниковъ на русской почвѣ. Что-же остается сдѣлать новаго, чтобы все-таки одолѣть этого безпокойнаго ученаго человѣка, котораго слушаютъ еще пока огромныя толпы студенчества? Гдѣ-же свистящіе легіоны Чернышевскаго? Гдѣ воинствующая дружина удалыхъ журнальныхъ витязей съ ихъ мечами и алебардами? Съ Юркевичемъ тяжело диспутировать,— съ нимъ нужно воевать. А на войнѣ всѣ средства дозволены...

III.

Незначительныя дѣла могутъ имѣть большія послѣдствія. Одно незначительное дѣло сыграло большую роль въ общественной карьерѣ Юркевича. На совѣсти его не было ни малѣйшей вины. Онъ не совершилъ ничего, компрометирующаго его ученую и гражданскую репутацію, и тѣмъ не менѣе судьба именно въ этомъ мѣстѣ подготовила ему скандалъ, обидный для его литературной порядочности, позорный для тѣхъ нравовъ, которые господствовали въ русской печати. Прожужжала сплетня, и образъ Юркевича померкъ въ глазахъ общества въ ѣдкомъ дыму неопредѣленныхъ, но заразительныхъ слуховъ.

7-го января 1860 г. въ Кіевѣ состоялось открытіе Фундуклеевскаго училища для приходящихъ дѣвицъ всѣхъ классовъ. На открытіи епископъ Антоній произнесъ короткое слово, въ которомъ выразилъ добрыя пожеланія новому заведенію и указалъ на тѣ начала, которыя, по его мнѣнію, могли-бы дать долгую жизнь училищу. Ораторъ одобрилъ мысль о необходимости новыхъ способовъ и пріемовъ обученія, новыхъ распорядковъ внутреннихъ и внѣшнихъ, лучше прежнихъ примѣненныхъ къ потребностямъ времени и способныхъ распространить образованіе глубоко во всѣхъ слояхъ кіевскаго общества. Пусть стоитъ это училище, говорилъ епископъ Антоній, не на водѣ или на пескѣ, а на твердомъ грунтѣ и камнѣ, прочно и безопасно, пусть распространится надъ нимъ свѣтъ настоящаго солнца, который горитъ ярче газа и электричества. Выражая свое убѣжденіе о необходимости ввести въ воспитаніе религіозное начало, просвѣщенный ораторъ замѣтилъ: «Свѣтъ наукъ, преломляясь въ сердцахъ, не очищенныхъ страхомъ Божіимъ, не озаренныхъ свѣтильникомъ закона Божія, теряетъ свою свѣтозарность и превращается въ тьму»... Эта маленькая рѣчь, сказанная задушевнымъ тономъ, безъ всякихъ притязаній, подала поводъ къ настоящей умствен-

ной суматохѣ, разразившейся въ мѣстномъ провинціальномъ муравейникѣ Кіевскій ученый Виталій Шульгинъ, авторъ распространеннаго руководства по средней и новой исторіи, въ которомъ, между прочимъ, Спиноза названъ *германскимъ* евреемъ, вдругъ почувствовалъ странную потребность блеснуть кваснымъ либерализмомъ по поводу немногословной рѣчи названнаго лица. Съ пыломъ, достойнымъ лучшаго примѣненія, онъ разразился статейкой, напечатанной въ «Кіевскомъ телеграфѣ» спустя нѣсколько дней по открытіи Фундуклеевскаго училища [1]). Въ этой статейкѣ онъ метнулъ нѣсколько ядовитыхъ стрѣлъ по адресу «тѣхъ господъ», которые «съ какимъ-то злорадным пророчествомъ» возстаютъ противъ всѣхъ нововведеній современности. Имъ кажется, что все новое построено на пескѣ, на водѣ, говоритъ онъ: проводится-ли желѣзная дорога, открывается-ли газовое освѣщеніе, прокладываются-ли новыя телеграфныя линіи, они всюду заявляютъ свой протестъ во имя какихъ-то старыхъ твердыхъ грунтовъ и камней. «Особенно они желтѣютъ отъ разлива желчи и затаеннаго негодованія при современныхъ улучшеніяхъ въ системѣ народнаго образованія», язвитъ Шульгинъ. «Приверженцы китайскаго застоя, они стараются изъ-за угла бросать грязь въ проводниковъ современнаго образованія, горько соболѣзнуя о томъ, что въ основѣ существующихъ и вновь открываемыхъ учебныхъ заведеній исчезаетъ и можетъ исчезнуть страхъ Господень—по ихъ мнѣнію старое, а по нашему вѣчное начало премудрости». Потомъ, приведя зачѣмъ-то небольшую цитату изъ Домостроя, въ которой говорится о примѣненіи тѣлесныхъ наказаній, Шульгинъ обращается къ воображаемымъ обскурантамъ съ слѣдующими словами: «Если во имя старыхъ началъ вы требуете, чтобы *подобными* мѣрами внушался дѣтямъ страхъ Божій, то вы правы, современность отрицаетъ ихъ... Ваши недовольства происходятъ отъ безсильной злобы на паденіе злоупотребленій, отъ которыхъ вы тучнѣли и высились. Наше недовольство спасаетъ насъ отъ застоя»...

Такова статейка Шульгина по поводу невинной и, по духу своему, гуманной и интеллигентной рѣчи, произнесенной на открытіи Фундуклеевскаго училища. Ради неизвѣстной цѣли ученый профессоръ считаетъ себя въ правѣ публично клеветать на оратора, стѣсненнаго даже своимъ положеніемъ для надлежащаго полемическаго отвѣта. Епископъ Антоній самъ подчеркнулъ необходимость усвоить новые методы преподаванія и воспитанія, но Шульгинъ, пренебрегая явнымъ смысломъ его словъ, передалъ въ грубо-извращенномъ видѣ мысль оратора о «страхѣ Божіемъ», навязавъ ей низменное, вульгарное и ретроградное толкованіе. Статейка Шульгина произвела скандальное впечатлѣніе на кіевскую

[1]) „Кіевскій Телеграфъ", 1860 г., № 4. „Нѣсколько словъ по случаю открытія Фундуклеевскаго женскаго училища въ Кіевѣ".

публику. Профессоръ кіевской духовной академіи Пѣвницкій принесъ въ редакцію «Кіевскаго Телеграфа» опровореніе, которое редакція, однако, не рѣшилась напечатать. Вмѣсто него, она дала новое письмо Шульгина, въ которомъ авторъ слегка отвиливаетъ отъ отвѣтственности за свои слова, утверждая, что въ статьѣ своей онъ не имѣлъ въ виду отдѣльныхъ лицъ, никакихъ отдѣльныхъ сословій, что она направлена противъ обскурантовъ вообще и что на открытіи фундуклеевскаго училища онъ «къ крайнему прискорбію, по болѣзни, присутствовать не могъ». Никакихъ намековъ въ его статейкѣ, значитъ, быть не могло. Но «кто узнаетъ себя въ моей статьѣ, тѣмъ для него хуже, прибавляетъ вдругъ кіевскій историкъ съ новымъ задоромъ: нечего зеркало пенять, коли лицо криво... Пріятно дерзкой эпиграммой взбѣсить оплошнаго врага» [1])...

Пѣвницкій отпечаталъ свою замѣтку отдѣльной брошюрой подъ названіемъ «Странная литературная выходка». Почти одновременно съ нею въ Кіевѣ же вышла въ печати «Замѣтка» Юркевича на ту-же тему. Въ маленькой тетрадкѣ въ 17 страницъ, безъ заглавія на оберткѣ, Юркевичъ зло и ядовито изобличаетъ нравственную нечистоплотность Шульгина въ настоящемъ дѣлѣ, выгораживаетъ Пирогова, именемъ котораго совершенно некстати воспользовался Шульгинъ, и въ немногихъ словахъ объясняетъ развязному профессору на примѣрахъ настоящій смыслъ выраженія «страхъ Божій». О враждѣ противъ того, что есть лучшаго въ новѣйшихъ изобрѣтеніяхъ и учрежденіяхъ, не можетъ быть и рѣчи. Такихъ людей, которые «желтѣютъ отъ разлитія желчи» при видѣ современныхъ улучшеній въ народномъ образованіи, Шульгинъ имѣлъ бы право назвать безчеловѣчными, говоритъ Юркевичъ. Почтенный историкъ сражается съ вымышленными противниками. «Что въ понятіи умственнаго и нравственнаго воспитанія не лежитъ понятіе тѣлеснаго наказанія, это такъ-же очевидно, какъ и то, что въ понятіи гражданскаго общества не заключается понятіе тюрьмы и висѣлицы». Можно говорить только объ эмпирическихъ обстоятельствахъ, неизбѣжно создающихъ это соціальное зло. «Вмѣсто того, чтобы за ухо тянуть мальчика къ книгѣ, которую онъ легко оставляетъ, педагогъ долженъ возбудить въ немъ положительное, дѣйствительное желаніе читать, долженъ вызвать въ немъ потребность чтенія. Вмѣсто того, чтобы за лѣность и воровство наказывать мальчика розгами, онъ долженъ изучить естественныя предрасположенія и наклонности мальчика, долженъ изучить, что интересуетъ его, и тогда уже ему будетъ легко, дѣйствуя на эти живыя силы юной души, родить въ ней стремленіе къ дѣятельности и любовь къ честному труду, чувство стыда, чести и благородства». Но безъ религіознаго элемента воспитаніе не можетъ достигнуть такихъ значительныхъ резуль-

[1]) „Кіевскій Телеграфъ“, 1860, № 8, стр. 32.

татовъ—безъ этого элемента можно дрессировать дѣтей, но нельзя влагать въ нихъ живую душу. Наставленія кіевскаго епископа имѣютъ опредѣленный и твердый смыслъ: «жизнь нуждается въ основахъ и *мотивахъ* болѣе *энергическихъ*, нежели отвлеченныя понятія науки, каковы, напр., достоинство человѣка, человѣчное образованіе и т. п.» [1]).

«Страхъ Божій» епископа Антонія, неожиданная цитата о розгахъ изъ Домостроя въ статейкѣ Шульгина, «энергическіе мотивы» въ благородной замѣткѣ Юркевича—всѣ эти слова перемѣшались, спутались, свалялись въ какой-то безформенный, грязный комъ въ представленіи разношерстной публики, распускающей молву, создающей то, что называется репутаціей въ общественномъ мнѣніи, и дали тотъ матеріалъ, которымъ заинтересованные люди воспользовались въ борьбѣ противъ Юркевича. Въ послѣдующей журнальной полемикѣ объ Юркевичѣ говорили уже, какъ о человѣкѣ, который принципіально защищаетъ розгу. Его замѣткой воспользовался бойкій фельетонистъ-верспфикаторъ, Д. Минаевъ, писавшій тогда въ «Русскомъ Словѣ» статьи подъ названіемъ «Дневникъ темнаго человѣка». Въ октябрьской книгѣ журнала 1861 г. онъ взводитъ на Юркевича прямую клевету, на которую можно было рѣшиться только въ обществѣ, относящемся индифферентно къ грубому литературному лганью на людей, которые не станутъ бороться съ невѣжественными фельетонистами, къ какимъ-бы партіямъ они себя ни причисляли. Съ распущенностью профессіональнаго поставщика различныхъ скандальныхъ слуховъ, Минаевъ на двухъ страницахъ своего фельетона передаетъ возникшую въ Кіевѣ полемику въ самомъ извращенномъ видѣ. Оказывается, что «извѣстный ученый» В. Шульгинъ написалъ «благородную статью», возстающую на устарѣвшіе пріемы воспитанія, а «левъ журнальнаго сезона», П. Юркевичъ, напечаталъ въ «Домашней Бесѣдѣ» Аскоченскаго отвѣтъ на эту статью, въ которой онъ «спѣшитъ доказать, что розга въ педагогическомъ дѣлѣ полезна и совершенно необходима для школы». Юркевичъ, конечно, не заступается прямо за розгу—изъ своего діалектическаго языка онъ изгналъ это слово, но «защита *энергическаго мотива жизни*, т. е. попросту розогъ—статья не совсѣмъ красивая»... «Честь и слава г. Юркевичу, насмѣшливо восклицаетъ Минаевъ, за то, что онъ хоть изъ языка, а не изъ школы выгналъ слово: розга. Чего же теперь бояться дѣтямъ?..» За этой фразой слѣдуетъ стихотвореніе, написанное въ духѣ знаменитой пародіи Конрада Лиліенштвагера противъ Пирогова. Стихотвореніе это, несмотря на всю очевидность распространяемой въ немъ клеветы, произвело надлежащую сенсацію въ обществѣ, какъ бы утвердило и доказало фактъ, компрометирующій Юркевича и извѣстный публикѣ по отголоскамъ про-

[1]) «Замѣтка», стр. 15.

винціальной печати. А черезъ два года этотъ фельетонный болтунъ съ атрофированнымъ нравственнымъ чутьемъ самъ повѣрилъ своей клеветѣ и перепечаталъ свое юмористическое издѣлье въ особомъ изданіи своихъ стихотвореній «Думы и пѣсни» въ слѣдующемъ видѣ:

ДѢТЯМЪ.

Розги необходимы, какъ энергическіе мотивы жизни.

П. Юркевичъ.

Розогъ не бойтеся, дѣти.
Знайте—ученымъ игривымъ
Прутья ужасные эти
Названы *жизни мотивомъ.*
Пусть выростаютъ – березы,
Гибкіе отпрыски ивы,—
Вы, улыбаясь сквозь слезы,
Молвите—это мотивы!
Если-жъ случится вамъ нынѣ
Съ плачемъ снести наказанье—
Что-жъ? и *мотивы* Россини
Будятъ порою рыданья.
Дѣти! отрите же слезы!
Можете строгость снести вы:
Прежде терпѣли-жъ вы лозы,
Такъ и стерпите *мотивы!*.. [1])

Итакъ, Юркевичъ напечаталъ свой отвѣтъ въ дрянномъ, пропитанномъ сквернымъ ханжествомъ изданіи Аскоченскаго, и въ своей замѣткѣ явился защитникомъ розогъ!.. Мы уже знаемъ, что разумѣлъ Юркевичъ подъ энергическими мотивами жизни. Мы уже видѣли, что его талантливая замѣтка, проникнутая гуманною мыслью, была направлена противъ кіевскаго ученаго пустозвона, который вдругъ, безъ всякой цѣли и надобности, наговорилъ много пышныхъ фразъ о воспитаніи, извративъ при этомъ подлинный смыслъ простыхъ и ясныхъ словъ епископа Антонія. Юркевичъ презиралъ не меньше Шульгина старую систему воспитанія, и о розгѣ онъ говоритъ въ своей замѣткѣ съ полнымъ отвращеніемъ. Подобно Пирогову, онъ только глубже заглядываетъ въ существо педагогическаго вопроса и указываетъ на религію, понимаемую въ лучшемъ, широкомъ смыслѣ слова, какъ на настоящее, энергическое средство правильнаго воспитанія. Нужны идеи, имѣющія силу, энергію, двигающія человѣка извнутри — для того, чтобы направить воспитаніе вѣрнымъ и рѣшительнымъ путемъ. При научномъ

[1]) «Русское Слово» 1861, октябрь. Смѣсь, стр. 9.—Думы и пѣсни, стр. 106

методѣ воспитанія идеи высшаго порядка, внесенныя въ молодую душу, должны расшевелить лучшіе инстинкты молодого поколѣнія. Смыслъ словъ Юркевича совершенно ясенъ, и только умышленнымъ извращеніемъ можно объяснить себѣ то, что они явились на страницахъ «Русскаго Слова» въ такомъ почти невѣроятномъ видѣ. Это—во-первыхъ. Во вторыхъ, Юркевичъ никогда не напечаталъ ни единой строки въ «Домашней Бесѣдѣ» Аскоченскаго. Его замѣтка, напечатанная и появившаяся въ Кіевѣ, въ чемъ каждый можетъ убѣдиться по библіографическому фельетону «Кіевскаго Телеграфа» (1860 г. № 16), была *перепечатана* въ «Домашней Бесѣдѣ». Но тамъ-же была перепечатана и шумная статейка Шульгина, которую Минаевъ считаетъ благородною. Аскоченскій перепечатывалъ многихъ писателей и, какъ это указано, между прочимъ, Страховымъ, перепечатывалъ даже Лаврова, но только недобросовѣстный и несерьезный человѣкъ могъ извлечь изъ этого заключеніе, что Шульгинъ, Лавровъ, Пѣвницкій—поборники принциповъ «Домашней Бесѣды», какъ это вздумалось утверждать Минаеву по отношенію къ Юркевичу.

Но по мѣрѣ того, какъ разнуздывалась печать, Юркевичъ усиливалъ свою чисто-научную агитацію противъ матеріализма. Его донимали злобной клеветою, «Искра» трепала его имя на всякіе лады въ стихотворной и прозаической формѣ, а онъ, вѣрный своему характеру и ученому призванію, выдвигалъ противъ своихъ враговъ цѣлыя батареи научныхъ доводовъ въ защиту идеализма. Послѣ статей, служившихъ отвѣтомъ Антоновичу, Юркевичъ задумываетъ рядъ публичныхъ лекцій о различныхъ философскихъ вопросахъ. «Носится слухъ, писалъ Аксаковъ въ февралѣ мѣсяцѣ 1863 г., и какъ кажется, достовѣрный, что профессоръ Юркевичъ откроетъ великимъ постомъ публичный курсъ лекцій, посвященный преимущественно разбору и оцѣнкѣ ученія матеріалистовъ, въ томъ числѣ знаменитаго у насъ на Руси Бюхнера». И дѣйствительно, съ 18-го февраля по 23-е марта Юркевичемъ былъ прочитанъ цѣлый философскій курсъ, въ десяти лекціяхъ, обнимавшихъ важнѣйшіе вопросы психологіи, логики, метафизики. Самая большая изъ аудиторій московскаго университета переполнялась публикою изъ различныхъ слоевъ московскаго общества. Студенты, гимназисты, педагоги, литераторы и ученые стекались на эти чтенія даровитаго профессора. Въ общедоступной формѣ Юркевичъ излагалъ свои мысли предъ этой разнородной публикою и, по свидѣтельству современной печати, каждая его лекція составляла нѣчто цѣльное, законченное, а въ общемъ курсъ производилъ впечатлѣніе всесторонне-развитой системы, продуманной во всѣхъ частяхъ. Въ началѣ своихъ чтеній Юркевичъ обратилъ вниманіе публики на существованіе нѣкоторыхъ общихъ началъ въ разносторонней человѣческой дѣятельности. Кто не признаетъ

въ дѣятельности человѣческой души постояннаго принципа, для того образованіе и прогрессъ представляются не какъ внутреннее усовершенствованіе человѣка, а только какъ извѣстная сумма случайно собранныхъ свѣдѣній. При философіи, отрицающей въ человѣческой душѣ единое духовное начало, множество фактовъ и явленій, въ особенности нравственнаго характера, остается безъ всякаго объясненія, а матеріализмъ, не желающій стать въ противорѣчіе съ фактами, договаривается до того, до чего договорился Бюхнеръ, самый непослѣдовательный изъ матеріалистовъ, допустившій нравственное достоинство въ самой матеріи. Таково было въ общихъ чертахъ содержаніе перваго чтенія Юркевича. Въ остальныхъ чтеніяхъ Юркевичъ занимался по преимуществу психологическими вопросами. Онъ опровергалъ матеріалистическій взглядъ на психическую жизнь и указывалъ на то, что никакія измѣненія физическаго характера не составляютъ сами по себѣ духовныхъ явленій. Если для того, чтобы видѣть и слышать, говорилъ Юркевичъ, мы должны имѣть глаза и уши, то для объясненія *знанія*, даннаго въ этихъ актахъ, мы должны признать въ себѣ самостоятельнаго дѣятеля, для котораго глазъ и ухо служатъ только средствомъ для того, чтобы онъ *самъ* видѣлъ и *самъ* слышалъ. Кромѣ того, мы чувствуемъ единство нашихъ знаній. Въ процессѣ нашего постепеннаго образованія и развитія остается неподвижнымъ сознаніе нашего *я*, наше самосознаніе. Если по ученію матеріалистовъ мы знаемъ вещи потому, что въ мозгу нашемъ отпечатлѣваются ихъ образы, то для самосознанія мозгъ нашъ долженъ былъ-бы имѣть на себѣ самомъ еще свой собственный образъ. Но такой нелѣпости не сказалъ еще ни одинъ матеріалистъ,—замѣчаетъ Юркевичъ. Въ дальнѣйшихъ лекціяхъ онъ читалъ о памяти, о фантазіи, о способности человѣка къ отвлеченнымъ понятіямъ и идеямъ. Разсуждая о сознаніи, лекторъ останавливался на фактахъ безсознательнаго состоянія, изъ которыхъ, по его мнѣнію, слагается наше общее душевное настроеніе. Въ безсознательномъ состояніи, говорилъ Юркевичъ, должно искать начала тѣхъ мыслей, которыя внезапно, какъ молнія, озаряютъ нашу душу. Поэзія, все самородное въ искусствѣ, наши симпатіи и антипатіи основаны на безсознательномъ началѣ. Юркевичъ съ особенной силой распространился о значеніи отвлеченнаго знанія въ исторической жизни человѣчества. На немъ держится, говорилъ онъ, вся цивилизація наша, благодаря ему мы соединяемся въ общества, на немъ основывается наука. Развивая философскія идеи о формахъ познанія, Юркевичъ указалъ на абсурдность, заключающуюся въ увѣреніи Бюхнера, что наши мысли замыкаются опредѣленнымъ пространствомъ и временемъ. Вся шестая лекція была спеціально посвящена философіи и матеріализму. Наконецъ, послѣднія четыре лекціи состояли изъ разсужденій о сердцѣ, чувствованіи, объ эстетическихъ и нравствен-

ныхъ идеяхъ, о волѣ и характерѣ человѣка, о взаимодѣйствіи душевной и тѣлесной жизни, о дѣйствительныхъ и воображаемыхъ силахъ человѣческаго духа [1]).

Юркевичъ едва довелъ свои чтенія до половины, какъ начался рядъ скандаловъ, снова сдѣлавшихъ его героемъ дня и составившихъ послѣднее шумное событіе въ его философской и литературной дѣятельности. Скрытый, задыхающійся отъ безсильнаго бѣшенства протестъ матеріализма противъ идеалистической проповѣди Юркевича прорвался въ одномъ жалкомъ письмѣ, авторъ котораго въ обращеніи своемъ къ Юркевичу не подписался, хотя впослѣдствіи открылъ свое имя. Это былъ нѣкто А. Роговъ. Оставшись недовольнымъ философской аргументаціей Юркевича, онъ въ темныхъ фразахъ, не показывающихъ никакого знакомства съ философскими предметами, изложилъ свои взгляды на Бюхнера и значеніе матеріалистической доктрины. Онъ упрекаетъ Юркевича за «циническое отношеніе» къ представителямъ противоположнаго ему міровоззрѣнія. «Вы слишкомъ вѣрите въ логику, пишетъ Роговъ. Какъ извѣстно, логика лишь *помогаетъ* намъ дѣлать правильные выводы изъ фактовъ. Между тѣмъ вы думаете, что если силой логики опровергли какой-нибудь выводъ, то опровергли и самый фактъ, сдѣлали его негоднымъ» (!). Юркевичъ не умѣетъ обращаться и съ публикой' слушающей его философскія лекціи: онъ смотритъ на нее, какъ на дитя, «угощаетъ ее массой примѣровъ». Честно ли это? вопрошаетъ Роговъ. «Не унижаете-ли вы каѳедру до балаганныхъ подмостокъ? *Послѣ всего этого* позвольте спросить васъ: чѣмъ можете вы оправдать хоть сколько нибудь вашъ циническій отзывъ о матеріалистахъ? Ничѣмъ Если матеріалисты ошибаются, то и вы не свободны отъ ошибокъ. Потому имѣю честь предупредить васъ, милостивый государь: если въ слѣдующихъ лекціяхъ вы не оставите цинизмъ, не будете съ достоинствомъ относиться къ матеріалистамъ, то услышите уже не шиканье, а свистки. Но еще лучше сдѣлаете, если сознаете ваше безсиліе и прекратите лекціи, чѣмъ избавите публику отъ большого заблужденія, а себя отъ обидныхъ подозрѣній [2])»... Вотъ какое письмо получилъ Юркевичъ по прочтеніи пятой публичной лекціи. Угроза свистками, конечно, не подѣйствовала на упорнаго идеалиста, и всю шестую лекцію онъ посвятилъ именно Бюхнеру и его философіи. Доведя до свѣдѣнія публики о полученіи анонимнаго, протестующаго письма, Юркевичъ разсмотрѣлъ всѣ доводы матеріалистовъ подробно, смѣло, съ полною безпощадностью. «Въ этотъ разъ, писалъ корреспондентъ одной московской газеты,—Юркевичъ говорилъ особенно сильно и впечатли-

[1]) «Московскія Вѣдомости», 1863, № 58.

[2]) «Очерки», 1863, № 93.

тельно, и аудиторія была потрясена оглушительными рукоплесканіями. Нашего слуха коснулись также и слабыя попытки шикнуть — не состоявшійся протестъ нашихъ курьезныхъ фанатиковъ Бюхнеристовъ [1])»... Такъ засвистѣла новая буря, захватившая множество газетъ и журналовъ.

Первымъ выступилъ Михаилъ Лонгиновъ. Въ открытомъ письмѣ къ редактору «Московскихъ Вѣдомостей» онъ въ рѣзкихъ выраженіяхъ возмущается противъ автора анонимнаго посланья, который рѣшился угрозами насиловать чужое убѣжденіе, заставить молчать противника. Поборники матеріализма не могутъ оправдываться тѣмъ, что имъ не дозволено открытое изложеніе ихъ ученія. Уже нѣсколько лѣтъ, какъ они безпрепятственно проводятъ въ общество свои мысли. Какъ-же могли они рѣшиться угрожать Юркевичу за то, что онъ выступилъ съ свободной критикой ихъ взглядовъ? «Вотъ они, восклицаетъ Лонгиновъ, провозвѣстники свободы sui generis, вотъ они друзья человѣчества, хотящіе устроить судьбу его» [2]). Какъ и слѣдовало ожидать, полемическій выстрѣлъ Лонгинова не остался безъ отвѣта. Когда надо запутать какое-нибудь дѣло, очернить какого-нибудь человѣка во что-бы то ни стало, всегда найдутся «достовѣрные свидѣтели», готовые послужить своимъ именемъ заинтересованнымъ людямъ — даже съ нѣкоторой горячностью, съ расторопностью исполнительныхъ лакеевъ. Дѣло было совершенно ясно. Роговъ написалъ Юркевичу грубое, безсмысленное письмо съ угрозами, которыя должны были охладить горячую критику лектора, направленную противъ матеріалистовъ. Юркевичъ отнесся къ письму съ иронической улыбкой и, доложивъ о немъ собравшейся публикѣ на лекціи 9 марта, тутъ-же приступилъ къ подробному анализу матеріалистическаго ученія на тѣхъ образцахъ, которые были болѣе всего извѣстны тогда русской публикѣ. Въ протестѣ Лонгинова, за исключеніемъ нѣкоторыхъ партійныхъ словъ и фразъ, все имѣетъ свою законную причину. Угроза свистками такому человѣку, какъ Юркевичъ, человѣку, выступавшему во всеоружіи научнаго и философскаго образованія, не могла не производить отвратительнаго впечатлѣнія. Въ письмѣ Рогова нѣтъ ни одного толковаго, серьезнаго слова, съ которымъ долженъ былъ-бы считаться лекторъ, какъ съ отголоскомъ болѣе или менѣе важныхъ критическихъ недоразумѣній. Типичное для того общества, изъ котораго оно исходило, оно могло внушить Юркевичу только мысль о необходимости еще подробнѣе, еще популярнѣе разобраться въ вопросѣ, съ которымъ онъ уже встрѣчался въ своихъ статьяхъ о Чернышевскомъ и Антоновичѣ. Рогову смѣлая и искренняя критика Юркевича показалась грубою и «циничною» по отношенію къ Бюхнеру, но не подлежитъ сомнѣнію, что рѣзкія сужденія лектора о

[1]) «Московскія Вѣдомости», № 56.

[2]) Ibid. № 58.

матеріалистической философіи, какимъ-бы ядомъ они ни были проникнуты, были обставлены серьезными доказательствами, шли прямою дорогою тонкаго научнаго анализа къ настоящей теоретической правдѣ. Въ современномъ ему обществѣ Юркевичъ не имѣлъ соперника по вопросамъ философскаго знанія. Ему достаточно было пустить въ ходъ свою острую логику, чтобы, при талантѣ простого и яснаго изложенія, вызвать въ слушателяхъ извѣстное отношеніе къ своимъ собственнымъ идеямъ. Конечно, онъ такъ и поступилъ. Но въ полемической борьбѣ литературныхъ кружковъ на первомъ планѣ стоитъ не правда, а побѣда. Юркевича, сильнаго на поприщѣ философіи, надо было во что-бы то ни стало вытащить на другую дорогу, и тамъ шумно оскандалить его первой попавшейся клеветою, которой публика должна повѣрить безъ всякой критики, злорадствомъ шиканьемъ газетныхъ репортеровъ, которыхъ нельзя призвать ни къ какой серьезной отвѣтственности. Такъ оно и случилось. На письмо Лонгинова послѣдовалъ отвѣтъ, подписанный иниціалами М. С. и напечатанный въ ежедневной петербургской газетѣ «Очерки», выходившей подъ фактической редакціей Г. З. Елисѣева. Неизвѣстный корреспондентъ былъ на публичной лекціи 9 марта, слышалъ содержаніе письма, сообщенное Юркевичемъ, но пришелъ къ совершенно иному убѣжденію, чѣмъ Лонгиновъ. Взойдя на каѳедру, Юркевичъ, говоритъ корреспондентъ, объявилъ слушателямъ, что въ настоящую лекцію онъ хотѣлъ было говорить о чувствахъ, но что на дняхъ онъ получилъ *нѣсколько* анонимныхъ писемъ, которыя заставляютъ его уклониться отъ предположенной темы. Потомъ, вынувъ одно письмо, Юркевичъ прочиталъ изъ него отрывокъ. Окончивъ чтеніе, профессоръ заявилъ, что находитъ въ письмѣ очень основательныя возраженія, съ которыми ему слѣдуетъ считаться, а затѣмъ, свернувъ прочитанное письмо и кладя его въ карманъ, онъ съ улыбкой прибавилъ, обращаясь къ публикѣ: «а изъ письма этого я въ правѣ сдѣлать такое употребленіе, какое найду пригоднымъ». Эта грязная плоскость, сказанная въ присутствіи почти полной аудиторіи, въ которой находилось болѣе одной трети дамъ и дѣвицъ, къ удивленію, вызвала *одобреніе:* посыпались аплодисменты со всѣхъ сторонъ—и, увы! восклицаетъ корреспондентъ, мы не можемъ скрыть, что въ числѣ аплодировавшихъ самымъ усерднымъ образомъ мы видѣли даже редактора одной изъ почтенныхъ московскихъ газетъ. Въ заключеніе авторъ старается умалить тотъ интересъ, который вызвали публичныя лекціи въ Москвѣ: по его словамъ, аудиторія Юркевича наполняется только изъ моды—особенно дамами, которыя въ иное время способны только таскаться по магазинамъ [1]).

[1]) «Очерки», 1863, № 76.

Характеръ самого письма заставляетъ съ первыхъ-же строкъ усомниться не только въ безпристрастіи автора, но и въ его правдивости. Тонъ обличаетъ какое-то раздраженіе, фактическія показанія—сбивчивы и противорѣчивы. Юркевичъ получилъ только одно письмо. Письмо это не могло никоимъ образомъ показаться ему «основательнымъ». Наконецъ, единодушное одобреніе аудиторіи, о которомъ сообщаетъ корреспондентъ, доказываетъ, что Юркевичъ не сказалъ и не могъ сказать никакой «грязной плоскости». Слишкомъ очевидно, что публика, посѣщающая систематическій курсъ философскихъ лекцій, сумѣла-бы оцѣнить по достоинству ту двусмысленность, которую усмотрѣло въ заявленіи Юркевича сомнительно настроенное воображеніе сотрудника «Очерковъ». Сквозь лживую путаницу этого газетнаго сообщенія для безпристрастнаго читателя старыхъ газетъ просвѣчиваетъ совершенно опредѣленная благородная правда. Юркевичъ держалъ себя съ бодростью убѣжденнаго и умнаго человѣка. Онъ не побоялся подѣлиться съ публикою содержаніемъ полученнаго имъ письма, оправдывая свою нескромность по отношенію къ автору его анонимностью. По привычкѣ опытнаго педагога гуманно относиться къ чужому недомыслію, онъ пожелалъ воспользоваться этимъ случаемъ для болѣе пространныхъ и отчетливыхъ объясненій на важную философскую тему. Однимъ словомъ,—онъ былъ на высотѣ своего положенія. Его манера трактовать чужія убѣжденія, спокойствіе его духа, увѣренность, галантная форма объясненій при совершенной, почти разговорной, простотѣ выраженій—все это не могло не произвести на публику самаго благопріятнаго впечатлѣнія. Человѣкъ таланта и такта, Юркевичъ зналъ, какими средствами можно было защищать свои убѣжденія. Вотъ почему аудиторія аплодировала въ отвѣтъ на сдѣланное имъ заявленіе, что онъ вправѣ воспользоваться полученнымъ имъ анонимнымъ письмомъ согласно тому, какъ онъ найдетъ полезнымъ. Въ этомъ, и только въ этомъ, объясненіе его поведенія, которое показалось корреспонденту «чистымъ безобразіемъ»...

Это совершенно естественное толкованіе поведенія Юркевича вполнѣ подтверждается другимъ заявленіемъ о томъ-же предметѣ, напечатаннымъ въ «Современной Лѣтописи». Въ двухъ статейкахъ, появившихся въ этой газетѣ, лицо, подписавшееся И. Захарьинъ, категорически опровергаетъ сообщеніе, сдѣланное въ «Очеркахъ». Захарьинъ приводитъ точныя слова Юркевича по поводу анонимнаго письма, которыми профессоръ, по его словамъ, оправдывалъ себя въ томъ, что прочиталъ его передъ публикою: «Анонимное письмо, сказалъ Юркевичъ, не имѣетъ никакихъ правъ, потому я и *воспользовался* имъ, какъ счелъ пригоднымъ». Далѣе, Юркевичъ не говорилъ, что онъ получилъ *нѣсколько* анонимныхъ писемъ и никогда не находилъ основательными возраженія анонимнаго противника. «Профессоръ, какъ намъ кажется, пишетъ Захарьинъ, воз-

ражалъ на письмо не потому, чтобы признавалъ возраженія анонима очень основательными, но единственно изъ желанія объяснить автору анонимнаго письма его недоразумѣнія». Захарьинъ считаетъ всю корреспонденцію «Очерковъ» клеветою на Юркевича: «ругать направо, ругать налѣво, плевать и клеветать на все, на что только позволяютъ— вотъ способъ въ настоящее время легкій для достиженія извѣстнаго успѣха и популярности». Несмотря на то, что М. С. возражалъ Захарьину на страницахъ «Современнаго Слова», несмотря на комическій подвохъ, устроенный послѣ этого Захарьину въ «Искрѣ», указанія Захарьина надо считать правдивыми и вѣроятными. Его описаніе соотвѣтствуетъ примитивной логикѣ вещей. Юркевичъ выступаетъ въ немъ такимъ, какимъ онъ былъ, оно не стоитъ въ противорѣчіи съ шумнымъ одобреніемъ интеллигентной аудиторіи. Хотя Роговъ, какъ это видно изъ заключительныхъ словъ его письма, обнародованнаго имъ самимъ въ «Очеркахъ» послѣ благопріятнаго для него заявленія М. С., предоставилъ Юркевичу огласить его возраженіе, лекторъ не могъ не объясниться передъ аудиторіей, рѣшаясь, со свойственною ему учтивостью и увѣренностью въ собственныхъ силахъ, дать ходъ мнѣніямъ человѣка изъ толпы. Слова, приводимыя Захарьинымъ, точно передаютъ настроеніе Юркевича, тогда какъ возраженіе М. С. на сдѣланное Захарьинымъ разоблаченіе звучитъ грубо, пошло, противорѣчиво, а въ послѣднихъ строкахъ— лживо и нагло. М. С. хочетъ увѣрить своихъ читателей, что лекціи Юркевича не произвели «и сотой доли» того дѣйствія, о которомъ сообщалось въ газетахъ. Юркевичу—«автору извѣстныхъ мотивовъ, пишетъ онъ въ заключеніе, посовѣтуемъ прежде всего заняться изученіемъ естественныхъ наукъ, а въ особенности анатоміей съ физіологіей, а потомъ уже, если достанетъ смѣлости, выступить передъ публикой со своими опроверженіями ученія новѣйшихъ матеріалистовъ» [1]).

Такова фактическая сторона скандала, устроеннаго Юркевичу человѣкомъ изъ публики и органами либеральной печати того времени. Научное содержаніе его лекцій осталось, конечно, безъ оцѣнки. Предпринятый имъ философскій курсъ даже не сдѣлался предметомъ болѣе или менѣе пространнаго изложенія для тѣхъ, которые не имѣли возможности присутствовать на его чтеніяхъ. Надо было перекричать этого человѣка—и только. Споръ на философской почвѣ былъ невозможенъ, и мы уже видѣли, какъ Чернышевскій и Антоновичъ полемизировали съ Юркевичемъ и какъ Юркевичъ возражалъ этимъ дѣятелямъ «Современника». Надо было заглушить его слова свистомъ газетъ и журналовъ, совершенно вынувъ вопросъ о научной сторонѣ предмета. Скандалъ разгорѣлся, далъ пищу низменнымъ толкамъ полуинтеллигентныхъ массъ, имя Юркевича

[1]) «Современное Слово», 1863, № 91.

закружилось въ вихрѣ скверныхъ намековъ, лживыхъ и пристрастныхъ показаній, грязная клевета съ кривотолкомъ *энергическихъ мотивовъ* расплескалась во всѣ стороны. Въ этомъ «хаосѣ балаганныхъ фантомовъ» выдѣлился одинъ только звучный голосъ Ивана Аксакова, обращенный къ молодому поколѣнію. Матеріализмъ, пишетъ онъ, явился случайною формою во многихъ отношеніяхъ вполнѣ законнаго отрицанія тѣхъ сторонъ жизни, которыми окружено наше общественное, политическое и духовное развитіе. Только непослѣдовательность матеріалистовъ—благородная неспособность человѣческой природы выдержать строгую *консервативность* этого ученія—удерживаетъ въ рядахъ этой школы столько молодыхъ и, вѣроятно, по большей части чистыхъ и благородныхъ душъ. Матеріализмъ представляетъ настоящую опасность для общественной свободы, ибо свобода есть понятіе совершенно духовное, которое зиждется на полномъ уваженіи къ человѣческой личности и на признаніи за нею нравственнаго права на независимость духовнаго личнаго развитія. «Деспотизмъ! восклицаетъ Аксаковъ, кому не ненавистно это слово? Кто изъ деспотовъ не старается снять съ себя упрекъ въ деспотизмѣ?»... Обращаясь къ факту скандала, устроеннаго Юркевичу, Аксаковъ возмущается деспотической замашкой стѣснять чужія убѣжденія, замашкой, которая такъ не идетъ къ лицу молодого поколѣнія. Все наше горе состоитъ именно въ преобладаніи у насъ, въ общественной жизни, элемента внѣшняго принужденія, и вотъ молодое поколѣніе является поборникомъ этого-же самаго принудительнаго принципа,—принципа грубой силы, только въ другой формѣ [1]).

Но въ то самое время, какъ Аксаковъ въ простыхъ, можетъ быть даже простодушныхъ, но правдивыхъ словахъ указывалъ на консервативность матеріалистическаго ученія по существу, «Современное Слово», съ увѣренностью наивнаго невѣжества, вырисовывало въ поученіе Юркевичу, въ почти комическихъ выраженіяхъ, великія достоинства матеріалистической философіи. Юркевичъ толчетъ воду въ Москвѣ, писало «Современное Слово». «Борьба съ матеріализмомъ! Что за отважный человѣкъ долженъ быть г. Юркевичъ! Не лучше-ли приняться за разрѣшеніе квадратуры круга или дѣленія угла на три части! Вѣдь это то же самое, что желаніе побороть матеріализмъ». Ратовать противъ матеріалистовъ—значитъ ратовать противъ химіи, физики, анатоміи, математики и вообще противъ цивилизаціи и прогресса. Враги матеріализма всегда были инквизиторами, мучителями человѣчества, гонителями просвѣщенія! Кто, если не они, сожигалъ мыслителей и истреблялъ памятники искусства и литературы? Въ то время, когда матеріалисты совѣтуютъ обращаться съ

[1]) «День» 1863, № 11.

дѣтьми гуманно, учить наглядно, Юркевичъ проповѣдуетъ *розги*, долбленіе и осмѣиваетъ наглядное обученіе [1])...

Опять «розга» и кромѣ того еще новое обвиненіе—въ «циническомъ» отношеніи къ своимъ противникамъ, въ «грязной плоскости» передъ лицомъ просвѣщенной аудиторіи! Лживыя обвиненія перекликаются съ разныхъ сторонъ, а три органа передовой мысли того времени: «Русское Слово», «Искра» и «Современникъ»—торжествуютъ славную побѣду надъ ученымъ философомъ.

Родоначальникъ клеветы на тему о розгѣ, «Темный человѣкъ» изъ «Русскаго Слова», обличительный поэтъ Д. Минаевъ, при первомъ извѣстіи о предстоящихъ лекціяхъ Юркевича, хватается за свою сатирическую плеть. Профессоръ отъ розогъ и философіи обѣщаетъ московской публикѣ открыть свои великолѣпныя лекціи, на которыхъ воспослѣдуетъ смерть Бюхнера, оповѣщаетъ онъ. Повторивъ затрепанное лганье петербургскихъ газетъ, Минаевъ—подобно опереточной пѣвицѣ, которая, поломавшись въ прозаическомъ діалогѣ, вдругъ подбѣгаетъ къ рампѣ, чтобы угодить публикѣ пикантнымъ куплетомъ—съ вульгарнымъ смѣхомъ переходитъ на стихи, представляющіе московскій скандалъ съ водевильной игривостью [2]).

Развеселая компанія редакторовъ и сотрудниковъ «Искры», въ размалеванныхъ маскахъ и разноцвѣтныхъ костюмахъ арлекиновъ, приплясывая вокругъ Юркевича легкій канканъ, мальчишески строила ему носы, показывала языки, кричала вслѣдъ ему побѣдное ку-ку-ре-ку Раскаты дурацкаго смѣха раздавались со всѣхъ сторонъ. Плоскія пантомимы, дерзкія шалости, двусмысленныя игры, грязныя шутки...

Mesdames, messieurs, мнѣ очень жаль —
Я для поморнаго бонтона
Уже хотѣлъ раскрыть скрижаль
Ученья о любви Платона.
Уже я духомъ нищимъ росъ,
Ливанскому подобясь кедру,
Гордясь, что мнѣ читать пришлось
Его божественную «Федру».
Я полагалъ, пришла пора
Экспериментовъ въ новомъ родѣ,
Передъ которымъ мишура —
Юркевичъ, Галюше и Роде.
Какъ вдругъ... какъ вдругъ... messieurs, mesdames.
Я въ грязь упалъ изъ царства славы.

Такъ начинаетъ свою лекцію философъ Шуръ-Юра среди «поморной публики», состоявшей исключительно изъ полуторастолѣтнихъ старцевъ

[1]) «Современное Слово», 1863 г., № 60, 71.

[2]) «Русское Слово», 1863, «Дневникъ темнаго человѣка», мартъ.

и четырехлѣтнихъ дѣвочекъ. Шуръ-Юра, «платоникъ волею судьбы» говоритъ вульгарныя глупости, дѣлаетъ циническія признанія. Публика аплодируетъ ему... Въ заключеніе Шуръ-Юра разражается слѣдующимъ куплетомъ:

А вы, ученые друзья,
Когда софизмы ваши плохи
Открыто дѣйствуйте, какъ я:
Снимайте маски, скоморохи!
Ударь себя по колпаку,
Чтобъ, понимаешь, зазвенѣло!
Вскакни на столъ и крикни смѣло
Ку-ку-ре-ку! Ку-ку-ре-ку! [1]).

Шуръ-Юра — это, конечно, Юркевичъ. Такъ трактовались событія дня въ лучшемъ сатирическомъ журналѣ того времени, ставившемъ себѣ серьезныя общественныя задачи, но разрѣшавшемъ ихъ не лучше и не хуже нашихъ современныхъ «Будильниковъ», «Шутовъ», «Развлеченій».

Серьезный ратоборческій «Современникъ» въ своей травлѣ на Юркевича ушелъ недалеко отъ «Искры». Въ двухъ «Внутреннихъ обозрѣніяхъ» своихъ онъ разсказываетъ скандалъ со всѣми уже извѣстными намъ лживыми подробностями со словъ опровергнутой замѣтки М. С. и читаетъ Юркевичу назиданіе о необходимости уважительнаго отношенія къ своимъ оппонентамъ. Но не чувствуя себя достаточно сильными по отношенію къ Юркевичу на серьезной почвѣ, сотрудники «Современника» сталкиваютъ его въ отдѣлъ фельетоннаго издѣвательства и юмористическихъ бичеваній. А тутъ — тоже неизобрѣтательное, но вызывающее кривлянье въ прозаической и стихотворной формѣ.

Ахъ, я грѣшникъ окаянный!
Я себя въ восторгѣ чистомъ,
До сегодняшняго полдня,
Называлъ матеріалистомъ.
Наводилъ на дамъ московскихъ
Больше, чѣмъ всѣ черти, страха,
Проповѣдуя идеи
Молешотта, Фейербаха!
Но ко мнѣ внезапно въ душу
Благодать сошла Господня:
Мнѣ Юркевичъ многоумный
Свѣтъ ея открылъ сегодня [2]).

---

[1]) «Искра» 1863 г., № 14.

[2]) «Современникъ» 1863 г., № 4, «Свистокъ».

IV.

Юркевича затоптали въ грязь. Со времени московскихъ скандаловъ дѣятельность его теряетъ свой шумный характеръ, сокращается въ объемѣ, хотя вовсе не суживается въ своемъ научномъ и философскомъ содержаніи. Онъ продолжаетъ трудиться въ качествѣ лектора по философіи и педагогикѣ, изрѣдка выступаетъ и съ журнальными статьями, но во всемъ, что онъ пишетъ и дѣлаетъ съ указаннаго момента, чувствуется нѣкоторое разочарованіе и даже озлобленіе. Только однажды его громадному таланту удалось прорваться въ великолѣпной актовой рѣчи на трудную, отвлеченную тему. Напечатанная затѣмъ въ качествѣ статьи въ «Московскихъ университетскихъ извѣстіяхъ» подъ названіемъ: «Разумъ по ученію Платона и опытъ по ученію Канта», она произвела сильное впечатлѣніе на знатоковъ философія, но въ литературу, въ ту литературу, которая широко разноситъ новыя и свѣжія идеи, которая кладетъ свою печать на жизнь, она уже не прошла. Что-то надорвалось въ душѣ Юркевича. Въ его природномъ тонкомъ юморѣ зазвучали ноты острой горечи. Онъ полемизируетъ съ нѣкоторой запальчивостью и, какъ бы заразившись общимъ духомъ, теряетъ уваженіе къ своимъ противникамъ. Въ его деликатномъ лексиконѣ появляются бранныя слова, обидныя выраженія и фразы. Ему трудно сдерживать свой гнѣвъ. Его мучительно волнуетъ зрѣлище этой бурно кипящей жизни, въ которой свѣтлыя, чистыя идеи, захватывающія наиболѣе глубокія стремленія человѣчества, прокладывающія пути къ лучшей дѣйствительности, оказываются грубо осмѣянными и отброшенными, какъ ненужныя, какъ вредныя. Онъ окончательно уходитъ въ дѣятельность кабинетнаго ученаго, а когда какая-нибудь случайность вызоветъ его на широкую улицу общественныхъ интересовъ, онъ идетъ по ней, какъ человѣкъ больной, съ надтреснутыми нервами, не вполнѣ владѣя собою въ критическія минуты встрѣчи съ противниками.

Такимъ именно было его столкновеніе со Спасовичемъ. Его пространная рецензія въ трехъ №№ «Современной Лѣтописи», направленная противъ «Учебника уголовнаго права» молодого и уже тогда выдающагося юриста, несмотря на обычную силу нѣкоторыхъ критическихъ возраженій и тонкость философскаго пониманія предмета, производитъ тягостное впечатлѣніе своими черезчуръ рѣзкими фразами и словами, унижающими ученое достоинство ея внутренняго содержанія. Юркевичъ бичуетъ Спасовича въ тонѣ, который мало подходилъ для полемики съ такимъ талантливымъ, полнымъ кипучихъ умственныхъ силъ противникомъ. Нельзя было не видѣть, что перомъ Спасовича водила страсть блестящаго оратора на гражданскія темы. Въ его теоріяхъ, какъ онѣ вылились въ первые годы его общественный карьеры, нельзя было усмотрѣть никакой

нарочитой фальши и партійной готовности потакать самолюбію интеллигентныхъ массъ. Не надо было обладать умомъ Юркевича, чтобы выдѣлить этого человѣка съ яркимъ темпераментомъ политическаго борца, рожденнаго для увлекательныхъ состязаній на общественной аренѣ, — изъ толпы заурядныхъ ученыхъ, искусственно примащивающихся къ либеральной журналистикѣ. Если даже его отдѣльные взгляды по философскимъ вопросамъ спорны, если методъ его изслѣдованія и построеній съ теоретической стороны нѣсколько туманенъ и неопредѣленъ, Юркевичъ долженъ былъ сумѣть открыть въ его сочиненіи широкую, гуманную тенденцію, высказанную съ необычнымъ для университетской среды литературнымъ талантомъ. Громить Спасовича за легковѣсный либерализмъ, ловить его тонкимъ діалектическимъ умомъ на метафизическихъ и логическихъ ошибкахъ и психологическихъ несообразностяхъ, это значило не видѣть его духовнаго существа, его типичной, сильной нравственной фигуры. Юркевичъ промахнулся на этотъ разъ, хотя, повторяемъ, въ его рецензіи есть обширная логика и рядъ возраженій, на которыя его противникъ философскаго отвѣта не далъ. Критическое чутье Юркевича было расшатано пережитыми бурями, неожиданно налетѣвшими на него изъ той самой среды, которая грубо и безтактно отвергла его силу, но охотно приняла Спасовича.

Спасовичъ не оставилъ безъ отвѣта нападокъ Юркевича. И этотъ отвѣтъ благородно-пылкаго человѣка показываетъ только, до какой степени ложь, пущенная «Русскимъ Словомъ» и подхваченная враждебными журналами и газетами, широко разлилась во всѣхъ слояхъ общества. Никому даже не приходило въ голову провѣрить слухъ, которому противорѣчило все, что дѣлалъ Юркевичъ въ печати, на глазахъ всей Россіи. Клевета, сочиненная посредственнымъ стихотворцемъ, незамѣтно вкралась въ умы лучшихъ людей. Юркевичъ стоитъ за розгу — это стало общензвѣстнымъ фактомъ! Юркевичъ сотрудничаетъ въ «Домашней Бесѣдѣ» Аскоченскаго — это сдѣлалось сильнымъ аргументомъ противъ идеалистической философіи! Молодой поборникъ юридической и нравственной справедливости, какъ-бы не допуская мысли, что люди, несущіе либеральное знамя, способны такъ раздваиваться въ своей дѣятельности, способны преслѣдовать свои цѣли, не брезгая никакими средствами, бьетъ Юркевича чужими ложными обвиненіями, увѣренно бросаетъ ему въ лицо упреки за солидарность съ темной реакціонной силой, съ которой Юркевичъ никогда не могъ имѣть ничего общаго. Такъ полемизировать съ Юркевичемъ можно было только по трагической ошибкѣ—увы! не исправленной Спасовичемъ до сихъ поръ, хотя на эту фактическую ошибку ему уже указывалъ Страховъ.

А «Современникъ», уже обезсиленный въ это время потерею Чернышевскаго, мелочно злорадствуетъ надъ Юркевичемъ и, придираясь ко

всякому случаю, нещадно терзаетъ его имя. Отмѣчая его рецензію на учебникъ Спасовича, онъ клеймитъ его грубыми, компрометирующими выраженіями. Юркевичъ не пренебрегаетъ средствами, «отъ которыхъ краснѣетъ каждая порядочная литература», пишетъ «Современникъ». Юркевичъ дѣлаетъ ученическія возраженія, превратно толкуетъ мѣста, совершенно ясныя по смыслу. Онъ не понимаетъ истинъ, всѣмъ извѣстныхъ. Грубо коверкая мысль Юркевича въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ онъ на минуту сходится съ своимъ противникомъ, гдѣ онъ улавливаетъ въ немъ самомъ живое религіозное чувство, выразившееся въ понятіи справедливости, какъ неминуемаго закона природы, «Современникъ» усматриваетъ какое-то «шутовство» и «забавно-циническій юморизмъ» въ тѣхъ фразахъ Юркевича, которыя проникнуты искреннимъ паѳосомъ. Журналъ находитъ въ его рецензіи однѣ только недобросовѣстныя подтасовки, двусмысленныя, неприличныя инсинуаціи и, наконецъ, балаганное остроуміе, хотя въ дѣйствительности она, несмотря на отдѣльныя рѣзкія фразы, написана, какъ мы уже сказали, съ настоящимъ талантомъ, въ глубоко-серьезномъ, болѣзненно-негодующемъ настроеніи.

Но умственная дѣятельность Юркевича въ другихъ направленіяхъ не ослабѣвала, а усиливалась. Рядъ педагогическихъ статей, требующихъ и заслуживающихъ особой спеціальной оцѣнки, отдѣльныя философскія замѣтки на текущія темы, какъ напр. статья его «По поводу диспута проф. Струве» — все это доказываетъ съ фактическою очевидностью, что Юркевичъ до послѣднихъ дней своей жизни продолжалъ относиться къ предмету своей спеціальности съ полной энергіей неисчерпанныхъ ученыхъ и литературныхъ силъ. Въ его педагогическихъ работахъ виденъ все тотъ же тонкій мыслитель, умѣющій вникать въ живую психологію молодыхъ, подростающихъ поколѣній. Въ его критическихъ замѣчаніяхъ по поводу чужихъ педагогическихъ теорій и взглядовъ вырисовывается умъ послѣдовательный, ясный, вѣрный своимъ основнымъ философскимъ убѣжденіямъ. Но истиннымъ вкладомъ въ теоретическую литературу за этотъ періодъ его ученой и профессорской дѣятельности мы считаемъ вышеупомянутую замѣчательную рѣчь его, произнесенную въ торжественномъ собраніи московскаго университета 12 января 1866 г. Въ ней Юркевичъ подробно развиваетъ мысль, блеснувшую уже въ первыхъ философскихъ статьяхъ его. Онъ проводитъ параллель между системою Платона и системою Канта и, желая воздвигнуть философскій идеализмъ на новыхъ началахъ, дѣлаетъ существенныя возраженія на нѣкоторыя части кантовскаго ученія. Это — борьба съ субъективизмомъ во имя платонической точки зрѣнія на міръ, какъ на дѣйствительное отраженіе высшихъ, сверхчувственныхъ силъ. Доводы Юркевича направлены въ глубину предмета. Два типа идеалистическаго мышленія очерчены съ

поразительною научною крѣпостью. Въ отдаленіи строго-философской перспективы рельефно рисуется религіозная цѣль, къ которой глубокій умъ Юркевича хотѣлъ-бы подойти путемъ твердыхъ и достовѣрныхъ научныхъ силлогизмовъ. Въ сжатыхъ выраженіяхъ онъ передаетъ намъ ростъ философской мысли отъ Платона до Канта въ существенномъ вопросѣ объ истинно-реальномъ началѣ жизни. Ученіе Платона о разумѣ, говоритъ онъ, какъ объ истинѣ общей и первобытной, объ истинѣ, которой причастна каждая наука, господствовало съ замѣчательнымъ постоянствомъ вплоть до Канта. Всѣ видоизмѣненія, какія оно испытывало въ теченіе вѣковъ, не могли тронуть его ядра, его глубокаго убѣжденія, что чистый разумъ обладаетъ истиною и что наука можетъ считаться наукой только въ той мѣрѣ, въ какой она исполняетъ требованія, содержащіяся въ чистомъ разумѣ. Лейбницъ далъ послѣднее, но и самое блестящее развитіе этой мысли Платона о первоначальной истинѣ, которою мы владѣемъ, какъ существа разумныя. Въ теченіе многихъ столѣтій идея Платона, такъ сказать, практически удостовѣрялась стремленіемъ всѣхъ наукъ найти объединяющій принципъ, совершать свои завоеванія въ различныхъ сферахъ изслѣдованія подъ общимъ знаменемъ чистаго разума. Но умственное направленіе новѣйшаго времени, говоритъ Юркевичъ, особенно глубоко характеризуется тѣмъ, что его философія начала свое развитіе не признаніемъ истины чистаго разума, но *критикой чистаго разума*. Юркевичъ хотѣлъ-бы примирить ученіе Платона съ ученіемъ Канта въ этомъ важномъ философскомъ пунктѣ. Онъ хотѣлъ-бы перенести центръ тяжести идеалистической критики въ область чистаго сознанія, чистаго разума, которому открыты дѣйствительные, реальные предметы. По мнѣнію Юркевича, Кантъ не обратилъ вниманія на то, что законы познавательнаго процесса не суть законы субъективные, «какъ законы движенія, свѣта и массъ не суть законы свѣтлые и массивные»...

Эту статью отмѣтилъ въ печати, кажется, одинъ только Страховъ въ небольшой замѣткѣ: «Главная черта мышленія», напечатанной въ «Отечественныхъ Запискахъ». Критикъ просто и внушительно заступается за субъективный принципъ кантовской философіи—въ доводахъ, проникнутыхъ тонкимъ знаніемъ предмета и выраженныхъ со всѣмъ возможнымъ въ данномъ случаѣ литературнымъ изяществомъ. Статья Юркевича, повидимому, произвела на Страхова сильное впечатлѣніе, но его собственное философское убѣжденіе, несклонное отступить отъ такой авторитетной твердыни, каковъ Кантъ, нисколько не поколебалось отъ рѣшительныхъ взмаховъ критики Юркевича. Въ обѣихъ статьяхъ есть крупныя положительныя достоинства, и въ журналистикѣ 1865—1866 гг. онѣ выдѣляются своею горделивою отчужденностью отъ общаго реалистическаго теченія [1]).

[1]) И. Н. Захарьинъ, не потерявшій до сихъ поръ живого интереса къ покойному

Такъ прошла вся жизнь Юркевича — полная живыхъ интересовъ, труда и борьбы.

Юркевичъ умеръ послѣ продолжительной и мучительной болѣзни 4-го октября 1874 г., сорока семи лѣтъ отъ роду. Въ газетахъ появились небольшіе сухіе некрологи. Въ «Голосѣ» было сказано, что онъ, какъ профессоръ философіи, сдѣлалъ очень мало для своихъ слушателей, на которыхъ онъ не имѣлъ никакого вліянія. Въ нѣсколькихъ духовныхъ и свѣтскихъ изданіяхъ появились сочувственные замѣтки, безсильныя произвести на общество какое-либо впечатлѣніе. Въ отчетѣ Московскаго университета за 1875 г. напечатанъ былъ офиціальный некрологъ. Ничего особеннаго не случилось: умеръ ученый — одинъ изъ толпы ординарныхъ спеціалистовъ, приставленныхъ къ университетскому преподаванію. Только три небольшихъ воспоминанія, напечатанныхъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Гражданинѣ», редакціи В. Пуцыковича, проникнуты истиннымъ сочувствіемъ къ покойному профессору. Бывшіе ученики Юркевича, въ простыхъ, но трогательныхъ выраженіяхъ описываютъ его нравственную личность, его кроткое, терпѣливое обращеніе съ слушателями, нѣжность его души. За немногими исключеніями, студенты, какъ мы уже сказали, не были подготовлены къ слушанію его лекцій. Его осаждали наивно задорными замѣчаніями и возраженіями въ аудиторіи и внѣ аудиторіи, въ промежуткахъ между

Юркевичу, по печатаніи настоящей статьи въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ", прислалъ намъ письмо, въ которомъ онъ сообщаетъ, между прочимъ, слѣдующее: „Говоря о послѣднихъ успѣхахъ Юркевича, вы прошли молчаніемъ его замѣчательную рѣчь, читанную въ публичномъ засѣданіи Московскаго университета, въ апрѣлѣ 1864 года, по поводу чествованія 300-лѣтія со дня рожденія Шекспира. Я присутствовалъ на этомъ чествованіи и хорошо помню то сильное и глубокое впечатлѣніе, которое произвела на многочисленную публику рѣчь Юркевича, говорившаго первымъ (вторымъ говорилъ покойный-же Н. С. Тихонравовъ)". [*Ставрочоль-Кавказскій, 1894 года, ноября 22*]. Заинтересовавшись любезнымъ сообщеніемъ И. Н. Захарьина, мы навели подробныя справки въ старыхъ журналахъ и газетахъ, но рѣчи Юркевича нигдѣ не нашли. О ней ничего не говорится ни въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" 1864 г., ни въ „Современной Лѣтописи". Въ апрѣльской книгѣ „Русскаго Вѣстника" напечатана статья Н. С. Тихонравова („Шекспиръ"), о которой упоминаетъ И. Н. Захарьинъ, но о статьѣ Юркевича нигдѣ ни слова. Не занесена она и въ офиціальный „Отчетъ о состояніи Императорскаго Московскаго университета за 1864 г.", гдѣ объ Юркевичѣ сказано только слѣдующее: „Ординарный профессоръ Юркевичъ занимался редакціей переведеннаго студентами сочиненія *Исторія философіи* Швеглера и *напечаталъ* критическія замѣчанія на философскія начала, изложенныя въ учебникѣ уголовнаго права г. Спасовича. (Рѣчь и Отчетъ, Москва 1865, стр. 11). Только въ „Голосѣ" 1864 г. № 105, въ фельетонѣ изъ Москвы, рѣчь Юркевича отмѣчена слѣдующими нѣсколькими словами: „Собраніе было открыто чтеніемъ статьи г. Юркевича, который указалъ на всемірное значеніе Шекспира"... Надо думать, что Юркевичъ вовсе не отдалъ своей рѣчи въ печать, иначе она навѣрное была бы упомянута въ Отчетѣ Московскаго университета.

лекціями, и Юркевичъ всегда съ разумной и гуманной сдержанностью оспаривалъ взгляды пылкой молодежи. Ему говорили: Кому нужна логика? Логика есть наука несуществующая, человѣкъ долженъ судить о вещахъ по непосредственнымъ внушеніямъ или инстинктамъ своей природы, для жизни достаточно природной логики. Даровитые юноши не отставали отъ толпы и обращались къ профессору съ такими же вопросами. Что за слушатели были у Юркевича! замѣчаетъ въ своемъ воспоминаніи В. Лебедевъ. Въ семинаріяхъ изученіе философіи было доведено въ его время до ничтожества, въ гимназіяхъ никакія философскія науки не преподавались. Для молодыхъ студентовъ философія казалась тарабарскою грамотой. Нуженъ былъ особенный талантъ, чтобы заставить слушать лекціи по философіи молодыхъ людей, только что окончившихъ свое первоначальное образованіе. Нужно было ораторское дарованіе Юркевича, чтобы заставить студентовъ 60-хъ годовъ слушать съ интересомъ теоретическія разсужденія о Платонѣ, Аристотелѣ, Спинозѣ и Кантѣ. Въ другое время, говоритъ Лебедевъ, появленіе на каѳедрѣ такого профессора, какъ Юркевичъ, должно было повести къ повороту въ самомъ строѣ мыслей молодого поколѣнія. Юркевичъ явился въ Москву съ настоящими знаніями и оригинальными философскими убѣжденіями. Но почва для философской реформы была неблагопріятна, а журналистика, какъ мы уже знаемъ, не сумѣла отнестись къ Юркевичу хотя-бы просто добросовѣстно.

Въ своей домашней обстановкѣ Юркевичъ очаровывалъ посѣтителей привѣтливостью, своимъ любящимъ сердцемъ, полнымъ вниманія къ чужимъ нуждамъ. Спокойное, теплое, снисходительное отношеніе профессора къ студентамъ, пишетъ одинъ изъ его бывшихъ слушателей, рисуетъ мнѣ его нравственный образъ чисто евангельскимъ. На каѳедрѣ и въ практической жизни онъ искалъ истины, дорожилъ истиной. Это былъ человѣкъ общительный, добрый. Рѣчь его становилась увлекательна, когда онъ заговаривалъ о предметѣ своей спеціальности или вспоминалъ о своей родинѣ Малороссіи, къ которой онъ былъ привязанъ разумно. Живя въ Москвѣ, онъ не переставалъ поддерживать сношенія съ своими бывшими кіевскими друзьями и товарищами. Въ день его похоронъ къ нему явился изъ Малороссіи его школьный товарищъ, священникъ, который надѣялся найти его живымъ, но нашелъ его среди церкви въ гробу. Скромный провинціалъ смутился, глубоко взволновался и на кладбищѣ сказалъ нѣсколько непосредственныхъ словъ. Изъ этой простой прощальной рѣчи на могилу Юркевича упалъ одинъ свѣтлый и горячій лучъ. Юркевичъ имѣлъ большое нравственное вліяніе на своихъ товарищей по школѣ и, даже живя въ Москвѣ, помогалъ имъ своимъ участіемъ—имъ, безвѣстнымъ сельскимъ священникамъ.

Въ годъ смерти Юркевича В. Соловьевъ, бывшій, насколько намъ

извѣстно, слушателемъ Юркевича, напечаталъ о немъ небольшой рефератъ въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія». «Если высотою и свободою мысли, внутреннимъ тономъ воззрѣній, а не числомъ и объемомъ написанныхъ книгъ опредѣляется значеніе настоящихъ мыслителей, писалъ Соловьевъ, то безспорно почетное мѣсто между ними должно принадлежать покойному московскому профессору Памфилу Даниловичу Юркевичу». Дѣлая изложеніе главнѣйшихъ трудовъ Юркевича и подходя къ его полемикѣ съ Чернышевскимъ, Соловьевъ замѣчаетъ: «Въ статьѣ *Изъ науки о человѣческомъ духѣ* Юркевичу приходится защищать свои воззрѣнія противъ господствовавшихъ тогда и теперь еще не совсѣмъ потерявшихъ силу надъ неразвитыми умами теорій матеріализма». Не предвидя своихъ будущихъ блужданій между идеализмомъ и реализмомъ, въ поискахъ за объединительнымъ началомъ для всѣхъ благомыслящихъ и порядочныхъ людей, Соловьевъ рѣшительно и твердо заявляетъ: «Конечно, Юркевичу не стоило никакого труда доказать философскую несостоятельность этихъ теорій, и онъ доказалъ ее ясно, какъ день, для всякаго способнаго понимать»... Соловьевъ не отмѣчаетъ при этомъ ни единымъ словомъ той тяжелой и неблагодарной борьбы, которую выдержалъ Юркевичъ, отстаивая свои убѣжденія, и въ которой онъ былъ сраженъ для жизненнаго успѣха и совершенно заплеванъ въ печати—уже не лучшими, не сильнѣйшими, а худшими, мелкими представителями торжествующей литературной партіи.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Полемическія бури.

Преемникъ Чернышевскаго М. Антоновичъ.—Борьба Лаврова съ Антоновичемъ и Писаревымъ.—Журнальная дѣятельность Ѳ. М. Достоевскаго.—«Время».—Полемика Достоевскаго съ утилитаристами и чистыми эстетиками.—Нападки Достоевскаго на Каткова и на Аксакова.—Н. Косица.—«Свистуны изъ хлѣба и кнутикъ рутиннаго либерализма».—Полемическая баталія между «Временемъ» и «Современникомъ».—«Молодое перо».—Фарсъ въ «Искрѣ» и «Русскомъ Словѣ».—«Роковой вопросъ» и прекращеніе «Времени».—Второй журналъ Достоевскихъ: «Эпоха».—Стрижи, два фантастическихъ романа: «Щедродаровъ» и «Сысоевскій».—Ругня Антоновича и строфа изъ порнографическаго романса.—Посѣвы прошедшаго времени и всходы современности

—

I.

Литературная дѣятельность Чернышевскаго, имѣвшая такое значеніе для «Современника», прекратилась въ 1863 г. Журналъ остался безъ руководителя. Программа «Современника» какъ будто не измѣнилась, его философскія и литературныя тенденціи остались тѣ же самыя, но въ самомъ составѣ редакціи не оказалось больше человѣка съ умомъ Чернышевскаго и его публицистическимъ талантомъ. Померкло то обаяніе журнала, которое придавала ему эта богато одаренная личность, налагавшая печать благороднаго дерзновенія на всѣ публицистическія статьи «Современника». Руководительство перешло къ Антоновичу, который началъ свою литературную дѣятельность еще при Добролюбовѣ и выдвинулся при Чернышевскомъ, аттестовавшемъ его во время своей первой схватки съ Юркевичемъ, какъ человѣка съ свѣжими и бодрыми силами, какъ своего законнаго преемника.

Но Антоновичъ не обладалъ достаточнымъ литературнымъ талантомъ, чтобы поддержать завоеванное «Современникомъ» положеніе и репутацію вліятельнаго передового органа молодого русскаго общества. Статьи его, дополнявшія работу Чернышевскаго въ области философ-

ской критики, но написанныя безъ всякаго публицистическаго яда, хотя и во внѣшнемъ стилѣ статей Чернышевскаго — съ тѣми-же отступленіями, съ тою-же фамильярностью въ разговорѣ съ критикуемымъ авторомъ и съ читателемъ, бойко, размашисто, самоувѣренно — широкаго, самостоятельнаго значенія для журнала имѣть не могли. Его философскія разсужденія, быть можетъ, сложившіяся въ работѣ даже болѣе усидчивой, чѣмъ чисто философская работа Чернышевскаго, не являются выраженіемъ оригинальной, творческой мысли. Но можно допустить, при внимательномъ сличеніи нѣкоторыхъ статей этихъ двухъ писателей, что именно Антоновичъ своею болѣе спеціальною образованностью поддерживалъ въ Чернышевскомъ ту логику, которая подъ стремительнымъ перомъ талантливаго публициста развернулась въ цѣлую программу для научной дѣятельности радикальной русской партіи. На философской почвѣ Антоновичу нечѣмъ было заимствоваться у Чернышевскаго. Если въ его первыхъ статьяхъ товарищескія отношенія съ главнымъ руководителемъ «Современника» нѣсколько наклоняли его собственное убѣжденіе въ сторону грубо догматическаго матеріализма, то, оставшись самостоятельнымъ редакторомъ критическаго отдѣла журнала, онъ ударился въ разныя сомнѣнія и отступленія, выраженныя въ формѣ нерѣшительныхъ оговорокъ, но тѣмъ не менѣе вносившія извѣстную дисгармонію въ программу, установленную Чернышевскимъ. Поддерживая научное направленіе, Антоновичъ иногда является въ роли критика по отношенію къ тому матеріализму, за который онъ при Чернышевскомъ воевалъ съ Юркевичемъ. Въ «Современникѣ» 1863 г., уже лишенномъ Чернышевскаго, но еще печатающемъ его смѣлую беллетристическую утопію съ изображеніемъ новыхъ людей и общежитій, мы встрѣчаемъ странно звучащее въ этомъ журналѣ заявленіе, что матеріализмъ и спиритуализмъ одинаково устарѣвшія формы научно-философскаго мышленія. То-же заявленіе, повторенное затѣмъ еще разъ, ясно свидѣтельствовало, что въ философскомъ направленіи «Современника» происходили колебанія, нарушавшія цѣльность и стройность журнала. «Современникъ», бывшій до сихъ поръ образцомъ выдержанной политической и философской программы, вдругъ пошатнулся и далъ трещину. Антоновичъ не могъ прикрыть талантомъ свои еретическія отступленія отъ устава Чернышевскаго. Въ словахъ его, несмотря на задоръ, не чувствовалось той пламенной убѣжденности, которая могла-бы увлечь и захватить молодыхъ читателей. Самая литературная физіономія Антоновича вдругъ потеряла свою прежнюю опредѣленность и предстала передъ публикою въ нѣсколько двойственномъ освѣщеніи. «Современникъ» сталъ обнаруживать какую-то непослѣдовательность въ то самое время, когда настоящій творецъ его, исчезнувъ съ видимаго литературнаго горизонта, долженъ былъ возбу-

дить въ прогрессивномъ обществѣ особенную симпатію къ своему имени. Литературная слава Чернышевскаго превращалась въ какую-то легенду. Его критическія и философскія статьи, еще недавно бывшія въ общемъ журнальномъ оборотѣ, внезапно озарились особенно яркимъ, тревожнымъ блескомъ. Его литературныя предначертанія и философскіе принципы становились любимымъ завѣтомъ для подростающаго поколѣнія, для всѣхъ представителей крайней фракціи русскаго либерализма. Въ такое время всякая нерѣшительность во мнѣніяхъ, всякая неопредѣленность въ программѣ истолковывались, какъ ренегатство. Общественное мнѣніе еще не пріобрѣло настоящей крѣпости и зрѣлости, матеріализмъ не былъ еще изжитъ до конца, и человѣкъ, который при Чернышевскомъ бросался чуть не съ кулаками на Юркевича за его учтивую критику матеріализма, а теперь, послѣ изъятія Чернышевскаго, пустился въ холодное резонерство неопредѣленнаго философскаго направленія, безпрестанно огрызаясь во всѣ стороны, безъ разбору, чѣмъ попало замахиваясь на лучшія явленія современной жизни, вдаваясь въ распущенную до цинизма перебранку съ новыми дѣятелями русской печати,—такой человѣкъ не могъ возбудить къ себѣ ничьего сочувствія. И волна, катившаяся въ «Современникѣ» отъ Чернышевскаго, вспѣнившись при новыхъ обстоятельствахъ, перехлеснула черезъ голову Антоновича и шумно разыгралась въ новомъ передовомъ журналѣ—въ «Русскомъ Словѣ»... Истиннымъ продолжателемъ дѣла Чернышевскаго явился блестящій, смѣлый, полный протестантскихъ силъ Писаревъ. Звѣзда его, взошедшая при Чернышевскомъ, еще ярче засвѣтилась въ глазахъ молодого поколѣнія, когда онъ остался единственнымъ выразителемъ удалыхъ стремленій, увлекавшихъ юное общество на путь реализма. Уступая Антоновичу въ философской образованности, онъ безконечно превосходилъ его силою литературнаго дарованія. По таланту онъ долженъ былъ занять первое мѣсто въ ряду главнѣйшихъ журнальныхъ вождей молодой Россіи. Не превосходя Чернышевскаго разжигающимъ умы вдохновеніемъ демагога, онъ несомнѣнно стоялъ впереди его, какъ литературный критикъ, хотя и обратившій свой острый ножъ противъ лучшихъ произведеній русскаго искусства. Въ поколѣніи, воспитанномъ на статьяхъ и произведеніяхъ Чернышевскаго, героемъ эпохи могъ быть только прямой, непосредственно увлекающійся и, несмотря на свою дикость, увлекательный Писаревъ.

Первыя философскія замѣтки Антоновича по духу мало чѣмъ отличаются отъ его послѣдующихъ философскихъ статей. Безпокойная мысль, расплывающаяся въ шумныхъ, хотя и малосодержательныхъ фразахъ, мечется въ различныхъ направленіяхъ, ничего не договаривая до конца, путаясь въ непосильныхъ для нея діалектическихъ во-

просахъ. Каждая рецензія полна бравурныхъ выраженій, принятыхъ въ «Современникѣ», но въ статьяхъ Антоновича производящихъ удручающее впечатлѣніе. Набрасываясь на разныхъ авторовъ, Антоновичъ не сдерживаетъ своего раздраженія и, не заботясь ни о какой логической послѣдовательности, кидаетъ на бумагу все, что придетъ въ голову, все, что подвернется подъ руку. Его критическія замѣтки съ литературной стороны производятъ впечатлѣніе почти уродливаго набора громкихъ фразъ, грубыхъ издѣвательствъ и какихъ-то недоконченныхъ, недодуманныхъ философскихъ соображеній. Трудно уловить отправную точку зрѣнія автора, почти невозможно услѣдить за сцѣпленіемъ тусклыхъ понятій въ этихъ хаотически безпорядочныхъ изліяніяхъ. Первая статейка Антоновича, относящаяся къ 1859 г., посвящена разбору извѣстной книги Щапова о «русскомъ расколѣ старообрядства». Несмотря на придѣланное Добролюбовымъ начало, рецензія эта не заключаетъ въ себѣ ни одной серьезной мысли. Авторъ глумится надъ Щаповымъ, отыскивая въ его замѣчательномъ трудѣ слѣды фальшиваго и дешеваго либерализма, и, чувствуя почему-то свое превосходство надъ этимъ ученымъ, бойко прохаживается насчетъ его тяжеловѣсности. Открывъ въ немъ какія-то заднія мысли, недостатокъ историческаго безпристрастія и «предзанятый, напередъ составленный взглядъ на расколъ», осудивъ склонность Щапова къ многочисленнымъ цитатамъ, Антоновичъ въ немногихъ словахъ произноситъ строгій приговоръ всему его ученому изслѣдованію. Онъ не находитъ въ немъ ничего, кромѣ длиннаго заглавія, пышнаго предисловія, сѣрой бумаги, плохой печати и множества фразъ, истиннаго значенія которыхъ не сознаетъ даже самъ авторъ. Правда, Щаповъ не пускается въ сентиментальныя, квасныя разглагольствованія, не проникнутъ фанатическою ненавистью къ раскольникамъ, но за такія качества постыдно хвалить писателя. «Изъ всей книги ясно одно, заключаетъ Антоновичъ: Щаповъ хотѣлъ быть современнымъ и либеральнымъ, но не сумѣлъ быть имъ вполнѣ. Онъ слышалъ какой-то звонъ, но не могъ дознаться, откуда онъ»...

Послѣ этой коротенькой, хлесткой, но легкомысленной замѣтки о писателѣ съ большими спеціальными знаніями, хотя и безъ таланта яснаго и яркаго изложенія, съ глубокими настроеніями и выдержаннымъ, опредѣленнымъ взглядомъ на явленія русскаго раскола, Антоновичъ вторично выступилъ на страницахъ «Современника» только въ февралѣ мѣсяцѣ 1861 г. Въ обширной рецензіи онъ критикуетъ философскій лексиконъ Гогоцкаго, заступается за матеріализмъ, играя именемъ Фейербаха, глумится надъ идеалистическими системами, изображая ихъ при этомъ въ такомъ видѣ, въ какомъ онѣ, конечно, никогда не выступали въ исторіи философіи. Онъ слѣдуетъ по стопамъ Черны-

шевскаго въ своемъ ученіи о самосознаніи и, разбивая идеалистическое представленіе о человѣческомъ «я», прибѣгаетъ къ забавнымъ аллегоріямъ, обличающимъ полное отсутствіе художественнаго вкуса. «Воображаютъ, пишетъ Антоновичъ, что существуетъ самостоятельное *я*, — что-то въ родѣ турецкаго султана, который или самъ создалъ, или откуда-нибудь набралъ для себя множество турокъ, представленій, стремленій и проч., состоящихъ въ его полномъ распоряженіи, тогда какъ на дѣлѣ существуютъ собственно турки, а султанъ служитъ только формальнымъ выраженіемъ ихъ единства,— не будь турокъ, не было-бы и султана». Представленіе о самосознаніи основано, по его мнѣнію, на той-же ошибкѣ, по которой мы признаемъ вѣрными и точными такія выраженія: «Уѣздный судъ представилъ, дума вообразила себѣ, палатѣ захотѣлось, консисторія слушаетъ». Заканчивая рецензію о лексиконѣ Гогоцкаго, Антоновичъ дѣлаетъ строгій выговоръ составителю за отсутствіе въ его словарѣ какихъ-нибудь живыхъ элементовъ изъ текущей дѣйствительности. Лексиконъ этотъ, по его словамъ, «отталкиваетъ отъ себя абсолютною отрѣшенностью отъ духа времени, какимъ-то совершеннымъ равнодушіемъ, если не презрѣніемъ, ко всему современному, живому, ко всѣмъ интересамъ и потребностямъ современнаго общества, точно будто лексиконъ написанъ въ XV вѣкѣ и предназначенъ для XXV вѣка»....

Таковы первыя двѣ работы Антоновича, въ которыхъ уже намѣчены общіе его философскіе взгляды и пріемы. Не излагая своихъ собственныхъ мыслей, онъ дѣлаетъ пустыя, но заносчивыя придирки къ сочиненіямъ и статьямъ, имѣющимъ положительныя научныя качества. Приспособляясь къ общей тенденціи «Современника», онъ искусственно, безъ всякой органической необходимости и связи, пришиваетъ къ своимъ философскимъ размышленіямъ публицистическія тирады на современныя темы, въ наивномъ убѣжденіи, что нужно требовать того-же и отъ другихъ. Онъ видитъ себя на одной высотѣ съ Чернышевскимъ и публично рекомендованный имъ, какъ его наперсникъ, все болѣе и болѣе повышаетъ тонъ своихъ статей, ухищряясь высокомѣрно дутыми фразами прикрыть недостатокъ внутренняго огня, сильныхъ и цѣльныхъ убѣжденій. Ничто не побуждаетъ его быть вдумчивымъ и справедливымъ въ оцѣнкѣ людей, играющихъ серьезную роль въ современной ему умственной исторіи: онъ не умѣетъ уважать не только своихъ противниковъ, но и тѣхъ, которые, расходясь съ нимъ въ вопросахъ теоретическихъ, до очевидности ясно идутъ въ одномъ практическомъ теченіи съ «Современникомъ» и, по своимъ знаніямъ, по своей серьезности и убѣжденности, стоятъ выше обыкновеннаго уровня журнальныхъ работниковъ. Подобно Чернышевскому, онъ не щадитъ ничьего самолюбія, но, не обладая внутреннимъ жаромъ души Чернышевскаго, онъ

не умѣетъ при этомъ вызвать въ читателѣ довѣріе и сочувствіе къ простой правдивости своихъ полемическихъ нападеній. Мы видѣли, какъ Антоновичъ легкомысленно отхлесталъ ученое изслѣдованіе Щапова, какъ просто онъ раздѣлался съ Гогоцкимъ. Мы знаемъ, какими пріемами онъ, нѣсколько позже, состязался съ Юркевичемъ въ защиту Чернышевскаго. Теперь мы посмотримъ, какъ Антоновичъ, подражая плохому примѣру Чернышевскаго, накинулся на серьезнаго, глубоко-ученаго и, по своему, талантливаго писателя Лаврова, въ статьяхъ котораго уже тогда обрисовывались нѣкоторыя смѣлыя и важныя мысли, получившія дальнѣйшее развитіе въ то время, когда отъ всей дѣятельности Антоновича въ русской литературѣ остался только легкій чадъ раздражающихъ обидныхъ воспоминаній. Не обнаруживая ни малѣйшей чуткости къ той тенденціи, которая одушевляла работу Лаврова, Антоновичъ развязно шельмуетъ его за отсутствіе всякой оригинальной мысли. Лавровъ кажется ему простымъ компиляторомъ, который не умѣетъ послѣдовательно провести ни одной идеи. По его словамъ, онъ прямо и точно никогда не высказываетъ своихъ положеній, но всегда какъ-бы мимоходомъ, съ разными ограниченіями и условіями, затемняющими суть вопроса. Ни за что не соглашаясь назвать философію Лаврова эклектизмомъ, какъ назвалъ ее Чернышевскій, Антоновичъ убѣжденъ, что онъ вѣрнѣе опредѣлитъ ея характеръ, назвавъ ее «философскимъ компромисомъ, или—такъ какъ философія женскаго рода — *компромисою*». Затѣмъ критикъ «Современника» упрекаетъ Лаврова за философскій индивидуализмъ. Вся философія Лаврова, говоритъ онъ, заключена въ тѣсномъ кругѣ человѣческой личности: «сознаніе да сознаніе, мысль да мысль, и больше ничего». Эти оковы субъективизма, замѣчаетъ Антоновичъ съ презрительной гримасой, наложены Кантомъ и «окончательно были затянуты *ячествомъ* его послѣдователей идеалистовъ». Мы знаемъ только себя и ничего не знаемъ, что дѣлается передъ нашими окнами, съ укоризною заключаетъ онъ по адресу Лаврова. Вся статья Антоновича обильно уснащена выраженіями изъ словаря ученическихъ передрягъ. Когда Лавровъ говоритъ, что въ каждой фразѣ можно открыть какой-нибудь философскій смыслъ, критикъ его пренебрежительно отрѣзываетъ: «ужъ это совершенная дичь, философія заключается не въ фразѣ, а въ головѣ». Когда Лавровъ развиваетъ мысль, что безъ философскаго элемента наука даетъ намъ лишь отдѣльныя, разрозненныя явленія, Антоновичъ рѣшительно заявляетъ: «сумбуръ, ералашъ, котораго никто, кромѣ Лаврова, не назоветъ знаніемъ». Въ одномъ мѣстѣ простое соображеніе Лаврова о томъ, что форма имѣетъ важное значеніе въ художественномъ произведеніи, Антоновичъ старается оскандалить ехиднымъ восклицаніемъ: «ай! ай! ай! вы, г. Лавровъ, рѣшительно не понимаете, что такое форма художественныхъ произведеній». Въ другомъ мѣстѣ

Антоновичъ назидаетъ противника въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «что вы дѣлаете, г. Лавровъ, побойтесь Бога». Фамильярныя названія сыплются во всѣ стороны, междометія съ восклицательными и вопросительными знаками испещряютъ страницы статьи, придавая ей характеръ натянутой игривости. Критическія замѣчанія по существу, не отличающіяся никакой оригинальностью, безпорядочно толкутся на одномъ мѣстѣ, не двигая логики статьи, но обличая въ авторѣ претенціознаго пустозвона. Фразы, лишенныя стиля, на сотни ладовъ повторяющія одну и ту же затверженную мысль, скрипятъ, какъ немазаная телѣга, до краевъ наложенная булыжникомъ. Вся помпа передовой начитанности, вся шумиха уличнаго остроумія совершенно не захватываетъ, ни въ чемъ не убѣждаетъ читателя.

II.

Предъ Антоновичемъ лежали нѣкоторыя серьезныя работы Лаврова по философскимъ вопросамъ, оживленныя одною мыслью, однимъ твердымъ научнымъ настроеніемъ. Можетъ быть, Лавровъ не далъ въ своихъ статьяхъ того времени цѣльной философской системы, построенной съ полною строгостью, но не подлежитъ сомнѣнію, что именно въ тѣхъ работахъ, которыя находились передъ Антоновичемъ, добросовѣстный критикъ долженъ былъ усмотрѣть мысль глубокую, яркую, важную, идущую отъ лучшихъ философскихъ традицій и стремящуюся по-своему обнять и понять важнѣйшія явленія человѣческой жизни. Примыкая по своимъ философскимъ симпатіямъ къ современнымъ тенденціямъ нѣмецкой психологіи и твердо держась основного камня критической философіи, Лавровъ раскрываетъ въ ясныхъ словахъ свою антропологическую точку зрѣнія на міръ, на задачи и цѣли научнаго изслѣдованія. Онъ не соединяетъ искусственно между собою идей изъ различныхъ философскихъ системъ. Его умственная работа сосредоточена около одного и того же предмета, и всѣ его цитаты, всѣ доказательства и логическія построенія, какъ одно живое дѣло, освѣщены опредѣленнымъ, неизмѣннымъ принципомъ. Тутъ нѣтъ и слѣда искусственнаго эклектизма, въ которомъ ошибочно упрекнулъ его Чернышевскій. Тутъ нѣтъ никакого компромиса, о которомъ безцеремонно говоритъ Антоновичъ. Слѣдовать за извѣстнымъ движеніемъ философской науки, какъ она разрабатывается людьми съ первокласснымъ творческимъ талантомъ, вносить готовые критеріи въ совершенно новыя области,—не значитъ перефразировать чьи-либо системы. На почвѣ широкихъ философскихъ знаній и исключительной начитанности въ различныхъ областяхъ науки Лаврову удалось выработать себѣ опредѣленное міровоззрѣніе, которое съ такою рельефностью отразилось потомъ въ его знаменитыхъ «Письмахъ» Миртова. Но Антоновичъ не зналъ и

не понялъ своего противника. Статьи Лаврова остались безъ надлежащей оцѣнки. А между тѣмъ, въ каждой изъ упомянутыхъ Антоновичемъ работъ Лаврова есть содержаніе, заслуживающее вниманія до сихъ поръ. Къ тому времени, когда появилась реценэія, напечатанная въ «Современникѣ», Лавровъ успѣлъ уже выступить передъ русской публикой съ цѣлымъ рядомъ философскихъ разсужденій, въ которыхъ легко прослѣдить опредѣленную мысль, развивающуюся въ двухъ направленіяхъ. Во первыхъ, молодой ученый ведетъ, подобно Юркевичу, отважную кампанію противъ стараго и новаго матеріализма, и въ этомъ пунктѣ его доказательства имѣютъ строго философскій характеръ. Во-вторыхъ, Лавровъ набрасываетъ общіе контуры своего антропологическаго ученія, отправляясь, какъ мы уже сказали, отъ кореннаго принципа идеалистической философіи. Его пространные журнальные рефераты, каковы статьи «Современные германскіе тексты», разборъ сочиненія Монгардта «Die Götterwelt der deutschen und nordischen Völker», довольно обстоятельная оцѣнка сочиненія профессора Новицкаго «Постепенное развитіе древнихъ философскихъ ученій», и, наконецъ, тѣ четыре статьи, на которыя постоянно ссылается Антоновичъ: «Механическая теорія міра», «Современное состояніе психологіи», «Что такое антропологія» и «Три бесѣды о современномъ значеніи философіи»—могутъ быть названы чрезвычайно интересными философскими работами. Мы не будемъ проводить параллели между Лавровымъ и Юркевичемъ, но, исключивъ замѣчательныя, во многихъ отношеніяхъ, статьи Юркевича, мы не найдемъ въ журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ извѣстнаго направленія ничего равнаго работамъ Лаврова по продуманности и научному достоинству. Но Лавровъ не шелъ въ философской струѣ «Современника». Онъ пробиваетъ свою собственную дорогу и, сознавая свою солидарность съ нѣкоторыми дѣятелями современной ему печати въ вопросахъ практическихъ, не боится полемизировать съ ними на почвѣ теоретической. Онъ прежде всего не матеріалистъ. Матеріализмъ онъ считаетъ *метафизической* системой, изъ которой нельзя сдѣлать никакихъ вѣрныхъ выводовъ. Въ чемъ заключается формула матеріализма? Матеріализмъ говоритъ: кромѣ вещества, не существуетъ ничего. Вещество безконечно и вѣчно. Отъ взаимнаго дѣйствія частей вещество переходитъ отъ одной формы къ другой, измѣняетъ свои физическія свойства, химическій составъ, дѣлается живымъ организмомъ. Сознаніе, чувство, наука, творчество—это рядъ явленій, производимыхъ веществомъ. Что это такое, спрашиваетъ Лавровъ—наука или метафизика? Какое наблюденіе, какой инструментъ привели человѣка къ этимъ основнымъ положеніямъ? Вещество и сила суть понятія метафизическія. Въ противоположность главному тезису Бюхнера, что ученіе матеріализма есть отрицаніе всего сверхчувственнаго въ человѣческомъ знаніи, самая исходная точка этого ученія есть понятіе

именно метафизическое, не соотвѣтствующее никакому единичному предмету, доступному наблюденію. Весь путь, проходимый матеріализмомъ, лежитъ внѣ области науки. Отъ матеріи къ психическимъ явленіямъ нѣтъ никакого перехода, а матеріализмъ отождествляетъ ихъ произвольнымъ образомъ, въ одномъ метафизическомъ понятіи вещества. Въ этой системѣ предъ мыслью человѣка матерія становится, какъ существо, совершенно ему чуждое, безсознательное, но одаренное силами и даже способное возбудить мысль. Лишенное разума, оно дѣлается источникомъ всякой дѣятельности. Лучшія созданія науки и фантазіи отличаются лишь сложностью процесса отъ паденія камня, отъ разложенія гніющаго организма, отъ пищеваренія лягушки, говоритъ эта система. Всюду — вещество съ его физико-химическими процессами, съ его желѣзными міровыми законами. Въ противоположность прежнимъ, мыслящимъ предметамъ поклоненія старинныхъ идеалистическихъ преданій, на алтарѣ новаго ученія стоитъ кумиръ, лишенный сознанія, но ни въ чемъ не уступающій своимъ предшественникамъ. «Смѣясь надъ прочими предметами поклоненія, называя ихъ безсмысленными идолами, поклонники вещества призывали человѣчество *увѣровать* и поклониться новому кумиру—веществу» [1]). Матеріализмъ не полонъ, потому что не обнимаетъ явленій сознанія. На немъ нельзя остановиться, и задача будущей философской системы, говоритъ Лавровъ въ концѣ своей статьи, должна заключаться въ стройномъ уясненіи *всего* человѣка. Всѣ видоизмѣненія мысли, всѣ законы природы, весь процессъ историческаго преданія должны образовать въ этой системѣ одно гармоническое цѣлое, въ центрѣ котораго стоитъ сознаніе.

Въ послѣднихъ строкахъ этой статьи мысль объ антропологическомъ началѣ выражена съ достаточной ясностью, хотя и безъ той рельефности, съ какою она выступила въ двухъ другихъ статьяхъ Лаврова: «Современное состояніе психологіи» и «Что такое антропологія», напечатанныхъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Русскомъ Словѣ». Въ первой изъ этихъ статей, написанной по поводу нѣкоторыхъ новѣйшихъ сочиненій по психологіи, Лавровъ прямо заявляетъ свою солидарность съ идеалистическимъ положеніемъ Канта о феноменальности міра. Человѣкъ, какъ сознательное, чувствующее и мыслящее существо, человѣкъ, какъ творецъ своихъ дѣйствій, какъ единственный источникъ справедливости и художественнаго идеала, есть задача будущей науки, которая изъ разрозненныхъ фактовъ должна воздвигнуть стройное цѣлое. По словамъ Лаврова, антропологія — въ прежнее время маленькій отдѣлъ частной науки — разростается все шире и шире и становится тою наукою, при помощи которой должны быть соглашены всѣ явленія,

[1]) «Отечественныя Записки», 1859 г., апрѣль «*Механическая теорія міра*», стр. 484.

всѣ методы знанія, всѣ процессы творчества. Весь внѣшній міръ точно такъ же, какъ міръ преданій, жизненной опытности, исторической преемственности, существуетъ лишь настолько, насколько онъ существуетъ для человѣка, насколько онъ входитъ въ процессъ его внутренняго духовнаго бытія. Съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ убѣдился, что онъ сознаетъ не сущность вещей, а только явленія своего мышленія, своихъ чувствъ и желаній, съ тѣхъ поръ, твердо заявляетъ Лавровъ, необходимость психологіи, какъ центра всѣхъ прочихъ наукъ, представляется съ полною ясностью. Въ этомъ сознаніи заключается причина и объясненіе тріумфальнаго движенія идеализма, которое со времени Канта увлекало всѣ умы. *Самостоятельное* изученіе психологическихъ вопросовъ составляетъ научную потребность нашей эпохи, и, можетъ быть, недалеко то время, когда психологія будетъ основною, главною наукою въ системѣ общаго образованія. Мы глубоко убѣждены, говоритъ Лавровъ, что психологію ожидаетъ блестящая будущность. Разрозненность, отрывочность современныхъ трудовъ въ этой области объясняется молодостью этой науки, тѣмъ, что она не опредѣлила еще своего метода, своихъ границъ. Будущее оправдаетъ ея законныя притязанія занять самое выдающееся мѣсто въ ряду философскихъ знаній.

Съ такой-же твердостью развивается индивидуалистическая точка зрѣнія и въ статьѣ о главныхъ принципахъ антропологіи. Въ основу антропологической науки Лавровъ кладетъ три слѣдующихъ начала. Во-первыхъ: процессъ личнаго сознанія *дѣйствительно* совершается. Во-вторыхъ: все, что мы сознаемъ безъ всякихъ логическихъ противорѣчій, представляетъ для насъ реальное бытіе. Въ-третьихъ: процессъ сознанія не даетъ возможности судить о самой сущности его явленій. Во всѣхъ фактахъ исторіи, независимо отъ всякой критики, присутствуетъ убѣжденіе, что человѣческое сознаніе дѣйствительно. Постепенно расширяя свое знаніе, человѣкъ овладѣваетъ все болѣе и болѣе реальнымъ міромъ, твердо отдѣляя живыя факты отъ созданій фантазіи, все глубже и глубже убѣждаясь въ невозможности проникнуть въ сущность вещей. Въ наукѣ онъ становится творцомъ отдѣльныхъ системъ, въ философіи онъ стремится все объяснить изъ явленій своего духа. Процессъ историческаго развитія освѣщается въ глубину. Личность, какъ активная сила, какъ иниціаторъ умственнаго и общественнаго движенія, выдвигается на первый планъ. Внутреннія идеалы, рождающіеся изъ свободнаго разума, становятся главными руководителями на пути прогресса. Выходя изъ антропологическаго начала, философія исторіи, говоритъ Лавровъ, ищетъ этого начала вездѣ и видитъ его въ разнообразіи всѣхъ соціальныхъ измѣненій, повсюду, гдѣ неизбѣжно долженъ совершиться переходъ отъ менѣе сознатель-

наго состоянія къ болѣе сознательному. Отдѣльныя научныя системы, въ ея освѣщеніи, являются, какъ результатъ духовной жизни мыслящей личности, съ ея особеннымъ развитіемъ, съ ея частными, временными настроеніями. Новые идеалы, новыя формы быта, никогда не исчерпывающіе всего умственнаго содержанія человѣка, вырисовываются именно въ антропологической философіи, идущей отъ критическаго идеализма Канта.

Въ трехъ публичныхъ лекціяхъ, прочитанныхъ Лавровымъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1860 г. въ Пассажѣ и потомъ напечатанныхъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», мы имѣемъ нѣсколько разсужденій на слѣдующія три темы: что такое философія въ знаніи? что такое философія въ творчествѣ? что такое философія въ жизни? Примѣняясь къ аудиторіи, лекторъ говорилъ съ особенной популярностью, заботясь не столько о строгой точности научныхъ выраженій, сколько о наглядности и простотѣ своихъ логическихъ доказательствъ. Въ знаніи философія играетъ совершенно опредѣленную роль. Она овладѣваетъ фактами опыта, какъ частностями одного стройнаго цѣлаго. Она старается понять явленія въ ихъ общей связи, разрѣшая при этомъ и тѣ вопросы, которые наука сама по себѣ должна была оставить въ сторонѣ. Она вноситъ творческое начало въ эмпирическую работу простого научнаго изученія. Обращаясь къ философскому элементу въ художественной дѣятельности человѣка, Лавровъ съ огромною для того времени смѣлостью выражаетъ рядъ идей, стоящихъ въ прямомъ противорѣчіи съ научнымъ катехизисомъ радикальной журналистики, какъ-бы игнорируя преданія реалистической критики Добролюбова и знаменитый трактатъ Чернышевскаго «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности». Стройная форма есть существенное и необходимое условіе художественнаго творчества, говоритъ Лавровъ. Она рисуется въ фантазіи художника, требуя строгаго выраженія. «Она есть единственная цѣль художника, если онъ въ самомъ дѣлѣ художникъ». Художественное творчество есть процессъ образованія формъ. Если форма уродлива, художественное произведеніе не существуетъ. Какъ-бы ни были благородны и современны мысли, высказанныя стихотворцемъ, но если онъ пишетъ деревянными стихами, онъ никогда не будетъ поэтомъ. О такомъ стихотворцѣ, сильномъ въ жизненныхъ вопросахъ, но не владѣющемъ формою, можно сказать словами Буало: это такой прекрасный человѣкъ—зачѣмъ онъ не пишетъ прозою! Но ища формы для выраженія своихъ поэтическихъ мыслей, художникъ волнуется извѣстными чувствами и настроеніями. Стройная форма у него одушевляется внутреннею жизнью, тѣмъ патетическимъ элементомъ, который кипитъ въ его душѣ и который потрясаетъ интеллигентное общество. Въ идеальномъ представленіи о свободномъ искусствѣ поэтическое творчество требуетъ

одной только формы, но неудержимая сила жизни, волнующаяся въ каждой личности, сообщаетъ этимъ формамъ содержаніе, близкое всякому смертному. Истинный художникъ смѣло вноситъ свое патетическое настроніе въ форму, которая стоитъ передъ его воображеніемъ. Литераторъ создаетъ новое слово для новой идеи. Мыслитель создаетъ, если нужно, новую космогонію, новую метафизику. Дѣло лишь въ томъ, чтобы человѣкъ относился къ существующимъ формамъ искусства или научнаго творчества не какъ идолопоклонникъ къ своему кумиру, а какъ свободно развивающаяся личность къ средствамъ и продуктамъ своего развитія. Онъ долженъ обсуживать и подвергать ихъ критикѣ во имя знанія. Эта критика не есть творчество, но она дополняетъ творческій процессъ, доставляя ему жизнь и возможность развитія. Она есть философія въ творчествѣ. Безъ нея всюду рутина и неподвижность. Она возбуждаетъ вѣчную борьбу съ тѣмъ, что создано, во имя того, что должно быть создано. Какъ-бы ни былъ привлекателенъ кумиръ, онъ вреденъ и долженъ быть разрушенъ. Все заслуживаетъ уваженія лишь настолько насколько оцѣнено *послѣ критики*, какъ *достойное* уваженія [1])... Въ послѣдней своей лекціи Лавровъ выражаетъ нѣсколько мыслей, которыя тоже не должны были встрѣтить никакого сочувствія среди дѣятелей радикальной печати. И здѣсь онъ прежде всего выдвигаетъ личность, съ ея собственными интересами и стремленіями. Форма жизни отходитъ на задній планъ—все дѣло въ ея содержаніи. Личность можетъ быть брошена на поле битвы, на форумъ, въ народныя совѣщанія, на каѳедру проповѣдника,—ея нравственное значеніе отъ этого не измѣняется. Гражданскіе герои или слабодушныя ничтожества встрѣчаются повсюду. Право критики, обязанность быть рѣшительнымъ во всѣхъ случаяхъ жизни—это постоянные спутники всякаго идеала. Только тотъ истинный человѣкъ, кто развилъ въ себѣ человѣчность, чье сердце бьется сочувствіемъ къ общественнымъ, гражданскимъ и экономическимъ интересамъ людей и кто, въ то-же время, можетъ наслаждаться прекрасною формою художественнаго произведенія, стройнымъ созданіемъ метафизической системы. Лавровъ не убоялся выразить убѣжденіе, которое въ извѣстномъ кругѣ русскаго общества до сихъ поръ считается еретическимъ: онъ не хотѣлъ бы, чтобы научный смыслъ и эстетическій вкусъ общества были принесены въ жертву какимъ-бы то ни было внѣшнимъ интересамъ. Пусть никто не насилуетъ своей мысли, когда остается наединѣ съ самимъ собою, съ своимъ творчествомъ и свободные образы встаютъ передъ нимъ съ неудержимою силою. Шенье, который писалъ свои ароматическія стихотворенія во время бурь революціи, былъ не худшій гражданинъ, чѣмъ его братъ Жозефъ, а въ

[1]) *Три бесѣды о современномъ значеніи философіи*, стр. 46.

искусствѣ между ними и сравненія быть не можетъ. Когда идетъ борьба за извѣстную идею, пусть въ минуту отдыха зоологъ изслѣдуетъ формы инфузорій, пусть скульпторъ отдѣлываетъ голову Афродиты. Настанетъ часъ, и они—не какъ ученые, не какъ художники, но какъ люди—пойдутъ въ рядахъ своихъ единомышленниковъ бороться за общее дѣло. Каждому дѣлу—свое время, и каждое дѣло должно быть исполнено согласно своимъ собственнымъ законамъ. Философія въ жизни есть стремленіе осмыслить высшими идеями ежедневную дѣятельность человѣка, внести въ нее пониманіе всего сущаго, какъ практическій идеалъ, какъ единство мысли и дѣйствія...

Таковы тѣ статьи, которыя имѣлъ въ виду Антоновичъ. Критикуя Лаврова, онъ перемѣшиваетъ свои юмористическія междометія съ несвойственными его уму діалектическими разсужденіями, желая открыть въ разбираемыхъ статьяхъ тонкія логическія противорѣчія, важныя и понятныя, въ сущности, только для спеціалистовъ по философскимъ вопросамъ. Бойкій прогрессивный тонъ рецензіи теряется въ тяжеловѣсной аргументаціи, выраженной бездушными словами, безцвѣтными педантическими фразами. Читатель разстается со статьею, не обогатившись ни одной живою мыслью. Настроеніе его, быть можетъ, приподнятое вначалѣ грубо-кричащими характеристиками старыхъ и новыхъ философовъ, вскорѣ совершенно изнемогаетъ, несмотря на постоянное напряженіе автора какъ-нибудь раздуть, расшевелить его бравурными афоризмами и сентенціями. Рядомъ съ Чернышевскимъ, высказывающимъ почти тѣ-же идеи, но съ несравненно большимъ талантомъ, Антоновичъ не можетъ произвести никакого впечатлѣнія. Для продолженія матеріалистической пропаганды нуженъ былъ другой человѣкъ. Только такой писатель, который бросился бы въ битву со знаменемъ Чернышевскаго, рѣшительно, вдохновенно, со страстью, обращенною прямо къ жизни, съ откровеннымъ презрѣніемъ ко всякой схоластикѣ,— только такой писатель могъ бы имѣть успѣхъ, какъ настоящій преемникъ Чернышевскаго. Писаревъ—вотъ кто долженъ былъ овладѣть молодымъ обществомъ. Когда загорѣлась въ журналистикѣ полемика съ Чернышевскимъ по поводу Юркевича, Писаревъ съ искреннимъ презрѣніемъ заявилъ свое нежеланіе участвовать въ этомъ спорѣ: онъ и Юркевичъ говорятъ на разныхъ языкахъ, между ними не можетъ быть ничего общаго. Когда Антоновичъ вслѣдъ за Чернышевскимъ набросился на менѣе оригинальнаго, но не менѣе ученаго Лаврова, Писаревъ съ обычною рѣзкостью обрушился на философію и на нѣсколькихъ печатныхъ страницахъ произнесъ суровое осужденіе всѣмъ схоластическимъ писаніямъ русскихъ журналистовъ не-матеріалистическаго направленія. Наше время, заявляетъ онъ, рѣшительно не благопріятствуетъ развитію теорій. Умъ нашъ требуетъ фактовъ, доказательствъ, «фанати-

ческое увлеченіе идеей и принципомъ вообще не въ характерѣ русскаго народа». Намъ мало понятенъ энтузіазмъ страстнаго адепта. Вотъ почему ни одна философія въ мірѣ не привьется къ русскому уму такъ прочно и такъ легко, какъ «современный, здоровый и свѣжій матеріализмъ». Фанатизмъ хорошъ, какъ историческій двигатель, но въ повседневной обстановкѣ онъ можетъ повести къ значительнымъ неудобствамъ. Хорошая доза скептицизма пронесетъ насъ вѣрнѣе между подводными камнями жизни и литературы. Надо устроить свои отношенія къ людямъ такъ, чтобы, не создавая себѣ *искусственныхъ* понятій *идеала* и *долга*, не вмѣшиваясь въ чужія дѣла, стараться жить полною жизнью. Къ сожалѣнію, наша критика держится устарѣвшихъ взглядовъ на человѣка. Она относится къ эгоизму, какъ къ пороку, и «въ фокусахъ и подвигахъ самопожертвованія» видитъ какую-то высокую добродѣтель. До сихъ поръ, касаясь философіи жизни, эта критика, говоритъ Писаревъ, считаетъ идеалъ совершенной необходимостью, а стремленіе къ наслажденію называетъ проявленіемъ животной натуры человѣка. Система глубоко вѣлась въ наши нравственныя понятія. Но солнце новой эпохи уже взошло надъ дѣятелями современнаго поколѣнія. Трезвое міросозерцаніе матеріалистовъ возьметъ верхъ надъ отсталыми тенденціями русской печати. Матеріализмъ одолѣетъ—въ этомъ нельзя сомнѣваться. Каноника матеріализма вытѣснитъ ветхіе учебники идеализма и спиритуализма! Вотъ коренное убѣжденіе Писарева. Вотъ тѣ мысли, которыя, по его собственнымъ словамъ, вылились изъ глубины его души и составляютъ основу цѣлаго міросозерцанія [1]). Критерій жизни указанъ твердо, безъ всякихъ оговорокъ, безъ малѣйшихъ уступокъ кому-бы то ни было — не такъ, какъ въ статьѣ Антоновича, и почти съ такою-же силою, съ какою указывалъ его въ свое время творецъ реалистической эпохи Чернышевскій. И съ этимъ критеріемъ не трудно разобраться въ явленіяхъ современной русской литературы. Обращаясь къ статьямъ Лаврова и къ нѣкоторымъ рецензіямъ Антоновича, Писаревъ сразу-же ставитъ вопросъ на подходящую для него почву. Въ разборѣ философскаго лексикона Гогоцкаго критикъ «Современника» сражается съ вѣтряными мельницами, говоритъ онъ. Такая борьба недостойна развитого человѣка. Сочувствуя «свѣжему и здоровому направленію мысли» Антоновича, молодой критикъ «Русскаго Слова» выражаетъ сожалѣніе о томъ, что эти свѣжія силы потратились «на опроверженіе чепухи, которая никого даже не введетъ въ соблазнъ, которую, навѣрное, не возьметъ въ руки ни одинъ читатель Современника». О Лавровѣ Писаревъ судитъ, если это возможно, еще съ большей категоричностью. Слабая сторона этого писателя заключается въ отсутствіи *субъективности*, опредѣленныхъ и цѣль-

[1]) «Русское Слово», 1861 г. Май, *Схоластика XIX в.*, стр. 70.

ныхъ философскихъ убѣжденій. Его «Бесѣды о современномъ значеніи философіи» совершенно обошли вопросы, поднятые въ этой области новѣйшей школой мыслителей. Онъ съ особеннымъ стараніемъ скрылъ свою личность такъ, что добраться до нея нѣтъ рѣшительно никакой возможности. «Не рѣшаясь высказать ни одного яснаго и опредѣленнаго сужденія, Лавровъ не выходитъ изъ общихъ мѣстъ элементарной логики, психологіи и эстетики, которую преподаютъ въ гимназіяхъ подъ названіемъ теоріи словесности». То, что Лавровъ называетъ философіею, отрѣшено отъ почвы, лишено плоти и крови, представляетъ наборъ словъ, не имѣющихъ серьезнаго значенія. Это—схоластика, праздная игра ума, въ которую можно играть съ одинаковымъ успѣхомъ въ Англіи и въ Алжирѣ, въ Небесной Имперіи и въ современной Италіи. Лавровъ бьется надъ разрѣшеніемъ тонкихъ вопросовъ отвлеченной мысли, но спрашивается, какая естественная, жизненная потребность въ этихъ задачахъ, непонятныхъ для человѣка, одареннаго простымъ здравымъ смысломъ? Отвлеченности могутъ быть интересны, по мнѣнію Писарева, только для ненормально развитого меньшинства общества. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массѣ, восклицаетъ Писаревъ. Что за искусство, произведеніями котораго могутъ наслаждаться только спеціалисты. «Если наука и искусство мѣшаютъ жить, если они разъединяютъ людей, если они кладутъ основаніе кастамъ, такъ и Богъ съ ними, мы ихъ знать не хотимъ. Но это неправда: истинная наука ведетъ къ *осязательному* знанію, а то, что осязательно, что можно разсмотрѣть глазами и ощупать руками, то пойметъ и десятилѣтній ребенокъ и простой мужикъ, и свѣтскій человѣкъ, и ученый спеціалистъ». Сдѣлавъ затѣмъ нѣкоторыя выписки изъ философскихъ чтеній Лаврова, Писаревъ заключаетъ: приведенныя цитаты показываютъ ясно, что Лавровъ склоняется къ такому міросозерцанію, съ которымъ онъ, Писаревъ, не имѣетъ никакихъ точекъ соприкосновенія. Писаревъ расходится съ Лавровымъ и въ теоретической, и въ практической области: и тутъ, и тамъ они идутъ различными путями. «Я все основываю на непосредственномъ чувствѣ, пишетъ Писаревъ,—Лавровъ строитъ все на размышленіи и на системѣ. Я требую отъ философіи *осязательныхъ* результатовъ. Лавровъ довольствуется безцѣльнымъ движеніемъ мысли въ сферѣ формальной логики». Въ нравственной философіи ихъ взгляды діаметрально противоположны: Лавровъ требуетъ идеала и цѣли жизни внѣ ея процесса, — Писаревъ совершенно устраняетъ вопросъ объ идеалѣ и цѣли и видитъ въ жизни только процессъ. Лавровъ останавливается передъ аскетами съ особеннымъ уваженіемъ,—Писаревъ даетъ себѣ право пожалѣть объ аскетѣ, какъ пожалѣлъ-бы онъ о слѣпомъ, о безрукомъ, о сумасшедшемъ. Лавровъ «видитъ въ человѣчности какой-то сложный продуктъ нравственныхъ *спецій* и ингредіентовъ», — Писаревъ полагаетъ, «что полнѣйшее

проявленіе человѣчности возможно только въ цѣльной личности, развившейся совершенно безъискусственно и самостоятельно, не сдавленной служеніемъ разнымъ идеаламъ, не потратившей силъ на борьбу съ собой». Затѣмъ, кинувъ нѣсколько самоувѣренныхъ словъ о томъ, что онъ не намѣренъ ни съ кѣмъ вступать въ «словопреніе», что онъ считаетъ всякую умственную и нравственную пропаганду до нѣкоторой степени посягательствомъ на чужую свободу, Писаревъ кончаетъ разговоръ съ Лавровымъ пренебрежительной фразой: «Вскую шаташася языцы!»... Вотъ этотъ удалой свистъ новаго богатыря реализма. Вотъ настоящій сподвижникъ Чернышевскаго, который въ скоромъ времени займетъ его мѣсто въ сознаніи русскаго общества и дастъ новое движеніе идеямъ, уже захватившимъ его.

Но Лавровъ не оставилъ безъ возраженія рецензій Антоновича и Писарева. Въ двухъ статьяхъ, носящихъ названіе «Моимъ критикамъ», онъ убѣжденно возстаетъ противъ узкихъ, ограниченныхъ понятій своихъ оппонентовъ, возражаетъ имъ твердыми доводами науки и морали, и, разставаясь на долгое время съ журналистикою, выражаетъ искреннее огорченіе, что ему приходится вести междоусобную борьбу съ людьми взвѣстныхъ практическихъ тенденцій. Рѣзкимъ словомъ онъ осуждаетъ недобросовѣстные, клеветническіе пріемы Антоновича въ спорѣ съ противниками и тонко подчеркиваетъ его неприличныя, бравурныя выходки въ разныхъ направленіяхъ, его некомпетентность въ нѣкоторыхъ научныхъ вопросахъ, о которыхъ онъ разсуждаетъ съ такою самоувѣренностью. Тономъ несочувствія Лавровъ говоритъ о той школѣ, къ которой принадлежитъ Антоновичъ, о томъ кругѣ, въ которомъ онъ развился и дѣйствуетъ. Его чувство порядочности оскорблено этой презрительной манерой сотрудниковъ «Современника» трактовать людей, съ которыми они въ чемъ-либо не солидарны, бросать имъ въ лицо искаженные факты, сплоченные эфемерными предположеніями. Самъ онъ человѣкъ иной школы, иныхъ литературныхъ пріемовъ, хотя у него съ Писаревымъ и Антоновичемъ «одни и тѣ-же практическія требованія, одни и тѣ-же враги, одни и тѣ-же затрудненія». За общими оговорками, имѣющими важное значеніе при обозрѣніи русскаго либеральнаго движенія, въ которомъ Лавровъ никогда не игралъ двусмысленной роли, слѣдуютъ отчетливыя возраженія обоимъ критикамъ по затронутымъ вопросамъ. Лавровъ подробно доказываетъ, что послѣдовательный матеріализмъ долженъ превратить въ ничто всякую высшую нравственную оцѣнку идей и дѣйствій, долженъ развивать въ обществѣ безучастное, индиферентное отношеніе къ вопросамъ жизни. Какъ-бы вспоминая пустую браваду Писарева противъ долга, Лавровъ говоритъ: нѣтъ никакой возможности представить себѣ человѣка, который не признавалъ-бы нравственнаго суда надъ собою и надъ другими,—такой уродъ невозможенъ. Матеріализмъ,

развивавшійся послѣдовательно, приходитъ къ идеалу, которому никто въ дѣйствительности не слѣдуетъ. Имѣя узкое значеніе въ опредѣленной области, онъ дѣлается совершенно ничтожнымъ, когда вторгается въ чуждую ему сферу психическихъ и нравственныхъ явленій. Не обнимая всѣхъ сторонъ человѣческаго характера, съ его различными потребностями и влеченіями, онъ не можетъ толкать къ исполненію того завѣта, который самъ Писаревъ предначертываетъ человѣку, говоря: «старайтесь жить *полною* жизнью, не дрессируйте, не ломайте себя, не давите оригинальности и самобытности въ угоду заведенному порядку и вкусу толпы»...

Въ то самое время, когда Лавровъ такимъ образомъ возражалъ своимъ опонентамъ и путемъ простыхъ и ясныхъ логическихъ доказательствъ проводилъ мысль о необходимости болѣе просвѣщеннаго отношенія къ интересамъ человѣческаго духа, Антоновичъ напрягалъ свои силы, чтобы подкопать на русской почвѣ философію Гегеля. Въ августовской книжкѣ «Современника» онъ выходитъ на битву съ діалектическимъ методомъ, съ послѣдней грандіозной системой идеализма, вооружившись при этомъ только что появившейся въ русскомъ переводѣ книгой Гайма: «Гегель и его время». Рецензія Антоновича заключаетъ въ себѣ, кромѣ страннаго изложенія главныхъ принциповъ гегелевской системы, рядъ веселыхъ, побочныхъ разсужденій, съ разными публицистическими вывертами, о туманности философскаго языка вообще, о консервативныхъ тенденціяхъ Гегеля, какъ политическаго философа, и о достоинствахъ труда Гайма, разбившаго въ пухъ и прахъ эту сухую схоластику, эти крайнія нелѣпости идеализма, это извращеніе здраваго смысла и разсудка! Иногда Антоновичъ не двусмысленно намекаетъ на глупость Гегеля. Въ другихъ мѣстахъ онъ взываетъ къ трезвому русскому уму, приглашая его покончить дѣла со всякой философіей. Окидывая быстрымъ взглядомъ положеніе философіи въ Россіи, Антоновичъ вдругъ приходитъ къ убѣжденію, что Гегель нашелъ свое воплощеніе въ Катковѣ. Представляя себѣ, пишетъ онъ, состарившуюся фигуру Гегеля, какъ онъ изображенъ въ сочиненіи Гото, съ полуугаснувшими, повиснувшими и опустившимися чертами, когда онъ, усталый и угрюмый, сидитъ на своемъ профессорскомъ креслѣ и бранитъ мелкую философію чувства и поверхностнаго разсудка, невольно вспоминаешь «прообразъ нашего Русскаго Вѣстника, съ высоты своего величія мечущаго громы на мальчишескую философію, дерзающую взиматься даже на его собственную, солидную и степенную философію»... Въ такихъ и подобныхъ чертахъ Антоновичъ передаетъ существо Гегелевской философіи, которую онъ оспариваетъ то дешевыми остротами, то запутанными логическими соображеніями, лишенными научнаго содержанія и не обнаруживающими даже полнаго знанія предмета. Категорическое, хотя бездоказательное,

осужденіе замѣчательнѣйшей, по широтѣ горизонта и содержанія, идеалистической системы постоянно преслѣдуетъ читателя въ безцеремонныхъ фразахъ. Многословный, но пустой либерализмъ, не преодолѣвъ добросовѣстнымъ усиліемъ мысли ни одного теоретическаго положенія Гегеля, торжествуетъ легкую побѣду и надъ самимъ Гегелемъ и надъ многочисленными его приверженцами, «размазывающими» въ журналахъ и отдѣльныхъ трактатахъ его ученіе. Вся статейка носитъ какой-то разудалый характеръ, весьма мало подходящій для разсужденій на серьезныя научныя и философскія темы.

Статьи Антоновича и въ свое время не внушали къ себѣ особеннаго довѣрія. Люди противоположнаго ему лагеря не разгорячались на споръ съ нимъ, не вступали съ нимъ въ принципіальную борьбу, которую имѣлъ способность разжигать Чернышевскій. Катковъ пренебрежительно отдѣлывается отъ него притворнымъ непониманіемъ его руководящихъ идей, а ядовитый Страховъ, иронически пошутивъ надъ его статьею о Гегелѣ и коварно подмигнувъ редактору «Времени», гдѣ напечатана его замѣтка по поводу Антоновича, заканчиваетъ свои разсужденія невиннымъ по формѣ, но компрометирующимъ по содержанію наставленіемъ. Позволительно не знать философіи, пишетъ онъ, но никакъ не извинительно писать о философіи, когда ея не знаешь. Не имѣя глубокихъ познаній, можно и должно имѣть чувство истины, можно и должно быть скромнымъ и не бросать пыли въ глаза малосвѣдущимъ людямъ мнимымъ глубокомысліемъ. Знаніе и умъ не составляютъ высшаго достоинства человѣка: въ человѣкѣ мы болѣе любимъ твердость характера и глубину сердца. Знаніе не обязательно, да оно и не всѣмъ доступно. Нельзя требовать, чтобы всякій былъ философомъ. Но всякій обязанъ быть честнымъ человѣкомъ—и это всѣмъ доступно...

III.

Мы не изобразили бы того, что дѣлалось въ журналистикѣ 60-хъ годовъ, если-бы не разсмотрѣли еще одного важнаго явленія въ русской литературѣ того времени. Въ 1861 г. въ С.-Петербургѣ сталъ издаваться новый литературно-политическій журналъ подъ редакціей М. Достоевскаго, «Время», въ которомъ принимали участіе многія крупныя силы русскаго искусства и между ними, превосходя прочихъ сотрудниковъ журнала не только поэтическимъ геніемъ, исключительнымъ художественнымъ дарованіемъ, но и экстазомъ агитатора и проповѣдника—Ѳ. М. Достоевскій. Журналъ этотъ выходилъ не долго. Съ выпускомъ апрѣльской книги 1863 г. «Время» прекратило свое существованіе, но за этотъ короткій періодъ журналъ успѣлъ внести въ литературу 60-хъ годовъ нѣсколько важныхъ идей и мыслей, выраженныхъ съ необычайною

страстью и пророческимъ энтузіазмомъ. Самъ Достоевскій открылъ въ немъ «Рядъ статей о русской литературѣ». Статьи эти не подписаны, но ихъ слогъ, характеръ ихъ доказательствъ, ихъ поразительные образы, какъ-бы охваченные огнемъ, тонъ фанатическаго убѣжденія, который каждую минуту готовъ перейти въ изступленный крикъ,—все это съ очевидностью удостовѣряетъ, кто именно авторъ этихъ пяти статей, напечатанныхъ въ теченіе перваго же года изданія «Времени». Начавъ читать вступительный очеркъ, сразу чувствуешь себя во власти необычайнаго таланта, и по мѣрѣ того, какъ переворачиваешь страницу за страницей, съ затаеннымъ дыханіемъ всматриваясь въ эту непривычную для журнальной литературы логику, въ эту разгоряченную діалектику, въ эти фразы, отражающія смятенную и вдохновенную душу, передающія жажду страданія и подвига, безпредѣльную вѣру въ важную задачу русскаго народа, въ воображеніи самъ собою встаетъ образъ Достоевскаго. Никто, кромѣ Достоевскаго, не говорилъ послѣ Гоголя о Пушкинѣ съ такимъ увлеченіемъ. Никто не проникъ въ творчество Пушкина съ такою необычайною прозорливостью. Эти разсужденія о народности Пушкинской поэзіи, о великомъ значеніи Пушкинской традиціи для всей русской литературы, могли выйти только изъ подъ его пера. Въ 60-хъ годахъ разсужденія Достоевскаго не должны были произвести надлежащаго впечатлѣнія. Въ «Современникѣ» господствовалъ Чернышевскій, который вносилъ въ журнальное дѣло много разсудочной страсти, но ни единой капли извнутри идущаго, въ глубинѣ души развивающагося чувства. Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» все громче раздавалось консервативное обличеніе Каткова и грохотало на всю Россію. Опредѣленное убѣжденіе уступало мѣсто яростному озлобленію, которое никого и ничего не щадило, металось во всѣ стороны, ища видныхъ жертвъ на алтарь казеннаго патріотизма. Въ «Русскомъ Словѣ» пробивались только первые ростки смѣлой по формѣ, но еще не сильной по содержанію реалистической критики. Ни въ одномъ изъ журналовъ разсматриваемой эпохи мы не найдемъ такой глубокой психологіи, такого внутренняго движенія и напряженія, какъ во «Времени». Съ необычайною художественною силою Достоевскій изливаетъ въ рядѣ статей свое міровоззрѣніе, которое у него уже окрѣпло и сложилось въ твердо сплоченную систему. Съ его взглядами можно спорить, но, воспринимая ихъ въ томъ видѣ, въ какомъ они предстали передъ русской публикой 60-хъ годовъ, вмѣстѣ съ идеями другихъ журналовъ, не переставшихъ полемизировать другъ съ другомъ, нельзя не видѣть того, что такъ высоко поднимаетъ ихъ надъ общимъ уровнемъ публицистической литературы того времени. Волнуясь и постоянно зажигаясь вопросами объ исторической миссіи русскаго народа, никогда не поддаваясь прозаическимъ настроеніямъ, съ горячей вѣрой подходя къ задачамъ текущей жизни, Достоевскій

является какимъ-то исключительнымъ человѣкомъ среди этихъ самоувѣренныхъ дѣятелей современной печати. Слово его пылаетъ, его убѣжденія озарены религіознымъ свѣтомъ. Онъ споритъ отрывочно, безъ докторальности, перебивая разсужденія длинными отступленіями, оговорками, имѣющими личный характеръ, но моментами рѣчь его вспыхиваетъ, какъ костеръ сухихъ сучьевъ, а двѣ-три тирады, краснорѣчивыя, какъ библейская проповѣдь, довершаютъ впечатлѣніе отъ этой исключительной, небывалой журнальной пропаганды. Громы Каткова кажутся, по сравненію съ этими жгущими статьями, какою-то непріятною, раздражающею чувство порядочности аффектаціею огромнаго, до сладострастія преувеличеннаго эгоизма — по выраженію самого Достоевскаго. Холодныя нападки «Русскаго Вѣстника», эти надменныя полемическія статьи противъ дѣятелей современнаго прогресса, безъ единой черты сердечнаго увлеченія и горячей любви къ чему бы то ни было, это блестящее политическое резонерство безъ нравственнаго ядра, съ литературными пріемами, внушенными духомъ произвола, бѣлаго террора—меркнутъ и блѣднѣютъ передъ летучими журнальными фельетонами Достоевскаго, писанными кровью сердца. Предъ краснорѣчіемъ Достоевскаго кажется ничтожнымъ и напыщеннымъ славянофильское краснорѣчіе Аксакова, бурно разливавшееся въ то время на страницахъ «Дня». Подлѣ этого юродствующаго, какъ должно было казаться фрачной интеллигенціи, Достоевскаго—съ болѣзненнымъ, исковерканнымъ отъ нервнаго недуга лицомъ, съ лихорадочно горящими глазами, съ безобразной, тщедушной, сутуловатой фигурой въ истрепанномъ, старомъ и пыльномъ платьѣ, подлѣ этого Достоевскаго величавая фигура Ивана Аксакова, напоминающая московскаго боярина въ собольей шубѣ и шапкѣ,—съ плавной и твердой походкой, съ раскатистой рѣчью, богато прикрашенной коренными русскими словцами и полу-поэтическими, полу-витіеватыми уподобленіями, — производитъ несерьезное, блѣдное впечатлѣніе. Это какъ бы дѣйствующее лицо изъ характерной бытовой комедіи, противопоставленное герою шекспировской трагедіи, съ захватывающимъ психологическимъ содержаніемъ. Одинъ отразилъ въ себѣ показную сторону народнаго характера, другой сосредоточилъ въ себѣ сокровенное движеніе народной души, съ ея фанатическими инстинктами, съ ея идеалистическими стремленіями къ состраданію и къ героическому страданію. Рѣчь Аксакова течетъ, какъ полноводная рѣка, вздуваясь отъ патріотическаго самодовольства, бурля и играя вокругъ подводныхъ камней, съ легкимъ плескомъ обѣгая скалистые утесы. Полемическое слово Достоевскаго звучитъ, какъ пронзительный крикъ, внезапно раздавшійся среди смутнаго ропота толпы при видѣ человѣка, влекомаго палачами на плаху. Никто такъ, какъ Достоевскій, не полемизировалъ съ Катковымъ и

Аксаковымъ. Въ литературѣ 60-хъ годовъ его статьи, написанныя на публицистическія темы, должны быть признаны, по своему моральному содержанію и тону, самымъ замѣчательнымъ явленіемъ эпохи. По традиціи Достоевскій въ этой сферѣ явился продолжателемъ Гоголя, которому онъ слѣдовалъ въ своей фанатической любви къ Пушкину, которому онъ былъ равенъ силою духовнаго восторга. Въ статьяхъ его, напечатанныхъ во «Времени», мы находимъ всѣ элементы, изъ которыхъ сложилась его безсмертная рѣчь на Пушкинскомъ праздникѣ 8 іюня 1880 года: идею общечеловѣчности, носителемъ которой долженъ быть русскій народъ, и взглядъ на русское искусство, какъ на полное откровеніе народныхъ идеаловъ.

Вотъ что писалъ Достоевскій въ своемъ введеніи къ «Ряду статей о русской литературѣ». Россія начинаетъ помаленьку «ощупываться», приходить въ себя, вникать въ свою великую историческую задачу. Она поняла, послѣ длиннаго опыта вѣковъ, что одинъ только есть цементъ, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и соединится—«это всеобщее духовное примиреніе, начало которому лежитъ въ образованіи». Молодая Россія засвидѣтельствовала себя цѣльными, органическими явленіями, новою нравственностью, ревниво слѣдящею за собою, благороднымъ самоосужденіемъ, строгою совѣстливостью. Идея общечеловѣчности распространяется все шире и шире. Въ нѣсколькихъ намекахъ Достоевскій рисуетъ намъ Гоголя и Лермонтова, какъ наиболѣе полныхъ представителей русской самокритики на почвѣ изящной литературы. Были у насъ демоны, настоящіе демоны, восклицаетъ онъ, — ихъ было два, и какъ мы любимъ и цѣнимъ ихъ. Одинъ изъ нихъ смѣялся всю жизнь надъ собой и надъ нами. Онъ постигъ человѣческую натуру съ необычайною глубиною. Изъ пропавшей у чиновника шинели онъ сдѣлалъ намъ ужаснѣйшую трагедію. Въ двухъ-трехъ строкахъ онъ ставитъ предъ нами цѣлаго человѣка. Ему стоило указать пальцемъ на мерзавца, и на лбу его зажигалось на вѣки вѣковъ клеймо. «О, это былъ такой колоссальный демонъ, какого у насъ никогда не бывало»! Другой демонъ проклиналъ и мучился. Онъ мстилъ и прощалъ, писалъ и хохоталъ, былъ великодушенъ и смѣшонъ. Онъ любилъ нашептывать фантастическія сказки заснувшей молодой дѣвочкѣ, смущать ея дѣвственную кровь, рисовать передъ нею странныя видѣнія, «о которыхъ ей не слѣдовало бы грезить, особенно при такомъ высоко-нравственномъ воспитаніи, которое она получила». Онъ разсказывалъ намъ свою жизнь, свои любовныя продѣлки. Вдругъ ему наскучило съ нами. Онъ проклялъ насъ и осмѣялъ «насмѣшкой горькою обманутаго сына надъ промотавшимся отцомъ». Онъ скрылся куда-то и, наконецъ, погибъ безцѣльно, капризно и даже смѣшно... Вотъ та литература, которой Достоевскій сочувствуетъ

всѣми силами своей страстной души. Свобода слова и свобода вдохновенія ему кажутся настоящею святынею. Чѣмъ смѣлѣе сатира, чѣмъ она глубже проникаетъ въ язвы общества, тѣмъ она лучше, народнѣе, тѣмъ она ближе подходитъ къ высокой національной задачѣ. Ничтожнымъ ему кажется только обличеніе мелкое, буфонствующее, хотя и его онъ не осуждаетъ. О современной ему обличительной прессѣ онъ выражается съ оттѣнкомъ легкой, едва замѣтной насмѣшки. Какъ воспользовались люди таланта открывшеюся гласностью? Кто явился преемникомъ Гоголя? Посмотрите кругомъ себя, и вы увидите печальную правду, говоритъ Достоевскій. Громко звякнула лира Розенгейма, раздался густой голосъ Громеки, мелькнули братья Мелеанты. Закишѣли безсчетные иксы и зеты съ жалобами другъ на друга въ газетахъ и повременныхъ изданіяхъ. Явились поэты, прозаики — такіе поэты и прозаики, которыхъ могла призвать къ жизни только обличительная литература. Гласность смѣшалась съ литературой скандаловъ [1]). Но мы любимъ гласность, восклицаетъ онъ. Мы ласкаемъ ее, какъ новорожденное дитя. «Мы любимъ этого маленькаго бѣсенка, у котораго только что прорѣзались его маленькіе, крѣпкіе и здоровые зубенки. Онъ иногда невпопадъ кусаетъ, онъ еще не умѣетъ кусать, часто, очень часто онъ не знаетъ кого кусать. Но мы смѣемся его шалостямъ, его дѣтскимъ ошибкамъ, и смѣемся съ любовью... Молодая, неопытная сила бьетъ здоровымъ ключомъ и рвется наружу». Обличеніе, настоящее обличеніе должно расчистить дорогу къ труду, къ жизненному подвигу. Полно горемычничать, взываетъ Достоевскій. Не говорите, что у насъ нѣтъ поля для широкой дѣятельности. Научите мальчика грамотѣ — вотъ вамъ дѣятельность, достойная вашихъ громадныхъ силъ. Подвигайтесь хоть вершками и забудьте о томъ, что вы призваны къ инымъ, болѣе высокимъ задачамъ. Вы желаете исполинской дѣятельности — хотите, и мы дадимъ вамъ такую, которая выше всѣхъ вашихъ ожиданій. «Вотъ она: пожертвуйте для всеобщаго блага всѣмъ вашимъ великанствомъ, шагайте вмѣсто семи миль по вершку, пожертвуйте всѣмъ—и великой природой вашей, и великими идеями, помня, что все это для всеобщаго блага, снизойдите, снизойдите до мальчика. Это будетъ колоссальнѣйшая жертва!»... Такъ выступалъ Достоевскій на поприщѣ журналистики—среди шумной полемики между различными изданіями, въ тотъ моментъ, когда Чернышевскій достигъ зенита публицистической славы и когда Юркевичъ едва только сдѣлалъ свой первый шагъ противъ философа «Современника». Минута была многознаменательная. Литературныя партіи, едва только намѣтившіяся, должны были окончательно выясниться въ новой борьбѣ

[1]) „Время“, 1861 г., Январь: *Критическое Обозрѣніе*, стр. 23—24.

между виднѣйшими петербургскими и московскими журналами. Въ это время сказалъ свое публицистическое слово Достоевскій. Онъ не могъ примкнуть къ «Современнику», потому что его раздѣляютъ съ Чернышевскимъ всѣ его литературныя симпатіи, взглядъ на самую задачу искусства. Съ Катковымъ онъ не имѣетъ ничего общаго, и путь угрожающаго консерватизма, на который поворачивалъ московскій публицистъ, былъ совершенно чуждъ ему. Достоевскій съ геніальною чуткостью сразу прозрѣлъ, куда направляется и какихъ цѣлей добивается Катковъ. Въ то самое время, когда Чернышевскій, укушенный презрительной насмѣшкой Каткова, еще находилъ возможнымъ надѣяться на какое-то примиреніе съ нимъ, Достоевскій уже сказалъ о немъ вѣское, обличительное слово. Отъ Аксакова его отдѣлялъ болѣе глубокій взглядъ на природу русскаго человѣка и на суть христіанства. Онъ стоялъ совершенно одиноко, окруженный немногими единомышленниками, среди разношерстныхъ представителей тогдашней печати—съ вѣрою, что европейское просвѣщеніе, воспринятое на русской почвѣ, должно дать великихъ борцовъ за идею всечеловѣчности.

Перейдя въ слѣдующей книжкѣ журнала къ наиболѣе жгучимъ вопросамъ литературы, Достоевскій критикуетъ разные современные взгляды на задачу искусства. Съ удивительною тонкостью онъ обнаруживаетъ и ошибки тѣхъ, которые зищищаютъ, такъ называемую, теорію искусства для искусства, и ошибки утилитаристовъ, не признающихъ за искусствомъ никакой самостоятельной роли въ умственномъ развитіи общества. Точка зрѣнія Достоевскаго выше эстетической философіи обѣихъ школъ. Его анализъ вскрываетъ до глубины содержаніе предмета. По его мнѣнію, вопросъ объ искусствѣ поставленъ въ русской литературѣ совершенно невѣрно, ложно, въ полномъ противорѣчіи съ истинными законами художественнаго творчества. Русская критика, говоритъ онъ, пошлѣетъ и мельчаетъ. Настоящая литература развивается помимо этой критики, не находя въ ней отзыва и поддержки своимъ симпатіямъ, своимъ думамъ и стремленіямъ. Большіе и малые таланты являются безъ ея вѣдома и участія, пріобрѣтая значеніе собственными силами. Какими-то странными загадками кажутся намъ, говорится въ другой статьѣ, напечатанной спустя нѣсколько мѣсяцевъ, нѣкоторыя художественныя произведенія на страницахъ такого изданія, какъ «Современникъ»: они намекаютъ на другой міръ, на другіе вопросы, давно уже низвергнутые и сглаженные въ критическомъ отдѣлѣ журнала. Въ нихъ откликается жизнь, невѣдомая и непонятная узкимъ доктринерамъ. Авторы съ настоящимъ поэтическимъ талантомъ ищутъ объясненія различныхъ литературныхъ вопросовъ не въ статьяхъ Добролюбова, а въ статьяхъ другихъ, болѣе чуткихъ къ искусству писателей, менѣе его замѣтныхъ среди современныхъ дѣятелей печати, но болѣе

его постигающихъ тайну поэтическаго слова [1]). Въ характерныхъ фразахъ Достоевскій рисуетъ и обсуживаетъ эстетическіе и утилитарные взгляды русскихъ журналистовъ. Борцы за чистое искусство требуютъ, чтобы оно не ставило себѣ никакихъ цѣлей, говоритъ онъ. Искусство должно, по ихъ мнѣнію, дѣйствовать тихо, ясно, не торопясь, не увлекаясь въ стороны. Обличительная литература возбуждаетъ въ нихъ искреннее негодованіе. Утилитаристы требуютъ, чтобы искусство приносило прямую, немедленную, непосредственную пользу. Достоевскій возражаетъ и тѣмъ и другимъ. Искусство не должно ограничивать своего содержанія, и вотъ почему обличительная литература, проникнутая талантомъ, поднятая на извѣстную художественную высоту, должна быть признана совершенно законнымъ явленіемъ. Творчество свободно. Не погрѣшая противъ своихъ коренныхъ законовъ, оно можетъ пользоваться всѣми доступными ему матеріалами жизни. Утилитаристы требуютъ прежде всего дѣла, считая альбомными побрякушками настоящія поэтическія произведенія, чуждыя интересамъ минуты. Но художественность и есть самый лучшій, самый убѣдительный, самый безспорный и понятный способъ передачи въ образахъ того дѣла, о которомъ они хлопочутъ. Писатель безъ таланта — все равно, что хромой солдатъ. Потребность красоты и творчества, воплощаемая въ искусствѣ, неразлучна съ человѣкомъ, и она развивается въ немъ именно тогда, когда онъ въ разладѣ съ дѣйствительностью, когда онъ борется съ нею, когда онъ ищетъ въ ней идеальнаго совершенства. Этой потребности жизнь современная и жизнь какого нибудь минувшаго историческаго момента можетъ дать одинаково полное удовлетвореніе. Въ прошедшей жизни народовъ, съ ея могущественно и величаво законченными формами, художникъ слышитъ откликъ своей поэтической мечтѣ. Въ энтузіазмѣ къ тому, что было, душа его находитъ утоленіе своему недовольству настоящимъ. Конечно, говоритъ Достоевскій, можетъ существовать и такой «гаденькій антологическій червячекъ, который потерялъ все чутье дѣйствительности, который перебрался въ прошедшее и поселился тамъ, не подозрѣвая ни себя, ни жизненныхъ мукъ, ни здѣшняго прихода». Но развѣ лучше такого «антологическаго червячка» эти безчисленныя толпы «грошевыхъ прогрессистовъ, съ убѣжденіями напрокатъ, съ совѣстью напрокатъ, съ жалкимъ умишкомъ, вскочившимъ на фразу и выѣзжающимъ на ней подбоченясь?» Настоящее искусство всегда современно, и если намъ иногда кажется, что оно не служитъ важнымъ цѣлямъ текущей дѣйствительности, то это происходитъ только отъ излишняго жара въ нашихъ желаніяхъ немедленной, прямой и непосредственной пользы.

---

[1]) „Время“ 1862 г. Мартъ: Н. А. Добролюбовъ, стр. 53.

Съ такими взглядами на задачу литературы, на цѣли искусства дебютировало «Время». Оцѣнка литературной дѣятельности Добролюбова, сдѣланная въ этомъ журналѣ, отличается полною добросовѣстностью. Не отказывая критику «Современника» въ литературномъ дарованіи, въ умѣньи вести живую бесѣду съ читателемъ, молодой журналъ рѣшительно расходится съ нимъ въ главномъ вопросѣ о художественномъ творчествѣ, о значеніи Пушкина въ русской литературѣ. «Пушкинъ, восклицаетъ Достоевскій — знамя, точка соединенія всѣхъ жаждущихъ образованія и развитія, потому что онъ наиболѣе художественъ, чѣмъ всѣ наши поэты, наиболѣе простъ, наиболѣе плѣнителенъ, наиболѣе понятенъ». Относясь снисходительно къ сатирической дѣятельности «Свистка», объясняя высшими мотивами появленіе публицистической критики въ русской литературѣ, Достоевскій своимъ глубокимъ умомъ не могъ не видѣть, однако, что новѣйшее движеніе въ журналистикѣ задержало ростъ идей, необходимыхъ для полнаго развитія общества. Въ статьѣ, напечатанной въ мартовской книгѣ «Времени» и подписанной длиннымъ псевдонимомъ: *Одинъ изъ многихъ ненужныхъ людей* (Ап. Григорьевъ), мы находимъ очень злую, но, по существу, правдивую характеристику умственнаго уровня, на которомъ стоитъ дѣйствующая журналистика. Эпоха тревожнаго броженія идей пропала для настоящаго времени, пишетъ авторъ. Мы занимаемся перетряскою вопросовъ, о которыхъ уже писалъ Бѣлинскій. Мы умиленно наслаждаемся резонерствомъ Добролюбова, которое не требуетъ никакого мышленія. Мы похожи на солдатъ, которые, вполнѣ вооруженные, шли въ ночной темнотѣ, готовые на бой. На разсвѣтѣ имъ внезапно былъ указанъ другой пунктъ назначенія—и они кинулись стремглавъ, побросавши даже оружіе...

Отношеніе «Времени» къ «Современнику» опредѣлилось разъ навсегда. Пунктомъ разногласія между обоими журналами служилъ вопросъ объ искусствѣ вообще и въ частности о Пушкинѣ. Съ прозорливостью генія Достоевскій угадалъ и понялъ, что именемъ Пушкина сначала раздѣлится, а потомъ объединится русская литература, а за нею и вся русская интеллигенція. Пушкинъ—вотъ наше знамя, восклицаетъ Достоевскій, и надо сказать правду: на почвѣ русской жизни, къ которой взывало «Время», въ русскомъ обществѣ, въ началѣ преобразовательной эпохи, искавшей руководящаго принципа для культуры страны, именно Пушкинъ, и никто другой, долженъ былъ дать направленіе литературной работѣ новыхъ поколѣній. Эта патетическая мысль о Пушкинѣ во множествѣ варіантовъ повторяется въ различныхъ статьяхъ журнала, написанныхъ его постоянными сотрудниками. Достоевскій разжигалъ ближайшихъ работниковъ «Времени» этимъ именемъ. Въ нѣкоторыхъ превосходныхъ статьяхъ Аполлона Григорьева чувствуется

горячее вліяніе Достоевскаго, его своеобразнаго, вдохновеннаго краснорѣчія—именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ талантливый критикъ заговариваетъ о Пушкинѣ. Геній Пушкина витаетъ надъ этимъ журналомъ. Въ летучихъ фельетонахъ, въ полемическихъ замѣткахъ, въ многочисленныхъ разборахъ произведеній литературы, «пропущенныхъ русской критикой», повсюду свѣтится имя Пушкина, окруженное ореоломъ страстнаго восторга и поклоненія. «Когда я произношу это дорогое имя, писалъ Страховъ въ 1861 г., то предъ этою великолѣпною дѣйствительностью вся наша современная журналистика вдругъ принимаетъ совершенно фантастическій, мечтательный видъ, и мнѣ кажется, что я попалъ въ царство тѣней. Для меня становится комическою дерзость тѣхъ, кто всуе произноситъ это имя. Дѣло, совершенное Пушкинымъ, представляется незыблемымъ памятникомъ: ни вихрь его, ни громъ не сломитъ быстротечный и времени полетъ его не сокрушитъ [1])»... Достоевскій подробно останавливается на Онѣгинѣ и на разборѣ этой художественной фигуры выясняетъ свою мысль о первыхъ проявленіяхъ русскаго народнаго самосознанія. Въ этомъ великая заслуга «Времени», которое сказало свое слово о родоначальникѣ русской литературы, когда на страницахъ «Современника» уже стали раздаваться первые свистки противъ настоящаго искусства. Дѣятельность Добролюбова приходила къ концу, и въ его статьяхъ мы встрѣчаемъ довольно часто мысли и фразы, предвѣщающія будущій дикій разгромъ Пушкинской поэзіи. Литературная карьера Писарева уже началась. Пройдетъ немного времени—и журнальное поле огласится громкимъ призывомъ къ войнѣ со всякой эстетикой подъ знаменемъ реализма, хохотомъ злораднаго глумленія надъ творцомъ Онѣгина и Татьяны.

За статьями, опредѣляющими разногласіе между «Временемъ» и «Современникомъ», слѣдуютъ статьи, полемизирующія съ Катковымъ и Аксаковымъ. Мы уже упоминали объ этой полемикѣ. Но подойдя къ ней ближе, нельзя не почувствовать волненія при видѣ этихъ поразительныхъ сраженій страстотерпца Достоевскаго съ холоднымъ, надменнымъ генераломъ важной московской редакціи. Контрастъ этихъ двухъ характеровъ выступаетъ въ ихъ полемикѣ съ необычайною силою. Угадавъ художественнымъ чутьемъ этого временщика и карьериста съ грубыми и деспотическими замашками, зная жалкое слабодушіе толпы, готовой, по первому сигналу наглаго человѣка, бѣшено надругаться надъ всякою святынею, надъ всѣмъ, что высоко, независимо и значительно въ исторіи людей, въ совершенствѣ постигнувъ разнузданный жаргонъ политиканствующихъ намѣстниковъ печати, Достоевскій мечетъ въ лицо Каткову словами, кипящими яростью презрѣнія и отвращенія.

[1]) «Время» 1861 г., августъ, *Нѣчто о полемикѣ*, стр. 140.

Онъ не стѣсняется никакою формою. Его полемическій фельетонъ рѣзко срываетъ маску съ искуснаго противника и показываетъ намъ его во всемъ его нравственномъ безобразіи посреди увлекаемой имъ, дико ликующей, ретроградной толпы. Онъ знаетъ настоящую цѣну молодецкой свистопляскѣ «Современника», но въ полемикѣ Чернышевскаго съ «Русскимъ Вѣстникомъ» онъ не возьметъ сторону Каткова. Чуя еще неисчерпанныя творческія силы общества, Достоевскій не можетъ особенно серьезно цѣнить или осуждать ту поверхностную публицистику передовыхъ журналовъ, которая выводитъ изъ себя московскаго публициста. Воюя съ «Русскимъ Вѣстникомъ», онъ постоянно призываетъ его обратиться къ настоящему источнику русской духовной культуры, не раздражаться юношеской игрою еще не развернувшихся силъ общества.

Уже въ первомъ полемическомъ фельетонѣ, носящемъ названіе «Свистокъ и Русскій Вѣстникъ», мы находимъ нѣсколько патетическихъ словъ, выражающихъ чисто-литературную точку зрѣнія Достоевскаго, и двѣ-три художественныхъ черты, въ которыхъ физіономія «Русскаго Вѣстника» выступаетъ съ необыкновенною силою. Онъ видитъ несправедливый гнѣвъ Каткова. Приведя его злую фразу, что русская литература есть литература безъ науки, маленькая, скудная литература, Достоевскій протестуетъ со страстью человѣка, обороняющаго предметъ своей глубокой вѣры. «Она совсѣмъ не скудная, пишетъ онъ: у насъ Пушкинъ, у насъ Гоголь, у насъ Островскій. Преемственность мысли видна въ этихъ писателяхъ, а мысль эта сильная, всенародная. Неужели явленіе Пушкина выработало намъ одинъ только языкъ? Неужели Русскій Вѣстникъ не видитъ въ талантѣ Пушкина могущественнаго олицетворенія русскаго духа и русскаго смысла?» Что такое русская литература? спрашиваетъ Катковъ. Вотъ вопросъ, на который Достоевскій можетъ отвѣчать только съ пламеннымъ краснорѣчіемъ. Что такое русская литература? Если-бы въ ней не было никого, кромѣ Пушкина, она все-таки была-бы велика. Возьмите только одно въ Пушкинѣ, восклицаетъ Достоевскій, только одну его особенность, не говоря о другихъ: «способность всемірности, всечеловѣчности, всеотклика». Пушкинъ усваиваетъ всѣ литературы міра, онъ понимаетъ каждую изъ нихъ до того, что отражаетъ въ своей поэзіи самый духъ ея, ея сокровенныя тайны. Онъ англичанинъ, испанецъ, мусульманинъ или гражданинъ древняго міра. Что такое русская литература? Пушкинъ—вотъ ея заря, вотъ ея солнце! А «Русскій Вѣстникъ» по поводу «Свистка» готовъ отрицать существованіе русской литературы! Что ни статья въ «Русскомъ Вѣстникѣ», то все громы и молніи противъ свистящихъ сотрудниковъ «Современника». Чернышевскій и Свистокъ,—Свистокъ и Чернышевскій! «Неужели-же Свистокъ, спрашиваетъ Достоевскій, такъ поразилъ Русскій Вѣстникъ, что онъ и въ бу-

дущемъ видитъ одни только ужасы для всего и для всѣхъ, и все оттого что въ Современникѣ есть маленькій отдѣльчикъ Свистокъ... Да Богъ съ нимъ,— съ Свисткомъ!»...

Въ другомъ фельетонѣ Достоевскій схватывается съ Катковымъ по вопросу о женской эмансипаціи. Катковъ писалъ: кто отнимаетъ права у женщины? Въ гражданскомъ отношеніи она ничѣмъ не уступаетъ мужчинѣ, не подлежитъ опекѣ, совершенно самостоятельна. Катковъ ссылается при этомъ на дѣйствующее законодательство. Но Достоевскій видитъ истинный смыслъ маневра Каткова. Неужели вы думаете убѣдить насъ, пишетъ онъ, обращаясь къ «Русскому Вѣстнику», что объ этомъ свидѣтельствѣ законовъ вы говорите серьезно, а не для пубики. Мы не повѣримъ вашимъ словамъ. Каткову хочется успѣха въ толпѣ для верха въ спорѣ, а не для истины. Ему хочется сочувственныхъ аплодисментовъ изъ среды полуинтеллигентнаго общества. «Ну, кого вы морочите? волнуясь и раздражаясь, восклицаетъ Достоевскій. Развѣ о законахъ тутъ идетъ дѣло? Дѣло о нашихъ домашнихъ нравахъ, о нашихъ обычаяхъ. Читали вы Семейную хронику? Помните, какъ жена Багрова цѣлый годъ прикладывала къ головѣ своей пластырь? Ха-ха-ха! восклицаете вы, вѣдь это было восемьдесятъ лѣтъ назадъ, теперь уже не бьютъ женщинъ... Вы совершенно правы, мы ошиблись, теперь не бьютъ женщинъ... Правда, у насъ нѣтъ амазонскихъ полковъ и женскихъ департаментовъ, но неужели-же женщина этого хочетъ? восклицаете вы. Браво! Ѳаддей Булгаринъ не сказалъ-бы лучше. За то смотрите, какой успѣхъ: ха-ха-ха! кричатъ кругомъ: амазонскіе полки, департаменты! Ха-ха-ха! молодецъ Русскій Вѣстникъ [1])»...

Наконецъ, показавъ отсутствіе у Каткова настоящаго литературнаго глазомѣра въ борьбѣ съ сатирическимъ отдѣломъ «Современника», разоблачивъ вульгарность его пріемовъ въ сужденіяхъ о правахъ женщины, Достоевскій съ конвульсивнымъ бѣшенствомъ набрасывается на него за его рѣзкія выходки противъ современныхъ прогрессивныхъ кружковъ. Открыто и смѣло защищаетъ онъ молодыя силы литературы, понося офиціозное чванство Каткова, какъ нахальную хлестаковщину [2]). Катковъ не умѣетъ ничему свято сочувствовать. Тоску и страданіе, исканіе истины съ его неизбѣжными ошибками и паденіями онъ считаетъ нигилистическимъ пустозвонствомъ. Все это не соотвѣтствуетъ его «тайной идейкѣ». На умѣ у него — выгода. Ему хочется провозгласить: «всѣ фальшиво поютъ, одинъ я соловей». Его загадочное спокойствіе, его легкость въ разсужденіяхъ — все это подозрительно. «Они показываютъ равнодушіе и обнаруживаютъ самолюбивый до сладострастія эгоизмъ»...

---

[1]) «Время» 1861 г., май. *Отвѣтъ Русскому Вѣстнику*, стр. 25.

[2]) Ibidem, октябрь. *По поводу эпической замѣтки Русскаго Вѣстника*, стр. 196.

Въ неустанныхъ повтореніяхъ перечисляя скверныя язвы Катковской дѣятельности, Достоевскій, въ пароксизмѣ ясновидѣнія, заканчиваетъ свой фельетонъ слѣдующимъ сокрушительнымъ предсказаніемъ: «Да, Русскій Вѣстникъ, мы уже вамъ пророчили прежде, что вы, — рано ли, поздно ли—поворотите на одну дорожку. Дорожка эта торная, гладкая. Вѣроятно, найдете и товарищей. Счастливый путь. И весело, и выгодно. Останавливать не будемъ» [1])...

Полемика «Времени» съ «Днемъ» Аксакова, начавшаяся въ 1861 г. и продолжавшаяся въ 1862 г., обнаружила смѣлое и рѣзкое отношеніе редакціи новаго журнала къ славянофильскому вопросу. Не соглашаясь съ типичными «западниками», «Время» не чувствуетъ себя солидарнымъ и съ проповѣдниками до-петровскаго строя жизни. Славянофильство, говоритъ оно, конечно, принесло свою пользу дѣлу изученія народнаго быта, оно указало значеніе земства въ нашей исторіи. Въ ѣдкихъ отзывахъ его о современномъ положеніи вещей слышится порывъ къ свѣжему воздуху, чувствуется желаніе сломить преграды, мѣшающія русской жизни развиться свободно и самостоятельно. Но ратуя за земское начало, славянофилы несправедливы къ образованному обществу. Признавая жизнь въ народѣ, они готовы отрицать ее въ литературѣ. Защищая земское дѣло, они беруть его только въ извѣстномъ моментѣ его историческаго развитія. Аксаковъ агитируетъ не за то здоровое, свободное земство, которое дѣйствовало въ первые шесть вѣковъ русскаго историческаго быта, а за земское начало XVI и XVII вѣковъ, когда политическая централизація извратила всѣ формы свободнаго гражданскаго существованія. Исторія общества рисуется славянофиламъ въ ложномъ освѣщеніи. Они идеализируютъ ее, не видя настоящей правды. Въ прошлыхъ общественныхъ отношеніяхъ преобладало притворство, наружное смиреніе, рабство. Религіозность была пропитана ложью, подъ которою таилась апатія или ханжество. Въ семейныхъ отношеніяхъ царила грубость, унижавшая женщину до животнаго [2]). Достоевскій готовъ отдать предпочтеніе западничеству передъ славянофильствомъ. Западники не хотѣли, пишетъ онъ, по-факирски закрыть глаза и уши предъ нѣкоторыми явленіями, которыя казались имъ непонятными. Они не оставляли ихъ безъ разрѣшенія, потому что постоянно искали правды умомъ, анализомъ, добросовѣстными разсужденіями. Несмотря на всѣ свои ошибки, они всегда шли впередъ, увлекая за собою молодыя силы общества. Славянофильство никогда не двигалось съ мѣста, не развивалось и не проникалось свѣжими прогрессивными элементами. Его общественная программа неопредѣленна. Его духовный и политическій идеалъ пред-

[1]) «Время» 1861 г., октябрь. стр. 199.

[2]) «Время» 1862 г., февраль. *Два лагеря теоретиковъ*, стр. 151.

ставляетъ какую-то смѣсь книжной любви къ отечеству и страстной вѣры въ народъ съ пышною, мечтательною панорамою Москвы съ Воробьевыхъ горъ и картиною полнаго будущаго торжества надъ нѣмцами [1]). Критикуя гражданскія тенденціи Аксакова, «Время» формулируетъ свои собственныя соціальныя требованія въ трехъ слѣдующихъ пунктахъ. Надо соединиться съ народомъ, а для этого необходимо, во-первыхъ, распространять въ народѣ грамотность, которая дастъ ему возможность извлекать для себя большую пользу изъ тѣхъ огромныхъ естественныхъ богатствъ, какія находятся подъ рукою, во-вторыхъ—облегчить общественное положеніе мужика уничтоженіемъ сословныхъ перегородокъ, загораживающихъ ему доступъ во многія мѣста и, въ-третьихъ, необходимо внести новыя, болѣе свѣтлыя идеи о народѣ въ интеллигенцію. Намъ нужно отказаться отъ нашихъ сословныхъ предразсудковъ и эгоистическихъ взглядовъ, пишетъ «Время». Народу тяжелы наши кулаки, которые когда-то были въ модѣ, но онъ не терпитъ и оскорбительной для него французской вѣжливости. Нужно полюбить народъ искреннею, прямою любовью [2]). Не надо относиться высокомѣрно къ будущей роли русскаго народа въ исторіи страны. Три факта громко свидѣтельствуютъ о его способности къ широкой политической дѣятельности: явленіе раскола, община и зрѣлая практичность его ума, выразившаяся въ сужденіяхъ о законоположеніи 19 февраля...

Небольшая статейка, напечатанная въ февральской книгѣ «Времени» 1862 года, подъ заглавіемъ *Девятнадцатый нумеръ «Дня»*, превосходно отражаетъ возвышенное, правдивое отношеніе редакціи къ текущимъ вопросамъ общественной жизни. Это—горячая, страстная реплика славянофильской газетѣ по вопросу, еще до сихъ поръ не рѣшенному просвѣщенною русскою печатью. Широкій и гуманный взглядъ журнала выступаетъ въ ней съ полной очевидностью. «Время» не скрываетъ своего негодованія противъ Аксакова, высказавшагося въ духѣ полнаго несочувствія евреямъ, живущимъ въ русскомъ государствѣ, подъ русскими законами, общерусскими интересами. Аксаковъ счелъ необходимымъ написать передовую статью о новомъ законѣ, по которому евреи, имѣющіе дипломы на ученыя степени кандидата, магистра и доктора, допускаются на службу по всѣмъ вѣдомствамъ и по всей Россіи. Аксаковъ требуетъ ограничительнаго толкованія этого закона. По его мнѣнію, евреи «совершенно отрицаютъ христіанское ученіе, христіанскій идеалъ и кодексъ нравственности и исповѣдуютъ ученіе враждебное и противоположное». Въ статьѣ говорится, что евреи не могутъ дѣйствовать иначе, какъ въ духѣ своего ученія, противоположнаго всѣмъ на-

[1]) «Время» 1861 г., ноябрь. *Рядъ статей о русской литературѣ* (Статья пятая). *Газета «День»*, стр. 68.

[2]) «Время» 1862 г., февраль. *Критическое обозрѣніе*, стр. 160.

чалamъ, которыя легли въ основу частнаго, общественнаго и государственнаго быта въ христіанской землѣ. «Жалкіе друзья, которые вредятъ христіанству болѣе, чѣмъ его враги, восклицаетъ Время, по адресу славянофиловъ. Двадцать разъ повторяя слова: *враждебно*, *противоположно*, День до того легкомысленъ, что не даетъ себѣ труда вникнуть хоть сколько нибудь въ сущность дѣла и позволяетъ себѣ оглушать довѣрчивыхъ читателей одною шумихою словъ. Враждебно! Противоположно! Но въ чемъ враждебно? Въ чемъ противоположно?» «День» призываетъ къ ограничительнымъ законамъ,—ему стоитъ сдѣлать еще одинъ шагъ и онъ будетъ искать защиты для христіанскаго общества въ огнѣ и мечѣ. «День» находитъ невозможнымъ какое бы то ни было дружественное, общее дѣло между евреями и христіанами. Допустить евреевъ къ участію въ народномъ законодательствѣ нельзя, потому что для этого надо раньше отречься отъ путеводящаго христіанскаго свѣта. Взаимныя учтивости и нѣжности между евреями и христіанами газета считаетъ гнусной ложью и лицемѣріемъ. «Евреи, въ ужасѣ восклицаетъ Аксаковъ, подносятъ католикамъ крестъ — эмблему распятія, распятія, совершеннаго евреями надъ Тѣмъ, Кого католики признаютъ Богомъ»... Но что за дѣтство, что за слѣпота? громко негодуетъ по этому поводу журналъ, въ которомъ душою дѣла былъ Достоевскій. Неужели мы поступали-бы совершенно логично, честно и не лицемѣрно, если бы мы жгли и вѣшали *современныхъ* евреевъ за то, что они распяли Христа? Не этимъ духомъ проникнуто христіанское ученіе. Ученіе мира, любви и согласія должно бы возбуждать другія мысли и другія рѣчи. Слова Аксакова живо напоминаютъ автору замѣтки именно тѣхъ, кто возставалъ противъ творца христіанской религіи. «Какъ онъ можетъ быть Мессіей? говорили они. Онъ постоянно окруженъ грѣшниками, бываетъ въ обществѣ мытарей и блудницъ, онъ бесѣдуетъ даже съ самарянами»...

Во всѣхъ этихъ, указаннымъ нами, статьяхъ направленіе журнала въ теченіе перваго же года обрисовалось съ достаточною ясностью. Это былъ журналъ литературный въ лучшемъ смыслѣ слова, съ яркою полемикою во всѣхъ направленіяхъ, съ обширнымъ критическимъ отдѣломъ, въ которомъ работали истинно талантливые люди. Исполняя обѣщаніе, данное въ объявленіи о новомъ изданіи, редакція «Времени» прямо и открыто проводила то, что она думала по поводу тѣхъ или другихъ вопросовъ умственной и нравственной жизни общества. Презирая общепринятую уловку—наговорить писателю десять напыщенныхъ комплиментовъ, чтобы потомъ сдѣлать ему не совсѣмъ лестное замѣчаніе, «Время» строго и рѣзко выражало свои убѣжденія, когда ему приходилось вступать въ борьбу съ выдающимися литературными дѣятелями. Мы видѣли, въ какомъ тонѣ Достоевскій полемизировалъ съ Катковымъ. Зная силу Каткова, журналъ съ тѣмъ большею откровенностью

накидывается на то, что онъ считаетъ вреднымъ и даже позорнымъ въ его шумной публицистической дѣятельности. Съ Чернышевскимъ «Время» борется безъ особеннаго пыла и задора, считая почти безвреднымъ ребячествомъ всѣ его попытки загнать въ узкую и неглубокую канаву бездонный, бурно-ропщущій океанъ литературнаго творчества. Съ Аксаковымъ Достоевскій борется съ полнымъ сознаніемъ, что, при общности симпатій къ русскому народу и извѣстныхъ представленій о немъ, ихъ разъединяютъ коренныя тенденціи души, ихъ стремленія и порывы: одного приковываетъ къ себѣ нѣсколько искусственно раскрашенная картина прошедшаго, другого страстно зовутъ необъятныя перспективы будущаго, съ его высокимъ патетическимъ моментомъ сліянія интеллигенціи съ народомъ, съ его миссіонерскими задачами всечеловѣческаго братства. Среди другихъ журналовъ «Время» выдѣляется именно своей горячею пропагандою широкаго народническаго дѣла. По таланту статьи его ни въ чемъ не уступали статьямъ «Современника» и «Русскаго Вѣстника», а то, что написано Достоевскимъ, значительно превосходитъ своей художественною яркостью все, появившееся тогда въ лучшихъ литературныхъ изданіяхъ. Взявшись за публицистическую работу, Достоевскій хорошо понималъ, что вліяніе журнала исходитъ не изъ его художественнаго и поэтическаго отдѣла [1]). Заручившись такими постоянными сотрудниками, какъ Островскій, Помяловскій, Мей, Полонскій, Майковъ, Апухтинъ и давъ въ теченіе перваго года рядъ ихъ произведеній—кромѣ своихъ собственныхъ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» и «Записокъ изъ Мертваго Дома», — Достоевскій направилъ всѣ силы ближайшихъ сотрудниковъ на литературную агитацію подъ впервые поднятымъ знаменемъ прогрессивнаго народничества и свободной литературы. Хотя мы въ нашемъ объявленіи объ изданіи «Времени» могли бы выставить не одно извѣстное въ литературѣ имя, писалъ М. Достоевскій, обращаясь къ публикѣ, но мы нарочно удерживаемся отъ этого, потому что, при всемъ уваженіи къ нашимъ литературнымъ знаменитостямъ, мы сознаемъ, что не они составляютъ силу журнала. Однако, подборъ громкихъ именъ, появившихся въ этомъ журналѣ за короткое время его существованія, не могъ быть случайнымъ. Своеобразное сочетаніе оттѣнковъ прогрессивности, народолюбія и художественной эстетики объединило въ журналѣ, въ качествѣ его болѣе или менѣе постоянныхъ вкладчиковъ, и такихъ людей, какъ Щедринъ, Щаповъ, Некрасовъ и Плещеевъ, и такихъ писателей, какъ Ап. Григорьевъ и Страховъ. Живая умственная работа во всѣхъ его отдѣлахъ сразу дала себя чувствовать и въ теченіе одного года «Время» пріобрѣло себѣ болѣе четырехъ тысячъ

[1]) «Искра» 1860 г., № 49, *Объявленіе о подпискѣ на «Время» въ 1861 году*, стр. 569.

постоянныхъ абонентовъ [1]). Не подлежитъ сомнѣнію, что фельетоны Достоевскаго, даже не подписанные его именемъ, сыграли при этомъ самую существенную роль. Его сатира тоже свистала, его полемика проносилась, какъ гроза, вспыхивая ослѣпительными молніями настоящаго генія. Но эта сатира, безпощадная къ авторитетамъ, неукротимая въ разрушеніи, была прежде всего справедлива и вооружалась свистящими бичами въ защиту и свободы въ жизни, и свободы въ литературѣ. Но эта полемика, раскаленная извнутри всѣми высокими помыслами и страстями, негодующая,—по собственному сознанію редакціи, иногда увлекающаяся до ненависти [2]), никогда напрасно не унижала въ противникѣ человѣческаго достоинства, никогда не хваталась, какъ за орудіе борьбы, за сплетню и клевету, какъ это дѣлали, неосторожно пятная себя, опрометчивые дѣятели «Современника» и «Русскаго Слова»...

Въ этомъ кипящемъ водоворотѣ литературныхъ увлеченій всѣ составные элементы «Времени», даже холодныя, какъ сталь, статьи Страхова играли какимъ-то жгучимъ отблескомъ. Въ общей редакціонной работѣ Страховъ занималъ совершенно опредѣленное мѣсто, давая въ дополненіе къ патетическимъ страницамъ журнала страницы разсудочныя и слегка пикантныя, написанныя тонкимъ, изящнымъ стилемъ, съ легкими ироническими намеками, съ осторожными обличительными замѣчаніями. Человѣкъ съ изысканнымъ литературнымъ талантомъ, съ превосходнымъ европейскимъ образованіемъ и эстетическимъ вкусомъ, писатель безъ яркихъ страстей, съ аристократической выправкой и благовоспитанностью русскаго джентльмена, осторожный полемистъ съ пренебреженіемъ къ противнику, впадающему въ слишкомъ явную, по его мнѣнію, ошибку, и не удостаивающій публику откровеннаго изъясненія своихъ исходныхъ принциповъ, Страховъ выступаетъ во «Времени» съ рядомъ небольшихъ полемическихъ писемъ, облеченныхъ въ очень характерную форму. Въ нихъ все любопытно: названіе, содержаніе, подпись. «*Нѣчто* о петербургской литературѣ», «Еще о петербургской литературѣ», «*Нѣчто* о полемикѣ» — таковы типичныя заглавія первыхъ его замѣтокъ. Содержаніе ихъ—мелкія, микроскопическія наблюденія надъ тѣмъ, что дѣлается въ текущей литературѣ. Подобно ботанику или энтомологу, говорится въ одной изъ его статей, онъ изслѣдуетъ каждую травку, каждую мелкую букашку. Поднявъ серьезный разговоръ объ общихъ и частныхъ авторитетахъ, онъ быстро обрываетъ его, ограничившись самыми главными, неизбѣжными мыслями. Разсматривая выдающі-

[1]) «Время» 1863 г. Мартъ. *Опять молодое перо. Отвѣтъ на статью «Современника»: Тревоги Времени*, стр. 156.

[2]) «Время», 1861 года, декабрь. *Объявленіе объ изданіи журнала въ 1862 году*, стр. 5.

яся статьи въ новѣйшихъ книжкахъ петербургскихъ журналовъ, онъ задѣваетъ Чернышевскаго слегка презрительной насмѣшкой, кидаетъ пренебрежительное осужденіе Писареву за его разсужденія о философіи, съ гримасой сдержанной гадливости отмѣчаетъ вульгарность и грубость Антоновича. Подписи этихъ статей поражаютъ игривостью, отражающею—насколько это возможно въ такихъ мелочахъ—насмѣшливую, терпѣливую и неторопливую натуру автора. Первая замѣтка подписана скромными иниціалами *Н. К.*, ничего необозначающими, ни на что не намекающими: «Нѣчто о петербургской литературѣ. *Н. К.*». Подъ слѣдующимъ письмомъ стоитъ слегка загадочная подпись *Н. Ко.* Съ каждой новой статьей подпись удлиняется, интригуя воображеніе читателя: *Н. Кос.*, *Н. Коси.*, *Н. Косиц.*, и, наконецъ,—развертывается въ странный, небывалый псевдонимъ: *Н. Косица*. Страховъ вѣренъ здѣсь своей натурѣ. Онъ подаетъ читателю сначала только одинъ палецъ, потомъ—постепенно—два, три, пока не удостоитъ его обычнаго, полнаго рукопожатія!

Во всякомъ случаѣ, надо сказать, что небольшія полемическія замѣтки Страхова вносили въ журналъ ноту вражды къ «Современнику», которая не чувствовалась въ статьяхъ самого Достоевскаго. Его микроскопическія наблюденія имѣли характеръ явнаго недоброжелательства по отношенію къ современному нигилизму. Его коротенькія, осторожныя по формѣ, но злыя по содержанію возраженія на статьи Чернышевскаго, Писарева и другихъ дѣятелей реалистическаго направленія, должны были раздражать «Современникъ» и «Русское Слово». И «Время», встрѣченное сочувственными стихами въ первой книгѣ «Современника» за 1861 г., въ декабрѣ того-же года, въ статьѣ Антоновича, подвергается рѣзкому осужденію. Эти два журнала, несмотря на объединяющій ихъ духъ прогрессивности, не могутъ идти рядомъ. Между ними существуетъ принципіальное разногласіе, которое, при громадномъ талантѣ Достоевскаго, въ теченіе одного года разрослось въ очень крупное, значительное и важное литературное явленіе. Въ отвлеченной программѣ новаго журнала видна какая то особенная энергія мысли, способная жечь молодые умы. Всѣ его отдѣлы поставлены превосходно, а критическія статьи Аполлона Григорьева написаны съ блестящимъ талантомъ. Эти обстоятельства имѣютъ важное значеніе, и «Современникъ», который не переставалъ въ то время главенствовать надъ другими журналами, долженъ былъ сдѣлать вызовъ новому изданію. Такимъ вызовомъ и была статья Антоновича «О почвѣ». Пространное объявленіе, написанное Достоевскимъ при началѣ изданія «Времени», «Рядъ статей о русской литературѣ» съ полемическимъ походомъ противъ Каткова, изслѣдованія Ап. Григорьева лежали передъ Антоновичемъ, когда онъ писалъ свою филиппику, но надо сказать правду: авторъ не справился со своей

задачей, онъ не понялъ того явленія, о которомъ взялся высказать редакціонный взглядъ «Современника», и всѣ его полемическіе маневры противъ дѣятелей «Времени» производятъ жалкое, ничтожное впечатлѣніе. Нѣсколько безстрастныхъ, резонерскихъ придирокъ къ журналу, въ которомъ все кипѣло талантомъ, въ которомъ орудовалъ человѣкъ съ краснорѣчіемъ религіознаго проповѣдника, съ печатью страданія, выжженною тюрьмой и каторгой, не заключаютъ въ себѣ никакого серьезнаго содержанія. Мысль о сближеніи интиллигенціи съ народомъ, волновавшая редакцію «Времени», вызываетъ у Антоновича наивное недоумѣніе человѣка, который очевидно никогда не задумывался объ органическомъ единствѣ высшихъ и низшихъ классовъ общества, о случайности и ненормальности всякаго разрыва между массой, несущей на себѣ всю тяжесть грубаго физическаго труда, и небольшою группою образованныхъ людей. Тяготѣніе Достоевскаго къ почвѣ, какъ къ началу, питающему всякое самостоятельное, оригинальное и плодотворное развитіе, не внушаетъ ему ни малѣйшаго къ себѣ уваженія. «Первѣе всего нужно знать, говоритъ Антоновичъ, что это за *штука* такая народъ, съ которымъ нужно сближаться». Каково должно быть это сближеніе? Въ какомъ смыслѣ оно возможно? Кто и какъ долженъ сдѣлать первый шагъ? Съ чьей стороны должно быть больше уступокъ? Какіе элементы внесутъ въ будущее соединеніе та и другая сторона? Вотъ тѣ остроумные вопросы, которыми Антоновичъ пытается донять и припереть къ стѣнѣ пламенныхъ сотрудниковъ «Времени». Не чувствуя всей наивности своихъ канцелярскихъ придирокъ, Антоновичъ торжественно заключаетъ: на эти вопросы вы нигдѣ не найдете во «Времени» опредѣленнаго отвѣта, ими не занимаются люди, толкующіе о почвѣ и народности. Какъ бы не уразумѣвъ, что Достоевскій въ статьяхъ своихъ вовсе не являлся врагомъ, такъ называемаго, западничества, что онъ ищетъ высшаго синтеза просвѣщенія съ оригинальными настроеніями русской народности, Антоновичъ выступаетъ усерднымъ оборонителемъ европейской цивилизаціи противъ невѣжества и предразсудковъ, выросшихъ на русской почвѣ. Мы знаемъ, говоритъ онъ, похваляясь при этомъ просвѣщенностью, что газовые фонари лучше масляныхъ, а почва между тѣмъ до сихъ поръ освѣщается лучинками и едва-ли когда-нибудь освѣтится газомъ! Въ Европѣ давно заведены разные воскресныя народныя школы, а мы еще только недавно стали говорить о необходимости образованія для почвы. Почва невѣжественна, бездѣятельна. Когда почва соединится съ верхнимъ слоемъ, интеллигенція все-таки будетъ играть главную роль, отъ которой она и теперь, слѣдовательно, не должна отказываться. Достоевскій кричитъ: просвѣщеніе, грамотность! А мы, съ важностью заявляетъ Антоновичъ, думаемъ такъ, что «грамотность есть безразличное оружіе, сила, которая цѣнится не сама по себѣ, а по тому

дѣйствію, какое она производитъ». Чрезвычайно важно знать, что будутъ читать грамотные люди изъ народа. «Есть на свѣтѣ и хорошія книги, но зато есть на свѣтѣ много и такихъ, что при видѣ ихъ невольно возбуждается досада на изобрѣтеніе типографскаго искусства». Дѣло, въ сущности, не въ грамотности, говоритъ Антоновичъ. «Какъ ни восхваляйте грамотность, какъ краснорѣчиво ни доказывайте высокое превосходство невещественной пищи передъ вещественной, а все-таки ѣсть хочется и вамъ самимъ, и тѣмъ, кому вы рекомендуете прилежное ученіе». Желудокъ всегда беретъ свое [1]).

На эту статейку Н. Косиц. откликнулся маленькимъ полемическимъ письмомъ въ январьской книгѣ «Времени» 1862 г. Съ легкимъ юморомъ авторъ оттѣняетъ пустоту запросовъ и вопросовъ Антоновича и, въ формѣ самыхъ корректныхъ замѣчаній, даетъ ему чувствовать его пустозвонство, недостойное серьезнаго отвѣта на страницахъ «Времени». Н. Косиц. считаетъ излишнимъ негодовать на Антоновича. Убѣждать его онъ находитъ безполезнымъ. Но онъ съ удовольствіемъ станетъ наблюдать его въ рѣшительныя для него минуты. Антоновичъ сыплетъ вопросами: что такое за *штука* народъ? Кто долженъ сдѣлать первый шагъ для сближенія народа съ интеллигенціей? Напрасно трудится г. Антоновичъ, замѣчаетъ полуравнодушно, полупрезрительно ядовитый сотрудникъ «Времени». Антоновичъ упустилъ изъ виду простое соображеніе: будутъ-ли ему отвѣчать или нѣтъ? Всѣми своими вопросами Антоновичъ открыто говоритъ: я ничего не понимаю. Очевидно, онъ проситъ: поучите меня. «А если кто публично проситъ: поучите меня, то, что ему слѣдуетъ отвѣчать? Ему нужно сказать: поучитесь сами»... [2]) Въ такомъ духѣ Страховъ назидаетъ Антоновича. Но на этомъ полемика между Страховымъ и Антоновичемъ не окончилась. Черезъ нѣкоторое время Антоновичъ разразился новой, довольно длинной статьей, въ которой подробно доказывается, что журналъ Достоевскаго лишенъ всякаго направленія, что въ немъ, кромѣ нѣкоторыхъ беллетристическихъ произведеній, за шестнадцать мѣсяцевъ существованія, не было ни одной серьезной, стоющей вниманія публицистической работы. Страхова авторъ пробуетъ безцеремонно мазнуть пятерней прямо по лицу. Точно раздраженный его ехидно-медлительной политикой въ развертываніи своего псевдонима, Антоновичъ, подчеркивая свое гражданское мужество, бросаетъ своему противнику слѣдующій вызовъ: «Я—Антоновичъ, а вы кто такой?.. Снимайте маску и говорите, что за персона скрывается подъ ней? Снимите маску, или я васъ назову трусомъ, такъ и буду говорить — задорная, но трусливая

---

[1]) „Современникъ", 1861 г. декабрь. *Русская литература*, стр. 186.

[2]) „Время", 1862, Январь: *Примѣръ апатіи*, стр. 65.

маска». Антоновичу кажется, что онъ сталъ поперекъ горла Страхову, онъ кипятится, изрекаетъ всевозможные, либеральные афоризмы и, подражая Чернышевскому, фамильярно подступаетъ къ нему съ разными крючковатыми допросами. Всѣ ваши ораторскія рѣчи объ идеализмѣ, пишетъ онъ, обращаясь къ Страхову, не что иное, какъ пустыя фразы. Что это за *птица* такая — вашъ идеализмъ? Вашъ идеализмъ *ерунда*, «потому что дѣйствительно въ ерундѣ можетъ заключаться весь корень человѣческихъ бѣдствій». Иногда Антоновичъ съ важностью хлопаетъ Страхова по плечу, опять-таки подражая при этомъ полемической манерѣ Чернышевскаго. «Ну ужъ, Богъ съ вами, даю вамъ индульгенцію на пятокъ статей. Пишите ихъ смѣло, какъ можете». Иногда, какъ-бы потерявъ присутствіе духа, въ виду всеобщихъ журнальныхъ протестовъ противъ его безсодержательной литературной наглости, онъ ударяется въ жалостное причитаніе о томъ, что «Современникъ» играетъ въ печати роль какого-то опальнаго журнала, которому не прощается ни одна рѣзкость, ни одна грубость [1])...

Страховъ отвѣтилъ на эту статью въ обычномъ для него стилѣ — ядовито, колко, съ легкимъ нервическимъ смѣшкомъ [2]).

Съ свѣжими, бодрыми силами редакція «Времени» приступила къ составленію первыхъ книжекъ журнала въ 1863 г. Успѣхъ «Времени» росъ съ каждымъ мѣсяцемъ. Журналъ читался и въ литературныхъ кружкахъ, и въ самыхъ разнообразныхъ слояхъ петербургскаго и провинціальнаго общества. Его полемическіе фельетоны производили шумную сенсацію, а художественныя произведенія Достоевскаго, Островскаго, Помяловскаго, Щедрина и другихъ привлекали къ себѣ всеобщее сочувственное вниманіе. Не было никакого сомнѣнія, что журналъ шелъ по пути къ широкому нравственному и матеріальному успѣху. Еще одинъ годъ, и «Время» сравнялось-бы съ «Русскимъ Вѣстникомъ» и «Современникомъ» по значенію въ литературномъ и, такъ сказать, философскомъ движеніи общества. Несмотря на усердные свистки либеральныхъ изданій, оно все сильнѣе и сильнѣе подавало свой голосъ по каждому принципіальному вопросу и съ этимъ голосомъ приходилось считаться виднѣйшимъ современнымъ журналистамъ. Достоевскій чувствовалъ себя въ этомъ дѣлѣ, какъ призванный боецъ. Уже въ сентябрѣ 1862 г. онъ пишетъ пространное объявленіе о подпискѣ на журналъ въ слѣдующемъ году — не въ томъ канцелярски холодномъ и бездушно-торгашескомъ стилѣ, въ какомъ пишутся рекламныя объявленія газетами и журналами современной эпохи, а съ непосредственнымъ жаромъ и вдохновеніемъ, которые, ставя публику лицомъ къ лицу съ внут-

---

[1]) „Современникъ“ 1862 г., Апрѣль. *О духѣ «Времени»*.

[2]) „Время“ 1862 г., Май. *Нѣчто объ опальномъ журналѣ*.

ренней программой журнала, не могли не производить сильнаго впечатлѣнія на каждаго читателя. Достоевскій и тутъ воюетъ съ безпочвенными теоретиками и съ азартными доктринерами на полицейскій ладъ. Выдѣляя изъ среды либеральныхъ людей дѣятелей серьезныхъ и талантливыхъ, онъ зло издѣвается при этомъ надъ мелкими и небезкорыстными партизанами модныхъ идей. Мы ненавидимъ пустыхъ, безмозглыхъ крикуновъ, позорящихъ все, до чего они ни дотронутся, марающихъ иную чистую, честную идею уже однимъ тѣмъ, что они являются такъ или иначе ея выразителями. Мы ненавидимъ свистуновъ, «свистящихъ изъ хлѣба и только для того, чтобъ свистать, выѣзжающихъ верхомъ на чужой, украденной фразѣ, какъ верхомъ на палочкѣ, и подхлестывающихъ себя маленькимъ кнутикомъ рутиннаго либерализма». Мы не боимся авторитетовъ и презираемъ лакейство въ литературѣ. Мы стоимъ за литературу, мы стоимъ за искусство, мы вѣримъ въ ихъ самостоятельную и необходимую силу [1]). Объявленіе это, по словамъ Страхова, имѣло большой успѣхъ и возбудило литературные толки — большею частью враждебные. «Живописное выраженіе о кнутикѣ рутиннаго либерализма было подхвачено мелкими журналами, которые поняли, что рѣчь идетъ о нихъ». Но редакція «Времени» какъ бы шла навстрѣчу полемикѣ и спору. Въ первой же книгѣ 1863 г. Достоевскій печатаетъ небольшую замѣтку подъ названіемъ: «Необходимое литературное объясненіе по поводу разныхъ хлѣбныхъ и нехлѣбныхъ вопросовъ». Статейка эта почти съ яростью бьетъ многочисленную толпу шарлатановъ печати, завопившихъ объ оскорбленіи, нанесенномъ «Временемъ» дѣлу прогресса. Достоевскій съ презрѣніемъ указываетъ на общую повадку недобросовѣстныхъ людей прикрываться извѣстными, авторитетными именами. Какъ и въ своемъ объявленіи, онъ и здѣсь выгораживаетъ людей съ опредѣленными, хотя и ошибочными, убѣжденіями изъ числа тѣхъ, которые пользуются готовыми фразами съ чужого плеча. Эти люди прячутся за чужія идеи, пишетъ Достоевскій. При каждомъ нападеніи они восклицаютъ: «Нападаютъ на насъ, а! значитъ нападаютъ на прогрессъ. Мы свистуны изъ хлѣба, а! значитъ и Чернышевскій, и Добролюбовъ свистуны изъ хлѣба». Достоевскій неугомоненъ въ своемъ обличеніи. Вы бездарно волочите великую мысль по улицѣ, кричитъ онъ этимъ людямъ. У васъ нѣтъ ни жару, ни духа, ваши убѣжденія не свои, а заемныя. Отвѣчая на упреки недобросовѣстныхъ изданій, что «Время» не исполняетъ своей программы, Достоевскій говоритъ: «Время» начало съ того, что напало на казенный либерализмъ, застегнутый на всѣ форменныя пуговицы. Оно воевало съ Чернышев-

[1]) „Полное собраніе сочиненій Достоевскаго". Ч. I, Приложенія, изд. 1883 г. стр. 304.

скимъ и Добролюбовымъ. Оно обличало Каткова и раньше другихъ предрекло ему ново-булгаринскій путь, когда разные веселые журналисты еще ждали отъ него великихъ преуспѣяній на пути прогресса. «И мы знали, что дѣлали и на какую опасность шли нашими нападеніями на авторитеты», заключаетъ свою правдивую самозащиту Достоевскій [1]).

Къ этому періоду отношенія между «Временемъ» и «Современникомъ» обострились и приняли окончательно враждебный характеръ. Подготовленное полемикою Антоновича со Страховымъ, взаимное неудовольствіе разрослось въ несдерживаемое болѣе раздраженіе, а рѣзкая самозащита Достоевскаго не могла не распалить всѣхъ страстей въ той фракціи прогрессивныхъ журналистовъ, которая не хотѣла допустить по отношенію къ себѣ никакой критики. Новая баталія началась съ пустяка. Въ декабрьской книгѣ «Времени» 1862 г. молодой писатель А. Скавронскій напечаталъ небольшое письмо, подъ названіемъ «Литературная подпись», въ которомъ авторъ проситъ не смѣшивать его съ другимъ писателемъ, который выступилъ тогда подъ псевдонимомъ Н. Скавронскаго. Это невинное заявленіе, мотивированное вполнѣ удовлетворительнымъ образомъ, вызвало въ «Современникѣ» сатирическую отповѣдь, написанную съ талантомъ хлесткаго зубоскальства. Было совершенно ясно, что «Современникъ» какъ-бы искалъ новой полемической встрѣчи съ неукротимымъ, а иногда и свирѣпымъ противникомъ. Замѣтка о письмѣ Скавронскаго напечатана въ отдѣлѣ новыхъ книгъ, среди другихъ библіографическихъ рецензій, какъ о цѣломъ сочиненіи, хотя, выписывая заглавіе этого «сочиненія», рецензентъ игриво отмѣчаетъ: 1 страница! Это и послужило исходнымъ пунктомъ для желчной, неумѣренной, неприличной полемики между обоими журналами. Въ «Современникѣ» выступилъ по этому поводу одинъ изъ молодыхъ сотрудниковъ, тоже съ опущеннымъ забраломъ—какъ-бы не принимая въ соображеніе вызывающихъ приглашеній Антоновича снять маски и бороться лицомъ къ лицу. «Время», отвѣчая на странную библіографическую замѣтку «Современника», бросило нѣсколько злыхъ намековъ въ сторону его новаго *постояннаго* сотрудника, указавъ при этомъ на его молодое, блестящее перо, къ сожалѣнію, склонное увлекаться безцѣльной игрою сатирическихъ эфектовъ. Кто именно этотъ молодой, блестящій талантъ, Достоевскій прямо не говоритъ. Онъ пишетъ въ юмористическомъ направленіи, онъ остроуменъ, но его писанія могутъ превратиться въ сплетническій persifflage! [2]) Больше—ни слова. «Молодое, талантливое перо» отвѣчало въ «Современникѣ» немедленно. Въ постскриптумѣ къ фельетону, носящему названіе «Наша общественная жизнь», журналъ

---

[1]) „Время", 1863 г. Январь, *Современное обозрѣніе*, стр. 29—38.

[2]) Ibidem, 1863 г., Февраль, Современное обозрѣніе. *Молодое перо*, стр. 221—226.

печатаетъ замѣтку подъ отдѣльнымъ заглавіемъ «Тревоги Времени». будто бы доставленную въ редакцію какимъ-то «нигилистомъ». Замѣтка начинается комическимъ передразниваніемъ напечатаннаго во «Времени» стихотворенія Ѳ. Берга: «Птицы» [1]).

Изъ-за моря птицы прилетали,
Прилетали, въ рощѣ толковали...

Главные сотрудники «Времени» изображаются въ сатирѣ «Современника» мирными птицами, воркующими въ рощахъ, плавающими въ затишьяхъ. По обыкновенію «Современника», фельетонистъ то издѣвается надъ противниками въ стихахъ съ безконечно повторяющимися рефренами, то глумится надъ ними въ недоброжелательныхъ, явно-пристрастныхъ прозаическихъ фразахъ. Какой руководящей мысли вы были органомъ, спрашиваетъ «Современникъ» Достоевскаго и тутъ-же самъ отвѣчаетъ: никакой! Что вы высказали?—Ничего. «Вы постоянно стремились высказать какую-то истину въ родѣ сапоговъ въ смятку, вы всегда садились между двухъ стульевъ и до того простирали свою невинность, что даже не хотѣли замѣтить, какъ шлепались на полъ». Фельетонистъ грубо хохочетъ надъ полемическими притязаніями «Времени» и, не сообразуясь ни съ какимъ политическимъ тактомъ, чернымъ ворономъ взвивается надъ своимъ противникомъ, зловѣще каркая и предрекая ему бѣду: «Вы говорите, пишетъ онъ, что Каткова оспаривать можно и слѣдуетъ. Что вы такъ пристали къ Каткову? Или вы получили отъ него разрѣшеніе? Смотрите, вѣдь онъ когда-нибудь и самъ на васъ замахнется—и не пикнете!» Разыгрываясь все съ большею и большею необузданностью, авторъ рѣшается утверждать, что «Время» пользовалось сотрудниками «Современника» только въ періодъ пріостановки послѣдняго журнала въ 1862 г. Успѣхомъ своимъ «Время» обязано только случайному обстоятельству, потому что никто не захотѣлъ бы сознательно поддерживать журналъ, въ которомъ нѣтъ ничего оригинальнаго. Что въ васъ русскаго? спрашиваетъ фельетонистъ. «А что, если мы докажемъ, что все ваше русское есть не болѣе, какъ арбузныя корки, выкинутыя вамъ покойною Русскою Бесѣдою за ненадобностью и обглоданіемъ» [2]).

Достоевскій освирѣпѣлъ. Та природа его, полная дикихъ, мятущихся страстей, съ которой постоянно боролся его вдохновенный, возвышенный разумъ, вдругъ прорвалась наружу, — и онъ бросился на противника, какъ бѣшеная кошка. Съ изступленнымъ хохотомъ онъ терзаетъ своего врага безпощадными, яростными упреками и обличеніями. Отвѣчая на

[1]) «Время», 1863, Январь, стр. 279.
[2]) «Современникъ», 1863 г., Мартъ, стр. 195—202.

дурацкіе куплеты, онъ пародируетъ поверхностную сатиру либеральныхъ журналовъ, бросая имъ на смѣхъ слѣдующіе безсмысленные, какъ бредъ, стихи:

Вѣкъ и Вѣкъ и Левъ Камбекъ,
Левъ Камбекъ и Вѣкъ и Вѣкъ.
На пистончикѣ корнетъ
Страховъ жители планетъ.
Ро-ро-ро, ро-ро, ро-ро
Молодое перо.
Усь-усь, усь-усь-усь
Ахъ, какой-же это гусь.

На грубую, но серьезную часть обвиненія фельетониста Достоевскій отвѣчаетъ съ потрясающей силой гнѣва и возмущенія. Всѣ ваши обличенія поражаютъ своимъ мелководіемъ, вопіетъ онъ. Ваше творчество— не сатира, а зубоскальство. Ваша дѣятельность — не дѣло, а искусство для искусства. Настанетъ день, и святая идея прогресса выбьется изъ теперешнихъ дрянныхъ тенетъ, заявитъ себя чѣмъ-нибудь новымъ, и тогда вы ее примете за ретроградство. Современная толпа прогрессистовъ бездарна, пошла, лѣнива и злокачественна. Не смѣшивайте насъ съ Катковымъ, съ Скарятинымъ и Аскоченскимъ. Мы дѣлаемъ различное дѣло. Они борются съ вами во имя мрака, а мы—во имя свѣта. «Ихъ не слушаютъ, а насъ послушаютъ. Не говорите намъ, что мы садимся между двухъ стульевъ. Вздоръ, это и есть дорога!»... Обращаясь лично къ сатирику и защищая репутацію журнала, онъ уличаетъ его въ тенденціозномъ лганьѣ. Этотъ сатирикъ самъ писалъ во «Времени»— и не тогда, когда былъ пріостановленъ «Современникъ», а раньше, когда онъ еще имѣлъ возможность отдавать туда свои произведенія. «Я не открою полнаго имени вашего, милостивый государь, ни названія статьи вашей, говоритъ Достоевскій. Объявляю теперь только о томъ, что въ апрѣльскомъ нумерѣ Времени за прошлый годъ были помѣщены у насъ двѣ ваши статьи» [1]).

Сатирикъ, вступившій въ схватку съ Достоевскимъ, былъ Щедринъ-Салтыковъ.

Въ это самое время, когда Достоевскій съ такою страстью полемизировалъ съ «Современникомъ», либеральные журналы съ болѣе игривымъ направленіемъ разыгрывали по этому поводу веселые фарсы. Вызовъ, брошенный Достоевскимъ «свистунамъ изъ хлѣба», попалъ въ цѣль и поднялъ на ноги дѣятелей «Искры» и «Русскаго Слова». Свистуны изъ хлѣба! Гдѣ эти свистуны изъ хлѣба? Ищите ихъ не въ томъ лагерѣ, который впервые изобрѣлъ «Свистокъ», а вокругъ себя, въ своемъ собственномъ журналѣ. Не Минаевъ свиститъ изъ хлѣба, а сотрудники

[1]) «Время» 1863 г., мартъ. *Опять молодое перо*, стр. 155.

«Времени», табачный фабрикантъ М. Достоевскій, вздумавшій заниматься литературою, и его постоянный критикъ Ап. Григорьевъ, который перепечатываетъ во «Времени» свои старыя статьи изъ «Москвитянина». Минаевъ трудится изъ возвышеннаго убѣжденія, а Достоевскій издаетъ, очевидно, ради коммерческихъ цѣлей «безцвѣтный журнальчикъ», сотрудники котораго наединѣ съ редакторомъ сами сознаются въ полномъ ничтожествѣ своихъ писаній. На страницахъ «Искры» 1863 г. не разъ встрѣчается сатирическое изображеніе редакціоннаго дѣлопроизводства «Времени». Коренастый и взъерошенный М. Достоевскій, съ хищнымъ носомъ и наглымъ выраженіемъ лица, а передъ нимъ маленькій, тоненькій, угодливо извивающійся Косица, во фракѣ и напудренномъ парикѣ, постоянно отворачивающій куда-то въ сторону свое лицо. Достоевскій то призываетъ Косицу къ громовымъ статьямъ, то самъ ужасается послѣдствій дерзкаго поведенія журнала. Косица, расшаркиваясь, успокаиваетъ своего патрона, по секрету отъ публики увѣряя его, что статьи «Времени» представляютъ только компиляцію чужихъ мнѣній и что ихъ въ дѣйствительности никто не читаетъ... [1]) Вотъ образецъ того *кнутика рутиннаго либерализма*, которымъ замахивались на «Время» его мелкоплавающіе обличители. Въ своей наивности они не видѣли своихъ истинныхъ силъ, и, ослѣпленные грошевымъ успѣхомъ среди людей съ вульгарнымъ вкусомъ, не безъ самодовольства похвалялись своимъ общественнымъ значеніемъ въ водевильныхъ стишкахъ:

Я—маленькій кнутикъ,
Кнутикъ либеральный,
Легонькій, какъ прутикъ,
Но хлещу, какъ жгутикъ
Всякій сбродъ журнальный.
Изъ какой рутины
Кнутикъ лилипутикъ,
Если чешутъ спины
Псевдо-исполины,
Чуть засвищетъ кнутикъ?.. [2])

Въ такомъ-же духѣ и съ такою-же силою хлесталъ Достоевскаго кнутикъ «Русскаго Слова» [3]).

Среди всего этого шума и гама журнальной и газетной полемики «Время» доживало свои послѣдніе дни. Предсказаніе Щедрина быстро оправдалось. Одна статья журнала, написанная на отвѣтственную политическую тему, навлекла на редакцію правительственную кару и, съ

[1]) «Искра» 1863 г. № 7, № 16.

[2]) Ibidem, № 7. *Домашній театръ Искры*, стр. 107.

[3]) «Русское Слово» 1863 г., февраль: *Хлѣбная критика «Времени»*. Мартъ. *Дневникъ темнаго человѣка.*

выходомъ апрѣльской книги, «Время» было разъ навсегда запрещено. Несчастье случилось по слѣдующему поводу. Журналъ напечаталъ статью подъ названіемъ «Роковой вопросъ», въ которой авторъ, подписавшійся «Русскій», выразилъ нѣсколько мыслей, клонившихся къ оправданію историческихъ стремленій поляковъ. Авторъ съ явнымъ сочувствіемъ говоритъ о польскомъ просвѣщеніи, о широкой европейской образованности польской интеллигенціи. При этомъ онъ въ довольно откровенныхъ выраженіяхъ указываетъ на азіатское невѣжество русскаго общества. Сопоставляя эти два обстоятельства, онъ приходитъ къ заключенію о необходимости въ этомъ глубокомъ вопросѣ принять во вниманіе не внѣшніе факты и задачи, а, такъ сказать, культурную сторону предмета [1]).

Статья эта, вышедшая, какъ оказалось, изъ-подъ пера Страхова, произвела громадное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что появленіе ея совпало съ жизненнымъ обостреніемъ польскаго вопроса. Достоевскіе, разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Страховъ, были сначала очень довольны ею, хвалили ее. Но жизнь разразилась надъ нею, а съ нею и надъ всѣмъ журналомъ, настоящей бурей. Вскорѣ послѣ появленія этой статьи въ газетѣ Каткова раздался грозный патріотическій окрикъ. Такая статья, какъ «Роковой вопросъ», писали «Московскія Вѣдомости», не должна была явиться безъ подписи автора. Только бандиты наносятъ удары съ маской на лицѣ. Вся Россія даетъ единодушный отпоръ польскимъ притязаніямъ, а авторъ статьи, напечатанной во «Времени», оправдываетъ стремленіе поляковъ завладѣть Украйной и Москвой—яко-бы для распространенія цивилизаціи. Замѣтка требуетъ, въ заключеніе, чтобъ редакція журнала открыто сказала, согласна-ли она съ выраженнымъ въ «Роковомъ вопросѣ» мнѣніемъ: «согласна-ли она или нѣтъ съ мнѣніемъ автора, имя котораго, если-бы оно было извѣстно, произносилось-бы съ презрѣніемъ каждымъ истинно-русскимъ». Слово Каткова не осталось безъ вліянія, и вскорѣ разнеслись слухи, что журналу угрожаетъ опасность. Оказалось, что нельзя терять ни одного дня, говоритъ Страховъ. Ѳ. Достоевскій написалъ отъ имени редакціи небольшую статью для напечатанія въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», въ которой Каткову данъ отпоръ сильный, рѣзкій и съ чувствомъ живого негодованія. «Ваша статья—нехорошая статья, писалъ Достоевскій, обращаясь къ автору замѣтки (Петерсону), именно тѣмъ, что поневолѣ требуетъ отвѣта. Она даже и не статья, она просто дурное дѣло. Очень дурное дѣло» [2]). Но статья Достоевскаго въ газетѣ не по-

[1]) „Время“ 1863 г. апрѣль, *Роковой вопросъ*, стр. 152—163.

[2]) „Московскія Вѣдомости“ 1863 г. № 109.—Полное собраніе сочиненій Достоевскаго, т. I, *Польское дѣло*, стр. 245—258.—Смотри также „Искра“ 1863 г., № 34. *Очерки прогресса*, стр. 455.

явилась, а дѣло о литературномъ преступленіи «Времени» шло своимъ офиціальнымъ порядкомъ. Страховъ выбивался изъ силъ, чтобы предъотвратить ударъ, прибѣгая къ разнымъ житейскимъ ходатайствамъ и даже обращаясь къ двумъ главнымъ патріотамъ Москвы съ оправдательными письмами, въ которыхъ выдвигалъ на первый планъ свои скрытыя, лойальныя тенденціи. Но уже ничто не могло спасти «Времени».

IV.

Въ 1864 г. М. Достоевскій сталъ издавать новый журналъ подъ названіемъ «Эпоха». Журналъ этотъ долженъ былъ быть продолженіемъ «Времени» и по составу сотрудниковъ, и по главнымъ литературнымъ тенденціямъ. Но разныя житейскія обстоятельства съ самаго начала помѣшали новому изданію пріобрѣсти тотъ успѣхъ, которымъ пользовалось «Время». Книжки журнала выходили не аккуратно, а Ѳ. Достоевскій, находившійся въ то время въ Москвѣ, при умирающей женѣ, не могъ принимать непосредственнаго участія въ редакціонномъ трудѣ. Правда, онъ переѣхалъ въ Петербургъ сейчасъ-же послѣ смерти жены, и при его непосредственномъ участіи «Эпоха» стала появляться съ большей аккуратностью, но поставить какъ слѣдуетъ сложное дѣло, которое сразу попало въ крайне неблагопріятныя условія, оказалось очень труднымъ. Наконецъ, въ теченіе перваго же года своего существованія журналъ лишился своего редактора М. Достоевскаго и ближайшаго сотрудника Ап. Григорьева. Замѣнить умершихъ новыми, столь же значительными, работниками не было никакой возможности. Вся энергія Ѳ. Достоевскаго уходила на цѣли несущественныя для дѣла, тратилась понапрасну въ разныхъ заботахъ чисто издательскаго свойства. Чѣмъ старательнѣе выполнялись внѣшнія обязательства по журналу, разсказываетъ Страховъ, тѣмъ меньше редакція имѣла времени и силъ для выполненія его внутреннихъ задачъ. Журналу вредило отсутствіе зажигательныхъ статей и фельетоновъ, которые въ одинъ годъ создали успѣхъ «Времени». И вотъ, перебиваясь изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, новое изданіе закрылось на февральской книгѣ 1865 года.

Однако, и это краткое существованіе «Эпохи», не ознаменовавшееся какими-нибудь выдающимися для нея литературными событіями, не прошло безслѣдно для журналистики того времени. Ея дѣятельность совпала съ извѣстными колебаніями въ литературномъ поведеніи «Современника», которому нѣкоторыя статьи «Эпохи» послужили поводомъ для самой разнузданной полемической оргіи. «Современникъ» выбивался изъ силъ, чтобы въ борьбѣ съ Достоевскимъ отстоять передъ публикою свою былую, истинно-радикальную репутацію, которая стала нѣсколько затмеваться уже съ января 1864 года, благодаря нѣкоторымъ

своимъ выходкамъ противъ современнаго нигилизма и, наконецъ, сразу сильно пошатнулась, когда обличителемъ его направленскихъ отступленій явился молодой Писаревъ во главѣ цѣлой когорты мыслящихъ пролетаріевъ изъ «Русскаго Слова». «Современникъ» искусственно усиливалъ свою полемическую ярость противъ почвенниковъ, на которыхъ еще можно было набросить тѣнь въ глазахъ правовѣрныхъ почитателей реализма, но неукротимые сотрудники «Русскаго Слова», почуявъ приближеніе благопріятной для нихъ минуты, молодецки повели атаку на Антоновича и Щедрина и въ какихъ-нибудь два года окончательно перетянули на свою сторону все, что было въ обществѣ самаго юнаго, самаго крайняго, самаго типичнаго для даннаго историческаго момента.

Полемика «Современника» съ «Эпохою» началась въ маѣ 1864 г. Заканчивая свой ежемѣсячный фельетонъ, Щедринъ обращается къ новому журналу и посвящаетъ ему нѣсколько насмѣшливыхъ фразъ. Фельетонисту кажется, что онъ слышитъ какія-то рыданія — точно сто Громекъ разомъ ворвались въ его скромное убѣжище, точно несмѣтное полчище сокращенныхъ мировыхъ посредниковъ окружило его письменный столъ. Это рыдаютъ редакторъ и сотрудники «Эпохи»: Косица, Ап. Григорьевъ, Ѳ. Достоевскій, Страховъ. Они вопіютъ умиленно-унылыми голосами и въ то же время присматриваются, какъ бы имъ такъ приноровиться, чтобы «всѣхъ прельстить смиренствомъ да тихимъ, кроткимъ поведеніемъ». Въ сатирической фантазіи молодого писателя вдругъ проносится счастливая мысль—оборвать фельетонъ и перейти на веселое представленіе въ лицахъ. Кто эти сотрудники «Эпохи»? Какимъ общимъ именемъ назвать ихъ? Съ какими птицами сравнить ихъ? Натурально, это — стрижи. Косица, Страховъ, Григорьевъ, Достоевскій — стрижи. Найдя столь мѣткое слово, Щедринъ набрасываетъ небольшую драматическую быль, въ которой возобновленный журналъ аллегорически фигурируетъ подъ именемъ «Возобновленнаго Сатурна», а его главные сотрудники — подъ видомъ семи стрижей и трехъ нетопырей. Театръ представляетъ запустѣлый, сырой погребъ, по стѣнамъ котораго, на полкахъ, сидятъ стрижи. По полу бѣгаютъ голодныя, тощія крысы. Стрижи тихо перешептываются о постигшемъ ихъ нѣкогда, совершенно неожиданно и незаслуженно, несчастіи, намѣчаютъ смиренную программу новаго журнала. Пичужки съ философическими, беллетристическими и критическими талантами говорятъ словами изъ статей извѣстныхъ почвенниковъ [1])... Таковъ фантастическій шаржъ на 8 страницахъ, безъ особеннаго остроумія и безъ настоящаго сатирическаго яда, который долженъ былъ, по мысли автора, явиться вѣрнымъ отраженіемъ того, что дѣлалось въ редакціи «Эпохи». Молодое, талантливое перо, уже за-

[1]) „Современникъ“ 1864 г., май. *Стрижи*, стр. 19—26.

мѣченное въ печати и обществѣ, изощрялось въ придумываніи балаганныхъ эфектовъ для борьбы съ такимъ человѣкомъ, какъ Достоевскій.

Достоевскій, сейчасъ же по пріѣздѣ въ С.-Петербургъ, послѣ смерти жены, сдалъ въ печать отвѣтный фельетонъ, написанный зло, ѣдко, съ лихорадочнымъ жаромъ и настоящимъ полемическимъ паѳосомъ. Съ едва скрываемымъ презрѣніемъ онъ выставляетъ всю безцѣльность, всю пустоту юмористическихъ обличеній Щедрина, наигрывающаго на смѣхотворныхъ словечкахъ. Напускная веселость его фельетоновъ вызываетъ въ Достоевскомъ нервную саркастическую усмѣшку. Его попытку скомпрометировать «Эпоху» намеками на какія-то покаянія въ недавнихъ грѣхахъ Достоевскій отбрасываетъ, какъ недостойный, въ гражданскомъ отношеніи, поступокъ. «Авторъ статьи, пишетъ онъ, помѣщая свое показаніе объ измѣнѣ нашихъ убѣжденій, совершенно зналъ напередъ, что мы не будемъ опровергать его. Зналъ онъ это вполнѣ. Это вѣрно и ясно, какъ день... Вещь удивительная: до сихъ поръ Современникъ не такъ дѣйствовалъ. Прежде онъ не позволилъ бы себѣ такой выходки. Стало быть, дѣйствительно, онъ измѣнилъ свое направленіе». Затѣмъ Достоевскій, желая написать карикатуру на карикатуру, печатаетъ фантастическій романъ подъ названіемъ: «Отрывокъ изъ романа *Щедродаровъ*». Романъ этотъ состоитъ изъ четырехъ главъ, въ которыхъ разсказывается о томъ, какъ и на какихъ условіяхъ Щедродаровъ вступалъ въ качествѣ соредактора въ журналъ «Своевременный», какъ Щедродаровъ вдругъ взбунтовался и причинилъ «Своевременному» много непріятностей и какъ, наконецъ, въ редакціи разыгралась настоящая трагедія въ стаканѣ воды по поводу яростныхъ нападокъ на Щедродарова Скрибова и Кроличкова [1]).

Въ этомъ карикатурномъ романѣ много мѣткихъ характеристикъ и ядовитыхъ словъ, попадающихъ въ больное мѣсто таланта Щедрина. Достоевскій никогда не отказывалъ Щедрину въ дарованіи, но его вдохновенно-серьезному уму, его аскетическому духу было ненавистно все, что отдавало навязчивымъ и неряшливымъ балагурствомъ, все, что не было проникнуто опредѣленной, фанатически рѣзко поставленной цѣлью. Достоевскій первый предостерегалъ Щедрина отъ опасныхъ увлеченій безцѣльнымъ зубоскальствомъ, которое почти всегда вливало свою мелкую, мутную струйку въ произведенія его крупнаго, яркаго и, на склонѣ дней, трагически-мрачнаго таланта. Обрызганный грубо-издѣвательскимъ и безпричинно надменнымъ остроуміемъ Щедрина, въ одинъ изъ самыхъ тягостныхъ періодовъ своей жизни, во время мучительно напряженной борьбы съ невзгодами журнала, при острыхъ личныхъ страданіяхъ, Достоевскій не пощадилъ сво-

[1]) „Эпоха“ 1864 г., май, *Господинъ Щедринъ или расколъ въ нигилизмѣ*.

его бывшаго сотрудника и, содрагаясь отъ незаслуженнаго оскорбленія, мстительно швырнулъ ему въ лицо раскаленными углями своего безпощаднаго краснорѣчія... Щедринъ осатанѣлъ. Завязалась почти невѣроятная рукопашная. Сотрудники «Современника» дали волю всѣмъ своимъ циническимъ, почти животнымъ инстинктамъ, которые прорываются въ каждомъ, не овладѣвшемъ собою человѣкѣ, когда что-нибудь разбередитъ таящееся въ немъ самолюбіе. Щедринъ отвѣчаетъ Достоевскому въ іюльской книгѣ «Современника» въ статейкѣ—если только написанное имъ можно назвать такимъ образомъ, — озаглавленной: «Стрижамъ, посланіе оберъ-стрижу, господину Достоевскому». Выступая подъ псевдонимомъ «Посторонній сатирикъ», впослѣдствіи перехваченнымъ Антоновичемъ, авторъ съ самаго же начала дѣлаетъ слѣдующее заявленіе своему противнику. «Оставьте въ покоѣ Щедрина, пишетъ онъ, по дѣламъ объ изобрѣтеніи стрижей, а обращайтесь единственно и исключительно ко мнѣ, къ настоящему автору и изобрѣтателю стрижей. Я дорожу своимъ изобрѣтеніемъ и не потерплю, чтобы честь его приписывали другому. Пусть Щедринъ вѣдается съ вами, какъ ему угодно, по поводу тѣхъ сплетней, которыя вы печатно разглашаете противъ него: захочетъ онъ отвѣчать вамъ или же *просто плюнетъ на васъ* и смолчитъ, это зависитъ отъ его доброй воли и благоусмотрѣнія. Я же другое дѣло». Сдѣлавъ такой приступъ, уклонившись посредствомъ искусственнаго раздвоенія себя отъ отвѣта на сатирическіе выстрѣлы, сдѣланные мѣткою рукою противъ Щедродарова, Щедринъ начинаетъ «сильнымъ рычагомъ ворочать всѣ внутренности Достоевскаго». Меня увѣряли, пишетъ онъ, что статейки противъ Современника «нацарапалъ самъ оберъ-стрижъ, господинъ Достоевскій Ѳедоръ. А, другъ любезный, такъ это вы нашалили? Не ожидалъ, не вѣрилъ. Признаюсь, я думалъ, что г. Достоевскій способенъ только писать разсказы, да испускать изъ себя туманы и ту затхлую атмосферу, которою заражена Эпоха, что онъ можетъ только распускать *невинныя слюни да нюни* и никакъ не способенъ на журнальныя шалости, на ядовитую полемическую пѣну». Затѣмъ, въ плотную подойдя къ Достоевскому, Щедринъ съ распущенной злостью начинаетъ допекать его слѣдующими попреками: «Вы, оберъ-стрижъ, человѣкъ *болѣзненный* и *больной*. Зачѣмъ вы лѣзете въ драку, завязываете полемику, да не спокойную, а непремѣнно азартную, ожесточенную? Развѣ я не знаю, какъ на васъ дѣйствуютъ подобныя полемики». Подражая самой сатирѣ на Щедродарова, но утрируя при этомъ до безобразныхъ размѣровъ нѣкоторыя комическія въ ней черты, и продолжая наигрывать на физическихъ недугахъ Достоевскаго, Щедринъ такъ рисуетъ его въ минуту, когда ему принесли книгу «Современника» съ предыдущимъ къ нему его посланіемъ. Достоевскій саркастически улыбнулся и свысока развернулъ книгу. Если при этомъ были гости, онъ

скрѣпился. Но нервная дрожь, подергиванье губъ, краска, пятнами выступившая на лицѣ—все свидѣтельствовало о безконечной злобѣ, «клокочущей въ жаждущемъ похвалъ сердцѣ». Оставшись одинъ, Достоевскій далъ волю своему отчаянію. Онъ разломалъ стулъ, разбилъ въ дребезги чайную чашку, съѣлъ свой ночной колпакъ и, въ ярости колотя обоими кулаками и лбомъ въ стѣну, онъ испустилъ «желтую жидкость». «Изъ вашей ругательной статьи видно, пишетъ сатирикъ, обращаясь къ Достоевскому, что васъ злость беретъ выругаться въ предупрежденіе разлитія желчи. Статья ваша точно докторомъ вамъ прописана, и докторъ-то вашъ видно такая же *дуракова плешь*. Статья ваша пахнетъ аптекой, гофманскими каплями, уксусомъ и лавровишневой водой». Оцѣнивъ въ такихъ выраженіяхъ полемическій отвѣтъ Достоевскаго, рѣзкій, злой, убійственный, но вызванный грубымъ издѣвательствомъ Щедрина надъ «Эпохою» на тему о стрижахъ, Щедринъ, опять таки въ подражаніе своему противнику, даетъ сцену изъ фантастическаго романа, въ которомъ сотрудники «Эпохи», вмѣстѣ съ Достоевскимъ, изображены съ почти кабацкимъ цинизмомъ. Въ томъ же городѣ, гдѣ издается журналъ «Своевременный», издается другой журналъ подъ остроумнымъ названіемъ «Юпка». За кулисами его редакціи сидитъ и всѣмъ орудуетъ беллетристъ Сысоевскій, другъ Щедродарова. Дѣйствіе происходитъ въ кабинетѣ Сысоевскаго. Онъ шагаетъ изъ угла въ уголъ въ сильной ажитаціи, судорожно сжавъ въ рукахъ какую-то рукопись. По лицу его пробѣгаютъ движенія въ родѣ тѣхъ, какія бываютъ при скрежетѣ зубовъ. Иногда оно искривляется отъ улыбки. Вдругъ онъ въ изнеможеніи бросается на диванъ и кричитъ:

— Нетопырь! Бѣги сію минуту и зови сюда всѣхъ до единаго моихъ помощниковъ.

— Какъ всѣхъ? А если который будетъ пьянъ?..

— И пьяныхъ, хоть даже распьяныхъ, всѣхъ зови... Вези на извозчикѣ, тащи на спинѣ. Пошелъ.

Черезъ нѣсколько времени въ редакторскій кабинетъ приходитъ Тряпица, а за нимъ вносятъ Бельведерскаго, сильно пьянаго. Сысоевскій заявляетъ имъ, что онъ написалъ громоносную статью, которую сейчасъ прочтетъ. Тряпица поддакиваетъ редактору. Во время чтенія Бельведерскій двадцать четыре раза «испускаетъ необыкновенную отрыжку» и затѣмъ пять разъ плюетъ «усиленнымъ и напряженнымъ манеромъ, потому что слюна его очень густа, прилипаетъ къ языку и губамъ и не отлетаетъ по воздуху прочь, а нависаетъ на усахъ и бородѣ». По окончаніи чтенія начинается общередакціонная бесѣда, среди которой Сысоевскій вдругъ разражается истерическими рыданіями... [1]).

[1]) «Современникъ» 1864 г., іюль, стр. 154—170.

Такъ побивалъ «Эпоху» Щедринъ, а рядомъ съ нимъ, въ той-же книгѣ «Современника», Антоновичъ надругивался надъ Достоевскимъ уже безъ всякаго сатирическаго таланта, словами заправскаго базарнаго жаргона. Статья Достоевскаго, писалъ онъ, «пропитана какимъ-то чахоточнымъ удушьемъ», болѣзненною злостью *прибитой и издыхающей твари*. «Эпоха» есть ничто иное, заявляетъ онъ, какъ «полное собраніе *ерунды* и почвы, насиженныхъ Достоевскимъ, размазываемыхъ Косицею, дополненное чѣмъ-то дикимъ и страннымъ, что производитъ Аполлонъ Григорьевъ и чему даже и названія нельзя придумать никакого». Опомнитесь, стрижи! восклицаетъ Антоновичъ. Вы сами на себя налагаете руки, сами терзаете свои внутренности. Вы торжествуете по поводу безпорядковъ въ «Современникѣ», но всѣ понимаютъ, почему вы должны торжествовать—«вы, а вмѣстѣ съ вами и вся *литературная шваль, подобная вамъ*»... Покончивъ съ Достоевскимъ, Антоновичъ тѣмъ-же извозчичьимъ кнутомъ хлещетъ «Голосъ» и «Отечественныя Записки»! [1]).

На такого рода полемическіе громы «Эпоха» откликнулась съ большимъ достоинствомъ. Достоевскій отвѣтилъ тремя страницами, написанными сдержанно, съ чувствомъ собственнаго достоинства. Онъ не проронилъ въ нихъ ни единаго рѣзкаго слова, ни одной сатирической колкости. Надо думать, что пережитое имъ въ это время потрясеніе — почти неожиданная смерть брата—произвело на его мучительно взбудораженную душу потрясающее и вмѣстѣ съ тѣмъ просвѣтляющее дѣйствіе. Онъ не горячится, не хлещетъ прежними бичами, но, не забывая среди личныхъ несчастій литературныхъ интересовъ журнала, шлетъ своимъ противникамъ отвѣтъ, озаренный грустной улыбкой. Достоевскій пишетъ: Посторонній Сатирикъ коритъ меня тѣмъ, что я больной, выставляетъ меня больнымъ въ карикатурной сценѣ. Все это возможно въ извѣстномъ человѣкѣ и при извѣстной степени гнѣва. «Но за что-же онъ доктора-то моего обругалъ? Вотъ, чего я рѣшительно не могу понять». Если-бы Посторонній Сатирикъ выругалъ заодно съ Достоевскимъ кого-нибудь изъ его родственниковъ или родственницъ, то это было-бы хоть сколько-нибудь понятно: «они мнѣ родственники, слѣдовательно, уже тѣмъ и виноваты». Но докторъ! Зачѣмъ онъ задѣлъ доктора? Зачѣмъ онъ обругалъ совсѣмъ посторонняго человѣка?... Страховъ, въ такомъ-же сдержанномъ тонѣ, отмѣчаетъ въ «Замѣткахъ лѣтописца» невѣроятный тонъ полемики «Современника», заявляя при этомъ, что для правильнаго спора яростныя выходки, подобныя приведеннымъ, не

---

[1]) «Современникъ» 1864, Іюль. «Литературныя мелочи:» *Торжество ерундистовъ*, стр. 141—153.

представляютъ никакого матеріала: тутъ нельзя спорить, тутъ надо молчать. Антоновичу «Эпоха» не даетъ никакого отвѣта [1]).

Обойденный молчаніемъ, Антоновичъ поспѣшилъ отомстить за обиду въ слѣдующей-же книжкѣ «Современника». Послѣ необычайно длиннаго ругательнаго объясненія съ «Голосомъ» и «Отечественными Записками», онъ обращается къ «Эпохѣ» съ новымъ потокомъ площадной брани. «Современникъ», пишетъ онъ, принялъ за правило руководствоваться въ полемикѣ извѣстною «въ уголовномъ правѣ системою возмездій—око за око, зубъ за зубъ, т. е. наказывать всякую *литературную ракалію* тѣмъ-же оружіемъ, которымъ она сама согрѣшитъ. Доказывать *какой нибудь ракаліи*, что ея пріемы нехороши, неделикатны—дѣло трудное. Доказательствами ее не проймешь. А гораздо лучше каждую *ракалію* заставить на ея-же собственной спинѣ почувствовать прелесть ея полемическихъ пріемовъ [2])»...

Объ этомъ новомъ литературномъ подвигѣ Антоновича въ «Эпохѣ» появилось только мимолетное, пренебрежительное сообщеніе въ «Замѣткахъ лѣтописца» Страхова [3]).

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ Посторонній Сатирикъ, припертый къ стѣнѣ всеобщимъ протестомъ русской печати противъ затѣянной имъ безстыдной полемической оргіи съ «безпримѣрною, по выраженію Достоевскаго, въ лѣтописяхъ россійской словесности руганью», — оправдывается въ огромной, необузданной и многословной статьѣ. Онъ только подражалъ пріемамъ Достоевскаго, говоритъ онъ, платя ему его собственной монетой. Стрижи не умѣли держать себя въ литературѣ, и онъ далъ имъ хорошій урокъ. Передъ живымъ примѣромъ полемики Достоевскаго и у него разъярилась фантазія, расшалилось воображеніе и распустились невинные цвѣтки краснорѣчія. Его полемическое посланіе къ оберъ-стрижу есть простая копія статей «Эпохи», копія, къ которой было прибавлено только «нѣсколько самыхъ незамысловатыхъ приводовъ для того, чтобы вышла западня для стрижей» [4])... Вотъ на чемъ вертится вся эта безконечно-длинная, безалаберная статья, приправленная только въ концѣ разсужденіями о нехорошемъ направленіи «Эпохи». Въ общемъ статья отъ начала до конца носитъ сугубо-неприличный характеръ, благодаря непристойному эпиграфу изъ порнографическаго романса:

Не садись на эту вѣтку,—
Иль не видишь, что на ней?!
Злой ловецъ поставилъ сѣтку
Для погибели твоей.

[1]) «Эпоха» 1864 г., Іюль, *Замѣтки лѣтописца*, стр. 9—10. *Необходимое замѣченіе*, 1—4.

[2]) «Современникъ» 1864, Августъ. *Вопросъ, обращенный къ стрижамъ*, стр. 340.

[3]) «Эпоха» 1864, Августъ. *Полезное объясненіе*, стр. 22—24.

[4]) «Современникъ» 1864, Сентябрь. *Литературныя мелочи*, стр. 106.

Достоевскій поспѣшилъ оборвать эту ужасную полемику въ сентябрьской книгѣ «Эпохи». На громадную статью Посторонняго Сатирика онъ возражаетъ замѣткою въ пять страницъ. Съ прежнимъ достоинствомъ, не пускаясь ни въ какія серьезныя объясненія съ полемистами «Современника», онъ дѣлаетъ твердое заявленіе: «Эпоха» не будетъ впредь отвѣчать «Современнику» на его неугомонныя выходки. Полемика интересна только на почвѣ идей, но идеи—не ругань. На прощанье Достоевскій съ обезоруживающимъ остроуміемъ выражаетъ согласіе принять названіе стрижа, которое съ озлобленнымъ хохотомъ навязывалъ ему его бывшій сотрудникъ Щедринъ. «Знайте, пишетъ онъ, что стрижи очень хорошенькія птички. Во-первыхъ, онѣ красивы, а во-вторыхъ, предвѣщаютъ ясную погоду. Вспомните начало одного стихотворенія:

Ждя яснаго на завтра дня:
Стрижи мелькаютъ и звенятъ...

Что можетъ быть лучше ясной погоды, ясныхъ, тихихъ дней! Что можетъ быть лучше, какъ предвѣщать эти грядущіе дни, стремиться къ нимъ и ободрять другихъ въ этомъ стремленіи... Мы ясную погоду предвѣщаемъ» [1]).

Въ послѣднихъ трехъ книжкахъ «Современника» за 1864 г. Антоновичъ пытался слегка измѣнить тонъ своей полемики съ «Эпохою», прикинуться серьезнымъ, изобличить Страхова въ полной некомпетентности по философскимъ вопросамъ на почвѣ Гегеля и Фейербаха, но «Эпоха», можно сказать, окончательно отвернулась отъ «Современника» надъ головой котораго въ это время собирались уже настоящія тучи со стороны Писарева, Зайцева и Благосвѣтлова, шедшихъ на него грозою за направленскія преступленія Антоновича и Щедрина противъ своихъ собственныхъ авторитетныхъ предшественниковъ. Полемика съ «Эпохою» не успѣла еще прекратиться, какъ Антоновичу пришлось начать борьбу съ опаснѣйшимъ соперникомъ, котораго нельзя было донять ни намеками на уклоненія отъ радикальнаго кодекса, ни попреками на тему о физическомъ слабосиліи. Дружина «Русскаго Слова» состояла на подборъ изъ истинно-храбрыхъ молодцовъ и силачей, которые легко могли разнести своими здоровыми кулаками репутацію «Современника», уже дававшую трещину. Но объ этомъ намъ придется подробно говорить въ слѣдующей статьѣ.

Въ полемикѣ «Современника» съ Лавровымъ и «Эпохою» еще разъ и съ особенной силой дала себя почувствовать умственная невоспитанность, даже некультурность передовой части русскаго общества. Презрительное отношеніе ко всякой оригинальности въ чужомъ мнѣніи, са-

[1]) „Эпоха“ 1864 г., Сентябрь, *Чтобы кончить*, стр. 5.

моувѣренность ограниченнаго знанія, непривычка владѣть собою въ разговорахъ и спорахъ, склонность сводить всякій обмѣнъ теоретическихъ мнѣній на личности, на ругань, чуть не на кулачную потасовку, циническая откровенность въ вываливаніи на публичныхъ преніяхъ всѣхъ грязныхъ подонковъ скабрезнаго остроумія—вотъ тѣ злосчастные элементы, которые надолго замутили русскую журналистику. На нетронутой, плодородной почвѣ русской литературы, удобренной этими публицистическими помоями, пышно и густо разрослась крапива, цѣпкій чертополохъ, нелѣпые лопухи и всякая прочая мусорная трава, которою засорилась современная печать. Вотъ что воспитало въ русскомъ обществѣ, съ одной стороны, склонность къ дикому, злорадному гоготанью при всякихъ дрянныхъ и грязныхъ инсинуаціяхъ какого-нибудь газетнаго шарлатана, а, съ другой стороны, у щепетильно-порядочныхъ людей, какую-то особенную пугливость по отношенію ко всякой литературной полемикѣ, для какихъ-бы цѣлей она ни была затѣяна, съ какими настроеніями она-бы ни велась.

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Расколъ въ радикальной партіи.

Либеральное уподобленіе Тургенева Аскоченскому. — Бурныя событія эпохи. — Направленіе «Отечественныхъ Записокъ».—Громека и его заступничество за радикальные журналы.—Сатирическіе фельетоны Щедрина въ «Современникѣ». — Колебанія въ политическомъ направленіи «Современника». — Выходка противъ нигилистовъ.— Насмѣшка Щедрина надъ романомъ Чернышевскаго.—Первая схватка съ «Русскимъ Словомъ».—«Лукошко глубокомыслія» и «бутерброды глубокомыслія».—Отъѣздъ Щедрина и рѣшительная битва между обоими журналами.—Вмѣшательство Писарева.— Антоновичъ и Писаревъ о Чернышевскомъ.—Чернышевскій о Чернышевскомъ.—Побѣда «Русскаго Слова» и паденіе «Современника».—Прекращеніе обоихъ журналовъ и возникновеніе новыхъ изданій.

I.

Медленно, но постоянно накапливались въ «Современникѣ» матеріалы, послужившіе причиною его полнаго разложенія. Борьба съ «Временемъ» и «Эпохою», разыгравшаяся въ невѣроятно скандальное явленіе, изумила и смутила самыхъ горячихъ его поклонниковъ. Не подлежало сомнѣнію, что «Современникъ» вступаетъ въ новый періодъ дѣятельности и что за грубыми пріемами его полемики, за густыми облаками той ѣдкой пыли, которую взбивали его расходившіеся сотрудники, уже не было ничего твердаго, устойчиваго, хорошо и глубоко прочувствованнаго. То, что было выраженіемъ свѣжаго настроенія и оригинальной мысли у Добролюбова, то, что составляло предметъ пылкаго и почти вдохновеннаго убѣжденія у Чернышевскаго, у Антоновича превратилось во что-то тяжеловѣсно бездушное, способное только раздражать, но не волновать умы. Мало-помалу журналъ лишался своихъ настоящихъ руководителей. У «Современника» не было болѣе ни философа, ни критика. Антоновичъ расширялъ свою извѣстность только благодаря своимъ скандальнымъ промахамъ, благодаря своей безцѣльной развязности въ выборѣ темъ, совершенно неподходящихъ для его литературныхъ способностей, но вызывающихъ на

отвѣтъ людей съ настоящимъ талантомъ. Съ фатальнымъ постоянствомъ онъ дѣлалъ себя жертвою чужого остроумія и мѣткости и, желая подставить ногу другимъ, самъ летѣлъ къ нимъ подъ ноги. Люди разнородныхъ направленій увѣренно переступали черезъ него и шли своимъ путемъ, къ своей опредѣленной цѣли.

Однимъ изъ любопытнѣйшихъ промаховъ Антоновича надо признать статью его объ «Отцахъ и дѣтяхъ» Тургенева, относящуюся еще къ 1862 году. Только-что неудачно сразившись съ Юркевичемъ на философской почвѣ, Антоновичъ задумалъ дать реваншъ Тургеневу за его открытый разрывъ съ «Современникомъ», разрывъ, поощряемый Герценомъ, который, наблюдая издали за дѣятельностью Чернышевскаго и его ближайшихъ сотрудниковъ, никогда вполнѣ имъ не сочувствовалъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ не уважалъ, какъ людей [1]). Антоновичъ раздѣывается съ романомъ Тургенева въ статьѣ, носящей названіе «Асмодей нашего времени». По его мнѣнію, весь романъ Тургенева представляетъ собою плохой, поверхностный морально-философскій трактатъ, который, не удовлетворяя ума, тѣмъ самымъ производитъ непріятное впечатлѣніе и на наше чувство. «Негдѣ укрыться отъ удушливаго зноя странныхъ разсужденій и хоть на минуту освободиться отъ непріятнаго, раздражающаго впечатлѣнія, производимаго общимъ ходомъ изображаемыхъ дѣйствій и сценъ», восклицаетъ Антоновичъ. Въ новомъ романѣ Тургенева нѣтъ никакого психологическаго анализа, и за исключеніемъ одной старушки, нѣтъ ни одного живого лица, ни одной живой души. Всѣ личности въ немъ—это идеи и взгляды, наряженные въ случайную форму. Къ главному герою романа Тургеневъ питаетъ какую-то личную ненависть. Онъ мститъ ему на каждомъ шагу и мстительность Тургенева доходитъ до смѣшного, «имѣетъ видъ школьныхъ щипковъ, обнаруживаясь въ мелочахъ и пустякахъ». Антоновичу кажется, что Тургеневъ хотѣлъ изобразить въ Базаровѣ «демоническую или байроническую натуру, что-то въ родѣ Гамлета», но, не справившись съ задачей, романистъ придалъ своему герою черты, «по которымъ эта натура кажется самою дюжинною, по крайней мѣрѣ весьма далекою отъ демонизма». Базаровъ въ художественномъ изображеніи Тургенева не живая личность, а карикатура, «чудовище съ крошечной головкой и гигантскимъ ртомъ, съ маленькимъ лицомъ и пребольшущимъ носомъ»—и притомъ карикатура самая злостная. Вообще, заключаетъ Антоновичъ, въ художественномъ отношеніи «Отцы и дѣти» совершенно неудовлетворительное произведеніе. Въ немъ нѣтъ общей нити, общаго дѣйствія, въ немъ «все какія-то отдѣльныя рапсодіи». Давъ эту блестящую оцѣнку одному изъ самыхъ

[1]) Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева къ Ал. Ив. Герцену, изд. 1892 г. стр. 113.

замѣчательныхъ произведеній русскаго искусства, произведенію, составившему цѣлую эпоху въ исторіи умственной культуры Россіи и написанному съ поразительною энергіею художественныхъ красокъ, Антоновичъ переходитъ къ главной обвинительной части своей статьи, въ которой доказывается, что Тургеневъ, своимъ романомъ, измѣнилъ дѣлу русскаго прогресса. «Отцы и дѣти», говоритъ онъ, написаны съ тенденціями, съ рѣзко выступающими теоретическими цѣлями. Въ нихъ слишкомъ явно выступаетъ самъ авторъ, его симпатіи, его «личная желчь» и раздраженіе. На всемъ протяженіи романа вы нигдѣ не встрѣтите ни искры сочувствія къ дѣтямъ, къ молодому поколѣнію. Стараясь набросить невыгодную тѣнь на Базарова, Тургеневъ слишкомъ погорячился, «перепустилъ» и сталъ выдумывать разныя небылицы. Для Антоновича ясно, что критика, видѣвшая въ Тургеневѣ прогрессиста, просто ошибалась въ объясненіи его прежнихъ произведеній, внося въ нихъ свои собственныя мысли и понятія, не свойственныя ихъ автору. Тургеневъ направилъ стрѣлы своего таланта, противъ того, чего онъ въ сущности не понялъ. Онъ слышалъ разнообразные голоса, наблюдалъ оживленные споры, но въ своемъ романѣ онъ умѣлъ коснуться только верхушекъ тѣхъ явленій, которыя совершаются въ современномъ русскомъ обществѣ. Это произведеніе слабое во всѣхъ отношеніяхъ. Обозрѣвъ его съ разныхъ сторонъ, Антоновичъ приходитъ къ слѣдующему рѣшительному выводу: вотъ художество, которое дѣйствительно заслуживаетъ, если не отрицанія, то порицанія, вотъ искусство, не стоющее никакого сочувствія. По силѣ таланта, по значительности содержанія, «Отцы и дѣти» ничѣмъ не отличаются отъ романа Аскоченскаго *Асмодей нашего времени*. «Говоримъ совершенно искренно и серьезно и просимъ читателя не принимать наши слова въ смыслѣ того часто употребляемаго пріема, расписывается Антоновичъ, посредствомъ котораго многіе, желая унизить какое-нибудь направленіе или мысль, уподобляютъ ихъ направленію и мыслямъ Аскоченскаго» [1]). Антоновичъ читалъ *Асмодея* въ то время, когда Аскоченскій еще ничѣмъ не заявилъ себя въ литературѣ и когда «Домашней Бесѣды» еще не существовало, и читалъ его съ полнымъ безпристрастіемъ, безъ всякихъ заднихъ мыслей. И вотъ теперь впечатлѣніе, произведенное на него «Отцами и дѣтьми», поразило его чѣмъ-то давно пережитымъ, самъ Базаровъ представился ему знакомою фигурою. «Отцы и дѣти»—это, однимъ словомъ, новый «Асмодей» шестидесятыхъ годовъ.

Въ теченіе 1862 г. въ «Современникѣ» не появлялось ничего болѣе характернаго и интереснаго въ литературномъ отношеніи. Нѣсколько небольшихъ статей Чернышевскаго и полемическая распря Антоновича съ Юркевичемъ, Тургеневымъ и Косицею—вотъ и все, чѣмъ ознамено-

[1]) «Современникъ» 1862 г., Май, *Асмодей нашего времени*, стр. 110.

валъ свое существованіе «Современникъ» въ этомъ году. Но слава журнала была тогда еще въ своемъ зенитѣ, его враждебныя стычки съ многочисленными противниками пріобрѣтали характеръ всероссійскихъ событій. А время надвигалось мрачное, озаренное кровавымъ блескомъ пожаровъ, встревоженное суровыми угрозами молодой Россіи. Эпоха, начавшаяся смѣлыми либеральными реформами, могла вдругъ, не справившись съ натискомъ новыхъ, свѣжихъ броженій, выродиться въ тяжелую, гнетущую реакцію. Отъ печати требовался особый политическій тактъ, чтобы дать бодрость настоящимъ работникамъ на поприщѣ прогресса. Общество, дорожившее реформами и имѣвшее право надѣяться на дальнѣйшее движеніе по пути либеральныхъ усовершенствованій, должно было сумѣть сохранить равновѣсіе и, переработавъ всѣ свои броженія, дать усиленный ходъ новымъ, точнымъ программамъ. Это было время настоящаго политическаго испытанія для культурныхъ силъ русскаго государства. Но, къ великому несчастью, не все оказалось на высотѣ историческаго момента. Журналы, не воспитанные ни въ какой серьезной политической школѣ, не привыкшіе принимать участіе въ гражданской жизни страны, вліяя на ходъ вещей вѣскими, продуманными и послѣдовательными аргументами, съ одной стороны холопствовали передъ всякими темными силами, предостерегали правительство противъ увлеченій широкимъ дѣломъ освобожденія, съ другой стороны—неистово метались другъ на друга, затѣвали безцѣльныя, безобразныя полемическія вакханаліи и, въ горячкѣ минутныхъ страстей, оставляли безъ разъясненія настоящіе пункты политическаго разногласія. Среди дыма и огня молодого журнализма дѣло, темное дѣло, совершали только тѣ, которые разжигали заносчивыми вызовами партійные споры и пользовались ими для своихъ скрытыхъ цѣлей, чтобы въ рѣшительную минуту, круто натянувъ вожжи, повернуть разбѣжавшихся коней въ глухую сторону реакціи. Вліяніе Каткова входило въ курсъ жизни ..

Майская книга «Современника» была послѣдней книгой журнала въ 1862 г. Въ заключеніе своей ежемѣсячной хроники, іюньской книгѣ «Отечественныхъ Записокъ», извѣстный въ то время пылкій публицистъ С. Громека писалъ: «Окончивъ эту лѣтопись, мы прочитали объявленіе о прекращеніи на восемь мѣсяцевъ журналовъ Современникъ и Русское Слово. Офиціальное извѣстіе не объясняетъ, за что именно обрушилась кара на эти два журнала, оно сообщаетъ кратко, что, на основаніи вновь вышедшихъ временныхъ цензурныхъ правилъ, министръ внутреннихъ дѣлъ и управляющій министерствомъ народнаго просвѣщенія, по взаимному соглашенію, признали нужнымъ сдѣлать такое распоряженіе». Далѣе, говоритъ Громека, Аксаковъ лишенъ права на изданіе газеты «День», и это послѣднее распоряженіе вызвано неисполненіемъ со стороны Аксакова цензурныхъ правилъ.

«Аксаковъ самъ добровольно лишилъ страну своего полезнаго и честнаго голоса». Итакъ, не стало трехъ изданій, изъ которыхъ два—«Современникъ» и «День»—совершенно противоположны другъ другу по духу и направленію. Славянофилы, пишетъ Громека, могутъ лишиться послѣдняго средства «открыто защищать свою теорію о любовномъ соглашеніи общества съ государствомъ и безполезности какихъ-бы то ни было гарантій», умѣренные либералы и консерваторы «лишаются въ теченіе восьми мѣсяцевъ права бороться съ мнѣніями крайнихъ прогрессистовъ...» [1]). «Отечественныя Записки» выразили сожалѣніе, что два видныхъ журнала исчезли именно въ то время, когда въ литературѣ завязалась съ ними серьезная полемика, а Косица, вѣрный своей насмѣшливой манерѣ, трактуетъ это событіе въ болѣе или менѣе игривомъ тонѣ. Его счастливому настроенію нанесенъ ударъ. При его, всѣмъ извѣстной, любви къ чтенію, при его страсти къ литературнымъ наблюденіямъ, отсутствіе двухъ названныхъ журналовъ не могло не показаться лишеніемъ. Изъ солнечной системы нашихъ журналовъ, пишетъ Косица, исчезли двѣ планеты... [2]).

«Отечественныя Записки», начавъ смѣлую борьбу съ дѣятелями «Современника» въ первые мѣсяцы 1862 года, нѣсколько сокращаютъ и суживаютъ ее во вторую половину этого года. Журналъ открыто порицалъ тѣ орудія, которыми они пользовались въ борьбѣ за свои убѣжденія и, постоянно усиливая обвиненія, доказывалъ, что политическая тактика извѣстныхъ журналистовъ должна повести къ реакціи. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» стали появляться статьи, написанныя въ стилѣ «Свистка», въ которыхъ побивались главари «Современника» ихъ-же собственными средствами. Въ «Письмахъ объ изученіи безобразія», въ сатирическихъ фельетонахъ подъ названіемъ «Все и ничего», въ веселыхъ «Думахъ Синеуса», въ нѣкоторыхъ критическихъ статьяхъ и, наконецъ, въ наиболѣе яркомъ отдѣлѣ журнала, который составлялся подъ редакціей С. Громеки, «Отечественныя Записки» съ большою рѣзкостью, хотя и не всегда съ достаточнымъ талантомъ, выдвигали свою оппозицію безтактному поведенію и развращающимъ пріемамъ «Современника». Многіе честные люди, пишутъ «Отечественныя Записки», горячо сочувствуя стремленіямъ «Современника», сильно не одобряютъ его балаганнаго тона и кривлянья. Но большинству, публикѣ, нравится въ «Современникѣ» именно то, что противно интересамъ литературы. Балаганъ есть народное увеселеніе, и «Современникъ» пользуется народною почвою, на которую сталъ твердой ногой. Нѣтъ, господа, насмѣшливо восклицаетъ сотрудникъ «Отечественныхъ Записокъ», подписавшійся *Прогрессистовъ*, съ однимъ направленіемъ теперь далеко не уѣдете, «будете-ли вы расходиться съ

[1]) „Отечественныя Записки", 1862 г., іюнь, *Современная хроника Россіи*, стр. 82—83.

[2]) Н. Страховъ, *Изъ исторіи литературнаго нигилизма*, стр. 156—157.

Современникомъ, будете ли вы совпадать или даже превосходить его направленіе, подобно *Русскому Слову* — успѣха все-таки не будете имѣть, пока не обратитесь на путь безобразія. Въ настоящее время это единственный вѣрный путь къ литературной славѣ и журнальному благополучію. Истинно, истинно говорю вамъ: глупо дѣлаете, что не спѣшите на этотъ открытый и свободный путь» [1]). Наглость и упрямство въ большомъ почетѣ у толпы, продолжаетъ авторъ. Вотъ Громека хотѣлъ-бы вести полемику съ уваженіемъ къ человѣческой личности и свободѣ чужихъ мнѣній, и его забиваютъ, непремѣнно забьютъ. Альбертини вооружился противъ Чернышевскаго, но Чернышевскій мигнулъ только бровью и кротко произнесъ: «милое дитя, избѣгайте полемическихъ встрѣчъ съ нами», и вся храбрость политическаго обозрѣвателя исчезла, какъ дымъ. Сотрудники «Отечественныхъ Записокъ» не видятъ, что внѣ разудалой свистопляски нѣтъ спасенія. Не слышатъ они ежеминутно возростающей силы свистуновъ, не чуютъ они, что скоро, скоро вся литература превратится въ неумолкаемый свистъ и гамъ.

Гордыя вершины
Нашихъ свистуновъ
Стали ужъ и нынѣ
Выше облаковъ...
Мощны силы вѣка,
Сила ерунды.
Подожди, Громека,
Свиснешь, братъ, и ты!..

Обозрѣвая въ насмѣшливыхъ стишкахъ состояніе современной литературы, веселый Синеусъ видитъ закатъ славы Чернышевскаго и роскошную зарю литературной извѣстности Писарева [2])... Вотъ, вотъ онъ воцарится на вакантномъ престолѣ русской критики.

Громека полемизируетъ съ Чернышевскимъ и его послѣдователями въ серьезномъ тонѣ, со свойственной ему горячностью. Его разсужденія носятъ вполнѣ либеральный характеръ. Вѣрный партизанъ всякаго рода реформъ въ политической и соціальной жизни страны, хотя и склонный къ наивной довѣрчивости по отношенію къ бюрократической машинѣ, человѣкъ безъ глубокаго таланта и настоящей политической прозорливости, Громека храбро воюетъ съ современнымъ ему нигилизмомъ, постоянно выкидывая надъ собою, съ пылкостью юноши, еще свѣжій флагъ оптимистическаго либерализма. Его тирады блещутъ краснорѣчіемъ, но его доводы не задѣваютъ глубины предмета. Его воззванія къ обществу и правительству не страдаютъ дѣланностью или афектаціей и какъ-бы вы-

[1]) «Отечественныя Записки» 1862 г., Февраль. *Письма объ изученіи безобразія*, стр. 37.

[2]) Ibidem, *Думы Синеуса*, стр. 47—49.

ливаются изъ горячаго сердца, но въ нихъ ничто не завоевываетъ читателя. Указывая на постоянныя преувеличенія нигилизма, выступающаго съ отрицаніемъ почти слѣпымъ, направленнымъ безъ разбору во всѣ стороны и при этомъ не дорожащаго своею нравственною репутаціею въ выборѣ орудій борьбы и самозащиты, Громека требуетъ полной свободы для печатнаго слова. Только широкая соціальная жизнь и свободно развивающаяся мысль въ состояніи вылѣчить русское общество отъ охватившей его философской и гражданской чахотки. Вмѣсто двусмысленныхъ полунамековъ и скорбныхъ вздоховъ должны выступить на сцену твердые умы и серьезныя знанія, должна выступить вся наука, всѣ теоріи, всѣ умственныя силы, при полномъ свѣтѣ которыхъ не будетъ мѣста никакому шарлатанству и отвратительному маскараду убѣжденій. Нужны новые идеалы для новыхъ построекъ. Нигилизмъ умѣстенъ только, какъ орудіе критики, какъ скептическое настроеніе, ибо какъ только умами овладѣваетъ мысль о новомъ порядкѣ вещей, «архитекторы новыхъ идеаловъ получаютъ предпочтеніе передъ разрушителями старыхъ—идеалисты смѣняютъ нигилистовъ» [1]). Пусть скептицизмъ дѣйствуетъ свободно, безъ цензуры. Сколько выиграло-бы общество, если-бы скептицизму никогда не ставили никакихъ преградъ. Вспомните, какъ давно раздавались на Руси сильные голоса противъ рабства, тѣлесныхъ наказаній, судебной неправды, взяточничества и чиновничьяго грабежа. Вспомните всѣ безчисленныя жертвы, принесенныя русскимъ народомъ крѣпостническому строю и полицейскому произволу. Подумайте, сколько новыхъ силъ пріобрѣлъ-бы творческій духъ, если-бы борьба съ неправдою развивалась непрерывно, при помощи всего народа, общественнаго мнѣнія, всей науки. Предъявляя въ такой категорической формѣ свои политическія требованія, Громека тутъ-же, съ простодушіемъ человѣка, не знающаго жизни и не умѣющаго измѣрить силу и глубину раздора враждующихъ сторонъ, дѣтски довѣрчиво треплетъ по шеѣ притихшаго звѣря эгоизма и властолюбія. Ему представляется, что положительныя силы общества естественнымъ образомъ сложились въ стройную, организованную систему, на которую можно твердо и спокойно опереться въ борьбѣ за историческія судьбы народа. Послѣ пылкихъ рѣчей въ приподнятомъ цивическомъ тонѣ странно читать наивныя разсужденія о непоколебимой вѣрѣ и неудержимой преданности своимъ убѣжденіямъ людей, ведущихъ постоянную, оборонительно-наступательную кампанію противъ настоящихъ прогрессивныхъ теченій. Протестантскій паѳосъ перебивается у Громеки неумѣренными изліяніями по адресу тѣхъ, къ кому, казалось-бы, долженъ былъ относиться самый

---

[1]) «Отечественныя Записки», 1862 г., Апрѣль, *Современная хроника Россіи*, стр. 50.

его протестъ. Въ сущности, онъ разобрался только въ одной сторонѣ дѣла, и его филиппики противъ дѣйствующей радикальной партіи гораздо болѣе продуманы и осмыслены по содержанію, ярки и мѣтки по формѣ, чѣмъ его слегка приторное заигрываніе съ силами и учрежденіями, сообразующимися только со своими уставами и пренебрежительно равнодушными къ его писательскимъ указаніямъ и увѣщаніямъ. Полемизируя съ «Современникомъ», Громека не хотѣлъ-бы, однако, чтобы отпоръ сопровождался озлобленіемъ противъ партіи движенія. Онъ негодуетъ только на то, что эта партія двигалась до сихъ поръ безъ всякаго такта, повторяя вѣчно одни и тѣ-же фразы и пріемы. Одной и той-же пѣснѣй встрѣчала она каждое событіе. Одни и тѣ-же свистки посылала она, безъ разбору, и первому встрѣчному будочнику, и такимъ людямъ, какъ Костомаровъ. «Такъ можетъ дѣйствовать дикая орда, восклицаетъ Громека,— но такъ не дѣйствуютъ партіи, имѣющія самостоятельныхъ вождей, которые прежде, чѣмъ сдѣлать шагъ, обыкновенно взвѣшиваютъ тяжесть нравственной отвѣтственности за него передъ обществомъ и исторіей» [1]). Противопоставляя людямъ съ журнальнымъ задоромъ дѣйствительныхъ работниковъ на пользу народа, «Отечественныя Записки» разсказываютъ цѣлую исторію, въ которой А. М. Унковскій явился истинно дѣльнымъ, энергичнымъ заступникомъ крестьянскихъ интересовъ въ одномъ частномъ процессѣ: вотъ гдѣ настоящіе борцы за право и справедливость, вотъ гдѣ дѣло, а не краснорѣчивыя слова. Безъ шума и фразъ, скромные люди разсѣялись по русской землѣ и работаютъ въ одиночку, не ожидая рукоплесканій, не гоняясь ни за какими кличками, никому и ничему не льстя и не требуя ни отъ кого никакой лести для себя. И сколько такихъ дѣятелей, замѣчаетъ Громека, незримыхъ для публики. Это не тѣ храбрецы, гарцующіе и джигитующіе наканунѣ битвы, которые въ рѣшительную минуту осаживаютъ въ заднія шеренги, а люди робкіе и краснѣющіе въ предбитвенныхъ оргіяхъ, но смѣлые и доблестные на полѣ сраженія [2]).

Послѣ закрытія «Современника» Громека, какъ мы уже сказали, умѣряетъ пылъ своихъ нападеній на свирѣпое и распущенное поведеніе нѣкоторыхъ журнальныхъ ратоборцевъ. Мы бились съ нашими противниками, пишетъ онъ, пока они были сильны и стояли лицомъ къ лицу съ нами, и мы будемъ биться съ ними опять, когда они встанутъ на ноги. Но теперь мы можемъ только сожалѣть, что послѣднія стрѣлы, направленныя противъ нихъ, были опережены печальными событіями. «Не такой побѣды желали мы надъ ними» [3]), замѣчаетъ Громека. Объ-

[1]) «Отечественныя Записки» 1862 г. май, *Современная хроника Россіи*, стр. 5.

[2]) Ibidem, стр. 17.

[3]) «Отечественныя Записки», 1862 г., Октябрь, *Современная хроника Россіи*, стр. 43.

ясняясь съ нѣкоторыми своими противниками, обвинявшими «Отечественныя Записки» въ томъ, что они измѣнили свое прежнее направленіе, принявъ консервативный тонъ, подслащенный рѣдкими аккордами дешеваго либерализма, Громека съ большою стремительностью отражаетъ несправедливый и незаслуженный полемическій ударъ. Онъ всегда доказывалъ, что нигилизмъ есть только орудіе, а не цѣль. Онъ всегда горячо проповѣдывалъ, что есть заповѣдная черта, которую журналисты не должны переступать подъ страхомъ «погубить начатое дѣло и отдать его въ жертву реакціи». Преданный дѣлу свободы, онъ не могъ быть сдержанъ въ своей борьбѣ съ дѣятелями печати, которые не умѣютъ разрѣшать свою задачу надлежащимъ образомъ. Каждый неосторожный шагъ, каждое лишнее движеніе пугаетъ и волнуетъ его и, стоя между двухъ огней, «между пыломъ передовыхъ застрѣльщиковъ движенія и тяжелой артиллеріей консерваторовъ», онъ не могъ не возбуждать противъ себя неудовольствія всѣхъ партій [1]).

Такъ воевали сотрудники «Отечественныхъ Записокъ» съ радикальными дѣятелями русской печати. Но при этомъ, какъ мы уже сказали, увлекшись дурнымъ примѣромъ, солидный журналъ заводитъ у себя легкое подобіе осуждаемаго имъ самимъ «Свистка» и въ рядѣ статей выражаетъ свое порицаніе литературному и жизненному нигилизму. П. Прогрессистовъ всѣми силами старается натянуть на себя шутовскую маску, свиснуть оригинальными стихами, хлеснуть Чернышевскаго ехидным издѣвательствомъ. Но надо сказать правду, подражательная сатира «Отечественныхъ Записокъ», при отсутствіи въ ея творцахъ непосредственной веселости и артистическаго темперамента, который можетъ сдѣлать завлекательнымъ для публики даже балаганный фарсъ, далеко отстаетъ отъ комическихъ представленій «Современника», съ ихъ раздражающимъ, распущеннымъ смѣхомъ, съ блестками яркаго литературнаго таланта среди безпорядочныхъ грудъ безпринципнаго юмористическаго хлама. Въ сатирѣ «Отечественныхъ Записокъ» не было вдохновенія, внезапныхъ вспышекъ обличительнаго творчества, того, что можетъ изумить, ошеломить, взволновать читательское воображеніе, не было смѣлой рѣшимости яростно шельмовать на глазахъ толпы самыя громкія репутаціи, самыя прославленныя имена. Скользя по готовымъ ритмамъ, прилаживая старыя формы къ случайнымъ сатирическимъ комбинаціямъ и перезванивая чужими риѳмами, фельетонисты «Отечественныхъ Записокъ» дѣлали совершенно мертвое, безцѣльное дѣло, никого не волнующее, никого никуда не увлекающее. Въ сатирѣ «Современника», при всей ея разнузданности, при всемъ ея хищномъ цинизмѣ и наѣзднике-

[1]) «Отечественныя Записки», 1862 г., Сентябрь, *Современная хроника Россіи*, стр. 3.

скомъ произволѣ въ набѣгахъ и экзекуціяхъ, была самобытная сила, кружившая голову своими неожиданными проявленіями. Несправедливая и наглая, она, тѣмъ не менѣе, представляетъ крупное литературное явленіе, съ которымъ необходимо считаться при изученіи судебъ русской литературы. Ея вліяніе мы видимъ и донынѣ въ хлыщеватыхъ пріемахъ нѣкоторыхъ писателей, ищущихъ дешеваго успѣха въ толпѣ, готовой аплодировать бойкому зубоскальству и принимать за талантъ всякое откровенное и дерзкое паясничество. Сатира «Отечественныхъ Записокъ» — эта блѣдная тѣнь сатиры «Современника» — не оставила по себѣ никакого слѣда, никакого вліянія.

Пылкія рѣчи Громеки, несмотря на ихъ вполнѣ либеральное содержаніе, тоже представляютъ не особенное серьезное явленіе. Его полемика не имѣла истинно принципіальнаго характера, какой могла имѣть, напримѣръ, полемика Юркевича съ Чернышевскимъ, полемика Лаврова съ Антоновичемъ и Писаревымъ. Мы видимъ ясно, что онъ борется противъ грубыхъ формъ литературной агитаціи «Современника», но не знаемъ, во имя какого самостоятельнаго, нераздѣляемаго «Современникомъ» принципа вызываетъ онъ на бой тѣхъ, кого онъ считаетъ своими противниками. Громека не выдвигаетъ на первый планъ своихъ теоретическихъ разногласій съ «Современникомъ», какъ это дѣлалъ еще недавно Дудышкинъ. Онъ не указываетъ ни научнаго, ни политическаго пункта раздора, изъ за котораго дѣйствительно стоитъ биться со страстью и вдохновеніемъ. Онъ не выставляетъ ни опредѣленной программы политическаго строя, противъ которой должны были-бы возражать радикальные дѣятели «Современника», ни извѣстнаго философскаго ученія, противоположнаго матеріалистической философіи Чернышевскаго, которое могло-бы притязать на какое-либо культурное значеніе въ современномъ обществѣ. Весь задоръ Громеки былъ направленъ исключительно противъ внѣшняго неприличія въ поведеніи «Современника» и потому не могъ сгруппировать вокругъ него людей съ талантомъ, съ опредѣленными философскими и политическими убѣжденіями, людей, способныхъ и призванныхъ заявить громогласный протестъ противъ свистопляски матеріалистовъ. «Отечественныя Записки», имѣвшія совершенно независимое положеніе въ журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ и не избѣгавшія откровенной критики, направленной и противъ передовыхъ застрѣльщиковъ движенія, и противъ тяжелой артиллеріи консерваторовъ, не поняли своей литературной задачи. Они не собрали въ своей редакціи настоящихъ смѣлыхъ, можно сказать, историческихъ протестантовъ того времени, какими могли быть Юркевичъ и Лавровъ, и весь ихъ протестъ, съ патетическими рѣчами о свободѣ слова безъ цензуры, при наивномъ довѣріи къ дѣятельности бюрократической машины, при ребяческой склонности откровенно заигрывать съ мощнымъ и злымъ звѣремъ, свелся на

безсильную, умѣренную критику чужихъ пріемовъ подъ флагомъ трезваго и уравновѣшеннаго либерализма. Эта склонность къ умѣренности и политической уравновѣшенности и погубила журнальную репутацію «Отечественныхъ Записокъ» того періода. Съ убѣжденіями Чернышевскаго, носившими въ себѣ самихъ язву неизбѣжнаго самоограниченія въ будущемъ, необходимо было бороться не во того или другого примирительнаго шаблона, а во имя широкихъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ поставленныхъ теоретическихъ и практическихъ задачъ. То, что имѣетъ характеръ неумѣреннаго размаха въ требованіяхъ и запросахъ Чернышевскаго, заслуживаетъ свободной критики не само по себѣ, а только по отношенію къ его теоретическимъ обоснованіямъ и аргументамъ. Только люди со страстью, съ смѣлымъ и независимымъ отношеніемъ къ дѣйствительности могли-бы состязаться съ Чернышевскимъ съ полнымъ правомъ и надлежащимъ успѣхомъ. Только люди изъ той-же партіи движенія и съ тою-же неутолимою жаждой свободнаго труда во всѣхъ сферахъ жизни, могли преодолѣть Чернышевскаго, сразившись съ нимъ во имя болѣе прогрессивныхъ и жизнеспособныхъ философскихъ началъ. Но такихъ людей радикальная партія злобно и недовѣрчиво отгоняла отъ себя, а умѣренно-либеральная не постигала во всю глубину и опрометчиво выпускала изъ рядовъ боевой журналистики.

А. Громекѣ было рѣшительно не подъ силу справиться съ «Современникомъ».

Остановимся еще на одномъ очень типичномъ эпизодѣ, характеризующемъ публицистическій тактъ Громеки и отношеніе органа умѣреннаго либерализма къ своей журнальной задачѣ. Въ ноябрѣ 1862 года, почти передъ истеченіемъ срока пріостановки «Современника» и «Русскаго Слова», Громека, въ пылу наивнаго увлеченія, поддавшись напыву профессіональнаго великодушія, побуждающаго протянуть руку помощи утопающему антагонисту, совершенно неожиданно для читателей, выступаетъ въ роли ходатая передъ официальными учрежденіями за журналы, пріостановленные въ началѣ этого года. Онъ обращается съ увѣщательной нотой къ цензурному вѣдомству, объясняя ему въ популярныхъ выраженіяхъ, что закрытіе журналовъ можетъ принести вредъ не только литературѣ, но и правительству. Онъ убѣдительнѣйше проситъ выслушать его: «На душѣ у насъ», говоритъ онъ, «давно лежитъ нѣсколько словъ, которыя выслушать ей (цензурѣ) будетъ не безполезно, такъ какъ дѣло касается лично ея достоинства, а также достоинства литературы и выгодъ правительства». Вотъ уже около полугода, какъ литературное направленіе, извѣстное подъ именемъ нигилизма, устранено вовсе изъ печати, хотя цензурѣ должно быть извѣстно, что направленіе это пользуется сочувствіемъ общества, составляетъ необходимое явленіе,

котораго нельзя вычеркнуть однимъ почеркомъ пера. Съ этимъ направленіемъ боролась почти вся журналистика, когда оно существовало наряду съ другими литературными явленіями и фактами. Теперь оно подъ запретомъ, окружено ореоломъ мученичества. Какъ быть? Что дѣлать тѣмъ людямъ, которые считали своимъ долгомъ бороться съ литературнымъ нигилизмомъ? «Честная и сколько-нибудь уважающая себя литература, пишетъ Громека въ своемъ оригинальномъ журнальномъ рапортѣ, не можетъ сражаться съ мнѣніями, которыя подвергаются преслѣдованію и запрещаются цензурой. Разумъ не можетъ подавать руки насилію». Когда преслѣдуется цѣлое литературное направленіе, продолжаетъ Громека, тогда всѣ прочія партіи, бывшія съ нимъ въ спорѣ, становятся въ унизительное положеніе невольныхъ доносчиковъ. Онъ не можетъ вѣрить, чтобы гоненіе на упомянутые журналы было рѣшено продолжить. Онъ не можетъ вѣрить, чтобы правительство рѣшилось «продлить то положеніе вещей, при которомъ въ одно и то-же время заботятся объ улучшеніи крестьянскаго быта и запрещаютъ частнымъ людямъ защищать крестьянъ, даруютъ народу правильный судъ и защиту отъ административнаго произвола и преслѣдуютъ административнымъ порядкомъ лицъ, почему-либо не нравящихся начальству, хлопочутъ объ уничтоженіи произвольной цензуры и насильно выкидываютъ изъ литературы цѣлое направленіе». Громека надѣется, что цензура не воспрепятствуетъ его откровеннымъ и доброжелательнымъ строкамъ дойти по назначенію. Она должна понять, что нельзя скрыть отъ правительства опасенія, раздѣляемаго всѣмъ обществомъ. «Лучше ей имѣть теперь дѣло съ нашими, скромно выражаемыми мыслями, чѣмъ остаться потомъ вовсе безъ дѣла, когда русская литература переселится за предѣлы европейской и азіатской Россіи», заключаетъ свою краснорѣчивую петицію пылкій, но наивно-безтактный Громека [1]).

Мы увидимъ ниже, какъ отнесся къ этому непрошенному заступничеству «Современникъ». Но нельзя не замѣтить, что въ такое странное положеніе «Отечественныя Записки» могли попасть только вслѣдствіе умѣреннаго характера своего собственнаго образа мыслей. Желая идти въ дружескомъ общеніи съ правительствомъ, показывая официальнымъ учрежденіямъ свою неизмѣнно добродушную физіономію, такой публицистъ, какъ Громека, не ставилъ ничего серьезнаго на карту. Его литературно-гражданскій поступокъ, какъ и вся его журнальная дѣятельность этого періода, не представлялъ ничего особенно рискованнаго, не былъ проявленіемъ настоящаго политическаго мужества. Его либерализмъ безпрепятственно разливался въ риторическихъ тирадахъ подъ хладною

[1]) «Отечественныя Записки», 1862 г., ноябрь. *Современная хроника Россіи*, стр. 28—34.

сѣнью закона и канцелярскаго благомыслія. Испрашивая для «Современника» свободу, Громека не обнаруживалъ глубокаго идейнаго интереса, потому что, въ сущности, онъ самъ шокировался именно *крайностями* литературнаго нигилизма, неумѣренностью его требованій, безпощадностью его политической критики. Ослѣпленный оптимистическими надеждами, Громека думалъ, что радикальное движеніе, съ его бурными и безпорядочными взрывами, уже приходило къ концу, уступая мѣсто лойальному, умѣренному, аристократически выправленному либерализму, который приведетъ Россію, безъ борьбы и натиска, къ полному и безмятежному благополучію. Не разразись злосчастное запрещеніе надъ «Современникомъ» и «Русскимъ Словомъ», пылкій Громека, помахивая и поигрывая своимъ «кнутикомъ рутиннаго либерализма», самъ выгналъ бы «дикую орду» радикаловъ на прямую и широкую дорогу прогресса. Уступи цензура его убѣдительнымъ увѣщаніямъ, и все опять направится тѣмъ же вѣрнымъ ходомъ: пройдя огонь журнальной полемики, радикальная печать очистится отъ своихъ язвъ и грѣховъ, и всѣ три органа русскаго прогресса—Правительство, «Отечественныя Записки» и «Современникъ»—дружнымъ шагомъ направятся къ общей цѣли, оставивъ за своей спиной безсильно злобствующаго, тщетно надрывающагося въ патріотическихъ іереміадахъ Каткова.

Пылкій Громека въ своихъ отношеніяхъ съ «Современникомъ», въ самомъ дѣлѣ, былъ въ томъ двусмысленномъ положеніи, въ какомъ долженъ былъ оказаться всякій умѣренный либеральный дѣятель, ведущій борьбу съ направленіемъ, оказавшимся внѣ покровительства закона. Какъ мы уже сказали, онъ ничѣмъ не рисковалъ, ему нечѣмъ было рисковать, у него не было за душою ничего такого, чего онъ не могъ бы твердою рукою занести въ офиціально признанные проекты того времени. Въ борьбѣ съ Чернышевскимъ честное, твердое и недвусмысленное положеніе могъ занять только тотъ, кто, отправляясь отъ другого философскаго міровоззрѣнія, шелъ бы смѣлымъ, рѣшительнымъ путемъ къ столь же серьезнымъ и безпощаднымъ выводамъ.

II.

Какимъ-то особеннымъ весельемъ и бодростью проникнуты первыя книги «Современника» 1863 года. Редакція подобралась и, несмотря на отсутствіе Чернышевскаго, повела работу съ большою энергіею. Событіемъ дня долженъ былъ стать романъ Чернышевскаго «Что дѣлать», а среди постоянныхъ работниковъ журнала, въ качествѣ фактическаго соредактора, появился новый блестящій талантъ, свѣжій и остроумный, несмотря на свою не всегда опрятную болтливость, несмотря на отсутствіе внутренняго жара и протестантской сосредоточенности. Казалось, что

«Современникъ» окрѣпъ окончательно. Съ внѣшней стороны онъ въ этомъ году отличается изобиліемъ литературныхъ матеріаловъ. Но внимательно вчитываясь уже въ первыя книги, нельзя не почувствовать въ идейной сторонѣ дѣла какого-то разброда, разноголосицы, отсутствія духовно-сплоченной организаціи, направляющей всѣ силы журнала по опредѣленному пути. Фельетоны Щедрина, его многочисленныя работы въ разныхъ отдѣлахъ «Современника»,—статьи о театрѣ, письма изъ Москвы, многочисленныя библіографическія и полемическія замѣтки, наконецъ обширный вкладъ, сдѣланный имъ въ стихотворной и прозаической формѣ въ № 9 «Свистка»—все это, конечно, придавало журналу оживленіе, яркость, силу. Но, несмотря на все это, «Современникъ» уже утратилъ тотъ характеръ прямолинейной, фанатической убѣжденности, какой онъ имѣлъ при Добролюбовѣ и Чернышевскомъ. Въ прежнемъ «Современникѣ» все кипѣло злобной нетерпимостью политическаго сектантства. Смѣхъ его сатиры звучалъ ехидно, вызывающе, задорно. Конрадъ Лиліеншвагеръ, Яковъ Хамъ и другіе лицедѣи «Свистка», несмотря на блѣдность и сухость сатирическихъ талантовъ, несмотря на неразборчивость въ выборѣ своихъ жертвъ, умѣли добиваться своими средствами опредѣленно поставленной цѣли. Свистъ ихъ, оглашая журнальное поле, такъ или иначе собиралъ людей подъ опредѣленныя знамена. Сатира возрожденнаго, или, вѣрнѣе говоря, перерожденнаго «Современника», съ юнымъ Щедринымъ во главѣ, при всей ея сочной и богатой талантливости, не заключала въ себѣ элементовъ истинно злого, непримиримаго обличенія. Вмѣсто рѣжущихъ слухъ свистковъ, въ ней слышались взрывы задорнаго, порою распутнаго хохота, привлекающаго публику новизною и неожиданностью хлесткихъ и разухабистыхъ словечекъ и оборотовъ, но отучающаго отъ серьезнаго отношенія къ обличительной литературѣ вообще. Все то, что придаетъ настоящей сатирѣ глубоко серьезный и даже трагическій характеръ, все то, что зрѣетъ въ душѣ всякаго талантливаго писателя съ годами жизни, вся та горечь, которая ощущается въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Щедрина, совершенно отсутствуетъ въ его первыхъ фельетонахъ. Здѣсь бросается въ глаза бойкій и ядовитый умъ, разлагающій жизнь въ разныхъ ея пластахъ и направленіяхъ, безпокойный юморъ, мечущійся изъ стороны въ сторону, какъ дикій звѣрь въ клѣткѣ, почти неисчерпаемый, вѣчно живой литературный талантъ, превращающій въ рядъ интересныхъ, художественно-законченныхъ эпизодовъ всякую безформенную жизненную канитель. Но высокаго настроенія духа, творящаго въ художественныхъ образахъ смѣлыя и значительныя идеи, не видно въ этихъ блестящихъ, но часто совершенно безплодныхъ писаніяхъ молодого Щедрина. Россія неудержимо смѣялась, читая небывало самобытныя разсужденія о «дураковой плѣши» и «дураковомъ болотѣ», о «Ванѣ—бѣлыя перчатки» и «Машѣ—дырявое рубище»,

о «Цензорѣ въ попыхахъ» и «Сеничкиномъ ядѣ», но смѣхъ этотъ не былъ очищающимъ, отрезвляющимъ смѣхомъ. Читатели сбѣгались послушать забавнаго разсказчика, умѣющаго коварно подмигивать и ехидно поддразнивать тѣхъ, про кого нельзя сказать открытой правды, но самая обличительная тенденція автора, расплывчатая и неуловимая, никого въ сущности не язвила, не убивала ничьей репутаціи. Имя Щедрина скоро стало гремѣть, какъ имя новаго таланта, щедро разбрасывающаго ходкую и звонкую монету анекдотическаго остроумія. Но люди съ настоящими духовными страстями и серьезнымъ отношеніемъ къ задачѣ журналистики знали, что въ этомъ видѣ вліяніе Щедрина не глубоко, и слава его не прочна. Мы уже видѣли, съ какою силою предостерегалъ Щедрина Достоевскій, призывая его на новый, болѣе отвѣтственный и болѣе достойный путь. Ниже мы увидимъ, какъ отнесся къ нему молодой Писаревъ, не разглядѣвшій даже за его юмористическими ужимками серьезнаго и многообѣщающаго дарованія. Для того, чтобы выйти на другую литературную дорогу и возвести свою сатиру на степень важнаго общественнаго и художественнаго явленія, Щедрину нужно было многое пережить и перестрадать. Въ тяжелыхъ нравственныхъ испытаніяхъ, отъ которыхъ конвульсивно сжималась, трепетала и замирала вся русская жизнь, должна была отпасть отъ Щедрина вся та скверная накипь, съ которою онъ вышелъ изъ провинціальныхъ, чиновно-дворянскихъ трущобъ... Но при всѣхъ своихъ недостаткахъ, при всей безсодержательности своихъ раннихъ обличеній, Щедринъ все-таки, съ самаго начала своей дѣятельности, заблисталъ въ «Современникѣ», какъ звѣзда первой величины. Рядомъ съ бездушными и мертвыми писаніями Антоновича, его фельетоны, его публицистическія и критическія замѣтки, каждый штрихъ его молодого пера дышатъ жизнью, играютъ свободнымъ остроуміемъ.

Въ краткомъ обзорѣ журналовъ за истекшіе восемь мѣсяцевъ «Современникъ» отмѣчаетъ все то, что случилось безъ него на сценѣ русской литературы. Сличая минувшее съ настоящимъ, журналъ находитъ, что въ короткое время съ точностью опредѣлились главныя направленія, господствующія въ современной печати, ея настоящіе виды и стремленія. Журналы дѣйствуютъ теперь подъ опредѣленными знаменами, каждый на своей территоріи. Было время, когда «Современникъ» имѣлъ виды на сердечное примиреніе съ «Русскимъ Вѣстникомъ», но теперь всѣ его надежды на этотъ счетъ пропали. Физіономія «Русскаго Вѣстника» опредѣлилась, характеръ его установился окончательно. Отказавшись отъ своихъ преданій, Катковъ сталъ говорить безъ аллегорій и либеральныхъ прикрасъ, «произносить свои панегирики и катилиніады твердымъ и рѣзкимъ голосомъ, не конфузясь и не мигая глазомъ». «Отечественныя Записки» затѣяли усердную борьбу съ нигилизмомъ, и на этомъ полѣ Громека, ихъ виднѣйшій сотрудникъ, пріобрѣлъ широкую извѣстность. Его хроники про-

изводятъ сенсацію, ихъ читаютъ. Но пылкій публицистъ не имѣетъ ни малѣйшаго основанія гордиться своимъ положеніемъ среди дѣйствующихъ журналистовъ. Упомянувъ объ извѣстномъ ходатайствѣ Громеки передъ цензурнымъ вѣдомствомъ, «Современникъ» восклицаетъ съ раздраженіемъ: «Какое великодушіе и какая храбрость!.. Хроникеръ отважился ходатайствовать за Современникъ, который часто враждебно относился къ нему». Что сказать на это ходатайство? Кто посылалъ Громеку адвокатомъ въ правительственныя учрежденія отстаивать интересы того направленія, къ которому онъ самъ не принадлежитъ? «Современникъ» гнушается заступничествомъ «Отечественныхъ Записокъ», и въ ихъ ходатайствѣ видитъ только фарсъ, ловкій фарсъ, искусно разсчитанный на то, чтобы уронить противника и возвысить себя. О журналѣ Достоевскаго «Современникъ» отзывается съ полнымъ пренебреженіемъ. «Время» любитъ похвастать собственными своими достоинствами. Въ хвастовствѣ оно доходитъ до виртуозности, до настоящей хлестаковщины. Его сотрудники—простые фразеры, перебивающіеся небольшимъ запасомъ постоянно повторяемыхъ метафоръ. Ихъ исходная мысль ложна, ихъ статьи—вздоръ и болтовня. Косица въ отсутствіи «Современника» не находилъ сюжета для своихъ писаній... [1]).

Та-же мысль проводится и въ статьѣ Антоновича «Литературный кризисъ». Недавно еще казалось, пишетъ онъ, будто всѣ органы печати проникнуты однимъ духомъ, будто всѣ ея дѣятели идутъ къ одной цѣли и преслѣдуютъ одинаковые интересы. Но вотъ въ литературѣ совершился кризисъ, и единство въ цѣляхъ и стремленіяхъ ея выдающихся представителей исчезло. Возникли несогласія въ вопросахъ, прежде никого не смущавшихъ, вражда вышла за предѣлы литературнаго круга. Обличенія и бичеванія раздаются рѣже и рѣже, въ журнальныхъ исполинахъ и пигмеяхъ замѣтенъ большой упадокъ храбрости. Прежде литература находилась въ эмбріональномъ состояніи. Трудно было замѣтить разницу между отдѣльными ея направленіями, во всемъ господствовалъ хаосъ и вавилонское столпотвореніе. Но вотъ подошло время, когда общія мѣста оказались недостаточными, когда потребовались прямыя и опредѣленныя сужденія, и тогда, вмѣсто бойкихъ рѣчей, потекли благоразумныя фразы и резонерство. Журналы сняли свои маски. Одинъ только «Современникъ» остался во главѣ прогрессивнаго движенія общества и теперь больше, чѣмъ когда-нибудь, статьи его пріобрѣтутъ литературную и политическую яркость. Антоновичу, вмѣстѣ съ другими сотрудниками журнала, казалось, что «Современникъ» теперь, какъ и прежде, пойдетъ путемъ авторитетнаго руководителя интеллигентныхъ массъ.

Однако, перебирая главныя статьи, напечатанныя въ первыхъ кни-

[1]) «Современникъ» 1863, № 1—2, *Краткій обзоръ журналовъ*, стр. 228—256.

гахъ «Современника», мы не находимъ въ нихъ опредѣленной политической программы. Между разсужденіями различныхъ авторовъ нѣтъ полной солидарности въ политическомъ тонѣ, нѣтъ гармоніи въ отдѣльныхъ оттѣнкахъ публицистическаго обсужденія текущихъ жизненныхъ вопросовъ. Нѣкоторыя статьи могли-бы по своей корректности въ отношеніи къ правительственнымъ реформамъ появиться въ журналѣ съ болѣе умѣренными либеральными запросами, другія страдаютъ отсутствіемъ настоящей юридической критики. Общія теоретическія мѣста, всплывающія въ статьяхъ Антоновича, отличаются крайнею ограниченностью правовыхъ представленій. Какъ-бы въ оправданіе своихъ узкихъ реалистическихъ требованій, Антоновичъ проводитъ въ упомянутой статьѣ своей слѣдующій странный взглядъ на роль теоретическихъ идей въ культурномъ процессѣ всякаго общественнаго развитія. Можно принять за правило, пишетъ онъ, что теоретическая высота какого-нибудь ученія совершенно не соотвѣтствуетъ практическимъ требованіямъ, выводимымъ изъ него. Теоретически возвышенныя идеи ослабляли энергію въ людяхъ, отвлекали ихъ мысли отъ дѣйствительнаго міра, обращали ихъ къ безжизненнымъ и мечтательнымъ сферамъ. Проповѣдуя пассивное терпѣніе и рабскую покорность, онѣ брали подъ свое покровительство все, что стремилось къ преобладанію и незаконному господству надъ людьми. Ими оправдывались и освящались всякія насилія, притѣсненія и угнетенія. Только ученія, съ виду не очень возвышенныя, занимавшіяся реальными предметами дѣйствительной жизни, говоритъ Антоновичъ, были всегда ученіями протестующими, заступались за слабыхъ и угнетенныхъ. Обойдите весь свѣтъ, восклицаетъ онъ, просмотрите всѣ отдѣлы жизни, и вы найдете оправданіе этимъ мыслямъ. Кто защищаетъ розгу, рабство, тотъ держится теоретически высокихъ понятій. Кто защищаетъ свободу и другія священныя права человѣка, тотъ не держится возвышенныхъ теоретическихъ понятій [1]). Въ другой статьѣ, написанной по поводу книги Чичерина «Нѣсколько современныхъ вопросовъ», Антоновичъ глубокомысленно разсуждаетъ на тему о свободѣ и власти. При всей кажущейся солидности и либеральной безукоризненности этихъ разсужденій, въ нихъ нельзя усмотрѣть вѣянія настоящей свободной мысли. По мнѣнію Антоновича, «свобода и власть съ закономъ вещи согласныя и тождественныя». Элементы власти и закона, говоритъ онъ, дѣйствительно необходимы для свободы, для всего, «какъ пища для человѣка»: они служатъ выраженіемъ свободы, огражденіемъ и утвержденіемъ ея. Приведя нѣкоторыя мысли Чичерина, что только свобода, подчиняющаяся закону, можетъ установить прочный порядокъ, что повиновеніе закону не должно быть сужено степенью его внутреннихъ достоинствъ, что, во избѣжаніе

[1]) «Современникъ», 1863 г. № 1 и 2, *Литературный кризисъ*, стр. 105.

анархіи, обязанность повиновенія распространяется на всѣ юридическіе уставы страны, радикальный критикъ «Современника», желая быть практичнымъ во что-бы то ни стало и не заноситься въ облака слишкомъ возвышенныхъ теорій, прибавляетъ слѣдующее: «Требованіе справедливое, въ практикѣ безъ него жить нельзя и неисполченіе этого требованія есть преступленіе [1])». Наука имѣетъ право на критику, она можетъ заявлять еще и другія требованія, но въ жизни приходится исполнять *всякій законъ*, каковъ-бы онъ ни былъ по существу.

Настоящей радикальной политической программы, съ рѣшительнымъ анализомъ предпринимаемыхъ правительствомъ реформъ, мы въ «Современникѣ» этого періода не найдемъ нигдѣ. Иногда въ какой-нибудь статьѣ промелькнетъ дѣльное и дальновидное юридическое замѣчаніе, загорится въ намекѣ смѣлое требованіе, но въ общемъ, какъ это и было вѣрно отмѣчено Громекою въ мартовской книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1863 г. [2]), «Современникъ» въ политическомъ отношеніи потерялъ ту боевую окраску, которую онъ имѣлъ при Чернышевскомъ. Онъ порою ярокъ въ словахъ, но его содержаніе потускнѣло, духъ его утратилъ свой полетъ. Въ томъ же томѣ «Современника», гдѣ, въ прекрасной статьѣ Унковскаго «Новыя основанія судопроизводства», мы находимъ отголосокъ болѣе глубокихъ запросовъ, гдѣ, среди обстоятельнаго и вполнѣ компетентнаго разбора новыхъ принциповъ процесса, мы встрѣчаемъ твердое заявленіе, что начала и правила, соблюденіе которыхъ не обставлено никакимъ дѣйствительнымъ обезпеченіемъ, на практикѣ не имѣютъ никакого серьезнаго значенія [3]), — въ другой статьѣ, принадлежащей редакціи, во «Внутреннемъ Обозрѣніи», журналъ высказываетъ свою полную солидарность съ правительственными дѣйствіями. Мы стоимъ, говорится въ этомъ редакціонномъ отдѣлѣ, за привитіе къ народу русскому европейской цивилизаціи во всей ея широтѣ, съ сохраненіемъ нашего общиннаго устройства и съ устраненіемъ тѣхъ ошибокъ, которыя сдѣлали въ своемъ развитіи европейскія общества. Но затѣмъ, приступая къ разбору правительственныхъ мѣропріятій, «Современникъ» заявляетъ: «этимъ путемъ привитія къ нашей жизни европейской цивилизаціи идетъ и наше правительство». Перечисливъ всѣ главныя реформы послѣдняго времени, авторъ заключаетъ: «Изъ неполнаго перечня поименованныхъ нами реформъ читатель видитъ, что наша жизнь обнята и тронута ими *сполна*. Если бы только половина ихъ совершилась съ желаннымъ успѣхомъ, Россія сдѣлала бы огромный шагъ впередъ на пути своего развитія [4])». Радикальный журналъ, заодно съ «Отечественными Записками»,

[1]) «Современникъ», 1863 г. мартъ, *Неуваженіе къ наукѣ*, стр. 98.

[2]) «Отечественныя Записки», 1863 г., мартъ: Современная хроника Россіи, стр. 26.

[3]) «Современникъ» 1863 г., № 1, *Новыя основанія судопроизводства*, стр. 392.

[4]) Ibidem, *Внутреннее обозрѣніе*, стр. 292.

расписывается въ своемъ полномъ удовлетвореніи, не пускаясь ни въ какую серьезную экономическую или политическую критику. Отъ всесторонняго, но часто безпредметнаго юношескаго протеста временъ Добролюбова и Чернышевскаго, «Современникъ» перешелъ къ ординарному, умѣренно либеральному, безцвѣтному резонерству въ унисонъ съ благожелательными канцелярскими проектами общегосударственнаго блага. Но какъ бы не сознавая совершившихся въ журналѣ, по волѣ судебъ, роковыхъ внутреннихъ перемѣнъ, разжигаясь соблазнительными традиціями крайней передовитости, «Современникъ», въ томъ же «Внутреннемъ Обозрѣніи», заводитъ направленскій разговоръ о нигилизмѣ и постепеновщинѣ. Признавъ, что даже части правительственныхъ преобразованій, которыя очевидно могли имѣть только характеръ политической постепенности, было бы достаточно, чтобы подвинуть Россію далеко по пути развитія, авторъ тутъ же начинаетъ доказывать, что въ постепеновщинѣ нѣтъ никакой опредѣленной мѣры постепенности и что только нигилизмъ «силенъ своимъ единствомъ внутреннимъ, какъ въ цѣлой партіи, такъ и въ каждомъ ея членѣ». Въ другой статьѣ, принадлежащей перу Щедрина, мы находимъ рѣзкое осужденіе внѣшней исторіи русскаго общества «со всѣмъ ея мишурнымъ блескомъ, со всѣмъ театральнымъ громомъ». Въ то самое время, когда журналы распѣваютъ дифирамбы событіямъ дня, внутри Россіи пишется другая исторія, не связанная съ внѣшнею даже механически. «Эта исторія пишется втихомолку, говоритъ Щедринъ, и не ярко. Она не представляетъ собою сплошного рапорта о благосостояніи и преуспѣяніи, но, напротивъ того, не чужда скромнаго сознанія безсилія, скромныхъ сѣтованій объ ошибкахъ и неудачахъ. Содержаніе ея раскрывается передъ нами туго и скорѣе поражаетъ абсентизмомъ и унылымъ воздержаніемъ, нежели проявленіями дѣятельной силы. Но тѣмъ не менѣе и эта вынужденная скромность, и это насильственное воздержаніе не могли безвозвратно загнать ее въ пучину безвѣстности [1])».

Среди такихъ отрывковъ изъ различныхъ теорій о народномъ прогрессѣ и различныхъ политическихъ программъ, умѣренно-либеральныхъ, радикальныхъ и народническихъ, шумнымъ потокомъ, бурля и вскипая на встрѣчныхъ камняхъ, несется нѣсколько буфонствующая сатира молодого Щедрина. Чуткій ко всякой современности, художникъ съ большимъ и своеобразнымъ талантомъ, человѣкъ обширнаго ума и безпощадной наблюдательности, Щедринъ, по привычкѣ русскихъ либеральныхъ журналистовъ съ особеннымъ уваженіемъ относиться къ литературному критику, не побрезгалъ раздѣлить съ неряшливымъ въ своихъ сужденіяхъ Антоновичемъ его неосмысленную антипатію къ классическому произве-

[1]) «Современникъ» 1863 г., май. *Наша общественная жизнь*, стр. 230—231.

денію Тургенева «Отцы и дѣти». Антоновичъ говорилъ: «Базаровщина есть, можетъ быть, чистая клевета на литературное направленіе [1])», — и Щедринъ тоже въ бойкой статейкѣ о петербургскихъ театрахъ, написанной съ веселымъ ехидствомъ, почти издѣвается надъ романомъ Тургенева. Базаровъ, по его мнѣнію, не есть что-нибудь серьезное. Тургеневъ написалъ свою повѣсть на тему о томъ, какъ «нѣкоторый хвастунишка и болтунишка, да вдобавокъ еще изъ проходимцевъ, вздумалъ пріударить за важною барыней, — и что изъ этого произошло». Все остальное въ романѣ: «словопренія съ братьями Кирсановыми, пребываніе юныхъ нигилистовъ у стараго нигилиста»—не больше, какъ эпизоды, которые «искусный писатель необходимо вынуждается вставлять въ свою повѣсть для того, чтобы она не была короче утинаго носа». Разбирая далѣе пьесу Устрялова «Слово и дѣло», служившую какъ-бы отвѣтомъ Тургеневу на его романъ, Щедринъ язвительно упрекаетъ автора за то, что онъ искалъ въ произведеніи Тургенева какого-то особеннаго, сокровеннаго смысла. Этого смысла въ немъ нѣтъ, говоритъ Щедринъ, и вотъ почему «сочиненіе, имѣющее задачей опровергнуть Базарова, есть сочиненіе мнимое, сочиненіе, выступающее съ цѣлымъ запасомъ смертоносныхъ орудій затѣмъ, чтобы умертвить *клопа* [2])». Никакихъ серьезныхъ оговорокъ. Журналъ не усвоилъ опредѣленнаго отношенія къ нигилизму, подготовленному всею дѣятельностью Добролюбова и Чернышевскаго, и, увидавъ его въ художественномъ отраженіи, сдѣланномъ съ могучимъ талантомъ, накинулся на него съ совершенно неожиданными для сотрудниковъ «Современника» протестами. Даже беллетристическая эпопея Чернышевскаго, съ ея явно нигилистическими героями и романтическими подробностями, навѣянными мечтою о новыхъ людяхъ и нравахъ, не возбудила въ преемникахъ Чернышевскаго того сочувствія къ базаровскому типу, которое сразу овладѣло Писаревымъ и подняло его на высоту историческаго момента. Умъ безъ системы, съ пестрыми художественными интересами, съ природною склонностью видѣть все въ игривомъ освѣщеніи, съ раздраженнымъ недовѣріемъ ко всему, что можетъ быть названо русскою дѣйствительностью, Щедринъ не сумѣлъ удержать Антоновича отъ безтактнаго глумленія надъ романомъ Тургенева, а также надъ тѣми реальными теченіями, которыя были захвачены въ «Отцахъ и дѣтяхъ». Русская жизнь узнавала себя въ новомъ типѣ, поставленномъ передъ глазами со всею силою дѣйствительнаго, всѣмъ извѣстнаго факта. Но критика журнала, которая, казалось-бы, сразу должна была сочувственно отнестись къ новому явленію, въ чемъ-то усомнилась, увлеклась пустыми придирками и, вдавшись въ совершенно безсмысленныя по

[1]) «Современникъ», 1863 г., № 1—2. *Русская литература*, стр. 98.

[2]) Ibidem, *Петербургскіе театры*, стр. 183.

своей развязности эстетическія разсужденія и сближенія между Тургеневымъ и Аскоченскимъ, поцла въ разрѣзъ съ наиболѣе передовымъ и могущественнымъ въ то время жизненнымъ теченіемъ. Въ фельстонахъ 1863 и 1864 годовъ яркій юморъ Щедрина, не овладѣвшій своими болѣе глубокими стремленіями, легкомысленно, безъидейно плещется между противоположными явленіями, не проникая во внутрь ихъ, не увлекаясь и не увлекая никого опредѣленными литературными или чисто гражданственными цѣлями. Но мутныя волны неопредѣленной публицистической болтливости иногда вдругъ, бурно разыгравшись, выбрасываютъ на своихъ хребтахъ легкую, блестящую пѣну настоящаго остроумія. Среди расплывчатыхъ, мучительно повторяющихся публицистическихъ разсужденій, пересыпанныхъ разными заковыристыми словцами, моментами вспыхиваютъ грустные образы настоящей, художественно-воспринятой русской дѣйствительности, и фельетоны, написанные ради временныхъ цѣлей, при случайныхъ перспективахъ, пріобрѣтаютъ живой литературный характеръ. Въ ежемѣсячныя хроники Щедрина событія современной жизни заносятся какими-то пестро раскрашенными обрывками, не освѣщенными одною властною, ярко-пылающею идеею. По своему характеру, по тону своего сатирическаго обличенія. эти фельетоны стоятъ въ полномъ противорѣчіи съ тенденціозно-прямолинейною сатирою Добролюбова, съ фанатически рѣзкими, яростными обличеніями Чернышевскаго.

Уже въ первомъ фельетонѣ 1863 г. мы находимъ ту двойственность сатирическаго настроенія, которая дала впослѣдствіи поводъ сотрудникамъ «Русскаго Слова», при первомъ удобномъ случаѣ, накинуться на Щедрина съ негодующимъ направленскимъ протестомъ. Бросивъ въ публику нѣсколько язвительныхъ намековъ на тему о «дураковой плѣши» и «дураковомъ болотѣ», посмѣявшись надъ русскою благонамѣренностью, начинающей свой день съ чтенія «Сѣверной Пчелы» и заканчивающей его блистательнымъ образомъ «на балѣ у безземельныхъ, но гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга», мимолетно задѣвъ современную «сирену въ вицъ-мундирѣ» и разсказавъ маленькую сатирическую быль о «Сеничкиномъ ядѣ», Щедринъ заводитъ рѣчь на нѣсколькихъ страницахъ о нигилистахъ. Нигилисты обязаны выносить на себѣ всѣ грѣхи міра сего, пишетъ онъ. Тявкнетъ-ли на улицѣ шавка, благонамѣренные люди кричатъ: это нигилисты подучили ее. Пойдетъ-ли безъ времени дождь, благонамѣренные люди кричатъ: это нигилисты заговариваютъ стихіи. Случились въ Петербургѣ пожары, пошли слухи о поджогахъ, благонамѣренные патріоты пустили въ ходъ свою ненависть къ нигилистамъ. «Образовалась какая-то неслыханная, потаенная литература, благонамѣренные возопили: это они, это нигилисты». Но сатирикъ готовъ заступиться за нигилистовъ. «Я нахожу, пишетъ онъ, что

мальчишество—сила, а сословіе мальчишекъ—очень почетное сословіе». Самая остервенѣлость вражды противъ нихъ доказываетъ, что къ нимъ надо относиться серьезно. Не будь мальчишества, не держи оно общество въ состояніи постоянной тревоги новыхъ запросовъ и требованій, Россія уподобилась-бы «заброшенному полю, которое можетъ производить только репейникъ и куколь». Выразивъ въ такихъ словахъ сочувствіе къ молодому поколѣнію, Щедринъ тутъ-же, подходя къ нѣкоторымъ частнымъ явленіямъ изъ той-же нигилистической волны, срывается съ прогрессивной позиціи и, уступая потребности въ сатирической карикатурѣ при видѣ стриженой дѣвицы, разражается вульгарнымъ смѣхомъ и площаднымъ остроуміемъ. По временамъ, говоритъ онъ, фельетонистъ долженъ возвышаться до гражданской скорби. Напримѣръ, онъ встрѣчаетъ въ обществѣ очень молоденькую и миловидную дѣвицу, до того молоденькую, что еще вчера родители «выводили ее въ панталонцахъ». Начинается разговоръ. Фельетонистъ, *натурально*, спрашиваетъ дѣвицу, читала-ли она произведеніе Анны Дараганъ и какъ оно ей понравилось? Дѣвица отвѣчаетъ, что недавно вышло въ переводѣ новое сочиненіе Шлейдена, и что Тургеневъ, написавши «Отцовъ и дѣтей», тѣмъ самымъ доказалъ, что онъ ретроградъ. Фельетонисту дѣлается весело. «Какой милый пузырь! И какъ вѣдь все это бойко. Ахъ, чортъ побери! Ахъ, чортъ тебя побери!» Но сообразивъ хорошенько, съ какимъ явленіемъ онъ имѣетъ дѣло, фельетонистъ вдругъ чувствуетъ, что онъ обязанъ отнестись къ дѣвицѣ съ меньшею игривостью и что, говоря о дѣвицѣ, обзывающей Тургенева ретроградомъ, онъ долженъ принять тонъ торжественный и даже скорбѣть: «торжествовать по случаю дѣвицы, а скорбѣть по случаю Тургенева» [1])... Этотъ коротенькій эпизодъ, стоящій по сосѣдству съ самобытными остротами о «дураковомъ болотѣ» и о «сиренѣ въ вицъ-мундирѣ», но находящійся въ тѣсной связи съ разсужденіями «Современника» о нѣкоторомъ хвастунишкѣ и болтунишкѣ изъ проходимцевъ—Базаровѣ, не отличается особенною ясностью. Быть можетъ, Щедринъ понималъ въ глубинѣ души, что о ретроградствѣ Тургенева по поводу «Отцовъ и дѣтей» нельзя было говорить въ серьезъ. Быть можетъ, его забавляетъ дѣвица, идущая въ своихъ разсужденіяхъ по стопамъ Антоновича, и потому онъ рисуетъ ее, безъ всякаго сомнѣнія, въ грубо-комическомъ свѣтѣ... Впрочемъ, тутъ все нелѣпо, вздорно и перепутано. Нельзя понять, къ чему собственно относится этотъ циническій и высокомѣрный хохотъ: можетъ быть, Щедринъ смѣется надъ наивностью разсужденій о ретроградствѣ Тургенева, а, можетъ, быть, его просто разбираетъ пошловатый смѣшокъ при видѣ молоденькой стриженной дѣвицы-пузыря, разсуждающей не хуже Антоновича!

[1]) „Современникъ", 1863, № 1, 2, *Наша общественная жизнь*, стр. 359.

Съ каждымъ новымъ фельетономъ сатира Щедрина все болѣе и болѣе разгуливается, теряя опредѣленность содержанія, но пріобрѣтая свой особый специфическій колоритъ. Рядомъ съ публицистическими и полемическими разсужденіями, фельетонистъ даетъ ходъ своему художественному таланту, воспроизводя отрывочными штрихами, въ юмористическомъ свѣтѣ, фигуры и факты изъ современной жизни. Нигдѣ не договаривая своей руководящей мысли, Щедринъ не жалѣетъ примѣровъ и анекдотовъ, чтобы представить русскую дѣйствительность въ ея непривлекательномъ видѣ. Образы, носящіе отпечатокъ разнородныхъ комическихъ типовъ, не сгруппированы такъ, чтобы передать цѣльный художественный замыслъ. Смѣхъ сатирика сквозитъ главнымъ образомъ во внѣшнихъ описаніяхъ, своеобразныхъ по стилю, яркихъ и смѣлыхъ, но лишенныхъ глубокаго психологическаго содержанія. И повсюду, въ каждомъ новомъ фельетонѣ Щедрина, такъ сказать направленская разработка текущихъ вопросовъ страдаетъ невыдержанностью и едва замѣтными, но несомнѣнно существующими противорѣчіями. Художникъ съ ограниченнымъ духовнымъ горизонтомъ, съ пристрастіемъ къ внѣшнимъ комическимъ рисункамъ, постоянно пересѣкаетъ дорогу тенденціозно-обличительному журналисту, взявшему на себя задачу продолжать дѣло Добролюбова и Чернышевскаго. Статьи его, составляя наиболѣе яркое мѣсто въ «Современникѣ» этого періода, являются лучшимъ доказательствомъ, что этотъ журналъ сбился съ опредѣленнаго пути и, шатаясь, бродитъ перепутанными окольными дорогами, безъ ясно поставленной цѣли.

Щелкнувъ мимоходомъ стриженую дѣвицу, Щедринъ въ слѣдующемъ фельетонѣ весело глумится надъ «благородными чувствами и хорошими мыслями, грозящими затопить русскую литературу въ такой-же степени, въ какой, съ другой стороны, затопляетъ ее сильно дѣйствующая благонамѣренность». Если благонамѣренность, говоритъ Щедринъ, отвратительна «вслѣдствіе своей цинически-легкой удовлетворяемости», то благородныя мысли и чувства «поражаютъ своей безтактностью и сухостью, рѣжутъ глаза своимъ безсиліемъ и ограниченностью». Точно издѣваясь надъ завѣтомъ Добролюбова и предписаніями Чернышевскаго, Щедринъ съ явной ироніей задаетъ слѣдующіе вопросы, подкапывающіеся подъ всякую тенденціозную литературу: «возможно-ли, спрашиваетъ онъ, написать *благородную* ариѳметику, *похвальную* химію и не чуждую вопроса о воскресныхъ школахъ физіологію?» Конечно, невозможно: тамъ, гдѣ есть настоящее дѣло, тамъ никто не станетъ заботиться ни о чемъ, кромѣ правильнаго и точнаго его исполненія. Благородство чувствъ укоренилось только въ русской беллетристикѣ. Явились цѣлыя фаланги повѣствователей, романистовъ, фельетонистовъ, драматурговъ, которые рѣшили разъ навсегда, что талантъ—вздоръ, что знаніе жизни—нелѣпость

и что главное заключается въ благородствѣ чувствъ, — не то иронизируетъ, не то раздраженно брюзжитъ сатирикъ. Въ поясненіе своей мысли Щедринъ тутъ-же набрасываетъ проспектъ идей, пригодныхъ для безталаннаго тенденціознаго искусства, прилагая къ нему нѣсколько веселыхъ пародій на современныя обличительныя произведенія: «Маша—дырявое рубище», «Полуобразованность и жадность — родныя сестры», «Сынъ откупщика» [1]) и т. п.

Въ апрѣльской книгѣ «Современника» молодой сатирикъ схватывается на публицистической почвѣ съ помѣщикомъ Фетомъ и тутъ-же, въ девятомъ и послѣднемъ номерѣ «Свистка», даетъ нѣсколько образцовъ — въ стихахъ и прозѣ — своей разнузданной юмористики. Подъ новымъ псевдонимомъ *Мих. Зміевъ-Младенцевъ*, онъ пишетъ «Московскія пѣсни объ искушеніяхъ и невинности», «Гимнъ публицистовъ», «Элегію». Затѣмъ онъ сочиняетъ «Три письма отца къ сыну», знаменитый «неблаговонный анекдотъ о г. Юркевичѣ», комедію въ четырехъ сценахъ, представляющую Каткова, Леонтьева и Павлова за чтеніемъ первой книги возобновленнаго «Современника» и, въ заключеніе, разражается обличительнымъ сообщеніемъ о новой сектѣ «Сопѣлковцы», возникшей въ Москвѣ, сатирическими угрозами относительно содержанія будущихъ номеровъ «Свиста» и еще небывалой въ русской литературѣ «Пѣсней Московскаго дервиша». Эта пѣсня соединяетъ въ себѣ ѣдкую соль лучшихъ вдохновеній Конрада Лиліенштвагера и шумиху притворнаго юродства Кузьмы Пруткова, но въ ней чувствуется еще какой-то осатанѣлый разгулъ воображенія, ощущается сила стихійнаго таланта, мощно управляющаго богатымъ и упругимъ языкомъ сатирическихъ намековъ и чисто литературныхъ эфектовъ. Эта пѣсня звучитъ, какъ отголосокъ какихъ-то старыхъ и дикихъ татарскихъ напѣвовъ, дремлющихъ подъ пластами культурныхъ преобразованій и вдругъ пробуждающихся, среди торжествующихъ патріотовъ Москвы XIX вѣка, чтобы заглушить расплывчатый мотивъ русской національной пѣсни. Изступленный приплясъ азіатскаго деспота, бѣшено топчущаго нѣжные всходы молодой жизни, слышится въ этихъ отрывочныхъ строкахъ, съ ихъ пронзительными вскриками и монотоннымъ гудѣніемъ до неожиданности яркихъ словъ. Не выражая никакого опредѣленнаго, продуманнаго обличительнаго протеста, стихотвореніе это, по своей силѣ и колоритности, является лучшимъ произведеніемъ «Свистка» за всѣ годы его существованія и служитъ характернымъ финаломъ въ этомъ рядѣ сатирическихъ вакханалій.

---

[1]) «Современникъ», 1863, мартъ, *Наша общественная жизнь*.

Пѣснь Московскаго дервиша.

(Начинаетъ робко, тихимъ голосомъ).

Ужъ я русскому народу
Показалъ-бы воеводу.
Только дали-бы мнѣ ходу,
Ходу! ходу! ходу! ходу!

(Постепенно разгорячается).

Покатался-бъ! Наигрался-бъ!
Наломался-бъ! Наплясался-бъ!
Наругался-бъ! Насосался-бъ!
Насосался-бъ! Насосался-бъ!

(Разгорячается окончательно и, видя, что никто ему не возражаетъ, изъ условной формы переходитъ въ утвердительную).

Я россійскую реформу,
Какъ негодную проформу,
Выплю въ пряничную форму!
Форму! форму! форму! форму!
Нигилистовъ строй разрушу,
Уязвлю имъ вѣрадцѣ душу:
Поощрили-бъ лишь—не струшу!
Нѣтъ, не струшу! Нѣтъ, не струшу!

(Въ изступленіи думаетъ, что все сіе совершилось).

Я цензуру пріумножилъ,
Нигилистовъ уничтожилъ!
Землю русскую стреножилъ.

(Закатывается и не понимаетъ самъ, что говоритъ).

Ножилъ! ножилъ! ножилъ! ножилъ!

Мих. Зміевъ-Младенцевъ [1]).

Среди стихотворныхъ произведеній Саввы Намордникова, Смарагда Брилліантова, Фердинанда Тюльпанензона, Владиміра Монументова и Михаила Антиспатова, украшающихъ послѣдній номеръ «Свистка», это стихотвореніе является настоящимъ дикимъ, но пышнымъ цвѣткомъ среди блеклой и сухой травы безсильныхъ сатирическихъ упражненій.

Въ слѣдующихъ книгахъ «Современника» Щедринъ, задѣвая по пути множество вопросовъ изъ текущей жизни, ехидно полемизируетъ съ Громекою, отражая его пылкія публицистическія напа-

[1]) „Современникъ", 1863, Апрѣль, *Свистокъ*, стр. 71—72.

денія съ искусственнымъ уподобленіемъ нигилизма внезапно разорвавшейся бомбѣ. Съ необычайною энергіею Щедринъ формулируетъ нѣсколько вопросовъ для редакціи «Отечественныхъ Записокъ» и затѣмъ, выслушавъ черезъ нѣкоторое время отвѣтъ этого журнала въ майской книгѣ [1]), вновь и окончательно отбрасываетъ отъ себя противника, у котораго не было ни сколько-нибудь замѣтнаго таланта, ни особеннаго политическаго такта для борьбы съ такимъ выдающимся по литературному дарованію соперникомъ [2]). Вообще его фельетоны этого года захватывали русскую жизнь съ разныхъ сторонъ и представляли единственный отдѣлъ журнала, въ которомъ трактовались событія дня бойко, ярко, ядовито, съ массою комическихъ иллюстрацій, вызывавшихъ веселый смѣхъ во всей читающей публикѣ. Сатира Щедрина, еще не опредѣлившаяся въ своемъ направленіи, хлестала насмѣшкой во всѣ стороны, никого не щадя, не сообразуясь ни съ какими партійными лозунгами, руководясь однимъ только убѣжденіемъ, выраженнымъ съ обычною силою въ характерномъ слогѣ, что вдохновенные глупцы едва-ли не вреднѣе, чѣмъ плуты, промышляющіе ложью съ сознаніемъ [3]). Всѣ литературные кружки могли остаться недовольными статьями талантливаго автора, отъ котораго ожидали совершенно иныхъ полемическихъ пріемовъ. Ударяя направо и налѣво и при этомъ не давая никакого положительнаго матеріала для вѣрнаго сужденія о его собственныхъ политическихъ и нравственныхъ убѣжденіяхъ, Щедринъ самъ подготовлялъ противъ себя журнальную реакцію. Радикальная партія «Русскаго Слова» прямо шокировалась этими фельетонами съ ихъ двусмысленными сужденіями о молодомъ поколѣніи, которыми Щедринъ такъ неудачно закончилъ свою журнальную дѣятельность въ «Современникѣ» 1863 г. Какъ должны были истолковать молодые радикальные дѣятели печати фразу Щедрина, что «такъ называемые нигилисты суть не что иное, какъ титулярные совѣтники въ первоначальномъ, дикомъ и нераскаянномъ состояніи, а титулярные совѣтники суть раскаявшіеся нигилисты», что со временемъ «изъ пламенныхъ мальчишекъ образуются не менѣе пламенные каплуны» [4])? Положительнаго сочувствія къ новому движенію въ этихъ подозрительныхъ, обоюдоострыхъ опредѣленіяхъ никто не могъ-бы увидѣть. Разныя комическія сцены, написанныя со смѣхомъ надъ россійскими постепеновцами, отрицающими всякіе историческіе прыжки по пути прогресса [5]), не вы-

[1]) „Отечественныя Записки“, 1863, Май, *Замѣтка для редакціи «Современника»*. стр. 190—194.

[2]) „Современникъ“, 1863, Сентябрь, *Наша общественная жизнь*, стр. 147.

[3]) Ibidem, Августъ, *Въ деревнѣ*, стр. 175.

[4]) „Современникъ“, 1863, Декабрь, *Наша общественная жизнь*, стр. 240.

[5]) Ibidem, Ноябрь, *Наша общественная жизнь* («Ну. нѣтъ, прыгать я не согласенъ!»), стр. 161—164.

купали явныхъ пробѣловъ фельетонной сатиры Щедрина въ отношеніи политической тенденціи «Современника». Надъ его головою собирались грозныя, полныя электричества тучи. Люди съ выдержаннымъ направленіемъ должны были раздражаться его безпринципнымъ издѣвательствомъ надъ всѣми явленіями русской жизни и тѣмъ сочувствіемъ, которое оказывала Щедрину пестрая толпа, падкая ко всякому шумному и безцеремонному балагурству. Катковъ не замедлилъ, со свойственной ему злобною силою, обрисовать характеръ всей его журнальной дѣятельности 1863 года. Въ одномъ изъ первыхъ номеровъ «Современной лѣтописи» 1864 года мы находимъ слѣдующія энергическія, приправленныя реакціоннымъ перцемъ, слова о сатирическихъ пріемахъ и манерахъ Щедрина. Всѣ его писанія Катковъ называетъ пустословіемъ, которое производитъ впечатлѣніе только потому, что на него накинута цензурная мантія, заставляющая неопытнаго читателя думать, что самое лучшее осталось внѣ круга, очерченнаго роковымъ «дозволено цензурою». «Цензура, восклицаетъ Катковъ,—вотъ жизненный элексиръ либеральной петербургской прессы. Представьте себѣ, что нѣтъ цензуры, и читатель пробѣгаетъ, напримѣръ, курьезныя страницы, помѣщенныя въ послѣднемъ № Современника подъ заглавіемъ: *Наша общественная жизнь*. Онъ, конечно, ни минуты не затруднился-бы сказать, что это чепуха и что ровно никакого смысла нѣтъ ни въ этомъ разсказѣ о какихъ-то шалунахъ, появляющихся, когда *начинается броженіе въ накопленныхъ вѣками кучахъ хлама*, и къ числу которыхъ причисляется Неронъ, Калигула, какой-то исправникъ, вошедшій въ судъ съ собаками, ни въ этихъ размышленіяхъ о наукѣ, отъ которой, по словамъ какихъ-то молодыхъ людей, ни на волосъ толку не оказалось» [1]). Подъ сѣнью цензуры, пишетъ съ лукавствомъ этотъ усердный ревнитель строгихъ цензурныхъ уставовъ, чепуха превращается въ нѣкотораго рода апокалипсисъ новаго ученія. Фразы Каткова, всегда производившія на публику извѣстное впечатлѣніе, должны были насторожить радикальную печать, которую онъ всегда умѣлъ взбудоражить и разстроить, возбуждая въ ней междоусобныя распри, а тутъ еще подошелъ эфектный, истинно скандальный случай, поднявшій на ноги всю молодую когорту «Русскаго Слова». Январьскій фельетонъ Щедрина 1864 г. въ «Современникѣ» окончательно погубилъ радикальную репутацію журнала и вызвалъ противъ него цѣлую кампанію со стороны публицистовъ, явившихся настоящими продолжателями Добролюбова и Чернышевскаго. Тучи, все болѣе и болѣе сгущавшіяся надъ «Современникомъ», наконецъ, разразились настоящей грозой, и яркая молнія молодого таланта Писарева опалила и свалила наземь этотъ старый и уже дуплистый дубъ. Журналъ, кото-

[1]) „Современная Лѣтопись", 1864, № 2. *Романъ на берегахъ Невы*, стр. 12—13.

рый столько лѣтъ шелъ впереди всей періодической печати, лишенный своихъ главныхъ, лучшихъ творцовъ и работниковъ, не могъ долго просуществовать въ рукахъ людей безъ настоящей идейной выдержки. Именно здѣсь, въ «Современникѣ», колебаніе и шатаніе извѣстныхъ традицій должно было особенно бросаться въ глаза по контрасту съ его недавнимъ прошлымъ. Малѣйшая публицистическая оплошность, малѣйшее противорѣчіе, простительное для какого-нибудь менѣе опредѣлившагося журнала, выступало здѣсь съ особенной рѣзкостью, зажигая негодованіе въ обществѣ, дисциплинированномъ и привыкшемъ мыслить въ извѣстномъ направленіи. Именно Щедринъ, съ его огромнымъ талантомъ, при отсутствіи духовной цѣльности и строгой умственной выдержки, оказался тѣмъ человѣкомъ, который, въ стихійномъ охмѣленіи, грубо разметалъ и растопталъ важнѣйшіе принципы съ фанатической страстью продуманнаго и выстраданнаго журнальнаго устава.

Сатирикъ «Современника»—странно сказать—насмѣялся надъ романомъ Чернышевскаго и хватилъ въ два кнута по нигилисткѣ и нигилисту.

III.

Въ январѣ 1864 г. Щедринъ возвращается къ разговору о молодомъ поколѣніи. Среди разныхъ малопонятныхъ иносказаній онъ обращается вдругъ къ современному молодому поколѣнію съ слѣдующими не то ироническими, не то патетическими словами: «О, птенцы, внемлите мнѣ!.. Вы, которые надѣетесь, что откуда-то сойдетъ когда-нибудь какая-то чаша, къ которой прикоснутся засохшія отъ жажды губы ваши, вы всѣ, стучащіе и ни до чего не достукивающіеся, просящіе и не получающіе—всѣ вы можете успокоиться и прекратить вашу игру». Никакая чаша ни откуда не сойдетъ по той причинѣ, что она давно уже стоитъ на столѣ. Ничто не раскроется передъ этими птенцами, потому что жизнь дается только тѣмъ, кто подходитъ къ ней въ «благопристойной одеждѣ». «Ждите же, птенцы, и помните, что на человѣческомъ языкѣ есть прекрасное слово *со временемъ*, которое въ себѣ одномъ заключаетъ всю суть человѣческой мудрости». Это—великое слово, которое должно утѣшить всякаго, кто кстати употребитъ его. «Когда я вспоминаю, напримѣръ, пишетъ Щедринъ, что *со временемъ* дѣти будутъ рождать отцовъ, а яйца будутъ учить куръ, что *со временемъ* зайцевская хлыстовщина утвердитъ вселенную, что со временемъ милыя нигилистки будутъ безстрастною рукою разсѣкать человѣческіе трупы и въ то-же время подплясывать и подпѣвать: *Ни о чемъ я, Дуня, не тужила* (ибо *со временемъ*, какъ извѣстно, никакое человѣческое дѣйствіе безъ пѣнія и пляски совершаться не будетъ), то спокойствіе окончательно водворяется въ моемъ сердцѣ, и я забочусь только о томъ, чтобы до тѣхъ поръ совѣсть моя была чи-

ста». Затѣмъ, какъ-бы разгулявшись на счетъ нигилистки, Щедринъ набрасываетъ слѣдующую удивительную сцену, пригодную для обличительно-консервативнаго романа. Недавно, говоритъ онъ, одна нигилистка, вся содрагаясь отъ негодованія, разсказывала ему, что она была въ оперѣ и, по обыкновенію, обитала въ пятомъ ярусѣ, а между тѣмъ пресловутая Шарлотта Ивановна, вся блестящая и благоухающая, роскошествовала въ бель-этажѣ и «безстыдно предъявляла алкающей публикѣ свои обнаженныя плечи и мятежный груди валъ».

— И какъ она смѣла, эта скверная! визгливо заключила разсказчица, *топая ножкой*.

— Да вамъ-то что до этого?

— Помилуйте! я, честная нигилистка, задыхаюсь въ пятомъ ярусѣ, а эта дрянь, эта гадость, эта жертва общественнаго темперамента... смѣетъ всенародно показывать свои плечи... Гдѣ-же тутъ справедливость? И неужели правительство не обратитъ, наконецъ, на это вниманія.

Собесѣдникъ сталъ доказывать нигилисткѣ, что если Шарлотта Ивановна имѣетъ возможность сидѣть въ бель-этажѣ, то вѣдь за то она не обладаетъ чистой совѣстью и что она, нигилистка, обладаетъ чистой совѣстью и, въ видѣ поправки, осуждена на сидѣнье въ пятомъ ярусѣ.

— Ну, согласились-ли бы вы промѣнять вашу чистую совѣсть на ложу въ бель-этажѣ?

— Конечно, нѣтъ! отвѣчала она, но какъ-то *такъ невнятно*, что пришлось повторить вопросъ.

Изобразивъ въ этомъ двусмысленномъ свѣтѣ нигилистку, сатирикъ тутъ-же выводитъ на сцену столь-же двусмысленнаго нигилиста, готоваго отстать отъ всего, что авторъ называетъ жизненными трепетаніями, чтобы пристроиться къ житейскому пирогу. На замѣчанія автора, что его разсужденія слишкомъ смахиваютъ на то, что пишется въ «Русскомъ Вѣстникѣ», нигилистъ съ какимъ-то меланхолическимъ цинизмомъ замѣчаетъ: «Э, батюшка! всѣ *тамъ* будемъ». Въ заключеніе этого пассажа Щедринъ съ злорадствомъ юморомъ восклицаетъ: «Я сказалъ вещь резонную, когда утверждалъ, что нигилисты не что иное, какъ титулярные совѣтники въ нераскаянномъ видѣ, а титулярные совѣтники суть раскаявшіеся нигилисты» [1]).

Вотъ нѣсколько страницъ, на которыхъ окончательно переломилась исторія «Современника». Въ словахъ «со временемъ, *какъ извѣстно*, никакое человѣческое дѣйствіе безъ пѣнія и пляски совершаться не будетъ», Щедринъ пародировалъ романъ Чернышевскаго, и это было сейчасъ-же отмѣчено въ печати. «Какъ извѣстно! восклицаетъ Страховъ въ октябрьской книгѣ Эпохи 1864 г. Несчастный! Откуда это извѣстно?

[1]) «Современникъ» 1864, январь, *Наша общественная жизнь*, стр. 25—28.

Это могло быть извѣстно только изъ одной книги, — изъ романа *Что дѣлать*»! Злобныя насмѣшки надъ нигилистами немедленно вызвали энергическій отпоръ со стороны «Русскаго Слова». Въ февральской книгѣ этого журнала мы находимъ двѣ статьи, направленныя противъ Щедрина: одну, В. Зайцева—«Глуповцы, попавшіе въ Современникъ», другую Писарева—«Цвѣты невиннаго юмора». Съ возмущеннымъ чувствомъ оскорбленнаго въ своихъ лучшихъ симпатіяхъ человѣка, Зайцевъ накидывается на Щедрина съ грубыми словами, взывая къ блюстителямъ направленскихъ идей «Современника». Онъ рѣзко бичуетъ Щедрина за его послѣдній фельетонъ и, подозрѣвая въ немъ скрытаго сторонника Каткова. старается сорвать съ него радикальную маску. Ему представляется, что Щедринъ притворно рядился въ костюмъ Добролюбова, «прежде, чѣмъ предстать предъ публикой въ своемъ собственномъ рубищѣ будирующаго сановника». Но желая ударить его по мнимой маскѣ, Зайцевъ грубо задѣваетъ его человѣческую личность, заявляя, что молодое поколѣніе брезгаетъ раздѣлять эти подонки остроумія игривыхъ эксъ-администраторовъ. Зайцевъ не обратилъ-бы вниманія на продѣлки Щедрина, еслибы онъ «выдѣлывалъ свои курбеты» гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Но нельзя равнодушно смотрѣть, пишетъ онъ, обращаясь къ фельетонисту, какъ вы администраторствуете на тѣхъ самыхъ страницахъ, гдѣ еще такъ недавно мы прочли *Что дѣлать*. Омерзительно видѣть самодовольнаго балагура, дошедшаго изъ любви къ безпричинному смѣху до осмѣиванья того, чѣмъ былъ вчера, и провозглашающаго глуповскую мораль въ родѣ слѣдующей: «яйца курицъ не учатъ». Бросайте Добролюбова! ехидно восклицаетъ Зайцевъ: вѣдь онъ принадлежалъ къ птенцамъ. Отвернитесь отъ Чернышевскаго: вѣдь васъ разбираетъ смѣхъ по поводу его романа «Что дѣлать»! Щедринъ юмористически намекаетъ на смѣлую беллетристическую утопію «Современника», изображая нигилистку, разсѣкающую трупъ съ припѣвомъ *Ни о чемъ я, Дуня, не тужила*. Но гдѣ это видно было, чтобы какой-нибудь администраторъ издѣвался надъ учрежденіемъ, украшаемымъ его собственной персоной! Зайцевъ даетъ волю своему негодованію. Дѣятели «Русскаго Слова» всегда сочувствовали «Современнику» и, чуждые барышническихъ расчетовъ, никогда не умалчивали, что это лучшій изъ русскихъ журналовъ. Добролюбовымъ и Чернышевскимъ «Современникъ» возведенъ на авторитетную высоту. Онъ руководитъ молодымъ поколѣніемъ. И вотъ почему онъ, Зайцевъ, считаетъ себя въ правѣ обратить вниманіе уважаемыхъ сотрудниковъ «Современника» на новое направленіе, придаваемое этому журналу Щедринымъ. «Прошу ихъ вспомнить, пишетъ онъ, обличенія, которыми они часто преслѣдовали литературное ренегатство, и замѣтить, что Современникъ находится въ эту минуту на весьма скользкомъ пути. Послѣ Добролюбова, каждое слово котораго было запечатлѣно горячей симпатіей

къ прогрессивной части русскаго общества, послѣ *Что дѣлать*, въ которомъ не видно ни малѣйшаго желанія лизоблюдничать—было-бы прискорбно видѣть Современникъ подражающимъ Русскому Вѣстнику въ брани и злобѣ на все, что старается высвободиться изъ подъ рутины и дышать по человѣчески». Зачѣмъ не смотритъ Антоновичъ за Щедринымъ, Антоновичъ, обрушившійся на Тургенева за его несочувствіе къ птенцамъ? Куда дѣвался Пыпинъ, тотъ самый Пыпинъ, который не можетъ издать книжки, не упрекнувъ въ предисловіи Тургенева «за пренебрежительный отзывъ его объ изученіи молодежью естественныхъ наукъ»? Придирки Тургенева — верхъ голубиной кротости сравнительно «съ рычащими лѣснымъ воемъ остротами» игриваго эксъ-администратора, издѣвающагося въ «Современникѣ» надъ «милыми нигилистками». Журналъ, уважающій себя, заключаетъ Зайцевъ, не можетъ совмѣстить въ себѣ тенденціи остроумнаго фельетониста съ идеями Добролюбова. Надо выбирать одно изъ двухъ: или идти за Чернышевскимъ, или смѣяться надъ нимъ [1])...

Въ той-же книжкѣ «Русскаго Слова» Писаревъ въ рѣзкой, но талантливо написанной статьѣ производитъ критическую оцѣнку всей литературной дѣятельности Щедрина. По мнѣнію критика, Щедринъ съ полною справедливостью можетъ быть названъ однимъ изъ представителей чистаго искусства въ его новѣйшемъ видоизмѣненіи. Въ его произведеніяхъ не видно любви къ опредѣленной идеѣ, не слышно голоса взволнованнаго чувства. Принимаясь за перо, онъ не думаетъ о томъ, куда хватитъ его обличительная стрѣла—въ своихъ или чужихъ, въ титулярныхъ совѣтниковъ или въ нигилистовъ. Онъ пишетъ разсказы, обличаетъ неправду, смѣшитъ читателя, потому что умѣетъ писать легко и игриво, обладаетъ обширнымъ запасомъ диковинныхъ матеріаловъ и любитъ потѣшиться съ добродушнымъ читателемъ надъ комическими явленіями жизни. Вотъ почему его сатира въ высшей степени безвредна, даже пріятна для чтенія, даже полезна съ гигіенической точки зрѣнія, потому что помогаетъ пищеваренію. Вотъ почему въ ней не слышатся никакія грустныя и серьезныя ноты, какъ у Диккенса, Теккерея, Гейне, Гоголя и вообще у всѣхъ «не дѣйствительно-статскихъ, а дѣйствительно замѣчательныхъ юмористовъ». Измѣните слегка его манеру изложенія, отбросьте шалости языка и конструкціи, и вы увидите, что юмористическій букетъ въ писаніяхъ Щедрина значительно выдохнется. Когда Щедринъ только что началъ свою литературную карьеру, при первыхъ ракетахъ его забавнаго остроумія, провинціальные чиновники слегка переконфузились. Они подумали, что эти первые проблески таланта служатъ предвѣстниками сатирическаго грома. Но громъ не грянулъ, и догадливые

[1]) „Русское Слово“, 1864 г., февраль, *Глуповцы*, стр. 34—42.

провинціалы успокоились, возлюбили веселаго Щедрина и продолжаютъ любить его вплоть до настоящаго времени. При всей глубокой невинности и несложности тѣхъ пружинъ, которыми Щедринъ «надрываетъ животики почтеннѣйшей публикѣ», онъ никогда не дѣйствуетъ открыто, просто. Секретъ его тактики состоитъ въ томъ, пишетъ Писаревъ, повторяя отзывъ Каткова, чтобы говорить неясно, давая чувствовать, что у него остается что-то невысказанное. Въ его сочиненіяхъ, во всѣхъ безъ исключенія, нѣтъ ни одной новой идеи, но каждая идея показывается въ нихъ изъ подъ полы съ таинственными предосторожностями и лукавыми подмигиваніями, съ видомъ особенно глубокомысленнымъ. Самъ Щедринъ постоянно выступаетъ въ позѣ завзятаго прогрессиста, но соскоблите лакъ съ его произведеній—и вы увидите невинность. Скоблите дальше, скоблите до самой сердцевины, и вездѣ вы встрѣтите одно и то-же—невинность да невинность, угнетенную по недоразумѣнію, угнетенную потому, что «угнетатели также обморочены таинственностью жаргона и сноровки». Щедринъ заимствовалъ изъ Добролюбовскаго «Свистка» манеру относиться недовѣрчиво къ нашему офиціальному прогрессу, но естественный, живой и сознательный скептицизмъ Добролюбова превратился у его подражателя въ пустой знакъ, въ кокарду, которую онъ пришпиливаетъ къ своимъ разсказамъ, чтобы сообщить имъ колоритъ безукоризненной прогрессивности. Благодаря этому маневру, онъ пріобрѣлъ сочувствіе молодежи, съ которою у него нѣтъ ничего общаго. «Но мнѣ кажется, заявляетъ Писаревъ, что сочувствіе это необдуманно и не провѣрено критическимъ анализомъ». Молодежь смѣется, читая Щедрина. Молодежь привыкла встрѣчать его имя на страницахъ лучшаго русскаго журнала и потому ей не приходитъ въ голову отнестись къ своимъ впечатлѣніямъ съ недовѣріемъ и критикой. «Но мнѣ кажется, что вліяніе Щедрина на молодежь можетъ быть только вреднымъ, и на этомъ основаніи я стараюсь разрушить пьедестальчикъ этого маленькаго кумира и произвожу эту отрицательную работу съ особеннымъ усердіемъ» [1]). Затѣмъ Писаревъ, въ пылу своего искренняго увлеченія естественными науками, совѣтуетъ Щедрину бросить Глуповъ и заняться популяризированіемъ европейскихъ идей естествознанія и антропологіи. Пусть читаетъ, размышляетъ, переводитъ, компилируетъ, заключаетъ онъ свою статью, и тогда онъ будетъ дѣйствительно полезнымъ писателемъ при его умѣньѣ владѣть русскимъ языкомъ и писать живо, весело.

Эти двѣ статьи «Русскаго слова» глубоко уязвили Щедрина, и онъ рванулся на своихъ противниковъ — по выраженію «Отечественныхъ Записокъ», съ телѣжной оглоблей въ рукахъ. Всѣ самыя грубыя и неприличныя ругательства, не имѣющія сами по себѣ никакого смысла,

[1]) «Русское Слово», 1864 г., Февраль, *Цвѣты невиннаго юмора*, стр 33.

были пущены въ ходъ. Желая поддержать авторитетный тонъ «Современника», онъ высокомѣрно третируетъ злобствующихъ «мальчиковъ», этихъ «новыхъ Колумбовъ, искусно отыскивающихъ принципы *въ мірѣ яичницы и ерунды*». Потерявъ душевное равновѣсіе, Щедринъ разливаетъ цѣлые потоки хулы и сквернословія, называя современное молодое поколѣніе *«ядовитой слизью*, которая незамѣтно заползаетъ всюду и разъѣдаетъ все, къ чему бы ни прикоснулась». Мальчики, говоритъ онъ, кишмя кишатъ въ этомъ мірѣ и ловко подставляютъ ногу всему, что не смотритъ на жизнь, какъ на милую бездѣлицу. Они идутъ по дорогѣ жизни, подпрыгивая, продолжаетъ онъ, сваливая грѣхъ съ больной головы на здоровую, они высовываютъ толпѣ языкъ и въ то же время ловко выкрадываютъ другъ у друга лакомые куски. «Это цѣлая каста, въ которой трепещетъ и бьется одинъ принципъ—неимѣнье никакихъ принциповъ». Приходя мало-по-малу все въ большее бѣшенство, онъ разражается между прочимъ слѣдующими постыдными фразами: «Не полѣнитесь наблюсти когда-нибудь, говоритъ онъ, за улыбками мальчика, за его пожатіемъ руки, всмотритесь въ разнообразные оттѣнки тѣхъ и другихъ, и вы безъ труда догадаетесь, что это за *канальскій зародышъ*. Въ этихъ улыбкахъ откроется для васъ весь внутренній міръ этой, если можно такъ выразиться, *заживо разлагающейся душонки*, со всѣмъ ея тайнымъ высокомѣріемъ»... Обращаясь къ новымъ, оскорбившимъ его дѣятелямъ печати, Щедринъ называетъ ихъ *вислоухими* и *юродствующими*, которые «съ ухорскою развязностью» прикомандировываютъ себя къ прогрессивному дѣлу. Эти люди, пишетъ онъ, считаютъ себя какими-то сугубыми представителями молодого поколѣнія, забывая, что *дрянь* есть явленіе, общее всѣмъ вѣкамъ и странамъ. Эти люди серьезно готовы признать «болтуна Базарова» за типъ современнаго прогрессиста. Затѣмъ, переходя къ статьямъ Зайцева и Писарева, пишущихъ въ «невинномъ, но разухабистомъ органѣ невинной *нигилистской ерунды*», Щедринъ разсказываетъ своимъ читателямъ, какую бурю поднялъ его прошедшій фельетонъ въ мірѣ «вислоухихъ, юродствующихъ, лиллипутовъ»—его безобидный фельетонъ, имѣвшій цѣлью сказать правдивое слово о молодомъ поколѣніи, «захламощенномъ различными услужливыми ревнителями». Но онъ никогда не самообольщался насчетъ вислоухихъ. Онъ всегда былъ того мнѣнія, что они однимъ своимъ участіемъ дѣлаютъ неузнаваемымъ всякое дѣло, къ которому прикоснутся, «подобно тому, какъ мухи лѣтомъ въ одну минуту засиживаютъ какую угодно вещь, хотя бы самую драгоцѣнную». Надо оградить общество отъ горлопановъ, юродствующихъ и вислоухихъ «съ ихъ скуднымъ запасомъ умственныхъ способностей». Вислоухіе рисуются демократизмомъ, но весь ихъ демократизмъ состоитъ въ томъ, что «они ходятъ въ поддевкѣ и сморкаются безъ помощи платка». Они рисуются нигилизмомъ, но нигилизмъ свой доказываютъ только

тѣмъ, что готовы во всякое время дня выбѣжать голыми на улицу. Они считаютъ себя соціалистами, но «Россія даже не подозрѣваетъ, существуютъ ли они, эти новаго рода соціалисты, взирающіе на жизнь, какъ на увеселительное заведеніе съ пѣніемъ и плясками!» Они ругаютъ его, Щедрина, за нѣсколько критическихъ замѣчаній о романѣ Чернышевскаго, а между тѣмъ всякій разумный человѣкъ, читая этотъ романъ, «сумѣетъ отличить живую и разумную его идею отъ сочиненныхъ и только портящихъ дѣло подробностей». Вислоухіе обходятъ существенное содержаніе «Что дѣлать» и пріударяютъ насчетъ подробностей, среди которыхъ ихъ всего болѣе соблазняетъ «перспектива работать съ пѣніемъ и плясками». Представивъ въ такихъ ужасающихъ, отталкивающихъ и карикатурныхъ чертахъ наиболѣе типичныхъ представителей передоваго общества того времени, Щедринъ приноситъ покаяніе въ своихъ проступкахъ передъ представителями отживающей Россіи, которыхъ обличала до сихъ поръ его сатира: «Да, я каюсь предъ вами, старые, отживающіе вѣкъ драбанты! Я былъ близорукъ, я не предвидѣлъ, что сквозь васъ прорастутъ драбанты новые, и гораздо болѣе ехидные, нежели вы. Я вѣрилъ въ какую-то звѣзду и умилялся, взирая на мальчиковъ, которые росли не по днямъ, а по часамъ. Оказалось, что это даже и не звѣзда совсѣмъ» [1])...

Редакція «Русскаго Слова» отвѣтила немедленно. Въ неподписанной замѣткѣ подъ названіемъ «Кающійся, но не раскаявшійся фельетонистъ Современника», журналъ рѣзко и безпощадно разоблачаетъ всѣ скверныя стороны въ полемическомъ фельетонѣ Щедрина. Фельетонистъ «Современника» доказалъ въ самомъ дѣлѣ, что его чаша полна, но что въ ней заключается не нектаръ, а какая-то «желтая жидкость». Всѣ сотрудники «Русскаго Слова» обруганы казарменнымъ стилемъ, которому могъбы позавидовать любой уличный листокъ. Отъ всѣхъ остротъ Щедрина «пахнетъ саломъ курдюцкаго барана». Однако, онъ не далъ никакого принципіальнаго отвѣта на возникшія въ печати сомнѣнія по поводу его выходки противъ нигилистовъ и Чернышевскаго. Онъ ничего толкомъ не объяснилъ, и въ его фельетонѣ, кромѣ ругани, ничего найти невозможно. «Насъ удивляетъ, пишетъ Русское Слово, какимъ образомъ редакція журнала, всегда отличавшагося тактомъ, позволила открыть у себя, вмѣсто легкаго литературнаго отдѣла, какой-то балаганъ, наполненный кривляньями и буфонствомъ». Къ чему этотъ безпредметный гамъ и стонъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ читатели привыкли встрѣчать настоящую полемику, не руководимую раздраженіемъ канцелярскаго самолюбія? Развѣ Добролюбовъ отхватывалъ трепака, когда вступалъ въ единоборство со своими противниками? Развѣ Чернышевскій клеветалъ на своихъ оппо-

[1]) „Современникъ“ 1864. Мартъ. *Наша общественная жизнь*. стр. 46.

нентовъ, съ которыми онъ расходился во мнѣніяхъ? «Мы еще разъ предупреждаемъ Современникъ, пишетъ Русское Слово, что есть границы униженія, за которыми сочувствіе, такъ дорого купленное прежними его дѣятелями, уже трудно возвратить». Пусть редакція обратитъ вниманіе, что въ кругѣ ея сотрудниковъ оказалась чужая овца. Щедринъ издѣвается надъ лучшей частью русскаго общества, но видано-ли гдѣ-нибудь, чтобы журналистика издѣвалась надъ тѣми людьми, съ которыми она находится въ естественной связи, отъ которыхъ она должна ожидать своихъ лучшихъ дѣятелей?... [1])

Косица и журналистъ, подписавшійся Incognito (Заринъ), отмѣтили, каждый въ свое время, фальшивый вывертъ Щедрина въ его полемическомъ объясненіи по поводу Чернышевскаго. Ради здраваго пониманія дѣла, ради высшихъ интересовъ истины, писали «Отечественныя Записки», мы обязаны сказать, что увеселительное зданіе изъ хрусталя и аллюминія въ романѣ «Что дѣлать» вовсе не произвольная подробность. Объясненіе Щедрина, заявлялъ Косица въ «Библіотекѣ для чтенія» 1865 г., есть одна уловка, ибо подробности, которыя онъ осуждаетъ, глубочайшимъ образомъ связаны съ главною мыслью, съ основнымъ духомъ всего романа... Радикальная репутація Щедрина явно пошатнулась, и «Современникъ», такъ долго руководившій общественнымъ мнѣніемъ Россіи, поколебался въ своемъ положеніи. Два фельетона талантливаго, но опрометчиваго сатирика должны были окончательно погубить это изданіе, измѣнившее самому себѣ. Въ это-то время «Современникъ», надѣясь еще наверстать все потерянное въ летучей схваткѣ съ «Русскимъ Словомъ», усиливаетъ свою полемику съ Достоевскимъ и, какъ мы уже знаемъ, доводитъ ее до невѣроятнаго безобразія, вызвавшаго энергичный протестъ во многихъ столичныхъ и провинціальныхъ изданіяхъ. Не только литературная, но и нравственная репутація журнала стала шататься въ глазахъ публики. Щедринъ и Антоновичъ каждымъ своимъ шагомъ все болѣе и болѣе рвали связь съ прежними дѣятелями, и новыя силы, шедшія на смѣну Добролюбову и Чернышевскому, не упускали случая, чтобы довести до конца разъ начатую борьбу съ «Современникомъ». Въ апрѣлѣ 1864 года Антоновичъ бросаетъ скрытый намекъ въ статьѣ о Писемскомъ противъ «критиковъ-дѣтей», увлекшихся новымъ романомъ Тургенева [2]). Онъ все еще не можетъ понять своей роковой ошибки, поставившей его въ ложное, двусмысленное положеніе по отношенію къ молодому поколѣнію. Ему все еще кажется, что Базаровъ есть карикатура на типъ этого молодого поколѣнія. Лишенный критическаго чутья

[1]) „Русское Слово“, апрѣль, *Кающійся, но не раскаявшійся фельетонистъ „Современника“*, стр. 73.

[2]) «Современникъ», 1864, апрѣль, *Современные романы* (по поводу «Взбаломученнаго моря» А. Ѳ. Писемскаго и «Призраковъ» Тургенева), стр. 207.

и художественнаго пониманія, онъ все еще прохаживается насчетъ Тургенева и Базарова въ площадномъ тонѣ, безъ признака живого чувства, живой и непосредственной талантливости. «Современникъ» какъ-бы не хочетъ считаться съ взглядами Писарева, который сразу, еще въ мартѣ 1862 г., по своему оцѣнилъ произведеніе Тургенева въ статьѣ подъ названіемъ «Базаровъ». Онъ пренебрежительно трактуетъ человѣка съ настоящимъ критическимъ даромъ, по темпераменту какъ-бы призваннаго замѣнить Чернышевскаго въ современномъ прогрессивномъ движеніи русскаго общества. Съ наивностью самаго поверхностнаго публициста, не привыкшаго взвѣшивать полемическія силы своихъ соперниковъ, онъ самъ лѣзетъ на борьбу съ тою-же телѣжною оглоблею, которою бился Щедринъ, и при томъ безъ его стихійнаго размаха. Но Писаревъ могъ только вырости и показать свое природное дарованіе въ схваткѣ съ «Современникомъ». Типъ Базарова представлялся ему превосходнымъ художественнымъ воплощеніемъ его собственныхъ убѣжденій, всѣхъ симпатій и стремленій молодого поколѣнія, къ которому онъ принадлежалъ, и выйти на битву за Базарова, именемъ Базарова, подъ флагомъ реалистическаго радикализма, значило для него сразиться за святыню своихъ пылкихъ идейныхъ влеченій и страстей. Онъ съ чувствомъ полнаго превосходства приступилъ къ полемикѣ съ «Современникомъ» и на противника, прикрывающагося авторитетомъ изъятыхъ изъ борьбы дѣятелей, обратилъ свой остро-наточенный, удалецки-разбойническій ножъ. Въ трехъ статьяхъ, подъ интригующимъ заглавіемъ «Нерѣшенный вопросъ», онъ изложилъ, съ настоящимъ вдохновеніемъ, почти съ энтузіазмомъ, всѣ свои главнѣйшія убѣжденія, основные принципы своего міровоззрѣнія. Со страстью юноши онъ вычерчиваетъ любимый имъ образъ Базарова, выражаетъ нѣсколько смѣлыхъ сужденій о нормальныхъ отношеніяхъ между мужчиною и женщиною и съ протестантскимъ негодованіемъ набрасывается на поэзію и искусство въ такихъ фразахъ, которыя, несмотря на дико-фальшивое содержаніе, по своей литературной чеканкѣ, сами должны быть отнесены къ блестящимъ страницамъ русской критической литературы. Антоновичу онъ указываетъ на его грубыя ошибки, замѣчая при этомъ, что роль перваго критика совершенно не соотвѣтствуетъ его силамъ. На многихъ страницахъ онъ обличаетъ его въ полномъ непониманіи художественной фигуры Базарова. Приведя одинъ изъ нелѣпыхъ комментаріевъ его, въ которомъ Антоновичъ упрекаетъ Базарова въ жестокости характера, Писаревъ вдругъ, измѣнивъ общему тону статьи, бросаетъ ему въ лицо нѣсколько комическихъ, издѣвательскихъ фразъ: «Ахъ, ты коробочка доброжелательная! Ахъ, ты обличительница копѣечная! Ахъ, ты лукошко глубокомыслія!» Послѣ всего случившагося, послѣ фельетоновъ Щедрина, нанесшихъ оскорбленіе Чернышевскому и молодому поколѣнію, Писаревъ уже не считаетъ необходимымъ сколько-

нибудь щадить «Современникъ». Критика этого журнала опростоволосилась въ одномъ изъ важныхъ литературныхъ вопросовъ, и ея безтактный поступокъ по отношенію къ роману Тургенева надо какъ можно скорѣе загладить предъ русской читающей публикой. «Критика наша, съ полемическимъ гнѣвомъ восклицаетъ Писаревъ, по обыкновенію смотритъ въ книгу и видитъ фигу, и на основаніи этой фиги изобличаетъ Базарова въ непочтительности, въ жестокости и во всякомъ озорствѣ. Долго придется Антоновичу раскаиваться въ его статьѣ объ *Асмодеѣ нашего времени*. Много вреда надѣлала эта статья. Сильно перепутала она понятія нашего общества о молодомъ поколѣніи. Такъ *напакостить* могъ именно одинъ только Современникъ» [1]). Таковъ былъ первый залпъ, сдѣланный по «Современнику» Писаревымъ. Въ полемическую борьбу съ Антоновичемъ вмѣшался человѣкъ съ крупнымъ литературнымъ талантомъ и опредѣленнымъ міровоззрѣніемъ, которое онъ имѣлъ полное право соединять съ традиціями Чернышевскаго, человѣкъ, которому Чернышевскій протянулъ-бы руку, если-бы въ это время его публицистическая дѣятельность уже не была закончена въ силу чисто внѣшнихъ обстоятельствъ. Зайцевъ не былъ опаснымъ соперникомъ для Антоновича: лишенные литературнаго таланта, съ самымъ ограниченнымъ кругозоромъ, оба они могли препираться до остервенѣнія, чуть не до кулачныхъ потасовокъ, изобличая другъ друга въ недобросовѣстности, но ни одинъ изъ нихъ, ни одною своею статьею, не вносилъ въ эту борьбу ничего, что имѣло-бы истинно литературный характеръ и значеніе. Ихъ полемическая схватка груба, безъидейна по содержанію, скандальна по своей распущенности. Но Писаревъ, несмотря на свою анти-литературную агитацію, былъ настоящимъ литераторомъ по темпераменту, по умѣнью обсуживать художественныя явленія и оцѣнивать публицистическое значеніе своихъ противниковъ. Его сильное, почти азартное, въ немногихъ строкахъ, нападеніе на критику «Современника» должно было произвести ошеломляющее впечатлѣніе. Въ этихъ рѣзкихъ фразахъ, вносящихъ нѣкоторый диссонансъ въ общій тонъ его статьи, но обставленныхъ превосходно подобранными и блестяще-разработанными доказательствами, нельзя было не почувствовать цѣльной натуры. Нельзя было не видѣть, что Писаревъ не сдастся. Вѣрный и убѣжденный партизанъ Чернышевскаго, онъ былъ при этомъ настоящимъ, типическимъ выразителемъ наступившаго историческаго момента. Выйдя на защиту Базарова, онъ опирался на живыя силы современности. Стоя впереди реалистическаго движенія, онъ всѣми фибрами своей души былъ связанъ съ прогрессивной толпой того времени.

И «Современникъ» немедленно откликнулся на дерзкій вызовъ моло-

[1]) «Русское Слово», сентябрь, «Нерѣшенный вопросъ», стр. 42.

дого таланта. Въ октябрѣ 1864 года Посторонній Сатирикъ (Антоновичъ) выражаетъ удивленіе по поводу статьи Писарева «Нерѣшенный вопросъ». По его мнѣнію, статьѣ этой приличнѣе было-бы появиться въ «Эпохѣ», въ «Отечественныхъ Запискахъ», даже въ «Русскомъ Вѣстникѣ», но никакъ не въ радикальномъ журналѣ. Ему приходитъ въ голову, что помѣщеніемъ этой статьи «Русское Слово» хотѣло совершить какой-то фокусъ, чтобы вызвать въ журналистикѣ новый разговоръ о нигилистахъ и затѣмъ отречься отъ всякой солидарности съ этой статьей. Антоновичъ считаетъ себя вынужденнымъ обратиться къ редакціи «Русскаго Слова» съ вопросомъ: согласна-ли она съ этой статьей, раздѣляетъ-ли она всѣ сужденія ея автора о романѣ Тургенева и о критикѣ на этотъ романъ, помѣщенной въ «Современникѣ»? Антоновичъ не начнетъ своей полемики прежде, чѣмъ не получитъ печатнаго отвѣта на свой вопросъ. Сдѣлавъ такое приглашеніе, Посторонній Сатирикъ обращается къ одному изъ постоянныхъ сотрудниковъ «Русскаго Слова», Минаеву, съ вопросомъ, какъ онъ думаетъ о статьѣ «Нерѣшенный вопросъ»? Какъ вы относитесь къ дѣянію вашего товарища по журналу? допрашиваетъ онъ его. Такой-же вопросъ онъ предлагаетъ издателю журнала, Благосвѣтлову. Въ заключеніе, разыгравъ съ хлестаковской наивностью роль заваленнаго дѣломъ человѣка, Антоновичъ важно заявляетъ о томъ, что ему нужно еще закончить полемику съ «Эпохою», что ему необходимо присматривать за двумя органами Краевскаго, не упуская при этомъ—Боже сохрани—изъ виду московской печати. Полемика съ «Русскимъ Словомъ» подвернулась совсѣмъ не кстати, но нечего дѣлать, ужъ такъ и быть, онъ согласенъ: какъ только получится отвѣтъ, онъ подниметъ перчатку, брошенную ему редакціей молодого журнала [1]).

«Русское Слово» отвѣтило твердо и ясно. Журналу незачѣмъ отрекаться отъ солидарности со статьею «Нерѣшенный вопросъ». Статья эта оцѣниваетъ дѣятельность и современное значеніе тѣхъ людей, на сторонѣ которыхъ находятся всѣ симпатіи его сотрудниковъ. Авторъ этой статьи защищаетъ литературный типъ отъ той клеветы, которую взвела на него журналистика, и показываетъ важное значеніе базаровскаго элемента въ общественной жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ. Въ этомъ принципіальномъ отношеніи оба журнала разошлись еще въ 1862 г., со времени статьи Писарева «Базаровъ», но «Русскому Слову» нечего бояться угрозъ «Современника». Въ той-же книгѣ Зайцевъ отмѣчаетъ всю непристойность полемики Антоновича съ «Эпохою» [2]).

Въ декабрѣ того-же года Антоновичъ обращается къ «Русскому Слову»

[1]) „Современникъ", 1864 г., октябрь. *Вопросъ, обращенный къ «Русскому Слову»* стр. 288—290.

[2]) „Русское Слово" 1864 г., октябрь, *Отвѣтъ Современнику*, стр. 103—104 и *Славянофилы побѣдили*, стр. 71.

съ «Предварительными объясненіями». Онъ получилъ печатный отвѣтъ и потому долженъ былъ-бы начать полемику непосредственно, но тѣмъ не менѣе онъ находитъ нужнымъ вдаться въ нѣкоторыя прелиминарные переговоры. Прежде всего онъ долженъ упрекнуть Зайцева за то, что тотъ не понялъ смысла его борьбы съ «Эпохою». Неужели, въ самомъ дѣлѣ, сотрудникъ «Русскаго Слова» не видитъ въ этой полемикѣ ничего, кромѣ непристойностей и личностей? Антоновичу представляется, что въ его базарной ругнѣ, обращенной на Достоевскаго, можно найти какой-то идейный смыслъ, и онъ рѣшается спросить Зайцева: «ужели вы не захотѣли-бы подписать ни одной изъ моихъ полемическихъ статей, ужели и вамъ кажется, какъ Отечественнымъ Запискамъ, что моя полемика не требуется для блага отечества и не проливаетъ свѣта на міровые вопросы?» Затѣмъ Антоновичъ, слегка укоривъ Зайцева за его отношеніе къ неграмъ, переходитъ къ главному вопросу о романѣ Тургенева. По его глубокомысленному толкованію, Тургеневъ показалъ «Русскому Слову» фигу, а оно стало цѣловать эту фигу, «приняло ее за идеалъ, за комплиментъ», и «водянымъ настоемъ этой фиги» стало разбалтывать свои критическія статьи. Похвалившись тѣмъ, что онъ всѣми признанъ за моветоннаго полемизатора, Антоновичъ заявляетъ, что онъ просто радъ тремъ знаменитымъ ругательнымъ фразамъ Писарева: онѣ развязываютъ ему языкъ и даютъ возможность не стѣсняться въ выраженіяхъ. Если его критика была названа лукошкомъ глубокомыслія, то отнынѣ онъ будетъ называть критику «Русскаго Слова» *бутербродомъ глубокомыслія*, и, говоря о «критикантахъ» этого журнала, онъ будетъ выражаться такъ: бутербродъ съ глубокомысліемъ Благосвѣтлова, бутербродъ съ глубокомысліемъ Зайцева, бутербродъ съ глубокомысліемъ Писарева. Тургеневскія фиги понравились бутербродамъ «Русскаго Слова»! Бутербродъ съ глубокомысліемъ Зайцева подсиживаетъ «Современникъ». Спросите у бутерброда съ глубокомысліемъ Зайцева, умѣетъ-ли Антоновичъ непристойно полемизировать? Друзья-бутерброды, коробочки и лукошки, давайте спорить!... Развернувъ такимъ образомъ свое остроуміе, Антоновичъ не упускаетъ, однако, случая указать на то, что статью его о Тургеневѣ принялъ самъ Чернышевскій. Если его критика оказалась лукошкомъ глубокомыслія, значитъ [1])...

Это предварительное объясненіе Антоновича «Русское Слово» встрѣтило съ нѣкоторою сдержанностью. Зайцевъ и сотрудникъ, подписавшійся «Заштатный юмористъ», поздравили Посторонняго Сатирика съ остроумными бутербродами и въ насмѣшливыхъ выраженіяхъ указали ему на то, что онъ затѣваетъ полемику не по-рыцарски. Можетъ случиться, что онъ останется одинъ на этомъ турнирѣ, если не измѣнитъ своей тактики.

---

[1]) «Современникъ», 1861 г., декабрь. *Литературныя мелочи,* стр. 156—172.

Однако, при всей «аттенціи» журнала къ «Современнику», сотрудники «Русскаго Слова» считаютъ себя обязанными приготовиться къ преломленію рыцарскихъ копій [1]).

Такъ разжигали другъ друга своими «предварительными объясненіями» сотрудники двухъ радикальныхъ журналовъ, прежде чѣмъ начать излагать предъ публикой оттѣнки своихъ принципіальныхъ несогласій. Не говоря пока ничего по существу, они потрясаютъ воздухъ дикимъ крикомъ, какъ готовящіеся къ бою полуварварскія орды, издали угрожающія другъ другу своими военными орудіями. Одни размахиваютъ тяжеловѣсными дубинами, другіе съ яростью показываютъ зловѣще сверкающіе ножи. Битва будетъ рукопашная, изступленная, безпощадная... Съ первой-же книги 1865 года «Современникъ» обрушится на «Русское Слово», и схватка разыграется по всей линіи. Ничто не укротитъ воюющихъ сторонъ, пока въ этомъ стихійномъ столкновеніи не выяснится окончательно, кто дѣйствительно силенъ и способенъ побѣдоносно взять роль общественнаго руководителя. Журналы другихъ направленій будутъ злорадно слѣдить за этой дракой въ средѣ радикальной партіи, а «Отечественныя Записки», примыкающія къ прогрессивному движенію, кружась подлѣ дерущихся, будутъ безсильно размахивать унылыми алебардами своего умѣреннаго либерализма.

IV.

Въ декабрѣ 1864 года Щедринъ уѣхалъ изъ С.-Петербурга, о чемъ онъ сообщилъ въ «Современникѣ» въ открытомъ письмѣ на имя Н. Некрасова. «Оставляя С.-Петербургъ, писалъ онъ съ сухимъ лаконизмомъ, я могу на будущее время быть только сотрудникомъ издаваемаго вами журнала, не принимая болѣе участія въ трудахъ по редакціи». Поднявъ цѣлую бурю въ литературѣ своими фельетонами о нигилистахъ и насмѣшкой надъ оптимизмомъ Чернышевскаго, Щедринъ на время прекращаетъ свою публицистическую работу. Онъ поступаетъ на службу, назначается предсѣдателемъ пензенской казенной палаты и, оторвавшись отъ шумной дѣятельности передового журналиста, на нѣкоторое время почти скрывается съ литературнаго горизонта—до тѣхъ поръ, пока Некрасовъ не привлекаетъ его, въ 1868 году, къ ближайшему участію въ преобразованныхъ «Отечественныхъ Запискахъ». Въ «Современникѣ», въ качествѣ главнаго дѣятеля, остался одинъ Антоновичъ. Только что окончивъ полемику съ «Эпохою» и уже раззадоривъ сотрудниковъ «Русскаго Слова», Антоновичъ долженъ былъ выдержать новую битву съ этимъ журналомъ, который явнымъ образомъ продолжалъ традиціи Чернышевскаго. Въ этомъ

[1]) «Русское Слово» 1864 г., декабрь. *Г. Постороннему Сатирику Современника и Библіографическій Листокъ*, стр. 24—26.

новомъ спорѣ каждое его слово, послѣ смутившихъ публику фельетоновъ Щедрина, могло имѣть самое серьезное значеніе для «Современника». Антоновичу предстояла трудная задача вновь поднять репутацію изданія, которое, очевиднымъ образомъ, истощалось, падало, разлагалось. «Русское Слово» быстро выростало подъ редакціей энергичнаго и предусмотрительнаго человѣка, какимъ былъ Благосвѣтловъ. Его сотрудники, съ Писаревымъ во главѣ, уже успѣли привлечь къ себѣ сочувствіе публики, которая находила живой отголосокъ своихъ настроеній, надеждъ и запросовъ въ статьяхъ и замѣткахъ этого молодого журнала. Свѣжіе литературные работники шли въ редакцію Благосвѣтлова, гдѣ все, какъ нѣкогда въ «Современникѣ», кипѣло задоромъ и страстями протестантскаго реализма. Здѣсь они могли работать на большей свободѣ, не стѣсняемые ничьимъ мелкимъ самолюбіемъ, которое въ «Современникѣ» этой поры, съ заносчивымъ Антоновичемъ во главѣ, должно было отпугивать всякую свѣжую умственную силу. Выдыхаясь въ области литературной и философской критики, «Современникъ» лишался того рычага, которымъ всегда управлялось въ Россіи общественное мнѣніе. Критика «Русскаго Слова», отвѣчавшая воззрѣніямъ интеллигентной толпы, критика, яркая по формѣ, смѣлая и рѣшительная въ своихъ требованіяхъ, критика, блещущая настоящимъ природнымъ талантомъ, становилась центромъ новаго умственнаго движенія, въ которомъ Антоновичъ, лишенный серьезнаго литературнаго дарованія, уже не могъ играть никакой роли. Побѣда должна была остаться на сторонѣ «Русскаго Слова».

Въ январѣ Антоновичъ, связанный собственнымъ обѣщаніемъ, обращается къ двумъ дѣятелямъ враждебнаго органа. Съ поддѣльнымъ и вымученнымъ остроуміемъ, отдающимъ циническимъ бахвальствомъ, онъ упрекаетъ сотрудниковъ «Русскаго Слова» въ томъ, что они отлыниваютъ отъ прямыхъ объясненій съ нимъ. Нѣтъ, друзья мои, восклицаетъ онъ, не на того напали! И потомъ, переходя изъ оборонительнаго тона въ наступательный, прибавляетъ: «Я не позволю отвлечь себя отъ главнаго предмета, да и васъ не пущу отъ него ни на шагъ! Я васъ заставлю объясниться со мной». Не довѣряя добросовѣстности своихъ противниковъ, онъ будетъ формулировать свои сомнѣнія въ видѣ тезисовъ и вопросовъ. Каждый тезисъ или вопросъ будетъ стоять у него подъ номеромъ, такъ что, если какой-нибудь его противникъ пожелаетъ уклониться въ сторону, онъ укажетъ на него пальцемъ, онъ прямо *носомъ ткнетъ* его въ номеръ. Пусть дрожатъ всѣ эти бутерброды съ глубокомыслiемъ Благосвѣтлова, Зайцева и Писарева. Онъ идетъ на нихъ войною и непремѣнно одержитъ надъ ними побѣду. Пусть они посмотрятъ на трофеи его прежнихъ сраженій: Косица лежитъ во прахѣ, «Эпоха» разбита въ дребезги. Предчувствуютъ-ли его теперешніе враги, что съ ними будетъ? «Что? обидѣлись? Вамъ непріятно, что васъ назвали бутер-

бродами, да? Вотъ то-то же и есть, *крошечка* г. Зайцевъ, *душечка* г. Благосвѣтловъ»... Затѣмъ, разбирая по пунктамъ свои грубые и мелочные перекоры съ «Русскимъ Словомъ», дѣловито пересматривая всѣ взаимныя характеристики съ остроумными уподобленіями лукошку, фигѣ, бутерброду, онъ побиваетъ Зайцева его плантаторскими тенденціями, а Благосвѣтлова, натянувшаго на себя базаровскую маску, тѣмъ, что онъ нѣкогда велъ «уморительную» полемику противъ идей Чернышевскаго. Но предметомъ принципіальнаго спора онъ считаетъ статью Писарева «Нерѣшенный вопросъ». Онъ уже два раза говорилъ «Русскому Слову»: иду на васъ, онъ два раза предлагалъ ему отказаться отъ солидарности съ этой статьей. Теперь онъ предлагаетъ это редакціи въ послѣдній разъ и, если она не послушаетъ его, онъ *заставитъ* ее отказаться отъ «Нерѣшеннаго вопроса» и *расхлебать кашу*, которую заварила эта статья.

Въ заключеніе Антоновичъ пользуется неловкимъ объясненіемъ на щекотливую денежную тему Благосвѣтлова съ литераторомъ М. Вороновымъ, издѣвательски предлагая издателю «Русскаго Слова» расплатиться за провинившагося литератора изъ собственнаго кошелька.

Въ той же книгѣ Д. Минаевъ, неожиданно передавшійся на сторону «Современника», отвѣчаетъ Антоновичу на его вопросъ о томъ, согласенъ ли онъ съ идеями, выраженными въ «Нерѣшенномъ вопросѣ». Бойкій пасквилянтъ оказался не солидарнымъ съ Писаревымъ. Сотрудникъ пошлаго «Будильника» никогда «не доходилъ до обожанія базаровскаго типа» и въ романѣ Тургенева видитъ только прологъ къ эпическимъ твореніямъ Писемскаго, Клюшникова и Стебницкаго [1]).

Благосвѣтловъ, грубый не менѣе, чѣмъ Антоновичъ, но болѣе, чѣмъ онъ, ловкій и твердый, отвѣтилъ немедленно. Онъ издѣвается надъ Антоновичемъ. Изъ обширнаго лексикона бранныхъ словъ онъ выбираетъ самыя кричащія. Посторонній Сатирикъ угрожаетъ рѣшительно истребить сотрудниковъ «Русскаго Слова». Онъ махаетъ руками и дѣлаетъ всевозможные ужасающіе жесты! Съ нимъ говорятъ спокойно, а онъ на полторы мысли ставитъ до пятисотъ вопросительныхъ знаковъ. Противники едва удостоиваютъ его отвѣта, но онъ не унимается. Размазня, предлагаемая въ статьяхъ Антоновича, заварена самимъ «Современникомъ», и пусть самъ «Современникъ» отвѣтитъ, считаетъ ли онъ себя солидарнымъ съ извѣстными фельетонами Щедрина о нигилистахъ и Чернышевскомъ, пусть онъ отвѣтитъ, какими рыцарскими побужденіями руководствовался Щедринъ, обративъ противъ «Русскаго Слова» цѣлую батарею разухабистаго остроумія. Антоновичъ безсовѣстно *лжетъ*, обвиняя его въ томъ, что онъ писалъ уморительную критику противъ Чер-

[1]) „Современникъ“ 1865 г., январь, *Литературныя мелочи*, стр. 157—172.

нышевскаго. Онъ никогда не укорялъ Чернышевскаго ни въ чемъ постыдномъ и въ этомъ всякій можетъ убѣдиться, пересмотрѣвъ его статьи, напечатанныя въ «Отечественныхъ Запискахъ». По вопросу о Воронові, онъ съ презрѣніемъ откидываетъ отъ себя издѣвательство Антоновича, предлагая ему направить въ другую сторону его «копѣечную филантропію [1])»... Посторонній Сатирикъ не остался въ долгу у Благосвѣтлова. Благосвѣтловъ *поднялъ свой носъ* и показалъ себя *о натюрель*, говоритъ онъ. Голова его, «страждущая абсентизмомъ толку», совершенно притуплена заносчивостью и самомнѣніемъ. Антоновичъ зналъ, что его противникъ пойдетъ на самыя крайнія мѣры, чтобы спрятать свой *замаранный хвостикъ*, но онъ не ожидалъ отъ него безсовѣстнаго запирательства. Перепечатывая, по своему обыкновенію, всю замѣтку Благосвѣтлова, Посторонній Сатирикъ постоянно перебиваетъ ея текстъ назойливыми и развязными замѣчаніями въ скобкахъ. Намекая на то, что Благосвѣтловъ получилъ журналъ отъ графа Кушелева-Безбородко, Антоновичъ подноситъ противнику слѣдующее неприличное обвиненіе: «вы, г. Благосвѣтловъ, пишетъ онъ, нѣкогда въ графской передней почивали на связкѣ парадныхъ гербовыхъ ливрей», и тутъ же, черезъ нѣсколько строкъ, прибавляетъ: по истинѣ, вы—бутербродъ и больше ничего! Бутербродъ съ размазней, да еще гнилой!.. Благосвѣтловъ спрашиваетъ о солидарности «Современника» съ Щедринымъ, и вотъ Антоновичъ отвѣчаетъ съ хитроуміемъ, достойнымъ настоящаго журнальнаго заправилы, что «Современникъ» вполнѣ солидаренъ съ бранными фельетонами сатирика, «поколику они относятся къ г. Благосвѣтлову, а къ другимъ сотрудникамъ только относительно ихъ мнѣній, несогласныхъ съ Современникомъ». Печатая статьи Щедрина, «Современникъ» проникнутъ былъ негодованіемъ на такихъ литературныхъ *шалопаевъ*, какъ Благосвѣтловъ, и «хотѣлъ очищать литературу отъ *гнилыхъ* и *заразительныхъ бутербродовъ*». Антоновичъ не смѣшиваетъ своей полемики противъ Писарева и Зайцева съ полемикой противъ Благосвѣтлова. «Много чести для васъ, пишетъ онъ, если вы ихъ называете своими сотрудниками. Гораздо точнѣе назвать васъ *ихнемъ прихвостнемъ* или, лучше, человѣкомъ, загребающимъ жаръ ихними руками [2])».

Разбросавъ на пространствѣ двадцати страницъ множество самыхъ разнообразныхъ «бутербродовъ»,—съ глубокомысліемъ, съ шалопайствомъ, съ размазней, бутербродовъ простыхъ, гнилыхъ и заразительныхъ, и повторивъ на сотню ладовъ одни и тѣ-же обвиненія противъ Благосвѣтлова, Антоновичъ въ той-же книгѣ «Современника» помѣщаетъ еще двѣ длинныхъ ругательныхъ статьи: одну (въ 15 страницъ) противъ «Краев-

[1]) „Русское Слово“ 1865 г. январь, *Буря въ стаканѣ воды*, стр. 166—171.

[2]) «Современникъ» 1865 г., февраль, *Глуповцы въ Русскомъ Словѣ* стр. 367—386.

скаго» и «Ду-дыш-кина» и другую (въ 38 страницъ) противъ Зайцева, отложивъ еще до слѣдующихъ книгъ громадную ругательную статью противъ Писарева. Подражая изо всѣхъ силъ Чернышевскому и памятуя его опрометчивое сужденіе о Шопенгауэрѣ, Антоновичъ, въ статьѣ о Зайцевѣ, съ видомъ знатока упрекаетъ послѣдняго за черезчуръ высокую оцѣнку этого философа. Шопенгауэръ, пишетъ онъ, былъ идеалистомъ, самымъ плохимъ идеалистомъ, идеалистическимъ философомъ самаго мелкаго калибра и самаго дурного качества. Если Зайцевъ позволилъ себѣ дурной отзывъ о Фихте, то о Шопенгауэрѣ ему слѣдовало-бы выразиться такъ: «А объ этой *дряни* ужъ и говорить не стоитъ, не стоитъ тратить на нее даже *гнилой ръпы*». У Шопенгауэра нѣтъ ни системы, ни направленія, ни связи, ни послѣдовательности, нѣтъ ни одной глубокой философской мысли. Онъ забытъ уже въ самой Германіи [1])...

Антоновичъ, Благосвѣтловъ и Зайцевъ обмѣнялись новыми возраженіями въ томъ-же невѣроятномъ тонѣ, дальше котораго, въ смыслѣ литературнаго неприличія,—нельзя было идти. Полемика приняла характеръ настоящей свалки. Оппоненты говорятъ другъ другу въ глаза невѣроятныя вещи, вытаскиваютъ на сцену интимнѣйшія подробности, не имѣющія никакого общаго значенія и, не щадя читающей публики, обзываютъ другъ друга самыми забористыми ругательными словами. Благосвѣтловъ не стѣсняется въ опредѣленіи литературной тактики Антоновича. Онъ обвиняетъ его въ полемическомъ шулерствѣ, въ хлестаковщинѣ. «Ахъ вы, лгунишка! Ахъ вы, сплетникъ литературный! кричитъ онъ. Вы собираетесь посадить меня на ладонь и показать публикѣ, а я совѣтовалъ-бы вамъ *спрятаться куда-нибудь въ сапогъ* и не показывать вашихъ безстыжихъ глазъ ни въ редакціи Современника, ни своимъ знакомымъ». Въ другомъ мѣстѣ Благосвѣтловъ обѣщаетъ поднести Антоновичу «вмѣстѣ съ грязнымъ хвостикомъ и колпакъ съ ослиными ушами», остроумно называя его при этомъ *хавроньей*. Въ заключеніе онъ даетъ торжественное обѣщаніе не входить больше ни въ какія объясненія съ Антоновичемъ и сохранить настолько хладнокровіе, чтобы не состязаться съ своимъ противникомъ его-же оружіемъ [2]).

Зайцевъ отвѣчаетъ отдѣльно Антоновичу и Постороннему Сатирику, какъ-бы двумъ различнымъ писателямъ. На приставанія своего противника, по поводу его впечатлѣній отъ полемики съ «Эпохой», онъ отвѣчаетъ довольно рѣшительно. Онъ убѣжденъ въ томъ, что Антоновичъ имѣлъ только одну цѣль—показать свою храбрость, и для этой цѣли онъ не пренебрегалъ никакими ругательствами и даже клеветой. Полемика Антоновича съ «Русскимъ Словомъ» еще болѣе убѣдила Зайцева, что

---

[1]) „Современникъ“, 1865 г., февраль, *Промахи*, стр. 258.

[2]) „Русское Слово“, 1865 г., февраль, стр. 66—78.

спрашивать его объ идеяхъ и принципіальныхъ соображеніяхъ дѣло совершенно безплодное. Полемическіе пріемы Антоновича возможны только въ той литературѣ, которая отразила въ себѣ всѣ ужасы послѣдняго трехлѣтія. Такого-же мнѣнія объ Антоновичѣ держатся и два другихъ сотрудника «Русскаго Слова»—Писаревъ и Шелгуновъ, сообщаетъ Зайцевъ [1])... Неизвѣстно, до чего-бы дошла ругательная изобрѣтательность полемистовъ, если-бы самый способъ исключительно словесныхъ пререканій не началъ казаться имъ слишкомъ слабымъ и недѣйствительнымъ для разрѣшенія этого литературнаго спора. По нѣсколько туманному и слегка смущенному заявленію, сдѣланному Антоновичемъ въ мартѣ 1865 года, въ полемику вошли новые, реальные факторы: «Опасно полемизировать съ тѣми, пишетъ онъ, которые могутъ *послать на вашу квартиру двухъ огромныхъ дятлиъ гайдуковъ* для вашего вразумленія», гайдуковъ, которые «прибѣгаютъ къ такимъ *краснорѣчивымъ* увѣщаніямъ, что для удержанія ихъ требуются дворники и городовые [2])».

Такъ закончился первый періодъ борьбы «Современника» съ «Русскимъ Словомъ». Три главныхъ воителя, Антоновичъ, Благосвѣтловъ и Зайцевъ, показали себя съ различныхъ сторонъ. Выступая то съ опущеннымъ, то съ поднятымъ забраломъ, Антоновичъ боролся изо всѣхъ силъ, одиноко отбиваясь тяжеловѣсной дубиной отъ не менѣе, чѣмъ онъ, наглыхъ, ничѣмъ не стѣсняющихся и лучше его поставленныхъ въ глазахъ молодого поколѣнія сотрудниковъ «Русскаго Слова». Развязно шельмуя своихъ противниковъ, онъ не сказалъ при этомъ, однако, ни единаго слова, способнаго примирить его съ тѣми, которые ждали отъ него оправданія или твердаго объясненія по поводу распущенныхъ фельетоновъ Щедрина. Въ этой полемикѣ онъ обнаружилъ только мелкое, мстительное самолюбіе и полную неспособность держаться въ спорѣ на почвѣ чисто-литературныхъ интересовъ. Ни одна замѣтка его не проникнута какимъ-нибудь идейнымъ интересомъ. Съ первыхъ-же шаговъ онъ запутываетъ въ споръ обстоятельства и счеты, къ дѣлу совершенно не относящіеся. Не уважая чужихъ мнѣній, онъ и въ своихъ противникахъ умѣлъ будить только самыя низменныя страсти, и, оскорбляемые его выходками, они накидывались на него съ его-же орудіями, но били сильнѣе, потому что были моложе и свѣжѣе его. Благосвѣтловъ сразу потерялъ самообладаніе и, какъ мы видѣли, брызнулъ цѣлымъ фонтаномъ сквернословія. А Зайцевъ, человѣкъ мелкій, наглый и, при всѣхъ своихъ критическихъ и философскихъ претензіяхъ, невѣжественный, не завлекаясь ни въ какіе серьезные споры, бойко поддавалъ колѣномъ...

---

[1]) „Русское Слово“, 1865 г., февраль, стр. 57—65.

[2]) „Современникъ“, 1865 г., мартъ, *Литературныя мелочи*, стр. 216.

Писаревъ, сидѣвшій въ это время въ крѣпости, какъ орленокъ въ клѣткѣ, рвался къ полемикѣ. Человѣкъ съ темпераментомъ бойца, онъ не могъ оставаться спокойнымъ, читая, какими словами Антоновичъ поносилъ Благосвѣтлова. Фраза Антоновича о томъ, что Благосвѣтловъ есть только «прихвостень» его, Писарева, и Зайцева, разожгла въ немъ благородное товарищеское чувство. Не имѣя пока возможности лично сразиться съ общимъ противникомъ, онъ поручилъ своей матери, Варварѣ Писаревой, отдать въ «Современникъ» письмо на имя Николая Алексѣевича Некрасова, въ которомъ отъ его лица дѣлается твердое и рѣшительное заявленіе, имѣющее весьма важное значеніе для пониманія хода умственнаго развитія Писарева. Писаревъ вступилъ на почву литературнаго реализма подъ вліяніемъ Благосвѣтлова, который оторвалъ его отъ его прежнихъ эстетическихъ симпатій. «Своимъ превращеніемъ, пишетъ Варвара Писарева со словъ своего сына, онъ исключительно обязанъ Благосвѣтлову. Если, говорилъ онъ мнѣ часто, я сколько-нибудь понимаю теперь обязанности честнаго литератора, то я долженъ сознаться, что это пониманіе пробуждено и развито во мнѣ Благосвѣтловымъ. Сынъ мой видитъ въ Благосвѣтловѣ не прихвостня, а своего друга, учителя и руководителя, которому онъ обязанъ своимъ развитіемъ и въ совѣтахъ котораго онъ нуждается до настоящей минуты». Никогда Благосвѣтловъ не холопствовалъ передъ графомъ Кушелевымъ-Безбородко. Если-бы упрекъ этотъ былъ справеливъ, онъ-бы долженъ былъ упасть и на Писарева. Если холопствовалъ редакторъ, то долженъ былъ холопствовать и его помощникъ. Позорить Благосвѣтлова и въ то-же время выгораживать Писарева невозможно: или оба они честные люди, или оба негодяи. «Таково глубокое убѣжденіе моего сына», заключаетъ свое письмо Варвара Писарева [1]).

При первой возможности Писаревъ схватывается съ Антоновичемъ лично. Не входя въ разсмотрѣніе всѣхъ перипетій перваго періода борьбы, онъ пользуется новыми матеріалами, чтобы доказать Антоновичу его уклоненіе съ пути Чернышевскаго. Антоновичъ въ это время успѣлъ напечатать подробный разборъ «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности», появившихся новымъ, вторымъ изданіемъ. Въ теченіе десяти лѣтъ взгляды Чернышевскаго успѣли пустить глубокіе корни въ русской литературѣ и въ настоящее время есть журналисты, которые доводятъ ихъ до крайностей, утрируютъ ихъ въ ущербъ ихъ дѣйствительному смыслу, говоритъ Антоновичъ. Считая себя одного хранителемъ философскихъ традицій Чернышевскаго, Антоновичъ полагаетъ нужнымъ изложить его эстетическую теорію въ ея первоначальномъ видѣ, какъ «она вышла изъ рукъ ея основателя или насадителя на русской почвѣ».

[1]) «Современникъ» 1865 г., мартъ, *Письмо въ редакцію*, стр. 218—220.

Но пространно передавая эстетическія понятія Чернышевскаго, Антоновичъ, быть можетъ, незамѣтно для самого себя, прибавляетъ кое-какія черты къ тому, что было впервые напечатано въ магистерской диссертаціи Чернышевскаго, принимая при этомъ тонъ «раціональнаго» оппонента «рьянымъ, но не слишкомъ раціональнымъ» послѣдователямъ этой новой теоріи. Въ послѣднее время, пишетъ Антоновичъ, нѣкоторые, возставая противъ ложныхъ направленій искусства, въ горячности и неразсудительности дошли до того, что стали возставать противъ искусства и эстетическаго наслажденія вообще. По мнѣнію Антоновича, такой «аскетическій» взглядъ на искусство понятенъ и возможенъ только у людей, которые тенденціозно придумываютъ разные кодексы человѣческихъ обязанностей, не считаясь при этомъ съ реальными свойствами и потребностями человѣческой натуры. «Эстетическое наслажденіе есть нормальная потребность... Искусство, какъ удовлетвореніе этой потребности, полезно, если-бы оно даже ничего не давало человѣку, кромѣ эстетическаго наслажденія, если-бы оно было просто *искусствомъ для искусства*, безъ стремленія къ другимъ высшимъ цѣлямъ» [1]). Подобными оговорками Антоновичъ обставляетъ свое изложеніе «Эстетическихъ отношеній», явнымъ образомъ бросая полемическія стрѣлы въ сторону Писарева. Этимъ маневромъ критикъ «Современника» думалъ смутить своихъ противниковъ, обвинивъ ихъ въ томъ, что они искажаютъ идеи Чернышевскаго, который, будто-бы вовсе не отрицалъ эстетики, эстетическихъ наслажденій и важности «искусства для искусства». Придавая диссертаціи Чернышевскаго болѣе широкій и толерантный смыслъ, Антоновичъ этимъ самымъ, однако, давалъ такому противнику, какъ Писаревъ, очень опасное оружіе противъ себя. Выводы изъ сочиненія Чернышевскаго, безпристрастно сдѣланные, могли быть только разрушительными по отношенію къ искусству, и Писареву не стоило особеннаго труда показать всѣ отклоненія Антоновича отъ утилитарнаго реализма. Опираясь на собственное пониманіе трактата Чернышевскаго, Писаревъ спорилъ по этому поводу съ Антоновичемъ, имѣя въ виду не только подлинныя выраженія и слова того, кого считалъ своимъ авторитетомъ, но духъ и общія стремленія всей его философской дѣятельности, которая не допускала никакого компромиса хотя-бы съ самыми слабыми оттѣнками идеалистическихъ понятій. Онъ развиваетъ доктрину Чернышевскаго именно въ томъ направленіи, которое наиболѣе соотвѣтствовало реалистическимъ тенденціямъ эпохи. Другими матеріалами Писаревъ не пользовался. Но если-бы онъ пожелалъ, онъ могъ-бы, въ дополненіе къ знаменитой диссертаціи Чернышевскаго, воспользоваться еще и другимъ его трудомъ, а именно критическимъ разборомъ «Эстетическихъ отношеній», напеча-

[1]) «Современникъ» 1865 г., мартъ, *Современная эстетическая теорія*, стр. 68.

таннымъ въ іюньской книгѣ «Современника» въ годъ выхода трактата, за подписью *Н. П—ъ*, но, по несомнѣнно вѣрному въ данномъ случаѣ заявленію Антоновича, принадлежащимъ—какъ это ни странно сказать—самому Чернышевскому. Рецензентъ, руководимый, по комментарію Антоновича, желаніемъ дать ходъ своимъ идеямъ, рискнулъ представить критическій рефератъ о своемъ трудѣ, при чемъ онъ «съ достоинствомъ и безпристрастіемъ указалъ какъ на хорошія стороны, такъ и на нѣкоторыя упущенія въ своемъ сочиненіи» [1]). Съ удивительнымъ самообладаніемъ рѣшительнаго и нѣсколько коварнаго агитатора, не пренебрегающаго для завоеванія умовъ никакими средствами, Чернышевскій выдаетъ своему трактату, отвергнутому официальною русскою наукою, дипломъ отъ лица настоящей передовой философіи. Въ своей рецензіи онъ хочетъ показать, «до какой степени вѣрно» Чернышевскій сдѣлалъ приложеніе общихъ воззрѣній науки къ частной области эстетическихъ понятій. «Въ средоточіи дѣла», въ системѣ современныхъ философскихъ идей можно найти полное оправданіе тому, что излагается въ «Эстетическихъ отношеніяхъ». Авторъ, говорится въ рецензіи, обнаруживаетъ способность различать въ извѣстныхъ понятіяхъ элементы, согласные съ воззрѣніями современной науки, и элементы, съ ними несогласные. «Его теорія имѣетъ внутреннее единство характера». Въ ней все принадлежитъ положительной наукѣ, хотя надлежащими примѣрами ее можно было-бы поставить въ связь «съ интересами дня, которые занимаютъ столь многихъ...» [2]).

Въ «Эстетическихъ отношеніяхъ» нѣтъ настоящаго изложенія той современной философіи, именемъ которой Чернышевскій защищаетъ Чернышевскаго, но не подлежитъ сомнѣнію, что, опираясь на эту философію, въ томъ видѣ, въ какомъ—судя по дальнѣйшимъ его статьямъ,—представлялъ ее себѣ Чернышевскій, Писаревъ могъ-бы доказать свою полную правоту и послѣдовательность въ спорѣ съ Антоновичемъ. На его сторонѣ были идеи вѣка, а духъ учителя, еще живого, но уже отдаленнаго отъ своихъ вѣрныхъ учениковъ, витalъ надъ поколѣніемъ молодыхъ писателей, призывая къ окончательному, безпощадному разрушенію праздной эстетики. Антоновичъ, уже обнаруживший совершенное непониманіе молодыхъ продолжателей Чернышевскаго, теперь показалъ, что онъ никогда глубоко не понималъ и самого Чернышевскаго, съ его во всемъ радикальными, прямолинейными стремленіями, съ его темпераментомъ безтрепетнаго разрушителя, съ его узкимъ, одностороннимъ, но фанатически непреклоннымъ умомъ.

Писаревъ откликнулся на многочисленныя выходки Антоновича сна-

---

[1]) «Современникъ» 1865 г., мартъ, *Литературныя мелочи*, стр. 209.

[2]) «Современникъ» 1855 г., іюнь, *Критика*, стр. 23—54.

чала въ статьяхъ «Прогулка по садамъ россійской словесности» и «Разрушеніе эстетики», а потомъ, сразившись съ «Современникомъ» по вопросу объ «Эстетическихъ отношеніяхъ», далъ пространный, горячо написанный отвѣтъ на полемическія статьи Антоновича, «Промахи» и «Лжереалисты» — въ статьѣ подъ названіемъ «Посмотримъ», заключившей борьбу обоихъ журналовъ. И каждое изъ возраженій Писарева проникнуто сильнымъ чувствомъ убѣжденнаго человѣка. Онъ нападаетъ на Антоновича со страстью партизана извѣстной доктрины, которую его противникъ унизилъ своимъ опрометчивымъ заступничествомъ. Антоновичъ оскорбляетъ его чувство порядочности своею полемическою невоздержностью и клеветническими пріемами. У него нѣтъ самостоятельнаго міросозерцанія, нѣтъ Щедринской веселости, которая умѣла осмѣивать то, чего она не понимала,—и вотъ онъ собираетъ, вмѣсто логическихъ доказательствъ, въ спорѣ съ своими противниками всякаго рода сплетни и небылицы. У Антоновича не хватаетъ честности отказаться отъ своего «Асмодея» и, защищая проигранное дѣло, онъ запутывается въ софизмахъ и заводитъ критику «Современника» въ тѣ дебри, въ которыхъ гнѣздится русское филистерство. Онъ сыплетъ цѣлыми лукошками самаго неблаговиднаго лганья и, чтобы оборонить свою репутацію, взваливаетъ отвѣтственность за свою нелѣпую статью о Тургеневѣ на Чернышевскаго, который, принявъ ее для печати, тѣмъ самымъ будто-бы выразилъ свою солидарность съ нею [1]).

Въ статьѣ «Разрушеніе эстетики» Писаревъ вооружается противъ сдѣланнаго Антоновичемъ изложенія трактата Чернышевскаго, доказывая, что авторъ его имѣлъ въ виду полное истребленіе старой и вообще всякой эстетической теоріи. Эта цѣль сквозитъ во всѣхъ опредѣленіяхъ Чернышевскаго, въ его смѣломъ и рѣшительномъ анализѣ различныхъ эстетическихъ ученій, и она могла быть превратно истолкована только филистерами или «самолюбивыми посредственностями, которыя считаютъ себя учениками автора и преемниками Добролюбова». Если Чернышевскій пользуется въ своемъ сочиненіи старыми терминами, то онъ дѣлаетъ это только потому, что въ 1855 году русское общество не было еще подготовлено къ пониманію его плодотворныхъ идей. Но теперь, черезъ десять лѣтъ, надо сдѣлать явною главную тенденцію Чернышевскаго. Пришла пора двинуть въ жизнь эту разрушительную силу, чтобы добиться отъ литературы иного воздѣйствія на общественную жизнь. Но что же дѣлаетъ Антоновичъ съ сочиненіемъ Чернышевскаго? Поворачивая «Современникъ» назадъ, въ тихую область безмятежнаго искусства, и сознавая недостаточность своихъ собственныхъ силъ для произведенія такой реакціи, онъ въ своемъ отступленіи

[1]) «Русское Слово» 1865 года, мартъ, *Прогулка по садамъ*. Глава XI, стр. 63—68.

хочетъ прикрыться «Эстетическими отношеніями». Онъ хочетъ доказать, что мысли Чернышевскаго въ настоящее время утрируются. Чтобы образумить черезчуръ рьяныхъ послѣдователей новой доктрины, онъ старается затормозить ихъ порывы яко-бы словами самого Чернышевскаго. Онъ хотѣлъ-бы, чтобы извѣстная книга залегла навсегда поперекъ той дороги, по которой движется русская мысль, и чтобы «Эстетическія отношенія» сами разрушили то дѣло, которое они создали! «О, г. Антоновичъ! О, геніальный г. Антоновичъ!» иронически восклицаетъ Писаревъ. «Вы себѣ даже и представить не можете, какую пропасть умственной нищеты и нравственной мелкости вы обнаруживаете въ самодовольной тирадѣ противъ горячности и неразсудительности какихъ-то *нѣкоторыхъ*. Вы говорите откровенно всѣмъ вашимъ читателямъ, что вы никогда не способны возвыситься до пониманія той философіи, которую два-три года тому назадъ поддерживалъ Современникъ». Писаревъ обвиняетъ своего противника въ нравственной «приземистости», которая не позволяетъ ему идти въ общемъ движеніи эпохи, въ неспособности работать по страсти, въ умственной дряхлости. Въ его эстетическихъ воззрѣніяхъ, изложенныхъ въ рецензіи на книгу Чернышевскаго, онъ не видитъ ничего такого, что давало-бы ему поводъ раздираться съ Страховымъ, Incognito, Аверкіевымъ и Н. Соловьевымъ. Его новая реклама въ пользу искусства, издѣвается Писаревъ, заслуживаетъ «филистерскихъ безешекъ» этихъ людей, работающихъ въ журналахъ съ инымъ направленіемъ, чѣмъ «Современникъ» [1]).

Въ двухъ статьяхъ, направленныхъ противъ Писарева, Антоновичъ глумится съ обычною грубостью надъ критикомъ «Русскаго Слова». Всѣ литературныя статьи Писарева не больше, какъ фанфаронада, пустое фразерство, вводящее въ заблужденіе молодые умы, и для пользы литературы необходимо разрушить его пьедестальчикъ какъ можно скорѣе. У Писарева, этого «лучшаго цвѣтка въ саду реализма», нѣтъ ничего: ни самостоятельнаго міросозерцанія, ни какихъ-нибудь серьезныхъ критическихъ преданій. Онъ отрекается отъ Добролюбова и доводитъ до абсурда раціональную теорію Чернышевскаго. За нимъ стоитъ Благосвѣтловъ, его наставникъ и другъ, онъ — недоношенное дѣтище Благосвѣтлова. Разбирая статьи Писарева о «Нерѣшенномъ вопросѣ», Антоновичъ въ сотый разъ повторяетъ, что Базаровъ — карикатура, сочиненная на молодое поколѣніе, и что Писаревъ, восхваляя «Отцовъ и дѣтей», всталъ подъ то самое знамя, подъ которое радостно бѣжало все обскурантное, своекорыстное, пошлое. «Русское Слово» шло за тріумфальной колесницей Тургенева, которому «Современникъ» никогда не проститъ его литературнаго преступленія. «Современникъ» всегда будетъ гордиться

[1]) «Русское Слово» 1865 г., май, «Разрушеніе эстетики», стр. 31.

тѣмъ, что онъ не участвовалъ въ этомъ позорномъ торжествѣ [1]). «Понимательная» способность Писарева слаба и неудовлетворительна. Вотъ почему онъ такъ обрадовался Тургеневу, который оказался ему по силамъ. Вотъ почему онъ ухватился за Базарова,—за эту первую «реалистическую штуку, которую онъ могъ осилить и понять». *О, недоносокъ Благосвѣтловскій! О, недоразвившееся дитя Тургенева! О, скудоумный Писаревъ!...* [2]).

Писаревъ въ громадной статьѣ «Посмотримъ» опровергаетъ всѣ возраженія Антоновича. Съ достоинствомъ умнаго и талантливаго писателя онъ выражаетъ сожалѣніе, что употребилъ въ статьѣ «Нерѣшенный вопросъ» черезчуръ рѣзкое выраженіе противъ Антоновича (лукошко глубокомыслія). Имѣя дѣло съ противникомъ, готовымъ, въ случаѣ надобности, прибѣгнуть къ «фальсификаціи печатныхъ документовъ», онъ, по естественному чувству протеста и человѣческаго негодованія, схватился за то орудіе, которымъ боролись съ Антоновичемъ его товарищи, Благосвѣтловъ и Зайцевъ. Полемика приняла характеръ дикой оргіи, но теперь онъ намѣренъ шагъ за шагомъ прослѣдить всѣ аргументы «Современника», дать имъ оцѣнку, сличить ихъ съ собственными доказательствами и, выведя все дѣло на полный свѣтъ общественнаго мнѣнія, сказать послѣднее слово своему противнику, до будущей, вѣроятно не близкой, схватки. Въ точныхъ и ясныхъ выраженіяхъ онъ опредѣляетъ свое отношеніе къ Благосвѣтлову, еще разъ излагаетъ реалистическую теорію, свой взглядъ на Базарова и отношеніе къ Добролюбову и Чернышевскому. Горячій сторонникъ стараго «Современника», онъ никогда однако не жертвовалъ своею самостоятельною критикою и потому смѣло расходился съ Добролюбовымъ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ находилъ его взглядъ невѣрнымъ и неосновательнымъ. Онъ не согласился съ его оцѣнкой романа Тургенева «Наканунѣ», онъ рѣзко разошелся съ нимъ въ пониманіи таланта Писемскаго, къ которому Добролюбовъ относился съ полнѣйшимъ и отчасти даже афектированнымъ пренебреженіемъ. Онъ оцѣнилъ по своему и опять-таки въ разрѣзъ съ критикою Добролюбова стихотворныя произведенія Фета и Полонскаго. Никто не имѣетъ права называть его горячимъ приверженцемъ Добролюбова: онъ никогда имъ не былъ, хотя всегда считалъ Добролюбова очень умнымъ и очень честнымъ человѣкомъ. Антоновичъ не понимаетъ, что можно уважать писателя и въ то же время расходиться съ нимъ во мнѣніяхъ, и слѣдуетъ только пожалѣть, что роль перваго критика въ «Современникѣ» досталась такому ограниченному человѣку [3]).

---

[1]) «Современникъ» 1865 года, апрѣль, стр. 315.

[2]) Ibidem, іюль, «Лже-реалисты», стр. 74.

[3]) «Русское Слово» 1865 г., сентябрь. *Посмотримъ*, стр. 14.

На этомъ закончилась полемика двухъ журналовъ. Въ борьбѣ «Русскаго Слова» съ «Современникомъ» обѣ стороны оказались виноватыми въ нарушеніи литературныхъ приличій, но побѣда, безъ всякаго сомнѣнія, осталась за тѣмъ журналомъ, въ которомъ работалъ Писаревъ. Это былъ моментъ настоящаго расцвѣта молодого журнала, въ которомъ и раньше статьи Писарева возбуждали всеобщій интересъ публики. Радикальное знамя было отбито у «Современника», и на полѣ журналистики «Русское Слово» могло считаться въ то время лучшимъ выразителемъ стремленій молодого общества. Экономическія статьи Н. Соколова, поверхностнаго знатока предмета, но бойкаго реалиста на экономической почвѣ, постоянныя статьи Шелгунова, Щапова, Ткачева, Флоринскаго, беллетристическія работы Шеллера, Бажина, Потанина, Глѣба Успенскаго, и во главѣ каждой книги критическія статьи Писарева и Зайцева, — не могли не содѣйствовать полному и широкому успѣху журнала въ публикѣ съ передовыми запросами эпохи. Журналъ читался на-расхватъ, и каждая новая статья Писарева, уже ставшаго идоломъ толпы, возбуждала шумные толки во всѣхъ слояхъ общества. Потребность въ человѣкѣ, который замѣнилъ-бы Чернышевскаго, нашла себѣ полное удовлетвореніе въ его яркомъ талантѣ, безъ философской глубины, но съ порывами свободной души, не признающей никакихъ авторитетовъ. Въ историческій моментъ пересмотра главныхъ основъ русской жизни его бурная, разрушительная дѣятельность, не руководимая ни въ какой области никакими точными, научно-обоснованными, положительными критеріями, но проносившаяся удалымъ призывомъ надъ толпою, едва приходящею въ движеніе и отряхающей съ себя тяжелую дремоту долголѣтняго бездѣйствія, должна была вызвать общее сочувствіе. «Русское Слово» сумѣло воспользоваться моментомъ, и, если-бы не правительственное запрещеніе въ 1866 году, оно, несмотря на нѣкоторыя неизбѣжныя пертурбаціи въ составѣ сотрудниковъ, на выходъ изъ ихъ числа Зайцева и Соколова, огласившихъ въ печати свои пререканія съ Благосвѣтловымъ и на очень короткое время привлекшихъ на свою сторону даже Писарева, журналъ занялъ-бы въ обществѣ мѣсто прежняго «Современника». Благосвѣтловъ былъ несомнѣнно практичнымъ и умѣлымъ редакторомъ, и къ его услугамъ были всѣ выдающіеся таланты извѣстнаго направленія.

А «Современникъ» быстро склонялся къ полному упадку. Потолковавъ съ читателемъ въ защиту своей полемической разнузданности, еще разъ схватившись съ Краевскимъ, прогулявшись по брошюрѣ Кавелина «Мысли о современныхъ научныхъ направленіяхъ» и возразивъ газетѣ Аксакова на ея во многихъ отношеніяхъ справедливыя нападки, Антоновичъ закончилъ свою дѣятельность въ 1865 году компилятивною статьею объ умственныхъ движеніяхъ въ XIX вѣкѣ, при всеобщемъ протестѣ печати

и публики. Ни одно живое общество, въ которомъ еще не притупилось окончательно чувство нравственной брезгливости, не могло не отвернуться отъ этого печальнаго героя нѣсколькихъ скандальныхъ исторій съ лучшими тогдашними журналами — «Временемъ», «Эпохою» и «Русскимъ Словомъ». «Отечественныя Записки», не принимавшія въ этой борьбѣ партій активнаго участія, въ нѣсколькихъ статьяхъ выражали свое презрительное отношеніе къ полемической тактикѣ воюющихъ сторонъ. Наше передовое движеніе, писали они, не есть чисто литературное движеніе. По самой глубокой своей сущности, говорилъ не безъизвѣстный въ то время писатель Заринъ, оно скорѣе анти-литературное движеніе[1]). Иронизируя надъ полемическими бойцами изъ «Современника» и «Русскаго Слова», этотъ писатель приводитъ по пунктамъ всѣ verba novissima, которыя были пущены ими другъ въ друга. «Противники до того одушевились, что, по сильному выраженію одного литератора, въ небесахъ небесъ заря загорѣлась». Обозрѣвъ всѣ стадіи этой междоусобной войны въ средѣ радикальной партіи, Заринъ заключаетъ свой фельетонъ слѣдующимъ меланхолическимъ разсказомъ, не безъ яда рисующимъ положеніе современнаго читателя. Однажды онъ провелъ въ глубокихъ размышленіяхъ безсонную ночь вплоть до ясной зари. Когда небо побагровѣло на востокѣ, онъ услышалъ надъ самою крышею какой-то гоготъ и тяжелый, низкій полетъ дикихъ гусей. Онъ поспѣшилъ открыть окно: то были дѣйствительно стаи, но не гусей. Онѣ летѣли съ противоположныхъ сторонъ, съ сѣвера и съ юга, но направлялись какъ будто къ одному пункту, исхудалыя и голодныя. Очутившись одна отъ другой на полетъ стрѣлы, онѣ обмѣнялись вопросами и отвѣтами: «Товарищи, откуда?»—«Изъ Русскаго Слова»,—«Изъ Современника». То были стаи молодого поколѣнія, улетавшія отъ уважаемыхъ прежде журналовъ... [2]).

Газета Аксакова «День» слѣдила за полемикою въ своемъ критическомъ отдѣлѣ, и когда Антоновичъ разразился своими знаменитыми бутербродами, сотрудникъ ея Н. Б. справедливо сказалъ, что новый духъ, вѣющій въ «Современникѣ»,—только духота отъ міазмовъ его разложенія и гніенія [3]).

Въ отвѣтъ на всѣ эти печатные толки «Современникъ», страннымъ образомъ воспользовавшись освобожденіемъ изъ подъ предварительной цензуры, рѣшился безпристрастно оглядѣть все свое прошлое. Въ августѣ 1865 года онъ печатаетъ передовую статью подъ названіемъ «Итоги». По неточному объясненію журнала, который круто сворачивалъ на со-

---

[1]) «Отечественныя Записки», 1865 г., т. CLVIII, *Предисловіе къ литературному обозрѣнію*, стр. 714.

[2]) «Отечественныя Записки», 1865 г., т. CLXI, *Verba novissima*, стр. 173.

[3]) «День» 1865 г., № 17, *Журнальныя замѣтки*, стр. 411.

вершенно безобидную дорогу, «Современникъ» съ самаго начала вращался въ кругу интересовъ, отнюдь не имѣющихъ характера политической оппозиціи, и эта воздержность не была вовсе случайною, а «вытекала изъ сущности самаго его взгляда на свое дѣло». Оппозиціонная литература менѣе всего касалась вопросовъ политическихъ, и когда «Русскій Вѣстникъ» сталъ увлекаться политическимъ англоманствомъ, она *«только осмѣивала конституціонныя вирши этой литературы»*. Она не признавала политическаго вопроса первостепеннымъ и потому соглашалась съ мнѣніями тѣхъ, которые утверждаютъ, что «всякое общество получаетъ на дѣлѣ только то, чего оно стоитъ, что администрація, законодательство и проч. на столько-же бываетъ чисто, справедливо и совершенно, на сколько чисто, совершенно и справедливо само общество, его взгляды и требованія». Она полагала, что *общество должно исправиться первое*—и потому вела агитацію только на эстетической и научной почвѣ. Съ нигилизмомъ «Современникъ» никогда не хотѣлъ имѣть ничего общаго, и, когда Щедринъ насмѣялся надъ вислоухими и нигилистами, журналъ поступилъ согласно съ своей программой. Съ «Русскимъ Словомъ» «Современникъ» порвалъ вслѣдствіе принципіальныхъ соображеній, предоставивъ ему вносить въ молодое общество духъ опошленія за собственный счетъ и не желая нести отвѣтственности за его дѣятельность предъ русскою литературою [1])...

Въ 1866 г. «Современникъ» уже не представлялъ изъ себя ничего интереснаго въ какомъ-бы то ни было отношеніи. Онъ прекратилъ свое существованіе въ связи съ жгучими событіями дня, отголосокъ которыхъ мы находимъ въ Апрѣльской книгѣ въ «Современномъ обозрѣніи» и въ патріотическомъ стихотвореніи Некрасова «Осипу Ивановичу Комиссарову».

Итакъ, въ теченіе одного года закрылись два виднѣйшихъ журнала. Но литературная жизнь съ ея умственными броженіями не остановилась. Въ короткое время сложились новыя комбинаціи журнальныхъ силъ, и на общественную арену вышли перерожденныя «Отечественныя Записки» подъ верховенствомъ двухъ примирившихся враговъ, Некрасова и Краевскаго, «Дѣло» подъ управленіемъ Благосвѣтлова и двѣ вліятельныхъ газеты «Голосъ» и «С.-Петербургскія Вѣдомости» редакціи В. Корша. Закипѣла новая работа съ старыми и новыми героями на вершинахъ журналистики. Общественность, взбудораженная критической дѣятельностью Писарева, доведшаго ученіе Чернышевскаго до крайнихъ степеней отрицанія, но воспринявшая въ себя въ то же время благотворные элементы субъективнаго идеализма П. Лаврова, выдвинула нѣсколько молодыхъ дѣятелей, поведшихъ за собою поколѣніе семидесятыхъ годовъ. Расцвѣла

[1]) «Современникъ» 1865 г., августъ, *Итоги*, стр. 297—332.

слава тенденціозныхъ беллетристовъ съ такими талантливыми художниками, какъ Некрасовъ, Успенскій и возвратившійся къ литературѣ Щедринъ, умудренный тяжелыми впечатлѣніями жизни и сложившійся, наконецъ, въ опредѣленную направленскую силу. Въ области философіи и критики, послѣ преждевременной смерти Писарева, заявили новыя имена.

Но Антоновича никто изъ вліятельныхъ дѣятелей тогдашней журналистики не позвалъ въ свою компанію. Онъ пробовалъ найти приложеніе своимъ боевымъ склонностямъ въ ничтожномъ, популярно-научномъ обозрѣніи «Космосъ» и напечаталъ въ немъ нѣсколько научныхъ статей и критическихъ фельетоновъ, на которые, по справедливости, надо смотрѣть, какъ на начало полнаго паденія этого писателя. Зрѣлище расцвѣтающихъ безъ его участія «Отечественныхъ Записокъ» возбуждало въ немъ какую-то особую полемическую ярость. Онъ не могъ говорить объ этомъ журналѣ иначе, какъ объ органѣ «легкаго поведенія», съ опьяняющими вакханаліями фразерства и краснобайства. «Нигдѣ не дѣлается такихъ отличныхъ масокъ честности, писалъ онъ въ № 4 *Космоса*, такихъ прелестныхъ париковъ либерализма и такихъ ѣдкихъ, фальшивыхъ зубовъ сатиры, какъ въ Отечественныхъ Запискахъ». Разсматривая первую книгу «Отечественныхъ Записокъ» 1869 года, Антоновичъ никому не даетъ пощады. У одного автора, написавшаго статью на экономическую тему, онъ усматриваетъ «канальскую мысль о страданіи мужика». Противъ Некрасова онъ обращаетъ его произведеніе «Кому на Руси жить хорошо» съ сомнительнымъ намекомъ на его исключительное житейское благополучіе. О статьѣ Лесевича «Философія исторіи на научной почвѣ» онъ отзывается съ преувеличенно-саркастической гримасой: въ ней нѣтъ никакой опредѣленности, ничего, кромѣ громкихъ словъ и треска «философски-либеральныхъ фразъ», говоритъ онъ,—да и «вранья въ ней вдоволь». Съ головы Н. Максимова онъ размашисто сбрасываетъ «фиглярскій либеральный колпакъ», а Скабичевскому ставитъ удовлетворительный баллъ за отсутствіе звонкихъ и хлесткихъ словъ, хотя совѣтуетъ ему при этомъ писать не такъ длинно и «размазно». Но что всего удивительнѣе, Антоновичъ не щадитъ и своего бывшаго соратника по полемикѣ съ журналами Достоевскаго и Благосвѣтлова, Щедрина, иронически предлагая ему передѣлать заглавіе своей сатиры такъ, чтобы оно лучше выражало его намѣреніе дѣйствовать содержаніемъ, а не «фразами и либеральными колпаками [1])». Наконецъ, когда эти безтактныя выходки Антоновича возбудили понятный протестъ въ печати, онъ выпустилъ, въ сотрудничествѣ съ другимъ лицомъ, небольшую брошюру съ открытымъ письмомъ на имя Некрасова и рядомъ позорящихъ этого за-

[1]) «Космосъ», 1869 г., № 4, стр. 35 и № 8. *Журнально-научное обозрѣніе.*

мѣчательнаго поэта воспоминаній, которыя нельзя читать безъ отвращенія и живого негодованія [1]).

Мы разсмотрѣли главные эпизоды, составляющіе содержаніе журналистики шестидесятыхъ годовъ, со стороны ея литературно-философскихъ и критическихъ тенденцій. Мы видѣли, какія силы въ ней участвовали и какъ эти силы сталкивались между собой,—какъ различные дѣятели, не прошедшіе культурной школы, откровенно вносили въ литературу всѣ свои страсти и грубые инстинкты, забрасывали другъ друга грязью, свирѣпо затаптывали всякаго, кто не хотѣлъ или не могъ идти въ общемъ теченіи. Мы видѣли, какъ быстро расцвѣтали репутаціи людей, не перечившихъ настроенію времени, и какъ затмѣвались, меркли съ одной стороны имена тѣхъ, кто, какъ Юркевичъ, носилъ въ душѣ идеи грядущихъ поколѣній, и съ другой стороны имена тѣхъ, кто, какъ Антоновичъ, прилаживаясь къ господствующимъ тенденціямъ, не умѣлъ осмыслить и поддержать ихъ собственнымъ умомъ и талантомъ. Но среди всѣхъ этихъ невѣроятныхъ по распущенности полемикъ, скандаловъ и изобличеній—совершалась въ обществѣ незамѣтно для глаза отрицательная работа, которая углубляла умственное броженіе и этимъ подготовляла почву для воспріятія новыхъ культурныхъ и научныхъ идей. Стихійно-разыгравшаяся оргія юношескихъ порывовъ и стремленій создала въ концѣ-концовъ цѣлую армію людей, не удовлетворенныхъ дѣйствительностью, безпокойно ищущихъ новыхъ основъ для жизни, людей, которые изъ своей среды должны выдвинуть настоящихъ творцовъ на теоретической и практической почвѣ, свободныхъ отъ всякой рутины, смѣлыхъ и безпощадныхъ въ борьбѣ за всестороннее развитіе человѣческой личности съ мертвыми историческими наслоеніями.

Октябрь—Январь, 1894—1895

---

[1]) *Матеріалы для характеристики современной русской литературы.* Литературное объясненіе *М. А. Антоновича* съ *Н. А. Некрасовымъ*. Спб. 1869 г.

Д. И. Писаревъ.

Источники.

А. М. Скабичевскій, Исторія новѣйшей русской литературы, Спб. 1891. Главы шестая и седьмая.

Его-же, Сочиненія. Спб. 1890. Томъ I. Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

П. Полевой, Воспоминанія о Дмитріи Ивановичѣ Писаревѣ (1857 — 1861). «С-Петербургскія Вѣдомости», 1868, №№ 193, 194.

А. С. Суворинъ, Недѣльные очерки и картинки (Нѣчто о г. Благосвѣтловѣ). Тамъ-же № 197.

Е. Соловьевъ, Біографическая библіотека, Д. И. Писаревъ, его жизнь и литературная дѣятельность. Спб. 1893.

Н. *В. Шелгуновъ*. Сочиненія, томъ второй. Изъ прошлаго и настоящаго, главы XVIII и XIX. Спб. 1891.

„Дѣло", 1868 г., августъ, Съ Невскаго берега (Похороны Д. И. Писарева).

«Отечественныя Записки». 1868, іюль. Некрологъ Н. К.

«Русское Обозрѣніе» 1893 г. Январь: Письма покойнаго Д. И. Писарева, писанныя имъ къ разнымъ лицамъ изъ подъ ареста. Предисловіе А. Д. Данилова. Письмо Д. И. Писарева къ Р. А. Г., Письмо къ дѣвушкѣ, никогда авторомъ его невиданной.—Февраль: Второе письмо Д. И. Писарева къ той-же дѣвушкѣ.—Мартъ: Письмо къ Г. Е. Благосвѣтлову. — Іюнь: Письмо къ Благосвѣтлову. — Августъ: Письмо къ Благосвѣтлову. — Октябрь: Письмо къ Благосвѣтлову. — Декабрь: Письмо къ Благосвѣтлову.

D. K. Schédo-Ferroti, „Lettre de M-r. Herzen à l'Ambassadeur de Russie à Londres, avec une réplique et quelques observations», Berlin, 1862.

«Разсвѣтъ», журналъ наукъ, искусствъ и литературы для дѣвицъ, 1859.

Сборникъ стихотвореній иностранныхъ поэтовъ, В. Костомарова и Ѳ. Берга.

Поэты всѣхъ временъ и народовъ, Москва 1862.

Н. Страховъ, Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ, изданіе третье, 1895.

И. В. Кирѣевскій, Полное собраніе сочиненій.

А. И. Герценъ, Сочиненія (изд. 1875 г.), т. I. «Дневникъ», томъ VII (изд. 1879), *Не наши*, славянофилы и панславизмъ.

Матеріалы для пересмотра дѣйствующихъ постановленій о цензурѣ и печати, томъ III, отдѣлъ первый, 1870.

П. И. Бородинъ, Протоплазма и витализмъ, Спб. 1895.

М. Шавровъ, Педагогическіе очерки, «День» 1865, №№ 16, 17, 19. — Семейство и школа, тамъ-же, №№ 34, 35.

Д. И. Писаревъ, Статьи въ «Русскомъ Словѣ», «Лучѣ» (Учено-литературный Сборникъ, Спб. 1866), «Дѣлѣ» и «Отечественныхъ Запискахъ», 1860—1868.

Въ декабрѣ 1894 г. авторъ обратился къ А. К. Шеллеру (Михайлову) съ просьбою сообщить ему свои личныя воспоминанія о Д. И. Писаревѣ, и вотъ отвѣтъ, полученный имъ отъ почтеннаго романиста:

О Д. И. Писаревѣ, къ сожалѣнію, не могу рѣшительно ничего сообщить: я вступилъ на литературное поприще, дебютируя двумя романами, которые помѣстились въ «Современникѣ». Когда-же я принялъ близкое участіе въ «Русскомъ Словѣ»— Писаревъ уже сидѣлъ въ крѣпости... Познакомиться съ нимъ послѣ его выхода изъ крѣпости мнѣ пришлось только при случайныхъ встрѣчахъ у Благосвѣтлова и Благовѣщенскаго; но этихъ встрѣчъ было немного, такъ какъ Писаревъ скоро разошелся съ Благосвѣтловымъ, почти не бывалъ у Благовѣщенскаго и мнѣ какъ-то не приходилось встрѣчаться съ нимъ даже у его сестры, Вѣры Ивановны Писаревой, съ которой я былъ коротко знакомъ и которая здравствуетъ и теперь (В. И. Писарева живетъ въ Варшавѣ и постоянно работаетъ въ «Варшавскомъ Дневникѣ»). Я могу сказать только объ общемъ впечатлѣніи, которое произвелъ онъ на меня. Ни одинъ изъ существующихъ его портретовъ не даетъ о немъ точнаго понятія: удивительное оживленіе карихъ глазъ, замѣчательно здоровый цвѣтъ лица съ вѣчно пылающими щеками, все это пропадаетъ въ гравюрахъ, а именно все это придавало прелесть этому юношѣ. Въ его манерахъ, въ его разговорѣ чувствовалось всегда сильное возбужденіе, чувствовалось, что внутри его все кипитъ и бродитъ. Какъ собесѣдникъ, онъ былъ интересенъ, такъ какъ интересовался всѣми живыми вопросами и могъ говорить объ этихъ вопросахъ, какъ человѣкъ хорошо образованный и много читавшій. Онъ прекрасно владѣлъ многими иностранными языками и, какъ говорили въ то время, очень изумилъ этимъ князя Суворова, который никакъ не думалъ, что этотъ нигилистъ могъ бы не ударить въ грязь лицомъ въ любомъ свѣтскомъ обществѣ. Говорили, что послѣ этого свиданія рукописи отъ Писарева шли черезъ Суворова и потому пропускались, относительно, свободно. Передаю эти разсказы, такъ какъ они ходили тогда въ нашихъ кружкахъ. Было-ли для нихъ основаніе—не знаю... Всѣ, сходившіеся съ Писаревымъ близко, любили его всею душою за безграничную искренность и правдивость: онъ не умѣлъ ни лгать, ни притворяться и, въ ущербъ самому себѣ, плохо понималъ, зачѣмъ и для чего лгутъ и притворяются передъ нимъ другіе. Можетъ быть, именно эта способность всею душою увлекаться и не понимать лжи въ ближнихъ и свела его въ могилу... Вообще теперь еще рано говорить подробно обо всѣхъ обстоятельствахъ его жизни и, можетъ быть, это сознаніе останавливаетъ его сестру напечатать свои подробныя воспоминанія о немъ, хотя эти воспоминанія должны быть крайне интересны, такъ какъ Вѣра Ивановна Писарева была лучшимъ другомъ покойнаго талантливаго публициста, а подъ ея бойкимъ перомъ живо обрисовалось-бы многое изъ его жизни...

Спб. 10 янв 1895 г. *А. Шеллеръ.*

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Общая характеристика.

Дѣтскіе годы.—Первая любовь.—Университетская жизнь, студенческій кружокъ, Трескинъ.—Движенія въ университетѣ, женскій вопросъ, разборъ «Обломова» въ «Разсвѣтѣ».—Первыя статьи Писарева въ «Русскомъ Словѣ.—Психическое разстройство, окончаніе университета.—Заключеніе романа и скандалъ на вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги.—Крѣпость.—Труды, письма, новый романъ въ письмахъ и новая неудача.—Освобожденіе.—Послѣдняя любовь, ссора съ Благосвѣтловымъ, сотрудничество въ „Отечественныхъ Запискахъ".—Смерть.—Заключеніе.

I.

Своеобразная, совершенно законченная фигура рисуется предъ нами при изученіи немногочисленныхъ біографическихъ документовъ, относящихся къ жизни рано угасшаго литературнаго таланта, начавшаго свою умственную карьеру среди шума и грохота журнальной борьбы, въ бурную эпоху шестидесятыхъ годовъ. Это былъ человѣкъ, который своей внѣшностью и физическимъ темпераментомъ мало походилъ на страстныхъ борцовъ, придававшихъ опредѣленный колоритъ современной ему журналистикѣ. Обычное впечатлѣніе, производимое на публику его статьями, совершенно не совпадало съ тѣмъ ощущеніемъ, которое онъ возбуждалъ при личныхъ встрѣчахъ. Казалось, что неумолимый разрушитель эстетики, съ злымъ сарказмомъ и поразительнымъ упорствомъ издѣвавшійся даже надъ Пушкинымъ, безпощадный и прямолинейный врагъ всякихъ житейскихъ кодексовъ, долженъ быть существомъ грубымъ, антиэстетическимъ, отрицающимъ на практикѣ все, что могло казаться излишнимъ съ точки зрѣнія убѣжденнаго реалиста того времени. Люди, не знавшіе Писарева въ лицо, руководимые ходячею легендою, должны были удивляться, увидѣвъ этого характернаго представителя извѣстнаго умственнаго движенія. Онъ былъ совсѣмъ не таковъ, какимъ его ожидали встрѣтить. Изящный, предупредительный, гладко причесанный и щеголе-

вато одѣтый, охотно прибѣгающій въ разговорахъ къ французскому языку, сдержанный, хотя и самоувѣренный въ обращеніи, онъ могъ служить образцомъ изысканно воспитаннаго молодого человѣка изъ состоятельной дворянской семьи. Въ общемъ его нельзя было назвать красивымъ. Только большой, открытый, чистый лобъ и слегка выпуклые, темно-каріе глаза подъ правильно очерченными бровями были красивы, отражали твердый, ясный и свободно-стремительный умъ. Въ остальныхъ частяхъ его лица было что-то дисгармоническое: длинный, слегка выдающійся подбородокъ, изъ подъ котораго торчала впередъ негустая бѣлокурая борода, жидкіе, высоко растущіе усы, оставляющіе открытымъ край длинной верхней губы, яркій, нѣсколько вульгарный, кирпичнаго цвѣта румянецъ, какъ-бы застывшій на щекахъ—все это производило не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе. Этому различію между верхней и нижней частью его лица отвѣчало явное несоотвѣтствіе между его блестящимъ, смѣлымъ умомъ и медлительнымъ, флегматичнымъ темпераментомъ, который не давалъ ему сразу развернуться и обнаружить себя въ одномъ патетическомъ моментѣ, въ одной страстной, поэтической вспышкѣ, который сообщалъ его діалектикѣ плавный, напряженный, рѣзкій, но холодный и нѣсколько резонерскій характеръ. Это былъ опасный спорщикъ—безъ увлеченій въ сторону, безъ скачковъ, безъ игры какими-бы то ни было психологическими эфектами, это былъ никогда не затрудняющійся, не ищущій словъ ораторъ, всегда имѣющій въ запасѣ закругленныя, безупречно литературныя выраженія, поражающій въ живой рѣчи тѣмъ-же, чѣмъ онъ изумлялъ всѣхъ, видѣвшихъ его рукописи: способностью излагать свои мысли прямо набѣло, безъ единой поправки и перестановки, одинаково твердымъ и безтрепетнымъ стилемъ и ровнымъ, четкимъ почеркомъ. Эти характерныя черты Писарева остались неизгладимыми въ воспоминаніи людей, приходившихъ съ нимъ въ соприкосновеніе при жизни. Компетентный цѣнитель краснорѣчія, блестящій, ядовитый ораторъ изъ корпораціи петербургскихъ адвокатовъ, другъ и товарищъ Писарева, В. П. Жуковскій, передававшій намъ въ личной бесѣдѣ свои живыя воспоминанія о немъ, не стертыя потокомъ времени, съ сочувственнымъ удивленіемъ говорилъ о необычайной плавности и стройности устной полемической діалектики Писарева: рѣчь его лилась легко, неутомимо, одинаково сильно и свѣтло въ каждомъ періодѣ. Старый типографъ В. Ѳ. Демаковъ, которому приходилось въ молодости въ качествѣ наборщика имѣть дѣло съ рукописями Писарева, съ восторженнымъ хохотомъ описывалъ намъ великолѣпныя достоинства этихъ чистыхъ, каллиграфически безупречныхъ оригиналовъ безъ единой помарки. Всѣ, видѣнные имъ, безчисленные, разнообразные писательскіе почерки слились въ его воображеніи во что-то расплывчатое, неприглядное, мучительно нестерпимое для глазъ наборщика.

но почеркъ Писарева—эти чистыя страницы съ ровными строками и отчетливо выписанными буквами составляютъ одно изъ самыхъ свѣжихъ и утѣшительныхъ его воспоминаній. Иногда, разсказывалъ намъ типографъ, Писареву случалось докончить статью въ типографіи, и необычная, шумная обстановка нисколько не мѣшала ему излагать свои мысли съ тою-же непринужденностью и простотою. Такимъ-же невозмутимо аккуратнымъ, слегка медлительнымъ былъ онъ всегда, съ молодыхъ лѣтъ до послѣднихъ дней своей короткой жизни. Даже во времена своего студенчества, въ демократической обстановкѣ товарищескаго общежитія, онъ не измѣнялъ ни въ чемъ своимъ корректнымъ привычкамъ благовоспитаннаго и склоннаго къ внѣшнему изяществу юноши. Къ утреннему чаю онъ выходилъ послѣднимъ. Въ то время какъ товарищи безцеремонно сходились у самовара, безъ всякаго помышленія о своихъ костюмахъ, Писаревъ, равнодушно внимая ихъ призывамъ и понуканіямъ, сидѣлъ передъ зеркаломъ, приводя въ изысканнѣйшій порядокъ свои изжелта-бѣлокурые волосы, подчищая и подпиливая слегка отпущенные ногти.

— Дмитрій Ивановичъ, чай остылъ!—кричалъ кто-нибудь изъ товарищей.

А Дмитрій Ивановичъ тщательно снималъ послѣднія пылинки со своего моднаго, изъ толстаго сукна, пиджака. Въ общую комнату онъ выходилъ не иначе, какъ въ самомъ законченномъ и безукоризненномъ туалетѣ.

Въ годы возмужалости онъ былъ по характеру такимъ же, какимъ былъ въ дѣтствѣ и юности: чистоплотный, деликатный, уступчивый—во всемъ, кромѣ разсужденій. При темпераментѣ, неспособномъ на сильные взрывы, можно сказать безкрыломъ, его развитіе шло ровнымъ, безмятежнымъ, нѣсколько медленнымъ ходомъ. Онъ учился въ дѣтствѣ цѣлыми часами безъ перерыва и даже на прогулкахъ упражнялся съ помощью матери въ передачѣ своихъ впечатлѣній на французскомъ языкѣ. Неповоротливый и несклонный ни къ какимъ физическимъ забавамъ, онъ находилъ удовольствіе въ чтеніи книгъ и раскрашиваніи картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ. У него были слабые, нѣсколько вялые нервы и всякое неудовольствіе разражалось у него слезами. Дѣтство до десяти лѣтъ онъ провелъ въ деревнѣ, сначала въ селѣ Знаменскомъ, Орловской губерніи, потомъ въ усадьбѣ Грунецъ, Тульской губерніи, куда переселились его родители. Въ 1851 г. Писаревъ перевезенъ былъ въ Петербургъ на попеченіе дяди, который опредѣлилъ его въ 3-ю классическую гимназію. Въ гимназіи Писаревъ учился прилежно, обнаруживая замѣтныя способности, тонкую память и ту особенную выправку, которая выдвигала его изъ толпы шумныхъ, шаловливыхъ товарищей. Безукоризненно и тщательно одѣтый, розовый, гладко причесанный и даже припомаженный, онъ производилъ впечатлѣніе.—разсказы-

ваетъ Скабичевскій—переодѣтой дѣвочки. Учебники его всегда содержались въ самомъ исправномъ видѣ, а каждая его тетрадочка въ красивой, радужной оберткѣ, съ пунцовымъ кляксъ-палиромъ на розовой ленточкѣ, занимала свое опредѣленное мѣсто въ его столѣ и сумкѣ. Самъ Писаревъ вспоминаетъ объ этомъ времени въ своей прекрасно написанной статьѣ «Наша университетская наука» съ нѣкоторымъ чуть-чуть напускнымъ юморомъ. «Я принадлежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ, пишетъ онъ. Я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменахъ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно». Развитіе его не принимало широкаго размѣра и въ своихъ литературныхъ интересахъ онъ не шелъ тогда дальше романовъ Купера и Дюма. Онъ пробовалъ знакомиться съ Маколеемъ, но чтеніе подвигалось туго и казалось ему подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія. На критическія статьи въ журналахъ онъ смотрѣлъ, какъ на какія-то гіероглифическія надписи, совершенно недоступныя человѣческому пониманію. Русскихъ писателей онъ зналъ тогда только по именамъ. «Словомъ, заключаетъ Писаревъ, я шелъ путемъ самаго благовоспитаннаго юноши»... Такъ проходили дѣтскіе годы Писарева, среди обычныхъ, нѣсколько безцвѣтныхъ гимназическихъ занятій и механическаго усвоенія мертвенной гимназической мудрости. Въ Петербургѣ, въ чопорной обстановкѣ аристократическаго родственника, мальчикъ не могъ развернуть тѣхъ умственныхъ силъ, которыя крылись за его лимфатическимъ отъ природы темпераментомъ. Ничто поэтическое не вливалось яркимъ лучомъ въ его прозаическую петербургскую жизнь. Ничто и въ немъ самомъ не обнаруживало никакихъ умственныхъ броженій, которыя впослѣдствіи, преодолѣвъ препятствія темперамента, вырвались въ его блестящихъ статьяхъ, очертившихъ опредѣленной, твердой линіей умственный горизонтъ цѣлой эпохи. Но его дѣтское сердце было уже задѣто и тяготѣло къ маленькому, изящному существу, съ которымъ онъ могъ видаться только въ деревнѣ своихъ родителей въ дни вакаціонной свободы. Кузина Раиса, которую онъ любилъ съ девятилѣтняго возраста, была привезена въ его семью по смерти своей матери и должна была, до поступленія мальчика въ гимназію, воспитываться съ нимъ вмѣстѣ. Онъ обрадовался новому товарищу: его замкнутая, лишенная удовольствій жизнь стала болѣе разнообразной и веселой. Въ этой «хрустальной коробочкѣ», какъ прозвали Писарева съ самаго дѣтства, что-то зашевелилось, засвѣтилось, заиграло—взрослые легко могли наблюдать всякое, самое тонкое движеніе въ душѣ чистаго, правдиваго и необычайно откровеннаго ребенка. Между нимъ и кузиной Раисой сразу сложились какія-то странныя отношенія, вытекавшія изъ особенностей ихъ характеровъ. Они не походили другъ на друга и ихъ постепенное сближеніе должно было окончиться когда-нибудь трагически для Писарева. Еще въ раннемъ дѣтствѣ Раиса умѣла понимать людей, въ среду

которыхъ она попадала при своемъ скитаніи отъ одного родственника къ другому, схватывая на-лету, съ поразительною быстротою взгляда, духъ новой обстановки. Не взявши ни одной фальшивой ноты, она легко приспосабливалась къ чужимъ людямъ. Съ гибкимъ умомъ, съ сильно развитымъ воображеніемъ, разгоряченнымъ преждевременнымъ чтеніемъ романовъ, хорошенькая и кокетливая, Раиса должна была сразу заставить биться сильнѣе сердце неуклюжаго мальчика съ эстетическими наклонностями. Но въ этой романтической привязанности преимущество съ самаго начала оставалось на сторонѣ бойкой, набравшейся разныхъ впечатлѣній дѣвочки, хотя разсудкомъ и знаніемъ онъ далеко превосходилъ ее. Она побѣждала его живымъ, поэтическимъ темпераментомъ, тѣми чертами своего характера, которыя развились на почвѣ этого темперамента и которыхъ недоставало ему. Она тревожила его нѣсколько вялое воображеніе, которому природа мѣшала самостоятельно раскаляться и вспыхивать побѣждающимъ и опаляющимъ огнемъ. Маленькій Писаревъ, съ его разсудочной твердостью и ясностью и сердечной прямотой, кротко шелъ по слѣдамъ хорошенькой кузины, почти молился на нее, терпѣливо выжидалъ ея дѣтской благосклонности, не будучи способенъ ни на какую страстную романтическую борьбу, въ которой иногда добывается взаимность. А Раиса, подростая, все смѣлѣе и смѣлѣе заглядывала острымъ, пытливымъ взоромъ въ глубину его вѣрнаго, любящаго, слегка безпомощнаго сердца, и не очаровываясь ничѣмъ, что она отгадывала въ немъ своимъ чисто женскимъ инстинктомъ, искала недостающихъ впечатлѣній помимо него. Видаясь съ нимъ ежегодно въ вакаціонное время, она постепенно отталкивалась и отдалялась отъ него. Дружескія отношенія ихъ не прекращались, но шансы его любви падали все ниже и ниже.

II.

Уже въ послѣднихъ классахъ гимназіи Писарева манило въ храмъ свободной науки, какимъ ему представлялся университетъ. По его собственному разсказу, самыя слова—студентъ, профессоръ, аудиторія, лекція,—заключали въ себѣ для него какую-то необъяснимую прелесть. Молодому, еще не жившему, человѣку хотѣлось не кутежей, не шалостей, а какихъ-то неиспытанныхъ ощущеній, какой-то дѣятельности, какихъ-то стремленій. Даже внѣшніе атрибуты студенчества казались ему привлекательными: синій воротникъ, безвредная шпага, двуглавые орлы на пуговицахъ — все это плѣняло воображеніе. Писаревъ не чувствовалъ никакого особеннаго влеченія къ опредѣленному кругу наукъ. Въ немъ не было никакихъ инстинктовъ учености и потому, когда пришлось выбирать тотъ или другой факультетъ, онъ «въ одно мгновеніе ока, полюбовавшись на синеву воротника и на блескъ золоченаго эфеса шпаги», рѣ-

шилъ поступить на филологическій факультетъ. Это было въ 1856 году, когда Писареву исполнилось всего шестнадцать лѣтъ. Въ университетѣ потянулась жизнь съ новыми впечатлѣніями, которыя должны были въ концѣ концовъ расшевелить его умственную природу. Каждый годъ вносилъ въ его душу новыя настроенія, которыя толкали его на путь его настоящаго призванія. Медленно, но вѣрно просыпался въ немъ публицистическій агитаторъ. На первыхъ порахъ, однако, въ Писаревѣ нельзя было замѣтить никакихъ перемѣнъ. Это былъ все тотъ-же ребенокъ, одѣтый съ иголочки, приглаженный и припомаженный и записывающій профессорскія лекціи въ тетрадяхъ съ цвѣтными обложками. Но въ аудиторіи онъ поражалъ своею умственною бойкостью и подготовленностью по классическимъ предметамъ. Вспоминая это время, одинъ изъ товарищей Писарева, П. Полевой, описываетъ намъ подробно типическую фигуру юнаго студента. Худощавый и розовый мальчикъ, онъ выдѣлялся среди другихъ студентовъ всею своею внѣшностью. Его свѣтлые волосы, темно-каріе глаза и румянецъ во всю щеку, нѣжный и тоненькій голосокъ, который часто бойко раздавался въ аудиторіи, его способность безъ всякаго приготовленія переводить передъ профессоромъ классическихъ авторовъ въ чистыхъ, литературныхъ выраженіяхъ, его размѣренная, почти методическая походка и нѣкоторая важность въ лицѣ,— все это останавливало на себѣ вниманіе. Но Писаревъ, отличаясь предъ каждымъ профессоромъ въ отдѣльности, все-таки не сосредоточивался ни на какой спеціальности. «Неумолимый демонъ умственнаго эпикуреизма», который сталъ въ немъ просыпаться по мѣрѣ того, какъ онъ все ближе и ближе соприкасался съ университетскою наукою, насильно увлекалъ его къ инымъ занятіямъ, къ инымъ интересамъ. Онъ пробовалъ переводить съ греческаго географическое сочиненіе Страбона, изучать исторію по энциклопедическому словарю Эрша и Грубера, писать о Гумбольдтѣ и Гегелѣ по извѣстной брошюрѣ Штейнталя, но ничто не захватывало его души. Исполняя свои работы съ какимъ-то механическимъ упорствомъ, онъ не находилъ въ нихъ ни малѣйшаго наслажденія для своего ума. Различныя научныя слова и мало-понятныя фразы «кувыркались» въ его головѣ, не возбуждая въ немъ живого отношенія къ изучаемому предмету. Предложенные рефераты писались съ необычными для студента литературными достоинствами, даже отдавались профессорами въ студенческіе сборники для печати, но его духовное развитіе все-таки не дѣлало серьезныхъ успѣховъ. Писаревъ спѣшилъ заняться чѣмъ-нибудь, хватался за разные предметы, съ глухимъ отчаяніемъ, съ постоянной мыслью, что все это безполезно. Отъ философіи языка бросался онъ къ славянскимъ нарѣчіямъ, обрушивался на русскую исторію, потомъ вдругъ принимался изучать гомеровскую миѳологію, потому что въ головѣ его внезапно возникла геніальная идея, великолѣпно объяс-

няющая греческое понятіе рока. Вопросъ о какихъ-нибудь спеціальныхъ занятіяхъ становился для него мрачнымъ, грозя сдѣлаться неразрѣшимымъ. Его не тянуло ни къ какой спеціальности, а между тѣмъ ему казалось, разсказываетъ Полевой, что онъ долженъ избрать себѣ спеціальность во что-бы то ни стало. Его отчаяніе доходило до слезъ. Онъ плакалъ оттого, что кружокъ его товарищей занимался серьезно наукою, когда онъ переходилъ отъ предмета къ предмету, и его уныніе не знало-бы границъ, если-бы въ это самое время, на исходѣ второго года студенческихъ занятій, онъ не сдружился съ товарищемъ по университету, пылкимъ энтузіастомъ съ проповѣдническими наклонностями, Трескинымъ. Писаревъ переѣхалъ отъ своего дяди генерала на Васильевскій островъ, поближе къ университету и къ тѣсному товарищескому кружку, въ который ввелъ его новый другъ, и въ этой свѣжей обстановкѣ онъ какъ-то вдругъ повеселѣлъ и приподнялся духомъ. Родители Трескина полюбили его, какъ родного сына, и старикъ Трескинъ, умный и оригинальный человѣкъ, сталъ оказывать на Писарева полезное вліяніе, сдерживая въ немъ нѣкоторые порывы и возбуждая потребность въ настоящей серьезной мысли.

При такихъ обстоятельствахъ наступилъ третій годъ ученія Писарева въ петербургскомъ университетѣ. Настало бурное время въ жизни учащагося юношества. Въ началѣ 1858 г. студенты начали сплачиваться въ тѣсные кружки, возникли броженія и порывистыя стремленія юношества къ вольной жизни. Въ университетскомъ коридорѣ какъ-то вдругъ появились пестрые жилеты, радужные галстуки, клѣтчатые панталоны, усы, бороды. Цѣлыя толпы студенческой молодежи осаждали университетское начальство, доказывая ему справедливость своихъ требованій. Среди студентовъ появились свои сподвижники. Волна новаго движенія стала проникать въ душу Писарева, то увлекая его къ ораторству на сходкахъ, то вызывая въ немъ потребность какого-то шумнаго протеста въ духѣ общаго студенческаго настроенія. Онъ начинаетъ чувствовать себя живымъ человѣкомъ въ этой стихійно бушующей толпѣ. Его вялые нервы напрягаются до болѣзненности, и когда ему не удается излить въ толпу свое мучительное по силѣ умственное волненіе и овладѣть ею въ качествѣ агитатора, онъ разражается, какъ это бывало въ дѣтствѣ, слезами. Былъ случай, разсказываетъ Скабичевскій, когда Писаревъ, придя въ энтузіазмъ, расплакался на студенческой сходкѣ. Въ другой разъ Писаревъ, во время нѣкоторыхъ недоразумѣній, происшедшихъ между студентами и однимъ изъ профессоровъ, увлекся до того, что легъ на столъ и началъ барабанить ногами въ стѣну, за которою сидѣлъ профессоръ, чтобы помѣшать ему читать лекцію... Въ это время Писаревъ еще состоялъ членомъ того кружка съ исключительно ученными цѣлями и задачами, въ который ввелъ его Трескинъ. Но въ немъ уже закипали сомнѣнія, которыя должны были

увлечь его навстрѣчу реалистическимъ стремленіямъ эпохи. Умъ его мужалъ, его понятія свѣтлѣли и загорались агитаторскимъ огнемъ. Духъ его крѣпчалъ и опредѣлялъ задачи для ближайшей, освободительной дѣятельности. Онъ проникался враждою и къ университетской наукѣ, и ко всѣмъ мертвымъ житейскимъ шаблонамъ, сковывающимъ развитіе человѣческой личности. Неуклюжій молодой орленокъ, онъ безпомощно и напряженно кружился въ своей тѣсной обстановкѣ, инстинктивно стремясь къ смѣлому полету, но не умѣя расправить своихъ отъ природы больныхъ и нѣсколько пришибленныхъ крыльевъ. Фанатическій приверженецъ чистой науки, Трескинъ накидывался на Писарева съ жаромъ, съ вдохновеніемъ, пылко рисуя передъ нимъ роль ученаго дѣятеля, призывая его къ строгимъ университетскимъ занятіямъ, а Писаревъ, расхаживая по комнатѣ мѣрными шагами, заложивъ руки въ карманы своего причудливаго домашняго балахона и нѣсколько приподнявъ плечи, повидимому, спокойно возражалъ ему, не измѣняя себѣ ни единымъ словомъ, ни голосомъ, ни единымъ жестомъ. Сдержанно и твердо онъ отстаивалъ свое право идти въ ряды литературныхъ работниковъ при наличномъ, хотябы и небольшомъ, запасѣ знаній, съ готовностью каждую минуту открывать передъ читателями то, что волнуетъ его душу, безъ прикрасъ, безъ схоластическихъ тумановъ, заботясь только объ ясной и добросовѣстной передачѣ своихъ сознательныхъ требованій. Кружокъ давилъ его теперь уже больше механически, не имѣя прежней власти надъ его умомъ, окончательно намѣтившимъ ту дорогу, на которой ему можно будетъ развернуть всѣ свои силы. Уравновѣшенное положеніе его ученыхъ товарищей среди бурнаго движенія, охватившаго все столичное общество, раздражало его своей инертностью. Всѣ наиболѣе важные вопросы, выдвинутые событіями эпохи, разъединяли его съ кружкомъ, хотя, по старой привычкѣ, онъ еще участвовалъ въ его вечернихъ собраніяхъ, которыя почти всегда оканчивались веселыми ужинами. Онъ чувствуетъ себя теперь почти литераторомъ, потому что сталъ принимать очень дѣятельное участіе въ передовомъ журналѣ для взрослыхъ дѣвицъ, издаваемомъ Кремпинымъ. Онъ одинъ изъ главныхъ бойцовъ «Разсвѣта»,—этого своеобразнаго журнала съ эмансипаціонными задачами, изящно иллюстрированными на самой оберткѣ изображеніемъ спящей, красивой дѣвушки, съ закинутыми за голову руками, и свѣтлаго генія, который пробуждаетъ ее, указывая ей на лучезарный дискъ восходящаго солнца. Женскій вопросъ отнынѣ станетъ одною изъ главныхъ темъ его постоянныхъ размышленій, и въ этомъ вопросѣ онъ не можетъ сдѣлать ни малѣйшей уступки своимъ осталымъ товарищамъ. Его эмансипаторскія идеи проснулись во время. Общество смутно колыхалось, и цѣлыя толпы народа, офицеровъ, чиновниковъ всѣхъ вѣдомствъ, густыя массы молодежи обоего пола и всѣхъ возрастовъ стали наполнять аудиторіи и коридоры петер-

бургскаго университета. Умственное броженіе, медленно нараставшее въ Писаревѣ, должно было теперь вырваться на полную свободу, побѣдивъ лимфатическій темпераментъ и сообщивъ нервамъ необычайную для нихъ силу и напряженіе. До сихъ поръ тѣсно связанный съ членами своего кружка, который сохранялъ строгій нейтралитетъ по отношенію къ университетскимъ движеніямъ, онъ вдругъ, осенью 1859 г., сталъ сближаться съ коноводами студенческихъ группъ и наиболѣе замѣтными лицами изъ общества, посѣщавшаго университетскія лекціи. Товарищи по кружку усмотрѣли въ этомъ измѣну своему ученому уставу. Полевой сталъ доказывать Писареву, что русскія женщины еще не подготовлены для занятій въ университетахъ рядомъ со студентами и что модному движенію, охватившему петербургскую интеллигенцію, не слѣдуетъ придавать чрезчуръ серьезное значеніе. Но Писаревъ, болѣе чуткій къ пробуждающимся запросамъ общества, твердо стоялъ на своемъ, доказывая, что въ русской жизни начинается новая эпоха, что новые идеалы начинаютъ озарять русскую исторію. Споры выходили между бывшими единомышленниками горячіе—съ одной стороны, и блестящіе, смѣлые, побѣдоносные—съ другой. Писаревъ отстаивалъ свои мысли со всею свѣжестью піонера въ этой благодарной области человѣческаго освобожденія. Съ обычнымъ ораторскимъ искусствомъ онъ выдвигалъ свои теоремы, рисовавшія извѣстное міровоззрѣніе. Его прямолинейные аргументы, ни на минуту не уклоняющіеся въ сторону и нигдѣ не принимающіе отвлеченнаго характера, въ контрастъ съ возраженіями и доказательствами его противниковъ, звучали, какъ первыя пробныя ноты удалой, лихой пѣсни. И отъ этихъ бурныхъ состязаній въ узкой сферѣ товарищескаго кружка Писаревъ прямо переходилъ къ агитаціи литературной въ томъ органѣ печати, въ которомъ онъ началъ свою журнальную карьеру. Той-же осенью 1859 г., въ октябрѣ мѣсяцѣ, онъ печатаетъ въ «Разсвѣтѣ» разборъ «Обломова», въ которомъ, подробно обрисовавъ характеръ Обломова и Штольца, посвящаетъ шесть пылко и талантливо написанныхъ страницъ великолѣпному образу Ольги. Превосходное литературное дарованіе, еще не суженное тенденціознымъ отрицаніемъ того, что было щедро заложено въ его собственной природѣ—съ широкой способностью къ эстетическимъ оцѣнкамъ и острому психологическому анализу, выступаетъ здѣсь во всей красотѣ свѣжихъ словъ, свободно льющихся выраженій и афоризмовъ. Онъ передаетъ исторію ея любви съ изяществомъ молодого романтика, но романтика съ новыми, прогрессивными горизонтами. Онъ оправдываетъ всѣ ея поступки, проникаетъ въ ея душу и, открывъ въ ней самородное золото, съ радостью выноситъ его на свѣтъ, чтобы провозгласить новую теорію женской эмансипаціи. Дойдя до послѣдняго момента въ исторіи Ольги, онъ сочувственно отмѣчаетъ ея нравственную неудовлетворенность окружающими ее усло-

віями комфортабельной семейной жизни. Ея сильная, богатая природа не заснула-бы, по его толкованію, ни въ какой обстановкѣ. Эта природа, пишетъ онъ, требуетъ дѣятельности, труда съ разумною цѣлью, ибо только *творчество* способно до нѣкоторой степени успокоить ея тоскливое стремленіе къ чему-то высокому, незнакомому. Вся жизнь и личность Ольги, заключаетъ Писаревъ, представляетъ живой протестъ противъ зависимости женщины, протестъ, который, конечно, не составлялъ главной цѣли автора, потому что «истинное творчество не навязываетъ себѣ практическихъ цѣлей», но который, именно благодаря своей непосредственности и силѣ художественнаго воплощенія широкой идеи въ образѣ Ольги, долженъ серьезно подѣйствовать на сознаніе общества. Товарищи Писарева были въ ужасѣ отъ статьи его. Они восхищались второю частью Обломова, удивлялись тому, какъ могла рѣшиться Ольга выйти за Штольца, всѣмъ имъ жалко было Обломова и досадно на Ольгу за то, что она «не продолжала своей трудной работы надъ пересозданіемъ этого истаго произрастенія захолустной россійской почвы». Но четвертой части Обломова, съ изображеніемъ того недовольства жизнью, которое высказываетъ Ольга своему мужу, они рѣшительно признать не могли. Полевой говорилъ: «Чего ей еще нужно? У нея есть мужъ, любимый и уважаемый ею, есть дѣти, есть обезпеченное состояніе, которое даетъ ей возможность сосредоточить всѣ заботы на мужѣ и дѣтяхъ? Чего-же ей еще нужно и отчего она скучаетъ?»... На всѣ эти недоумѣнія, шедшія изъ неглубокаго умственнаго источника, Писаревъ отвѣчалъ почти тѣми-же словами, какими онъ выразилъ свою мысль въ напечатанной имъ статьѣ объ Обломовѣ: «Въ ея недовольствѣ, говорилъ онъ, можно подозрѣвать стремленіе къ *творчеству*», и это истолкованіе, какъ передаетъ Полевой, имѣло громадный успѣхъ въ обществѣ и вызвало даже сочувственный отзывъ самого Гончарова.

Въ 1860 году Писаревъ былъ уже совершенно сформировавшимся реалистомъ. Основный тезисъ реализма—«все, что естественно, то и нравственно», окрѣпъ въ немъ окончательно, и онъ защищалъ его въ борьбѣ съ товарищами съ поразительнымъ діалектическимъ искусствомъ, со всѣми красотами своего замѣчательнаго дара слова. Послѣ нѣсколькихъ колебаній въ эстетическихъ вопросахъ въ началѣ 1861 г., о которыхъ сообщала позднѣе мать Писарева на имя Некрасова, онъ очень быстро сдѣлался главнымъ дѣятелемъ «Русскаго Слова». Разсказываютъ, что при первомъ-же свиданіи съ Благосвѣтловымъ, которому Писаревъ принесъ сдѣланный имъ стихотворный переводъ «Атта Троля», напечатанный въ декабрьской книгѣ «Русскаго Слова» 1860 г., чуткій редакторъ, пристально всмотрѣвшись въ лицо этого много-обѣщающаго юноши, внушительно сказалъ ему: «Бросьте стихи, займитесь критикой». И дѣйствительно, съ февраля мѣсяца 1861 г. въ «Русскомъ Словѣ» начался

рядъ по-истинѣ блестящихъ дебютовъ молодого таланта въ статьяхъ, надѣлавшихъ огромнаго шума въ литературѣ и обществѣ. Университетъ еще не былъ оконченъ, а статьи Писарева уже вызывали полемическія перестрѣлки, иногда и бури. Въ небольшой рецензіи на книгу Клеванова разгулявшійся завоеватель умовъ, полный кипучихъ протестантскихъ стремленій, но совершенно лишенный философскаго образованія, высокомѣрно даетъ отставку «старику Платону», иронически называя его «генераломъ отъ философіи». Не всегда попадая въ цѣль при трактованіи серьезныхъ научныхъ вопросовъ, онъ въ статейкѣ о «Физіологическихъ эскизахъ Молешотта» серьезно распространяется о вліяніи чая на возникновеніе протестантизма и кофе на развитіе католицизма. Въ маѣ мѣсяцѣ появились первыя десять главъ «Схоластики XIX вѣка»,— статьи, написанной съ публицистическимъ огнемъ и огромнымъ полемическимъ задоромъ. Каждая новая журнальная работа широко распространяла извѣстность молодого писателя, который въ это время сводилъ послѣдніе счеты съ петербургскимъ университетомъ и прежними товарищами, искренно оплакивавшими, вмѣстѣ съ университетскими профессорами, его явное уклоненіе съ вѣрнаго пути науки. По пріѣздѣ съ каникулъ 1860 года Писаревъ рѣшился писать диссертацію на медаль, воспользовавшись исторической темой объ Апполоніи Тіанскомъ, предложенной историко-филологическимъ факультетомъ. Диссертація должна была быть представлена въ первыхъ числахъ января, а Писаревъ приступилъ къ подготовкѣ только въ октябрѣ. Въ ноябрѣ онъ началъ писать, по обыкновенію, прямо набѣло, и къ назначенному сроку огромная тетрадь въ 15 печатныхъ листовъ была представлена въ факультетъ. Эпиграфомъ къ диссертаціи Писаревъ сдѣлалъ слегка ироническое по отношенію къ самому себѣ изреченіе: «сже писахъ, писахъ»... Быстро написанное сочиненіе было удостоено, однако, медали и затѣмъ напечатано авторомъ на страницахъ «Русскаго Слова» [1]).

---

[1]) В. И. Жуковскій разсказалъ намъ относящійся сюда эпизодъ. Писаревъ, безпокоясь нѣсколько о библіографическихъ матеріалахъ для своей диссертаціи, явился къ однокурснику своему, нѣкоему Утину, который работалъ на ту-же тему и получилъ затѣмъ золотую медаль за свое сочиненіе. Оказалось, что Утинъ обставилъ свою работу массой сочиненій на разныхъ языкахъ, которыя лежали тутъ-же въ его кабинетѣ. Въ то время, когда его вызвали въ другую комнату, Писаревъ, по естественно загорѣвшемуся любопытству, сталъ перелистывать раскрытыя книги и прочитывать отдѣльныя мѣста. Возвратившійся Утинъ, желая осадить опаснаго соперника, замѣтилъ: „Дмитрій Ивановичъ, вы злоупотребляете вашимъ зрѣніемъ“. Слегка смущенный Писаревъ, съ недоумѣніемъ въ глазахъ и улыбкой удивленія, произнесъ какую-то незначительную фразу и, вѣжливо откланявшись, ушелъ. Онъ не искалъ больше никакихъ литературныхъ пособій для своей диссертаціи.

III.

А романъ съ Раисою шелъ своимъ порывистымъ ходомъ, разгораясь во время свиданій на каникулахъ, но не давая никакой отрады сердцу Писарева. Нельзя было не видѣть со стороны, что Раиса никогда не сдѣлается его женою, о чемъ онъ открыто мечталъ въ разговорахъ и письмахъ къ матери. Расцвѣтая, Раиса все болѣе и болѣе удалялась отъ своего друга, у котораго не хватало силъ для побѣды надъ ея чувствами. Его любви недоставало непосредственной выразительности и мощи, которая захватываетъ женское сердце, поднимаетъ и уноситъ безъ разсужденій и даже вопреки всякимъ разсужденіямъ. Подходя къ ней со всею правдивостью и откровенностью убѣжденнаго реалиста, готоваго снять съ любви ея поэтическій покровъ, какъ фальшивую театральную мантію, хотя и во всеоружіи передовыхъ взглядовъ на назначеніе женщины, Писаревъ лишенный въ глазахъ Раисы обаянія страстной силы, долженъ былъ казаться ей непривлекательнымъ героемъ для романа. Выростая духовно, онъ долженъ былъ казаться ей болѣе или менѣе чуждымъ человѣкомъ, изъ совершенно другой среды, съ другимъ назначеніемъ, мало подходящимъ для семейной жизни. Ея влеченія, страсти, вся ея неглубокая, но изящная душевная организація тянулись въ другую сторону, навстрѣчу другимъ, болѣе жгучимъ впечатлѣніямъ. Въ ней была потребность въ настоящей, страстной любви съ ея яркими вспышками въ патетическіе моменты, съ ея кокетливою игрою легкихъ, дразнящихъ ощущеній, съ ея волнующей борьбою различныхъ желаній и требованій. Ихъ разводила дисгармонія темпераментовъ, и мятежному духомъ, но вялому по организаціи Писареву не суждено было овладѣть тѣмъ счастьемъ, которое рисовало ему воображеніе при мысли о Раисѣ. Настоящій разладъ между ними начался съ осени 1859 года. Пріѣхавъ въ Грунецъ, Писаревъ не нашелъ Раисы. Она оказалась у своего дяди, который не пустилъ ее въ его семью на это время. Писаревъ затосковалъ, сталъ убѣгать въ садъ, чтобы гдѣ-нибудь, въ тѣнистой бесѣдкѣ или на травѣ, лежа на коврѣ съ раскрытой книгой въ рукахъ, отдаться упорной и тревожной мысли о любимой дѣвушкѣ. «Онъ не любилъ, разсказываетъ сестра его, Вѣра Ивановна Писарева,—чтобы его заставали въ такія минуты тяжелаго раздумья. Въ немъ при этомъ просыпалась какая-то гордая стыдливость, и онъ старался завести рѣчь о какомъ-нибудь совершенно безразличномъ предметѣ, меньше всего интересовавшемъ его въ данную минуту». Видя глубокое огорченіе сына, мать Писарева рѣшилась поѣхать за Раисой. Прошло нѣсколько дней въ самомъ тяжеломъ, мучительномъ ожиданіи. Онъ не могъ работать, статьи не писались. Наконецъ, мать вернулась съ письмомъ отъ Раисы, въ которомъ она откровенно созналась, что

любитъ другого. Прочтя письмо, Писаревъ, какъ это бывало съ нимъ всегда, когда нервы его не могли совладать съ напряженіемъ души, судорожно зарыдалъ, какъ маленькій ребенокъ. Утѣшенія и горячіе призывы къ труду молодого Трескина, который тогда еще не разлучался со своимъ другомъ и въ вакаціонные мѣсяцы, не могли, конечно, успокоить Писарева. Онъ крѣпился, самъ разрисовывалъ новыя перспективы—жизнь ради литературнаго труда, съ одними умственными наслажденіями, съ новой любовью или даже вовсе безъ любви, но всѣ эти реалистическія мудрствованія ни къ чему не приводили. Униженная страсть сильнѣе, чѣмъ когда либо, напрягала всѣ его естественныя склонности, толкая его къ чему-то смѣлому, рѣшительному, экстравагантному. На обратномъ пути изъ Грунца въ Петербургъ онъ посѣтилъ своего счастливаго соперника, нѣкоего Гарднера, и узнавъ на мѣстѣ, что тотъ страдаетъ серьезнымъ физическимъ недугомъ, который могъ-бы даже быть препятствіемъ къ его браку съ Раисой, онъ рѣшился откровенно объясниться съ нею насчетъ ея будущаго мужа. Очевиднымъ образомъ теряя всякое самообладаніе, онъ раскрылъ передъ нею эту интимную сторону дѣла, смягчая грубость своего безтактнаго сообщенія хорошо отшлифованными фразами французскаго письма. Раиса отвѣчала сдержанно и съ достоинствомъ. Въ первомъ-же письмѣ изъ Петербурга къ матери онъ проситъ ее приласкать Раису въ минуту тяжелаго горя и помочь ей перенести грустное испытаніе. Самъ онъ не отказывается теперь отъ своихъ первоначальныхъ надеждъ, хотя онъ былъ-бы не согласенъ повторить Раисѣ свое предложеніе: это было-бы неуваженіемъ къ ея несчастной любви, сломанной въ самомъ стебелькѣ. Онъ подружился съ Гарднеромъ и свѣтло смотритъ на открывающуюся передъ нимъ дорогу, пишетъ онъ съ напускною разсудительностью. Только одно несчастье могло-бы сломить его: сумасшествіе съ свѣтлыми проблесками сознанія. «Все остальное: потеря близкихъ людей, потеря состоянія, глазъ, рукъ, измѣна любимой женщины,—все это дѣло поправимое, ото всего этого можно и должно утѣшиться». Желая во что-бы то ни стало доказать своей матери, что онъ не переоцѣниваетъ постигшее его несчастье, онъ развиваетъ въ письмѣ къ ней цѣлую теорію эгоизма, хотя тутъ-же, явнымъ образомъ обнаруживая замѣшательство психическаго настроенія, разсказываетъ ей о своихъ ужасныхъ сомнѣніяхъ во всемъ и во всѣхъ, въ самой жизни, которая показалась ему вдругъ сухою, безцвѣтною, холодною. Онъ вообще не понимаетъ, что съ нимъ происходитъ и, заканчивая одно изъ своихъ трогательнѣйшихъ писемъ къ матери, нервно восклицаетъ: «мама, прости меня! мама, люби меня!» Опрокинувъ въ своемъ умѣ всякіе научные Казбеки и Монбланы, какъ вспоминаетъ онъ объ этомъ періодѣ своей жизни въ статьѣ «Наша университетская наука», онъ вдругъ представился самому себѣ какимъ-

то титаномъ. Ему показалось, что онъ совершитъ чудеса въ области мысли. Два-три мѣсяца онъ, дѣйствительно, работалъ неутомимо. Руководимый какою-то странною идеею, онъ прочелъ восемь пѣсенъ «Иліады» въ подлинникѣ, сдѣлалъ много выписокъ изъ нѣмецкихъ изслѣдованій, трактовавшихъ о миѳологическихъ и теологическихъ понятіяхъ Гомера. Онъ чувствуетъ себя Прометеемъ, имѣющимъ право презрительно выслушивать совѣты и увѣщанія товарищей... Однажды, за ужиномъ въ товарищескомъ кружкѣ, Писаревъ, все время казавшійся скучнымъ и молчаливымъ, быстро всталъ съ своего мѣста, разсказываетъ Полевой, и поднялъ кверху руку. Всѣ разомъ взглянули на него и, весело настроенные, ожидали блестящаго спича. Но Писаревъ вдругъ обвелъ своихъ товарищей какими-то мутными глазами и сталъ медленно опускаться на полъ. Товарищи бросились къ нему и успѣли его подхватить. Обморокъ продолжался недолго, но послѣ минутнаго просвѣтлѣнія смѣнился совершенно безсознательнымъ состояніемъ. Его бережно снесли на рукахъ въ сани и, привезя на квартиру, осторожно раздѣли и положили на диванъ въ кабинетѣ старика Трескина. Пріѣхалъ докторъ, осмотрѣлъ, ощупалъ его и покачалъ головой. Черезъ нѣсколько дней Писарева пришлось перевести въ психіатрическое заведеніе доктора Штейна. Въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ о немъ не было извѣстно ничего положительнаго. Говорили, что Писаревъ дважды покушался на самоубійство и что вообще болѣзнь его находится въ крайне печальномъ состояніи. Вдругъ, въ одинъ весенній день, онъ бѣжалъ изъ заведенія Штейна, явился въ семейство Трескина, гдѣ былъ встрѣченъ съ распростертыми объятіями любившимъ его старикомъ. Черезъ полчаса послѣ Писарева къ Трескину пріѣхалъ докторъ Штейнъ съ однимъ изъ своихъ помощниковъ, но старикъ Трескинъ, рѣзко загородивъ собою Писарева, отказался выдать паціента. Онъ отвезъ его къ матери, и за лѣто, на свѣжемъ воздухѣ, здоровье Писарева совершенно поправилось. Когда онъ явился осенью въ Петербургъ, онъ показался товарищамъ повеселѣвшимъ и даже пополнѣвшимъ: румянецъ игралъ у него во всю щеку, онъ говорилъ попрежнему умно и бойко, и только въ глазахъ его было замѣтно какое-то безпокойство. Повидимому, кузина слегка приласкала его, и онъ опять, быть можетъ, не безъ вспышки новой надежды, ожилъ и сталъ стремиться къ широкому литературному труду. Къ этому приблизительно времени (1861, январь) [1]) относятся его переговоры съ Евгеніей Туръ о сотрудничествѣ въ «Русской Рѣчи», которое не сложилось только потому, что Писаревъ оказался черезчуръ ярымъ эстетикомъ и фанатическимъ поклонникомъ поэзіи Аполлона Майкова.

---

[1]) См. «Современникъ» 1865. Мартъ, стр. 218, *Письмо Варвары Писаревой.*

Между тѣмъ его любовная исторія шла къ окончательной развязкѣ. Переживъ неудачный романъ съ Гарднеромъ, Раиса остановила свой выборъ на другомъ лицѣ, его однофамильцѣ. Былъ уже назначенъ день ея свадьбы. Писаревъ снова потерялъ душевное равновѣсіе. Онъ сталъ убѣждать ее вступить съ нимъ хоть въ фиктивный бракъ, чтобы сейчасъ-же послѣ вѣнца уѣхать съ Гарднеромъ за-границу, — въ расчетѣ, что Раиса вернется къ нему, когда пройдетъ первое броженіе страсти. Но рѣшеніе Раисы не могло измѣниться отъ растерянnаго поведенія Писарева. День свадьбы насталъ. Послѣ вѣнчанія, происходившаго въ Петербургѣ, такъ-какъ за послѣднее время Раиса жила у дяди Писарева, А. Д. Данилова, молодые отправились на вокзалъ Николаевской желѣзной дороги. Не помня себя отъ отчаянія и ревности къ сопернику, Писаревъ полетѣлъ за ними и на платформѣ произошла ужасная сцена: переодѣтый и съ маской на лицѣ, онъ быстро подошелъ къ Гарднеру и ударилъ его хлыстомъ по лицу. Взбѣшенный Гарднеръ опрокинулъ его на дебаркадеръ и, вырвавъ хлыстъ, нѣсколько разъ хватилъ его по щекамъ. Писаревъ, какъ онъ самъ объ этомъ разсказывалъ, не сопротивлялся, даже не сдѣлалъ попытки защитить лицо руками...

Скандалъ этотъ произошелъ съ Писаревымъ въ то время, когда его имя уже пользовалось популярностью въ петербургскихъ кружкахъ.

IV.

Въ воспоминаніяхъ Шелгунова мы находимъ небольшой разсказъ о томъ, какъ онъ впервые познакомился съ Писаревымъ. Однажды, въ 1861 году, Шелгуновъ утромъ зашелъ къ Благосвѣтлову. Въ первой комнатѣ у конторки стоялъ щеголевато одѣтый, совсѣмъ еще молодой человѣкъ, почти юноша, съ открытымъ, яснымъ лицомъ, большимъ, хорошо очерченнымъ, умнымъ лбомъ и съ большими, умными, красивыми глазами. Онъ держался прямо и во всей его фигурѣ чувствовалась боевая готовность. Это былъ Писаревъ—въ началѣ своей блестящей литературной карьеры, покончившій счеты съ университетомъ и выступившій смѣлымъ бойцомъ на журнальномъ пути. Слава въ это время, можно сказать, бѣжала за Писаревымъ. Каждая статья его, исполненная молодой силы и стихійной удали, гремѣла и звенѣла. Его литературное краснорѣчіе холоднымъ, освѣжающимъ каскадомъ вливалось въ сознаніе общества. Благосвѣтловъ понялъ цѣну своего новаго сотрудника и давалъ ходъ всѣмъ его писаніямъ съ готовностью умнаго и ловкаго издателя, знающаго потребности современнаго читателя. Каждая книжка «Русскаго Слова» выходила съ нѣсколькими работами Писарева, вносившими необычайное оживленіе въ критическій отдѣлъ журнала. Въ полтора года молодой писатель напечаталъ рядъ статей по самымъ разнообразнымъ литератур-

нымъ вопросамъ, которые точно опредѣлили главныя черты его умственной физіономіи. Ясно было, что Писаревъ идетъ по опредѣленному пути, и когда, 3-го іюля 1862 г., онъ былъ оторванъ отъ своихъ постоянныхъ занятій и заключенъ въ крѣпость, его писательская личность уже могла считаться въ очень значительной степени выясненной. Къ этому времени опредѣлилось существенное различіе въ пониманіи молодой Россіи между критикомъ «Русскаго Слова» и критикомъ «Современника» въ статьѣ Писарева объ «Отцахъ и дѣтяхъ»: «Базаровъ». Такія статьи Писарева, какъ «Русскій Донъ-Кихотъ» и «Бѣдная русская мысль» не могли не создать ему совершенно опредѣленной литературной репутаціи. Живой талантъ, съ огромною производительною энергіею, съ необычайною ясностью и почти примитивной простотой своихъ отчасти реформаторскихъ, отчасти разрушительныхъ требованій и аргументовъ, чувствовался въ каждой его замѣткѣ. Общество насторожило вниманіе и потянулось къ «Русскому Слову», гдѣ раздавалась эта звонкая, смѣлая, новая рѣчь. И въ это-то время, сейчасъ-же послѣ пріостановки журнала на восемь мѣсяцевъ, Писаревъ долженъ былъ выйти изъ жизненнаго водоворота, который могъ развить его силы. Одиночное заключеніе въ крѣпости, продолжавшееся почти четыре съ половиною года, до 18 ноября 1866 г., должно было, при его реалистическихъ склонностяхъ, неизбѣжно сковать его духъ и, придавъ ему необычайную интенсивность въ одномъ направленіи, сузить его умственный горизонтъ нѣкоторыми теоретическими вопросами, возникшими для него еще на послѣднемъ курсѣ университета и сохранившими на долгое время юношески-докторальный характеръ. По справедливому замѣчанію Скабичевскаго, Писаревъ не былъ расположенъ ни къ какой конспиративной дѣятельности, и можно считать роковою случайностью, что писатель, начавшій теоріями чистѣйшаго индивидуализма безъ малѣйшаго политическаго оттѣнка, вдругъ оказался въ чемъ-то виноватымъ и былъ призванъ къ тяжелой уголовной отвѣтственности. Скабичевскій такъ передаетъ въ своей «Исторіи новѣйшей русской литературы» причину ареста Писарева. Въ апрѣлѣ 1862 г., разсказываетъ онъ, появилась брошюра Шедо-Ферроти, содержавшая въ себѣ разборъ письма Герцена къ русскому лондонскому посланнику,—брошюра довольно благонамѣренная и потому допущенная цензурою къ продажѣ. Въ качествѣ критика «Русскаго Слова», Писаревъ написалъ рецензію на эту брошюру, которую, однако, оказалось невозможнымъ напечатать въ журналѣ. Однажды къ нему пришелъ товарищъ по университету, нѣкто Баллодъ и, узнавъ исторію съ рецензіей, предложилъ ему отдать ее для напечатанія въ тайной типографіи, съ которой онъ состоялъ въ постоянныхъ сношеніяхъ. Въ другое время Писаревъ навѣрно отклонилъ бы подобное предложеніе, но по закрытіи «Русскаго Слова» и въ томъ угнетенномъ настроеніи духа, въ какомъ онъ тогда

находился, онъ быстро согласился переработать въ надлежащемъ тонѣ свою статейку и отдать ее въ полное распоряженіе подпольной печати. Вскорѣ затѣмъ Баллодъ былъ арестованъ, а за нимъ, по документамъ, найденнымъ при обыскѣ, попался и Писаревъ. Такова одна, наиболѣе распространенная въ печати версія. По краткому, но, какъ намъ кажется, болѣе правдоподобному разсказу Шелгунова дѣло съ арестомъ Писарева происходило иначе. Баллодъ пришелъ къ Писареву и попросилъ его написать какую-то прокламацію. Писаревъ согласился, но написанная имъ прокламація, найденная у Баллода, послужила матеріаломъ для обвиненія его въ государственномъ преступленіи. Эту версію подтвердили намъ и нѣкоторыя лица, интересовавшіяся арестомъ Писарева въ качествѣ близкихъ ему людей...

Въ крѣпости жизнь Писарева потянулась однообразная, но полная литературнаго труда. Четыре года одиночнаго заключенія не могли сломить его сильный умъ, съ необычайною поспѣшностью и легкостью изливавшійся въ многочисленныхъ, ясныхъ и свѣжихъ статьяхъ, проходившихъ черезъ благосклонную цензуру генералъ-губернатора кн. Суворова, который изумленъ былъ свѣтской выдержкой этого политическаго арестанта и его безукоризненнымъ знаніемъ иностранныхъ языковъ. Къ этому тяжелому времени, служившему испытаніемъ его физическихъ и нравственныхъ силъ, относится большинство его литературныхъ работъ, все то, что окончательно упрочило его славу въ качествѣ перваго критика эпохи. Онъ не падалъ духомъ. Даже не зная, когда и какъ окончится его заключеніе, онъ переходилъ отъ одной темы къ другой, затѣвалъ полемическія войны и бился со своими многочисленными литературными противниками, не давая чувствовать ни единымъ словомъ, ни тончайшимъ намекомъ своего исключительнаго, страдальческаго положенія, какъ это дѣлали-бы на его мѣстѣ люди болѣе мелкаго пошиба, склонные къ кокетливой бравадѣ и рисовкѣ передъ публикой. Онъ жилъ напряженными, головными интересами. Отъ литературныхъ занятій онъ отвлекался только для самыхъ необходимыхъ писемъ, которыя онъ писалъ микроскопическими буквами на маленькихъ клочкахъ, оторванныхъ отъ полей печатныхъ страницъ, и которыя мать уносила послѣ свиданій съ нимъ въ башмакѣ, переписывала для доставленія по адресу, сохраняя на память оригиналы. И въ этихъ письмахъ, не стѣсняемыхъ никакой цензурой, нѣтъ ни малѣйшей жалобы. Вникая въ свою отвѣтственную литературную задачу, онъ какъ-бы радуется своему невольному одиночеству. Его силы сберегаются для настоящаго труда: нѣтъ болѣе безсонныхъ ночей за картами, сознается онъ въ одномъ изъ трогательныхъ писемъ къ матери, обстоятельства взялись пріучать его къ правильному образу жизни, накапливать въ немъ энергію, которую онъ, живя на свободѣ, непремѣнно разбросалъ-бы по сторонамъ. Уединеніе бываетъ по-

лезно не для однихъ сумасшедшихъ, разсуждаетъ онъ съ серьезнымъ убѣжденіемъ,—отъ него часто выигрываютъ люди, совершенно здравомыслящіе: становишься спокойнѣе, выучиваешься сосредоточивать мысль на одномъ предметѣ. Вдали отъ впечатлѣній столичной жизни, хотя она клокочетъ гдѣ-то вблизи, за стѣною, онъ чувствуетъ себя настоящимъ журналистомъ. «Журналистика, пишетъ онъ почти за два года до выхода изъ крѣпости, 24 декабря 1864 г.,—мое призваніе. Это я твердо знаю». Ему не трудно написать въ мѣсяцъ отъ четырехъ до пяти печатныхъ листовъ, совершенно не изнуряя себя. Не развлекаемый никакими случайными интересами, онъ чувствуетъ, что форма выраженія дается ему теперь еще легче, чѣмъ прежде, хотя онъ сталъ гораздо требовательнѣе къ себѣ въ отношеніи мысли. Эти свойства растутъ и развиваются въ немъ съ каждымъ днемъ, такъ что всякая новая его статья, чуждая какой-либо раздражительности, пышныхъ риторическихъ фразъ, выдержанная въ строгой логической послѣдовательности, не можетъ не содѣйствовать полному успѣху любимаго дѣла. «Если мнѣ удастся выйти опять на ровную дорогу, мечтаетъ вслухъ Писаревъ, то я, навѣрное, буду самымъ послѣдовательнымъ изъ русскихъ писателей и доведу свою идею до такихъ ясныхъ и осязательныхъ результатовъ, до какихъ еще никто не доводилъ раньше меня». Онъ будетъ выбирать подходящіе для его таланта сюжеты, станетъ популяризировать естествознаніе, строго придерживаясь метода опытныхъ наукъ, и въ годъ онъ напишетъ не меньше 800 страницъ...

Среди этихъ мужественныхъ юношескихъ размышленій вдругъ проносится поэтическое воспоминаніе о Раисѣ. Ея образъ еще не померкъ, несмотря на пережитыя отъ нея униженія и испытанія послѣднихъ лѣтъ. Онъ думаетъ о ней часто, иногда съ досадою, иногда съ грустью, но всегда съ сильнымъ желаніемъ увидѣть ее. Онъ упрашиваетъ свою мать сообщить какія-нибудь свѣдѣнія о ней. Но въ борьбѣ со своими неугасшими поэтическими чувствами онъ ощущаетъ неодолимую склонность къ безбурной, слегка идиллической семейной жизни съ женщиной, которая могла-бы оцѣнить его правдивыя и честныя стремленія, которая давала-бы ему свѣтлый отдыхъ отъ труда, не волнуя и не терзая его сердца никакой особенной любовью. Онъ увѣренъ, что былъ бы очень хорошимъ мужемъ, такъ какъ будетъ всегда любить и уважать ту женщину, которая согласится быть его женой, никогда не станетъ измѣнять ей, потому что будетъ всегда занятъ серьезнымъ дѣломъ. Но гдѣ же Раиса? Увы! Съ ея именемъ не связано больше никакихъ надеждъ. Гдѣ вообще та дѣвушка, которая согласилась бы принять его предложеніе? Слегка разгоряченное одиночествомъ воображеніе, не встрѣчая отрады ни въ какомъ живомъ впечатлѣніи, готово ухватиться за всякій случай, чтобы наполнить какимъ-нибудь содержаніемъ это пустое мѣсто въ его жизни. Нѣтъ Раисы,

но въ письмахъ сестры и матери стало мелькать имя какой-то другой дѣвушки, Лидіи Осиповны, которая, судя по ихъ словамъ, могла-бы занять мѣсто Раисы въ его жизни. И вотъ онъ рѣшается на странный, въ высокой степени наивный поступокъ. Онъ проситъ свою мать сдѣлать ей отъ его лица офиціальное предложеніе и затѣмъ, какъ бы сознавая неловкость своего поступка, посылаетъ ей длинное объяснительное письмо, гдѣ онъ въ холодно-резонерскомъ тонѣ доказываетъ ей, что они могли бы пойти одною дорогою, въ качествѣ мужа и жены. Онъ увѣренъ, что она должна его понять и оцѣнить. Умный и порядочный человѣкъ съ честнымъ образомъ мыслей, безъ всякаго романтическаго отношенія къ самой любви, умѣющій смотрѣть правдѣ прямо въ глаза, онъ не можетъ допустить, чтобы она предпочла ему какого-нибудь *олуха*. «Лидія Осиповна!—восклицаетъ онъ, обращаясь къ ней,—не губите себя! вамъ непремѣнно надо выйти за новаго человѣка». Что можетъ ей помѣшать принять его предложеніе? Отсутствіе любви? Но любовь вещь очень простая и естественная, когда даны всѣ ея условія: молодость, умъ, приличная наружность. Онъ некрасивъ собою, но, во 1-хъ, красивыхъ мужчинъ на свѣтѣ очень немного, а во 2-хъ, онъ не уродъ, у него не пошлая физіономія, у него даже «съ нѣкоторыхъ поръ сдѣлались очень умные глаза». Вы умны и я уменъ, соображаетъ Писаревъ, стало быть тутъ, кромѣ равенства, не можетъ быть другихъ отношеній. Пусть ее не безпокоитъ Раиса. Она исчезла изъ его сердца съ тѣхъ поръ, какъ она бросилась на шею своему красивому олуху... Изумленная этимъ предложеніемъ, сдѣланнымъ человѣкомъ, который находился въ исключительномъ, жизненно-безсильномъ положеніи, Лидія Осиповна отвѣчала отрицательно. Иначе, конечно, она поступить и не могла. Но Писаревъ, во всеоружіи своихъ реалистическихъ аргументовъ, сталъ съ особенной силой выкладывать передъ нею свои преимущества передъ всякимъ олухомъ. Она будетъ съ нимъ счастлива. Ихъ жизнь будетъ отличаться рѣдкою содержательностью. Во-первыхъ, они будутъ получать всѣ русскіе журналы и многія статьи будутъ прочитывать вмѣстѣ. Во-вторыхъ, они будутъ получать нѣсколько иностранныхъ газетъ и журналовъ. Въ-третьихъ, къ ихъ услугамъ будетъ всегда множество книгъ. Въ-четвертыхъ, они будутъ водить знакомство съ людьми очень смирными, простыми, работающими и совершенно безцеремонными. Въ-пятыхъ, Лидія Осиповна можетъ обращаться къ своему ученому мужу за объясненіями, когда наткнется на какіе-нибудь непонятные ей вопросы. Въ-шестыхъ, она можетъ усвоить, при помощи своего ученаго мужа, нѣмецкій или англійскій языкъ. Наконецъ, въ-седьмыхъ, въ ихъ жизни не будетъ никакой роскоши, но и никакихъ чувствительныхъ лишеній, а министерство финансовъ будетъ всецѣло въ рукахъ Лидіи Осиповны. Выписавъ съ такою полною добросовѣстностью всѣ пункты этой хартіи семейныхъ воль-

ностей, Писаревъ выражаетъ твердое убѣжденіе, что двухъ-трехъ задушевныхъ разговоровъ достаточно для того, чтобы они полюбили другъ друга. О Раисѣ пусть она забудетъ: прошедшее не воротится назадъ. Да и Раиса теперь не такая, какою онъ ее помнитъ. Онъ видѣлъ ея карточку: она сдѣлалась худою, больною, пожилою женщиной, въ ея письмахъ—пустота, слабость, усталость. Нѣтъ, онъ больше не завидуетъ Гарднеру. Весь прошедшій періодъ жизни кажется ему какимъ-то бѣснованіемъ, не исключая даже того момента, который выбросилъ его изъ колеи обычной литературной дѣятельности и привелъ къ крѣпости. Онъ здоровъ и крѣпокъ, и воспоминанія прошедшей любви уже начинаютъ застилаться туманомъ. Ему нужна дѣятельность... Но всѣ эти доказательства ни къ чему не привели. Лидія Осиповна уклонилась отъ его лестнаго предложенія, въ которомъ не проглядывало никакое непосредственное чувство. Къ тому же вся мудрая разсудительность Писарева относительно его собственныхъ чувствъ и желаній разлетѣлась прахомъ при первомъ новомъ испытаніи. Повидимому, Писаревъ не выдержалъ характера, когда обстоятельства позволили ему обмѣняться съ Раисою нѣсколькими новыми фразами — неизвѣстно точно, при личномъ-ли свиданіи въ крѣпости, во время пріѣзда Раисы въ Петербургъ, или въ письмахъ. Во всякомъ случаѣ, въ печати недавно обнародовано небольшое письмо Писарева къ Раисѣ Гарднеръ. Отвѣчая ей на какое-то расхолаживающее замѣчаніе, онъ съ дѣланнымъ равнодушіемъ, подъ которымъ чувствуется уязвленное самолюбіе, старается разсѣять ея иллюзіи насчетъ неизмѣнности его пылкихъ чувствъ. Въ послѣдній разъ онъ дѣлаетъ усиліе, чтобы вырвать изъ сердца эту любовь, которая манила, дразнила и волновала его съ дѣтства. Она еще разъ промелькнула на его блѣдномъ, тускломъ небосклонѣ, но это была уже послѣдняя туча разсѣянной бури. Горизонтъ очистился, но неудачи и сердечныя обиды наложили меланхолическую печать на всю его дальнѣйшую жизнь и нравственную физіономію...

Среди писемъ интимнаго характера, сохранившихся отъ времени пребыванія Писарева въ крѣпости, находятся и письма его къ Благосвѣтлову, съ которымъ онъ поддерживалъ постоянныя отношенія. По содержанію эти письма имѣютъ или строго-практическій характеръ, или, въ большинствѣ случаевъ, относятся къ различнымъ дѣламъ его по редакціи «Русскаго Слова». Писаревъ то слегка перекоряется съ Благосвѣтловымъ по вопросу о гонорарѣ, нѣсколько афектированно подчеркивая свои реалистическія понятія и матеріалистическія наклонности, то изъ уединенія крѣпостного каземата управляетъ полемикой журнала съ «Современникомъ». Онъ не допускаетъ пока и мысли разстаться когда-нибудь съ «Русскимъ Словомъ», и для приведенія къ твердому принципу ихъ взаимныхъ отношеній, онъ предлагаетъ Благосвѣтлову, «вмѣсто нравствен-

ной деликатности» сдѣлать фундаментомъ этихъ отношеній «взаимную выгоду, что совершенно согласно съ нашей общей теоріей послѣдовательной утилитарности и систематическаго эгоизма». Пусть Благосвѣтловъ отыскиваетъ и доставляетъ ему какъ можно больше книгъ, а онъ, Писаревъ, будетъ попрежнему писать какъ можно лучше—«для того, чтобы пріобрѣтать себѣ деньги и извѣстность»... Въ этихъ словахъ чувствуется юношеская бравада упрощенностью разумнаго принципа. Имѣя дѣло съ такимъ практическимъ человѣкомъ, какъ Благосвѣтловъ, Писаревъ, съ наивностью кабинетнаго теоретика, старается перещеголять своего опытнаго и знающаго толкъ въ денежныхъ дѣлахъ издателя и защитить свои интересы подъ маскою убѣжденнаго ревнителя житейскихъ благъ. Однако, сила въ этихъ дѣловыхъ отношеніяхъ была всецѣло на сторонѣ Благосвѣтлова, который искусно и успѣшно сочеталъ огромное трудолюбіе толковаго редактора съ талантомъ твердой эксплоатаціи своихъ ближайшихъ и полезнѣйшихъ сотрудниковъ. Наивная и безкорыстная душа, Писаревъ, со всѣмъ своимъ реалистическимъ апломбомъ, всегда проигрывалъ въ своихъ денежныхъ схваткахъ съ Благосвѣтловымъ и въ то-же время, раздражая его издательское самолюбіе, давалъ ему противъ себя оружіе своими циническими изреченіями.

Очутившись на свободѣ, Писаревъ почувствовалъ себя какъ-то странно. Одиночество, создавшее его лучшіе, наиболѣе яркіе, наиболѣе сильные литературные труды, вошло въ его привычки. Онъ приноровился жить одною внутреннею жизнью и, умственно сгорая надъ своею работою, онъ пріобрѣлъ всю сосредоточенность отшельника и страстную напряженность невольнаго узника. Четыре лучшихъ года пронеслись, какъ одно мгновеніе, безъ единой сердечной, человѣческой радости, но съ злораднымъ удовлетвореніемъ безпощаднаго борца, наблюдающаго изъ скрытой засады, какъ разрываются среди остервенѣвшаго непріятеля посылаемыя имъ гранаты. Онъ былъ отрѣзанъ отъ міра, но духъ его жилъ среди русскаго общества, возбуждая молодые умы, вызывая всеобщія распри. Выйдя на вольный воздухъ, онъ какъ-то растерялся. На него нахлынули живыя, пестрыя впечатлѣнія, отъ которыхъ въ теченіе четырехъ лѣтъ отвыкъ его мозгъ. Его охватило волненіе — психическое и физическое волненіе человѣка, который, послѣ долгаго плаванія по-морю, сойдя на берегъ, ощущаетъ головокруженіе, какъ-бы не находя подъ ногами твердой почвы. Его природная неспособность переживать страстныя бури и потрясенія дала себя чувствовать. Нервы отказывались служить ему, и недугъ, пережитый еще во время студенчества, минутами смутно шевелился въ немъ, прорываясь въ экстравагантныхъ поступкахъ. Однажды, разсказываетъ Скабичевскій, Писаревъ поразилъ своихъ знакомыхъ, смѣшавъ во время обѣда всѣ кушанья въ одной тарелкѣ и начавъ ѣсть эту мѣшанину. Въ другой разъ онъ вдругъ сталъ раздѣваться въ гостяхъ

при всеобщемъ переполохѣ... Писаревъ не сразу вошелъ въ старую колею усерднаго журнальнаго труда, и на нѣкоторыхъ статьяхъ его, появившихся въ «Дѣлѣ» 1867 г., нельзя не видѣть отпечатка какого-то внутренняго недомоганія. Рѣзкій переходъ отъ одиночества, въ которомъ онъ сумѣлъ сохранить всю крѣпость и остроту своей духовной организаціи, къ свободѣ, которая еще не создала необходимыхъ для него условій и обстановки успѣшной литературной работы, временно отнялъ у его статей блескъ свѣтлой, быстрой мысли, поражавшій въ его лучшихъ произведеніяхъ. Но мало-по-малу разстройство улеглось. Прежнія привычки ожили въ немъ вмѣстѣ съ любовью ко всякому внѣшнему изяществу, со склонностью къ романтическимъ увлеченіямъ. Онъ попрежнему корректенъ и даже слегка кокетливъ въ своихъ костюмахъ. Его манеры пріобрѣли печать изысканнаго благородства, и весь онъ, со своею деликатностью, благовоспитанностью и нѣкоторою застѣнчивостью, смѣнившею теперь прежнюю юношескую самоувѣренность, долженъ былъ производить, при личномъ свиданіи, подкупающее и даже до нѣкоторой степени трогательное впечатлѣніе. Такимъ именно онъ рисуется въ своей встрѣчѣ съ Тургеневымъ, котораго онъ поразилъ сдержанностью въ разговорѣ на самую жгучую для него, боевую тему о Пушкинѣ. Тургеневъ не скрылъ отъ него своего негодованія по поводу его статей о лучшемъ русскомъ писателѣ, рѣзко подчеркнувъ его безтактность въ истолкованіи пушкинской поэзіи. Не смягчая передъ юнымъ и дерзкимъ критикомъ своего полнаго разногласія въ этомъ важномъ вопросѣ, Тургеневъ могъ ожидать страстной и увѣренной реплики, пылкаго и краснорѣчиваго возраженія съ знакомымъ ему задоромъ писаревскихъ статей. Но Писаревъ, внимательно слушая его, не возражалъ. Тургеневу запомнилась его изящная фигура въ бархатномъ пиджакѣ и общее впечатлѣніе отъ этого свиданія, въ которомъ съ первыхъ-же моментовъ выступалъ его прямой и честный умъ, не пугающійся никакой правды.

Съ оживленіемъ старыхъ манеръ и привычекъ, въ Писаревѣ пробудилась съ новою силою мечта, волновавшая его съ юношескихъ лѣтъ, претерпѣвшая многія перемѣны и испытанія, не покидавшая его даже среди вдохновенныхъ занятій одиночнаго заключенія, мечта объ уютной, отрадной, семейной жизни. Въ томъ-же 1867 г. Писаревъ поселился вмѣстѣ съ своею дальнею родственницею, Маріей Александровной Марковичъ (извѣстною подъ псевдонимомъ Марко-Вовчокъ), разошедшейся съ своимъ мужемъ. Высоко цѣня талантъ Писарева, хотя и не подходя къ нему по темпераменту, быть можетъ, не любя его тою страстною, поэтическою любовью, которой онъ добивался отъ женщинъ, не умѣя побѣждать ихъ силою собственныхъ страстей, она сошлась съ нимъ по инстинкту высокоодаренной, блестящей женщины, стремящейся стать центромъ интеллигентнаго кружка и широкихъ литературныхъ влія-

ній. Пикантная, съ гибкимъ женственнымъ умомъ и вспышками злого и эфектнаго остроумія, она сразу увлекла и даже слегка подчинила себѣ молодого, не избалованнаго судьбою Писарева. Это не было то тихое, ровное счастье, озаряющее минуты отдохновенія отъ тяжелаго литературнаго труда, о которомъ онъ мечталъ. Не уступая ему въ тонкости литературнаго вкуса и остротѣ художественныхъ сужденій, женщина начитанная и съ богатыми жизненными впечатлѣніями, Марко-Вовчокъ не нуждалась въ ученыхъ указаніяхъ и руководствѣ даже со стороны такого человѣка, какъ Писаревъ. Популярная въ обществѣ, полная творческихъ силъ, привлекательная, она въ тѣсномъ кругу домашняго обихода не могла не взять верхъ надъ Писаревымъ, вся духовная сила котораго, не расплываясь по сторонамъ, сосредоточилась на опредѣленной, рѣшительно поставленной публицистической задачѣ, вращалась постоянно въ одной и той-же сферѣ идей и напрягала его мощный, разрушительный талантъ въ извѣстномъ узкомъ направленіи. Писаревъ съ его блестящимъ, сильнымъ и свободнымъ краснорѣчіемъ умолкалъ въ присутствіи этой женщины, которая умѣла нѣсколькими художественными штрихами обрисовать и уязвить цѣлый человѣческій характеръ, выставить его смѣшную сторону и сообщить бесѣдѣ живое, игривое теченіе. В. И. Жуковскій, слегка коснувшись въ своемъ разсказѣ этого момента въ жизни своего друга Писарева, перешелъ отъ краснорѣчія острыхъ и мѣткихъ словъ къ краснорѣчію деликатныхъ недомолвокъ и утонченной, чуть-чуть сатирической мимики. Однажды, разсказывалъ Жуковскій, пріѣхавъ изъ провинціи, онъ нашелъ Писарева одного въ квартирѣ, свободнымъ отъ занятій. Марья Александровна Марковичъ куда-то уѣхала, и два друга могли распорядиться временемъ по старой холостой привычкѣ. Безъ лишнихъ разсужденій, они помчались въ какой-то ресторанъ и, подъ звуки органа, отдались откровенному разговору. Бесѣда затянулась на нѣсколько часовъ. Наконецъ, краснорѣчіе друзей истощилось, а органъ продолжалъ гудѣть. На лицѣ Писарева отразилось явное раздраженіе. Жуковскій отлично помнитъ тотъ моментъ въ ихъ бесѣдѣ, когда Писаревъ, на вопросъ о причинѣ его неудовольствія, отвѣтилъ: «я не люблю ни музыки, ни живописи. Я ничего въ нихъ не понимаю, особенно—въ музыкѣ»... Когда друзья вернулись на квартиру Писарева, имъ сказали, что хозяйка дома, которую не ожидали въ этотъ день, уже пріѣхала. Писаревъ не замедлилъ пройти въ ея комнату, но скоро вернулся оттуда къ Жуковскому и, тщетно стараясь скрыть свое смущеніе, передалъ ему приглашеніе Марьи Александровны къ завтрашнему обѣду, намекая этимъ, что затягивать сегодняшнее свиданіе было-бы не совсѣмъ удобно...

Въ іюнѣ 1867 г. Писаревъ, нѣсколько подчинившійся вліянію г-жи Марковичъ, порываетъ свою давнюю литературную связь съ Благосвѣт-

ловымъ «не изъ принциповъ и даже не изъ-за денегъ», какъ онъ писалъ объ этомъ Шелгунову, а просто изъ-за личныхъ съ нимъ неудовольствій. Благосвѣтловъ поступилъ невѣжливо съ Марко-Вовчокъ, отказался извиниться передъ нею, когда отъ него этого потребовали, твердо замѣтивъ, что если отношенія Писарева къ «Дѣлу» могутъ поколебаться отъ каждой мелочи, то этими отношеніями нечего дорожить. Лишившись постояннаго литературнаго сотрудничества въ журналѣ, Писаревъ сталъ заниматься переводами и выжидать новыхъ обстоятельствъ, которыя поставили-бы его на прежнюю писательскую дорогу. Слава его была слишкомъ громка, чтобы онъ рѣшился занять второстепенное положеніе въ какомъ-нибудь другомъ изданіи, а новаго журнала съ родственнымъ ему направленіемъ пока еще не было. Слухи о преобразованіи «Отечественныхъ Записокъ», съ Некрасовымъ, Елисѣевымъ и Салтыковымъ во главѣ редакціи, еще не получили никакого оправданія. Въ Петербургѣ говорили, что Некрасовъ ведетъ переговоры съ Краевскимъ, но ничего положительнаго не было извѣстно. При томъ-же Писаревъ не могъ надѣяться занять выдающееся положеніе въ журналѣ, составленномъ изъ главнѣйшихъ сотрудниковъ «Современника». «Эта партія, писалъ онъ Шелгунову, меня не любитъ и нѣсколько разъ доказывала печатно, что я очень глупъ. Сомнѣваюсь, чтобы Антоновичъ и Жуковскій захотѣли со мною работать въ одномъ журналѣ». Однако, Писаревъ ошибался, и въ началѣ 1868 г. онъ получилъ приглашеніе участвовать въ возрожденныхъ «Отечественныхъ Запискахъ»—«съ тою степенью свободы, которая совмѣстна съ интересами цѣлаго». Въ короткое время въ этомъ журналѣ появились слѣдующія его статьи: «Старое барство», «Романы Андре Лео», «Мистическая любовь», «Французскій крестьянинъ 1789 г.». Кромѣ того онъ передѣлалъ для «Отечественныхъ Записокъ» два романа: «Принцъ-собачка» Лабулэ и «Золотые годы молодой француженки» Дроза. Ни одна изъ этихъ работъ не была подписана, такъ какъ, по объясненію редакціи «Отечественныхъ Записокъ», съ подписью своего имени онъ хотѣлъ появиться позднѣе, въ самостоятельныхъ критическихъ статьяхъ, которыя выразили-бы зрѣлые результаты его постоянно развивавшейся мысли. Не подлежитъ сомнѣнію, однако, что положеніе Писарева въ новой редакціи, гдѣ вдохновляющую роль долженъ былъ играть Щедринъ, не могло быть ни особенно свободнымъ, ни особенно ловкимъ. Его полемика на страницахъ «Русскаго Слова» была еще слишкомъ жива въ памяти всѣхъ читателей, и его прямая, честная и открытая натура не могла безъ ущерба для себя подчиниться интересамъ того цѣлаго, которое во многомъ не отвѣчало его наиболѣе сильнымъ и оригинальнымъ убѣжденіямъ. «Отечественныя Записки» съ самаго начала пошли совершенно инымъ путемъ, чѣмъ «Русское Слово», и можно сказать съ полною увѣренностью, что рѣзко очерченная индивидуальность

Писарева должна была-бы сдѣлать слишкомъ много принципіальныхъ уступокъ направленію новаго журнала, чтобы вызвать къ себѣ безусловное товарищеское довѣріе со стороны его главныхъ руководителей. Скабичевскій разсказываетъ, что Писаревъ почти никогда не бывалъ въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ». Только два раза онъ видѣлъ его въ квартирѣ Некрасова. Одинъ разъ это было на обѣдѣ, который Некрасовъ давалъ своимъ сотрудникамъ по выходѣ первой книжки журнала. Писаревъ сидѣлъ рядомъ съ Скабичевскимъ, молчаливый, сосредоточенный, нѣсколько растерянный, среди людей мало ему знакомыхъ, въ обществѣ Салтыкова, котораго онъ еще недавно обрызгалъ ядомъ своего безпощаднаго сарказма. Въ другой разъ это было въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ», въ одинъ изъ понедѣльниковъ, когда сотрудники собирались отъ 2 до 4 часовъ, весною 1868 г. На этотъ разъ онъ влетѣлъ въ редакцію веселый, бодрый. Онъ пришелъ, чтобы проститься передъ своимъ отъѣздомъ на лѣто въ Дуббельнъ, на морскія купанья. Онъ оживленно говорилъ, когда въ редакцію вдругъ вошла совершенно незнакомая ему дѣвушка съ большимъ поясннымъ портретомъ его и, узнавши подлинникъ, подошла къ нему съ робкою просьбою подписаться подъ фотографическимъ изображеніемъ. Его самолюбіе, пишетъ Скабичевскій, было польщено этимъ доказательствомъ его популярности, тѣмъ болѣе, что она обнаружилась на глазахъ людей, предъ которыми Писареву должно было быть особенно пріятно выступить въ своемъ настоящемъ значеніи. Это было его послѣднее свиданіе съ сотрудниками журнала. Онъ задумывалъ рядъ статей для будущаго сезона, бросилъ двѣ статьи о Дидро и о современной Америкѣ, потому что случайно сошелся въ выборѣ предмета съ другимъ извѣстнымъ писателемъ, и съ свѣтлыми надеждами говорилъ о своихъ будущихъ литературныхъ занятіяхъ, которыя до сихъ поръ какъ-то не складывались въ настоящую систему. Отъ морскихъ купаній онъ ожидалъ благотворнаго воздѣйствія на разстроенные нервы и ѣхалъ въ Дуббельнъ потому, что не добился офиціальнаго разрѣшенія на поѣздку за-границу. Никто не могъ предположить, что дни Писарева были тогда уже сочтены. 4-го іюля онъ вышелъ, по обыкновенію, купаться въ морѣ. Недалеко отъ него, разсказываетъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» Суворинъ, купались другіе больные и видѣли, какъ онъ началъ биться въ водѣ. Они подумали, что Писаревъ дѣлаетъ обыкновенныя движенія. Вдругъ его тѣло приняло ненормальное положеніе, — къ нему бросились, вынесли его на берегъ, призвали трехъ мѣстныхъ докторовъ... Но всѣ усилія возбудить молодую жизнь оказались уже напрасными. «Очевидно, прибавляетъ Суворинъ, съ Писаревымъ сдѣлался тотъ-же нервный ударъ, который поразилъ его разъ во время студентства, среди шумной бесѣды съ друзьями», какъ это описано въ воспоминаніяхъ По-

левого. Съ разрѣшенія администраціи тѣло Писарева было привезено въ Петербургъ, и 29 іюля состоялись его похороны на Волковомъ кладбищѣ. Въ 1 ч. пополудни отъ воротъ Маріинской больницы двинулось погребальное шествіе, сопровождаемое довольно многочисленной толпой друзей и почитателей покойнаго. Несмотря на тяжесть свинцоваго гроба, его сняли съ катафалка и несли на рукахъ поперемѣнно до самаго кладбища. Въ публикѣ было не мало дамъ.

— Кого это хоронятъ? спрашивали многіе по дорогѣ.

И узнавъ, что хоронятъ Писарева, примыкали къ толпѣ и шли безъ шапокъ до самой могилы.

Когда гробъ былъ опущенъ въ землю противъ могилы Добролюбова, черезъ дорожку, на его крышку посыпались цвѣты. Воцарилось долгое, глубокое молчаніе. Наконецъ, начались рѣчи. Говорили Павленковъ, Гирсъ, Гайдебуровъ и Благосвѣтловъ. Два оратора бросили другъ въ друга полемическія копья. Другіе говорили задушевно, дружески, горячо. Рѣчь Благосвѣтлова произвела сильное впечатлѣніе. Дамы громко рыдали. Гирсъ прочелъ два стихотворенія... По окончаніи погребенія многими было выражено желаніе почтить память покойнаго учрежденіемъ при Петербургскомъ университетѣ стипендіи его имени, и тотчасъ-же была собрана довольно значительная сумма въ 700 рублей.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Первые литературные шаги Писарева.

Библіографическія замѣтки Писарева въ журналѣ „Разсвѣтъ“.—Эмансипація женщины.—Три статьи о Гончаровѣ, Тургеневѣ и Толстомъ.—Эстетическіе, моральные и религіозные взгляды Писарева въ этомъ періодѣ его литературной дѣятельности.—Первые шаги его въ „Русскомъ Словѣ“.—Безплодное обличеніе нравовъ.—Книжки для народа.—Идеи Платона предъ судомъ Писарева.—Схоластика XIX вѣка.—Торжество матеріализма.—Компилятивныя статьи по естествознанію.—Характеристики Писемскаго, Тургенева, Гончарова.—Нападки на Фета и Полонскаго.—Базаровъ.—Ошибка Писарева въ характеристикѣ этого типа.—Паденіе и смерть Базарова.—Статья Н. Страхова объ „Отцахъ и дѣтяхъ“.

I.

Свои первые литературные шаги Писаревъ сдѣлалъ, какъ мы уже знаемъ, въ журналѣ «Разсвѣтъ», предназначенномъ для взрослыхъ дѣвицъ. Приступивъ къ этому изданію, В. Кремпинъ изложилъ свою программу въ отдѣльной замѣткѣ «Отъ редакціи», написанной витіеватымъ слогомъ, съ нѣкоторою наивностью юнаго ратоборца въ совершенно новой для него области литературнаго служенія обществу. Современная русская жизнь рисуется Кремпину въ чрезвычайно яркихъ краскахъ. Историческій моментъ, въ который ему пришлось выступить на поприщѣ журналистики, кажется ему преисполненнымъ великихъ задачъ, для разрѣшенія которыхъ уже имѣются необходимыя умственныя и нравственныя силы. Геній преобразованія паритъ надъ русскою землею, съ паѳосомъ восклицаетъ редакторъ «Разсвѣта». Плавнымъ, неторопливымъ полетомъ онъ проникаетъ въ толпы народа, стряхнувшаго съ себя прежнюю умственную инерцію, закоснѣлую отсталость извѣстныхъ привычекъ и пристрастій. Носясь надъ огромнымъ пространствомъ Россіи, онъ заглядываетъ повсюду. Шире растворилъ онъ двери высшихъ учебныхъ заведеній, повсюду разбросалъ онъ многочисленныя сѣти но-

выхъ путей. Желая связать въ одно духовное цѣлое высшіе и низшіе классы, заглянулъ онъ и въ крестьянскую избу. Наконецъ, на разсвѣтѣ новаго дня, добрый геній разбудилъ и спящую русскую женщину, указавъ ей на тотъ путь, по которому она должна идти, чтобы сдѣлаться гражданкою и приготовить себя къ высокому долгу—«быть воспитательницею новаго, возрождающагося поколѣнія». Кремпинъ считаетъ своимъ долгомъ громко провозгласить, что цѣль «Разсвѣта»—возбудить сочувствіе молодыхъ читательницъ къ тому направленію, которое приняло русское общество въ послѣднее время и которое слило въ одно живое ученіе новѣйшія идеи и христіанскую философію. Онъ не смѣетъ думать, что журналъ его будетъ имѣть сильное вліяніе на женское образованіе, но онъ будетъ твердо проводить только извѣстныя мысли, не уклоняясь отъ главнаго предмета, не увлекаясь никакими посторонними для педагогическаго изданія задачами... Давъ затѣмъ самую краткую характеристику важнѣйшихъ отдѣловъ «Разсвѣта», Кремпинъ въ заключеніе объявляетъ, въ немногихъ строкахъ, что въ его журналѣ будетъ помѣщаться подробная библіографія, предназначенная впрочемъ, не для дѣвицъ, а для родителей и наставниковъ, чтобы, во-первыхъ, сообщить имъ новыя педагогическія идеи о женскомъ воспитаніи и, во-вторыхъ, чтобы дать имъ возможность руководить чтеніемъ и развитіемъ своихъ дочерей [1])...

Въ этомъ библіографическомъ отдѣлѣ «Разсвѣта» Писаревъ и началъ свою журнальную дѣятельность. Въ рядѣ краткихъ, сжатыхъ и мѣткихъ рецензій онъ сразу обнаружилъ свой природный литературный талантъ, широко развернувшійся, однако, только впослѣдствіи, на страницахъ «Русскаго Слова», внѣ узкой, стѣсняющей рамки журнала съ чисто педагогическими цѣлями и сокращенною программою изданія, предназначеннаго для ограниченнаго круга читателей. Писаревъ быстро освоился съ предоставленнымъ ему дѣломъ. Откликаясь на прогрессивные запросы времени, онъ въ грудѣ литературныхъ матеріаловъ, приходившихъ въ редакцію, постоянно выбираетъ то, что можетъ дать поводъ съ большею или меньшею полнотою обсудить увлекательный и важный вопросъ о женской эмансипаціи. Съ чуткостью партійнаго бойца, онъ улавливаетъ каждый прогрессивный намекъ, который подъ его краснорѣчивымъ перомъ развертывается въ рядъ стремительныхъ, смѣлыхъ разсужденій, отличающихся удивительною прямотою. Повсюду въ его рецензіяхъ виденъ живой умъ, несклонный къ уступкамъ, нигдѣ не теряющій власти надъ собою, умъ рѣшительный и упорный въ каждомъ изъ своихъ доказательствъ. Повсюду онъ является убѣжденнымъ поборникомъ самаго широ-

[1]) «Разсвѣтъ», журналъ наукъ, искусствъ и литературы для дѣвицъ, 1859 г., т I, стр. I—VI.

каго взгляда на задачу женскаго воспитанія и образованія. Въ наше время, говоритъ онъ, большинство женщинъ, при самыхъ благородныхъ стремленіяхъ, при самомъ тепломъ, искреннемъ желаніи принести пользу обществу, часто не имѣетъ никакихъ средствъ благотворно воздѣйствовать даже на свой домашній кругъ. Не получивъ основательнаго образованія, онѣ не могутъ воспитать своихъ дѣтей сообразно съ требованіями и духомъ времени. Всѣ виды гражданской дѣятельности, наука, литература, искусство, при современныхъ условіяхъ жизни, почти недоступны женщинѣ. Все воспитаніе женщины направлено къ тому, чтобы поставить ее въ полную, безотвѣтную зависимость отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Но справедливо-ли такое положеніе вещей? Почему женщинѣ не заняться наукою для науки? Почему ей не посвятить себя искусству, если она чувствуетъ къ нему внутреннее призваніе? Излагая въ одномъ мѣстѣ взгляды Фенелона, Писаревъ высказывается за полное расширеніе ея гражданскихъ правъ. Но выступая борцомъ за женскую эмансипацію, Писаревъ не хочетъ, однако, замалчивать тѣхъ фактовъ, которые онъ считаетъ порожденіемъ историческихъ обстоятельствъ. «Больно и грустно видѣть, пишетъ онъ, что часто лучшія наши женщины не умѣютъ мыслить, не проводятъ даже на словахъ ни одной идеи до конца, строятъ странные силлогизмы, увлекаются воображеніемъ и чувствомъ и часто, совершенно не кстати, даютъ имъ перевѣсъ надъ логическими доводами ума [1])». Надо передѣлать въ принципѣ все воспитаніе женщины. Уравновѣсивъ въ ней умъ и чувство, надо пріучить ее къ самостоятельному анализу сложныхъ жизненныхъ явленій, надо пріучить ее «послѣдовательно, безъ увлеченія, но съ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ проводить въ жизнь добытыя убѣжденія». Вотъ въ чемъ заключается настоящая эмансипація женщины. Внесите въ женское воспитаніе науку во всемъ ея строгомъ величіи, и дѣло эмансипаціи двинется по вѣрному пути. Дайте женщинѣ убѣжденія, и она завоюетъ себѣ подобающее положеніе въ обществѣ. Откройте ей доступъ къ умственному свѣту, и вѣрная своимъ природнымъ силамъ, впечатлительная къ красотѣ, легкая и гибкая при самыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ, она внесетъ движеніе и живыя страсти въ стоячія воды семейнаго и общественнаго быта.

Среди этихъ убѣжденныхъ разсужденій о женскомъ вопросѣ, имѣющихъ теоретическій характеръ, мѣстами въ рецензіяхъ Писарева мелькнетъ невольное замѣчаніе, выдающее юношескую грезу о личномъ счастьѣ — безбурномъ, спокойномъ, ровномъ. Самая идея женской эмансипаціи часто выступаетъ у него въ скромныхъ словахъ безъ всякаго звона и даже съ оговорками, которыя едва-ли отвѣчали радикальнымъ запросамъ времени. Онъ не разрушаетъ въ корнѣ старыхъ представле-

[1]) «Разсвѣтъ», 1859, № 8. Библіографія, стр. 61.

ній объ этомъ предметѣ. Выступая подъ новымъ прогрессивнымъ знаменемъ, онъ хотѣлъ бы только восполнить пробѣлъ въ современной ему системѣ женскаго воспитанія, расширить самое понятіе о женской личности и тѣмъ какъ бы намѣтить программу необходимыхъ реформъ въ соціальной жизни русскаго общества. Его смѣлая критика, воюя съ предразсудками, не трогаетъ нѣкоторыхъ «святынь», съ которыми связаны духовные интересы человѣка. Прокладывая новые пути въ этомъ важномъ соціальномъ вопросѣ, онъ нигдѣ не доводитъ своего анализа до крайнихъ предѣловъ. Самостоятельность женщины, говоритъ въ одномъ мѣстѣ Писаревъ, состоитъ въ *разумномъ* употребленіи тѣхъ способностей, которыя вложила въ нее природа, а не въ пустомъ нарушеніи «безвредныхъ условій общественности» [1]). Эмансипація женщины, пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, «состоитъ не въ безплодномъ ниспроверженіи общественныхъ приличій, а въ реформѣ женскаго воспитанія» [2]). Жоржъ-Зандъ отнеслась къ вопросу о самостоятельности женщины не такъ, какъ слѣдовало. Не имѣя власти надъ своими крайними идеями, она потребовала уничтоженія разныхъ неосмысленныхъ законовъ и сама же первая ихъ нарушила. Въ этой области вся агитаціонная работа Жоржъ-Зандъ не могла дать благихъ результатовъ. Она впала въ роковую ошибку, потребовавъ независимости для женщины,— «тогда какъ слѣдовало сначала требовать для женщины серьезнаго образованія». Нападая на внѣшнія стѣсненія, «основанныя на внутренней слабости и неразвитости самой женщины», Писаревъ хотѣлъ бы, чтобы вопросъ о женскомъ воспитаніи и образованіи былъ подвергнутъ спокойному и хладнокровному обсужденію. Надо понять истинное назначеніе женщины, чтобы, не увлекаясь никакой теоріей, незыблемыми доводами оградить ея лучшія права подруги мужа, матери и воспитательницы своихъ дѣтей. «Женщина, близкая къ идеалу, развитая во всѣхъ отношеніяхъ, всегда будетъ и хорошею женою и примѣрною матерью»,—съ догматическою твердостью изрекаетъ отважный, блестящій, но не глубокій Писаревъ. Мужъ имѣетъ право, говоритъ онъ въ одной рецензіи, *требовать* отъ жены не только любви, но и дружбы, «а для дружбы необходимо взаимное уваженіе и одинаковое развитіе». Мужъ *долженъ* найти въ женѣ сочувствіе. Имѣя высшія духовныя потребности, онъ *долженъ* удовлетворять ихъ въ семейномъ кругу, при содѣйствіи развитой жены, «способной мыслить и усваивать себѣ отвлеченныя идеи». Мѣняя аргументы въ борьбѣ за эмансипаціонную идею, Писаревъ никогда не измѣняетъ главному, какъ онъ его понимаетъ, принципу женскаго воспитанія. Старая догма остается неприкосновенною. При

[1]) „Разсвѣтъ", 1859, № 7, *Русскія періодическія изданія*, стр. 15.

[2]) Ibidem, 1859, № 11, *Русскія періодическія изданія*, стр 51—52.

всемъ публицистическомъ радикализмѣ, разсужденія Писарева парятъ не высоко надъ землею, не освѣщая глубинъ вопроса, не открывая никакихъ новыхъ умственныхъ горизонтовъ. Передовая тенденція, по плечу самому среднему читателю, нерѣдко пробивается у него между двумя прозаическими по содержанію, но зажигательными по формѣ тирадами о женской самостоятельности—въ простодушной, наивной мечтѣ о какомъ-то особенномъ семейномъ строѣ, съ интеллигентною, прогрессивною женою у кормила правленія. Какія свѣтлыя перспективы! Какое широкое поприще открыто для передовой женщины! О мужѣ не приходится говорить,—его дѣло ясно, его служеніе обществу, какія бы формы оно ни приняло, историческими силами выведено на вѣрную дорогу. Все дѣло въ *ней*. Какъ *она* устроится при новыхъ понятіяхъ, получившихъ осуществленіе въ прогрессивной системѣ воспитанія? Чѣмъ наполнитъ она часы, свободные отъ прямыхъ и самыхъ важныхъ для нея обязанностей? Писаревъ съ юношескимъ увлеченіемъ набрасываетъ слѣдующую картину, которая въ свое время, вѣроятно, производила впечатлѣніе на пылкое воображеніе молодыхъ читательницъ. Въ прогрессивной семьѣ женщина имѣетъ свое опредѣленное дѣло. Она занимается журнальными переводами, и при этомъ она вовсе не теряетъ своей материнской нѣжности. Сидя «надъ денежными работами», она ни на минуту не забываетъ о своемъ ребенкѣ, и свѣтлыя мысли, одна увлекательнѣе другой, возбуждаютъ въ ней энергію въ тяжелыя минуты труда, нужды, физической или умственной усталости. Осмысленная дѣятельность развиваетъ въ ней силу ума, не уничтожая естественныхъ чувствъ и побужденій, вложенныхъ въ нее природою... [1]).

Въ двѣнадцати книгахъ «Разсвѣта» 1859 года библіографическій отдѣлъ, руководимый Писаревымъ, былъ однимъ изъ самыхъ яркихъ и живыхъ въ журналѣ. Кремпинъ не могъ найти для себя лучшаго сотрудника, чѣмъ Писаревъ, въ средѣ студенческой молодежи, которая постоянно, во всѣ эпохи, высылала на журнальное поле своихъ бойкихъ, смѣлыхъ ратоборцевъ и застрѣльщиковъ передового движенія. Добролюбовъ тоже началъ свою литературную карьеру еще на скамьѣ Педагогическаго института и началъ съ полнымъ успѣхомъ, сразу возбудивъ своимъ острымъ, ядовитымъ перомъ журнальныя страсти и сразу-же сдѣлавшись блестящею надеждою «Современника», товарищемъ и другомъ Чернышевскаго. Подобно Добролюбову, Писаревъ выступаетъ съ небольшими рецензіями, написанными въ сдержанномъ, но смѣломъ тонѣ, закругленными, безупречно литературными періодами, отражающими свѣтлое и ровное настроеніе. Не вдаваясь въ настоящую критику, онъ постоянно заботится о логической полнотѣ проводимой имъ публицистической мысли

[1]) „Разсвѣтъ“, 1859, № 7, *Русскія періодическія изданія*, стр. 14.

и лишь моментами, уступая порывамъ прирожденнаго таланта и внутренней потребности писать изящными красками, онъ дѣлаетъ немногія частныя замѣчанія, обличающія тонкій вкусъ даровитаго литератора и цѣнителя художественныхъ произведеній. Три рецензіи Писарева объ «Обломовѣ», «Дворянскомъ гнѣздѣ» и «Трехъ смертяхъ», напечатанныя въ послѣднихъ книгахъ «Разсвѣта», должны были обратить на себя всеобщее вниманіе — по тону, по мѣткости отдѣльныхъ художественныхъ характеристикъ. Въ этихъ замѣткахъ нельзя было не увидѣть прямого критическаго таланта съ эстетическимъ чутьемъ къ красотѣ, съ умѣньемъ проникаться художественными идеями. Для молодого студента, который только еще испытывалъ свои литературныя силы, эта блистательная проба пера надъ первоклассными произведеніями искусства была настоящимъ тріумфомъ. Мы уже знаемъ, что Гончаровъ отдалъ рецензіи Писарева предпочтеніе передъ многими другими разсужденіями объ его романѣ. Въ статейкѣ о «Дворянскомъ гнѣздѣ» попадаются психологическія опредѣленія, рисующія оригинальныя особенности Тургеневскаго художественнаго письма выразительно, рельефно. Съ убѣжденіемъ умнаго эстетика, легко и свободно разбирающагося въ самыхъ тонкихъ, внутреннихъ движеніяхъ художественной идеи, Писаревъ, подъ конецъ своей статьи, воздаетъ Тургеневу справедливую хвалу за то, что онъ не держитъ въ своемъ романѣ открыто передъ всѣми никакой внѣшней тенденціи. «Чѣмъ менѣе художественное произведеніе, говоритъ онъ, сбивается на поученіе, тѣмъ безпристрастнѣе художникъ выбираетъ фигуры и положенія, которыми онъ намѣренъ обставить свою идею, тѣмъ стройнѣе и жизненнѣе его картина, тѣмъ скорѣе онъ достигнетъ ею желаннаго дѣйствія» [1]). Въ романѣ нѣтъ ни тѣни дидактизма, а между тѣмъ встающая въ немъ картина русской жизни полна смысла и отражаетъ въ себѣ цѣлую эпоху. При этомъ на всемъ произведеніи лежитъ печать опредѣленной національности, переданной съ настоящею глубиною художественнаго пониманія, очищенной и осмысленной огромною силою поэтическаго таланта.

Въ разборѣ «Трехъ смертей» Писаревъ открываетъ типическія особенности художественнаго творчества Толстого. Еще не имѣя передъ собою настоящаго Толстого, во всей громадности его беллетристическаго таланта и сложныхъ внутреннихъ страстей, выведшихъ его на путь моральнаго и религіознаго проповѣдничества, Писаревъ, тѣмъ не менѣе, съ прозорливостью тонкаго критика, улавливаетъ главные признаки этого исключительнаго, титаническаго дарованія. На немногихъ страницахъ образъ молодого Толстого встаетъ въ правдивыхъ и смѣлыхъ чертахъ, съ яркимъ выраженіемъ поэтической вдохновенности. Литературныя

[1]) «Разсвѣтъ», 1859. № 11, *Русскія книги*, стр. 40.

достоинства «Трехъ смертей», глубокій философскій смыслъ этого произведенія, его скрытый пафосъ, который даетъ себя чувствовать за эпически спокойными чертами простого разсказа—все это отмѣчено съ полнымъ знаніемъ дѣла, въ превосходныхъ фразахъ, чуждыхъ всякой искусственности. Никто, говоритъ Писаревъ, не простираетъ своего анализа далѣе Толстого. Никто такъ глубоко не заглядываетъ въ душу человѣка. У какого автора мы найдемъ такую упорную, неумолимую послѣдовательность въ разборѣ самыхъ сокровенныхъ побужденій, самыхъ мимолетныхъ и, повидимому, случайныхъ движеній души? Читая произведенія Толстого, мы видимъ, какъ формируется въ человѣкѣ извѣстная мысль, черезъ какія видоизмѣненія она проходитъ, какъ вдругъ просыпается и разыгрывается въ немъ воображеніе и какъ, въ самомъ разгарѣ мечтаній, грубая жизненная дѣйствительность разбиваетъ самыя пылкія надежды. Таинственныя, неясныя влеченія передаются у него въ словахъ, не разсѣевающихъ фантастическаго тумана. Нѣкоторыя картины возникаютъ у него какъ-бы внезапно, отъ единаго взмаха пера. Природа и человѣкъ живутъ у него одною жизнью, выступающею въ линіяхъ и контурахъ, доступныхъ осязанію. Желая дать своимъ читателямъ непосредственное представленіе о талантѣ Толстого, критикъ дѣлаетъ нѣсколько выписокъ изъ его разсказа, которыя должны говорить сами за себя. Этимъ способомъ онъ наглядно показываетъ настоящія достоинства этого художественнаго произведенія, достоинства, которыя заключаются «не во внѣшнемъ планѣ, не въ нити сюжета, а въ способѣ его обработки, въ группированіи подмѣченныхъ частностей, дающихъ цѣлому жизнь и опредѣленную физіономію» [1]).

Вотъ съ какими критическими взглядами подходилъ къ литературнымъ произведеніямъ Писаревъ въ 1859 году, на страницахъ «Разсвѣта», наканунѣ жаркой, но безплодной битвы съ Пушкинымъ. Въ этихъ эстетическихъ и по содержанію и по тону разсужденіяхъ еще нельзя открыть будущаго Писарева, стремительнаго діалектика съ блестящими, но фальшивыми парадоксами, съ разрушительнымъ задоромъ противъ всякаго искусства, съ мятежными страстями, направленными въ ложную сторону поддѣльною и жалкою философіею бурной эпохи журнальныхъ препирательствъ. Онъ оцѣниваетъ художественныя произведенія, прислушиваясь къ своему природному эстетическому чутью. Въ отрывочныхъ фразахъ, никогда не поражающихъ ни парадоксальностью, ни глубиною теоретическаго анализа, можно прослѣдить наиболѣе извѣстныя, наиболѣе популярныя истины, составляющія азбуку всякаго критическаго мышленія, но ни въ одной изъ раннихъ замѣтокъ Писарева мы не найдемъ и слабаго отблеска устойчивой доктрины, владѣющей всѣми его настроеніями

[1]) „Разсвѣтъ“ 1859. № 12. *Русскія періодическія изданія*, стр. 74.

и убѣжденіями. Его отдѣльные взгляды отличаются логическою простотою, не требующей серьезной критики, но и эти взгляды, безъ сомнѣнія, могли-бы блестяще развернуться съ теченіемъ времени, если-бы Писаревъ такъ быстро не измѣнилъ своему природному таланту, если-бы онъ не отравилъ своего ума эстетическимъ ученіемъ, не заключающимъ въ себѣ никакой глубокой мысли, хотя и выраженнымъ съ большою страстью. Молодой Писаревъ стоялъ на вѣрномъ пути, когда изготовлялъ свои небольшія, но всегда талантливыя рецензіи для журнала Кремпина. Собираясь давать постоянные отчеты о прочитанныхъ имъ произведеніяхъ, онъ прямо заявляетъ, къ чему будутъ по преимуществу тяготѣть его симпатіи. «Литературныя произведенія, повѣсти, романы, говоритъ онъ, въ которыхъ свѣтлая, живая мысль представлена въ живыхъ образахъ, займутъ безспорно первое мѣсто въ нашемъ обзорѣ. На это есть причина. Прекрасная мысль, представленная въ художественномъ разсказѣ, проведенная въ жизнь, сильнѣе, глубже подѣйствуетъ на молодую душу, оставитъ болѣе благотворные и прочные слѣды, нежели отвлеченное разсужденіе» [1]). Его задача, какъ литературнаго критика, должна заключаться въ томъ, чтобы уловить идею художественнаго произведенія и затѣмъ, оцѣнивъ ея вѣрность, прослѣдить, какимъ образомъ «она вложилась въ образы», соотвѣтствующіе ея содержанію. Отъ каждой повѣсти онъ требуетъ вѣрности характеровъ, живости дѣйствія и, при болѣе или менѣе серьезномъ замыслѣ писателя, художественной комбинаціи событій, проводящихъ опредѣленную мысль безъ всякой натяжки и тенденціознаго усилія. «Повѣсть, по нашимъ современнымъ понятіямъ, рѣшительно заявляетъ Писаревъ,—должна быть не нравоученіемъ въ лицахъ, а живымъ разсказомъ, взятымъ изъ жизни». Рука автора должна быть для насъ совершенно незамѣтна.

О самомъ эстетическомъ наслажденіи художественнымъ произведеніемъ Писаревъ выражается постоянно съ пылкимъ сочувствіемъ. Человѣку свойственно стремленіе къ прекрасному, пишетъ онъ въ одной рецензіи, и настоящее эстетическое образованіе должно пріучать его любить и понимать красоту. Говоря о русской лирической поэзіи, этотъ будущій врагъ искусства въ его лучшихъ образцахъ не находитъ никакихъ словъ для опредѣленія наиболѣе сильныхъ ея сторонъ. «Никакая характеристика, заявляетъ онъ, не можетъ дать полнаго понятія о поэзіи Пушкина или юморѣ Гоголя, не можетъ замѣнить того эстетическаго наслажденія, которое доставляетъ чтеніе ихъ произведеній» [2])...

Между этими отрывочными сужденіями въ рецензіяхъ «Разсвѣта» разсѣяно множество замѣчаній, выражающихъ симпатію Пи-

---

[1]) «Разсвѣтъ» 1859. № 1. *Библіографія*, стр. 2.

[2]) Ibidem, 1859. № 1. *Русскія книги*, стр. 13.

сарева къ нравственнымъ и религіознымъ идеямъ. Нѣжными словами отмѣчаетъ онъ «теплую вѣру» и глубокое чувство «истиннаго христіанина» въ связи съ нѣсколькими замѣчаніями о «великомъ, священномъ событіи нашего искупленія [1])». Въ разныхъ мѣстахъ мы читаемъ о *святости* долга, о томъ, что каждый человѣкъ самъ управляетъ своею судьбою, что истинное развитіе ведетъ человѣка къ нравственному совершенству, научая его находить для себя счастье «въ самомъ процессѣ самосовершенствованія [2])» Надо отыскивать истину ради истины, ибо только этимъ способомъ человѣкъ развиваетъ свои умственныя силы, дѣлается нравственнѣе и чище, говоритъ съ увлеченіемъ Писаревъ. «Безкорыстный трудъ, пишетъ онъ, приноситъ съ собою самую прекрасную награду: онъ даетъ человѣку тихое внутреннее удовлетвореніе, сознаніе исполненнаго долга, онъ вырабатываетъ въ немъ твердость убѣжденій и самостоятельный, безстрастный и, въ то же время, полный теплаго сочувствія взглядъ на людей и на жизнь». Въ наше время, прибавляетъ Писаревъ въ другомъ мѣстѣ, наука не ведетъ ни къ отрицанію законовъ нравственности, ни къ отрицанію истинъ религіи. Ратуя за лучшее воспитаніе молодого поколѣнія, Писаревъ бросаетъ на страницы слѣдующія краснорѣчивыя фразы: «Благотворное вліяніе природы на молодую душу можетъ только тогда достигнуть полнаго своего развитія, когда вліяніе это будетъ, по возможности, осмысленно, когда наставники поставятъ воспитанницъ лицомъ къ лицу съ природою, когда они укажутъ имъ на ея вѣчныя красоты, научатъ ихъ дорожить тѣмъ святымъ чувствомъ радости и благоговѣнія, которое возбуждаютъ въ насъ просторъ, свѣтъ, чистый воздухъ, зелень лѣса, поля,—словомъ, все то, что живетъ, въ чемъ проявляется вѣчная премудрость Творца»... [3]).

II.

Въ «Русскомъ Словѣ» имя Писарева впервые появляется въ декабрѣ 1860 г. Онъ выступаетъ въ качествѣ переводчика поэмы Гейне «Атта Троль» и автора злой, но мѣстами справедливой рецензіи, написанной по поводу вышедшаго въ Москвѣ «Сборника стихотвореній иностранныхъ поэтовъ», В. Костомарова и Ѳ. Берга. Стихотворный переводъ Писарева не отличается никакими особенными достоинствами и, несмотря на полную вѣрность подлиннику, совершенно не передаетъ его великолѣпныхъ, поэтическихъ красокъ, озаренныхъ удивительнымъ сатирическимъ остроуміемъ. Разборъ небольшой московской книжки занимаетъ нѣсколько печатныхъ страницъ и, по сравненію съ рецензіями «Разсвѣта», произво-

[1]) «Разсвѣтъ», 1859. № 1, стр. 3

[2]) Ibidem, № 11. *Русскія книги*, стр. 35.

[3]) «Разсвѣтъ», 1859. № 8. *Русскія періодическія изданія*, стр. 79

дитъ впечатлѣніе черезчуръ суроваго литературнаго приговора, въ которомъ собственно эстетическая идея играла второстепенную роль. Черезъ полтора года по напечатаніи этой рецензіи Писареву пришлось вернуться къ переводамъ Костомарова и Берга, и тогда онъ въ гнѣвной статейкѣ, напечатанной въ маѣ мѣсяцѣ 1862 года, безпощадно раскритиковалъ новый сборникъ стихотвореній подъ названіемъ «Поэты всѣхъ временъ и народовъ». Но, несмотря на быстрое развитіе Писарева въ извѣстномъ направленіи, объ эти рецензіи образуютъ одно согласное цѣлое безъ малѣйшаго внутренняго противорѣчія между отдѣльными мыслями и сужденіями. То, что въ менѣе рѣшительныхъ фразахъ только намѣчено въ рецензіи 1860 г., то въ критической замѣткѣ, появившейся черезъ восемнадцать мѣсяцевъ, выражено въ самыхъ энергическихъ, смѣлыхъ словахъ, безъ всякой оговорки, съ явнымъ презрѣніемъ къ какимъ бы то ни было чисто эстетическимъ или поэтическимъ красотамъ. Въ короткій промежутокъ времени, наполненный многочисленными литературными трудами самаго разнообразнаго содержанія, Писаревъ успѣшно овладѣваетъ настроеніемъ эпохи и, недавній моралистъ и эстетикъ, онъ вдругъ выступаетъ ярымъ фанатикомъ самой крайней реалистической философіи. Его богатая, плавная рѣчь, прежде сверкавшая въ патетическія минуты красивыми образами, а теперь охлажденная новыми понятіями, пріобрѣла особенную рѣзкость. Его полемическая насмѣшка, проникнутая непримиримою злобою, звучитъ обидно, дерзко, вызывая отвѣтное раздраженіе. Наслажденіе самимъ искусствомъ, прежде имѣвшее такое большое значеніе въ глазахъ Писарева, теперь уже признано вредною забавою, недостойною серьезнаго, мыслящаго человѣка. Писаревъ быстро переродился въ новой журнальной атмосферѣ, насыщенной эстетическими и философскими идеями Чернышевскаго, статьи котораго въ то время волновали весь литературный міръ. Онъ сдѣлался партизаномъ извѣстнаго литературнаго движенія, и критика въ его рукахъ стала мало-по-малу превращаться въ орудіе публицистической агитаціи, совершенно не считающейся съ самостоятельными задачами и цѣлями художественнаго творчества. Его литературныя сужденія, выигравъ въ рѣзкости тона, приняли направленіе, прямо враждебное тонкому, чуткому воспріятію поэтическихъ впечатлѣній. Уже въ рецензіи, написанной о «Сборникѣ стихотвореній иностранныхъ поэтовъ», слышится неудовольствіе по поводу литературныхъ произведеній, въ которыхъ свободно развивается чисто-лирическое содержаніе, безъ малѣйшаго оттѣнка гражданственной сатиры. Въ библіографической замѣткѣ о томъ же предметѣ въ «Русскомъ Словѣ» 1862 года это неудовольствіе, какъ мы уже говорили, пріобрѣтаетъ характеръ яснаго протеста съ сатирическимъ издѣвательствомъ надъ разными «цвѣтистыми» опредѣленіями поэтическаго искусства. Писаревъ глумится не

только надъ невинными переводчиками, но совершенно откровенно, не чувствуя комизма своихъ словъ, бьетъ полемическою насмѣшкою даже Карлейля—критика съ неподражаемымъ талантомъ и пламеннымъ краснорѣчіемъ пророка. В. Костомаровъ приводитъ въ предисловіи, предшествующемъ переводу нѣкоторыхъ стихотвореній англійскаго поэта Бэрнса, отдѣльныя опредѣленія и выраженія изъ критической статьи о немъ, написанной Карлейлемъ. Карлейль оставилъ въ англійской литературѣ цѣлый рядъ безподобныхъ характеристикъ и между ними статья его о Бэрнсѣ занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Онъ родился поэтомъ, пишетъ Карлейль, и поэзія была «небеснымъ элементомъ его существа [1])». На ея крыльяхъ онъ уносился въ область чистѣйшаго эфира. «Низко подъ его ногами лежали гордость и страсти свѣта. Онъ одинаково смотрѣлъ внизъ и на благородныхъ, и на рабовъ, и на князей, и на нищихъ,—смотрѣлъ своимъ яснымъ взглядомъ, съ братскою любовью, съ сочувствіемъ и съ состраданіемъ». Цитируя эти фразы изъ статьи Костомарова, Писаревъ ехидно смѣется надъ ихъ «цвѣтистымъ» содержаніемъ. Карлейль облекъ въ поэтическую ризу самую простую мысль, которую можно было-бы передать слѣдующими прозаическими словами: «Робертъ Бэрнсъ былъ честный человѣкъ, никого не обманывалъ и ни передъ кѣмъ не подличалъ». Въ другомъ мѣстѣ, дѣлая параллельную характеристику Бэрнса и Байрона, Карлейль говоритъ: «Байронъ и Бэрнсъ были оба миссіонеры своего времени. Цѣль ихъ миссіи была одна и та-же—научить людей чистѣйшей истинѣ. Они должны были исполнить цѣль своего призванія—тяжко лежало на нихъ это божественное повелѣніе. Они изнывали въ тяжелой, болѣзненной борьбѣ, потому что не знали ея точнаго смысла: они предугадывали его въ какомъ-то таинственномъ предчувствіи, но должны были умереть, не высказавши его ясно [2])». Эти вдохновенныя фразы, отражающія цѣлую историческую философію, не возбуждаютъ въ Писаревѣ ничего, кромѣ желанія отшутиться ироническимъ замѣчаніемъ. Карлейль вѣритъ въ какія-то историческія миссіи! Онъ не только пишетъ красиво, но и думаетъ красиво, такъ что «вы, при всѣхъ усиліяхъ, не дороетесь ни до какой простой человѣческой мысли»!..

Рецензія о «Сборникѣ стихотвореній иностранныхъ поэтовъ» была только первымъ дебютомъ Писарева въ критическомъ отдѣлѣ «Русскаго Слова». За нею послѣдовали двѣ небольшихъ статьи, довольно близкихъ по содержанію, объ «Уличныхъ типахъ» А. Голицынскаго и разныхъ книжкахъ для простого народа. Обѣ эти статьи написаны съ литературнымъ жаромъ. Писаревъ возмущается, въ замѣткѣ о книгѣ

[1]) Поэты всѣхъ временъ и народовъ, Москва, 1862, стр. 45.

[2]) Ibidem, стр. 47.

Голицынскаго, всякимъ безплоднымъ обличеніемъ нравовъ, если оно не обнаруживаетъ умѣнья разглядывать настоящую физіономію народа за его случайною, «историческою маскою». Необходимо, чтобы обличеніе не было клеветою на жизнь, говоритъ Писаревъ. Необходимо, чтобы оно было не «камнемъ, брошеннымъ въ грѣшника, а осторожнымъ и бережнымъ раскрытіемъ раны, на которую мы не имѣемъ права смотрѣть съ ужасомъ и отвращеніемъ». Если писатель смѣется надъ тѣмъ, что въ каждой гуманной личности должно возбудить чувство грусти, состраданія или ужаса, тогда мы въ правѣ сказать, что такой смѣхъ—кощунство. «Это—гаерство, которому нуженъ канатъ и дурацкая шапка, чтобы развлекать публику, а не любовь и симпатія къ народу». Въ статейкѣ о народныхъ книжкахъ онъ выступаетъ горячимъ поборникомъ самаго широкаго народнаго образованія и полнаго сближенія интеллигенціи съ простою массою. Онъ хотѣлъ-бы, чтобы велась разумная поэтическая и педагогическая пропаганда въ средѣ народа, безъ всякаго насилія. Мы можемъ возвратить себѣ довѣріе народа, говоритъ онъ съ полнымъ убѣжденіемъ, «только тогда, когда станемъ къ нему снисходительными братьями». При этомъ Писаревъ не возлагаетъ никакихъ иадеждъ на разныя дешевыя изданія, за которыя берутся обыкновенно люди безъ настоящаго таланта. Грошовою книжкою, говоритъ онъ, нельзя вылѣчить народъ отъ вѣковыхъ предразсудковъ. Пересмотрѣвъ цѣлый десятокъ брошюръ, онъ пришелъ къ твердому, но мало утѣшительному убѣжденію. Это—«топорныя произведенія промышленнаго пера», которыя не могутъ принести никому никакой пользы. Но дѣло русской народности не стоитъ, однако, на одномъ мѣстѣ: его двигаютъ не грошовыя изданія, его выносятъ на своихъ плечахъ настоящіе публицисты, ученые и художники, вырабатывающіе и проводящіе въ общественное сознаніе новыя понятія и новые идеалы [1])...

Двѣ статьи: «Идеализмъ Платона» и «Схоластика XIX вѣка» открываютъ передъ нами въ первый разъ настоящаго Писарева. Въ нихъ онъ является передъ читателемъ во всеоружіи своего молодого діалектическаго таланта, съ цѣльнымъ міровоззрѣніемъ, писателемъ, горячо сочувствующимъ философскимъ идеямъ Чернышевскаго, но не лишеннымъ и своей собственной оригинальной черты. Съ этими статьями «Русское Слово» вышло на новую дорогу и, при видимомъ согласіи съ нѣкоторыми либеральными журналами, заняло особое мѣсто среди другихъ органовъ петербургской и московской печати. Въ рѣзкихъ фразахъ Писаревъ провозглашаетъ свое вѣроученіе. Не преклоняясь ни предъ какими авторитетами, онъ увѣренно и твердо ставитъ свои собственныя теоремы рядомъ съ философіей Платона, не удовлетворяющею современнаго человѣка. Онъ проповѣдуетъ индивидуализмъ и эгоизмъ, какъ рѣ-

[1]) „Русское Слово", 1861, мартъ. *Русская Литература*, стр. 111.

шительное средство выйти на свѣжій воздухъ и сбросить съ себя невыносимую тиранію «общаго идеала». Его ученіе основано на неискоренимыхъ требованіяхъ живой человѣческой личности. Прогрессивныя стремленія должны быть выраженіемъ индивидуальной воли, освобожденной отъ ненужныхъ цѣпей какой-бы то ни было нравственной философіи. Съ неустрашимою смѣлостью Писаревъ защищаетъ свою мысль на сотню ладовъ. Не отступаясь ни передъ какими теоретическими трудностями, онъ съ какою-то дикою силою обрушивается на Платона и, даже не изучивъ серьезно его системы, имѣя о ней самое поверхностное, школьническое представленіе, по безцвѣтнымъ компиляціямъ русскихъ популяризаторовъ, подвергаетъ ее жестокому бичеванію за отсутствіе логической простоты и убѣдительныхъ научныхъ доказательствъ. Легендою вѣковъ Сократъ и Платонъ поставлены на высокій пьедесталъ передъ всѣмъ человѣчествомъ. Ихъ идеи считаются святынею, ихъ философія служитъ предметомъ благоговѣйнаго изученія для множества ученыхъ. Писаревъ не намѣренъ развѣнчивать «почтенныхъ стариковъ», но онъ не пойдетъ и по слѣдамъ разныхъ нѣмецкихъ критиковъ, которые не могутъ говорить объ этихъ «генералахъ отъ философіи» иначе, какъ съ самыми низкими поклонами. «Доктринерство» Платона возмущаетъ его душу. Именно Платонъ воспѣлъ въ своихъ философскихъ сочиненіяхъ болѣзненный разладъ между матеріей и духомъ, между низшими и высшими потребностями человѣка, ту самую болѣзнь, которая, спустя много вѣковъ, породила «нашихъ грызуновъ и гамлетиковъ, людей съ ограниченными умственными способностями и съ безконечными стремленіями» [1]). Платонъ говоритъ о какой-то абсолютной, для всѣхъ обязательной истинѣ, объ идеяхъ, стоящихъ выше земной жизни, но «пораже, наконецъ, понять, господа, что общій идеалъ такъ-же мало можетъ предъявить правъ на существованіе, какъ общіе очки, или общіе сапоги, сшитые по одной мѣркѣ и на одну колодку» [2]). Вся философія Платона не вытекла живою струею изъ его непосредственнаго чувства, не была вызвана условіями и обстановкою его жизни, а выработана путемъ однихъ только логическихъ умозаключеній. Онъ не былъ вѣренъ своему ученію. Грекъ, гражданинъ свободнаго народа, «здоровый и красивый мужчина, къ которому по первому призыву соберутся на роскошный пиръ друзья и гетеры», онъ старался доказать въ своихъ сочиненіяхъ, что въ этомъ мірѣ все зло. Онъ говорилъ противъ очевидности, даже противъ самого себя, потому что, воздвигая гоненіе на земное начало, онъ платилъ обильную дань не только наслажденіямъ, но и порокамъ своего времени. Въ этомъ мірѣ все есть зло? А полная чаша вина при зву-

[1]) «Русское Слово», 1861, апрѣль, *Русская Литература*, стр. 46.

[2]) Ibidem, стр. 48.

кахъ нѣжной лиры? А ласка женщины? А звучный гекзаметръ? А дружба, которая, по мнѣнію грековъ, была выше и чище любви? Нѣтъ. Платонъ грубо ошибался въ своихъ отвлеченныхъ философскихъ разсужденіяхъ, выдавая «фантастическія бредни» за вѣчную истину. Онъ брался за рѣшеніе практическихъ вопросовъ, даже не умѣя ихъ поставить какъ слѣдуетъ, и его политическія размышленія «распадаются въ прахъ отъ самаго легкаго прикосновенія критики». Онъ вдавался въ заблужденія, которыхъ нельзя было-бы простить теперь «любому студенту» [1]).

Раздѣлавшись съ Платономъ, Писаревъ печатаетъ обширную статью, направленную противъ современной русской журналистики и критики. Первая половина этой статьи появилась въ майской книгѣ «Русскаго Слова», вторая—въ сентябрьской. Но обѣ части связаны между собою единствомъ основной мысли, при чемъ послѣднія главы статьи имѣютъ чисто полемическій характеръ. Мы уже касались этихъ шумныхъ страницъ въ нашихъ предыдущихъ работахъ. Вмѣшавшись въ борьбу Чернышевскаго съ «Отечественными Записками», Писаревъ на практикѣ показалъ, какіе выводы можно получить, если приложить его теорію индивидуализма и эгоизма къ живымъ фактамъ современной литературы. Статья Чернышевскаго объ «Антропологическомъ принципѣ» показалась ему неразрушимою въ своихъ научныхъ доводахъ и, не говоря вслухъ объ источникѣ, онъ въ немногихъ разсужденіяхъ набрасываетъ цѣлое матеріалистическое ученіе въ тѣхъ самыхъ скандально-грубыхъ чертахъ, въ какихъ оно выражено было знаменитымъ публицистомъ «Современника». Возраженія Юркевича, конечно, ничего не стоютъ въ глазахъ Писарева. Въ практической жизни мы всѣ матеріалисты, всѣ идемъ въ разладъ съ нашими теоріями. Самый крайній идеалистъ, садясь за письменный столъ, сразу попадаетъ въ условія, имѣющія очевидно матеріальный характеръ. Осмотрѣвшись кругомъ, онъ ищетъ начатую работу, шаритъ по разнымъ угламъ, и если тетрадь или книга не попадется на глаза, отправляется искать въ другое мѣсто, хотя-бы *сознаніе* говорило ему, что онъ положилъ ее именно на письменный столъ. Самое твердое *убѣжденіе* разрушается при столкновеніи съ очевидностью, потому что свидѣтельству нашихъ чувствъ мы всегда придаемъ больше значенія, нежели соображеніямъ разсудка. «Проведите это начало, говоритъ Писаревъ, во всѣ сферы мышленія, начиная отъ низшихъ до высшихъ, и вы получите полнѣйшій матеріализмъ: я знаю только то, что вижу или вообще въ чемъ могу убѣдиться свидѣтельствомъ моихъ чувствъ». Повторивъ въ этихъ фразахъ знаменитые въ своемъ родѣ аргументы Чернышевскаго, Писаревъ затѣваетъ легкій

[1]) «Русское Слово», 1861, апрѣль, стр. 41, 58.

философскій споръ съ Лавровымъ и затѣмъ, въ послѣдней половинѣ статьи, горячо схватывается съ сотрудниками «Отечественныхъ Записокъ», которые усомнились въ достоинствахъ и солидности «Полемическихъ красотъ».

Въ первыхъ главахъ «Схоластики XIX вѣка» Писаревъ выставляетъ тѣ самые взгляды, которые развиты имъ въ статьѣ объ «Идеализмѣ Платона». Онъ рѣшительно противъ всякихъ общихъ теорій, превращающихъ, по его мнѣнію, живые факты въ отвлеченныя, безжизненныя и безцвѣтныя понятія. Органъ постоянно прогрессирующаго сознанія, литература, а съ нею и журнальная критика, не должны задаваться никакими однообразными принципами, которые мѣшаютъ улавливать явленія жизни въ ихъ настоящемъ колоритѣ и пестротѣ природныхъ красокъ. «Насъ заѣли фразы, восклицаетъ Писаревъ вслѣдъ за Катковымъ. Мы пустились въ діалектику, воскресили схоластику и вращаемся въ аколдованномъ кругу словъ и отвлеченностей, которыя мѣшаютъ намъ, дѣлать настоящее дѣло». Слѣдуя за готовыми ученіями, люди безъ оригинальнаго таланта довели литературную критику до полнаго паденія. Они заставили ее тратить силы въ безплодныхъ отвлеченныхъ разсужденіяхъ въ то самое время, когда жизнь шумѣла за ихъ окномъ. Надо откинуть всякую схоластику, и тогда возрожденіе станетъ возможнымъ. Пусть литература, чуткая къ потребностямъ дня и не раболѣпствующая ни передъ какими общими теоріями, займется фактами жизни, и тогда она откроется для цѣлаго потока свѣжихъ и новыхъ впечатлѣній. Пусть наша критика разсматриваетъ «отношенія между мужемъ и женою, между отцомъ и сыномъ, матерью и дочерью, между воспитателемъ и воспитанникомъ»—все это ея настоящее дѣло. Чѣмъ меньше въ ней будетъ отвлеченностей и общихъ взглядовъ, чѣмъ внимательнѣе она будетъ обсуживать «отдѣльные случаи вседневной жизни», тѣмъ она будетъ плодотворнѣе.

Эта точка зрѣнія получила, наконецъ, въ статьяхъ Писарева перевѣсъ надъ прежними его эстетическими взглядами. Индивидуализмъ, не имѣющій другого принципа, кромѣ безусловной вѣры въ личный порывъ и впечатлѣніе, оригинальность мнѣнія, заключающаяся въ полной отрѣшенности отъ всякой общей умственной дисциплины, живое сліяніе съ конкретною историческою жизнью, безъ малѣйшей попытки подвергнуть ее серьезной критикѣ на основаніи высшихъ, отвлеченныхъ началъ—вотъ тѣ новыя идеи, которыя захватили и увлекли Писарева почти съ самаго начала его литературной дѣятельности на страницахъ «Русскаго Слова». Вооружившись противъ деспотической власти внѣшнихъ жизненныхъ обрядовъ и привычекъ, управляемыхъ шаблономъ, Писаревъ, заодно съ пошлою рутиною соціальныхъ нравовъ, сталъ разрушать и неизмѣнные законы общечеловѣческой логики. Ненависть ко всему, что

стѣсняетъ свободную личную работу извнѣ, вдругъ раздулась у него въ слѣпую, страстную вражду противъ всякаго общаго принципа, противъ высшихъ идей, направляющихъ нашу дѣятельность въ извѣстную сторону. Духъ свободнаго индивидуализма принялъ, подъ его перомъ, поистинѣ уродливую форму, совершенно заслонивъ высокую мысль о возможной нравственной и умственной солидарности между людьми.

III.

Убѣжденія Писарева опредѣлились во всѣхъ важнѣйшихъ подробностяхъ. Матеріалистъ въ области философіи и проповѣдникъ безграничной личной свободы въ практической области, онъ будетъ отнынѣ работать въ двухъ направленіяхъ, проводя въ каждомъ изъ нихъ свои любимыя мысли. Статьи его, написанныя вплоть до заключенія въ крѣпость, могутъ быть раздѣлены по темѣ на двѣ группы, хотя ихъ внутренній смыслъ и тутъ и тамъ одинъ и тотъ-же. Собственно критическая работа, какъ понималъ ее Писаревъ во дни сотрудничества въ «Разсвѣтѣ», съ глубокими требованіями художественности, отошла на задній планъ, уступивъ мѣсто публицистической агитаціи *по поводу* произведеній искусства. Не занимаясь серьезно ни наукою, ни философіею, часто компилируя лишь по двумъ, тремъ сочиненіямъ, Писаревъ умѣлъ, однако, придавать каждой своей статьѣ законченный характеръ самостоятельнаго разсужденія. Онъ съ увѣренностью защищаетъ чужія мысли, обставляетъ ихъ множествомъ извѣстныхъ примѣровъ и, постоянно растягивая изложеніе, захватываетъ въ свои статьи какъ можно больше доказательствъ изъ самыхъ разнообразныхъ областей. Но давая легкую и бойкую популяризацію научныхъ вопросовъ, Писаревъ при этомъ никогда не забываетъ своихъ агитаціонныхъ цѣлей. Подробное и всегда добросовѣстное изложеніе разныхъ научныхъ истинъ самого примитивнаго свойства онъ пересыпаетъ публицистическими замѣчаніями, вносящими оживленіе и фосфорическій блескъ въ сухую по содержанію журнальную работу. Пренебрегая разными иностранными книжками, Чернышевскій самъ, собственными силами, воздвигъ обширное философское зданіе, а Писаревъ, его смѣлый соратникъ, послѣдовательно доводитъ его идеи до самыхъ крайнихъ положеній, призывая на помощь ходячіе афоризмы новѣйшаго естествознанія. Только что окончивъ статьи о Платонѣ и схоластикѣ XIX вѣка, Писаревъ печатаетъ популярное изложеніе «Физіологическихъ эскизовъ» Молешота и «Физіологическихъ писемъ» Карла Фохта. Къ этимъ двумъ литературнымъ работамъ онъ присоединяетъ въ февральской книгѣ «Русскаго Слова» 1862 года пространную популяризацію «Физіологическихъ картинъ» Людвига Бюхнера, чтобы авторитетомъ этого извѣстнаго въ русскомъ обществѣ имени подкрѣпить грубые парадоксы двухъ другихъ

нѣмецкихъ ученыхъ. Не обладая никакими самостоятельными знаніями въ этой сферѣ, Писаревъ передаетъ физіологическія разсужденія трехъ писателей съ необычайною пунктуальностью, часто говоря ихъ словами, пользуясь ихъ образами и открывая свободный полетъ собственнымъ мыслямъ только тамъ, гдѣ кончается точное изслѣдованіе и начинается міръ широкихъ философскихъ выводовъ. Всѣ факты научнаго наблюденія и опыта только подтверждаютъ, въ глазахъ Писарева, матеріалистическое ученіе Чернышевскаго. Строгое изученіе человѣка, разсѣявъ бредни людей, одержимыхъ «узколобымъ мистицизмомъ», привело къ твердому убѣжденію, что въ мірѣ нѣтъ ничего таинственнаго, загадочнаго. Въ природѣ существуетъ только матерія съ ея физическими и химическими свойствами. «Надо полагать и надѣяться, изрекаетъ Писаревъ, что понятія *психическая* жизнь, *психологическое* явленіе будутъ современемъ разложены на свои составныя части. Ихъ участь рѣшена. Они пойдутъ туда-же, куда пошелъ философскій камень, жизненный эликсиръ, квадратура круга, чистое мышленіе и жизненная сила. Слова и иллюзія гибнутъ,—факты остаются». Что такое чувство? Въ немъ нѣтъ ничего психическаго, неразложимаго на опредѣленные матеріальные факты. Слѣдуя за Фохтомъ, Писаревъ даетъ свое собственное научное опредѣленіе. «Чувство, говоритъ онъ, есть такое раздраженіе въ мозговыхъ нервахъ, которое мгновенно, по крайней мѣрѣ, быстро и притомъ непроизвольно проходитъ черезъ всѣ нервы нашего тѣла и черезъ эти нервы такъ или иначе дѣйствуетъ на обращеніе крови» [1]). Вотъ что такое чувство. Опредѣливъ съ удивительнымъ успѣхомъ одно психическое явленіе, Писаревъ предлагаетъ намъ не менѣе блистательное объясненіе и другого. Что такое мысль? «Мысль, говоритъ онъ, есть такое раздраженіе мозговыхъ нервовъ, которое распространяется въ нихъ медленно и не дѣйствуетъ на нервы тѣла. Оно совершается въ извѣстномъ порядкѣ, за которымъ мы сами можемъ прослѣдить и для котораго у насъ есть даже готовое названіе—логическая послѣдовательность» [2]). Вотъ что такое мысль. Это—раздраженіе мозговыхъ нервовъ, не дѣйствующее на нервы тѣла. Вся бѣда философовъ старой школы, по мнѣнію Писарева, заключается въ томъ, что они смотрѣли на вещи не тѣлесными, а «умственными очами». Они задавались неосуществимыми задачами—открыть общія свойства естества, основныя начала жизни, объяснить конечныя цѣли природы и человѣка. На этомъ пути ихъ могло ожидать только полное фіаско. Занимаясь подобною «дребеденью», они теряли способность обращаться, какъ слѣдуетъ, съ микроскопомъ и анатомическимъ ножомъ. Настоящій мыслитель только тотъ, кто видитъ вещи въ

[1]) «Русское Слово», 1861, сентябрь, *Иностранная Литература*, стр. 14.
[2]) Ibidem, стр. 15.

ихъ полной простотѣ, кто жизнь человѣческую изучаетъ не съ высоты отвлеченныхъ философскихъ теорій, а съ помощью химическаго и физіологическаго опыта. Мы похожи на ходячія печи, говорилъ Либихъ,— вотъ научный взглядъ на человѣка. Измѣните пищу человѣка, и мало-по-малу онъ измѣнится весь. Каждая дикая мысль, каждое отчаянное движеніе души могутъ быть приведены «въ нѣкоторую зависимость отъ неправильнаго или недостаточнаго питанія». Мы рождены изъ матеріи и живемъ матеріею. «Черты нашего лица и мысли нашего мозга имѣютъ такую-же географію, какъ и растенія» [1]). Газы, соли, кислоты, щелочи соединяются и видоизмѣняются, кружатся и движутся безъ цѣли и безъ остановки, проходятъ черезъ наше тѣло, порождая новыя тѣла—вотъ наша жизнь, наша исторія. Вотъ открытіе новѣйшей науки, не увлекающейся больше никакою дребеденью. Факты физіологическаго процесса, не объединенные никакою отвлеченною мыслью,—вотъ обширное поле для научнаго изслѣдованія. Откинувъ всякія бредни, естествознаніе не ставитъ себѣ никакихъ заманчивыхъ, но вредныхъ для науки цѣлей. «Цѣль естественныхъ наукъ—никакъ не формированіе міросозерцанія, а просто увеличеніе удобствъ жизни, расширеніе и расчищеніе того русла, въ которомъ текутъ наши интересы, занятія, наслажденія» [2]). Для естествоиспытателя, говоритъ Писаревъ, нѣтъ ничего хуже, какъ имѣть міросозерцаніе...

Придя съ помощью Молешота, Фохта и Бюхнера къ этимъ страннымъ выводамъ, Писаревъ обращается къ прогрессивной части русской публики съ нѣсколькими юношески самодовольными словами. Онъ надѣется, что эти новыя идеи будутъ имѣть благотворное вліяніе на молодое поколѣніе, сбрасывающее съ себя «оковы рутиннаго фразерства и подавляющаго мистицизма». Легче дышать, когда вмѣсто призраковъ видишь «осязательныя явленія». Веселѣе жить, когда знаешь, съ какими силами приходится считаться, надъ какими фактами надо получить господство. «Я беру въ руки топоръ и знаю, что могу этимъ топоромъ срубить себѣ домъ или отрубить себѣ руку. Я держу въ рукѣ бутылку и знаю, что налитое вино можетъ доставить мнѣ умѣренное наслажденіе, или довести меня до уродливыхъ нелѣпостей». Въ каждой частицѣ матеріи лежитъ и наслажденіе и страданіе. Все дѣло въ томъ, чтобы пользоваться ея свойствами такъ, какъ мы пользуемся топоромъ и виномъ...

За статьями, излагающими разныя популярныя книги по естествознанію, послѣдовалъ рядъ критическихъ очерковъ о Писемскомъ, Тургеневѣ и Гончаровѣ. Съ развернутымъ знаменемъ убѣжденнаго индивидуалиста Писаревъ кинулся въ горячую битву съ отживающими, консерва-

[1]) «Русское Слово», 1861, іюль, *Иностранная Литература*, стр. 49.
[2]) Ibidem, 1861, сентябрь, *Иностранная Литература*, стр. 4.

тивными элементами русской жизни. Разбирая произведенія новѣйшей литературы, онъ уже не вдается болѣе ни въ какія эстетическія оцѣнки, но пользуется богатымъ художественнымъ матеріаломъ для того, чтобы въ рѣзкихъ выраженіяхъ заклеймить пошлую рутину житейскихъ обычаевъ и взглядовъ. Онъ обсуживаетъ самую жизнь, въ ея нестройномъ видѣ, съ ея дѣйствительными изъянами и пороками, не сосредоточиваясь на поэтической картинѣ, созданной творческимъ талантомъ. Законы искусства его не интересуютъ. Отраженіе жизни въ художественномъ зеркалѣ, психологическіе и нравственные мотивы творческаго процесса, великая тайна выраженія идей въ опредѣленныхъ поэтическихъ формахъ — все то, на чемъ по преимуществу останавливается настоящая литературная критика, отодвинуто Писаревымъ въ сторону. Онъ анализируетъ только взаимныя отношенія между мужемъ и женою, между родителями и дѣтьми, и въ этомъ анализѣ онъ видитъ свою прямую задачу. Самыми ядовитыми словами бичуетъ онъ старыя поколѣнія за ихъ ретроградныя тенденціи въ вопросахъ личной морали, предавая при этомъ открытому поруганію также и безсильныя, дряхлыя понятія полуинтеллигентной черни. Отбросивъ всякія условныя стѣсненія, Писаревъ заговорилъ съ читателемъ тѣми словами, которыя должны быть понятны всѣмъ и каждому. Ненавидя полумѣры, онъ потребовалъ коренной ломки тѣхъ условій жизни, въ которыхъ развиваются молодыя поколѣнія. Ничто не избѣгло его безпощадной критики. Отдаваясь прогрессивному теченію времени, онъ, безъ яркихъ философскихъ идей, съ ограниченнымъ запасомъ научныхъ свѣдѣній, инстинктивно сталъ наносить мѣткіе удары русскому патріархальному быту во всѣхъ его типическихъ проявленіяхъ. Его публицистическіе тирады, озаренныя огнемъ, въ статьяхъ, предназначенныхъ дать критическое освѣщеніе важнѣйшимъ произведеніямъ русской литературы, производятъ сильное и продолжительное впечатлѣніе, несмотря на то, что часто не только не облегчаютъ, но даже затрудняютъ пониманіе того художественнаго явленія, о которомъ идетъ рѣчь. Мѣшая правильному критическому анализу, онѣ, тѣмъ не менѣе, органически сливаются съ другими его разсужденіями, образуя наиболѣе патетическія мѣста въ его лучшихъ статьяхъ, написанныхъ въ этотъ періодъ его литературной дѣятельности.

Такой характеръ имѣютъ важнѣйшіе очерки Писарева, напечатанные въ «Русскомъ Словѣ» 1861 и 1862 годовъ. Совершенно извративъ свою критическую задачу, онъ наполнилъ ихъ публицистическими размышленіями на передовыя темы. Только иногда, давая передышку утомленнымъ силамъ оратора, Писаревъ въ немногихъ фразахъ старается показать типическія свойства разбираемаго писателя, и тогда передъ нами проносятся смѣлыя, яркія метафоры, обличающія настоящій критическій талантъ. Все вниманіе Писарева сосредоточено на публици-

стической темѣ, которую онъ разрабатываетъ съ полнымъ увлеченіемъ. Вопросы поэзіи вдругъ получили у него иную постановку, и до неожиданности новая эстетическая теорія, представляющая, однако, прямой логическій выводъ изъ философскихъ идей Чернышевскаго, стала съ необычайною помпою развертываться въ статьяхъ его, угрожая разрушительными парадоксами и цѣлымъ, небывалымъ еще въ русской литературѣ, походомъ на искусство.

Разсмотримъ по порядку эти критическіе очерки Писарева и отмѣтимъ все то, что выдается въ нихъ по литературному таланту или блеску публицистическаго краснорѣчія. Въ октябрѣ мѣсяцѣ Писаревъ напечаталъ обширный разборъ одного изъ лучшихъ произведеній Писемскаго «Тюфякъ». О самомъ Писемскомъ мы находимъ въ этой статьѣ только нѣсколько отрывочныхъ фразъ, удачно передающихъ характерныя особенности его огромнаго дарованія. Это—неполное, мимолетное опредѣленіе его художественной манеры, но, мелькая между многочисленными и слегка монотонными разсужденіями о любви и женской самостоятельности, счастливая характеристика писательской личности производитъ отрадное, богатое впечатлѣніе. Сопоставляя Писемскаго съ Гончаровымъ. Писаревъ указываетъ на яркое различіе этихъ двухъ художниковъ. Между ними очень мало сходства. При всей своей объективности, Гончаровъ долженъ быть названъ лирикомъ по сравненію съ Писемскимъ. Въ произведеніи Писемскаго нѣтъ ни единой черты субъективнаго отношенія автора къ своимъ героямъ. Грязь жизни остается у него грязью, сырой фактъ—бьетъ въ глаза. Онъ рисуетъ не выдающихся людей, стоящихъ надъ уровнемъ массы, а дюжинныхъ лицедѣевъ русской жизни, задыхающихся въ ея смрадной атмосферѣ. Этимъ Писемскій отличается между прочимъ и отъ Тургенева. Читая Тургенева, мы забываемъ ту почву, на которой выросли второстепенныя лица его повѣстей и романовъ и слѣдимъ съ особеннымъ вниманіемъ за самостоятельнымъ развитіемъ его главныхъ героевъ. У Писемскаго мы ни на минуту не можемъ забыть, гдѣ происходитъ дѣйствіе. «Почва постоянно будетъ напоминать о себѣ крѣпкимъ запахомъ, русскимъ духомъ, отъ котораго не знаютъ, куда дѣваться, дѣйствующія лица, отъ котораго порою и читателю становится тяжело на душѣ» [1]). Вотъ и все, что мы находимъ по части эстетическаго объясненія таланта Писемскаго въ статьѣ Писарева, носящей названіе «Стоячая вода». Все прочее въ ней—сплошная публицистика, съ постоянными взрывами злого смѣха надъ современными житейскими нравами. Писаревъ возмущается тѣмъ обществомъ, которое не выноситъ ничего яркаго—ни яркихъ пороковъ, ни проявленій сильной страсти, ни живыхъ движеній мысли. Горячее слово, сказанное въ защиту женской

[1]) «Русское Слово», 1861, октябрь, *Стоячая вода*, стр. 16.

личности, можетъ упрочить за вами, въ глазахъ этого общества, репутацію развратнаго и опаснаго человѣка. Ни одна идея не доступна ему въ полномъ объемѣ. Все истинно широкое и прекрасное встрѣчаетъ его тупое недовѣріе и наглую насмѣшку. Пресмыкаясь въ ничтожествѣ, общество это живетъ по правиламъ своего узкаго, мѣщанскаго кодекса, удовлетворяясь мелкимъ либерализмомъ, эмансипирующимъ личность *до извѣстныхъ предѣловъ*, мелкимъ скептицизмомъ, допускающимъ критику ума только *въ извѣстныхъ границахъ*. Излагая отдѣльные моменты разсказа, Писаревъ повсюду выдвигаетъ на первый планъ мысль, что женщина должна быть свободна въ своей любви и привязанностяхъ, и съ паѳосомъ молодого демагога накидывается на лицемѣрную житейскую мораль, которая угрожаетъ ей позоромъ за малѣйшее уклоненіе отъ бездушныхъ правилъ устарѣлаго семейнаго устава. Онъ не видитъ въ русской жизни ничего достойнаго пощады въ этомъ отношеніи. Надо сжечь всѣ корабли, чтобы не было возврата къ прошедшему, восклицаетъ Писаревъ. Надо идти смѣлѣе впередъ, шагая черезъ развалины «прежнихъ симпатій, вѣрованій, воздушныхъ замковъ». Надо идти впередъ безъ оглядки, безъ сожалѣнія, не унося съ собою «никакихъ пенатовъ и реликвій, не раздваивая своего нравственнаго существа между воспоминаніями и стремленіями» [1]). Герои Писемскаго возбуждаютъ въ немъ негодованіе своимъ безволіемъ и неумѣніемъ выйти изъ-подъ гнета патріархальнаго строя. Въ нихъ нѣтъ настоящаго прогрессивнаго духа, того протестующаго эгоизма, который ведетъ къ освобожденію личности.

Въ ноябрьской книгѣ «Русскаго Слова» мы находимъ другую огромную статью Писарева «Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ», разрѣшающую, по своему, нѣсколько чрезвычайно важныхъ теоретическихъ вопросовъ и затѣмъ представляющую анализъ художественныхъ произведеній трехъ названныхъ писателей. Но еще не занявшись настоящимъ предметомъ статьи, Писаревъ для эфектнаго начала бросаетъ грубое осужденіе нѣкоторымъ писателямъ, на томъ единственномъ основаніи, что въ ихъ произведеніяхъ онъ не видитъ прямого отвѣта на требованія современной эпохи. По его мнѣнію, молодое поколѣніе, которое должно считаться высшею инстанціею при разрѣшеніи серьезныхъ литературныхъ вопросовъ, имѣетъ право остановиться въ полномъ недоумѣніи передъ дѣятельностью такихъ писателей, какъ Фетъ, Полонскій, Мей. Они ничего не внесли въ сознаніе русскаго общества. Ни однимъ своимъ произведеніемъ они не шевелили протестантскаго чувства читателей. Прогрессивная молодежь, прикинувъ къ ихъ сочиненіямъ новое критическое мѣрило, въ правѣ задать «этимъ господамъ» рядъ очень важныхъ вопросовъ, на которые она навѣрно не по-

[1]) *Стоячая вода*, стр. 17.

лучитъ никакого отвѣта. «Сказали-ли вы теплое слово за идею? можетъ спросить ихъ молодое поколѣніе. Разбили-ли вы хоть одно господствующее заблужденіе? Стояли-ли вы сами хоть въ какомъ-нибудь отношеніи выше воззрѣній вашего времени» [1]). На всѣ эти вопросы такіе версификаторы, какъ Мей, Фетъ, Полонскій, подобно Щербинѣ и Грекову, не въ правѣ откликнуться ни единымъ положительнымъ словомъ. Шлифуя русскій стихъ, они только усыпляли общество своими «тихими мелодіями» и воспѣвали въ разныхъ формахъ «мелкіе оттѣнки мелкихъ чувствъ». Ихъ стихотворенія не оставляютъ въ памяти почти никакихъ слѣдовъ, содержаніе ихъ улетучивается съ такою-же быстротою, какъ забывается докуренная сигара. Интересоваться ихъ дѣятельностью нѣтъ почти никакого смысла, потому что чтеніе ихъ поэтическихъ писаній «дѣйствительно хорошо только въ гигіеническомъ отношеніи, послѣ обѣда», а самые стихи полезны въ очень ограниченномъ смыслѣ слова—для верстки листовъ, «для пополненія бѣлыхъ полосъ, т. е. страницъ между серьезными статьями и художественными произведеніями, помѣщающимися въ журналахъ» [2]). «Попробуйте, милостивый государь, обращается Писаревъ съ коварнымъ подмигиваніемъ къ читателю, переложить два, три хорошенькихъ стихотворенія Фета, Полонскаго, Щербины или Бенедиктова въ прозу и прочтите ихъ такимъ образомъ. Тогда всплывутъ наверхъ, подобно деревянному маслу, два драгоцѣнныя свойства этихъ стихотвореній: во-первыхъ, неподражаемая мелкость основной идеи, и во-вторыхъ—колоссальная напыщенность формы». При внимательномъ изученіи, въ нихъ не оказывается совершенно того внутренняго содержанія, котораго нельзя замѣнить никакими «фантастическими арабесками». Авторы этихъ стихотвореній не настолько развиты, чтобы стать въ одинъ уровень съ требованіями вѣка, «они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающія явленія обыденной жизни, отражать въ своихъ произведеніяхъ физіономію этой жизни съ ея бѣдностью и печалью. Имъ доступны только маленькія треволненія ихъ собственнаго, узенькаго психическаго міра». Изъ всѣхъ современныхъ лириковъ Писаревъ выдѣляетъ только Майкова и Некрасова. Некрасова онъ уважаетъ «за его горячее сочувствіе къ страданіямъ простого человѣка, за честное слово, которое онъ всегда готовъ замолвить за бѣдняка и угнетеннаго», Майкова—«какъ умнаго и совершенно развитого человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго опредѣленное, трезвое міросозерцаніе». Но у Фета и Полонскаго нѣтъ ни міровоззрѣнія, ни простого сочувствія людскимъ страданіямъ. Три писа-

[1]) «Русское Слово», 1861, ноябрь, стр. 2.

[2]) Ibidem, стр. 5.

теля, имена которыхъ перейдутъ въ потомство въ неразрывномъ союзѣ, которые постоянно тяготѣли другъ къ другу и, несмотря на упорный свистъ журнальной критики, сумѣли твердо устоять на своихъ мѣстахъ, не принося безсмысленныхъ жертвъ никакимъ капризнымъ богамъ, оказались почему-то не заслуживающими общаго суда и приговора. Судьба, страннымъ образомъ воплотившаяся въ сужденіяхъ Писарева, нашла нужнымъ пощадить одного только Майкова отъ публичнаго посрамленія на глазахъ передовой толпы. Даже Фету Писаревъ отказываетъ въ настоящемъ поэтическомъ талантѣ, хотя талантъ этотъ моментами играетъ удивительными красками. Двумя годами раньше Писаревъ навѣрно не рѣшился-бы поставить такъ низко писателя, который съ рѣдкимъ искусствомъ описалъ цѣлый міръ новыхъ и свѣжихъ впечатлѣній, обнаруживъ при этомъ поразительную отзывчивость на самыя нѣжныя движенія человѣческой души. Но въ 1861 году Писаревъ, обуреваемый стремленіями эпохи, съ ея гражданственною страстью, не нашедшею для себя настоящихъ теоретическихъ оправданій, съ ея грубыми философскими предразсудками, широко распространявшимися въ окружающей атмосферѣ, долженъ былъ пойти въ разрѣзъ съ своимъ собственнымъ критическимъ чутьемъ въ угоду новому шаблону. Передъ его строгимъ трибуналомъ Фетъ оказался какимъ-то умственнымъ ничтожествомъ, а Полонскій поэтическимъ пигмеемъ, съ которымъ легко раздѣлаться нѣсколькими пренебрежительными фразами—тотъ самый Полонскій, котораго Майковъ еще въ 1855 году воспѣлъ въ слѣдующихъ звучныхъ стихахъ, прекрасно передающихъ лучшія особенности его лирическаго дарованія:

Твой стихъ, росой и ароматомъ
Родной и небу и землѣ,
Блуждаетъ странникомъ косматымъ
Между міровъ, свѣтя во мглѣ.
Люблю въ его кудряхъ я длинныхъ
И пыль отъ млечнаго пути,
И желтый листъ дубравъ пустынныхъ,
Гдѣ отдыхалъ онъ въ забытьи.
Стремится рѣчь его свободно.
Какъ въ звонѣ стали чистой, въ ней
Закалъ я слышу благородной,
Души возвышенной твоей.

Упрощая смыслъ поэтическаго творчества до степени нехитраго проявленія извѣстной нервной впечатлительности, соединенной съ «техническимъ» умѣніемъ отливать готовую идею въ опредѣленную, виртуозную форму, Писаревъ не могъ уже отнестись съ сочувствіемъ къ тѣмъ произведеніямъ, въ которыхъ нѣтъ открытой, бьющей въ глаза, современной тенденціи. Тамъ, гдѣ поэтическій образъ органически неотдѣлимъ отъ

идеи, гдѣ внѣшняя форма, облекая творческую мысль художника во всѣхъ ея подробностяхъ, не можетъ быть искусственно оторвана отъ нея, не можетъ открыть своего глубокаго внутренняго содержанія иначе, какъ въ широкомъ критическомъ истолкованіи по эстетическимъ законамъ красоты, тамъ Писаревъ уже не видитъ теперь ничего, кромѣ пустыхъ словъ и фантастическихъ арабесокъ. Надо, чтобы мысль висѣла надъ произведеніемъ, какъ ярко размалеванная вывѣска. Читатель, «платящій за произведеніе деньги», въ правѣ требовать, чтобы художникъ точно опредѣлилъ, въ выраженіяхъ, не порождающихъ никакого сомнѣнія, свои симпатіи и антипатіи, потому что лирика, занятая только «любовными похожденіями» и «нѣжными чувствованіями», не имѣетъ права серьезно претендовать на видную роль въ развитіи общества. Кому какое дѣло, спрашиваетъ Писаревъ, до того, что чувствуетъ тотъ или другой поэтъ, при видѣ любимой имъ женщины? Кому охота вооружаться терпѣніемъ и микроскопомъ, чтобы слѣдить за мелкими движеніями мелкихъ душъ Фета, Мея или Полонскаго...

Характеристика Гончарова, представленная въ этой статьѣ и дополненная черезъ мѣсяцъ въ критическомъ очеркѣ, подъ названіемъ «Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова», даетъ прекрасный образчикъ тѣхъ заблужденій, въ которыя часто впадала мысль Писарева, несмотря на его природную чуткость къ поэтическимъ и художественнымъ красотамъ. Въ этой характеристикѣ Писаревъ разошелся съ своей собственной замѣткой о Гончаровѣ, написанной для «Разсвѣта». Горячая симпатія къ таланту Гончарова, сказавшаяся тогда въ немногихъ, но смѣлыхъ разсужденіяхъ, смѣнилась теперь какою-то странною враждою, упорнымъ чувствомъ неудовольствія всею его художественною манерою. Бойко перебирая наиболѣе яркія стороны въ произведеніяхъ Гончарова, Писаревъ не находитъ нигдѣ ни одной черты, ни одного образа, которымъ могъ бы подарить свое сочувствіе. Все въ нихъ вдругъ оказалось ничтожнымъ, мелкимъ, фальшивымъ. Еще недавно великій художникъ, сумѣвшій разгадать, понять и отразить въ совершенномъ образѣ одну изъ типическихъ особенностей русскаго національнаго характера, писатель съ огромнымъ умомъ, никогда не уклоняющимся въ сторону отъ настоящаго искусства, съ его полнымъ, цѣльнымъ и свободнымъ творчествомъ, Гончаровъ, въ новой характеристикѣ Писарева, вышелъ какимъ-то жалкимъ педантомъ безъ опредѣленнаго взгляда на вещи, безъ умѣнья проникаться внутренними мотивами русской жизни. Своею опрометчивою рѣзкостью эти страницы Писарева о Гончаровѣ непосредственно примыкаютъ къ его статьямъ о Пушкинѣ и, вмѣстѣ съ ними, останутся навсегда неопровержимымъ доказательствомъ полной логической несостоятельности его основныхъ теоретическихъ положеній.

Писаревъ не можетъ найти у Гончарова ни одной новой и свѣжей мысли. Его «микроскопическій анализъ» останавливается только на мелочахъ, не проникая глубоко въ суть предмета. Великій мастеръ обрабатывать разныя бездѣлушки, онъ никогда не поднимается до созиданія настоящихъ живыхъ типовъ. «Гончаровъ, какъ художникъ, говоритъ Писаревъ, то-же самое, что Срезневскій, какъ ученый [1])». Онъ творитъ для процесса творчества, не заботясь о важности сюжета, не спрашивая себя о томъ, высѣкаетъ-ли онъ своимъ рѣзцомъ великолѣпную статую, или вытачиваетъ ничтожное украшеніе для письменнаго стола. Ни одно изъ произведеній Гончарова не вноситъ никакого свѣта въ окружающую жизнь, и потому «мы можемъ взглянуть на всю его дѣятельность, какъ на явленіе чрезвычайно оригинальное, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ высокой степени безполезное». Даже «Обломовъ» показался теперь молодому критику ничтожной, *клеветнической* выдумкой на русскую дѣйствительность [2]). Въ этомъ романѣ дѣйствующія лица вращаются въ безразличной атмосферѣ, ничѣмъ не обнаруживающей своего русскаго колорита. Отдѣлайтесь отъ обаянія великолѣпнаго языка, отбросьте аксесуары, мало относящіеся къ дѣлу, обратите вниманіе на тѣ фигуры, въ которыхъ сосредоточивается мысль романа, и вы увидите, что во всемъ произведеніи нѣтъ ничего типичнаго. Даже Ольга, та самая Ольга, которую такъ недавно Писаревъ оцѣнилъ съ увлеченіемъ въ своей студенческой рецензіи, кажется ему теперь только красивою маріонеткою...

Объективное творчество Гончарова, не обнаруживающее его личныхъ взглядовъ, являющееся передъ читателемъ въ образахъ и картинахъ безъ всякаго партійнаго клейма, произвело замѣшательство въ критическихъ сужденіяхъ Писарева. Огромная идея Обломова, обнимающая цѣлую національную психологію, но не дающая никакихъ конкретныхъ указаній, пригодныхъ для данной минуты, не могла не подвергнуться критическимъ нападкамъ съ его стороны. Произведеніями Тургенева можно было воспользоваться для цѣлей журнальной агитаціи. Его художественное дарованіе постоянно давало матеріалъ для публицистическихъ разсужденій на самыя живыя темы. Новые люди, выступавшіе у Тургенева въ яркомъ освѣщеніи, раздражавшемъ и поднимавшемъ нервы, не могли не сдѣлаться предметомъ горячихъ дебатовъ въ литературѣ. Но въ эпическомъ творчествѣ Гончарова Писаревъ не нашелъ этой волнующей стихіи живой современности, и потому онъ, покаявшись въ своихъ прошлыхъ ошибкахъ, открыто развѣнчалъ и низвергъ того бога, которому недавно пропѣлъ почти восторженный гимнъ...

Въ послѣдней статьѣ этого года — «Женскіе типы въ романахъ и

---

[1]) «Русское Слово» 1861, ноябрь, *Русская литература*, стр. 14.

[2]) Ibidem, стр. 23.

повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова» — Писаревъ опять выступаетъ горячимъ защитникомъ полной женской эмансипаціи. Онъ рисуетъ съ настоящимъ краснорѣчіемъ, не щадя обличительныхъ красокъ, всю ненормальность того положенія, которое занимаетъ женщина въ современномъ обществѣ. Своею свѣжею наивностью многія страницы этой статьи производятъ впечатлѣніе увлекательныхъ монологовъ, вырванныхъ изъ превосходнаго художественнаго произведенія. Привязывая свои разсужденія къ случайнымъ образамъ, взятымъ изъ романовъ Тургенева, Писемскаго и Гончарова, онъ не стѣсняется находящеюся передъ его глазами художественною рамкою и даетъ свободный полетъ своей собственной фантазіи. Онъ какъ бы вмѣшивается въ событія интереснаго романа или повѣсти, и гдѣ его личное убѣжденіе не сходится съ настроеніемъ изображаемыхъ героевъ, обращается къ нимъ съ внушительными рѣчами, выражающими горячее чувство протеста. Тирады, проникнутыя рыцарскою готовностью биться за права русской женщины, чередуются со страницами, на которыхъ преступленіе мужчинъ рисуется въ ужасающихъ фразахъ. «Посмотримъ, что мы даемъ нашимъ женщинамъ, восклицаетъ Писаревъ. Посмотримъ — и покраснѣемъ отъ стыда! Порисоваться передъ женщиною изяществомъ чувствъ, огорошить ее блестящею оригинальностью вычитанной мысли, очаровать ее красивою смѣлостью честнаго порыва—это наше дѣло. А дальше, дальше, когда надо эту же самую женщину поддержать, защитить, ободрить—мы на попятный дворъ, мы начинаемъ дѣлаться благоразумными, мы стараемся залить тотъ пожаръ, который сами раздули. Да, вотъ мы каковы» [1]). И среди такихъ разсужденій на эмансипаціонную тему Писаревъ вдругъ, по старой памяти, бросаетъ нѣсколько замѣчаній, относящихся къ дѣлу и, вѣрнѣе самыхъ смѣлыхъ монологовъ, выводящихъ его на широкую литературную дорогу. Въ разсматриваемой статьѣ есть одна страница, на которой въ немногихъ словахъ дается прекрасная характеристика Писемскому, характеристика уже намѣченная, какъ мы видѣли, въ предыдущемъ очеркѣ. Сравнивая Тургенева съ Писемскимъ, Писаревъ говоритъ: «у Тургенева мы находимъ разнообразіе женскихъ характеровъ, у Писемскаго разнообразіе положеній. Тургеневъ входитъ своимъ тонкимъ анализомъ во внутренній міръ выводимыхъ личностей, Писемскій останавливается на яркомъ изображеніи самого дѣйствія. Романы Тургенева глубже продуманы и прочувствованы, романы Писемскаго плотнѣе и крѣпче построены». Тургеневъ иногда мудритъ надъ жизнью, у Писемскаго букетъ нашей жизни, «какъ крѣпкій запахъ дегтя, конопляника и тулупа», поражаетъ нервы читателя съ огромною силою. Общая атмосфера нашего быта схвачена у

[1]) «Русское Слово» 1861, декабрь, *Женскіе типы*, стр. 6.

Писемскаго полнѣе, чѣмъ у Тургенева. Онъ лѣпитъ прямо съ натуры, и некрасивыя, грубыя, «кряжистыя» созданія его таланта передаютъ русскую дѣйствительность безъ малѣйшей тенденціи въ ту или другую сторону [1]).

Несмотря на нѣкоторое преувеличеніе, въ этой параллельной характеристикѣ фигура Писемскаго встаетъ, какъ живая. Въ минуты, свободныя отъ публицистическихъ тревогъ, Писаревъ умѣлъ показывать себя настоящимъ критикомъ. Поэтическія сравненія возникали у него съ необычайною легкостью, и надо было съ сектантскимъ упорствомъ постоянно загонять свои разсужденія на готовые рельсы, чтобы свѣтлое дарованіе вдругъ не измѣнило въ немъ убѣжденіямъ партійнаго бойца, презирающаго всякія праздныя забавы искусства...

IV.

«Отцы и дѣти» появились въ февральской книгѣ «Русскаго Вѣстника» 1862 года, а въ мартѣ мѣсяцѣ Писаревъ уже печатаетъ свой критическій разборъ этого романа. По силѣ таланта — это одна изъ лучшихъ его статей. Произведеніе Тургенева глубоко захватило его, взволновало и очаровало. Не поддавшись партійнымъ соображеніямъ, онъ съ пыломъ и жаромъ оцѣнилъ его художественныя достоинства, его огромное литературное значеніе и, несмотря на враждебное настроеніе передовой печати, усмотрѣвшей въ романѣ лукавую мысль осмѣять лучшихъ героевъ современнаго общества, Писаревъ отнесся къ Тургеневу съ полнымъ уваженіемъ за широкую и смѣлую постановку важнаго вопроса о новомъ поколѣніи. Онъ не уличаетъ Тургенева ни въ какихъ ретроградныхъ тенденціяхъ, какъ это дѣлалъ Антоновичъ, и главный герой произведенія, Базаровъ, кажется ему не пародіей на новыхъ русскихъ людей, а ихъ лучшимъ и совершеннѣйшимъ оправданіемъ, хотя между Базаровымъ въ романѣ и Базаровыми въ жизни есть, по мнѣнію критика, существенная разница. Писаревъ согласенъ допустить, что Тургеневъ не сочувствуетъ вполнѣ ни «отцамъ», ни «дѣтямъ», что его отрицаніе гораздо глубже и серьезнѣе «отрицанія тѣхъ людей, которые, разрушая то, что было до нихъ, воображаютъ себѣ, что они—соль земли и чистѣйшее выраженіе полной человѣчности». Но, не угождая никому, Тургеневъ въ главномъ, въ самомъ существенномъ не погрѣшилъ противъ фактовъ дѣйствительной жизни, и Базаровъ, съ его крупнымъ умомъ, желѣзною волею, со всѣми привлекательными чертами его яркой индивидуальности, стоитъ передъ нами, какъ живой человѣкъ, какъ героическій характеръ, не измѣнившій себѣ съ начала до конца романа ни единымъ поступкомъ,

[1]) „Русское Слово“ 1861, декабрь, *Русская Литература*, стр. 23.

ни. единымъ словомъ. Взглянувъ на Базарова со стороны, разсмотрѣвъ его тѣмъ холоднымъ, испытующимъ взглядомъ, который вырабатывается опытомъ жизни, Тургеневъ оправдалъ и оцѣнилъ его по достоинству, удостовѣрилъ его силу, призналъ его перевѣсъ надъ окружающими людьми. «Этого слишкомъ достаточно, говоритъ Писаревъ, для того, чтобы снять съ романа Тургенева всякій, могущій возникнуть, упрекъ въ отсталости направленія, этого достаточно даже для того, чтобы признать его романъ практически полезнымъ для настоящаго времени». Вся статья Писарева имѣетъ одну только цѣль: объяснить Базарова какъ можно полнѣе, выставить его главные принципы въ самомъ яркомъ освѣщеніи, показать его живую связь съ новыми стремленіями русскаго общества. Шагъ за шагомъ слѣдитъ онъ за движеніемъ разсказа, и повсюду онъ видитъ блескъ идеи, воплощенной въ сильной, художественной фигурѣ. Какова эта идея? Что въ ней новаго по сравненію съ старыми понятіями «отцовъ?» Какіе новые пути она открываетъ молодымъ силамъ, не желающимъ идти старыми путями? Базаровъ—чистый эмпирикъ. Прослушанный имъ курсъ естественныхъ и медицинскихъ наукъ развилъ въ немъ природный умъ и отучилъ его принимать на вѣру какія-бы то ни было понятія и убѣжденія. Опытъ сдѣлался для него единственнымъ источникомъ научнаго познанія, личное ощущеніе—точкою опоры для всякаго доказательства. Какъ эмпирикъ, Базаровъ «признаетъ только то, что можно ощущать руками, увидать глазами, положить на языкъ, словомъ, только то, что можно освидѣтельствовать однимъ изъ пяти чувствъ». Для Базарова не существуетъ никакихъ идеаловъ и, кромѣ непосредственнаго влеченія, онъ можетъ руководиться въ жизни только еще расчетомъ. «Ни надъ собою, ни внѣ себя, ни внутри себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. Впереди—никакой высокой цѣли, въ умѣ—никакого высокаго помысла, и при всемъ этомъ—сила огромная» [1]). Его можно назвать убѣжденнымъ циникомъ въ широкомъ смыслѣ слова. Онъ циникъ по складу ума и по рѣзкости своихъ внѣшнихъ манеръ, и, несмотря на этотъ двойной цинизмъ, приводящій постоянно въ замѣшательство его знакомыхъ, онъ обладаетъ непонятною силою притягивать къ себѣ людей. Къ нему тянутся всѣ, въ каждомъ обществѣ онъ быстро дѣлается центромъ вниманія, умъ его производитъ возбуждающее дѣйствіе на людей различныхъ классовъ...

Давъ такую общую характеристику Базарову, Писаревъ приступаетъ къ подробному анализу важнѣйшихъ событій романа. Отношеніе Базарова къ Аркадію Кирсанову, къ родителямъ, къ представителямъ стараго поколѣнія, въ особенности къ Павлу Петровичу Кирсанову, отношеніе База-

[1]) «Русское Слово» 1862, мартъ, *Базаровъ*, стр. 6

рова къ народу, любовь къ Одинцовой и, наконецъ, потрясающая по художественной силѣ картина смерти Базарова,—все это Писаревъ изучаетъ и освѣщаетъ до мельчайшихъ подробностей. Онъ какъ бы живетъ мыслями и чувствами Базарова. Въ художественномъ образѣ Базарова онъ увидѣлъ черты своей собственной умственной и нравственной физіономіи, отраженіе своихъ лучшихъ симпатій и влеченій. Нѣкоторыя фразы Базарова звучатъ въ его ушахъ, какъ выраженіе его личной мысли. Непримиримое отрицаніе, съ которымъ онъ относится къ патріархальному строю русской жизни, могло-бы показаться блестящимъ поэтическимъ комментаріемъ къ его собственнымъ идеямъ, изложеннымъ въ нѣкоторыхъ его статьяхъ. Писареву не кажется труднымъ объяснить самыя мелкія проявленія его натуры и, становясь на мѣсто Базарова, проникаться его духомъ, говорить его афоризмами, продолжать его дѣятельность въ фантастическихъ условіяхъ грядущей эпохи. Между нимъ и Базаровымъ нѣтъ никакого разногласія въ ихъ главныхъ, принципіальныхъ убѣжденіяхъ, хотя онъ видитъ нѣкоторыя его грубыя заблужденія въ несущественныхъ, второстепенныхъ вопросахъ. Человѣкъ съ изысканно аристократическими манерами, съ привычками утонченнаго внѣшняго изящества, Писаревъ недоволенъ угловато-рѣзкими пріемами Базарова въ обращеніи съ людьми, пріемами, которые, очевидно, должны *уронить* и *опошлить* его въ глазахъ фешенебельныхъ читателей. «Можно быть крайнимъ матеріалистомъ, заявляетъ Писаревъ, полнѣйшимъ эмпирикомъ, и въ то-же время заботиться о своемъ туалетѣ, обращаться утонченно вѣжливо съ своими знакомыми, быть любезнымъ собесѣдникомъ и совершеннымъ джентльменомъ». Еще не дойдя до яваго и безусловнаго отрицанія искусства, Писаревъ упрекаетъ Базарова за опрометчивыя сужденія въ эстетической области. Базаровъ «завирается». Онъ отрицаетъ съ плеча вещи, которыхъ не знаетъ. Поэзія, по мнѣнію Базарова, ерунда, читать Пушкина—потерянное время, заниматься музыкою—смѣшно, наслаждаться природою—нелѣпо. Затертый трудовою жизнью, Базаровъ потерялъ или не успѣлъ развить въ себѣ «способность наслаждаться *пріятнымъ раздраженіемъ* зрительныхъ и слуховыхъ нервовъ, но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы онъ имѣлъ разумныя основанія отрицать или осмѣивать эту способность въ другихъ» [1]). Здѣсь Базаровъ не вѣренъ своимъ собственнымъ убѣжденіямъ, и рѣшительно отвергая всякое значеніе за эстетическими удовольствіями, онъ этимъ самымъ вдается въ нѣкоторый умственный деспотизмъ и, во всякомъ случаѣ, уклоняется съ пути чистаго эмпиризма. «Послѣдовательные матеріалисты, въ родѣ Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, не отказываютъ поденщику въ чаркѣ водки, а достаточнымъ классамъ употребленіе наркотическихъ ве-

[1]) *Базаровъ*, стр. 23.

ществъ,—отчего-же, спрашиваетъ Писаревъ, допуская употребленіе водки и наркотическихъ веществъ вообще, не допустить наслажденія красотою природы, мягкимъ воздухомъ, свѣжею зеленью, нѣжными переливами контуровъ и красокъ?» [1]). Базаровъ съ ненужною подозрительностью ищетъ проявленій романтизма тамъ, гдѣ его никогда не было. Онъ хотѣлъ-бы предписывать человѣку законы. Онъ хотѣлъ-бы запретить ему извѣстныя удовольствія—вопреки здравой и вѣрной теоріи личныхъ ощущеній, имѣющихъ въ его собственныхъ глазахъ высшій авторитетъ предъ всѣми другими старыми критеріями.

Отъ Писарева не ускользнули нѣкоторыя тонкія, едва замѣтныя черты, обнаруживающія смущенное состояніе духа Базарова послѣ любовной неудачи съ Одинцовою. Ему понятно, что, несмотря на всю свою убѣжденность, Базаровъ въ глубинѣ души затаилъ стремленія и чувства, выходящія изъ рамки нигилизма. Увлеченный до фанатизма извѣстною мыслью, цѣлою системою теоретическихъ понятій, Базаровъ постоянно сковывалъ свою богатую природу въ опредѣленномъ направленіи. Никогда онъ не пошелъ-бы въ разрѣзъ не только съ своими убѣжденіями, но и привычками, пока онъ могъ твердо держаться на холодной высотѣ своихъ сознательныхъ, разсудочныхъ требованій. Но вотъ случилось несчастье. Базаровъ умираетъ, и въ минуту смерти онъ какъ-бы сбрасываетъ съ себя всякія оковы и показываетъ свою натуру такою, какою никто не видѣлъ ее въ обыкновенное время, въ суматохѣ жизни, съ ея вѣчною борьбою желаній, предразсудковъ, съ ея никогда не умолкающимъ гуломъ препирательствъ изъ-за каждаго пустяка. Передъ смертью Базаровъ становится *естественнѣе*, человѣчнѣе, непринужденнѣе и, открывшись весь, возбуждаетъ къ себѣ такое сочувствіе, какого никогда не вызывалъ въ минуты полнаго здоровья, когда «онъ холоднымъ разсудкомъ контролировалъ каждое свое движеніе и постоянно ловилъ себя на романтическихъ поползновеніяхъ». На послѣднихъ страницахъ своей статьи Писаревъ слѣдующимъ образомъ формулируетъ главную идею «Отцовъ и дѣтей». Смыслъ романа, пишетъ онъ, такой: «Теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ крайности, но въ самыхъ увлеченіяхъ сказываются свѣжая сила и неподкупный умъ. Эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержатъ ихъ въ жизни [2])»...

Вотъ какъ понялъ Писаревъ замѣчательное произведеніе Тургенева. Сличая идеи Базарова съ собственными мыслями и настроеніями, онъ пришелъ къ убѣжденію, что у Тургенева всѣ намѣренія, вольныя и невольныя, склонились къ тому, чтобы не только оправдать, но и возве-

---

[1]) *Базаровъ*, стр. 25

[2]) Ibidem, стр. 54.

личить новое движеніе умовъ въ русскомъ обществѣ. Если откинуть нѣкоторыя ничтожныя логическія погрѣшности Базарова, то окажется, что онъ правъ передъ всѣми окружающими его людьми, что въ его характерѣ нѣтъ ни малѣйшей трещины. Сужденія Базарова объ искусствѣ можно оставить въ сторонѣ, какъ совершенно ничтожный промахъ, нисколько не вліяющій на всѣ его другія понятія. Его внѣшняя неделикатность и даже чрезмѣрная рѣзкость въ обращеніи съ людьми не имѣетъ серьезнаго значенія и вовсе не вытекаетъ изъ его общихъ понятій. Это все случайныя черты въ художественной фигурѣ, выхваченной непосредственно изъ жизни, но не во всемъ пользующейся сочувствіемъ самого Тургенева. Базаровъ могъ-бы быть и человѣкомъ съ изящными манерами, а къ искусству онъ могъ-бы относиться съ тѣмъ-же снисходительнымъ одобреніемъ, съ какимъ извѣстные матеріалисты, въ родѣ Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, относятся къ чаркѣ водки, выпиваемой рабочимъ человѣкомъ въ минуты отдохновенія отъ тяжелаго труда...

Но характеръ Базарова глубже и рѣшительнѣе, чѣмъ это показалось Писареву. Базаровъ отрицаетъ искусство, Пушкина, Рафаэля, какъ пустую и ничтожную романтику, не по ошибкѣ, а по строгому и ясному для него убѣжденію. Его отрицаніе простирается на все, что поднимается выше жизненнаго опыта съ его нехитрою системою простыхъ и постоянно повторяющихся ощущеній. Шире Писарева понимаетъ онъ высокую цѣль искусства и, не желая измѣнить своему эмпирическому взгляду на задачу человѣческой жизни, онъ рѣшительно и твердо отвергаетъ его какъ ненужную и даже вредную забаву. Въ этомъ отрицаніи высшихъ проявленій человѣческаго духа Базаровъ обнаруживаетъ честную прямоту своихъ непреклонныхъ убѣжденій и, какъ мыслящій умъ, безконечно поднимается надъ жалкими уподобленіями Писарева, который не видитъ никакой разницы между «пріятнымъ раздраженіемъ зрительныхъ и слуховыхъ нервовъ» и самыми глубокими поэтическими впечатлѣніями. Онъ не вѣритъ не только въ искусство, но и въ науку, хотя онъ готовъ признать, что порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта. «Я уже доложилъ вамъ, говоритъ онъ, обращаясь къ Павлу Петровичу Кирсанову,—что ни во что не вѣрю. Что такое наука—наука вообще? Есть науки, какъ есть ремесла, знанія, а науки вообще не существуетъ вовсе». Онъ отрицаетъ даже эстетическое наслажденіе природою, потому что и она постигается вовсе не одними простыми ощущеніями. Глядя вдаль на пестрыя поля, красиво и мягко освѣщенныя лучами заходящаго солнца, Аркадій Кирсановъ спрашиваетъ Базарова:

— И природа пустяки?

— И природа пустяки, отвѣчаетъ Базаровъ, въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее понимаешь. Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ.

Въ рѣшительной схваткѣ съ Павломъ Петровичемъ Кирсановымъ онъ смѣло отрекается отъ всякой солидарности съ нимъ въ чемъ-бы то ни было.

— Мы дѣйствуемъ,—говоритъ онъ ему,—въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ. Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе — мы отрицаемъ.

— Все?

— Все.

— Какъ? не только искусство, поэзію... но и... страшно вымолвить...

— Все, съ невыразимымъ спокойствіемъ повторилъ Базаровъ.

Въ безпощадномъ отрицаніи, не знающемъ никакихъ границъ, Базаровъ какъ-бы видитъ свое призваніе, въ этомъ—его особая оригинальность, сила. Смѣлый и глубокій умъ, онъ не поставитъ искусство въ одну линію съ грубыми средствами внѣшняго возбужденія, а выдѣливъ его изъ всѣхъ орудій обычнаго вліянія на людей, тѣмъ сильнѣе ударитъ въ него саркастическою насмѣшкою. Съ послѣдовательностью настоящаго мыслителя, онъ не боится никакихъ выводовъ изъ своихъ словъ, и только собственная шаткость и постоянныя колебанія Писарева въ важныхъ вопросахъ морали и эстетики помѣшали ему замѣтить всю непреклонную твердость Базарова въ принципіальномъ для него дѣлѣ отрицанія всякаго искусства. Въ этой умственной твердости Базарова и весь интересъ романа. Художникъ надѣлилъ своего героя лучшими нравственными качествами, щедрою рукою расписалъ его острыя діалектическія способности, не пожалѣлъ никакихъ красокъ для изображенія его полнаго жизненныхъ силъ темперамента. Ни въ чемъ не отказано Базарову. Какъ типическое выраженіе извѣстнаго умственнаго движенія, онъ владѣетъ всѣми аргументами своей философіи, всѣми орудіями самозащиты и активнаго натиска на старый порядокъ вещей. Онъ—сосредоточенное воплощеніе всѣхъ стремленій даннаго историческаго момента. И вотъ мы видимъ Базарова, по волѣ художника, въ живой борьбѣ съ цѣлымъ строемъ чуждыхъ ему теоретическихъ и практическихъ понятій. Съ холоднымъ сарказмомъ онъ отражаетъ мѣткіе удары своего главнаго идейнаго противника, Павла Петровича Кирсанова, съ чувствомъ полнаго умственнаго превосходства даетъ онъ шутливую реплику на скромныя и боязливыя замѣчанія его брата, Николая Кирсанова. Никогда не чувствуя себя побѣжденнымъ въ чемъ-бы то ни было, онъ борется съ ними на почвѣ чистой разсудочности, и каждому старому, «романтическому» понятію ему не трудно на словахъ противопоставить свое рѣшительное отрицаніе. Въ ихъ собственной жизни ничто не можетъ смутить его внутреннія настроенія и чувства, скрытыя гдѣ-то въ глубинѣ и совсѣмъ не выражающіяся въ его рѣзкихъ полемическихъ фразахъ. Надо, чтобы случилось нѣчто роковое, важное, надо, чтобы какое-нибудь

событіе въ его личной жизни потрясло все его духовное существо, и тогда этотъ могучій на видъ человѣкъ встанетъ передъ нами въ болѣе правдивомъ и глубокомъ освѣщеніи. Предъ фактами жизни, которыхъ нельзя уложить въ тѣсную рамку двухъ, трехъ разсудочныхъ понятій, философія Базарова обрисуется съ ея истинными недостатками, во всей своей логической безпомощности. Базаровъ отрицаетъ искусство, смѣется надъ музыкой, съ явною бравадою подчеркиваетъ свой исключительно чувственный взглядъ на женщину. Не встрѣчая серьезныхъ препятствій на своемъ пути, онъ съ легкостью великана справляется съ окружающими его умственными и нравственными карликами, разрѣшая съ веселымъ смѣхомъ всѣ ихъ сомнѣнія и недоразумѣнія. Никакія сильныя впечатлѣнія не овладѣваютъ его умомъ. Не чувствуя пока никакого разлада между внутренними запросами души и своею строго выработанною системою разсудочныхъ понятій, онъ ни передъ чѣмъ не останавливаетъ своего отрицанія, ничѣмъ не смущается, никогда критически не обозрѣваетъ своихъ собственныхъ мыслей. Безъ бурь протекаетъ его безпечная жизнь въ обществѣ, которое не въ силахъ задѣть извнутри его сатанинское самолюбіе, напугать его духъ неразгаданнымъ обаяніемъ красоты, требующей высшаго признанія, какими-нибудь неожиданными впечатлѣніями и обстоятельствами...

Любовь къ Одинцовой смутила и ошеломила Базарова. Его эмпирическія понятія не выдержали новаго испытанія,—и его глубоко скрытыя духовныя влеченія прорвались наружу, сломивъ преграду, поставленную трезвыми реалистическими убѣжденіями. Несмотря на могучую волю, Базаровъ чувствуетъ приливъ новыхъ настроеній, не поддающихся простому отрицанію, куда-то его толкающихъ, къ чему-то призывающихъ всѣ силы его существа. Непонятная тайна овладѣла его душою. Романъ съ Одинцовой, по красотѣ и яркости изображенія представляющій настоящій поэтическій перлъ, показываетъ намъ Базарова въ самую критическую для него минуту. Въ этомъ романѣ онъ обнаруживается весь до конца. Жертва собственныхъ заблужденій, Базаровъ не могъ подчинить себѣ человѣка, который искалъ, но не нашелъ для себя настоящаго свѣта. Въ своемъ гордомъ удаленіи отъ міра Одинцова тщательно оберегала свою личность отъ всякаго участія въ суетливомъ движеніи мелочныхъ жизненныхъ интересовъ. Давно уже принадлежа себѣ одной, она могла мечтать только о настоящемъ счастьи, съ глубокою, безграничною личною жертвою, принесенною во имя любви. Замкнувшись отъ людей по чувству эстетическаго и нравственнаго превосходства надъ ними, она—красивая, изящная, спокойная, умная—могла рѣшиться разорвать съ привычнымъ одиночествомъ только въ минуту поэтическаго экстаза. Иной побѣды надъ собою Одинцова не могла допустить, и вотъ почему Базаровъ, при всемъ умѣніи смущать людей дерзновенною смѣлостью своихъ рѣзкихъ сужденій, оригинальными

взглядами на жизнь, твердостью воли, оказался безсильнымъ человѣкомъ въ борьбѣ съ этою своенравною женщиною, искавшею не страстныхъ наслажденій, а страстной любви—таинственной, глубокой, красивой...

Осторожною рукою Тургеневъ отмѣчаетъ всѣ моменты смущенной борьбы Базарова съ Одинцовой. Несмотря на всю свою разсудочность, этотъ всесильный отрицатель съ первой-же минуты знакомства съ красивою женщиною чувствуетъ какую-то неловкость и робость, замѣтную для другихъ. Когда Одинцова въ простомъ утреннемъ платьѣ, молодая и свѣжая при свѣтѣ весенняго солнца, впервые явилась передъ нимъ, Аркадій Кирсановъ «съ тайнымъ удивленіемъ замѣтилъ, что онъ какъ-будто сконфузился», между тѣмъ какъ она оставалась совершенно спокойною. Сразу не найдя вѣрной ноты, Базаровъ, въ первыя минуты посѣщенія, говоритъ черезчуръ много, явно стараясь занять свою собесѣдницу,—что опять удивляетъ Аркадія. Молодому Кирсанову показалось даже, что Базаровъ и самую тему для разговора выбралъ совершенно неподходящую, хотя Одинцова слушала его съ привѣтливымъ, тонкимъ выраженіемъ на лицѣ. Прекрасные глаза ея свѣтились вниманіемъ, но вниманіемъ безмятежнымъ. Съ интеллигентною учтивостью она дѣлала только самыя краткія замѣчанія и, уловивъ однажды, что Базаровъ не любитъ разсужденій объ искусствѣ, тихо навела рѣчь на ботанику. Когда, наконецъ, пріятели поднялись и стали прощаться, Одинцова ласково поглядѣла на нихъ, протянула имъ свою красивую бѣлую руку и, подумавъ немного, съ нерѣшительностью проговорила:

— Если вы, господа, не боитесь скуки, пріѣзжайте ко мнѣ въ Никольское.

— Помилуйте, Анна Сергѣевна, воскликнулъ Аркадій, я за особенное счастье почту...

— А вы, мсье Базаровъ?

Базаровъ только поклонился и Аркадію въ послѣдній разъ пришлось удивиться: онъ замѣтилъ, что пріятель его покраснѣлъ...

Впечатлѣнія Базарова усиливаются по мѣрѣ его знакомства съ Одинцовой, и обыкновенно выдержанный, холодный тонъ его разсужденій пріобрѣтаетъ новый оттѣнокъ смущеннаго раздраженія. Въ первый разъ онъ столкнулся съ человѣкомъ, владѣющимъ собою съ полнымъ совершенствомъ и, при сходствѣ горделивыхъ привычекъ и свободнаго отношенія къ жизни, преисполненнымъ иныхъ влеченій и желаній. Не имѣя никакихъ сильныхъ вѣрованій и не подчиняясь предразсудкамъ свѣта, Одинцова ни передъ чѣмъ не уступала и никуда не шла, говоритъ Тургеневъ. Она многое видѣла, многое занимало ее глубоко, но ничто не удовлетворяло вполнѣ. Въ ея пытливомъ умѣ сомнѣнія никогда не утихали до забывчивости и никогда не доростали до тревоги. Не спѣша и не волнуясь, она проводила дни въ тихомъ мечтаніи о новой жизни, не

предназначенной, повидимому, ей въ удѣлъ. Къ грязной сторонѣ отношеній между мужчиною и женщиною она получила тайное отвращеніе, и потребность любви просыпалась въ ней по временамъ вмѣстѣ съ тоскливою надеждою на свѣжія, яркія впечатлѣнія. Въ первомъ интересномъ разговорѣ съ Базаровымъ она, истомленная долгимъ ожиданіемъ, ловитъ каждое его слово, отражающее, хотя-бы въ самой малой степени, движенія и свѣтъ поэтической мысли, подкупающее волненіе эстетическаго чувства.

— Зачѣмъ вы, спрашиваетъ ее Базаровъ, — съ вашимъ умомъ съ вашей красотой, живете въ деревнѣ?

— Какъ? Какъ вы это сказали? съ живостью подхватила Одинцова. Съ моей... красотою?

Поэтическое слово подхватываетъ ее сразу и, среди множества фразъ, произнесенныхъ Базаровымъ съ какимъ-то особеннымъ напряженіемъ, оно одно только зажигаетъ ея воображеніе. Неподвижная и медлительно увѣренная въ каждомъ своемъ замѣчаніи, она внезапно срывается съ мѣста при первыхъ звукахъ свободнаго лирическаго изліянія. Радужныя краски загораются передъ ея глазами и, охваченная магическимъ очарованіемъ, она уже готова броситься впередъ съ закрытыми глазами. Но Базаровъ, нахмурившись отъ произведеннаго имъ самимъ романтическаго впечатлѣнія, быстро переводитъ свою мысль на другой, ему болѣе знакомый, безцвѣтно-прозаическій языкъ, и поэтическое очарованіе, возбужденное завѣтнымъ словомъ, разсѣевается окончательно въ холодномъ воздухѣ обычныхъ споровъ и разсужденій. Недовольная безцѣльною твердостью его рѣчей, лишенныхъ мечтательной силы, Одинцова какъ-бы сама наталкиваетъ Базарова на болѣе глубокія сужденія. Она хотѣла-бы силою вырвать изъ него какое-нибудь глубокое, личное признаніе, способное увлечь и потрясти все ея существо. Но Базаровъ, вѣрный своимъ убѣжденіямъ, хотя и не вѣрный, можетъ быть, своимъ собственнымъ внутреннимъ порывамъ, не отдается ни за что во власть манящей и дразнящей его стихіи. Смущенный обаятельной красотой Одинцовой и чувствуя бурный приливъ необычной страсти, онъ съ какимъ-то отчаяніемъ поднимаетъ тонъ своихъ и безъ того холодныхъ, рѣжущихъ изреченій. Отрицаніе всякаго романтизма глубоко въѣлось въ его натуру, обезсиливъ ея глубокіе, таинственные корни, и, жадно ища всякой новой встрѣчи съ Одинцовой, мечтая о ней съ изступленнымъ вдохновеніемъ, онъ при этомъ не находитъ того настоящаго пути, который могъ-бы привести его къ желанной цѣли. Въ Базаровѣ закипаетъ глухая внутренняя борьба съ самимъ собою. Съ первыхъ-же дней пребыванія въ имѣніи Одинцовой въ немъ совершается замѣтная перемѣна. Раздраженіе растетъ въ немъ съ каждымъ часомъ, неожиданные образы стали кружиться и волновать вдругъ проснувшуюся въ немъ фантазію. Закоренѣлый врагъ всякихъ

романтическихъ иллюзій, онъ, къ великому своему изумленію, увидѣлъ себя лицомъ къ лицу съ настоящею романтическою опасностью. Несмотря на протестующіе доводы разсудка, онъ не въ силахъ отвернуться отъ Одинцовой. Не одна только кровь загорѣлась въ немъ. «Что-то другое въ него вселилось, чего онъ никакъ не допускалъ, надъ чѣмъ всегда трунилъ, что возмущало всю его гордость». Потрясенный собственнымъ безсиліемъ, Базаровъ становится все мрачнѣе и мрачнѣе. Его свѣтлыя мысли оказались ничтожными въ борьбѣ съ таинственными влеченіями его души. Не охватывая всего ея содержанія, его теоретическія понятія не могутъ пролить ни единаго луча свѣта на этотъ темный міръ страстей и чувствъ, внезапно открывшійся въ его собственной, личной жизни. Ему нечѣмъ защититься отъ приближающейся грозы. Не сдѣлавъ еще половины своего пути, онъ вдругъ столкнулся съ препятствіемъ, которое нельзя сдвинуть съ мѣста никакимъ отрицаніемъ, никакою насмѣшкою, никакими обычными средствами нигилистической борьбы за личную свободу. Имъ овладѣваетъ настроеніе, близкое къ отчаянію. Не желая выдать своихъ чувствъ, онъ часто убѣгаетъ въ лѣсъ, или забирается на сѣновалъ, въ сарай, чтобы забыться и успокоиться отъ обступающихъ его со всѣхъ сторонъ впечатлѣній. Но и вдали отъ людей онъ не въ силахъ остановить прибой шумныхъ и властныхъ чувствъ. Вдругъ ему представится, что цѣломудренныя руки Одинцовой когда-нибудь обовьются вокругъ его шеи, что ея гордыя губы отвѣтятъ на его поцѣлуй. Иногда ему кажется, что въ Одинцовой происходитъ перемѣна, что въ выраженіи ея лица можно уловить что-то особенное. Но вотъ надежда смѣняется разочарованіемъ, и гнѣвный Базаровъ не въ силахъ задушить въ себѣ бѣшеныхъ взрывовъ настоящаго романтическаго отчаянія. «Тутъ онъ обыкновенно топалъ ногою или скрежеталъ зубами и грозилъ себѣ кулакомъ»...

Въ любовномъ объясненіи съ Одинцовой вся внутренняя смута Базарова вырвалась въ грубыхъ и рѣзкихъ движеніяхъ, приведшихъ къ неизбѣжной для него катастрофѣ. Онъ задыхался, все тѣло его видимо трепетало. «Но это было не трепетаніе юношеской радости, не сладкій ужасъ перваго признанія овладѣлъ имъ: это страсть въ немъ билась, сильная и тяжелая страсть, похожая на злобу и, быть можетъ, сродни ей».

Съ этого момента въ Базаровѣ происходитъ глубокій переломъ, измѣняющій всю его нравственную и умственную физіономію. Онъ уже не прежній Базаровъ. Въ разсужденіяхъ его прорываются отголоски какихъ-то новыхъ настроеній, таинственнаго броженія прежде угнетенныхъ элементовъ его душевной жизни. Испытавъ полную неудачу съ женщиною, овладѣвшею всѣмъ его воображеніемъ, онъ вдругъ смирился, сгорбился и, шатаясь отъ внутреннихъ содроганій, быстро ушелъ

съ глазъ людей, вѣрившихъ въ безпредѣльную твердость его характера. Во всѣхъ его поступкахъ и словахъ, отъ прощанія съ Одинцовой до рокового часа смерти, нѣтъ уже прежней выдержанности, чувствуется умственная растерянность, лихорадочное исканіе новыхъ началъ, новыхъ идей, способныхъ озарить и воодушевить его горькую, терпкую, бобыльную жизнь среди людей. Предъ нимъ какъ будто раскрываются новые философскіе горизонты. Онъ уже видитъ все ограниченное могущество человѣка въ этомъ мірѣ, обвѣянномъ кругомъ таинственными силами, въ этомъ мірѣ, представляющемъ всѣмъ своимъ строемъ одну огромную загадку, недоступную человѣческому пониманію. «Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, говоритъ Базаровъ, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ, и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже». Тоскливая скука, глухое безпокойство закрались въ его душу. Даже простымъ мужикамъ, съ которыми онъ прежде умѣлъ говорить (какъ хвалился онъ въ спорѣ съ Павломъ Петровичемъ Кирсановымъ), онъ теперь, въ минуту внутренняго разлада съ самимъ собою, кажется только «чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго». Все въ немъ поколебалось, смутилось, дрогнуло отъ налетѣвшей стихіи, съ которою онъ не могъ совладать обычнымъ путемъ. Даже *случайное* зараженіе тифознымъ ядомъ (какъ это уже было тонко отмѣчено Страховымъ)—дополняетъ и дорисовываетъ одною мрачно пылающею краскою печальную картину паденія прежнихъ твердыхъ устоевъ его характера, трагическое смущеніе всего его существа. Въ послѣдніе часы передъ смертью онъ окончательно сбрасываетъ съ себя прежнія цѣпи, обнаруживаетъ свою настоящую, по природѣ мягкую натуру, не развернувшуюся при жизни. Одинъ только разъ на лицѣ его отразилось чувство ужаса, непримиримое отвращеніе ко всякимъ пустымъ обрядностямъ, но это случилось уже въ ту минуту, когда, окутанный предсмертнымъ туманомъ, онъ вдругъ раскрылъ одинъ глазъ и увидѣлъ себя во власти любящихъ, честныхъ, но жалкихъ исполнителей послѣднихъ печальныхъ предписаній.

Вотъ настоящая, какъ намъ кажется, фигура Базарова, которую Писаревъ, несмотря на все свое увлеченіе, понялъ и освѣтилъ крайне односторонне. Мысль романа, глубокая, смѣлая и, по моменту ея выраженія передъ русскимъ обществомъ, протестантская въ лучшемъ смыслѣ слова, осталась для него неясною, далекою, чуждою. Нѣтъ, конечно, сомнѣнія въ томъ, что Тургеневъ не задавался тенденціозною цѣлью осмѣять, представить въ карикатурномъ видѣ новое движеніе умовъ въ русскомъ обществѣ, въ чемъ безтактно обвиняла его опрометчивая критика «Современника». По складу своихъ убѣжденій, не измѣнявшихся до

конца его жизни, по духу широкой, изысканной интеллигентности, которымъ была проникнута вся его тонкая аристократическая натура, Тургеневъ самъ стоялъ во главѣ лучшихъ стремленій молодой Россіи, не сочувствуя ей только въ ея ложномъ философскомъ взглядѣ на искусство. Ни одной черты въ Базаровѣ онъ не довелъ до карикатурнаго преувеличенія. Фигура Базарова, могучая, яркая, точно вылитая изъ бронзы, рисуется передъ нами во всемъ великолѣпіи огромныхъ нравственныхъ и умственныхъ достоинствъ, озаренная со всѣхъ сторонъ безпристрастнымъ искусствомъ замѣчательнаго русскаго художника. Но писатель съ широкимъ философскимъ міровоззрѣніемъ, Тургеневъ показываетъ намъ своего героя на яркомъ фонѣ настоящей жизни, съ ея случайными, переходными *историческими* задачами и *вѣчными* эстетическими и моральными запросами, и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что на этомъ богатомъ фонѣ, блистающемъ роскошью лучшихъ поэтическихъ красокъ, колоссальная, въ своемъ родѣ, фигура Базарова теряетъ понемногу свою власть надъ нашимъ воображеніемъ, обнаруживаетъ свои слабыя стороны, свои явные недочеты. Но въ этомъ виноватъ не художникъ, а самъ Базаровъ, представленный Тургеневымъ правдиво и смѣло съ любовью психолога, поднесшаго ярко-горящій свѣтильникъ къ загадочному явленію русской культуры и, послѣ долгаго, пристальнаго изученія съ разныхъ сторонъ, вынесшаго его на судъ людей въ изысканно и тонко-обработанной художественной формѣ. А Базаровъ въ произведеніи Тургенева еще ярче, свѣтлѣе и могущественнѣе настоящаго историческаго Базарова...

Черезъ мѣсяцъ послѣ появленія статьи Писарева Страховъ напечаталъ въ апрѣльской книгѣ «Времени» критическій разборъ «Отцовъ и дѣтей». Пользуясь нѣкоторыми разсужденіями Писарева, Страховъ съ истиннымъ литературнымъ талантомъ выставляетъ главныя погрѣшности его критической оцѣнки и затѣмъ, на послѣднихъ, блестящихъ по языку и мѣткихъ по глубинѣ анализа, страницахъ освѣщаетъ романъ Тургенева подъ своимъ собственнымъ угломъ зрѣнія. «Глядя на картину романа спокойнѣе и въ нѣкоторомъ отдаленіи, пишетъ онъ, мы легко замѣтимъ, что хотя Базаровъ головой выше всѣхъ другихъ лицъ, хотя онъ величественно проходитъ по сценѣ, торжествующій, уважаемый, любимый и оплакиваемый, есть, однако-же, что-то, что въ цѣломъ стоитъ выше Базарова». Выше Базарова не тѣ или другія лица, изображенныя въ произведеніи Тургенева, а та жизнь, которая ихъ одушевляетъ. «Выше Базарова — тотъ страхъ, та любовь, тѣ слезы, которыя онъ внушаетъ. Выше Базарова—та сцена, по которой онъ проходитъ». Вотъ то настоящее, таинственное нравоученіе, которое Тургеневъ вложилъ въ свое произведеніе. Общія силы жизни—вотъ на что устремлено все вниманіе художника. Тургеневъ показы-

ваетъ намъ, какъ эти силы воплощаются въ отдѣльныхъ лицахъ, какъ онѣ воплотились въ Базаровѣ,—въ этомъ титанѣ, возставшемъ на лучшія стороны своей собственной человѣческой природы. Но Базаровъ побѣжденъ и побѣжденъ не лицами и не случайностями жизни, но смысломъ, самою идеею жизни, и «такая идеальная побѣда надъ нимъ возможна была только при условіи, чтобы онъ былъ возвеличенъ настолько, насколько ему свойственно величіе» [1]).

Эти краткія замѣчанія Страхова глубже проникаютъ въ художественный замыслъ «Отцовъ и дѣтей», вѣрнѣе освѣщаютъ поэтическія достоинства этого романа, чѣмъ стремительныя, яркія, публицистическія разсужденія Писарева, изрѣдка пересыпанныя мѣткими фразами о литературномъ талантѣ Тургенева, объ увлекательной прелести его тонкой творческой работы въ свѣжихъ и новыхъ направленіяхъ.

---

[1]) *Н. Страховъ*, Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ. Изданіе третье, 1895, стр. 47.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Полемика съ «Русскимъ Вѣстникомъ».—Писаревъ и Герценъ о Кирѣевскомъ.—Писаревъ о Петрѣ Великомъ.—Историческія, естественно-научныя, философскія и педагогическія статьи Писарева.—«Темное царство» въ новомъ освѣщеніи.—Реалистическій взглядъ на любовь и ревность.—Первыя нападки на искусство.—Пушкинъ и Бѣлинскій.—Разрушеніе эстетики.—Два романа съ эмансипаторскими идеями.—«Новый типъ».—Проблески новыхъ настроеній.—Заключеніе.

I.

Первый періодъ своей литературной дѣятельности Писаревъ завершилъ тремя большими статьями, напечатанными въ «Русскомъ Словѣ» 1862 года: «Московскіе мыслители», «Русскій Донъ-Кихотъ» и «Бѣдная русская мысль». Въ «Московскихъ мыслителяхъ» Писаревъ подробно обозрѣваетъ критическій отдѣлъ «Русскаго Вѣстника» за 1861 годъ. Полемизируя съ Катковымъ, онъ по пути обстрѣливаетъ ядовитыми замѣчаніями Я. Грота, Лонгинова, торжественно отрекается отъ всякаго спора съ Юркевичемъ и не безъ апломба выставляетъ свое полное разногласіе во всѣхъ литературныхъ и общественныхъ вопросахъ съ *солидными* убѣжденіями ученой редакціи «Русскаго Вѣстника». Сознавая себя дѣятельнымъ поборникомъ либеральнаго принципа, яснаго и понятнаго для всякаго безпристрастнаго ума и безъ помощи широкихъ научныхъ или философскихъ доказательствъ, Писаревъ съ юмористическою усмѣшкою проводитъ параллель между публицистическими претензіями московскаго журнала и бойкими пріемами радикальнаго «Русскаго Слова», пріемами, разсчитанными на чуткость передовыхъ читателей къ блестящимъ парадоксамъ и афоризмамъ, ко всякой ярко и пылко выраженной мысли. «Мы фантазеры, верхогляды, говоруны», восклицаетъ Писаревъ съ оттѣнкомъ явной иронiи надъ своими учеными противниками. «Мы, грѣшные, вязнемъ въ тинѣ и барахтаемся среди всякихъ нечистотъ, а Русскій Вѣстникъ идетъ себѣ ровною дорогою и неспѣшною поступью пробирается къ храму славы и безсмертія». Собираясь дать

отчетъ о нѣкоторыхъ выдающихся статьяхъ этого журнала, Писаревъ и не думаетъ вооружаться противъ нихъ серьезными аргументами. Къ чему возражать? Для кого возражать? Если его читатели не сочувствуютъ тѣмъ идеямъ, которыя онъ выражалъ въ прежнихъ своихъ работахъ, они не пойдутъ съ нимъ по одной дорогѣ и въ настоящемъ случаѣ. При различіи въ міровоззрѣніяхъ и радикально несходныхъ взглядахъ на задачу русской журналистики, между ними не можетъ оказаться ничего общаго въ пониманіи литературной дѣятельности Каткова. Если-же читатели сочувствуютъ ему, то совершенно достаточно—вѣрно передать содержаніе, общій смыслъ важнѣйшихъ, руководящихъ статей московскаго журнала, чтобы отчетливо выразить извѣстное къ нимъ отношеніе. Проницательные люди поймутъ, въ чемъ дѣло.

Это—одна изъ самыхъ слабыхъ статей Писарева. Присутствуя при нервыхъ рѣшительныхъ схваткахъ Каткова съ «Современникомъ», показавшихъ силы враждующихъ сторонъ въ ихъ настоящемъ объемѣ, Писаревъ не сумѣлъ вмѣшаться въ эту важную борьбу какимъ-нибудь значительнымъ, серьезнымъ заявленіемъ, смѣлою и новою мыслью, увеличивающею шансы успѣха на его сторонѣ. Полемическій походъ Каткова на петербургскихъ журналистовъ радикальнаго лагеря былъ уже въ полномъ разгарѣ, когда Писаревъ отдавалъ въ печать свою пространную статью о «Русскомъ Вѣстникѣ». Въ теченіе двѣнадцати мѣсяцевъ обѣ партіи успѣли обмѣняться рѣшительными возраженіями, и разрывъ «Русскаго Вѣстника» съ либеральнымъ движеніемъ общества обозначился съ полною очевидностью. Удары Каткова въ извѣстную сторону сыпались безпрерывно, обнаруживая неистощимую энергію, движеніе страстей и силъ къ опредѣленной, твердо поставленной цѣли. Пользуясь каждою оплошностью противника и превосходя его размѣрами литературнаго таланта, Катковъ все сильнѣе и сильнѣе набрасывался на главныхъ коноводовъ либеральной партіи, то уличая ихъ въ грубомъ философскомъ невѣжествѣ, то со смѣхомъ обнаруживая жалкое ничтожество ихъ полемическихъ придирокъ и громкихъ, пышныхъ фразъ безъ серьезнаго, внутренняго содержанія. Мы уже слѣдили за всѣми моментами этой кипучей, яркой борьбы между двумя видными журналами, борьбы, затѣянной Катковымъ и доведенной имъ до конца съ извѣстнымъ успѣхомъ. Несмотря на весь свой мятежный задоръ, Чернышевскій не только не сразилъ своего храбраго и искуснаго соперника, но, схватившись съ нимъ на опасной для него почвѣ философскихъ разсужденій, сдѣлалъ нѣсколько явныхъ промаховъ, осмѣянныхъ Катковымъ съ яростью безпощаднаго полемиста. Борьба съ Катковымъ не могла окончиться торжествомъ «Современника» даже въ самой ограниченной области. Не сознавая своего безсилія въ вопросахъ философской науки, Чернышевскій выступалъ на защиту примитивно справедливыхъ требованій рус-

ской жизни съ арсеналомъ такихъ теоретическихъ аргументовъ, которыхъ нельзя было отстоять въ серьезномъ спорѣ. Онъ шелъ впередъ, не сомнѣваясь въ успѣхѣ, но шансы побѣды—рѣшительной, исторической побѣды надъ реакціонною силою, вставшею на пути прогрессивнаго движенія, уменьшались съ каждымъ днемъ.

Вѣрный партизанъ Чернышевскаго въ вопросахъ философіи и эстетики, Писаревъ не могъ оказать «Современнику» серьезной поддержки въ его полемическомъ раздорѣ съ «Отечественными Записками» и «Русскимъ Вѣстникомъ». Новыхъ объясненій, по сравненію съ доводами Чернышевскаго, онъ не давалъ. По типу, всѣ его возраженія, въ «Схоластикѣ XIX вѣка», противъ Дудышкина, Альбертини, Громеки, Бестужева-Рюмина, ничѣмъ не отличались отъ жестокой расправы Чернышевскаго съ неожиданными защитниками Юркевича на страницахъ умѣренно либеральнаго журнала. Всѣ его доводы въ пользу матеріализма, выраженные съ необузданнымъ задоромъ, эти смѣлые скачки черезъ бездны научныхъ затрудненій, отъ сложныхъ теоремъ философіи къ вопросамъ и событіямъ текущей жизни, каждое частное сужденіе, отдѣльные афоризмы и замѣчанія—все обнаруживало непобѣдимое вліяніе Чернышевскаго, овладѣвшаго всѣмъ его существомъ. При значительномъ литературномъ талантѣ, Писаревъ этими своими статьями не могъ, конечно, смутить ни сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ», ни такого сильнаго вождя начинавшейся реакціи, какимъ былъ Катковъ. Оба журнала—петербургскій, съ представителями умѣреннаго либерализма во главѣ, и московскій, управляемый опытною рукою блестящаго публициста, не могли войти въ самостоятельную борьбу съ молодымъ писателемъ, не показавшимъ, при свѣжести литературнаго дарованія, при необычайной бойкости и рѣзкости полемическаго тона, никакой серьезной умственной подготовки въ научно-философскомъ направленіи. «Схоластика XIX вѣка» произвела большую сенсацію своимъ эфектнымъ краснорѣчіемъ, своимъ смѣлымъ заступничествомъ за Чернышевскаго, но она не могла поколебать общаго положенія вещей въ журналистикѣ, потому что, несмотря на яркіе проблески индивидуализма, не заключала въ себѣ никакихъ новыхъ теоремъ по сравненію съ главными тезисами «Антропологическаго принципа» Чернышевскаго. Статья-же «Московскіе мыслители», по стилю и оригинальности содержанія, значительно уступала всему, написанному критикомъ «Русскаго Слова» въ этотъ періодъ его литературной дѣятельности.

Въ коротенькой статьѣ подъ пышнымъ заглавіемъ «Русскій Донъ-Кихотъ» Писаревъ пытается набросать исчерпывающую характеристику взглядовъ и стремленій И. В. Кирѣевскаго, одного изъ самыхъ талантливыхъ представителей славянофильскаго движенія. Вышедшее въ 1861 году полное собраніе его сочиненій, въ двухъ томахъ, съ приложеніемъ обширныхъ матеріаловъ для біографіи Кирѣевскаго, собранныхъ А. И.

Кошелевымъ, давало критику «Русскаго Слова» полную возможность подвергнуть обстоятельному разбору рядъ статей литературно-эстетическаго и философскаго характера, написанныхъ вдохновеннымъ языкомъ и мѣстами обнаруживающихъ поразительную глубину оригинальнаго умственнаго настроенія. Широкое образованіе Кирѣевскаго, соединенное съ удивительною чистотою нравственнаго характера, не представляло, конечно, никакого повода для легкомысленнаго, рецензентскаго юмора и диллетантскаго пустословія о посторонннихъ, къ дѣлу не относящихся, вопросахъ. Въ его разсужденіяхъ о русской литературѣ, о стихотвореніяхъ Языкова, о Грибоѣдовѣ, о Пушкинѣ, о русскихъ писательницахъ разсѣяно множество великолѣпныхъ замѣчаній, заслуживающихъ серьезнаго вниманія. Въ статьяхъ его подъ названіемъ: «Девятнадцатый вѣкъ», «Въ отвѣтъ А. С. Хомякову» (по поводу статьи Хомякова «О старомъ и новомъ»), «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи», «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи» обрисовалась опредѣленная точка зрѣнія на важнѣйшія событія европейской жизни, на задачу русской культуры, цѣлая историческая система, возникшая въ умѣ, богатомъ смѣлыми и свѣтлыми мыслями. Для литературнаго критика, идущаго по самостоятельному пути, эти два тома произведеній Кирѣевскаго представляли драгоцѣнный случай высказаться съ надлежащею силою по ряду вопросовъ первостепенной важности. Главнымъ тезисамъ Кирѣевскаго надо было противопоставить свои собственныя теоремы, продуманныя во всѣхъ отношеніяхъ, въ ихъ ближайшихъ и отдаленныхъ выводахъ, соединенныя въ стройное философское ученіе. Съ полнымъ вниманіемъ надо было разсмотрѣть каждый изъ элементовъ его исторической теоріи, представляющей широкое обобщеніе разнообразныхъ фактовъ духовнаго и соціальнаго характера. Въ спорѣ съ такимъ противникомъ, какъ Кирѣевскій, всякое дешевое глумленіе надъ враждебными понятіями, всякое бряцаніе воинствующими фразами не имѣло никакого смысла.

Но не рожденный для серьезныхъ споровъ и всѣмъ своимъ умственнымъ воспитаніемъ совершенно не подготовленный для пониманія такихъ натуръ, какою былъ Кирѣевскій, Писаревъ отнесся къ своей задачѣ съ тою-же легкостью и бойкостью, съ какою онъ обрушивался на разныхъ второстепенныхъ авторовъ Въ «Русскомъ Донъ-Кихотѣ», несмотря на кричащія, побѣдоносныя фразы, нѣтъ ни одной серьезной мысли, ни одного научнаго аргумента противъ яркихъ доводовъ Кирѣевскаго, ни одного смѣлаго и цѣльнаго обобщенія, бросающаго иной свѣтъ на историческіе факты, собранные и по-своему объясненные даровитѣйшимъ изъ русскихъ славянофиловъ. Ограничиваясь мелкими по содержанію, но язвительными по формѣ замѣчаніями, Писаревъ не разбираетъ серьезно ни одной изъ статей Кирѣевскаго. Богатый біографическій

матеріалъ, представленный Кошелевымъ, не увлекъ его своимъ превосходнымъ психологическимъ содержаніемъ, несмотря на то, что самое славянофильство показалось Писареву «психологическимъ явленіемъ, возникшимъ вслѣдствіе неудовлетворенныхъ потребностей» русской жизни. Ничего не доказывая, Писаревъ ничего серьезно не объясняетъ своему читателю, и вся его смѣлая рецензія о важномъ литературномъ явленіи, при внимательномъ разсмотрѣніи, должна быть признана наборомъ бездоказательныхъ фразъ, производящихъ убогое впечатлѣніе, по сравненію съ глубокими, оригинальными, иногда ошибочными и односторонними, но всегда возвышенными разсужденіями Кирѣевскаго.

Вотъ какими словами Писаревъ старается опредѣлить значеніе Кирѣевскаго въ движеніи русскаго просвѣщенія. Друзья и единомышленники Кирѣевскаго, пишетъ онъ, скажутъ, что его слѣдуетъ изучать, какъ мыслителя, что его должно уважать, какъ двигателя русскаго самосознанія, что принесенная имъ польза будетъ оцѣнена послѣдующими поколѣніями. Съ подобными мнѣніями Писаревъ согласиться не можетъ. По его твердому убѣжденію, «Кирѣевскій былъ плохой мыслитель, онъ боялся мысли». Кирѣевскій никуда не подвинулъ русское самосознаніе, и статьи его никогда не производили серьезнаго впечатлѣнія. Пользы Кирѣевскій, категорически заявляетъ Писаревъ, не принесъ никакой, и если послѣдующія поколѣнія, по какому-нибудь чуду, запомнятъ его имя, то они пожалѣютъ только о печальныхъ заблужденіяхъ этого даровитаго писателя, хотя Кирѣевскій «былъ человѣкъ очень не глупый и въ высшей степени добросовѣстный». Разсказывая вслѣдъ за Кошелевымъ о заграничныхъ впечатлѣніяхъ Кирѣевскаго, Писаревъ замѣчаетъ: «мягкосердечный московскій юноша мѣрялъ западную мысль крошечнымъ аршиномъ своихъ московскихъ убѣжденій, которыя казались ему непогрѣшимыми и которыя раздѣляли съ нимъ всѣ убогія старушки Бѣлокаменной». Кирѣевскій слушалъ лекціи извѣстнѣйшихъ профессоровъ, сообщалъ въ письмахъ къ родственникамъ и друзьямъ «остроумныя замѣтки о методѣ и манерѣ ихъ преподаванія», но при этомъ онъ самъ оставался «неразвитымъ, наивнымъ ребенкомъ, не умѣвшимъ ни на минуту возвыситься надъ воззрѣніями папеньки и маменьки». Въ статьѣ Кирѣевскаго «Девятнадцатый вѣкъ», по мнѣнію Писарева, не затронута ни одна реальная сторона европейской жизни. Кирѣевскій преклоняется передъ вожаками европейской мысли, не умѣя «взглянуть на умозрительную философію, какъ на хроническое повѣтріе, какъ на болѣзненный наростъ, развившійся вслѣдствіе того, что живыя силы, стремившіяся къ практической дѣятельности, были насильственно сдавлены и задержаны». Объ Европѣ и Россіи Кирѣевскій судитъ вкривь и вкось, «не зная фактовъ, не понимая ихъ и стараясь доказать всему читающему міру, что и философія, и исторія, и политика нуждаются для сво-

его оживленія именно въ тѣхъ понятіяхъ, которыя были привиты ему самому». Въ сочиненіяхъ его хороши только тѣ мѣста, въ которыхъ онъ является чистымъ поэтомъ, заявляетъ въ одномъ мѣстѣ Писаревъ, но тутъ-же прибавляетъ: «повѣсти Кирѣевскаго очень плохи, потому что въ нихъ преобладаетъ головной элементъ, онѣ сбиваютея на аллегоріи».

Въ трехъ статьяхъ Кирѣевскаго: «Девятнадцатый вѣкъ», «Въ отвѣтъ А. С. Хомякову», «О характерѣ просвѣщенія Европы» выразились основные принципы его философскаго міровоззрѣнія, хотя первая изъ этихъ статей относится къ тому періоду его литературной дѣятельности, когда мысль Кирѣевскаго не достигла своего окончательнаго развитія. Въ «Девятнадцатомъ вѣкѣ» только намѣчены, въ общей, схематической формѣ, тѣ вопросы, которые занимали Кирѣевскаго до послѣднихъ минутъ его жизни. Въ ясныхъ выраженіяхъ предлагаетъ онъ на судъ философской критики опредѣленную формулу западнаго просвѣщенія, перечисляетъ главныя силы европейской исторіи, но, обозначивъ путь и направленіе своихъ будущихъ литературныхъ работъ, онъ при этомъ не доводитъ своихъ разсужденій до послѣднихъ возможныхъ заключеній. Въ дальнѣйшихъ статьяхъ Кирѣевскій видоизмѣняетъ свои взгляды, оттѣняя ихъ новыми важными замѣчаніями. Между первою и послѣдующими статьями легла глубокая умственная работа, въ которой міровоззрѣніе Кирѣевскаго обнаружило всѣ свои типическія черты, въ которой этотъ несомнѣнно большой и разнообразно одаренный умъ, горѣвшій экстазомъ, получилъ свою окончательную и характерную для русскаго духа формировку.

Обрисовавъ движеніе мысли въ девятнадцатомъ вѣкѣ, Кирѣевскій слѣдующимъ образомъ объясняетъ положеніе Россіи въ исторіи европейскаго просвѣщенія. Между Россіей и Европой, пишетъ онъ, стоитъ какая-то китайская стѣна, которая только сквозь нѣкоторыя свои отверстія пропускаетъ къ намъ воздухъ просвѣщеннаго запада. Прошло уже цѣлое тысячелѣтіе съ тѣхъ поръ, какъ началась историческая жизнь Россіи, но, несмотря на долгій періодъ политической дѣятельности, ея просвѣщеніе еще находится въ зародышѣ. Очевидно, говоритъ Кирѣевскій, что причины, мѣшающія правильному развитію русскаго общества, не могутъ быть случайными, но должны заключаться «въ самой сущности его внутренней жизни», въ коренныхъ, первоначальныхъ элементахъ національнаго русскаго быта. Эти причины могутъ быть опредѣлены только сопоставленіемъ западноевропейской и русской культуры. Какими силами управлялось развитіе Европы? Въ чемъ главные факторы движенія Европы по пути прогресса? Какія стихіи спасали европейское общество отъ разрушительнаго дѣйствія разныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, постоянно возрождая въ немъ духъ для успѣшной борьбы съ враждебными ему элементами? Три начала легли въ основаніе европейской исторіи, говоритъ Кирѣевскій:

христіанская религія, классическій міръ древняго язычества и духъ варварскихъ народовъ, разрушившихъ Римскую имперію. На этихъ началахъ выросло европейское общество. Классическая мысль, не переставшая участвовать во всѣхъ областяхъ научной и философской работы, вліяла постоянно не только на свѣтскую, но и на духовную жизнь европейскихъ народовъ. Самая противоположность между христіанскою и языческою культурою открывала новымъ идеямъ широкое поле развитія. Въ постоянной борьбѣ съ окружающими обстоятельствами, съ преданіями языческихъ нравовъ и влеченій, христіанство только укрѣпляло свои силы. Посреди разногласнаго, нестройнаго, невѣжественнаго броженія противоположныхъ стремленій, христіанство естественнымъ образомъ становилось средоточіемъ всѣхъ элементовъ европейскаго развитія, облагораживая политическую и соціальную борьбу народовъ и увлекая къ высшимъ цѣлямъ и задачамъ могучія силы классическаго образованія.

Въ Россіи христіанская религія, воспринятая въ самомъ чистомъ видѣ, не имѣла такого рѣшительнаго вліянія на историческое развитіе общества. Недостатокъ классическихъ преданій, классической образованности помѣшалъ христіанской мысли развернуться здѣсь во всемъ богатствѣ ея природныхъ силъ. Въ Европѣ просвѣщенное единодушіе, поддерживаемое общимъ религіознымъ идеаломъ, возбуждало постоянно одни и тѣ-же стремленія въ различныхъ политическихъ тѣлахъ, спасало ихъ отъ нашествій дикихъ племенъ. Въ Россіи народъ, раздробленный по удѣламъ на враждебныя части, не связанный общими интересами просвѣщенія, долженъ былъ легко подпасть владычеству татаръ, несмотря на все превосходство своихъ религіозныхъ вѣрованій надъ умственною и нравственною безкультурностью этого дикаго, развращеннаго племени. «Если-бы мы, говоритъ Кирѣевскій, наслѣдовали остатки классическаго міра, то религія наша имѣла-бы болѣе политической силы, мы обладали-бы большею образованностью, большимъ единодушіемъ и, слѣдовательно, самая раздѣленность наша не имѣла-бы ни того варварскаго характера, ни такихъ пагубныхъ послѣдствій». Только со времени Петра I начинается истинное развитіе Россіи. До Петра просвѣщеніе вводилось къ намъ, пишетъ Кирѣевскій, мало по малу, отрывисто, отчего, по мѣрѣ своего появленія, оно постоянно искажалось вліяніемъ «нашей пересиливающей національности». Но переворотъ, совершенный Петромъ, былъ неизбѣжнымъ, хотя и насильственнымъ переломомъ въ русской исторіи,—тѣмъ переломомъ, который открылъ классическому міру доступъ въ страну бытового и умственнаго невѣжества. Въ энергическихъ выраженіяхъ Кирѣевскій заступается, въ концѣ статьи, за реформу, совершенную Петромъ Великимъ. Въ послѣднее время, говоритъ онъ, въ русскомъ обществѣ появилось цѣлое множество обвините-

лей Петровскаго дѣла. Они говорятъ намъ о просвѣщеніи національномъ, самобытномъ. Они запрещаютъ намъ всякія заимствованія, бранятъ нововведенія и мечтаютъ о коренномъ возвращеніи къ старинной русской жизни. Вотъ опасный путь для страны, которую можетъ спасти только широкое европейское просвѣщеніе. Французы, нѣмцы, англичане все болѣе и болѣе проникаются національными интересами и взглядами и это нисколько не мѣшаетъ ихъ дальнѣйшему развитію. Въ союзѣ съ народными стремленіями европейская культура достигнетъ высшаго, самобытнаго выраженія. «Но у насъ искать національнаго значитъ искать необразованнаго, развивать его на счетъ европейскихъ нововведеній значитъ изгонять просвѣщеніе. Не имѣя достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возьмемъ мы ее, если не изъ Европы» [1])?

Въ этихъ немногихъ соображеніяхъ заключается главная мысль статьи. Обнявъ все европейское просвѣщеніе въ одной широкой формулѣ, Кирѣевскій безъ труда отмѣчаетъ, въ чемъ заключается важная причина умственной и политической отсталости русскаго общества по сравненію съ западными народами. Въ Россіи нѣтъ просвѣщенія. Христіанской мысли не на что опереться въ борьбѣ съ темнымъ невѣжествомъ народныхъ массъ. Вся прошедшая исторія Россіи, до насильственнаго переворота, совершеннаго Петромъ, можно сказать, пропала даромъ для интересовъ высшаго христіанскаго развитія. Безъ классическаго элемента русское общество не выйдетъ на широкую политическую и умственную дорогу...

Но, какъ мы уже сказали, Кирѣевскій не остановился на этихъ мысляхъ. Въ полемическомъ отвѣтѣ Хомякову и въ пространномъ письмѣ на имя графа Е. Е. Комаровскаго добытая имъ формула европейскаго прогресса получила новое освѣщеніе и, по отношенію къ Россіи, открыла широкую перспективу совершенно иныхъ философскихъ соображеній, политическихъ догадокъ и надеждъ. Ничего не вынимая изъ этой формулы, Кирѣевскій вошелъ въ болѣе подробный анализъ ея историческаго содержанія и, пристально всмотрѣвшись въ событія русской народной жизни, показалъ, что въ его философскихъ обобщеніяхъ нѣтъ ничего безотраднаго для Россіи. Къ этому убѣжденію привела его сосредоточенная умственная работа надъ коренными вопросами философіи и исторіи въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Послѣ тяжелой неудачи на поприщѣ журнальнаго издательства, Кирѣевскій ушелъ въ себя, забросилъ перо, замкнулся и затворился отъ міра. Медленно созрѣвала въ немъ новая мысль, новый взглядъ на русскую жизнь въ ея главныхъ историческихъ моментахъ. Теперь онъ рисуетъ исторію католическаго

[1]) Полное собраніе сочиненій И. В. Кирѣевскаго, томъ I, *Девятнадцатый вѣкъ*, стр. 83.

христіанства въ иныхъ словахъ, болѣе мрачными красками, съ другою философскою тенденціею. Римская церковь отличается отъ восточной только своимъ стремленіемъ къ разсудочности, къ сухому отвлеченному раціонализму, своимъ пристрастіемъ къ формальной логикѣ. На западѣ бытіе Бога доказывается силлогизмами, инквизиція, іезуитизмъ развились въ атмосферѣ, насыщенной схоластическими спорами. Логическое убѣжденіе легло въ самое основаніе европейской жизни, придавъ всей культурѣ западныхъ народовъ характеръ односторонней, поверхностной мудрости. Классическое образованіе, не подчинившееся христіанской мысли, проникшее въ плоть и кровь европейскаго общества, задерживало движеніе истинно религіознаго духа. «Я совсѣмъ не имѣю намѣренія писать сатиру на западъ, заявляетъ Кирѣевскій, никто больше меня не цѣнитъ тѣхъ удобствъ жизни общественной и частной, которыя произошли отъ раціонализма. Я люблю западъ, я связанъ съ нимъ многими неразрывными сочувствіями». Но признавая большое значеніе за европейскою культурою, онъ думаетъ при этомъ, что «въ конечномъ развитіи» разсудочное просвѣщеніе уже обнаружилось «началомъ одностороннимъ, обманчивымъ, обольстительнымъ». Въ исторіи-же Россіи Кирѣевскій находитъ нѣкоторые элементы, въ которыхъ христіанская мысль могла получить настоящую поддержку. Россія не блестѣла никогда «ни художествами, ни ученными изобрѣтеніями», но въ ней постоянно хранились условія широкаго духовнаго развитія, «собиралось и жило то устроительное начало знанія, та философія христіанства, которая одна можетъ дать правильное основаніе наукамъ» [1])...

Въ этихъ отрывочныхъ фразахъ слышатся первые отголоски того новаго настроенія, которое съ такою силою сказалось въ статьѣ «О характерѣ просвѣщенія Европы», напечатанной Кирѣевскимъ спустя двадцать лѣтъ послѣ его знаменитаго дебюта на страницахъ быстро угасшаго «Европейца». Все движеніе европейской философіи представилось ему въ новомъ освѣщеніи. Его уже больше не восторгаетъ политическое могущество католической церкви, а характерныя особенности русской жизни выступили изъ мрака прошлаго въ яркомъ сіяніи цѣльной, свѣтлой, могучей вѣры, не заглушенной въ народѣ никакими внѣшними насиліями. Раздвоеніе и цѣльность, разсудочность и разумность—вотъ послѣднія выраженія западно-европейской и древне-русской образованности [2]). На западѣ христіанство приняло характеръ разсудочной отвлеченности, въ Россіи оно сохранило внутреннюю полноту духа. Въ Европѣ церковь смѣшалась съ государствомъ, въ Россіи она осталась всегда чуждою

---

[1]) Полное собраніе сочиненій. Томъ I. *Въ отвѣтъ А. С. Хомякову*, стр. 198.

[2]) Ibidem. Томъ II. *О характерѣ просвѣщенія Европы*, стр. 276.

мірскимъ цѣлямъ. Мечтая о возрожденіи русскаго общества къ новой плодотворной дѣятельности, Кирѣевскій проповѣдуетъ необходимость разумнаго, осмысленнаго отношенія къ западно-европейскому просвѣщенію. Онъ хотѣлъ-бы, чтобы высшія начала жизни, которыя хранятся въ христіанскомъ ученіи, господствовали надъ элементами разсудочнаго образованія, не вытѣсняя, а обнимая ихъ «своею полнотою». Пусть христіанская мысль оживотворяетъ плодотворную, но ограниченную работу человѣческой логики, потому что вѣра не можетъ и не должна быть слѣпою.

Этимъ идеямъ Кирѣевскій не измѣнялъ уже до конца жизни. Все глубже проникаясь ими, онъ хотѣлъ подвергнуть обширной критикѣ главные принципы раціонализма въ цѣльномъ, законченномъ философскомъ произведеніи, съ подробнымъ изложеніемъ новыхъ началъ, на которыхъ разовьется будущая духовная работа человѣчества. Передъ самою смертью Кирѣевскому пришлось напечатать только первые наброски этой оригинально задуманной работы въ «Русской Бесѣдѣ» Кошелева, но и этихъ немногихъ страницъ совершенно достаточно для того, чтобы судить о необычайной смѣлости его критическаго таланта, о поэтической свѣжести и яркости его философскаго настроенія, о могучей способности искать высшую религіозную правду въ самыхъ глубинахъ человѣческой исторіи. Отдѣльныя мысли въ этой статьѣ, носящей пространное заглавіе «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи», критика Аристотеля, краткая, но мѣткая оцѣнка Декарта, нѣсколько горячихъ разсужденій о Шеллингѣ—проникнуты духомъ смѣлаго новаторства и звучатъ агитаціоннымъ призывомъ къ свободному научному труду внѣ порабощающей власти тѣхъ или другихъ школьныхъ авторитетовъ. Основная тенденція рисуется въ каждомъ ея доводѣ, волнуя воображеніе, постоянно держа передъ читателемъ увлекательный образъ самого Кирѣевскаго, переливавшаго въ свои произведенія всѣ страсти своей души, всю полноту своихъ нравственныхъ и умственныхъ силъ.

И эти два небольшихъ тома сочиненій Кирѣевскаго, представляющіе огромный интересъ для пониманія русскаго просвѣщенія, Писаревъ оцѣнилъ, какъ мы видѣли, съ пренебреженіемъ передового мыслителя, которому незачѣмъ разбираться въ предразсудкахъ и заблужденіяхъ славянофила. Обвиняя «Современникъ» въ легкомысленномъ отношеніи къ дѣятелямъ славянофильскаго движенія, Писаревъ самъ не обнаруживаетъ ни малѣйшаго знакомства съ ихъ лучшими статьями, съ ихъ настоящими политическими и философскими стремленіями. Онъ рубитъ съ плеча вопросы, требующіе строгаго изученія, широкаго пониманія, вопросы, въ самой постановкѣ которыхъ выразилась несомнѣнно прогрессивная потребность общества — осмыслить внутреннюю исторію своего развитія, уловить, постичь и разгадать черты народной психо-

логіи, незамѣтно направляющей его развитіе по извѣстному пути. Въ такомъ писателѣ, какъ Кирѣевскій, помимо поразительно яркаго литературнаго таланта, огромной научной образованности, нельзя не видѣть типическихъ особенностей народнаго духа, и критическій анализъ его произведеній, сдѣланный съ полнымъ безпристрастіемъ, вѣрнѣе всякой внѣшней пропаганды долженъ открыть дорогу къ самому источнику общественнаго самосознанія. Эта необычайная искренность его полу-лирическихъ, полу-философскихъ изліяній, окруженныхъ волнующимся туманомъ глубокихъ намековъ, не всегда ясныхъ для ума, но всегда тревожащихъ душу, этотъ патетическій тонъ, придающій любимымъ идеямъ автора характеръ убѣжденной проповѣди,—все это постоянно сближаетъ читателя не съ тѣми или другими мелкими вопросами данной минуты, а именно съ мотивами внутренней, еще не вполнѣ развернувшейся народной жизни. Никакая разумная, сознающая свою задачу критика не можетъ пройти мимо Кирѣевскаго съ равнодушіемъ къ тому, что занимало его въ теченіе всей жизни, дѣлало его энергичнымъ бойцомъ за народныя вѣрованія, вливало въ его писанія святую страсть миссіонерскаго увлеченія. Въ людяхъ, подобныхъ Кирѣевскому, выражается существенная особенность данной національной культуры, и кто хочетъ лишить ихъ обаянія въ глазахъ толпы, долженъ бороться съ ними въ честномъ бою, лицомъ къ лицу съ ихъ дѣйствительными философскими взглядами и религіозными вѣрованіями, проникая до глубины ихъ логическихъ доказательствъ, не оставляя безъ самаго широкаго, систематическаго возраженія ихъ основныя теоремы, ихъ руководящія убѣжденія. Можно обойти молчаніемъ какое нибудь мелкое явленіе консервативнаго или условно-либеральнаго характера, но нельзя, безъ ущерба для литературы, для своего знамени, отдѣлываться холостыми выстрѣлами дешеваго остроумія, привлекая на судъ критики дѣятелей, подобныхъ Кирѣевскому, Хомякову и К. Аксакову. Только настоящая острота мысли, умѣющей прорѣзаться къ средоточію чужой системы, можетъ съ успѣхомъ состязаться съ выдающимся талантомъ. Но Писаревъ такъ-же, какъ и авторъ статьи въ «Современникѣ» подъ названіемъ «Московское словенство» [1]), своимъ глумленіемъ надъ лучшими представителями славянофильской партіи могъ, по закону противорѣчія, только укрѣпить то настроеніе умовъ, съ которымъ онъ боролся такими несовершенными орудіями. Объ статьи—«Русскій Донъ Кихотъ» и «Московское словенство» — лишній разъ показываютъ, что въ прогрессивномъ движеніи нашей недавней исторіи не было тѣхъ силъ и знаній, которыя одни могли обезпечить за нимъ настоящій успѣхъ и значеніе.

Но о герояхъ славянофильскаго движенія, въ томъ числѣ о братьяхъ

[1]) „Современникъ“, 1862, январь, *Русская Литература*, стр. 15—32.

Кирѣевскихъ, судили въ русской литературѣ и люди съ большими знаніями, съ большой политической и философской прозорливостью—и судили совершенно иначе. Въ немногихъ словахъ Герцена личность Кирѣевскаго оживаетъ во всемъ богатствѣ ея самобытной натуры и природныхъ талантовъ. Благородный ратоборецъ, Герценъ провожалъ въ могилу своихъ достойныхъ противниковъ торжественнымъ звономъ своего Колокола, и его надгробная рѣчь, сказанная по поводу смерти К. Аксакова, звучитъ высокою, свѣтлою правдою. «Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ, писалъ онъ 15 января 1861 года, сдѣлали свое дѣло. Долго-ли, коротко-ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаніемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петромъ, въ которой сидитъ Биронъ и колотитъ ямщика, чтобъ тотъ скакалъ по нивамъ и давилъ людей, то они остановили увлеченное общественное мнѣніе и заставили призадуматься всѣхъ серьезныхъ людей». Съ нихъ начинается переломъ русской мысли, и хотя между ними и Герценомъ было огромное различіе въ нѣкоторыхъ убѣжденіяхъ, но, по собственному признанію Герцена, всѣхъ ихъ соединяла общая любовь. Это было «сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство, которое *они* принимали за воспоминаніе, а *мы* за пророчество, чувство безграничной, обхватывающей все существованіе любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума». Въ обѣихъ партіяхъ билось одно общее сердце, хотя лица ихъ, какъ у Януса или двуглаваго орла, смотрѣли въ противоположныя стороны. Поклонникъ свободы и великаго времени французской революціи, Кирѣевскій не раздѣлялъ пренебреженія новыхъ старообрядцевъ къ европейскому просвѣщенію, въ чемъ онъ самъ открыто сознавался съ глубокой печалью въ голосѣ при разговорѣ съ Грановскимъ. Это былъ, пишетъ Герценъ, человѣкъ съ необыкновенными способностями, съ умомъ обширнымъ, политическимъ, страстнымъ, съ характеромъ чистымъ и твердымъ, какъ сталь. О статьяхъ его, напечатанныхъ въ № 1 «Европейца»—«Девятнадцатый вѣкъ», «О слогѣ Вильменя», «Обозрѣніе русской литературы», «Горе отъ ума на Московской сценѣ»—Герценъ отзывается въ самыхъ восторженныхъ выраженіяхъ. Статьи Кирѣевскаго—удивительныя, пишетъ онъ, онѣ опередили современное направленіе умовъ въ самой Европѣ. «Какая здоровая, сильная голова, какой талантъ, слогъ»...[1]) Оба брата Кирѣевскихъ стоятъ какими-то печальными тѣнями на рубежѣ народнаго воскресенія. Преждевременно состарившееся лицо Ивана Кирѣевскаго носило рѣзкіе слѣды страданій и борьбы. Жизнь его не удалась. Съ жаромъ принялся онъ за изданіе журнала, но на второй книгѣ «Европеецъ» былъ запрещенъ. Въ «Ден-

[1]) «Дневникъ» А. И. Герцена, *Сочиненія*, т. I, стр. 156.

ницѣ» помѣстилъ онъ статью о Новиковѣ, но «Денница» была схвачена, и цензоръ Глинка посаженъ подъ арестъ. Этого твердаго и чистаго человѣка «разъѣла ржа страшнаго времени» [1]).

Такъ рисуетъ Кирѣевскаго и его единомышленниковъ Герценъ. Эта характеристика вполнѣ сливается со словами самого Кирѣевскаго о той роли, какую онъ хотѣлъ-бы играть въ литературѣ своего времени и народа. «Мы возвратимъ права истинной религіи, говоритъ Кирѣевскій въ письмѣ къ А. И. Кошелеву, изящное согласимъ съ нравственностью. возбудимъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога» [2]). Тотъ не знаетъ Россіи и не думаетъ о ней въ глубинѣ сердца, говоритъ онъ, обращаясь къ Погодину, кто не видитъ и не чувствуетъ, что изъ нея рождается что-то великое, небывалое въ мірѣ. «Общественный духъ начинаетъ пробуждаться. Ложь и неправда, главныя наши язвы, начинаютъ обнаруживаться»... Вся страстная сила Кирѣевскаго выразилась въ этихъ строкахъ.

Первый періодъ литературной дѣятельности Писарева—до приключенія съ брошюрой Шедо-Фероти, т. е. до заключенія его въ крѣпость,—закончился довольно обширной статьей подъ названіемъ «Бѣдная русская мысль», представляющей рецензію на изслѣдованіе П. Пекарскаго: «Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ». Это—смѣло и бойко написанная статья съ проблесками свободнаго, хотя и не вполнѣ оригинальнаго отношенія къ нѣкоторымъ историческимъ вопросамъ, имѣвшая большой успѣхъ въ обществѣ, даже привлекшая къ себѣ, спустя нѣсколько лѣтъ, при выпускѣ въ отдѣльномъ изданіи, пристрастное вниманіе заинтересованныхъ сферъ. Писаревъ, по обыкновенію, не орудуетъ никакими серьезными фактами, ничего убѣдительно не доказываетъ, но, давая волю публицистическому порыву, играетъ дерзновенными афоризмами съ протестантской окраской. Самое сочиненіе Пекарскаго, въ двухъ томахъ котораго разсыпано множество цѣнныхъ матеріаловъ, осталось, въ сущности, безъ надлежащаго разбора. Но Писаревъ и не считалъ необходимымъ входить въ подробное изученіе того, что онъ сразу-же, безъ всякихъ колебаній, окинувъ орлинымъ взглядомъ безконечную библіографію изслѣдованія, отнесъ къ «сухой и дряхлой официальной наукѣ», надъ которою, по его мнѣнію, «можетъ и долженъ смѣяться всякій живой энергическій человѣкъ». Отдѣлавъ въ немногихъ словахъ Пекарскаго, щелкнувъ по дорогѣ любителей «народной подоплеки» и некстати повторивъ дрянную клевету Минаева на

[1]) *Не наши*, славянофилы и панславизмъ, Хомяковъ, Кирѣевскій, К. Аксаковъ, П. Я. Чаадаевъ, *Сочиненія*, т. VII, стр. 301.

[2]) Полное собраніе сочиненій, томъ I, стр. 13. *Матеріалы для біографіи Кирѣевскаго.*

Юркевича, Писаревъ приступаетъ къ изложенію своихъ собственныхъ взглядовъ на роль личности въ историческомъ процессѣ. По его убѣжденію, *всѣ* великіе историческіе дѣятели только «мудрили» надъ жизнью народовъ, потому что, въ сущности, въ ихъ работѣ не могло быть ничего оригинальнаго, имъ самимъ принадлежащаго. Образчики извѣстной эпохи, «безотвѣтныя игрушки событій», безвинныя жертвы случайностей и переворотовъ, которые выносили ихъ на вершины исторіи, эти титаны сами по себѣ только вредили интересамъ личной свободы и просвѣщенія. Никакая крупная личность не можетъ управлять историческимъ потокомъ. Всѣ великіе люди, совершавшіе реформы съ высоты своего умственнаго величія, всѣ «въ равной мѣрѣ достойны неодобренія». Одни изъ нихъ были очень умны, другіе «замѣчательно безтолковы», но всѣ вмѣстѣ насиловали природу вещей, ведя за собою общество «къ какой-нибудь мечтательной цѣли». Всѣ поголовно могутъ быть названы «врагами человѣчества». Свобода постоянно приносилась въ жертву «разнымъ обширнымъ и возвышеннымъ цѣлямъ, созрѣвающимъ въ разныхъ великихъ и высокихъ головахъ»... Подводя итогъ этимъ общимъ соображеніямъ, Писаревъ формулируетъ основную мысль статьи въ слѣдующихъ трехъ пунктахъ: во первыхъ, дѣятельность всѣхъ великихъ людей была совершенно поверхностна и проходила мимо народной жизни, не шевеля и не пробуждая народнаго сознанія, во вторыхъ, дѣятельность великихъ людей была всегда ограничена тѣмъ кругомъ понятій, въ которомъ вращалась общая мысль эпохи, и въ третьихъ, дѣятельность великихъ людей «не достигала своей цѣли, потому что претензіи этихъ господъ постоянно превышали ихъ силы» [1]).

Обращаясь къ главному предмету статьи, Писаревъ рѣзко оттѣняетъ свое отвращеніе ко всякаго рода цивилизаторамъ «à la Паншинъ, или, что то же самое, à la Петръ Великій». Любя европейскую жизнь, мы не должны обольщаться тою блѣдною пародіею на европейскіе нравы, которая «разыгрывается высшими слоями нашего общества со временъ Петра». Съ веселымъ задоромъ Писаревъ взываетъ къ настоящему европеизму, слегка иронизируя при этомъ надъ «остроумными затѣями Петра Алексѣевича». Дѣятельность Петра вовсе не имѣла такихъ плодотворныхъ послѣдствій, какъ это кажется его восторженнымъ поклонникамъ. Его цивилизаторскія попытки прошли мимо русскаго народа. Все, что онъ сдѣлалъ, было плодомъ его личныхъ соображеній, не считавшихся съ волею людей, которыхъ имѣла въ виду его реформа. Человѣкъ, не преслѣдовавшій во всю свою жизнь никакой иной цѣли, кромѣ «удовлетворенія крупнымъ прихотямъ своей крупной личности», онъ успѣлъ «прослыть великимъ патріотомъ, благодѣтелемъ своего народа и основателемъ русскаго

[1]) „Русское Слово“ 1862 г., май, *Русская литература*, стр. 61.

просвѣщенія». Нельзя не отдать Петру Алексѣевичу полной дани уваженія, насмѣшливо восклицаетъ Писаревъ, не многимъ удается такъ ловко «подкупить въ свою пользу судъ исторіи» [1]). Онъ прослылъ великимъ русскимъ дѣятелемъ, хотя «жизнь тѣхъ семидесяти милліоновъ, которые называются общимъ именемъ русскаго народа, вовсе не измѣнилась-бы въ своихъ отправленіяхъ», если-бы, напримѣръ, Шакловитому удалось совершить задуманное имъ преступленіе [2]).

Такова общая историческая философія статьи, таково примѣненіе этой философіи къ частному историческому явленію. По вѣрному замѣчанію, такъ сказать, случайнаго критика Писарева—Ф. Павленкова,—въ рецензіи на книги Пекарскаго нѣтъ ничего особенно оригинальнаго, принадлежащаго собственнымъ творческимъ теоріямъ Писарева: то, что высказано Писаревымъ, въ гораздо болѣе рѣзкой и неумолимой формѣ «можно встрѣтить на каждой страницѣ Бокля, Дрэпера и другихъ». У Бокля мы встрѣтимъ «буквально то-же самое», что такъ поразило нѣкоторыхъ читателей въ произведеніи Писарева. «Книга Бокля, говорилъ Павленковъ, была разобрана въ предыдущихъ номерахъ Русскаго Слова, положенія его цитировались чуть не въ каждой журнальной книжкѣ, затѣмъ дѣятельность Петра тоже была оцѣнена въ журналѣ,—такимъ образомъ задача Писарева состояла въ обсужденіи значенія Петра съ Боклевской точки зрѣнія» [3]). Но хотя Писаревъ и шелъ по стопамъ такого моднаго для того времени авторитета, какъ Бокль, тѣмъ не менѣе въ его разсужденіяхъ о роли великихъ людей въ исторіи человѣчества нѣтъ надлежащей отчетливости и сколько нибудь убѣдительныхъ логическихъ поясненій. Смѣшавъ воедино историческихъ героевъ, «состоявшихъ на дѣйствительной службѣ», съ тѣми великими людьми, которые въ самомъ дѣлѣ управляли судьбами и просвѣщеніемъ народовъ, не прикасаясь къ офиціальному рулю государствъ, Писаревъ не показываетъ, какими силами совершается прогрессивное движеніе всякаго общества. Въ каждомъ народѣ выдающимися работниками являются постоянно отдѣльныя личности, глубже проникающіяся его духомъ, его умственными и нравственными понятіями, ярче сознающія его потребности и счастливою отгадкою находящія новыя начала для переустройства жизни. Онѣ бросаютъ новыя идеи въ народныя массы, уже подготовленныя къ нимъ атмосферою эпохи, и безъ всякаго внѣшняго насилія, не прикасаясь къ жезлу и мечу, совершаютъ великіе умственные перевороты. Объ этихъ герояхъ никакъ нельзя сказать, что ихъ дѣятельность поверхностна и не пробуждаетъ народнаго сознанія. Наивно утверждать, что пропа-

[1]) «Русское Слово» 1862 г., май, *Русская литература*, стр. 63.

[2]) Ibidem, апрѣль, *Русская литература*, стр. 43.

[3]) *Матеріалы для пересмотра дѣйствующихъ постановленій о цензурѣ и печати*, ч. III, отдѣлъ первый, 1870 г., стр. 284.

ганда этихъ людей ограничена кругомъ современныхъ понятій и никогда не достигала своей цѣли, потому что ихъ «претензіи постоянно превышали ихъ силы». Не разобравшись серьезно въ этомъ коренномъ вопросѣ о значеніи личности въ исторіи, Писаревъ отнесся и къ дѣятельности Петра Великаго безъ должной научной осторожности въ обобщеніяхъ и характеристикахъ. Его насмѣшка не глубока и отдаетъ юношескою хлесткостью. Какъ-бы ни были различны взгляды на роль Петра въ русской исторіи, къ какимъ - бы выводамъ ни пришла серьезная научная критика, при оцѣнкѣ его реформаторской дѣятельности, нельзя не видѣть, что въ статьѣ Писарева нѣтъ серьезнаго седержанія. Онъ не рисуетъ личности Петра, этой богато одаренной индивидуальности съ яркою печатью новаторскихъ стремленій, какъ это могъ-бы сдѣлать человѣкъ, глубоко и вдумчиво изучившій эпоху, уловившій сквозь туманъ историческаго отдаленія живыя настроенія общества. Можно держаться по отношенію къ Петру I и такого мнѣнія, какого держится, напримѣръ, какъ это намъ извѣстно, графъ Л. Толстой, широко изучившій документы времени для нѣкогда задуманнаго имъ романа, но тогда весь центръ тяжести долженъ быть перенесенъ отъ личности Петра въ глубину массовыхъ стремленій, потому что нельзя не видѣть рѣзкихъ и многознаменательныхъ соціальныхъ переворотовъ этого яркаго историческаго момента. Есть минуты въ жизни Петра, писалъ Кирѣевскій, когда, дѣйствуя иначе, онъ былъ-бы согласнѣе самъ съ собою, согласнѣе съ тою мыслью, которая одушевляла его въ продолженіе всей жизни. Но общій характеръ его дѣятельности, но образованность Россіи, имъ начатая,—«вотъ основанія его величія и нашего будущаго благоденствія». Будемъ осмотрительны, продолжаетъ Кирѣевскій, когда рѣчь идетъ о преобразованіи, имъ совершенномъ. Не забудемъ, что судить о немъ легкомысленно есть дѣло неблагодарности и невѣжества [1]). Не представивъ никакихъ доказательствъ, совершенно не изучивъ не только документовъ эпохи, но даже и обширнаго труда Пекарскаго, Писаревъ не пошелъ по тому пути, по которому могъ-бы съ огромнымъ успѣхомъ идти такой талантъ, какъ Толстой, и не обнаружилъ той осмотрительности, какую проповѣдывалъ Кирѣевскій. Отрицая всякое значеніе за дѣятельностью Петра Великаго и не признавая въ то-же время во всей прошедшей жизни русскаго общества ничего отраднаго, прогрессивнаго, дѣятельнаго, Писаревъ даже не выдерживаетъ своей мысли до конца и, соглашаясь съ крайними славянофильскими мнѣніями относительно личности Петра, отрекается отъ тѣхъ посылокъ, которыя давали смыслъ и даже нѣкоторую силу ихъ историческимъ выводамъ. Мы не думаемъ, говоритъ Писаревъ, чтобы «мыслящій историкъ» могъ въ исторіи москов-

[1]) Полное собраніе сочиненій, томъ I, *Девятнадцатый вѣкъ*, стр. 83.

скаго государства до Петра подмѣтить какіе-нибудь симптомы народной жизни. «Мы не думаемъ, чтобы онъ нашелъ *что-нибудь*, кромѣ жалкаго подавленнаго прозябанія. Мы не думаемъ, чтобы мыслящій гражданинъ Россіи могъ смотрѣть на прошедшее своей родины безъ горести и безъ отвращенія» [1]). Но если таково было до Петра прошедшее Россіи, то какимъ образомъ при немъ что-нибудь могло сложиться въ темной жизни русскаго общества? Изъ какихъ элементовъ, спрашивается, образовалась эта новая прогрессивная сила, которая безъ Петра I сломила-бы то, что разбито имъ ради новыхъ формъ государственнаго существованія? Писаревъ не видитъ, что отрицая всякій смыслъ въ до-петровской жизни, онъ этимъ неизбѣжно возвышаетъ значеніе и силу Петра и впадаетъ въ явное противорѣчіе съ самимъ собою. Писареву кажется, что русскій народъ долженъ проснуться самъ собою и что всякая инціатива въ этомъ направленіи со стороны не имѣетъ никакого смысла. «Мы его не разбудимъ, говоритъ онъ, воплями и воззваніями, не разбудимъ любовью и ласками... Если онъ проснется, то проснется самъ по себѣ, по внутренней потребности». Среди множества примѣровъ, показывающихъ въ Писаревѣ отсутствіе дѣятельнаго соціальнаго инстинкта, это одинъ изъ самыхъ типическихъ, не требующій никакихъ комментаріевъ.

II.

Мы разобрали всѣ наиболѣе важныя статьи Писарева за первые годы его литературной дѣятельности. Съ 3-го іюля 1862 года по 18-ое ноября 1866 года и затѣмъ, съ этого послѣдняго момента до его смерти, передъ нами проходитъ вся его умственная работа, напряженная, кипучая, смѣлая, — сначала въ крѣпости, потомъ на свободѣ. Не покидая литературной критики, Писаревъ печатаетъ цѣлый рядъ статей по историческимъ, естественно-научнымъ, философскимъ и педагогическимъ вопросамъ, которые, повидимому, занимали его умъ, хотя и не увлекали его къ серьезному изученію науки. Онъ популяризируетъ европейскихъ авторовъ, передавая ихъ мысли въ ясныхъ выраженіяхъ, нигдѣ не критикуя ихъ по существу, никогда не поднимаясь выше или даже на одинъ уровень съ ихъ идеями. Писаревъ самъ чувствовалъ ограниченность своего образованія и, со свойственной ему откровенностью, не стѣснялся признаваться въ этомъ передъ своими читателями въ тѣхъ самыхъ статьяхъ, которыя должны были ввести ихъ въ кругъ новѣйшихъ научныхъ понятій. «Я не спеціалистъ и читалъ до сихъ поръ очень мало по естественнымъ наукамъ», пишетъ онъ на заключительныхъ страницахъ своихъ пространныхъ очерковъ о Дарвинѣ

[1]) «Русское Слово», 1862 г., апрѣль, *Русская литература*, стр. 42.

подъ названіемъ «Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній». Онъ отлично понимаетъ, что при наличныхъ свѣдѣніяхъ онъ не можетъ быть признанъ образцовымъ популяризаторомъ. Не видя кругомъ себя людей, которые могли-бы выполнить по отношенію къ обществу истинно просвѣтительную задачу, онъ готовъ «изобразить своей особой деревянную ложку, которую немедленно можно и даже должно бросить подъ столъ, когда на этотъ столъ явится благородный металлъ». Но при всей ограниченности научной подготовки, Писаревъ не перестаетъ занимать своихъ читателей безконечно длинными компиляціями, написанными прекраснымъ слогомъ, но безъ широкихъ обобщеній, безъ опредѣленнаго историческаго или философскаго плана. Въ этихъ пространныхъ статьяхъ, составленныхъ въ большинствѣ случаевъ по двумъ-тремъ книгамъ, разбросано множество своеобразныхъ характеристикъ, но не вездѣ выдержана послѣдовательность основныхъ логическихъ соображеній. Историческія темы интересовали Писарева почти столько-же, сколько и темы естественно-научныя. Напечатавъ еще въ 1861 году свое студенческое сочиненіе объ Аполлоніи Тіанскомъ, не представляющее, несмотря на превосходный матеріалъ, живого изображенія этой замѣчательной, нѣсколько загадочной личности, Писаревъ сейчасъ-же вслѣдъ за этой работой помѣщаетъ въ «Русскомъ Словѣ» довольно бойкую характеристику Меттерниха. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ онъ публикуетъ свои «Очерки изъ исторіи печати во Франціи»—почему-то подъ псевдонимомъ И. П. Рагодина—и затѣмъ историческія статьи становятся его постояннымъ вкладомъ въ первый отдѣлъ журнала. Въ обширной компиляціи «Очерки изъ исторіи труда» онъ излагаетъ идеи американскаго писателя Кэри, въ длинной статьѣ, озаглавленной «Историческое развитіе европейской мысли», онъ идетъ по стопамъ Дрэпера, въ другихъ своихъ компиляціяхъ онъ передаетъ важные, но общеизвѣстные факты, относящіеся къ перелому въ умственной жизни средневѣковой Европы, и, наконецъ, въ цѣломъ рядѣ эскизовъ онъ рисуетъ событія, предшествовавшія французской революціи и создавшія ее. Несмотря на темпераментъ крайняго индивидуалиста и даже вопреки собственному убѣжденію, Писаревъ во всѣхъ этихъ статьяхъ остается въ высшей степени объективнымъ повѣствователемъ, лишь иногда выражающимъ собственныя, субъективныя сужденія о явленіяхъ и лицахъ, пріобрѣвшихъ широкую историческую извѣстность. Но опредѣливъ задачу историка, какъ «осмысленіе событія съ личной точки зрѣнія [1])», Писаревъ въ первой-же главѣ своихъ «Историческихъ эскизовъ» самъ вооружается противъ всякаго излишняго субъективизма въ такого рода работахъ. «Дѣло историка, пишетъ онъ, разсказать и объяснить. Дѣло читателя

[1]) „Русское Слово“ 1861 г. сентябрь, *Иностранная литература*, стр. 3.

нередумалъ и понять предлагаемое объясненіе [1])». Въ настоящемъ историческомъ разсказѣ нѣтъ мѣста ни для похвалъ, ни для порицанія, и вотъ почему можно сказать, что вся «колоссальная знаменитость» Маколея основана, въ сущности, на ложномъ пріемѣ. Онъ рисуетъ историческіе портреты и торжественно произноситъ надъ историческими дѣятелями оправдательные и обвинительные приговоры, хотя такая адвокатская или прокурорская декламація должна быть признана вопіющею нелѣпостью. Но Писаревъ не выдерживаетъ одной какой-нибудь точки зрѣнія на задачу историка. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ впервые дѣлалъ опредѣленіе исторической науки, онъ простираетъ свой субъективизмъ до того, что даетъ каждой политической партіи право имѣть свою собственную всемірную исторію, потому что «исторія есть и всегда будетъ теоретическимъ оправданіемъ извѣстныхъ практическихъ убѣжденій, составившихся путемъ жизни и имѣющихъ свое положительное значеніе въ настоящемъ [2])». Въ своихъ «Историческихъ эскизахъ» онъ, напротивъ того, уже не считаетъ возможнымъ что-либо оправдывать или обвинять въ жизни народовъ съ современной точки зрѣнія, потому что онъ пришелъ къ твердому убѣжденію, что «всякое отдѣльное событіе, какъ бы оно ни было ужасно или величественно, есть только неизбѣжное и очень простое слѣдствіе такихъ-же неизбѣжныхъ и простыхъ причинъ [3])».

Не большею самостоятельностью отличаются, какъ мы это уже отчасти знаемъ, и статьи Писарева по естественно-научнымъ и философскимъ вопросамъ. Вся его обширная статья «Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній» съ пропагандою идей Дарвина не содержитъ въ себѣ ни одной самостоятельной мысли и притомъ пестритъ совершенно наивными и ненужными извиняніями по адресу читателя. Превознеся Дарвина въ выраженіяхъ, не обнаруживающихъ научной компетентности, и поглумившись въ заключеніе надъ его нѣмецкими оппонентами, которые фамильярно обзываются при этомъ «милашками» и приравниваются къ Пульхеріи Ивановнѣ и купчихѣ Кабановой, Писаревъ увѣреннымъ взмахомъ руки повергаетъ во прахъ геніальнаго въ своемъ родѣ Ламарка и Жоффруа-Сентъ-Иллера. Разрушая старыя воззрѣнія въ естествознаніи, Писаревъ молодцовато прогуливается вокругъ побѣжденной имъ системы, восклицая: «Принципъ, принципъ! Каково ты себя, другъ мой, чувствуешь?» Въ другомъ мѣстѣ Писаревъ, желая развить самостоятельную мысль въ духѣ Дарвина, дѣлаетъ слѣдующую игривую оговорку, обличающую, однако, его неувѣренность въ своей научной правоспособности: «Если Дарвинъ, пишетъ онъ, позволяетъ медвѣдю превратиться

[1]) Сочиненія Д. И. Писарева, ч. VIII, изд. 1872 г., *Историческіе эскизы*, стр. 69.

[2]) «Русское Слово» 1861 г., сентябрь, *Иностранная литература*, 3—4.

[3]) Сочиненія Д. И. Писарева, ч. VIII, изд. 1872 г., стр. 70.

почти въ кита, то, пожалуй, почему-бы и моему воробью не превратиться, не говорю въ крота, а въ подземное и, разумѣется, совершенно не летающее и не совсѣмъ зоркое животное? Pourquoi pas? Однако, я все-таки не рѣшусь этого сказать. Дарвину хорошо храбриться, онъ знаетъ, что не навретъ. А я на этотъ счетъ, при сильной наклонности моей къ широкимъ умозрѣніямъ, побаиваюсь за себя ежеминутно [1])». Въ статьѣ подъ названіемъ «Подвиги европейскихъ авторитетовъ» Писаревъ передаетъ знаменитый споръ Пастера съ французскими учеными, защищавшими теорію произвольнаго зарожденія—Пуше, Жоли и Мюссе, при чемъ рисуетъ въ комическихъ чертахъ Пастера, отрицавшаго за ихъ ученіемъ научную солидность. Писареву представлялось, что механическая теорія навѣки обезпечила за собою полное господство, и знаменитыя возраженія Пастера, основанныя на блестящихъ экспериментахъ, кажутся ему какими-то подозрительными происками ловкаго чиновника отъ науки, не дорожащаго ея истинными, прогрессивными интересами. По непривычкѣ къ осторожности, необходимой въ разрѣшеніи научныхъ споровъ, онъ въ рѣшительныя минуты измѣняетъ скромному сознанію своей некомпетентности и систематически гнетъ въ сторону гетерогенистовъ, не давая при этомъ никакихъ матеріаловъ для анализа ихъ воззрѣній и въ то же время грубо размалевывая портретъ ихъ противника. Замѣтимъ кстати въ этомъ пунктѣ, что вопросъ, не переставшій волновать умы лучшихъ европейскихъ ученыхъ, еще очень недавно былъ представленъ въ его настоящей стадіи въ брошюрѣ талантливаго русскаго профессора И. Бородина «Протоплазма и витализмъ». Если-бы наукѣ, пишетъ Бородинъ, удалось неопровержимымъ образомъ доказать возможность зарожденія хотя-бы наипростѣйшаго живого существа изъ бездушныхъ веществъ мертвой природы, если бы ей удалось уничтожить грань, отдѣляющую въ природѣ живое отъ мертваго, подобно тому, какъ она блестяще стерла границы, раздѣлявшія нѣкогда растительное и животное царство, то пошатнулся-бы одинъ изъ важнѣйшихъ оплотовъ витализма. Но механическое воззрѣніе теряетъ постоянно довѣріе ученыхъ и, говоря словами профессора К. Тимирязева, исторія попытокъ открыть самозарожденіе организмовъ должна быть признана рядомъ все болѣе и болѣе рѣшительныхъ пораженій. Послѣ блестящихъ опытовъ Пастера, заявляетъ Бородинъ, угасла всякая надежда на возможность самозарожденія даже мельчайшихъ живыхъ существъ—бактерій. Наука все рѣшительнѣе и громче провозглашаетъ, что живое порождается только живымъ. Нужно прибавить, что, изображая въ такомъ видѣ положеніе главнаго вопроса, затронутаго въ свое время на

[1]) Сочиненія Д. И. Писарева, ч. VI, изд. 1866 г. *Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній*, стр. 197.

страницахъ «Русскаго Слова», профессоръ Бородинъ дѣлаетъ при этомъ нѣкоторую фактическую ошибку — по отношенію къ Писареву. «Когда велся знаменитый споръ Пастера съ гетерогенистами, пишетъ Бородинъ, симпатіи всего нашего либеральнаго лагеря, съ покойнымъ Писаревымъ во главѣ, были рѣшительно на сторонѣ Пастера, а Пуше, Жоли и вообще всю компанію гетерогенистовъ громили ретроградами, обскурантами. Вотъ уже истинно своя своихъ не познаша[1])». Профессоръ Бородинъ прекрасно понимаетъ, что Писареву, при его міросозерцаніи, естественно было держать сторону оппонентовъ Пастера, и, приписывая ему солидарность съ Пастеромъ, онъ отказываетъ ему въ логической послѣдовательности. Но Писаревъ въ настоящемъ случаѣ не измѣнилъ себѣ, и статья его «Подвиги европейскихъ авторитетовъ», напечатанная въ іюньской книгѣ «Русскаго Слова» 1865 года, служитъ тому неопровержимымъ доказательствомъ.

Къ попыткамъ философскаго мышленія, теоретическаго и практическаго, нужно отнести слѣдующія статьи Писарева: «Пчелы», «Историческія идеи Огюста Конта», «Времена метафизической аргументаціи» и «Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ». «Пчелы» представляютъ довольно остроумную сатиру въ аллегорической формѣ, высмѣивающую нѣкоторыя одряхлѣвшія формы соціальной жизни. Статейка написана съ талантомъ и обнаруживаетъ въ Писаревѣ способность къ тонкому политическому юмору безъ рѣзкой гражданственной крикливости. Полная движенія, борьбы и шума, общественныхъ катаклизмовъ и торжественныхъ празднествъ, проносится передъ нами своеобразная жизнь пчелъ, во многомъ напоминающая людскую жизнь. Писаревъ выдерживаетъ до конца основную тенденцію статьи, въ высокой степени сочувственную рабочимъ силамъ всякаго общества, хотя по отдѣльнымъ фразамъ можно догадаться, что его политическій индивидуализмъ не былъ особенно послѣдовательнымъ и рѣшительнымъ. «Историческія идеи Огюста Конта» составляютъ въ сущности одно цѣлое со статьею «Времена метафизической аргументаціи», напечатанною впервые въ январьской книгѣ «Русскаго Слова» 1866 года, но въ отдѣльномъ изданіи слитою съ первою. Не разбирая и даже не излагая главныхъ *теоретическихъ* началъ Контовской философіи, Писаревъ пространно говоритъ объ историческихъ идеяхъ Конта, не подвергая ихъ при этомъ никакой критикѣ. Теологическій періодъ въ жизни человѣчества не отличается въ его изображеніи никакою рельефностью, и сужденія критика о первобытныхъ религіяхъ не идутъ дальше самыхъ поверхностныхъ обобщеній. Отличительныя черты позитивнаго мышленія поняты Писаревымъ по-дилетантски, а основныя особенности метафизическаго направленія

[1]) П. И. Бородинъ. *Протоплазма и витализмъ*. Спб. 1895 г., стр. 25—26.

представлены въ его статьѣ въ такомъ извращенномъ видѣ, который, по своей наивности, не можетъ быть признанъ правильнымъ отраженіемъ даже Контовской системы. Не будемъ останавливаться и на компилятивной работѣ «Популяризаторы общественныхъ доктринъ», примыкающей къ двумъ предшествующимъ очеркамъ, въ которой онъ съ необычайной развязностью издѣвается надъ «бабьей» натурой Руссо и хлещетъ за недостатокъ ума Вольтера, но отмѣтимъ, въ заключеніе настоящей главы, нѣсколько статей его по педагогическимъ вопросамъ. Объ одной изъ этихъ статей—«Наша университетская наука»—мы уже упоминали въ біографіи Писарева. Она написана прекраснымъ, спокойнымъ языкомъ и въ заключительныхъ разсужденіяхъ, посвященныхъ общему образованію, содержитъ нѣсколько мѣткихъ замѣчаній о нашемъ гимназическомъ и университетскомъ воспитаніи. Осмѣявъ старые педагогическіе пріемы, Писаревъ требуетъ полной реформы низшаго образованія и расширенія свободы обученія въ университетскихъ аудиторіяхъ. Въ основу гимназической программы должно быть положено изученіе математическихъ и естественныхъ наукъ—вотъ идея, которая проходитъ по всѣмъ его разсужденіямъ, дѣлая его ярымъ поборникомъ реализма противъ всѣхъ видовъ современнаго классицизма. Эта-же идея свѣтится въ его обширной статьѣ подъ названіемъ «Школа и жизнь», заключающей его собственную учебную программу—низшую и высшую. Она-же руководитъ имъ и при изложеніи взглядовъ Вирхова на воспитаніе женщинъ, при разсмотрѣніи извѣстной книги Юманса «Moderne culture», содержащей въ себѣ публичныя лекціи Тиндаля, Добени, Паджета и другихъ объ умственныхъ потребностяхъ современнаго общества, при составленіи предисловія къ «Урокамъ элементарной физіологіи» Гексли. Враждою ко всякаго рода классицизму проникнута и его рѣзкая, почти взбѣшенная полемика противъ Шаврова, автора статьи «Классическое и реальное воспитаніе», напечатанной въ «Днѣ» [1]). Не сдерживая потока бранныхъ словъ, хотя и давая понять читателю, что соперникъ его отнюдь не принадлежитъ къ числу жалкихъ фразеровъ изъ «Московскихъ Вѣдомостей», Писаревъ яростно обороняетъ свои реалистическія убѣжденія отъ всякаго компромисса, отъ всякой возможной поправки или оговорки. Въ самомъ разгарѣ своей публицистической агитаціи, развернувшись во всей своей неумолимой, но наивной приверженности къ реализму, Писаревъ не щадитъ противника, проповѣдующаго болѣе гармоническое воспитаніе гуманныхъ и образовательныхъ стремленій. Эта статья полна шумныхъ криковъ, оскорбительныхъ придирокъ и заносчи-

[1]) «День», 1865, № 16, 17, 19. Педагогическіе очерки: I *Классическое и реальное образованіе*, II *Открытыя и закрытыя учебныя заведенія*. № 34, 35. *Семейство и школа*. М. Шаврова.

выхъ поученій, совершенно незаслуженныхъ мало извѣстнымъ, но серьезнымъ авторомъ.

III.

Въ этомъ періодѣ своей дѣятельности Писаревъ окончательно входитъ въ кругъ своихъ любимыхъ реалистическихъ идей и понятій. Безъ малѣйшихъ сомнѣній и колебаній онъ разрѣшаетъ теперь эстетическіе и моральные вопросы, выводя на строгій, безпощадный судъ реализма лучшихъ русскихъ писателей. Всѣ прошедшія воззрѣнія, юношеская наклонность къ красотѣ и изяществу окончательно исчезаютъ, уступая мѣсто духу смѣлой, но прозаической публицистики, производящему полное замѣшательство въ его критическихъ сужденіяхъ. Статьи его пріобрѣтаютъ вызывающій характеръ, не смягчаемый никакими случайными проблесками эстетическаго чувства, а слогъ становится грубо-популярнымъ, подчасъ вульгарнымъ, несмотря на поэтическія темы критической разработки. Его мысли сосредоточиваются въ одномъ направленіи, сокращаясь въ содержаніи и, можетъ быть, вслѣдствіе исключительныхъ внѣшнихъ условій, при которыхъ онъ писалъ эти статьи, не обогащаясь никакими свѣжими, яркими, идущими изъ самой жизни впечатлѣніями. Образъ Базарова, въ томъ патетическомъ, но узкомъ истолкованіи, о которомъ мы уже говорили, завладѣлъ его умомъ. Каждое частное его соображеніе доказывается теперь ссылкою на Базарова, направляется Базаровымъ, вдохновляется Базаровымъ. Общія разсужденія, до безконечности растянутыя, утомляющія своими безчисленными повтореніями, вращаются въ магическомъ кругу однихъ и тѣхъ же вопросовъ, не затрогивающихъ сущность и свойства разсматриваемыхъ художественныхъ произведеній, но глубоко волнующихъ прогрессивную толпу. Полемика съ «Современникомъ», возникшая по поводу Базарова и разожженная неожиданнымъ преступленіемъ нѣкогда вѣрныхъ вассаловъ Чернышевскаго, появленіе романа «Что дѣлать?», показавшаго новыхъ людей въ борьбѣ съ обстоятельствами жизни и бросившаго заманчивый свѣтъ отдаленной утопіи на стремленія и страсти современности,—все это окончательно закалило молодого критика «Русскаго Слова». Базаровъ и Лопуховъ, Одинцова и Вѣра Павловна, взгляды Чернышевскаго на эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности—вотъ тотъ матеріалъ, которымъ Писаревъ постоянно пользуется въ своихъ новыхъ статьяхъ. Доведя до крайнихъ выводовъ главныя мысли Чернышевскаго, онъ съ неукротимою энергіею набрасывается на русскую эстетическую литературу, разнося ударами своего остраго ножа пустую, вздутую славу разныхъ литературныхъ авторитетовъ, усыплявшихъ русскую публику своимъ сладкогласнымъ пѣніемъ, разбивая вѣковые предразсудки въ широкой области эстетическихъ пристрастій. Ни-

кому никакой пощады, ни съ кѣмъ никакого союза, кромѣ истиннаго властителя современныхъ думъ, такъ-же, какъ и онъ, сброшеннаго волною жестокихъ событій съ видной и твердой жизненной позиціи. Никому никакого сочувствія, кромѣ Чернышевскаго. Даже Добролюбовъ, въ этотъ кипучій моментъ умственной дѣятельности Писарева, не внушаетъ ему полной симпатіи. «Если-бы Бѣлинскій и Добролюбовъ поговорили между собою съ глазу на глазъ, съ полной откровенностью, заявляетъ Писаревъ въ сентябрѣ 1864 года въ статьѣ своей *Нерѣшенный вопросъ*, то они разошлись-бы между собою на очень многихъ пунктахъ. А если-бы мы поговорили такимъ-же образомъ съ Добролюбовымъ, то мы не сошлись-бы съ нимъ *почти ни на одномъ* пунктѣ» [1]). Ему представляется, что преслѣдуя эстетиковъ «мѣткими и справедливыми насмѣшками», Добролюбовъ самъ въ очень многомъ сходился со своими всегдашними противниками, восхищался «общими впечатлѣніями», не всегда отдавался спокойному, разумному анализу. Чтобы наглядным образомъ показать свое полное разногласіе съ этимъ недавно умершимъ критикомъ «Современника», Писаревъ еще въ мартѣ 1864 года печатаетъ статью подъ названіемъ «Мотивы русской драмы». Добролюбовъ нашелъ какой-то свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ своеволія и насилія. Онъ поддался порыву эстетическаго чувства и возвелъ въ перлъ созданія образъ заурядной Катерины. Намъ придется быть строже и послѣдовательнѣе Добролюбова, говоритъ Писаревъ. Намъ необходимо защитить его идеи противъ его собственныхъ увлеченій. Статья его объ Островскомъ была настоящею литературною ошибкою. Взглядъ Добролюбова на Катерину не вѣренъ, потому что ни одно свѣтлое явленіе не можетъ ни возникнуть, ни сложиться въ темномъ царствѣ патріархальной русской семьи. Обращаясь къ самой драмѣ Островскаго, Писаревъ слѣдующимъ образомъ низводитъ Катерину съ той высоты, на которую поставилъ ее Добролюбовъ. Во всѣхъ ея поступкахъ и ощущеніяхъ, пишетъ онъ, насъ поражаетъ прежде всего рѣзкая несоразмѣрность между причинами и слѣдствіями. Каждое внѣшнее впечатлѣніе потрясаетъ весь ея организмъ, самое ничтожное событіе, самый пустой разговоръ производитъ цѣлый переворотъ въ ея мысляхъ, чувствахъ и поступкахъ. Кабаниха ворчитъ—Катерина отъ этого изнываетъ, Борисъ Григорьевичъ бросилъ нѣсколько нѣжныхъ взглядовъ—Катерина влюбляется. Варвара сказала мимоходомъ нѣсколько словъ о Борисѣ, Катерина заранѣе считаетъ себя погибшей женщиной. При свиданіи съ Борисомъ она сначала кричитъ: «поди прочь, окаянный человѣкъ», а вслѣдъ за тѣмъ кидается ему на шею. Когда пріѣзжаетъ Тихонъ, она вдругъ начинаетъ терзаться угрызеніями совѣсти, доходитъ до полусумасшествія, хотя Борисъ живетъ въ томъ же городѣ и, «прибѣ-

[1]) «Русское Слово» 1864 г., сентябрь, *Нерѣшенный вопросъ*, стр. 36.

гая къ маленькимъ хитростямъ и предосторожностямъ, можно было-бы кое-когда видѣться и наслаждаться жизнью». Грянулъ громъ, полоумная барыня прошла по сценѣ съ двумя лакеями,—и Катерина бросается къ ногамъ своего мужа съ полнымъ покаяніемъ въ грѣхахъ. Случайно произнесенное ею слово «могила» возбуждаетъ въ ней мысль о самоубійствѣ: «прыжокъ въ Волгу—и драма оканчивается». Обрисовавъ такимъ образомъ ничтожество Катерины и затѣмъ показавъ ея постоянныя внутреннія противорѣчія, Писаревъ схватывается съ тѣми старыми эстетическими понятіями, которыя мѣшаютъ сложиться правильному отношенію къ человѣческимъ страстямъ и которыя даже такого человѣка, какъ Добролюбовъ, поставили на узкую тропинку, ведущую «въ глушь и болото». Къ людямъ, а слѣдовательно и къ ихъ художественнымъ отраженіямъ въ поэтическихъ произведеніяхъ надо относиться съ точки зрѣнія естественно-научнаго натурализма, и тогда не трудно будетъ найти истинное мѣрило человѣческаго величія или паденія. Критикъ, чуждый эстетической рутины, слѣдующій въ своемъ міровоззрѣніи за идеями Фохта, Молешотта, Бюхнера, проникшійся ученіемъ Дарвина и Бокля, увидитъ свѣтлое явленіе только въ томъ человѣкѣ, который умѣетъ быть счастливымъ и приносить пользу себѣ и другимъ. Всякаго рода карлики и уроды, само собою ясно, только по ошибкѣ могутъ привлекать къ себѣ симпатіи мыслящаго человѣка. Люди, которымъ обстоятельства подставляютъ постоянно «разноцвѣтные фонари» подъ глаза, не могутъ служить свѣточами жизни. Способность страдать, ослиная кротость, нелѣпые порывы безсильнаго отчаянія—только мѣшаютъ развитію реалистическихъ идей въ обществѣ. Средневѣковымъ людямъ, даже Шекспиру, было еще извинительно принимать «большія человѣческія глупости за великія явленія природы», но намъ, людямъ XIX столѣтія, пора уже называть вещи ихъ настоящими именами [1]).

Вотъ какъ оцѣниваетъ драму Островскаго Писаревъ. Проводя границу между собственными воззрѣніями и воззрѣніями Добролюбова и желая остаться вѣрнымъ принципамъ строгаго и въ этомъ случаѣ совершенно безплоднаго индивидуализма, онъ пересматриваетъ старый литературный вопросъ и на яркомъ художественномъ примѣрѣ обнаруживаетъ непреклонную прямолинейность своихъ убѣжденій. Но, разойдясь съ Добролюбовымъ, Писаревъ не проливаетъ ни одного свѣтлаго луча на явленія жизни, изображенныя сильнымъ и характернымъ талантомъ. Въ извѣстной статьѣ Добролюбова слышатся живыя публицистическія ноты, открываются какіе-то просвѣты изъ мрачнаго настоящаго къ восходящему изъ-за темной тучи солнцу. При господствующемъ гражданственномъ настроеніи, Добролюбовъ, со свойственной ему иногда

[1]) «Русское Слово», 1864, *Мотивы русской драмы*, стр. 37.

тонкой ѣдкостью, набрасываетъ нѣсколько блестящихъ характеристикъ, прекрасно передающихъ типическія свойства разбираемаго произведенія. Постоянно держа передъ своимъ сознаніемъ мысль о живой личной работѣ, онъ правильно шелъ отъ освобожденія личности къ широкому соціальному освобожденію. Въ разсужденіяхъ Писарева о драмѣ Островскаго, совпадающихъ съ его разсужденіями о «бѣдной русской мысли», публицистическая идея, вытѣснившая окончательно всѣ чисто критическіе пріемы, приводитъ его къ такому безсодержательному индивидуализму, который оставляетъ безъ какого-бы то ни было разрѣшенія соціальный вопросъ. Совершенно не вникая въ историческія затрудненія, преодолѣваемыя въ борьбѣ за освобожденіе, не признавая значенія за психологическими протестами отдѣльныхъ единицъ, Писаревъ всю надежду возлагаетъ на естественно-научное просвѣщеніе молодыхъ поколѣній, на отрезвляющее воздѣйствіе анатомическихъ вивисекцій. «Пока одинъ Базаровъ окруженъ тысячами людей, неспособныхъ его понимать, восклицаетъ Писаревъ, до тѣхъ поръ Базарову слѣдуетъ сидѣть за микроскопомъ и рѣзать лягушекъ и печатать книги и статьи съ анатомическими рисунками». Только это и нужно: «въ лягушкѣ заключается спасеніе и обновленіе русскаго народа». Вотъ ясная дорога къ эмансипаціи общества. А что касается страстей, треволненій любви съ ея приливами ревности, отчаянія—все это пустые предразсудки старины, прекрасно разоблаченные въ романѣ «Что дѣлать?» Посмотрите на Вѣру Павловну: она отказалась отъ корсета, завела мастерскую и смѣло завладѣла своимъ счастьемъ, великодушно подброшеннымъ ей ея реалистически-просвѣщеннымъ мужемъ, Лопуховымъ. Для Вѣры Павловны, заявляетъ Писаревъ, даже немыслимы тѣ огорченія, которыя выпадаютъ на долю ординарныхъ женщинъ. Она знаетъ наперечетъ всѣ свои нужды, умѣетъ контролировать свои желанія, сама отыскиваетъ средства для удовлетворенія своихъ потребностей. Ея любовныя отношенія, безъ оттѣнка пустой ревности, протекаютъ среди сознательнаго труда на свою и чужую пользу. «Я всегда смотрѣлъ на любовь, говоритъ Писаревъ, не какъ на самостоятельную цѣль, а какъ на превосходное и незамѣнимое вспомогательное средство». Какъ настоящій реалистъ, имѣющій высокія положительныя задачи, онъ совершенно застрахованъ противъ всякихъ разочарованій и охлажденій. Ощущеніе ревности обрекаетъ женщину на вѣчную, унизительную и тягостную зависимость отъ любимаго человѣка. Это уродливое психическое явленіе, указывающее «на страшную внутреннюю пустоту» тѣхъ людей, для которыхъ любовь составляетъ «высшее благо и единственную цѣль существованія». У этихъ несчастныхъ людей нѣтъ никакой любимой дѣятельности. Они не принимаютъ никакого участія въ общей работѣ человѣчества. Всѣ величайшія усилія человѣческой мысли, всѣ

колоссальныя событія новѣйшей исторіи, всѣ животрепещущія надежды и стремленія общества совершенно имъ неизвѣстны. «Взаимная любовь, замѣчаетъ Писаревъ, конечно, даетъ много наслажденій, больше, чѣмъ хорошій обѣдъ, больше, чѣмъ роскошная квартира, больше чѣмъ оперная музыка. Но наполнять всю жизнь взаимною любовью, не видѣть въ жизни ничего выше и обаятельнѣе взаимной любви, не умѣть, въ случаѣ надобности, отказаться отъ этого наслажденія,—это значитъ не имѣть понятія о настоящей жизни, это значитъ не подозрѣвать, какъ великъ и силенъ человѣческій умъ и какія неисчерпаемыя сокровища неотъемлемыхъ наслажденій скрыты въ сѣромъ веществѣ нашего головного мозга» [1]). Такъ разсуждаетъ Писаревъ о любви и ревности въ статьѣ своей «Кукольная трагедія съ букетомъ гражданской скорби» и въ томъ-же направленіи онъ рисуетъ, съ терпѣливою постепенностью, романическія отношенія Базарова и Одинцовой въ «Нерѣшенномъ вопросѣ». Писаревъ понимаетъ причину, помѣшавшую Базарову увлечь Одинцову, онъ признаетъ, что чувство его выразилось некрасиво, въ такой формѣ, которая напугала тонкую, чуткую организацію Одинцовой. Но вѣрный своимъ реалистическимъ понятіямъ, не видя въ любви никакого высшаго элемента, онъ съ полемическимъ сарказмомъ обсуживаетъ поведеніе Одинцовой, ея кокетство, ея упорное желаніе отыскать и разбудить въ Базаровѣ скрытую поэтическую силу. Весь этотъ тонко написанный романъ, въ которомъ художникъ незамѣтно подтачиваетъ устои Базаровской философіи, заставляетъ на нашихъ глазахъ колебаться могучую, почти героическую фигуру подъ напоромъ живой струи непобѣдимыхъ душевныхъ запросовъ, въ изложеніи Писарева пріобрѣтаетъ узкій смыслъ, сводится къ простой иллюстраціи его реалистической программы. Несчастная развязка любви Базарова есть, по мнѣнію Писарева, только результатъ недомыслія Одинцовой въ этомъ вопросѣ. Ее связала эстетика: въ чувствѣ Базарова не было той «внѣшней миловидности, joli à voir», которую Одинцова совершенно безсознательно считаетъ необходимымъ атрибутомъ всякаго любовнаго пафоса. Не будь у Одинцовой подобнаго печальнаго предразсудка, все сложилось-бы такъ, какъ это достойно двухъ мыслящихъ реалистовъ. При естественно-научномъ взглядѣ на любовь, какъ на «вспомогательное средство», Писаревъ долженъ былъ легко покончить съ тѣмъ сложнымъ вопросомъ, который такъ трудно разрѣшается въ жизни и въ настоящихъ художественныхъ произведеніяхъ отражается во всей своей трагической запутанности. Съ наивностью, почти невѣроятною въ устахъ человѣка, когда-либо жившаго сердцемъ, Писаревъ совершенно не допускаетъ самой возможности ревности, охлажденія, какихъ-либо недоразумѣній или

[1]) «Русское Слово» 1864 г., августъ, *Литературное обозрѣніе*, стр. 37—38.

драмъ въ союзѣ двухъ людей, связанныхъ между собою, при любви, общими реалистическими убѣжденіями, общимъ реалистическимъ трудомъ. «Чортъ знаетъ, что за чепуха! восклицаетъ онъ. Охладѣть къ другу потому, что онъ десять лѣтъ былъ другомъ. Разочароваться въ этомъ другѣ потому, что мы вмѣстѣ съ нимъ постарѣли на десять лѣтъ. Искать себѣ новой привязанности, когда старый другъ живетъ со мной въ одномъ домѣ. Скажите, пожалуйста, есть-ли человѣческій смыслъ въ подобныхъ предположеніяхъ»? [1]). Глубоко проникнутый своими понятіями, настоящій реалистъ, въ духѣ Базарова, какъ его понимаетъ Писаревъ, не только не долженъ, но и не можетъ терзаться какими-бы то ни было любовными неудачами, не только не долженъ, но и не можетъ ревновать. Таковы были твердыя, въ своемъ родѣ благородныя, но лишенныя глубины и пониманія души, убѣжденія Писарева въ 1864 году, выраженныя имъ съ юношеской силою и пылкостью—въ статьяхъ, которыя онъ писалъ въ невольномъ уединеніи, въ тиши каземата, вдали отъ солнечнаго свѣта, отъ настоящей жизни съ ея прихотливою зыбью на поверхности, скрывающею подъ собою темную и опасную глубину. Еще за два года передъ тѣмъ Писаревъ, быть можетъ, охватывалъ этотъ вопросъ шире, чѣмъ въ указанныхъ статьяхъ. Тогда онъ думалъ о любви, какъ человѣкъ, хотя и имѣющій опредѣленныя убѣжденія, но безъ той прямолинейности и ограниченности, которая привела его къ ряду категорическихъ жизненныхъ выводовъ, лишенныхъ всякаго основанія. Коснувшись этого вопроса въ статьѣ своей «Бѣдная русская мысль», Писаревъ не безъ тонкости замѣчаетъ, что при разрѣшеніи его приходится считаться съ цѣлою областью неизвѣстныхъ, непредвидѣнныхъ и случайныхъ силъ, о которыя часто разбиваются заранѣе придуманныя теоріи. «Кто изъ насъ не знаетъ, напримѣръ, спрашиваетъ онъ, что ревность—чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не отъ насъ зависитъ, и что женщина не виновата, если измѣняетъ вамъ и отдается другому? Кто изъ насъ не ратовалъ словомъ и перомъ за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать въ своей любви огорченіе... Что же выйдетъ? Неужели вы думаете, что онъ утѣшитъ себя теоретическими доводами и успокоится въ своей безукоризненно-гуманной философіи [2])»? Выражая эти правдивыя, искреннія сомнѣнія, Писаревъ былъ очень близокъ къ пониманію дѣйствительной жизни и, можетъ быть, принималъ въ соображеніе личный опытъ. Онъ былъ тогда еще очень не далекъ отъ того времени, когда онъ, потерявъ господство надъ собою, въ минуту ревниваго отчаянія, явился на дебаркадеръ Николаевской желѣзной дороги, скрывъ лицо подъ маской и вооружившись хлыстомъ, чтобы выместить свою ревни-

[1]) «Русское Слово» 1864, октябрь, *Нерѣшенный вопросъ*, стр. 55—56.

[2]) «Русское Слово» 1862, апрѣль, *Русская литература*, стр. 35.

вую злобу на счастливомъ соперникѣ. Въ 1864 году всѣ непосредственныя впечатлѣнія жизни, не проникая за стѣны крѣпостного заключенія, уже не шевелили въ немъ интереса къ тѣмъ психологическимъ явленіямъ, которыя умъ его, лишенный отъ природы философской глубины, не постигалъ въ своемъ чисто теоретическомъ движеніи. Мысль его, достигнувъ извѣстной высоты, еще на первыхъ порахъ его литературной дѣятельности, уже больше не развивалась, не обогащалась никакими свѣжими эмпирическими матеріалами и потому должна была, въ концѣ концовъ, выродиться въ какую-то безплодную, радикальную схоластику, съ безконечнымъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ-же доводовъ и постояннымъ тяготѣніемъ къ однимъ и тѣмъ-же темамъ, при поразительной бѣдности поэтическихъ образовъ и иллюстрацій.

Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ Писаревъ завершаетъ путь своего умственнаго развитія. Утвердившись въ своемъ реалистическомъ міровоззрѣніи, онъ безъ всякаго труда раскрываетъ передъ читателями всѣ детали своей программы. Типическія черты человѣка изъ новаго поколѣнія вырисовываются у него съ оригинальною силою, и разсужденія Писарева о нуждахъ времени, о потребностяхъ данной минуты, пріобрѣтаютъ живой колоритъ эпохи. Реалисты, съ ихъ опредѣленнымъ отношеніемъ къ обществу и фанатическимъ убѣжденіемъ, что въ естественныхъ наукахъ заключается спасеніе людей отъ всѣхъ золъ, выступаютъ теперь у него въ качествѣ единственно «свѣтлыхъ личностей», за которыми должна послѣдовать литература, если она не хочетъ удариться въ реакцію. Самое понятіе о благородномъ человѣкѣ и полезномъ труженикѣ суживается въ тискахъ реалистическаго ученія, становится партійнымъ лозунгомъ извѣстнаго рода. Писаревъ входитъ въ опредѣленіе самыхъ мелкихъ подробностей реалистическаго образа мысли и жизни. Ничто не должно быть упущено. Все имѣетъ высокій смыслъ, если лучшія силы должны быть направлены на рѣшительную реформу старыхъ, отжившихъ понятій и привычекъ. Въ новомъ уставѣ каждый параграфъ долженъ имѣть строго утилитарный характеръ,—иначе все движеніе можетъ улетучиться въ случайныхъ проявленіяхъ безсмысленныхъ, личныхъ капризовъ. «Человѣкъ строго реальный, говоритъ Писаревъ, видится только съ тѣми людьми, съ которыми ему нужно видѣться, читаетъ только тѣ книги, которыя ему нужно прочесть, даже ѣстъ только ту пищу, которую ему нужно ѣсть для того, чтобы поддерживать въ себѣ физическую силу. А поддерживаетъ онъ эту силу также потому, что это кажется ему нужнымъ, т. е. потому, что это находится въ связи съ общею цѣлью его жизни». Менѣе другихъ умныхъ и честныхъ людей онъ нуждается въ отдыхѣ и можетъ обходиться безъ того, что называется личнымъ счастьемъ. Ему нѣтъ надобности «освѣжать свои силы любовью женщины, хорошею музыкою, смотрѣніемъ шекспировской драмы или просто весе-

лымъ обѣдомъ съ добрыми друзьями». У него можетъ быть развѣ только одна слабость: «хорошая сигара, безъ которой онъ не можетъ вполнѣ успѣшно работать», хотя онъ куритъ вовсе не потому, что это доставляетъ ему удовольствіе, а потому, что куреніе «возбуждаетъ его мозговую дѣятельность» [1]). Вся жизнь мыслящаго реалиста ясна и разумна. Онъ трудится только надъ тѣмъ, что имѣетъ близкое или отдаленное отношеніе къ естественнымъ наукамъ. На любовь онъ смотритъ только какъ на вспомогательное средство, отъ котораго ему не трудно отказаться при возвышенномъ образѣ мысли, устремленной къ болѣе важной задачѣ. У него нѣтъ ни единой свободной минуты, а для умственнаго подкрѣпленія и возбужденія достаточно затянуться хорошей сигарой. Искусство реалистъ допускаетъ въ самомъ ограниченномъ видѣ. Внѣ реализма онъ не признаетъ никакой поэзіи. «Кто не реалистъ, говоритъ Писаревъ, тотъ не поэтъ, а просто даровитый неучъ или ловкій шарлатанъ, или мелкая, но самолюбивая козявка». Быстро подходя къ своимъ крайнимъ, дикимъ выводамъ, Писаревъ отказывается признать какую-нибудь пользу отъ изученія русской литературы. Онъ протестуетъ противъ одного романиста за то, что тотъ приписалъ своему герою, принадлежащему къ молодому поколѣнію, интересъ къ литературнымъ занятіямъ. Если въ этомъ человѣкѣ должны воплощаться преобладающія стремленія теперешней молодежи и если онъ дѣйствительно одаренъ блестящими способностями, то изученіе русской литературы навязано ему совершенно некстати. Передовыя силы общества относятся съ полнымъ равнодушіемъ къ такимъ дѣятелямъ, какъ Тихонравовъ, Буслаевъ, Сухомлиновъ. Что можно изучать въ русской литературѣ? Какая сторона ея можетъ завлечь даровитаго представителя современности? Съ рѣшительностью убѣжденнаго варвара, онъ осмѣиваетъ самую возможность интересоваться народнымъ міровоззрѣніемъ, отражающимся въ народной литературѣ. Люди, посвятившіе свою жизнь на изученіе памятниковъ народнаго творчества, какъ, напримѣръ, знаменитые братья Гриммы, могутъ быть уподоблены Рафаэлю, за котораго Базаровъ справедливо не хочетъ дать мѣднаго гроша. Если-бы въ Италіи было десять тысячъ художниковъ съ талантомъ Рафаэля, то это нисколько не подвинуло-бы итальянскій народъ ни въ какомъ отношеніи, даже въ умственномъ. Если-бы Германія имѣла тысячу такихъ ученыхъ, какъ Яковъ Гриммъ, она не сдѣлалась-бы ни богаче, ни счастливѣе. «Поэтому, съ убійственной рѣшимостью заявляетъ Писаревъ, я говорю совершенно искренно, что желалъ-бы быть лучше русскимъ сапожникомъ или булочникомъ, чѣмъ русскимъ Рафаэлемъ или Гриммомъ... Я не могу, не хочу и не долженъ быть ни Рафаэлемъ, ни Гриммомъ—ни въ малыхъ, ни въ большихъ размѣрахъ». Отрицая интересъ древней и на-

[1]) «Русское Слово», 1864 г., сентябрь, *Нерѣшенный вопросъ*, стр. 6—7.

родной русской литературы, Писаревъ за произведеніями новѣйшаго искусства признаетъ значеніе только сырыхъ матеріаловъ, на которые нечего тратить время въ безплодныхъ эстетическихъ разглагольствованіяхъ [1]). Къ тому, что называется русской поэзіей въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, онъ относится съ явной ироніей. У насъ были, говоритъ онъ, или зародыши поэтовъ, или пародіи на поэта. Къ первымъ относятся Лермонтовъ, Гоголь, Полежаевъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ, а къ числу пародій надо отнести Пушкина и Жуковскаго. Первые, какъ-бы то ни было, заслуживаютъ уваженія, какъ зародыши, хотя и не развернувшіеся по недостатку благопріятныхъ обстоятельствъ, чего-то полезнаго для общества. Вторые не заслуживаютъ никакой пощады. Они процвѣтали, «яко кринъ», щебетали, какъ пѣвчія птицы, имъ жилось легко и хорошо и это останется вѣчнымъ пятномъ на ихъ именахъ. Хотя Писаревъ еще недавно, въ своей «Кукольной трагедіи», снисходительно допускалъ, что Пушкинъ уменъ, что стихъ его легокъ, что образы картинны, но въ «Нерѣшенномъ вопросѣ», при постепенно возроставшемъ полемическомъ раздраженіи и задорѣ, при постоянно усиливавшемся шумѣ литературной стихіи, яростно гнавшей въ одномъ направленіи его легковѣсный и утлый челнъ, онъ уже не знаетъ удержу своему отрицанію. Онъ окончательно отвернулся отъ этой ложно вздутой славы, «ничѣмъ не связанной съ современнымъ развитіемъ нашей умственной жизни». Имя Жуковскаго уже забыто, говоритъ онъ, но Пушкина мы еще какъ-то не рѣшаемся забыть окончательно, хотя въ дѣйствительности онъ уже почти забытъ. Эстетическіе критики пустили въ ходъ о Пушкинѣ разные нелѣпые слухи, прославивъ его, какъ великаго поэта, а между тѣмъ Пушкинъ только великій стилистъ—и больше ничего. Не онъ, а Гоголь основалъ новѣйшую литературу. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками. Затѣмъ, какъ бы чувствуя вокругъ себя шепотъ общаго недоумѣнія, Писаревъ обѣщаетъ представить свои настоящія доказательства по этому вопросу, ошибочно рѣшенному Бѣлинскимъ, въ рядѣ готовящихся статей подъ названіемъ: «Пушкинъ и Бѣлинскій» [2]). Отдѣлавшись пока отъ Пушкина обѣщаніемъ будущаго разгрома, Писаревъ въ небольшой главѣ выражаетъ свой взглядъ на искусства «пластическія, тоническія и мимическія». По своей эксцентричной откровенности, поддерживаемой дѣтской наивностью совершенно неразвитаго въ этомъ отношеніи ума, эта страница останется навсегда курьезнымъ памятникомъ страннаго культурнаго періода нашей жизни, съ ея прогрессивными гражданственными стремленіями, освобожденіемъ крестьянъ, судебной реформой и грубо ошибочными, хотя и въ высшей степени вліятельными философскими и лите-

[1]) «Русское Слово» 1864, августъ, *Кукольная трагедія*, стр. 53—58.

[2]) Ibidem, ноябрь, *Нерѣшенный вопросъ*, стр. 27—28.

ратурными теоріями, уже тогда подрывавшими успѣхи соціальнаго развитія. Несмотря на свою краткость, эти разсужденія Писарева о различныхъ искусствахъ заключаютъ въ себѣ извѣстную силу и привлекательность новизны, которая не могла не произвести впечатлѣнія на молодое общество, искавшее новыхъ началъ для жизни. Писаревъ прямо сознается, что онъ глубоко равнодушенъ ко всѣмъ искусствамъ, потому что онъ не вѣритъ, чтобы они «какимъ-бы то ни было образомъ» могли содѣйствовать умственному или нравственному совершенствованію человѣчества. Конечно, онъ понимаетъ самыя различныя пристрастія вкусовъ: одинъ любитъ рюмку очищенной водки передъ обѣдомъ, другой увлекается взвизгиваніемъ Ольриджа въ роли Отелло. «Ну и безподобно, пускай утѣшаются». Разнообразіе вкусовъ можетъ, конечно, привести къ устройству различныхъ обществъ, какъ, напримѣръ, общество любителей водки, общество театраловъ, общество любителей слоеныхъ пирожковъ, общество любителей музыки—и такія общества станутъ раздавать патенты на геніальность. «Вслѣдствіе этого могутъ появиться на свѣтъ великіе люди самыхъ различныхъ сортовъ: великій Бетховенъ, великій Рафаэль, Канова, великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюря». Но зная настоящую цѣну всѣмъ этимъ обществамъ съ ихъ патентованными героями, люди съ просвѣтленнымъ реалистическимъ сознаніемъ только осторожно проходятъ мимо нихъ, «тщательно скрывая улыбку». Впрочемъ, для живописи, не нашедшей себѣ особеннаго наименованія въ приведенномъ перечисленіи видовъ искусства, Писаревъ готовъ сдѣлать маленькое исключеніе: черченіе плановъ необходимо для архитектуры, почти во всѣхъ сочиненіяхъ по естественнымъ наукамъ требуются рисунки,—и талантливый художникъ своимъ карандашомъ можетъ содѣйствовать архитектору въ его дѣлѣ и ученому натуралисту въ распространеніи полезныхъ знаній [1]).

Въ апрѣльской и іюньской книгахъ «Русскаго Слова» 1865 года появились, наконецъ, обѣщанныя статьи Писарева подъ названіемъ «Пушкинъ и Бѣлинскій». Въ первой изъ нихъ Писаревъ подробно разбираетъ «Евгенія Онѣгина», во второй лирику Пушкина. Но мы начнемъ со второй, потому что въ ней Писаревъ точно опредѣляетъ свои отношенія къ двумъ предыдущимъ русскимъ критикамъ, высказываетъ нѣсколько общихъ теоретическихъ соображеній и, наконецъ, приводитъ къ извѣстному единству всѣ разнообразныя поэтическія черты, разбросанныя въ стихотвореніяхъ Пушкина. Не по таланту, а по своему историческому значенію это самыя важныя изъ статей Писарева. Вся его огромная извѣстность въ русскомъ обществѣ основана на этомъ критическомъ раз-

[1]) „Русское Слово“ 1864 г. Ноябрь, *Нерѣшенный вопросъ*, стр. 35.

борѣ поэтическихъ произведеній Пушкина, невѣроятномъ по рѣзкости тона, по открыто выраженному презрѣнію къ его свѣтлому генію. Статьи эти, такъ сказать, ввели въ литературу грубую утилитарную логику, чуждую всякихъ утонченныхъ эстетическихъ интересовъ и, забрызгавъ уличною грязью вдохновенныя поэтическія страницы, надолго убили критическое пониманіе русскаго общества. Дико насмѣявшись надъ Пушкинымъ и приложивъ къ его творчеству критерій новѣйшаго реализма, Писаревъ съ шумомъ и звономъ побѣднаго ликованія провозгласилъ полное ничтожество того, кого общественное мнѣніе до сихъ поръ считало лучшимъ представителемъ русскаго искусства. Поэтъ съ геніальнымъ умомъ и съ талантомъ свободнымъ и смѣлымъ, какъ стихія природы, былъ выведенъ на рыночную площадь и, оговоренный передъ лицомъ толпы, какъ измѣнникъ ея насущнымъ интересамъ, подвергнутъ безпощадному суду ея типичныхъ, тупыхъ и нагло-самоувѣренныхъ представителей. Съ этого момента въ русской литературѣ долженъ былъ начаться тотъ разливъ вульгарныхъ притязаній и тираническихъ придирокъ по отношенію къ произведеніямъ искусства, которому присвоено наименованіе либеральной тенденціозной критики и которому русское общество обязано цѣлымъ рядомъ почти позорныхъ ошибокъ въ эстетическихъ приговорахъ и пагубнымъ предубѣжденіемъ противъ высшихъ, себѣ довлѣющихъ интересовъ человѣческой природы. До знаменитой рѣчи Достоевскаго на Пушкинскомъ праздникѣ въ Москвѣ, когда съ такою силою прозвучалъ протестующій голосъ этого фанатическаго апостола истиннаго искусства, надъ развитіемъ художественной литературы тяготѣла узкая программа утилитаризма, сдавливавшая ея ростъ, сковывавшая ея воздѣйствіе на общественное сознаніе, державшая подъ страхомъ отверженія свободную работу поэтическихъ талантовъ. Слово Писарева, несмотря на всю свою внутреннюю пустоту, несмотря на явный недостатокъ мѣткости и настоящаго остроумія, произвело свое громадное вліяніе на общество, развязавъ его деспотическія стремленія, признавъ за его случайными, пристрастными и недальновидными сужденіями значеніе верховнаго суда въ вопросахъ, требующихъ для своего разрѣшенія тонкаго чутья и изысканной умственной подготовки. Вся эта сѣрая накипь безсвязныхъ философскихъ идей съ оттѣнкомъ научнаго недомыслія и фанфаронской передовитости, всѣ эти заносчивые окрики на дѣятелей искусства, идущихъ къ высшей цѣли народнаго просвѣщенія по своимъ самобытнымъ путямъ, вся эта раздраженная нетерпимость, свирѣпо бичующая за малѣйшее уклоненіе отъ партійнаго шаблона — все это началось отсюда, съ этихъ двухъ знаменитыхъ статей Писарева о Пушкинѣ. И что особенно важно замѣтить и что уже указано нами въ нашихъ предыдущихъ статьяхъ, Писаревъ, въ своихъ сужденіяхъ о Пушкинѣ, о задачахъ поэзіи шелъ по стопамъ не только Чернышевскаго и Добролю-

бова, но и Бѣлинскаго, который въ послѣднемъ періодѣ своей дѣятельности, несмотря на свою удивительную природную чуткость въ вопросахъ искусства, оставилъ огромный матеріалъ для реалистической разработки такого именно рода. Писаревъ самъ хорошо сознавалъ выгодность своего положенія въ качествѣ открытаго партизана философскихъ идей Чернышевскаго и свободнаго отъ всякихъ эстетическихъ предразсудковъ и шелухи гегелизма преемника Бѣлинскаго. Обороняясь отъ своихъ противниковъ, онъ прямо ссылается на Бѣлинскаго, котораго называетъ при этомъ своимъ великимъ учителемъ. Въ нѣкоторыхъ сужденіяхъ Бѣлинскаго онъ видитъ живые элементы, развернувшіеся въ 1855 г. въ знаменитомъ трактатѣ Чернышевскаго. Идеи Бѣлинскаго, прошедшія черезъ научную переработку Чернышевскаго и получившія при этомъ простоту и ясность общедоступной аксіомы, восприняты имъ и приложены къ оцѣнкѣ отдѣльныхъ явленій русской литературы. Въ статьяхъ Бѣлинскаго—корень того явленія, которое съ такою силою стало заявлять себя на страницахъ «Русскаго Слова», вызывая на бой все то, что стояло на пути его развитія. Осуждая пріемы реалистической критики въ лицѣ Писарева, мы должны произнести безпристрастное, безбоязненное слово осужденія тѣмъ многочисленнымъ и, по своему яркому таланту, крайне вліятельнымъ реалистическимъ уклоненіямъ Бѣлинскаго, которыя создали извѣстную атмосферу для изступленнаго отрицанія Писарева. «Уже въ 1844 году, заявляетъ Писаревъ, была провозглашена въ русской журналистикѣ та великая идея, что искусство не должно быть цѣлью самому себѣ и что жизнь выше искусства, а слишкомъ двадцать лѣтъ спустя тотъ самый журналъ («Отечественныя Записки»), который бросилъ русскому обществу эти двѣ блестящія и плодотворныя идеи, съ тупымъ самодовольствомъ возстаетъ противъ *Эстетическихъ отношеній*, которыя цѣликомъ построены на этихъ двухъ идеяхъ» [1]). Даже самыя смѣлыя и блистательныя сальтомортале Зайцева оправдываются, по мнѣнію Писарева, этими двумя идеями, и не подлежитъ никакому сомнѣнію, что между теперешними реалистами и Бѣлинскимъ существуетъ самая тѣсная родственная связь. Кто принимаетъ Бѣлинскаго, тотъ, во имя простой логической послѣдовательности, не можетъ отказаться и отъ философскихъ воззрѣній Чернышевскаго. Кто внимательно усвоилъ всѣ сужденія Бѣлинскаго о Пушкинѣ, въ томъ видѣ, въ какомъ они отразились въ его критическихъ статьяхъ объ «Евгеніи Онѣгинѣ» и другихъ произведеніяхъ Пушкина, тотъ долженъ согласиться съ воззрѣніями Писарева, признавъ, что они представляютъ собою только законченный выводъ изъ посылокъ его учителя. Оговорившись такимъ образомъ относительно главныхъ пунктовъ своего единомыслія съ Бѣлинскимъ, Писа-

[1]) „Русское Слово", 1865, іюнь. *Пушкинъ и Бѣлинскій*, стр. 3.

ревъ на нѣсколькихъ страницахъ приводитъ его отдѣльные теоретическіе взгляды, не выдерживающіе, по его мнѣнію, никакой серьезной критики и затѣмъ разражается оглушительнымъ свистомъ по поводу восьми лирическихъ стихотвореній Пушкина. Онъ приводитъ небольшую цитату изъ VIII тома Бѣлинскаго, гдѣ говорится, что настоящее художественное произведеніе есть нѣчто большее, чѣмъ извѣстная идея, втиснутая въ придуманную форму. Какъ-бы ни была вѣрна мысль человѣка, если у него нѣтъ настоящаго поэтическаго таланта, произведеніе его все-таки выйдетъ мелочнымъ, фальшивымъ, уродливымъ и мертвымъ. Толпа не понимаетъ искусства: она не видитъ, что безъ творчества поэзія не существуетъ. Такъ разсуждаетъ Бѣлинскій. Но Писаревъ, окончательно стряхнувшій съ себя прахъ какихъ-либо эстетическихъ пристрастій, свойственныхъ ему по природѣ и оживлявшихъ поэтическимъ огнемъ его юношескія замѣтки на страницахъ «Разсвѣта», не находитъ въ этихъ мысляхъ ничего, кромѣ «богатой дани эстетическому мистицизму», который держится въ обществѣ, благодаря отъявленному шарлатанству однихъ и трогательной довѣрчивости другихъ. По свойственной ему наивности, Бѣлинскій думаетъ, что поэты не втискиваютъ идеи въ форму, а между тѣмъ, съ увѣренностью заявляетъ Писаревъ, «всѣ поэтическія произведенія создаются именно такимъ образомъ: тотъ человѣкъ, котораго мы называемъ поэтомъ, придумываетъ какую-нибудь мысль и потомъ втискиваетъ ее въ придуманную форму» [1]). Поэтъ, какъ плохой портной, кроитъ и перекраиваетъ, урѣзываетъ и приставляетъ, сшиваетъ и утюжитъ до тѣхъ поръ, пока въ окончательномъ результатѣ не получится нѣчто правдоподобное и благообразное. Поэтомъ можно сдѣлаться точно такъ-же, какъ можно сдѣлаться профессоромъ, адвокатомъ, публицистомъ, сапожникомъ, ибо художникъ такой-же ремесленникъ, какъ и всѣ тѣ, которые своимъ трудомъ удовлетворяютъ различнымъ естественнымъ или искусственнымъ потребностямъ общества. Подобно этимъ людямъ, онъ нуждается въ извѣстныхъ врожденныхъ способностяхъ, но у каждаго «нормальнаго и здороваго экземпляра человѣческой породы» обыкновенно встрѣчается именно та доза силъ, которая нужна ему для его ремесла. «Затѣмъ все остальное довершается въ образованіи художника впечатлѣніями жизни, чтеніемъ и размышленіемъ и преимущественно упражненіемъ и навыкомъ». Послѣ такого простодушно-развязнаго вступленія, Писаревъ, подходя къ Пушкину, счищаетъ своимъ рабочимъ ножомъ шелуху гегелизма съ критическихъ опредѣленій Бѣлинскаго. Нашему «маленькому» Пушкину, замѣчаетъ онъ, рѣшительно нечего дѣлать въ знатной компаніи настоящихъ, большихъ, европейскихъ талантовъ, къ числу которыхъ относитъ его Бѣлинскій. «Нашъ *маленькій* и

[1]) „Русское Слово“, 1865, іюнь, *Пушкинъ и Бѣлинскій*, стр. 7.

маленькій Пушкинъ неспособенъ не только вставить свое слово въ разговоръ важныхъ господъ, но даже и понять то, о чемъ эти господа между собою толкуютъ». Что такое Пушкинъ, въ самомъ дѣлѣ? спрашиваетъ Писаревъ. «Пушкинъ — художникъ?! Вотъ тебѣ разъ! Это тоже что̀ за рекомендація?». Пушкинъ—художникъ, и больше ничего. Это значитъ, что онъ пользуется своею художественною виртуозностью, какъ средствомъ «посвятить всю читающую Россію въ печальныя тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственнаго безсилія». Серьезно толковать объ его значеніи для русской литературы—напрасный трудъ, и въ настоящее время онъ можетъ имѣть только историческое значеніе для тѣхъ, кто интересуется прошлыми судьбами русскаго стиля. Мѣсто Пушкина не на письменномъ столѣ современнаго реалиста, а въ пыльномъ кабинетѣ антикварія, «рядомъ съ заржавленными латами и изломанными аркебузами». Для тѣхъ людей, въ которыхъ Пушкинъ не возбуждаетъ истерической зѣвоты, его произведенія оказываются вѣрнѣйшимъ средствомъ «притупить здоровый умъ и усыпить человѣческое чувство» [1]).

Обращаясь къ отдѣльнымъ лирическимъ стихотвореніямъ Пушкина, Писаревъ съ распущенностью площаднаго оратора коверкаетъ въ грубыхъ и нелѣпыхъ фразахъ его тонкія поэтическія мысли. Онъ издѣвается надъ Пушкинымъ съ полною откровенностью. Онъ хохочетъ надъ его талантомъ, топчетъ грязными охотничьими сапогами лучшіе перлы Пушкинской поэзіи, то комкаетъ въ нѣсколькихъ фразахъ полныя глубокаго смысла лирическія строфы, то, затягиваясь для возбужденія умственныхъ силъ дозволенною реалистическимъ уставомъ хорошею сигарою, размазываетъ на многія страницы длиннѣйшій резонерскій комментарій къ какому-нибудь маленькому стихотворенію. И каждое новое объясненіе того или другого поэтическаго образа сопровождается у него надменными нотаціями по адресу ловкаго, но пустого стилиста, лишеннаго образованія, чуждаго лучшимъ интересамъ своей эпохи, плохо владѣющаго орудіями простого и яснаго логическаго мышленія. Окончательно убѣдившись въ совершенномъ ничтожествѣ Пушкина, Писаревъ уже не выбираетъ никакихъ особенныхъ выраженій для передачи своей мысли: онъ то фамильярно подступаетъ къ самому Пушкину и, пуская ему въ лицо густой дымъ своей сигары, какъ-бы приглашаетъ его самого понять всю глубину его нравственнаго паденія, то съ игривой ужимкой обращается къ передовой публикѣ, призывая ее въ свидѣтели недомыслія и явнаго умственнаго убожества поэта. Разбирая стихотвореніе Пушкина «19-е октября 1825 года», гдѣ Пушкинъ въ трогательныхъ стихахъ вспоминаетъ нѣкоторыхъ своихъ лицейскихъ товарищей,

[1]) „Русское Слово", 1865 г. іюнь, *Пушкинъ и Бѣлинскій*, стр. 19.

Писаревъ приводитъ его отдѣльные куплеты и затѣмъ подвергаетъ ихъ особому, мучительно искусственному истолкованію въ нарочито-плебейскомъ стилѣ. Пушкинъ говоритъ:

Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней,
Хвала тебѣ—Фортуны блескъ холодный
Не измѣнилъ души твоей свободной:
Все тотъ-же ты для чести и друзей.
Намъ разный путь судьбой назначенъ строгой;
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встрѣтились и братски обнялись.

Желая, повидимому, представить Пушкина человѣкомъ безъ гордости и чувства собственнаго достоинства, Писаревъ на цѣлой страницѣ допекаетъ поэта вопросами о томъ, почему-бы Фортуна могла испортить Горчакова и что особеннаго въ томъ, что при встрѣчѣ они дружески обнялись. Допустивъ для реализаціи изображеннаго положенія, что Фортуна могла раздѣлить товарищей различіемъ какихъ-нибудь двухъ-трехъ чиновъ, онъ передаетъ всю соль поэтическаго куплета въ слѣдующихъ короткихъ словахъ: «коллежскій совѣтникъ великодушно обнялъ титулярнаго, и Пушкинъ восклицаетъ съ восторгомъ: хвала тебѣ, ваше высокоблагородіе». Приводя на другой страницѣ извѣстныя слова изъ стихотворенія «Чернь», Писаревъ донимаетъ поэта слѣдующими необузданно-грубыми вопросами: «Ну, а ты, возвышенный кретинъ, ты сынъ небесъ, въ чемъ варишь себѣ пищу, въ горшкѣ или въ Бельведерскомъ кумирѣ? Или, можетъ быть, ты питаешься только амврозіею, которая ни въ чемъ не варится, а присылается къ тебѣ въ готовомъ видѣ изъ твоей небесной родины?» Писареву кажется совершенно невѣроятнымъ то презрѣніе, которое поэтъ обнаруживаетъ по отношенію къ назойливой черни. Увѣренный въ томъ, что тщеславіе составляетъ преобладающую страсть въ дѣятельности чистыхъ художниковъ, онъ не можетъ постичь, какія силы способны ихъ двинуть противъ общаго теченія? «Всѣ отрасли искусства, провозглашаетъ онъ, всегда и вездѣ подчинялись мельчайшимъ и глупѣйшимъ требованіямъ измѣнчиваго общественнаго вкуса и прихотливой моды». Перебравъ два-три стихотворенія Пушкина и отпустивъ относительно каждаго изъ нихъ нѣсколько вульгарныхъ шутокъ и пошловатыхъ остротъ, Писаревъ, въ заключеніе статьи, выкидываетъ рядъ неприличныхъ акробатическихъ фокусовъ по поводу знаменитаго вдохновеннаго пророчества Пушкина, начинающагося словами: «Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный»... Почти задѣтый крыломъ смерти, подъ надвигающейся зловѣщей, грозовой тучей, дышащей влажнымъ холодомъ, изъятый изъ оживленнаго круга своихъ друзей, осыпаемый низкими подметными письмами, окруженный шипящей клеветою и уже

слегка удаленный отъ зыбкой, измѣнчивой симпатіи легкомысленной толпы, Пушкинъ, въ минуту духовнаго откровенія, видитъ свою судьбу въ иномъ лучшемъ свѣтѣ. Въ этомъ поразительномъ стихотвореніи, въ которомъ, несмотря на ровный, далеко впередъ льющійся свѣтъ надежды, всѣ образы смягчены широкою благородною грустью, Пушкинъ не проронилъ ни одного лишняго слова, и его каждое выраженіе шевелитъ нѣжнѣйшія струны сердца. Но Писаревъ сдѣлалъ изъ этого стихотворенія какую-то скверную буфонаду. Дѣло Пушкина, восклицаетъ онъ, не задумываясь надъ судьбою своихъ собственныхъ словъ, проиграно окончательно. Мыслящіе реалисты имѣютъ полное право осудить его безапелляціонно. «Я буду безсмертенъ, говоритъ Пушкинъ, потому что я пробуждалъ лирой добрыя чувства. Позвольте, господинъ Пушкинъ, скажутъ мыслящіе реалисты, какія-же добрыя чувства вы пробуждали? Любовь къ красивымъ женщинамъ? Любовь къ хорошему шампанскому? Презрѣніе къ полезному труду? Уваженіе къ благородной праздности?» Писаревъ увѣренъ въ полной убѣдительности своихъ доказательствъ, убійственности своихъ допросовъ и потому, подведя итогъ всѣмъ своимъ взглядамъ на Пушкина, онъ слѣдующимъ образомъ передаетъ свое настоящее мнѣніе о немъ. «Въ такъ называемомъ великомъ поэтѣ, пишетъ онъ, я показалъ моимъ читателямъ легкомысленнаго версификатора, опутаннаго мелкими предразсудками, погруженнаго въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній и совершенно неспособнаго анализировать и понимать великіе общественные и философскіе вопросы нашего вѣка» [1])...

Стихотвореніе Пушкина, начавшееся торжественнымъ аккордомъ, заканчивается строфою, выражающею истинно философскую твердость, которая въ самой грусти одерживаетъ полную духовную побѣду въ настоящемъ и будущемъ. Высшее религіозное настроеніе даетъ поэту рѣшимость мужественно встрѣтить всякій приговоръ современниковъ и потомства:

Велѣнію Божію, о муза, будь послушна:
Обиды не страшись, не требуя вѣнца,
Хвалу и клевету пріемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Разборъ «Евгенія Онѣгина» отличается тѣми-же красотами остроумія и тонкаго пониманія, какими блистаетъ критика лирическихъ стихотвореній Пушкина. Все произведеніе кажется Писареву совершенно ничтожнымъ. Въ немъ нѣтъ даже исторической картины нравовъ, никакихъ матеріаловъ — бытовыхъ или психологическихъ, — для характеристики тогдашняго общества въ физіологическомъ или патологическомъ отношеніи. Это какая-то коллекція старинныхъ костюмовъ и причесокъ,

[1]) «Русское Слово» 1865 г., іюнь, *Пушкинъ и Бѣлинскій*, стр. 57.

старинныхъ прейсъ-курантовъ и афишъ, «старинной мебели и старинныхъ ужимокъ». Онѣгинъ — ничто иное, какъ Митрофанушка Простаковъ, одѣтый и причесанный по столичной модѣ двадцатыхъ годовъ, и скука Онѣгина, его разочарованіе жизнью не могутъ произвести ничего, кромѣ нелѣпостей и гадостей. «Онѣгинъ скучаетъ, какъ толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалѣетъ о томъ, что не можетъ выпить ихъ тридцать-три. Если-бы человѣческое брюхо не имѣло предѣловъ, то Онѣгинская скука не могла-бы существовать. Бѣлинскій любитъ Онѣгина по недоразумѣнію, но со стороны Пушкина тутъ нѣтъ никакихъ недоразумѣній» [1]). Онѣгинъ—это вѣчный и безнадежный эмбріонъ. Расхлеставъ Онѣгина ходкими словами изъ современнаго естественнонаучнаго лексикона, Писаревъ упрекаетъ Пушкина за то, что онъ возвысилъ въ своемъ романѣ такія черты человѣческаго характера, которыя сами по себѣ низки, пошлы и ничтожны. Пушкинъ, говоритъ онъ, такъ красиво описалъ мелкія чувства, дрянныя мысли и пошлые поступки, что онъ подкупилъ въ пользу ничтожнаго Онѣгина не только простодушную толпу читателей, но даже такого тонкаго критика, какъ Бѣлинскій. Взявъ подъ свою защиту «нравственную гнилость и тряпичность», прикрытую въ романѣ сусальнымъ золотомъ стихотворной реторики, Бѣлинскій восторгается Пушкинымъ тогда, когда его слѣдуетъ строго порицать и, съ послѣдовательностью убѣжденнаго реалиста, выставить на позоръ передъ всей мыслящей Россіей.

Показавъ въ юмористическомъ свѣтѣ фигуру Онѣгина, Писаревъ начинаетъ выводить на чистую воду Татьяну, эту любимицу Пушкинской фантазіи, героиню перваго русскаго романа, безсмертный типъ русской женщины, съ ея поэтическими грезами, схороненными въ глубинѣ души, съ ея смѣлостью и прямотою подъ юношескою бурею любви, съ ея непоколебимою твердостью въ борьбѣ съ нравственными искушеніями. Съ начала до конца произведенія она стоитъ передъ нами живая, нѣжная, вѣрная себѣ въ каждомъ словѣ, достигая въ послѣднемъ монологѣ чарующей горделивой красоты. Она любитъ Онѣгина, но не сдѣлаетъ теперь ему навстрѣчу ни одного шага, потому что его неожиданно вспыхнувшее чувство кажется ей мелкимъ по мотиву. Она бросаетъ Онѣгину упрекъ, проникнутый глубокой горечью, упрекъ въ томъ, что, не умѣвъ понять и полюбить ея душу, онъ увлекся теперь случайною эфектностью ея положенія въ свѣтѣ и обстановки. Не изъ вѣрности условному долгу, а изъ нравственной гордости, не позволяющей человѣку быть жертвой чужой измѣнчивой прихоти, она не отвѣтитъ на его страстныя мольбы. Суровость его прежнихъ холодныхъ назиданій она

[1]) «Русское Слово» 1865 г., апрѣль, *Пушкинъ и Бѣлинскій*, стр. 37.

считаетъ болѣе благородною и потому менѣе оскорбительною для себя, чѣмъ его теперешнія письма:

Тогда имѣли вы хоть жалость,
Хоть уваженіе къ лѣтамъ...
А нынче!.. Что къ моимъ ногамъ
Васъ привело? *Какая малость!*
Какъ, съ вашимъ сердцемъ и умомъ,
Быть чувства *мелкаго* рабомъ?

Она любитъ Онѣгина, но, нелюбимая имъ тою любовью, которая всегда носилась въ ея мечтахъ, и презирая, какъ ветошь маскарада, весь тотъ блескъ и чадъ, который кружитъ голову Онѣгину, несмотря на его разочарованность, она уже не сойдетъ съ того пути, на который рѣшилась вступить въ трагическую минуту своей жизни... Писаревъ, разсматривая образъ Татьяны, не находитъ въ немъ ничего привлекательнаго и даже мало-мальски удовлетворительнаго съ точки зрѣнія новѣйшихъ требованій реализма. Голова ея «засорена всякою дрянью». Она предпочитаетъ страдать и чахнуть въ мірѣ «воображаемой» любви, чѣмъ жить и веселиться «въ сферѣ презрѣнной дѣйствительности». Комментируя «безтолковое» письмо Татьяны къ Онѣгину, онъ перебиваетъ приводимыя имъ цитаты грубыми обращеніями къ самой Татьянѣ: «Это съ вашей стороны очень похвально, Татьяна Дмитріевна, что вы помогаете бѣднымъ и усердно молитесь Богу, но только зачѣмъ-же вы сочиняете небылицы?», «Да перестаньте-же, наконецъ, Татьяна Дмитріевна, вѣдь вы уже до галлюцинацій договорились!».. Передавая смыслъ послѣдняго монолога Татьяны, Писаревъ открываетъ въ немъ самое ничтожное прозаическое содержаніе. По его словамъ, Татьяна говоритъ Онѣгину: «Я васъ все-таки люблю, но прошу васъ убираться къ чорту. Свѣтъ мнѣ противенъ, но я намѣрена безусловно исполнять всѣ его требованія». Татьяна ничего не любитъ, никого не уважаетъ, никого не презираетъ, а живетъ себѣ, разгоняя непроходимую скуку «разными крошечными подобіями чувствъ и мыслей». Вообще говоря, Пушкинъ въ своей Татьянѣ рисуетъ съ восторгомъ «такое явленіе русской жизни, которое можно и должно рисовать только съ глубокимъ состраданіемъ или съ рѣзкою иронією [1])». Такъ раздѣлывается съ Татьяною стремительный критикъ «Русскаго Слова». Представивъ въ утрированномъ видѣ нѣкоторыя разсужденія о ней Бѣлинскаго, онъ сдѣлалъ два-три дополнительныхъ вывода въ реалистическомъ духѣ и свелъ все произведеніе къ заурядному и скверному по тенденціи романическому разсказу. Пушкинъ оказался разбитымъ на голову, и его ложная слава, мѣшавшая успѣхамъ русскаго просвѣщенія, разсѣяна дуновеніемъ отрезвляющаго вѣтра.

---

[1]) «Русское Слово», 1865 г., апрѣль, *Пушкинъ и Бѣлинскій*. стр. 38.

Но Пушкинъ какъ-бы предвидѣлъ всѣ превратности судьбы «Евгенія Онѣгина», когда дописывалъ послѣднія вдохновенныя строфы. Его не пугала никакая критика. Съ простодушіемъ молодого генія, легко и непринужденно творящаго самыя сложныя произведенія, онъ безстрашно приглашаетъ всѣхъ на судъ своего только-что оконченнаго романа. Онъ самъ почти не чувствуетъ значенія своего труда, который онъ называетъ малымъ. Онъ работалъ съ наслажденіемъ, онъ излилъ въ образахъ Онѣгина и Татьяны свою пылкую душу, и теперь онъ спокойно ждетъ приговора современниковъ и потомства:

Кто-бъ ни былъ ты, о мой читатель,
Другъ, недругъ,—я хочу съ тобой
Разстаться нынче, какъ пріятель.
Прости! Чего-бы ты за мной
Здѣсь ни искалъ въ строфахъ небрежныхъ:
Воспоминаній-ли мятежныхъ,
Отдохновенья-ль отъ трудовъ,
Живыхъ картинъ, иль острыхъ словъ,
Иль грамматическихъ ошибокъ,
Дай Богъ, чтобъ въ этой книжкѣ ты,
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для *журнальныхъ спшбокъ*
Хотя крупицу могъ найти.
За симъ—разстанемся, прости.

Въ этой статьѣ о Пушкинѣ и Бѣлинскомъ Писаревъ сдѣлалъ только практическое приложеніе своихъ общихъ идей, изложенныхъ въ теоретической формѣ въ разборѣ знаменитаго трактата Чернышевскаго и развившихся въ немъ подъ вліяніемъ этого трактата. Разрушая всякую эстетику, Писаревъ продолжалъ дѣло своего учителя и потому имѣлъ полное право бросить критику «Современника», въ этотъ періодъ его существованія, упрекъ въ отступничествѣ отъ его прежнихъ философскихъ принциповъ. Эстетическій элементъ долженъ быть совершенно изъятъ изъ обсужденія художественныхъ произведеній, потому что эстетикъ можетъ разсматривать только то, что несущественно въ созданіяхъ искусства,—ихъ форму, внѣшнее выраженіе втутренней мысли. Когда между двумя критиками возникаетъ споръ по поводу какого-нибудь литературнаго явленія, имъ для разрѣшенія вопроса приходится заглядывать въ естествознаніе, въ исторію, въ соціальную науку, въ политику, но объ искусствѣ между ними не будетъ сказано ни одного слова, если только ихъ интересуетъ существо дѣла. «Именно потому, что оба критика будутъ спорить между собою не о формѣ, а о содержаніи, именно поэтому они оба окажутся адептами того ученія, которое изложено въ *Эстетическихъ отношеніяхъ*» [1]). Чернышевскій своею доктриною

[1]) «Русское Слово», 1865 г., май, *Разрушеніе эстетики*, стр. 21.

оградилъ разумную критику отъ опасности «забрести въ пустыню стариннаго идеализма». Онъ уничтожилъ самый принципъ, самый фундаментъ эстетики вообще, потому что доказалъ пустоту и призрачность прежнихъ старыхъ представленій о красотѣ. Писаревъ ни въ чемъ не возражаетъ Чернышевскому и, воюя съ Антоновичемъ, только усиливаетъ грубость отрицанія, только откровеннѣе и прямѣе, чѣмъ Чернышевскій, не маскируясь ученымъ человѣкомъ, выражаетъ свои основныя убѣжденія въ этомъ вопросѣ. Статья «Разрушеніе эстетики», напечатанная между первою и второю статьею о Пушкинѣ и Бѣлинскомъ, служитъ какъ-бы соединительнымъ звеномъ между частнымъ разсужденіемъ объ одномъ изъ произведеній Пушкина—«Евгеніи Онѣгинѣ»—и главными тезисами его общихъ сужденій, выраженныхъ по поводу Пушкинской лирики. Эта статья связуетъ въ одинъ солидарный союзъ Чернышевскаго, Писарева и Бѣлинскаго, въ послѣднемъ періодѣ его литературной дѣятельности.

Статья «Пушкинъ и Бѣлинскій» была главнымъ дѣломъ Писарева въ 1865 г., но къ статьѣ этой по тенденціи примыкаютъ и такіе очерки, какъ «Мыслящій пролетаріатъ», представляющій въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ талантливую характеристику Помяловскаго, «Сердитое безсилье»—сокрушительный разборъ обличительнаго романа Клюшникова «Марево», заключающаго въ себѣ, вопреки безпощадному глумленію критика, нѣкоторыя интересныя черты современной жизни, «Посмотримъ», содержаніе котораго мы уже знаемъ, «Промахи незрѣлой мысли» (конца 1864 г.)—очеркъ, написанный въ духѣ общихъ педагогическихъ взглядовъ Писарева и, наконецъ, «Прогулка по садамъ Россійской словесности»—огромное литературное обозрѣніе, задѣвающее въ полемической формѣ рядъ текущихъ журнальныхъ вопросовъ. Въ этой послѣдней статьѣ Писаревъ даетъ характеристику Аполлону Григорьеву, этому «чистому и честному фанатику отжившаго романтическаго міросозерцанія», щелкаетъ Писемскаго за его «Взбаломученное море», поноситъ Аверкіева за духъ мракобѣсія и сикофантства, огрызается противъ Островскаго, которому пророчитъ союзъ съ Кохановскою, Аксаковымъ и Юркевичемъ, а «никакъ не съ мыслящими реалистами нашего времени». По дорогѣ онъ, не вдаваясь въ серьезную критику, жестоко отдѣлываетъ Стебницкаго-Лѣскова, попрекая его даже безграмотностью, за нѣкоторыя его объясненія по поводу романа «Некуда». Не проводя никакой черты между Стебницкимъ и «съ позволенія сказать» Клюшниковымъ, онъ предаетъ поруганію автора «Некуда», этого истинно талантливаго писателя, за его смѣлое и во многихъ отношеніяхъ глубоко-правдивое изображеніе современныхъ нравовъ. Свою несправедливую филиппику противъ Лѣскова Писаревъ заканчиваетъ слѣдующими двумя вопросами, на которые время уже дало свои отвѣты—и не въ томъ смыслѣ, какъ ожидалъ ихъ Писа-

ревъ. «Меня очень интересуютъ, заявляетъ Писаревъ, слѣдующіе два вопроса: во-первыхъ, найдется-ли теперь въ Россіи, кромѣ *Русскаго Вѣстника*, хоть одинъ журналъ, который осмѣлился-бы напечатать хоть что-нибудь, выходящее изъ подъ пера Стебницкаго и подписанное его фамиліей, и во-вторыхъ, найдется-ли въ Россіи хоть одинъ честный писатель, который будетъ настолько неосторожень и равнодушенъ къ своей репутаціи, что согласится работать въ журналѣ, украшающемъ себя повѣстями и романами Стебницкаго [1])». Весь смыслъ этой пространной статьи сводится къ тому, что не можетъ быть иной философіи, кромѣ реалистической, и что новѣйшая критика «Русскаго Слова», связанная исторической преемственностью съ идеями Бѣлинскаго и непосредственно вышедшая изъ школы Чернышевскаго, должна быть признана самымъ прогрессивнымъ явленіемъ времени. Онъ, Писаревъ, популяризаторъ этой философіи, борецъ на поприщѣ литературной критики за трезвое пониманіе искусства и жизни. Чернышевскій — законодатель эпохи. Онъ, Писаревъ, — безпристрастный и послѣдовательный судья тѣхъ явленій, старыхъ и новыхъ, которыя возникали и возникаютъ на русской почвѣ. Никто лучше Писарева не объяснилъ романа Тургенева въ духѣ реалистическихъ идей и никто съ такою отвагою не выражалъ своихъ симпатій тому произведенію, которое при своемъ появленіи взволновало все русское общество—не своими литературными красотами, а заманчивой картиной утопическихъ нравовъ, съ загадочными намеками на жгучую современность и скрытое въ туманѣ будущее.

IV.

Статьи литературно-публицистическія, экономическія и историческія не исчерпываютъ дѣятельности Чернышевскаго на журнальномъ поприщѣ. Несмотря на фактическую принадлежность къ такъ называемой партіи прогрессивнаго движенія, на теоретическую вражду противъ искусства, онъ самъ нѣкоторыми сторонами своего характера представлялъ собою человѣка, способнаго отдаваться мечтѣ, увлекаться беллетристическими задачами и цѣлями. Его простой слогъ, почти ничѣмъ не отличающійся отъ разговорнаго, живой и бойкій, проникнутый природнымъ сарказмомъ, позволялъ ему воспроизводить въ діалогической формѣ многія черты современнаго ему общества и смѣлыми словцами будить скрытыя симпатіи и стремленія молодыхъ поколѣній. Писатель, передавшій въ печати свои личныя впечатлѣнія о Чернышевскомъ, отмѣчаетъ въ немъ одну особенность, объясняющую многое въ характерѣ его дѣятельности, то впечат-

[1]) «Русское Слово» 1865 г., мартъ. *Прогулка по садамъ Россійской словесности*, стр. 15.

лѣніе, которое производили его статьи на русское общество. Развивая какую-нибудь сложную мысль, Чернышевскій, говоритъ онъ, отмѣчалъ ходъ своей аргументаціи, такъ сказать, отдѣльными вѣхами, снимая при этомъ тѣ логическіе мостики, которые облегчаютъ слушателю возможность легко и безъ труда слѣдовать за нимъ. Чтобы не отстать отъ него въ разговорѣ, приходилось дѣлать самые неожиданные скачки. При большой силѣ и ясности жизненно-созерцательной мысли, онъ быстро выстраивалъ свои общія положенія, часто не снабжая ихъ никакою діалектикою или замѣняя логическіе доводы яркими бытовыми иллюстраціями. Съ какимъ-то добродушнымъ лукавствомъ онъ порою мистифицировалъ собесѣдника, подставляя ему остроумные капканы, черезъ которые тотъ долженъ былъ пробраться, чтобы вѣрно его понять. Работа постепенно развертывающейся изъ глубины мысли его не удовлетворяла, и каждому его оппоненту приходилось считаться съ его неожиданными, эксцентричными примѣрами, въ которыхъ основная идея пробивалась съ оттѣнкомъ своеобразнаго, подчасъ нѣсколько вульгарнаго юмора. Инымъ способомъ онъ не умѣлъ обнаруживать того, что накипало въ его душѣ, и если собесѣдникъ въ удачной репликѣ давалъ ему чувствовать свое пониманіе, въ его глазахъ вспыхивало выраженіе удовольствія, почти наслажденія. Тотъ-же авторъ приводитъ по тетради одного изъ лицъ, близко стоявшихъ нѣкоторое время къ Чернышевскому, нѣкоего Шаганова, и другіе факты, рельефно рисующіе созерцательный по существу характеръ его ума, съ чертами ясности, рѣзкости и простоты. Никогда не затрудняясь въ подборѣ внѣшнихъ, конкретныхъ положеній, Чернышевскій обладалъ огромною силою импровизаціи, которая изумляла всѣхъ окружавшихъ его людей. Принимая участіе въ занятіяхъ одного кружка, сомкнувшагося благодаря жизненнымъ обстоятельствамъ, онъ часто приходилъ на его засѣданія съ толстой тетрадью, изъ которой читалъ свои повѣсти, длинныя аллегоріи, притчи. Чтеніе это продолжалось иногда два, три вечера и читалъ Чернышевскій неторопливо, спокойно и плавно. Сложное дѣйствіе съ массой приключеній, отступленій научнаго свойства, психологическимъ и даже физіологическимъ анализомъ вставало передъ слушателями въ оригинальныхъ и яркихъ эпизодахъ. Но каково же было удивленіе кружка, когда одинъ изъ его членовъ, заглянувъ черезъ плечо лектора, увидѣлъ, что Чернышевскій съ самымъ сосредоточеннымъ видомъ смотритъ въ чистую тетрадь и перевертываетъ неисписанныя страницы. Разговаривая съ людьми, отстаивая любимую идею, защищаясь противъ какихъ-нибудь упрековъ, нападая на того или другого общественнаго дѣятеля, Чернышевскій постоянно прибѣгалъ къ живымъ уподобленіямъ, выхватывалъ отдѣльные факты изъ современной волны и тутъ-же обращалъ ихъ въ орудіе острой, нетерпимой борьбы съ неродственными его духу теченіями. Сатирическая нота никогда не переста-

вала звучать въ его рѣчахъ, не уходившихъ ни въ какую глубокую аргументацію. Обладая смѣлымъ публицистическимъ талантомъ, онъ, однако, бралъ верхъ надъ своими соперниками не силою логическихъ сужденій, а именно этою почти художественною способностью быстро овладѣвать всѣми положеніями извѣстнаго ученія и затѣмъ искусно распоряжаться ими передъ глазами читателя и добиваться самыхъ эффектныхъ впечатлѣній двумя-тремя удачными штрихами и параллелями.

Эти особенности его характера и толкнули Чернышевскаго на путь беллетристическаго творчества, которое до сихъ поръ еще совершенно не оцѣнено въ его литературной дѣятельности. Онъ не былъ типичнымъ художникомъ, поэтическая сторона въ его извѣстныхъ двухъ романахъ страдаетъ огромными недостатками, которые не позволяютъ поставить ихъ рядомъ съ какими-нибудь выдающимися произведеніями русскаго искусства. Но при всѣхъ своихъ чисто литературныхъ недочетахъ, несмотря на небрежную форму, испорченную, кромѣ того, ненужными отступленіями, длинными комментаріями собственныхъ героевъ и идей, фамильярными разговорами съ читателемъ, романы эти должны быть признаны далеко не заурядными явленіями, стоющими серьезнаго вниманія. Въ нихъ такъ или иначе пробивается живая личность автора, съ его подкупающею, нѣсколько чудаческою оригинальностью, бросается въ глаза его внутренняя, почти органическая связь съ героями повѣствованія, его то сдавленная, то широко разливающаяся рѣчь, полная намековъ и партизанскихъ эмблемъ. Несмотря на бѣдность и блѣдность художественныхъ красокъ, на совершенное отсутствіе поэтическихъ описаній, многія фигуры этихъ романовъ движутся передъ глазами, какъ живыя, въ напряженной стихіи современныхъ идей, выраженныхъ въ первый разъ и съ дерзостною отчетливостью. Своеобразная фантазія, сухая новаторская фантазія — виситъ надъ угловатымъ, грубымъ изображеніемъ современности, смягчая диссонансы, сглаживая явныя и раздражающія шероховатости. Романы эти читаются съ огромнымъ интересомъ, потому что на нихъ вырѣзалась печать безпредѣльно энергичной и богатой натуры. Индивидуальность автора подыскала себѣ въ первомъ изъ этихъ двухъ романовъ прямое выраженіе, воплотивъ себя въ лицѣ ученаго писателя Волгина. Волгинъ живетъ среди пестрой толпы новѣйшихъ общественныхъ дѣятелей, занятыхъ проектами реформъ, не смѣшиваясь съ ними и даже представляя непримиримую оппозицію ихъ наивному жизненному оптимизму. Въ романѣ собраны образцы различныхъ оттѣнковъ общественнаго движенія: Нивельзинъ, Савеловъ, Рязанцевъ, Соколовскій и другіе. Между ними складываются разныя отношенія съ запутанными романическими интригами, которыя Волгинъ разбиваетъ при посредствѣ своей молодой, красивой жены, описанной съ трогательною любовью, съ явнымъ восхищеніемъ

автора. Романъ и посвященъ «той, въ которой будутъ узнавать Волгину». Волгинъ стоитъ во главѣ передового журнала и слава его, повидимому, растетъ съ каждымъ днемъ. Онъ пишетъ много, безпрерывно, по текущимъ вопросамъ общественной жизни, но самъ онъ не высокаго мнѣнія о своихъ произведеніяхъ. «Литературнаго таланта у меня нѣтъ, говоритъ Волгинъ одному своему собесѣднику, — я пишу плохо, длинно, часто безжизненно. Десятки людей у насъ умѣютъ писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство, но важное, важнѣе всякаго мастерства писать, состоитъ въ томъ, что я правильнѣе другихъ понимаю вещи». Видя то впечатлѣніе, которое производятъ его статьи, Волгинъ съ недоумѣніемъ качаетъ головой.

— Я золъ? Я кажусь вамъ злымъ потому, что вы видите вокругъ себя все только невинныхъ младенцевъ. Умно то общество, въ которомъ я кажусь рѣзкимъ и ѣдкимъ. Я, цыпленокъ, золъ! Хороши птицы, среди которыхъ цыпленокъ—ястребъ.

Въ современномъ русскомъ обществѣ нѣтъ человѣка съ настоящею свѣтлою головою, и Волгину приходится подавать свое мнѣніе по всякому болѣе или менѣе важному вопросу, чтобы своимъ протестующимъ словомъ вытѣснить ту «ахинею», которою сбиваются съ толку умы. И хотя его дѣятельность не выходитъ за предѣлы журнальной публицистики, предчувствіе подсказываетъ ему, что надъ головою его соберутся тучи. Дѣйствіе романа относится къ 1857 году, и мы находимъ въ немъ нѣсколько штриховъ, рисующихъ первыя отношенія Чернышевскаго къ Добролюбову. Волгинъ встрѣчаетъ молодого студента съ длинными, гладкими, свѣтлорусыми волосами, нѣсколько сгорбленнаго, съ блѣднымъ лицомъ и сѣрыми глазами, тускло глядящими сквозь очки въ золотой оправѣ. Они знакомятся при оригинальныхъ обстоятельствахъ, при чемъ Волгинъ даетъ ему свою визитную карточку.

— Вы Алексѣй Ивановичъ Волгинъ?—съ нѣкоторою оживленностью сказалъ студентъ, взглянувъ на карточку.

— Да-съ,—флегматически отвѣтилъ Волгинъ, и вслѣдъ затѣмъ взвизгнулъ пронзительнымъ ультра-сопрано, отъ котораго зазвенѣли стекла въ сосѣднихъ окнахъ, и изумительная рулада перелилась черезъ теноровые раздирающіе ухо звуки въ контрабасовой ревъ: ххи-ххи-ххи-ххa-ххa-ххa-ххо-ххо-ххо... А вы, я вижу, мой поклонникъ? Вотъ находка! Драгоцѣнность! Въ цѣлой Россіи только два экземпляра: вы, да я самъ... Въ которомъ вы курсѣ?

— Я студентъ Педагогическаго Института, а не университета. Кончаю курсъ.

Волгинъ прощается съ Левицкимъ, который говоритъ, что придетъ къ нему по окончаніи курса съ какой-нибудь статьей. Въ первыхъ-же разговорахъ между новыми знакомыми Левицкій обнаруживаетъ умъ и

талантъ. Волгинъ въ восторгѣ отъ его литературныхъ способностей. Левицкій пишетъ сжато, легко, блистательно. Онъ все понимаетъ, какъ слѣдуетъ. Холодность его взгляда, самобытность мысли убѣждаютъ Волгина, что онъ нашелъ товарища по убѣжденіямъ и незамѣнимаго помощника по журналу...

Волгинъ и Волгина живутъ въ самой тѣсной дружбѣ, хотя Волгина не всегда понимаетъ своего мужа, гораздо ниже его въ умственномъ отношеніи, а по привычкамъ и характеру приближается къ типу эстетической и нѣсколько свѣтской женщины. Но авторъ, сблизивъ ее съ героемъ самыхъ крайнихъ демократическихъ стремленій, долженъ былъ вложить въ нее нѣкоторыя черты прогрессивности, развившіяся подъ вліяніемъ мужа. Она пряма, рѣзка, презираетъ ловеласничанье, не носитъ дома корсета, легко справляется съ чужими романическими увлеченіями, приходя на помощь знакомымъ своими здравыми натуралистическими сужденіями. Въ Волгиной авторъ уже заключилъ тѣ задатки, изъ которыхъ пышно развилась Вѣра Павловна въ романѣ «Что дѣлать?» Но вотъ что любопытно при этомъ замѣтить: Волгинъ любитъ свою жену, несмотря на свой реалистическій образъ мыслей, съ настоящимъ эстетическимъ увлеченіемъ. Въ романѣ имѣется одна поистинѣ трогательная сцена, не лишенная, повидимому, автобіографическаго оттѣнка: когда Волгина пошла въ театръ, мужъ прибѣгаетъ туда на нѣсколько минутъ изъ типографіи, чтобы, осмотрѣвъ въ бинокль публику съ верхней галлереи, въ сотый разъ убѣдиться, что красота ея привлекаетъ всеобщее вниманіе. Онъ самъ убѣждалъ ее когда-то не выходить за него замужъ и терзается мыслью, что въ его простой рабочей обстановкѣ она не пользуется всѣми тѣми удобствами жизни, которыя такъ легко могла-бы получить при иныхъ обстоятельствахъ. Онъ повсюду подчеркиваетъ ея удивительную свѣжесть и молодость и какъ-бы нарочно растягиваетъ эпизодъ, въ которомъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ романа не хочетъ признать въ ней замужнюю женщину. Волгина платитъ своему мужу разумнымъ уваженіемъ, попеченіемъ объ его здоровьѣ, постоянными заботами объ его нуждахъ и, несмотря на его мѣшковатость и неуклюжесть, никогда не теряетъ сознанія, что онъ не простой, обыкновенный работникъ, а писатель съ славнымъ будущимъ.

Таково первое беллетристическое произведеніе Чернышевскаго, къ сожалѣнію, не доведенное до конца и по яркости концепціи значительно уступающее его роману, напечатанному въ «Современникѣ» 1863 года. Дѣйствующія лица, кромѣ главныхъ героевъ, встаютъ въ туманѣ, очерченныя съ нѣкоторою сбивчивостью на тѣсномъ пространствѣ и не сгруппированныя надлежащимъ образомъ посредствомъ цѣльной внутренней идеи. Это только *Прологъ* къ настоящему роману — съ полнымъ раскрытіемъ эмансипаторскихъ стремленій автора, съ законченными и идеализированными типами новыхъ людей.

Во второмъ романѣ много движенія, характеры обрисованы съ своеобразною силою и своеобразными пріемами—не художественными, но достигающими въ результатѣ цѣльныхъ и продолжительныхъ впечатлѣній. При всей скудости живописныхъ сценъ и матеріаловъ, въ авторѣ чувствуется способность къ беллетристическому вымыслу, умѣнье разбрасывать многочисленные, пестрые эпизоды и черезъ нихъ вести главную нить разсказа. Всѣ важнѣйшія сцены этого романа залиты пѣнящимися волнами ѣдкаго юмора, оживляющаго повѣствованіе и невольно захватывающаго и уносящаго воображеніе. Несмотря на огромную трудность задачи и на крайне узкую философскую доктрину, которою авторъ хотѣлъ пропитать свое произведеніе, его главные герои въ общемъ встаютъ живыми людьми, взятыми изъ среды молодого поколѣнія, а нѣкоторыя утопическія картины, передающія широкія мечты автора, по крайней мѣрѣ въ первыхъ частяхъ романа, нарисованы съ чувствомъ мѣры и кажутся почти возможными. Лопуховъ, Вѣра Павловна, Кирсановъ, въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ и дѣйствіяхъ, сосредоточиваютъ въ себѣ основную мысль Чернышевскаго и изображены имъ ради контраста съ представителями отживающаго поколѣнія. Они отрѣшились отъ всякаго идеализма, презрѣли условные житейскіе шаблоны, устраиваютъ свои дѣла только согласно съ собственными убѣжденіями, въ которыхъ утонченный утилитарный расчетъ играетъ роль руководящаго критерія. «Я хотѣлъ изобразить обыкновенныхъ порядочныхъ людей новаго поколѣнія, говоритъ Чернышевскій, людей, которыхъ я встрѣчаю цѣлыя сотни. Гдѣ я говорилъ о нихъ не въ такомъ духѣ? Что я разсказывалъ о нихъ не такого? Я изображалъ ихъ съ любовью и уваженіемъ, потому что каждый порядочный человѣкъ стоитъ любви и уваженія. Но гдѣ я преклонялся передъ ними?» Въ самомъ дѣлѣ, эти люди, по своимъ стремленіямъ и твердому желанію освободиться отъ тиранніи житейскихъ обычаевъ, могутъ быть названы лучшими представителями эпохи, хотя, въ качествѣ творца упрощенной реалистической философіи, Чернышевскій сдѣлалъ ихъ черезчуръ прямолинейными, разсудочными, такъ сказать, докторальными. Но необходимо отмѣтить, что въ этомъ, по преимуществу, тенденціозномъ романѣ, пропагандирующемъ прозаически-трезвое отношеніе къ жизни, жизнь прорвалась сильными, играющими струями, почти наперекоръ узкой доктринѣ автора. Вѣра Павловна, съ ея любовью къ музыкѣ, операмъ, цвѣтамъ и танцамъ, съ ея непосредственнымъ, иногда бурнымъ весельемъ, съ ея склонностью къ широкому, хотя и невинному разгулу, съ ея фантастическими, вѣщими снами, раскрывающими передъ нею новые горизонты жизни и, наконецъ, что всего характернѣе, съ ея жаждой любви, страстной любви, для которой недостаточно всей высокой порядочности Лопухова,—такая героиня какъ-бы невольно раздвигаетъ рамку романа и наполняетъ его нервною жизненною тканью. И не

только эти три дѣйствующихъ лица, которыя Чернышевскій самъ относитъ къ числу обыкновенныхъ людей, но даже и наиболѣе идеализированная фигура романа, Рахметовъ, съ чертами почти сектантскаго подвижничества, героическимъ самоотреченіемъ, со склонностью къ самоистязанію, которая заставляетъ его спать на гвоздяхъ, даже этотъ Рахметовъ, мыслями котораго Писаревъ наполнилъ свою статью «Нерѣшенный вопросъ», вышелъ болѣе сложнымъ и глубокимъ психологическимъ типомъ, чѣмъ это было нужно по замыслу автора. Рахметовъ понимаетъ, что его прозаическое самоограниченіе вызвано случайными жизненными обстоятельствами, что, при всей его глубокой природной склонности къ подвигамъ, его настоящій душевный обликъ, съ яркимъ выраженіемъ грубой экономіи силъ и утилитарнаго расчета въ каждомъ его движеніи, сложился подъ воздѣйствіемъ экстраординарныхъ историческихъ условій и вытекающихъ изъ нихъ задачъ.

— Рахметовъ, вы удивляете меня,—говоритъ ему Вѣра Павловна,— вы совсѣмъ не такой, какъ мнѣ казалось. Отчего вы всегда такое мрачное чудовище? А вѣдь вотъ теперь вы милый, веселый человѣкъ.

— Вѣра Павловна, я исполняю теперь веселую обязанность, отчегоже мнѣ и не быть веселымъ? Но вѣдь это случай, это рѣдкость. Вообще видишь невеселыя вещи, какъ-же тутъ не будешь мрачнымъ чудовищемъ? Только, Вѣра Павловна, если ужъ случилось вамъ видѣть меня въ такомъ духѣ, *въ какомъ я былъ-бы радъ быть всегда*, и дошло у насъ до такихъ откровенностей,—пусть это будетъ секретъ, что я не по своей охотѣ мрачное чудовище. Мнѣ легче исполнять мою обязанность, когда не замѣчаютъ, что мнѣ самому хотѣлось-бы не только исполнять мою обязанность.

Натура Рахметова, широкая по своимъ задаткамъ, могучая по темпераменту, но сдавленная, какъ веригами, поставленной себѣ программою, таитъ въ себѣ нѣкоторыя противорѣчія, подрывающія утилитарную тенденцію автора. Его фактическая приверженность къ научному знанію въ первоисточникахъ, при суровой размѣренности въ употребленіи времени, его любовь къ изяществу при его нарочито нищенскомъ костюмѣ, его скрытая склонность къ кипучей страсти при его аскетическомъ образѣ жизни—всѣ эти свойства далеко выступаютъ за тѣ границы, въ которыхъ могла-бы уложиться сознательная философія романа. Корни его практической гуманитарной дѣятельности развиваются въ таинственной духовной глубинѣ, по болѣе широкимъ и сложнымъ законамъ, чѣмъ тѣ ариѳметическія правила эгоистическаго расчета, къ которымъ сводитъ всю психическую жизнь философія Чернышевскаго. Рахметовъ, этотъ послѣдній аргументъ Писарева, этотъ его любимый образъ до конца мыслящаго безпощаднаго реалиста, по мѣркѣ котораго написаны наиболѣе убѣжденныя страницы «Нерѣшеннаго во-

проса», вплоть до маленькой слабости Рахметова къ хорошей сигарѣ, Рахметовъ, только въ контурѣ и нѣсколько блѣдно намѣченный Чернышевскимъ, представляетъ изъ себя матеріалъ для настоящей художественной разработки—какъ это ни странно сказать,—въ духѣ Достоевскаго. Такой натурѣ, какъ Рахметовъ, съ его бурлацкой физической силой, развитою сознательнымъ упражненіемъ для высшихъ цѣлей, нужны, какъ мотивы дѣятельности, какъ импульсъ къ подвижническому самоотреченію и страстотерпчеству, гораздо болѣе высокія убѣжденія, чѣмъ разумный эгоизмъ въ матеріалистическомъ ученіи Чернышевскаго. И можно думать, что Чернышевскій самъ инстиктивно понималъ это, когда призналъ въ разговорѣ съ «проницательнымъ читателемъ», что Рахметовъ не можетъ быть сдѣланъ героемъ въ его романѣ. Если уже Вѣра Павловна и Кирсановъ многими своими чертами, непредусмотрѣнными утилитарною программою, какъ-бы завлекаютъ въ произведеніе Чернышевскаго болѣе широкую стихію интересовъ, страстей и стремленій, чѣмъ это могъ-бы одобрить, напримѣръ, такой педантическій, но добросовѣстный ученикъ Чернышевскаго, какъ Писаревъ, то какимъ образомъ развернулся-бы въ этой ограниченной сферѣ богатырь съ высокимъ духовнымъ энтузіазмомъ и трагическимъ темпераментомъ, которому хитро разсчитанное самопожертвованіе Лопухова кажется пустою, ненужною мелодрамою. Узкое философское ученіе, которое было сознательнымъ мотивомъ для написанія романа, шумное движеніе неожиданно возникающихъ, какъ-бы импровизированныхъ эпизодовъ, таящихъ въ себѣ глубокій разумный смыслъ, живая и минутами нѣжная психологія, въ которой чуть слышно пульсируетъ скрытая эстетическая жилка автора, и, наконецъ, пестро развернувшаяся экономическая утопія, согрѣтая гуманными стремленіями,—вотъ что наполняетъ этотъ характерный романъ, оживленный кипучимъ темпераментомъ, озаренный яснымъ и трезвымъ умомъ. Тутъ, при широкомъ замыслѣ, нѣтъ истинно художественнаго исполненія задачи, но есть могучее настроеніе, отражающее потребность живыхъ, яркихъ и сложныхъ впечатлѣній...

Въ послѣднихъ частяхъ романа фантастическій элементъ развертывается съ огромною силою и вдохновеніемъ. Весь четвертый сонъ Вѣры Павловны, съ смутнымъ шумомъ кипящаго въ немъ водоворота идей, захватываетъ читателя какимъ-то сочувственнымъ волненіемъ къ этимъ легкимъ и прозрачнымъ утопическимъ образамъ, въ которыхъ играютъ эстетическія настроенія автора. Гимнъ любви, гдѣ въ патетическихъ монологахъ воздается должное тремъ богинямъ—Астартѣ, Афродитѣ и Непорочности—и мечта о роскошныхъ и легкихъ дворцахъ изъ серебристаго аллюминія заставляютъ широко разступиться холодную, узкую, головную программу оригинальнаго и талантливаго романиста. А эти описанія разгульныхъ пикниковъ съ перегоняющими другъ друга тройками

и съ загадочной буйной дамой, носящей трауръ, потому что герой ея сердца находится въ отсутствіи—быть можетъ, тотъ самый герой, который нѣкогда съ бурлацкой силой остановилъ за ось ея экипажъ, увлекаемый взбѣсившимися лошадьми—все это вноситъ въ романъ широкую, мятущуюся эстетическую стихію, очевидно противъ воли автора, но не въ противорѣчіи съ бьющимися въ немъ могучими инстинктами русскаго народа. Теперь понятно, почему вульгарное буфонство молодого Щедрина, съ его грубою карикатурою именно на то, что есть въ романѣ поэтическаго, должно было взорвать людей свѣжихъ и впечатлительныхъ къ новымъ настроеніямъ и послужить началомъ побоища, въ которомъ потерпѣли нравственное фіаско прозаическіе и недальновидные преемники Чернышевскаго по журналу. Чернышевскій, какъ авторъ утопическаго романа, уже въ 1863 году значительно поднимался надъ своими публицистически-философскими и критическими писаніями, которыя, проповѣдуя грубый утилитаризмъ и эгоистическій расчетъ, убивали всѣ широкія и непосредственно идеальныя стремленія общества,

Спустя много лѣтъ этотъ оригинальный человѣкъ самъ ощутилъ въ себѣ разладъ. Съ оттѣнкомъ скептическаго юмора оглядывался онъ на нѣкоторые, прежде имъ излюбленные, пути прогресса. Въ этой непосѣдѣвшей головѣ уже не молодого человѣка, съ длинными, кудрявившимися волосами и съ печатью болѣзни на лицѣ, быть можетъ, складывалось что-то новое, теоретически обхватывающее тѣ горизонты, которые онъ прежде старался закрыть отъ своего сознанія. Иногда онъ разражался нападками на свое прошлое въ рѣзкой формѣ самообличенія. «Я тотъ баранъ, который хотѣлъ кричать козломъ», говорилъ онъ о себѣ съ веселымъ юморомъ, аллегорически изображая свою жизнь въ формѣ фантастической легенды. Новые дѣятели реформированныхъ въ 1868 году «Отечественныхъ Записокъ», съ наиболѣе типическими для нихъ философскими притязаніями, не удовлетворяли его. Онъ совершенно отвергалъ «біолого-соціологическія» параллели Михайловскаго, т.-е. именно то, что несвѣдущая и несамостоятельно мыслящая толпа прокричала на всю Россію лучшимъ образцомъ новѣйшей, прогрессивной философіи, не уразумѣвъ ея обезсиливающихъ внутреннихъ противорѣчій и теоретической пустоты. Не имѣя, однако, силъ для новыхъ самостоятельныхъ трудовъ, онъ углублялся въ изученіе всеобщей исторіи, съ поразительною энергіею занимаясь переводомъ на русскій языкъ многотомнаго труда Вебера.

Писаревъ выразилъ свое глубокое сочувствіе роману Чернышевскаго, хотя при этомъ онъ не бросилъ въ своей статьѣ о «Новомъ типѣ» ни одной самостоятельной, оригинальной мысли. Онъ разсказываетъ его содержаніе, комментируетъ почти словами Чернышевскаго поступки Лопухова, Кирсанова и Вѣры Павловны, передаетъ всѣ главныя подробности біографіи Рахметова, но нигдѣ и ни въ чемъ онъ не поднимается на

критическую высоту, необходимую для пониманія достоинствъ и недостатковъ этого произведенія. Увлеченный его тенденціею, Писаревъ находитъ даже, что Чернышевскій глубже и лучше понялъ новое движеніе русскаго общества, чѣмъ Тургеневъ, и изобразилъ его въ романѣ съ удивительнымъ художественнымъ совершенствомъ. Образы Лопухова, Кирсанова и Рахметова кажутся ему возвышеннѣе по замыслу, чѣмъ Базаровъ, которому Тургеневъ не могъ сочувствовать такъ, какъ сочувствовалъ своимъ героямъ Чернышевскій. Писаревъ не указываетъ ни на какія погрѣшности и недочеты Чернышевскаго въ художественномъ отношеніи, и вся его пространная рецензія представляетъ собою довольно блѣдную популяризацію того, что, какъ мы видѣли, выражено въ романѣ съ настоящимъ огнемъ въ цѣломъ рядѣ фантастическихъ картинъ, залитыхъ своеобразнымъ вдохновеніемъ [1]).

Если не считать обширнаго, хотя и довольно безсодержательнаго разбора повѣсти Слѣпцова «Трудное время», въ статьѣ подъ названіемъ «Подростающая гуманность», двухъ небольшихъ рецензій о стихотвореніяхъ Гейне и краткаго отзыва съ полемическимъ отвѣтомъ о «Сатирической небывальщинѣ» Гермогена Трехзвѣздочкина, то мы пересмотрѣли все, напечатанное Писаревымъ вплоть до 1866 г. Въ это время дѣятельность Писарева уже близилась къ концу. Въ 1866 г. было закрыто «Русское Слово». Его новыя работы, напечатанныя въ «Дѣлѣ» и «Отечественныхъ Запискахъ», не теряя общаго характера талантливости и публицистической бойкости, становились все болѣе и болѣе однообразными по темамъ и аргументаціи. Все та-же проповѣдь женской эмансипаціи, борьба съ разными «усыпителями» русской общественной мысли, все та-же пропаганда реализма и разумнаго эгоизма подъ знаменемъ Чернышевскаго. Мысли Писарева не прогрессируютъ, критическое дарованіе, не освѣжаемое какими-либо глубокими идеями и впечатлѣніями, не дѣлаетъ никакихъ успѣховъ въ пониманіи и оцѣнкѣ литературныхъ явленій. Можно подумать, что при новыхъ обстоятельствахъ, при необходимости писать въ чуждомъ ему органѣ, подъ руководствомъ людей, которымъ онъ не во всемъ симпатизировалъ, Писаревъ почувствовалъ какъ-бы нѣкоторую неувѣренность. Но не имѣя привычки сидѣть сложа руки, онъ бросается къ иностраннымъ сочиненіямъ, подробно разбираетъ романы Андре Лео, занимается Эркманомъ-Шатріаномъ, пересказываетъ въ статьѣ «Мистическая любовь» интересное изслѣдованіе англійскаго писателя Уильяма Диксона «Духовныя жены», пишетъ длинныя журнальныя замѣтки, не поражающія никакими новыми или даже свѣжими мыслями и настроеніями. Онъ какъ-бы въ замѣшательствѣ нащупываетъ какіе-то новые пути для

[1]) „Русское Слово", 1865, октябрь, *Новый типъ*, стр. 1—54.

своего блестящаго природнаго таланта. Долгая уединенная работа, съ огромнымъ партизанскимъ увлеченіемъ, должна была наложить на него глубокую печать, а рѣзкая перемѣна всѣхъ внѣшнихъ обстоятельствъ не могла не отразиться на немъ тягостнымъ внутреннимъ разстройствомъ, превозмочь которое можно было только рядомъ значительныхъ усилій. Но все, напечатанное Писаревымъ за короткое время, которое ему суждено было прожить послѣ выхода изъ крѣпости, не представляетъ признаковъ новаго умственнаго движенія. Даже такія статьи его, какъ очеркъ «Погибшіе и погибающіе», напечатанный въ учёно-литературномъ сборникѣ «Лучъ» и проводящій параллель между «Очерками бурсы» Помяловскаго и «Записками изъ мертваго дома» Достоевскаго, этюдъ «Образованная толпа», заключающій въ себѣ анализъ сочиненій Ѳ. М. Толстого, даже разборъ первыхъ трехъ томовъ «Войны и мира» подъ названіемъ «Старое барство»—не представляютъ собою, несмотря на общую талантливость, ничего характернаго и оригинальнаго по сравненію съ прежними статьями Писарева. Единственнымъ исключеніемъ является его большая статья о «Преступленіи и наказаніи», начатая печатаніемъ въ «Дѣлѣ» 1867 года и законченная только послѣ смерти автора, въ августѣ 1868 года. Въ этой статьѣ, написанной съ явнымъ подъемомъ всѣхъ литературныхъ силъ Писарева, яркимъ и мѣткимъ языкомъ, съ признаками непосредственнаго душевнаго волненія, попадаются мысли, какъ-бы не идущія въ струѣ его прежнихъ понятій и не совпадающія съ новымъ движеніемъ общественныхъ элементовъ. Съ большою силою Писаревъ вооружается противъ всякаго грубаго насилія даже во имя идеи. «Необыкновенные люди, которыми можетъ и должно гордиться человѣчество, не являются любителями и виновниками кровопролитія», говоритъ онъ. Кровь льется не для того, чтобы содѣйствовать успѣхамъ человѣчества, и настоящія побѣды на пути прогресса одерживаются не *вслѣдствіе* кровопролитій, а, такъ сказать, *вопреки* кровопролитію. Тѣ, которые препятствуютъ движенію общества, держатся на своихъ мѣстахъ благодаря толпѣ и, устраняя ихъ насильственными средствами, мы не преодолѣваемъ настоящей причины ихъ силы. «Изъ любви къ истинѣ необыкновенные люди становились иногда мучениками, но никакая любовь къ идеѣ никогда не могла превратить ихъ въ мучителей—по той простой причинѣ, что мученія никого не убѣждаютъ и, слѣдовательно, никогда не приносятъ ни малѣйшей пользы той идеѣ, во имя которой они производятся» [1]).

Весьма возможно, что эти мысли и фразы были выраженіемъ какихъ-нибудь новыхъ, назрѣвшихъ въ Писаревѣ понятій. Но судить объ этомъ съ увѣренностью трудно: эти мягкія, гуманныя слова прозвучали тогда,

[1]) Сочиненія Д. И. Писарева, изд. 1868 г., ч. IX, *Борьба за жизнь*, стр. 240.

когда занавѣсъ уже упалъ, скрывъ отъ публики любимаго ею героя короткой, но болѣзненной драмы.

Такъ закончилась эта короткая, безрадостная жизнь. Писаревъ умеръ на двадцать восьмомъ году, послѣ восьмилѣтняго литературнаго труда, послѣ цѣлаго ряда публицистическихъ и критическихъ битвъ, окружившихъ его имя всероссійской славой. Неутомимый работникъ и яркій литературный талантъ, онъ успѣлъ оставить глубокій слѣдъ въ исторіи цѣлой эпохи и связать свою дѣятельность, въ качествѣ ближайшаго преемника, съ журнальною дѣятельностью Добролюбова и Чернышевскаго. Онъ былъ прямымъ продолжателемъ философскихъ идей Чернышевскаго въ той области, въ которой его дарованіе сверкало лучшими достоинствами. Онъ довелъ до конца тѣ взгляды на искусство, которые Чернышевскій разработалъ въ своей знаменитой диссертаціи, и на живомъ, можно сказать, классическомъ примѣрѣ невольно обнаружилъ ихъ теоретическую несостоятельность и практическую опасность для развитія литературнаго творчества. При выдающихся публицистическихъ способностяхъ, Писаревъ не обладалъ ни философскимъ образованіемъ, ни серьезными научными знаніями, которыя позволили-бы ему взглянуть на задачу литературы подъ болѣе широкимъ угломъ зрѣнія. Настоящій критикъ по призванію, съ непосредственной любовью къ изящному, съ острымъ и свободнымъ аналитическимъ умомъ, онъ не нашелъ, можетъ быть, не успѣлъ найти своего пути и сдѣлалъ критику орудіемъ журнальной агитаціи въ пользу идей, не имѣвшихъ прямого отношенія къ тому дѣлу, къ которому онъ былъ призванъ. Вотъ почему въ его наиболѣе извѣстныхъ критическихъ статьяхъ, страдающихъ, несмотря на блескъ краснорѣчія, нѣкоторою растянутостью и утомительнымъ многословіемъ популяризатора для учащагося юношества, мы, рядомъ съ сильными и гибкими опредѣленіями художественной манеры писателей, ихъ стремленій и симпатій, встрѣчаемся постоянно съ искусственно притянутыми и до наивности простодушными разсужденіями объ эгоизмѣ, о мыслящихъ реалистахъ, о безплодности всякихъ научныхъ абстракцій. Онъ никогда не можетъ удержаться въ предѣлахъ своего предмета и мысль его, уносимая теченіемъ времени, механически привязываетъ къ своей темѣ тѣ вопросы, которые, при иномъ отношеніи къ критической задачѣ и критическимъ методамъ, могли-бы получить внутреннее освѣщеніе и разработку по пути всесторонняго и глубокаго психологическаго анализа самого художественнаго произведенія. Оставивъ послѣ себя интереснѣйшій матеріалъ для изученія эпохи, для обрисовки боровшихся въ ней теченій и стремленій, онъ параллельно съ этимъ оставилъ въ русской литературѣ рядъ критическихъ работъ, поражающихъ своей дикой и безплодной парадоксальностью и на долгое время наложившихъ свою печать на сужденія журналистики и общества о важнѣйшихъ

проявленіяхъ русской духовной культуры. Не имѣя глубокихъ философскихъ и научно-соціальныхъ основаній, направляя интеллигенцію къ освободительной правдѣ случайными и ложными путями, его принципы легко распространялись среди мало образованныхъ, хотя и передовыхъ слоевъ русскаго общества, воспитывали поколѣніе въ узкой дисциплинѣ догматическаго и поверхностнаго реализма, а въ литературѣ призывали къ дѣятельности людей безъ оригинальнаго ума и таланта, съ тощимъ запасомъ затверженныхъ фразъ изъ ходкаго реалистическаго лексикона, людей, неспособныхъ ни на какую самостоятельную культурную работу. Идеи реалистическаго утилитаризма размѣнивались на мелкую монету, теряя всякую жизненную свѣжесть, и за поколѣніемъ фанатическихъ борцовъ, сильныхъ своею самобытностью, стали выступать мелкіе, придирчивые эпигоны.

Февраль, апрѣль, май, 1895 г.

В. Майковъ и А. Григорьевъ.

Источники.

Валеріанъ Майковъ:

Карманный словарь, С.-Петербургъ 1845.

«Финскій Вѣстникъ» 1845.

Критическіе опыты (1845—1847), изд. журнала «Пантеонъ Литературы», СПБ. 1891.

П. В. Анненковъ. Молодость И. С. Тургенева, «Вѣстникъ Европы» 1884. № 2.

В. Г. Бѣлинскій. Сочиненія, изд. 1892, т. XI. Взглядъ на русскую литературу 1846 г.

И. С. Тургеневъ. Сочиненія, изд. 1884 г., т. X.

Ѳ. М. Достоевскій. Сочиненія, изд. 1883 г., т. X.

А. Скабичевскій. Сочиненія, изд. 1890, т. I. Сорокъ лѣтъ русской критики и «Сѣверный Вѣстникъ» 1891, мартъ, библіографическая замѣтка.

К. Арсеньевъ. Критическіе этюды, т. II.

Аполлонъ Григорьевъ:

Офелія, одно изъ воспоминаній Виталина.—Два сонета.—Гамлетъ на одной провинціальной сценѣ. «Репертуаръ и Пантеонъ» 1846, № 1.—Роберъ дьяволъ (изъ записокъ диллетанта), № 2.—Видѣнія (стихотвореніе), № 3.—Начнемъ сызнова (изъ Беранже), № 4.—Одинъ изъ многихъ, разсказъ въ трехъ эпизодахъ: 1. Любовь женщины, 2. Антоша, 3. Созданье женщины, №№ 6, 7, 10.—Элегіи, № 7.—Встрѣча, разсказъ въ стихахъ, № 8.—Русская драма и русская сцена, №№ 9, 10, 11, 12.

Москва и Петербургъ (Замѣтки зѣваки, А. Трисмегистова), «Московскій Городской Листокъ», 1847 г., № 88.—Гоголь и его послѣдняя книга, №№ 56, 62, 63, 64.—По поводу перевода «Донъ-Жуана» Байрона, № 117.—Отзывъ объ Аполлонѣ Майковѣ, №№ 116, 126.—Въ той-же газетѣ того-же года рядъ переводныхъ и оригинальныхъ стихотвореній и критическихъ статей подъ общимъ названіемъ «Обозрѣніе журналовъ», за подписью А. Г.

Русская Литература въ 1851, *статья I,* «Москвитянинъ» 1852, томъ первый, Критика, стр. 1—9.—*Статья II.* Общій взглядъ на современную піящную словесность и ея исходная историческая точка. Критика стр. 13—28. *Статья III:* Современная словесность въ отношеніи къ своей исходной исторической точкѣ. Критика

53—68.—*Статья IV:* Литературныя явленія прошедшаго года. Критика 95—108.—Русская Литература въ 1852 г. «Москвитянинъ» 1853 г., томъ первый. Стр. 1—64.—О комедіяхъ Островскаго и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ. «Москвитянинъ» 1855, № 3.

О правдѣ и искренности въ искусствѣ.—Критическій взглядъ на основы, значеніе и пріемы современной критики искусства. Сочиненія Аполлона Григорьева, т. I. Спб. 1876 г. Venezia la bella. «Современникъ» 1858. № 12.

Взглядъ на исторію Россіи, соч. С. Соловьева; Великій трагикъ, разсказъ изъ книги: «Одиссея о послѣднемъ романтикѣ». «Русское Слово» 1859. Январь.—Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина, февраль и мартъ.—И. С. Тургеневъ и его дѣятельность, по поводу романа «Дворянское гнѣздо», апрѣль, май, іюнь, августъ.—Нѣсколько словъ о законахъ и терминахъ органической критики Май. Критика стр. 1—19.

Бесѣды съ Иваномъ Ивановичемъ о современной нашей словесности и о многихъ другихъ, вызывающихъ на размышленіе, предметахъ. «Сынъ Отечества» 1860, №№ 6, 7.

О русскихъ народныхъ пѣсняхъ. «Отечественныя Записки» т.т. 129, 130.

Послѣ грозы, Островскаго. «Русскій міръ» 1860, №№ 5, 6, 9, 11.

Искусство и нравственность. «Свѣточъ» 1861, книжка I.—Прометей (изъ Байрона), II.—Реализмъ и идеализмъ въ нашей литературѣ. IV.

Народность и литература. «Время» 1861, февраль.—Западничество въ русской литературѣ. Мартъ.—Оппозиція застоя. Май.—Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой, гр. Л. Толстой и его сочиненія. «Время» 1862, январь, сентябрь.—Стихотворенія Н. Некрасова. «Время» 1862, іюль.—По поводу новаго изданія старой вещи, Горе отъ ума. Августъ.—Лермонтовъ и его направленіе. Крайнія грани развитія отрицательнаго взгляда. Октябрь, ноябрь, декабрь.—Мои литературныя и нравственныя скитальчества. Ноябрь, декабрь.—Наши литературныя направленія съ 1848 г. «Время» 1863. Февраль.

Русскій театръ въ Петербургѣ. «Эпоха» 1864. Мартъ, іюнь, іюль.—Мои литературныя и нравственныя скитальчества. Мартъ, май.—Отживающія литературныя явленія. Г. Григоровичъ. Іюль.—Голосъ стараго критика. Іюль.—Парадоксы органической критики. Май, іюнь.

Аполлонъ Григорьевъ. Стихотвореніе. Спб. 1846.

А. Галаховъ. Письмо къ редактору. «Московскій Городской Листокъ» 1847. № 65.

В. Бѣлинскій. Сочиненія, т. X, изданіе пятое, стихотворенія Ап. Григорьева.

«Современникъ» 1859. Апрѣль «Свистокъ» О допотопномъ значеніи Лажечникова.

Д. Аверкіевъ. Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ. «Эпоха» 1864. Августъ.

Н. Страховъ. Воспоминанія объ А. А. Григорьевѣ, съ примѣчаніемъ *Ѳ. Достоевскаго.*—Новыя письма А. А. Григорьева, «Эпоха» 1864—сентябрь и 1865—февраль.

А. Фетъ. Ранніе годы моей жизни. XVI, XVIII, XX, XXII, XXV, XXVI.

А. Григорьевъ. Одинокій критикъ. «Книжки недѣли» 1895, августъ, сентябрь.

Валеріанъ Майковъ.

Эстетическіе и общественные вопросы передъ судомъ соціологической критики.

I.

Литературная дѣятельность Валеріана Майкова продолжалась недолго Появившись впервые въ печати въ 1845 г., онъ проработалъ около двухъ лѣтъ въ трехъ различныхъ журналахъ. 15-го іюля 1847 г. его уже не стало: онъ утонулъ, купаясь въ прудѣ недалеко отъ Петербурга, на двадцать четвертомъ году отъ рожденія. За это короткое время усиленнаго умственнаго труда молодой писатель успѣлъ привлечь къ себѣ вниманіе выдающихся дѣятелей тогдашней литературы, вызвать горячія возраженія со стороны Бѣлинскаго, который не захотѣлъ обойти молчаніемъ нѣкоторые взгляды новаго критика, а въ средѣ, близко стоявшей къ редакціи «Отечественныхъ Записокъ», возбудить глубокую симпатію шириною своего научнаго кругозора. Многимъ казалось въ то время, что Майковъ съ полнымъ достоинствомъ займетъ въ русской литературѣ мѣсто умирающаго Бѣлинскаго. Его склонность къ теоретическимъ обобщеніямъ по вопросамъ эстетики и народности, при нѣкоторой новизнѣ пріемовъ анализа, внушала надежду, что онъ окончательно приведетъ къ единству спорные вопросы, разсѣетъ сомнѣнія и противорѣчія, волновавшія современныхъ читателей статей Бѣлинскаго и твердыми научными доводами выведетъ русскую критику, а съ нею и всю русскую литературу на путь реализма. Потребность въ какихъ-нибудь опредѣленныхъ взглядахъ на искусство была такъ велика, что ограниченная по существу теорія Майкова, въ которой, однако, чувствовалось движеніе новыхъ умственныхъ настроеній, получила ходъ среди молодыхъ работниковъ либеральной журналистики. Не подлежало сомнѣнію, что міро-

воззрѣніе Майкова, несмотря на всю его незаконченность, являлось нѣкоторой поправкой къ литературной критикѣ Бѣлинскаго, пережившей три различныхъ, другъ другу противорѣчащихъ, періода развитія и ни въ одномъ изъ нихъ не давшей полной и удовлетворительной эстетической теоріи. Можно было подумать, что Майкову суждено спасти искусство отъ разрушительныхъ требованій тенденціозности, которыя стали вторгаться въ критическія сужденія по вопросамъ литературнаго творчества и развить новую теорію народности, не только не дѣлающую ни малѣйшей уступки патріотическимъ мечтаніямъ славянофильской партіи, но и превосходящую всѣ требованія умѣреннаго западничества духомъ полнаго, непримиримаго и принципіальнаго отрицанія всякой національной ограниченности. При живомъ, смѣломъ стилѣ, страдающемъ, правда, иногда растянутостью, философскія мысли Майкова производили впечатлѣніе нѣкотораго научнаго новаторства. Реалистическая эпоха, такъ-сказать, предсказанная въ послѣднихъ статьяхъ Бѣлинскаго, окончательно выступала впередъ въ разсужденіяхъ писателя, прошедшаго хорошую школу юридическаго образованія, вынесшаго изъ университета горячее убѣжденіе о необходимости особой соціальной философіи, въ качествѣ высшей самостоятельной науки. Оригинальный взглядъ на тайну художественнаго творчества, на его цѣли и средства, привлекалъ къ нему сочувствіе всѣхъ, желавшихъ вмѣстѣ съ интересами искусства спасти и утилитарные принципы всякой умственной дѣятельности...

Обратимся, однако, къ немногочисленнымъ статьямъ Майкова. Прослѣдимъ его литературную дѣятельность въ ея главныхъ чертахъ и посмотримъ, представляютъ-ли его критическіе взгляды нѣкоторый шагъ впередъ по сравненію со взглядами Бѣлинскаго. Обладалъ-ли Майковъ настоящимъ критическимъ талантомъ? Представляетъ-ли его эстетическая теорія новое, свѣтлое обобщеніе, дающее возможность глубже разбираться въ явленіяхъ художественнаго творчества? Наконецъ, какое значеніе имѣютъ его соціальныя воззрѣнія для пониманія вопросовъ искусства, для опредѣленія роли народности въ историческомъ развитіи человѣчества? На всѣ эти вопросы мы должны дать краткіе, но рѣшительные отвѣты. Оцѣнивая научное достоинство литературныхъ работъ Майкова, мы найдемъ возможность лишній разъ убѣдиться въ томъ, что законы, цѣли и формы поэтическаго творчества, красота въ литературѣ, какъ и красота въ природѣ и жизни, не поддаются никакимъ эмпирическимъ объясненіямъ. Критика художественнаго процесса, чтобы освѣтить игру идей въ живыхъ формахъ искусства, должна обратиться къ философіи, т. е. къ наукѣ объ идеальныхъ началахъ человѣческой души, принадлежащихъ не внѣшнему, а высшему, духовному міру. Никакая критическая робота не можетъ исполнить своей задачи иначе, какъ разрѣшивъ цѣлый рядъ эстетическихъ вопросовъ — не съ той или другой

временной, исторической точки зрѣнія, прибѣгая не къ анализу низшихъ, первобытныхъ силъ и влеченій человѣка, а подвергнувъ самому широкому истолкованію высшія потребности и отвлеченныя идеи красоты и совершенства, переходящія съ разными видоизмѣненіями отъ поколѣнія къ поколѣнію, изъ одной эпохи въ другую. Будучи средствомъ теоретическаго пониманія сложнаго, страстнаго движенія души къ свѣтлымъ началамъ, проникающимъ міровую жизнь, съ ея трагическими контрастами и постоянными смѣнами событій, характеровъ и умственныхъ вѣяній, художественная критика по необходимости должна войти въ глубокое изученіе не одной только психологіи, но и метафизики человѣческаго существованія. Поэтическіе образы искусства обнаруживаютъ свой настоящій смыслъ только въ яркомъ освѣщеніи идеалистической эстетики, улавливающей всѣ проявленія духовной красоты отъ низшихъ до высшихъ ступеней художественнаго процесса. Въ этой эстетикѣ мы можемъ найти не только оправданіе, но и широкое теоретическое объясненіе фантастическаго элемента въ искусствѣ, безъ котораго его созданія выступали-бы въ пространствахъ, ограниченныхъ узкимъ бытовымъ кругозоромъ, временными понятіями и задачами. Только эта эстетика, раздвигая горизонты эпохи, открываетъ въ искусствѣ его вѣчную, непреходящую основу, одинаковую для всѣхъ родовъ человѣческаго вдохновенія, сближающую между собою сферы нравственнаго, религіознаго и поэтическаго творчества.

Первые литературные труды Майкова стали появляться въ 1845 г. Онъ принялъ почти одновременно участіе въ двухъ изданіяхъ—въ «Карманномъ словарѣ иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка» и въ «Финскомъ Вѣстникѣ», выходившемъ подъ офиціальною редакціею Ф. Дершау. Въ обоихъ изданіяхъ молодой писатель сразу занялъ положеніе фактическаго руководителя, дававшаго тонъ и направленіе всему, что въ нихъ печаталось. Въ «Карманномъ словарѣ», задуманномъ штабсъ-капитаномъ Кириловымъ, Майкову принадлежатъ лучшія объясненія наиболѣе трудныхъ въ научномъ отношеніи иностранныхъ словъ и выраженій. Несмотря на миніатюрный характеръ изданія, оно преслѣдовало опредѣленныя цѣли и, проникнутое живою, интеллигентною мыслью, могло возбуждать и двигать умы въ извѣстномъ направленіи своими коротенькими, въ два-три небольшихъ столбца, опредѣленіями, всегда выдержанными въ духѣ современной науки, иногда проникнутыми тонкимъ публицистическимъ ядомъ, иногда намѣчающими кой-какія новыя политическія перспективы. Въ двухъ дошедшихъ до насъ выпускахъ этого симпатичнаго предпріятія, прекратившагося по независящимъ отъ издателя обстоятельствамъ, мы не нашли ни одной замѣтки, составленной безъ надлежащаго знанія предмета или страдающей небрежностью въ научномъ отношеніи. При твердомъ университетскомъ образованіи и

болѣе или менѣе обширномъ знакомствѣ съ политическими и юридическими теоріями европейской науки, Майковъ сумѣлъ влить живое содержаніе въ каждую отдѣльную характеристику того или другого понятія. Бодрая юношеская мысль, увлекаемая собственными успѣхами, пробивается въ его краткихъ разсужденіяхъ, не имѣющихъ значенія какихъ-либо особенно оригинальныхъ умственныхъ открытій, но дѣлающихъ популярными выводы современнаго знанія въ области политики, экономики и соціальной нравственности. Стоя по характеру своихъ индивидуальныхъ умственныхъ влеченій на реалистическомъ пути, Майковъ передаетъ свои основные научные принципы въ небольшой статейкѣ объ анализѣ и синтезѣ, составляющей боевую часть перваго выпуска Словаря. На пяти столбцахъ, въ одушевленномъ изложеніи—не безъ оттѣнка профессорскаго краснорѣчія—авторъ рисуетъ движеніе научнаго знанія съ древнихъ временъ до настоящаго историческаго момента. Съ особеннымъ сочувствіемъ указываетъ онъ на *аналитическую* работу человѣческой мысли, на ея принципіальное значеніе въ добываніи всякаго рода знаній, на ея пригодность для разрушенія унаслѣдованныхъ предразсудковъ и фантомовъ наивнаго или невѣжественнаго мышленія. «Безъ анализа,» говоритъ Майковъ, «мы вѣчно бродили-бы въ какомъ-то туманномъ представленіи всего существующаго, какъ новорожденные младенцы». При каждомъ познавательномъ актѣ мы прежде всего обращаемся къ анализу, чтобы ярко поставить передъ глазами главные признаки предмета, его составныя части, его отдѣльныя, самостоятельныя силы. Но, расчленяя то или другое явленіе, мы сейчасъ-же стремимся возстановить его въ прежнемъ видѣ, возвратить ему въ новомъ и глубокомъ освѣщеніи его первоначальную физіономію. Всякая умственная работа, начавшись анализомъ, должна завершиться научнымъ синтезомъ, безъ котораго мы не понимали-бы связи предметовъ между собою, ихъ высшаго единства, ихъ принадлежности къ болѣе сложному цѣлому. Очевидно, замѣчаетъ Майковъ, что въ наукѣ оба способа человѣческаго познанія, обѣ дѣятельности ума должны находиться «въ самой тѣсной неразрывности», хотя историческіе факты показываютъ намъ, что истина, ясная для сознанія современнаго человѣка, оказывалась недоступною людямъ прежнихъ культурныхъ эпохъ. То «коснѣя въ туманѣ синтеза», то утопая «въ бездонномъ морѣ анализа», умъ человѣческій постоянно попадалъ въ противоположныя крайности—временами сводя всѣ тайны жизни къ одному какому-нибудь началу, временами изучая только разрозненныя явленія и отбрасывая отъ себя всякую попытку постигнуть связь, существующую между частями міра. Анализъ прокладываетъ дорогу къ самымъ свѣтлымъ открытіямъ въ области природы и человѣческой жизни. Но защитники чисто-синтетическаго метода думаютъ иначе. Пренебрегая опытнымъ знакомствомъ съ явленіями

жизни, они произвольно, «наугадъ», составляютъ себѣ разныя общія понятія и вносятъ ихъ въ изученіе неизвѣстныхъ фактовъ. Всѣ унаслѣдованныя заблужденія европейской цивилизаціи суть ничто иное, какъ «синтетическія» (апріорическія) идеи, укорененныя въ нашихъ умахъ тысячелѣтіями. Уничтожить эти пагубные «апріорическіе» призраки, разсѣять эти унаслѣдованные «апріорическіе» предразсудки, провести все, что составляетъ человѣческую жизнь, «сквозь спасительное горнило основательнаго размышленія»—вотъ та задача, которую должна себѣ поставить современная научная философія. Пусть противники прогресса жалуются, что, анализируя явленія, мы лишаемъ себя возможности наслаждаться ими, разбиваемъ множество плѣнительныхъ обмановъ, подготовляемъ обильный матеріалъ для самаго глубокаго разочарованія. Но въ стремленіяхъ къ истинѣ и къ добру—съ нѣкоторой пылкостью возражаетъ Майковъ воображаемымъ противникамъ научнаго прогресса,—не должна-ли поддерживать насъ надежда на осуществленіе завѣтныхъ нашихъ мыслей? Анализъ ничего не убиваетъ—онъ только изобличаетъ ничтожество разныхъ произвольныхъ понятій и фантастическихъ построекъ. «Если смотрѣть на современную науку,—говорится въ заключеніи статейки объ анализѣ и синтезѣ, какъ на начальную дѣятельность ума, рѣшившагося безпристрастно пересмотрѣть и пересоздать все, что до сихъ поръ было имъ сдѣлано, то нельзя не согласиться, что человѣчество рѣшилось идти къ истинѣ самымъ прямымъ и естественнымъ путемъ» [1])...

Съ такими общими взглядами Майковъ и приступилъ къ своимъ первымъ научнымъ работамъ. Заявивъ себя горячимъ сторонникомъ аналитическаго метода, онъ не далъ настоящаго философскаго объясненія тѣхъ путей, какими развивается человѣческое познаніе. Самое представленіе о задачахъ науки вышло подъ его перомъ черезчуръ поверхностнымъ, не коснулось главнаго психологическаго вопроса, не показало познавательнаго процесса въ его живомъ, непосредственномъ движеніи. Майковъ какъ-бы не видитъ, что наука должна освѣтить глубокія основы нашей умственной дѣятельности, открыть тѣ идеальные принципы, которые направляютъ весь опытъ, вносятъ свѣтъ пониманія въ каждое наше прикосновеніе съ внѣшнимъ міромъ, съ людьми, съ политическими и соціальными фактами. Въ самомъ низшемъ познавательномъ актѣ, въ нашихъ простыхъ ощущеніяхъ главною творческою силою является не анализъ, а синтезъ. Синтезомъ начинается работа ума, потому что всякое обращеніе къ дѣйствительному міру требуетъ постояннаго вмѣшательства личнаго сознанія, участія извѣстныхъ идей, предшествующихъ опыту, дѣлающихъ его возможнымъ въ томъ или другомъ объемѣ. Анализъ есть

[1]) „Карманный словарь“, С.-Петербургъ MDCCCXLV, стр. 10.

дальнѣйшая ступень—отвлеченное разъединеніе на части, по опредѣленнымъ признакамъ, того, что въ живомъ психологическомъ процессѣ постоянно выступаетъ цѣльными, слитными явленіями, завершенными событіями извѣстнаго порядка. Въ каждой умственной работѣ, какъ она совершается непосредственно, синтезъ и анализъ переплетаются вмѣстѣ и даютъ въ результатѣ опредѣленный предметъ, тотъ или другой фактъ, который въ свою очередь можетъ быть подвергнутъ новому философскому обслѣдованію. Міръ, въ который мы вступаемъ съ нашими ограниченными средствами научнаго изученія, получаетъ извѣстную форму отъ нашего сознанія, одѣвается цвѣтами нашего воображенія. Прежде, чѣмъ анализировать природу, открывать въ ней строгую послѣдовательность и преемственность явленій, мы должны воспринять ее извѣстнымъ образомъ, а это воспріятіе уже заключаетъ въ себѣ самостоятельный, оригинальный, субъективный элементъ, который, соединяясь съ внѣлежащимъ матеріаломъ, и образуетъ синтетическій актъ познанія — основу всякаго опыта. Научный анализъ вскрываетъ только то, что до него уже вложено нашей умственной дѣятельностью въ міръ явленій, какъ внутреннихъ, такъ и внѣшнихъ. Повседневное и научное познаніе развиваются двумя различными путями, не противорѣчащими другъ другу, но приводящими наше пониманіе жизни къ настоящему полному совершенству. Безсознательные акты души, которыми вносится творческое начало во все, что доходитъ до нашего чувства, въ наукѣ освѣщается съ различныхъ сторонъ, осмысливается идеями, приведенными въ строгій порядокъ и систему. Анализъ, говоритъ одинъ изъ первыхъ представителей новой итальянской философіи, есть чтеніе великой книги жизни, созданной синтезомъ. Ошибка Майкова заключается въ томъ, что онъ не провелъ границы между научнымъ процессомъ изученія природы и непосредственнымъ воспріятіемъ ея явленій, въ которомъ основная роль принадлежитъ синтезу. Въ его обрисовкѣ вся задача научнаго анализа сводится къ чисто внѣшнему расчлененію предмета, къ малозначащему сопоставленію различныхъ его частей. Но собирая и разъединяя по случайнымъ признакамъ отдѣльные элементы явленій, мы не изучаемъ при этомъ ихъ сущности, ихъ скрытой природы — того внутренняго идеальнаго центра, около котораго вращается міровая жизнь. При эмпирическомъ взглядѣ на задачу науки исчезаютъ изъ кругозора тѣ основы міра, безъ которыхъ вся ея работа превращается въ сухую схоластику, въ собираніе мертвыхъ фактовъ, не говорящихъ ничего живому воображенію, не дающихъ возможности обнять человѣческій опытъ въ одной цѣльной и законченной системѣ идей и понятій. Какъ это подтверждается и отдѣльными отзывами Майкова о Кантѣ, Фихте, Шеллингѣ и Гегелѣ, онъ не стоялъ на высотѣ новѣйшей критической философіи, и потому,—несмотря на природную склонность къ теоретическимъ обобщеніямъ,—его разсужденія о

задачахъ науки, въ связи съ вопросомъ объ анализѣ и синтезѣ, носятъ поверхностный, псевдо-прогрессивный характеръ.

II.

Въ 1845 г. Майковъ, какъ мы уже говорили, принялъ близкое участіе, въ качествѣ негласнаго редактора, въ новомъ журналѣ, подъ названіемъ «Финскій Вѣстникъ». Въ программѣ этого изданія, приложенной къ первой его книгѣ и написанной Майковымъ, мы уже встрѣчаемся съ нѣкоторыми отголосками тѣхъ самыхъ научныхъ симпатій, которыя выразились въ главныхъ замѣткахъ Карманнаго Словаря Кирилова. Анализъ, говорится въ этой программѣ, развился такъ сильно во всей Европѣ, что «нравоописанія почти поглотили изящную литературу». Это новое направленіе въ искусствѣ обнаружилось и въ Россіи—не въ силу пустой моды, а вслѣдствіе серьезныхъ историческихъ причинъ. Русское общество вступило въ эпоху полнаго самосознанія. Мы дѣлаемъ первые шаги на поприщѣ истинной культуры. Россія выходитъ на арену исторіи съ новой миссіей, заключающейся не въ чемъ иномъ, какъ «въ критическомъ разборѣ всѣхъ стихій цивилизаціи, которою призваны мы пользоваться позже всѣхъ другихъ народовъ Европы». Старая европейская культура уже не можетъ вызвать никакого восторга въ ея ученикахъ, «полныхъ юности и энергіи...»

Съ такими оптимистическими мыслями, навѣянными нѣкоторыми новыми теченіями, Майковъ и приступилъ къ своей первой крупной статьѣ «Общественныя науки въ Россіи», не оконченной печатаніемъ въ «Финскомъ Вѣстникѣ», но дополненной въ отдѣльномъ изданіи его сочиненій, вышедшемъ въ 1891 г., по бумагамъ, сохранявшимся въ семейномъ архивѣ Майковыхъ. То, что въ словарѣ Кирилова не могло получить широкой разработки, вслѣдствіе его миніатюрности, что въ программѣ новаго журнала могло быть намѣчено только въ самыхъ общихъ чертахъ, здѣсь развито и закончено съ большою ясностью. Майковъ является въ этой статьѣ теоретикомъ новой соціальной науки, о которой до него и въ этомъ направленіи въ русскихъ журналахъ почти ничего не говорилось. Выступая все съ тою же научною программою, о которой мы только что говорили, онъ подробно рисуетъ хаотическое состояніе отдѣльныхъ отраслей знанія—экономическихъ, юридическихъ и нравственныхъ наукъ, указываетъ точныя границы каждой изъ этихъ областей, неизбѣжную зависимость отдѣльныхъ изслѣдованій отъ одной, высшей научной дисциплины. Старое представленіе объ анализѣ и синтезѣ подсказываетъ ему рядъ мыслей, при помощи которыхъ легко понять самую конструкцію этой новой науки, ея объемъ, ея главные методы, ея теоретическія и практическія цѣли при современномъ движеніи умовъ, взбудораженныхъ

важными вопросами антропологическаго и національнаго характера. «Безъ соціальной философіи, говоритъ Майковъ, безъ общей теоріи общественной жизни, науки гибнутъ въ анархіи, тщетно стремясь къ организаціи, которая дала бы каждой изъ нихъ новую жизнь, водворила бы между ними порядокъ и содѣлала ихъ причастными живой дѣятельности, освободивъ изъ оковъ односторонняго анализа». Существованіе отдѣльной философіи общества не уничтожаетъ существованія права, политической экономіи и педагогики, какъ обширный взглядъ на явленія міра не вытѣсняетъ отдѣльныхъ частныхъ взглядовъ, которые разрабатываются въ спеціальныхъ областяхъ. Живая идея общественныхъ наукъ, проникающая и политическую экономію, и право, и педагогику, въ соціальной философіи изучается во всей ея логической полнотѣ, независимо отъ какихъ бы то ни было ограниченій, неизбѣжныхъ во всякомъ частномъ изслѣдованіи. Общественная философія разсматриваетъ всю жизнь людей, какъ жизнь цѣльнаго органическаго тѣла, одареннаго индивидуальностью, какъ гармонію экономическихъ, нравственныхъ и политическихъ силъ, дѣйствующихъ въ каждомъ государствѣ. Въ этомъ заключается аналитическая часть ея обширной научной работы, имѣющей глубокое практическое значеніе, потому что ни одно положеніе, ни одинъ принципъ не можетъ быть внесенъ въ жизнь иначе, какъ черезъ ея посредство. Отдѣльныя истины политической экономіи, права и педагогики вступаютъ въ сферу человѣческихъ отношеній не иначе, какъ «пройдя сквозь горнило философіи общества, науки, разсматривающей ихъ въ той живой гармоніи, въ томъ взаимномъ проникновеніи, какое представляютъ дѣйствительныя явленія міра экономическаго, нравственнаго и политическаго». Слѣдовательно, только подъ вліяніемъ философіи общества частныя общественныя науки могутъ получить практическое значеніе, заключаетъ Майковъ. Таковы взаимныя отношенія различныхъ соціальныхъ наукъ, открытыя философскимъ анализомъ. Ограничивъ точными опредѣленіями три научныхъ области, Майковъ нашелъ и отдѣльный предметъ для новой науки—идею общественнаго благосостоянія, которая въ правѣ, экономикѣ и педагогикѣ разрабатывается по частямъ, иногда въ противоположныхъ направленіяхъ, и потому должна получить окончательное, полное, всеобъемлющее истолкованіе въ какой-нибудь высшей области человѣческаго знанія. Порядокъ вещей, говоритъ Майковъ, оправдываемый одною изъ общественныхъ наукъ, можетъ быть одобренъ безусловно только тогда, когда и другія науки его оправдываютъ. Исторія показываетъ, что интересы политическіе, экономическіе и нравственные такъ тѣсно связаны между собою, что успѣхъ или упадокъ одной стороны благосостоянія неминуемо влечетъ за собою рядъ параллельныхъ явленій и въ двухъ остальныхъ. Если бы различныя стороны общественнаго благосостоянія не находились между собою въ такихъ гармо-

ническихъ отношеніяхъ, соціальная сфера представляла-бы хаотическое состояніе и быстро уничтожилась-бы совершенно борьбою своихъ собственныхъ стихій. Но представивъ въ такомъ видѣ задачу соціальной философіи и теоретическіе интересы, размежеванные на отдѣльныя группы, Майковъ въ сущности придалъ узкій характеръ всему своему ученію. По его мнѣнію, въ юридическихъ наукахъ можетъ и долженъ господствовать только политическій принципъ безъ всякой примѣси какихъ-нибудь другихъ идейныхъ элементовъ, въ чистомъ выраженіи государственнаго закона, установленнаго и санкціонированнаго верховной властью. Такъ, напр., разбирая современный взглядъ на гражданское право, Майковъ становится въ рѣшительную оппозицію ко всякимъ притязаніямъ цивилистовъ давать широкія опредѣленія, съ нравственно философскимъ оттѣнкомъ, различныхъ гражданскихъ институтовъ. Современная наука гражданскаго права, говоритъ онъ, хочетъ проникнуть въ существенное содержаніе гражданскихъ законовъ. Она не ограничивается изслѣдованіемъ тѣхъ гарантій, которыя верховная власть установила въ этой области. Но для чего же, спрашиваетъ Майковъ, существуетъ нравственная философія, съ ея теоріями личности и съ идеей такъ называемаго естественнаго права? Изслѣдовать взаимныя права и обязанности членовъ общества безъ отношенія къ верховной власти—не значитъ-ли это захватывать понятія изъ чуждыхъ гражданскому праву отраслей знанія? Никакое юридическое право не должно, по твердому убѣжденію Майкова, заключать въ своихъ предѣлахъ никакихъ антропологическихъ или моральныхъ вопросовъ. *Отвлеченныя* права личности разсматриваются въ этикѣ. Какъ основы общественной нравственности, они разсматриваются въ педагогикѣ. Остается только изученіе права съ узко-государственной точки зрѣнія, и въ этомъ именно заключается функція юридической науки. По общепринятому опредѣленію гражданское право есть «изслѣдованіе правъ и обязанностей членовъ гражданскаго общества»,—по опредѣленію Майкова, изгоняющему изъ этой науки животворящій нравственный элементъ, гражданское право есть наука, изслѣдующая «мѣры верховной власти для опредѣленія и огражденія личныхъ правъ» [1]). Стоя на той же почвѣ, Майковъ пытается сузить и смыслъ уголовнаго права. Съ убѣжденіемъ открытаго защитника государственности, онъ принимаетъ сторону офиціальной репрессіи въ борьбѣ съ человѣческою преступностью. По его мнѣнію, наказаніе ведетъ къ сокращенію числа правонарушеній и потому необходимость этой мѣры будетъ неоспорима до тѣхъ поръ, пока не воцарятся на землѣ добро и разумъ, пока нравственность не пріобрѣтетъ того могущества, при которомъ требованія эгоизма примиряются съ требованіями человѣколюбія.

[1]) «Критическіе опыты», изд. 1891, стр. 574—575.

«До тѣхъ поръ внѣшняя сила останется единственнымъ средствомъ къ поддержанію законнаго порядка вещей». До тѣхъ поръ въ каждомъ государствѣ опредѣленное число судей такъ-же необходимо, какъ войско въ борьбѣ народовъ. Уголовный законъ гарантируетъ всѣ другіе законы общежитія страхомъ наказанія. Въ уголовномъ правѣ такъ-же, какъ и въ гражданскомъ, элементъ политическій играетъ первенствующую роль. Пусть утописты мечтаютъ объ уничтоженіи репрессивныхъ мѣръ. Но пока они не показали, какими средствами можно довести человѣка до идеальнаго совершенства, необходимость наказанія будетъ такъ-же очевидна, какъ необходимость внѣшней власти [1]).

Съ такими-же ограниченіями выступаютъ въ изложеніи Майкова науки экономическія и нравственныя. Онъ не допускаетъ антропологическаго начала при изученіи вопросовъ матеріальнаго благосостоянія. По привычкѣ постоянно сообразоваться въ нашихъ разсужденіяхъ съ потребностями отдѣльнаго лица, мы «персонифируемъ общество тамъ, гдѣ оно совершенно отличается отъ частнаго человѣка». Склонные дѣлать человѣка мѣриломъ въ вопросахъ нравственнаго и философскаго характера, мы забываемъ, что «въ глазахъ соціалиста [соціолога] потребности теряютъ всю свою непосредственность», что въ экономической наукѣ имѣютъ рѣшающее значеніе не сами потребности людей, а только орудія ихъ удовлетворенія. Экономистъ погруженъ въ искусственный міръ условій, въ міръ «средствъ къ достиженію цѣлей, которыхъ важность принимается за данное». Съ этой-же ограничительной тенденціей мы встрѣчаемся и въ нравственной сферѣ, замѣчаетъ Майковъ, если смотрѣть на нее съ точки зрѣнія общественнаго благосостоянія. Разсуждая о наукѣ, объ искусствѣ, о различныхъ сторонахъ высшей моральной дѣятельности, педагогика только опредѣляетъ тѣ *условія*, при которыхъ можетъ съ большей или меньшей энергіей развиваться въ обществѣ свободная работа ума, творческаго воображенія и воли.

Не подлежитъ сомнѣнію, что Майковъ воздвигаетъ соціальную философію на шаткихъ теоретическихъ соображеніяхъ. Вынимая изъ юридическихъ, экономическихъ и нравственныхъ наукъ ту идейную основу, которая сродняетъ ихъ между собою и каждую изъ нихъ ставитъ въ зависимость отъ одного общаго философскаго понятія, Майковъ долженъ былъ придти къ крайне узкому, формальному представленію о правѣ экономикѣ и педагогикѣ. Мы видѣли, до какихъ предѣловъ сдавливается въ его схоластическомъ толкованіи самая идея права, составляющая, можно сказать, душу всей юриспруденціи вообще. Права *личности*, которыя должны быть осью вращенія всѣхъ юридическихъ наукъ, въ его изображеніи получили характеръ какой-то добровольной дани со стороны

[1]) «Критическіе опыты», стр. 578—579.

высшихъ житейскихъ авторитетовъ подначальному плебсу. Уголовная наука опирается, какъ на незыблемую аксіому, на идею карающей власти, ведущей человѣчество къ юридическому благополучію путемъ безпощаднаго возмездія за всякое отступленіе отъ предписаній и запретовъ юридическихъ кодексовъ. Экономическая наука подъ этимъ условнымъ угломъ зрѣнія приняла тотъ-же узкій, непринципіальный характеръ. Педагогика превратилась въ слѣпое орудіе какой-то внѣшней дисциплины во имя нравственныхъ началъ, изслѣдуемыхъ опять-таки за ея предѣлами. Ни одна общественная наука не занимается существомъ дѣла. Каждая изъ нихъ вращается только въ сферѣ мертвыхъ схоластическихъ опредѣленій и формъ, держится на понятіяхъ, критика которыхъ не подлежитъ ея компетенціи. Стремленія этихъ наукъ проникнуться настоящимъ идейнымъ содержаніемъ Майковъ, съ горячностью молодого приверженца чисто-аналитическаго метода, провозглашаетъ незаконными, вредными для ихъ правильнаго и прямолинейнаго развитія. То, что является для нихъ живительнымъ началомъ, то, что вливаетъ въ нихъ прогрессивный элементъ, то, что можетъ соединить ихъ общимъ духомъ гуманности, изгоняется Майковымъ изъ его системы и выдѣляется почему то въ особую науку подъ очень громкимъ названіемъ.

Покончивъ съ аналитической стороной соціальной философіи, Майковъ посвящаетъ нѣсколько страницъ выясненію ея синтетической части. До сихъ поръ, говоритъ онъ, мы разсматривали общество, какъ цѣлое, состоящее изъ частей, теперь-же мы должны посмотрѣть на него, какъ на часть высшаго цѣлаго. Въ этомъ пунктѣ философія общества соприкасается съ антропологіей. Если высшая соціальная наука изслѣдуетъ внѣшнія формы человѣческой жизни, то отсюда понятно, что ея главные принципы должны подчиниться принципамъ той науки, въ которой разсматривается самая сущность предмета, самъ человѣкъ съ его типическими признаками характера и темперамента. Анализъ явленій соціальной жизни приводитъ къ болѣе обширному взгляду на всѣ общественные вопросы, къ теоріи *народности* — «не какъ эгоистическаго начала, раздѣляющаго націи, но какъ органическаго условія ихъ единства». Народность есть одно изъ проявленій человѣческой природы, которое кладетъ свою печать на всѣ общественныя науки—на политическую экономію, право и нравственность. Каждый народъ, заявляетъ Майковъ, имѣетъ свою науку, свое искусство, свою нравственность, и при разнообразіи національныхъ особенностей,—всѣ виды человѣческой дѣятельности только служатъ общечеловѣческому міровому началу. Проникаясь идеею народности, соціальная наука вступаетъ въ союзъ съ антропологіей, безъ которой ея теоретическіе и практическіе выводы не могли-бы имѣть плодотворнаго вліянія на дѣйствительную жизнь человѣческихъ обществъ. «Народность, разсматриваемая въ ея отношеніи къ интересамъ человѣчества, вотъ осно-

ваніе соціальнаго синтеза и антропологическая основа общественнаго благосостоянія». Національность въ народѣ то-же, что темпераментъ въ отдѣльномъ человѣкѣ. Ея настоящая сила—не въ формахъ быта, а въ понятіяхъ. Обставьте народъ какими угодно условіями жизни, — онъ не измѣнитъ своего характера, своей національности, потому что, говоритъ Майковъ, его типическія черты неизгладимо врѣзаны въ его натуру. Не отдѣляясь отъ цивилизаціи другихъ народовъ, каждый народъ своими личными способностями и умственными стремленіями представляетъ одно изъ условій органическаго развитія всего человѣчества. Обращаясь отъ этихъ незаконченныхъ и тусклыхъ разсужденій о синтезѣ соціальной науки къ характеристикѣ русской народности, Майковъ въ слѣдующихъ пышныхъ выраженіяхъ рисуетъ ея главныя черты и признаки. Русскій умъ, говоритъ онъ, не удовлетворяется ни чистымъ умозрѣніемъ, ни голымъ опытомъ. Одно онъ называетъ мечтою, другое—механическимъ трудомъ. При антипатіи ко всякимъ внѣшнимъ эфектамъ, искусственному блеску, оскорбляющему его степенность и строгость, русскій человѣкъ глубоко сознаетъ внутреннее равенство между анализомъ и синтезомъ и потому въ области науки можетъ оказаться однимъ изъ самыхъ прогрессивныхъ дѣятелей настоящаго времени. Къ этой характеристикѣ русскаго ума, которую самъ Майковъ готовъ назвать панегирикомъ, молодой писатель прибавляетъ еще одну блистательную черту, «на которую до сихъ поръ не обращено надлежащаго вниманія». Русскій умъ, говоритъ онъ, «отличается необыкновенною смѣлостью». То, что въ западной Европѣ развивалось медленно, путемъ самыхъ трудныхъ историческихъ превращеній, рядомъ серьезнѣйшихъ умственныхъ и соціальныхъ катастрофъ, въ Россіи съ неимовѣрною быстротою обходило всѣ слои интеллигентнаго общества. Въ незамѣтный мигъ времени, безъ волненій, «въ лонѣ мирнаго сознанія» рѣшались у насъ вопросы огромной важности. Философія энциклопедистовъ разлилась по всей Россіи, не встрѣтивъ никакой серьезной задержки. Смѣлый тонъ нашего убѣжденія, презирающаго всякія странныя понятія общественной учтивости, рѣзкіе, ни передъ чѣмъ не останавливающіеся приговоры, съ явнымъ оттѣнкомъ критической безпощадности — при такихъ качествахъ нельзя бояться подпасть подъ владычество какихъ-либо авторитетовъ. Итакъ, заключаетъ Майковъ, гармонія аналитическаго воззрѣнія съ синтетическимъ, строгая простота выраженія и энергическая смѣлость—таковы отличительныя достоинства русскаго ума [1]).

Вотъ въ самыхъ главныхъ чертахъ вся философія первой большой статьи Майкова, обратившей на себя вниманіе въ интеллигентныхъ кружкахъ того времени. Отсутствіе въ русскомъ обществѣ какихъ-нибудь

[1]) «Критическіе опыты», стр. 600.

серьезныхъ умственныхъ преданій, непривычка разсуждать на трудныя философскія темы, внѣшніе признаки прогрессивности въ самой постановкѣ новой научной задачи, нѣкоторая, хотя и очень ординарная увлекательность въ изложеніи—все это бросилось въ глаза и показалось чѣмъ-то многознаменательнымъ, имѣющимъ широкую будущность. Въ статьяхъ Бѣлинскаго философскія мысли, выраженныя съ большою страстью, производили всегда впечатлѣніе поэтическихъ изліяній. Овладѣвая чувствомъ, они оставляли часто безъ удовлетворенія живую потребность въ простой, ясной, холодной логикѣ, опирающейся на несокрушимые доводы науки. Безмятежная, слегка докторальная, хотя и многословная манера Майкова, при его постоянныхъ ссылкахъ на новѣйшія европейскія имена и выдающіяся сочиненія по разнымъ политическимъ и соціальнымъ вопросамъ, не могли не возбудить въ обществѣ и въ литературѣ нѣкоторыхъ надеждъ. Среди дѣятелей молодой журналистики не было ни одного человѣка, который былъ-бы способенъ подвергнуть строгой критикѣ его общія философскія положенія. Въ какихъ изданіяхъ сороковыхъ годовъ можно было найти серьезныя разсужденія о разныхъ научныхъ методахъ, о цѣляхъ и пріемахъ общественныхъ наукъ, разсматриваемыхъ съ точки зрѣнія одной высшей соціальной идеи? Вопросъ о національности, служившій предметомъ горячихъ препирательствъ между Бѣлинскимъ и дѣятелями «Москвитянина», никѣмъ въ то время не былъ поставленъ на почву соціологіи. Майковъ своимъ трактатомъ сразу внесъ въ журнальную литературу духъ научно-философскаго изслѣдованія, который долженъ былъ расшевелить умы въ новомъ, неожиданномъ для той эпохи направленіи. При свѣжихъ перспективахъ старые интересы, раздѣлявшіе главныхъ дѣятелей литературы на противоположные лагери, выступали, наконецъ, въ солидныхъ, импозантныхъ формахъ, допускающихъ чисто логическое обсужденіе съ разныхъ объективныхъ и доступныхъ точекъ зрѣнія. Майковъ придалъ національному вопросу, на первыхъ порахъ своей литературной дѣятельности, характеръ научной теоремы, необходимой для завершенія, для полнаго округленія соціальной философіи. Вотъ несомнѣнная заслуга этого рано умершаго писателя, не обладавшаго крупнымъ литературнымъ талантомъ, по своему сухому разсудочному темпераменту мало подходившаго для роли эстетическаго критика, но по всему своему умственному складу несомнѣнно призваннаго для университетской каѳедры. Это педантическое разграниченіе между отдѣльными науками одной и той-же категоріи, съ полнымъ изгнаніемъ изъ нихъ жгучаго, идейно-протестантскаго элемента, эти увѣренныя разсужденія о правѣ съ узко-формальной, государственной точки зрѣнія, это схоластическое пониманіе самой задачи соціологіи, представленной въ видѣ какой-то высшей контрольной палаты по вопросамъ трехъ различныхъ порядковъ—все это, вмѣстѣ взятое, даетъ характер-

ную физіономію молодого двигателя образованія въ узкой рамкѣ патріотической педагогики и казенныхъ предначертаній. При всей симпатіи къ новымъ обобщеніямъ, Майковъ не поднимался надъ уровнемъ обычной посредственной учености, которая не могла оставить глубокаго слѣда въ развитіи общества. Его идеи, изложенныя въ его первыхъ статьяхъ, возбудивъ вниманіе въ небольшомъ кругу журнальныхъ дѣятелей, очень скоро совершенно затерялись и даже, въ измѣненномъ видѣ, не пустили никакихъ корней въ публицистической и философской литературѣ Россіи. При внѣшнихъ признакахъ новаторства, въ работахъ Майкова не было большого внутренняго содержанія и той острой научной критики, которая отъ общихъ положеній быстро обращается къ частнымъ фактамъ, чтобы на нихъ, съ художественной рельефностью, освѣтить и оправдать извѣстную теорію, извѣстную систему понятій. Мысли его, при схематической стройности, не сплочены внутренней психологической силой. страстно прочувствованнымъ убѣжденіемъ, которое во всѣхъ формахъ личной и общественной жизни ищетъ отраженія неизмѣнныхъ началъ мірового процесса, тѣхъ общечеловѣческихъ теченій, которыя проходятъ черезъ душу цѣльныхъ и яркихъ людей, независимо отъ степени ихъ образованія и литературнаго таланта.

Мы уже видѣли, съ какими педантическими ограниченіями Майковъ разсмотрѣлъ и очертилъ аналитическую работу соціальной философіи. Отдѣльныя ея части оказались совершенно формальными, блѣдными науками съ случайнымъ направленіемъ понятій, опредѣляемымъ внѣшними историческими силами. Сама соціальная философія получила, въ его изложеніи, характеръ внѣшняго надзора за дѣятельностью этихъ наукъ въ узко отмежеванныхъ границахъ. Но на этомъ не остановилась ограничительная тенденція Майкова въ важной области научнаго разбора общественныхъ явленій. Въ ученіи о соціальномъ синтезѣ, искусственно сведенномъ къ идеѣ народности, вся его философія становится источникомъ мертвящихъ принциповъ, оплотомъ рутинныхъ взглядовъ и оправданіемъ грубыхъ шовинистическихъ инстинктовъ малокультурныхъ народовъ. Наука, которая, по природѣ своей, должна вырабатывать только идеи высшаго мірового порядка, суженная поверхностнымъ анализомъ въ самомъ центрѣ философскаго изслѣдованія, въ заключительныхъ соображеніяхъ сведена къ фабрикаціи какихъ-то рецептовъ мѣстнаго благоустройства, составляющаго самостоятельную часть общечеловѣческаго благоустройства. Политическая экономія должна имѣть строго-національный характеръ. Понятія о правѣ и справедливости видоизмѣняются для каждаго отдѣльнаго народа. Даже нравственные идеалы, которые, несомнѣнно, должны были-бы представлять незыблемый устой среди мѣняющихся вѣяній исторіи, подчинены національнымъ и расовымъ особенностямъ. Въ умственномъ развитіи человѣчества не оказывается ничего объединяющаго, мірового, стоящаго

выше случайныхъ народныхъ стремленій и направляющаго культуру къ вѣчнымъ идеальнымъ цѣлямъ. Приписавъ ошибочное значеніе національной идеѣ, Майковъ не разгадалъ и не открылъ ея истинной природы. Не давая матеріала для заключительныхъ обобщеній соціальной науки, которыя соединяютъ ее съ общими, основными философскими понятіями, идея народности представляетъ громадный интересъ въ другомъ, психологическомъ отношеніи. Сказавъ однажды, что народность заключается въ духѣ, а не въ формахъ быта, онъ при этомъ не далъ понять, что подъ духомъ здѣсь слѣдуетъ разумѣть исключительно народный *темпераментъ*, сферу чувствъ, оригинальныхъ настроеній, оттѣняющихъ общечеловѣческія стремленія и идеи въ извѣстной умственной и соціальной средѣ. Національность—не въ различіи понятій, не въ разнообразіи нравственныхъ и философскихъ взглядовъ, исходящихъ изъ общечеловѣческихъ духовныхъ источниковъ, а только въ характерѣ, въ темпѣ внутреннихъ волненій и ощущеній, сопровождающихъ каждое духовное воспріятіе, каждый порывъ ума къ универсальной истинѣ. При единствѣ общечеловѣческихъ идей справедливости и свободы, при коренномъ сходствѣ въ идеалахъ красоты и совершенства, разные народы постоянно вносятъ индивидуальный колоритъ въ свою историческую работу, въ произведенія своихъ лучшихъ и характернѣйшихъ художественныхъ талантовъ. Общія міровыя идеи, стѣсненныя опредѣленными бытовыми условіями, границами тѣхъ или другихъ расовыхъ и психическихъ индивидуальностей, выступаютъ, въ переработкѣ отдѣльныхъ народовъ, односторонними типическими явленіями единаго духовнаго порядка. Вотъ въ какомъ смыслѣ умѣстно говорить объ идеѣ народности: она имѣетъ значеніе для чисто психологи ческаго пониманія душевной жизни массъ, какъ идея индивидуальности, она можетъ пролить нѣкоторый свѣтъ при изученіи исторіи отдѣльныхъ обществъ, создаваемой борьбою инстинктовъ, чувствъ и страстей, она даетъ возможность проникнуть въ капризныя, подвижныя формы творчества, отвѣчающія интимнымъ особенностямъ отдѣльныхъ темпераментовъ. Давая ключъ къ объясненію того, что создается непосредственными чувствами и симпатіями, она не можетъ быть руководящимъ принципомъ при оцѣнкѣ явленій, имѣющихъ умственное, теоретическое значеніе. Только въ жизненномъ и художественномъ воплощеніи общечеловѣческихъ идей естественно проявляется индивидуальное разнообразіе, ибо каждое выраженіе безплотной по природѣ мысли неизбѣжно принимаетъ рельефность и яркость оригинальнаго колорита вмѣстѣ съ ограниченностью и условностью всякой чувственной формы. Но по скольку національная печать отмѣчаетъ *теоретическія* идеи извѣстнаго порядка, по стольку она извращаетъ значеніе этихъ идей, потому что въ области духа, въ области отвлеченной мысли не должно быть и не можетъ быть двухъ истинъ по отношенію къ одному и тому-же предмету.

Для полноты характеристики Майкова въ этомъ моментѣ его литературной дѣятельности отмѣтимъ нѣсколькими критическими замѣчаніями то, что имъ сказано о свойствахъ русскаго ума. Съ чувствомъ особаго патріотическаго удовлетворенія Майковъ, какъ мы видѣли, усматриваетъ въ русскомъ народѣ гармоническое сочетаніе аналитическихъ и синтетическихъ «воззрѣній». При ненависти къ ничтожному остроумію и блистательной фразеологіи, русскій человѣкъ счастливо соединилъ въ себѣ умѣніе разлагать каждое явленіе на части и затѣмъ вновь соединять эти части по строго-логическому, трезвому методу. Такова наивная, не глубокая, хотя пылкая характеристика, вышедшая изъ подъ пера молодого фактическаго редактора «Финскаго Вѣстника». Изгоняя изъ своихъ разсужденій строго научное представленіе о внѣ-опытныхъ, мистическихъ элементахъ духовной жизни и сведя всю дѣятельность человѣческаго ума къ какому-то внѣшнему процессу, Майковъ не могъ заглянуть въ глубь индивидуальности русскаго народа. Если принять характеристику Майкова, то пришлось-бы допустить, что въ Россіи находятся на одинаковой высотѣ и то, что производится аналитическою работою человѣка, и то, что создается его синтетическими силами. Можно подумать, что русское художественное творчество и русская культура стоятъ на одинаковомъ уровнѣ развитія. Политическая исторія русскаго общества и русская политическая наука, если вѣрить Майкову, если держаться его поверхностно-оптимистическаго взгляда, должны представлять цѣлый рядъ тріумфовъ, свидѣтельствующихъ о несокрушимомъ житейскомъ и теоретическомъ анализѣ русскаго ума. Искусство, для котораго прежде всего требуется своеобразное воспріятіе дѣйствительности въ непосредственномъ идеальномъ свѣтѣ сознанія, искусство, которое начинается синтезомъ, продолжается синтезомъ и никогда не переходитъ въ разсудочный послѣдовательный анализъ, искусство, запечатлѣнное, въ своихъ краскахъ и формахъ, оригинальностью характера и темперамента—вотъ въ чемъ обнаружилась истинная духовная сила русскаго общества. При бѣдной культурѣ, двигающейся робкими и невѣрными путями, при крайней ограниченности политической мысли, при убожествѣ и грубости публицистическихъ орудій, при общей банальности и мелкости научно-философскихъ пріемовъ и стремленій, одно только русское поэтическое творчество представляетъ законченное самобытное явленіе, имѣющее общечеловѣческое, міровое значеніе. Анализъ не показалъ себя до сихъ поръ въ Россіи сколько-нибудь замѣтной, развитой способностью. Въ области гуманитарныхъ знаній, ведущихъ общество по пути нравственнаго и умственнаго прогресса, мы не имѣемъ еще до настоящей минуты ни одного особенно крупнаго факта, который могъ-бы выдержать сравненіе съ однородными проявленіями могущественнаго анализа европейской мысли. Русская соціальная наука вла-

чится въ прахѣ, цѣпляясь за самыя поверхностныя теченія въ культурной жизни другихъ народовъ, раболѣпствуя передъ собственными ничтожными кумирами, постоянно приснащаясь къ случайнымъ публицистическимъ интересамъ. Русская философская мысль до сихъ поръ еще находится подъ запретомъ у коноводовъ журнальной печати, испуганно содрагаясь отъ крикливыхъ, нагло-невѣжественныхъ обвиненій въ склонности къ метафизическимъ бреднямъ. Гдѣ-же можно открыть, хотябы теперь, черезъ полвѣка послѣ громкаго заявленія Майкова, какіенибудь яркіе слѣды настоящаго научнаго анализа, плодотворной умственной работы, соединяющей въ себѣ обѣ стороны человѣческаго мышленія, захватывающей въ одномъ цѣльномъ построеніи результаты синтеза и анализа? Гдѣ доказательства того, что русская натура обладаетъ такими разносторонними духовными способностями, такой «энергичной смѣлостью» при органической симпатіи къ строгой правдѣ, если даже въ практической сферѣ всѣ ея прогрессивныя стремленія сводятся къ какимъто жалкимъ, быстро проходящимъ, «благимъ порывамъ»?..

Теперь мы исчерпали все, что относится къ соціальной философіи въ разсужденіяхъ Майкова. Анализъ, синтезъ, вопросъ о національности въ его теоретической постановкѣ и частный вопросъ о характерныхъ свойствахъ русской народности — эти различныя темы и составляютъ главное содержаніе обширной статьи Майкова «Общественныя науки въ Россіи». Съ этими мыслями, безъ посредствующаго эстетическаго звена, было бы невозможно прямо обратиться къ предмету настоящей литературной критики, и вотъ мы находимъ въ отрывкахъ Майкова, не напечатанныхъ въ свое время, но обнародованныхъ, какъ мы уже сказали, въ полномъ собраніи его работъ, нѣсколько мыслей, получившихъ дальнѣйшее развитіе въ его слѣдующихъ статьяхъ. Майковъ, на двухъ страницахъ, дѣлаетъ первый набросокъ своей эстетической теоріи. Онъ старается отмѣтить главный типическій признакъ искусства внѣ опредѣленій «школьной эстетики». Изящно все то, говоритъ онъ, что только производитъ *какое-нибудь* впечатлѣніе на человѣческое чувство. «Изящное произведеніе тѣмъ и отличается отъ другихъ произведеній свободной дѣятельности духа, что дѣйствуетъ на чувство, и что безъ того оно не было бы изящнымъ». Наука обращается къ уму, и никто не можетъ требовать, чтобы она управляла волею и «раздражала чувство». Истины, добытыя путемъ научнаго изслѣдованія, не дѣйствуя «на чувствительную сторону человѣческой души», не производятъ никакого вліянія и на нравственность. Аполлонъ Бельведерскій ничего собою не доказываетъ, ни къ чему не подвигаетъ, но «смотря на этотъ антикъ, вы трепещете отъ восторга, видя передъ собой осуществленіе душевной и тѣлесной красоты». Онъ до основанія поражаетъ нашу чувствительность. Въ опроверженіе этого взгляда на искусство часто приводятъ, замѣчаетъ Май-

ковъ, примѣры такихъ произведеній, которыя въ одно время удовлетворяютъ и требованіямъ ума, и требованіямъ изящнаго. Утверждаютъ, что писатель можетъ и доказывать и плѣнять художественностью формы. Но такое представленіе Майковъ считаетъ совершенно ложнымъ: «поэзія, говоритъ онъ, доказательствъ не терпитъ, ибо доказательство необходимо приводитъ къ чистой мысли, разоблаченной отъ жизненныхъ формъ»...[1]) Вотъ вкратцѣ эстетическіе взгляды, выраженные Майковымъ въ статьѣ его «Общественныя науки въ Россіи», взгляды, представляющіе, несмотря на отсутствіе пространныхъ доказательствъ, нѣкоторый литературный интересъ.

Не углубляясь пока въ критику этой эстетической теоріи, укажемъ ея главные общіе недостатки. *Во-первыхъ*, опредѣленіе изящнаго, сдѣланное Майковымъ, не заключаетъ въ себѣ типическихъ признаковъ художественнаго произведенія и въ то же время не выдѣляетъ его изъ необъятной сферы явленій, такъ или иначе дѣйствующихъ на наше чувство. Нельзя считать изящнымъ *все* то, что производитъ на насъ *какое-нибудь* впечатлѣніе. Наши впечатлѣнія разнообразны, какъ міръ. Наши чувства приходятъ въ движеніе по самымъ различнымъ мотивамъ, потому что нѣтъ такого явленія, которое, вступая въ нашу душу съ большей или меньшей силой, не вызвало бы волненія въ области нашихъ ощущеній. Волненіе эстетическое имѣетъ свою собственную окраску, тенденцію, и задача эстетики заключается именно въ томъ, чтобы точно опредѣлить его природу. Но отъ такой научной постановки вопроса Майковъ, по крайней мѣрѣ въ данномъ разсужденіи, стоялъ очень далеко. *Во-вторыхъ*, нельзя не признать крайне одностороннимъ понятіе объ изящномъ, какъ о чемъ-то радикально отличномъ отъ истиннаго. Майковъ не уразумѣлъ, что изящное есть только *правильное воплощеніе* истиннаго. Вынимая изъ художественнаго произведенія разумный элементъ, который не можетъ не дѣйствовать на сознаніе, двигать его въ ту или другую сторону, возбуждать въ немъ, вмѣстѣ съ кипѣніемъ чувствъ, діалектическую работу и борьбу различныхъ идей и понятій, Майковъ опять обнаруживаетъ непониманіе синтетическаго характера художественнаго процесса. Безсознательно развертываясь въ произведеніяхъ искусства, выступая въ полномъ сліяніи съ опредѣленною внѣшнею формою, идеи составляютъ душу всякаго художественнаго творенія и, по самой своей природѣ, могутъ быть постигнуты только сознаніемъ. Именно въ этомъ и заключается отличительный характеръ эстетическихъ чувствъ. ихъ идейнымъ происхожденіемъ и объясняется ихъ возвышенность и утонченность, находящаяся въ прямомъ отношеніи къ степени умственной и нравственной культурности человѣка. Не терпя никакихъ разсудочныхъ

[1]) «Критическіе опыты», стр. 613.

доказательствъ, искусство полно жгучей діалектики, овладѣвающей умомъ съ властною, ничѣмъ непобѣдимою силою.

Мы оставимъ безъ вниманія двѣ совершенно незначительныхъ замѣтки Майкова о кн. Одоевскомъ и Тургеневѣ въ библіографическомъ отдѣлѣ «Финскаго Вѣстника» и перейдемъ къ новому и послѣднему періоду его литературной дѣятельности—въ «Отечественныхъ Записках».

III.

За годъ до отъѣзда въ Зальцбруннъ, Бѣлинскій разорвалъ съ «Отечественными Записками» и собиралъ труды друзей своихъ для обширнаго альманаха «Левіаѳанъ». Тургеневъ, разсказываетъ Анненковъ, былъ изъ первыхъ, обѣщавшихъ Бѣлинскому свою ленту, а между тѣмъ, по лукавству, составляющему обычное явленіе въ литературныхъ кружкахъ, онъ вовсе не искалъ и не хотѣлъ конечной гибели «Отечественныхъ Записокъ» [1]). Сочувствуя, какъ начинающему писателю, В. Майкову, Тургеневъ свелъ его съ Краевскимъ, который и поручилъ ему главныя части критическаго отдѣла своего журнала. Эстетика Майкова, замѣчаетъ Анненковъ, построенная на этнографическихъ данныхъ, могла дать окраску этому либеральному изданію, и пятнадцать мѣсяцевъ усерднаго участія Майкова въ «Отечественныхъ Записках», съ апрѣля 1846 г. по іюль 1847 г., до нѣкоторой степени поддерживало ихъ старую репутацію, не смотря на переходъ Бѣлинскаго въ «Современникъ». Майковъ возбудилъ своими статьями, которыя именно теперь пріобрѣли болѣе или менѣе яркій колоритъ, довольно оживленныя пренія въ журнальныхъ кругахъ, вновь и съ особенною силою поставилъ и разрѣшилъ старый вопросъ о народности, подробно и ясно изложилъ эстетическое ученіе, отличающееся кореннымъ образомъ отъ теоретическихъ воззрѣній Бѣлинскаго въ этомъ послѣднемъ періодѣ его литературной дѣятельности. Публика, знакомая со статьею Майкова въ «Финскомъ Вѣстникѣ», знала его общія соціальныя идеи, но вовсе не могла подозрѣвать въ немъ какія-нибудь опредѣленныя критическія стремленія въ области эстетическихъ вопросовъ. За исключеніемъ двухъ-трехъ фразъ, въ которыхъ говорится, что никакая «новая мысль не можетъ быть выражена эстетически», что поэзія не терпитъ доказательствъ и что задача истиннаго художника заключается въ томъ, чтобы глубоко прочувствовать общую идею вѣка и творчески воплотить ее «въ животрепещущій образъ», за исключеніемъ этихъ и нѣкоторыхъ другихъ попутныхъ случайныхъ замѣчаній, въ первыхъ работахъ Майкова нельзя найти ничего опрѣдѣленнаго, яснаго, твердаго на тему объ искус-

[1]) *П. В. Анненковъ.* Молодость И. С. Тургенева, «Вѣстникъ Европы», 1884, № 2, стр. 466.

ствѣ. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» литературная дѣятельность Майкова, за выбытіемъ изъ состава редакціи Бѣлинскаго, должна была развернуться шире—именно въ сферѣ эстетическихъ вопросовъ. Приходилось постоянно отвлекаться отъ предметовъ юридическихъ и экономическихъ, всего болѣе отвѣчавшихъ его внутреннимъ склонностямъ, чтобы давать своевременные отчеты о явленіяхъ чисто литературныхъ, о художественныхъ произведеніяхъ, сколько нибудь выдѣляющихся по таланту и значительности идейнаго содержанія. Около такихъ произведеній и явленій яркое дарованіе Бѣлинскаго достигло вершины своего развитія, и писатель, который рѣшился занять его мѣсто на страницахъ одного изъ самыхъ видныхъ органовъ того времени, долженъ былъ явиться передъ публикой съ опредѣленными эстетическими убѣжденіями и художественными симпатіями. Надо было обнаружить извѣстную систему понятій и тонкій вкусъ, дѣйствующій не безотчетно, не по капризу авторскихъ пристрастій, а по опредѣленному критическому принципу, доступному для спора и возраженій съ какихъ нибудь другихъ точекъ зрѣнія. Майковъ, повидимому, хорошо понималъ отвѣтственность своего положенія въ качествѣ главнаго критика журнала. Съ первыхъ же шаговъ онъ старается, по разнымъ важнымъ и неважнымъ поводамъ, занять извѣстную позицію по отношенію къ задачамъ искусства, разбирая современныя произведенія художественнаго и поэтическаго творчества, давая мимолетныя характеристики выходящимъ книгамъ. Онъ пишетъ о Жадовской, высмѣиваетъ стихотворныя упражненія В. Аскоченскаго, набрасываетъ нѣсколько неувѣренную, хотя въ общемъ сочувственную рецензію на сборникъ А. Плещеева и довольно часто распространяется объ историческихъ судьбахъ русской литературы, о Пушкинѣ, Лермонтовѣ. Онъ проводитъ параллель между Гоголемъ и Достовскимъ, адресуетъ нѣсколько похвальныхъ замѣчаній Герцену, выражаетъ скорбь, съ оттѣнкомъ возмущенія и протеста, о томъ что бездарныя вирши, «порожденія самолюбивой затѣйливости», часто вытѣсняютъ такія истинно талантливыя поэтическія произведенія, какъ стихотворенія Тютчева. Рядомъ съ краткими оцѣнками отдѣльныхъ эстетическихъ явленій, мы постоянно встрѣчаемся въ статьяхъ Майкова этого періода съ пространными разсужденіями теоретическаго характера. Не умѣя сгущать выраженіе своихъ мыслей и постоянно прибѣгая къ разнымъ малозначащимъ историческимъ иллюстраціямъ, Майковъ теперь окончательно развиваетъ передъ читателемъ опредѣленное ученіе объ искусствѣ и творчествѣ, стоящее повидимому въ принципіальномъ противорѣчіи съ утилитарными взглядами Бѣлинскаго—почти наканунѣ его смерти. Онъ не только не измѣняетъ своимъ научнымъ симпатіямъ, какъ онѣ опредѣлились въ разсмотрѣнныхъ статьяхъ «Карманнаго Словаря» и «Финскаго Вѣстника», но еще съ большею увѣренностью провозглашаетъ великое значеніе аналитическаго метода, какъ онъ его понялъ.

Онъ нашелъ приложеніе своимъ понятіямъ, воспитаннымъ въ школѣ формальныхъ юридическихъ опредѣленій, и отнынѣ его журнальная дѣятельность направится къ двумъ, не совсѣмъ однороднымъ цѣлямъ. Продолжая начатыя работы, онъ завершаетъ свою эстетическую теорію и окончательно перестраиваетъ прежнюю теорію народности, подробно разобранную нами выше.

Главныя мысли Майкова объ искусствѣ собрались въ статьѣ его о Кольцовѣ. Обширная и растянутая, статья эта трактуетъ о многихъ предметахъ, но ея главное содержаніе можетъ быть разбито на двѣ части. Въ первой говорится о тайнѣ художественнаго творчества, во второй — о народности въ жизни и литературѣ. Послѣ длинныхъ разсужденій о классицизмѣ и романтизмѣ, Майковъ, установивъ свое отношеніе къ критикѣ Бѣлинскаго, которую онъ обвиняетъ въ отсутствіи опредѣленныхъ, неизмѣнныхъ научныхъ доказательствъ, въ безсознательномъ стремленіи къ диктаторству, переходитъ къ чисто теоретическимъ вопросамъ. Онъ проводитъ твердое разграниченіе между явленіями, входящими въ область искусства, и явленіями, относящимися къ научной сферѣ. Никоимъ образомъ не слѣдуетъ смѣшивать вещей занимательныхъ съ тѣмъ, что волнуетъ наше *чувство*. Все, лежащее внѣ насъ, не сродное съ нами по природѣ, все, надѣленное собственною, еще не ясною для насъ индивидуальностью—все это возбуждаетъ любознательность, мучитъ и манитъ насъ въ даль, пока таинственное не становится явнымъ, отдаленное близкимъ и понятнымъ. Въ этой области дѣйствуетъ наука, постоянно разъясняя то, что подстрекнуло любопытство, возбудило интересъ ума, въ извѣстномъ направленіи. Вотъ гдѣ не можетъ проявиться никакое поэтическое творчество, требующее иного матеріала, иныхъ силъ, иныхъ горизонтовъ. Искусство имѣетъ дѣло съ тѣмъ, что *симпатично*, сродно съ нашими человѣческими интересами, тождественно съ нами по существу. Мы умѣемъ сочувствовать только тому, въ чемъ нашли самихъ себя. Мы восторгаемся природою, потому что ощущаемъ ее внутри себя. Нѣтъ на свѣтѣ ни одного неизящнаго, неплѣнительнаго предмета, если только художникъ, изображающій его, обладаетъ достаточнымъ талантомъ, чтобы отдѣлить въ немъ «безразличное отъ симпатическаго», чтобы не смѣшать «симпатическаго съ занимательнымъ». Въ искусствѣ все дѣло не въ художественности формъ, которыя никогда не могутъ быть лучше живыхъ формъ дѣйствительности, въ какихъ она движется передъ нашими глазами, а въ поэтической мысли, радикально отличной отъ научно-дидактической мысли. Всякая художественная идея никогда не выливается въ форму сухого, разсудочнаго силлогизма, не заключаетъ въ себѣ никакого доказательства и вліяетъ на насъ своими общечеловѣческими, симпатическими свойствами. Художественная идея рождается въ формѣ живой любви или живого отвращенія отъ предмета изображенія,

У великихъ талантовъ каждая поэтическая черта одушевлена человѣческимъ чувствомъ. Истинный художникъ умѣетъ открывать присутствіе человѣческаго интереса въ томъ мірѣ явленій, которымъ занято его воображеніе. Мы не можемъ прослѣдить, какъ возникаетъ и какъ затѣмъ выражается художественная мысль въ опредѣленной формѣ, но для научной эстетики достаточно, что она въ правѣ установить слѣдующую несомнѣнную истину: «тайна творчества состоитъ въ способности вѣрно изображать дѣйствительность съ ея симпатической стороны, иными словами: художественное творчество есть пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ, въ поэзію» [1]).

Вотъ въ общихъ словахъ главныя черты новой эстетической теоріи Майкова. Искусство не имѣетъ дѣла съ тѣмъ, что занимательно, тайна его воздѣйствія на людей заключается въ томъ, что оно воспроизводитъ дѣйствительность съ ея симпатической стороны, что оно гуманизируетъ ее, переводитъ ее въ сферу человѣческихъ интересовъ. Въ искусствѣ не должно быть никакой дидактики, потому что сухое логическое разсужденіе убиваетъ всѣ виды чистой поэзіи, даже сатиру, въ которой привыкли искать назиданія и поученія. Современная эстетика разъ навсегда отказалась «отъ титла руководительницы» художественныхъ талантовъ, сфера ея вліянія ограничивается исключительно «опытнымъ изслѣдованіемъ обстоятельствъ, сопровождающихъ зачатіе, развитіе и выраженіе художественной мысли» [2]). О самой художественной идеѣ, въ отличіе ея отъ идеи научно-дидактической, Майковъ высказывается съ нѣкоторой сбивчивостью, при всей рѣшительности отдѣльныхъ фразъ. Художественная *мысль*, говоритъ Майковъ, есть ничто иное, какъ *чувство* тождества, чувство общенія какой-бы то ни было дѣйствительности съ человѣкомъ. Очевидно, Майковъ не дѣлаетъ никакого различія между поэтической идеей и поэтическимъ чувствомъ. Если прибавить къ этимъ опредѣленіямъ задачи и цѣли искусства соображенія Майкова о томъ, что художественное творчество не допускаетъ никакой копировки внѣшняго міра, мы будемъ имѣть все его эстетическое ученіе въ полномъ объемѣ его главныхъ и второстепенныхъ положеній. Борьба съ дидактикой и открытіе симпатическихъ силъ искусства — вотъ тѣ новые принципы, которыми Майковъ хотѣлъ, повидимому, оказать рѣшительное научное сопротивленіе начавшемуся въ журналистикѣ броженію утилитарныхъ понятій. Оградивъ искусство отъ чуждыхъ ему элементовъ, Майковъ въ то же время указываетъ ему высокую задачу въ области живыхъ человѣческихъ интересовъ. Однако, если внимательно присмотрѣться

[1]) «Критическіе опыты», стр. 44.

[2]) Ibidem. Нѣчто о русской литературѣ въ 1846 г., стр. 342.

къ этому ученію, легко замѣтить въ немъ недостатки философскаго характера, имѣющіе немаловажное значеніе. *Во-первыхъ*, самое дѣленіе предметовъ на занимательные и симпатическіе, играющее въ теоріи Майкова первенствующую роль, надо признать совершенно условнымъ. Какъ мы уже говорили, все, что входитъ въ сознаніе человѣка, что интересуетъ его въ томъ или другомъ отношеніи, не можетъ не произвести извѣстнаго впечатлѣнія на чувство. Въ каждомъ актѣ познанія міръ открывается намъ съ «симпатической» стороны, т. е. со стороны, задѣвающей и волнующей нашу душу. Научное изслѣдованіе извѣстныхъ явленій такъ же овладѣваетъ нашими чувствами, какъ и художественное воспроизведеніе природы, тѣхъ или другихъ событій въ жизни людей. Когда мы говоримъ о тѣлѣ, замѣчаетъ Жуковскій въ письмѣ своемъ къ Гоголю, мы можемъ опредѣленно обозначить каждую отдѣльную его часть. Но когда мы говоримъ: умъ, воля, мы разными именами обозначаемъ одно и то же—всю душу, нераздѣлимо дѣйствующую въ каждомъ частномъ случаѣ. Если-бы искусство поражало только чувство, оно не могло-бы имѣть такого широкаго культурнаго значенія, какое оно имѣетъ въ развитіи каждаго общества. *Во-вторыхъ*, характеристика творческаго процесса вышла у Майкова крайне узкою, недостаточною для борьбы съ утилитарными представленіями о задачѣ искусства. Въ этой характеристикѣ особенно ярко выступилъ его ошибочный взглядъ на самую природу художественнаго процесса, въ которомъ синтезъ является въ дѣйствительности настоящею творческою силою. Майковъ выдвигаетъ на первый планъ вопросъ о человѣческихъ интересахъ, съ которыми должно слиться всякое художественное произведеніе. Но понятіе о человѣческихъ интересахъ, не развитое философскимъ образомъ, даже не связанное въ разсужденіи Майкова съ какимъ нибудь опредѣленнымъ психологическимъ содержаніемъ, даетъ случайное мѣрило при оцѣнкѣ истинно талантливыхъ созданій искусства. Художникъ долженъ изображать, говорится въ вышеупомянутомъ письмѣ Жуковскаго, не одну собственную человѣческую идею, не одну свою душу, но широкую міровую идею, проникающую все доступное нашему созерцанію. Задумавъ бороться съ дидактикой, Майковъ не сумѣлъ, однако, возвыситься до теоріи настоящаго свободнаго искусства, которое не только не подчиняется никакимъ временнымъ человѣческимъ интересамъ, но и самые эти интересы подчиняетъ непреходящимъ объективнымъ цѣлямъ и міровымъ принципамъ красоты и правды. Мало изгонять изъ искусства холодное резонерство. Надо показать его важную философскую задачу въ цѣльной системѣ, отражающей самыя таинственныя, безкорыстныя, вдохновенныя стремленія человѣческой души. *Въ-третьихъ*, наконецъ, дѣленіе идей на художественныя и дидактическія представляется искусственнымъ, формальнымъ дѣленіемъ, лишеннымъ научнаго и эстетическаго зна-

ченія. Всѣ безъ исключенія идеи могутъ быть предметомъ искусства: онѣ становятся художественными, поэтическими, когда получаютъ гармоническое, правильное, не случайное выраженіе въ опредѣленной конкретной формѣ. Майковъ не придаетъ значенія тому, что въ искусствѣ стоитъ на первомъ планѣ, какъ его внѣшняя природа. Художественныя формы, говоритъ онъ, всегда останутся тождественными съ формами дѣйствительности. Но въ томъ-то и дѣло, что между искусствомъ и дѣйствительностью нѣтъ *такого* соотвѣтствія и каждый предметъ, перенесенный изъ внѣшняго міра на полотно, въ литературное произведеніе, высѣченный изъ мрамора, совершенно преображается въ идеальный, законченный, символическій образъ. Если въ мірѣ грубыхъ фактовъ нашего внѣшняго опыта, въ мірѣ жизненныхъ явленій мы можемъ еще не видѣть и не чувствовать за ними присутствія высшей духовной стихіи, то, обращаясь къ произведеніямъ человѣческаго творчества, мы неизбѣжно соприкасаемся и разумомъ, и чувствами съ верховными силами и законами, съ животрепещущимъ воплощеніемъ безусловной истины. Не понявъ дѣйствительныхъ свойствъ ни повседневнаго, ни научнаго синтеза, Майковъ не могъ оцѣнить и синтеза художественнаго, которымъ въ каждое произведеніе вносится цѣлое міросозерцаніе, рядъ эстетическихъ и нравственныхъ понятій, высоко поднимающихъ всѣ образы, все повѣствованіе надъ разными случайными явленіями жизни. Идеи, влагаемыя художникомъ въ его творенія, суть тѣ же самыя идеи, которыя разрабатываются въ наукѣ, приводятся въ систему въ философіи, которыя становятся дидактическими въ сухомъ логическомъ разсужденіи. Выраженныя въ поэтической формѣ, онѣ получаютъ какъ бы живое индивидуальное существованіе и говорятъ одновременно и воображенію, и чувству, и разуму.

Подходя съ своими позитивными эстетическими взглядами къ различнымъ явленіямъ русской словесности, Майковъ не далъ ни одной настоящей характеристики, которая могла-бы остаться въ литературѣ, какъ образецъ таланта и тонкаго критическаго вкуса. О Пушкинѣ онъ не сумѣлъ сказать ни одного яркаго, оригинальнаго слова, хотя вся дѣятельность Бѣлинскаго, полная противорѣчій въ этомъ вопросѣ, должна была-бы возбудить на работу его лучшія умственныя силы, если-бы онъ былъ созданъ для настоящаго литературно-критическаго дѣла. Лермонтова онъ сравниваетъ съ Байрономъ на томъ основаніи, что произведенія обоихъ «выражаютъ собою анализъ и отрицаніе людей, дошедшихъ до того и другого путемъ борьбы, страданія и скорбныхъ утратъ». Гоголемъ Майковъ занимается во многихъ замѣткахъ. Онъ считаетъ его главнымъ представителемъ новѣйшаго русскаго искусства, основателемъ натуральной школы, въ произведеніяхъ котораго «торжество русскаго анализа, анализа мощнаго, безтрепетнаго и торжественно-спокойнаго» до-

стигло своего апогея. Собраніе сочиненій Гоголя Майковъ, съ чувствомъ наивнаго удовлетворенія, называетъ «художественной статистикой Россіи». Его разсужденія о Достоевскомъ, о Герценѣ — при всемъ его глубокомъ сочувствіи къ этимъ писателямъ, не обнаруживаютъ никакой особенной проницательности. Слѣдуетъ, между прочимъ, замѣтить, что, не понявъ существеннаго тождества дидактическихъ и художественныхъ идей, отрицая въ искусствѣ чисто-идейное содержаніе и усматривая на примѣрахъ съ беллетристическими произведеніями какое то противорѣчіе съ основными своими убѣжденіями, Майковъ рѣшился создать по этому случаю *полу-дидактическую*, смѣшанную форму искусства. На этой фальшивой почвѣ не было никакой возможности глубоко постигнуть и осмыслить тотъ новый, широко развившійся впослѣдствіи родъ творчества, которому присвоено названіе романа. Наконецъ, характеристика Кольцова, несмотря на пространность, не отличается ни глубиною, ни мѣткостью. «Думы» Кольцова онъ совершенно отвергаетъ, какъ «неудачныя попытки самоучки замѣнить истину, къ которой стремился, призраками, которые для самого его имѣли силу кратковременно дѣйствующаго дурмана». Бѣлинскому Майковъ, какъ мы видѣли, дѣлаетъ упреки за стремленіе къ диктаторству и споритъ съ нимъ, между прочимъ, по случайному вопросу о терминѣ «геніальный талантъ».

Остается разсмотрѣть еще новую теорію народности, предложенную Майковымъ въ той-же статьѣ о Кольцовѣ, оттѣненную нѣкоторыми отдѣльными замѣчаніями въ другихъ его статьяхъ библіографическаго отдѣла «Отечественныхъ Записокъ». По прошествіи одного только года, взгляды Майкова измѣнились самымъ радикальнымъ образомъ. Теперь онъ иначе опредѣляетъ значеніе идеи народности въ развитіи человѣчества, передѣлываетъ всѣ прежніе выводы и является защитникомъ безусловнаго космополитизма. Не заботясь о приведеніи въ надлежащую систему своихъ воззрѣній на соціальную философію, въ связи съ новыми своими мыслями, онъ идетъ теперь совершенно другимъ путемъ, излагаетъ свои убѣжденія безъ малѣйшихъ ссылокъ на прежнія научно-философскія теоремы. Разсужденія Майкова пріурочены къ вопросу о томъ, можно-ли считать Кольцова національнымъ поэтомъ, что такое народность въ литературѣ и духъ народности въ жизни отдѣльныхъ людей. Майковъ слѣдующимъ образомъ разрѣшаетъ всѣ сомнѣнія, возникавшія и возникающія на этой почвѣ, и въ заключеніе формулируетъ новый законъ, до сихъ поръ не оцѣненный, какъ онъ говоритъ, этнографами, но вполнѣ выражающій собою «отношеніе національныхъ особенностей къ человѣчности и указывающій на путь, по которому народы стремятся къ идеалу». Вотъ его собственныя слова, напечатанныя въ «Отечественныхъ Запискахъ» особеннымъ, крупнымъ шрифтомъ. «Каждый народъ, говоритъ Майковъ, имѣетъ двѣ физіономіи. Одна изъ

нихъ діаметрально противоположна другой: одна принадлежитъ большинству, другая—меньшинству. Большинство народа всегда представляетъ собою механическую подчиненность вліянію климата, мѣстности, племени и судьбы. Меньшинство-же впадаетъ въ крайность отрицанія этихъ явленій» [1]). Объ эти крайности—типическія черты народныхъ массъ, и умственныя и нравственныя качества людей изъ интеллигентныхъ слоевъ представляютъ уклоненіе отъ нормальнаго человѣка съ его коренными, прирожденными психическими особенностями. Человѣкъ вообще, къ какому-бы племени онъ ни принадлежалъ, говоритъ Майковъ, подъ какимъ-бы градусомъ онъ ни родился, долженъ быть и честенъ, и великодушенъ, и уменъ, и смѣлъ. Общій всѣмъ людямъ идеалъ человѣка составленъ изъ *положительныхъ* свойствъ, которыя обыкновенно называются добродѣтелями. Ни одна добродѣтель не приходитъ извнѣ. Нѣтъ такой добродѣтели, зародышъ которой не таился-бы въ природѣ человѣка. Но въ противорѣчіи съ положительными силами, прирожденными человѣку, всѣ пороки суть ничто иное, какъ добрыя наклонности—«или сбитыя съ прямого пути, или вовсе не уваженныя внѣшними обстоятельствами». Въ устройствѣ стихій нашей жизненности, замѣчаетъ Майковъ, господствуетъ полная гармонія, и потому совершенно несправедливо видѣть въ самомъ человѣкѣ источникъ его несовершенствъ. Но народныя массы, живущія среди тяжелыхъ условій, обезсиливаются въ своихъ лучшихъ, человѣческихъ чертахъ и, подъ долгимъ гнетомъ историческихъ обстоятельствъ, обростаютъ какимъ-то безобразнымъ внѣшнимъ покровомъ, которому названіе общенаціональной физіономіи присвояется только по ошибкѣ. Въ народной толпѣ всегда находятся люди, которые высоко поднимаются надъ своими современниками, надъ инертными культурными слоями, надъ ихъ привычками и умственными стремленіями. Они выходятъ изъ среды своего народа, отрѣшаются отъ его типическихъ особенностей и развиваютъ въ себѣ черты прямо противоположнаго характера. Проникаясь иными идеями, побѣждая въ себѣ всякую подчиненность внѣшнимъ силамъ, угнетающимъ народную жизнь, эти люди дѣлаютъ спасительный шагъ къ богоподобію, хотя и впадаютъ при этомъ, какъ уже сказано, въ новыя крайности. Они являются защитниками настоящей цивилизаціи, въ которой не можетъ быть ничего народнаго. Подобно тому, какъ мы должны считать наиболѣе совершеннымъ того человѣка, который ближе всего подходитъ къ воображаемому, идеальному, безтемпераментному человѣку, мы должны признать наиболѣе совершенною ту цивилизацію, въ которой меньше всего какихъ-бы то ни было типическихъ особенностей. Цивилизація и народность—идеи совершенно непримиримыя, одна другую исключающія.

[1]) «Критическіе опыты», стр 69

Майковъ выясняетъ свою мысль на примѣрѣ съ поэзіей Кольцова. Вотъ истинно совершенное искусство, которое избѣгло обѣихъ указанныхъ крайностей, преодолѣвъ духъ подчиненности, разлитый въ народной толпѣ, и духъ «отчаяннаго удальства», отличающій меньшинство. Стихотворенія Кольцова, выражая «изумительную жизненность», проникнуты вмѣстѣ съ тѣмъ «какою-то необыкновенною дѣльностью и нормальностью». Въ нихъ нѣтъ никакихъ крайностей, никакихъ проявленій болѣзненной раздражительности. Читая его произведенія, вы безпрестанно видите передъ собою человѣка, «въ самой *ровной* борьбѣ съ обстоятельствами», человѣка, которому нѣтъ надобности сострадать, потому что вы увѣрены, что побѣда останется на его сторонѣ и что силы его «еще болѣе разовьются отъ страшной гимнастики». Въ нихъ вы, навѣрно, не встрѣтите никакого злостнаго увлеченія, никакой желчности, никакой односторонности, «образующейся въ людяхъ посредственной жизненности вслѣдствіе вражды съ обстоятельствами». Вся его біографія переполнена фактами, доказывающими, что въ немъ господствовала полная гармонія «между стремленіемъ къ лучшему и разумнымъ уваженіемъ дѣйствительности».

Несмотря на нѣкоторый внѣшній блескъ, это новое ученіе о народности тоже страдаетъ очень существенными недостатками, которые дѣлаютъ его особенно непригоднымъ при изученіи человѣческаго творчества въ его разнообразныхъ формахъ и проявленіяхъ. При такихъ понятіяхъ о народной индивидуальности, особенно ярко выступающей въ поэтическихъ произведеніяхъ, Майковъ долженъ былъ потерять всякій интересъ и чутье къ тому, что въ искусствѣ стоитъ на первомъ планѣ—къ совершенству оригинальнаго выраженія общечеловѣческихъ, міровыхъ идей и настроеній. Самое созданіе этой теоріи показываетъ въ Майковѣ человѣка безъ яркаго темперамента и глубокихъ художественныхъ симпатій къ разнообразнымъ формамъ красоты, къ игрѣ высшей жизни въ индивидуальныхъ воплощеніяхъ и образахъ. Признавъ, въ противоположность своимъ прежнимъ ложнымъ взглядамъ, космополитическій характеръ всякаго общаго понятія и всѣхъ отвлеченныхъ идей и сдѣлавъ въ этомъ отношеніи существенный, прогрессивный шагъ, Майковъ не разглядѣлъ, однако, въ чемъ именно заключается идея народности, понятой внѣ какихъ бы то ни было шовинистическихъ и политическихъ стремленій. *Во-первыхъ*, устанавливая «законъ двойственности народныхъ физіономій», при чемъ одна физіономія принадлежитъ народной массѣ, а другая интеллигентному меньшинству, онъ не видитъ истинныхъ отношеній глубокой оригинальной личности къ той умственной и соціальной средѣ, изъ которой она вышла. При выдающихся духовныхъ силахъ научнаго или художественнаго характера, при яркомъ умѣ и волѣ, способной бороться съ слѣпыми жизненными стихіями и предразсудками,

даровитый человѣкъ обнаруживаетъ въ наиболѣе чистомъ и законченномъ видѣ тѣ именно качества группового темперамента и характера, которыя затерты въ массѣ грубыми историческими силами. Въ истинно интеллигентной средѣ типическія народныя черты, часто скрытыя отъ глаза, искаженныя внѣшними вліяніями, выступаютъ съ большею свободою и потому съ большею красотою. О народной индивидуальности приходится судить именно по самымъ талантливымъ людямъ. Образованный человѣкъ, участвующій въ созданіи литературы и науки, или добровольно и сознательно отдающійся ихъ теченію, говоритъ Потебня, какой-бы анаѳемѣ ни придавали его изувѣры за отличіе его взглядовъ и вѣрованій отъ взглядовъ и вѣрованій простолюдина, не только не отдѣленъ отъ него какою-то пропастью, но, напротивъ того, имѣетъ право считать себя болѣе типическимъ выразителемъ своего народа, чѣмъ простолюдинъ [1]). Образованный человѣкъ устойчивѣе въ своей народности, чѣмъ человѣкъ малой и шаткой умственной культуры. Самое содержаніе его научныхъ и нравственныхъ убѣжденій и общественныхъ понятій должно остаться общечеловѣческимъ, но выраженіе ихъ въ жизни, въ литературѣ будетъ непремѣнно имѣть свою особенную форму, своеобразный стиль даннаго народа. Необходимо при этомъ отмѣтить то обстоятельство, что, понявъ ошибочно смыслъ и *психологическое* значеніе идеи народности, Майковъ не рѣшился стать на сторону того меньшинства, которое онъ самъ признаетъ выразителемъ интеллигентнаго протеста во имя человѣческаго богоподобія. Вотъ почему, желая выразить свою симпатію къ могучему, страстному, порывистому таланту Кольцова, онъ рисуетъ фигуру спокойнаго, уравновѣшеннаго, разсудительно-дѣловитаго человѣка. *Во-вторыхъ*, представленіе Майкова о прирожденности «добродѣтелей» и случайности «пороковъ» имѣетъ самый поверхностный характеръ. Его изображеніе не передаетъ той драмы, которая совершается въ человѣческой душѣ—борьбы противоположныхъ идей и понятій, идущихъ изнутри человѣка, изъ глубины его діалектическаго по природѣ духа. По представленію Майкова человѣкъ, преодолѣвшій внѣшнія жизненныя силы, выйдя изъ подъ давленія историческихъ предразсудковъ, вмѣстѣ съ этимъ окончательно сбрасываетъ съ себя свою порочную оболочку и становится олицетвореніемъ безтемпераментной добродѣтели. А между тѣмъ, истинный освободительный процессъ совершается прежде всего внутри самого человѣка, въ глубинѣ сознанія—съ его кореннымъ метафизическимъ разладомъ, который можетъ разрѣшиться только въ высшихъ идеальныхъ обобщеніяхъ. *Въ-третьихъ*, наконецъ, при правильномъ пониманіи народности, Майковъ не могъ бы говорить о радикальномъ противорѣчіи между народностью и цивилизаціей. Въ прежнихъ

[1]) «Вѣстникъ Европы», 1895, Сентябрь.

своихъ разсужденіяхъ на эту тему онъ сдѣлалъ принципіальную ошибку, давъ мѣсто идеѣ національности въ чисто научныхъ и философскихъ вопросахъ. Теперь, ошибочно усматривая въ народности то же идейное содержаніе, онъ неизбѣжно долженъ былъ признать ее разрушительнымъ началомъ по отношенію къ цивилизаціи. Онъ и теперь не видитъ, что типическія свойства народа въ его индивидуальномъ темпераментѣ, въ характерѣ его непосредственныхъ силъ, и что разнообразіе этихъ свойствъ въ человѣчествѣ, порождающее разнообразіе въ склонностяхъ и безсознательныхъ влеченіяхъ, никоимъ образомъ не можетъ находиться въ логическомъ противорѣчіи съ идеей просвѣщенія, съ идеей единой для всѣхъ людей цивилизаціи.

IV.

Бѣлинскій, встрѣтившій сочувственными словами первую большую статью Майкова, отнесся съ рѣзкимъ отрицаніемъ къ его новымъ идеямъ о народности. Въ обозрѣніи русской литературы 1846 г., онъ, не называя по имени новаго критика «Отечественныхъ Записокъ», въ довольно рѣшительныхъ выраженіяхъ оспариваетъ его ученіе о народности, изложенное въ статьѣ о Кольцовѣ. Разсужденія Бѣлинскаго отличаются обычною страстностью и, несмотря на многія преувеличенія и сочувственныя фразы по адресу славянофильской партіи, производятъ яркое, сильное впечатлѣніе. Статья написана съ лихорадочнымъ жаромъ. Столкновеніе съ новой либеральной силой, выступавшей съ научными и соціальными теоріями и отвергавшей индивидуальность въ формахъ поэтическаго творчества, разбудило въ Бѣлинскомъ его прежнія, когда-то глубоко пережитыя, эстетическія симпатіи. Онъ накидывается на молодого писателя, разбрасываетъ по всѣмъ направленіямъ фразы, полныя огня и вдохновенія, съ особенной силой противопоставляетъ взглядамъ Майкова свои собственныя, смѣлыя, на этотъ разъ оттѣненныя нѣкоторымъ преувеличеннымъ патріотствомъ, націоналистическія убѣжденія [1]). Какъ извѣстно, статья эта вызвала смущеніе въ литературныхъ кругахъ, близко стоявшихъ къ «Современнику». Самъ Майковъ, повидимому, не склонился на сторону своего достойнаго оппонента, хотя и нашелъ нужнымъ объясниться передъ Тургеневымъ относительно своихъ критическихъ замѣчаній о Бѣлинскомъ. Возникшая полемика, въ виду нѣкоторыхъ неловкихъ фразъ Бѣлинскаго, быть можетъ, даже подняла Майкова въ глазахъ людей, слѣдившихъ за развитіемъ молодыхъ талантовъ, и уже въ первые мѣсяцы 1847 г. критикъ «Отечественныхъ Записокъ» получилъ пригла-

[1]) Сочиненія Бѣлинскаго, т. XI, изданіе 1892 г., „Взглядъ на русскую литературу 1846 г.“, стр. 41—42, 44—45.

шеніе участвовать въ «Современникѣ», приглашеніе столь настоятельное что у него мелькнула даже мысль, разсказываетъ Порѣцкій, прервать обязательныя отношенія съ Краевскимъ. Дѣло, однако, обошлось такъ, что Майковъ сталъ писать въ обоихъ журналахъ: въ іюньской книгѣ «Современника» уже были помѣщены двѣ написанныя имъ рецензіи [1]).

Когда Майковъ умеръ, въ журналахъ появился цѣлый рядъ некрологовъ и замѣтокъ, въ которыхъ его кратковременная дѣятельность была представлена въ самомъ сочувственномъ свѣтѣ. Около семейства Майковыхъ уже тогда группировались лучшіе дѣятели печати, люди ума и таланта, для которыхъ Аполлонъ Майковъ долженъ былъ являться притягательною поэтическою силою. Въ этомъ обществѣ, гдѣ преобладающую роль играли писатели съ художественнымъ направленіемъ мысли, съ широкими эстетическими интересами, Валеріанъ Майковъ и получилъ свои первыя умственныя впечатлѣнія. Можно допустить, что молодой критикъ именно здѣсь услышалъ и воспринялъ нѣкоторые изъ литературныхъ отзывовъ, которые потомъ и перешли въ его статьи безъ надлежащей и самостоятельной аргументаціи. Такъ, напримѣръ, въ печати много разъ указывалось, какъ на доказательство тонкаго эстетическаго чутья Майкова, на его отзывъ о стихахъ Тютчева. А между тѣмъ, немногочисленныя фразы, брошенныя Майковымъ объ этомъ превосходномъ талантѣ, вовсе не свидѣтельствуютъ о критическомъ пониманіи Тютчева. Въ нихъ нѣтъ никакого самостоятельнаго колорита — образъ Тютчева не намѣченъ ни единымъ штрихомъ, его поэтическія настроенія, полныя глубокаго философскаго смысла, не обрисованы ни единымъ словомъ. Явившись случайнымъ заключеніемъ въ рецензіи о стихахъ Плещеева, нѣсколько фразъ о Тютчевѣ могли быть простымъ отголоскомъ какихъ-нибудь болѣе или менѣе типическихъ, мѣткихъ разсужденій, напр., Тургенева, который, какъ извѣстно, очень высоко цѣнилъ это оригинальное и глубокое дарованіе. Вращаясь въ обществѣ людей съ самымъ изысканнымъ вкусомъ. Майковъ постоянно натыкался на чисто литературные вопросы, при разрѣшеніи которыхъ онъ пускалъ въ ходъ свои теоретическія способности, свою начитанность въ ученыхъ книгахъ новѣйшаго характера. При отзывчивости на различные интересы и нѣкоторой легкости въ воспріятіи самыхъ трудныхъ истинъ науки, Майковъ долженъ былъ производить выгодное впечатлѣніе многообѣщающаго и талантливаго юноши. Онъ быстро двигался въ своемъ умственномъ развитіи, и когда въ печати появились его первыя статьи, не чуждыя реформаторскихъ притязаній, снисходительный судъ такихъ крупныхъ художниковъ, какъ Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ, долженъ былъ отнестись къ нимъ съ крайней благосклонностью. Тургеневъ, какъ мы уже разсказывали, свелъ Валеріана

[1]) «Критическіе опыты», ст. XLV.

Майкова съ Краевскимъ, выслушивалъ его объясненія и оправданія по поводу его полемической характеристики Бѣлинскаго. Онъ же, черезъ много лѣтъ, вспоминалъ о Майковѣ въ словахъ, заключающихъ въ себѣ, кромѣ покровительственнаго одобренія, нѣкоторую двусмысленную критику и Бѣлинскаго, и Майкова: «Незадолго до смерти, пишетъ онъ, Бѣлинскій начиналъ чувствовать, что наступило время сдѣлать новый шагъ, выйти изъ тѣснаго круга. *Политико-экономическіе* вопросы *должны были* смѣнить вопросы эстетическіе, литературные. Но самъ онъ себя уже устранялъ и указывалъ на другое лицо, въ которомъ видѣлъ своего преемника—В. Н. Майкова, брата поэта» [1]). Съ полнымъ сочувствіемъ, безъ всякихъ ограниченій, съ добродушіемъ человѣка, готоваго хвалить всякій честный порывъ, какъ нѣкоторую положительную заслугу, выставляетъ умственныя и нравственныя качества Майкова Гончаровъ, въ некрологѣ, напечатанномъ въ «Современникѣ». Отличительныя достоинства статей Майкова, пишетъ онъ—«строгая послѣдовательность въ развитіи идей, логичность и доказательность положеній и выводовъ, потомъ глубина и вѣрность взгляда, остроуміе и начитанность». Обозначивъ въ такихъ полновѣсныхъ, можно сказать, великодушныхъ выраженіяхъ положительныя стороны его таланта, Гончаровъ кратко и какъ-бы неохотно отмѣчаетъ его главные недостатки: излишнюю плодовитость, непривычку распоряжаться богатствомъ своихъ силъ, раздробленность и мѣстами «слишкомъ тонкую и отвлеченную изысканность анализа» [2]). Раздробленный анализъ при строгой послѣдовательности идей и доказательности общихъ положеній — едва-ли въ этомъ сочетаніи логически противорѣчивыхъ признаковъ можно найти твердую опору для упроченія литературной репутаціи Майкова. Достоевскій въ статьѣ о Добролюбовѣ, напечатанной въ 1861 г., тоже посвятилъ нѣсколько сочувственныхъ фразъ памяти рано умершаго критика, хотя въ словахъ его звучитъ горячая похвала скорѣе человѣческой личности Майкова, чѣмъ его литературному таланту. Послѣ Бѣлинскаго, пишетъ онъ, занялся отдѣломъ критики въ «Отечественныхъ Запискахъ» Валеріанъ Майковъ, братъ всѣмъ извѣстнаго и всѣми любимаго поэта. «Онъ принялся за дѣло *горячо*, блистательно, съ *свѣтлымъ убѣжденіемъ*, съ первымъ *жаромъ юности*. Но онъ не успѣлъ высказаться» [3]).

Эти извѣстные въ литературѣ отзывы о талантѣ Майкова не остались безъ вліянія на критиковъ ближайшей къ намъ эпохи. Нѣкоторыя черты его теоретическихъ воззрѣній дѣлали его прямымъ предшественникомъ Чернышевскаго и Добролюбова, хотя, какъ мы видѣли, онъ и старался

---

[1]) Полное собраніе сочиненій Тургенева, изд. 1884 г., т. X, стр. 32—33.

[2]) «Критическіе опыты», стр. VI.

[3]) Полное собраніе сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго, изд. 1883 г., т. X, стр. 38.

оградить искусство отъ вторженія какой-бы то ни было дидактики. Политико-экономическія тенденціи, безъ которыхъ не обходилась ни одна его крупная статья, сближаютъ его съ дѣятелями журналистики 50-хъ и 60-хъ годовъ. Новая теорія народности, выраженная съ нѣкоторымъ либеральнымъ задоромъ, показалась наиболѣе виднымъ дѣятелямъ «Современника» цѣлымъ политическимъ откровеніемъ, дающимъ рѣшительное орудіе въ борьбѣ съ славянофильской партіей. Однимъ словомъ, въ статьяхъ Майкова, не отличавшихся ни яркостью, ни глубиною мысли, но имѣющихъ несомнѣнную научную закваску, историки литературы усмотрѣли важные признаки литературно-критическаго прогресса по сравненію даже съ произведеніями такого могучаго, призваннаго, живого таланта, какимъ былъ Бѣлинскій. Мало-по-малу сложилась даже какая-то легенда, господствующая до сихъ поръ въ журнальныхъ кругахъ, привыкшихъ съ довѣріемъ повторять чужіе авторитетные отзывы и приговоры. Былъ молодой критикъ Валеріанъ Майковъ, братъ извѣстнаго, замѣчательнаго поэта Аполлона Майкова. Онъ писалъ недолго, но за самое короткое время своей журнальной дѣятельности онъ разработалъ собственную эстетическую теорію на строго-научныхъ основаніяхъ и широкое космополитическое ученіе о народности. Если-бы не ранняя, случайная смерть, онъ замѣнилъ-бы въ литературѣ самого Бѣлинскаго...

Въ такомъ именно направленіи оцѣнили Майкова два новѣйшихъ критика. Скабичевскій называетъ его эстетическое ученіе «первой положительной эстетической теоріей, съ которой выступила молодая мысль, освободившаяся отъ метафизическихъ принциповъ». Нѣкоторые промахи не мѣшаютъ ей, полагаетъ этотъ критикъ, оставаться истинною въ такой степени, что «всѣ позднѣйшія открытія не только не опровергаютъ, а только больше подтверждаютъ и уясняютъ ее» [1]). Отзывъ этотъ Скабичевскій поддерживаетъ до настоящаго времени. Онъ все еще считаетъ критическія разсужденія Майкова «весьма блистательной попыткой пересадить эстетическія понятія на вполнѣ реальную почву того положительнаго мышленія», однимъ изъ первыхъ приверженцевъ котораго онъ былъ[2]). Скабичевскій горячо отстаиваетъ и его идею народности противъ критики Бѣлинскаго, въ которой онъ по этому поводу усматриваетъ даже зародышъ «тѣхъ реакціонныхъ пріемовъ», съ какими выступили впослѣдствіи сверстники Бѣлинскаго противъ движенія 60-хъ годовъ [3]).

Другой критикъ, К. Арсеньевъ, ставитъ Майкова рядомъ съ Бѣлинскимъ, въ качествѣ его продолжателя. Если Майковъ могъ раздвинуть

[1]) Сочиненія *А. Скабичевскаго*. «Сорокъ лѣтъ русской критики», стр. 465.

[2]) «Сѣверный Вѣстникъ», 1891 г., мартъ (въ отдѣлѣ библіографической критики), по поводу изданія «Критическихъ опытовъ».

[3]) Сочиненія, стр. 478, 479.

задачи критики, говоритъ Арсеньевъ почти словами Тургенева, то онъ былъ обязанъ этимъ Бѣлинскому. Основныя понятія въ огромномъ большинствѣ случаевъ были установлены Бѣлинскимъ, и новая критика, въ лицѣ Майкова, могла бодро пойти впередъ, не останавливаясь «передъ предразсудками и невѣжествомъ читателей». Изученіе критическихъ статей Майкова Арсеньевъ считаетъ особенно важнымъ именно въ настоящее время, какъ по тому, что онъ одинъ изъ первыхъ приблизился къ «современному взгляду на искусство», такъ и потому, что онъ не отдался «всецѣло служенію одной крайней идеѣ» [1]). Вся обширная статья Арсеньева, проникнутая благожелательностью умѣреннаго и корректнаго либерализма, переполнена такого рода размышленіями, не обличающими въ почтенномъ публицистѣ ни критической глубины, ни даже достаточнаго знакомства съ литературной дѣятельностью Бѣлинскаго. Майковъ никогда не могъ быть ни продолжателемъ, ни ученикомъ Бѣлинскаго. По темпераменту, по направленію мыслей, по кореннымъ свойствамъ литературнаго таланта, онъ ни въ чемъ почти не сходился съ Бѣлинскимъ—ни въ одномъ изъ трехъ періодовъ дѣятельности послѣдняго. Бѣлинскій, какъ писательскій талантъ, какъ характеръ, какъ яркая, умственная величина, стоялъ безконечно выше этого начинающаго критика безъ какихъ-либо рѣзкихъ проявленій страстной психической жизни. Даже въ ошибкахъ Бѣлинскаго больше жизни, чѣмъ въ сбивчивыхъ, растянутыхъ и тусклыхъ разсужденіяхъ Майкова, несмотря на всю его научную передовитость и либеральныя политическія и соціологическія стремленія. Это—со стороны литературной. Но Майкова никоимъ образомъ нельзя считать преемникомъ Бѣлинскаго и по существу его общихъ философскихъ воззрѣній. Они разошлись радикальнымъ образомъ по вопросу о народности. Они не могли быть солидарны и по вопросу о природѣ искусства. Майковъ защищалъ на позитивныхъ основаніяхъ свободу творчества. Бѣлинскій, въ періодѣ своихъ утилитарныхъ увлеченій, требовалъ отъ искусства гражданственной дидактики,—въ предыдущіе-же періоды своей дѣятельности, защищая свободу искусства, онъ, при всей шаткости своихъ общефилософскихъ понятій, не сходилъ съ метафизической почвы. Можно вообще сказать, что основная ошибка въ сужденіяхъ о Майковѣ, общая всѣмъ его литературнымъ цѣнителямъ, состоитъ въ признаніи за нимъ прирожденнаго чисто критическаго дарованія. Рисуя его кратковременную дѣятельность, въ которой не было ни одного яркаго проявленія тонкаго художественнаго вкуса и способности къ острому эстетическому анализу, историки русской литературы не видятъ при этомъ его настоящей умственной физіономіи. Майковъ не былъ настоящимъ литературнымъ критикомъ. Въ роли кри-

[1]) *К. Арсеньевъ.* «Критическіе этюды», т. II, стр. 255, 293.

тика онъ выступилъ только случайно, не по призванію, и тѣмъ, кто усомнился-бы въ этомъ, можно напомнить его собственныя слова о себѣ въ письмѣ къ Тургеневу: «Я никогда не думалъ быть критикомъ въ смыслѣ оцѣнщика литературныхъ произведеній, говоритъ онъ. Я чувствовалъ всегда непреодолимое отвращеніе къ сочиненію отрывочныхъ статей. Я всегда мечталъ о карьерѣ ученаго и до сихъ поръ ни мало не отказался отъ этой мечты. Но какъ добиться того, чтобы публика читала ученыя сочиненія? Я видѣлъ и вижу въ критикѣ единственное *средство* заманить ее въ сѣти интереса науки» [1]).

[1]) «Критическіе опыты», стр. XL.

Аполлонъ Григорьевъ.

Теорія и законы органической критики.

I.

Между литературными дѣятелями пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ Аполлонъ Григорьевъ выдается своимъ особеннымъ критическимъ талантомъ, всею своею умственной и нравственной физіономіей. Онъ былъ современникомъ Добролюбова и Чернышевскаго, видѣлъ первый шумный успѣхъ Писарева на критическомъ поприщѣ, а въ молодые годы, вмѣстѣ со всѣми отзывчивыми людьми идеалистической эпохи, страстно перечувствовалъ все то, что волновало, увлекало и поднимало Бѣлинскаго въ глазахъ его многочисленныхъ фанатическихъ читателей. Очутившись въ самомъ центрѣ столичной журналистики, Аполлонъ Григорьевъ до конца дней своей бурной жизни не переставалъ выступать передъ публикой въ качествѣ литературнаго критика, статьями котораго поддерживалось извѣстное направленіе, противоположное и даже принципіально враждебное эстетическимъ и философскимъ стремленіямъ прогрессивной русской партіи того времени. Артистъ и художникъ по натурѣ, онъ не жилъ ничѣмъ инымъ, кромѣ искусства. Критика была для него естественной потребностью и прямымъ назначеніемъ жизни, — писалъ сейчасъ послѣ смерти Аполлона Григорьева его вѣрный другъ, ученикъ и талантливый продолжатель, Н. Н. Страховъ. Художественныя произведенія были живыми и всесильными образцами, по которымъ складывались его собственные взгляды. Полный идей, всегда возбужденный выше обычнаго средняго уровня, способный къ блестящей импровизаціи, онъ выражалъ свои убѣжденія, по самымъ различнымъ литературнымъ вопросамъ, съ огромнымъ вдохновеніемъ, смѣло, ярко, не подчиняясь никакому шаблону, всецѣло отдаваясь страстно бушевавшей въ немъ эстетической стихіи. Въ сущности, его нельзя было

назвать человѣкомъ той или другой партіи, какъ несправедливо было-бы отнести къ какому-нибудь опредѣленному узкому направленію, въ пошломъ смыслѣ педантическаго журнальнаго устава, Ѳедора Достоевскаго, съ которымъ онъ раздѣлялъ фанатическую любовь къ Пушкинской поэзіи, къ народной почвѣ, вмѣстѣ съ которымъ онъ готовъ былъ бороться противъ разныхъ современныхъ «теоретиковъ»,—на страницахъ «Времени» и «Эпохи». Онъ не признавалъ себя ни славянофиломъ, ни западникомъ. «Прежде всего я—критикъ, писалъ онъ Страхову въ 1861 году, за симъ—человѣкъ, вѣрующій только въ жизнь». Нѣкоторая своеобразная тяжесть въ изложеніи, которая постоянно соотвѣтствовала, по вѣрному замѣчанію его коментатора, извѣстному направленію мысли, не отнимая у статей Аполлона Григорьева ихъ безспорнаго литературнаго значенія, мѣшала имъ, однако, производить сильное агитаціонное дѣйствіе на общество, не давала имъ широкаго хода въ интеллигентныхъ массахъ, уже избалованныхъ задорнымъ, смѣлымъ и легкимъ стилемъ прогрессивной публицистики «Современника» и «Русскаго Слова». Романтикъ до мозга костей, Григорьевъ чувствовалъ себя безполезнымъ человѣкомъ среди прославленныхъ дѣятелей современной печати. Съ горечью писателя, не умѣющаго ладить со вкусами толпы, онъ сознавалъ, что минута принадлежитъ не ему, а Писареву и Чернышевскому. Поэзія уходитъ изъ міра, говорилъ онъ своимъ друзьямъ. Въ окружающемъ обществѣ нѣтъ людей, способныхъ всею душою отдаться живой силѣ искусства. Никому непонятна та лихорадочная тревога эстетическихъ идей и стремленій, которую переживали прошедшія поколѣнія. Общество требуетъ обличительныхъ стиховъ Минаева, статей Добролюбова, откровенной до цинизма болтовни разныхъ шутовскихъ изданій, вливающихъ въ читающую публику мутную, скверную, растлѣвающую струю безпринципнаго отрицанія ради чисто внѣшнихъ скандаловъ.

— Помилуйте, говорилъ ему однажды Страховъ,—какой же вы ненужный человѣкъ, когда вы составляете единственную нашу надежду, когда отъ васъ только и можно ждать настоящаго критическаго суда литературныхъ явленій. Между вами и вашими соперниками и порицателями лежитъ неизмѣримое разстояніе.

Но не утѣшаясь пылкими рѣчами своихъ друзей, Григорьевъ съ какимъ-то сладострастнымъ неистовствомъ разжигалъ въ себѣ ощущеніе всеобщей вражды, доводилъ до экстаза разъ овладѣвшее имъ болѣзненно-дразнящее чувство полнаго, идейнаго и литературнаго, одиночества. Даже явное расположеніе Достоевскаго не успокаиваетъ его. На всѣ увѣренія Страхова, что его критическая дѣятельность имѣетъ самое высокое значеніе, онъ отвѣчаетъ съ меланхолической улыбкой, совершенно убѣжденный въ томъ, что «струя его вѣянія» отошла безвозвратно, что проклятіе полной ненужности лежитъ на всѣхъ его теперешнихъ,

даже самыхъ горячихъ, пылкихъ и выстраданныхъ литературныхъ работахъ. Каждое невинное замѣчаніе, при его болѣзненной, напряженной мнительности, пугаетъ и раздражаетъ его, какъ замаскированный призывъ къ измѣнѣ любимымъ убѣжденіямъ. Ненавидя какіе-бы то ни было компромиссы, онъ чувствуетъ себя внутренно оскорбленнымъ нерѣшительною, какъ ему представлялось, тактикою «Времени» по отношенію къ Добролюбову и Чернышевскому. Самая невинная похвальная фраза по адресу этихъ людей кажется ему оскорбленіемъ святыни искусства, позорнымъ малодушіемъ, отъ котораго онъ готовъ бѣжать въ глухую, тихую провинцію, въ жалкую обстановку провинціальнаго просвѣтителя и педагога. «Я не дѣятель, Ѳедоръ Михайловичъ, пишетъ онъ, обращаясь черезъ Страхова къ Достоевскому. И признаюсь вамъ, я горжусь тѣмъ, что я не дѣятель въ этой лужѣ, что я не могу купаться въ ней кушно съ Курочкинымъ. Я горжусь тѣмъ, что во времена хандры и омерзѣнія къ россійской словесности я способенъ пить мертвую, нищаться, но не написать въ жизнь свою ни одной строки, въ которую-бы я не вѣрилъ отъ искренняго сердца». Искатель абсолютнаго, онъ такъ-же мало понималъ рабство передъ толпою, демагогическое рабство, какъ и рабство передъ внѣшними силами и властями. Онъ скорѣе согласится обучать киргизовъ русской грамотѣ, чѣмъ обязательно участвовать въ той литературѣ, «въ которой нельзя подать смѣло руку хоть-бы даже Аскоченскому въ томъ, въ чемъ онъ правъ, и смѣло же спорить—хоть даже съ Герценомъ». Вникая въ самыя завѣтныя свои убѣжденія, онъ не находитъ въ нихъ ничего, ни единой черты, которая соединяла-бы его съ какимъ нибудь опредѣленнымъ дѣйствующимъ кружкомъ современной ему литературы. Съ либералами онъ не сойдется потому, что онъ артистъ по натурѣ. Съ артистами, которые живутъ исключительно своими интересами, онъ не можетъ сойтись потому, что каждая жила бьется въ немъ за свободу, потому, что онъ не выноситъ тупого, спокойнаго индиферентизма, политическаго и религіознаго. «Тяжело стоять почти что одному, писалъ онъ въ началѣ 1859 года, тяжело вѣрить глубоко въ правду своей мысли и знать вмѣстѣ съ тѣмъ, что въ ходу, на очереди стоитъ не эта, а другая мысль, которой сочувствуешь только на половину. Хорошо было Бѣлинскому»....

Мы не имѣемъ еще полной біографіи Аполлона Григорьева, хотя жизнь его прошла среди людей, изъ которыхъ многіе до сихъ поръ сохранили свѣжую память объ его самобытной личности, рѣзко выступавшей на фонѣ бурныхъ, но чуждыхъ его натурѣ броженій либеральной эпохи пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ. Отрывочныя воспоминанія Страхова, при всей своей несомнѣнной важности, воспроизводятъ передъ нами только нѣкоторыя, отдѣльныя полосы въ жизни и дѣятельности Аполлона Григорьева. Этотъ оригинальный человѣкъ не рисуется въ нихъ съ пол-

ною ясностью, многія стороны его характера не раскрыты съ необходимой откровенностью, то, что сокрушило его могучія отъ природы духовныя силы, представлено въ туманныхъ полунамекахъ, съ какою-то ненужною, въ данномъ случаѣ, щепетильностью, мѣшающею сложиться цѣльному и законченному образу. Трудно увидѣть всего Аполлона Григорьева и въ обширныхъ запискахъ Фета, обнародованныхъ подъ названіемъ «Ранніе годы моей жизни». Въ этой интересной книгѣ передъ нами выступаютъ нѣкоторыя разрозненныя черты его натуры, но Аполлонъ Григорьевъ, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, съ его свѣтлымъ міромъ идей, которыя вспыхивали въ немъ посреди самаго безпутнаго и пьянаго разгула или между двумя приливами какого-то непобѣдимаго наслѣдственнаго бѣсованія грубыхъ, чувственныхъ инстинктовъ, Аполлонъ Григорьевъ, съ его убѣжденно и горячо обороняемымъ культомъ жизни, при полномъ неумѣніи сдерживать въ себѣ разрушительныя стремленія къ разврату и запою—этотъ Аполлонъ Григорьевъ не обрисовался и подъ острымъ перомъ талантливаго поэта. Мы находимъ въ книгѣ Фета прекрасную, самолюбиво написанную картину его собственной жизни, его постепеннаго развитія, нѣсколько типовъ и образовъ, выхваченныхъ изъ живой дѣйствительности вмѣстѣ съ воздухомъ замѣчательной исторической эпохи, но Аполлона Григорьева мы все-таки въ ней не находимъ. Несмотря на всю свою близость къ нему, Фетъ не сумѣлъ, а, можетъ быть, и не захотѣлъ представить намъ полной характеристики его душевной жизни въ молодые годы, когда въ Аполлонѣ Григорьевѣ еще только просыпались его умственныя и нравственныя силы. Нельзя признать сколько-нибудь значительнымъ вкладомъ въ литературу и недавно появившуюся статью подъ названіемъ «Одинокій критикъ», написанную сыномъ Аполлона Григорьева. Составленная преимущественно изъ длинныхъ перепечатокъ раньше обнародованныхъ біографическихъ документовъ, съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ совершенно ничтожныхъ, безцвѣтныхъ замѣчаній, статья эта, вопреки естественнымъ ожиданіямъ, не проливаетъ ни единаго луча на частную, семейную жизнь Аполлона Григорьева. Нѣсколько страницъ воспоминаній Аверкіева, набросанныхъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ его смерти, горячая замѣтка Достоевскаго объ отношеніяхъ между нимъ и Аполлономъ Григорьевымъ за послѣдніе годы его сотрудничества въ «Эпохѣ» и «Времени», вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими газетными и журнальными статейками, появившимися въ печати шестидесятыхъ годовъ—не восполняютъ того, что не было договорено въ отрывочныхъ разсказахъ Страхова. Чтобы ближе подойти къ этой богато одаренной личности, надо обратиться къ собственнымъ признаніямъ Аполлона Григорьева, къ его многочисленнымъ письмамъ, напечатаннымъ въ «Эпохѣ», въ которыхъ, при всей безпорядочности лирическихъ изліяній, среди хаотическихъ

отступленій, постоянно рисуются передъ глазами основныя черты его характера, его темпераментъ, тотъ недугъ, который мутилъ въ немъ душу и разгорѣлся истребительнымъ пожаромъ за нѣсколько дней до его смерти. Еще болѣе подробный разсказъ о самомъ себѣ мы находимъ въ нѣсколькихъ статьяхъ Аполлона Григорьева, носящихъ названіе «Мои литературныя и нравственныя скитальчества» и въ большой стихотворной поэмѣ, напечатанной въ декабрьской книгѣ «Современника» 1858 г. подъ названіемъ «Venezia la bella». Здѣсь проносится передъ нами все его дѣтство, его молодые юношескіе годы—въ рядѣ картинъ, написанныхъ горячо и смѣло, съ оттѣнкомъ непримиримаго протеста противъ господствующихъ вѣяній утилитарности и либеральной государственности. Какъ истинный поэтъ, онъ хотѣлъ-бы дать почувствовать своимъ читателямъ запахъ и цвѣтъ тѣхъ различныхъ эпохъ, черезъ которыя прошла его мысль. Не заботясь о фактическихъ подробностяхъ, онъ особенно внимательно слѣдитъ за развитіемъ своихъ душевныхъ настроеній, за полетомъ своихъ чувствъ отъ самыхъ раннихъ вспышекъ наивной дѣтской мечтательности до высшихъ идейныхъ восторговъ съ обновленною вѣрою «въ грунтъ, почву, народъ», до всепоглощающаго, пьянаго, но честнаго упоенія собственными буйно-пророческими рѣчами въ редакціонномъ кабинетѣ «Москвитянина», среди такихъ свѣтилъ ума и таланта, какъ Погодинъ, Островскій, Писемскій. Столько литературныхъ эпохъ пронеслось и надо мною, и передо мною, пишетъ онъ на вступительныхъ страницахъ къ своимъ «Скитальчествамъ», пронеслось даже во мнѣ самомъ, оставивъ въ душѣ огромные пласты живыхъ впечатлѣній и воспоминаній, что каждая изъ нихъ «глядитъ на меня изъ-за дали прошедшаго отдѣльнымъ органическимъ цѣлымъ, имѣетъ для меня свой особенный цвѣтъ и свой особенный запахъ». Съ необычайною ясностью воспроизводитъ онъ увлекательную картину тридцатыхъ годовъ, когда сѣренькія, тоненькія книжки «Телеграфа» и «Телескопа» прочитывались молодежью съ жадностью, до тла, когда журчали еще, носясь въ воздухѣ, стихи Пушкина—эпоха безсознательныхъ и безразличныхъ восторговъ, захватившихъ все, что было свѣжаго въ русскомъ обществѣ, эпоха, надъ которою тяжелою тучею нависли тревожныя, мрачныя, зловѣщія воспоминанія о трагической участи Полежаева и нѣкоторыхъ другихъ загадочно погубившихъ свою жизнь литературныхъ талантовъ. «Отрочества у меня не было,—говоритъ Аполлонъ Григорьевъ, да не было собственно и юности». Кипучія страсти, которыя стали просыпаться въ немъ на университетской скамьѣ, широко и властно развернулись только впослѣдствіи, на первыхъ ступеняхъ его литературной карьеры. Духъ народности, которымъ окружено было его воспитаніе, всѣ его дѣтскія, нѣкогда неосмысленныя симпатіи, которыя онъ заглушалъ въ себѣ, отдаваясь стремленіямъ современной науки, все это сразу поднялось въ душѣ его

съ рѣшительною силою въ болѣе зрѣлые годы и съ тѣхъ поръ уже не могло сломиться ни передъ чѣмъ, даже передъ чудесами западно-европейской культуры, въ опасномъ столкновеніи національныхъ идей съ могучими умственными вліяніями болѣе полныхъ цивилизацій. Съ дѣтства жизнь его постоянно проходила среди романтиковъ всѣхъ сортовъ и подраздѣленій—отъ романтиковъ бурныхъ, прожигавшихъ свои силы съ безшабашностью русскаго человѣка, до романтиковъ мечтательныхъ и смирныхъ. При нѣкоторомъ разнообразіи характеровъ, эти люди всѣ до единаго были горячими поклонниками искусства и въ жизни не преслѣдовали никакихъ своекорыстныхъ цѣлей. Наивно, искренно и беззавѣтно предавались они своимъ страстямъ и порокамъ до безобразія, до полнаго азарта и цинизма. Все, что вѣяло соблазномъ, рвалось въ нхъ душу, уносило ихъ, поднимало высоко въ минуты сердечныхъ и нравственныхъ восторговъ и бросало ниже самой невѣжественной толпы, когда проходило увлеченіе, и нервы, встревоженные кипѣніемъ умственныхъ интересовъ, требовали быстраго удовлетворенія грубымъ физическимъ способомъ. Среди такихъ людей выросталъ Аполлонъ Григорьевъ. Надышавшись отравленнымъ воздухомъ, онъ жадно искалъ увлеченій, борьбы и страданій. Болѣзненно впечатлительный, не склонный ни къ какому резонерству, онъ съ пыломъ всасывалъ въ себя все, что такъ или иначе горячило его кровь, возбуждало фантазію, шевелило и толкало куда-то впередъ. Книги, люди, разныя случайныя встрѣчи—все овладѣвало его душою до конца, безъ остатка, раздувало неясную мечту о какихъ-то особенныхъ удовольствіяхъ и наслажденіяхъ. Рано онъ присмотрѣлся къ безобразной, распущенной жизни крѣпостной дворни, и уже семи-восьми лѣтъ онъ чувствуетъ что-то странное подлѣ женщинъ, что-то колючее и сладкое пробѣгаетъ по его тѣлу, когда ему случится провести время въ женскомъ обществѣ. Все въ немъ возбуждаетъ глухую тревогу и смуту чувствъ. По осеннимъ и зимнимъ долгимъ вечерамъ имъ овладѣваетъ неестественная тоска, съ которою не въ силахъ справиться его молодая душа, легко открывавшаяся передъ всѣмъ таинственнымъ, страннымъ и загадочнымъ. Среди игръ съ дѣтьми его возраста какое-то болѣзненное ощущеніе вдругъ заставляло его бѣжать отъ шума и смѣха невинной забавы. Но вмѣстѣ съ этимъ постояннымъ возбужденіемъ грубыхъ, низменныхъ желаній, въ немъ, по контрасту, какими-то неудержимыми порывами развивались высшія духовныя влеченія, мистическій экстазъ передъ всѣмъ невѣдомымъ, неожиданнымъ, свѣтлая струя религіознаго одушевленія, которая на всю жизнь придала его натурѣ оттѣнокъ апостольской страсти. «Всякое впечатлѣніе,—писалъ онъ однажды изъ Италіи,—обращается у меня въ думу, всякая дума переходитъ въ сомнѣніе, и всякое сомнѣніе обращается въ тоску». Въ этой фразѣ каждое слово имѣетъ опредѣленный психологическій смыслъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ началась работа его души, отъ первыхъ проявленій сознательности до послѣднихъ и лучшихъ его работъ на поприщѣ литературы, каждый жизненный фактъ, каждое событіе, въ той или другой степени потрясающее его нервы, возбуждаетъ въ немъ не опредѣленный логическій процессъ разсужденій, а болѣе широкое, но безформенное умственное настроеніе. Каждое впечатлѣніе превращается у него не въ мысль, а въ *думу*—въ глухое броженіе неясныхъ, но возвышенныхъ идей и стремленій, которыя, именно благодаря своей неопредѣленности, быстро переходятъ въ сомнѣніе, нерѣшительное колебаніе чувства, въ нѣкоторой душевный разладъ, въ тоску по цѣльномъ идеалѣ. Привыкнувъ съ дѣтства не анализировать себя по строгимъ правиламъ ограниченной разсудочности, Аполлонъ Григорьевъ въ зрѣлые годы находитъ даже оправданіе своему характеру, своей внутренней жизни въ опредѣленной, однажды выраженной имъ теоріи. «Наши мысли вообще (если онѣ точно мысли, а не баловство одно), писалъ онъ въ 1858 г., суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившіяся до формулъ и опредѣленій». Никакая идея не заносится въ его душу извнѣ. Раньше, чѣмъ постигнуть какое-нибудь явленіе посредствомъ извѣстныхъ понятій, онъ овладѣваетъ его сущностью безсознательнымъ движеніемъ чувства навстрѣчу всякой жизненной и нравственной правдѣ. До боли, до страданія онъ весь проникается интересами даннаго, захватившаго его момента,—безъ малѣйшей критики, съ готовностью даже задушить въ себѣ всякій протестъ, идущій отъ сознанія. Разумъ не даетъ ему того энтузіазма, безъ котораго слабѣютъ его нервы. Подобно Бѣлинскому, онъ не призванъ побѣждать логическими доводами. Тонкимъ діалектическимъ даромъ онъ не владѣетъ и потому онъ можетъ давать толчки къ развитію, но не укрѣплять въ обществѣ извѣстныя убѣжденія. Сжигая его самого, его чувства только грѣютъ тѣхъ, кому они чужды по природѣ. Артистъ до глубины души, онъ самъ не видитъ въ себѣ тѣхъ творческихъ силъ, которыя дѣлаютъ изъ писателя мощнаго двигателя жизни среди самыхъ запутанныхъ историческихъ обстоятельствъ, даютъ ему несокрушимыя орудія протеста противъ извѣстныхъ умственныхъ и соціальныхъ теченій. Весь психическій складъ Аполлона Григорьева не позволялъ ему занять истинно вліятельное положеніе среди литературныхъ борцовъ эпохи. При нѣкоторой безхарактерности, отличавшей всѣ его высокіе и честные порывы, онъ могъ и долженъ былъ казаться своимъ противникамъ мало-опаснымъ соперникомъ, талантливымъ неудачникомъ, котораго легко поднять на смѣхъ, окарикатуривъ въ глазахъ толпы даже самыя лучшія стороны его литературнаго дарованія, самыя нѣжныя черты его безпокойной, страстной, буйной, но въ сущности безсильной натуры. И, дѣйствительно, враждебные журналы не церемонились съ нимъ. «Искра» трепала на всѣ лады его имя, а въ «Современникѣ», однажды назвавшемъ его «проница-

тельнѣйшимъ изъ нашихъ критиковъ», впослѣдствіи, въ періодъ полнаго расцвѣта Добролюбовской сатиры, объ Аполлонѣ Григорьевѣ говорилось уже не иначе, какъ съ явнымъ издѣвательствомъ. Мысли его, на которыхъ, въ самомъ дѣлѣ, лежала печать мучительной психологической работы, не могли глубоко проникнуть въ сознаніе общества—смутить, взволновать и направить общественное мнѣніе въ опредѣленную сторону. Параллельно съ либеральными опредѣленіями и формулами прогресса, свободными отъ всякаго напряженія, эти мысли представлялись какимъ-то безплоднымъ, тяжкимъ умственнымъ трудомъ, который никогда не двинетъ никого съ мѣста на нелегкомъ и безъ того пути россійскаго просвѣщенія. А тутъ еще выступила наслѣдственная привычка къ широкому кутежу и пьянству, неудержимое стремленіе къ безмѣрнымъ наслажденіямъ съ цыганскими пѣснями подъ собственный аккомпаниментъ гитары, съ театральными маскарадами и апостольскими рѣчами о великихъ задачахъ русской народности среди одурѣвшей отъ вина и цинизма распутной компаніи, — весь этотъ шумъ и чадъ, который пронизывалъ его насквозь и придавалъ всей его литературной дѣятельности судорожно напряженный, болѣзненный характеръ. Жизнь Аполлона Григорьева не выходила за магическую черту личныхъ чувствъ и настроеній. Соціальныя движенія не овладѣвали его душою, не возбуждали въ немъ никакихъ объективныхъ интересовъ, никакихъ практическихъ стремленій. Несмотря на художественный темпераментъ, онъ никогда не умѣлъ проникнуться сочувствіемъ къ тому, что лежало внѣ его личности, за горизонтомъ его собственныхъ волненій и терзаній. Даже въ области искусства онъ съ особенною силою понимаетъ только то, что возбуждаетъ въ немъ лирическій восторгъ и трепетъ. Какъ въ лихорадкѣ слушаетъ онъ каждую новую оперу, отдаваясь «таинственной и неопредѣленной безъязычности» разжигаемыхъ ею ощущеній съ слѣпою ревностью настоящаго фанатика музыкальныхъ наслажденій. Поэзія властвуетъ надъ нимъ съ ничѣмъ непобѣдимою силою, потому что она легко вступаетъ въ его душу и безпрепятственно смѣшивается съ его субъективными настроеніями и чувствами. Но только въ самые послѣдніе годы, во время путешествія по Италіи, онъ вдругъ начинаетъ восторгаться произведеніями живописи, для которыхъ у него до сихъ поръ не было никакого органа пониманія. Несклонный къ созерцанію, вѣчно обуреваемый страстями, которыя пожирали въ немъ всякое стремленіе къ какимъ-бы то ни было внѣшнимъ задачамъ и цѣлямъ, Аполлонъ Григорьевъ равнодушно проходилъ мимо всего, что не производило въ немъ лирическаго броженія. Красоты природы, какъ онъ самъ сознавался Страхову, не будили въ немъ никакихъ поэтическихъ впечатлѣній. Онъ не замѣчалъ ихъ, не сживался съ ними, не проникался ихъ таинственнымъ смысломъ. Ходячій вулканъ, по собственному опредѣленію, онъ не

слышалъ ничего, кромѣ вѣчнаго кипѣнія силъ внутри себя. Въ охмѣлѣніи ядовитой страстью, онъ никогда не могъ удержаться около одного неизмѣннаго дѣла и, мечась въ разныя стороны съ неуклюжестью расходившагося медвѣдя, онъ то надолго скрывался въ темныхъ петербургскихъ трущобахъ, то совершенно бросалъ столицу для безцвѣтной, равнодушной дѣятельности среди темныхъ, невѣжественныхъ «киргизовъ». Но проходило нѣкоторое время — и Григорьевъ опять появлялся въ тѣсномъ кругу своихъ журнальныхъ товарищей, въ изодранномъ платьѣ, грязный, растрепанный, съ одутловатымъ лицомъ и лихорадочнымъ блескомъ въ сѣрыхъ, далеко разставленныхъ одинъ отъ другого глазахъ. Опять онъ садится за работу, устроившись въ маленькомъ номерѣ какого нибудь второстепеннаго, мелкаго трактира, пишетъ цѣлыми днями, лишь для отдыха принимаясь иногда за гитару. Страсти притихли, въ душѣ его, только что пережившей катастрофу, созрѣли новыя чувства, требующія немедленнаго выраженія. Въ напряженномъ литературномъ трудѣ, захватившемъ всѣ его нервы, огонь и пылъ его вѣчно взбудораженной натуры, пронесется, какъ одно мгновеніе, цѣлая недѣля и затѣмъ—опять шумные кабаки, съ полнымъ забвеніемъ собственнаго человѣческаго образа, при неистово бушующемъ звѣрѣ грубой, разнузданной чувственности. Опять неудержимый, бѣшеный кутежъ на послѣдніе гроши, отъ котораго Григорьеву часто приходилось просыпаться въ одиночной камерѣ долгового отдѣленія. Не забыть мнѣ моего послѣдняго свиданія съ нимъ, дней за десять до его смерти, разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Страховъ. Онъ пріѣхалъ къ нему въ тюрьму, даже не имѣя надежды на болѣе или менѣе интересную бесѣду. Но вотъ онъ увидѣлъ Григорьева, который сразу поразилъ его. Его блѣдная орлиная фигура сіяла вдохновеніемъ. Онъ началъ горячо разсуждать о необходимости затѣять рѣшительную, смѣлую борьбу «съ извѣстными сторонами славянофильства». Больной, одѣтый въ жалкіе обноски, онъ развивалъ свою мысль съ увлеченіемъ, съ энтузіазмомъ.

— И вотъ, говорилъ онъ, шатаюсь я тутъ по коридору, пью чай и всю ночь я какъ будто разговариваю съ тобою, съ Бѣляевымъ, съ Аксаковымъ... Спорю, опровергаю, самъ дѣлаю себѣ возраженія, и все это съ такою ясностью, съ такою силою, что если-бы записать все, что я передумалъ, то вышла-бы превосходная статья, какую я только способенъ написать.

Въ этой-же мрачной обстановкѣ, совершенно не сознавая своего безпомощнаго положенія, онъ предается любовной тоскѣ по женщинѣ, которую онъ никогда не переставалъ мысленно лелѣять и ласкать самыми нѣжными, сладострастно восторженными словами, съ упоеніемъ романтика, безсильнаго устоять передъ очарованіемъ женской красоты, хотя, судя по отдѣльнымъ намекамъ и фразамъ его переписки, ему не удалось и

на этомъ пути добиться полнаго удовлетворенія. Но какія-бы «подлости» онъ ни позволялъ себѣ по отношенію къ женщинамъ, вымещая на нихъ «проклятую пуританскую или кальвинистскую чистоту» одной изъ нихъ, онъ никогда не измѣнитъ своему настоящему чувству къ ней. Всѣ неистовыя посланія тѣхъ многочисленныхъ женщинъ, съ которыми онъ дѣлилъ минутныя вспышки страсти, онъ отдалъ-бы за легкую тѣнь грусти на ея лицѣ. Отъ нея онъ взялъ-бы даже сожалѣніе, ее онъ любитъ до беззавѣтной преданности, до самоуниженія, —«хоть она-же была единственное, что могло меня поднимать», сознается онъ въ письмѣ къ одному изъ своихъ друзей. Вообще онъ не могъ жить безъ какой нибудь привязанности къ женщинѣ и временами, въ мучительно безсонныя ночи, съ хмѣльнымъ угаромъ въ головѣ, онъ съ какою-то безнадежностью простиралъ свои руки къ нѣжнымъ женскимъ образамъ, которые, какъ живыя галлюцинаціи, вставали передъ его глазами. Съ обычной грубой силою распущенныхъ признаній онъ говоритъ, что хотѣлъ-бы истребить въ себѣ эту неукротимую «тоску пса по женщинѣ», съ дѣтства терзавшую и глодавшую его душу. Иногда онъ откровенно приставалъ къ друзьямъ съ просьбою помочь ему, облегчить его положеніе какимъ-нибудь совѣтомъ, когда, запутавшись въ житейскихъ обстоятельствахъ, онъ безпомощно искалъ для себя выхода. Дойдя до послѣдней границы чувственнаго изступленія, переходящаго въ какой-то мистическій экстазъ, задыхаясь отъ истерическихъ рыданій, онъ готовъ былъ на колѣняхъ молиться о ниспосланіи ему какихъ нибудь указаній свыше. Однажды, въ пароксизмѣ отчаянія, смѣшаннаго съ полу-вдохновеннымъ, полу-театральнымъ юморомъ, онъ сталъ требовать отъ Страхова, чтобы тотъ воззвалъ къ Богу и испросилъ для него утѣшенія. «Geh' und bete! Geh' und bete!»—кричалъ онъ ему, мелодраматически указывая на стѣну. Со свойственною ему деликатною осторожностью, Страховъ всячески пытался успокоить, урезонить своего друга, но Григорьевъ не поддавался никакимъ увѣщаніямъ. Спустя довольно долгое время, онъ вспоминалъ объ этомъ эпизодѣ въ письмѣ изъ Оренбурга, укоряя при этомъ своего пріятеля за недостатокъ дѣятельнаго, живого, непосредственнаго участія къ его судьбѣ. «Напрасно не послушалъ ты меня тогда, когда я говорилъ тебѣ: Geh' und bete! Можетъ быть, стѣна-бы и разверзлась», пишетъ онъ... Попавъ случайно за-границу, онъ быстро сближается съ кружкомъ русскихъ людей, которые заслушиваются его необузданныхъ рѣчей, дѣлятъ съ нимъ изступленныя, дикія наслажденія. Здѣсь-же, несмотря на свою внутреннюю вѣрность той единственной женщинѣ, къ которой онъ всю жизнь питалъ беззавѣтную нѣжную любовь, онъ сходится съ другою женщиною и на время весь отдается новой пожирающей страсти. Онъ очаровывается ея кошачьими замашками, упивается звуками ея слабаго голоса, подстерегаетъ каждое ея движеніе, болѣетъ ея чахоточнымъ каш-

лемъ. Онъ любитъ, какъ свою пѣвучую гитару, эту больную, почти умирающую женщину, отзывавшуюся и на его хандру, и на его лихорадку.

Но ничто никогда не могло вырвать изъ души его воспоминанія о той, которая осталась для него недоступною и наложила на всю его жизнь романтическую печать безнадежнаго любовнаго терзанія. Онъ не переставалъ возвращаться къ ней въ мечтахъ, въ письмахъ къ друзьямъ, въ поэтическомъ творчествѣ. Въ минуту вдохновенія онъ сочиняетъ длинную поэму—«Отрывокъ изъ книги: Одиссея о послѣднемъ романтикѣ», представляющую стихотворное изліяніе того чувства, котораго онъ не могъ, не рѣшался выражать въ непосредственномъ обращеніи. Онъ не забылъ ни одной встрѣчи, ни одного разговора, ни одного эпизода изъ исторіи своихъ страданій и униженій. Однажды, въ ея отсутствіе, онъ вошелъ въ ея комнату и нашелъ на диванѣ ея платье...

...Съ замираньемъ
Сердечнымъ, съ грустью, съ тайнымъ содраганьемъ
Я прижималъ его къ моимъ устамъ.
И ночь потомъ, сколь это ни обидно—
Я самъ, какъ песъ, вылъ глупо и безстыдно.

Онъ не упрекаетъ никого ни въ чемъ и, несмотря на неудачу, несмотря на то, что вся жизнь его разбита рукою этой чистой женщины «съ душой изъ крѣпкой стали», онъ почти до послѣдней минуты не перестаетъ думать о ней, молиться на нее, запечатлѣвать ея именемъ свои любимыя литературныя работы. За нѣсколько дней до смерти, сидя въ долговомъ отдѣленіи, онъ закончилъ переводъ «Ромео и Юліи»—въ видѣ post scriptum отъ лица переводчика—слѣдующимъ сонетомъ, въ которомъ искреннее поэтическое чувство облечено, подобно всѣмъ другимъ его стихамъ, въ прозаическую тусклую, нѣсколько напыщенную форму:

И все-же ты, далекій призракъ мой,
Въ твоей бывалой дѣвственной святынѣ,
Передъ очами духа всталъ нѣмой,
Карающій и гнѣвно-скорбный нынѣ,
Когда я трудъ завѣтный кончилъ свой.
Ты молніей сверкнулъ въ глухой пустынѣ
Больной души... Ты чистою струей
Протекъ внезапно по сердечной тинѣ,
Гармоніей святою вторгся въ слухъ,
Потрясъ въ душѣ сѣдалище Ваала—
И все, на что насильно былъ я глухъ,
По ржавымъ струнамъ сердца пробѣжало,
И унеслось—«куда мой падшій духъ
Не досягнетъ»—въ обитель идеала...

Въ этомъ грубомъ, буйномъ, грязномъ человѣкѣ постоянно звучала мягкая поэтическая нота. Подъ копотью вульгарныхъ страстей, подъ рыхлымъ слоемъ безпорядочной чувственности не переставали пробиваться живыя, свѣтлыя настроенія, дѣлавшія его симпатичнымъ, почти обаятельнымъ для близко знавшихъ его людей. Во всемъ его существѣ, забрызганномъ житейскою грязью, въ самой его фигурѣ, обезображенной неряшливыми привычками, проглядывала какая-то самобытная, природная красота—сочетаніе силы и сердечности. Описывая его наружный видъ. Страховъ заканчиваетъ свои краткія, отрывочныя воспоминанія одною очень характерною подробностью: руки его, съ которыми онъ обращался крайне небрежно, замѣчаетъ Страховъ, были малы, нѣжны и красивы, какъ у женщины.

II.

По смерти Аполлона Григорьева, Страховъ нашелъ въ его портфелѣ листъ бумаги, кругомъ исписанный его рукою и представлявшій «Краткій послужной списокъ на память старымъ и новымъ друзьямъ». Аполлонъ Григорьевъ въ отрывистыхъ фразахъ указываетъ здѣсь на главные моменты своей литературной дѣятельности и перечисляетъ всѣ изданія, въ которыхъ онъ участвовалъ тѣми или другими статьями. Этого «послужного списка» мы намѣрены держаться при обзорѣ важнѣйшихъ его литературныхъ работъ, ничего не пропуская, слѣдя за развитіемъ его мысли по всѣмъ его произведеніямъ, начиная самыми ранними и кончая его критическими работами на страницахъ «Времени», «Свѣточа» и «Эпохи».

Настоящимъ литературнымъ дѣятелемъ Аполлонъ Григорьевъ выступаетъ въ 1846 г. Онъ становится фактическимъ редакторомъ издаваемаго въ Петербургѣ журнала «Репертуаръ и Пантеонъ», въ которомъ онъ уже и раньше помѣщалъ различныя свои произведенія. Работая съ удивительною быстротою, онъ пишетъ ежемѣсячно во всѣхъ доступныхъ ему формахъ и въ теченіе одного года печатаетъ рядъ повѣстей, въ стихахъ и прозѣ, и множество отдѣльныхъ, яркихъ по тому времени, критическихъ замѣтокъ—то подъ собственною фамиліею, то подъ псевдонимомъ *А. Трисмегистовъ*. Вспоминая объ этихъ литературныхъ дебютахъ въ своемъ «Краткомъ послужномъ спискѣ», Аполлонъ Григорьевъ называетъ все написанное имъ въ 1846 г. «непроходимою ерундищею». Но съ этимъ строгимъ отзывомъ Аполлона Григорьева о собственныхъ раннихъ трудахъ невозможно вполнѣ согласиться. При всей неопредѣленности нѣкоторыхъ его сужденій, нельзя не видѣть, по крайней мѣрѣ—въ его первыхъ критическихъ статьяхъ, даже на страницахъ «Репертуара и Пантеона», проблесковъ оригинальной и бойкой талантливости, подкупающей искренности молодого, полнаго силъ и надеждъ писателя. Онъ сочиняетъ

лирическія стихотворенія, воспѣваетъ «русскую хандру», «родную нашу лѣнь», размашисто-живые порывы московскаго человѣка. Въ другихъ стихотвореніяхъ онъ прославляетъ презрѣніе къ житейскимъ условностямъ, терпимость и даже преклоненіе передъ капризною игрой страстей и чувствъ. «Свободнымъ нѣтъ цѣпей», восклицаетъ онъ въ длинной поэмѣ, подъ названіемъ «Видѣнія». Въ лирическомъ стихотвореніи, напечатанномъ въ десятой книгѣ «Пантеона», есть строфа, звучащая настоящимъ вольнолюбіемъ. Обращаясь къ юному существу, поэтъ говоритъ:

Дитя мое, волна—любовь,
Волна съ волной сойдется-ль вновь—
То знаетъ только Богъ.

За оригинальными лирическими стихотвореніями слѣдуютъ переводы изъ Беранже и беллетристическіе очерки, иногда въ юмористическомъ стилѣ, но чаще всего—проникнутые лихорадочною, растрепанною чувствительностью московскаго романтизма сороковыхъ годовъ,—каковы, напр., «Офелія», разсказъ «Безъ начала, безъ конца и въ особенности безъ морали», обширная повѣсть «Одинъ изъ многихъ» въ трехъ эпизодахъ: Любовь женщины, Антоша, Созданіе женщины и др. Кромѣ того, онъ пишетъ постоянныя рецензіи въ ежемѣсячномъ отдѣлѣ «Театральная лѣтопись» о представленіяхъ на сценахъ Александринскаго и Большого театровъ и рядъ небольшихъ статеекъ о русской драмѣ, съ первымъ открытымъ выраженіемъ нѣкоторыхъ своихъ принципіальныхъ убѣжденій, получившихъ болѣе полное развитіе, однако, только въ позднѣйшихъ его работахъ. На этихъ замѣткахъ стоитъ остановиться, потому что въ нихъ проглядываетъ самостоятельная мысль и довольно смѣлое отношеніе къ современному состоянію русскаго творчества. Аполлонъ Григорьевъ сравниваетъ произведенія древняго драматическаго искусства съ произведеніями новѣйшаго и находитъ въ нихъ крупное, важное, идейное различіе. Въ греческой трагедіи, говоритъ онъ, личность не играла самостоятельной роли и подчинялась силамъ, выше ея стоящимъ, непобѣдимому фатуму, съ которымъ могли бороться только настоящіе герои. Въ драмѣ новѣйшихъ вѣковъ личность выступаетъ на первый планъ, приковывая къ себѣ вниманіе важностью и сложностью своихъ нравственныхъ интересовъ и стремленій. Гамлетъ слабъ, какъ ребенокъ, но сознаніе личности «придаетъ ему силу Немейскаго льва». Ординарные факты жизни такъ-же важны, какъ и разнаго рода экстравагантныя событія, потому что «общая вѣковая идея отражается во всемъ»,—и «драма повседневныхъ явленій» ничѣмъ рѣшительно не уступаетъ «драмѣ явленій исключительныхъ». Отъ этихъ, не совсѣмъ законченныхъ разсужденій, Аполлонъ Григорьевъ обращается къ драматической литературѣ Россіи и не нахо-

дить въ ней ничего, кромѣ дѣтскаго однообразія вымысла, ограниченнаго кругозора, пустоты жизни, застывшей въ чуждыхъ, взятыхъ на прокатъ формахъ. Надъ общимъ уровнемъ посредственности уединенно высятся только несценическія поэмы Пушкина, юношеская, но смѣлая драма Лермонтова, великая сатира Грибоѣдова и глубокія созданія Гоголя. Но среди новѣйшихъ русскихъ дѣятелей въ этой области—ни одного настоящаго, истинно оригинальнаго таланта. Многіе идутъ по дорогѣ, проложенной «могучей стопой геніевъ», но нѣтъ никого, кто съ полною, художественною силою могъ-бы поставить передъ глазами «благородную русскую душу», оклеветанную въ произведеніяхъ разныхъ бездарныхъ авторовъ.

Осудивъ въ такихъ выраженіяхъ «элементы современной русской драмы», Аполлонъ Григорьевъ обращается съ горячею похвалою по адресу писателя, котораго онъ не смѣетъ назвать по имени. Этотъ писатель скоро займетъ, по его убѣжденію, высокое мѣсто въ русской литературѣ, талантъ его оригиналенъ, ярокъ и способенъ къ «ужасающему анализу» живой дѣйствительности. Съ любовью изучивъ *первое* произведеніе молодого драматурга, онъ не сомнѣвается, что близокъ часъ новаго, важнаго переворота въ русской литературѣ. Вслѣдъ за этимъ намекомъ, относящимся, повидимому, къ юношескимъ опытамъ Островскаго, критикъ «Пантеона» переходитъ къ теоретическому вопросу о значеніи страстей въ жизни и въ произведеніяхъ искусства. На нѣсколькихъ страницахъ онъ борется противъ идеальнаго, устарѣлаго романтизма, пылко обороняя простую, «здравую точку зрѣнія» на любовь отъ представителей «аскетическо-католическихъ требованій», которыхъ онъ при этомъ неуклюже называетъ «витязями раковаго хода». «Давайте намъ личности, восклицаетъ Аполлонъ Григорьевъ, и вдали—бездну, судьбу, видимую и для нихъ самихъ и для зрителя». Въ литературномъ произведеніи страстямъ принадлежитъ такое-же мѣсто, какъ и въ жизни, и потому рисовать ихъ надо со всѣмъ разнообразіемъ ихъ дѣйствительныхъ, а не воображаемыхъ признаковъ. Въ заключеніе своихъ замѣтокъ о русской драмѣ и русской сценѣ Аполлонъ Григорьевъ съ особеннымъ восторгомъ указываетъ на стихотворныя произведенія поэта, которому «въ настоящую эпоху нѣтъ равнаго по таланту въ нашей литературѣ», владѣющаго ядовитой и грустной ироніей и выработанной, литой формой для выраженія самыхъ тонкихъ ощущеній,—на Фета. Въ немъ онъ видитъ воплощеніе цѣлаго момента жизни, и самую способность его писать воздушными образами, легкими и блестящими, какъ пыль снѣговъ, онъ считаетъ типичною для настоящей эпохи, потому что «современный человѣкъ преклоняется передъ тѣмъ только, что можетъ обратить въ прахъ однимъ дыханіемъ».

Въ такихъ замѣткахъ, беллетристическихъ очеркахъ и стихотворныхъ

поэмахъ прошелъ цѣлый годъ его литературной дѣятельности. Работая въ разныхъ направленіяхъ, Аполлонъ Григорьевъ изощрялъ свой талантъ, овладѣвалъ все глубже и глубже предметомъ своихъ непосредственныхъ, прирожденныхъ симпатій. Поэзія вообще и драматическая въ частности становится любимою темою его разсужденій, и каждое сколько-нибудь замѣтное литературное явленіе возбуждаетъ его критическій умъ, вызывая потребность въ свободныхъ и смѣлыхъ изліяніяхъ. Уже въ началѣ 1847 г. онъ принимаетъ очень дѣятельное участіе въ ежедневной газетѣ «Московскій городской листокъ», гдѣ такъ-же, какъ и въ «Пантеонѣ», пишетъ очень много, то въ качествѣ обозрѣвателя журналовъ, то въ качествѣ театральнаго рецензента или самостоятельнаго критика, подвергающаго разсмотрѣнію самыя крупныя явленія современной литературы. Иногда онъ выражаетъ свои мысли и по вопросу о воспитаніи, при чемъ высказывается за педагогическую систему, въ которой духъ вѣка умѣрялся-бы условіями народнаго развитія. Иногда онъ выступаетъ съ юмористическими замѣтками, каковъ, напр., фельетонъ подъ названіемъ «Вечеръ и ночь кочующаго варяга въ Москвѣ и Петербургѣ». Въ этомъ послѣднемъ фельетонѣ, написанномъ съ нервическою веселостью, перемежающеюся приступами настоящей хандры, можно сказать, впервые обрисовалась характерная индивидуальность Аполлона Григорьева. При отсутствіи серьезной темы, его мысли и чувства выступаютъ здѣсь передъ нами въ какихъ-то неуловимыхъ, расплывчатыхъ изліяніяхъ—среди распутнаго упоенія трактирнымъ кутежомъ, среди алкоголическихъ грезъ о сентиментальномъ счастьѣ. Здѣсь онъ открываетъ передъ читателемъ свою настоящую «русскую природу», не увлекаясь никакими общими теоретическими разсужденіями. Онъ сравниваетъ Москву и Петербургъ, и съ полной откровенностью распахивая душу завзятаго москвича, отдаетъ предпочтеніе Москвѣ передъ Петербургомъ. Въ Москвѣ—широкій разгулъ, съ цыганскими пѣснями, съ возбуждающимъ, легкимъ, сухимъ скрипомъ летящихъ по снѣгу саней, съ неопредѣленною, непонятною, тоскливою хандрой при видѣ мелькающихъ женскихъ образовъ въ освѣщенныхъ окнахъ обывательскихъ домовъ. Въ Петербургѣ—пошлая, безстрастная скука, врожденное отвращеніе отъ домашняго очага. Въ Москвѣ—жажда какой-то стихійной дѣятельности, съ полнымъ удовлетвореніемъ глубочайшихъ инстинктовъ. Въ Петербургѣ—чиновническая опредѣленность и размѣренность, съ заказнымъ восторгомъ даже въ театрѣ, при видѣ того, что въ Москвѣ подняло-бы всѣ нервы, вызвало-бы громы рукоплесканій. Изрытый болѣзненными страстями, Григорьевъ не видитъ всей пустоты и безсодержательности этихъ полу-романтическихъ восторговъ по адресу Москвы и обличительныхъ іереміадъ по адресу Петербурга. Но при этомъ необходимо отмѣтить, что мысль молодого писателя, именно подъ вліяніемъ личныхъ пристрастій и уродливаго вос-

питанія среди стѣснительныхъ условій семейной догматики, очень рано суживаетъ свои требованія и запросы, принимая банальную окраску какого-то провинціальнаго патріотизма. Какъ и въ вопросѣ о воспитаніи, Аполлонъ Григорьевъ въ своихъ жизненныхъ стремленіяхъ не слѣдуетъ по пути какого-нибудь яснаго и возвышеннаго идеала, но отдается своимъ безотчетнымъ влеченіямъ, идущимъ не изъ особенно глубокаго культурнаго источника.

Иногда Аполлонъ Григорьевъ даетъ на страницахъ ежедневной газеты очень вѣрныя и мѣткія характеристики разныхъ литературныхъ дѣятелей и художественныхъ явленій. Нѣсколько разъ онъ возвращается къ поэтическому таланту Аполлона Майкова. Въ одномъ мѣстѣ онъ дѣлаетъ предостереженіе сильному, но «гибнущему дарованію» Якова Полонскаго. О Гончаровѣ, по поводу его «Обыкновенной Исторіи», онъ высказывается въ цѣломъ рядѣ фельетоновъ. Въ небольшой, но ярко написанной статьѣ онъ проводитъ, можно сказать, блестящую параллель между типомъ Донъ-Жуана у Мольера, Байрона, Гоффмана и Пушкина. Но самой важной работой Аполлона Григорьева въ этомъ году надо признать статью его о «Перепискѣ съ друзьями» Гоголя. Въ довольно рѣзкихъ выраженіяхъ онъ порываетъ съ авторитетомъ Бѣлинскаго и, по-своему, отложивъ въ сторону всѣ журнальные шаблоны, старается охарактеризовать эту замѣчательную книгу. У молодого писателя не было никакихъ опредѣленныхъ и хорошо разработанныхъ философскихъ понятій и той умственной увѣренности, которая дается глубокимъ научнымъ убѣжденіемъ, сознающимъ свою естественную ограниченность и потому идущимъ навстрѣчу высшимъ метафизическимъ идеямъ. Разсуждая о художникѣ, который въ минуту религіознаго экстаза открылъ и ощутилъ въ себѣ дыханіе живого Бога, онъ вдается въ малозначащія оговорки и какъ-бы самъ не сознаетъ значительности своего мнѣнія и своей полемики съ враждебными ему взглядами. Не проникнувъ тонкой философской критикой въ эту книгу патетическихъ страданій одной изъ самыхъ оригинальныхъ натуръ, онъ не крѣпокъ въ защитѣ того, что въ самомъ Гоголѣ возбудило тревогу и ярость святого самообличенія. Онъ старается представить психологическое оправданіе всѣхъ сомнѣній Гоголя на основаніи его прежнихъ художественныхъ произведеній, въ которыхъ мало-по-малу игривый и безпечный юморъ переходилъ въ страстную сатиру, проникнутую въ своихъ корняхъ, въ глубинѣ своихъ источниковъ, экстазомъ передъ идеаломъ полнаго и совершеннаго человѣка, полной и совершенной правды. Онъ видитъ въ Гоголѣ настоящаго стоика и въ книгѣ его, произведшей бурю среди его самыхъ ревностныхъ поклонниковъ, честную исповѣдь художника, который дорожитъ своимъ дѣломъ. Если выкинуть изъ счета нѣкоторыя ненужныя рѣзкости и нелѣпости практическихъ указаній и совѣтовъ автора, то вся «Переписка съ друзья-

ми» представится замѣчательнымъ, великимъ произведеніемъ, въ которомъ духъ художника и мыслителя показалъ себя въ своихъ сокровеннѣйшихъ броженіяхъ, во всей сосредоточенности своего исканія высшей, послѣдней истины.

При душевной непосредственности, не подавляемой никакими противорѣчіями разсудка, Аполлону Григорьеву въ сущности легко было отнестись сочувственно къ тому явленію, которое въ людяхъ, живших болѣе умственными, чѣмъ психологическими интересами, возбудило рядъ вопросовъ, непосильныхъ имъ при данной степени ихъ философскаго развитія. Самъ поэтъ и художникъ, онъ сразу почувствовалъ тайную правду гоголевскихъ признаній и потому не могъ не посмотрѣть на его книгу, какъ на литературное явленіе, заслуживающее не хулы и надменныхъ порицаній, а серьезнаго и вполнѣ толерантнаго разбора. Не задаваясь никакими теоретическими цѣлями, Аполлонъ Григорьевъ разрѣшилъ свою задачу на нѣсколькихъ газетныхъ столбцахъ, въ которыхъ легко было усмотрѣть всѣ свойства его собственной натуры—его чуткую отзывчивость, его жажду внутренней правды, его способность къ тонкому психологическому анализу. Но при всѣхъ этихъ данныхъ, разсужденія Аполлона Григорьева должны были произвести нѣкоторое впечатлѣніе только на людей, близко стоявшихъ къ нему по складу души и темпераменту, и едва ли могли захватить широкіе круги читающей русской публики, уже загипнотизированной въ этомъ вопросѣ изступленными протестующими криками такого авторитета, какъ Бѣлинскій, и всѣхъ его многочисленныхъ журнальныхъ послѣдователей. Любопытно отмѣтить при этомъ, что статья о Гоголѣ, явившаяся въ печати только съ иниціалами Аполлона Григорьева, была приписана нѣкоторыми лицами А. Галахову, который и поспѣшилъ разъяснить это недоразумѣніе въ небольшомъ письмѣ на имя редактора «Московскаго городского листка».

«Московскій Городской Листокъ» просуществовалъ только одинъ годъ и по закрытіи этой газеты, въ которой принимали участіе многіе видные литературные дѣятели того времени, Аполлонъ Григорьевъ печатаетъ разные свои переводы въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и нѣсколько замѣтокъ о московскомъ театрѣ въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1849—1850 гг. Онъ точно ищетъ настоящей твердой почвы для своего гибкаго, но еще не развернувшагося таланта. Накопляются мысли и чувства, требующія выраженія, на горизонтѣ появляются новыя звѣзды, о которыхъ онъ могъ-бы говорить съ увлеченіемъ, съ глубокимъ, искреннимъ убѣжденіемъ. Статейка о «Перепискѣ съ друзьями», хотя и вызвала нѣсколько рѣзкихъ замѣчаній Герцена, имѣла успѣхъ въ небольшомъ литературномъ кругу, и молодой авторъ, кипѣвшій новыми замыслами, чувствовалъ потребность въ болѣе широкой критической дѣятельности и притомъ непремѣнно въ какомъ-нибудь идейномъ, распростра-

ненномъ журналѣ. Съ такими настроеніями Аполлонъ Григорьевъ началъ свое сотрудничество въ «Москвитянинѣ» Погодина и Шевырева. Въ 1851 г. онъ печатаетъ въ этомъ журналѣ отрывокъ изъ «Паризины» Байрона, переводное стихотвореніе изъ Гёте, нѣсколько общихъ критическихъ замѣтокъ о современныхъ литературныхъ явленіяхъ, о театрѣ. Но настоящимъ дѣятелемъ этого журнала въ его критическомъ отдѣлѣ онъ становится только въ слѣдующемъ году. Въ четырехъ книгахъ «Москвитянина» онъ помѣщаетъ рядъ небольшихъ статей, выражающихъ его главные, основные взгляды на задачу литературной критики, на важнѣйшія теченія въ области русской поэзіи. Онъ еще колеблется въ выборѣ отдѣльныхъ терминовъ, мысль его еще не получила полнаго развитія, его общія теоретическія убѣжденія выступаютъ въ нѣсколько неопредѣленныхъ формулахъ, съ постоянными, однообразными повтореніями, доходящими даже до простыхъ перепечатокъ изъ прежде написанныхъ статей. Но при всѣхъ недочетахъ философской выдержанности, разсужденія Аполлона Григорьева все-таки имѣютъ строго-литературный характеръ и обнаруживаютъ въ молодомъ писателѣ глубокій интересъ къ искусству, способность разжигаться его успѣхами, его судьбами до степени всепоглощающаго энтузіазма. Спустя четыре года послѣ смерти Бѣлинскаго, еще до появленія въ литературѣ Чернышевскаго и Добролюбова, съ ихъ разсудочнымъ, но яростнымъ задоромъ, произведшемъ совершенно новое броженіе въ русскомъ обществѣ, горячо написанныя статьи Аполлона Григорьева должны были возбудить самыя свѣтлыя надежды въ людяхъ съ эстетическимъ вкусомъ. Они въ самомъ дѣлѣ выливались изъ души, трепетавшей отъ всякаго яркаго художественнаго впечатлѣнія. Нѣкоторые пріемы анализа, проникнутые поэтической мечтательностью, не могли не напомнить публикѣ пламенную рѣчь Бѣлинскаго. По тонкости отдѣльныхъ замѣчаній въ новыхъ характеристикахъ Писемскаго, Огарева, Фета, Гончарова, Аполлонъ Григорьевъ не имѣлъ соперниковъ среди журнальныхъ рецензентовъ, бродившихъ по смерти Бѣлинскаго въ какихъ-то потемкахъ, бездушно, а иногда и пошловато повторяя и обезцвѣчивая рѣзкія выраженія умершаго учителя. Несмотря на внѣшній блескъ и игру парадоксальнаго ума, Дружининъ не могъ сравниться съ этимъ даровитымъ поэтомъ, взявшимся за дѣло критики по чувству настоящей, страстной любви къ спорамъ и дебатамъ на эстетическія и историко-литературныя темы. Бойкіе рецензенты, работавшіе въ «Москвитянинѣ» рядомъ съ Аполлономъ Григорьевымъ, иногда даже выражавшіе вѣрныя критическія сужденія, уже совершенно заслонялись его безпрерывными трудами, отмѣченными печатью яркаго, самобытнаго таланта. Во всякомъ случаѣ, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что краткія, но зажигательныя замѣтки Аполлона Григорьева не могли не производить огромнаго впечатлѣнія на страницахъ журнала, гдѣ по сосѣдству

съ ними печатались первыя драматическія произведенія Островскаго, могуче развертывалось мрачное, зараженное прирожденнымъ цинизмомъ творчество Писемскаго, и выступали разныя молодыя, многообѣщающія дарованія съ серьезными задатками оригинальной художественности. Даже сухія работы Шевырева и ученыя изслѣдованія Погодина, не блиставшія особеннымъ литературнымъ талантомъ, не могли не придавать «Москвитянину» этой эпохи нѣкоторой солидности, облегчавшей и пролагавшей дорогу въ публику для болѣе новыхъ, пылкихъ его сотрудниковъ. Извѣстно, что Аполлонъ Григорьевъ никогда не переставалъ вспоминать этотъ свѣтлый моментъ въ своей литературной дѣятельности съ особеннымъ ощущеніемъ изжитыхъ и невозвратныхъ восторговъ. Никогда впослѣдствіи, даже во время своего сотрудничества въ журналахъ Достоевскаго, онъ не чувствовалъ себя столь свободнымъ, самостоятельнымъ выразителемъ литературныхъ симпатій цѣлаго кружка талантливыхъ людей. При томъ же Аполлонъ Григорьевъ на дѣлѣ могъ убѣдиться въ томъ, что его критическое чутье толкаетъ его къ сужденіямъ и мнѣніямъ, которыхъ не можетъ разрушить жизнь съ ея постоянными разочарованіями. Еще на страницахъ «Пантеона», онъ, какъ мы видѣли, предсказывалъ рядъ новыхъ событій въ области русскаго драматическаго творчества, и вотъ появился Островскій, всѣми оспариваемый, но давшій въ его руки цѣлый рядъ художественныхъ доказательствъ, съ которыми ему не страшно было бороться противъ разныхъ журнальныхъ педантовъ и доморощенныхъ ювеналовъ.

Аполлонъ Григорьевъ не щадитъ современной журналистики—съ ея часто невѣжественными и грубо безтактными прокурорами и судьями у критической трибуны. Съ обычною, слегка вульгарною откровенностью, онъ вышучиваетъ ихъ претензіи замѣнить прежнія, старыя точки зрѣнія новыми, плохо понятыми теоріями. Всѣ толкуютъ объ упраздненіи эстетической критики, о нарожденіи критики исторической, но никто до сихъ поръ не сумѣлъ показать и объяснить, въ какомъ именно направленіи дѣйствительно совершается переворотъ въ пріемахъ критическаго разбора литературныхъ произведеній. Мы сами—поборники исторической критики, заявляетъ Аполлонъ Григорьевъ, и, вслѣдъ за этимъ, по пунктамъ формулируетъ главные тезисы своего эстетическаго вѣроученія. *Во-первыхъ*, историческая критика должна разсматривать литературу, какъ органическій продуктъ вѣка и народа, въ связи «съ развитіемъ государственныхъ, общественныхъ и моральныхъ понятій». На судѣ этой критики каждое истинно талантливое произведеніе является живымъ отголоскомъ убѣжденій, вѣрованій и стремленій извѣстной эпохи. Но такъ какъ, оговаривается при этомъ Аполлонъ Григорьевъ, во всемъ временномъ есть частица вѣчнаго, неперемѣннаго, то отсюда съ логическою неизбѣжностью слѣдуетъ, что «общіе эстетическіе законы подразумѣва-

ются исторической критикой художественныхъ произведеній». *Во-вторыхъ*, историческая критика должна разсматривать художественныя произведенія въ ихъ преемственной связи, сопоставляя ихъ между собою, но не уничтожая одного въ пользу другого, не возвышая «послѣдне-написаннаго на счетъ предшествовавшихъ». Она показываетъ относительное значеніе всѣхъ художественныхъ явленій въ массѣ и затѣмъ только взвѣшиваетъ каждое изъ нихъ на вѣсахъ безотносительныхъ законовъ изящнаго. *Въ-третьихъ*, наконецъ, историческая критика, разсматривая литературное произведеніе, какъ живой продуктъ даннаго момента въ жизни народа, должна при этомъ открыть тѣ новыя идеи, которыя внесены имъ въ общій процессъ его духовнаго развитія. Произведенія, повторяющія чужія мысли, не могутъ имѣть самостоятельнаго значенія, хотя они иногда доводятъ до крайнихъ граней извѣстные идеалы, утрируютъ извѣстную художественную манеру.

Вотъ основныя положенія той исторической критики, которая впослѣдствіи выступила въ статьяхъ Аполлона Григорьева подъ другимъ, болѣе подходящимъ названіемъ—органической критики.

Въ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ Аполлонъ Григорьевъ возвращается къ любимому вопросу о Гоголѣ, отразившемъ, по его мнѣнію, въ своихъ произведеніяхъ русскую жизнь со всѣмъ безконечнымъ разнообразіемъ ея явленій. Въ сосредоточенно страстной и тонко чувствующей натурѣ этого художника соединились всѣ элементы, необходимые для полнаго, цѣльнаго творчества — глубокое презрѣніе ко всякой пошлости и яркое сознаніе отвлеченнаго идеала красоты и правды. Все, что дѣлается въ текущей литературѣ прогрессивнаго, даже наиболѣе типическія ошибки молодыхъ талантовъ, все это—броженіе идей, брошенныхъ въ общество его геніальною сатирою, но воспринятыхъ разными людьми съ неодинаковою силою пониманія и внутренняго сочувствія. Подъ вліяніемъ Гоголя совершается перерожденіе стремленій и силъ литературы, жаждущей новыхъ словъ, новыхъ формъ и образовъ. Въ обзорѣ главныхъ художественныхъ явленій 1852 г. Аполлонъ Григорьевъ, привѣтствуя молодые побѣги новаго искусства, открыто указываетъ на постоянное истощеніе нѣкоторыхъ старыхъ вѣяній. Умираетъ, говоритъ онъ, направленіе, которое обозначали и обозначаютъ именемъ Лермонтовскаго. Оно не заключаетъ въ себѣ истинно тонкаго и глубокаго чутья жизни, высшаго пониманія дѣйствительности, сливающаго отрицательно протестующіе элементы съ элементами положительными, идеальными. Исчезаетъ совершенно Лермонтовское направленіе, принявшее только съ виду Гоголевскую форму—въ немъ фальшивое и ложное изображеніе русскаго быта обыкновенно завершается какими-нибудь благожелательными сентенціями, изобличающими умственное ничтожество несамобытныхъ, неспособныхъ къ настоящему творчеству авторовъ. Умираетъ то направленіе, которое

свирѣпствовало въ литературѣ подъ названіемъ натуральной школы. Порожденная недугомъ безплодной мечтательности и худо понятой филантропіи, эта школа выдвигала въ своихъ произведеніяхъ съ какою-то странною любовью все физически и морально уродливое. А между тѣмъ, еще недавно такое болѣзненное созерцаніе жизни сходило за истинный паѳосъ, еще недавно рабское копированіе фактовъ, наудачу выхваченныхъ изъ современной волны и затѣмъ брошенныхъ назадъ безъ малѣйшей обработки, производило впечатлѣніе важнаго литературнаго дѣла. Вотъ какія направленія исчезаютъ, или уже совершенно исчезли, очищая дорогу новымъ художественнымъ силамъ. Послѣ Гоголя уже нетрудно отнестись критически ко всѣмъ этимъ нелѣпымъ и жалкимъ претензіямъ разочарованія и фальшивой образованности, къ этой унизительной игрѣ на струнахъ моральнаго уродства и физическаго безобразія. Пролетѣвшій настоящею грозою надъ русской жизнью геній Гоголя озарилъ тревожнымъ свѣтомъ и то, что постепенно вырождается въ русской литературѣ, и то, что только еще ростетъ и медленно, но вѣрно укрѣпляется въ новой школѣ, примирившей обличительные и идеальные элементы творческаго процесса.

Эти общія разсужденія объ исходной точкѣ современной литературы Аполлонъ Григорьевъ заканчиваетъ нѣсколькими замѣчаніями, имѣющими глубокій смыслъ. На трехъ страницахъ онъ развиваетъ цѣльный взглядъ на взаимное отношеніе между художникомъ и тою жизнью, которую онъ изображаетъ въ своихъ произведеніяхъ. Въ немногихъ словахъ онъ показываетъ, въ какихъ комбинаціяхъ искусство выдвигаетъ тѣ или другія свои стороны, приноравливаясь къ вѣяніямъ исторіи, къ условіямъ умственнаго и соціальнаго быта окружающаго общества. Если окончательно развѣнчаны прежніе кумиры напыщеннаго романтизма, если доказано ничтожество разныхъ натуралистическихъ поддѣлокъ подъ настоящую живую дѣйствительность, то спрашивается, каково должно быть истинно художественное отношеніе писателя къ сырому матеріалу своихъ наблюденій, своего опыта? Оно должно быть прямымъ, непосредственнымъ отношеніемъ, отвѣчаетъ Аполлонъ Григорьевъ, потому что только произведенія, зачатыя и выношенныя при этихъ условіяхъ, принадлежатъ къ искусству, занимаютъ въ немъ опредѣленное мѣсто. Только тотъ истинный художникъ въ наше время, кто нашелъ въ душѣ своей нѣкоторое возможное равновѣсіе идеала и жизни, кто разсматриваетъ окружающую дѣйствительность сквозь вѣчныя и разумныя требованія духа, кто, пристально изучая факты, не измѣняетъ высшему безпристрастію и умѣетъ воздать должную справедливость ихъ самобытнымъ законамъ. Мы неправы передъ дѣйствительностью, восклицаетъ Аполлонъ Григорьевъ, потому что относились къ ней съ ложныхъ точекъ зрѣнія. Мы не видѣли, что ея коренныя начала вовсе не находятся въ противорѣчіи съ нашими

идеальными запросами, что дѣло художника открывать внутреннюю гармонію между идеями жизни и тѣми явленіями и событіями, въ которыхъ они временно воплощаются. Не скрывая отъ читателя нѣкоторыхъ оговорокъ, исходящихъ изъ глубокаго источника, Аполлонъ Григорьевъ тутъ-же отмѣчаетъ, что истинно непосредственное, прямое отношеніе художника къ фактамъ жизни потребно только въ эпическомъ родѣ искусства и возможно только въ первобытныя эпохи умственнаго развитія. Отношеніе между различными силами жизни обусловливается *историческими* обстоятельствами современности, и если равновѣсіе между этими силами нарушено, творческій процессъ неизбѣжно потеряетъ свою непосредственность, приметъ опредѣленное направленіе, наиболѣе соотвѣтствующее натурѣ писателя. «Высшій или безусловный комизмъ, какъ результатъ раздвоенія въ міросозерцаніи художника между идеаломъ и дѣйствительностью, есть точно такъ-же, какъ и трагизмъ,—истинное искусство, истинная поэзія».

Но хотя эти философскія соображенія Аполлона Григорьева выходятъ изъ ряда обычнаго журальнаго резонерства, нельзя не видѣть, что имъ недостаетъ какого-то внутренняго совершенства. Защищая передъ художниками мысль о возможномъ равновѣсіи между идеальными требованіями и дѣйствительностью, выставляя передъ ними поверхностность всякаго непримиримаго обличенія и протеста и, какъ писалъ онъ впослѣдствіи, въ статьѣ по поводу «Грозы» Островскаго, полную необходимость смиренія передъ жизнью, онъ не видитъ, что ни о какой гармоніи внутреннихъ и внѣшнихъ началъ не можетъ быть и рѣчи. Аполлонъ Григорьевъ смѣшалъ сдержанное спокойствіе художественнаго исполненія съ недостижимымъ и ненужнымъ равновѣсіемъ вѣчно борящихся между собою духовныхъ силъ и внѣшнихъ стихій. Искусство можетъ скрыть въ своихъ образахъ и пластическихъ формахъ этотъ постоянный въ самомъ художникѣ раздоръ противоположныхъ стремленій, можетъ воспроизвести картину жизни въ ея законченныхъ типахъ и выраженіяхъ, но нельзя допустить и мысли о томъ, что гдѣ-то существуютъ явленія, представляющія *полное* выраженіе человѣческой мечты, что существуютъ факты, въ которыхъ уравновѣшиваются природа и идеалы. Въ исторіи нѣтъ равновѣсія. Являясь непрерывнымъ броженіемъ старыхъ и новыхъ идей, постоянно другъ друга смѣняющихъ и изгоняющихъ, исторія никогда не останавливается, не замираетъ въ спокойствіи. Сознаніе, которое составляетъ прогрессивную силу каждаго историческаго момента, безпрерывно вырабатываетъ собственными силами идеи, дающія толчокъ и направленіе жизненному процессу. Оно руководитъ имъ, открываетъ, или вѣрнѣе сказать, вливаетъ въ него свой смыслъ, и потому къ каждому всплывшему въ немъ факту относится всегда критически, протестантски отбрасывая все случайное, мертвое, ни передъ чѣмъ не смиряясь, никому

и ничему не угождая. Служа только своимъ собственнымъ законамъ духъ человѣческій ни въ чемъ внѣшнемъ, жизненномъ не находитъ и не можетъ найти полнаго удовлетворенія. Никакія формы соціальнаго быта, никакая житейская добродѣтель не заслоняютъ передъ нимъ того безформеннаго идеала, который надо всѣмъ царитъ, но ни въ чемъ вполнѣ не воплощается. Искусство, достигшее полнаго совершенства, можетъ окончательно передѣлать въ своемъ изображеніи пестрый матеріалъ житейскихъ впечатлѣній, придать имъ новую форму, болѣе отвѣчающую ихъ внутреннему значенію и смыслу, но никогда никакое творчество, вѣрное своей лучшей природѣ, не преклонялось передъ дѣйствительностью — даже въ самыхъ ея красивыхъ, изящныхъ выраженіяхъ, никогда не признавало ее своимъ критеріемъ. Настоящіе великіе художники, смиренно подчиняясь своему внутреннему голосу, всегда производили въ обществѣ разладъ и борьбу, приносили въ жизнь не миръ, но мечъ. И эта жизнь, взволнованная тѣмъ, что было въ ихъ произведеніяхъ идеальнаго и потому протестантскаго, напрягалась въ новомъ стремленіи къ совершенству.

При явной симпатіи къ широкому равновѣсію силъ Аполлонъ Григорьевъ, въ сущности, не могъ заглянуть въ глубину Гоголевской натуры, въ которой вѣчная лихорадочная напряженность была явнымъ признакомъ ея непримиримаго раздора со всякой дѣйствительностью. Въ смѣхѣ Гоголя, звучавшемъ изступленнымъ до сладострастія отрицаніемъ, не было ни одной примирительной ноты, ни малѣйшаго признака того душевнаго равновѣсія, которое было, напр., у Пушкина въ зрѣлые годы его поэтическаго творчества. Сознавая эти важныя черты Гоголевской сатиры, Аполлонъ Григорьевъ не могъ не мечтать о новомъ талантѣ «съ болѣе спокойной творческой натурой», съ меньшей наклонностью къ суровому, безпощадному обличенію, съ болѣе мягкой и терпимой душой, съ большей снисходительностью къ человѣческимъ язвамъ и порокамъ, которыми онъ самъ болѣлъ съ раннихъ лѣтъ. Мы уже видѣли, съ какимъ восторгомъ Аполлонъ Григорьевъ, на страницахъ «Пантеона», встрѣтилъ первые опыты молодого Островскаго, когда еще почти никто не зналъ его имени. Перейдя изъ «Пантеона» въ «Московскій городской листокъ», Аполлонъ Григорьевъ увлекъ за собою туда и Островскаго. На страницахъ «Москвитянина» 1852 г., сейчасъ по напечатаніи Островскимъ «Бѣдной невѣсты», онъ уже прямо заявляетъ, что отъ него одного онъ ждетъ въ настоящее время новаго слова. Затѣмъ, въ первомъ номерѣ «Москвитянина» 1853 г., перебравъ разныя литературныя явленія послѣдняго времени и остановившись на нѣкоторыхъ пьесахъ Островскаго, Аполлонъ Григорьевъ указываетъ съ особеннымъ сочувствіемъ, въ чемъ именно заключается новое направленіе этого таланта. У одного Островскаго, говоритъ онъ, есть свой прочный

идеальный строй понятій съ особеннымъ оттѣнкомъ, обусловленнымъ эпохою и натурою самого поэта. «Этотъ оттѣнокъ мы назовемъ, нисколько не колеблясь, пишетъ онъ,—кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ болѣзненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма безъ фальшивой грандіозности или столько-же фальшивой сентиментальности». Послѣдней его статьею въ «Москвитянинѣ» была обширная, но неоконченная статья о томъ-же Островскомъ, въ которой критикъ горячо заступается за своего любимаго писателя противъ разныхъ журнальныхъ рецензентовъ, сыплетъ полемическими стрѣлами противъ всѣхъ, не видящихъ его великаго таланта и затѣмъ не безъ страсти отстаиваетъ нѣсколько любимыхъ мыслей, имѣющихъ широкое содержаніе, но все-таки не теряющихъ изъ виду основныхъ особенностей творчества Островскаго. Въ произведеніяхъ Островскаго мы имѣемъ дѣло съ совершенно новымъ бытомъ, съ совершенно новымъ, оригинальнымъ отношеніемъ къ этому быту, съ новой манерой изображенія, съ новымъ языкомъ. Въ нихъ отсутствуетъ желчь и повсюду проглядываетъ прямое, непосредственное, чисто народное отношеніе писателя къ жизни. Народность — вотъ это новое слово, сказанное Островскимъ въ области русскаго сценическаго искусства, не узко понятая народность, а въ широкомъ смыслѣ общенаціональной физіономіи и типичнѣйшихъ настроеній цѣлаго умственнаго строя.

Черезъ пять лѣтъ Аполлонъ Григорьевъ помѣстилъ въ «Русскомъ Мірѣ» двѣ статьи о томъ-же Островскомъ по поводу «Грозы». Онъ не измѣнилъ своего взгляда на его талантъ — до такой степени, что, по странной неподвижности аргументаціи, опять-таки перепечатываетъ цѣлыя страницы изъ своей прежней статьи, съ самыми ничтожными измѣненіями въ отдѣльныхъ выраженіяхъ и замѣчаніяхъ. Онъ крѣпко стоитъ на своемъ, доказывая, что Островскій—великій изобразитель не только народной жизни, но и народнаго духа, цѣлаго народнаго міра, съ его разнообразными началами и пружинами. Аполлонъ Григорьевъ горячо возражаетъ Добролюбову, статьи котораго объ Островскомъ онъ готовъ признать остроумными и мѣткими, хотя въ нихъ драматическая дѣятельность Островскаго представлена въ одностороннемъ освѣщеніи. По его мнѣнію, въ Островскомъ надо видѣть не только обличителя самодурства, не только бытового писателя, но истинно народнаго поэта, который играетъ на всѣхъ тонахъ, «на всѣхъ ладахъ народной жизни», который создалъ энергическую натуру Нади, страстно-трагическій образъ Катерины, высокое лицо Кулигина, Грушу, «отъ которой такъ и пышетъ жизнью и способностью жить съ женскимъ достоинствомъ». Слово для разгадки всей дѣятельности Островскаго—не самодурство, а народность.

Такъ оцѣнивалъ литературное значеніе Островскаго Аполлонъ Григорьевъ, и въ нѣкоторой части русскаго общества сложилось убѣжденіе, что ему принадлежитъ въ этомъ дѣлѣ очень существенная заслуга. Добролюбовъ съ большою яркостью изобразилъ и объяснилъ общественное значеніе драматической сатиры Островскаго, но Аполлонъ Григорьевъ еще раньше Добролюбова, на страницахъ «Пантеона», въ замѣткахъ «Москвитянина», когда другіе журналисты свистали и шикали при имени Островскаго, отстаивалъ его талантъ, выяснялъ его роль въ области русскаго театра не съ узко-публицистической, а исторической и художественной точки зрѣнія. Онъ предвидѣлъ ростъ его дарованія и смѣло доказывалъ, что произведеніями Островскаго говорится новое слово въ литературѣ, потому что Островскій ближе Гоголя подошелъ къ народной жизни, просто и безъ всякаго напряженія отразилъ ее въ своихъ превосходныхъ типическихъ картинахъ. Онъ былъ истиннымъ глашатаемъ его славы, и когда Островскій въ 60-хъ годахъ вошелъ въ сношеніе съ «Современникомъ», Аполлонъ Григорьевъ долженъ былъ почувствовать боль и горечь, какъ при утратѣ авторитетнаго единомышленника. Нельзя не согласиться, что въ статьяхъ Добролюбова литературная дѣятельность Островскаго разсмотрѣна только съ ея болѣе поверхностной стороны. Произведенія Островскаго, кромѣ смѣлаго обличенія самодурства, заключаютъ въ себѣ цѣлый рядъ характеровъ и типовъ, которыхъ нельзя пріурочить къ одной только сатирической идеѣ. Островскій обладалъ огромнымъ поэтическимъ талантомъ въ изображеніи бытовыхъ особенностей русской жизни, языкъ его произведеній, несмотря на отсутствіе законченности и глубокаго единства художественнаго стиля, звучитъ всѣми колоколами русскихъ городовъ и пригородовъ, выведенныя имъ лица, освѣщенныя незлобивымъ юморомъ, представляютъ цѣлую галлерею яркихъ этнографическихъ типовъ,—и потому надо признать справедливыми критическія замѣчанія Аполлона Григорьева по поводу пробѣловъ въ оцѣнкѣ темнаго царства, сдѣланной Добролюбовымъ. Но, признавая критическія возраженія Аполлона Григорьева, слѣдуетъ отмѣтить, что самъ онъ, въ обсужденіи драматическаго таланта Островскаго, стоялъ на ложномъ пути. Какими-бы достоинствами ни обладала драматическая этнографія этого писателя, какими-бы яркими красками ни были расписаны полотна его бытовыхъ декорацій, нѣтъ возможности признать и усмотрѣть въ его литературной дѣятельности того высокаго смысла, какой приписываетъ ей Аполлонъ Григорьевъ. Народная жизнь отразилась въ произведеніяхъ Островскаго не извнутри, а извнѣ, и вся его личная писательская индивидуальность, при живости характера, при открытомъ, ясномъ, но черезчуръ трезвенномъ умѣ, при нѣкоторой добродушной флегматичности и расплывчатой сердечности, отличающей весь средній слой русскаго общества,—совершенно не подходила для роли

смѣлаго новатора въ какой-бы то ни было области искусства. Не нося въ душѣ настоящаго идейнаго огня, онъ не могъ быть, несмотря на прирожденный сатирическій талантъ, и вдохновеннымъ обличителемъ въ широкомъ, общечеловѣческомъ смыслѣ слова. Его юморъ игривъ, легокъ, свободенъ, но задѣваетъ и бичуетъ только то, что создано безобразными условіями исторіи что составляетъ колоритъ извѣстной страны и эпохи, и при новыхъ лучшихъ соціальныхъ обстоятельствахъ отпадаетъ, какъ омертвѣвшая кора. Его положительные идеалы, при всей ихъ безупречности съ точки зрѣнія ординарной добродѣтели, не переходятъ за границу нѣсколькихъ пошлыхъ правилъ узаконеннаго житейскаго кодекса. Его лучшіе герои не болѣе, какъ протестантствующіе мѣщане, надъ которыми какъ-бы витаетъ мечта автора объ утѣшительномъ союзѣ добродѣтели съ практическимъ благополучіемъ. Его сатирическое негодованіе противъ русской жизни основано на томъ, что эта жизнь не выливается въ правильныя и удобныя формы цивилизаціи, съ такими общепризнанными ея выраженіями, какъ тихая, безбурная семейственность и благонамѣренно-буржуазная гражданственность. Думать, что послѣ Гоголя, обнажившаго до корня всю пошлость пошлаго человѣка и тѣмъ самымъ показавшаго глубочайшія стремленія духа къ идеальному совершенству, новое вѣяніе могло быть внесено въ драматическое искусство произведеніями Островскаго—значитъ не ясно понимать, какими истинно вдохновенными способами прокладывается всякій новый путь въ художественномъ развитіи общества.

Былъ, впрочемъ, моментъ въ литературной дѣятельности Аполлона Григорьева, когда восторги его передъ Островскимъ какъ-бы нѣсколько поблѣднѣли. Можно допустить, что непосредственнымъ чутьемъ своей натуры, которая не лишена была артистической тонкости, онъ почувствовалъ внутреннюю неполноту въ его художественномъ творчествѣ. Освѣжающей волной прокатилось въ душѣ Аполлона Григорьева критическое сомнѣніе въ томъ, что это творчество захватываетъ всѣ элементы и силы народнаго духа. Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Страхову 1861 г. Аполлонъ Григорьевъ говоритъ о новой, готовящейся къ печати, драмѣ Островскаго съ нѣкоторою тревогою. Ни отъ кого, кромѣ Островскаго, этого «единственнаго и надежнаго столбового коновода» современной литературы, онъ не ждетъ изображенія положительныхъ сторонъ народнаго характера. По таланту Островскій, казалось-бы, долженъ справиться съ такой задачей. Однако, полной увѣренности въ томъ, что Островскій оправдаетъ всѣ его лучшія ожиданія, у Аполлона Григорьева на этотъ разъ не было. Чтобы новая драма изъ эпохи междуцарствія, народныхъ смутъ и политическихъ волненій—«Кузьма Мининъ»—была настоящимъ воплощеніемъ національной жизни, нужно, чтобы широкая земская стихія, плавно разливавшаяся въ его прежнихъ произведеніяхъ, сочета-

лась съ «тревожными, бродячими» элементами русской натуры. «Вотъ когда рука объ руку съ выраженіемъ коренастыхъ, крѣпкихъ, дубовыхъ началъ, пишетъ Аполлонъ Григорьевъ, пойдетъ и огненный, увлекающій порывъ иной силы—жизнь будетъ полна, и литература опять получитъ свое царственное значеніе. А этого, Богъ знаетъ, дождемся-ли мы? Шутка—чего я жду»!.. Новая драма Островскаго должна была показать тонкому критику, что, при «коренастыхъ, дубовыхъ» элементахъ, въ творчествѣ Островскаго недоставало идеальныхъ, «огненныхъ» порывовъ, безъ которыхъ литература не можетъ достигнуть тѣхъ вершинъ, на которыхъ она становится одновременно и народною, и общечеловѣческою.

Статьей объ Островскомъ въ 1855 году закончилась дѣятельность Аполлона Григорьева на страницахъ «Москвитянина»—почти одновременно съ прекращеніемъ издательской дѣятельности Погодина, длившейся цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ: Оставляя журнальное поприще, Погодинъ въ небольшомъ обращеніи къ публикѣ, написанномъ въ его обычномъ тонѣ, шероховатомъ, неметенымъ, по выраженію Герцена, слогомъ, считалъ своимъ долгомъ засвидѣтельствовать искреннюю благодарность и своимъ сотрудникамъ, и читателямъ. Онъ убѣжденъ, что усилія «Москвитянина» были не напрасны, что будущій безпристрастный историкъ отдастъ полную справедливость его стремленіямъ. Многія положенія, историческія и литературныя, говоритъ Погодинъ, сдѣлавшіяся теперь общими мѣстами въ журналахъ, были провозглашены въ «Москвитянинѣ», подвергались возраженіямъ и нападеніямъ всякаго рода и потому имѣли нужду «въ долгой, постоянной оборонѣ». Погодинъ вмѣняетъ себѣ въ заслугу, что «Москвитянинъ» одинъ только и твердилъ въ теченіе многихъ лѣтъ неумолчно о славянахъ [1]). Несомнѣнно, что если-бы Погодинъ сталъ при этомъ называть по именамъ своихъ заслуженныхъ соратниковъ послѣдняго періода, онъ долженъ былъ-бы выдвинуть на первое мѣсто Аполлона Григорьева, критическія статьи котораго, во всякомъ случаѣ, вносили живой духъ въ мертвенную доктринерскую программу этого журнала съ оттѣнкомъ патріотической казенщины.

III.

Въ двухъ статьяхъ, напечатанныхъ въ «Русской Бесѣдѣ» и «Библіотекѣ для чтенія», Аполлонъ Григорьевъ изложилъ свои основные взгляды на искусство и на задачу литературной критики. По силѣ теоретической мысли и смѣлости отдѣльныхъ опредѣленій, это — лучшія его работы и, можетъ быть, самое значительное изъ всего, что написано на эту общую тему въ русской журналистикѣ. Если-бы не нѣкоторая темнота и тяжело-

[1]) „Москвитянинъ“, 1855, VI, стр. 308—309.

вѣсность по существу талантливаго разсужденія, если-бы не какая-то прирожденная склонность къ небрежности стиля и разбросанности изложенія, которая только моментами носитъ слѣды напряженныхъ и вдохновенныхъ умственныхъ настроеній, статьи эти могли-бы выдержать сравненіе съ лучшими критическими изліяніями Бѣлинскаго. Несмотря на отсутствіе разсудочнаго анализа, эти широкія *думы* о художественномъ творчествѣ и настоящей критической дѣятельности должны быть отнесены къ истинно-философскимъ работамъ. Тонкимъ чутьемъ поэта и призваннаго критика Аполлонъ Григорьевъ постигаетъ самые трудные вопросы эстетики и, обладая огромною литературною начитанностью, не говоря уже о всестороннемъ знаніи старыхъ и новыхъ отдѣловъ русской словесности, онъ умѣетъ передавать широкое броженіе своихъ артистическихъ ощущеній сопоставленіемъ яркихъ литературныхъ образовъ, живыми параллелями между умственными эпохами разныхъ народностей. Среди волнующагося тумана, который стелется надъ его кипучими, но безпорядочными разсужденіями, вдругъ выступаютъ отдѣльные смѣлые и вѣрные афоризмы, скрѣпляющіе между собою разбросанныя тирады. Въ общемъ, статьи эти имѣютъ характеръ настоящаго критическаго канона, которому Аполлонъ Григорьевъ оставался вѣренъ до конца своей жизни. Его любовь къ литературѣ, его страстное поклоненіе свободному искусству отразились въ нихъ со всею оригинальностью его самобытной натуры. Но появившись въ самомъ разгарѣ реалистическихъ увлеченій общества, черезъ короткое время по напечатаніи «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности», разсужденія Аполлона Григорьева не должны были имѣть никакого успѣха. Не примыкая ни съ какой стороны къ современному движенію въ области эстетики и даже косвенно полемизируя съ Чернышевскимъ о значеніи искусства, Аполлонъ Григорьевъ въ рѣзкихъ выраженіяхъ отстаиваетъ самостоятельную роль поэтическаго творчества въ умственномъ развитіи общества и независимое положеніе литературной критики, чуждой публицистической задачи, но глубоко связанной съ идеальными теченіями самой жизни. Въ первой статьѣ онъ подробно останавливается на трехъ вопросахъ—о правдѣ въ искусствѣ, о связи искусства съ нравственностью и объ объективности художественнаго творчества, и по каждому изъ этихъ вопросовъ онъ даетъ настоящіе полновѣсные отвѣты, далеко опередившіе сознаніе прогрессивнаго общества того времени. Искренность и непосредственность, исключающія всякую натянутость и напряженность, являются необходимыми условіями для всякаго правдиваго воспроизведенія собственныхъ настроеній или настроеній другихъ людей. Художникъ ничего не заимствуетъ извнѣ, и каждый его живой образъ выростаетъ изъ зеренъ, лежащихъ въ его собственной душѣ. А тамъ, гдѣ художнику не достаетъ личныхъ ощущеній, поддающихся широкой переработкѣ, высту-

паетъ «великая сила отрицательнаго представленія», дополняющая внутренній опытъ художника. Искусство есть идеальное выраженіе жизни и потому художнику приходится прежде всего обращаться къ элементамъ своей собственной душевной дѣятельности, въ которой перерабатываются внѣшнія впечатлѣнія. На идеальномъ началѣ держится весь творческій процессъ, какъ на своей основной, непереходящей, вѣчной правдѣ. Въ этомъ происхожденіи искусства изъ идеальнаго источника уже дана неизбѣжная его связь съ высшими нравственными стремленіями человѣка. Чтобы содѣйствовать совершенству людей, искусство должно быть вѣрно своей собственной природѣ, ничему внѣшнему, никакимъ предписаніямъ временнаго, историческаго характера. Носитель умственнаго свѣта, истинный художникъ является представителемъ высшихъ нравственныхъ понятій окружающей его жизни. Искусство нравственно потому, что оно жизненно, потому, что оно непосредственно передаетъ въ лицахъ и образахъ тѣ вѣчныя, идеальныя начала, которыя служатъ мѣриломъ всякихъ общественныхъ и личныхъ понятій. Стремленіе къ правдѣ, къ органическому единству съ жизнью въ ея глубочайшихъ корняхъ и есть дѣятельная, нравственная стихія истиннаго искусства. Въ заключеніе первой статьи Аполлонъ Григорьевъ разсѣеваетъ нѣкоторыя недоразумѣнія относительно объективности художественнаго воспріятія. Въ каждомъ талантливомъ художникѣ должна быть способность чутко откликаться на всякое болѣе или менѣе значительное событіе и умѣнье мѣтко передавать его во всей его особенности, съ его цвѣтомъ и запахомъ. Проникая въ сущность явленій, поэзія даетъ имъ въ обратномъ теченіи къ внѣшнему міру правильное типическее выраженіе въ чувственной формѣ.

Высказывая эти вѣрныя и глубокія мысли, Аполлонъ Григорьевъ впадаетъ, однако, незамѣтно для самого себя, въ нѣкоторыя условности, не имѣющія истинно-философскаго характера. Нельзя не согласиться, что живой нервъ искусства—его правдивость, искренность, непосредственная простота. Но мужественно обличая фальшь всякой напряженности, оставляющей слѣды своего разрушительнаго вліянія «на чистой стали таланта», Аполлонъ Григорьевъ нѣсколько суживаетъ самый объемъ правды, доступной поэтическому воспріятію. Творчество есть, по его мнѣнію, выраженіе народной жизни, и потому коренныя нравственныя начала народнаго убѣжденія суть «неминуемо и коренныя начала художества». Истинный художникъ не въ силахъ и не долженъ выйти за черту того горизонта, который ограничиваетъ каждую народную индивидуальность. Настоящее искусство, говорилъ Аполлонъ Григорьевъ черезъ четыре года послѣ напечатанія разбираемой нами статьи «О правдѣ и искренности въ искусствѣ», было и будетъ всегда народное, демократическое въ философскомъ смыслѣ этого слова. «Искусство воплощаетъ въ образы, въ идеалы сознаніе массы. Поэты суть голоса массъ, народ-

ностей, мѣстностей, глашатаи великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя служатъ ключомъ къ уразумѣнію эпохъ—организмовъ во времени, и народовъ—организмовъ въ пространствѣ». Въ этомъ разсужденіи правда въ искусствѣ сведена къ народной, національной правдѣ, которая, во всякомъ случаѣ, есть только ограниченное выраженіе вѣчной общечеловѣческой правды. Гуманная любовь къ массамъ, въ которыхъ, дѣйствительно, пробѣгаетъ иногда широкое, почти стихійное дуновеніе возвышенныхъ надеждъ и мечтаній, перемѣшана здѣсь съ безсознательнымъ пристрастіемъ къ яркому индивидуальному, мѣстному колориту, выдѣляющему каждую народность, какъ что-то самобытное, цѣльное, поэтически-законченное. Но настоящая правда искусства, при неизбѣжномъ національномъ колоритѣ художественнаго воплощенія, скрыта въ тѣхъ глубинахъ жизни, куда уже не проникаетъ ограничительное вліяніе народной индивидуальности. Фанатическій защитникъ народной идеи не только въ жизни и искусствѣ, но даже и въ наукѣ, Аполлонъ Григорьевъ отказываетъ художнику въ способности перевоплощенія, въ способности схватывать духъ чуждой народной жизни. А между тѣмъ, искусство, развиваясь изъ идеальныхъ началъ, является откровеніемъ именно тѣхъ истинъ, которыя по самой своей природѣ могутъ и должны быть общечеловѣческими истинами. Все идеальное, вѣчное, возвышенное можетъ быть національнымъ только по формѣ, по манерѣ выраженія. И чѣмъ болѣе искусство проникается этими идеальными началами въ ихъ самомъ чистомъ видѣ, безъ всякой случайной примѣси мѣстныхъ, ограничительныхъ, уродливыхъ предразсудковъ, тѣмъ болѣе свѣтлѣетъ его природа, тѣмъ болѣе оно приближается къ символу всеобъемлющей неизмѣнной истины, тѣмъ болѣе оно сродняется съ глубочайшими религіозными настроеніями человѣческой души. По ошибочному мнѣнію Аполлона Григорьева, «отношеніе искусства къ высшему мѣрилу нравственности никогда не можетъ быть непосредственнымъ, а проходитъ черезъ жизнь». А между тѣмъ, связь искусства съ религіей, со всѣми чисто духовными идеями и понятіями, можетъ быть только внутренней и не зависитъ ни отъ какихъ внѣшнихъ, прорытыхъ исторіей, путей и каналовъ. Будучи проявленіемъ основной творческой силы, поэтическое и религіозное сознаніе сливаются въ одномъ настроеніи, въ одномъ экстазѣ, который въ обращеніи къ внѣшнему міру мы называемъ экстазомъ красоты, а въ обращеніи къ міру идеальному—экстазомъ религіозной истины.

Во второй статьѣ, написанной черезъ два года, Аполлонъ Григорьевъ смѣло защищаетъ самостоятельность критической задачи и противъ чистыхъ эстетиковъ и противъ тѣхъ, кого онъ называетъ теоретиками. Эстетиковъ онъ обвиняетъ въ непониманіи основныхъ свойствъ творческаго процесса, въ пристрастіи къ техническимъ мелочамъ, составляю-

щимъ только внѣшнюю сторону дѣла. Ихъ разсужденія, говоритъ онъ, безполезны для художниковъ, которые отъ природы одарены чувствомъ красоты и мѣры, и совершенно не нужны для массы, чуждой спеціальныхъ интересовъ внѣшняго исполненія. Взгляды теоретиковъ, порабощающихъ искусство временнымъ задачамъ, Аполлонъ Григорьевъ называетъ варварскимъ порожденіемъ какого-то яростнаго тупоумія. Отдавая имъ преимущество передъ диллетантами, онъ тѣмъ не менѣе не можетъ не отрицать ихъ деспотическаго обращенія съ литературными явленіями и фактами. Въ искусствѣ открывается смыслъ жизни и потому его воздѣйствіе на исторію человѣчества тѣмъ сильнѣе, глубже, чѣмъ совершеннѣе его созданія, чѣмъ полнѣе художественная красота его произведеній. Нельзя сложить ни одного поэтическаго образа механическимъ сочетаніемъ какихъ-нибудь внѣшнихъ элементовъ—эти образы зрѣютъ и рождаются въ душѣ художника и, какъ все живое, какъ все, одѣтое плотью и кровью, никогда не теряетъ своей внутренней связи съ прошедшими состояніями жизни. Вотъ почему истинный критикъ, обнаруживая внутреннее содержаніе поэтическаго произведенія, долженъ войти въ самое широкое изученіе того, что въ немъ есть творящаго, идеальнаго, жизненнаго.. Распространяя свѣтъ и тепло, таящіеся въ созданіяхъ искусства, онъ тѣмъ самымъ принимаетъ на себя обязанность изслѣдовать законы, по которымъ возникаютъ и развиваются идеальныя силы художника. Коренясь въ жизни, искусство можетъ быть истолковано только на основаніи жизни. Аполлонъ Григорьевъ дѣлаетъ въ этой статьѣ нѣкоторую существенную поправку къ тому, что было имъ сказано раньше объ исторической критикѣ. Если прежде онъ горячо отстаивалъ ея права, то теперь, шире разсмотрѣвъ поле ея дѣйствій, духъ и цѣль ея главныхъ стремленій, онъ считаетъ необходимымъ сдѣлать рядъ оговорокъ, внести въ свои разсужденія новый элементъ, видоизмѣняющій всю постановку вопроса. Испугавшись грандіозныхъ выводовъ гегелевской философіи и склоняясь къ міровоззрѣнію Шеллинга, онъ вдругъ объявляетъ себя противникомъ «историческихъ воззрѣній» и убѣжденнымъ поборникомъ «историческаго чувства». Сдѣлавъ исторію теоретическимъ мѣриломъ значительности тѣхъ или другихъ явленій въ жизни или литературѣ, мы забываемъ, что идеальное начало не развивается, существуетъ отъ вѣка, управляетъ судьбами людей, но само не подчиняется никакимъ случайнымъ обстоятельствамъ. Въ основѣ всѣхъ историческихъ воззрѣній лежитъ нравственное безразличіе, соединенное съ нѣкоторымъ фатализмомъ. Народы, лица, міровыя событія, разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія, являются какими-то слѣпыми орудіями отвлеченной идеи, преходящими, призрачными формами стихійныхъ силъ, вѣчно мѣняющихся, несущихся невѣдомо откуда, невѣдомо куда. Истори-

ческое чувство дѣйствуетъ въ насъ помимо нашихъ теоретическихъ воззрѣній, проникаетъ всѣ наши созерцанія, возбуждаетъ въ насъ вѣру въ единое, вѣчное начало и, само по себѣ, есть ничто иное, какъ нѣкоторое сознаніе цѣльности человѣческой души, органической связи ея со всѣми процессами жизни. Оно возвращаетъ народамъ и лицамъ ихъ самобытную физіономію и разбиваетъ кумиръ отвлеченнаго духа человѣчества. Оно является хранителемъ неизмѣнныхъ человѣческихъ идеаловъ вопреки историческимъ теоріямъ, для которыхъ нѣтъ ничего постояннаго, прочнаго, вѣчнаго. Безъ историческаго чувства исторія есть только безсмысленное мельканіе китайскихъ тѣней. Отрицая историческое чувство, мы осуждаемъ искусство на раболѣпное служеніе всякой жизни. Сдѣлавъ эти общія замѣчанія, Аполлонъ Григорьевъ собираетъ въ одну систему главные выводы своихъ разсужденій. Провозгласивъ, что искусство есть органъ идеальной жизни человѣчества, онъ, совершенно послѣдовательно и согласно съ общимъ духомъ идеалистической философіи, ставитъ слѣдующія теоретическія положенія. *Во-первыхъ*, каждое искусство судится съ точки зрѣнія идеала жизни, а не явленій ея. Какъ человѣческое дѣло, оно отражаетъ въ идеальномъ просвѣтленіи только то, что даетъ и можетъ дать сама жизнь. Но будучи лучшимъ изъ человѣческихъ дѣлъ, руководимое въ своемъ творчествѣ критеріемъ неизмѣннаго и вѣчнаго, оно господствуетъ надъ жизнью, усваивая къ ней то или другое отношеніе, смотря по тому, какъ она сама относится къ общему и неизмѣнному закону человѣческаго развитія. *Во-вторыхъ*, всякое творчество писателя есть результатъ внутренняго побужденія передать въ образахъ его личныя созерцанія и убѣжденія. Что-бы онъ ни выражалъ, онъ выражаетъ только самого себя. Что-бы онъ ни созерцалъ, онъ созерцаетъ не иначе, какъ черезъ призму своего внутренняго міра. *Въ-третьихъ*, не говоря ничего намѣренно, произведенія искусства, какъ живыя порожденія своихъ творцовъ и извѣстной умственной эпохи, воплощаютъ въ себѣ то, что есть въ окружающемъ обществѣ дѣятельнаго, разъясняютъ смутные вопросы современности, часто предугадываютъ событія будущаго. Все новое вносится въ жизнь только искусствомъ. Оно одно воплощаетъ въ своихъ созданіяхъ то, что невидимо присутствуетъ въ воздухѣ. Оно слышитъ приближеніе новыхъ стремленій и вѣяній, какъ птицы заранѣе чувствуютъ грозу или ясную погоду. *Въ-четвертыхъ*, въ мірѣ искусства есть такія-же допотопныя образованія, какъ и въ мірѣ органическомъ. До своего полнаго художественнаго выраженія мысль проходитъ разныя стадіи и потомъ только отливается въ цѣльную, соразмѣрную, живую и жизнеспособную форму. *Въ-пятыхъ*, наконецъ, когда искусство облекаетъ плотью и кровью идею, которая раньше носилась только какъ смутное вѣяніе эпохи, оно создаетъ при этомъ образецъ красоты идеальной, обаятельно привлекающій къ себѣ всѣ со-

чувствія, подчиняющій себѣ съ деспотическою силою всѣхъ чуткихъ и мыслящихъ людей... Представивъ такимъ образомъ различіе между историческимъ чувствомъ и историческимъ воззрѣніемъ, Аполлонъ Григорьевъ въ послѣдній разъ указываетъ на ошибки исторической критики. Настоящая критика, говоритъ онъ, должна понимать, что художественныя произведенія суть голоса жизни, что въ созданіяхъ искусства открываются великія тайны міра души и міра народныхъ организмовъ. Искусство есть идеальное откровеніе, и вотъ почему историческая критика впала въ грубую ошибку, принявъ жизнь, какъ *явленіе*, за норму искусства. «Такое отношеніе критики къ искусству, съ нѣкоторой ироніей замѣчаетъ Аполлонъ Григорьевъ, не похоже даже на отношеніе слѣпца къ слѣпцу: нѣтъ, тутъ слѣпой хочетъ вести зрячаго». Искусство и критика подчиняются общему принципу: одно есть отраженіе идеальнаго, другое—разъясненіе отраженія по законамъ, которые извлекаются не изъ самого отраженія, всегда, какъ явленія, болѣе или менѣе ограниченнаго, а изъ сущности самого идеальнаго. «Между искусствомъ и критикой есть органическое родство въ сознаніи идеальнаго, и критика поэтому не можетъ и не должна быть слѣпо-историческою, а должна быть столь-же органическою, какъ само искусство». Критика есть анализъ тѣхъ-же идеальныхъ законовъ жизни, которые въ синтетическомъ творческомъ процессѣ художника облекаются плотью и кровью.

Вотъ тѣ соображенія, которыя мы назвали критическимъ канономъ Аполлона Григорьева. Онъ защищаетъ искусство противъ *теоретиковъ* исторіи, выдвигая при этомъ «чувство исторіи», какъ самостоятельную, организующую силу. Онъ борется съ представителями чистой эстетики, упрекая ихъ въ диллетантизмѣ. Утилитарному взгляду на искусство онъ противопоставляетъ свою собственную теорію органической критики, съ ея непосредственнымъ анализомъ творческаго процесса по высшему идеальному закону. Въ этихъ мысляхъ проглядываетъ смѣлое отношеніе къ собственной литературно-критической задачѣ и тонкое артистическое пониманіе поэзіи въ ея различныхъ видахъ. Но будучи безусловно правъ въ своихъ сдержанныхъ и мѣткихъ нападеніяхъ на узкій утилитаризмъ современной ему эстетики, поднимаясь на высоту истинно-философской мысли въ своихъ указаніяхъ на то, что никакія явленія жизни не могутъ быть критеріемъ при сужденіяхъ объ искусствѣ, Аполлонъ Григорьевъ въ своемъ провозглашеніи,—какъ новаго критическаго начала,—чувства исторіи опять сбивается на узкую дорогу. Въ этомъ пренебреженіи ко всякимъ теоріямъ по отношенію къ искусству, къ жизни, въ этомъ преклоненіи передъ чувствомъ исторіи, какъ передъ хранилищемъ народныхъ особенностей и преданій, въ этомъ увѣренномъ отрицаніи «отвлеченнаго духа человѣчества» во имя самобытнаго духа отдѣльныхъ народовъ, сказалась типическая натура Аполлона Григорьева,—съ преоблада-

ніемъ нѣсколько неопредѣленныхъ, но поэтически увлекательныхъ настроеній надъ всѣмъ, что является результатомъ строго-умственной, отвлеченной работы, съ убѣжденіемъ, что чувство лучше ума исполняетъ чисто познавательную работу, что самыя общія истины должны имѣть индивидуальный характеръ извѣстной народности. Но отрицая за разумомъ его неоспоримое, ему одному принадлежащее значеніе, Аполлонъ Григорьевъ не видитъ, что онъ лишаетъ при этомъ душевную жизнь отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ народовъ того разумнаго свѣта, который, проникая ощущенія, чувства и настроенія самой различной природы, даетъ единство всякому внутреннему процессу, связываетъ прошедшее съ настоящимъ и будущимъ, обнимаетъ, какъ нѣчто цѣлое, всѣхъ разбросанныхъ и разрозненныхъ представителей человѣческой породы. Именно это отрицаніе разума, какъ всеобщей основы въ духовной жизни людей, привело Аполлона Григорьева къ ошибочному пониманію той живой стихіи, которая, сливая въ себѣ всѣ оттѣнки народныхъ темпераментовъ, какъ бѣлый лучъ сливаетъ въ себѣ всѣ цвѣта радуги, представляетъ несомнѣнное реальное единство и называется отвлеченнымъ именемъ человѣчества. И эта ошибка, характерная для Аполлона Григорьева, какъ для русскаго мыслителя, имѣла роковое значеніе для всѣхъ его литературныхъ сужденій, загнала его критическій талантъ, при всей его силѣ и сочности, на какую-то узкую тропинку, уводящую прочь отъ столбовой дороги прогрессирующаго человѣчества въ глушь и сумракъ почвенныхъ симпатій и провинціальныхъ идеаловъ...

Каждая новая теорія ищетъ для себя новыхъ словъ, которыя должны передать ея главныя, принципіальныя положенія. Мысль, возникшая въ сознаніи, расходясь съ общепринятыми мнѣніями и взглядами, облекается новыми формами, чтобы и внѣшнимъ образомъ не слиться съ распространенными въ обществѣ умственными настроеніями и симпатіями. Удачное литературное выраженіе органически выростаетъ изъ своего содержанія, и нѣтъ такой оригинальной мысли, которая выступала-бы въ банальныхъ фразахъ, въ затертыхъ сочетаніяхъ словъ. Аполлонъ Григорьевъ, желая какъ можно ярче отчеканить свое представленіе о задачахъ и методахъ органической критики, разсыпалъ въ своихъ статьяхъ цѣлый рядъ своеобразныхъ выраженій, которыя обратили на себя въ то время вниманіе въ литературныхъ кругахъ. Не разбирая его убѣжденій по существу, разные придирчивые журналисты налетѣли на отдѣльныя яркія и оригинальныя фразы его статей, какъ ночныя бабочки и комары, разсѣянные въ темнотѣ, налетаютъ на огонь свѣчи. Если нельзя сразу обратить въ ничто человѣка, выступающаго въ качествѣ протестанта на литературномъ поприщѣ, то его можно сдѣлать смѣшнымъ въ глазахъ читающей публики, ловко выхвативъ изъ его статей нѣсколько выраженій, имѣющихъ смыслъ только въ связи съ общимъ теченіемъ его раз-

сужденій. Можно поддѣть серьезнаго писателя въ пустякахъ и поиграть передъ публикой, съ паяснческимъ остроуміемъ, бойкой карикатурой на непонятую мысль. Такъ поступили и съ Аполлономъ Григорьевымъ. Въ его талантливыхъ статьяхъ журналисты другихъ партій разглядѣли только тѣ опредѣленія и эпитеты, которые не были приняты до него въ обществѣ. Аполлонъ Григорьевъ любитъ нѣкоторыя слова и одни выраженія, имъ самимъ придуманныя, почему то предпочитаетъ другимъ. Въ моменты наибольшаго подъема его критическаго дарованія, онъ никогда не блеснетъ передъ глазами такою фразою, за которою уже установлена опредѣленная репутація въ прогрессивномъ лагерѣ. Онъ пользуется своимъ лексикономъ, болѣе или менѣе удачно приспособленнымъ для передачи его теоріи органической критики. Повсюду у него попадаются объясненія, гдѣ говорится объ умственныхъ *вѣяніяхъ* (тогда это слово, ставшее теперь весьма употребительнымъ, казалось новымъ, страннымъ и крайне метафизичнымъ), о *допотопныхъ* формаціяхъ въ области литературнаго творчества, о *растительной* народной поэзіи, которая коренится въ почвѣ, изъ нея выходитъ, около нея вьется. Нѣкоторыя изъ его новыхъ выраженій, какъ менѣе удачныя, могли показаться неясными, мало понятными, но зато другія, какъ это было справедливо отмѣчено Аверкіевымъ въ некрологѣ Аполлона Григорьева, отличались рельефностью или картинностью. Однако, среди враждебныхъ журналистовъ не нашлось ни одного человѣка, который оцѣнилъ-бы по достоинству талантливыя страницы, отмѣченныя печатью вдохновенія и выдѣлявшіяся между критическими произведеніями того времени своею несомнѣнною литературностью и содержательностью. «Современникъ», который за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ напечаталъ стихотворную поэму Аполлона Григорьева «Venezia la bella», помѣщаетъ о немъ въ апрѣльской книгѣ 1859 г., въ отдѣлѣ «Свистокъ», маленькую комическую замѣтку. Скрывъ усмѣшку, авторъ въ серьезномъ тонѣ разсказываетъ о томъ, что Аполлонъ Григорьевъ занимается изслѣдованіемъ о *допотопномъ* значеніи Лажечникова. Еще трудно, конечно, сдѣлать опредѣленное заключеніе о содержаніи и смыслѣ его изысканій, но самая новость и необычайность предмета должны возбудить любопытство публики. «Результаты, добытые Григорьевымъ въ этомъ удивительномъ вопросѣ, говорится въ заключеніе, не преминемъ сообщить читателямъ, а до тѣхъ поръ просимъ и ихъ самихъ вдуматься въ необычайность открытія о значеніи Лажечникова *до потопа*». Эта насмѣшка была пущена въ публику по поводу нѣсколькихъ, не вполнѣ удачныхъ фразъ въ статьѣ Аполлона Григорьева, напечатанной въ мартовской книгѣ «Русскаго Слова» 1859 г. Рисуя Лажечникова русскимъ романтикомъ, критикъ обмолвился слѣдующей фразою: «Допотопное значеніе Лажечникова, писалъ Аполлонъ Григорьевъ, будетъ особенно ясно, когда я буду говорить о народности и объ отно-

шеніи къ ней критическаго сознанія». Однако, нисколько не смутившись безвреднымъ на этотъ разъ юморомъ «Свистка», Аполлонъ Григорьевъ отвѣтилъ «Современнику» въ майской книгѣ «Русскаго Слова» небольшою статьею «о законахъ и терминахъ органической критики». Онъ сознаетъ всѣ недостатки употребляемыхъ имъ выраженій. Ища новыхъ формулировокъ, онъ по необходимости хватается за всякое свѣжее слово, если оно ему кажется типичнымъ значкомъ для его мысли, если въ немъ есть рѣзкій оттѣнокъ его личнаго убѣжденія. Именно теорія органической критики подсказываетъ ему такія выраженія, какъ вѣяніе эпохи, допотопный талантъ, растительная поэзія народныхъ пѣсенъ и др.— выраженія, вполнѣ соотвѣтствующія его идеально-артистическому взгляду на искусство. Онъ говоритъ о вѣяніяхъ, потому что каждая мысль раньше, чѣмъ принять солидный характеръ законченнаго факта, раньше, чѣмъ сложиться въ цѣльную органическую силу, носится, вѣетъ въ воздухѣ, возбуждая тонкіе нервы, производя легкое, чуть замѣтное трепетанье чувствъ, мыслей, идей, подобно тому, какъ еще не наступившая, но приближающаяся гроза вызываетъ тревожный, чуть слышный трепетъ и шелестъ листьевъ на еще неподвижныхъ деревьяхъ. Онъ говоритъ о допотопныхъ талантахъ, конечно, фигурально и, по его собственному признанію, быть можетъ—не совсѣмъ удачно, чтобы намекнуть на то, что жизнь литературы имѣетъ свои омертвѣлые пласты подобно тому, какъ органическая жизнь земли имѣетъ свои законченныя, затвердѣвшія, неповторяющіяся геологическія формаціи. О растительной поэзіи народнаго творчества Аполлонъ Григорьевъ распространяется съ полнымъ убѣжденіемъ, что этими словами онъ рисуетъ предметъ своей мысли наиболѣе близкими, подходящими словами и фразами. Народное творчество безлично, безъискусственно, зарождается неизвѣстно когда и гдѣ, живетъ, какъ растеніе, поднимаясь отъ земли, какъ ея музыка, какъ ея тоскующій или радостный голосъ. Вся эта терминологія неотдѣлима отъ его общихъ философскихъ понятій, отъ его кореннаго убѣжденія, что духовныя силы міра живутъ настоящею органическою жизнью — въ пластическихъ, чувственныхъ формахъ природы. Это убѣжденіе онъ раздѣляетъ съ Тютчевымъ, при чемъ они оба слѣдуютъ за ихъ учителемъ Шеллингомъ. Полное разъясненіе излюбленныхъ ими образовъ и словъ завело-бы его въ бездну чисто философскихъ трудностей, съ которыми сопряженъ научный вопросъ о смыслѣ и значеніи утилитаризма и идеализма.

Черезъ пять лѣтъ, въ годъ своей смерти, Аполлонъ Григорьевъ довершилъ свои разсужденія на эту тему двумя письмами на имя Ѳ. Достоевскаго, подъ названіемъ «Парадоксы органической критики». Уже дойдя до послѣднихъ степеней полемическаго раздраженія противъ господствующей школы публицистической критики, воздавая должное природному таланту Писарева, но едва скрывая свое негодованіе противъ

уродливыхъ критическихъ пріемовъ Зайцева, онъ вновь заявляетъ себя непримиримымъ врагомъ всякой разсудочности въ пониманіи и объясненіи литературныхъ и жизненныхъ явленій. Все, что выростаетъ изъ «голо-логическаго процесса», возбуждаетъ его глубочайшую вражду. Онъ смѣется, съ оттѣнкомъ болѣзненной лихорадочности, надъ русскими либеральными «теоретиками», которые съ помощью «пяти умныхъ книжекъ» стараются захватить въ сухую и бездушную формулу цѣлый океанъ событій и фактовъ высшаго духовнаго порядка. Жизнь есть нѣчто таинственное, восклицаетъ онъ,—бездна, поглощающая всякій конечный разумъ, необъятная ширь, въ которой исчезаютъ, какъ волны въ морѣ, всѣ логическіе выводы отдѣльныхъ головъ. «Жизнь есть нѣчто даже ироническое, а вмѣстѣ съ тѣмъ полное любви въ своей глубокой иронiи, изводящее изъ себя міры за мірами». Таково въ общихъ словахъ основное міросозерцаніе Аполлона Григорьева. Желая указать, кромѣ пособій, служившихъ ему при выработкѣ отдѣльныхъ взглядовъ, тѣ общія литературныя явленія, которыя поддерживали и развивали въ немъ этотъ органическій взглядъ на творчество жизни и искусства, онъ называетъ сочиненія Шеллинга, во всѣхъ фазисахъ его философской дѣятельности,—эту «исходную, громадную руду органической критики», нѣкоторыя сочиненія Карлейля, Эмерсона, Ренана и—изъ русскихъ писателей—Хомякова.

Въ такихъ словахъ Аполлонъ Григорьевъ даетъ представленіе о той новой теоріи органической критики, которую онъ защищаетъ противъ критики чисто эстетической и утилитарной критики «Современника» и «Русскаго слова». Его пониманіе искусства основано на идеально-артистическомъ взглядѣ, при которомъ за литературнымъ творчествомъ признается совершенно самостоятельное, независимое положеніе среди другихъ формъ умственной дѣятельности общества. Утверждая, что искусство есть отраженіе идеальной жизни, какъ она выступаетъ на почвѣ народнаго быта. Аполлонъ Григорьевъ дѣлаетъ при этомъ естественный выводъ, что критика искусства должна открывать законы этого отраженія посредствомъ анализа идеальныхъ силъ и стремленій человѣка. Искусство должно быть народнымъ, и критика искусства должна быть философіею народныхъ особенностей и воззрѣній, воплощенныхъ въ наиболѣе яркихъ типическихъ проявленіяхъ. Въ эпоху, которая представляла въ области эстетики какое-то хаотическое броженіе публицистическихъ элементовъ, не дававшихъ никакого правильнаго критерія для пониманія литературныхъ явленій, эта теорія Аполлона Григорьева оказывается единичнымъ свѣтлымъ фактомъ, возбуждающимъ живой интересъ при историческомъ изученіи русскаго критическаго самосознанія, начиная съ Надеждина и Бѣлинскаго. При всѣхъ своихъ недостаткахъ, она показала истинно литературное отношеніе къ задачамъ творчества, поставивъ его въ зависимость отъ вѣчныхъ законовъ чело-

вѣческаго развитія. Аполлонъ Григорьевъ называетъ свою точку зрѣнія на искусство идеально-артистической и тѣмъ самымъ намѣчаетъ программу такихъ сужденій, которыя не укладываются ни въ какую условную рамку, которыя не могутъ носить характера исторической или этнографической ограниченности. Артистическій элементъ въ міровоззрѣніи Аполлона Григорьева не возбуждаетъ никакихъ теоретическихъ сомнѣній, потому что искусство есть, въ самомъ дѣлѣ, вполнѣ самостоятельная сфера, которая соприкасается съ жизнью въ ея наиболѣе изящныхъ выраженіяхъ. Быть артистомъ въ области литературной критики—это значитъ легко, непосредственно, непринужденно улавливать красоту въ произведеніяхъ искусства, отдаваться ея обаянію, трепетать отъ ласкающаго, играющаго прикосновенія ея безплотныхъ образовъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что Аполлонъ Григорьевъ былъ артистомъ именно въ этомъ смыслѣ слова—быть можетъ, даже въ большей степени, чѣмъ Бѣлинскій, у котораго проповѣдническая страсть превращалась въ упорную тенденцію, отнимая у его эстетическихъ воспріятій чисто артистическую легкость, гибкость и непосредственность. Разсматривая какое нибудь художественное произведеніе, Аполлонъ Григорьевъ, среди романтическаго бреда своихъ національныхъ идей, среди нѣсколько неуклюжей, тяжеловѣсной полемики противъ разныхъ встрѣчныхъ теченій, способенъ иногда отмѣтить нѣсколькими живописными словами какую-нибудь характерную поэтическую черту, воспроизвести передъ читателемъ какую нибудь типичную деталь съ легкой дрожью минутнаго нервнаго наслажденія. Онъ любитъ литературу съ полной беззавѣтностью, считаетъ ее высшимъ изъ земныхъ дѣлъ человѣка. Въ своемъ взглядѣ на искусство онъ самъ указываетъ на идеальный элементъ, но справедливость требуетъ сказать, что именно эта идеальная сторона его міровоззрѣнія разработана въ его статьяхъ безъ надлежащей умственной силы и послѣдовательности. Аполлонъ Григорьевъ не видѣлъ той границы, которая раздѣляетъ два принципіально различныхъ понятія—идеальнаго и индивидуальнаго. Онъ не сознаетъ противоположности ихъ природы, ибо онъ постоянно вноситъ—по явному логическому недоразумѣнію—разсужденія объ индивидуальности въ ту область, гдѣ господствуетъ метафизическій принципъ всемірности, всечеловѣчности, безличныхъ стремленій вѣчнаго, всеобъемлющаго духа. Все идеальное имѣетъ, по самому своему существу, общій характеръ и только въ чувственномъ, эмпирическомъ воплощеніи облекается индивидуальными формами, носящими названіе человѣческой личности, расоваго темперамента или народнаго характера. Вотъ почему всѣ коренные процессы умственной жизни, разсматриваемые извнутри, въ своемъ логическомъ содержаніи, не могутъ видоизмѣняться сообразно съ индивидуальными особенностями личной или народной натуры. Развиваясь по опредѣленнымъ, внутренно необхо-

димымъ путямъ, законы логики, а съ ними и всѣ идеальные принципы человѣческой дѣятельности лишены той цвѣтной художественной окраски, которая и въ предѣлахъ самого искусства никогда не имѣла и не можетъ имѣть первостепеннаго значенія. Если искусство есть откровеніе идеальныхъ требованій человѣческаго духа, то его главное, существенное содержаніе—то, что живетъ въ немъ съ наибольшей устойчивостью, никогда не стояло въ зависимости отъ какихъ нибудь чисто народныхъ симпатій и, выступая въ произведеніяхъ литературы подъ масками различныхъ племенъ, культуръ и бытовыхъ типовъ, не теряло своего внутренняго единства, своей неразрывной связи съ міромъ отвлеченныхъ, безличныхъ идеаловъ. Разсужденія Аполлона Григорьева о народности, какъ о высшемъ законѣ поэтическаго творчества, имѣютъ поверхностный характеръ, несмотря на всю серьезность его выстраданныхъ и всегда взволнованныхъ убѣжденій. Когда онъ въ тонѣ пренебрежительной насмѣшки говоритъ о несостоятельности всякихъ космополитическихъ понятій, когда онъ борется съ идоломъ абстрактнаго человѣчества во имя простыхъ и цѣльныхъ народныхъ организмовъ, онъ измѣняетъ тому идеальному началу, той логической формулѣ, которую онъ самъ-же написалъ на знамени органической критики. Эта органическая критика сводится, въ его изложеніи, къ критикѣ чисто исторической, которую онъ въ другомъ мѣстѣ отвергаетъ, какъ одностороннюю и неглубокую. Выставивъ идеально-артистическую теорію искусства, Аполлонъ Григорьевъ долженъ былъ расширить свое понятіе о задачахъ художественной критики, долженъ былъ придать ей характеръ чисто философскаго анализа. Критика должна быть не органическою, а философскою. Будучи таковою, она неизбѣжно захватываетъ въ свои предѣлы и вопросы соціологическіе, считается, какъ съ условіями творчества, и съ разнообразіемъ народныхъ индивидуальностей, и съ законами исторической эволюціи, и съ личными особенностями темпераментовъ, и даже съ біографическими обстоятельствами писателей, но ея основные критеріи, ея душа, ея цѣли никогда не теряютъ своего идеальнаго, общечеловѣческаго характера. Все условное, индивидуальное, историческое измѣняется и разрушается, но идеальное безсмертно по своей природѣ. Оно именно одухотворяетъ лучшія созданія искусства, какъ выраженіе вѣчныхъ началъ человѣческой души, и оно-же создаетъ нерушимое основаніе для критики, какъ для науки объ искусствѣ, о законахъ творчества и законахъ красоты.

IV.

Общія мысли Аполлона Григорьева въ примѣненіи къ живымъ фактамъ литературы обнаружили и не могли не обнаружить свою ограниченность. Органическая критика, съ ея единственнымъ закономъ—народности, оказалась безсильною представить полную и обстоятельную

характеристику важнѣйшихъ явленій русскаго искусства. Въ рядѣ обширныхъ статей о русской литературѣ со времени Пушкина, о западничествѣ въ русской литературѣ, о Бѣлинскомъ и нѣкоторыя другія, напечатанныя въ «Русскомъ Словѣ», «Времени» и «Эпохѣ», мы постоянно встрѣчаемся съ разсужденіями, выраженными съ обычнымъ одушевленіемъ, но вводящими читателя въ предметъ критическаго изслѣдованія только съ одной извѣстной стороны. Аполлонъ Григорьевъ изучаетъ развитіе народнаго начала въ явленіяхъ русской литературы. Принципомъ народности, т. е. степенью выразительности народнаго характера, опредѣляется у него художественный вѣсъ всякаго поэтическаго произведенія, иногда вопреки его исторической цѣнности. Между литературными дѣятелями прошедшаго времени онъ считаетъ Пушкина наиболѣе полнымъ воплощеніемъ русской народной стихіи, поэтомъ, откликавшимся на всѣ вѣянія европейской жизни, съ чувствомъ такта и мѣры, свойственнымъ, какъ онъ полагаетъ, преимущественно русской натурѣ. Эта мысль о Пушкинѣ проходитъ черезъ всѣ его статьи, иногда прорываясь въ прекрасныхъ, художественныхъ выраженіяхъ, которыя останутся въ литературѣ, какъ наиболѣе вѣрная обрисовка нѣкоторыхъ моментовъ дѣятельности Пушкина. Онъ разсматриваетъ дальнѣйшее движеніе и развитіе Пушкинскаго міровоззрѣнія въ созданіяхъ Гоголя, Тургенева, Писемскаго, даже Толстого, но самого Пушкина онъ постоянно поднимаетъ надъ всѣмъ русскимъ творчествомъ, какъ свѣтящійся маякъ надъ мятежными волнами русскаго искусства. Никакая характеристика не отличается у него такою силою и мѣткостью, какъ страстная, хотя и односторонняя характеристика Пушкина. Съ этимъ именемъ связаны для Аполлона Григорьева самые привлекательные идеи и образы, которые онъ постоянно выдвигаетъ впередъ при изученіи того или другого литературнаго вопроса. Но при всей искренности и значительности этихъ симпатій Аполлона Григорьева, нельзя не видѣть, что онъ изучаетъ Пушкина подъ узкимъ угломъ зрѣнія, что, подчеркивая исключительно національный характеръ Пушкинской поэзіи, онъ при этомъ не указываетъ тѣхъ путей, которые соединяютъ ее съ искусствомъ другихъ народовъ, съ общечеловѣческими началами творчества и міровыми художественными идеями. Въ Пушкинѣ русское искусство, въ самомъ дѣлѣ, впервые пріобрѣло значеніе міроваго факта, потому что элементы національной жизни, схваченные во всей ихъ типичности и колоритности, очистились подъ его перомъ отъ случайныхъ наслоеній и приняли форму, родственную всему прекрасному и возвышенному. Какъ откровеніе народнаго темперамента въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, Пушкинская поэзія достигла въ его произведеніяхъ такого совершенства, которое уже не можетъ имѣть какого нибудь спеціальнаго, мѣстнаго значенія. Это красота, выросшая на извѣстной почвѣ, проникнутая тоскою народныхъ настроеній, но нѣву-

чая, гармоничная, стройная до степени всемірной общепонятности... Аполлонъ Григорьевъ послѣдовательно выдерживаетъ свой взглядъ на Пушкина, вполнѣ сознавая его непреходящее значеніе. Но, разбирая иногда отдѣльные его образы, слѣдя за смѣною различныхъ періодовъ его дѣятельности, Аполлонъ Григорьевъ не выясняетъ при этомъ никакихъ эстетическихъ истинъ, которыя легко выступаютъ при анализѣ именно совершенныхъ созданій искусства. Вращаясь въ извѣстномъ узкомъ кругу, мысль его, точно загипнотизированная, держится все время за одинъ и тотъ-же предметъ, не отходя отъ него и все къ нему притягивая съ томительнымъ напряженіемъ извнѣ поставленной тенденціи. Огромный психологическій матеріалъ, какъ драгоцѣнная руда, разсыпанный въ Пушкинскихъ стихотвореніяхъ, не подвергается у него надлежащему критическому обслѣдованію, и весь этотъ міръ идей, свободно рѣющихъ образовъ и широкихъ, въ самихъ себѣ уравновѣшенныхъ, настроеній, остался совершенно безъ освѣщенія въ статьяхъ Аполлона Григорьева, писанныхъ въ такую эпоху, когда, можетъ быть, уже не легко было открыто признавать глубокій философскій смыслъ Пушкинскихъ произведеній. Но будучи, во всякомъ случаѣ, яркою и смѣлою по отношенію къ Пушкину, критика Аполлона Григорьева замѣтно блѣднѣла при разсмотрѣніи другихъ крупныхъ талантовъ, менѣе гармоничныхъ и цѣльныхъ. Его длинныя разсужденія о романтизмѣ, съ характеристиками такихъ дѣятелей искусства, какъ Полежаевъ, Марлинскій, Лажечниковъ, несмотря на полное знаніе фактовъ и глубину отдѣльныхъ замѣчаній, не представляютъ живого литературнаго интереса и являются скорѣе талантливыми импровизаціями европейски просвѣщеннаго лектора, чѣмъ оригинальными критическими статьями, прокладывающими новые пути въ поэтическомъ самосознаніи общества. Какъ-бы чувствуя неизбѣжное однообразіе своихъ разсужденій, привязанныхъ къ одному и тому-же вопросу о народности, Аполлонъ Григорьевъ постоянно прибѣгаетъ къ своимъ старымъ статьямъ, положившимъ основаніе всей его литературной дѣятельности, выписывая изъ нихъ отдѣльныя фразы, періоды и даже цѣлыя страницы—безъ какихъ либо существенныхъ передѣлокъ и видоизмѣненій. Міровоззрѣніе его не обогатилось за протекшее время никакими новыми оттѣнками и потому рѣчь его, несмотря на напряженность порою вдохновенныхъ настроеній, производитъ монотонное впечатлѣніе и является какимъ-то перепѣвомъ нѣкогда живыхъ и смѣлыхъ мотивовъ. И никогда не выходя изъ тѣснаго круга народническихъ интересовъ, никогда не расширяя своей критической аргументаціи, Аполлонъ Григорьевъ долженъ былъ рано или поздно почувствовать свою ненужность въ этомъ большомъ литературномъ муравейникѣ, гдѣ все кипѣло суетливой строительной работой. Онъ повторялъ однѣ и тѣ-же избитыя въ его собственныхъ статьяхъ истины, съ унынiемъ и раздра-

женіемъ талантливаго неудачника, сознающаго свое безсиліе, съ мелодраматическими жалобами человѣка, которому суждено дѣйствовать въ эпоху, неблагопріятную для всѣхъ его коренныхъ убѣжденій, вѣрованій и влеченій.

Изъ многочисленныхъ статей Аполлона Григорьева, напечатанныхъ въ «Русскомъ Словѣ», «Свѣточѣ», «Времени» и «Эпохѣ», мы отмѣтимъ для полноты характеристики его разсужденія о Тургеневѣ и Толстомъ. Въ нихъ онъ, съ мучительнымъ однообразіемъ, съ безчисленными перепечатками изъ разбираемыхъ авторовъ и изъ своихъ прежнихъ статей, проводитъ все одну и ту-же мысль, что различныя европейскія стихіи, боровшіяся въ Пушкинѣ, не побѣдили въ немъ самобытно-русскаго, критическаго начала, воплотившагося въ типѣ Ивана Петровича Бѣлкина, что исканіе народной почвы отъ Пушкина перешло къ послѣдующимъ работникамъ въ области русскаго искусства. Статьи о Тургеневѣ, написанныя по поводу «Дворянскаго гнѣзда», изобилуютъ многими превосходными замѣчаніями, но, въ общемъ, представляютъ какой-то хаосъ взбудораженныхъ артистическихъ чувствъ, владѣющихъ натурой писателя, уносящихъ въ разныя стороны его мысли. Оттѣнивъ съ истиннымъ изяществомъ и вкусомъ поэтическую индивидуальность Тургенева, его нѣжную художественную манеру, его женственно впечатлительную душу, Аполлонъ Григорьевъ на безконечномъ множествѣ страницъ, въ четырехъ книгахъ «Русскаго Слова» 1859 г., не перестаетъ повторять на разные лады уже вполнѣ развитую, можно сказать, исчерпанную въ его прежнихъ статьяхъ, идею народности. Единственной новой чертой его критическихъ работъ этого періода можно признать сопоставленіе двухъ основныхъ типовъ, борющихся въ русской литературѣ: смирнаго—народнаго типа и хищнаго—европейскаго. Въ Пушкинѣ эта борьба закончилась полной гармоніей душевныхъ силъ, полнымъ совершенствомъ нравственнаго состоянія, никѣмъ впослѣдствіи не достигнутаго въ такой мѣрѣ. Тургеневъ тоже пережилъ и перечувствовалъ различныя вѣянія русской исторіи и, вѣрный своему чуткому, тонкому таланту, онъ вышелъ въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» на пушкинскую дорогу. Неспособный закалиться въ мрачномъ, лирическомъ отрицаніи жизни съ романтическимъ оттѣнкомъ бурной лермонтовской эпохи, онъ поддался стихіи, вѣющей изъ глубинъ народной исторіи, и смирился передъ почвою, передъ дѣйствительностью. Весь пушкинскій процессъ внутреннихъ сомнѣній повторился въ его душѣ и не оставилъ ее до тѣхъ поръ, пока загнанный, смиренный, простой человѣкъ, до сихъ поръ «позволявшій себѣ изрѣдка критическое или комическое отношеніе къ блестящему хищному человѣку», не перешелъ въ живой положительный образъ Лаврецкаго. Въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», пишетъ Аполлонъ Григорьевъ, сказалась вся умственная жизнь послѣ-пушкинской эпохи, отъ туманныхъ броженій въ кружкѣ

Станкевича до настоящихъ дней, борьба славянофильства съ западничествомъ, завершившаяся поэтическою побѣдою настоящей русской жизни надъ всякими теоріями въ замѣчательномъ произведеніи выдающагося таланта.

Та-же идея о борьбѣ смирнаго и хищнаго типовъ въ русской литературѣ, идея, сразу отлившаяся въ какое-то клише, вставляемое въ каждую критическую работу Аполлона Григорьева,—проходитъ и черезъ двѣ статьи его о Толстомъ. Угадавъ въ первыхъ же проблескахъ этого могучаго дарованія стремленіе и способность къ безстрашному психическому анализу, онъ и въ немъ видитъ продолжателя пушкинской традиціи, съ ея исканіемъ простыхъ и смирныхъ основъ народнаго характера. По мнѣнію Аполлона Григорьева, Толстой доходитъ въ своемъ отрицаніи всякихъ «приподнятыхъ чувствъ», неразлучныхъ съ хищными типами европейскихъ литературъ, до полной безпощадности. И это отрицаніе приподнятыхъ чувствъ души, замѣчаетъ онъ, не ведетъ его ни къ мѣщанскому прозаизму Писемскаго, ни къ бюрократической практичности Гончарова, ни къ утилитаризму. Онъ казнитъ эти чувства только тогда, когда въ ихъ приподнятости чувствуется насильственная напряженность, только тамъ, гдѣ «лягушка раздувается въ вола».

Но противопоставляя типы смирнаго и хищнаго человѣка — то вырисовывая преимущества перваго надъ послѣднимъ, то мечтая о гармоническомъ сочетаніи этихъ двухъ типовъ въ одномъ художественномъ и жизненномъ образѣ, Аполлонъ Григорьевъ, поддаваясь гнетущему воздѣйствію узкой по содержанію идеи народности, самъ способенъ былъ впадать въ грубое мѣщанство мысли и вкуса, которое онъ всегда справедливо осуждалъ въ Писемскомъ. Въ статьѣ его о Тургеневѣ, среди разныхъ безпорядочныхъ уклоненій отъ главнаго предмета, есть вводный критическій эпизодъ, относящійся къ романамъ Гончарова. По его убѣжденію, героемъ современной эпохи нельзя признать ни Штольца, ни Адуева. Нельзя видѣть положительнаго образа и въ Ольгѣ: подъ старость изъ этой граціозной натуры должна выйти «преотвратительная барыня, съ вѣчною и безцѣльною нервною тревожностью, истинная мучительница всего окружающаго, одна изъ жертвъ—Богъ знаетъ чего». Ужъ если-бы пришлось выбирать между женскими лицами Гончарова героиню, заключаетъ Аполлонъ Григорьевъ, то «безпристрастный и не потемненный теоріями умъ выберетъ, какъ выбралъ Обломовъ, Агафью Ѳедосѣевну, не потому только, что у нея локти соблазнительны и что она хорошо готовитъ пироги, а потому, что она гораздо болѣе женщина, чѣмъ Ольга»...

Подведя подъ категорію *хищныхъ* типовъ героевъ тревожной эпохи,—героевъ исканія истины и борьбы противъ исторической дѣйствительности, Аполлонъ Григорьевъ забываетъ при этомъ свое собственное преклоненіе передъ героической фигурой Чацкаго и раздраженно осуж-

даетъ все то, что создаетъ броженіе жизненнаго процесса. Никакая смѣлая освободительная идея не проходила въ исторію черезъ посредство смирныхъ людей, передъ которыми Аполлонъ Григорьевъ возжигаетъ ѳиміамъ своего безпорядочно-бурнаго россійскаго краснорѣчія. Образуя иногда какъ-бы рыхлый, влажный черноземъ, на которомъ всходятъ сѣмена, разсѣиваемыя людьми тревожнаго типа, смирные люди всего чаще являются инертною силою, задерживающею всякій духовный ростъ общества, всякую попытку словомъ или дѣломъ разрушить мертвыя формы существующаго для созданія новой, лучшей эпохи. Типъ тѣхъ русскихъ людей, которые не давали жизни окончательно замереть, закоснѣть или разложиться въ смрадное стоячее болото, никогда не былъ типомъ смирнымъ, покорнымъ, бездѣятельнымъ, хотя, по особенностямъ народнаго темперамента, онъ не терялъ черты сердечной мягкости и широкаго благодушія. Но мягкость и благодушіе, при отсутствіи возбуждающихъ тревожныхъ элементовъ, легко переходятъ въ то пошлое, рабское смиреніе передъ дѣйствительностью, которое всегда тянетъ ко дну всѣ прогрессивныя силы общества и которое—при ложныхъ отправныхъ пунктахъ въ разсужденіяхъ Аполлона Григорьева — разливается мутными волнами по его статьямъ между талантливыми, иногда вдохновенными тирадами объ органическомъ искусствѣ и идеально-артистической критикѣ.

На этихъ замѣчаніяхъ мы заключаемъ наше изслѣдованіе критической дѣятельности Аполлона Григорьева. Статьи его, которыя онъ самъ назвалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Страхову (19 января 1862 г.) «начатыми и неконченными курсами», по содержанію, по талантливости и горячности изложенія несомнѣнно принадлежатъ настоящей литературѣ, образуя моментъ, правда мимолетный, въ исторіи русской критики. Онъ защищалъ искусство такими доводами, изъ которыхъ многіе должны быть признаны выраженіемъ вѣрнаго артистическаго чувства и большого непосредственнаго пониманія его задачъ и цѣлей. По характеру своихъ общихъ убѣжденій онъ никогда не замыкался ни въ какомъ узкомъ партійномъ кругу и, поэтъ въ душѣ, умѣлъ, во всѣ эпохи своей двадцатилѣтней журнальной дѣятельности, откликаться живымъ словомъ на всякое новое и крупное литературное явленіе. Онъ одинъ изъ первыхъ превосходно оцѣнилъ изящный талантъ Фета и остался его почитателемъ даже тогда, когда это имя стали грубо трепать не только въ сатирическихъ стихахъ и фельетонахъ, но и въ критическихъ отдѣлахъ лучшихъ русскихъ журналовъ. Онъ сумѣлъ сказать, еще на страницахъ «Московскаго городского листка» 1847 г., нѣсколько сочувственныхъ фразъ о яркомъ и сильномъ дарованіи Майкова. Нельзя не признать заслугою Аполлона Григорьва и его защитительныя замѣтки о «Перепискѣ съ друзьями» Гоголя. Но при этихъ несомнѣнныхъ заслугахъ при-

ходится, однако, сказать, что въ его руководящихъ идеяхъ не было философской глубины и что вся его теорія органической критики, сведенная къ ученію о народности, несмотря на вѣрную мысль объ искусствѣ, какъ о непосредственномъ выраженіи идеальныхъ стремленій человѣка,—не представляетъ серьезной научной цѣнности. Успѣшно полемизируя съ такъ-называемыми журнальными теоретиками въ лицѣ Чернышевскаго и Добролюбова, Аполлонъ Григорьевъ не оставилъ полной, настоящей характеристики ни одного изъ корифеевъ русской литературы. Его страстныя, постоянно повторяющіяся разсужденія о Пушкинѣ рисуютъ его поэзію только съ одной стороны. Отмѣчая въ Пушкинѣ его народность и восхищаясь тѣмъ внутреннимъ процессомъ, который привелъ его къ повѣстямъ Бѣлкина, «Капитанской дочкѣ» и другимъ его прозаическимъ произведеніямъ, онъ при этомъ не показываетъ той тонкой поэтической стихіи, въ которой происходило развитіе и движеніе его идей и образовъ, совершенныхъ по формѣ и глубокихъ по содержанію. Его характеристика Лермонтова, въ его самыхъ раннихъ статьяхъ, какъ и въ статьяхъ 1862 г., во «Времени», подъ названіемъ «Лермонтовъ и его направленіе. Крайнія грани развитія отрицательнаго взгляда», не отличается ни силой, ни мѣткостью. Вся натура Лермонтова, или, по крайней мѣрѣ, та сторона ея, которая выразилась въ его лирическихъ произведеніяхъ, облитыхъ желчью и ядомъ бурнаго, байроническаго протеста, не находила себѣ сочувственнаго отклика въ душѣ Аполлона Григорьева, искавшей художественнаго равновѣсія и благодушнаго типично-русскаго смиренія передъ фактами дѣйствительности. Многочисленныя разсужденія его о Гоголѣ не отличаются единствомъ, колеблются въ разныя стороны и никогда въ сущности не углубляются къ центру его патетической, художественно-проповѣднической дѣятельности. Оцѣнка драматическаго таланта Островскаго не можетъ быть признана выдержанной въ тонѣ строгой критической справедливости. Увлекшись этнографической изобразительностью его произведеній, онъ сильно преувеличилъ размѣры его значенія въ исторіи русской литературы. О Тургеневѣ и Толстомъ Аполлонъ Григорьевъ далъ рядъ статей, не отличающихся надлежащей систематичностью, переполненныхъ разсужденіями на тему о народности, но не захватывающихъ истинныхъ глубинъ этихъ, по преимуществу, психологическихъ талантовъ. Вотъ въ какомъ видѣ представляется вся критическая дѣятельность Аполлона Григорьева, вылившаяся въ незаконченныя, расплывчатыя, часто прямо уродливыя формы и отражающая въ себѣ безпорядочную, неряшливую и, несмотря на всѣ романтическіе, вдохновенные порывы, въ общемъ монотонную жизнь его. При яркомъ природномъ талантѣ, онъ никогда не умѣлъ сдерживать свою мысль въ границахъ свѣтлаго логическаго разсужденія, и потому даже лучшія его статьи должны быть признаны выраженіемъ

того типично-русскаго умственнаго склада, въ которомъ, какъ онъ самъ сознавался, каждое впечатлѣніе переходитъ въ думу, дума—въ сомнѣніе, сомнѣніе—въ тоску. Всѣ его работы являются какими то обширными введеніями къ настоящимъ критическимъ характеристикамъ. Онъ придаетъ имъ какую угодно конструкцію, прибѣгая очень часто къ интимной, слегка распущенной формѣ личныхъ посланій по адресу различныхъ литературныхъ друзей. Онъ дѣлаетъ постоянно самыя капризныя отступленія и надоѣдливыя перепечатки изъ прежнихъ своихъ статей, виновато извиняясь передъ читателемъ за свои неумѣренныя повторенія. Его стиль, при свѣжести и оригинальности отдѣльныхъ выраженій, при богатствѣ чисто русскаго словаря, при общей органической плотности, страдаетъ тяжеловѣсностью, а иногда и темнотою запутанныхъ, безформенныхъ періодовъ. Безконечно превосходя по литературному таланту Валеріана Майкова, онъ до нѣкоторой степени приближается къ Бѣлинскому—по основнымъ качествамъ своей духовной натуры, по своей чуткости къ поэтической красотѣ, по несомнѣнному призванію къ дѣлу художественной критики. Но внеся въ литературу нѣсколько удачно формулированныхъ критическихъ положеній, онъ, однако, не сумѣлъ вполнѣ развить и осложнить ихъ другими эстетическими и философскими идеями, которыя вывели-бы его на широкій путь всесторонняго критическаго изслѣдованія. Вся его дѣятельность—разбросанная и несистематическая—не создала новаго періода, новаго звена въ исторіи русской критики, хотя нѣкоторые, выставленные имъ, принципы, по своей самобытности и содержательности, могли-бы явиться дрожжами, отъ которыхъ въ интеллигентномъ обществѣ начинаются новыя броженія умственныхъ силъ [1]).

1895, октябрь, ноябрь.

---

[1]) Извѣстный артистъ М. И. Писаревъ доставилъ намъ слѣдующій отрывокъ изъ письма Я. П. Полонскаго къ А. Н. Островскому, рисующій характерную фигуру Ап. Григорьева,—на основаніи личныхъ впечатлѣній и воспоминаній. Замѣтимъ при этомъ, что одно время, въ 1859 г., Я. Полонскій, вмѣстѣ съ графомъ Гр. Кушелевымъ-Безбородко и Ап. Григорьевымъ, былъ редакторомъ „Русскаго Слова“.

„...Я зналъ Гр... (Григорьева), пишетъ Полонскій, какъ идеально-благонамѣреннаго и послушнаго мальчика, въ студентской формѣ, боявшагося вернуться домой позднѣе 9 часовъ вечера—и зналъ его, какъ забулдыгу, проповѣдующаго русскому кнуту и пѣвшаго со студентами пѣсню, имъ самимъ положенную на музыку: „Долго насъ помѣщики душили“ и т. д. Помню его невѣрующаго ни въ Бога, ни въ чорта—и въ церкви на колѣняхъ молящагося до кроваваго пота. Помню его, какъ скептика и какъ мистика, помню его своимъ другомъ и своимъ врагомъ, бьющаго людей и льстящаго Гр. Кушелеву и его ребяческимъ произведеніямъ. Отчего, несмотря на свой громадный критическій талантъ, онъ въ литературѣ не оставилъ почти-что никакого слѣда? Самая смерть его, чуть-ли не съ гитарой въ рукахъ—минута трагическая. Это былъ чисто русскій, по своей природѣ, какой-то стихійный мыслитель, невозможный ни въ одномъ западномъ государствѣ“. *Я. Полонскій.*

Полемическіе матеріалы.

Чернышевскій и Гоголь.

Чернышевскій о Пушкинѣ и Гоголѣ. — Значеніе Пушкина. — Невѣрный взглядъ на Гоголя —Завѣщаніе. — Авторская Исповѣдь. — Выбранныя мѣста изъ Переписки съ друзьями (Сочиненія Н. В. Гоголя, подъ редакціею Н. Тихонравова, т. IV).—Критическіе отзывы Бѣлинскаго, кн. П. А. Вяземскаго, П. Я. Чаадаева, Жуковскаго и гр. Льва Толстого.

I.

Почти на каждомъ шагу намъ приходится вступать въ споръ съ эстетическими и философскими теоріями, имѣющими въ Россіи своихъ горячихъ и убѣжденныхъ защитниковъ. Изъ мѣсяца въ мѣсяцъ мы принуждены указывать на все различіе сужденій и оцѣнокъ, основанныхъ на противоположныхъ отвлеченныхъ теоремахъ: теоретическія начала, отъ которыхъ отправляются наши сужденія, радикально расходятся съ тѣми принципами, которые усвоены русскою реалистическою критикою послѣднихъ десятилѣтій. И вотъ вопросъ, на который пора дать отвѣтъ: слѣдуетъ-ли бороться съ людьми, которые желали и желаютъ добра своей странѣ, изъ-за теоретическаго разногласія въ вопросахъ научныхъ, философскихъ, эстетическихъ? Слѣдуетъ-ли бороться съ тѣми, съ которыми расходишься въ пониманіи *путей*, которые ведутъ къ добру? Да, слѣдуетъ. Въ мірѣ нѣтъ ничего выше отвлеченной истины. Солидарность, основанная только на практическомъ единомысліи, не прочна, не глубока, не имѣетъ серьезной будущности, ибо практическое единомысліе должно быть выраженіемъ однихъ и тѣхъ-же отвлеченныхъ понятій. Когда мы боремся съ кѣмъ бы то ни было изъ-за различія въ философскихъ убѣжденіяхъ, мы исполняемъ свою прямую человѣческую обязанность, свой долгъ передъ тѣмъ высшимъ началомъ, отъ котораго произошли и къ которому вернемся. Отъ ложныхъ положеній люди выходятъ на вѣрную практическую дорогу только случайно: невѣрная теорія, *по общему правилу*, должна породить грубый практическій эгоизмъ

въ тѣхъ самыхъ случаяхъ, въ которыхъ теорія вѣрная, свѣтлая, возвышенная могла-бы вызвать человѣка на путь добра и справедливости. Заблужденія писателя, говорилъ Жуковскій, не извиняются его человѣческими добродѣтелями. Теоретическія ошибки задерживаютъ развитіе людей и такимъ образомъ становятся препятствіемъ для успѣховъ практическихъ, соціальныхъ...

Изъ временъ прошедшихъ мы извлекаемъ то, что имѣло роковое вліяніе на исторію русскаго просвѣщенія. Въ воображеніи проносятся свѣтлыя имена нѣсколькихъ замѣчательныхъ журнальныхъ подвижниковъ. Надъ раскрытыми страницами старыхъ журналовъ витаютъ грустныя тѣни людей, которые любили страстно то, что считали истиной, чему готовы были отдать всѣ свои силы. Но отъ ветхихъ, пожелтѣвшихъ альманаховъ взоръ устремляется впередъ, жадно ища вѣрныхъ исходовъ изъ современной нравственной и умственной сумятицы. Литература жаждетъ обновленія, притока свѣжихъ силъ, свободной оцѣнки того, что кажется ошибкой безпристрастному уму. Литература не можетъ стоять на одномъ мѣстѣ, и въ критикѣ прошедшихъ дѣлъ журналистики она всегда находила матеріалъ для дальнѣйшаго прогрессивнаго развитія...

Эти замѣчанія мы считали долгомъ предпослать разбору статей, написанныхъ однимъ изъ самыхъ вліятельныхъ критиковъ «Современника»,— Н. Г. Чернышевскимъ [1]).

II.

Въ статьѣ о Пушкинѣ Чернышевскій приводитъ въ извлеченіи главнѣйшія мнѣнія, которыя были высказаны критиками при жизни поэта и вскорѣ послѣ его смерти. Трудно не согласиться, говоритъ онъ, что и при жизни Пушкина его произведенія были оцѣниваемы не голословно, не пошло, не мелочно. Но критика, современная Пушкину, не будучи лишена ни смысла, иногда прекраснаго, ни проницательности, иногда очень мѣткой, уступаетъ, однако, по глубинѣ содержанія критикѣ послѣдующаго времени. Она была только приготовительною ступенью къ тѣмъ взглядамъ, которые должны быть признаны окончательными, разъ на всегда рѣшившими вопросъ о достоинствахъ и значеніи поэзіи Пушкина...

Чернышевскій останавливается на слѣдующихъ разсужденіяхъ Бѣлинскаго. Много творческихъ тайнъ унесъ съ собою въ раннюю могилу могучій поэтическій духъ Пушкина, писалъ Бѣлинскій, но не тайну своего нравственнаго развитія, которое, безъ всякаго сомнѣнія, уже не обѣщало новой литературной эпохи. Пушкинъ былъ призванъ сдѣлаться первымъ поэтомъ—

[1]) Статьи эти вышли вторымъ изданіемъ въ 1895 подъ общимъ названіемъ «Критическія статьи». (Пушкинъ, Гоголь, Тургеневъ, Островскій, Левъ Толстой, Щедринъ и др. «Современникъ» 1854—1861).

художникомъ въ русской литературѣ. Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественнаго совершенства, которая, однако, не поглощаетъ вашего вниманія: васъ болѣе всего поражаетъ и занимаетъ разлитое въ поэзіи Гомера древне-эллинское міросозерцаніе и самый этотъ древне-эллинскій міръ. Въ Шекспирѣ васъ тоже останавливаетъ не художникъ, а глубокій психологъ, «мірообъемлющій созерцатель». Въ поэзіи Байрона вашу душу, прежде всего, обоймета ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая смѣлость и гордость его чувствъ и мыслей. Въ Пушкинѣ, напротивъ того, вы видите постоянно художника, «призваннаго для искусства», исполненнаго любви ко всему прекрасному, любящаго все, и потому терпимаго ко всему. Его назначеніе было усвоить русской землѣ поэзію, какъ искусство, такъ, чтобы русская поэзія имѣла потомъ возможность быть выраженіемъ всякаго направленія, всякаго міросозерцанія. «Явись *теперь* на Руси поэтъ, который былъ-бы неизмѣримо выше Пушкина, его появленіе не могло-бы надѣлать столько шума, возбудить такой общій неслыханный энтузіазмъ, потому что послѣ Пушкина поэзія уже не невиданная, не неслыханная вещь. И потому-же самому теперь уже слишкомъ слабый успѣхъ могъ-бы получить поэтъ, который, не уступая Пушкину въ талантѣ, даже превосходя его въ этомъ отношеніи, былъ-бы, подобно ему, преимущественно художникомъ». Первыя поэмы и лирическія стихотворенія Пушкина были для него рядомъ поэтическихъ тріумфовъ. Но какъ только въ поэтѣ «начало останавливаться броженіе кипучей молодости», къ нему стали охладѣвать. Его наиболѣе зрѣлыя, глубокія и прекрасныя созданія были приняты публикою холодно, а критиками оскорбительно. Время шло впередъ, а съ нимъ шла впередъ и жизнь, порождая новыя явленія. Общество русское съ невольнымъ удивленіемъ обратило взоры на новаго поэта, смѣло и гордо открывшаго ему новыя стороны жизни и искусства. Лермонтовъ призванъ былъ выразить собою и удовлетворить своею поэзіею несравненно высшее, по своимъ требованіямъ и своему характеру, время, чѣмъ то, котораго выраженіемъ была поэзія Пушкина. Другой поэтъ, Гоголь, выступилъ съ произведеніемъ, которое должно было составить цѣлую эпоху и въ лѣтописяхъ литературы и въ лѣтописяхъ развитія общественнаго сознанія. «Все это было безмолвною фактическою философіею самой жизни и самого времени для разрѣшенія вопроса о Пушкинѣ»...

Всѣ эти соображенія Бѣлинскаго Чернышевскій резюмируетъ въ немногихъ словахъ. Во-первыхъ, Пушкинъ далъ намъ *первыя* художественныя произведенія на родномъ языкѣ, и на этомъ главнымъ образомъ и основанъ его громадный успѣхъ въ современномъ ему русскомъ обществѣ. Во-вторыхъ, послѣдующія произведенія Пушкина, не представляя уже интереса первыхъ даровъ поэзіи русскому обществу, не могли возбуждать энтузіазма, который возбуждается только новымъ. Великое дѣло свое—ввести

въ русскую литературу поэзію, какъ прекрасную художественную форму— Пушкинъ уже совершилъ вполнѣ, и узнавъ поэзію, какъ форму, русское общество могло уже идти далѣе и искать въ этой формѣ содержанія...

Все это писалось съ убѣжденіемъ, съ тою увѣренностью въ своей правотѣ, на какую только былъ способенъ талантливый авторъ «Критическихъ статей». Но такія разсужденія о Пушкинѣ не могутъ быть признаны правильными. По разнообразію содержанія, по возвышенности чувства, по изумительному совершенству изображенія, поэзія Пушкина никогда не устарѣетъ и устарѣть не можетъ. Пушкинъ не только первый по времени, но и первый русскій писатель по геніальности своего ума, по ширинѣ взгляда. Въ стихахъ его элементы случайные, обусловленные перемѣнчивыми историческими обстоятельствами, не имѣютъ серьезнаго значенія: въ нихъ нѣтъ ничего, разсчитаннаго на вкусы и понятія исключительно даннаго времени, ничего, идущаго во что бы то ни стало въ волнѣ современной жизни. То, что составляетъ душу пушкинской поэзіи, ея красоту, безсмертно, общечеловѣчно и не относится ни къ какимъ случайнымъ историческимъ обстоятельствамъ. Нельзя быть великимъ писателемъ только по достоинствамъ внѣшней литературной формы. Въ произведеніяхъ Пушкина содержаніе и форма составляютъ одно неразрывное цѣлое, и кто не видитъ внутренняго смысла въ лучшихъ созданіяхъ Пушкинскаго таланта, тотъ не можетъ оцѣнить во всемъ объемѣ истинныхъ качествъ неподражаемаго пушкинскаго стиха, воздушнаго, пѣвучаго, какъ звонъ колокольчика подъ дугою русской тройки. Пушкинъ творецъ всей русской литературы въ томъ видѣ, въ какомъ она существуетъ въ настоящее время: направленіе и пріемы творчества у лучшихъ представителей русскаго художественнаго слова обвѣяны пушкинской традиціей...

III.

Въ статьѣ о Гоголѣ мы находимъ рядъ критическихъ замѣчаній, съ которыми тоже нельзя согласиться. Оставаясь вѣрнымъ основнымъ своимъ понятіямъ, авторъ нѣсколько суживаетъ отдѣльныя стороны Гоголевской поэзіи. Вотъ что говоритъ онъ, между прочимъ, о «Ревизорѣ»: Гоголь написалъ эту комедію, повинуясь единственно инстинктивному внушенію своей натуры. Его поражало безобразіе фактовъ и онъ высказывалъ свое негодованіе противъ нихъ. Но о томъ, изъ какихъ источниковъ возникаютъ эти факты, какая связь существуетъ между этими фактами и другими отраслями умственной, нравственной и гражданской жизни, Гоголь не размышлялъ много. «Изображая своего городничаго, онъ, конечно, и не воображалъ думать о томъ, находятся-ли въ какомъ-нибудь другомъ государствѣ чиновники, кругъ власти которыхъ соотвѣтствуетъ кругу власти городничаго и контроль надъ которыми состоитъ въ такихъ-же фор-

махъ, какъ контроль надъ городничимъ. Когда онъ писалъ заглавіе своей комедіи *Ревизоръ*, ему вѣрно и въ голову не приходило подумать о томъ, есть-ли въ другихъ странахъ привычка посылать ревизоровъ... Мы смѣло предполагаемъ, что ни о чемъ подобномъ онъ и не думалъ, потому что ничего подобнаго не могъ онъ и слышать въ томъ обществѣ, которое такъ радушно и благородно пріютило его». Гоголь не виноватъ, по объясненію критика, въ томъ, что у него былъ такой тѣсный горизонтъ. Онъ «зашелся» на вещахъ, которыхъ не зналъ,—въ силу историческихъ обстоятельствъ, которыя стояли выше его. Вспомните, восклицаетъ Чернышевскій, было-ли въ вашей жизни время, когда вамъ незнакомо было слово *принципъ?* А между тѣмъ Гоголь, «по всей вѣроятности», и не слыхивалъ этого слова, когда писалъ своего «Ревизора». Или другой примѣръ: кто не знаетъ, что префектъ во Франціи не имѣетъ никакого участія въ отправленіяхъ судебной власти? А между тѣмъ, Гоголь, когда писалъ «Ревизора», «очень можетъ быть», и не слышалъ о существованіи французскихъ префектовъ, а если и слышалъ, то, «вѣроятно», предполагалъ, что кругъ власти префекта тотъ же самый, что и кругъ власти губернатора...

Это очень странныя критическія соображенія. «Ревизоръ» былъ-бы написанъ лучше, глубже и съ большими литературными достоинствами, если-бы Гоголь зналъ теорію Монтескье о раздѣленіи властей. Гоголь не сумѣлъ оттѣнить вопіющей несправедливости въ дѣйствіяхъ провинціальнаго городничаго потому, что онъ не видѣлъ въ нихъ смѣшенія функцій судебныхъ и административныхъ. Авторъ такъ и говоритъ: не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Гоголь рѣшительно не зналъ о такъ называемой теоріи раздѣленія властей судебной и административной. Но это очень суровый приговоръ, предъ лицомъ котораго могли-бы оказаться ничтожными многія изъ величайшихъ произведеній міра. Вѣдь и Шекспиръ, напримѣръ, ничего не зналъ о теоріи раздѣленія властей Монтескье! Неужели, въ самомъ дѣлѣ, «Венеціанскій купецъ» выигралъ-бы въ какомъ-нибудь отношеніи, если-бы Шекспиръ провелъ въ немъ какую нибудь узкую теорію гражданскаго или уголовнаго права? Авторъ говоритъ: Щедринъ очень хорошо понимаетъ, откуда возникаетъ взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло-бы быть истреблено. Гоголь, напротивъ того, видитъ только частный фактъ, справедливо негодуетъ на него и вовсе не обращаетъ вниманія на связь этого отдѣльнаго факта со всею обстановкою нашей жизни. Но если-бы это было вѣрно, «Неумѣлые» и «Озорники» Щедрина были-бы выше «Ревизора». Это даже не эстетическая, а просто логическая ошибка. Величайшія литературныя произведенія—тѣ, въ которыхъ надъ явленіями перемѣнчивыми, мимолетными, не связанными органически съ законами внутренней человѣческой жизни, господствуютъ отвлеченныя идеи разума,

освѣщая частные факты до глубины ихъ неизмѣннаго, неподвижнаго основанія. Гоголь именно великій писатель и его сатира широка, разнообразна въ лучшемъ смыслѣ слова. Авторъ «Критическихъ статей» не видитъ истинныхъ достоинствъ Гоголевскаго таланта. Сатира «Ревизора» кажется ему «слабою» и «мелкою», міросозерцаніе поэта—узкимъ, основаннымъ на «старыхъ авторитетахъ», горизонтъ его—тѣснымъ и не просвѣтленнымъ идеями Монтескье. Онъ разсуждаетъ по строго реалистическому методу. Гоголь говоритъ: «на меня находили припадки тоски, мнѣ самому *необъяснимой*, которая происходила, можетъ быть, отъ моего болѣзненнаго сустоянія», а критикъ «Современника» пожимаетъ плечами въ знакъ недоумѣнія. «Гоголь тутъ *воображаетъ*», что разсказываетъ о себѣ что-то необыкновенное, неправдоподобное». Гоголь не знаетъ, чему приписать свою тоску. «Онъ не былъ похожъ на людей нынѣшняго времени, очень хорошо понимающихъ причину своей грусти. Онъ, создавшій Чичикова, Сквозника-Дмухановскаго и Акакія Акакіевича, не знаетъ, что грусть на душу благороднаго человѣка навѣвается зрѣлищемъ Чичиковыхъ и Акакіевъ Акакіевичей». По убѣжденію Чернышевскаго. человѣкъ обязанъ своимъ развитіемъ исключительно обществу. На удѣлъ личности «достается только наслаждаться или мучиться тѣмъ, что даетъ ей общество». Это главная теорема реалистической философіи, изъ которой не трудно, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, извлечь всѣ необходимыя объясненія и выводы. Гоголь терзается своими недостатками—на что критикъ замѣчаетъ: эти недостатки были отраженіемъ русскаго общества, лично Гоголю принадлежитъ *только* мучительное недовольство собою и своимъ характеромъ. Гоголь въ изступленіи восклицаетъ: «адская тоска кипѣла въ груди моей. О, какое жестокое состояніе»,—критикъ откликается на это ничего не значащей, банальной фразой: въ этихъ словахъ тотъ же самый «мистическій» тонъ, который преобладаетъ въ письмахъ аскетическаго періода... Личность не существуетъ: въ ней нѣтъ ничего *своего*, ничего самостоятельнаго, она только *отраженіе* среды и общества.

Это грубая философія безъ психологическаго начала, не только ничего не объясняющая, но затемняющая самыя элементарныя представленія о человѣкѣ. И несостоятельность этой философіи всего ярче выступаетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ объ явленіяхъ, представляющихъ высокій научный или нравственный интересъ. Вотъ характерныя слова на послѣднихъ страницахъ статьи о Гоголѣ. Подводя итогъ своимъ размышленіямъ по поводу «Писемъ» и «Переписки съ друзьями», критикъ пишетъ: но все-таки, что за человѣкъ былъ Гоголь въ послѣднее время своей жизни? Чему вѣрилъ онъ, это мы знаемъ, но чего хотѣлъ онъ въ жизни для тѣхъ меньшихъ братій своихъ, которыхъ такъ благородно за-

щищалъ прежде, этого мы не знаемъ положительно. Ужели онъ, въ самомъ дѣлѣ, думалъ, что «Переписка съ друзьями» замѣнитъ Акакію Акакіевичу шинель? Или «Переписка» эта была у него только средствомъ «внушить тѣмъ, которые не знали того прежде, что Акакій Акакіевичъ, которому нужна шинель, есть братъ имъ?».

Увы, это путаница въ мысляхъ. Не говоря ни слова противъ шинели Акакія Акакіевича, приходится, все-таки, сказать: при чемъ тутъ шинель? Дайте рубашку ближнему, раздайте все свое имѣніе—это вашъ человѣческій долгъ. Дайте Акакію Акакіевичу шинель, но имѣйте при этомъ и каплю уваженія къ человѣку, терзаемому *духовнымъ* голодомъ. Развѣ язвы тѣла ужаснѣе язвъ души? Если вы считаете невозможнымъ говорить человѣку, умирающему отъ физическаго недуга: встань и помоги другу своему, котораго терзаютъ страшныя сомнѣнія, какъ вы смѣете говорить человѣку, умирающему отъ страшнаго душевнаго недуга: твоя скорбь никому не нужна, твои страданія безплодны, ты забылъ о шубѣ Акакія Акакіевича?..

Но соберемъ вмѣстѣ все, что Чернышевскій говоритъ о «Письмахъ» и «Перепискѣ съ друзьями», всѣ тѣ соображенія, которыми онъ старается объяснить и отчасти оправдать настроеніе великаго писателя въ послѣдніе годы его жизни. Какъ-бы ни были эти соображенія незначительны по содержанію, они любопытны по своему историко-литературному значенію. Наша критика—та, которая руководитъ общественнымъ мнѣніемъ, даетъ наименованія явленіямъ умственной жизни Россіи, и теперь не ушла еще дальше узкихъ, буржуазныхъ, чисто-утилитарныхъ разсужденій въ тѣхъ самыхъ литературныхъ вопросахъ, которые требуютъ глубокаго психологическаго разбора, гуманнаго взгляда съ высоты опредѣленныхъ философскихъ или научныхъ идей. Эта критика безсильна именно потому, что она элементамъ второстепеннымъ, историческимъ, житейскимъ подчиняетъ то, что главенствуетъ надо всѣмъ, что важнѣе всего — метафизическое начало нравственной свободы, общефилософское міросозерцаніе человѣка. Для этой критики нѣтъ никакихъ другихъ истинъ, кромѣ истинъ ближайшихъ, относящихся къ экономическимъ или юридическимъ потребностямъ даннаго историческаго момента. Для этой критики нѣтъ иного блага, кромѣ блага матеріальнаго, хозяйственнаго, поддающагося измѣренію обычнымъ житейскимъ аршиномъ.

Прослѣдимъ шагъ за шагомъ разсужденія Чернышевскаго о Гоголѣ. Стройныя и сознательныя убѣжденія, говоритъ Чернышевскій, развиваются въ человѣкѣ не иначе, какъ или подъ вліяніемъ общества или при помощи литературы. Кто лишенъ этихъ вспомогательныхъ средствъ, тотъ обыкновенно на всю жизнь остается при отрывочныхъ мнѣніяхъ объ отдѣльныхъ фактахъ, не чувствуя потребности придать имъ сознательное единство. Такіе люди остаются въ большинствѣ даже между тѣми,

которые получили, такъ называемое, основательное образованіе. Они судятъ болѣе или менѣе справедливо объ отдѣльныхъ случаяхъ жизни, но впадаютъ въ грубыя ошибки при обсужденіи вопросовъ обширныхъ и теоретическихъ. Гоголю было-бы извинительно, если-бы онъ остался навсегда на той ступени умственныхъ потребностей, на какой оставались другіе писатели его времени. Но онъ очень рано почувствовалъ непреодолимую потребность пріобрѣсти опредѣленный взглядъ на человѣческую жизнь, не ограничиваться отрывочными и случайными впечатлѣніями. Къ несчастью, у Гоголя, кромѣ инстинкта натуры, не было ничего, что могло-бы его вести вѣрнымъ путемъ къ справедливому рѣшенію глубокихъ и запутанныхъ вопросовъ науки — ни надлежащей подготовки, ни надежныхъ руководителей. Въ обществѣ, среди котораго онъ жилъ, онъ не находилъ отвѣта на тѣ сомнѣнія, которыя мучили его. Ему не у кого было спросить, къ какимъ книгамъ слѣдуетъ обратиться при изслѣдованіи вопросовъ современной жизни. «Онъ не зналъ даже того, что, какъ-бы ни были достойны уваженія люди, жившіе за полторы тысячи лѣтъ до насъ, они не могутъ быть руководителями нашими, потому что потребности общества въ ихъ время были совершенно не таковы, какъ нынѣ». Когда двадцати-семи-лѣтній Гоголь вздумалъ искать въ книгахъ рѣшенія очень важныхъ задачъ, онъ зналъ только тѣ книги, какія нѣкогда ему совѣтовали читать въ родительскомъ домѣ. «Положеніе странное, неправдоподобное, но оно дѣйствительно было такъ». Гоголь наивно ссылался на авторитеты, завѣщанные ему дѣтствомъ, не понимая, что противники могли сдѣлать ему убійственное возраженіе: «Ты читалъ не тѣ книги, какія нужно было тебѣ читать...»

Эти соображенія предшествуютъ разбору «Писемъ» и «Переписки» и какъ бы устанавливаютъ общую точку зрѣнія автора по отношенію къ разсматриваемому литературному явленію. Гоголь стремился пріобрѣсти опредѣленный взглядъ на человѣческую жизнь, но онъ обратился «не къ тѣмъ книгамъ», къ которымъ слѣдовало обратиться. Общество коснѣло въ умственномъ и нравственномъ ничтожествѣ, и Гоголь совсѣмъ не зналъ людей, которые могли-бы назвать ему болѣе подходящія современныя сочиненія. Гоголь не былъ въ курсѣ дѣла. Въ этомъ—вся суть. Онъ не зналъ, что истина найдена, что пути просвѣщенія измѣнились, что авторитеты прошлаго должны быть безпощадно преданы забвенію «при изслѣдованіи вопросовъ современной жизни».

Однако Чернышевскій, какъ мы уже сказали выше, старается не только объяснить, но и оправдать нѣкоторыя стороны «Переписки съ друзьями». Онъ сличаетъ преобладающее настроеніе «Переписки» съ настроеніями многочисленныхъ «Писемъ» къ различнымъ лицамъ, въ различные періоды литературной дѣятельности Гоголя и, сличая, приходитъ къ успоко-

ительному выводу, что между «Перепискою» и «Письмами» нѣтъ существеннаго различія. Съ того времени, какъ Гоголемъ овладѣло аскетическое направленіе, «Письма» его наполнены разсужденіями о такихъ предметахъ, которыми онъ прежде мало занимался. Но если вы, «преодолѣвъ скуку», наводимую однообразіемъ этихъ писемъ, всмотритесь въ нихъ ближе и внимательнѣе, сравните ихъ съ письмами прежнихъ годовъ, вы увидите, что во второмъ періодѣ его дѣятельности сохранилось, кромѣ молодой веселости, все то, что было въ письмахъ перваго періода, и наоборотъ, въ письмахъ перваго періода вы найдете тѣ же самыя черты, которыми отличаются письма второго періода [1]).

За этимъ общимъ замѣчаніемъ мы находимъ слѣдующія доказательства. Въ «Перепискѣ съ друзьями» всѣхъ поразила просьба, съ которою Гоголь обращался къ своимъ читателямъ,—присылать ему замѣчанія о русскихъ нравахъ. Но послѣ изданія «Писемъ» не можетъ подлежать сомнѣнію, что въ этой просьбѣ Гоголя нѣтъ ничего притворнаго. Уже при самомъ началѣ своей литературной карьеры Гоголь убѣждалъ близкихъ ему людей, съ какою-то патетическою настойчивостью, сообщать ему различнаго рода свѣдѣнія о простонародномъ бытѣ. Приготовляя къ печати «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», онъ проситъ, какъ о величайшемъ одолженіи, прислать ему описаніе полнаго наряда сельскаго дьячка, отъ верхняго платья до самыхъ сапоговъ, названья платья, носимаго крестьянскими дѣвушками, до послѣдней ленты. Далѣе, всѣмъ показалось страннымъ въ «Перепискѣ съ друзьями» увѣреніе Гоголя, что, укрѣпляясь въ вѣрѣ, человѣкъ научается легко переносить самыя прискорбныя утраты. Однако, уже на семнадцатомъ году жизни, получивъ извѣстіе о смерти отца, Гоголь утѣшаетъ свою мать слѣдующими сильными, мужественными словами: «не безпокойтесь, дрожайшая маменька! Я сей ударъ перенесъ съ твердостью истиннаго христіанина. Правда, я сперва былъ пораженъ ужасно симъ извѣстіемъ, однако не далъ никому замѣтить, что я былъ опечаленъ. Оставшись же на-единѣ, я предался всей силѣ безумнаго отчаянія. Хотѣлъ даже посягнуть на жизнь свою, но Богъ удержалъ меня отъ сего, и къ вечеру примѣтилъ я въ себѣ только печаль, но уже не порывную, которая, наконецъ, превратилась въ легкую, едва примѣтную меланхолію, смѣшанную съ чувствомъ благоговѣнія ко Всевышнему»...

Въ 1829 году въ письмахъ Гоголя уже слышится нота настоящаго религіознаго экстаза: «Перо дрожитъ въ рукѣ моей, мысли тучами налетаютъ одна на другую, и непонятная сила нудитъ и вмѣстѣ отталкиваетъ ихъ излиться передъ вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго... Безумный! Я хотѣлъ было противиться

[1]) *Критическія статьи*, стр. 139.

этимъ вѣчно неумолкаемымъ желаніямъ души, которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ меня, претворивъ меня въ жажду, ненасытимую бездѣйственной разсѣянностью свѣта». И чѣмъ дальше, тѣмъ письма Гоголя становятся все мрачнѣе и мрачнѣе. Крики изстрадавшейся души вырываются въ сильныхъ и страстныхъ выраженіяхъ, не щадящихъ даже родной матери. «Духъ гордости овладѣлъ вами, пишетъ онъ въ любимую семью, и самъ сатана подсказываетъ вамъ такія рѣчи, потому что и наиопытнѣйшій и наиумнѣйшій человѣкъ дѣлаетъ ошибки». Гоголь забываетъ здѣсь, замѣчаетъ Чернышевскій, объ естественныхъ отношеніяхъ сына къ матери, о томъ, что не сыну быть обличителемъ матери. Слыхали-ли вы когда-нибудь, восклицаетъ онъ нѣсколькими строками ниже, на рынкѣ пѣсню убогихъ слѣпцовъ о томъ сынѣ, который скрылся изъ отцовскаго дома, затѣмъ, черезъ нѣкоторое время, пришелъ назадъ одѣтый во вретище, поселился въ конурѣ близъ родительскаго дома и, укрѣпляясь духомъ, молчалъ до тѣхъ поръ, пока, въ минуту смерти, не открылся родителямъ, что онъ сынъ ихъ? Читали-ли вы въ газетахъ разсказъ о томъ, какъ одна мать зарѣзала двухъ своихъ дѣтей, зарѣзала съ любовью, съ лаской, чтобы сдѣлать двухъ мучениковъ и самой спасти душу спасеніемъ двухъ душъ отъ земного соблазна? Въ аскетическихъ письмахъ Гоголя вѣетъ тотъ же самый духъ ослѣпленнаго экстаза, духъ, нѣкогда побуждавшій людей сожигаться добровольно въ домахъ своихъ съ восторженными гимнами о спасеніи. Страшно именно это изувѣрство въ письмахъ Гоголя. Невозможно не удивляться силѣ души этого человѣка, но невозможно и не проклинать лжеученія, давшаго такое противоестественное, пагубное направленіе энергіи, которая могла-бы совершить столько прекраснаго и великаго, если-бы устремлена была къ разумнымъ цѣлямъ [1]).

Итакъ, усматривая извѣстную послѣдовательность въ душевномъ развитіи Гоголя и признавая полную искренность въ его произведеніяхъ, Чернышевскій клеймитъ названіемъ *изувѣрства* «Переписку съ друзьями»—одну изъ самыхъ замѣчательныхъ книгъ Гоголя.

IV.

Къ этой книгѣ подходишь, волнуемый сомнѣніемъ, робкимъ шагомъ, какъ къ могилѣ человѣка, котораго разгнѣванная толпа, въ минуту мстительнаго афекта, яростно заклеймила именемъ изувѣра и сумасшедшаго. Подъ печальнымъ могильнымъ холмомъ покоится прахъ страстотерпца, великомученика слова, который раскрылъ когда-то передъ людьми свои мысли, чувства, всю тайну души, то въ безсмертныхъ выраженіяхъ откровенной исповѣди, въ безутѣшномъ рыданіи, въ мучительныхъ крикахъ отчаянія, то въ немногихъ, простыхъ и скромныхъ

[1]) *Критическія статьи*, стр. 148.

словахъ—въ тихомъ шепотѣ молитвы, на колѣняхъ передъ зажженною въ углу лампадою. Гоголь отдалъ весь свой огромный талантъ на служеніе людямъ,—но толпа, предводимая знаменитыми журнальными полководцами, не поняла его. Гулъ порицаній и жесточайшей хулы стоитъ именно надъ тѣмъ произведеніемъ Гоголя, гдѣ глазамъ ясно видно глубокое страданіе, гдѣ каждое слово сіяетъ величіемъ правды, гдѣ на каждомъ шагу слышатся муки тягчайшей внутренней борьбы съ самимъ собою. Густая туча злобной клеветы закрыла отъ людей великій міръ его надеждъ, желаній и убѣжденій, набросивъ зловѣщую, мрачную тѣнь на трагическій обликъ геніальнаго писателя. Всеобщее осужденіе смѣло обвело «Переписку съ друзьями» густою черною линіею, какъ обводятъ имена людей, навсегда покончившихъ счеты съ земными дѣлами. Это книга оклеветанная, это великая книга. Въ этой книгѣ авторъ прямо глядитъ вамъ въ душу воспаленнымъ взглядомъ религіознаго страдальца, говоритъ къ вашей совѣсти языкомъ пророческаго вдохновенія и поэтическаго энтузіазма. Въ этой книгѣ вѣра, разливающая волны свѣта во всѣхъ направленіяхъ, смѣшана съ муками ненависти къ собственному ничтожеству, ненависти, толкающей къ аскетическому самоистязанію, къ невѣдомымъ подвигамъ, ко всему, что можетъ возвысить духъ надъ тѣломъ. Въ этой книгѣ рѣзкая, безпощадная правда, обращенная на самого себя и на людей, часто смѣняется какимъ-то изступленнымъ бредомъ, гдѣ каждая фраза, прожженная злобою, звучитъ какъ проклятіе,—безъ проблеска снисхожденія, безъ единаго луча теплаго, мягкаго сердечнаго сочувствія. Это великая, поучительная книга. Въ ней Гоголь предсталъ передъ людьми такимъ, какимъ онъ былъ внутри себя, безъ сатирической улыбки, содравши съ себя маску художника и артиста и распахнувши предъ всѣмъ свѣтомъ свои помыслы, всѣ движенія сердца, всѣ язвы своей души. Есть что-то потрясающее въ предсмертныхъ воплякъ этого великаго человѣка. Завѣщаніе, оставленное Гоголемъ, написано огненными буквами и все въ немъ горитъ отчаяніемъ умирающаго генія. Побѣждая страданія разрушающейся плоти, поэтъ бросаетъ послѣдній взглядъ на окружающій его міръ, волнуясь предчувствіемъ новой, невѣдомой жизни, уже ощущая надъ собою дыханіе безмолвной вѣчности, въ которой должно растаять и расплыться то, чѣмъ онъ дорожилъ до сихъ поръ. «Соотечественники, страшно! восклицаетъ Гоголь. Замираетъ отъ ужаса душа при одномъ только предслышаніи загробнаго величія и тѣхъ духовныхъ высшихъ твореній Бога, предъ которыми пыль все величіе его твореній, здѣсь нами зримыхъ и насъ изумляющихъ. Стонетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія возростанія и плоды, которыхъ сѣмена мы сѣяли въ жизни, не прозрѣвая и не слыша, какія страшилища отъ нихъ подымутся. Можетъ быть, *Прощальная повѣсть* моя подѣйствуетъ сколько-нибудь на тѣхъ, которые до

сихъ поръ еще считаютъ жизнь игрушкою... Соотечественники!.. Не знаю и не умѣю, какъ васъ назвать въ эту минуту... Прочь пустое приличіе! Соотечественники! Я васъ любилъ, любилъ тою любовью, которую не высказываютъ, которую мнѣ далъ Богъ, за которую благодарю Его, какъ за лучшее благодѣяніе, потому что любовь эта была мнѣ въ радость и утѣшеніе среди напятгчайшихъ моихъ страданій» [1]). Во имя этой любви поэтъ проситъ выслушать сердцемъ его *Прощальную повѣсть*. Онъ не выдумывалъ ее: она вылилась сама собою изъ души, воспитанной страданіями и горемъ, изъ сокровенной глубины правдивой натуры. Обращаясь къ близкимъ и не близкимъ людямъ, Гоголь проситъ ихъ предать его тѣло землѣ, не разбирая мѣста, гдѣ лежать ему, ничего не связывая съ оставшимся прахомъ. Да будетъ стыдно тому, кто окажетъ вниманіе гніющему тѣлу: онъ окажетъ вниманіе червямъ, его грызущимъ! Поэтъ завѣщаетъ не ставить надъ могилою никакого памятника: пусть люди, желающіе воздать ему должное, воздвигнутъ памятникъ въ самомъ себѣ— непоколебимою твердостью въ жизненныхъ дѣлахъ, внушая бодрость тѣмъ, кто ихъ окружаетъ. Завѣщаю, говоритъ далѣе Гоголь, никому не оплакивать меня и не почитать мою смерть значительною или всеобщею утратою. «Не унынію должны мы предаваться при всякой внезапной утратѣ, но оглянуться строго на самихъ себя, помышляя уже не о чернотѣ другихъ и не о чернотѣ всего міра, но о своей собственной чернотѣ. Страшна душевная чернота и зачѣмъ это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоитъ предъ глазами!» Страдалецъ проситъ, по смерти его, не спѣшить ни хвалой, ни осужденіемъ его произведеній «въ публичныхъ листкахъ и журналахъ». Передъ нимъ никто не виноватъ, и несправедливъ будетъ тотъ, кто попрекнетъ его именемъ кого-бы то ни было и за что-бы то ни было. «Объявляю также во всеуслышаніе, что, кромѣ доселѣ напечатаннаго, ничего не существуетъ изъ моихъ произведеній: все, что было въ рукописяхъ, мною сожжено, какъ безсильное и мертвое, писанное въ болѣзненномъ и принужденномъ состояніи». Тутъ-же рядомъ съ этими словами Гоголь возлагаетъ на друзей своихъ обязанность собрать всѣ его письма, съ конца 1844 года, и, сдѣлавъ строгій выборъ только того, что можетъ доставить какую-нибудь пользу душѣ, отвергнувъ все прочее, «служащее для пустого развлеченія», издать ихъ отдѣльною книгою. «Въ этихъ письмахъ было кое-что, послужившее въ пользу тѣмъ, къ которымъ они были писаны. Богъ милостивъ: можетъ быть, послужатъ они въ пользу и другимъ». Сердце говорило ему, что эта книга нужна и можетъ быть полезна—не потому, чтобы онъ имѣлъ высокое представленіе о своемъ умѣніи быть полезнымъ, но потому, что никогда еще не питалъ онъ такого сильнаго желанія принести людямъ пользу.

[1]) *Сочиненія* Н. В. Гоголя, т. IV, *Завѣщаніе*, стр. 9.

Но книгу, все-таки, жестоко осудили и даже оклеветали. Подозрительно и недовѣрчиво разобрано было всякое слово, говоритъ Гоголь, и надъ живымъ тѣломъ еще живущаго человѣка произведена была страшная анатомическая операція. Одни говорили, что книга есть произведеніе неслыханной гордости человѣка, возмнившаго, что онъ выше всѣхъ своихъ читателей, что онъ можетъ преобразовать все русское общество, другіе, что книга эта есть твореніе добраго, но впавшаго въ обольщеніе человѣка, у котораго закружилась голова отъ похвалъ. На сторонѣ каждаго изъ этихъ мнѣній, скромно говорится въ «Авторской Исповѣди», находятся равно просвѣщенные и умные люди, но, однако, ни одно изъ этихъ мнѣній не можетъ быть справедливо вполнѣ, въ полномъ своемъ объемѣ. «Переписка»—вѣрное зеркало человѣка. Въ ней все то, что есть во всякомъ человѣкѣ: искреннее сознаніе своихъ недостатковъ и рядомъ съ нимъ высокое мнѣніе о своихъ достоинствахъ, желаніе учиться самому рядомъ съ увѣренностью, что имѣешь силу многому научить другихъ, смиреніе и гордость, упреки себѣ и упреки другимъ въ томъ самомъ, на чемъ только что поскользнулся самъ. Это—живой человѣкъ, съ тою только разницей, что въ «Перепискѣ» «слетѣли всѣ условія и приличія», и выступило наружу все то, что каждый обыкновенно таитъ внутри себя, выступило и рѣзко, ярко ударилось всѣмъ въ глаза. Это сжатое выраженіе мыслей и настроеній, которыми художникъ томился съ молодыхъ лѣтъ, ища широкаго поприща для своихъ богатыхъ умственныхъ и нравственныхъ силъ.

Еще въ юности Гоголю мерещились какія-то великія дѣла, которыя прославятъ навѣки его имя. Мнѣ всегда казалось, говоритъ онъ въ своей «Исповѣди», что я буду извѣстнымъ человѣкомъ, что меня ожидаетъ широкій кругъ дѣйствій и что я сдѣлаю что-то для общаго добра. Ему казалось, что *служба* будетъ именно тѣмъ дѣломъ, въ которомъ выразится его человѣческое призваніе, и мысль о службѣ носилась въ головѣ его впереди всѣхъ прочихъ желаній и стремленій. Первымъ своимъ литературнымъ опытамъ ни самъ Гоголь, ни упражнявшіеся вмѣстѣ съ нимъ товарищи, не придавали серьезнаго значенія. Никому не приходило въ голову, что изъ него выработается со временемъ комическій и сатирическій писатель, хотя въ его сужденіяхъ о людяхъ всегда легко было замѣтить особенную способность угадывать человѣка. Несмотря на меланхолическій отъ природы характеръ, Гоголь любилъ въ молодости шутить и даже надоѣдать своими шутками. Часто онъ выдумывалъ смѣшныя лица, ставилъ ихъ мысленно въ самыя комическія положенія, не заботясь о томъ, «зачѣмъ это, для чего, и кому отъ этого выйдетъ какая польза»... Вотъ происхожденіе его первыхъ литературныхъ произведеній, которыя вызвали всеобщій беззаботный и безотчетный смѣхъ. Но Пушкинъ заставилъ Гоголя взглянуть на дѣло серьезно. Онъ уже давно скло-

нялъ его приняться за большое сочиненіе. Онъ указывалъ ему на его слабое здоровье, на постоянные недуги, которые могутъ внезапно прекратить его жизнь, приводилъ ему въ примѣръ Сервантеса, который не занялъ-бы такого высокаго положенія въ европейской литературѣ, если-бы ограничивался маленькими повѣстями и, въ заключеніе всего, отдалъ ему свой собственный сюжетъ, изъ котораго хотѣлъ сдѣлать что-то въ родѣ поэмы. Это былъ сюжетъ «Мертвыхъ душъ» [1]). Гоголь задумался. Гдѣ-то въ глубинѣ души блеснула молодая надежда сдѣлать что-то великое, важное на заманчивомъ пути литературы. Мечта о внѣшней службѣ государству вдругъ, подъ воздѣйствіемъ волшебнаго Пушкинскаго слова, смѣнилась мечтою о пользѣ, которую можно принести *внутреннему* человѣку, подвигомъ литературной правды, полнымъ изображеніемъ русской дѣйствительности. Если смѣяться, такъ ужъ смѣяться надъ тѣмъ, что *должно* быть осмѣяно... «Ревизоръ» произвелъ потрясающее впечатлѣніе. Сквозь смѣхъ писателя читатель услышалъ грусть. Потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами прошла у Гоголя навсегда, и онъ почувствовалъ, болѣе чѣмъ когда-либо прежде, новую потребность создать произведеніе, въ которомъ было-бы уже не одно то, надъ чѣмъ слѣдуетъ смѣяться. «Мнѣ хотѣлось въ сочиненіи моемъ, говоритъ онъ, выставить и тѣ высшія свойства русской природы, которыя еще не всѣми цѣнятся справедливо, и тѣ низкія, которыя еще недостаточно всѣми осмѣяны и обличены. Мнѣ хотѣлось собрать одни яркія психологическія явленія, всѣ наблюденія, которыя я дѣлалъ издавна сокровенно надъ человѣкомъ». Но въ то же время Гоголь почувствовалъ, что это можно сдѣлать только при одномъ условіи, — если имѣешь ясное представленіе о человѣкѣ и человѣческой природѣ вообще, если изучена, измѣрена внутренняя глубина человѣческаго существованія. Съ этихъ поръ человѣкъ и душа человѣка сдѣлались предметомъ особенно пристальныхъ наблюденій Гоголя. «Я оставилъ все современное, я обратилъ вниманіе на узнаніе тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ. Все, гдѣ только выражалось познаніе людей и души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не вѣдая какъ, я пришелъ ко Христу». Началась долгая работа Гоголя надъ своимъ образованіемъ. Нѣсколько разъ, упрекаемый въ литературной бездѣятельности, онъ принимался за перо, чтобы написать небольшую повѣсть, но всѣ усилія оканчивались болѣзнью, страданіемъ, нервными припадками. И Гоголь не успокоился до тѣхъ поръ, пока не разрѣшилъ для себя тѣхъ вопросовъ, которые

[1]) *Сочиненія*, т. IV, *Авторская Исповѣдь*, стр. 249.

однажды возникли въ его умѣ. Только тогда онъ приступилъ къ новому сочиненію, первая часть котораго составляетъ еще понынѣ загадку, «потому что заключаетъ въ себѣ нѣкоторую часть переходнаго состоянія». въ которомъ еще не успѣло отдѣлиться то, чему слѣдовало отдѣлиться.

Когда жажда узнать «человѣка вообще» была удовлетворена, въ Гоголѣ родилось желаніе узнать Россію. Онъ сталъ знакомиться съ людьми всѣхъ сословій, завелъ широкую корреспонденцію съ тѣми, которые могли ему сообщить что-нибудь о провинціальномъ бытѣ, прося ихъ набрасывать для него мелкіе портреты и характеристики. Нѣсколько писемъ онъ послалъ извѣстнымъ помѣщикамъ и должностнымъ лицамъ вовсе не за тѣмъ, чтобы съ нимъ безусловно согласились, но за тѣмъ, чтобы получить опроверженіе «анекдотическими фактами». Онъ сдѣлалъ воззваніе ко всѣмъ читателямъ «Мертвыхъ душъ», съ цѣлью добыть частныя записки, воспоминанія, изображенія различныхъ жизненныхъ событій, все, что только «пахнетъ Русью». «Я думалъ, какъ дитя. Я думалъ, что въ нѣкоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не зналъ еще тогда, что мое имя въ ходу только за тѣмъ, чтобы попрекнуть другъ друга и посмѣяться другъ надъ другомъ. Я думалъ, что многіе сквозь самый смѣхъ слышатъ мою добрую натуру, которая смѣялась вовсе не изъ злобнаго желанія. Но на мое приглашеніе я не получилъ записокъ, въ журналахъ мнѣ отвѣчали насмѣшками». Всего того, что было нужно ему, Гоголь не досталъ, а при такихъ условіяхъ—мудрено ли, что онъ не могъ работать. Онъ пробовалъ нѣсколько разъ писать по прежнему, какъ писалось въ молодости,—какъ попало, куда ни поведетъ перо, но мысли и образы складывались съ большимъ трудомъ. Тогда онъ рѣшилъ составить книгу, изъ наиболѣе важныхъ писемъ своихъ къ друзьямъ, придавъ ей возможный порядокъ и послѣдовательность «Я думалъ, говоритъ Гоголь, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчаніе, что она дастъ поводъ къ разговорамъ, которые раскроютъ предо мною Русь, освѣжатъ, оживятъ меня и заставятъ взяться за перо». Но онъ думалъ опять-таки, какъ дитя. Все обрушилось на него упреками. «Руки мои опустились. Порывъ, который началъ во мнѣ пробуждаться, погасъ, и я нечувствительно, самъ собой, пришелъ теперь къ тому вопросу, который я до сихъ поръ и не думалъ еще задавать себѣ: долженъ-ли я въ самомъ дѣлѣ писать? Долженъ-ли я оставаться на этомъ поприщѣ, отъ котораго въ послѣднее время такъ явно меня все отвлекало? Таково-ли душевное состояніе мое, чтобы сочиненія мои были дѣйствительно полезны и нужны нынѣшнему обществу? Благопріятно-ли нынѣшнее время для писателя вообще и вслѣдъ за тѣмъ для такого писателя, какъ я?» [1]).

[1]) *Сочиненія*, т. IV стр. 265.

«Переписка» была выраженіемъ переворота, совершившагося въ душѣ поэта. Его предшествующія работы еще не были настоящей службой русской землѣ и всему человѣчеству, несмотря на одушевлявшую его любовь къ людямъ. Но теперь передъ нимъ открылись новые горизонты. Вся прошедшая литература должна померкнуть передъ литературой будущаго. Для исполненія новой задачи должны явиться люди съ другимъ міросозерцаніемъ, съ подвижническимъ складомъ натуры, со свѣжими красками. Стремленіе къ свѣту, «ставшее шестымъ чувствомъ русскаго человѣка», не даетъ покоя писателю: старое свѣтоносное начало израсходовано до конца, и русская литература должна быть выведена на новыя, еще не протоптанныя дороги. Въ статьѣ подъ названіемъ: «Въ чемъ существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность» Гоголь высказываетъ нѣсколько важныхъ соображеній, совпадающихъ съ тѣмъ, что говорится на послѣднихъ страницахъ «Авторской Исповѣди». Здѣсь-же мы находимъ цѣлый рядъ блестящихъ литературныхъ характеристикъ, какихъ мы не встрѣчали ни у Бѣлинскаго, ни у лучшихъ европейскихъ критиковъ.

Самородный ключъ русской поэзіи, говоритъ Гоголь, билъ въ груди народа уже на зарѣ русской исторіи. Все пророчило русской поэзіи невѣдомое, своеобразное развитіе. Нуженъ былъ только толчокъ, одинъ ударъ по спертому фонтану. Кремень не издаетъ огня, пока не ударишь по немъ огнивомъ. Европейское просвѣщеніе было тѣмъ огнивомъ, которымъ Петръ ударилъ по дремавшей массѣ русскаго народа. И вдругъ Россія облеклась величіемъ, заговорила громами и блеснула свѣтомъ европейскихъ наукъ. Все въ молодомъ государствѣ пришло въ восторгъ и изумленіе. Проснулась русская поэзія... Что такое Ломоносовъ? Восторженный юноша, пораженный европейскимъ образованіемъ. Въ его риторическихъ одахъ нѣтъ и слѣда творчества, но въ нихъ слышенъ восторгъ повсюду, гдѣ поэтъ прикоснется къ предмету, близкому его душѣ. Вдругъ среди холодныхъ строфъ польются строфы, исполненныя красоты, языкъ движется свободно, какъ полноводная рѣка въ широкихъ берегахъ. Ломоносовъ стоитъ впереди русскихъ поэтовъ, какъ вступленіе впереди книги. Его поэзія—начинающійся разсвѣтъ. Она первоначальный пророческій набросокъ того, что будетъ впереди [1]).

Огниво ударило по кремню, поэзія вспыхнула. Державинъ представляетъ совершенную противоположность Ломоносову. Въ его поэзіи уже выступаетъ настоящее творчество съ какимъ-то сказочнымъ, непонятнымъ, гиперболическимъ размахомъ. Все въ ней дико, громадно, величаво. Его поэтическіе образы, не имѣя пластической законченности, какъ-бы очерчены незримыми воздушными линіями. Посмотрите описаніе старца Каспія, разсерженнаго бурею:

[1]) *Переписка, XXXI. Въ чемъ-же, наконецъ, существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность*, стр. 172.

Встаетъ въ упоръ ея волнамъ:
То скачетъ въ твердь, то, въ адъ стремяся,
Трезубцемъ бьетъ по кораблямъ,
Столбомъ власы сѣдые вьются,
И гласъ его гремитъ въ горахъ.

«Тутъ казалось, замѣчаетъ Гоголь, хотѣлъ создаться *зримо* образъ старца Каспія, но потерялся въ какомъ-то духовномъ незримомъ очертаніи: ухо слышитъ гулъ гремящаго моря и, вмѣстѣ съ сѣдыми власами старца, подъемлется волосъ на головѣ самого читателя, пораженнаго величіемъ картины». Державинъ—громадная скала, передъ которою никто не можетъ не остановиться, но передъ которою долго не застаивается никто.

Наступилъ вѣкъ Александра. «Все застегнулось, почувствовавъ, что раскинулось черезчуръ нараспашку». Послѣдніе звуки державинской лиры затихли, какъ затихаютъ послѣдніе звуки церковнаго органа. Русская поэзія очутилась вдругъ на свѣтскомъ балу. Французская литература потеряла нѣсколько въ своемъ кредитѣ, въ нѣмецкой литературѣ происходило что-то странное, загадочное. Неясныя грезы, таинственныя преданія, темные призраки невидимаго міра стали предметомъ нѣмецкихъ поэтовъ. Чуткая русская поэзія остановилась съ любопытствомъ передъ такимъ явленіемъ: ея собственныя славянскія начала напомнили ей вдругъ о чемъ-то близкомъ, родномъ. Явился Жуковскій. «Чудною, высшею волею вложено было ему въ душу, отъ дней младенчества, непостижимое ему самому стремленіе къ незримому и таинственному. Въ душѣ его раздавался небесный звонокъ, зовущій въ даль». Жуковскій отрѣшилъ поэзію отъ матеріализма не только въ мысляхъ, въ образѣ выраженія, но и въ самомъ стихѣ, который сталъ у него легокъ и безтѣлесенъ, какъ видѣніе. Картины Жуковскаго, исполненныя грѣющаго теплаго свѣта, благоговѣйной задумчивости, навѣваютъ успокоеніе: становишься тише во всѣхъ своихъ порывахъ, какою-то тайною замыкаются собственныя уста [1]).

Въ то время, когда Жуковскій отрѣшалъ поэзію отъ земли, другой поэтъ, Батюшковъ, какъ-бы нарочно сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу. Онъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, онъ весь отдался плѣнительной нѣгѣ наслажденія. Батюшковъ обвѣялъ русскую поэзію поэтическими звуками полудня, познакомивъ ее съ Аріостомъ, Тассомъ, Петраркою, съ нѣжными отголосками древней Эллады.

Изъ двухъ разнородныхъ началъ явилось третье. Послѣ Жуковскаго и Батюшкова долженъ былъ придти Пушкинъ. Въ немъ нѣтъ отвлеченной идеальности перваго, ни сладострастной роскоши второго. Въ немъ

[1]) *Переписка*, стр. 179.

все уравновѣшено, сжато, сосредоточено. Въ немъ, говоритъ въ другомъ мѣстѣ Гоголь, русская природа, русская душа, русскій характеръ, русскій языкъ отразились въ такой-же чистотѣ и красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла. Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдѣ границы Россіи отличаются такою рѣзкою характерностью: гладкія пространства, прерывающіяся подоблачными горами, покрытый вѣчнымъ снѣгомъ Кавказъ, знойныя долины... Его плѣнила вольная, поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, быстрые набѣги, и кисть его пріобрѣла ту силу, ту быстроту, которая такъ поразила Россію, только что начавшую читать. Пушкинъ описывалъ рѣшительно все. Отъ заоблачнаго Кавказа и картиннаго черкеса до бѣдной сѣверной деревушки съ балалайкою и трепакомъ у кабака—все становится предметомъ его поэзіи, изъ всего онъ исторгаетъ одну электрическую искру того поэтическаго огня, который присутствуетъ во всякомъ твореніи Бога. Онъ откликается на все въ мірѣ. Державинъ, Жуковскій, Батюшковъ обнаружили въ своихъ произведеніяхъ свою личность, одинъ только Пушкинъ не даетъ себя лично чувствовать ни въ чемъ. «Что схватишь изъ его сочиненій о немъ самомъ? Поди, улови его характеръ, какъ человѣка»! И какъ вѣренъ его откликъ, какъ чутко его ухо! Въ Испаніи онъ испанецъ, въ Греціи—грекъ, на Кавказѣ—вольный горецъ. Все онъ окидываетъ однимъ взглядомъ, однимъ словомъ, однимъ чутко найденнымъ и мѣтко прибраннымъ эпитетомъ. Рисуетъ онъ боевую схватку, слогъ его—молнія: фразы блещутъ, какъ сверкающія сабли, и стихъ летитъ быстрѣе битвы. Рисуетъ онъ русскую природу, и вы видите отчетливо, что всѣ черты ея схвачены легко, просто, изящно: все проникнуто внутреннимъ свѣтомъ, словъ немного, но въ каждомъ словѣ—бездна пространства [1]).

Изъ поэтовъ, современныхъ Пушкину, выдѣлились Языковъ и Вяземскій. Въ Языковѣ все—«разгулъ и буйство силъ, свѣтъ молодого восторга». Юношеская свѣжесть такъ и брыжжетъ изъ всего, къ чему онъ ни прикоснется. Не для элегіи и антологическихъ стихотвореній родился Языковъ, а для диффирамба и гимна, ибо стихъ его только тогда и входитъ въ душу, когда онъ весь въ лирическомъ свѣту, когда предметъ его движется, звучитъ, а не пребываетъ въ покоѣ.

Вяземскій — прямая противоположность Языкову. Онъ не поэтъ по призванію, и природа, надѣлившая его всѣми дарами, дала ему талантъ поэта только ради полноты цѣлаго. Въ его произведеніяхъ, говоритъ Гоголь, нѣтъ внутренняго гармоническаго согласованія частей, слышенъ постоянный разладъ: слово не сочетается со словомъ, стихъ со стихомъ,

---

[1]) *Переписка*, стр. 181—187 и томъ пятый: ***Нѣсколько словъ о Пушкинѣ***, стр. 207—212.

то вдругъ что-то захватываетъ васъ искренностью чувства, то оттолкнетъ звукомъ, чуждымъ вашему сердцу.

Всѣ прочія характеристики—Крылова, Лермонтова, Грибоѣдова, Фонвизина—столь-же блестящи, полны содержанія и мѣткихъ, скульптурныхъ выраженій.

Ни въ какой другой литературѣ поэты не показали такого безконечнаго разнообразія оттѣнковъ звука, какъ поэты въ Россіи. «Этотъ металлическій, бронзовый стихъ Державина, этотъ густой, какъ смола или струя столѣтняго токая, стихъ Пушкина, этотъ сіяющій, праздничный стихъ Языкова, весь сотканный изъ свѣта, этотъ облитый ароматами полудня стихъ Батюшкова, сладостный—какъ медъ изъ горнаго ущелья, этотъ легкій, воздушный стихъ Жуковскаго, порхающій, какъ неясный звукъ эоловой арфы, этотъ тяжелый, какъ-бы влачащійся по землѣ стихъ Вяземскаго, проникнутый ѣдкою грустью—всѣ они, какъ разнозвонные колокола, разнесли благозвучіе по русской землѣ.» Поэзія русская пробовала всѣ аккорды, прислушивалась къ лирамъ лучшихъ европейскихъ поэтовъ, насыщалась литературами всѣхъ народовъ—затѣмъ, чтобы приготовить себя къ высшему служенію человѣчеству. Христіанскимъ высшимъ воспитаніемъ долженъ воспитаться теперь русскій поэтъ. Какъ во время младенчества народовъ поэзія вызывала въ людяхъ бранолюбивый духъ, такъ теперь она должна вызвать человѣка на другую, высшую битву — на битву за вѣчныя идеи разума. Еще никто не черпалъ изъ глубочайшаго источника русской жизни. Еще не бьетъ всею силою кверху самородный ключъ русской поэзіи. «Еще доселѣ загадка — тотъ необъяснимый разгулъ, который слышится въ русскихъ пѣсняхъ, несется куда-то мимо жизни, какъ-бы сгорая желаніемъ лучшей отчизны, по которой тоскуетъ со дня созданія человѣкъ»... [1]).

Передъ поэзіей, которая загорится скорбью ангела, должна померкнуть поэзія Державина, Жуковскаго, Пушкина. И эта скорбь ангела, проникши въ душу Гоголя, совершила въ ней тотъ переломъ, о которомъ мы говорили выше, внушила ей новыя, болѣе высокія литературныя задачи. «Переписка съ друзьями» проводитъ уже новый, высшій взглядъ Гоголя на жизнь, на искусство, на человѣческій долгъ передъ обществомъ. Въ книгѣ моихъ писемъ, говоритъ Гоголь, я стою на высшей точкѣ, нежели въ уничтоженныхъ «Мертвыхъ душахъ», писанныхъ въ переходномъ состояніи... Но никто не разсмотрѣлъ эту книгу по частямъ, въ ея основаніи. Сила всеобщаго раздраженія была такъ велика, что она даже разрушила всѣ принятыя въ литературѣ приличія. Автору говорили въ глаза, что онъ сошелъ съ ума и прописывали ему рецепты, спасающіе отъ психическаго разстройства. Журнальные мудрецы называли Гоголя лжецомъ и

[1]) *Переписка*, стр. 211.

обманщикомъ, надѣвшимъ на себя личину набожности, приписывали ему подлыя и низкія цѣли. Не могу не признаться, говоритъ Гоголь въ послѣднихъ строкахъ своей «Исповѣди», что вся эта путаница и недоразумѣніе были для меня очень тяжелы. Душа моя изнемогла отъ упрековъ, которыхъ было слишкомъ много для немощной натуры человѣка. Онъ страдалъ небеснымъ безпокойствомъ о людяхъ, но люди современной науки, а за ними и все многочисленное стадо безсмысленныхъ головъ прокричали его изувѣромъ. Онъ протягивалъ молящія руки ко всякому, прося помощи, но ему отвѣчали словами злобы и ненависти! Онъ даже не защищался почти. Только два-три человѣка изъ близко стоявшихъ къ поэту пощадили его, и за эту пощаду онъ приноситъ имъ свою искреннюю благодарность: они рукой скорбящаго брата приподымали меня, говоритъ Гоголь, и Богъ да вознаградитъ ихъ! «Я не знаю выше подвига, какъ подать руку человѣку, изнемогшему духомъ»...

V.

Вникнемъ въ «Переписку», *прочтемъ* ее съ карандашомъ въ рукѣ, отмѣчая на поляхъ все характерное, принципіальное, идущее въ разрѣзъ съ общепринятыми въ русской журналистикѣ взглядами, все то, что рисуетъ намъ внутренній міръ Гоголя, его убѣжденія, любовь, страсть, что вылилось на бумагу съ такою литературною силою и яркостью. Отыщемъ тѣ страницы, гдѣ въ той или другой формѣ сказалось теоретическое направленіе мыслей Гоголя, сказался методъ его моральной или философской критики. Эти страницы дадутъ намъ полное объясненіе того разногласія, которое существовало между Гоголемъ и его современниками и которое сдѣлало его предметомъ всеобщей яростной вражды. Гоголь не былъ теоретикомъ по призванію, но въ письмахъ его имѣются отдѣльныя фразы, которыя свидѣтельствуютъ о необычайной смѣлости отвлеченнаго мышленія. Отсутствіе ясно выраженной философской системы вознаграждается цѣльностью и опредѣленностью нравственнаго ученія, раскрытаго передъ читателемъ съ тою мужественною откровенностью, на какую былъ способенъ проповѣдническій умъ Гоголя, а главныя черты этого ученія, его превосходная радикальная тенденція могли произойти только изъ одного опредѣленнаго теоретическаго источника. Придирки къ отдѣльнымъ мѣстамъ, сужденія, направленныя къ раскрытію отдѣльныхъ частныхъ ошибокъ при разборѣ книги, проникнутой такимъ возвышеннымъ настроеніемъ, такимъ искреннимъ и глубокимъ гуманнымъ чувствомъ, были безсмысленны тогда, когда эта книга впервые появилась въ печати, и были-бы безсмысленны въ наши дни, столь скудные людьми съ настоящимъ талантомъ и философской образованностью.

Въ одномъ изъ писемъ къ графу А. П. Толстому Гоголь говоритъ,

между прочимъ, слѣдующее: нѣкоторые изъ нынѣшнихъ умниковъ выдумали, будто нужно толкаться среди свѣта для того, чтобы узнать его. Это просто вздоръ. Воспитываются для свѣта не посреди свѣта, но вдали отъ него, въ глубокомъ *внутреннемъ созерцаніи*, въ изслѣдованіи *собственной* души, ибо въ ней законы всего и всему. Найди только ключъ къ собственной душѣ и ты этимъ самымъ ключомъ отопрешь души всѣхъ людей [1]). Это и есть основной философскій принципъ Гоголя, выраженный, впрочемъ, въ случайной формѣ и съ ненужными оттѣнками. Въ душѣ законы всего и всему—это значитъ, что духовное начало господствуетъ надъ міромъ, обусловливаетъ формы жизни, даетъ объясненіе всѣмъ историческимъ явленіямъ. Найди ключъ къ пониманію собственной души и этимъ ключомъ ты отопрешь души всѣхъ людей — это значитъ, что внутреннее созерцаніе собственной душевной работы, личное усовершенствованіе играютъ главнѣйшую роль въ умственномъ и соціальномъ развитіи человѣчества. Въ двухъ строкахъ, въ простыхъ, незамысловатыхъ выраженіяхъ—цѣлый фундаментъ для огромной философской постройки. Нетрудно сразу же понять, какимъ путемъ направятся остальныя соображенія автора, если только онъ останется вѣренъ самому себѣ и не измѣнитъ своей первой логической посылкѣ. Къ великому счастью, авторъ не измѣнилъ себѣ на всемъ протяженія «Переписки». Въ письмѣ подъ названіемъ «Христіанинъ идетъ впередъ» мы находимъ дальнѣйшія теоретическія соображенія, сдѣланныя безъ надлежащаго научнаго искусства, но въ истинно идеалистическомъ направленіи. Гоголь говоритъ: умъ не есть высшая въ насъ способность, онъ можетъ только приводить въ порядокъ и разставлять по мѣстамъ то, что у насъ уже есть. Его должность чисто полицейская: онъ не двинется впередъ, покуда не двинутся въ насъ *двѣ* другія способности. Разумъ есть несравненно высшая способность, которая пріобрѣтается побѣдою надъ страстями, и его имѣютъ только тѣ люди, которые не пренебрегли внутреннимъ воспитаніемъ. Но есть еще одна способность въ человѣкѣ, высшая чѣмъ разумъ, и имя ей—*мудрость*... Это—небесная гостья, которая пугается жилищъ, гдѣ не пришло въ порядокъ душевное хозяйство, гдѣ нѣтъ полнаго согласія во всемъ. Она открываетъ передъ человѣкомъ безконечную, вѣчную даль, путь вѣчнаго развитія. Когда она входитъ въ душу, человѣкъ постигаетъ всю чудную сладость быть ученикомъ: ничтожнѣйшій изъ людей можетъ стать для него учителемъ, глупѣйшій предметъ обращается къ нему своею свѣтлою стороною, вся вселенная раскрывается передъ нимъ, какъ книга небеснаго ученія. Эта высшая мудрость дается человѣку въ ученіи Христа. «Для христіанина нѣтъ оконченнаго курса: онъ вѣчно ученикъ и до самаго гроба ученикъ» [2]).

[1]) *Переписка*, IX, стр. 38.

[2]) Ibidem, стр. 55.

Умъ, разумъ, мудрость—три способности, три силы, три ступени душевнаго процесса. Изъ нихъ умъ играетъ только служебную, полицейскую роль, ибо онъ безсиленъ передъ страстями. Разумъ есть тотъ-же умъ, но только просвѣтленный воспитаніемъ, возмужавшій въ строгой нравственной дисциплинѣ. Мудрость — совершенно новая, самобытная сила. Она открываетъ человѣку *небесную* жизнь, дѣлаетъ его *вѣчнымъ* ученикомъ и обращаетъ къ нему *свѣтлую* сторону всякаго предмета. Эти соображенія прямо вылились изъ основной теоремы Гоголя. Психологическій методъ, провозглашенный единственно вѣрнымъ методомъ всякаго изслѣдованія, сразу выдвинулъ передъ нимъ все великое значеніе метафизическаго элемента въ христіанскомъ ученіи. Всѣ три признака мудрости составляютъ одно логическое цѣлое. Этотъ видимый нами міръ держится на невидимомъ духовномъ началѣ, и нѣтъ ни единаго предмета, который лежалъ-бы внѣ стихіи Божества. Мудрость просвѣщаетъ человѣка, открывая глазамъ души горизонты дѣйствительно вѣчной жизни, вѣчной славы, вѣчныхъ подвиговъ. Она широко раздвигаетъ пониманіе человѣка, давая ему высшую точку зрѣнія на природу, на жизнь и освѣщая передъ нимъ дорогу, ведущую къ свободѣ и правдѣ. Идея безсмертія представляетъ одну изъ самыхъ глубокихъ истинъ въ ученіи Новаго Завѣта. Это не только абстрактная, метафизическая идея, но идея моральная. Въ ней опредѣляются качественныя различія двухъ міровъ—міра природы и міра идеальнаго, опредѣляется, какъ отношеніе низшаго элемента къ высшему. Все, творимое человѣкомъ на самыхъ различныхъ поприщахъ общественной и умственной дѣятельности, имѣетъ смыслъ только потому, что есть неизмѣнное, неразрушимое начало, недоступное глазамъ, но открытое внутреннему, духовному зрѣнію. Всѣ лучшія политическія теоріи, самыя смѣлыя экономическія предпріятія, самыя блестящія открытія, сдѣланныя съ помощью телескопа или микроскопа, не имѣли-бы никакого смысла и значенія, если-бы человѣкъ былъ только тѣломъ, если-бы мысль была простою функціей нервнаго вещества. Въ свѣтѣ этой идеи какъ-бы стерлись границы видимыхъ, чувственныхъ предметовъ, и выступилъ на первый планъ духовный законъ человѣческаго существованія.

«Переписка съ друзьями» вся проникнута этимъ религіозно-философскимъ пониманіемъ человѣческой жизни. Человѣкъ долженъ окинуть мудрымъ взглядомъ самого себя и весь міръ,—не поверхностнымъ взглядомъ свѣтскаго человѣка, а высшимъ взглядомъ христіанина. Все вижу и слышу я, говоритъ Гоголь, обращаясь къ кому-то съ напутственнымъ словомъ: твои страданія велики. «Съ такою нѣжною душою терпѣть такія грубыя обвиненія, съ такими возвышенными чувствами жить посреди такихъ грубыхъ, неуклюжихъ людей». Но все это—еще только начало. Оскорбленій будетъ еще больше, предстанетъ еще сильнѣйшая борьба съ

подлецами всѣхъ сортовъ. Встрѣтятся безчисленныя, новыя, неожиданныя затрудненія... Мы призваны въ міръ вовсе не для праздниковъ, а на битву. Какъ добрый воинъ, каждый изъ насъ долженъ броситься туда, гдѣ битва жарче, не ища непріятеля безсильнаго, но сильнаго. Не велика слава сразиться съ миролюбивымъ человѣкомъ, когда знаешь впередъ, что онъ побѣжитъ: съ черкесомъ, передъ которымъ все дрожитъ, съ непобѣдимымъ черкесомъ слѣдуетъ схватиться—вотъ гдѣ настоящая слава [1]). Прежде чѣмъ приходить въ смущеніе отъ чего-бы то ни было, слѣдуетъ заглянуть въ свою собственную душу: можетъ быть, тамъ господствуетъ постыдный безпорядокъ, растрепанный, неопрятный гнѣвъ, можетъ быть—въ ней поселилась малодушная способность падать на всякомъ шагу, воцарилось уныніе, можетъ быть—въ ней таится тщеславное желаніе пристать къ тому, что блеститъ и пользуется успѣхомъ. Лучше смутиться отъ того, что дѣлается внутри насъ самихъ, нежели отъ того, что дѣлается внѣ насъ. Всѣ должности равны, всѣ мѣста равно значительны, отъ малаго до великаго, если только на нихъ взглянуть значительно. Въ Россіи, восклицаетъ Гоголь, теперь на всякомъ шагу можно сдѣлаться богатыремъ! Обращаясь къ графу А. П. Толстому, Гоголь говоритъ ему: чтобы имѣть право удалиться отъ міра, нужно умѣть распроститься съ міромъ. У васъ есть богатство и вы можете роздать его нищимъ, но что же есть у меня? Имущество мое не въ деньгахъ. «Богъ мнѣ помогъ накопить нѣсколько умнаго и душевнаго добра и далъ нѣкоторыя способности полезныя и нужныя другимъ—стало быть, я долженъ раздать это имущество неимущимъ, а потомъ уже идти въ монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Нѣтъ, для васъ такъ-же, какъ и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь вашъ — Россія». Ступайте подвизаться въ ней. Она теперь зоветъ сыновъ своихъ еще крѣпче, нежели когда либо прежде. «Другъ мой! Или у васъ безчувственное сердце, или вы не знаете, что такое для русскаго Россія!» Въ двухъ замѣчательныхъ письмахъ къ Языкову слова Гоголя звучатъ особенно вдохновенно. «Сатирою ничего не возьмешь, восклицаетъ Гоголь, и простою картиною дѣйствительности, оглянутой глазомъ современнаго свѣтскаго человѣка, никого не разбудишь... Нѣтъ! отыщи въ минувшемъ событіе, подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его въ виду всѣхъ. Бей въ прошедшемъ настоящее, и въ двойную силу облечется твое слово». Все теперь подходящій предметъ для лирическаго поэта. Куда ни обернешься, все ждетъ либо упрека, либо свѣжаго, ободряющаго слова. Попрекни прежде всего сильнымъ лирическимъ упрекомъ умныхъ, но унывшихъ людей. Покажи имъ дѣло въ настоящемъ видѣ, то есть, покажи имъ, что чело-

[1]) *Переписка*, стр. 167—169.

вѣкъ, предавшійся унынію, «есть дрянь во всѣхъ отношеніяхъ», потому что уныніе проклято Богомъ. Опозорь въ гнѣвномъ дивирамбѣ лихоимца нынѣшнихъ временъ, его проклятую роскошь, презрѣнный порогъ его богатаго дома. Обратись съ лирическимъ воззваніемъ къ прекрасному, но дремлющему человѣку. «Брось ему съ берега доску и закричи во весь голосъ, чтобы онъ спасалъ свою душу». Возвеличь въ торжественномъ гимнѣ незамѣтнаго труженика, какой, «къ чести высокой породы русской», есть еще посреди отважнѣйшихъ взяточниковъ, который не беретъ даже и тогда, когда все беретъ вокругъ него. «Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотѣла носить старомодный чепецъ, нежели допустить своего мужа сдѣлать несправедливость и подлость. Выставь ихъ прекрасную бѣдность такъ, чтобы, какъ святыня, она засіяла у всѣхъ въ глазахъ». Стыдно тратить лирическую силу въ холостыхъ выстрѣлахъ на воздухъ, когда она дана человѣку на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Много, много предметовъ для лирическаго поэта. Дремлетъ наша удаль, дремлетъ рѣшимость, дремлетъ наша крѣпость и сила, дремлетъ умъ нашъ среди вялой и бабьей свѣтской жизни. На колѣни передъ Богомъ, и проси гнѣва и любви! Гнѣва противъ того, что губитъ человѣка, любви — къ бѣдной душѣ человѣка, которую губятъ со всѣхъ сторонъ и которую губитъ онъ самъ. «Найдешь слова, найдутся выраженія. Огни, а не слова излетятъ отъ тебя, какъ отъ древнихъ пророковъ, если только, подобно имъ, сдѣлаешь это дѣло роднымъ и кровнымъ своимъ дѣломъ, если только такъ возлюбишь спасеніе земли своей, какъ возлюбили они спасеніе богоизбраннаго своего народа» [1]). Идеалъ человѣка, преданнаго своему литературному дѣлу—живописецъ Ивановъ. Нужно, какъ Ивановъ, умереть для всѣхъ приманокъ жизни, какъ Ивановъ, учиться и считать себя вѣчно ученикомъ, какъ Ивановъ, надѣть простую плисовую куртку, когда оборвались всѣ средства, какъ Ивановъ, вытерпѣть все и, при высокомъ, нѣжномъ образованіи, терпѣливо выносить всѣ мелкія, обидныя неудачи и пораженія. Нужно отдаться дѣлу такъ, какъ отдается монахъ монастырю [2]).

Во многихъ мѣстахъ «Переписки» Гоголь проводитъ мысль о томъ, что несчастіе необходимо для человѣка, какъ орудіе душевнаго развитія, какъ мотивъ къ живому и дѣятельному состраданію. Поэтъ и художникъ до глубины души, Гоголь относится враждебно ко всякому холодному резонерству. Писатель можетъ изобразить только то, что онъ почувствовалъ, о чемъ въ душѣ его сложилось опредѣленное представленіе. Живописецъ Ивановъ просиживалъ по цѣлымъ мѣсяцамъ въ нездоровыхъ

---

[1]) *Переписка.* стр. 74.

[2]) Ibidem, Историческій живописецъ Ивановъ, стр. 133—134.

Понтійскихъ болотахъ и пустынныхъ мѣстахъ Италіи, чтобы только вызвать въ себѣ живое ощущеніе того, что ему хотѣлось перенести на полотно. Но гдѣ могъ онъ найти образецъ для того, что составляетъ главную задачу его знаменитой картины—представить въ лицахъ весь ходъ человѣческаго обращенія ко Христу? Изъ головы? Создать воображеніемъ? Постигнуть мыслью? Нѣтъ, пустяки! Ивановъ напрягалъ воображеніе, слѣдилъ за лицами людей, съ какими ни встрѣчался, оставался подолгу въ церквахъ—все было безсильно, напрасно до тѣхъ поръ, пока въ самомъ художникѣ не произошло истиннаго обращенія къ Христу. Только испытавъ всѣ страданія бѣдственнаго положенія, все свое безсиліе въ борьбѣ съ людскою жестокостью, человѣкъ можетъ проникнуться живымъ сочувствіемъ къ страждущему брату. Страданіе есть неизбѣжная ступень къ справедливости. О, какъ нужны намъ недуги, восклицаетъ Гоголь. Несчастіе умягчаетъ человѣка, пишетъ онъ А. О. Смирновой: природа его становится болѣе чуткой и доступной для пониманія предметовъ, превосходящихъ обычныя его силы. Въ несчастіи есть святой и глубокій смыслъ, и гдѣ-бы оно ни случилось, оно ничто иное, какъ нѣкоторый небесный крикъ, «вопіющій человѣку о перемѣнѣ всей его прежней жизни». Страданіями и горемъ, пишетъ Гоголь Шевыреву, опредѣлено намъ добывать крупицы мудрости, не пріобрѣтаемой въ книгахъ. Стоитъ только хорошенько выстрадаться самому, какъ уже всѣ страдающіе становятся понятны, умъ проясняется, дотолѣ сокрытыя положенія обнаруживаются и объясняются. Несчастному человѣку можетъ помочь только тотъ, кто самъ подвизался на поприщѣ нищеты, кто терпѣлъ самъ и видѣлъ, какъ терпятъ другіе.

Это чисто христіанское ученіе о страданіи. Если смерть, величайшее страданіе въ мірѣ, есть только мучительный актъ духовнаго освобожденія, то всѣ страданія, которыми переполнена человѣческая жизнь, являются тѣмъ очистительнымъ огнемъ, въ которомъ сжигается все, что порочно, что задерживаетъ умственный и нравственный ростъ человѣка. Въ личномъ страданіи не трудно открыть общечеловѣческіе элементы и, такимъ образомъ, душевно сродниться со всѣмъ міромъ. Не сами по себѣ, а по тому настроенію, которое они создаютъ въ насъ, страданія становятся *незримыми ступенями* къ высшему духовному совершенству. Страданія безъ мудрости безцѣльны, ибо только мудрость—въ томъ смыслѣ, въ какомъ ее понимаетъ Гоголь—знаетъ настоящую цѣль и задачу страданія. Мудрость безъ страданія—мертвая теорема, не перешедшая въ жизнь. Это доблестное ученіе, взывающее къ страстотерпческому кресту, открывающее свѣтлую, радостную сторону тамъ, гдѣ близорукій умъ матеріалиста или позитивиста видитъ только печаль и горе — въ пыткѣ нищеты, въ самой смерти. Это религіозная поэзія, вся въ свѣту героическаго экстаза, поющая гимны небесамъ въ часъ разлуки со всѣмъ,

что было близко душѣ, поэзія суровой битвы за *идеальное* начало жизни, поэзія вѣчной борьбы за философскую и нравственную истину. Когда мудрость сдѣлается всеобщимъ достояніемъ человѣчества, эта поэзія вытѣснитъ всякую другую и окраситъ собою всѣ проявленія человѣческой дѣятельности. Теперь истинная мудрость есть удѣлъ только немногихъ людей, и поэзія борьбы и страданій, въ ея чистомъ видѣ, встрѣчается только, какъ отрадное исключеніе, посреди несноснаго, грубаго и глухаго шума посредственныхъ литературныхъ барабанщиковъ. Есть люди, говоритъ Гоголь, которые должны навѣки остаться нищими, которые пренебрегаютъ богатствами міра, но ихъ немного. Большинство людей жадно ищетъ удовольствія, мимолетныхъ благъ, пренебрегая ощущеніемъ совершеннаго нравственнаго подвига, поэзіей освобожденія отъ деспотической власти грубой и мертвой матеріи. Современное общество составлено преимущественно изъ людей, которые привыкли держаться, по мѣткимъ словамъ Гоголя, за хвосты журнальныхъ вождей, не знающихъ, куда вести свои стада. Со всѣми нашими огромными средствами и орудіями къ совершенствованію, «пишетъ Гоголь Языкову, съ опытомъ всѣхъ вѣковъ, съ нашей гибкой, переимчивой природою, съ нашей религіею—со всѣмъ этимъ мы дошли до такого внѣшняго и внутренняго неряшества, что опротивѣли другъ другу, что ни одинъ изъ насъ не уважаетъ другого, не выключая даже и тѣхъ, которые толкуютъ объ уваженіи ко всѣмъ. Все перессорилось, пишетъ въ другомъ мѣстѣ Гоголь: «дворяне у насъ между собою, какъ кошки съ собаками, купцы между собою, какъ кошки съ собаками, крестьяне между собою, какъ кошки съ собаками, даже честные и добрые люди между собою въ разладѣ, и только между плутами видно что-то похожее на дружбу». «Дрянь и тряпка сталъ всякъ человѣкъ». Онъ обратилъ себя въ раба самыхъ пустыхъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нѣтъ теперь свободы въ ея истинномъ смыслѣ. «И непонятною тоскою уже загорѣлась земля. Все мельчаетъ и мелѣетъ, и возрастаетъ только въ виду всѣхъ одинъ исполинскій образъ скуки, достигая съ каждымъ днемъ неизмѣримѣйшаго роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится въ твоемъ мірѣ».

Гоголь любилъ Россію великою любовью. «Кому, при взглядѣ на пустынныя, доселѣ незаселенныя и безпріютныя пространства, пишетъ онъ, не чувствуется тоска, кому въ заунывныхъ звукахъ русской пѣсни не слышатся болѣзненные упреки ему самому, тотъ или уже весь исполнилъ свой долгъ, или же онъ не русскій въ душѣ»... Несмотря на то, что Петръ I далъ намъ въ руки всѣ средства и орудія для просвѣщенія, наши пространства до сихъ поръ остаются пустынны, грустны и безлюдны, точно Россія еще не у себя дома, не подъ родною нашею

крышею, но гдѣ-то остановилась безпріютно на проѣзжей дорогѣ. Россія просится къ верховному свѣту. Если вооружиться высшимъ взглядомъ на жизнь, если каждый русскій человѣкъ, понявъ свой гражданскій долгъ, отдастъ свои силы тому самому дѣлу, около котораго онъ поставленъ волею обстоятельствъ, все перемѣнится къ лучшему. Тѣ-же пустынныя пространства, которыя вчера навѣвали тоску на душу, могутъ сегодня вызвать восторгъ своимъ просторомъ для великихъ подвиговъ. Только-бы подняться духомъ, возстать умомъ, всѣмъ сознаніемъ, всѣми внутренними силами на всякій низкій порывъ души, на всякую ложь. Только-бы пропитаться отвагою мудрости и выйти на дорогу новаго практическаго и духовнаго творчества. Только-бы «высвѣтлить» всѣ понятія, всѣ чувства, всѣ желанія и поступки тою философскою *мудростью*, которая раскрыла человѣку истину вѣчную, высшую, небесную.

Таково содержаніе «Переписки съ друзьями» въ самыхъ общихъ чертахъ. Гоголь не былъ, какъ мы уже сказали, систематическимъ мыслителемъ, и потому въ его разсужденіяхъ не слѣдуетъ искать строго формулированныхъ теоретическихъ положеній и отвлеченныхъ теоремъ. Несмотря на дидактическій тонъ моралиста и проповѣдника, «Переписка съ друзьями» есть произведеніе по преимуществу художественное, литературное, изящное. Философская тенденція выступила въ ней, правда, въ черезчуръ рѣзкой и открытой формѣ, безъ внѣшняго покрывала, но тѣмъ не менѣе всѣ пріемы доказательства въ ней, какъ и во всякомъ художественномъ произведеніи, имѣютъ психологическій характеръ, разсчитаны на воображеніе и чувство читателя. Въ «Перепискѣ» есть преувеличенія, практическія ошибки, неправильная постановка нѣкоторыхъ второстепенныхъ вопросовъ, но въ общемъ—эти ошибки и недостатки совершенно ничтожны, почти незамѣтны по сравненію съ тою огромною правдою, которая наложила свою печать на всѣ ея лучшія страницы.

А изувѣрства, вражды къ просвѣщенію въ «Перепискѣ» нѣтъ и слѣда. Мотивъ книги психологическій, цѣль ея—благо въ широкомъ смыслѣ этого слова. Это — оклеветанная, замѣчательная книга, которою Россія можетъ гордиться передъ всѣмъ свѣтомъ.

VI.

Приведемъ нѣкоторые изъ отзывовъ русской печати о «Перепискѣ съ друзьями» и начнемъ съ небольшаго отзыва перваго русскаго критика. Бѣлинскій открываетъ свою библіографическую замѣтку слѣдующими словами. Это едва-ли не самая странная и самая поучительная книга, какая когда-либо появлялась на русскомъ языкѣ, пишетъ онъ. Безпристрастный читатель, съ одной стороны, найдетъ въ ней жестокій ударъ человѣческой гордости, а съ другой стороны—обогатится любопытными психологическими фактами

касательно бѣдной человѣческой природы. Бѣлинскій, впрочемъ, оговаривается, замѣчая, что нисколько не правъ будетъ тотъ, кѣмъ при чтеніи этой книги попеременно стали-бы овладѣвать то жестокая грусть, то злая радость — грусть о томъ, что человѣкъ съ огромнымъ талантомъ можетъ падать такъ-же низко, какъ и самый дюжинный человѣкъ, радость оттого, что все ложное, натянутое, неестественное никогда не можетъ замаскироваться, но всегда безпощадно казнится собственною-же пошлостью. Смыслъ книги не до такой степени печаленъ: тутъ дѣло идетъ объ искусствѣ, и самое худшее въ ней—потеря человѣка для искусства. Затѣмъ Бѣлинскій дѣлаетъ Гоголю цѣлый рядъ упрековъ. *Во-первыхъ*, авторъ судитъ о вещахъ не по разуму, не по знанію и практическому опыту, а по вдохновенію. Напримѣръ, Гоголь обвиняетъ женъ чиновниковъ въ томъ, что онѣ создаютъ для своихъ мужей причину взяточничества—онѣ желаютъ блистать въ свѣтѣ, большомъ и маломъ, и требуютъ на то денегъ отъ мужей. Критикъ иронизируетъ по поводу этихъ словъ Гоголя. Мы были сильно поражены, говоритъ онъ, этимъ страннымъ открытіемъ. Конечно, было-бы хорошо, если-бы чиновницы перестали щеголять и блистать въ свѣтѣ, но было-бы еще лучше, если-бы онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ навсегда оставили дурную привычку—поутру и вечеромъ пить чай или кофе, а въ полдень обѣдать, равно какъ и другую, не менѣе дурную привычку, прикрывать наготу свою чѣмъ нибудь другимъ, кромѣ рогожи или самой дешевой парусины. *Во-вторыхъ*, авторъ «Переписки» является какъ-бы защитникомъ народной безграмотности. Не понимаемъ, говоритъ Бѣлинскій, съ чего это взялъ Гоголь, будто народъ бѣжитъ, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги? Пусть попроситъ своихъ друзей, чтобы они переслали ему отчетъ министра государственныхъ имуществъ за 1846 годъ, напечатанный во всѣхъ офиціальныхъ русскихъ газетахъ: изъ него увидитъ онъ, какъ быстро распространяется въ Россіи грамотность въ простомъ народѣ. Пусть захочетъ пожить въ той Россіи, которую такъ расхваливаетъ, «живя въ разныхъ нѣмецкихъ земляхъ», и присоединится къ простому народу, о которомъ онъ судитъ такъ рѣшительно, не зная его. *Въ-третьихъ*, авторъ преувеличилъ значеніе Одиссеи въ письмѣ «Объ Одиссеѣ, переведенной Жуковскимъ». Бѣлинскій предлагаетъ Гоголю два «смиренныхъ» вопроса: какъ будетъ простой народъ читать Одиссею? Что, если «мистическія предреченія» о вліяніи Одиссеи на судьбу русскаго народа вовсе не сбудутся, и переводъ этотъ, подобно переводу Иліады, будетъ существовать только для немногихъ? *Въ четвертыхъ*, авторъ обнаружилъ непониманіе той литературной критики, которая истолковала лучшія его художественныя произведенія и слишкомъ высокомѣрно отнесся къ читающей русской публикѣ. Когда нѣкоторые хвалили сочиненія Гоголя, говоритъ Бѣлинскій, они не ходили къ нему справляться, какъ онъ

думаетъ о своихъ сочиненіяхъ, а судили о нихъ сообразно съ тѣми впечатлѣніями, которыя они производили. Такъ и теперь мы не пойдемъ къ нему, пишетъ онъ, спрашивать его, какъ онъ прикажетъ намъ думать объ его прежнихъ сочиненіяхъ и «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями» Какая намъ нужда, что онъ не признаетъ въ нихъ никакихъ достоинствъ, если ихъ признало общество? Именно теперь еще болѣе, чѣмъ прежде, будутъ расходиться и читаться сочиненія Гоголя—потому болѣе, что онъ теперь самъ существуетъ для публики больше въ прошедшемъ, чѣмъ въ настоящемъ. «Горе человѣку, котораго сама природа создала художникомъ,—горе ему, если, недовольный своею дорогою, онъ отправился въ чуждый ему путь! На этомъ новомъ пути ожидаетъ его неминуемое паденіе, послѣ котораго не всегда бываетъ возможно возвращеніе на прежнюю дорогу» [1]).

На то, что есть серьезнаго въ этихъ упрекахъ, Гоголь самъ возразилъ въ своей «Авторской Исповѣди». Меня изумило, говоритъ онъ, когда люди умные стали дѣлать придирки къ словамъ совершенно яснымъ, и, остановившись надъ двумя, тремя мѣстами, стали выводить заключенія, совершенно противоположныя духу всего сочиненія. «Сколько я себя ни помню, скромно заявляетъ Гоголь, я всегда стоялъ за просвѣщенье народное, но мнѣ казалось, что еще прежде, чѣмъ просвѣщеніе самого народа, полезнѣй просвѣщенье тѣхъ, которые имѣютъ ближайшія столкновенія съ народомъ, отъ которыхъ часто терпитъ народъ». Далѣе Гоголь возражаетъ на четвертый упрекъ Бѣлинскаго. Мнѣ показалось страннымъ, пишетъ онъ, когда изъ одного мѣста моей книги вывели заключеніе, что я отвергаю всѣ достоинства моихъ сочиненій и несогласенъ съ тѣми критиками, которые говорили въ мою пользу. «Но неловко-же мнѣ говорить самому о своихъ достоинствахъ, да и съ какой стати? О недостаткахъ моихъ литературныхъ я заговорилъ потому, что пришлось кстати, по поводу психологическаго вопроса, который есть главный предметъ всей моей книги. Какъ-же не соображать этихъ вещей!»

Критика Бѣлинскаго, несмотря на свою безсистемность, имѣла большое вліяніе на всю послѣдующую литературу о «Перепискѣ» Гоголя. Отзывъ Бѣлинскаго съ различными варіаціями повторенъ былъ почти всѣми, писавшими о «Перепискѣ», писавшими при этомъ въ тонѣ нѣсколько напыщеннаго негодованія, съ искреннимъ, хотя и совершенно безсильнымъ, желаніемъ разоблачить ея нравственную и логическую несостоятельность. Съ точки зрѣнія историко-литературной, нельзя не считать большимъ несчастіемъ то, что Бѣлинскій сдѣлалъ такую крупную ошибку въ оцѣнкѣ замѣчательнаго произведенія Гоголя. Его слово проложило дорогу многимъ такимъ мнѣніямъ, которыя при иныхъ обстоятельствахъ,

[1]) *Сочиненія*, т. XI, стр., 80—103.

быть можетъ, не выступили-бы на страницахъ русскихъ газетъ и журналовъ—къ стыду и несчастью русской литературы. Но мы остановимся только на двухъ-трехъ статьяхъ, составившихъ отрадное исключеніе въ этомъ общемъ хорѣ уязвленныхъ въ своемъ глубокомысліи русскихъ журналистовъ. Между ними статья кн. Вяземскаго въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ»—явленіе, по истинѣ, замѣчательное, блестящее [1]). Она написана съ огнемъ, съ неподдѣльнымъ, ѣдкимъ остроуміемъ. Это лучшій разборъ «Переписки», проникнутый умственною свободою, живою любовью къ высокимъ порывамъ разума. Онъ не устарѣлъ и для нашихъ дней, столь бѣдныхъ мыслями и столь богатыхъ заносчивыми разглагольствованіями и хвастливыми изліяніями по поводу ничтожнѣйшихъ мелкихъ событій въ журнальной карьерѣ того или другого литературнаго кружка. Вяземскій такъ описываетъ внѣшнія условія того перелома, который совершился въ дѣятельности Гоголя. На авторѣ «Переписки», пишетъ онъ, лежала обязанность не двусмысленно, не сомнительно, а гласно, такъ сказать, торжественно разорвать съ частью своего прошедшаго. Нѣтъ сомнѣнія, что на крутой поворотъ его, который всѣхъ удивилъ и многихъ сбилъ съ толку, подѣйствовали не столько озлобленные противники, сколько бѣшеные приверженцы его. Что не могли сдѣлать непріятели, то было сдѣлано друзьями. Пошлая брань и неосновательныя придирки могли и должны были проскользнуть мимо вниманія Гоголя, но чрезмѣрныя, часто ложныя похвалы, приторные гимны усердныхъ поклонниковъ не могли не навести унынія на человѣка съ умомъ свѣтлымъ и высокимъ. Идолопоклонство передъ его именемъ показалось ему такъ смѣшно, что ему стало до нестерпимости грустно. Какъ было не одуматься, не оглядѣться? Какъ писателю честному не отказаться съ досадою отъ торжества, устроеннаго не призванными и не признанными руками? Обращаясь къ самой «Перепискѣ», авторъ говоритъ: какъ ни оцѣнивай эту книгу, съ какой точки зрѣнія ни смотри на нее, нельзя не придти къ заключенію, что это въ высшей степени замѣчательная книга. Она—событіе литературное и психологическое. Дѣйствіе, ею произведенное, доказываетъ, что она имѣетъ большое общественное значеніе. «Что всѣ журналы о ней отозвались, кто какъ могъ, кто какъ умѣлъ, это еще ничего. Но о ней много было словесныхъ толковъ, преній, разговоровъ. Это гораздо важнѣе». Журнальная критика, говоритъ Вяземскій, предъявила къ «Перепискѣ» очень странное требованіе. Ей показалось, будто она и мы всѣ имѣемъ какое-то крѣпостное право надъ авторомъ и что книга его есть только возмущеніе, изъявленіе предательства и неблагодарности. Все написанное о ней было болѣе или менѣе неосновательно и поверхностно, болѣе или менѣе не-

[1]) «С.-Петербургскія Вѣдомости», 1847. *Языковъ—Гоголь*, №№ 90, 91.

прилично. Кто по заведенному обычаю вытаскивалъ изъ нея на удочку отдѣльныя слова и фразы, кто—«изъ уставщиковъ кавыкъ и строчныхъ препинаній», углублялся въ перетасовку запятыхъ, щеголяя собственными познаніями по этой части, кто высказывалъ сомнѣніе въ искренности убѣжденій автора и дѣлалъ анатомическіе опыты, разсѣкая живое сердце, какъ безчувственное. «Съ упреками своими обращаюсь я къ той части судей изъ устныхъ или письменныхъ, которыхъ голосъ долженъ быть принятъ въ соображеніе и во вниманіе. Между ними нѣкоторые погрѣшили недостаткомъ доброжелательства, терпимости, братской любви, даже свѣтскаго общежительства, на которыя имѣетъ полное право писатель, каковъ Гоголь, погрѣшили и недостаткомъ законной, необходимой справедливости, на которую имѣетъ право каждый изъ насъ. Русскій человѣкъ даже и обидѣвшему его говоритъ: Богъ проститъ! А Гоголь только тѣмъ предъ вами и виноватъ, что вы не такъ мыслите, какъ онъ». Каковы-бы ни были частные, мелкіе недостатки «Переписки», по прочтеніи ея нельзя не полюбить автора, не проникнуться къ нему уваженіемъ, нельзя не позавидовать его духовному настроенію. «Переписка» касается всѣхъ современныхъ, животрепещущихъ вопросовъ, и на каждомъ вопросѣ авторъ «зарубаетъ свою отмѣтку» рѣжущимъ и яркимъ словомъ. Многія страницы въ этой книгѣ исполнены одушевленія и краснорѣчія, какъ, напримѣръ, въ письмѣ: «Женщина въ свѣтѣ». Цѣль книги высокая, прекрасная, братская. Нельзя благороднѣе и лучше понять, говоритъ Вяземскій, святость авторскаго званія. Можно быть болѣе или менѣе довольнымъ пріемами изложенія, которыхъ держался Гоголь въ выраженіи своихъ мыслей, сужденій и вѣрованій, но нѣтъ сомнѣнія, что чтеніе «Переписки» ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть безплодно: многое въ ней обращаетъ вниманіе человѣка на самого себя, заставляетъ его невольно заглянуть въ душу, осмотрѣться, допросить, ощупать себя. «Гоголь до послѣдняго колоса перекосилъ низменныя жатвы нашего общества. Мудрено, какъ другіе не догадались, что послѣ него не осталось ни одного живого зерна... Нынѣ авторъ призываетъ на свой судъ не мелкаго чиновника, а себя и человѣка. Онъ расширяетъ и облагораживаетъ кругъ своего дѣйствія. Онъ изъ уѣзда переходитъ въ открытый Божій міръ. Если полагать, что настоящая книга его не заслуживаетъ пристальнаго вниманія, то должно-бы заключить съ прискорбіемъ, что пошлость заразила не только поверхность нашей литературы, но прокралась и въ глубину нашихъ духовныхъ потребностей, что она отучила насъ отъ всего, что составляетъ нравственное достоинство человѣка».

Статья князя Вяземскаго окончилась печатаніемъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» 25 апрѣля 1847 года, а 29 числа того-же мѣсяца и года П. Я. Чаадаевъ уже послалъ князю Вяземскому письмо о книгѣ Гоголя, появившееся въ печати въ сборникѣ статей, подъ назва-

ніемъ «Московскій Университетскій Благородный Пансіонъ». Письмо Чаадаева естественно разбивается на двѣ части: первая написана до прочтенія статьи Вяземскаго, вторая—по прочтеніи. Въ началѣ письма Чаадаевъ какъ-бы недоволенъ «Перепискою съ друзьями». Какъ вы хотите, пишетъ онъ, чтобы въ наше надменное время, «напыщенное народною спѣсью», писатель даровитый, закуренный ладаномъ съ ногъ до головы, не зазнался? «Мы нынче такъ довольны всѣмъ своимъ роднымъ, домашнимъ, такъ радуемся своимъ прошедшимъ, такъ потѣшаемся своимъ настоящимъ, такъ величаемся своимъ будущимъ, что чувство всеобщаго самодовольства переносится и къ собственнымъ нашимъ лицамъ. Коли народъ русскій лучше всѣхъ народовъ въ мірѣ, то, само собою разумѣется, что и каждый даровитый русскій человѣкъ лучше всѣхъ даровитыхъ людей прочихъ народовъ». Недостатки книги Гоголя, по мнѣнію Чаадаева (въ первой части его письма), принадлежатъ не самому Гоголю, а тѣмъ, которые превозносятъ его до безумія, преклоняются передъ нимъ, ожидаютъ отъ него какого-то преображенія русскаго слова, которые придаютъ его сочиненіямъ чуть не всемірное значеніе. Достоинства книги принадлежатъ самому Гоголю. «Онъ больше ничего, какъ даровитый писатель, котораго чрезмѣрно возвеличили, который попалъ на новый путь и не знаетъ, какъ съ нимъ сладить. Но все-таки онъ тотъ-же самый человѣкъ, какимъ мы его и прежде знали, и все-таки онъ, и въ томъ болѣзненномъ состояніи души и тѣла, въ которомъ находится, стократъ выше всѣхъ своихъ порицателей—и когда захочетъ, то сокрушитъ ихъ однимъ словомъ и размечетъ, какъ быліе непотребное». Но вотъ Чаадаевъ прочелъ блестящую статью князя Вяземскаго и съ пера его слетѣли фразы, дѣлающія честь его уму, его чуткости къ правдѣ, хотя-бы не имъ самимъ открытой. Статья ваша, пишетъ онъ, останется въ памяти читающихъ и мыслящихъ людей, какъ самое честное слово, произнесенное о книгѣ Гоголя. Все, что было сказано о «Перепискѣ» другими, преисполнено какою-то странною злобою противъ автора. Гоголю какъ будто не могутъ простить, что, «веселивши насъ столько времени шуткою», ему разъ вздумалось поговорить, не смѣясь, серьезно. А между тѣмъ, въ книгѣ его, при нѣкоторыхъ страницахъ слабыхъ, имѣются страницы красоты изумительной, полныя правды безпредѣльной, такія страницы, что, читая ихъ, радуешься и гордишься тѣмъ, что говоришь на томъ языкѣ, на которомъ онѣ написаны: «На меня находитъ невыразимая грусть, когда вижу всю эту злобу, возникшую на любимаго писателя, доставившаго намъ столько слезныхъ радостей, за то только, что пересталъ насъ тѣшить и, съ чувствомъ скорби и убѣжденія, исповѣдается передъ нами и старается, по силамъ, сказать намъ доброе и поучительное слово». Но и во второй части своего письма Чаадаевъ повторяетъ, что его оскорбляетъ въ письмахъ Гоголя высокомѣрный тонъ, столь не подходящій для русскаго писателя.

Въ шестомъ томѣ сочиненій Жуковскаго мы находимъ три письма къ Гоголю по поводу «Переписки съ друзьями»: о «Смерти», о «Молитвѣ», объ изреченіи Пушкина: *слова поэта суть дѣла его*. Жуковскій почти не споритъ съ Гоголемъ, а только развиваетъ и дополняетъ мысли, оставшіяся неразработанными въ «Перепискѣ». Каждое слово Жуковскаго отражаетъ его тонкую духовную впечатлительность къ вопросамъ религіи и литературы. Двѣ страницы о смерти проникнуты тихою грустью, трогательною поэзіею религіознаго убѣжденія и вѣры. Въ письмѣ о молитвѣ имѣется хорошо придуманное разсужденіе по одному вопросу христіанской догматики, служащее какъ-бы полемическимъ отвѣтомъ на заключительныя слова предисловія къ «Перепискѣ» и нѣсколько сочувственныхъ словъ по адресу князя Вяземскаго. Живя заграницей, Жуковскій не получалъ русскихъ журналовъ, и потому не могъ знать, что было въ нихъ напечатано о книгѣ Гоголя. Онъ читалъ одну только прекрасную статью князя Вяземскаго. Жуковскій винитъ себя въ томъ, что не посовѣтовалъ Гоголю уничтожить *Завѣщаніе* и многое переправить въ *Предисловіи*. Онъ понимаетъ, почему эта читающая публика, «сидящая чиномъ на креслахъ и стульяхъ кругомъ чтеца» и вся фаланга журналистовъ, «вооруженныхъ дреколіемъ порицанія и крючьями придирки», должны были накинуться на слабыя стороны «Переписки». Однако, самъ Жуковскій возражаетъ Гоголю только по вопросу о молитвѣ, и возражаетъ, какъ мы уже говорили, возвышенно, чистосердечно, со многими замѣчательными психологическими оттѣнками. Третье письмо Жуковскаго написано въ развитіе письма Гоголя о задачахъ искусства отъ 29 декабря 1847 г.

Въ заключеніе упомянемъ объ отзывѣ графа Л. Толстого о «Перепискѣ съ друзьями». Перечелъ я книгу Гоголя въ третій разъ, пишетъ Левъ Толстой. «Всякій разъ, когда я ее читалъ, она производила на меня сильное впечатлѣніе. Гоголь многое сказалъ въ своихъ письмахъ, но пошлость, имъ обличенная, закричала: онъ сумасшедшій, и Гоголь, нашъ Паскаль—лежитъ подъ спудомъ! Пошлость господствуетъ, и я всѣми силами стараюсь сказать то-же, что сказано Гоголемъ»...

1893. Январь.

«Очерки Гоголевскаго періода» и вопросъ о гегеліанствѣ Бѣлинскаго.

Въ послѣднее время появились двѣ интересныя книги о Гоголѣ — одна В. И. Шенрока, подъ названіемъ «Матеріалы для біографіи Гоголя», другая Н. Г. Чернышевскаго — подъ названіемъ «Очерки Гоголевскаго періода русской литературы», перепечатанные изъ «Современника» (1855 и 1856 гг.), въ отдѣльномъ изданіи [1]). Въ обоихъ сочиненіяхъ мы находимъ разнообразный историко-литературный матеріалъ, выясняющій много личныхъ особенностей гоголевскаго таланта, условія, при которыхъ сложилась вся дѣятельность Гоголя, и тотъ процессъ, которымъ совершалось развитіе русской критической литературы объ этомъ великомъ писателѣ. Книга Шенрока написана старательно и читается со вниманіемъ. Это очень полезный вкладъ въ исторію русской литературы, сдѣланный притомъ съ увлеченіемъ и любовью. Книга Чернышевскаго имѣетъ совсѣмъ другія достоинства. Это воспроизведеніе тѣхъ журнальныхъ обстоятельствъ, при которыхъ началось поэтическое творчество Гоголя. Нѣкоторыя главы этихъ «Очерковъ» превосходно обрисовываютъ журналистику гоголевскаго періода—борьбу тенденцій и взглядовъ, руководившихъ первыми критиками гоголевскихъ произведеній. Авторъ безпристрастенъ къ событіямъ прошлаго и терпимъ въ спорѣ съ людьми своей эпохи. Не будучи надѣленъ оригинальнымъ критическимъ талантомъ, онъ съ пытливымъ вниманіемъ слѣдитъ за историческимъ развитіемъ отдѣльныхъ литературныхъ понятій, отыскивая тѣ источники, изъ которыхъ вылились критика Бѣлинскаго и та струя натурализма, которой въ его время уже не трудно было предсказать большой успѣхъ въ будущихъ судьбахъ русской литературы. Въ основѣ первыхъ очерковъ, вошедшихъ въ эту книгу, положена замѣчательная статья самого Гоголя «О движеніи журнальной

[1]) *Очерки Гоголевскаго періода русской литературы*, изд. второе, Спб. 1893.

литературы въ 1834 и 1835 годахъ», но и въ нихъ авторъ дѣлаетъ очень цѣнныя замѣчанія историческаго свойства, обличающія живой интересъ къ Гоголю, Бѣлинскому, умѣнье видѣть вещи въ перспективѣ болѣе или менѣе отдаленнаго времени и интеллигентную твердость въ проведеніи своихъ собственныхъ взглядовъ. Эта книга явилась очень кстати. Всякое слово, такъ или иначе относящееся къ Гоголю, не можетъ не привлекать къ себѣ вниманія. Поэзія Гоголя оцѣнивается до сихъ поръ болѣе по непосредственному чутью, по тому волнующему отзвуку, который мы находимъ въ своей душѣ, чѣмъ по ясно сознанному представленію объ ея великихъ художественныхъ достоинствахъ. Образъ Гоголя еще не начерченъ другимъ мастеромъ слова такъ, чтобы можно было сказать: вотъ Гоголь во всей его провинціальной самобытности, Гоголь, полный музыкальныхъ звуковъ, Гоголь съ хохлацкой хитриной и съ затаеннымъ сарказмомъ, который вотъ-вотъ разрѣшится болѣзненнымъ стономъ. Полнаго портрета Гоголя нѣтъ, и пока его нѣтъ—всякая попытка собрать воедино разнородныя литературныя мнѣнія о немъ заслуживаетъ полнаго сочувствія.

С. Т. Аксаковъ въ двухъ строкахъ набросалъ внѣшній обликъ поэта въ его молодые годы: хохолъ на головѣ, гладко подстриженные височки, выбритые усы, выбритый подбородокъ, большіе, крѣпко накрахмаленные воротнички, пестрый свѣтлый жилетъ съ большою цѣпочкою, въ общемъ — претензія на щегольство и что-то хохлацкое, плутоватое. Подъ этой комической внѣшностью таился такой удивительный талантъ, которому по яркости своеобразнаго колорита нѣтъ ничего равнаго въ русской литературѣ. Пушкинъ — свѣтлый геній, съ европейскими пріемами мысли, съ широкой душой на распашку передъ всѣмъ, что говоритъ уму и фантазіи. Творчество Пушкина — легкая, вольная, ничѣмъ не задерживаемая игра духовныхъ силъ, на просторѣ общечеловѣческихъ понятій. Это поэтъ всемірный, съ которымъ русская литература вступаетъ въ общечеловѣческую исторію. Гоголь—геній, по преимуществу, бытовой. Въ «Мертвыхъ душахъ» есть страница, гдѣ Гоголь въ правдивыхъ словахъ самъ набросалъ два портрета, которые останутся въ русской литературѣ навсегда. Гоголь видѣлъ все величіе Пушкина, сознавая его превосходство надъ собою въ изяществѣ творчества, въ непринужденности поэтическихъ образовъ, въ полнотѣ и разнообразіи художественныхъ красокъ и звуковъ. При одномъ имени Пушкина объемлются трепетомъ молодыя, пылкія сердца. Все, рукоплеща, несется за нимъ и мчится вслѣдъ за торжественной его колесницей. Не таковъ удѣлъ того, кто дерзнулъ вызвать наружу и запечатлѣть на вѣки съ поражающею живостью всю комическую сторону русской жизни. Ему не дано было побѣдить міръ гармоничнымъ напѣвомъ возвышенной лиры. Изъ великаго омута вращающихся въ жизни

образовъ Гоголь бралъ то, что ежеминутно передъ глазами—всю страшную, потрясающую тину мелочей, холодные, повседневные характеры, то, чѣмъ кишитъ, по его словамъ, наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога. «Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрѣть признательныхъ слезъ... Къ нему не полетитъ навстрѣчу шестнадцатилѣтняя дѣвушка съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченіемъ. Ему не позабыться въ сладкомъ обаяніи имъ-же исторгнутыхъ звуковъ. Ему не избѣжать, наконецъ, современнаго суда, лицемѣрно-безчувственнаго современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими лелѣянныя имъ созданія, отведетъ ему презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ человѣчество, отниметъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта» [1])...

Въ главѣ, подъ названіемъ «Отношеніе Гоголя къ Пушкину», Шенрокъ собралъ много очень цѣнныхъ и характерныхъ подробностей. Вошедши въ первый разъ въ квартиру Пушкина, по пріѣздѣ въ Петербургъ, Гоголь былъ изумленъ, узнавъ отъ лакея, что баринъ еще не вставалъ, потому что всю ночь проигралъ въ карты. Еще юному въ то время дебютанту на полѣ литературы яркое свѣтило поэзіи представлялось не иначе, какъ окруженное ореоломъ чего-то неземного, непремѣнно въ вдохновленной бесѣдѣ съ музами... Въ жизни Гоголя знакомство съ Пушкинымъ имѣло очень важное значеніе. Пушкинъ тотчасъ прозрѣлъ въ неловкомъ, застѣнчивомъ малороссѣ явленіе необычайное. Онъ протянулъ руку начинающему таланту, и дружба съ великимъ поэтомъ озарила и обогрѣла Гоголя, доставивъ ему много высокихъ, чистыхъ и свѣтлыхъ минутъ. «Пушкинъ! восклицалъ впослѣдствіи Гоголь,—какой прекрасный сонъ видѣлъ я въ жизни»! Никто лучше Пушкина не могъ понять привлекательную прелесть гоголевскаго юмора, никто лучше его не могъ оцѣнить всей правды восторженнаго гоголевскаго смѣха. Извѣстное письмо Пушкина, напечатанное въ прибавленіяхъ къ «Русскому Инвалиду» 1831 г,, полно такого живого сочувствія къ Гоголю, такихъ простыхъ и мѣткихъ замѣчаній, на какія былъ способенъ только Пушкинъ. Это радость великаго человѣка. Это играющее отраженіе солнечнаго луча, упавшаго на свѣтлый многогранный кристаллъ. Это взрывъ восторга въ душѣ, способной слиться съ другой индивидуальностью, проникнуться чужимъ талантомъ. «Сейчасъ прочелъ я, писалъ Пушкинъ, Вечера близъ Диканьки. Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мѣстами какая поэзія, какая чувствительность! Все это такъ необыкновенно въ нашей литературѣ, что я доселѣ не образумился. Мнѣ сказывали,

[1]) Сочиненія *Н. В. Гоголя*, изданіе десятое, подъ редакціею *Николая Тихонравова*, т. III, стр. 130.

что, когда издатель вошелъ въ типографію, гдѣ печатались Вечера, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая ротъ рукою. Факторъ объяснилъ ихъ веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смѣху, набирая его книгу. Мольеръ и Фильдингъ, вѣроятно, были-бы рады разсмѣшить своихъ наборщиковъ. Поздравляю публику съ истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнѣйшихъ успѣховъ»...

Творчество Гоголя складывалось такъ естественно. Прежде, чѣмъ хорошо понять значеніе и цѣль искусства, онъ уже постигалъ чутьемъ души своей, что искусство свято. Все совершилось какъ-бы независимо отъ него самого. Никогда, говоритъ Гоголь, я не думалъ, что мнѣ придется быть сатирическимъ писателемъ и смѣшить моихъ читателей. Правда, еще на школьной скамьѣ Гоголь чувствовалъ временами расположеніе къ веселости и надоѣдалъ товарищамъ различными шутками, но это были временные припадки. Вообще-же онъ былъ характера меланхолическаго, вдумчиваго. Впослѣдствіи присоединились болѣзнь и хандра. И эта болѣзнь и хандра породили въ немъ какую-то особенную веселость. Чтобы развлекать самого себя, Гоголь выдумывалъ, безъ дальнѣйшей цѣли и плана, героевъ, ставилъ ихъ въ смѣшныя положенія. «Мой смѣхъ былъ вначалѣ добродушенъ, говоритъ Гоголь, я совсѣмъ не думалъ осмѣивать что-либо съ какою-либо цѣлью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышалъ, что обижаются и даже сердятся на меня цѣликомъ сословія и классы общества, что я, наконецъ, задумался. Если сила смѣха такъ велика, что ее боятся—стало быть ее не слѣдуетъ тратить по пустому. Я рѣшился собрать все дурное, какое только я зналъ и за однимъ разомъ надъ нимъ посмѣяться. Вотъ происхожденіе Ревизора» [1]). Но публика не поняла «Ревизора», печать свистала. Такой талантливый человѣкъ, какъ Полевой, писалъ: «Ревизоръ—фарсъ, который нравится именно тѣмъ, что въ немъ нѣтъ ни драмы, ни цѣли, ни завязки, ни развязки, ни опредѣленныхъ характеровъ. Языкъ неправильный, лица—уродливыя гротески, характеры—китайскія тѣни, происшествія—несбыточныя и нелѣпыя, но все вмѣстѣ уморительно смѣшно, какъ русская сказка о тяжбѣ ерша съ лещомъ, какъ повѣсть о Дурнѣ, какъ малороссійская пѣсня:

Танцовала рыба съ ракомъ,
А петрушка съ пастернакомъ,
А цыбуля съ чеснокомъ».

Гоголь былъ сердитъ и на зрителей, и на самого себя. Душа требовала уединенія. Фантазія работала надъ другимъ большимъ сочиненіемъ, въ которомъ предстало-бы все, что есть и хорошаго, и

[1]) *Сочиненія Н. В. Гоголя*, Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями, т. IV. *Письмо къ В. А. Жуковскому*, стр. 280.

дурного въ русскомъ человѣкѣ. Онъ уже видѣлъ и обнималъ много частей, но планъ цѣлаго не опредѣлялся. Онъ накинулся на Гомера... Наконецъ, съ большими усиліями удалось выпустить въ свѣтъ первую часть «Мертвыхъ душъ». Совершилось, можно сказать, великое событіе въ русской литературѣ. Появилось произведеніе классическое въ полномъ смыслѣ этого слова. Печать опять свистала съ величайшимъ ожесточеніемъ. Полевой писалъ: «Если-бы мы осмѣлились взять на себя отвѣтъ отъ имени Руси, мы сказали бы ему: Милостивый государь! вы слишкомъ много о себѣ думаете, ваше самолюбіе даже забавно, но мы знаемъ, что у васъ есть дарованіе, и только та бѣда, что вы немножко сбились съ панталыку! Оставьте въ покоѣ вашу *вьюгу вдохновенія*, поучитесь русскому языку, да разсказывайте намъ прежнія ваши сказочки объ Иванѣ Ивановичѣ, о колескѣ и носѣ, и не пишите ни такой галиматьи, какъ вашъ Римъ, ни такой чепухи, какъ ваши Мертвыя души». Сенковскій, знаменитый баронъ Брамбеусъ, надѣвши шутовскую маску, язвительно хихикалъ: «Вы видите меня въ такомъ восторгѣ, въ какомъ еще никогда не видали. Я пыхчу, трепещу, прыгаю отъ восхищенья: объявляю вамъ о такомъ литературномъ чудѣ, какого еще не бывало ни въ одной словесности. Поэма! Да еще какая поэма! Одиссея, Неистовый Орландъ, Чайльдъ-Гарольдъ, Фаустъ, Онѣгинъ—съ позволенія сказать—*дрянь* въ сравненіи съ этой поэмой. Поэтъ! Да еще какой поэтъ! Поэтъ, передъ которымъ Гомеръ, Аріосто, Пушкинъ, лордъ Байронъ и Гете — съ позволенія сказать—то, чѣмъ Ноздревъ называетъ Чичикова... Можно съ ума сойти отъ радости, если хоть немножко любишь искусство, русскій языкъ и честь своей литературы»... [1])

Послѣ этого, говоритъ Гоголь, на меня нашло безблагодатное состояніе. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы — и ничего не выходило. Онъ оторвался разомъ отъ самой мысли объ искусствѣ. Осталось только одно: наблюденіе надъ человѣческой душой. «Этимъ крутымъ поворотомъ, происшедшимъ не отъ моей воли, наведенъ я былъ заглянуть глубже въ душу вообще и узнать, что существуютъ ея высшія степени и явленія... Какъ изображать людей, если не узналъ прежде, что такое *душа человѣческая*?».

Натуры гордыя, въ своемъ собственномъ сознаніи стоящія выше толпы, отвѣчаютъ улыбкою презрѣнія на шиканье современниковъ. Ихъ чело межъ облаковъ. Они глядятъ въ небо и ждутъ суда потомства. Иное дѣло натуры чувствительныя, нѣжныя, съ нервной робостью передъ всякимъ громко сказаннымъ словомъ. Когда лицемѣрно-безчувственный судъ современниковъ наноситъ имъ оскорбленіе, издѣваясь надъ взлелѣянными ими поэтическими созданіями, они предаются отчаянію.

---

[1]) *Очерки Гоголевскаго періода*, стр. 75.

Таковъ былъ Гоголь. Послѣдній куплетъ «Записокъ сумасшедшаго» — крикъ души, истерзанной несправедливостью, потрясающій вопль въ предсмертномъ бреду: «Нѣтъ, я больше не имѣю силъ терпѣть. Они льютъ мнѣ на голову холодную воду! Что я сдѣлалъ имъ? Я не въ силахъ, я не могу вынести всѣхъ мукъ... Спасите меня, возьмите меня! Дайте мнѣ тройку быстрыхъ, какъ вихрь, коней! Садись, мой ямщикъ, звени, мой колокольчикъ, взвейтеся, кони, и несите меня съ этого свѣта!.. Вонъ небо клубится предо мною. Звѣздочка сверкаетъ вдали. Лѣсъ несется съ темными деревьями и мѣсяцемъ. Струна звенитъ въ туманѣ Матушка, спаси твоего бѣднаго сына! Урони слезинку на его больную головушку! Ему нѣтъ мѣста на свѣтѣ! Его гонятъ!» [1]).

Ни одинъ поэтъ на Руси, писалъ Бѣлинскій, не имѣлъ такой странной судьбы, какъ Гоголь. Въ немъ не смѣли видѣть великаго писателя даже люди, знавшіе наизусть его творенія. Онъ взглянулъ смѣло и прямо на русскую жизнь, и это встревожило людей самыхъ различныхъ журнальныхъ партій. Бѣлинскій такъ описываетъ обстоятельства, при которыхъ появились «Мертвыя души». Ни въ журналахъ, ни отдѣльно не являлось ничего капитальнаго, ничего такого, что сосредоточиваетъ на себѣ общественное сознаніе. Апатическое уныніе овладѣло всѣми. Торжество посредственности было полное. И вдругъ, среди этого торжества мелочности, ничтожества, среди ребяческихъ затѣй, дѣтскихъ мыслей, ложныхъ чувствъ, словно освѣжительный блескъ молніи, является твореніе, безпощадно сдергивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстною, кровною любовью къ плодовитому зерну русской жизни. Въ «Мертвыхъ душахъ», говоритъ Бѣлинскій, авторъ сдѣлалъ такой великій шагъ, что все, доселѣ имъ написанное, кажется слабымъ и блѣднымъ въ сравненіи съ ними. Въ нѣсколькихъ замѣткахъ Бѣлинскій старался выяснить значеніе Гоголя для русской литературы, но нельзя не видѣть, что полной характеристики критикъ не далъ Гоголю. Отдѣльныя замѣчанія вѣрны, размѣры Гоголевскаго таланта указаны справедливо, но въ разборѣ отсутствуетъ психологическій элементъ. Гоголь, съ его измученной душой, съ его трагическимъ лиризмомъ, иногда переходящимъ въ какой-то безумный бредъ, не виденъ. Бѣлинскій останавливается на національномъ элементѣ въ произведеніяхъ Гоголя, не опредѣляя при этомъ міросозерцанія художника, его оригинальныхъ внутреннихъ силъ. И Пушкинская поэзія національна, однако она такъ не похожа на поэзію Гоголя. Нужно было раскрыть все удивительное своеобразіе Гоголевскаго характера, чтобы правильно оцѣнить самобытность его творчества, всю непобѣдимую прелесть его скрытаго юмора, все величіе его сатирическаго экстаза. Онъ много разъ указывалъ на мѣсто, ко-

[1]) *Сочиненія Н. В. Гоголя*, томъ V, стр. 365.

торое займетъ Гоголь въ исторіи русской словесности. Онъ далъ понять въ выраженіяхъ, проникнутыхъ страстью, художественныя достоинства его произведеній. Но настоящаго портрета Гоголя онъ не далъ.

Мысль Бѣлинскаго здѣсь, какъ и повсюду, расплывается въ длиннѣйшихъ отступленіяхъ, совершенно не идущихъ къ дѣлу. Образы наивны, пафосъ подчасъ черезчуръ безотчетенъ. И при этомъ—философское настроеніе, въ которомъ разумъ играетъ второстепенную роль. Вспомните именно тѣ страницы статей Бѣлинскаго, гдѣ выразилось міросозерцаніе гегелевскаго періода его литературной дѣятельности. Это крайне слабое эхо великихъ идей. Въ первоначальномъ увлеченіи Гегелемъ такъ же, какъ и въ послѣдовавшемъ затѣмъ охлажденіи къ его философіи, Бѣлинскій не обнаружилъ яснаго сознанія критика, способности къ теоретическому анализу. Идеи, схваченныя налету, въ горячемъ разговорѣ, могутъ возбудить жаръ души, фантазію, но не могутъ дать вѣчнаго основанія для теоретическихъ сужденій. Не обладая настоящимъ знаніемъ, Бѣлинскій не внесъ въ свою критическую дѣятельность такихъ отвлеченныхъ сужденій, которыя могли-бы имѣть истинно серьезное значеніе. Бѣлинскій не имѣлъ послѣдователей. Онъ не создалъ никакой критической школы. Тѣ статьи его, которыя имѣютъ эстетическій характеръ, не породили сильнаго литературнаго теченія. Чуткіе нервы подсказывали Бѣлинскому правду, но вдохновеннаго *сознанія* у него не было. У него не было теоретическаго таланта, прокладывающаго новыя дороги. Бѣлинскій кладетъ начало русской критикѣ, но не указываетъ ей дальнѣйшаго направленія. И дѣйствительно, по мѣрѣ того, какъ высыхала философская мысль на страницахъ русскихъ журналовъ, русская критика все болѣе и болѣе теряла подъ собою почву. Искусство расцвѣтало пышно, а критика падала все ниже и ниже. Таланты одинъ крупнѣе другого выходили на поприще литературы, а критика безсильно отставала, путаясь въ словахъ и понятіяхъ. Критика пала, наконецъ, до того, что грубо замахнулась даже на Пушкина, на свѣтлую славу Пушкина. Дальше идти нельзя было. То, что впослѣдствіи писалось въ журналахъ подъ громкимъ заглавіемъ критики, любопытно только, какъ литературный курьезъ. Разнузданно-невѣжественные разговоры, почти постыдные въ интеллигентномъ обществѣ, отъ которыхъ отворачиваешься то со смѣхомъ, то съ негодующимъ отвращеніемъ, раздаются еще и теперь въ нашей періодической печати. Изъ мѣсяца въ мѣсяцъ появляются статьи съ нелѣпыми стишками въ видѣ аргументацій, съ какими-то бурсацкими выходками и чисто лакейскимъ остроуміемъ. Это не только невѣжество безсознательное, но и недобросовѣстное. Говорится съ какимъ-то невѣроятнымъ апломбомъ о философіи, о «субъективномъ мышленіи», объ «антифилософскомъ началѣ совѣсти»—и при этомъ ни слѣда изученія, пониманія и простого интереса къ предмету...

Чернышевскій такъ рисуетъ намъ дѣятельность Бѣлинскаго. Надеждинъ положилъ основаніе критикѣ гоголевскаго періода. Онъ ввелъ въ литературное сознаніе идеи, выработанныя нѣмецкою философіей. Но, говоритъ Чернышевскій, Надеждинъ былъ послѣдователемъ Шеллинга, и если принадлежалъ къ тѣмъ изъ учениковъ его, которые развивали его понятія сообразно духу времени, то въ общемъ, все-таки, онъ оставался ученикомъ его. Понять Гегеля выпало на долю послѣдующему поколѣнію. Глубокія истины, съ изумительною силою діалектики развитыя въ системѣ этого мыслителя, вызвали энтузіазмъ въ молодыхъ дѣятеляхъ литературы. Всѣхъ поразило основное начало гегелевской философіи. Истина—верховная цѣль мышленія. Ищите истины, потому что въ истинѣ благо. Всякаго рода философствованіе для личнаго удовольствія Гегель обличалъ съ большою жестокостью. Мыслитель не долженъ успокоиваться ни на какомъ личномъ выводѣ. Онъ долженъ обозрѣвать предметъ со всѣхъ сторонъ, ибо истина можетъ быть только результатомъ борьбы противоположныхъ мнѣній. «Объяснить дѣйствительность стало существенною обязанностью философскаго мышленія. Отсюда явилось чрезвычайное вниманіе къ дѣйствительности, надъ которою прежде не задумывались, безъ всякой церемоніи искажая ее въ угодность собственнымъ, одностороннимъ предубѣжденіямъ».

Бѣлинскій сдѣлался горячимъ сторонникомъ этой философіи. На всѣ вопросы, разсказываетъ Чернышевскій, имѣвшіе цѣлью вынудить у него признаніе, что не все въ дѣйствительности можетъ быть оправдано разумомъ, Бѣлинскій отвѣчалъ съ обычною неумолимою послѣдовательностью, что всѣ явленія разумны. Такъ продолжалось до переѣзда Бѣлинскаго въ Петербургъ. Въ Москвѣ Бѣлинскій смотрѣлъ на дѣйствительность глазами идеалиста, но въ Петербургѣ пришлось измѣнить идеалистическую точку зрѣнія, ибо въ Петербургѣ дѣйствительная жизнь настолько шумна, безпокойна и неотвязна, что трудно обманываться относительно ея сущности, трудно не разубѣдиться въ томъ, что она движется вовсе не по идеальному плану гегелевской системы. Петербургъ, съ особенною своею готовностью услужить новому человѣку всѣми возможными разочарованіями, не замедлилъ доставить Бѣлинскому обильный матеріалъ для провѣрки гегелевской системы. И Бѣлинскій очистилъ принципы Гегеля отъ ихъ односторонности. Онъ отвергъ фальшивое содержаніе, прилѣпившееся къ нимъ, и сдѣлалъ новые выводы въ духѣ современной науки. Онъ отвергъ прежній квіэтизмъ и выразилъ убѣжденіе, что въ жизни должны господствовать разумъ и нравда. И съ этихъ поръ критика Бѣлинскаго все болѣе и болѣе проникалась живыми интересами русской жизни. Съ каждымъ годомъ мы находимъ въ статьяхъ Бѣлинскаго все менѣе и менѣе разсужденій объ отвлеченныхъ предметахъ или о живыхъ пред-

метахъ, но съ отвлеченной точки зрѣнія, и постоянно возростающее господство элементовъ, данныхъ жизнью [1]).

Въ этихъ разсужденіяхъ Чернышевскаго нѣтъ ни знанія, ни пониманія Гегеля. Діалектическій принципъ не объясненъ и даже не обнаруженъ во всей его важности. Получилось что-то странное: великая идея, служащая основаніемъ для ложныхъ выводовъ. Потребовался переѣздъ Бѣлинскаго изъ Москвы въ Петербургъ, чтобы разсѣялись идеалистическія иллюзіи. Если-бы Гегель переселился въ сѣверную столицу, онъ пошелъ-бы нога въ ногу съ реалистическими критиками «Современника»! Петербургскіе туманы могутъ, повидимому, имѣть большое значеніе въ рѣшеніи философскихъ вопросовъ. Таково понятіе объ идеализмѣ — послѣ Канта, послѣ Фихте и Шеллинга, лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, который мыслилъ вѣчность, который создалъ одну изъ величайшихъ философскихъ системъ на непоколебимой основѣ теоретическаго идеализма! Чтобы стать полезнымъ членомъ общества, надо непремѣнно отрѣшиться отъ идеалистической философіи. Мышленіе съ завязанными глазами, безъ руководящаго принципа разума, работа надъ фактами, безъ возможности сдѣлать отвлеченный выводъ,—признается выше всего. Поменьше разсужденій о живыхъ предметахъ съ отвлеченной точки зрѣнія!.. Когда во главѣ литературы становятся люди съ такимъ міросозерцаніемъ, можно сказать съ увѣренностью: она шибко пойдетъ на убыль. Когда руководить развитіемъ общества берутся люди, робѣющіе предъ отвлеченными критеріями, можно смѣло предсказать: общество потеряетъ, по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время, чутье къ истинѣ. Въ основныхъ началахъ гегелевской философіи все живетъ настоящею жизнью. Предъ человѣчествомъ раскинута безконечная перспектива развитія. Истина сдѣлана девизомъ каждаго шага по историческому пути. Діалектическій процессъ не терпитъ остановокъ. Каждая стадія—только ступень для слѣдующей, высшей. Діалектика, говоритъ Гегель, живая душа въ движеніи науки. Она возвышаетъ духъ надъ всѣмъ конечнымъ. Все, что насъ окружаетъ, можетъ служить примѣромъ діалектики. Ей подчинены движенія небесныхъ свѣтилъ. Всякій поступокъ, доведенный до крайности, переходитъ въ противоположную крайность. Отвлеченное право, доведенное до крайности, становится несправедливостью. Сильное горе и сильная радость вызываютъ другъ друга. Сердце, переполненное радостью, облегчается слезами, и глубокая печаль смѣняется улыбкою. Обыкновенно говорятъ о діалектикѣ, какъ о внѣшнемъ искусствѣ запутывать понятія, какъ объ игрѣ въ доказательства и опроверженія. Въ дѣйствительности діалектика составляетъ истинную природу всѣхъ опре-

[1]) *Очерки гоголевскаго періода*, гл. V—VII, стр. 220—282.

дѣленій разсудка. Это наименованіе истиннаго процесса развитія, которому подчинено все на свѣтѣ. Этотъ смыслъ діалектики въ новѣйшее время возстановленъ Кантомъ. Въ антиноміяхъ разума показано, что всякое одностороннее положеніе разсудка должно вызвать положеніе противоположное [1]). Развитіе разума—развитіе діалектическое, требующее постоянныхъ воплощеній во внѣшней жизни. Идеи, говоритъ Гегель, не существуютъ только въ нашей головѣ. Идея не можетъ быть настолько безсильной, чтобы отъ насъ зависѣло осуществить, или не осуществить ея: идея осуществляется собственною силою и составляетъ настоящую дѣйствительность. Все, что разумно, дѣйствительно, а то, что неразумно, не слѣдуетъ признавать дѣйствительностью [2]).

Если Бѣлинскій говорилъ, что по Гегелю *всякое* явленіе разумно, онъ говорилъ противъ духа и смысла гегелевской логики. По Гегелю только разумное дѣйствительно, а все неразумное есть ошибка, аномалія. Ничего другого Гегель не говорилъ, и истинные выводы, которые можно сдѣлать изъ коренныхъ принциповъ гегелевской философіи — свѣтлы и прогрессивны въ лучшемъ смыслѣ слова. Бѣлинскій не зналъ Гегеля и никакихъ поправокъ внести въ его систему онъ не могъ. Философія Гегеля составлена изъ двухъ положеній, которыя не могутъ быть истолкованы въ томъ смыслѣ, въ какомъ ихъ, по незнанію, истолковываетъ Чернышевскій. Во первыхъ, духовное, разумное начало, постоянно развивающееся по діалектическому закону, во вторыхъ, внѣшній міръ, какъ средство воплощенія разумныхъ идей. Изъ этихъ двухъ началъ логическій выводъ только одинъ: духовное развитіе, постоянно воплощающееся въ фактахъ жизни, вовсе не пренебрегаетъ дѣйствительностью. Философія Гегеля указываетъ дѣйствительности ея истинную роль. Она должна быть орудіемъ развитія. Она должна быть матеріаломъ для постояннаго умственнаго и нравственнаго совершенствованія [3]).

Одинъ нѣмецкій философъ говоритъ: «Еще не возсталъ тотъ геній, который превзошелъ Гегеля. Гегель недостижимъ, ибо онъ не создалъ какую-нибудь одностороннюю систему философіи, но узрѣлъ истину во всей полнотѣ ея отдѣльныхъ частей. Геній, который придетъ послѣ него, не опровергнетъ Гегеля, но только подтвердитъ его»... [4]). «Со смертью Гегеля, говоритъ проф. Маріано, философія стала склоняться къ упадку. Наступилъ процессъ разложенія, въ которомъ чувствуется столько-же

---

[1]) Hegel, Logik. § 81.

[2]) Ibid., § 142.

[3]) Cp. Edward Caird, *Essays on literature and Philosophy,* Glasgow 1892, Metaphysic, § 1.

[4]) C. L. Michelet, *Hegel, der unwiderlegte Weltphilosoph,* Leipzig. 1870.

возбужденія и броженія, сколько смущенія и безсилія. Философское твореніе Гегеля остается во всей своей силѣ, сохраняя значеніе судебнаго критерія по отношенію къ другимъ системамъ» [1]).

Вотъ какъ судятъ о Гегелѣ люди компетентные.

1892, Октябрь.

---

[1]) Raffaele Mariano, *Studii critici sulla filosofia della Religione* Napoli, 1877, стр. 10—12.

Гоголь, какъ профессоръ.

(**Матеріалы для біографіи Гоголя**, *В. И. Шенрока*. Томъ второй. Москва. 1893 г.).

Новый томъ біографическаго изслѣдованія Шенрока въ высшей степени интересенъ по собраннымъ въ немъ историко-литературнымъ матеріаламъ и отличается обычными достоинствами другихъ работъ этого автора — обиліемъ данныхъ, добросовѣстнымъ анализомъ всѣхъ имѣющихся на лицо документовъ, простотою и ясностью изложенія, и, какъ литературная работа, производитъ самое благопріятное впечатлѣніе. Книга состоитъ изъ трехъ главныхъ частей: «Н. В. Гоголь въ періодъ *Арабесокъ* и *Миргорода*», «Н. В. Гоголь, какъ историкъ и педагогъ», «Драматическія произведенія Гоголя», и двухъ приложеній, изъ которыхъ одно имѣетъ чисто библіографическое значеніе, а другое представляетъ довольно яростную полемику съ Ѳ. Витбергомъ по поводу его брошюры «Н. В. Гоголь и его новый біографъ». Мы остановимся главнымъ образомъ на второй части книги, представляющей, по нашему мнѣнію, наибольшій интересъ именно потому, что здѣсь Шенроку пришлось судить не о той сторонѣ Гоголя, которая внѣ спора, но именно о той, которая подвергнута сомнѣнію его многочисленными критиками и, вмѣстѣ съ «Выбранными мѣстами изъ Переписки съ друзьями», признана чѣмъ-то позорнымъ въ жизни Гоголя. Шенрокъ изслѣдователь добросовѣстный, еще не затертый рутиною, одаренный литературными способностями, и потому мы вправѣ предъявить къ нему требованія широкія, строгія, оцѣнивать его біографическій трудъ съ тою серьезностью, какая вообще приличествуетъ сужденію о работѣ самостоятельной, оригинальной, стоящей выше заурядной литературной компиляціи, о работѣ, имѣющей извѣстныя критическія претензіи, желаніе укрѣпить въ литературѣ и обществѣ опредѣленное представленіе о разбираемомъ писателѣ. Послѣ Пушкина Гоголь стоитъ впереди другихъ великихъ писателей Россіи, не только какъ замѣчательный худож-

никъ, создавшій цѣлую галлерею удивительныхъ типовъ, не только какъ лирическій *поэтъ въ прозѣ*, но и какъ трагическій темпераментъ, какъ первый борецъ за *нравственное* перерожденіе общества — какъ русскій Паскаль, по мѣткому слову Паскаля нашихъ дней, графа Льва Толстого. Гоголя нельзя оцѣнивать по обычнымъ житейскимъ шаблонамъ: надо войти въ его душу, проникнуться его страстями, вдохновиться его желаніями и, соединивъ логическою связью жизнь исихическую съ жизнью внѣшнею, высказать о немъ сужденіе полное, всестороннее, достойное его великихъ заслугъ передъ русскою литературою. Нельзя ограничиваться въ этомъ важномъ дѣлѣ общими и пустыми фразами, чужими «компетентными» сужденіями—все слѣдуетъ провѣрить самому, осмыслить собственнымъ безпристрастнымъ убѣжденіемъ, не подчиняясь при этомъ власти ни истинныхъ, ни, тѣмъ болѣе, фальшивыхъ, невѣжественными журналистами раздутыхъ, литературныхъ авторитетовъ. Мы уже имѣли случай видѣть, до какихъ нелѣпостей договорилась русская критика по поводу «Выбранныхъ мѣстъ изъ Переписки съ друзьями». Сочиненіе, проникнутое энтузіазмомъ, ославлено въ Россіи сочиненіемъ невѣжественнымъ, ретроградным, исполненнымъ изувѣрства, пятнающимъ свѣтлую память великаго поэта и художника! Если оказалось возможнымъ *такую* книгу безнаказанно опозорить въ глазахъ русскаго общества, то вѣрить русской критикѣ, въ ея приговорахъ по вопросамъ теоретическимъ, философскимъ, научнымъ, рѣшительно невозможно. Она не заслуживаетъ этого довѣрія, какъ критика безъ научной дисциплины, съ очень узкимъ утилитарнымъ аршиномъ въ важныхъ вопросахъ, искусства. Кто ищетъ истины, кто любитъ литературу искреннею любовью, пусть идетъ своимъ путемъ, вѣря только тому, что логично, открывая душу для всего, что красиво, возвышенно, благородно, памятуя твердо, что на томъ пути, который для каждой литературы долженъ быть дороже всего на свѣтѣ, на пути отвлеченнаго, научнаго исканья въ Россіи сдѣлано слишкомъ мало, такъ обидно мало, что почти не съ чѣмъ считаться, не чѣмъ руководствоваться.

Возвращаясь къ Шенроку, мы должны сказать: его изслѣдованіе не отличается тою самостоятельностью критическихъ взглядовъ, какую мы въ правѣ были ожидать отъ писателя способнаго, взявшагося за такую превосходную задачу, какъ біографія Гоголя. Въ вопросахъ спорныхъ, именно тамъ, гдѣ всего рельефнѣе выступаетъ оригинальная личность Гоголя, сужденія Шенрока, сбиваемыя шаблономъ, дѣлаются крайне блѣдными, нерѣшительными, невѣрными. *Гоголя* не видать за этими сужденіями: въ туманѣ банальныхъ фразъ, ничтожныхъ, мало значащихъ, придирокъ расплывается та огромная правда, которую писателю предстояло открыть, обрисовать и смѣло защитить, расплывается вся своеобразная красота Гоголя—его умственная мощь, неспокойная воля, его неугомонныя страсти.

Когда Шенрокъ, вслѣдъ за многими другими, которымъ имя—легіонъ, попрекаетъ Гоголя невѣжествомъ, самоувѣренностью, ни на чемъ неосновательными претензіями занять трудную должность ученаго профессора при русскомъ университетѣ, дѣлается грустно за Шенрока и обидно за несчастную русскую науку, которую Гоголь могъ уронить своею самоувѣренностью, своимъ невѣжествомъ. Помилуйте, русскіе университеты всегда блистали ученостью, учеными преподавателями, передъ которыми Гоголь—ноль, ничто! Помилуйте, какими громадными знаніями, какимъ преподавательскимъ талантомъ нужно обладать, чтобы достойно занять каѳедру въ русскомъ университетѣ! И какъ высокъ долженъ быть общій уровень развитія страны, если люди, подобные Гоголю, могутъ оказаться недостаточно подготовленными къ такой простой и, въ сущности, незамысловатой дѣятельности, какой искалъ для себя «съ отчаяннымъ упорствомъ» авторъ «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки»!...

Вотъ какъ Шенрокъ разсказываетъ намъ о педагогической карьерѣ Гоголя. «Къ своему преподавательскому труду, пишетъ онъ, Гоголь относился въ значительной степени *легкомысленно* и *самонадѣянно*, очень мало или даже вовсе не смущаясь тѣмъ, что ему приходилось иногда начинать учиться тому, что онъ долженъ былъ излагать на урокахъ и лекціяхъ... Поистинѣ изумительно, съ какой *невѣроятной безпечностью* относился Гоголь къ новому и трудному дѣлу, и какъ мало думалъ онъ о принимаемой на себя отвѣтственности». Для Гоголя не существовало никакихъ препятствій и трудностей, и къ ученой карьерѣ онъ *пристроился* случайно, «приступая къ дѣлу на обумъ и на авось», не обладая никакой основательной эрудиціей, *«никакими, самостоятельно выработанными, научными взглядами* и *системами»*. Лишенный, по недостатку образованія, «всякой критической подготовки» и страдая «чрезмѣрною самоувѣренностью», Гоголь преувеличивалъ свои познанія въ области исторической науки и, усвоивъ внѣшніе аттрибуты ученаго человѣка, совершенно забывалъ о серьезной сторонѣ дѣла. Но ничѣмъ неоправданная, ни на чемъ неосновательная претензія разрѣшилась въ скоромъ времени настоящимъ скандаломъ: приглашенный въ 1834 г. для преподаванія исторіи древней и средневѣковой въ с.-петербургскій университетъ, Гоголь покинулъ каѳедру въ 1835 году,—такъ неудачна была его ученая дѣятельность въ качествѣ преподавателя исторіи. Зачѣмъ было держать при университетѣ профессора, котораго студенты не слушаютъ, который дѣла своего не знаетъ? «Я читаю одинъ, рѣшительно одинъ въ здѣшнемъ университетѣ, сознается Гоголь въ одномъ письмѣ. Никто меня не слушаетъ, хоть бы одно студенческое существо понимало меня! Это народъ безцвѣтный, какъ С.-Петербургъ»...

Такъ разсказываетъ Шенрокъ, и во всемъ этомъ разсказѣ явно выступаютъ два важныхъ обвиненія, колеблющихъ нравственную репутацію

Гоголя: во-первыхъ, Гоголь смотрѣлъ на свою ученую дѣятельность, какъ на выгодную карьеру, какъ на хорошее мѣсто, дающее извѣстность, доставляющее выгоды, и, страдая невѣроятной безпечностью и самонадѣянностью, отнесся къ своему ученому дѣлу съ поразительнымъ легкомыслiемъ, во-вторыхъ, Гоголь не обладалъ *никакою* эрудиціею, *никакими* самостоятельно выработанными научными взглядами, никакою продуманною историческою системою. Обвиненіе въ нравственномъ легкомыслiи и обвиненіе въ невѣжествѣ—два зловѣщихъ обвиненія... Въ этихъ двухъ пунктахъ мы совершенно расходимся съ Шенрокомъ и не признаемъ справедливости его полемическихъ нападокъ на статью Витберга «Гоголь, какъ историкъ», напечатанную въ августовской книжкѣ «Историческаго Вѣстника» за 1892 годъ. Витбергъ находитъ, что увлеченіе исторіею составляло весьма серьезный вопросъ въ жизни Гоголя, что наклонность къ ней обнаружилась у Гоголя еще во время пребыванія его въ Нѣжинской гимназіи и что поэтому на его историческія занятія слѣдуетъ смотрѣть «не какъ на хвастовство, а именно, какъ на увлеченіе, въ которомъ онъ искренно, безъ всякаго желанія хвастать и преувеличивать свои знанія, свои ученыя способности, считалъ себя способнымъ къ серьезному и небезплодному научному труду». Настойчиво отрицая, чтобы Гоголь съ упорствомъ «добивался хорошаго мѣста, извѣстности, каѳедры», Витбергъ обставляетъ слова свои убѣждающими, документальными доказательствами. «Обыкновенно думаютъ, говоритъ онъ, что мысль о профессурѣ принадлежитъ самому Гоголю, и потому въ той настойчивости, съ которою онъ добивался университетской каѳедры, видятъ явное доказательство его хвастливой самоувѣренности въ своихъ историческихъ познаніяхъ и профессорскихъ способностяхъ». Въ дѣйствительности-же это было не такъ. Гоголю еще въ 1830 или 1831 году было сдѣлано предложеніе о занятіи каѳедры въ Москвѣ, но онъ не придалъ тогда этому предложенію никакого значенія, пока въ 1833 году вновь не возникла мысль о его профессурѣ уже не въ Москвѣ, а въ Кіевѣ—и опять-таки, по иниціативѣ не самого Гоголя, а Максимовича. Но пока шли переговоры о Кіевѣ, Погодинъ въ длинномъ письмѣ совѣтовалъ Гоголю проситься адъюнктомъ исторіи въ московскій университетъ, но Гоголь предложенія не принялъ, мотивируя свой отказъ въ слѣдующихъ словахъ: «Я недавно только-что просился профессоромъ въ Кіевъ, потому что здоровье мое требуетъ этого непремѣнно, также и труды мои. Вотъ чѣмъ можно извинить мнѣ исканіе профессорства, которое, если-бы не у насъ на Руси, то было-бы самое благородное званіе». Однако, мечтамъ Гоголя о жизни на югѣ не суждено было сбыться и, вмѣсто экстраординарнаго профессора въ Кіевѣ, онъ былъ назначенъ С. С. Уваровымъ, по предложенію попечителя, съ которымъ сблизилъ его А. В. Никитенко, адъюнктомъ по всеобщей исторіи въ с.-петербургскій университетъ. Ни о

какомъ самохвальствѣ Гоголя, ни о какомъ высокомъ мнѣніи о своихъ ученыхъ достоинствахъ не можетъ быть и рѣчи. «Самая мысль объ его профессурѣ пришла въ голову не ему, а его друзьямъ-профессорамъ. Онъ только ухватился за нее и съ свойственнымъ ему увлеченіемъ стремился къ ея осуществленію... Неужели всѣ эти профессора, а вмѣстѣ съ ними и Жуковскій, и Пушкинъ, и кн. Вяземскій, и Дашковъ, и Левашовъ хлопотали о Гоголѣ только потому, что были введены въ заблужденіе его самоувѣренностью? Не вѣрнѣе-ли предположить, что эта самоувѣренность могла явиться у Гоголя именно вслѣдствіе того, что сами пріятели его, профессора, первые внушили ему мысль о профессурѣ»... «Неузнанный, писалъ о себѣ Гоголь Погодину, я взошелъ на каѳедру и неузнанный сошелъ съ нея. Но въ эти полтора года я много вынесъ оттуда и прибавилъ въ сокровищницу души. Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный прежній кругъ моихъ свѣдѣній, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали меня... Миръ вамъ, мои небесныя гостьи, наводившія на меня божественныя минуты въ моей тѣсной квартирѣ, близкой къ чердаку! Васъ никто не знаетъ, васъ вновь опускаю на дно души до новаго пробужденія, когда вы исторгнетесь съ большею силою, и не посмѣетъ устоять безстыдная дерзость ученаго невѣжи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... Я тебѣ одному говорю это, другому не скажу я; меня назовутъ хвастуномъ, и больше ничего. Мимо, мимо все это»!

Вотъ вамъ та-же исторія ученой карьеры Гоголя, но въ другомъ, болѣе мягкомъ и болѣе правдивомъ освѣщеніи и съ такимъ заключительнымъ аккордомъ, который сразу вызываетъ представленіе объ истинномъ положеніи вещей. Гоголь не искалъ съ упорствомъ хорошаго мѣста, извѣстности, каѳедры и не болѣлъ тою пошлою самонадѣянностью безъ достаточныхъ основаній, которая свойственна всякой ученой и неученой черни. Онъ не былъ шарлатаномъ науки, какимъ его изображаетъ Шенрокъ, и беззастѣнчивая погоня за ученой карьерой не вяжется совершенно съ представленіемъ о другихъ сторонахъ его умственной дѣятельности. Это была натура глубокая, честная, неспособная на мелкую, житейскую гадость, быть можетъ, слишкомъ своеобразная, чтобы выдержать судъ посредственнаго человѣка изъ толпы или судъ педантически придирчивой, мелкой критики, но, безъ сомнѣнія, достаточно свѣтлая, чистая въ основныхъ своихъ стремленіяхъ, чтобы не бояться критики чуткой, интеллигентной, относящейся довѣрчиво ко всякому проблеску таланта, силы, увлеченія. О шарлатанствѣ, карьеризмѣ, о легкомысленной самонадѣянности говорить здѣсь просто обидно, и мы совѣтуемъ Шенроку радикально переработать эту часть его интереснаго труда: она производитъ смутное, тягостное впечатлѣніе. Вся жизнь Гоголя—одна потрясающая психологическая драма и разбираться въ ней слѣдуетъ съ большою

осторожностью, ничего не упуская изъ виду, напрягая зрѣніе, слухъ, внимательно слѣдя за быстрымъ ростомъ творческихъ силъ художника, за постояннымъ, безостановочнымъ развитіемъ человѣка. Надо войти въ душу Гоголя, чтобы правильно судить объ его внѣшнихъ поступкахъ, ибо только психологическій анализъ можетъ раскрыть намъ истинное значеніе его словъ, всей его дѣятельности.

Мы не считаемъ основательнымъ и другое обвиненіе Шенрока: Гоголь не обладалъ никакою эрудиціею, никакими самостоятельно выработанными научными взглядами, никакою историческою системою. Это невѣрно: въ невѣжествѣ обвинять Гоголя нельзя. Въ историческихъ статьяхъ его, собранныхъ въ пятомъ томѣ сочиненій Гоголя, изданія академика Тихонравова, есть и систематическій, продуманный взглядъ на предметъ исторіи, довольно большія знанія и, по истинѣ, блестящая способность рисовать историческія событія въ захватывающихъ, широкихъ картинахъ, съ поразительною поэтическою силою. События прошлаго проносятся послѣдовательными рядами, съ логическою стройностью, какъ неизбѣжные выводы изъ общихъ законовъ человѣческаго существованія, и, прорѣзывая туманныя преданія, передъ нами встаютъ, въ прекрасныхъ характеристикахъ, нѣкоторыя замѣчательныя историческія фигуры. Нельзя прочесть лекцію «О среднихъ вѣкахъ» такъ, какъ прочелъ ее Гоголь, не обладая *никакою* эрудицей, *никакими* самостоятельными взглядами, *никакою* системою. Въ основу этого блестящаго очерка положены настоящія знанія, опредѣленная система, выдерживающая научную критику, не говоря уже о вдохновенной любви къ предмету, о талантѣ жгучаго, огненнаго изложенія. Это именно та поэзія исторіи, которая безъ отчетливыхъ знаній невозможна, но которая выше сухого нагроможденія фактовъ, тѣхъ ремесленныхъ, бездарно исполненныхъ историческихъ компиляцій, которыя часто подносятся публикѣ подъ видомъ самостоятельныхъ ученыхъ изслѣдованій. Это—выводъ изъ фактовъ, это взглядъ *живого* человѣка на то, что было, пронеслось и оставило глубокій слѣдъ на судьбахъ людей. Это—повѣсть о дѣлахъ минувшихъ дней, не сами факты прошлаго, а факты, перечеканенные великимъ художникомъ и раскинутые передъ читателемъ въ яркомъ свѣтѣ личнаго пониманія и убѣжденія. Возьмите на выдержку два-три мѣста изъ этой лекціи «О среднихъ вѣкахъ». «Исторія среднихъ вѣковъ, говоритъ Гоголь, менѣе всего можетъ назваться скучною. Нигдѣ нѣтъ такой пестроты, такого живого дѣйствія, такихъ рѣзкихъ противоположностей, такой странной яркости, какъ въ ней: ее можно сравнить съ огромнымъ строеніемъ, въ фундаментѣ котораго улегся свѣжій, крѣпкій, какъ вѣчность, гранитъ, а толстыя стѣны выведены изъ различнаго, стараго и новаго матеріала... Арабская рѣзьба, греческій карнизъ, готическое окно—все слѣпилось въ немъ и составило самую пеструю башню

Но яркость, можно сказать, только внѣшній признакъ событій среднихъ вѣковъ, внутреннее ихъ достоинство есть колоссальность исполинская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, дѣлающая ихъ единственными, не встрѣчающими себѣ подобія и повторенія ни въ древнія, ни въ новыя времена». Главный сюжетъ средней исторіи — папа. Онъ—могущественный обладатель этихъ молодыхъ вѣковъ, онъ управляетъ всѣми силами. Не схвати онъ всего въ свои руки, не двигай онъ народы по своимъ планамъ, Европа разсыпалась-бы, нѣкоторыя государства поднялись-бы, другія сохранили-бы свою дикость, образованіе разлилось-бы неровно. И лишь только народы достигли высшаго культурнаго развитія, власть папы, какъ исполнившая свое предназначеніе, истощенная и болѣе никому ненужная, вдругъ поколебалась, стала разрушаться... Гоголь обозрѣваетъ главнѣйшія событія средневѣковой исторіи и каждому изъ нихъ даетъ великолѣпную характеристику.

Въ статьѣ «О преподаваніи всеобщей исторіи» мы находимъ нѣсколько теоретическихъ соображеній, къ которымъ рѣшительно не идетъ упрекъ въ отсутствіи исторической системы, научныхъ взглядовъ. Это именно систематическое изложеніе того, какъ слѣдуетъ преподавать исторію, и, притомъ, опять таки, изложеніе удивительное по силѣ, мѣткости опредѣленій, рѣзкости и ясности основныхъ идей Гоголя. И таковы вообще всѣ прочія его историческія работы: «Взглядъ на составленіе Малороссіи», «Ал-Мамунъ», «О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка», «Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ»—въ нихъ есть несомнѣнныя знанія и выдающійся талантъ историческаго повѣствованія. Но, конечно, Гоголь не заправскій ученый, если считать ученымъ именно того, кто изъ двухъ *чужихъ* книгъ умѣетъ сдѣлать *свою* третью, кто изъ нѣсколькихъ тощихъ и чужихъ брошюръ умѣетъ создавать свои собственные, толстые трактаты. *Этою* ученаго искусства у Гоголя не было, въ этомъ дѣлѣ онъ проявилъ непроходимое невѣжество, надъ которымъ могутъ съ полнымъ правомъ смѣяться настоящіе знатоки дѣла, всѣ знаменитые историки современности, читающіе лекціи въ русскихъ университетахъ...

1893, май.

Эстетическое ученіе Чернышевскаго.

I.

Въ іюньской книжкѣ «Вѣстника Европы» напечатана статья кн. Волконскаго «Художественное наслажденіе и художественное творчество». Статья эта заключаетъ въ себѣ нѣсколько недурно задуманныхъ, хотя и туманно выраженныхъ положеній, съ которыми стоитъ познакомиться. Нѣкоторыя мысли автора обнаруживаютъ чуткое отношеніе къ искусству, другія — недостатокъ психологической глубины, задержанное, какъ-бы черезчуръ замкнутое и потому недостаточно широкое литературное развитіе, отсутствіе опредѣленныхъ философскихъ симпатій. Отдѣльныя страницы статьи написаны не безъ увлеченія, другія страдаютъ спутанностью изложенія, сбивчивостью стиля, непослѣдовательностью во внѣшней сортировкѣ матеріала. Авторъ начинаетъ свои разсужденія съ указанія на тѣ элементы, которые должны быть выдѣлены изъ всякаго художественнаго произведенія въ качествѣ элементовъ постороннихъ его художественной сущности. Такихъ элементовъ онъ насчитываетъ числомъ шесть. *Во-первыхъ* — національнизмъ. Это самый лживый спутникъ эстетическаго наслажденія. На чужбинѣ достаточно одного намека на что-нибудь родное, чтобъ почувствовать наплывъ восторга. Иной человѣкъ, въ музыкальномъ отношеніи мало развитой, слушаетъ звуки народной пѣсни и имѣетъ при этомъ полную увѣренность, что испытываетъ музыкальное наслажденіе, тогда какъ въ немъ задѣты и дрожатъ однѣ лишь патріотическія струны. *Во-вторыхъ* — символизмъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ дѣлѣ художественнаго творчества символъ сослужилъ огромную службу искусству. Однако, символическое впечатлѣніе получается отъ предмета совершенно независимо отъ впечатлѣнія художественнаго. Человѣкъ, не художникъ по природѣ, можетъ вполнѣ проникнуть въ символическое значеніе картины и при этомъ остаться равнодушнымъ къ ея

художественной красотѣ. Мы видимъ людей, которые, въ погонѣ за художественнымъ наслажденіемъ, даютъ себѣ огромный трудъ, чтобы уразумѣть значеніе, смыслъ, скрытое намѣреніе того или другого произведенія искусства. Есть люди, которые остаются совершенно безучастными къ красотамъ картины, пока имъ не объяснятъ ея сюжета. *Въ-третьихъ*—тенденція. Удовлетворительность произведенія искусства съ точки зрѣнія соціальныхъ, политическихъ, религіозныхъ и другихъ убѣжденій часто относится на счетъ его художественныхъ достоинствъ. *Въ-четвертыхъ*—обстановка. Обстановка сильно вліяетъ на воспріимчивость человѣка и предрасполагаетъ его къ наслажденію такими предметами, которые сами по себѣ не могутъ дать художественнаго наслажденія. *Въ-пятыхъ* — личное настроеніе. По странному смѣшенію понятій, у иныхъ людей личное горе усугубляетъ наслажденіе, которое они испытываютъ при чтеніи грустнаго стихотворенія. Проливая слезы личнаго горя надъ раскрытой книгой, они убѣждены, что охвачены художественнымъ настроеніемъ и плачутъ скорбью поэта. Однако, подложите имъ въ это время стихотвореніе съ большими поэтическими достоинствами, но проникнутое чуждымъ имъ настроеніемъ, и они останутся совершенно равнодушны къ его красотамъ. *Въ-шестыхъ*—личныя воспоминанія. Они способствуютъ прелести впечатлѣній, не заключающихъ въ себѣ никакихъ поэтическихъ достоинствъ.

Національнизмъ, символизмъ, тенденція, обстановка, личное настроеніе, личное воспоминаніе—не слишкомъ-ли много постороннихъ, мѣшающихъ художественному наслажденію элементовъ? Выкинувъ изъ счета обстановку, личное настроеніе и воспоминаніе, какъ нѣчто, очевидно привносимое въ художественное наслажденіе, хотя и совершенно неизбѣжное и даже необходимое для *воспріятія* эстетическихъ или художественныхъ впечатлѣній, мы будемъ имѣть дѣло только съ первыми тремя элементами, освѣщенными авторомъ, какъ намъ кажется, невѣрно. *Національный* мотивъ имѣетъ полное право на существованіе въ искусствѣ. Поэзія имѣетъ дѣло съ конкретными образами, въ которыхъ національныя краски играютъ не послѣднюю роль. Линіи, очерчивающія всякую индивидуальную физіономію, тѣмъ поэтичнѣе, тѣмъ художественнѣе, чѣмъ болѣе онѣ своеобразны, самобытны, оригинальны. Общечеловѣческія черты на яркомъ фонѣ индивидуально-народнаго характера, національныхъ стремленій и увлеченій производятъ истинно-поэтическое впечатлѣніе. Нужно только, чтобы цвѣта національнаго характера не скрывали того, что образуетъ достояніе всѣхъ народовъ, — общегуманнаго склада мыслей, общечеловѣческаго чувства справедливости. Величайшіе литературные дѣятели вносили въ свои произведенія свой національный темпераментъ, придавали своимъ созданіямъ національный колоритъ, и отъ этого произведенія ихъ, ко-

нечно, ничего не теряли. Какъ краска, дающая возможность выразиться индивидуальности, національность имѣетъ высокое поэтическое значеніе. Образы искусства не высѣкаются въ сверхчувственной сферѣ, въ той сферѣ, гдѣ нѣтъ пространства и гдѣ время пріостановило свой полетъ. Художникъ улавливаетъ черты мѣстнаго быта, волненія минуты и, переработавъ ихъ творческимъ умомъ, заноситъ продуктъ своего творческаго труда, со всѣми извнѣ заимствованными колоритными особенностями, въ лѣтопись художественнаго развитія своего народа. Что-же касается патріотическихъ чувствъ и настроеній, дѣлающихъ человѣка пристрастнымъ ко *всякому* произведенію своего народа и мѣшающихъ ему правильно судить о произведеніяхъ другихъ народовъ, то эти патріотическія чувства и настроенія должны разсматриваться заодно съ элементами личныхъ воспоминаній, личныхъ душевныхъ состояній и обстановки, о значеніи которыхъ не можетъ быть никакого спора.

Символизмъ тоже есть одно изъ постоянныхъ свойствъ всякаго поэтическаго произведенія, задуманнаго съ какими-нибудь возвышенными, философскими или религіозными намѣреніями. Если символизмъ поднимаетъ въ душѣ—въ *конкретныхъ* образахъ поэтической миѳологіи, въ *конкретныхъ* фигурахъ извѣстныхъ всему человѣчеству героевъ мысли,—возвышенныя стремленія и порывы къ красотѣ, то уже ни въ какомъ случаѣ нельзя отнести его къ элементамъ, чуждымъ истинно художественнымъ произведеніямъ. Символы философскіе и религіозные порождаютъ сложное эстетическое впечатлѣніе или, вѣрнѣе, широкую волну чувства, въ которомъ ощущеніе чисто-поэтическое неразрывно слито съ ощущеніемъ духовнаго подъема, нравственнаго порыва къ вѣчному и безконечному. Символическая поэзія въ своихъ великихъ литературныхъ и иныхъ художественныхъ образцахъ, въ скульптурѣ, архитектурѣ, въ живописи, въ музыкѣ всѣхъ временъ и народовъ, имѣла огромное вліяніе на исторію человѣческаго развитія. Гдѣ поэзія, овладѣвъ всѣми своими силами, идетъ навстрѣчу высшимъ потребностямъ человѣческаго духа, тамъ она неизбѣжно облекается въ символическія формы. Поэтическое ощущеніе, осложненное ощущеніемъ нравственнаго порядка, не только не теряетъ своей художественной цѣнности, а, напротивъ, пріобрѣтаетъ истинную полноту.

Тенденція объяснена кн. Волконскимъ слишкомъ отрывочно и безъ достаточной вдумчивости. Авторъ говоритъ: когда писатель беретъ идею, какъ средство вдохнуть жизнь въ свой художественный образъ, то онъ пребываетъ въ границахъ искусства, когда-же писатель прибѣгаетъ къ искусству, какъ къ средству воплотить и приподнести публикѣ тѣ или другія мысли, тѣсно связанныя съ мѣстомъ и временемъ, тогда онъ выходитъ изъ области искусства. Мысль автора скользитъ по поверхности предмета. Дѣло представляется такимъ образомъ,

какъ будто между *художественнымъ* образомъ и идеей можетъ существовать разъединеніе: одно дѣло художественный образъ, другое дѣло идея. Если образъ господствуетъ надъ идеей, пользуясь идеей только какъ оживляющимъ матеріаломъ, поэтическій законъ не нарушенъ. Если-же идея подчиняетъ себѣ образъ, поэтическій талантъ вышелъ изъ принадлежащей ему сферы чистаго искусства. Такое раздѣленіе совершенно произвольно. Нѣтъ истинно-художественныхъ образовъ, не заключающихъ къ себѣ какой-нибудь идеи, хотя-бы эта идея вовсе не бросалась въ глаза. Форма и содержаніе художественнаго произведенія неразрывны. Если въ произведеніи нѣтъ никакой идеи, оно не можетъ быть художественнымъ. Процессъ творчества — ничто иное, какъ процессъ воплощенія въ поэтическихъ образахъ тѣхъ или другихъ жизнеспособныхъ идей. Въ каждомъ актѣ художественнаго творчества идеи и образъ рождаются вмѣстѣ, въ одномъ нераздѣльномъ, органическя цѣльномъ сочетаніи, и чѣмъ выше идея, тѣмъ образъ сложнѣе и поэтичнѣе. Образъ есть форма идеи, подчиняющаяся *всегда* идеѣ — постольку, поскольку она является ея выраженіемъ. Когда писатель прибѣгаетъ къ искусству, какъ къ средству воплотить тѣ или другія мысли, онъ выходитъ изъ области искусства, говоритъ кн. Волконскій. Это невѣрно. Искусство есть способность воплощать идеи, и не пользоваться имъ для выраженія какихъ-нибудь идей можетъ только тотъ, въ комъ нѣтъ художественнаго таланта. Идея иногда существуетъ безъ образа, помимо художественнаго воплощенія, но образъ безъ идеи не имѣетъ никакого значенія въ искусствѣ. Совсѣмъ другое дѣло *подчинить* искусство какимъ-нибудь мимолетнымъ цѣлямъ. Совсѣмъ другое дѣло направить творческую способность на воспроизведеніе явленій не типичныхъ, случайныхъ, мало вліяющихъ на общій ходъ человѣческой жизни и человѣческаго развитія. Выхватить изъ окружающей обстановки два, три кричащихъ факта, *теперь* привлекающихъ къ себѣ вниманіе, но совершенно не характерныхъ по сравненію съ основными условіями и законами соціальной и психической жизни—вотъ что значитъ подчиниться тенденціи, требованіямъ минуты, моднымъ вкусамъ общества. Искусство есть выраженіе идей, но идеи, воплощаемыя искусствомъ, различны по своей психологической, исторической и философской цѣнности. Идеи малоцѣнныя, живущія отдѣльными моментами, не оставляющія глубокихъ слѣдовъ въ общемъ развитіи внутренней природы человѣка, служащія выраженіемъ болѣе или менѣе случайныхъ историческихъ обстоятельствъ, порождаютъ тотъ низшій видъ искусства, который принято называть тенденціознымъ Служеніе *злобѣ дня* вмѣсто служенія *злобѣ человѣка*, искусственная иллюстрація художественно-поэтическихъ настроеній нетипичными примѣрами изъ окружающей среды, пригибаніе мысли къ фактамъ жизни,

лежащимъ на томъ клочкѣ пространства, съ которымъ связана исторія переживаемаго момента, въ ущербъ болѣе кореннымъ, вѣчнымъ законамъ духовнаго развитія — вотъ что значитъ порабощеніе искусства преходящимъ тенденціямъ. Но и тенденціозная поэзія — видъ поэзіи вообще. *Низшее* художественное наслажденіе есть все-таки *художественное* наслажденіе.

Таковы вступительныя разсужденія кн. Волконскаго о лжехудожественномъ наслажденіи. Отсутствіе философскаго критерія чувствуется болѣе всего. Размышленія о національномъ элементѣ, о символизмѣ, о тенденціи лишены серьезнаго эстетическаго содержанія и просятся подъ болѣе внимательную переработку, въ болѣе широкомъ, философскомъ направленіи. Дальнѣйшія разсужденія автора объ эстетическомъ восторгѣ, о сознательномъ наслажденіи не отличаются особенною оригинальностью. Однако, при нѣсколько неправильной критической терминологіи кн. Волконскому удалось намѣтить два-три положенія, которыя стоило-бы внести въ общее сознаніе нашего въ эстетическомъ отношеніи малоразвитого общества. То, что авторъ говоритъ о роли личности въ художественномъ творчествѣ, объ истинномъ предметѣ художественнаго наслажденія, заслуживаетъ вниманія. Всякое произведеніе искусства, говоритъ онъ, обязательно совмѣщаетъ въ себѣ два противоположныхъ элемента: реальность и условность. Эти два элемента идутъ другъ другу навстрѣчу, и дѣло художника стать между ними для того, чтобы опредѣлить мѣсто ихъ встрѣчи и воспрепятствовать окончательному торжеству одного надъ другимъ. Въ свободномъ выборѣ мѣста встрѣчи, въ большемъ или меньшемъ противодѣйствіи, оказанномъ тому или другому элементу, выражается такъ-называемая индивидуальность художника. *Личность* поэта пріостанавливаетъ подражательное движеніе искусства. Отпечатокъ индивидуальности, въ которомъ выражается оригинальное отношеніе поэта къ жизни, къ своему сюжету — самая цѣнная часть въ произведеніи искусства. Когда мы говоримъ, [что искусство изображаетъ жизнь, то главное значеніе въ этихъ словахъ принадлежитъ не слову *жизнь*, а слову *изображаетъ*. Предметъ искусства не изображенная *жизнь*, а *изображеніе* жизни. Художественная индивидуальность, говоритъ кн. Волконскій, сказывается не въ томъ, *что* изображено, а въ томъ, *какъ* изображено. Оригинальность и сила художественной индивидуальности проявляются именно въ выполненіи, для котораго сюжетъ только внѣшній поводъ. Единственная цѣль человѣчества въ искусствѣ—выразить *себя*, спасти отъ забвенія субъективныя стороны своего существа. Высшее эстетическое наслажденіе заключается въ томъ, чтобы, отыскавъ оригинальныя черты писателя, слиться съ его художественной личностью, съ его поэтической индивидуальностью.

Значеніе личнаго, творческаго начала въ художественныхъ произведеніяхъ указано вѣрно. Во всѣхъ видахъ искусства, въ поэзіи, музыкѣ, скульптурѣ, архитектурѣ, личная фантазія художника, личный оригинальный строй пониманія—прежде всего, на первомъ планѣ. Факты жизни, не переработанные творческимъ талантомъ, внесенные въ художественное произведеніе въ сыромъ видѣ, въ ихъ первоначальной простотѣ, отравляютъ общее художественное впечатлѣніе: художественный матеріалъ—есть матеріалъ, передѣланный сообразно съ законами поэтическаго воспроизведенія, съ самостоятельными принципами искусства. Это несомнѣнно. Вся сила художественнаго произведенія въ оригинальности изображенія, въ самобытности творчества, въ авторской индивидуальности, но именно потому-то предметъ художественнаго воплощенія, *сюжетъ* поэтическаго вдохновенія, на которомъ должна лечь оригинальная печать извѣстной личности, имѣетъ такое огромное значеніе. Чѣмъ сложнѣе, глубже, важнѣе мотивъ, тѣмъ ярче выступаютъ самобытныя свойства авторскаго темперамента. Поэтическая индивидуальность сказывается и въ томъ, *какъ* изображено, и въ томъ, *что* изображено. И высшее художественное наслажденіе возможно только въ тѣхъ случаяхъ, когда мы одновременно воспринимаемъ оригинальную личность художника и въ манерѣ исполненія и въ свойствахъ самого сюжета.

Соображенія кн. Волконскаго о роли сознанія и личности въ художественномъ творчествѣ, при всѣхъ недостаткахъ, указанныхъ выше, имѣютъ значеніе по стольку, по скольку они могли-бы быть сведены къ опредѣленнымъ философскимъ положеніямъ. Но въ настоящемъ своемъ видѣ статья кн. Волконскаго можетъ имѣть значеніе развѣ только двухъ—трехъ удачныхъ проблесковъ эстетическаго идеализма, еще не внесеннаго въ нашу литературу, не разработаннаго общимъ трудомъ русской интеллигенціи и не провѣреннаго на лучшихъ образцахъ русской литературы. Указывая искусству независимую, самостоятельную роль въ развитіи человѣчества, подчеркивая, что цѣль человѣчества въ искусствѣ заключается въ томъ, чтобы выразить *себя*, т. е. совершить актъ *духовнаго творчества*, кн. Волконскій слѣдуетъ по совершенно вѣрному идеалистическому пути. Идеальный характеръ понятій красоты и возвышеннаго, превосходство идеала надъ дѣйствительностью, творческой фантазіи надъ чувственнымъ воспріятіемъ—поднимаютъ искусство на высоту одной изъ самыхъ важныхъ задачъ человѣческаго существованія. Творчество выводитъ человѣка изъ обстановки грубой необходимости, изъ жизненной неволи въ свѣтлую область мысли, гдѣ нѣтъ иныхъ законовъ, кромѣ тѣхъ, которые установлены сознаніемъ. Свобода—вотъ что дѣлаетъ искусство близкимъ, желаннымъ, необходимымъ.

II.

Ради краткой параллели обратимся къ сочиненію, имѣвшему большое вліяніе на исторію русской литературной критики. Въ книгѣ Чернышевскаго, озаглавленной «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности», мы находимъ типическое выраженіе тѣхъ взглядовъ, которые долгое время господствовали въ нашей журналистикѣ. Авторъ собралъ воедино рѣшительно все, что можно сказать въ защиту чисто реалистическаго взгляда на искусство и природу. Онъ поясняетъ свои мысли множествомъ примѣровъ, обнаруживая при этомъ литературный талантъ, живой темпераментъ, начитанность въ различныхъ вопросахъ исторіи и эстетики. Анализъ ведется отъ исходныхъ посылокъ къ крайнимъ логическимъ заключеніямъ. Въ этой небольшой книгѣ, представленной въ с.-петербургскій университетъ для полученія степени магистра русской словесности въ 1855 году, основная мысль развивается въ своемъ родѣ весьма послѣдовательно, шагъ за шагомъ, приближая читателя къ послѣднимъ обобщеніямъ съ ярко-реалистической окраской. Все, что писалось въ нашей журналистикѣ вслѣдъ за появленіемъ этого интереснаго трактата, гораздо ниже по литературнымъ достоинствамъ, гораздо мельче по интеллигентности пріемовъ. Однако, литературный талантъ и знакомство съ европейской исторіей не спасли молодого магистранта отъ чрезвычайно крупныхъ ошибокъ, имѣвшихъ очень пагубное вліяніе на теоретическое развитіе русской интеллигенціи. Оставивъ въ сторонѣ вопросъ объ историческихъ условіяхъ, породившихъ въ Россіи то узкое направленіе мыслей, которое съ такою силою выразилось въ указываемомъ трактатѣ, мы должны только сказать, что всѣ основныя опредѣленія автора построены на наивно-философскомъ реализмѣ, на положеніяхъ, не провѣренныхъ путемъ строгаго критическаго разбора, посредствомъ точнаго научнаго разграниченія реальнаго и нереальнаго, субъективныхъ и объективныхъ началъ жизни.

Передадимъ въ сжатыхъ словахъ общій смыслъ трактата.

Чернышевскій начинаетъ свою книгу съ разбора понятій прекраснаго и возвышеннаго, установленныхъ критической философіей. Прекрасное есть предметъ, который представляется чистымъ выраженіемъ идеи. Иначе говоря, прекрасное есть совершенное тождество идеи съ образомъ. Человѣческому духу кажется, что отдѣльное существо, ограниченное предѣлами пространства и времени, совершенно соотвѣтствуетъ своему понятію, что въ немъ вполнѣ осуществилась идея вообще. ***Кажется***, ибо идея никогда не проявляется въ отдѣльномъ предметѣ вполнѣ. Таково опредѣленіе прекраснаго въ критической философіи — въ передачѣ Чернышевскаго. Приведя это опредѣленіе, авторъ подвергаетъ его безпощадной критикѣ. «Я не буду говорить о томъ, пишетъ онъ, что основ-

ныя понятія, въ зависимости отъ которыхъ выставлено такое воззрѣніе на прекрасное, теперь уже признаны не выдерживающими критики. Не буду говорить и о томъ, что прекрасное въ этой системѣ понятій является только призракомъ, проистекающимъ отъ непроницательности взгляда, не просвѣтленнаго философскимъ мышленіемъ... Какъ слѣдствіе и часть метафизической системы, изложенное выше понятіе о прекрасномъ падаетъ вмѣстѣ съ нею... Остается показать, что господствующее понятіе о прекрасномъ не выдерживаетъ критики, будучи взято и внѣ связи съ упавшими нынѣ метафизическими системами». Господствующее, хотя и опровергнутое понятіе прекраснаго должно быть взято внѣ всякихъ метафизическихъ положеній и подвергнуто критикѣ съ точки зрѣнія простой очевидности. Въ самомъ дѣлѣ, что такое прекрасное? Прекрасно то, что мило, дорого каждому человѣку. Прекрасное есть что-то милое, дорогое нашему сердцу, способное принимать самыя разнообразныя формы, ибо виды прекраснаго безконечны. Но что милѣе и дороже всего нашему сердцу? Ничто, какъ жизнь. «Самое общее изъ того, что мило человѣку и самое милое ему на свѣтѣ—*жизнь*, ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось-бы ему вести, какую любить онъ, потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чѣмъ не жить: все живое уже по самой природѣ своей ужасается погибели, небытія и любитъ жизнь». Итакъ, прекрасное есть жизнь. Кажется, замѣчаетъ Чернышевскій, что это опредѣленіе удовлетворительно объясняетъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго. Приводя различные подтверждающіе примѣры, магистрантъ ради полноты справедливости прибавляетъ къ своему удовлетворительному опредѣленію одинъ характерный признакъ: прекрасное есть жизнь и ближайшимъ образомъ — жизнь, напоминающая о человѣкѣ. Шумъ и движенія животныхъ напоминаютъ намъ шумъ и движеніе человѣческой жизни. Пейзажъ прекрасенъ тогда, когда онъ оживленъ. Сдѣлавъ еще два-три замѣчанія, Чернышевскій переходитъ къ другому коренному опредѣленію эстетики—къ опредѣленію понятія возвышеннаго. Что такое возвышенное? Въ нѣмецкой философіи говорится: возвышенное есть перевѣсъ идеи надъ формою, или-же возвышенное есть проявленіе абсолютнаго. Несостоятельность перваго опредѣленія ясна безъ всякаго подробнаго разбора. Перевѣсъ идеи надъ формою имѣетъ характеръ возвышеннаго только въ томъ случаѣ, когда идея, перевѣшивающая форму, уже сама по себѣ возвышенна. Въ другихъ случаяхъ о возвышенномъ не можетъ быть и рѣчи. Несостоятельность второго опредѣленія ясна для всякаго, кто разъ навсегда понялъ несостоятельность метафизическихъ понятій безконечнаго и абсолютнаго. Но не пускаясь въ метафизическія пренія, Чернышевскій ссылается на всѣмъ доступные и понятные факты. Онъ говоритъ: идея безконечнаго не

всегда или, лучше сказать, почти никогда не связана съ идеей возвышеннаго. Возвышеннымъ представляется намъ самый предметъ, а не какія-нибудь вызываемыя этимъ предметомъ мысли. Величественъ самъ по себѣ Казбекъ, величественно само по себѣ море, величественна сама по себѣ личность Цезаря или Катона. Далѣе, вникая въ представленіе о возвышенномъ предметѣ, мы открываемъ, что очень часто предметъ кажется намъ возвышеннымъ, не переставая казаться далеко не безпредѣльнымъ. Монбланъ, Казбекъ — возвышенны, хотя они вовсе не безграничны въ смыслѣ величины. И такъ, ясно, что едва-ли можно *послѣ этого* раздѣлять мысль, будто возвышенное есть перевѣсъ идеи надъ формою или что сущность возвышеннаго состоитъ въ пробужденіи идеи безконечнаго. Но въ такомъ случаѣ, каково-же истинное опредѣленіе возвышеннаго? Оно просто до очевидности. «Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, съ чѣмъ сравнивается нами. Возвышенный предметъ — предметъ, *много* превосходящій своимъ *размѣромъ* предметъ, съ которымъ сравнивается нами. Возвышенно явленіе, которое *гораздо сильнѣе* другихъ явленій, съ которыми сравнивается нами». Монбланъ и Казбекъ — величественныя горы, потому что гораздо *огромнѣе* дюжинныхъ горъ и пригорковъ, которые мы привыкли видѣть. Юлій Цезарь возвышенный человѣкъ, потому что, какъ полководецъ и государственный дѣятель, далеко выше всѣхъ полководцевъ и государственныхъ людей своего времени. Господствующее, но опровергнутое пониманіе вещей подчиняетъ прекрасное возвышенному. Новое опредѣленіе показываетъ намъ, что прекрасное и возвышенное совершенно различныя понятія, не подчиненныя другъ другу и соподчиненныя только одному общему понятію, *очень далекому отъ такъ называемыхъ эстетическихъ понятій*: понятію интереснаго.

Идеалистическія претензіи критической философіи авторъ разсѣеваетъ, такимъ образомъ, очень простыми соображеніями. Говорятъ: красота есть идея творческаго воображенія. Это невѣрно. Смѣло можно сказать, что прекрасное въ дѣйствительности истинно прекрасно и вполнѣ удовлетворяетъ *здороваго* человѣка. Здоровый человѣкъ встрѣчаетъ въ дѣйствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые ему не приходитъ въ голову желать, чтобы они были лучше. Мнѣніе, будто человѣку непремѣнно нужно совершенство — мнѣніе фантастическое. Совершенство для меня то, что для меня вполнѣ удовлетворительно въ своемъ родѣ. Когда у человѣка сердце пусто, онъ можетъ давать волю своему воображенію, но какъ скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная дѣйствительность, крылья фантазіи связаны. Лежащему на голыхъ доскахъ человѣку иногда приходитъ въ голову мысль о роскошной постели, о подушкахъ съ брабантскими кружевами, но неужели станетъ

мечтать обо всемъ этомъ здоровый человѣкъ, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель? Отъ добра добра не ищутъ. Наконецъ, организмъ человѣка *не можетъ выносить титаническихъ стремленій* и удовлетвореній. «Послѣ всего этого трудно не сказать, что въ дѣйствительности есть много событій, которыя надобно только знать, понять и умѣть разсказать, чтобы они въ чистомъ прозаическомъ разсказѣ историка, писателя мемуаровъ или собирателя анекдотовъ отличались отъ настоящихъ поэтическихъ произведеній только *меньшимъ объемомъ*, меньшимъ развитіемъ сценъ, описаній и тому подобныхъ подробностей (!). И въ этомъ находимъ мы существенное различіе поэтическихъ произведеній отъ точнаго прозаическаго пересказыванія дѣйствительныхъ происшествій. Большая полнота подробностей или то, что въ плохихъ произведеніяхъ пріобрѣтаетъ имя реторическаго распространенія, вотъ къ чему въ сущности приводится все превосходство поэзіи надъ точнымъ разсказомъ». Поэзія идеализируетъ или, просто говоря, преувеличиваетъ какія-нибудь основныя качества предмета — въ этомъ собственно и вся ея оригинальность. Природа и жизнь выше искусства, но искусство старается угодить нашимъ наклонностямъ... Въ такомъ случаѣ спрашивается: если жизнь лучше и выше искусства, тогда къ чему искусство вообще? Опять-таки—для здороваго человѣка дѣло ясно до очевидности: море прекрасно, но не всѣ люди живутъ вблизи моря. Конечно, гораздо лучше смотрѣть на самое море, чѣмъ на изображеніе моря, но что дѣлать, если море за горами. За недостаткомъ лучшаго человѣкъ довольствуется худшимъ, за недостаткомъ вещи—суррогатомъ вещи. Вотъ единственная цѣль и значеніе большей части произведеній искусства. Съ *этой* точки зрѣнія искусство дѣло вовсе не излишнее, а напротивъ,—даже необходимое. Такова задача искусства. Но въ чемъ содержаніе искусства? И этотъ вопросъ разрѣшается очень легко: общеинтересное въ жизни—вотъ содержаніе искусства. Привычка изображать любовь, любовь и вѣчно любовь заставляетъ поэтовъ забывать, что жизнь имѣетъ другія стороны, гораздо болѣе интересующія человѣка. Искусство знакомитъ насъ съ жизнью вообще и потому оно не должно ограничиваться любовью. Истинно содержательное искусство должно заключать въ себѣ три элемента: вѣрное изображеніе дѣйствительности, объясненіе жизни и, наконецъ, нравственное назиданіе.

Трактатъ заканчивается слѣдующими сентенціями. Наука не думаетъ быть выше дѣйствительности и это не стыдъ для нея. Искусство также не должно быть выше дѣйствительности, ибо это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цѣль ея—понять и объяснить дѣйствительность. Пусть и искусство не стыдится признаться, что цѣль его—воспроизводить по мѣрѣ силъ эту драгоцѣнную дѣйствитель-

ность. Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ, въ случаѣ отсутствія дѣйствительности, быть нѣкоторою замѣною ея и быть для человѣка учебникомъ жизни...

Необходимо оставить наивный разговоръ объ устарѣлости метафизическихъ понятій. Исканіе критеріевъ эстетическаго и философскаго мышленія внѣ сознанія—въ природѣ—разрѣшается гибельными иллюзіями, рядомъ логическихъ недоразумѣній. Метафизическая философія, основанная на критически разработанной теоріи познанія, положившая границу между бытіемъ и миражемъ, нашедшая коренное начало жизни внутри самаго человѣка, не устарѣло, а живетъ и движется впередъ, захватывая все большую и большую область подлежащихъ ея суду задачъ и вопросовъ. Устарѣла догматическая философія, догматическая метафизика, но философія критическая, метафизика идеалистическая, изслѣдующая законы умственной дѣятельности, вноситъ смыслъ и цѣль во всякую научную работу. Наука, изучаемая по школьному методу, безъ предварительнаго ознакомленія съ великимъ открытіемъ критической философіи, съ Кантовскимъ ученіемъ объ идеальности пространства и времени, о феноменѣ и нуменѣ, такая наука догматична въ полномъ смыслѣ этого слова: она даетъ грубо схоластическое представленіе о матеріи, о силѣ, о законѣ причинности, о сознаніи. Догматическая метафизика уже болѣе ста лѣтъ можетъ считаться навсегда похороненною. Съ 1781 года, т. е. со времени перваго изданія «Критики чистаго разума», философія, какъ бы возрожденная и вырванная изъ мертвящихъ оковъ догматическаго раціонализма, смѣло подвигается по новому пути, проложенному ученіемъ о теоретическомъ и практическомъ разумѣ. Критическій идеализмъ Канта легъ вѣчною гранью между двумя эпохами человѣческой исторіи. Весь длинный періодъ времени отъ Сократа до настоящихъ дней—твореніемъ Канта разбивается на двѣ неравныя части. Вся философія, вся наука до новаго ученія о пространствѣ и времени была догматична по своему руководящему критерію. Реальное начало не было найдено, и мысль человѣческая безпомощно цѣплялась то за одни, то за другіе принципы въ вопросахъ умственнаго труда и нравственной дѣятельности. И нѣтъ сомнѣнія, что борьба съ метафизикой самая безплодная и самая жалкая борьба умственной косности и, такъ сказать, душевной безталанности противъ свободнаго и непобѣдимаго развитія человѣческаго разума. Система, дающая объясненіе и удовлетвореніе всѣмъ потребностямъ разума, всѣмъ порывамъ воли, сведшая воедино вопросы науки, философіи и религіи, признавшая нравственную свободу единственно реальнымъ принципомъ жизни — должна быть разрабатываема вширь и вглубь, должна наполняться новыми обобщеніями, но никогда не можетъ оказаться превзойденной ступенью въ исторіи человѣческаго духа.

Нужно было особенно несчастное стеченіе обстоятельствъ, чтобы человѣкъ съ литературнымъ талантомъ и смѣлымъ умомъ могъ очутиться въ странномъ положеніи писателя, высказывающаго такія, по-истинѣ, дѣтскія соображенія и мысли о красотѣ, о возвышенномъ, о задачѣ искусства, какія высказалъ Чернышевскій въ своей диссертаціи «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности». Эта восторженная проповѣдь о томъ, что жизнь и красота одно и то же, это комическое смѣшеніе возвышеннаго съ высокимъ въ смыслѣ крупной величины, это униженное преклоненіе предъ дѣйствительностью, это безсиліе мысли, путающей сборникъ анекдотовъ съ истинно-поэтическимъ твореніемъ—производятъ странное впечатлѣніе. И надо сказать правду: по сравненію съ младенческой логикой разсматриваемаго трактата нѣсколько сбивчивыя и туманныя соображенія кн. Волконскаго, съ заключительными словами объ искусствѣ, какъ о духовномъ творчествѣ, представляютъ настоящій шагъ впередъ, прогрессивный успѣхъ въ дѣлѣ теоретическаго пониманія искусства. Пересказъ опредѣленій красоты и возвышеннаго въ идеалистической философіи, сдѣланный Чернышевскимъ, невѣренъ и не обнаруживаетъ слѣдовъ знакомства съ классическимъ сочиненіемъ Канта подъ названіемъ *Kritik der Urtheilskraft*. Стерты характерные, важные признаки красоты, грубо замазано ничего не значащими словами великолѣпное ученіе о возвышенномъ. Не разработанный для философскихъ опредѣленій русскій языкъ звучитъ почти дико, непонятно въ устахъ человѣка, желающаго на двухъ-трехъ страницахъ сокрушить основы міросозерцанія, выработаннаго тысячелѣтними усиліями лучшихъ умовъ человѣчества. Послѣдовательно развивая свои мысли, авторъ совершенно не вникаетъ въ смыслъ идеалистическихъ опредѣленій и даетъ намъ рядъ собственныхъ заключеній, которыя когда-нибудь будутъ переведены на европейскій языкъ любознательнымъ историкомъ литературы съ тѣмъ, чтобы показать, до какой степени теоретическое мышленіе можетъ отстать, въ общемъ развитіи умственныхъ силъ страны, отъ художественно-творческой дѣятельности. Послѣ Пушкина, Лермонтова, Гоголя странно читать увѣренныя рѣчи о томъ, что искусство есть только суррогатъ *драгоцѣнной* дѣйствительности, что только при пустомъ сердцѣ развязываются крылья фантазіи, что все отличіе поэзіи отъ прозаическаго пересказа тѣхъ или другихъ жизненныхъ событій заключается въ большей полнотѣ подробностей, въ реторической распространенности, что творческое воображеніе равносильно мечтанію о подушкахъ съ брабантскими кружевами.

Чернышевскій говоритъ: прекрасное есть жизнь, прекрасно то существо, въ которомъ мы видимъ жизнь такою, какою она должна быть по нашимъ понятіямъ,—и при этомъ не замѣчаетъ, что даже въ такомъ грубомъ опредѣленіи прекраснаго критерій красоты поставленъ на по-

добіе идеалистической эстетики. Только согласіе жизни съ человѣческимъ понятіемъ порождаетъ чувство красоты. Только гармонія жизненнаго образа съ внутренними представленіями порождаетъ эстетическое удовольствіе. Критерій красоты не въ жизни, а въ сознаніи: не жизнь предписываетъ условія изящнаго, красиваго, художественно совершеннаго, а мысль человѣческая, творческое сознаніе. Искусство есть духовное творчество, созидающее идеальные образцы въ двухъ направленіяхъ: оно даетъ жизнь внутреннему мѣрилу красоты и яркими картинами борьбы и страданій вызываетъ представленіе о возвышенномъ духовномъ призваніи человѣка.

Далѣе Чернышевскій говоритъ: возвышенное есть то, что гораздо больше всего, съ чѣмъ сравнивается нами, и при этомъ, какъ мы уже указали, не замѣчаетъ, что смѣшиваетъ предметы возвышенные съ высокими или вообще крупными въ томъ или другомъ случайномъ отношеніи. Монбланъ и Казбекъ—самыя возвышенныя горы, а среди людей никто, конечно, не былъ, съ этой точки зрѣнія, возвышеннѣе библейскаго Голіафа. Идея безконечнаго должна склониться предъ такою здравою реалистическою логикой. Идеалистическая философія учитъ, что природа сама по себѣ не заключаетъ въ себѣ никакихъ возвышенныхъ явленій, что внѣшніе предметы и явленія могутъ дать только поводъ къ возвышеннымъ настроеніямъ, что возвышенное есть только сознаніе разума о своемъ превосходствѣ надъ всякимъ чувственнымъ мѣриломъ, но—вѣдь это метафизика!.. Къ чему метафизика? Возвышенное просто то, что крупно, велико, высоко!

Мы не пойдемъ дальше—пока довольно. Промахи реалистической эстетики слишкомъ очевидны, слишкомъ элементарны. Теоретическія разсужденія разбираемаго трактата не только устарѣли, но, можно сказать, никогда не были ни юными, ни жизнеспособными. Это рядъ ошибокъ мысли, которые не были-бы особенно прискорбны, если-бъ, къ сожалѣнію, не оказали такого сильнаго воздѣйствія на неразвитое сознаніе русскаго общества.

1892. Іюль.

О причинахъ упадка русской критики.

О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы, Д. С. Мережковскаго. — Существуетъ-ли русская литература? — Родоначальникъ русской поэзіи въ характеристикахъ Тургенева, Островскаго, Достоевскаго.—Русская критика: Буренинъ, Протопоповъ, Скабичевскій.—Идеализмъ, символизмъ, мистицизмъ.

I.

Книжка Мережковскаго составлена изъ нѣсколькихъ статей, въ которыхъ авторъ разсуждаетъ о причинахъ упадка русской печати, о новыхъ теченіяхъ въ литературѣ, о соціальныхъ и бытовыхъ условіяхъ, которыми сопровождается дѣятельность русскаго писателя и о многомъ другомъ. Она естественно распадается на двѣ части: въ первой Мережковскій устанавливаетъ свою собственную точку зрѣнія на текущую и прошедшую литературу, во второй онъ даетъ намъ три образцовыхъ характеристики Майкова, Гончарова и Достоевскаго.

Книжка начинается слѣдующими общими разсужденіями. Авторъ разграничиваетъ поэзію и литературу. «Я заранѣе готовъ согласиться, говоритъ онъ, что въ сущности это вопросъ иногда сливающихся оттѣнковъ и почти неуловимыхъ степеней, но для моей задачи они имѣютъ большое значеніе. Поэзія — сила первобытная и вѣчная, стихійная, непроизвольный и непосредственный даръ Божій. Люди надъ нею почти не властны, какъ надъ безцѣльными и прекрасными явленіями природы, надъ восходомъ и закатомъ свѣтилъ, надъ затишью и бурями океана». Литература основана на стихійныхъ силахъ поэзіи такъ же, какъ міровая культура — на первобытныхъ силахъ природы. «Пѣсни божественнаго слѣпого старика, который бродитъ по прибрежьямъ Іоніи, среди воинственныхъ племенъ Эллады, конечно, не могли-бы быть литературной силой». Прошло нѣсколько столѣтій, и въ Аѳинахъ, въ эпоху Перикла, въ средѣ великихъ греческихъ писателей и философовъ, Гомеръ пріобрѣтаетъ настоящее *литературное* значеніе. Онъ становится родоначаль-

никомъ цѣлой школы художниковъ и писателей. Духъ Гомера чувствуется до сихъ поръ въ діалогахъ Платона, въ шуткахъ Аристофана, въ нѣжныхъ лирическихъ хорахъ Софокла, въ какой-нибудь полустертой надписи на могильномъ мраморѣ, пережившемъ вѣка. «Великая литература до послѣдняго вздоха осталась вѣрною своему родоначальнику. Въ поэтической прозѣ Лонгуса слышатся иногда какъ будто послѣдніе отзвуки древняго гекзаметра Одиссеи, какъ отдаленный гулъ Іоническихъ волнъ». Окончательно формулируя свою мысль, Мережковскій говоритъ: «Литература—та же поэзія, но только разсматриваемая не съ точки зрѣнія индивидуальнаго творчества отдѣльныхъ художниковъ, а какъ сила, движущая цѣлыя поколѣнія, цѣлые народы по извѣстному культурному пути, какъ преемственность поэтическихъ явленій, передаваемыхъ изъ вѣка въ вѣкъ и объединенныхъ великимъ историческимъ началомъ!» Это его основное положеніе, которое, будучи примѣнено къ исторіи русской литературы, внушаетъ ему выводы безотрадные, печальные. Въ Россіи были великія поэтическія явленія, но не было истинно великой литературы, достойной занять мѣсто рядомъ съ другими всемірными литературами. У Пушкина вырывались жалобы на одиночество. Онъ признается, что русскій поэтъ ровно ничего не знаетъ о судьбѣ своихъ произведеній. Онъ готовъ проклясть землю, въ которой родился. Онъ былъ одинокъ въ цыганскомъ таборѣ, въ глубинѣ бессарабскихъ степей, въ ледяныхъ кружкахъ великосвѣтскаго Петербурга и въ той литературной средѣ, гдѣ царили Гречъ и Булгаринъ... Одиночество было удѣломъ и другого великаго писателя — Гоголя. «Всю жизнь сатирикъ боролся за право смѣяться. Изнуряющее, губительное чувство напрасной любви къ родинѣ было у Гоголя еще сильнѣе, чѣмъ у Пушкина. Оно нарушило на вѣки его внутреннее равновѣсіе, довело до безумія». Лермонтовъ стыдился названія русскаго литератора, какъ чего-то унизительнаго и карикатурнаго. «Онъ вспыхнулъ и погасъ неожиданнымъ таинственнымъ метеоромъ, прилетѣвшимъ изъ невѣдомой первобытной глубины народнаго духа и почти мгновенно въ ней потонувшимъ». Во второмъ поколѣніи русскихъ писателей чувство безпомощнаго одиночества возростаетъ. Гончаровъ всю жизнь оставался недоступнымъ отшельникомъ. Достоевскій пишетъ карикатуру на одного изъ самыхъ законныхъ наслѣдниковъ Пушкина. Некрасовъ и Щедринъ питаютъ непримиримую гражданскую ненависть къ Достоевскому. Толстой и Тургеневъ никогда не любили другъ друга. Русскіе писатели никогда не сходятся другъ съ другомъ такъ, какъ слѣдуетъ, «передъ лицомъ всего народа», и если сходятся, то на одно мгновеніе—«гдѣ-то въ уголку, въ тайнѣ, во мракѣ». Былъ кружокъ Бѣлинскаго, гдѣ впервые поняли Пушкина, гдѣ привѣтствовали Тургенева, Гончарова и Достоевскаго, но одно враждебное дуновеніе—и все распалось. Никогда еще, впродолженіе цѣлаго столѣтія,

русскіе писатели не пребывали единодушно вмѣстѣ. «Священный огонь Народнаго Сознанія, тотъ раздѣляющійся пламенный языкъ, о которомъ сказано въ Дѣяніяхъ, ищетъ избранниковъ, даже на одно мгновеніе вспыхиваетъ, но тотчасъ же потухаетъ. Русская жизнь не бережетъ его. Всѣ эти эфемерные кружки были слишкомъ непрочны, чтобы въ нихъ произошло то великое историческое чудо, которое можно назвать сошествіемъ народнаго духа на литературу».

Таковы соображенія Мережковскаго. Соединеніе оригинальныхъ и глубокихъ талантовъ не создало въ Россіи литературы, достойной великой русской поэзіи. Русскіе писатели имѣютъ право сказать другъ другу: наша поэзія велика и могуча, но въ ней нѣтъ ни литературной преемственности, ни свободнаго взаимодѣйствія. Завтра можетъ появиться новый романистъ, равный Тургеневу по художественному таланту, или новый поэтъ, равный по силѣ дарованія Лермонтову, но великой литературы съ всемірнымъ значеніемъ онъ не создастъ: съ его смертью наступитъ такой-же упадокъ, такое-же варварство и одичаніе, какое мы теперь переживаемъ. Напрасно «близорукіе рецензенты» плачутъ объ отсутствіи талантовъ: горе въ томъ, что кризисъ, переживаемый русскимъ обществомъ, гораздо глубже, болѣзненнѣе и сводится къ роковому вопросу: «быть или не быть въ Россіи великой литературѣ, т. е. воплощенію великаго народнаго сознанія».

II.

Если литература есть та-же поэзія, но только разсматриваемая, какъ сила, направляющая цѣлыя поколѣнія, какъ преемственность поэтическихъ явленій, передаваемыхъ изъ вѣка въ вѣкъ и связанныхъ между собою однимъ общимъ духовнымъ началомъ, то странно не видѣть, что въ Россіи есть литература богатая, оригинальная, вышедшая изъ одного источника, развивающаяся подъ извѣстными, давно уже опредѣлившимися традиціями, на томъ широкомъ и безконечномъ пути, который раскрылъ предъ нею вдохновенный геній Пушкина. Вліяніе Пушкина ясно чувствуется въ произведеніяхъ Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевскаго, ибо въ Россіи не было ни одного литературнаго явленія, котораго нельзя было-бы связать, рядомъ возвратныхъ ступеней, съ преданіями поэтической дѣятельности Пушкина. И былъ моментъ, когда это происхожденіе русской поэзіи, во всѣхъ ея мельчайшихъ развѣтвленіяхъ, второстепенныхъ теченіяхъ, историческихъ переходахъ, отъ поэзіи Пушкина было засвидѣтельствовано громогласно людьми ума и таланта. Это случилось 8 іюня 1880 года, и случилось, можно сказать, передъ лицомъ всего русскаго общества, передъ «благороднымъ мѣднымъ ликомъ», воздвигнутымъ во славу «великой русской литературы». Развѣ это не было

настоящимъ историческимъ чудомъ, «сошествіемъ народнаго духа» на русское интеллигентное общество? Развѣ тотъ раздѣляющійся пламенный языкъ, о которомъ сказано въ *Апостольскихъ Дѣяніяхъ*, не нашелъ себѣ на этомъ всероссійскомъ праздникѣ достойныхъ ораторовъ и избранниковъ? Къ собравшейся толпѣ говорили Тургеневъ, Островскій, Достоевскій и словамъ ихъ огромная толпа внимала, притаивъ дыханіе. Все русское общество соединилось въ одномъ чувствѣ, сознавая великую, торжественную важность минуты. Открытіе памятника было встрѣчено всеобщимъ взрывомъ энтузіама, разсказываетъ хроникеръ «Вѣстника Европы» того времени. Восторженное настроеніе длилось цѣлые дни, и съ этимъ настроеніемъ масса народа слушала одушевленныя рѣчи о значеніи замѣчательнаго поэта, когда ученые профессора, лучшіе русскіе писатели, выдающіеся представители газетной печати, объясняли великій переворотъ, совершенный Пушкинымъ въ общемъ литературномъ развитіи Россіи, изображали различныя стороны его историческаго вліянія, рисовали смѣло и выразительно его благородную, геніальную натуру. Были рѣчи, проникнутыя религіознымъ энтузіазмомъ. Были рѣчи, которыя сверкали поэтическими огнями. «Московскій праздникъ былъ со временъ Рюрика первымъ чисто общественно-литературнымъ праздникомъ—и по своему поводу, и по исполненію». Къ нему направились давно сдержанныя, невысказанныя влеченія общества, онъ далъ исходъ надеждамъ, которыхъ еще недавно никто не смѣлъ выражать открыто. «Вражда и ненависть истощились и, къ удивленію, отъ людей, произносившихъ только проклятіе и брань, послышались слова забвенія прошедшаго и примиренія». Тургеневъ говорилъ съ осторожностью, въ которой чувствовалась какая-то робость. Въ теченіе многихъ лѣтъ въ Россіи раздавался дикій свистъ разнузданныхъ поборниковъ утилитаризма, въ теченіе многихъ лѣтъ русскіе журналисты, бравируя умственной распущенностью, безпрепятственно надругивались надъ вопросами искусства, въ теченіе многихъ лѣтъ полуобразованное русское общество весело, съ какимъ-то страннымъ задоромъ, приплясывало за бойкими журнальными рецензентами во всѣхъ вопросахъ отвлеченнаго мышленія, во всѣхъ вопросахъ знанія, умственнаго развитія—и вдругъ... Тургеневъ самъ испыталъ на себѣ всю силу литературной грубости, когда она, распаленная плохо понятой идеей публицистическаго долга, даетъ полную волю своимъ безпорядочнымъ инстинктамъ. Онъ зналъ Россію, какъ немногіе и, проникнутый тѣмъ скептическимъ недовѣріемъ, которое было прирождено его нѣжному, капризному уму, вышелъ на праздникъ русскаго искусства тихимъ шагомъ, съ едва уловимой, расплывающейся улыбкой на лицѣ, съ блестяще отдѣланной рѣчью, въ которой сквозь фразы удивительной красоты чувствуется какая-то неувѣренность,—чувствуется въ нѣкоторой искусственности ораторскихъ пріемовъ, въ этихъ недоговоренныхъ, внезапно обрывающихся

фразахъ, въ этихъ неуловимыхъ, но эфектныхъ, риторическихъ оттѣнкахъ, въ ея постройкѣ, во всѣхъ ея логическихъ доводахъ. Не видно глубокаго волненія, творческой импровизаціи. Въ ней все обдумано, размѣрено, мысли и доказательства расположены симетрично, изящными узорами. Въ ней все дышитъ ароматомъ тончайшаго искусства, но въ ней не чувствуется жара души, вдохновонія непосредственнаго, непринужденнаго. Тургеневъ говорилъ, какъ человѣкъ, который не довѣрялъ своимъ силамъ и, не имѣя отваги литературнаго пророка, шелъ на компромисъ съ нѣкоторыми популярными въ обществѣ тенденціями. Онъ говорилъ, какъ превосходный поэтъ, но не какъ смѣлый боецъ за истину.

Рядъ ослѣпительныхъ фразъ и словъ... Въ Пушкинѣ русское творчество и русская воспріимчивость составляютъ одно гармоническое цѣлое,— самая сущность, свойство русскаго народа точно перелились въ его поэтическія произведенія. Пушкинъ проложилъ тотъ путь, по которому осталось идти его потомкамъ. Въ поэзіи вообще, а, слѣдовательно, и въ поэзіи Пушкина—великая, *освободительная* сила, которая возвышаетъ, облагораживаетъ всякаго, кто къ ней прикоснется. И тутъ же, рядомъ съ этими великолѣпными фразами, сыплющимися, какъ брызги свѣта съ весенняго неба—нѣсколько коварныхъ отступленій, сдѣланныхъ съ великимъ тактическимъ расчетомъ. Изъ бѣломраморнаго храма, гдѣ поэтъ являлся жрецомъ, говоритъ Тургеневъ, гдѣ горѣлъ огонь на алтарѣ и сожигалъ только *ѳиміамъ*, люди пошли на шумныя торжища. «Поэтъ—эхо, поэтъ центральный, самъ къ себѣ тяготѣющій, положительный, какъ жизнь на покоѣ, смѣнился поэтомъ-глашатаемъ, центробѣжнымъ, тяготѣющимъ къ другимъ, отрицательнымъ, какъ жизнь въ движеніи». Вслѣдъ за Лермонтовымъ, Гоголемъ, раздался голосъ поэта «мести и печали», за которымъ пошли другіе. Искусство, завоевавшее себѣ въ Россіи твореніями Пушкина полное право гражданства, «стало служить другимъ началамъ, столь-же необходимымъ въ общественномъ устроеніи». Пришла пора, и русское общество вернулось къ великому поэту: имя, обреченное забвенію въ числѣ другихъ именъ, вновь засіяло на горизонтѣ русской жизни. *Теперь* уже ничто не мѣшаетъ поэзіи занять принадлежащее ей законное мѣсто. Она нашла свои естественныя границы, она упрочилась навсегда...

Тургеневъ политиканствовалъ и ради мнимой исторической справедливости бросалъ въ публику блестящія слова—съ пышнымъ, но фальшивымъ содержаніемъ. Въ немногихъ фразахъ, на которыхъ лежитъ печать такого гибкаго, интеллигентнаго искусства, онъ сдѣлалъ все, чтобы удовлетворить самымъ разнообразнымъ требованіямъ и вкусамъ: бѣломраморный храмъ, гдѣ огонь горитъ на алтарѣ, сожигая *только* ѳиміамъ, поэтъ-жрецъ, положительный, какъ жизнь на покоѣ, шумныя торжища, поэтъ, пылающій местью и печалью—центробѣжный,

отрицательный, какъ жизнь въ движеніи... Какіе контрасты! Какіе эфекты! Пушкину противопоставленъ Некрасовъ, измѣна Пушкину объяснена извиняющими обстоятельствами, и всей русской литературѣ, идущей по стопамъ Пушкина, но обогатившейся новымъ, гражданскимъ элементомъ въ поэзіи Некрасова, смѣло предречено славное и великое будущее. «Подъ вліяніемъ *стараго*, но не устарѣвшаго учителя, воскликнулъ въ заключеніе своей рѣчи Тургеневъ, законы искусства, художническіе пріемы вступятъ опять въ свою силу и кто знаетъ?—быть можетъ, явится новый, еще невѣдомый избранникъ, который превзойдетъ своего учителя и заслужитъ вполнѣ названіе національно-всемірнаго поэта, которое мы не рѣшаемся дать Пушкину, хотя и не дерзаемъ его отнять у него».

Островскій говорилъ гораздо проще, и въ его небольшомъ задушевномъ словѣ слышится такое твердое, непоколебимое убѣжденіе. Это именно застольное слово, произнесенное безъ хитрыхъ затѣй, съ тою красотою прямоты и задушевности, которая, черезъ много лѣтъ и при совершенно другихъ литературныхъ обстоятельствахъ, производитъ такое же чарующее впечатлѣніе, какое она должна была произвести въ моментъ произнесенія тоста въ московскомъ обществѣ любителей россійской словесности. «Сокровища, дарованныя намъ Пушкинымъ, говорилъ Островскій, дѣйствительно велики и неоцѣненны. Первая заслуга великаго поэта въ томъ, что черезъ него умнѣетъ все, что можетъ поумнѣть. Кромѣ наслажденія, кромѣ формъ для выраженія мыслей и чувствъ, поэтъ даетъ и самыя формулы мыслей и чувствъ. Богатые результаты совершеннѣйшей умственной лабораторіи дѣлаются общимъ достояніемъ. Поэтъ ведетъ за собой публику въ незнакомую ей страну изящнаго, въ какой-то рай, въ тонкой и благоуханной атмосферѣ котораго возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства. Вотъ отчего и любовь, и поклоненіе великимъ поэтамъ. Вотъ отчего и великая скорбь при ихъ утратѣ: образуется пустота, умственное сиротство, *не кѣмъ думать, не кѣмъ чувствовать*». Пушкинымъ восхищались и зачитывались прежде, восхищаются и зачитываются теперь. Ему русская литература обязана своимъ умственнымъ ростомъ, въ немъ она расцвѣла. Его произведенія сообщили серьезность, тонъ и значеніе печатному слову, воспитали вкусъ въ публикѣ и подготовили ее для будущихъ литераторовъ, читателей и цѣнителей. Онъ завѣщалъ литературѣ искренность, самобытность, онъ далъ всякой оригинальности смѣлость. «Теперь намъ остается только желать, чтобы Россія производила поболѣе талантовъ, пожелать русскому уму поболѣе развитія и простора, а путь, по которому идти талантамъ, указанъ нашимъ великимъ поэтомъ». Островскій говорилъ весело, бодро, съ полною увѣренностью, что русская литература шла и продолжаетъ идти тѣмъ путемъ, на который поставилъ ее Пушкинъ.

Но истиннымъ событіемъ на Пушкинскомъ празднествѣ была рѣчь Достоевскаго. Онъ заглянулъ въ глубь творчества поэта и открылъ передъ слушателями картину богатѣйшей внутренней жизни, которая представилась его вдохновенному взгляду. Онъ пришелъ на праздникъ русскаго искусства съ тѣмъ, чтобы выяснить тотъ сокровенный смыслъ, который таится въ глубинѣ лучшихъ созданій Пушкинскаго таланта и придаетъ поэтической дѣятельности Пушкина важное, неумирающее значеніе во всѣхъ судьбахъ умственнаго развитія Россіи. «Слово, сказанное Достоевскимъ, писалъ хроникеръ *Отечественныхъ Записокъ*, было, въ самомъ дѣлѣ, словомъ живымъ и достойнымъ величайшаго интереса». Въ манерѣ его рѣчи не было ничего торжественнаго. Онъ говорилъ просто, «не надсѣдаясь въ выкрикиваньи громкихъ фразъ, не закидывая головы», безъ малѣйшихъ отступленій, безъ всякихъ украшеній. Онъ какъ-бы привелъ самого Пушкина въ эту залу, которая кишѣла людьми, собравшимися съ разныхъ концовъ Россіи. И рѣчь его произвела ошеломляющее впечатлѣніе. Ему были устроены овація, какихъ не удостоился еще ни одинъ писатель до него. Кто-то, едва пожавъ ему руку, по окончаніи рѣчи, былъ до того потрясенъ испытаннымъ волненіемъ, что безъ чувствъ повалился на эстраду... Передъ этою рѣчью дѣйствительно блѣднѣютъ всѣ великолѣпныя слова Тургенева. Въ ней каждая фраза—вдохновеніе, всѣ мысли отлиты въ выраженія сжатыя, рѣзкія, яркія. Читаешь ее съ глубокимъ вниманіемъ и до сихъ поръ на страницахъ «Дневника писателя». Видишь Достоевскаго, какъ живого—съ его мистическимъ паѳосомъ, жаждой страданья, съ его неукротимымъ стремленіемъ къ истинѣ. Онъ тутъ предъ вами—съ порывистыми, угловатыми движеніями, страдальческимъ лицомъ и глазами, которые смотрятъ пронизывающимъ взглядомъ. Такихъ рѣчей не *сочиняютъ*, не выдумываютъ. Ихъ произносятъ только тѣ, которые отмѣчены высшимъ призваніемъ—только тѣ, въ чьей душѣ есть что-то пророческое, исключительное, тотъ уголь, пылающій огнемъ, который отъ Бога. Никто, кромѣ Гоголя, не говорилъ о Пушкинѣ такъ, какъ говорилъ Достоевскій. Въ его рѣчи, гдѣ каждое слово раскалено то враждою, то любовью, гдѣ цѣлыя страницы запечатлѣны пристрастіемъ къ исторической участи русскаго народа, русской литературы, русской жизни, несмотря на множество отдѣльныхъ, мелкихъ недостатковъ, разсыпана такая богатая, разнообразная логика, раскрыта такая могучая, нравственная натура. Точно пламя, окруженное облаками дыма, встаетъ она передъ нами, эта вдохновенная проповѣдь Достоевскаго: ея очертанія теряются въ густомъ туманѣ словъ и положеній, которыя необходимо принять на вѣру, не прося доказательствъ, положившись на ясновидящій умъ Достоевскаго, но ея главное внутреннее содержаніе—огонь души, измученной сомнѣніями и страданіями. Это пламя чистѣйшаго краснорѣчія, возвышеннѣйшихъ чувствъ въ дыму патріотиче-

скихъ надеждъ и стремленій, пламя вѣры, пламя любви, пламя таланта во тьмѣ народнаго невѣжества, интеллигентнаго праздношатанья и журнальной безкультурности. И то, что сказано о Пушкинѣ въ этой рѣчи, никогда не будетъ забыто. Это цѣлое открытіе въ области литературы, для котораго Достоевскій могъ найти руководящій свѣтъ только въ указаніяхъ Гоголя. Достоевскій расширилъ, углубилъ и довелъ до послѣдняго логическаго заключенія то, что таилось въ словахъ Гоголя—и получилось нѣчто грандіозное, поражающее глубиною убѣжденія, шириною духовнаго горизонта.

Гоголь говорилъ: при имени Пушкина насъ тотчасъ осѣняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтѣ, ибо никто изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть болѣе его названъ поэтомъ національнымъ. Въ немъ, какъ въ лексиконѣ, заключалось все богатство, сила и гибкость русскаго языка. «Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится черезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой-же чистотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла». Пушкинъ былъ національнымъ уже при самомъ началѣ своей литературной дѣятельности, ибо національность не въ описаніи сарафана, а въ передачѣ самаго духа народа, ибо національнымъ тотъ, кто глядитъ на весь міръ глазами своей національной стихіи, своего народа. Тамъ, гдѣ Пушкинъ описываетъ русскую природу, его описанія тихи, безпорывны и могутъ быть понятны только тому, «чья душа носитъ въ себѣ чисто русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нѣжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пѣсни и русскій духъ». Самая жизнь Пушкина совершенно русская: разгулъ, раздолье... [1]).

Достоевскій вложилъ болѣе богатое содержаніе въ опредѣленіе русской національности. Онъ начинаетъ словами Гоголя, но уходитъ гораздо дальше его въ разборѣ внутреннихъ мотивовъ Пушкинской поэзіи. Пушкинъ какъ разъ пришелъ «въ самомъ началѣ правильнаго самосознанія нашего, едва лишь начавшагося и зародившагося въ обществѣ нашемъ послѣ цѣлаго столѣтія съ Петровской реформы, и появленіе его сильно способствуетъ освѣщенію темной дороги нашей новымъ направляющимъ свѣтомъ». Въ самыхъ раннихъ его поэмахъ выразилась чрезвычайная самостоятельность его генія. Въ типѣ Алеко воплощена сильная, глубокая и совершенно русская мысль, «выраженная потомъ въ такой гармониче-

[1]) Сочиненія Н. В Гоголя, ред. Н. Тихонравова. Т. V, стр. 208.

ской полнотѣ въ Онѣгинѣ, гдѣ почти тотъ-же Алеко является уже не въ фантастическомъ свѣтѣ, а въ осязаемо-реальномъ и понятномъ видѣ». Пушкинъ отыскалъ и геніально отмѣтилъ «несчастнаго скитальца въ родной землѣ», того «историческаго страдальца», который не могъ не народиться въ обществѣ, оторванномъ отъ народа. Бездомный скиталецъ въ родной землѣ — таковъ чисто русскій типъ, выхваченный поэтомъ изъ самой жизни. Этотъ скиталецъ — отвлеченный человѣкъ, безпокойный мечтатель. Ему необходимо всемірное счастье, чтобы успокоиться. Онъ гордъ своею міровою тоскою, но за обиду, нанесенную его неприкосновенной личности, готовъ собственными руками злобно растерзать, казнить всякаго, или же воззвать къ закону «терзающему и казнящему». Онъ ищетъ всемірнаго счастья, но, фантастическій и нетерпѣливый, выходитъ не на спасительную дорогу «смиреннаго общенія съ народомъ», а жаждетъ спасенія «пока лишь преимущественно отъ явленій внѣшнихъ». Носясь по воздуху, какъ былинка, онъ повсюду сѣетъ раздоръ, вражду, преступленія. Алеко обагряетъ кровью свои руки въ свободномъ цыганскомъ таборѣ, и цыгане изгоняютъ несчастнаго мечтателя—«безъ отмщенія, безъ злобы, величаво и простодушно». Онѣгинъ убиваетъ Ленскаго «отъ хандры и, почемъ знать, можетъ быть, отъ хандры по міровомъ идеалѣ»... Въ русскомъ скитальцѣ черты высокаго благородства, гуманность, стремленіе къ свободѣ, при отсутствіи философскихъ критеріевъ, умственной культуры и развитыхъ формъ гражданской дѣятельности, не слагаются въ цѣльный, выдержанный характеръ, въ одну нравственную сущность, которую ничто не поколеблетъ, никакое горе не раздавитъ, никакое разочарованіе не завлечетъ на преступную дорогу. Онъ искатель счастья за горами, за морями, ненасытный наблюдатель чужихъ нравовъ, вѣчно разочарованный путешественникъ изъ страны въ страну, въ черномъ плащѣ, въ шляпѣ съ широкими полями, человѣкъ, ищущій высокихъ мыслей и чувствъ на вершинахъ высокихъ горъ, на берегу моря, объятаго бурею, во всемъ экстравагантномъ, невиданномъ и неиспытанномъ.

И рядомъ съ этимъ русскимъ «скитальцемъ по родной землѣ» Достоевскій ставитъ другой, болѣе высокій типъ. Татьяна — типъ положительной красоты, говоритъ Достоевскій, апоѳеозъ русской женщины. Татьянѣ поэтъ предназначилъ выразить мысль поэмы въ сценѣ послѣдней встрѣчи ея съ Онѣгинымъ. Она не оснуетъ своею счастья на несчастьи другого и, будучи смѣлой по природѣ, не измѣнитъ своему торжественно данному слову. Истекая страданіями, она не теряетъ того, на что опирается ея душа — идеи внутренней духовной гармоніи. Она никогда не отдастъ своей внутренней святыни на позоръ сквернаго обмана... Онѣгинъ и Татьяна — два образа, въ которыхъ Пушкинъ разгадалъ тайну русской исторіи опредѣлилъ ея настоящее и прошедшее,

со всею доступною художнику силою, намѣтилъ ея будущее, въ чертахъ неподражаемой красоты. Поставивъ передъ нами типъ русскаго скитальца, угадавъ его огромное значеніе въ историческихъ судьбахъ русскаго народа и рядомъ съ нимъ поставивъ типъ «положительной и безспорной красоты въ лицѣ русской женщины», Пушкинъ соединился съ своимъ народомъ такъ родственно и задушевно, какъ никто никогда ни до него, ни послѣ него. Онѣгинымъ и Татьяной поэтъ предначерталъ будущія судьбы русской литературы, и положительно можно сказать, восклицаетъ Достоевскій, не было-бы Пушкина, не было бы и послѣдовавшихъ за нимъ талантовъ: «по крайней мѣрѣ, не проявились-бы они въ такой силѣ и съ такою ясностью, несмотря даже на великія ихъ дарованія, въ какой удалось имъ выразиться впослѣдствіи, уже въ наши дни». Алеко, Онѣгинъ—это поэтическое выраженіе только одной изъ сторонъ русской жизни. Это жажда истины, стремленіе къ свѣту. Татьяна—это воплощеніе другой стороны: это—истина достигнутая, осуществленная, это народная правда въ живой художественной фигурѣ, изваянной изъ чистѣйшихъ элементовъ общерусскаго міросозерцанія и поставленная передъ нами въ «безспорной, смиренной и величавой духовной красотѣ своей». И эти два типа перешли въ позднѣйшую литературу, въ произведенія Лермонтова, Тургенева, Толстого, какъ неоспоримое достояніе русской жизни, какъ главныя дѣйствующія лица русской исторіи. Проснувшееся въ Пушкинѣ національное самосознаніе, по мѣрѣ развитія общества, по мѣрѣ того, какъ расширялся круговоротъ фактовъ русской исторіи и раздвигалась сфера наблюденія русскихъ писателей, все болѣе и болѣе укрѣплялось, просвѣщалось, принимая нѣжную, гуманную окраску. Въ Толстомъ оно достигаетъ высоты небывалой, играетъ всѣми лучами культуры, тою нравственною силою, которая готова поступиться всѣмъ, что держится только на преданіи, освящено рутиною, оправдано и доказано пошлымъ житейскимъ шаблономъ. Одна струя свѣта соединяетъ этихъ двухъ великихъ писателей и, какъ два гиганта, Пушкинъ и Толстой переживутъ вѣка, держа на своихъ могучихъ плечахъ все громадное зданіе русскаго искусства. Но въ Пушкинѣ національное самосознаніе выразилось въ болѣе законченной формѣ, съ большею красотою, съ поэтической граціей и легкостью прирожденнаго литературнаго генія. Пушкинъ въ творчествѣ находитъ свою естественную стихію. Онъ живетъ въ немъ свободной жизнью орла, который быстро перелетаетъ изъ одной воздушной сферы въ другую, несется, шутя, надъ высочайшими хребтами горъ и плавными, мѣрными движеніями, безъ шума опускается на вершину какой-нибудь отдаленной, пустынной скалы. Его кисть летаетъ, говорилъ Гоголь, и каждый мазокъ этой кисти, каждый штрихъ, случайный набросокъ — дышатъ силою, талантомъ, вскрываютъ цѣлыя бездны національной психологіи. Ни малѣйшей напряженности,

ни слѣда трудовыхъ мученій. Красота, какъ солнце, сіяетъ надъ цѣлымъ міромъ пушкинской поэзіи, всѣ образы писаны яркими, смѣлыми красками на фонѣ вѣчно чистыхъ, ясныхъ, свѣтлыхъ небесъ. Въ Толстомъ творчество страдальческое, съ напряженіемъ всѣхъ духовныхъ силъ, съ мучительною работою надъ каждою строкою. Толстой ищетъ и достигаетъ того, что дается Пушкину безъ всякаго напряженія: онъ пророкъ среди людей и великій, геніальный человѣкъ среди боговъ. А Пушкинъ полубогъ...

Достоевскій понялъ внутреннюю сущность Пушкинскаго таланта глубоко, смѣло, сильно. Въ Пушкинѣ, говорилъ онъ, способность перевоплощаться въ духовную жизнь чужихъ народовъ совершаетъ настоящія чудеса. Не было поэта съ такою отзывчивостью, какъ Пушкинъ, съ такою тонкою чувствительностью «ко всемірности и всечеловѣчности». Въ Донъ-Жуанѣ господствуетъ духъ настоящей Испаніи, и если-бы не было подписи, вы смѣло могли-бы сказать: это сочинилъ испанецъ. Геній Англіи слышенъ въ поэмѣ—*Пиръ во время чумы:* это англійскія пѣсни, тоска британскаго духа — его плачъ, его страданія. Только Пушкину было доступно такое перевоплощеніе, и въ этой поразительной способности понимать и выражать «всемірность и всечеловѣчность», опять-таки, сказалась національная сила, народность пушкинской поэзіи, «народность въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, народность нашего будущаго».

Такова была вдохновенная рѣчь Достоевскаго на Пушкинскомъ праздникѣ 8-го іюня 1880 года. По обыкновенію русскихъ журналистовъ, рѣчь эту оцѣнили въ печати легкомысленно и съ оттѣнкомъ привычной пошловатости. Органъ умѣреннаго либерализма, «Вѣстникъ Европы» измѣрилъ ее установленнымъ аршиномъ, «Отечественныя Записки» отдѣлались иронической гримасой. Психологической и философской критикѣ Достоевскаго «Вѣстникъ Европы» не могъ сочувствовать: нужна критика историческая, непремѣнно историческая и только историческая. Объ успѣхѣ рѣчи журналъ говорилъ съ плохо скрытымъ сожалѣніемъ: она была произнесена предъ аудиторіей, уже приготовленной къ крайнему увлеченію, передъ аудиторіей, которая жаждала «увлекающихъ и обольстительныхъ словъ» [1]). «Отечественныя Записки» нашли, что въ рѣчи Достоевскаго «есть нѣчто такое, что превращаетъ ее въ загадку, которую *нѣтъ охоты* разгадывать и которая сводитъ весь смыслъ рѣчи почти на нуль». По мнѣнію лица, сообщившаго въ этотъ журналъ свои впечатлѣнія отъ Пушкинскаго праздника, Достоевскій «къ всеевропейскому, всечеловѣческому смыслу русскаго скитальчества ухитрился присовокупить великое множество соображеній уже не всечеловѣческаго, а *всезаячьяго* свойства». Достоевскій дѣлаетъ постоянно въ своей рѣчи «заячьи прыжки»,

---

[1]) *Вѣстникъ Европы*, 1890, іюль, „Съ Пушкинскаго праздника“, стр. XXXI.

которые превращаютъ всю его проповѣдь въ «полнѣйшую мертвечину», въ проповѣдь тупого, грубаго, подневольнаго жертвоприношенія... [1]).

Но, при всей разноголосицѣ въ печатныхъ толкахъ о Пушкинскомъ праздникѣ, огромное значеніе Пушкина въ исторіи умственнаго развитія Россіи было признано всѣми. Открыто, передъ лицомъ всего народа, люди самыхъ различныхъ оттѣнковъ и настроеній засвидѣтельствовали фактъ духовнаго единства русской литературы, преемственную зависимость лучшихъ русскихъ писателей отъ Пушкина. Если литература есть та-же поэзія, но только разсматриваемая не какъ индивидуальное творчество отдѣльныхъ художниковъ, а какъ культурная сила, направляющая цѣлыя поколѣнія по опредѣленному пути, какъ преемственность *поэтическихъ* явленій, передаваемыхъ изъ вѣка въ вѣкъ и связанныхъ однимъ великимъ историческимъ началомъ.. то не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что русская литература существуетъ, какъ одно стройное, органическое цѣлое. Преемственность поэтическихъ явленій въ исторіи русскаго творчерства—фактъ незыблемый. Не только въ произведеніяхъ первоклассныхъ, классическихъ авторовъ, но и въ произведеніяхъ авторовъ второстепенныхъ и даже третьестепенныхъ не трудно прослѣдить вѣяніе одной поэтической стихіи, услышать эхо пушкинскаго голоса, разглядѣть типически сродные художественные пріемы. Понимаемая въ узкомъ смыслѣ, какъ совокупность поэтическихъ явленій, какъ развивающееся во времени художественное творчество, русская литература есть нѣчто столь великое и замѣчательное—по богатству проявившихся въ ней талантовъ, по роскоши языка, стиля, по нравственной чистотѣ ея внутреннихъ, скрытыхъ стремленій, что передъ нею почтительно снимаетъ шапку всякій, кто только любитъ красоту, свѣтъ и свободу человѣческаго творчества. Мы говоримъ о великой русской литературѣ, которая еще не стала преданіемъ, но которая съ каждымъ днемъ отодвигается назадъ, не находя новыхъ людей, способныхъ служить ей такъ, какъ служили Тургеневъ, Достоевскій, какъ служилъ и служитъ графъ Л. Толстой. Великая русская литература, созданная великими талантами, ждетъ своихъ продолжателей, которые не могутъ не явиться въ странѣ молодой, еще почти не жившей настоящею жизнью...

Къ несчастью, эта литература не имѣла своихъ достойныхъ истолкователей, своихъ критиковъ, способныхъ разнести по всему необъятному пространству Россіи свѣтъ, который хранится въ созданіяхъ ея поэзіи. Бѣлинскій не сдѣлалъ всего, что можно было сдѣлать съ его талантомъ, съ его чуткой душой, съ его патетическою любовью къ искусству. Ему недоставало необходимыхъ философскихъ идей, безъ которыхъ критика не можетъ совершить всего, что для нея предназначено,

[1]) *Отечественныя Записки*, № 6, 1880, «Пушкинскій праздникъ», стр. 196.

а то, что писалось послѣ Бѣлинскаго, за нѣкоторыми самыми ничтожными исключеніями, представляетъ какой-то странный бредъ публицистическихъ недоразумѣній, какую-то скверную, растлѣвающую путаницу словъ и понятій, безъ отправнаго эстетическаго начала, безъ теоретическаго центра, безъ руководящаго литературнаго идеала. Между русской поэзіей и русской критикой разладъ вѣчный, и если первая создана совокупностью всѣхъ творческихъ силъ русскаго общества, то вторая явилась результатомъ очень скуднаго запаса образованія, крайне узкаго, односторонняго развитія, которое не шло никогда дальше ординарныхъ, буржуазныхъ взглядовъ и требованій. Отсюда получилось слѣдующее: все, что было въ Россіи талантливаго, оригинальнаго, шло всегда въ разрѣзъ съ русской публицистической критикой, не слушая ея совѣтовъ, не поддаваясь ея разрушающему воздѣйствію. Литература въ лицѣ Тургенева, Достоевскаго, Толстого продолжала дѣло Пушкина въ то самое время, когда люди съ ограниченнымъ публицистическимъ дарованіемъ, призванные писать историческія или экономическія компиляціи, вели ожесточенную войну противъ эстетики, напрягая дѣтскія силенки и взывая къ «насущнымъ», «практическимъ» потребностямъ русскаго общества.

Умственное развитіе Россіи шло уродливымъ путемъ.

III.

Посмотримъ, какъ Мережковскій изслѣдуетъ вопросъ о причинахъ упадка русской литературы. Не распространяясь о невѣжествѣ, о порчѣ языка, онъ сосредоточиваетъ свое вниманіе на пагубномъ вліяніи русской критики. Казалось-бы именно въ этомъ пунктѣ слѣдовало ожидать обстоятельнаго разбора имѣющагося матеріала, ясно выраженнаго литературнаго убѣжденія, твердой эстетической основы, какихъ-нибудь опредѣленныхъ философскихъ принциповъ. Казалось-бы, Мережковскій долженъ былъ дать намъ ясное представленіе о тѣхъ пагубныхъ элементахъ, которые изъ авторитетной журнальной критики перешли въ литературу художественную, въ искусство и принизили уровень русскаго поэтическаго творчества. Было необходимо разобраться въ критической дѣятельности Добролюбова, Чернышевскаго, Писарева и въ ней отыскать ту «противонаучную и противохудожественную силу», которая, постоянно возрастая, расширяясь и распространяясь по всѣмъ направленіямъ русской жизни, привела литературу къ упадку и разложенію. Причины современнаго положенія вещей не въ настоящемъ, а въ прошедшемъ. Отдѣлите въ критикѣ Бѣлинскаго элементы эстетическіе отъ элементовъ случайныхъ, покажите, какъ эти эстетическіе элементы, по недостатку самобытнаго философскаго развитія, воздуха, свѣта, неизбѣжно должны были, въ концѣ концовъ, исказиться, расплыться въ малозначащемъ публицистическомъ резонерствѣ, и вы найдете, такъ сказать, первобытный

источникъ всѣхъ послѣдующихъ журнальный недоразумѣній. Нужно было изучить Бѣлинскаго вдоль и поперекъ—и не просто изучить, а изучить въ связи со всѣмъ философскимъ движеніемъ его времени. Нужно было воспроизвести смѣло, свободно эту чудную картину умственнаго разсвѣта и въ ней отмѣтить направленіе всѣхъ лучей, силу и яркость различныхъ красокъ, всѣ составныя части той комбинаціи силъ, теченій мысли, литературныхъ стремленій, изъ которой вышла вся дальнѣйшая умственная исторія Россіи. Бѣлинскій былъ, по-истинѣ, сосредоточеннымъ, типическимъ выраженіемъ этого замѣчательнаго времени, и его-то было крайне необходимо обслѣдовать со всѣхъ сторонъ, разобравшись въ его эстетическихъ взглядахъ, литературныхъ пріемахъ, въ тѣхъ философскихъ воззрѣніяхъ, которыя вошли въ его критическія статьи не путемъ самостоятельнаго научнаго изслѣдованія, а по наслышкѣ, вмѣстѣ съ общимъ вѣяніемъ эпохи, вмѣстѣ съ другими, господствовавшими въ его время, соціальными и духовными тенденціями. Въ Бѣлинскомъ таились уже тѣ два начала, которыя послѣ его смерти раздѣлились и стали развиваться независимо другъ отъ друга, съ такою различною силою и съ такимъ различнымъ успѣхомъ: начало эстетическое и начало утилитарно-общественное, публицистическое. Эстетическія традиціи Бѣлинскаго, по злому капризу судьбы, перешли на какія-то второстепенныя, проселочныя дороги, предоставивъ широкую столбовую дорогу вліятельнѣйшихъ русскихъ журналовъ людямъ съ ярко-выраженными экономическими и политическими убѣжденіями, съ гражданскими страстями, но безъ серьезной научной подготовки, безъ всеобнимающаго теоретическаго міросозерцанія, безъ способности связать въ одно гармоническое цѣлое всѣ интересы человѣческаго существованія. Бѣлинскій, завѣщая будущимъ поколѣніямъ нѣсколько блестящихъ образцовъ литературно-эстетическаго разбора, не передалъ имъ цѣльной и самостоятельной философской доктрины, съ аппаратомъ необходимыхъ логическихъ доказательствъ, съ ясно-поставленными отвлеченными теоремами, со всѣми научными и практическими выводами. Остались преданія, держащіяся на примѣрахъ критики, въ которой отдѣльныя эстетическія сужденія поражаютъ чуткостью, правдивостью, но въ которой общія теоретическія положенія, то, что важнѣе всего, что должно перейти въ исторію въ качествѣ силы просвѣщающей, что выражаетъ собою ту сумму истинъ, которая была доступна Бѣлинскому, постоянно колеблются, непрочны и не обоснованы убѣдительными доказательствами. Осталась только практическая тенденція къ добру, воспринятая вождями поколѣній, которымъ довелось увидѣть свѣтъ крестьянской реформы, судебныхъ уставовъ 1864 года и цѣлаго ряда другихъ преобразованій въ государственной жизни Россіи. Но критика, литературная критика, по смерти Бѣлинскаго, стала блѣднѣть и вырождаться...

Прочтите «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности»: это — сводъ мертвящихъ критеріевъ, цѣлая программа войны противъ искусства съ поразительнымъ смѣшеніемъ элементарныхъ эстетическихъ истинъ, съ невѣроятною аргументаціею, программа, имѣвшая огромное вліяніе на ходъ нашего дальнѣйшаго журнальнаго развитія и выполненная вся, до мельчайшихъ подробностей, съ военною безпощадностью, съ храбростью литературнаго бойца, въ публицистической критикѣ Писарева. Самъ авторъ этого эстетическаго трактата написалъ цѣлый рядъ критическихъ статей на различныя литературныя темы, въ которыхъ виденъ жаръ молодости, задоръ журнальнаго оратора, въ которыхъ иногда легкой змѣйкой пробѣжитъ лукавая усмѣшка среди фразъ, пылающихъ огнемъ гражданскаго краснорѣчія, но въ которыхъ не видно того, для чего нѣтъ ни молодости, ни старости — мудрости, никогда не меркнущей, мудрости, которая сильна логикою, доказательствами, своими основами для вѣчныхъ интересовъ человѣческаго развитія. Въ нихъ нѣтъ философской глубины, нѣтъ ни психологическаго, ни эстетическаго разбора: по вопросамъ искусства, по отвлеченнымъ интересамъ научной истины, это цѣлое гнѣздо логическихъ ошибокъ, печальныхъ недоразумѣній ученаго экономиста, взявшагося не за свое дѣло. Кто ищетъ объясненія тому прогрессивному параличу, который по смерти Бѣлинскаго сразу поразилъ нашу журнальную критику, долженъ изучить всѣ литературныя произведенія автора «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности»: это самый сжатый кодексъ русскаго утилитаризма, самое яркое выраженіе начавшагося умственнаго декаданса. И замѣтьте иронію судьбы: на эти страницы, полныя научныхъ и философскихъ ошибокъ, исторія наложила печать благороднаго страстотерпчества, рыцарской честности и рѣдкой нравственной порядочности. Она точно нарочно прикрыла обаяніемъ человѣческаго подвига литературную ложь, чтобы, затруднивъ развитіе будущихъ поколѣній, испытать любовь общества къ правдѣ, къ теоретической истинѣ. Она точно измѣряетъ творческую силу русскаго общества, его умственную смѣлость и независимость, чтобы поставить передъ его глазами, во всей ея громадной исторической важности, задачу нравственно философскую, теоретическую, научную.

Затѣмъ прочтите внимательно сочиненія Добролюбова и Писарева...

Прослѣдите по всѣмъ ступенямъ упадка движеніе журнальной мысли, и вы поймете причину оскудѣнія отвлеченныхъ понятій въ русской литературѣ. Въ критикахъ прежнихъ временъ ищите историческихъ объясненій современному положенію вещей. Въ нихъ ищите разгадки тѣхъ явленій, которыя происходятъ въ современной печати. Въ нихъ начало паденія, начало литературнаго растлѣнія...

А Мережковскій набрасывается на Протопопова, Скабическаго и

Буренина. Они развращаютъ современную литературу, они ее губятъ, разрушаютъ! Мережковскій безпощаденъ: однимъ ударомъ острой шпаги онъ сваливаетъ съ ногъ и Протопопова, и Скабичевскаго, и Буренина... Я искренно жалѣю Буренина. Онъ съ такимъ азартомъ самъ барабанилъ по головамъ нѣкоторыхъ посредственныхъ писателей, онъ самъ покрылъ славою свой критическій скальпель, и вдругъ пришелъ Мережковскій, плюнулъ, дунулъ—и нѣтъ ничего, пустое мѣсто. Онъ-ли не былъ страшенъ для молодыхъ поэтовъ! Не о немъ-ли всѣ вопили: нѣтъ когтей острѣе его критическихъ когтей! Но вотъ пришелъ Мережковскій, размахнулся, ударилъ, и Буренинъ-критикъ умеръ. Остался забавный фельетонистъ, веселый версификаторъ, водевильный шутъ съ очень потѣшными, но всегда неприличными замашками, остался разнузданный фигляръ, лихой наѣздникъ, беззастѣнчивый фокусникъ, но Буренина-критика не стало. Баста, кончено! Мережковскій сразилъ Буренина! Выходите вы, маленькіе, выходите вы, скромненькіе... Свобода, свобода!

Мнѣ нисколько не жаль Протопопова. Протопоповъ хотя и сраженъ, но не окончательно. Мережковскій ударилъ шибко, но не въ то мѣсто, куда ударить надлежало, и есть надежда, что Протопоповъ какъ-нибудь оправится отъ удара. Въ самомъ дѣлѣ, что говоритъ намъ о Протопоповѣ Мережковскій? Онъ говоритъ вотъ что: «У Протопопова есть, такъ называемое, бойкое перо, остроуміе и политическій темпераментъ газетнаго работника по призванію. Если-бы онъ родился во Франціи, онъ могъ-бы сдѣлаться редакторомъ распространеннаго уличнаго листка для рабочихъ, писать каждый день популярныя передовыя статьи съ громкими заглавіями и—кто знаетъ—принимать-бы даже благодарственныя депутаціи фабричныхъ пролетаріевъ». Въ современной журналистикѣ Протопопову, за неимѣніемъ другого дѣла, пришлось сдѣлаться критикомъ-публицистомъ. Онъ могъ-бы принимать благодарственные адресы отъ фабричныхъ пролетаріевъ, если-бы родился не подъ русскимъ, а французскимъ небомъ. Но Протопоповъ «глубоко національный» человѣкъ, проникнутый «популярнымъ невѣжествомъ», не смыслящій въ искусствѣ и готовый, ради мелкихъ публицистическихъ цѣлей, сводить «необъяснимую силу міровыхъ геніевъ, которая создаетъ Страшный Судъ, Фауста или Тайную Вечерю, на-уровень второстепеннаго газетно-журнальнаго ремесла»... Таковъ Протопоповъ въ обрисовкѣ Мережковскаго. Конечно, какъ критикъ, онъ раздавленъ, но развѣ сознаніе, что онъ «могъ-бы принимать бы» благодарственныя депутаціи во Франціи, ничего не стоитъ? Что такое говоритъ Мережковскій? Понимаетъ-ли онъ, какимъ оружіемъ онъ бьетъ Протопопова? Редакторъ уличнаго листка для рабочихъ, бойкія передовыя статьи съ громкими заглавіями! Вся рабочая Франція рукоплещетъ Протопопову, имя его на устахъ интеллигентныхъ пролетаріевъ всего міра. Когда онъ появляется

на улицахъ Парижа, за нимъ густыми массами слѣдуетъ всегда рабочій людъ... Извощики шепчутъ: Протопоповъ. Проходящіе по улицамъ люди, вѣжливо приподнимая цилиндры, уступаютъ ему дорогу и шепчутъ: Протопоповъ. Бойкіе газетчики громко выкрикиваютъ: Протопоповъ... О, если въ самомъ дѣлѣ Протопоповъ могъ-бы принимать депутаціи отъ французскихъ рабочихъ, зачѣмъ родился онъ въ Россіи, а не во Франціи, зачѣмъ хоронитъ онъ свой талантъ на страницахъ «Русской Мысли», зачѣмъ не проклянетъ онъ Россію и не уѣдетъ туда, гдѣ ему знали-бы настоящую цѣну?

Мнѣ нисколько не жаль Протопопова. Онъ умираетъ отъ критической шпаги Мережковскаго, но умираетъ, окруженный блестящими видѣніями, опьяненный веселящимъ газомъ. Демократическая богиня Франціи издали посылаетъ ему свой прощальный, любовный привѣтъ: онъ умираетъ, какъ непризнанный, но великій геній, съ сознаніемъ, что предъ нимъ виновато отечество.

Скабичевскій... Какъ безжалостно обошелся съ нимъ Мережковскій! У Скабичевскаго двѣ вины: во-первыхъ, въ его воззрѣніяхъ на искусство есть та черта убійственной банальности, порабощенія общепризнаннымъ вкусамъ толпы, «которую легче отмѣтить, чѣмъ выразить и опредѣлить», во-вторыхъ, Скабичевскій родилъ Потапенко. Это двѣ вины, которыхъ исторія русской литературы Скабичевскому не проститъ никогда. Нельзя простить банальности, а Скабичевскій такъ поразительно баналенъ. «О, скука большихъ дорогъ, восклицаетъ Мережковскій. О, вѣчное умиленіе толпы передъ любезною ей пошлостью популярно-великихъ идей!» Нельзя простить Скабичевскому и того, что онъ родилъ Потапенко. Пусть онъ теперь не отвиливаетъ, пусть не сыплетъ громами и молніями по адресу Потапенко! Фактъ на лицо: «Потапенко цѣликомъ вышелъ изъ нѣдръ почтеннаго критика, изъ неисправимо-добродѣтельнаго сердца его, какъ Аѳина Паллада изъ головы Зевса».

Позвольте вздохнуть на могилѣ Скабичевскаго... Это побѣда, одержанная Мережковскимъ почти безъ бою. О Буренинѣ было достаточно сказать: «Всѣ знаютъ, кто онъ», чтобы читатель сразу понялъ, что здѣсь совершился жестокій актъ неумолимаго правосудія, но о Скабичевскомъ справедливость требовала сказать что-нибудь опредѣленное, точное. Вѣдь это честный труженикъ, не блещущій талантомъ, но все-таки никогда не выходившій изъ предѣловъ литературной порядочности. Критическія статьи Скабичевскаго никому вреда не приносили, литературы, Боже сохрани, не разрушали, общественныхъ нравовъ не портили... Но Мережковскій положительно убѣжденъ, что именно Скабичевскій, Протопоповъ и Буренинъ разрушали русскую литературу—Протопоповъ своимъ невѣжествомъ, Буренинъ литературною безнравственностью, Скабичевскій своей банальностью и тѣмъ, что онъ родилъ «изъ нѣдръ своихъ» Потапенко...

Кажется, о русскихъ критикахъ можно было написать статью интересную, поучительную. Кажется, именно въ этомъ пунктѣ можно и должно было отнестись къ предмету съ полною серьезностью. Кажется, здѣсь-бы..Мережковскому слѣдовало объяснить намъ, какъ онъ самъ понимаетъ задачу литературной критики. Но ничего этого мы, къ сожалѣнію, въ его книгѣ не находимъ. Предъ нами полемическій походъ противъ современныхъ газетныхъ и журнальныхъ рецензентовъ, безъ настоящаго боевого таланта,—и ни одной страницы съ подробнымъ объясненіемъ собственныхъ теоретическихъ представленій. Написавъ, что есть критика научная и критика субъективно-художественная, Мережковскій сейчасъ-же ставитъ точку и переходитъ къ Протопопову. Какъ будто ничего больше и не требуется! Какъ будто сказать, что Тэнъ сдѣлалъ первую попытку примѣненія строго-научнаго метода къ искусству — значитъ что-нибудь объяснить, истолковать! Какъ будто сказать о субъективно-художественной критикѣ, что она «поэзія поэзіи, поэзія мысли, порожденіе девятнадцатаго вѣка съ его безграничною свободою духа и неутолимою скорбью познанія»—значитъ что-нибудь опредѣлить, оправдать, доказать. Нѣтъ, такъ нельзя писать ни критическихъ статей вообще, ни въ особенности критики о критикахъ. Нужны доказательства, анализъ документовъ, строгая послѣдовательность въ логической аргументаціи, широкій философскій критерій. Необходимо терпѣливое изученіе предмета...

IV.

Въ Россіи нѣтъ литературы, а есть только замѣчательная поэзія— таково первое положеніе Мережковскаго. Русская литература разрушена Протопоповымъ, Скабичевскимъ и Буренинымъ—таково второе его положеніе. Но Мережковскій не останавливается на этихъ двухъ положеніяхъ и ищетъ исхода изъ современнаго положенія вещей. И онъ находитъ этотъ исходъ. Мистицизмъ, символизмъ и божественный идеализмъ— вотъ что должно спасти русскую литературу отъ современнаго варварства.

Что такое божественный идеализмъ? Мережковскій говоритъ: «Въ эпоху наивной теологіи и догматической метафизики область Непознаваемаго постоянно смѣшивалась съ областью непознаннаго. Люди не умѣли ихъ разграничить и не понимали всей глубины и безнадежности своего незнанія. Мистическое чувство вторгалось въ предѣлы точныхъ опытныхъ изслѣдованій и разрушало ихъ. Съ другой стороны, грубый матеріализмъ догматическихъ формъ порабощалъ религіозное чувство». Но вотъ явилась новѣйшая теорія познанія, и она воздвигла несокрушимую плотину, «которая на вѣки отдѣлила твердую землю, доступную людямъ, отъ безграничнаго и темнаго океана, лежащаго за предѣлами нашего познанія». Кантъ заложилъ фундаментъ, «первыя гра-

нитныя глыбы циклопической постройки, великой теоріи познанія девятнадцатаго вѣка», и съ тѣхъ поръ философская работа идетъ непрерывно, «плотина воздвигается все выше и выше». Въ эпоху наивной теологіи и догматической метафизики глаза людей не испытывали такого невыносимаго контраста тѣни и свѣта, какой они испытываютъ теперь. Въ прежнія времена философія набрасывала на область Непознаваемаго «блестящій и туманный покровъ», теперь она сорвала всѣ покровы догматики и задула послѣдній мистическій лучъ. «И вотъ современные люди стоятъ беззащитные, лицомъ къ лицу съ несказаннымъ мракомъ, на пограничной чертѣ свѣта и тѣни, и уже болѣе ничто не ограждаетъ ихъ сердца отъ страшнаго холода, вѣющаго изъ бездны»... Это—рядъ ошибокъ. Во-первыхъ, никогда догматическая метафизика не смѣшивала области непознаваемаго съ областью непознаннаго: такое смѣшеніе было дѣломъ эпохи, когда господствовалъ наивный позитивизмъ. Только въ эту эпоху люди не умѣли понять всей глубины своего незнанія, только въ эпоху наивнаго позитивизма не было установлено твердой границы между тѣмъ, что мы знаемъ доподлинно, достовѣрно и тѣмъ, что мы знаемъ только въ отраженномъ видѣ, въ свѣтломъ лучѣ сознанія. Пусть Мережковскій назоветъ намъ хотя бы одну догматическую систему, въ которой произошло это смѣшеніе двухъ различныхъ областей. Не Декартъ-ли ихъ смѣшалъ? Не смѣшалъ-ли Спиноза? Не виноватъ-ли въ этомъ смѣшеніи Лейбницъ?.. Во-вторыхъ, кто сказалъ Мережковскому, что Кантовская теорія познанія воздвигла плотину между познаваемымъ и непознаваемымъ, которая росла все выше и выше? Это невѣрно. Теоретическіе элементы Кантовскаго ученія подверглись значительной переработкѣ въ сочиненіяхъ Фихте, Шеллинга и Гегеля—въ той идеалистической философіи, которая шла впередъ и, продолжая дѣло Канта, сохраняя великую тенденцію новаго ученія, въ то-же самое время разрушала сенсуалистическія части въ Кантовской теоріи познанія. Плотина между двумя мірами не только не выростала, но падала все ниже и ниже и въ ученіи Гегеля уничтожена окончательно. Это факты общеизвѣстные, которые слѣдуетъ хорошо понять прежде, чѣмъ начать пропаганду идеализма. Оба міра раздѣлены навсегда въ идеалистической философіи! Если-бы это было такъ, если-бы критическая философія задула окончательно лучи мистическаго свѣта, какъ мы могли-бы чувствовать «близость тайны», «близость океана»? Если-бы это было такъ, если-бы мистическія идеи не имѣли опредѣленнаго объекта, никакого, доступнаго нашему разумѣнію, содержанія, что означало-бы ученіе о Богѣ, о душѣ, о свободной, нравственной волѣ? Мережковскій фантазируетъ и судитъ о предметахъ философскихъ безъ достачной подготовки.

Что такое идеализмъ? Соберемъ разбросанныя въ разныхъ мѣстахъ

фразы, постараемся уловить то, о чемъ говоритъ Мережковскій, тѣ черты, которыми авторъ обрисовываетъ свою идеалистическую точку зрѣнія.

Говоря объ идеальномъ искусствѣ, которое «грядетъ на смѣну утилитарному, пошлому реализму», Мережковскій замѣчаетъ, что его характерный признакъ—жадность къ неиспытанному, погоня за неуловимыми оттѣнками, за темнымъ и безсознательнымъ въ нашей чувствительности. Въ другомъ мѣстѣ, бросаясь къ ногамъ Михайловскаго, Мережковскій говоритъ: «Многіе считаютъ Михайловскаго исключительно позитивистомъ. Правда, онъ позитивистъ, какъ и большинство русскихъ критиковъ, въ отношеніи къ искусству и красотѣ. Онъ не хочетъ примириться съ высшимъ, сознательнымъ и божественнымъ идеализмомъ. Но въ своихъ молодыхъ статьяхъ о Дарвинѣ, о Спенсерѣ—онъ идеалистъ. Это—все тотъ-же непотухающій огонь любви къ народу, который можно прослѣдить и у Глѣба Успенскаго, Добролюбова, Писарева. Вся оригинальная сила его произведеній—въ ихъ глубокой и пламенной субъективности». Наконецъ, въ третьемъ мѣстѣ, Мережковскій пишетъ: «Одинъ изъ глубочайшихъ родниковъ всемірной поэзіи, любовь къ народу, не можетъ проистекать ни изъ какого утилитарнаго расчета, ни изъ какой политико-экономической необходимости, а только изъ свободной вѣры въ евангельскую святыню народа, только изъ божественнаго идеализма».

Вотъ что такое идеализмъ. Это погоня за неиспытаннымъ, неуловимымъ, темнымъ и безсознательнымъ, это любовь къ народу, основанная на пламенной и глубокой субъективности, а не на утилитарномъ, политико-экономическомъ расчетѣ. Центръ тяжести этого опредѣленія—любовь къ народу. Только движеніе, исходящее изъ «самаго сердца народа», можетъ поднять литературу на истинно національную и въ то-же время всечеловѣческую высоту! Чтобы не погибнуть въ отвлеченности, въ пустотѣ и холодѣ безвѣрія, мы должны беречь «кровную связь съ источникомъ всякой силы и всякой вѣры—съ народомъ!» Народъ величайшая красота!.. Народъ—святыня! Народъ, любовь къ народу, священный огонь народнаго сознанія — въ этомъ вся суть идеализма: пламенная субъективность—его методъ, неиспытанное, неуловимое, темное и безсознательное, которое таится въ нашей чувствительности— его объектъ.

Болѣе страннаго опредѣленія идеализма мы нигдѣ не встрѣчали. Но если это идеализмъ, тогда при чемъ тутъ идеалистическая философія, ученіе о непознаваемомъ, разсужденія о догматической метафизикѣ, о позитивизмѣ? Если это идеализмъ, то, пожалуй, въ русской литературѣ, за самыми ничтожными исключеніями, не было ни одного не-идеалистическаго писателя. Всѣ идеалисты: и Бѣлинскій, и Добролюбовъ, и Писаревъ, и Михайловскій и даже Протопоповъ. Нѣтъ никакой разницы между Тургеневымъ и Достоевскимъ, между Толстымъ и Гончаровымъ. Въ каждомъ есть своя пламенная субъективность, каждый

изъ знаменитыхъ русскихъ художниковъ открывалъ цѣлые міры для человѣческой впечатлительности. Нѣтъ никакой разницы, по крайней мѣрѣ—для Мережковскаго. Но тогда въ чемъ же бѣда? Если божественный идеализмъ никогда не пропадалъ въ русской литературѣ, если не только писатели прошедшаго поколѣнія, но и писатели современные (Минскій, Фофановъ, Ясинскій, Короленко) являются его мужественными носителями, тогда зачѣмъ-же было трубить о современномъ литературномъ варварствѣ, зачѣмъ было бить тревогу о паденіи русской печати? Если всѣ оказались идеалистами, то о чемъ же плакать?

Но развѣ это идеализмъ? Неужели міросозерцаніе Гончарова такое же, какъ міросозерцаніе Достоевскаго, или такое-же, какъ философское міросозерцаніе Толстого? Неужели субъективная пламенность можетъ быть признакомъ идеализма?..

Что такое символизмъ?

Вотъ что говоритъ намъ Мережковскій по поводу Гончарова: «У Толстого индивидуальность, личность отдѣльныхъ людей почти всегда подавлена силами природы и человѣчества, массовыми движеніями, войною, смертью, болѣзнью, дѣторожденіемъ, неразрѣшимыми вопросами о Богѣ, о вѣчности, о правдѣ. Но истинно гармоническій и спокойный художникъ, творецъ живыхъ человѣческихъ душъ—одинъ только Гончаровъ». Онъ беретъ характеры людей цѣликомъ, во всей ихъ жизненной полнотѣ, во всей красотѣ «вѣчныхъ комическихъ образовъ». Обломовъ, напримѣръ, не просто характеръ, а нѣкоторое «идейное обобщеніе цѣлой стороны русской жизни». Гончаровъ изъ всѣхъ русскихъ писателей обладаетъ наибольшею способностью символизма, и каждое его произведеніе—«художественная система образовъ, подъ которыми скрыта вдохновенная мысль», рядъ символовъ, нужныхъ поэту для того, чтобы возвысить читателя «отъ созерцанія частнаго явленія къ созерцанію вѣчнаго». Символы должны естественно и невольно выливаться изъ глубины дѣйствительной жизни. Нельзя механически придать своему стилю, художественному веществу поэзіи, одухотворенность, прозрачность, нельзя искусственно пользоваться символами—ихъ сила въ естественности. И высшее искусство всегда символично, ибо «въ поэзіи то, что не сказано, и мерцаетъ сквозь красоту символа, дѣйствуетъ сильнѣе на сердце, чѣмъ то, что выражено словами». Мережковскій говоритъ не о символизмѣ, а о литературныхъ типахъ. Обломовъ не символъ, а типъ, идейное обобщеніе цѣлой стороны русской жизни. Но въ свѣтѣ идеалистической философіи все превращается въ символъ, все выплываетъ на яркомъ фонѣ метафизической истины. Для типовъ требуется непремѣнно обобщеніе цѣлыхъ сторонъ жизни, для символовъ—нѣтъ. Для типовъ нужна художественная абстракція, отвлеченіе отъ частныхъ предметовъ. Символъ есть конкретное, частное явленіе, соединенное съ безконечнымъ, мисти-

ческимъ началомъ. Типы — вымыслъ, продуктъ логическаго обобщенія, символы — не обобщеніе, а подлинная правда, добытая или пытливымъ сознаніемъ, или человѣческимъ инстинктомъ истины. Для типовъ требуется геній поэзіи, для символовъ нуженъ талантъ философскій, научный, геній широкаго мышленія. И вотъ почему символизмъ представляетъ великую опасность для художника. И вотъ почему только настоящіе титаны поэзіи, Данте, Гете, могли создавать ихъ во всемъ блескѣ и сіяніи литературной красоты. Писателямъ съ талантомъ невеликимъ, скуднымъ, символизмъ недоступенъ.

Гончаровъ не символистъ, а художникъ, создавшій рядъ превосходныхъ типовъ. Тургеневъ менѣе символистъ, чѣмъ поэтъ съ огромной способностью обобщенія, съ превосходнымъ знаніемъ русскаго быта, и Рудинъ, Лаврецкій, Базаровъ,—типы, только типы. Но и у Гончарова и у Тургенева въ художественныхъ образахъ свѣтится вдохновенная мысль, всѣ оттѣнки, линіи, краски составляютъ одно великолѣпное гармоническое цѣлое. А символовъ у нихъ мало. Обломовъ не символъ, Базаровъ не символъ. Иначе говоря: если Обломовъ символъ потому, что въ немъ обобщена цѣлая сторона русской жизни, то почему нельзя назвать символомъ Базарова, Рудина?

Наконецъ, что такое мистицизмъ?

Я не вижу въ книжкѣ Мережковскаго ни единаго опредѣленнаго слова о мистицизмѣ. Мережковскій злоупотребляетъ этимъ словомъ: онъ приписываетъ Тургеневу вѣру въ «сверхъестественную жизнь природы», подчеркиваетъ съ симпатіею вѣру русскаго народа въ то, что «рожденіе хлѣба—благодатное и неисповѣдимое чудо», но теоретическаго объясненія мистицизма не даетъ, хотя между философскимъ ученіемъ о мистическихъ началахъ жизни и невѣжественнымъ суевѣріемъ толпы нѣтъ рѣшительно ничего общаго.

Такова терминологія Мережковскаго. Идеализмъ, низведенный на степень патріотическаго восторга передъ русскимъ народомъ, символизмъ, отождествленный съ ученіемъ о художественныхъ типахъ, мистицизмъ, истолкованный въ смыслѣ невѣжественнаго суевѣрія — вотъ что должно спасти русскую литературу, разрушенную Протопоповымъ, Скабичевскимъ и Буренинымъ. Вотъ тѣ новыя понятія, во имя которыхъ Мережковскій заявляетъ свой протестъ противъ современной русской литературы.

1893, мартъ.

По напечатаніи предыдущей статьи въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ «Вѣстникѣ Европы» (1893, май) появилась небольшая замѣтка, которую мы приводимъ цѣликомъ:

«Искусствомъ открывать «буржуазныя» стремленія тамъ, гдѣ о нихъ не можетъ быть и рѣчи, отличаются не одни только сотрудники «Московскихъ Вѣдомостей». Въ одномъ изъ ежемѣсячныхъ журналовъ, не имѣвшемъ до сихъ поръ ничего общаго съ публицистами и критиками Страстного бульвара, мы прочли недавно слѣдующую, по истинѣ изумительную тираду: русская литература не имѣла, къ несчастью, своихъ настоящихъ истолкователей, своихъ критиковъ, способныхъ разнести по всему необъятному пространству Россіи свѣтъ, который хранится въ созданіяхъ ея поэзіи. Бѣлинскій не сдѣлалъ всего, что можно было сдѣлать съ его талантомъ, съ его чуткой душой, съ его патетической любовью къ искусству. Ему недоставало необходимыхъ философскихъ идей, безъ которыхъ критика не можетъ совершить всего, что для нея предназначено, а *то, что писалось послѣ Бѣлинскаго*, за нѣкоторыми, самыми ничтожными исключеніями, *представляетъ какой-то странный бредъ публицистическихъ недоразумѣній, какую-то сквернную, растлѣвающую путаницу словъ и понятій*, безъ отправного эстетическаго начала, безъ теоретическаго центра, безъ руководящаго литературнаго идеала. Между русской поэзіей и русской критикой разладъ вѣчный, и если первая создана совокупностью всѣхъ творческихъ силъ русскаго общества, то вторая явилась результатомъ очень скуднаго запаса образованія, крайне узкаго, односторонняго развитія, которое *не шло никогда дальше ординарныхъ, буржуазныхъ взглядовъ и требованій*. Отсюда получилось слѣдующее: все, что было въ Россіи талантливаго, оригинальнаго, шло всегда въ разрѣзъ съ русской публицистической критикой, не слушая ея совѣтовъ, не поддаваясь ея разрушающему воздѣйствію. Литература въ лицѣ Тургенева, Достоевскаго, Толстого продолжала дѣло Пушкина въ то самое время, когда люди съ ограниченнымъ публицистическимъ дарованіемъ, призванные писать историческія или экономическія компиляціи, вели ожесточенную войну противъ эстетики, законовъ искусства, напрягая дѣтскія силенки и взывая къ «насущнымъ», «практическимъ» потребностямъ русскаго общества» («Сѣверный Вѣстникъ», № 3, «Литературныя Замѣтки»). Кто помнитъ журнальную полемику начала шестидесятыхъ годовъ, тотъ можетъ, читая приведенныя нами строки, вообразить себя помолодѣвшимъ на тридцать лѣтъ. Только тогда говорили такимъ тономъ (конечно, въ консервативныхъ журналахъ) о корифеяхъ тенденціозной критики; только тогда озлобленіе противъ нихъ доходило до пренебреженія (на словахъ) къ ихъ

«дѣтскимъ силенкамъ», до отрицанія даже ихъ *публицистическихъ* дарованій, до приписыванія имъ *скверной* путаницы понятій—но даже и тогда оно не доходило до провозглашенія ихъ взглядовъ и требованій ординарными и *буржуазными*. Чернышевскій и Добролюбовъ [1])—*буржуазные* критики! Это одно изъ тѣхъ сопоставленій, въ которомъ взаимно исключающія другъ друга слова, по извѣстному французскому выраженію, hurlent de se voir accouplés ensemble. Объясненіе для него возможно только одно: автору статьи пришло на память, что слово: *буржуа*, какъ бранная кличка, употребляется иногда во Франціи для обозначенія людей, неспособныхъ оцѣнить чистое искусство, изящество формы, артистическую отдѣлку рѣчи. Въ этомъ смыслѣ *буржуа* навлекали на себя ненависть Флобера и Гонкуровъ, въ этомъ смыслѣ они подвергались насмѣшкамъ художниковъ, пролагавшихъ новые пути въ живописи или скульптурѣ. Что является, однако, первымъ, необходимымъ признакомъ такъ понимаемаго буржуа? Умственная лѣнь, узкость кругозора, шаблонность или испорченность вкуса. Буржуа не отрицаетъ артиста, а просто его не понимаетъ; онъ предъявляетъ къ нему притязанія, исходящія не изъ какого-нибудь высшаго начала, а просто изъ рутины. Ничего подобнаго не представляетъ, конечно, дѣятельность критиковъ, высокомѣрно осуждаемыхъ «Сѣвернымъ Вѣстникомъ». Можно соглашаться или не соглашаться съ ихъ теоріями, но нельзя,—безъ несправедливости, граничащей съ нелѣпостью,—относить ихъ къ числу писателей «ординарныхъ», ничего не внесшихъ въ русскую литературу. Одинъ изъ нихъ, по меньшей мѣрѣ, былъ не только первостепеннымъ публицистомъ, но и превосходнымъ судьею литературныхъ явленій: мы говоримъ, конечно, о Добролюбовѣ. Онъ не только не шелъ въ разрѣзъ со всѣмъ, что было тогда лучшаго въ русской литературѣ—онъ стоялъ на одномъ уровнѣ съ этимъ лучшимъ и съ неподражаемымъ мастерствомъ объяснялъ его значеніе для русскаго общества. Статьи объ «Обломовѣ» Гончарова, о «Наканунѣ» Тургенева, объ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ» Достоевскаго—остаются и до сихъ поръ непревзойденными образцами критики, въ которой публицистическій элементъ только заслонялъ, но отнюдь не вытѣснялъ всѣ остальные. Обвинять критику сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ въ томъ, что она не разнесла по всей Россіи свѣтъ, хранящійся въ русской поэзіи—значитъ не видѣть именно главной ея заслуги. Призваніе критики заключается вовсе не въ томъ, чтобы давать совѣты писателямъ, руководить ихъ творчествомъ. Если она поддерживаетъ ихъ своимъ пониманіемъ и сочувствіемъ, если она служитъ посредницей между ними и читателями, — ея задача исполнена; она можетъ сказать, что существовала не напрасно. Такова была роль Бѣлинскаго по отношенію къ Пушкину, къ Лермонтову, къ Гоголю, къ первымъ произведеніямъ Тургенева, Герцена, Григоровича, Майкова, Гончарова, Достоевскаго; такова была роль Добролюбова по отношенію ко всему выдающемуся, созданному второй половиной пятидесятыхъ годовъ. Скажемъ болѣе: Бѣлинскій имѣлъ несомнѣнное и благотворное вліяніе на своихъ сверстниковъ, только-что выступавшихъ на литературное поприще; вліяніе Добролюбова не могло быть такъ велико, потому что главные писатели его времени не были писателями начинающими—но уже одно сознаніе, что они найдутъ оцѣнку, достойную ихъ таланта, дол-

[1]) Если-бы и могло быть какое-нибудь сомнѣніе въ томъ, что выписанныя нами слова относятся именно къ Чернышевскому, Добролюбову и Писареву, то оно устранялось-бы прямымъ поименованіемъ этихъ писателей въ той-же статьѣ, двумя страницами ниже.

жно было служить для нихъ источникомъ новой силы [1]). Были, наконецъ, между современниками Добролюбова и такіе, которые шли съ нимъ рука объ руку, были съ нимъ вполнѣ солидарны—и это нимало не вредило ихъ творчеству. Или, можетъ быть, критикъ «Сѣвернаго Вѣстника» не причисляетъ Салтыкова и Некрасова къ людямъ «талантливымъ и оригинальнымъ»?.. Дѣятельность Добролюбова и его современниковъ—не святыня, которой не слѣдуетъ касаться; она допускаетъ критику, требуетъ ея, какъ всякое крупное явленіе, сдѣлавшееся достояніемъ исторіи; но пускай-же эта критика будетъ если не sine studio, то sine ira,—пускай въ ней слышится то чувство мѣры, которое такъ легко сохранить, говоря о давно прошедшемъ—въ особенности о прошедшемъ, имѣющемъ безспорныя права на наше уваженіе и благодарность.

---

[1]) Припомнимъ, что говоритъ о Добролюбовѣ Тургеневъ: «я высоко цѣнилъ его, какъ человѣка и какъ талантливаго писателя. Статья его о «Наканунѣ» (а онъ по праву считался выразителемъ общественнаго мнѣнія) исполнена горячихъ, говоря по совѣсти—самыхъ незаслуженныхъ похвалъ".

Свободная критика передъ судомъ буржуазнаго либерализма.

Отвѣтъ «Вѣстнику Европы».

Въ майской книжкѣ «Вѣстника Европы», въ отдѣлѣ общественной хроники, появилась небольшая замѣтка, направленная противъ моей статьи по вопросу о причинахъ упадка современной русской литературы. «Вѣстникъ Европы» не выставляетъ какихъ-либо принципіальныхъ возраженій противъ моего взгляда на исторію русской журналистики, на ту роль, какую играла въ ней, такъ называемая, публицистическая критика, на тотъ складъ эстетическихъ и философскихъ понятій, который развился въ русской литературѣ подъ вліяніемъ публицистической пропаганды Чернышевскаго, Писарева и др. Замѣтка сводится, по существу, къ двумъ-тремъ незначительнымъ и, какъ намъ кажется, нѣсколько сбивчиво выраженнымъ замѣчаніямъ относительно отдѣльныхъ фразъ въ моей статьѣ. Журналъ не споритъ со мною, не защищаетъ своихъ убѣжденій, не выставляетъ съ отчетливостью своихъ собственныхъ принципіальныхъ критеріевъ, но, сохраняя обычную уравновѣшенность, деликатно уязвляетъ меня въ нарушеніи литературныхъ приличій и въ забвеніи нѣкоторыхъ пунктовъ общелиберальнаго устава.

Замѣтка начинается съ заявленія, что въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», который никогда не имѣлъ ничего общаго съ «публицистами и критиками Страстного бульвара», напечатана статья, заключающая въ себѣ рѣзкія нападки на корифеевъ журнальной литературы 50-хъ и 60-хъ годовъ. Въ подтвержденіе своихъ словъ хроникеръ приводитъ нѣсколько строкъ изъ моей статьи, въ которыхъ говорится, что русская художественная литература не имѣла своихъ истолкователей, что Бѣлинскій, по отсутствію всесторонней теоретической подготовки, не сдѣлалъ всего того, что можно было сдѣлать при его талантѣ и душевной чуткости, что критика, послѣдовавшая за Бѣлинскимъ, за нѣкоторыми ничтожными исключеніями, вносила въ журналистику такія грубыя, буржуазно-утилитарныя по-

нятія, которыя, разрушая въ обществѣ высшія духовныя потребности, съ теченіемъ времени должны были привести его къ полному умственному растлѣнію. Журналъ смущенъ. Въ *такомъ* тонѣ, говоритъ авторъ замѣтки, писалось о корифеяхъ тенденціозной критики тридцать лѣтъ тому назадъ—писалось, конечно, въ *консервативныхъ* изданіяхъ, но и тогда «озлобленіе» не доходило до обвиненія либеральной публицистики въ ординарности и буржуазности понятій. Вотъ замѣчаніе, о которомъ—въ виду его звонкости и сенсаціонности, въ виду его публицистической эфектности, особенно при современномъ положеніи вещей — стоитъ сказать нѣсколько словъ. Вотъ обвиненіе, которое было-бы серьезно, важно, значительно, если-бы оно было обставлено какими-нибудь убѣдительными доказательствами, настоящими, теоретическими аргументами, если-бы литературно-философское направленіе «Сѣвернаго Вѣстника» дѣйствительно могло подать поводъ безпристрастнымъ судьямъ къ какимъ-бы то ни было сомнѣніямъ политическаго свойства. Но выступая съ критическими замѣчаніями такого отвѣтственнаго характера, «Вѣстникъ Европы» не извлекъ изъ моей статьи ни одной фразы, которая логически могла-бы быть истолкована въ смыслѣ противорѣчія лучшимъ интересамъ русскаго общества—интересамъ гуманности, права и справедливости, и сосредоточилъ весь ядъ своего язвительно-компрометантнаго обвиненія въ параллели между литературной критикой «Сѣвернаго Вѣстника» и критикой Страстного бульвара. А между тѣмъ, мы можемъ сказать съ полнымъ убѣжденіемъ, что между идеалистическими принципами, которыя защищаются «Сѣвернымъ Вѣстникомъ», во имя которыхъ ведется нами вся полемика противъ утилитарной критики и ретроградными жизненными теоріями нѣтъ и не можетъ быть никакой логической связи. Больше того, мы убѣждены, что только идеалистическіе принципы, понятые во всемъ ихъ философскомъ содержаніи, въ полномъ объемѣ заключающихся въ нихъ моральныхъ, правовыхъ и эстетическихъ выводовъ, могутъ дать надлежащее обоснованіе задачамъ высшей гуманности. Нельзя осуществить ни одной возвышенной соціальной идеи иначе, какъ обнаруживъ для человѣка его свободную духовную природу, создавъ для него цѣлый рядъ невещественныхъ интересовъ и неосязаемыхъ благъ. Мы совершенно убѣждены, что между грубо-реалистической, позитивной философіей и высшими гуманистическими теоріями такъ-же мало логической связи, какъ мало связи между идеалистической философіей и гражданскимъ ретроградствомъ. Обѣ комбинаціи, по существу, абсурдны и совершенно случайны. Первая комбинація есть продуктъ теоретическаго недомыслія, незрѣлой умственной культуры и печальныхъ историческихъ обстоятельствъ, не давшихъ развиться въ Россіи типу свободнаго, твердаго, смѣлаго искателя истины. Вторая комбинація—неестественный союзъ эстетическаго идеализма съ пошлымъ жизненнымъ ретроградствомъ, странная разработка идеалистиче-

ской доктрины въ узкой сферѣ нѣсколькихъ частныхъ литературныхъ вопросовъ подлѣ стѣнъ Страстного монастыря—есть продуктъ умственной пришибленности и исковерканности, страшной путаницы понятій, изъ которыхъ ни одно не доведено до конца, ни одно не стоитъ въ живой, органической связи съ прочими теоретическими взглядами. Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того, кто и изъ какихъ побужденій до сихъ поръ нападалъ въ Россіи на утилитарную журнальную критику, на ея фальшивыя мѣрила, на ея узко понятую идею гражданственности. Мои побужденія, принципы, руководящіе моей полемикой противъ журналистики, которая ошибочно считается многими носительницей высшихъ научно-философскихъ и литературныхъ идеаловъ,—ясны для всякаго безпристрастнаго человѣка. Если русскіе либеральные писатели, въ борьбѣ съ общественною косностью, въ публицистической пропагандѣ началъ законности и права, сами лишили себя лучшаго рычага для воздѣйствія на сознаніе общества,—это ихъ историческій грѣхъ, ихъ роковая ошибка, которая обезплодила ихъ талантъ, извратила ихъ дѣятельность, сбила ихъ на узкую, опасную, ложную дорогу. Эту истину пора высказать со всею ясностью ради интересовъ литературы, ради духовнаго роста русскаго общества, который не долженъ останавливаться ни на минуту, ради выхода изъ того невыносимо тяжелаго, гнетущаго положенія, въ которомъ находится въ настоящее время русская интеллигентная мысль. И какія здѣсь могутъ быть сомнѣнія, какія опасенія, какая здѣсь возможна правовѣрно-блюстительная забота о старинѣ, когда все дѣло въ будущемъ, которое не идетъ, не приближается къ намъ и, точно заколдованное гдѣ-то въ безконечномъ отдаленіи, даже не влечетъ къ себѣ флегматичныхъ и позорно-безпорывныхъ обитателей Обломовки? Дѣло только въ правдѣ, которую надо защищать всегда и при всѣхъ обстоятельствахъ, не путаясь ни въ какихъ партійно - дипломатическихъ соображеніяхъ, не утаивая до неизвѣстныхъ временъ того, что стало ясно уже въ настоящее время, не откладывая для будущихъ поколѣній того дѣла, которое лежитъ на нашей обязанности, на нашей совѣсти. Правда полезна во всякое время и не можетъ быть такого времени, когда-бы правда могла быть вредна. Правда есть свѣтъ, котораго нельзя держать подъ спудомъ, и кто, обладая извѣстной правдой, держитъ ее подъ спудомъ,—поступаетъ, какъ жалкій, немощный рабъ обстоятельствъ и предъ строгимъ судомъ исторіи виновенъ въ настоящемъ преступномъ бездѣйствіи.

Таково наше твердое, непоколебимое убѣжденіе, которое мы высказываемъ открыто, въ надеждѣ, что люди, не желающіе тратить время на пустые и ничтожные упреки, придирки, на безсильные призывы къ умѣренности, почтительности и признательности, выскажутся принципіально, съ логической ясностью и съ необходимою нравственною смѣлостью.

Пусть съ нами говорятъ по существу, пусть отстаиваютъ, если могутъ, тѣ доктрины, на которыя мы нападаемъ, но пусть не пробуютъ оградить ихъ неприкосновенность, взывая къ журнальнымъ традиціямъ и уставамъ, ни для кого не обязательнымъ и, какъ мы уже сказали, сложившимся совершенно случайно. Настаивая на вредномъ вліяніи русской публицистической критики, мы руководимся совершенно опредѣленною мыслью. Нельзя теоретическою ложью въ области эстетики и философіи помочь практическому дѣлу. Нельзя подъ флагомъ гражданственности проводить въ общество такія теоретическія идеи, которыя не могутъ быть доказаны и обоснованы чисто логическимъ путемъ. Ложныя точки зрѣнія растлѣваютъ умъ, характеръ, разрушаютъ моральныя силы и, тѣмъ самымъ, подкапываются подъ всякую свободную гражданскую дѣятельность. Если высшіе отвлеченные интересы находятся въ пренебреженіи, если философскія идеи либо совершенно вычеркиваются изъ обихода, либо, искаженныя до неузнаваемости, суженныя въ своемъ естественномъ объемѣ, грубо пригибаются къ обстоятельствамъ времени и мѣста, если творческая дѣятельность поэзіи, искусства, понятыя въ исключительно утилитарномъ смыслѣ, насильственно прилаживаются къ потребностямъ минуты, какимъ образомъ можетъ развиться, при такихъ культурныхъ условіяхъ, чувство гражданственности, жажда широкаго труда на пользу людей, тонкое чувство чужого и собственнаго права? Если общее міровоззрѣніе не построено на прочномъ фундаментѣ научныхъ и философскихъ идей, не можетъ быть и рѣчи о настоящей, плодотворной общественной дѣятельности. Поднимайте умственную культуру, углубляйте духовную жизнь, раздвигайте горизонтъ воображенія, и вы тѣмъ самымъ насадите настоящую гражданственность—здоровую, кипящую жизненными силами, вѣчно-растущую, смѣло глядящую впередъ.

Мы полагаемъ, что это единственно вѣрный взглядъ на задачу литературы, журналистики, критики. Публицистическій элементъ умѣстенъ въ критикѣ въ связи съ общеисторическимъ элементомъ, но совершенно не пригоденъ въ качествѣ литературнаго критерія, воздѣйствующаго на эстетическія и философскія идеи, которыя составляютъ ея живую душу. Но русская публицистическая критика, съ тѣми своеобразными оттѣнками заносчиваго, грубаго реализма и нѣсколько циничесой бравады въ борьбѣ съ «чистымъ искусствомъ», съ которыми она выступила на страницахъ прославленныхъ русскихъ журналовъ, есть порожденіе русскаго историческаго бытоваго склада, съ его заимствованнымъ просвѣщеніемъ, съ умственной апатіей массъ, съ централизаціей всей культурной работы въ рукахъ немногихъ. Русскій обыватель не двинется съ мѣста, пока его не поведетъ за руку писатель. Въ Обломовкѣ писатель и, вообще, всякій къ чему-либо способный человѣкъ, долженъ заниматься чужимъ дѣломъ и,

за отсутствіемъ энергичныхъ борцовъ на практическомъ поприщѣ, становится въ ряды земскихъ и иныхъ дѣятелей своей страны. Въ Обломовкѣ писатель дѣлается слугой обломовцевъ. Онъ взываетъ къ нимъ и въ стихахъ и въ прозѣ, не забываетъ о нихъ никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ. Обломовъ ничего не дѣлаетъ, спитъ, пренебрегаетъ своими прямыми обязанностями, а писатель разрывается на части, ратуя за земскую правду, за интересы народа. Таково положеніе вещей въ Обломовкѣ. Писатель не смѣетъ заниматься своимъ дѣломъ, памятуя постоянно о подломъ обыкновеніи Обломовки не радѣть о своемъ благоустройствѣ, о своихъ примитивныхъ нуждахъ, памятуя, что, развращенные крѣпостническими привычками, обломовцы не простятъ ему, если онъ на минуту забудется и отдастся, со всею полнотою душевнаго увлеченія, своему истинному призванію. Если вы пишете на отвлеченную философскую тему, не забудьте намекнуть, что въ Обломовкѣ не все благополучно. Если вы пишете о законахъ искусства, творчества, красоты, не смѣйте упустить изъ виду, что экономическія условія Обломовки нуждаются въ передѣлкахъ, требующихъ предпріимчивыхъ и смѣлыхъ работниковъ. Если вы пишете о Шекспирѣ, о Данте, ради Бога — сумѣйте вставить подходящее, зажигательное слово о полиціи безопасности и благосостояніи... Вотъ когда обломовцы почувствуютъ, что писатель, отдаваясь своему труду, хлопочетъ не о своихъ собственныхъ интересахъ! Вотъ когда обломовцы будутъ въ восторгѣ и признаютъ, что литература есть не пустая забава, что она можетъ стоять на высотѣ своего истиннаго призванія! Но философія и искусство имѣютъ свои самостоятельныя задачи, которыхъ нельзя смѣшивать съ сравнительно узкой и несложной задачей того, что можно было-бы назвать соціальной публицистикой, и задачи эти, тѣсно связанныя съ дѣломъ просвѣщенія, не нуждаются ни въ какихъ искусственныхъ и случайныхъ оправданіяхъ. Задача критики—задача въ высшей степени сложная и, по природѣ своей, чисто теоретическая, въ которой, какъ мы уже сказали, публицистическій элементъ замѣшанъ только въ качествѣ элемента историческаго, а самую главную роль играютъ начала эстетическія, психологическія, въ ихъ неразрывномъ переплетеніи и въ подчиненіи основнымъ теоремамъ философіи. И критика, относящаяся сознательно къ своему дѣлу, понимающая свое призваніе, смѣло идущая къ своей цѣли, никогда не должна свою дѣятельность смѣшивать съ дѣятельностью соціальнаго публициста. Иначе произойдетъ путаница, которая обезсилитъ ее, создавъ для нея совершенно случайные критеріи и направивъ всѣ ея стремленія на задачи, ей вовсе несвойственныя, а настоящія цѣли и законы искусства останутся неразъясненными, забытыми, или даже извращенными въ глазахъ лучшихъ представителей общества, въ ущербъ высшимъ духовнымъ потребностямъ и нуждамъ страны.

Возражая мнѣ по вопросу о дѣятельности русской публицистической критики, «Вѣстникъ Европы» говоритъ: «Обвинять критику 40-хъ и 50-хъ годовъ въ томъ, что она не разнесла по всей Россіи свѣтъ, хранящійся въ русской поэзіи, значитъ не видѣть главной ея заслуги. Призваніе критики заключается вовсе не въ томъ, чтобы давать совѣты писателямъ, руководить ихъ творчествомъ. Если она поддерживаетъ (!) ихъ своимъ пониманіемъ и сочувствіемъ, если она служитъ посредницей между ними и читателями, ея задача исполнена, она можетъ сказать, что существовала не напрасно». Вотъ взглядъ на задачу литературной критики, который мы рѣшительно отвергаемъ, въ которомъ отразилось банальное и поверхностное представленіе толпы. Поддержка писателя не можетъ быть самостоятельной задачей для литературной критики, ибо, въ такомъ случаѣ, она упразднялась-бы именно тогда, когда она наиболѣе умѣстна,—т. е. когда она имѣетъ дѣло съ писателями истинно выдающимися, уже прошедшими въ толпу, непосредственно импонирующими всѣмъ интеллигентнымъ людямъ. Не въ поддержкѣ дѣло, а именно въ пониманіи законовъ искусства, въ умѣньѣ вырисовывать міросозерцаніе художника во всей его глубинѣ и ширинѣ, въ умѣньѣ вскрывать внутреннія импульсы творчества въ связи съ общими взглядами художника на собственное предназначеніе. Литературная критика есть самостоятельная философская дисциплина, имѣющая свой методъ, свой строго очерченный предметъ, свою опредѣленную цѣль, связанную не съ утилитарными запросами времени, а съ вѣчными, идеалистическими потребностями общественной культуры. Исполняя такое дѣло, критика идетъ надежнымъ путемъ, постоянно укрѣпляясь въ своихъ силахъ, постоянно расширяясь въ предѣлахъ своей компетенціи, постоянно углубляя свою работу, свой анализъ, добывая—пристальнымъ изученіемъ психологическаго процесса, сопровождающаго творчество—самостоятельныя истины о человѣческой природѣ. Исполняя такое дѣло, не путаясь въ сравнительно мелкихъ, преходящихъ интересахъ данной минуты, критика дѣлается орудіемъ настоящаго достовѣрнаго знанія,—въ противоположность критикѣ публицистической, съ ея рабскимъ страхомъ предъ свѣтомъ, льющимся съ высоты небесъ, съ ея низменнымъ взглядомъ на красоту, съ ея грубо-механическимъ представленіемъ о художественномъ творчествѣ, съ ея непониманіемъ просвѣщающей силы искусства. О какихъ «совѣтахъ писателямъ», о какомъ «руководствѣ творчествомъ» говоритъ намъ хроникеръ почтеннаго журнала, какъ-бы навязывая мнѣ и въ то-же время оспаривая эту мысль? Гдѣ въ моихъ статьяхъ проницательный полемистъ вычиталъ такое наивно-ребяческое сужденіе о такомъ серьезномъ предметѣ? Литературная критика, по нашему мнѣнію, одинаково нелѣпа и въ комической роли навязчивой совѣтчицы художникамъ и поэтамъ, и въ претенціозной роли авторитетной

патронессы искусства въ глазахъ публики. Критика должна быть только анализомъ, только пониманіемъ, основаннымъ на строго-научныхъ и философскихъ положеніяхъ и, какъ всякій анализъ и пониманіе, она, помимо какихъ-либо особыхъ хлопотъ о томъ, внесетъ въ общество свѣтъ и принесетъ людямъ пользу.

Въ томъ-то и дѣло, что русская публицистическая критика была орудіемъ не истиннаго, а ложнаго пониманія — и русской литературы въ частности, и задачи литературы, науки, философіи вообще. Въ томъ-то и дѣло, что тѣ взгляды на критику, философію и искусство, которые распространились въ Россіи благодаря Чернышевскому, Писареву, даже Михайловскому и цѣлой тучѣ умственно-бездарныхъ Протопоповыхъ, подвизавшихся, по несчастному капризу судьбы, именно на страницахъ либеральныхъ русскихъ журналовъ, представляютъ, какъ мы сказали въ оспариваемой статьѣ, какой-то странный бредъ публицистическихъ недоразумѣній, какую-то скверную, растлѣвающую путаницу словъ и понятій, безъ отправнаго начала, безъ теоретическаго центра, безъ руководящаго литературнаго идеала. Въ томъ-то и дѣло, что «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности», имѣвшія такое роковое вліяніе на всю нашу журнальную критику, представляютъ собою, какъ мы уже показывали въ подробномъ разборѣ этого трактата, настоящій сводъ мертвящихъ критеріевъ, цѣлую программу войны противъ искусства, съ поразительнымъ смѣшеніемъ элементарнѣйшихъ эстетическихъ истинъ, съ самой невѣроятной логической аргументаціей. И мы настаиваемъ, что, при этихъ данныхъ, русская публицистическая критика могла произвести такой ошеломляющій эфектъ только въ полу-невѣжественной Обломовкѣ, среди ея безмятежныхъ обывателей, не привыкшихъ видѣть настоящую идейную борьбу и никогда, на протяженіи всей своей исторіи, не выставившихъ изъ своей среды ни одного борца за теоретическую истину. Дѣтскія силенки, бросившіяся въ наивную схватку съ философіей, съ искусствомъ, съ тѣмъ, что могло-бы дать надежную поддержку ихъ собственнымъ лучшимъ стремленіямъ, представились большими, мудрыми силами, призванными совершить важный переломъ въ умственномъ сознаніи Россіи. А между тѣмъ, въ дѣйствительности эти дѣтскія силенки, несмотря на свои благородныя тенденціи, надѣлали много положительнаго зла. Вспомните исторію Пушкина въ Россіи. Вспомните, что эту истинную гордость Россіи, эту огромную и подлинную умственную силу, человѣкъ такого, сравнительно малаго развитія, какъ Писаревъ, могъ надолго отрѣзать отъ русскаго общества. Вспомните исторію Гоголя. Вспомните, что даже Бѣлинскій—эта тонкая, свѣтлая душа, это чуткое сердце,—ложно истолковалъ и осудилъ тотъ возвышенно-трагическій пафосъ, тѣ мучительно вдохновенныя настроенія, которыми раскалена была дѣятельность его послѣднихъ лѣтъ. Не забудьте о томъ проклятіи, которое и

понынѣ еще тяготѣетъ на одной изъ самыхъ лучшихъ русскихъ книгъ— несмотря на всѣ ея частныя ошибки — на откровенной, честной исповѣди, вылившейся въ пламенномъ экстазѣ въ знаменитой «Перепискѣ съ друзьями». Не будемъ говорить о другихъ тенденціозныхъ ошибкахъ русской критики, которыхъ было слишкомъ много, чтобы исчерпать ихъ въ этомъ бѣгломъ возраженіи: отъ такихъ ошибокъ русская критика не будетъ гарантирована до тѣхъ поръ, пока она не провѣритъ до конца, со всею безпощадностью, основныхъ своихъ положеній и не измѣнитъ своей задачи...

Жизнь въ Обломовкѣ поистинѣ ужасна: съ одной стороны неурядицы экономическія, съ другой—искаженіе умственной культуры, глухая тоска загубленныхъ стремленій къ искусству и просвѣщенію. Нельзя не ужасаться, нельзя не приходить въ отчаяніе при видѣ этого всеобщаго равнодушія къ истинѣ и свѣту, при которомъ не можетъ быть и рѣчи о какомъ-бы то ни было благополучіи. Въ печати—ничтожные споры о пустякахъ, о деталяхъ совершенно частныхъ явленій, мелко-придирчивая полемика, завернутая въ самые изысканныя, хотя и совершенно безцвѣтныя выраженія, по вопросамъ третьестепенной важности, какая-то тошнотворная канитель либеральнаго или ретроградnаго свойства, или, въ худшемъ случаѣ, грубый свистъ и наглый хохотъ разнуздавшихся газетныхъ лакеевъ, въ обществѣ—отсутствіе иниціативы, смѣлыхъ умственныхъ порывовъ, невѣжество, застывшее широкими пластами подъ воздѣйствіемъ ученыхъ и неученыхъ авторитетовъ русской журналистики. И нѣтъ такихъ словъ, такихъ фразъ, которыя могли-бы быть признаны слишкомъ рѣзкими, несправедливыми или невѣрными для обрисовки истиннаго положенія вещей въ Обломовкѣ. И нѣтъ такого гнѣва, который былъ-бы незаконенъ при видѣ того, что дѣлается вокругъ. Сонъ Обломовки можно стряхнуть только рѣзкой правдой, отчеканенной со всею возможною силою, высказанной прямо въ глаза всему русскому обществу, правдой, общей для ея прошедшаго и настоящаго. Нечего хитрить, нечего мудрствовать лукаво, нечего заволакивать отчетливо сознанную, прочувствованную правду ненужными комплиментами, дипломатическими оговорками, слащавыми извиненіями по адресу людей, съ которыми ведешь принципіальную борьбу. Русское общество нуждается только въ правдѣ— откровенной, недвусмысленной, ясной, вносящей освѣжающую струю въ тоскливую, тяжелую атмосферу всеобщаго унынія. Иначе Обломовка не проснется. То чувство мѣры, которое рекомендуетъ намъ «Вѣстникъ Европы», въ той обстановкѣ умѣренныхъ взглядовъ и умѣренныхъ тенденцій, которыми проникнута полемическая замѣтка противъ моей статьи, составляетъ, такъ сказать, его внутреннюю программу и свидѣтельствуетъ объ ограниченномъ пониманіи задачи журналистики вообще и задачи современной журналистики въ особенности, — современной журналистики, ко-

торой приходится дѣйствовать при такомъ поразительномъ затишьѣ идей, желаній и стремленій. Въ замѣткѣ проглядываетъ затаенная нелюбовь къ явному протесту, привычка говорить объ общественныхъ невзгодахъ осторожными полусловами, привычка поверхностно касаться болящихъ язвъ русской жизни руками, затянутыми въ чистыя лайковыя перчатки. Въ ней проглядываетъ ошибочное убѣжденіе, будто, заколотивъ свою мысль въ тѣсную рамку совершенно условныхъ литературныхъ приличій, заглушивъ въ себѣ всякій порывъ, всякую страсть, можно спасти литературу отъ ложныхъ увлеченій и заблужденій. Хроникеръ «Вѣстника Европы» такъ и говоритъ: литература прошедшаго времени должна быть предметомъ особенно внимательнаго изученія, но изучая, разбирая эту литературу, не теряйте чувства мѣры, не забудьте, что къ этому прошедшему обязательно питать уваженіе и благодарность. Чувство мѣры, уваженіе и благодарность — на первомъ планѣ! Не истина, не свободная правда, добываемая безпристрастнымъ анализомъ и естественно воспламеняющая человѣческую душу, а какое-то предвзятое уваженіе и безстрастная благодарность въ изысканныхъ, благородно дипломатическихъ выраженіяхъ,— вотъ что выдвигается на первый планъ, вотъ что выдается за образецъ приличнаго литературнаго поведенія и литературной порядочности! Умѣренность и аккуратность вмѣсто нелицепріятной, неподкупной, обличительной критики, безцѣльное расшаркиваніе передъ прошедшимъ вмѣсто негодующаго слова убѣжденья, обращеннаго къ современникамъ! Гоните истину вонъ, душите каждый проблескъ ея, если только она можетъ встревожить слабые, искусственно подтянутые благовоспитанностью нервы интеллигентныхъ обывателей! Насаждайте повсюду—въ литературѣ и въ обществѣ — умѣнье маскировать свои чувства, умѣнье проходить съ галантнымъ поклономъ мимо тѣхъ, съ кѣмъ слѣдовало-бы, во имя своихъ убѣжденій, вступить въ честную, открытую борьбу! Вотъ какова должна быть литературная программа истинно-либеральнаго журнала, издаваемаго въ Обломовкѣ!..

Однако, и въ Обломовкѣ попадаются свѣтлыя исключенія. Мы сейчасъ приведемъ нѣсколько интересныхъ цитатъ изъ произведеній одного писателя, которому сотрудникъ «Вѣстника Европы», К. Арсеньевъ, оказалъ въ свое время критическую поддержку. Мы говоримъ о Салтыковѣ, который, при своемъ несомнѣнно большомъ талантѣ и остромъ умѣ, рѣзко осудилъ и осмѣялъ русскую духовную культуру съ ея склонностью постоянно оглядываться назадъ. Изъ писателей недавняго времени ни одинъ не изобличалъ съ такою безпощадностью тотъ умѣренно-либеральный уставъ, за который заступаются публицисты «Вѣстника Европы». Говоря объ умственномъ и нравственномъ положеніи Россіи, Салтыковъ пишетъ: «Грады и веси продолжаютъ процвѣтать: нѣкоторые изъ нихъ постепенно познаютъ пользу употребленія картофеля, другіе постепенно-же привы-

кають къ мысли о необходимости оспопрививанія и проч., но нигдѣ, навѣрное, не скажется потребность освобожденія мысли, того освобожденія, безъ котораго немыслимо никакое умственное и матеріальное совершенствованіе. Въ этомъ отношеніи вездѣ, куда ни обратитесь—молчокъ» [1]).

Современная литература не исполняетъ своихъ прямыхъ обязанностей. Ея задача провидѣть законы будущаго, создавать типы, идущіе далѣе тѣхъ, которые имѣютъ ходъ на рынкѣ, способные наложить печать даже на такое общество, «которое находится подъ гнетомъ эмпирическихъ тревогъ и опасеній». Ея задача — создавать новыя привычки, новые взгляды, ибо «что было-бы въ томъ случаѣ, если-бы литература, забывъ о своихъ воспитательныхъ задачахъ, пошла по другому пути, хоть, напримѣръ, по пути безплодныхъ обращеній къ прошлому?» Къ сожалѣнію, прибавляетъ сатирикъ, «наша современная литература пошла именно по этому послѣднему пути, и потому ея воззрѣнія можно безъ малѣйшаго преувеличенія уподобить воззрѣніямъ будочниковъ, негодующихъ на исканіе какого-то рожна... Предполагается, что мы, по самой природѣ своей, не имѣемъ права ни къ чему приступить, не исполнивъ предварительно танца благоговѣнія и вѣчной признательности. И вотъ ежели мы, разсматривая какое-нибудь явленіе, пробуемъ встать на одинъ съ нимъ уровень, то насъ прямо обвиняютъ въ черствости, неблагодарности и заносчивости. Курицыны дѣти! восклицаютъ хоромъ прогрессисты-литераторы и прогрессисты-публицисты: Посмотрите! Тоже топорщатся! Шеи вытягиваютъ! На цыпочки становятся!.. На мой взглядъ будочникъ въ этомъ случаѣ гораздо симпатичнѣе... Даже будочникъ проливаетъ слезы при видѣ людей, ищущихъ рожна и обрѣтающихъ его, а въ литературѣ это зрѣлище вызываетъ зловѣщій крикъ: ату! Естественное-ли это дѣло? Естественно-ли, чтобы литература являлась не воспитательницею и руководительницею общества въ его исканіяхъ идеаловъ будущаго, а обуздательницею и укротительницею?..» [2]).

Это—крикъ души, вырвавшійся изъ груди человѣка, который хорошо понималъ всю глубокую разницу между мертвящимъ, порабощающимъ культомъ словъ и именъ и свѣтлымъ, освобождающимъ служеніемъ дѣламъ и принципамъ...

1893. Іюнь.

---

[1]) Соч. Салтыкова, изданіе автора, т. II, «Письма изъ провинціи», стр. 466.

[2]) «Итоги», стр. 503—505.

Михайловскій и его разсужденія о русской литературѣ.

I.

Во французскомъ журналѣ «Revue des Revues» (1894 г., №№ 2, 3) напечатана небольшая статья Михайловскаго подъ названіемъ «Литературное движеніе въ Россіи». Авторъ задумалъ въ краткихъ чертахъ представить передъ иностранцами подлинную картину нашей умственной исторіи XIX вѣка въ тѣхъ эпизодахъ, которые должны быть признаны наиболѣе характерными для развитія русской мысли. На немногихъ страницахъ, написанныхъ отрывочными фразами, Михайловскій передаетъ намъ свои убѣжденія по различнымъ вопросамъ русской жизни въ категорическихъ выраженіяхъ литературнаго манифеста. По манерѣ отношенія къ задачамъ русскаго искусства, по меланхоличности разсужденій о современномъ состояніи нашей литературы и по мажорности тѣхъ аттестацій, которыя раздаются вождямъ журнальнаго либерализма въ прошедшемъ, это одна изъ самыхъ характерныхъ статеекъ Михайловскаго, представляющая хорошій заключительный аккордъ къ его тридцатилѣтней публицистической дѣятельности. Многолѣтняя работа въ журналѣ, шедшемъ наравнѣ съ вѣкомъ, должна была развить въ Михайловскомъ большую выразительность въ изложеніи именно самыхъ популярныхъ ходячихъ мнѣній. Въ Михайловскомъ соединились всѣ черты, необходимыя для дѣятеля такой эпохи, когда лучшія общественныя силы, искусственно загнанныя въ узкую рамку угрозами отлученія отъ настоящаго либерализма, дѣйствовали слабо, въ слѣпомъ подчиненіи людямъ съ неглубокимъ образованіемъ, но съ темпераментомъ живыхъ и бойкихъ журнальныхъ фельетонистовъ. Рѣзкій тонъ въ полемикѣ съ различными оппонентами, иногда гораздо выше его стоявшими по таланту и умственной воспитанности, умѣнье отдѣлываться отъ серьезныхъ возраженій хлесткой шуткой, игра намеками, разсчитанными на эфектныя ассоціаціи въ возбужденномъ воображеніи

современнаго читателя, снисходительно великодушная рѣшимость покидать высоты науки каждый разъ, когда писателя призовутъ общественныя нужды, простой стиль, заправленный острыми словцами, юмористическими прибаутками и пословицами, которыя шевелятъ русскіе нервы, какъ вызывающіе звуки дешевой гармоники въ рукахъ подгулявшаго парня въ кумачной рубахѣ съ фуражкой на бекрень,—все содѣйствовало тому, чтобы имя Михайловскаго пріобрѣло большую извѣстность въ нѣкоторыхъ слояхъ русскаго общества, расшатаннаго предыдущимъ литературно-отрицательнымъ движеніемъ и потомъ чуть-чуть усомнившагося въ самомъ отрицаніи. Наиболѣе дорогія тенденціи прошедшей умственной эпохи, съ ея полной свободой отъ всякихъ «метафизическихъ и теологическихъ предразсудковъ», доживали въ его статьяхъ въ слабѣющихъ, иногда замирающихъ отголоскахъ, а потребности новой жизни отразились въ запутанномъ ученіи о «субъективномъ методѣ», лишенномъ философскаго характера, но отвѣчающимъ добрымъ запросамъ русскаго нутра. Въ глазахъ людей, не привыкшихъ серьезно разбираться въ явленіяхъ русской литературы, статьи Михайловскаго производили пріятную иллюзію умственной полноты и оригинальности. Если мысль Михайловскаго, отрываясь отъ предмета, залетала въ несвойственныя даннымъ разсужденіямъ сферы, читатели могли думать, что это не просто одинъ изъ видовъ нѣкоторой логической несостоятельности, а смѣлый порывъ въ высь на крыльяхъ благороднаго субъективизма, который не дастся въ плѣнъ жестокимъ теоріямъ Спенсера, Маркса и Дарвина. Если Михайловскій набрасывался на людей, занимающихся праздными философскими и эстетическими вопросами, предавая ихъ публичному поношенію въ распущенныхъ, иногда циническихъ выраженіяхъ, читателямъ могло казаться, что онъ сражается во имя строгой новѣйшей науки, что онъ защищаетъ славныя реалистическія традиціи людей, оказавшихъ услугу русскому обществу на поприщѣ либерализма. А между тѣмъ, въ статьяхъ Михайловскаго нѣтъ ничего характернаго для крупнаго и оригинальнаго таланта, накладывающаго свою печать на цѣлую эпоху. Вся его дѣятельность подобна, можно сказать, слабо мерцающей звѣздѣ, замѣтной глазу на разсвѣтѣ, когда скрылась луна, но солнце еще не всходило! Что-то свѣтится какъ будто сквозь утренній туманъ, но вотъ-вотъ потухнетъ...

Всякій, кто изслѣдуетъ судьбы русской культуры, не можетъ не обратить вниманія на упомянутую статейку Михайловскаго, въ которой, не смотря на краткость и отрывочность изложенія, сконцентрировались всѣ типическія особенности писателя, шедшаго всегда наравнѣ съ толпою и, вмѣстѣ съ этой толпою, теперь оплакивающаго печальныя судьбы русскаго прогресса. Въ статейкѣ имѣется нѣкоторая философская подкладка, скроенная изъ субъективизма и реализма, которая едва-ли будетъ оцѣ-

нена просвѣщенною европейскою печатью, но которая хорошо знакома людямъ, слѣдившимъ за многолѣтней то научно компиляторской, то публицистической карьерой Михайловскаго. Какъ послѣднее по времени выраженіе нашего журнальнаго либерализма, эта литературная замѣтка, написанная въ свободномъ стилѣ и для свободнаго, европейскаго органа печати, даетъ намъ драгоцѣнное доказательство той умственной сумятицы, которая господствуетъ еще до сихъ поръ въ самыхъ важныхъ вопросахъ нашего литературнаго развитія. Поставленный лицомъ къ лицу съ публикой, съ которой можно говорить безъ всякихъ аллегорій, Михайловскій долженъ былъ открыть намъ свои настоящія литературныя убѣжденія. Мы знаемъ, съ какимъ вдохновеніемъ писали другіе въ аналогичныхъ условіяхъ. Нѣкоторые литературные очерки, вышедшіе изъ-подъ пера одного настоящаго ратоборца прогресса, какъ призывный звонъ колоколовъ, звучатъ въ нашихъ ушахъ такъ новелительно смѣло, такъ возвышенно умно и справедливо. Тутъ участвовали лучшія силы души. Никакого резонерства, никакой вымученности въ сцѣпленіи либеральныхъ силлогизмовъ. Все окрашено убѣжденіемъ могучимъ, глубокимъ и, по тону безъисходной грусти, убѣжденіемъ чисто національнымъ, родственнымъ настроеніямъ величайшихъ русскихъ художниковъ.

Что-же мы находимъ въ статейкѣ Михайловскаго? Передадимъ ея содержаніе въ порядкѣ главъ и сдѣлаемъ наши замѣчанія послѣдовательно къ важнѣйшимъ пунктамъ его литературнаго символа вѣры, его субъективно-реалистическаго міровоззрѣнія.

Исходной точкой современной русской исторіи, говоритъ Михайловскій, является освобожденіе крестьянъ. Если до освобожденія въ Россіи существовали извѣстные таланты, то только съ освобожденіемъ народилась настоящая русская литература. Лучшія силы бездѣйствовали и, при могуществѣ внѣшнихъ обстоятельствъ, изнемогали въ сознаніи своей безполезности. Но вдругъ возникла мысль объ освобожденіи крестьянъ (tout d'un coup surgit l'idée de l'émancipation), объединившая разрозненныя силы и стремленія, направившая ихъ къ высшей цѣли, создавшая для общества опредѣленную практическую задачу. Приходилось осуществить громадный и сложный трудъ: кромѣ юридической стороны, нужно было реформировать весь экономическій бытъ, разрѣшить аграрный вопросъ. Старая система накладывала свой отпечатокъ на всю нашу общественную и нравственную жизнь, на отношенія гражданъ между собою, на отношенія гражданъ къ государству, на отношенія семейныя—мужа къ женѣ, дѣтей къ родителямъ. Приходилось выработать цѣлую новую систему... Вся эта реформа была осуществлена въ 4 года: съ 1857 до 1861 г. Стараясь дать теоретическое освѣщеніе нарисованой имъ исторической картинѣ, Михайловскій приводитъ, по своему обыкновенію, русскую пословицу: «не сули журавля въ небѣ, дай синицу въ руки».

Бываютъ моменты, говоритъ онъ, когда высокія задачи могутъ быть уподоблены журавлю въ небѣ, когда между ними и реальной жизнью лежитъ цѣлая пропасть. Бываютъ моменты, когда стремленія людей направлены къ высотамъ неба, бываютъ другіе моменты, когда народъ удовлетворяется синицей въ рукахъ. Но бываютъ и такіе моменты, когда люди лишены и того, и другого блага, когда жизнь выражаетъ лишь печальное сознаніе безплодности всякихъ силъ. Такова была наша исторія до эпохи освобожденія крестьянъ. Все развитіе русской культуры раздѣляется на два періода: до 1857 г. и послѣ этого времени, когда идея эмансипаціи вдругъ зажгла всѣ воображенія, соединивъ въ одномъ чувствѣ, въ одной волѣ всѣхъ русскихъ людей, породивъ одновременно идеальныя стремленія и практическія задачи. До освобожденія у насъ не было ни журавля, ни синицы. Но идея освобожденія, возникшая вдругъ и осуществленная во всей полнотѣ въ четыре года, совершила великій переворотъ во всѣхъ областяхъ жизни. Изучая русскую литературу, нужно постоянно имѣть въ виду этотъ главный моментъ, говоритъ Михайловскій. Благодаря ему все, что было въ Россіи великаго по уму, по сердцу, по таланту, всплывало на горизонтѣ и присоединялось къ общей работѣ. Благодаря ему, нашли себѣ дѣло по способностямъ и люди второстепеннаго дарованія. Всѣ силы сплотились для того, чтобы распространять свѣтъ, ободрять слабыхъ, сѣять вѣру и довѣріе къ будущему,—и ихъ совокупная работа создала настоящую, могущественную литературу.

Таково содержаніе первой главы въ статьѣ Михайловскаго. Если вникнуть въ нее поглубже съ тѣмъ, чтобѣ открыть въ ней опредѣленное руководящее начало, то можно собрать ея важнѣйшія положенія въ слѣдующемъ логическомъ порядкѣ. Михайловскій утверждаетъ, что до эпохи освобожденія крестьянъ русской литературы не существовало: были таланты, но не было литературы. Не было ни журавля въ небѣ, ни синицы въ рукахъ. Вдругъ блеснулъ свѣтъ во тьмѣ: этимъ свѣтомъ была идея освобожденія крестьянъ, неизвѣстно кѣмъ брошенная въ русскую жизнь—по крайней мѣрѣ, Михайловскій не обозначаетъ, съ какой именно стороны она явилась — и эта идея соединила большіе и малые таланты въ одну могучую духовную силу. Жизнь вдругъ перемѣнилась: фактъ освобожденія крестьянъ, явившійся какъ-бы самъ собою, создалъ идеальное настроеніе, а вмѣстѣ съ нимъ и литературу. Мы думаемъ, что Михайловскій не правъ во всѣхъ пунктахъ своего разсужденія. *Во-первыхъ*, говоритъ объ отсутствіи литературы въ такое время, когда дѣйствовали Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Грибоѣдовъ, когда уже были созданы главнѣйшія произведенія русскаго искусства, въ которыхъ, какъ въ классическихъ образцахъ, отлилась цѣлая народная психологія и выразились глубочайшія настроенія русскаго общества, когда уже были намѣчены главные пути, по которымъ должна была пойти русская культура —

по меньшей мѣрѣ, странно для писателя, умѣющаго производить интеллигентную оцѣнку прошлой жизни. Со времени Пушкина русская литература только раскрывалась въ различныхъ направленіяхъ, но не нарождалась. Въ томъ, что создано Пушкинымъ и Гоголемъ, уже даны всѣ зародыши тѣхъ явленій, которыми украсилось русское искусство впослѣдствіи. Богатый посѣвъ былъ брошенъ въ почву, и всходы появились естественно, по законамъ духовнаго роста и развитія. Все крупное, яркое, оригинальное, все то, что составляетъ русскую литературу по преимуществу, вышло изъ Пушкина и Гоголя, окрашено Пушкинымъ и Гоголемъ, одухотворено ихъ геніемъ, родственно имъ по своему тревожному характеру, по волнующему мотиву высшей красоты и высшей правды. Достоевскій началъ писать до освобожденія крестьянъ, и уже первые проблески его глубокаго дарованія раскрыли передъ читателями одну изъ самыхъ типическихъ чертъ русскаго національнаго характера съ его сектантскимъ фанатизмомъ, затаеннымъ подъ внѣшнею кротостью. До освобожденія крестьянъ появились нѣкоторыя замѣчательныя произведенія Тургенева, отразившія во всей прелести разнообразныхъ поэтическихъ оттѣнковъ русскую природу и русскіе крестьянскіе типы. Гончаровъ началъ свою литературную дѣятельность, какъ и Достоевскій, еще при Бѣлинскомъ. Графъ Л. Толстой напечаталъ уже въ то время произведенія, которыя навсегда останутся въ русской литературѣ. «Дѣтство» появилось въ 1852 г., а къ 1857 г. были уже напечатаны такія вещи, какъ «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика», «Набѣгъ», «Казаки», «Севастополь» и др. Въ эпоху, предшествовавшую освобожденію крестьянъ, прошла почти вся блестящая литературная дѣятельность Герцена, къ несчастью, не сосредоточенная на одной территоріи. Мы не говоримъ уже о второстепенныхъ дарованіяхъ, которыя сдѣлали-бы честь всякой менѣе богатой литературѣ. Въ темную и глухую эпоху, описываемую Михайловскимъ, эпоху, лишенную литературы, прошла вся кипучая дѣятельность Бѣлинскаго, сложились знаменитые кружки Станкевича и Герцена, развернулось нѣсколько блестящихъ дарованій на поприщѣ университетскаго преподаванія, открылись и достигли высокаго развитія лучшіе русскіе журналы. А литературы не было! Были на лицо произведенія Пушкина и Гоголя, всѣхъ русскихъ классиковъ, но журавли все еще не летали въ небѣ. Михайловскій, самъ невольно вспоминая нѣкоторыя изъ указанныхъ именъ, ссылается на то, что Герценъ и Огаревъ эмигрировали изъ Россіи, Тургеневъ былъ высланъ, Достоевскій приговоренъ къ казни, Бѣлинскій едва не вошелъ въ пріятныя сношенія съ тайной полиціей. «Вотъ нѣкоторые примѣры, краснорѣчиво рисующіе состояніе нашей литературы», заключаетъ Михайловскій: не было литературы, потому что ей приходилось бороться съ обстоятельствами. Не было литературы, потому что писателямъ приходи-

лось переносить, быть можетъ, тяжелыя, но внѣшнія испытанія — какъ будто литературѣ, богатой количественно и качественно, обладающей внутренними силами, такъ легко искусственно зажать ротъ! Вотъ какъ пишется сжатая, компактная исторія русской литературы.

Во-вторыхъ, Михайловскій неправъ и въ вопросѣ о томъ, какъ и во сколько времени сложилась идея крестьянской реформы и совершилось ея осуществленіе. Въ Россіи мало людей съ среднимъ университетскимъ образованіемъ, которые не знали-бы, что факту освобожденія крестьянъ предшествовала огромная дѣятельность и общества, и правительственныхъ сферъ въ этомъ направленіи. По словамъ Михайловскаго, идея освобожденія возникла вдругъ, а вся реформа была осуществлена въ четыре года. Во тьму русской жизни ворвался цѣлый снопъ лучей, озарившихъ всю Россію съ верху до низу! Журавли полетѣли по небу, синица была поймана въ руки—внезапно, какъ-бы по мановенію волшебнаго жезла!

А между тѣмъ, дѣло освобожденія крестьянъ имѣетъ свою довольно богатую исторію и подготовлено всѣмъ движеніемъ интеллигентнаго русскаго общества на пути культуры, цѣлымъ рядомъ правительственныхъ напряженій, отвѣчавшихъ на запросы лучшихъ русскихъ людей. Пушкинъ интересовался всѣмъ, что дѣлало правительство по крестьянскому вопросу. «Огражденіе дворянства, подавленіе чиновничества, новыя права мѣщанъ и крѣпостныхъ — вотъ великіе предметы, писалъ онъ 16 марта 1830 г. кн. Вяземскому. Я думаю пуститься въ политическую прозу» [1]). Въ «Повѣстяхъ Бѣлкина» явно проглядываетъ гуманная тенденція Пушкина по отношенію къ крестьянскому положенію. Въ «Исторіи села Горохина» имѣются черты, выхваченныя изъ тяжелаго крѣпостного быта. Въ «Дубровскомъ» цензура не пощадила многихъ мѣстъ, въ которыхъ рисовалась дикая картина помѣщичьяго произвола. Повсюду, гдѣ Пушкинъ соприкасался съ вопросомъ объ юридическомъ и экономическомъ бытѣ крестьянства, его сочувствіе было всегда на сторонѣ слабыхъ и правыхъ. Свобода Россіи грезилась ему еще съ юныхъ лѣтъ. Вспомните его молодое стихотвореніе «Деревня»:

Привѣтствую тебя, пустынный уголокъ,
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья,
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ
На лонѣ счастья и забвенья!
Я твой: я промѣнялъ порочный дворъ царей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья,
На мирный шумъ дубравъ, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
. . . .

[1]) Сочиненія Пушкина, изд. Литературнаго фонда, т. VII, стр. 218.

Набросавъ деревенскій пейзажъ и описавъ въ поразительныхъ словахъ позоръ невѣжества, дикость барства, трагическую покорность терпѣливаго русскаго крестьянина, поэтъ восклицаетъ:

О, еслибъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?
Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря.

Лермонтовъ съ дѣтства сочувствовалъ крестьянамъ, и если мы не встрѣчаемъ слѣдовъ этого настроенія въ болѣе зрѣлыхъ его произведеніяхъ, говоритъ Семевскій въ своемъ изслѣдованіи о крестьянскомъ вопросѣ въ Россіи, то нужно припомнить тогдашнія цензурныя условія и то особенное положеніе, въ которомъ находился Лермонтовъ вслѣдствіе ссылки [1]). Мы не будемъ распространяться о томъ, какое значеніе для реформы крестьянскаго быта имѣли произведенія Гоголя, Тургенева, Григоровича и другихъ второстепенныхъ писателей. Отмѣтимъ еще только два-три факта, доказывающихъ, что общественное мнѣніе Россіи по этому вопросу сложилось задолго до 1857 г. Еще за 20 лѣтъ до этого, въ 1837 г., Станкевичъ говорилъ: «Нѣтъ никакого сомнѣнія, что рано или поздно правительство сниметъ съ народа это ярмо, но и тогда народъ не можетъ принять участія въ управленіи общественными дѣлами, потому что для этого требуется извѣстная степень умственнаго развитія,—и потому прежде всего надлежитъ желать избавленія народа отъ крѣпостной зависимости и распространенія въ средѣ его умственнаго развитія». Въ письмѣ къ Боткину отъ 1847 г. Бѣлинскій писалъ о томъ, какъ подвинулось впередъ общественное мнѣніе по вопросу о крестьянскомъ освобожденіи. «Проскальзываютъ тамъ и сямъ то статьи, то статейки, очень осторожныя и умѣренныя по тону, но понятныя по содержанію. Помѣщики наши проснулись и затолковали. Видно по всему, что патріархально-сонный бытъ весь изжитъ и надо взять иную дорогу». Въ 1840 г. Огаревъ заключилъ съ своими крестьянами Рязанской губерніи договоръ объ увольненіи ихъ въ свободные хлѣбопашцы. Въ 1846 г. Герценъ широко надѣлилъ свободою дворовыхъ своего отца [2])...

Параллельно съ реформаторскимъ движеніемъ русской интеллигенціи, на поприщѣ литературы или на поприщѣ практической жизни, развивалась правительственная дѣятельность въ области экономическаго и правового быта русскаго крестьянства. Уже Петръ Великій предпринялъ нѣ-

---

[1]) В. И. Семевскій, Крестьянскій вопросъ въ Россіи, т. II, стр. 266.
[2]) Ibidem, стр. 302, 306.

которыя мѣры къ облегченію участи крестьянъ, осудивъ господствовавшій въ его время обычай продавать крестьянъ безъ земли и съ раздробленіемъ семейства. Тяжелое крестьянское положеніе давало себя чувствовать очень сильно, и при послѣдующихъ царствованіяхъ правительство нерѣдко прибѣгало къ военной силѣ для подавленія крестьянскихъ бунтовъ. Несмотря на закрѣпощеніе, въ народѣ жилъ духъ справедливости. Темныя массы волновались и напряженно ждали свободы. При Петрѣ III издана была очень важная мѣра по отношенію къ дворянамъ: имъ предоставлено было служить и не служить. Это измѣняло положеніе крестьянъ, которые служили государству черезъ посредство помѣщиковъ. Если помѣщикъ освобожденъ отъ службы, коментируетъ эту мѣру проф. Сергѣевичъ, крестьянину нѣтъ основанія работать на него. При Екатеринѣ II слово освобожденіе уже небыло произнесено, хотя императрица, вступивъ на престолъ при исключительныхъ условіяхъ и нуждаясь въ сочувствіи дворянства, не рѣшилась предпринять ни одной мѣры для улучшенія быта крестьянъ. Въ знаменитомъ наказѣ, въ первомъ спискѣ его, прямо говорилось объ освобожденіи, и среди депутатовъ созванной законодательной комиссіи нашлись люди, рѣшившіеся отстаивать крестьянъ съ большою откровенностью. Но дѣятельность комиссіи была прервана турецкой войной, и крестьянское дѣло было замято, благодаря новымъ настроеніямъ. При Павлѣ мы встрѣчаемся уже съ прямою попыткою улучшить крестьянскій бытъ. При Александрѣ I была объявлена первая мѣра, направленная къ освобожденію, которою помѣщикамъ дозволялось навсегда отпускать крестьянъ на волю съ землею. Тотъ-же Императоръ рѣшился освободить крестьянъ въ Эстляндіи и Курляндіи, хотя и безъ земли. При Николаѣ былъ учрежденъ особый секретный кабинетъ, на который было возложено разсмотрѣніе вопроса о крестьянахъ, и былъ изданъ рядъ указовъ, имѣвшихъ въ виду улучшеніе ихъ быта. Все русское общество было уже тогда взволновано ожиданіемъ неизбѣжной реформы. Всякій указъ истолковывался въ духѣ эмансипаціи, народъ тревожился каждымъ новымъ слухомъ. Даже духовенство толковало правительственныя распоряженія въ лучшую сторону. Когда Александръ II въ 1855 г. вступилъ на престолъ, мысль объ освобожденіи крестьянъ съ землею, проглядывавшая въ законодательныхъ мѣрахъ Александра I и Николая, можно сказать, охватила все общество. Въ бытность Государя въ Москвѣ графъ Закревскій доложилъ ему, что дворянство волнуется слухами объ освобожденіи, что въ народѣ распространилось убѣжденіе о близости воли. Императоръ велѣлъ призвать московскаго предводителя дворянства, которому онъ сказалъ, что старый порядокъ не можетъ остаться безъ измѣненій, что лучше начать освобожденіе сверху, чѣмъ ждать, когда онъ начнетъ отмѣняться снизу [1]).

[1]) В. И. Сергѣевичъ. Лекціи по исторіи русскаго права, стр. 658.

Вотъ какъ шло освобожденіе крестьянъ, вотъ какъ разрѣшался въ дѣйствительности вопросъ огромной исторической важности. Не вдругъ возникла идея эмансипаціи въ Россіи: серьезныя вещи никогда не дѣлаются вдругъ (старая, но умѣстная въ данномъ случаѣ истина!). Идея освобожденія выростала въ теченіе многихъ вѣковъ, вмѣстѣ съ общимъ ростомъ просвѣщенія, и ко времени восшествія на престолъ Александра II она висѣла надъ всѣмъ русскимъ строемъ, какъ давно назрѣвшая правда—подобно многимъ моральнымъ и общественнымъ истинамъ, широко распространеннымъ въ современномъ обществѣ, хотя и не получившимъ еще своего осуществленія. Въ нѣсколько лѣтъ можно было много исполнить именно потому, что многое было хорошо продумано раньше, а кое-что уже и практически намѣчено и пущено въ жизнь, какъ пробный шаръ. Вся прошедшая литература Россіи, начиная даже не съ Пушкина, а съ Фонвизина, своими идеальными силами, подготовляла коренную реформу общественнаго строя—и безъ нея талантливые сотрудники «Современника», несмотря на горячность убѣжденія по этому вопросу, несмотря на весь свой агитаціонный пылъ, сдѣлали-бы очень мало. Свобода крестьянъ добыта не кровью, не возстаніемъ, а именно силою твердаго убѣжденія, къ которому примкнули всѣ слои, высшіе и низшіе, русскаго общества. Она явилась тогда, когда общее сознаніе уже противилось рабству, какъ чему-то неестественному и чуждому нравственнымъ требованіямъ. Какъ и во всякомъ сложномъ вопросѣ, и здѣсь происходили неизбѣжныя замедленія и задержки. Люди, отъ которыхъ зависѣло освобожденіе, долго шли въ этомъ направленіи, какъ говоритъ Герценъ, «поворачивая ноги носками внутрь», но дѣло все-таки подвигалось впередъ при дружномъ содѣйствіи лучшихъ силъ литературы, при неизбѣжныхъ и постоянныхъ уступкахъ со стороны пристрастныхъ, заинтересованныхъ круговъ. Михайловскій обнаруживаетъ почти примитивное незнакомство съ историческими фактами, утверждая, что въ эпоху, предшествовавшую освобожденію крестьянъ, мыслящіе люди были обречены на печальное бездѣйствіе съ сознаніемъ полной безполезности своихъ силъ. Это невѣрно и теоретически, и фактически. Внутреннія силы никогда не могутъ быть безполезными, пока остается малѣйшая физическая возможность такъ или иначе обмѣниваться мыслями съ людьми. Внѣшніе факты и событія, упорная работа различныхъ представителей общества въ опредѣленномъ направленіи свидѣтельствуютъ о томъ, что Россія, каковы-бы ни были ея обстоятельства, не спала, что въ ней бился живой пульсъ, кипѣли духовныя стремленія. Освобожденіе явилось послѣднимъ словомъ этого духовнаго процесса. Крестьянская свобода явилась такъ, какъ пророчествовалъ еще въ 1837 г. Бѣлинскій, говоря: «Гражданская свобода должна быть плодомъ внутренней свободы каждаго индивида, составляющаго народъ, а внутренняя свобода пріобрѣтается сознаніемъ. И такимъ-то пре-

краснымъ путемъ достигнетъ свободы наша Россія... Все сдѣлается безъ заговоровъ и бунтовъ, и потому сдѣлается прочнѣе и лучше».

Наконецъ, *во-третьихъ*—и это вытекаетъ изъ всего сказаннаго — освобожденіе крестьянъ было не причиною, а слѣдствіемъ идеальныхъ настроеній общества и не было факторомъ, создавшимъ литературу, а само явилось результатомъ совокупной работы литературы и общества на поприщѣ гражданственности. Внѣшніе факты не могутъ быть первоисточникомъ какихъ-бы то ни было теченій въ области духовной исторіи людей. Создаваемые нравственными и умственными силами, они только тогда накладываютъ свою печать на ходъ человѣческаго развитія, когда дѣйствуютъ въ сочетаніи съ уже готовыми, сложившимися психологическими настроеніями и нравственно-философскими идеалами. Исторія управляется идеями. Соціальныя и политическія событія совершаются по волѣ человѣческой души и носятъ на себѣ яркій слѣдъ этой души съ ея порывами, волненіемъ чувствъ и высшихъ инстинктовъ. Освобожденіе крестьянъ въ Россіи только въ живой связи съ соотвѣтствующими явленіями прошедшей умственной эпохи могло войти составною частью въ творческую работу русской интеллигенціи. Оторванное отъ своего идеальнаго корня, оно было-бы малозначащимъ внѣшнимъ событіемъ, сложившимся по предписанію высшей администраціи и совершенно чуждымъ настроенію общества. Внѣ зависимости отъ тѣхъ духовныхъ и умственныхъ вліяній, о которыхъ мы говорили выше, оно становится чѣмъ-то непонятнымъ: въ странѣ, гдѣ все было погружено въ мракъ, гдѣ не было, какъ описываетъ то время Михайловскій, никакихъ стремленій къ небу, гдѣ все прозябало въ полнѣйшемъ бездѣйствіи, въ такой странѣ крестьянская реформа не могла-бы осуществиться, а если-бы она и осуществилась, то вызвала-бы настоящую бурю негодованія со стороны общества и повела-бы къ полной реакціи по отношеніи къ совершившемуся прогрессивному событію. Михайловскій, не выходя со всѣмъ своимъ путаннымъ и легковѣснымъ субъективизмомъ за предѣлы банальнаго эмпиризма, не думая надъ фактами исторіи съ подобающею для притязательнаго публициста серьезностью, даже не задается, повидимому, вопросомъ о томъ, какими силами могутъ быть передѣланы историческія обстоятельства, разъ только факты и обстоятельства опредѣляютъ наши настроенія, желанія и стремленія во всемъ ихъ объемѣ? Если внѣшніе факты обусловливаютъ содержаніе нашей духовной жизни,—во всѣхъ ея проявленіяхъ, литературныхъ, научныхъ и философскихъ—то гдѣ же критерій для сужденія о нихъ, гдѣ рычагъ для ихъ передѣлки? Вотъ гдѣ видно все ничтожество изобрѣтеннаго Михайловскимъ, внѣ конкуренціи съ извѣстными научно-философскими теоріями, субъективнаго метода, не спасающаго его литературныхъ и соціологическихъ разсужденій отъ самыхъ грубыхъ ошибокъ въ духѣ ма-

теріалистическаго и механическаго міровоззрѣнія. Вотъ гдѣ ясно до полной очевидности, что отрывочныя, до конца не продуманныя, нахватанныя изъ переводныхъ книжекъ философскія теоріи, подносимыя читателю съ фамильярной развязностью обладателя богатыхъ научныхъ сокровищъ, не могутъ принести пользу при обсужденіи болѣе или менѣе отвѣтственныхъ вопросовъ. Вся небольшая глава въ разсматриваемой статьѣ Михайловскаго представляетъ образецъ полной путаницы понятій, которая не выкупается никакими глубокомысленными разсужденіями и ссылками на народныя пословицы, никакими великолѣпными словами о прелести того времени, когда у народа есть и журавль въ небѣ, и синица въ рукахъ. Все сбито вмѣстѣ, мысли перепутываются въ полномъ безпорядкѣ, либеральныя фразы тонутъ въ туманѣ произвольныхъ и сбивчивыхъ историческихъ обобщеній и субъективныхъ теорій.

II.

Откинувъ мелкія противорѣчія, можно передать содержаніе второй главы разсматриваемой статьи Михайловскаго въ слѣдующихъ немногихъ словахъ. Русское общество представляло въ эпоху, предшествовавшую освобожденію крестьянъ, очень странное зрѣлище. Надъ всѣми проявленіями его духовной жизни тяготѣлъ строгій контроль администраціи. «Многія науки, какъ, напр, геологія, и даже отдѣльныя историческія эпохи въ жизни народовъ» совершенно не существовали для ученой и литературной обработки. Печатаніе книгъ встрѣчало непреоборимыя трудности, газеты почти не существовали. Былъ только одинъ родъ литературы, который пробилъ себѣ дорогу—ежемѣсячныя изданія, около которыхъ группировались писатели и поэты, всѣ, имѣвшіе потребность говорить къ русскому народу и проводить въ общество свои идеи. Въ нихъ сосредоточилась литературная критика, которая въ концѣ концовъ пріобрѣла въ Россіи политическое значеніе. Имена Бѣлинскаго, Добролюбова и Писарева обозначаютъ, говоритъ Михайловскій, нѣчто большее, чѣмъ простыя эстетическія тенденціи, хотя въ то время не было еще настоящихъ политическихъ партій. Въ обществѣ существовали два главныхъ теченія—славянофильское и западническое, къ которымъ правительство относилось съ одинаковымъ недовѣріемъ и которыя поневолѣ скрывали свои программы подъ туманомъ различныхъ отвлеченій и гегелевской философіи. Но реформы Александра II, даровавшія свободу печати, обнаружили, что и въ славянофильствѣ, и въ западничествѣ не было ничего, кромѣ пустыхъ и безсодержательныхъ фразъ, и что для проведенія въ жизнь всего того, что было намѣчено важнѣйшими государственными преобразованіями, нужна другая группировка способныхъ и дѣятельныхъ элементовъ. Въ это время между ежемѣсячными журналами выдвинулись два изданія: «Современникъ»

въ С.-Петербургѣ и «Русскій Вѣстникъ» въ Москвѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ появился новый классъ литературныхъ работниковъ, вышедшихъ изъ самыхъ бѣдныхъ слоевъ русскаго общества и не имѣвшихъ другихъ средствъ къ существованію, кромѣ литературнаго заработка. Въ умственную жизнь общества влилась новая струя. Печать стала демократизироваться. Новые труженики внесли въ нее новыя точки зрѣнія и наложили на литературу ту печать, которая сохранилась на ней и до сихъ поръ. Предшествующіе писатели, выходя изъ обезпеченнаго класса, обладали изысканнымъ образованіемъ и знаніемъ европейскаго искусства. Писатели новой эпохи, которые рекрутировались изъ среды интеллигентныхъ пролетаріевъ, были лишены всѣхъ этихъ благъ. Имъ недоставало ни теоретическаго, ни эстетическаго образованія. Въ вѣчной борьбѣ съ обстоятельствами, они не могли думать о томъ, чтобы придать своимъ произведеніямъ законченную форму. Они заботились только о томъ, чтобы какъ можно рельефнѣе отразить настоящую дѣйствительность съ ея пороками и недостатками. Но во всякомъ случаѣ, несмотря на ихъ пренебреженіе къ формѣ, это были люди съ большимъ талантомъ и большою оригинальностью въ дѣлѣ художественнаго творчества. Это была цѣлая блестящая плеяда писателей, на-ряду съ произведеніями которыхъ зарождался и расцвѣталъ новый родъ искусства—сатирическій и обличительный. Дореформенная Россія не знала никакой гласности. Злоупотребленія, несправедливости, преслѣдованія слабыхъ совершались у всѣхъ на глазахъ, но никто не смѣлъ протестовать—и вотъ теперь писатели принялись за обличеніе съ жаромъ, который до того времени приходилось сдерживать. «Свобода печати была, однако, очень относительна, говоритъ Михайловскій. Сатирикамъ приходилось ограничиваться формой романа, комедіи, повѣсти, которая подъ чертами своихъ героевъ скрывала намеки на вліятельныхъ людей». Основателемъ этого рода литературы былъ, безъ сомнѣнія, Щедринъ со своими «Губернскими очерками», которому громадный талантъ позволялъ, однако, создавать цѣльные художественные типы, выражающіе извѣстныя соціальныя категоріи.

Но беллетристика дѣйствовала на почвѣ, уготованной знаменитыми публицистами того времени, между которыми были люди съ глубокимъ образованіемъ и настоящимъ талантомъ, каковъ напр. Чернышевскій. Литературная критика слѣдовала за общественнымъ движеніемъ и добилась того, что заставила художественныя произведенія давать отвѣты на вопросы дня, со всѣми ихъ соціальными усложненіями. Сочиненія Добролюбова могутъ быть признаны образцомъ такого рода критики. Его статьи о романахъ Тургенева, Гончарова и др., написанныя въ публицистическомъ тонѣ, имѣли огромное вліяніе на русскую публику, и когда по его смерти жезлъ русской критики перешелъ къ Писареву, всякаго рода эстетическія тенденціи были совершенно изгнаны изъ литературы. Съ Писаревымъ реалистическое направленіе торжествуетъ по всей линіи русской

журналистики—и въ области искусства, и въ области сатиры, и въ области теоретическихъ разсужденій. Писареву-же мы обязаны культомъ естественныхъ наукъ, которыя прежде находились подъ запретомъ. Какъ только открылась дорога, русскіе писатели бросились со страстью къ источнику настоящихъ знаній и, за отсутствіемъ оригинальной научной литературы, начали съ жаромъ переводить все, что появлялось по этой части заграницею. Философскіе взгляды утверждались на прочныхъ основаніяхъ... Затѣмъ мало-по-малу стало нарождаться теченіе, окрещенное Тургеневымъ именемъ *нигилизма*—«отрицательное направленіе чрезмѣрной критики». Нигилизмъ, говоритъ Михайловскій, имѣлъ безъ сомнѣнія и дурныя стороны, но въ немъ было также много хорошаго. «Люди искали во что-бы то ни стало истины, которая на русскомъ языкѣ сливается съ понятіемъ справедливости въ словѣ правда. Въ глубинѣ этого движенія были этическія и идеальныя стремленія, и подъ вліяніемъ этихъ-то идей народилась въ Россіи цѣлая литература, имѣющая значеніе и до сихъ поръ». Къ сожалѣнію, этому литературному движенію не суждено было развиться съ надлежащей полнотою. Въ 1861 г. умеръ Добролюбовъ, вскорѣ Чернышевскому пришлось оставить журнальную дѣятельность, польское броженіе выдвинуло на первый планъ Каткова, получившаго съ тѣхъ поръ особое значеніе въ судьбахъ русской печати. Журналы, въ которыхъ работали Добролюбовъ, Чернышевскій и Писаревъ, должны были закрыться.

Вотъ какъ Михайловскій разсказываетъ исторію русской литературы въ одномъ изъ самыхъ интересныхъ ея періодовъ. Борьба славянофильства съ западничествомъ разрѣшилась побѣдою русскихъ демократовъ, упразднившихъ всѣ прежнія философскія и практическія программы и создавшихъ то реалистическое движеніе, которымъ гордится и современная Россія. Литературный пролетарій, безъ образованія, безъ эстетическаго воспитанія, съ пренебреженіемъ ко всякой художественности и артистичности, открылъ собою новую эпоху въ исторіи русскаго искусства. Прежній умственный аристократизмъ, питаемый доходами съ барщины, уступилъ мѣсто тяжелой, неприглядной работѣ надъ дѣйствительными, реальными фактами—и литература вступила въ новый фазисъ высшаго развитія. Бесѣдуя съ иностранцами, Михайловскій не хочетъ пока называть никакихъ именъ и отмѣчаетъ изъ художниковъ новой литературной эпохи только Глѣба Успенскаго, а изъ сатириковъ, писавшихъ въ формѣ разсказовъ и комедій—Щедрина. Они служатъ яркимъ доказательствомъ тому, что новое направленіе не только не было вредно талантамъ, но само по себѣ выдвигало людей съ оригинальными творческими и умственными силами. На этой-то стадіи русское искусство, вмѣстѣ съ публицистикой и наукой, отразило настоящую сущность русскаго національнаго характера, а иностранныя книги, пришедшія на помощь потребностямъ дня, позволили обнаружиться природнымъ вле-

ченіямъ общества къ реализму во всѣхъ формахъ его проявленія. Реализмъ въ философіи, публицистикѣ и критикѣ сдѣлался разъ навсегда знаменемъ русской духовной культуры... Наши возраженія могутъ быть, опять-таки, разбиты на три пункта: первый относится къ демократизму въ искусствѣ, второй къ критической дѣятельности Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, третій къ реалистической философіи и культу естественныхъ наукъ, воздвигнутому на почвѣ иностранныхъ книгъ и переводныхъ сочиненій. Итакъ, *во-первыхъ*, Михайловскій считаетъ особенно отраднымъ то обстоятельство, что русскимъ искусствомъ занялись люди изъ среды интеллигентныхъ пролетаріевъ безъ образованія, безъ эстетическихъ идей, съ простыми демократическими тенденціями. По его мнѣнію, они-то и наложили на русскую литературу печать реализма, составляющую ея характерную особенность и до настоящаго времени. Послѣднее не вѣрно. Реализмъ внесенъ въ русскую литературу тѣми, которые ее создали. Какъ манера схватывать черты дѣйствительной жизни и передавать ихъ съ художественной простотою, безъ всякихъ романтическихъ прикрасъ, реализмъ свойственъ всѣмъ лучшимъ русскимъ произведеніямъ. Но никогда ни у Пушкина, ни у Гоголя онъ не выдвигался во что-то самостоятельное: являясь манерой изображенія, онъ не заслонялъ собою того богатаго психологическаго матеріала, изъ котораго они черпали образы для своихъ художественныхъ замысловъ, никогда не погашалъ того идеальнаго свѣта, которымъ озарялись ихъ лучшія созданія. Самое возвышенное настроеніе, утонченнѣйшее моральное или религіозное чувство можетъ и должно быть изображено просто, реально, но то произведеніе будетъ ничтожно, въ которомъ за реализмомъ бытовой картины не видно тѣхъ внутреннихъ основъ, на которыхъ совершается человѣческая жизнь и которыя возвышаютъ человѣка при всѣхъ обстоятельствахъ надъ удручающими его внѣшними силами. Правда изображенія безъ правды внутренней, міровой, идеальной, мертва и ничтожна, и ни одна высокая литература не держится на произведеніяхъ, передающихъ жизнь только въ ея частныхъ, мѣстныхъ и временныхъ проявленіяхъ. Пушкинъ реалистъ, Гоголь реалистъ, Тургеневъ и Толстой реалисты, но, при реализмѣ формы, въ ихъ произведеніяхъ разлита настоящая, общечеловѣческая, міровая правда, которая возвышаетъ ихъ до степени вѣчныхъ созданій искусства. Но такого перворазряднаго художника демократическая волна не дала. При всей своей талантливости и сердечности художественныя произведенія Глѣба Успенскаго не могутъ быть сравнены ни въ какомъ отношеніи съ русскими классическими произведеніями. По силѣ вдохновенія, по цѣльности художественныхъ образовъ, это писатель, имѣющій лишь второстепенное значеніе въ общемъ теченіи настоящей русской литературы. Въ немъ есть талантъ, есть наблюдательность и мѣткость въ оцѣнкѣ различныхъ явленій народной жизни, но нѣтъ широкаго худо-

жественнаго кругозора и настроеній, захватывающихъ глубины народной души. Внутренняя незаконченность, прикрываемая публицистическими разсужденіями и отступленіями, постоянно даетъ себя чувствовать въ его произведеніяхъ, не позволяя сложиться цѣльному и сильному художественному впечатлѣнію. Новой эпохи въ русскомъ искусствѣ Успенскій, конечно, не открылъ. Отрадно, безъ сомнѣнія, что русское творчество расширило свой кругъ, что въ литературу вошли работники изъ новыхъ классовъ и внесли въ нее свой опытъ, свои жизненныя наблюденія. Но новые притоки, каковы-бы они ни были, не измѣняютъ направленія главнаго русла, а новая струя силъ, влившаяся въ русскую литературу съ освобожденіемъ крестьянъ, была только притокомъ... Тоже самое нужно сказать и о Щедринѣ. Это крупное, сильное, своеобразное, подчасъ стихійно-грубое дарованіе не создало въ Россіи никакой самостоятельной школы. Русская сатира, имѣющая свою довольно богатую исторію, окончательно создалась, окрасилась національнымъ цвѣтомъ и достигла мірового значенія въ произведеніяхъ Гоголя (кстати сказать, вовсе не принадлежавшаго къ обезпеченному, аристократическому классу, какъ это утверждаетъ Михайловскій). Въ Гоголѣ русскій смѣхъ звучитъ тѣми нотами, которыя въ другомъ видѣ можно открыть и у Пушкина, Лермонтова, Достоевскаго. Обличеніе достигаетъ у Гоголя такой глубины, какой оно никогда не достигало у Щедрина, не говоря уже объ его ничтожныхъ подражателяхъ. Гоголь предалъ бичеванію всю внутреннюю скверну русскаго характера и всего русскаго строя жизни, съ его чичиковскимъ подхалимствомъ, съ собакевичевской грубостью, съ ноздревской разнузданностью, съ плюшкинскимъ скряжничествомъ, съ слащавой и бездѣльной маниловщиной, съ разгульнымъ хлестаковскимъ враньемъ, съ многочисленными разновидностями самобытнаго хамства и мздоимства на всѣхъ ступеняхъ городской іерархіи. Въ произведеніяхъ его нарисованъ рядъ безсмертныхъ типовъ на широкомъ фонѣ бытовой картины, отъ которой вѣетъ глубокой тоскою и горькимъ отчаяніемъ,— то разливающимся въ заунывныхъ пѣсняхъ, то заглушаемымъ дикимъ топотомъ удалого трепака. Послѣ такой сатиры, вѣчной по существу и убійственной для своего времени, можно-ли говорить о нарожденіи русской сатиры въ лицѣ Салтыкова? По скольку въ произведеніяхъ Салтыкова имѣются настоящіе художественные типы, по стольку эти произведенія вливаются въ общее русло національной сатиры. А по скольку подъ чертами его героевъ скрываются намеки на разныхъ живыхъ людей современности и гражданскій протестъ, направленный противъ событій даннаго момента, по стольку его сатира стоитъ не выше чисто публицистическихъ произведеній его времени и съ каждымъ годомъ утрачиваетъ свой живой, понятный смыслъ и свое значеніе.

Во-вторыхъ, Михайловскій даетъ самое невѣрное представленіе о

значеніи для русской литературы реалистической критики. Отдѣлавшись пустымъ заявленіемъ, что статьи Добролюбова о Тургеневѣ и Гончаровѣ имѣли большое общественное значеніе, Михайловскій съ торжествомъ заявляетъ, что въ лицѣ знаменитыхъ публицистовъ того времени критика заставила художественныя произведенія давать отвѣты на сложные вопросы текущей жизни. Можно подумать, что въ этомъ именно и заключается задача художественной критики или, по крайней мѣрѣ, что окончательное отверженіе эстетики, совершенное критическимъ жезломъ Писарева, имѣло положительное значеніе для успѣховъ русской гражданственности. Вѣрный своему обыкновенію стрѣлять съ двухъ фронтовъ, Михайловскій дѣлаетъ уступку духу настоящаго времени, откровенно признаваясь, что нигилизмъ, какъ онъ выразился въ русской литературѣ, имѣлъ въ себѣ кое-что дурное (des choses mauvaises). Иллюстраціи и объясненія въ этомъ направленіи отсутствуютъ. Теоретическихъ соображеній, оправдывающихъ литературный нигилизмъ, хотя-бы съ исторической точки зрѣнія, не имѣется. Но въ общемъ дѣло представлено въ такомъ видѣ, какъ если-бы русская культура быстро и послѣдовательно подвигалась по пути прогресса, несмотря на разныя мелкія, частныя ошибки. А между тѣмъ, картина умственнаго развитія тогдашняго общества, съ его вождями и храбрыми борцами на кочковатомъ полѣ русскаго журнализма, должна быть нарисована иными чертами, гораздо менѣе оптимистическими красками. Предавшись несвойственной ея природѣ гражданской агитаціи, критика 60-хъ годовъ перемѣшала неподкупные научные критеріи съ утилитарными жизненными мѣрилами и тѣмъ принизила въ обществѣ живое пониманіе искусства, требованія художественнаго вкуса. Духовная культура прямо проиграла отъ этой критики, а культура гражданская, выигравъ на первое время черезчуръ мало, въ концѣ концовъ — нуждаясь для своихъ дальнѣйшихъ успѣховъ въ возвышающихъ идеяхъ и понятіяхъ—потеряла подъ собою, отъ ея воздѣйствія, надлежащую почву. Наконецъ, *въ-третьихъ*, Михайловскій не объясняетъ намъ, какой именно свѣтъ внесенъ въ сознаніе русскаго общества «крайнимъ культомъ» естественныхъ наукъ, какую пользу принесъ русскому просвѣщенію матеріализмъ Бюхнера и Молешота, прошедшій въ нашу жизнь черезъ посредство переводныхъ сочиненій и журнальныхъ компиляцій по иностраннымъ образцамъ. Конечно, общество, не имѣющее никакихъ серьезныхъ философскихъ преданій, легко могло ухватиться и за матеріализмъ, какъ за нѣчто увлекательное и способное вывести его на широкую историческую дорогу, но странно видѣть теперь въ реалистическихъ разглагольствованіяхъ недавнихъ дѣятелей печати какой-бы то ни было прогрессъ въ смыслѣ установленія прочныхъ началъ для прочнаго міровоззрѣнія. То, что подносилось русскому обществу въ разсматриваемую эпоху, какъ вер-

ховная истина, важная для теоретическихъ и практическихъ выводовъ, не можетъ быть даже сравниваемо съ философскими идеями литературныхъ дѣятелей 30-хъ и 40-хъ годовъ. Въ теоретическихъ замѣткахъ Надеждина была огромная эрудиція, настоящее пониманіе предмета. Въ философскихъ разсужденіяхъ Бѣлинскаго въ лучшую, свѣтлую пору его критической дѣятельности была настоящая жизненная сила, которая могла-бы развернуться широко и съ огромной пользой для русскаго просвѣщенія, если-бы болѣе глубокія умственныя вліянія поставили его на твердую дорогу. Мы уже не говоримъ о тѣхъ философскихъ статьяхъ, которыя были написаны Герценомъ въ духѣ гегелевской системы: въ нихъ проявился талантъ исключительный, сила мышленія оригинальная, яркая, вдохновенная, какая встрѣчается только у перворазрядныхъ людей. Но въ матеріализмѣ жизни нѣтъ. Отправляясь отъ фальшиваго представленія о природѣ человѣческаго существа, превращая всѣ проявленія разумнаго начала въ механическое дѣйствіе мертвыхъ силъ, матеріализмъ не можетъ дать объясненій высшимъ стремленіямъ человѣческаго духа и потому не можетъ служить рычагомъ для возбужденія въ людяхъ глубокихъ нравственныхъ потребностей. Его ошибка въ ложномъ взглядѣ на матерію, какъ на причину первоначальную, тогда какъ, въ дѣйствительности, самое понятіе матеріи уже предполагаетъ нѣчто, создающее наши представленія и понятія о внѣшнемъ мірѣ вообще. Его заблужденіе заключается въ томъ, что, покинувъ путь критическаго мышленія, онъ ударился въ наивный догматизмъ, мертвящій всѣ наши психологическія и логическія изысканія. Будучи крайней реакціей противъ нѣкоторыхъ спиритуалистическихъ теорій, матеріализмъ имѣлъ еще какой-нибудь историческій смыслъ на Западѣ, но въ Россіи онъ былъ настоящимъ уродливымъ явленіемъ. Въ кипучемъ водоворотѣ европейской философіи матеріализмъ былъ тою пѣною, безъ которой нельзя себѣ представить никакого водоворота, но въ Россіи онъ былъ случаенъ, какъ пѣна, выброшенная на сухой берегъ бурными волнами европейскаго океана. Этого не принялъ во вниманіе Михайловскій и, говоря о чрезмѣрномъ культѣ естественныхъ наукъ, водворенномъ въ Россіи Писаревымъ, онъ не сумѣлъ отмѣтить истинныхъ свойствъ этого безпочвеннаго реалистическаго движенія. Тутъ потребовалась-бы критика—не подъ банальнымъ, субъективнымъ угломъ зрѣнія, а критика философская въ истинномъ смыслѣ слова, которою Михайловскій никогда не занимался. Тутъ потребовались-бы такія знанія и соображенія, для которыхъ во всей предыдущей дѣятельности Михайловскаго безпристрастный читатель не найдетъ никакихъ матеріаловъ. При настоящемъ анализѣ россійскаго реализма выводы получились-бы неутѣшительные, но за то правдивые, вѣрные и важные для разсѣянія тѣхъ умственныхъ тумановъ, которые застилаютъ пути русскаго прогресса. Но для такой работы нуженъ былъ-бы

человѣкъ съ свободнымъ умомъ, который дорожилъ-бы будущимъ больше, чѣмъ прошедшимъ, который дорожилъ-бы тѣмъ, что доступно человѣческой природѣ вообще, болѣе, чѣмъ мелкими успѣхами какой-нибудь эпохи. Только крупный талантъ, вооруженный знаніями, сможетъ совершить это дѣло съ надлежащею силою и полнымъ успѣхомъ. А Михайловскій, мучительно распинающійся на всѣ возможные лады, чтобы заполнить собою пропасть, раздѣляющую матеріализмъ и идеализмъ, совершенно неспособенъ для разрѣшенія такой задачи.

III.

Переходимъ къ третьей главѣ статьи Михайловскаго. Въ 1868 г. во главѣ «Отечественныхъ Записокъ» сталъ Некрасовъ. Онъ возродилъ въ своемъ журналѣ реалистическое движеніе—исканіе истины,—о которомъ уже говорилось выше. Послѣ смерти Некрасова въ 1877 г. его мѣсто въ редакціи журнала занялъ Щедринъ, и «злой смѣхъ его плодовитой музы разразился на всю Россію». Щедринъ соединялъ въ себѣ тонкое знаніе русской жизни съ широкимъ политическимъ идеаломъ и страстной любовью къ русскому народу. Рядомъ съ Щедринымъ, отличавшимся большою образованностью, стоялъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» Глѣбъ Успенскій, человѣкъ съ отзывчивой душою, но съ «мало образованной музою». Оригинальность его таланта заключается въ сочетаніи юмористическихъ и трагическихъ элементовъ. Его любимая тема—жизнь народа. Трогательная и безпредѣльная искренность, сильное и глубокое чувство, одухотворяющее его произведенія—вотъ качества, сдѣлавшія его однимъ изъ самыхъ любимыхъ авторовъ Россіи. Постояннымъ вкладчикомъ «Отечественныхъ Записокъ» былъ и Златовратскій, который, быть можетъ, стоитъ выше Успенскаго въ отношеніи законченности своихъ произведеній, но далеко уступаетъ ему въ гибкости и глубинѣ таланта. Кромѣ этихъ писателей, составлявшихъ, повидимому, главныя силы журнала, Михайловскій упоминаетъ еще Гаршина, Крестовскаго (псевдонимъ) и Мамина-Сибиряка. Всѣ эти таланты группировались вокругъ «Отечественныхъ Записокъ», статьи которыхъ воплощали въ строго логической формѣ особое движеніе, умѣвшее критически относиться къ недостаткамъ парламентскаго западно-европейскаго строя, надлежащимъ образомъ подчеркнувшее то, что прогрессъ наукъ и промышленности не только не улучшилъ положеніе рабочихъ классовъ, но, напротивъ, обострилъ кризисъ. Эти сомнѣнія относительно западно-европейской цивилизаціи составляютъ одинъ изъ элементовъ, такъ называемой, народнической литературы, т. е. литературы, посвященной народу и занимающейся исключительно народомъ.

Параллельно съ художественной и публицистической пропагандой, дѣя-

тели «Отечественныхъ Записокъ» разрушали теологическія и метафизическія тенденціи русской мысли. Пройдя черезъ матеріализмъ Бюхнера и Молешота, они примкнули къ позитивизму Огюста Конта и къ нео-кантіанству, не подчинившись, однако, слѣпо ихъ вліянію. Французскіе писатели, Гюйо и Фулье, также повліяли на русскій прогрессъ. Дарвинъ и Спенсеръ присоединили свое вліяніе къ тѣмъ, которые воздѣйствовали на русскую литературу.

Вотъ какъ Михайловскій рисуетъ ту эпоху въ литературномъ развитіи Россіи, когда «Отечественныя Записки» стояли во главѣ общественнаго движенія. Въ области искусства выдавались Щедринъ, Успенскій, Златовратскій, Гаршинъ, Хвощинская и Маминъ-Сибирякъ. Въ сферѣ критики и публицистики передовые люди вѣка разрушали нѣкоторыя наивныя иллюзіи относительно западно-европейской культуры и, видя безсиліе науки и индустріи поднять благосостояніе массъ, разрабатывали соціальные вопросы въ духѣ народничества. Наконецъ, философія достигла своей настоящей высоты, совершивъ либеральную эволюцію отъ матеріализма Бюхнера и Молешота къ Огюсту Конту и нео-кантіанству. Вотъ тѣ элементы, въ которыхъ, какъ въ чистомъ зеркалѣ, отразились лучшія прогрессивныя тенденціи того времени: либеральное искусство, антипарламентская публицистика и философія, поднявшаяся на небывалую высоту. Другихъ стремленій и силъ, дѣйствовавшихъ на пользу Россіи, Михайловскій не видитъ и не признаетъ. Молодая умственная Россія вся сосредоточилась въ «Отечественныхъ Запискахъ», служившихъ единственнымъ орудіемъ для возрожденія русскаго народа. Усердный звонарь своего прихода, Михайловскій никогда не упускаетъ случая потрезвонить славою того журнала, въ которомъ онъ былъ когда-то однимъ изъ главныхъ дѣятелей. «Отечественныя Записки» были единственнымъ источникомъ умственнаго свѣта для Россіи, и съ паденіемъ этого журнала русская литература потеряла все, что въ ней было лучшаго, чистаго, характернаго въ національномъ смыслѣ. Сравнительно второстепенныя явленія русскаго искусства выдвинуты впередъ, а все то, что было въ то время особенно мощнаго, оригинальнаго и наиболѣе значительнаго, что шло въ главномъ руслѣ народной литературы, — Толстой, Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ и др., что продолжало дѣло Пушкина и Гоголя—все это подвергнуто сомнѣнію съ точки зрѣнія либеральнаго устава и пренебрежительно отодвинуто на задній планъ. Иностранные читатели, конечно, не оцѣнятъ и, пожалуй, не поймутъ этого почти комическаго tour de force, но въ Россіи такія сужденія могутъ быть поняты во всей ихъ незамысловатости. Такъ и должно быть. Критика, потерявшая свой предметъ, не вѣдающая своей настоящей задачи, управляемая случайными критеріями,—такая критика должна была предпочесть литературныя произведенія, явно бью-

щія въ опредѣленную цѣль, произведеніямъ съ большими психологическими замыслами и творческою глубиною, изъ которыхъ опредѣленные гуманные выводы могутъ быть сдѣланы самими читателями. Вотъ моментъ, когда русская критика, пережившая Бѣлинскаго, повернувшая на публицистическій путь благодаря Чернышевскому и Добролюбову, разнуздавшаяся при Писаревѣ, дошла до полнаго ничтожества въ лицѣ писателя, сообщающаго нынѣ французской публикѣ, что вершиною русскаго просвѣщенія должны быть признаны «Отечественныя Записки». Михайловскій жалуется на печальное состояніе нашей литературы, на то, что дѣятели настоящаго момента не обнаруживаютъ крупныхъ талантовъ, но онъ не видитъ при этомъ, гдѣ находится одна изъ важныхъ причинъ современнаго литературнаго измельчанія, хотя непредубѣжденное изслѣдованіе прошедшихъ фактовъ нашей умственной исторіи могло бы обнаружить передъ нимъ въ истинномъ свѣтѣ тѣ силы, которыя онъ стремится, во что бы то ни стало, поднять выше ихъ истиннаго значенія.

Что касается философской публицистики «Отечественныхъ Записокъ», опередившей въ своихъ политическихъ тенденціяхъ государственныя идеи Западной Европы и поравнявшейся въ своемъ полетѣ съ Огюстомъ Контомъ и нео-кантіанствомъ, то и въ этомъ отношеніи соображенія Михайловскаго, выраженныя въ нѣсколькихъ строкахъ, заключаютъ въ себѣ ошибку наивнаго самоудовлетворенія. На какія статьи, на какія произведенія намекаетъ здѣсь Михайловскій? Какія философскія идеи проводились въ «Отечественныхъ Запискахъ» съ такимъ талантомъ, что о нихъ стоитъ говорить въ столь краткой исторіи русскаго литературнаго прогресса? Кто именно такъ изучилъ и прозрѣлъ позитивную философію, что далъ возможность обществу понять ее въ ея достоинствахъ и истинныхъ недостаткахъ? Гдѣ слѣды изученія Канта въ Россіи того времени и какимъ образомъ могло воцариться нео-кантіанство въ литературѣ, въ которой о Кантѣ не было сказано рѣшительно ничего оригинальнаго и самостоятельнаго? Попробуйте спросить какого угодно передового русскаго человѣка, воспитавшагося на «Отечественныхъ Запискахъ» и даже читавшаго тяжеловѣсныя, хотя и не лишенныя серьезности, сочиненія Лесневича, прикомандированнаго къ журналу въ качествѣ либеральнаго депутата отъ философіи, спросите самого Михайловскаго, какъ развилось нео-кантіанство, каково его отношеніе къ Канту, въ чемъ его основной теоретическій принципъ, — и можно сказать съ увѣренностью, что вы получите либо уклончивый, либо самый неопредѣленный отвѣтъ. Для вникающихъ въ дѣло должно быть ясно, что единственный путь, ведшій отъ нео-кантіанства къ «Отечественнымъ Запискамъ», шелъ черезъ либеральную добропорядочность Лесневича и что самобытно-субъективная философія наиболѣе породистыхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» должна была-бы явно скандализиро-

вать этого представителя нео-кантіанства, если-бы онъ обладалъ, кромѣ либеральной добропорядочности, еще и мужествомъ призваннаго борца науки. Логической связи между русскимъ журналомъ и именно этой отраслью западно-европейской философіи нѣтъ. Нео-кантіанство пристроилось къ «Отечественнымъ Запискамъ» совершенно случайно и положительно можно сказать, что ни философія, ни либерализмъ отъ этого ничего не выиграли: въ одну телѣгу впрячь не можно коня и трепетную лань!

IV.

Но Михайловскій даетъ намъ краткую характеристику и великановъ русскаго искусства въ четвертой главѣ своей статьи, представляющей въ самыхъ мрачныхъ краскахъ современное положеніе вещей въ русской литературѣ. Рядомъ съ писателями «Отечественныхъ Записокъ», говоритъ онъ, были еще другіе, принадлежавшіе къ предшествующему поколѣнію, не принявшіе программы журнала. Въ ихъ числѣ мы находимъ Тургенева, съ его романомъ «Отцы и дѣти», Гончарова, который пошелъ еще дальше Тургенева въ «Обрывѣ», и Писемскаго съ его романомъ «Взбаломученное море». Достоевскій и Катковъ (?) писали въ еще болѣе реакціонномъ направленіи. Тургеневъ и Гончаровъ, говоритъ Михайловскій, никогда не покидали точки зрѣнія умѣреннаго либерализма, представляемаго въ Россіи «Вѣстникомъ Европы». Достоевскій, по возвращеніи изъ Сибири, кончилъ тѣмъ, что основалъ нео-славянофильскую школу. Два несчастья его жизни—эпилепсія и пребываніе въ ссылкѣ—наложили пагубную печать на его литературную дѣятельность. Его талантъ сдѣлался слишкомъ болѣзненнымъ, его творенія слишкомъ пессимистическими. Остатокъ демократическихъ тенденцій, пережившій его несчастья, превратился въ крайній мистицизмъ, который сдѣлалъ изъ него отчаяннаго врага всякихъ реформъ. Онъ дошелъ до того, что возвелъ въ культъ каторгу, которая разбила его жизнь и которую онъ такъ разительно описалъ въ «Запискахъ изъ мертваго дома». Наконецъ, онъ сталъ вѣрить въ то, что русскій народъ желаетъ страданія: это отвѣчало потребностямъ его собственной души и его жестокаго таланта. «Заграницей желали видѣть въ произведеніяхъ Достоевскаго воплощеніе русской души. Это просто ошибка. Русская литература гордится различными произведеніями этого автора, признаетъ могущество его таланта, преклоняется передъ его замѣчательнымъ анализомъ, но она не допускаетъ, чтобы Достоевскаго можно было признать представителемъ души своего народа».

Опредѣливъ такимъ образомъ литературное значеніе Тургенева, Гончарова, Писемскаго, Достоевскаго, Михайловскій въ немногихъ словахъ даетъ либеральную оцѣнку дѣятельности гр. Л. Толстого. Гр. Толстой пытался

насаждать просвѣщеніе въ Россіи и въ своихъ педагогическихъ статьяхъ, не имѣвшихъ никакого успѣха, указывалъ на печальные результаты западно-европейской цивилизаціи. Разсказы, романы и повѣсти его, въ противоположность статьямъ, вызывали общій энтузіазмъ. «Всѣ произведенія Толстого, говоритъ Михайловскій, вращаются въ сферѣ привилегированныхъ классовъ, изображая ихъ то раздавленными тяжестью собственнаго положенія, то несчастными и завидующими мужикамъ, то спокойно наслаждающимися сладостями, предоставленными имъ жизнью». Предавшись публицистической дѣятельности, Толстой прошелъ черезъ цѣлый рядъ внутреннихъ превращеній. Онъ началъ съ того, что присвоилъ себѣ вѣрованія народа и кончилъ тѣмъ, что создалъ собственную вѣру, сдѣлавшись моралистомъ и теологомъ. Русская литература потеряла вслѣдствіе этого громадный талантъ писателя и пріобрѣла взамѣнъ мало послѣдовательнаго и очень туманнаго мистика.

Итакъ, съ паденіемъ «Отечественныхъ Записокъ» въ 1881 г. русская либеральная литература потеряла своихъ главныхъ вождей, а писатели, не принявшіе программы этого журнала, и безъ того мало содѣйствовали интересамъ русскаго прогресса. Современное положеніе литературы почти безнадежно. Реакція поколебала прежніе идолы, вся работа прошедшаго поколѣнія оказалась потерянной для представителей современности. Современное поколѣніе лишено идеала и даже не знаетъ, гдѣ его искать. Старые журналы, въ которыхъ свѣтилась русская душа либеральной эпохи, почти недоступны публикѣ. Мы присутствуемъ при полномъ упадкѣ литературы. Отъ времени до времени выступаютъ люди, желающіе сказать намъ новое слово, и общество было-бы радо послѣдовать за ними, но—увы! всѣ эти новыя слова не больше, какъ мистическія галлюцинаціи или метафизическія построенія: новые пророки въ большинствѣ случаевъ не обладаютъ ни талантомъ, ни авторитетомъ. «Русская литература стала тусклой и печальной, какъ осенніе дни нашего отечества». Между современными русскими писателями Михайловскій отмѣчаетъ Фофанова, Минскаго, Мережковскаго, Чехова и Короленко, при чемъ свои симпатіи выражаетъ только послѣднему.

Въ Россіи опять не стало ни журавля, ни синицы!

Съ точки зрѣнія журнальнаго устава Тургеневъ и Гончаровъ не болѣе, какъ умѣренные либералы, а Писемскій просто ретроградъ—какъ будто эти писатели сочиняли публицистическія статьи на экономическія или юридическія темы, а не художественныя произведенія, выражающія глубокое пониманіе русскаго народа и русскаго интеллигентнаго общества. Достоевскій оказался какимъ-то изувѣромъ, котораго иностранцы только по ошибкѣ считаютъ представителемъ русскаго національнаго характера. Онъ бредилъ о величіи русскаго народа, носился съ какими-то мессіанскими идеями,—значитъ, онъ ничего не могъ дать русскому прогрессу,

русской умственной культурѣ! Достоевскій, преемникъ Гоголя, такъ сказать—пророкъ среди свѣтскихъ писателей, долженъ уступить мѣсто, въ своемъ значеніи для русской культуры, Хвощинской, Златовратскому, Мамину-Сибиряку. Гр. Л. Толстой, на публичномъ судилищѣ передъ интеллигентною Европою, подъ предсѣдательствомъ всемірно-извѣстнаго Михайловскаго, оказался буржуазнымъ беллетристомъ, туманнымъ и мало послѣдовательнымъ философомъ-мистикомъ. Но въ Европѣ знаютъ беллетристическія произведенія Толстого, а всякій, знающій автора «Войны и мира» съ его психологіей толпы, съ его почти народническимъ сопоставленіемъ Пьера Безухова съ Каратаевымъ, автора «Севастополя», «Казаковъ», «Трехъ смертей», гдѣ все уравнено передъ лицомъ смерти, автора «Поликушки», «Власти тьмы», «Плодовъ просвѣщенія» и многихъ геніальныхъ сказокъ, написанныхъ въ чисто народномъ стилѣ,—пойметь всю плоскость этой характеристики Михайловскаго. А публицистическія произведенія Толстого, ясныя, смѣло рѣжущія все глубже и глубже человѣческую психологію, вдохновенно прокладывающія дорогу широкимъ нравственнымъ понятіямъ въ дебри и трущобы запутанной человѣческой жизни, почти нелѣпо сопоставлять съ лилипутскими напряженіями русскихъ журналистовъ, самодовольно величающихся своими либеральными подвигами, которые, по собственнымъ словамъ Михайловскаго, уже безсильны оказать какое-либо вліяніе на современные умы. Михайловскій думаетъ, повидимому, что съ Достоевскимъ и Толстымъ такъ-же легко раздѣлаться передъ лицомъ безпристрастнаго европейскаго общества въ немногихъ либеральныхъ словахъ, яко-бы таящихъ въ себѣ какіе-то значительные намеки и политическія глубины, какъ передъ лицомъ довѣрчивой русской публики, сбитой съ толку рабскимъ языкомъ прикрытыхъ выраженій и недомолвокъ. Ему представляется, что люди, знакомые съ истинно-философскими понятіями и имѣющіе возможность разбираться во всѣхъ произведеніяхъ Толстого, такъ-же легко разсудятъ и осудятъ его міровоззрѣніе, какъ нѣкіе позитивисты «Отечественныхъ Записокъ», состоявшіе въ дружескомъ союзѣ съ нео-кантіанствомъ. Такъ увѣренно и бездоказательно говорить предъ интеллигентной публикой о писателяхъ и общественныхъ дѣятеляхъ можно либо тогда, когда судишь о ничтожныхъ величинахъ, либо тогда, когда надѣешься, что мелькомъ брошенное слово упадетъ на вполнѣ подготовленную почву. А Михайловскій судитъ о русской литературѣ во французскомъ журналѣ особенно увѣренно и особенно бездоказательно. Невольно задаешься вопросомъ по прочтеніи его статейки: что должны думать французы о ходѣ нашего литературнаго и общественнаго прогресса, да и что думаетъ самъ Михайловскій о законахъ всякаго прогресса? До 1857 г. не было въ Россіи ни журавля, ни синицы. Съ 1857 г. по 1881 г., когда закрылись «Отечественныя Записки», были и журавль, и синица. Послѣ 1881 г.—

опять ни журавля, ни синицы. О синицѣ мы не будемъ говорить. Но куда могъ дѣваться журавль, неожиданно взлетѣвшій надъ полемъ русской журналистики? Неужели высоко парящаго журавля такъ легко захватить въ клѣтку? Неужели серьезныя умственныя стремленія, разъ они дѣйствительно возникли и окрѣпли, такъ легко пропадаютъ для культуры, для дальнѣйшаго прогресса? Повидимому, Михайловскому, имѣющему о прогрессѣ свое особенное, субъективное представленіе, полагающему, что всѣ источники, питавшіе умственную жизнь Россіи, окончательно изсякли, остается разсчитывать только на благосклонность фортуны: вдругъ свалится откуда-нибудь новая, живительная идея, вдругъ общество съ раскаяніемъ вернется къ нео-кантіанскимъ и анти-парламентскимъ завѣтамъ «Отечественныхъ Записокъ».

1894, апрѣль.

Вражда и борьба партій.

I.

Вѣтеръ и солнце спорили однажды между собою о томъ, кто изъ нихъ сумѣетъ разоружить всадника, который, закованный въ латы, завернутый въ плащъ, съ копьемъ въ рукѣ и мечомъ у пояса, несся куда-то къ своей цѣли, топча копытами лошади луга и обработанныя крестьянами поля. Вѣтеръ самоувѣренно сказалъ, что онъ могущественнѣе солнца и приступилъ къ состязанію. Рванувшись навстрѣчу всаднику, онъ взвилъ его плащъ, ударилъ ему въ глаза, дохнулъ холодомъ въ его грудь. Но всадникъ лишь плотнѣе завернулся въ плащъ, поднялъ капюшонъ и, укрѣпившись въ стременахъ, пришпорилъ коня. Тогда вѣтеръ, обозлившись, подулъ еще сильнѣе и метнулъ пылью въ глаза ему и его лошади. Всадникъ раздраженно прищурился и еще сильнѣе сдавилъ ногами бока лошади, которая бѣшено помчалась впередъ. Вѣтеръ напрягъ послѣднія усилія. Онъ яростно взметнулъ цѣлое облако песку и пыли и закрутился вихремъ, который на мгновеніе какъ бы поглотилъ всадника. Но прошла минута, и всадникъ вылетѣлъ изъ удушливаго хаоса цѣлый и невредимый... Тогда настала очередь солнца. Оно ласково выглянуло изъ-за тучи, пригрѣло землю и заиграло свѣтлыми лучами на травѣ и придорожныхъ деревьяхъ. Всадникъ сбросилъ капюшонъ и, распахнувъ плащъ, съ удовольствіемъ вдохнулъ свѣжій воздухъ. Солнце стало грѣть сильнѣе. Всадникъ совершенно сбросилъ плащъ и, опустивъ поводья, сталъ искать по сторонамъ тѣни и какого нибудь ключа воды, чтобы утолить просыпающуюся жажду. Торжествующее солнце изливало на землю все болѣе и болѣе жгучіе лучи, которые раскаляли латы всадника, жгли его голову черезъ желѣзный шлемъ, палили ему лицо, сушили губы. Изнеможенный всадникъ долженъ былъ остановить коня подъ первымъ попавшимся деревомъ, слѣзть на землю и сбросить съ себя всѣ тяжеловѣсные доспѣхи.

Эта сказка удачно передаетъ различные пріемы человѣческихъ обществъ въ борьбѣ съ грубою, темною, эгоистическою силою, стоящею на пути прогресса. Въ каждомъ обществѣ есть, несомнѣнно, нѣчто такое, что обезображиваетъ человѣческія отношенія, разбиваетъ лучшія стремленія наиболѣе дѣятельныхъ и способныхъ людей. Въ каждомъ обществѣ развитіе совершается мучительными напряженіями протестантской энергіи. Различные люди вносятъ въ борьбу свои средства, но, желая сражаться съ трудно уловимымъ врагомъ, борятся другъ съ другомъ. Каждый добивается лучшихъ условій жизни, руководствуясь своими инстинктами, привычками, интересами. Выражая опредѣленныя жизненныя требованія, но не отдавая себѣ яснаго отчета въ томъ, что именно создаетъ эти требованія, какія влеченія души находятъ въ нихъ свой отголосокъ, люди собираются для борьбы въ отдѣльныя партіи. Эти партіи выбрасываютъ свои знамена, смыкаются въ тѣсныя группы съ опредѣленными уставами и программами и сосредоточиваютъ всѣ свои усилія на осуществленіи точно намѣченныхъ желаній. Все постороннее, выходящее изъ круга партійныхъ интересовъ, отодвигается, какъ нѣчто ненужное и даже вредное для успѣха борьбы. Общечеловѣческія задачи культуры, требующія совокупной работы всѣхъ умовъ, меркнутъ передъ отчетливо обрисованными партійными цѣлями, создавшимися изъ смутныхъ стремленій къ добру, перемѣшанныхъ съ темными безотчетными инстинктами, свойственными человѣческой природѣ. То, что нужно для широкаго историческаго развитія—свѣтъ идей, высшіе идеалы религіознаго сознанія, все то, безъ чего безпочвенна, безсмысленна всякая борьба, все это задыхается въ чаду воинственнаго увлеченія, потерявшаго свой руководящій принципъ. Борьба партій между собою какъ-бы вытѣсняетъ борьбу со зломъ и, не имѣя опоры въ элементахъ высшаго порядка, ожесточается, переходитъ въ слѣпую вражду. Во имя человѣческаго блага попираются справедливость и гуманность, наносятся глубокія раны человѣческому достоинству,—въ наивномъ предположеніи, что насиліемъ можно проложить дорогу прогрессу. Во имя желанной внѣшней свободы заковывается въ цѣпи духъ свободнаго изслѣдованія, который рвется изъ узкой программы, чтобы превратить партійную борьбу въ служеніе высшимъ задачамъ. Прикрываясь фальшивыми, развращающими теоріями, что цѣли оправдываютъ средства, люди въ борьбѣ за правду и право плодятъ зло и безправіе и топчутся на одномъ мѣстѣ, ослѣпленные иллюзіями успѣха. Культура осложняется, но человѣческая природа дичаетъ. Борьба партій переходитъ въ какую-то свалку, въ которой люди уже не разбираются въ своихъ собственныхъ мотивахъ, устремляя всю энергію лишь на то, чтобы добить врага чѣмъ попало. Въ общей сумятицѣ сливаются голоса честныхъ и нечестныхъ людей, фанатическихъ демагоговъ, готовыхъ

на всякую жертву, и развязныхъ шарлатановъ, избѣгающихъ жертвъ и опасностей, но толкающихъ на жертву другихъ. Все перемѣшивается въ этомъ хаосѣ. Наглые пустозвоны вопіютъ о народномъ благѣ. Люди правдивые и гуманные по природѣ боязливо держатся за освященные стариною устои и, страшась всякой уличной суеты, всякаго массоваго движенія, ищутъ какихъ-то мирныхъ святынь, неприступныхъ убѣжищъ. Беззастѣнчивые эксплуататоры и карьеристы, пользуясь общимъ замѣшательствомъ, открыто проповѣдуютъ всякое насиліе и глумятся надъ правами человѣка, ссылаясь при этомъ на святость закона. Либералы и радикалы всѣхъ подраздѣленій и нравственныхъ порядковъ, консерваторы и ретрограды всѣхъ степеней и оттѣнковъ—всѣ толкуютъ о переустройствѣ жизни, о передѣлкѣ общественныхъ отношеній ради чего-нибудь лучшаго. Всѣ спорятъ о тѣхъ средствахъ, какими этого можно добиться, но никто при этомъ не обращается для разъясненія вопроса къ тому, что есть одновременно и конечная цѣль соціальныхъ стремленій и рычагъ для разрѣшенія всѣхъ историческихъ задачъ: къ внутренней человѣческой личности, съ ея психологическими особенностями, съ ея потребностями, съ прирожденными ей духовными инстинктами свободы и высшей любознательности. Внѣшніе аргументы, которыми обмѣниваются представители различныхъ партій и которые были придуманы, можетъ быть, людьми съ оригинальными умственными силами, быстро застываютъ въ мертвыя схемы, переходящія изъ поколѣнія въ поколѣніе, уже ни на кого глубоко не вліяя. Уставы заучиваются съ раннихъ лѣтъ, и всѣ сужденія текутъ по проложеннымъ русламъ, не освѣжаясь никакими внутренними притоками. Вмѣсто живыхъ принциповъ, люди привыкаютъ руководствоваться шаблономъ, къ которому механически прикидывается всякій данный случай. Вся жизнь, съ ея сдавленными соціальными силами, съ ея скрытыми во мракѣ, но вопіющими потребностями, съ ея готовностью широко развернуться при первомъ проблескѣ настоящаго солнечнаго свѣта, превращается, подъ градомъ безсодержательныхъ либеральныхъ, консервативныхъ и ретроградныхъ фразъ, во что-то плоское, безформенное, мертвенное, подобно примятому и притоптанному полю. Молодыя силы, привыкая судить о вещахъ съ точки зрѣнія готовыхъ программъ и чужихъ уставовъ, не находятъ себѣ никакого дѣла, которое могло-бы увлечь ихъ въ борьбу съ дѣйствительнымъ зломъ. Общество не ростетъ, прогрессивныя движенія сковываются двойными цѣпями. Борьба политическихъ партій держитъ общественную мысль на поверхности явленій, и вотъ почему можно сказать, что эта борьба, со всѣми напряженіями энергіи, со всею затратою честныхъ силъ, со всѣми ея вольными и невольными жертвами, сама по себѣ ничего не разрѣшаетъ, ничего не улучшаетъ. Самое понятіе гражданственности суживается. Въ пылу партійныхъ пристрастій и расчетовъ, идея гражданственности те-

ряетъ свою живую душу, принимаетъ слишкомъ утилитарную окраску. Экономическіе и юридическіе интересы ставятся конечною цѣлью борьбы, а вся духовная жизнь людей загоняется въ узкое русло и даже противопоставляется настоящимъ, реальнымъ потребностямъ, какъ какой-то капризъ распущенной фантазіи, какъ дорогая и, по существу, не всѣмъ нужная бездѣлка роскоши. Центръ борьбы переносится въ экономическую и юридическую сферу, которая, разрывая связь съ идеями науки, философіи и религіи, лишается оживлявшихъ ее соковъ и высыхаетъ въ огнѣ задорныхъ перестрѣлокъ и отчаянныхъ схватокъ. Гражданственность, которая должна была-бы быть только орудіемъ духовнаго совершенствованія, начинаетъ служить сама себѣ и превращается въ какую-то грубую соціальную стихію, требующую слѣпого подчиненія, культа, кровавыхъ жертвоприношеній во имя своихъ идоловъ, уже не символизирующихъ болѣе никакого высшаго начала. Узкое опредѣленіе гражданственности вытѣсняетъ болѣе широкое, въ которомъ уже предусмотрѣны и низшіе, и высшіе интересы человѣческаго существованія. Исканіе тѣхъ формъ жизни, при которыхъ могутъ свободно развиваться внѣшнія, естественныя потребности человѣка, становится дѣломъ единственно достойнымъ честнаго гражданина. Въ идеѣ гражданственности, такимъ образомъ понятой, пропадаетъ идеальный элементъ — представленіе о *внутреннемъ* человѣкѣ, о свойственныхъ его природѣ умственныхъ и нравственныхъ стремленіяхъ, свободное развитіе которыхъ составляетъ конечную, разумную цѣль настоящей, высокой гражданственности. Въ этомъ и заключается различіе между утилитарною гражданственностью, шумно воинствующею въ современномъ общественномъ строѣ, и гражданственностью идеальною, желанною, время которой, повидимому, еще не пришло, но которая свѣтится впереди насъ, быть можетъ, гдѣ-то близко, которая уже волнуется въ утреннемъ туманѣ грядущаго столѣтія...

Высшая гражданственность включаетъ въ себѣ гражданственность низшую, утилитарную, какъ естественный выводъ изъ опредѣленнымъ образомъ поставленныхъ логическихъ посылокъ. Внутренняя свобода не воплотится въ живыхъ дѣйствіяхъ, если нѣтъ свободы внѣшней, и тотъ, кто борется подъ знаменемъ идеализма, не можетъ быть въ рядахъ людей, попирающихъ интересы общественной справедливости, на поприщѣ практическомъ. Міровоззрѣніе, обращенное къ высшимъ нравственнымъ и умственнымъ цѣлямъ, требуетъ отъ человѣка справедливой защиты справедливыхъ жизненныхъ задачъ и никогда не примирится ни съ какимъ произволомъ подъ какою-бы формою онъ ни проявился, какимъ-бы названіемъ онъ ни прикрывался. Но гражданственность утилитарная, отвернувшаяся отъ требованій внутренняго человѣка, утратившая нравственную щепетильность и брезгливость, не пренебрегающая никакими средствами, можетъ завести человѣка и всю

соціальную культуру, вопреки какимъ-бы то ни было добрымъ и честнымъ намѣреніямъ, на путь узкій и погибельный. Сражаясь за слабыхъ и угнетенныхъ, преслѣдуя насиліе и нетерпимость, осуждая грубое могущество классовъ, тѣсно сплоченныхъ единствомъ эгоистическихъ интересовъ, утилитарная гражданственность, незамѣтно для себя, сворачиваетъ на ту дорогу, по которой съ давнихъ временъ идетъ всякая слѣпая житейская сила. Внѣшній, формальный либерализмъ, оторвавшись отъ своихъ психологическихъ корней, становится мало по малу, подобно консерватизму, какою-то тиранією, преслѣдующею свободное научное и философское исканіе, всякое проявленіе свободнаго разума и свободной совѣсти, и такимъ образомъ самъ себя разрушаетъ, насаждая именно то, противъ чего хотѣлъ бороться. А врагъ укрѣпляется.

Въ обществѣ, гдѣ интересы науки, философіи и религіи обособлены отъ интересовъ гражданственности, борьба политическихъ партій принимаетъ характеръ грубаго стихійнаго напора, порывистаго, но безсильнаго, подобно напору вѣтра въ изложенной нами сказкѣ. Напрягаются силы, затрачивается огромная энергія, приносятся безконечныя жертвы, но врагъ не разоружается и желанное благо не приходитъ. Дѣятельныя силы страны, ожесточенныя неудачами, истощивъ всѣ средства борьбы, приходятъ, наконецъ, въ замѣшательство, которое передается обществу, повергая его въ уныніе, заставляя его разочароваться въ бодрящихъ, многообѣщающихъ формулахъ, выставленныхъ на знаменахъ борцовъ, и усомниться въ самой возможности прогресса. Люди толкутся на одномъ мѣстѣ, а соціальное зло невредимо выходитъ изъ хаоса временной, судорожной борьбы, во всеоружіи своихъ грубыхъ угрозъ и требованій. Только солнце можетъ побѣдить его.

II.

Въ наукѣ человѣкъ впервые постигаетъ всю опасность ничѣмъ не сдержанныхъ и непросвѣтленныхъ разумомъ страстей, всю зловредность слѣпыхъ пристрастій, не смягчаемыхъ высшими представленіями и понятіями. Наука требуетъ сосредоточеннаго стремленія къ рѣшенію опредѣленной задачи независимо отъ того, насколько полученный результатъ будетъ совпадать съ нашими желаніями и привычками повседневнаго мышленія. Работая по опредѣленному объективному методу, мы пріучаемся относиться съ надлежащимъ уваженіемъ ко всѣмъ многоразличнымъ и часто противорѣчащимъ другъ другу попыткамъ людей внести свое пониманіе въ общую работу человѣчества. Мысль воспитывается въ духѣ высшаго безкорыстія, строго выработанныя понятія становятся на мѣсто случайныхъ представленій,

оказывая просвѣщающее вліяніе на чувство и волю. Грубые афекты партійной вражды смѣняются глубокими настроеніями научной убѣжденности, которая чужда всякой нетерпимости и воюетъ съ противоположными ей взглядами орудіями логики, отвлеченными доказательствами, но никогда не прибѣгаетъ къ насилію надъ чужою мыслью. Раздѣленіе на партіи по различію желаній замѣняется въ области науки раздѣленіемъ на школы по различію методовъ и отправныхъ точекъ. Гражданскій дѣятель, прошедшій научную дисциплину, вноситъ въ борьбу изысканность въ выборѣ орудій самозащиты, большее чутье къ истинѣ, способность отрѣшаться отъ всего случайнаго и условнаго. Тонъ партійной борьбы мѣняется, и политическія движенія общества становятся болѣе цѣлесообразными, освѣщаются сознаніемъ, осмысливаются культурными взглядами. Борьба желаній, омраченная враждою, превращается мало-по-малу въ борьбу понятій, которая вырабатываетъ истину, создаетъ почву для болѣе высокихъ человѣческихъ стремленій. Гражданскія партіи, руководимыя въ борьбѣ только внѣшними, жизненными желаніями, не уважаютъ другъ друга, видятъ въ своихъ противникахъ только враговъ, съ которыми они не желаютъ имѣть ничего общаго. Гражданскія партіи, перенесшія борьбу на теоретическую почву, неизбѣжно проникаются взаимнымъ уваженіемъ и, не переставая бороться во имя собственныхъ убѣжденій, невольно открываютъ точки соприкосновенія другъ съ другомъ на почвѣ человѣческой. Чувства свѣтлѣютъ, настроенія возвышаются и облагораживаются. Работа мысли, направленная на отысканіе объективныхъ законовъ, столкнувшись на пути своемъ съ противуположными тенденціями, побѣждаетъ препятствія тѣмъ, что углубляется серьезнѣе въ предметъ, взвѣшиваетъ съ логическою строгостью представляемыя ей возраженія. Борьба получаетъ характеръ культурнаго умственнаго состязанія, поучительнаго для массъ, благотворнаго для просвѣщенія общества.

Еще одинъ шагъ, и политическая борьба, смягченная научными понятіями, превратится въ тончайшую полемику міровоззрѣній: въ области философіи спорятъ между собою не слѣпыя желанія, даже не отдѣльныя разсудочныя представленія, а различные принципы познанія, основанные на высшихъ отвлеченіяхъ и теоремахъ разума. Борьба научныхъ понятій, по самому своему содержанію, по своимъ пріемамъ и, что всего важнѣе, по своему матеріалу, ниже борьбы философскихъ идей, и чувства, сопровождающія эти два различные вида состязанія на поприщѣ духовныхъ интересовъ человѣчества, очищаются съ каждымъ новымъ шагомъ...

Безконечное количество самосвѣтящихся шаровъ разбросано въ безконечномъ пространствѣ. Вокругъ каждаго изъ этихъ шаровъ кружится дюжина меньшихъ шаровъ, раскаленныхъ внутри, но покрытыхъ затверъ-

дѣвшею холодною оболочкою. Поверхность этой оболочки подернута слоемъ плѣсени, изъ которой происходятъ живыя и познающія существа. Вотъ эмпирическая истина, реальность, міръ, говоритъ Шопенгауэръ, обрисовывая этимъ поэтическимъ образомъ предметъ научнаго изслѣдованія. Но для человѣка не можетъ быть полнаго удовлетворенія въ той эмпирической истинѣ, которая добывается наукою. Стоять на одномъ изъ этихъ безчисленныхъ, свободно висящихъ въ воздухѣ шаровъ и не знать, откуда и куда они идутъ, сознавать себя однимъ изъ неисчислимыхъ существъ, которыя тѣснятся, толпятся и мучатся въ безначальномъ и безконечномъ времени, въ быстромъ и безостановочномъ движеніи, то появляясь, то исчезая, не видѣть вокругъ себя ничего постояннаго, кромѣ матеріи и вѣчнаго повторенія однѣхъ и тѣхъ-же органическихъ формъ, которыя приходятъ по извѣстнымъ путямъ и каналамъ, разъ навсегда опредѣленнымъ — таково положеніе человѣка, не поднявшагося надъ утонченными по манерѣ, но еще недостаточно углубленными по содержанію доводами эмпирическаго знанія. Все, чему насъ можетъ научить эмпирическая наука, это болѣе или менѣе точное познаніе нормъ и законовъ органической жизни. Дальше этого предмета она не идетъ. Изученіе міра съ болѣе высокой точки зрѣнія доступно только той наукѣ, которая проникласъ критическимъ методомъ. Истинное пониманіе внѣшней природы достигнуто только въ новѣйшей философіи. Она показала, говоритъ Шопенгауэръ, что все человѣческое познаніе сопровождается такими многочисленными и важными субъективными условіями, при которыхъ понятіе о мірѣ, какъ о чемъ-то реальномъ и находящемся внѣ насъ, должно очистить мѣсто для совершенно другихъ философскихъ идей [1]). Только со времени Беркли и Канта философія, сдѣлавшись такою, какою она должна быть по своей природѣ, опредѣлила взаимное отношеніе между матеріей и духомъ и разрѣшила проблему свободы и морали. Философія стала идеалистическою. «Такою она должна быть, если только она хочетъ быть честною, такъ-какъ нѣтъ ничего несомнѣннѣе того факта, что никто никогда не можетъ выйти изъ себя, чтобъ непосредственно отождествиться съ предметами внѣшняго міра. Все, о чемъ человѣкъ имѣетъ вѣрное, а потому и непосредственное свѣдѣніе, лежитъ въ предѣлахъ его сознанія, и поэтому внѣ сознанія для него не существуетъ никакой непосредственной достовѣрности» [2]). Основы философіи должны покоиться на фактахъ сознанія—вотъ почему она не можетъ не быть идеалистической. Реализмъ, царящій въ массахъ съ неразвитымъ мышленіемъ, реализмъ, порабощающій людей своими ссылками на якобы достовѣрные факты, на самомъ дѣлѣ выходитъ изъ совершенно про-

[1]) Die Welt als Wille und Vorstellung, Zweiter Band, Herausgegeben von I. Frauenstädt, Leipzig 1888, стр. 4.

[2]) Ibidem., стр. 5.

извольныхъ предположеній и потому является какимъ-то хрупкимъ, воздушнымъ замкомъ: отрицая первый и самый несомнѣнный фактъ, игнорируя сознаніе, онъ строитъ свои системы изъ неочищеннаго, непровѣреннаго критикой матеріала.

Въ области философіи, ставшей послѣ многихъ вѣковъ постепеннаго развитія идеалистическою, борьба отдѣльныхъ мнѣній между собою совершается путемъ утонченныхъ доводовъ мысли. Споръ между идеализмомъ и другими философскими системами, распространенными въ современномъ обществѣ, по существу предмета долженъ происходить въ строго очерченной сферѣ опредѣленныхъ воззрѣній на познавательную дѣятельность человѣка и потому нигдѣ не можетъ покинуть почву простыхъ и для всѣхъ обязательныхъ логическихъ разсужденій. Вооруженный критикою, безпощадный къ заблужденію, враждебный всякому компромису съ вульгарнымъ жизненнымъ опытомъ, идеализмъ стремится къ правдѣ труднымъ, но единственно вѣрнымъ путемъ духовныхъ революцій и коренныхъ умственныхъ реформъ. Онъ споритъ только съ міровоззрѣніями и, сознавая всю важность систематическаго философскаго мышленія для практической жизни, проникается тою особенною протестантскою энергіею, которая не способна ни на какую уступку, но которая не позволитъ себѣ ни малѣйшаго давленія софистическими пріемами на убѣжденія и совѣсть людей. Открывъ идеальный элементъ въ человѣческой природѣ, критическая философія хочетъ дѣйствовать только идеальными средствами. Признавъ коренное превосходство разума надъ матеріей, первенство духовнаго начала въ мірѣ, она можетъ прибѣгать только къ орудіямъ разума повсюду, гдѣ ей приходится выдерживать борьбу съ человѣческими заблужденіями и предразсудками. Въ области философіи состязаніе партій и школъ получаетъ по истинѣ высокій смыслъ. Въ ней сталкиваются между собою важнѣйшіе вопросы человѣческаго существованія въ самой рѣшительной и отвѣтственной формѣ. Вся исторія человѣчества есть борьба идеализма—открытаго или скрытаго въ туманѣ унаслѣдованныхъ суевѣрій — съ различными видами философской догматики, которая всегда давила человѣческій умъ, не позволяя ему раскрыться и подняться на доступныя ему высоты. Всякая побѣда какого-нибудь высшаго принципа въ исторіи была всегда торжествомъ идеализма надъ грубыми понятіями невѣжественныхъ массъ или узкихъ педантовъ схоластической мудрости. Лучшія движенія въ области науки, высшіе тріумфы человѣческаго героизма, добытые кровавымъ самопожертвованіемъ, служили всегда отвѣтомъ на опредѣленные философскіе запросы человѣческой души, угнетенной господствующими понятіями и ложными нравственными и умственными симпатіями. Въ исторіи философіи развитіе идеализма соотвѣтствуетъ развитію истинныхъ философскихъ способностей человѣчества и опредѣляетъ дальнѣйшія судьбы настоящаго просвѣщенія.

Но философія не есть еще послѣдняя ступень того процесса, въ которомъ очищается человѣческая мысль. Выше философскаго мышленія стоитъ религіозное созерцаніе, включающее въ себѣ философію и обнимаемую философіей науку и жизнь, какъ разработанное и сведенное въ строгую систему идейное содержаніе. Въ религіозномъ мышленіи располагается въ опредѣленномъ порядкѣ и по степени своей важности весь тотъ разнообразный матеріалъ, который прошелъ черезъ двойную передѣлку науки и философіи. Надъ фактами жизни въ широкомъ смыслѣ слова работаетъ наука. Она отыскиваетъ въ нихъ порядокъ, закономѣрность, разлагаетъ и взвѣшиваетъ ихъ силы. Жизнь безъ науки — безформенный хаосъ, въ которомъ вращаются и борятся между собою, въ дикомъ вихрѣ, невѣдомыя начала по невѣдомымъ законамъ и для невѣдомыхъ цѣлей. Наука внѣ жизни не заключаетъ въ себѣ ничего, кромѣ логическихъ схемъ, влекущихся къ жизни, какъ къ своему естественному содержанію. Обѣ служатъ другъ другу, и въ человѣкѣ, получившемъ нормальное развитіе, соединены въ гармоническое цѣлое. Но наука, вмѣстѣ съ ея конкретнымъ содержаніемъ, обнаруживаетъ свое настоящее значеніе на болѣе высокой ступени мышленія, называемой философіей. То, что въ наукѣ осталось неосвѣщеннымъ и необъясненнымъ, философія подвергаетъ самостоятельному обслѣдованію, открывая при этомъ рядъ новыхъ истинъ и новыя точки зрѣнія на міровую жизнь. Наука безъ философіи слѣпа, философія безъ науки лишена содержанія. Онѣ неразрывно сплетаются другъ съ другомъ и соединяются въ одну общую систему, чтобы воспринять въ себя религіозный элементъ, который дастъ высшее освѣщеніе всѣмъ истинамъ, добытымъ на низшихъ стадіяхъ человѣческаго пониманія. Въ развитомъ человѣкѣ всѣ эти сферы, въ ихъ связи и зависимости, дѣйствуютъ одновременно при полномъ свѣтѣ сознанія. Религія устанавливаетъ тѣ классификаціи, безъ которыхъ подраздѣленія философіи и науки неполны и безцѣльны, создавая при этомъ верховный идеалъ для всѣхъ проявленій человѣческой дѣятельности. Наука отвлекается отъ частныхъ фактовъ для того, чтобы открыть ихъ общіе признаки. Философія дѣйствуетъ отвлеченными схемами, въ которыхъ вмѣщается всякая жизнь, но которыя уже не соприкасаются ни съ какими частными фактами и явленіями. Жизнь съ ея борьбою страстей, съ ея подавленными инстинктами справедливости, вопіющими къ небу, съ поруганными мечтами и скорбью о правдѣ, какъ-бы исчезаетъ изъ ея горизонтовъ. Все конкретное пропадаетъ въ философіи, и самое идеальное начало, открытое философскимъ мышленіемъ, выступаетъ въ ней въ полномъ отрѣшеніи отъ фактовъ дѣйствительной жизни. Весь міръ облекается яснымъ свѣтомъ — безъ тѣней и красокъ. Вся природа, съ ея органическою и неорганическою жизнью, превращается въ одинъ огромный символъ

иного высшаго міра. Религія завершаетъ человѣческое мышленіе, даетъ полноту и законченность духовному процессу и снова ставитъ человѣка лицомъ къ лицу съ фактами жизни во всей ея пестротѣ. Въ этомъ заключается важное отличіе религіознаго мышленія отъ философскаго: религія созерцаетъ жизнь — не въ ея схемахъ и обобщеніяхъ, а въ ея частныхъ явленіяхъ, какъ мы непосредственно ихъ воспринимаемъ. Пройдя сквозь объективныя сферы научнаго и философскаго мышленія и проникшись религіознымъ принципомъ, человѣкъ вновь становится живымъ гражданиномъ міра, готовымъ на борьбу, на страданія, на всякое самопожертвованіе за общее благо людей. Міръ, закованный въ мертвящія цѣпи механической причинности, расковывается въ философіи ученіемъ о духовной свободѣ и озаряется въ религіозномъ ученіи свѣтомъ высшей цѣлесообразности. Человѣкъ находитъ свое истинное назначеніе. Религіозное сознаніе приноситъ съ собою совершенно новое отношеніе къ жизни, возбуждая безконечный интересъ и любовное участіе ко всему, что ее составляетъ — равно къ великому и малому, потому что и великое и малое, одинаково ничтожное въ своей эмпирической обстановкѣ, безконечно важно и значительно въ связи съ всесильнымъ міровымъ началомъ. Все стремится въ одну сторону, и въ широко раздвинутыхъ предѣлахъ, между скромною лептою вдовицы и мученическою смертью на крестѣ, каждое теплое дыханье сочувствія и состраданья ведетъ человѣчество къ исполненію его благороднаго назначенія. Все оживаетъ въ настоящемъ свѣтѣ, и человѣкъ впервые начинаетъ различать, что нужно и чего нельзя желать, какими орудіями можно и какими нельзя бороться во имя міровой правды. Гражданственность теряетъ свою жестокость, свою готовность преслѣдовать врага всѣми законными и незаконными способами и, освѣтившись религіознымъ сознаніемъ, превращается въ живую, дѣятельную мораль, призванную пролагать пути къ свободѣ, сбрасывать условныя перегородки между людьми, уравнивать и возвышать всѣ человѣческія существованія. Политическіе идолы, воздвигнутые темными силами случайныхъ, безсознательныхъ пристрастій, повергаются во прахъ, и на ихъ мѣстѣ воздвигаются невещественные алтари для служенія единой истинѣ. Кровавая, несправедливая, враждебная борьба, управляемая смутными понятіями и грубыми страстями, стихаетъ, чтобы перейти въ безкровную борьбу убѣжденій, очищающую міръ отъ разнаго рода заблужденій и ошибокъ.

Свѣтъ солнца побѣждаетъ то, чего не могли преодолѣть никакія грубыя стихіи.

III.

Въ каждой изъ разсмотрѣнныхъ нами областей человѣческой дѣятельности внутреннею движущею силою является творческая способ-

ность человѣка. Наука не просто собираетъ факты, а комбинируетъ ихъ въ опредѣленныя группы, и въ этой комбинаціи и разработкѣ сырыхъ матеріаловъ опыта и наблюденія и заключается оригинальная творческая работа научнаго мышленія. Понятіе причинности, около котораго вращается весь жизненный матеріалъ научнаго изученія, очерчиваетъ для науки тотъ кругъ, въ предѣлахъ котораго проявляется ея творческая способность. Открывая тонкія связи между различными, повидимому, чуждыми другъ другу фактами, наука какъ-бы созидаетъ этимъ новые факты, придаетъ невидимымъ силамъ живой характеръ конкретныхъ явленій, не существующихъ для профана. Она объединяетъ всю безконечную природу путями, приближающими къ намъ отдаленнѣйшіе міры, раскрываетъ картины жизни, недоступной по своей безконечной малости непосредственному воспріятію человѣка. Разбросанные въ безпредѣльномъ пространствѣ предметы превращаются въ научномъ мышленіи въ звенья одной цѣпи, передающія другъ другу, отъ начала до конца, всякое движеніе, сообщенное одному изъ нихъ, по извѣстному, ничѣмъ не нарушимому закону. Въ природѣ воцаряется порядокъ. Но за подавляющею массою грубыхъ матеріаловъ и эмпирическихъ наблюденій, творческое начало въ научномъ мышленіи почти незамѣтно для тѣхъ, кто наблюдаетъ научную работу со стороны. Кажется, что все дѣло заключается въ томъ, чтобы собирать факты, дѣлать наблюденія и опыты, и что выводы получатся сами собою по правиламъ примитивной индукціи. Кажется, что для научной работы не требуется никакого воображенія, никакой способности предугадывать еще невѣдомые факты, провидѣть еще недоказанную опытомъ связь явленій и что ея задача только въ томъ, чтобы идти за эмпирическими явленіями шагъ за шагомъ, не забѣгая впередъ, не расширяя ни въ чемъ ихъ видимаго значенія. Толпа не замѣчаетъ того, что составляетъ живой нервъ научнаго изслѣдованія,—его смѣлыхъ комбинацій, руководимыхъ инстинктомъ истины, предчувствіемъ опредѣленныхъ, искомыхъ человѣческимъ духомъ выводовъ. Ей не видно творческое начало науки, потому что, скрытое въ глубинѣ работы, сдерживаемое неизбѣжными и постоянными обращеніями къ эмпирическимъ фактамъ, оно не выступаетъ передъ нею очевидно и осязательно. Его отыскиваетъ только человѣкъ истинной науки, который всегда отличитъ грубую и жалкую научную компиляцію, составленную изъ двухъ-трехъ наблюденій и нѣсколькихъ казенныхъ экспериментовъ, отъ настоящей научной работы, совершенной по строгому методу, съ соблюденіемъ всѣхъ логическихъ правилъ и при этомъ оживленной свѣтомъ творческаго воображенія.

Въ философскомъ и религіозномъ мышленіи творческое начало проявляется еще сильнѣе. Изучать самые законы познавательнаго процесса, видѣть весь міръ съ идеалистической точки зрѣнія, прослѣживать въ

историческихъ движеніяхъ человѣчества постоянное развитіе и ростъ одного и того-же духовнаго начала, отрѣшаться отъ иллюзій чувственнаго міра и сосредоточивать мысль на чистѣйшихъ абстракціяхъ, какъ на совершенно реальныхъ и управляющихъ судьбами міроваго процесса силахъ, для этого требуется подъемъ воображенія въ труднѣйшей сферѣ познанія и критики. Работать логическою мыслью вопреки привычкамъ грубаго, но прославленнаго толпою «здраваго смысла», разрѣшать противорѣчія между эмпирическими законами механической причинности и закономъ духовной свободы, находить критическіе пути для разрѣшенія вопроса о послѣдней верховной причинѣ міра—этого нельзя сдѣлать сколько-нибудь удовлетворительнымъ образомъ, если отсутствуетъ способность къ оригинальнымъ постройкамъ, если нѣтъ фантазіи, если творческое дарованіе, усиленное и изощренное научной работою, не достигло настоящей высоты. Въ религіозномъ созерцаніи творчество дѣйствуетъ со всею силою, необходимою для громаднаго жизненнаго приложенія. Каждое ничтожное явленіе разсматривается въ свѣтѣ мірового начала, во всей своей эмпирической ничтожности и во всей своей безконечной, идеальной важности и значительности. Начавшись съ болѣе или менѣе простыхъ комбинацій внѣшнихъ данныхъ и окрѣпнувъ въ критической работѣ надъ отвлеченными вопросами человѣческаго и мірового существованія, творческая дѣятельность достигаетъ въ религіозномъ созерцаніи своего полнаго выраженія. Конкретное, частное соединено съ идеальнымъ и всемірнымъ. Причинность подчинена высшей цѣли, предъ внутренно свободнымъ человѣкомъ раскрыто опредѣленное нравственное назначеніе. Вся душевная жизнь человѣка двинулась, со всѣми расшевеленными въ ней творческими инстинктами, навстрѣчу практической жизни, требующей во всѣхъ своихъ частяхъ глубокихъ реформъ и передѣлокъ, нуждающейся для своего развитія въ постоянномъ приложеніи духовной изобрѣтательности. Давая наиболѣе полное освѣщеніе всего матеріала, который человѣкъ черпаетъ изъ внѣшняго и внутренняго опыта, религіозное міросозерцаніе, постоянно волнуемое живымъ ощущеніемъ божества, во всемъ своемъ содержаніи наполняется творчествомъ, съ его разнообразными теоретическими и практическими проявленіями, съ его оригинальною переработкою фактовъ жизни, науки и философіи.

Выдѣлившись въ самостоятельную силу и занявъ главенствующее положеніе въ умственной работѣ человѣка, творчество создаетъ цѣлую сферу новыхъ интересовъ въ искусствѣ. Та-же сила, которая управляла работою сознанія въ очерченныхъ областяхъ, проявляется здѣсь въ новой формѣ, въ образахъ и краскахъ, по самостоятельно дѣйствующему закону красоты—въ различныхъ степеняхъ совершенства и въ зависи-

мости отъ богатства идей художника. Въ искусствѣ открывается человѣческая душа въ ея природныхъ свойствахъ и качествахъ, перемѣшанныхъ съ элементами, усвоенными самодѣятельностью ума изъ общаго источника просвѣщенія. Безсознательныя и сознательныя силы встрѣчаются въ процессѣ поэтическаго творчества, но только то творчество достигаетъ лучшихъ выраженій духовной красоты и возвышеннаго экстаза, въ которомъ сознаніе освѣщаетъ каждый порывъ, каждое движеніе творческаго замысла, идущаго изъ темной глубины безсознательнаго художественнаго настроенія. Законы творчества заложены въ нѣдрахъ человѣческой души и дѣйствуютъ съ самобытною силою, съ которою могутъ находиться въ противорѣчіи наши общія научныя и философскія понятія, когда они навѣяны извнѣ, когда они не согласуются съ истинной природой человѣка, съ тѣмъ его идеалистическимъ складомъ, который дѣйствуетъ вопреки заблужденіямъ разсудка и безъ котораго настоящее творчество немыслимо. Въ этой борьбѣ сознательныхъ и безсознательныхъ идей, стремящихся къ гармоніи, то укрѣпляющихъ, то обезсиливающихъ другъ друга, и заключается, такъ сказать, внутренняя психологическая драма всякаго поэтическаго таланта, воспроизводящаго въ словахъ, звукахъ и краскахъ, заимствованныхъ изъ внѣшняго міра, настроенія души, столкновенія страстей, высшихъ и низшихъ инстинктовъ, порывы и замѣшательство различныхъ массовыхъ движеній въ области политики и гражданственности. Высотою научно-философскаго развитія художника обусловливается выдержанность или невыдержанность поэтическаго характера его произведеній. При міровоззрѣніи, обнимающемъ всѣ интересы человѣческой натуры съ единой истинной точки зрѣнія, устраняющемъ все, что лежитъ препятствіемъ на пути творческой работы, при міровоззрѣніи, открывающемъ просторъ идеалистическимъ влеченіямъ человѣческой природы, произведеніе искусства пріобрѣтаетъ характеръ правильно сложившагося, чистаго кристалла, играющаго между своими прозрачными гранями всѣми цвѣтами радуги. При міровоззрѣніи, осложненномъ и запутанномъ неразработанными матеріалами эмпиризма, при міровоззрѣніи, отрицающемъ идеальныя основы души, произведеніе величайшаго художественнаго таланта подобно глыбѣ руды, въ которой вулканическій жаръ земли сплавилъ вмѣстѣ драгоцѣнный металлъ съ ничего нестоющимъ шлакомъ. Наконецъ, можно себѣ представить художника съ глубокой душою, вносящей свое идеалистическое чутье въ разработку всѣхъ психологическихъ вопросовъ, но не прошедшаго сознательною мыслью весь путь, соединяющій основные отвлеченные принципы философіи съ частными, конкретными выводами. Такой художникъ будетъ впадать въ своихъ произведеніяхъ въ грубыя ошибки жизненнаго свойства и, въ явномъ противорѣчіи со своими гуманными стремленіями, можетъ дать ходъ

даже какимъ-нибудь реакціоннымъ тенденціямъ гражданскаго характера... Таковы различныя отношенія между сознательными и безсознательными идеями художника, борьба которыхъ даетъ въ результатѣ то, что принято называть направленіемъ художественнаго творчества. Чѣмъ глубже талантъ, чѣмъ сильнѣе контроль внутренняго чувства правды, тѣмъ сильнѣе стремленіе къ такому міровоззрѣнію и къ такимъ художественнымъ его выраженіямъ, которыя обнимаютъ собою всю скалу человѣческаго мышленія, отъ первыхъ научныхъ обобщеній въ области механической причинности до высшихъ религіозныхъ настроеній. Чѣмъ мельче творческій талантъ, чѣмъ слабѣе контроль безсознательныхъ идей души, тѣмъ поверхностнѣе міровоззрѣніе художника, тѣмъ уже задача его поэтической дѣятельности и тѣмъ охотнѣе онъ запрягаетъ себя въ мало вліятельную работу на поприщѣ консервативнаго или внѣшне-либеральнаго политиканства. Все дѣло въ силѣ таланта, который толкаетъ художника въ ту или другую сторону. Въ произведеніяхъ мелкаго творчества нечего искать ни широкихъ міровоззрѣній, ни какихъ-нибудь серьезныхъ политическихъ идей: ихъ партійность, ихъ кричащая публицистическая тенденція, при плоскодонномъ содержаніи, не можетъ имѣть никакого значенія ни для искусства, ни для воздѣйствія на жизнь. Въ произведеніяхъ, написанныхъ съ громаднымъ талантомъ и настоящимъ поэтическимъ вдохновеніемъ, партійная тенденція, если-бы она и встрѣтилась, всплываетъ на поверхность, не отравляя основныхъ замысловъ художника. Истинный поэтическій талантъ спасаетъ отъ ошибочныхъ увлеченій въ томъ или другомъ направленіи и выноситъ произведеніе художника на высоту настоящаго гуманитарнаго вліянія вопреки ошибкамъ разсудка и пристрастіямъ партійнаго раздраженія. Творчество имѣетъ свои законы, дѣйствующіе глубже и сильнѣе всякихъ внѣшнихъ привычекъ, уставовъ и программъ, придуманныхъ для временныхъ цѣлей и при временныхъ случайныхъ обстоятельствахъ. Оставаясь вѣрнымъ своему призванію, художникъ служитъ вѣчности, а не минутѣ съ ея мимолетными симпатіями и измѣнчивыми взглядами. Искусство не должно быть узко-партійнымъ. Его соприкосновеніе съ жизнью выразится съ наибольшей полнотой именно тогда, когда оно будетъ свободно отдаваться вдохновенію и какъ можно шире раздвигать кругъ своего философскаго созерцанія. Талантъ, творчество, служеніе духовной красотѣ— вотъ на чемъ держится поэзія, вотъ чѣмъ живетъ искусство, участвующее въ культурномъ процессѣ умственнаго и нравственнаго развитія человѣчества.

Критика есть научное изслѣдованіе законовъ творчества. Критика есть наука о творчествѣ. Въ каждомъ эмпирическомъ обобщеніи, на всѣхъ ступеняхъ философскаго мышленія, въ религіозномъ созерцаніи, — повсюду мы встрѣчаемся съ творческимъ началомъ въ его жи-

вомъ дѣйствіи, но только критика изслѣдуетъ самое творчество, какъ объектъ научнаго анализа. Развитіе наше не было-бы полно, если-бы не было дисциплины, раскрывающей, по самостоятельному методу, все содержаніе творческаго процесса и прослѣживающей, какъ это содержаніе воплощается въ отдѣльныхъ художественныхъ выраженіяхъ, какъ оно облекается плотью, какъ оно сливается въ одно неразрывное цѣлое съ поэтическою формою. Найти идейный смыслъ настоящаго произведенія искусства и оцѣнить его въ свѣтѣ широкаго философскаго міровоззрѣнія, понять и осмыслить для публики глубокую тайну эстетической красоты, увидѣть опредѣленные художественные образы въ ихъ связи съ культурою общества, какъ отраженіе даннаго момента его историческаго развитія и какъ стимулъ для дальнѣйшаго его движенія по пути прогресса—такова трудная, но въ высшей степени важная задача, разрѣшаемая литературною критикою. Ея роль—просвѣтительная. Раскрывая творческій процессъ, она создаетъ собственные эстетическіе идеалы, слѣдуя за которыми, художникъ будетъ вѣренъ лучшимъ изъ доступныхъ ему внутреннихъ стремленій. Добывая такимъ образомъ изъ каждаго художественнаго произведенія все, что въ немъ есть цѣннаго и важнаго для духовнаго просвѣщенія, критика пріучаетъ общество относиться къ искусству съ глубокой серьезностью, прозрѣвать за его образами опредѣленныя идеи, вдохновлявшія художника. Другихъ цѣлей критика не имѣетъ. Она должна быть свободна отъ всякихъ житейскихъ притязаній. Она должна служить опредѣленнымъ философскимъ и научнымъ задачамъ. Но она никогда не должна переходить въ непосредственное сужденіе о жизненныхъ явленіяхъ: она укрѣпляетъ корни человѣческой дѣятельности, подобно живой питательной влагѣ, но, выведенная на поверхность жизни, она высыхаетъ. Критика должна быть безпристрастною, внѣпартійною, говоритъ извѣстный англійскій писатель, Матью Арнольдъ. Она должна держаться вдали отъ практическаго взгляда на вещи и рѣшительно слѣдовать закону своей собственной природы, будучи свободной игрою ума на всѣхъ предметахъ, которыхъ она касается. Она открываетъ и пропагандируетъ все, что есть лучшаго въ области мысли и тѣмъ стремится возбудить въ обществѣ живое теченіе новыхъ и свѣжихъ идей [1]). Искренняя, твердая и отзывчивая, она идетъ своимъ путемъ и служитъ обществу своими средствами. Она не борется съ ошибками политиковъ на поприщѣ политики, но она борется съ человѣческими заблужденіями въ области идей, изъ которыхъ вытекаютъ въ ту или другую сторону опредѣленныя практическія тенденціи. Проникнутая свѣтлымъ взглядомъ на человѣческую природу, она даже не

[1]) Matthew Arnold, Essays in criticism, vol. I. (Tauchnitz 1887). См. The function of criticism at the present time.

хочетъ разжигать гражданскія страсти. Она знаетъ, что политическіе раздоры, сами по себѣ, слѣпы и пагубны, что гражданская борьба не имѣетъ другого положительнаго содержанія, кромѣ требованій свободы и справедливости, — требованій, основанныхъ исключительно на нравственно-религіозномъ чувствѣ. Мужественно добиваясь своихъ цѣлей, критика должна сознательно отрицать всякую партійную тенденціозность, какъ въ предѣлахъ искусства, такъ и въ своихъ собственныхъ предѣлахъ и всячески содѣйствовать тому, чтобы всѣ условные, внѣшнеполитическіе вопросы, безплодно терзающіе человѣческіе умы, растворились въ идеяхъ высшаго порядка, проникнутыхъ психологической правдой и обладающихъ истинно-реформаторскими силами. Ея орудіе—анализъ художественныхъ образовъ, ея цѣль—просвѣщеніе умовъ.

IV.

Человѣчество постоянно развивается, и ростъ идей нравственныхъ и научно философскихъ совершается непрерывно по неизмѣнному и вѣчному закону духовнаго совершенствованія. То, что мы называемъ реакціею или застоемъ въ области духовной культуры, въ сущности представляетъ собою новую комбинацію элементовъ и силъ въ общемъ процессѣ развитія. Пораженіе, испытанное борцами на полѣ гражданственности, на время задерживаетъ, но затѣмъ напрягаетъ внутреннія силы общества, которыя, при первой возможности, развернутся широко и смѣло. Никакое внѣшнее давленіе не можетъ заглушить внутреннихъ стремленій къ прогрессу, если только не принижены при этомъ уровень нравственныхъ и умственныхъ понятій общества. Если для опредѣленнаго поколѣнія особенно тяжело и обидно то, что стѣсняетъ его внѣшнюю свободу, то для культуры вообще пагубнѣе всего то, что подкапывается подъ ея внутреннюю свободу, что перебиваетъ дорогу идеалистическимъ влеченіямъ человѣка,—то, что разрушаетъ единство его міровоззрѣнія съ его лучшими духовными потребностями. Если развитіе научныхъ и философскихъ понятій не прекратилось, общество не можетъ сдѣлаться жертвою реакціи и въ концѣ концовъ должно съ побѣдою выйти изъ данныхъ условій жизни. Изъ нѣдръ разрушенія, изъ городовъ, опустошенныхъ вражескою рукою, въ исторіи постоянно выходили пророки новыхъ идей и увлекали за собою общество, повергнутое въ уныніе. Внѣшніе удары, при нравственномъ мужествѣ, при твердой и сознательной убѣжденности, не могутъ сломить того, что рождается изъ природы самой души и что осмыслено, провѣрено и разъ навсегда утверждено умственнымъ просвѣщеніемъ. Ясность и смѣлость убѣжденій, энергія воли, возбуждаемой любовью къ правдѣ и къ людямъ, нравственная цѣльность и отвращеніе къ житейскимъ компромиссамъ—вотъ тѣ условія, при ко-

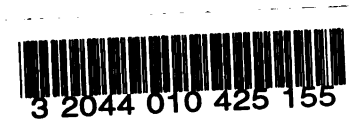
торыхъ человѣкъ является дѣятелемъ прогресса даже при самыхъ тяжелыхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ. При наукѣ, стремящейся воспринять въ себя идеальное начало, открытое философіей, при философіи, создающей средствами критики и анализа научную почву для высшихъ религіозныхъ идей, при религіозномъ міровоззрѣніи, перерабатывающемъ по своему треволненія повседневнаго существованія — при такомъ умственномъ направленіи никакая гражданственная реакція, какими-бы орудіями она ни защищалась, не можетъ имѣть рокового значенія. Наука и философія освобождаютъ человѣка отъ его ложныхъ пристрастій, ведутъ его по пути отреченія отъ всякихъ случайныхъ и вѣками привитыхъ заблужденій. Религія даетъ непобѣдимое орудіе для борьбы со зломъ, научая побѣждать препятствія примѣрами безкорыстнаго личнаго самопожертвованія. Внѣшнія стихіи могутъ давить только на внѣшнюю жизнь человѣка, могутъ заставить его на время замолчать, но никогда не подчинятъ себѣ его убѣжденій...

Изъ всего этого ясно, какими средствами должны быть отстаиваемы истинные интересы человѣчества. Политическая борьба, т. е. борьба внѣшними политическими орудіями, безсильна преодолѣть злую волю людей, мѣшающихъ общему ходу культурнаго развитія. Политическая полемика, не освѣщенная научно-философскими и нравственными понятіями, дразня пылкое воображеніе, не указываетъ никакихъ спасительныхъ исходовъ человѣчеству, запутавшемуся въ сложныхъ, но мертвыхъ формулахъ внѣшняго благоустройства, изнемогающему подъ грудами раздробленныхъ проблемъ юридическаго и экономическаго порядка. Только прямое, открытое, безпристрастное къ людямъ и партіямъ, но пристрастное къ истинѣ критическое изслѣдованіе, въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, можетъ быть признано всесильнымъ орудіемъ для прогрессивной борьбы. Только глубокій, безстрашный анализъ существующихъ понятій, во всѣхъ ихъ выраженіяхъ и отраженіяхъ, можетъ въ концѣ-концовъ привести къ рѣшительнымъ реформамъ и на практическомъ поприщѣ. Свободная критика не боится вскрывать всякую фальшь, развѣнчивать громкія, но пустыя славы, направляющія по ложному пути общественныя симпатіи, разбивать излюбленные кумиры, срывать пышныя знамена, вывѣшенныя для прикрытія эгоистическихъ страстей или партійной ограниченности. Она не пугается производимаго ею разрушенія, потому что, разрывъ до глубины сухую и безплодную почву житейской мудрости, кружковой философіи, безчисленныхъ предразсудковъ, величающихся своею историческою давностью, она докопается до свѣжихъ, плодородныхъ пластовъ, изъ которыхъ возникаетъ новая, лучшая жизнь. Она не облачается ни въ какія модныя одежды, не прикрывается никакими эфектными, но обветшалыми кличками. У нея нѣтъ ничего общаго съ афектированнымъ вдохновеньемъ патріотической граждан-

ственности, но она не пойдетъ на службу и къ формальному либерализму. Она хочетъ быть свободною и во что бы то ни стало прогрессивною.

1894. Май.

КОНЕЦЪ.


3 2044 010 425 155

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

CANCELLED

MAY 12 1990

MAY 20 1990

CANCELLED

FEB 10 1993

AUG 19 1992